

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
ВСЕВОЛОДА ВЛАДИМІРОВИЧА
КРЕСТОВСКАГО

ТОМЪ IV

СО Д Е Р Ж А Н І Е:

1) **ДѢДЫ.** Историческая повѣсть изъ времени Императора Павла I.
2) **НЕ БЫТЬ ПОСЕМУ.** Разсказъ. 3) **ОЧЕРКИ КАВАЛЕРІЙСКОЙ ЖИЗНИ:** Отъ штаба до зимнихъ квартиръ.—Базарный день въ Свислочи.— По поводу либеральныхъ привѣтствій.— На травѣ.—Облава на утокъ.— Что дѣлаетъ ворона.—Полковныя приживалки.—Буяновъ—мой сосѣдъ.— Кто лучше? 4) **ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.** Военная жизнь въ Варшавѣ съ 1815 по 1831 г.—Какъ умеръ мой дядя.—Подземный ходъ.—Катакомбы Фары.—Красавица.—Любовь въ двухъ часахъ.—Торныя дороги.—Сильныя ощущенія подъ Петербургомъ.—Снохачъ.—О собакѣ.—Соль-городъ. 5) **СТИХОТВОРЕНІЯ:** Поэмы.—Лирическіе стихи.—Испанскіе мотивы.— Легенды.—Былины и сказки.—Изъ библіи.—Изъ древняго міра.—**Стихотворенія, нигдѣ не напечатанныя.**

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ Ю. Л. ЕЛЬЦА



САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА»

Оглавление четвертаго тома.

Д Ъ Д Ы

	стр.		стр.
1. Концы и начала.....	1	17. „Въ Англійскомъ клубѣ“.....	63
2. Первые дни императора Павла.....	5	18. Массонская ложа.....	65
3. Опальный.....	10	19. Общественная жизнь Петербурга при императорѣ Павлѣ.....	70
4. Сонъ въ руку.....	13	20. „Справа по-взводно, въ Сибирь на поселеніе“.....	73
5. Подъ привѣтливой кровлею.....	15	21. „Налѣво кругомъ“.....	75
6. „Усадлушка“.....	17	22. Изъ-за туея.....	78
7. Перебѣна декораціи.....	24	23. Въ Италіи.....	82
8. На дорогѣ.....	26	24. Передъ Альпами.....	88
9. Петербургъ того времени.....	30	25. Чертовъ мостъ.....	91
10. У государя.....	35	26. Въ царствѣ ужасовъ.....	95
11. Похороны императорской четы.....	39	27. Царственный сватъ.....	102
12. Новая фрейлина.....	42	28. Лучи безсмертія и славы.....	105
13. Екаѳерининская гвардія.....	44	29. Смерть великаго дѣда.....	108
14. Завѣтный червонецъ.....	47		
15. Коронація императора Павла.....	56		
16. „Звѣзда московска небосвода“.....	61		

НЕ ВЫТЬ ПО СЕМУ. Разсказъ.....	112
--------------------------------	-----

ОЧЕРКИ КАВАЛЕРІЙСКОЙ ЖИЗНИ.

Отъ штаба до зимнихъ квартирѣ:			стр.
1. Сборы и проводы.....	стр.	8. Велля Гершуна.....	201
2. На первомъ переходѣ.....	131	9. Нечистая сила мутитъ.....	205
3. На ночлегѣ.....	141	10. Ночь на Ивана-Купала.....	208
4. Приходъ въ Свислочь.....	152	11. Разгадка.....	211
	157	12. Последняя встрѣча.....	213
Базарный день въ Свислочь.....	164	Облава на утокъ.....	215
По поводу либеральныхъ привѣтствій.....	180	Что дѣлаетъ ворона.....	223
На травѣ:		Полковныя приживалки:	
1. Веселый походъ.....	183	1. Безсловесныя.....	230
2. Ильиновскій фольваръ.....	184	2. Дошъ-Сезаръ де-Базанъ.....	235
3. Авантюристъ-магватъ прошлаго вѣка.....	186	3. Баллибузукъ.....	241
4. Ильиновскій призракъ.....	191	4. Гасшидинъ Элькесъ.....	250
5. Ильиновская легенда.....	192	5. Мадамъ Хайка.....	257
6. Жизнь на травѣ.....	195	Буяновъ—мой сосѣдъ.....	262
7. На сѣнокосѣ.....	199	Кто лучше? (Посвящается другу моему Ицкѣ Микелевичу Штрапецкому).....	271

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.

1. Военная жизнь въ Варшавѣ съ 1815 по 1831 годъ. (Глава изъ исторіи лейбъ-гвардіи Уланскаго Его Величества полка).....	стр.	8. Сильныя ощущенія подѣ Петербургомъ. (Фантастическій разсказъ изъ дѣйствительнаго міра).....	стр.
2. Какъ умеръ мой дядя. Разсказъ.....	1	9. Снохачъ. (Изъ уголовного дѣла).....	98
3. Подземный ходъ. (Изъ Варшавскихъ воспоминаній. Посвящено П. В. Новицкому).....	23	10. О собакѣ.....	109
4. Катакомбы фары. (Изъ Варшавскихъ воспоминаній).....	47		114
5. Красавица. (Греза). Посвящается особѣ, совершенно мнѣ неизвѣстной.....	57	Сольгородъ:	
6. Любовь въ двухъ часахъ. (Психологическій этюдъ). Посвящено С. Г. Р-хневской.....	66	1. Нѣсколько благихъ совѣтовъ и необходимыхъ предостереженій будущимъ туристамъ.....	120
7. Торные дороги. (Очеркъ двухъ жизней).....	73	2. Сольгородъ.....	126
	83	3. Соляныя.....	131
		4. Лапчатке.....	136
		5. Нѣчто о сольгородскомъ обществѣ вообще и о нѣкоторыхъ господахъ въ особенностъ.....	143
		6. Какъ относится провинція къ литературѣ.....	146

СТИХОТВОРЕНІЯ

Пѣсмы:			стр.
1. Калика-перехожанъ.....	стр.	7. Утопленница. (Изъ Шевченко).....	181
2. Весенняя смерть.....	165	8. Порченная. (Изъ Шевченко).....	183
3. Фрина.....	175	Лирическіе стихи:	
4. Солимская Гетера (А. П. Миліукову).....	177	1. Владимірка.....	185
5. Безъ дочери. (Разсказъ).....	178	2. Полоса.....	—
6. Изъ былого. (Разсказъ).....	179		

	стр.
3. Стоянь земли.....	185
4. Парижъ, июль 1848 г.	—
5. Инвалидъ.....	186
6 * * * Надъ убогимъ гробомъ.....	—
7. Разсвѣтъ.....	—
8. Братья.....	—
9 * * * Эхъ, кабы мнѣ, молодцу овчинный тулупъ.....	187
10 * * * Что у праздника ли было.....	—
11 * * * Какъ вечеръ-то разудалый мой.....	—
12 * * * Огороды горожу.....	—
13. Жница.....	188
14. Въ ночь на Купало.....	—
15. Подъ водою. (Посвящено В. Д. Гринева)	—
16 * * * Я лежалъ на прибрежномъ пескѣ.....	189
17. На кладбищѣ.....	—
18. Двѣ ночи.....	190
19 * * * Подъ душистою вѣтвью сирени.....	—
20 * * * И вы дитя, и я дитя.....	—
21 * * * Моя жизнь. замъ на-смѣхъ, погремушка.....	—
22 * * * Быть можетъ и мы разойдемся.....	191
23. Я люблю, какъ ребенокъ капризный.....	—
24 * * * Нѣтъ не къ добру сошлись мы съ тобою.....	—
25 * * * Ты говоришь, что хотѣла бы ты.....	—
26 * * * О, надъ тобой ли мнѣ смѣяться.....	—
27. Октавы (В-ръ Дм. К.-овской).....	192
28. О, въ этотъ мигъ, когда весь міръ ликуеть.....	—
29 * * * В. Д. Крестовской.....	—
30 * * * На груди моей Миньоны.....	—
31 * * * Осень... Вечеръ холодный, росистый.....	—
32 * * * На дворѣ шумитъ вѣтеръ докучный.....	—
33 * * * Сядемъ вмѣстѣ у березы.....	193
34 * * * Выходи красота.....	—
35 * * * Ночью въ залѣ было душно.....	—
36 * * * Отчего, когда въ полночь приду я.....	—
37 * * * Последній день, последній часъ.....	—
38 * * * Я гляжу на тебя — и мнѣ жалко тебя.....	—
39. Украинкѣ.....	—
40. Въ альбомъ Ристори. (Послѣ „Марин Стюартъ“). ..	194
41 * * * Душно... Ночь... Клубятся тучи.....	—
42. Передъ весною.....	—
43 * * * Мать въ сердцахъ меня журила.....	—
44. Весеннія ночи.....	—
45. Хандра.....	196
46. Старыя пѣсни.....	199

Испанскіе мотивы:

1. Auto da fe. Изъ царствованія Филиппа III. (Посвящено Л. А. Мекю).....	201
2. Fandango.....	—
3 * * * Въ дальней Африкѣ, весною.....	202
4. Андалузянка.....	—
5. Мавританка.....	203
6. Затворница.....	—
7. Гитана.....	204
8. Сан-Яго.....	—

Легенды:

1. Легенда о пѣсняхъ.....	205
2. Братья Христовы.....	—
3. Змѣй.....	206
4. Три награды. (Съ финскаго).....	—

Былины и сказки:

1. Былина про Степана Разина Тимофеевича. (Посвящено Апол. Алекс. Григорьеву).....	207
2. Горшеня.....	212
3. Колокольчики валдайскіе.....	213
4. Кондрашка.....	214
5. Слово о правдѣ и кривдѣ.....	215
6. Легенда про отца Варсонофія, да про нѣкоего старца-странника благочестиваго.....	216

	стр.
7. Сказка про Ерша Ершовича сына Щетинникова.....	218
8. Василиса Попова.....	219
9. Теремокъ.....	221
10. Не люблю — не слушай!.....	—
11. Сказка про Лису Патрикѣевну, Пѣтушка золотого гребешка, да про Кота Котонаевича.....	223
12. Вѣтеръ, солине и морозъ.....	224
13. Рябиношка. (Посвящено С. Г. Мей).....	225
14. Морозко.....	—
15. Волга и Вазуза.....	227
16. Колобокъ.....	—
17. Сказка про то, отчего котъ у звѣрей всѣхъ звѣрей сильнѣе считается.....	228

Изъ Библии:

1. Избраніе Саула. (Изъ книги Царствъ).....	230
2. Вертоградъ Навуея.....	231
3. Аодъ передъ Эгломомъ.....	—
4. Геденъ. (Изъ книги Судей израилевыхъ).....	232
5. Побѣда Зоровавеля. Изъ Эздры. (Маркѣ Осиповнѣ Крестовской).....	233
6. Ровоамъ. (Изъ книги Паралипоменонъ).....	234
7. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. (Изъ Экклезиаста).....	—
8. Грѣшница.....	236
9 * * * Прекрасенъ эротокъ и великъ.....	—
10 * * * У прибрежья песчаной равнины.....	—
11 * * * Вокругъ цистерны городской.....	237
12 * * * И пришелъ Онъ во храмъ — тамъ училъ фарисей.....	—
13. На пути въ Іерихонъ.....	—
14 * * * И говорилъ Онъ предъ врагами.....	—

Изъ древняго міра. Пѣсни Алкея.

1. Эпиграммы и Афоризмы.....	—
2. Алкей.....	239
3. Вакхическія и эротическія стихотворенія.....	—
4. Анакреонъ.....	240
5. Сафо.....	241
6 * * * Подъ этой урной спать красавица Тимада.....	—
7. Гораций.....	—
8 * * * Отрокъ нѣжный, мнѣ не надо.....	243
9. Антологическія фрески.....	—
10 * * * Полдень жарокъ... Дай, подъ сѣнью.....	244
11 * * * Будь весела и чиста.....	—
12 * * * Дѣва, жми со мною.....	—
13 * * * Небо пламенной Эллады.....	—
14 * * * О, не забуду я, обнятый страстью нѣжной.....	—
15 * * * Нацѣнь полнѣй сосудъ мнѣ искристымъ виномъ.....	—

Переводы:

1. Изъ римскихъ элегій Гете.....	245
2. Изъ Гейне.....	248
Бычекъ. Народная сказка.....	251

Стихотворенія нигдѣ не напечатанныя:

1. Экспромтъ (Финальная сцена къ 1 дѣйств. оп. „Кузнецъ Вакула“ Н. О. Соловьева).....	255
2 * * * Выбѣсто жаркой любви и недавней любви.....	—
3 * * * Вы хотите стиховъ? Вы поэтъ опять.....	256
4. С. А. Лу-ской.....	—
5 * * * Въ преддверьи замкнутого храма.....	—
6 * * * Онъ сказалъ: симѣйте вѣру хоть съ горчинное зерно.....	257
7. Л.-Г.в. Уланскаго Его Величества полку.....	—
8. (Ив. Ст. Ла-да).....	—
9. Въ альбомъ.....	—

Д Ъ Д Ы

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

ИЗЪ ВРЕМЕНИ

ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I.

I.

Концы и начала.

На обширной площади передъ Зимнимъ дворцомъ была какая-то странная, необычная тишина. Народъ отдѣльными кучками стоялъ по разнымъ мѣстамъ этой площади и съ напряженнымъ вниманіемъ глядѣлъ на нѣсколько слабо освѣщенныхъ оконъ, которые какъ-то грустно и таинственно выдѣлялись своимъ тусклымъ свѣтомъ на темномъ фонѣ высокой каменной громады дворца, погруженной во мглистый мракъ ноябрьскаго вечера. Эти кучки народа оставались въ глубокомъ безмолвіи; изрѣдка развѣ обратится сосѣдъ къ сосѣду съ какимъ-нибудь замѣчаніемъ, вопросомъ или сообщеніемъ, но и то такъ тихо, въ полголоса, почти шопотомъ... Тягостная неизвѣстность и томительная тоска какого-то грустнаго ожиданія отпечатлѣвались на лицахъ. А между тѣмъ, несмотря на эти неподвижно стоявшія кучки, площадь полна была тревожнымъ движеніемъ. И отъ дворца, и ко дворцу почти непрерывно то отъѣзжали, то подкатывали всевозможные экипажи: курьерскіе возки, городскіе санки, тяжелыя барскія кареты четверней и шестеркой пугомъ, но мальчишки-форейтора, которые въ то время имѣли обыкновеніе кричать свое «пади!» съ громкимъ и продолжительнымъ визгомъ, стараясь выказать этимъ свое молодечество, на сей разъ не подавали ни малѣйшаго звука. Одно только глухое гроыханье колесъ, или время отъ времени топотъ копытъ коня какого-нибудь вѣстового гусара, въ высокой и мохнатой медвѣжьей шапкѣ, проносившагося

куда-то и зачѣмъ-то во всю конскую прыть, нарушали это странное и строгое безмолвіе.

— Еще вчера, сказываютъ, изволили быть въ совершенно добромъ здоровьи,—шопотомъ передавалъ въ одной изъ кучекъ народа какой-то мелкій сенатскій чиновникъ двумъ-тремъ изъ ближайшихъ сосѣдей.

— Гдѣ ужъ здорова!—съ грустнымъ вздохомъ махнулъ рукой старый инвалидъ въ гарнизонномъ кафтанѣ.—Мнѣ хорошій знакомецъ мой одинъ—онъ кафишенкомъ у князь Платонъ Александрыча ¹⁾—такъ онъ сказывалъ что еще третевадни цѣлый день на колики жаловалась.

— И однако-жъ вчера была здорова,—настаивалъ сенатскій чиновникъ,—и мнѣ даже черезъ одного человѣка изъ самаго дворца доподлинно вѣдомо, что даже обычное свое общество принимали въ будуварѣ, очень много разговаривали о кончинѣ сардинскаго короля и все шутить изволили надъ Нарышкинымъ, надъ Левъ Александрычемъ, все, значить, смертью его страшали, а нынѣ вотъ...

— Никто какъ Богъ... Его Святая воля... Авось-либо все еще, дастъ Богъ, благополучно кончится!—утѣшали себя нѣкоторые.

— Ахъ, дай-то Господи! Сохрани ее, матушку, Владычица небесная!—крестясь вздыхали другіе.

Въ то самое время въ опустѣлой Софіи, дремавшей среди уныло обнаженныхъ садовъ, миновавъ Царское Село, скакалъ верховой ординарецъ. Взмывленный конь его уже хрипѣлъ и выбивался изъ послѣднихъ силъ, а молодой

¹⁾ Зубова.

человѣкъ, межъ тѣмъ, все больше и больше прищипывалъ и нетерпѣливо побуждалъ его ударами шенкелей, но конь начиналъ уже спотыкаться и, видимо, терялъ послѣднія силы.

— Лошадь подь верхъ! Бога ради, живѣе! — торопливо и взволнованно закричалъ ординарецъ, приплетаясь кое-какъ на конюшій дворъ. Но его не слушали. На крыльцѣ передъ конюшнями стоялъ кто-то закутанный въ дорожную шубу, въ собольей шапкѣ и съ дорогой собольей муфтой въ рукахъ.

— Лошадей!.. Лошадей, каналья, скорѣе! — шумѣлъ и жестикулировалъ мужчина, — лошадей, говорю, или я тебя самого запрягу подь императора!

— Ахъ... ахъ, ваше сіятельство! — манерно и съ ужимками, полуучтиво и полугрубо отвѣчалъ ему на это хрипло-пьяноватымъ голосомъ какой-то старикашка, одѣтый въ гражданскій мундиръ засѣдателя. — Запречь меня не диковинка, но какая польза? Вить... вить я не повезу, хощь до смерти извольте убить.

— Подь императора, говорятъ тебѣ! — толпалъ межъ тѣмъ тотъ, кого засѣдатель называлъ сіятельствомъ.

— Да что такое императоръ? — все такъ-же манерно разводя руками, возражалъ ему пьяненькій старикашка. — О чемъ говоришь-то, не разумѣю... Какой императоръ?.. Если есть императоръ въ Россіи, то дай Богъ ему здравствовать, а буде матери нашей не стало, то... то ей вивать! вивать!.. Н-да! вотъ-те и засѣдатель!

Молодой ординарецъ, заглянувъ при свѣтѣ луны въ лицо закутаннаго мужчины, почтительно отдалъ ему воинскую честь и торопливо прошелъ мимо, направляясь въ конюшню и таща за собой на поводѣ измученную лошадь. Въ этомъ мужчинѣ онъ узналъ графа Николая Зубова.

Не дожидаясь засѣдателя, ординарецъ самъ выбралъ подь себя свѣжую лошадь, спѣшно пересѣдлалъ ее подь свое сѣдло и какъ вихрь помчался по гатчинской дорогѣ.

Вскорѣ на встрѣчу ему одиноко проскакалъ кто-то закутанный въ плащъ и на лету успѣлъ только крикнуть одно слово: «Бѣдетъ!» вслѣдъ за которымъ оба всадника уже далеко разминаясь другъ съ другомъ.

Черезъ нѣсколько минутъ сквозь ночную мглу показались впереди на дорогѣ точно бы два огненные глаза, которые, все увеличиваясь и приближаясь, превратились наконецъ въ два фонаря дорожной кареты, мутно свѣтившіе сквозь густой паръ, что валилъ облаками отъ въсѣмки запряженныхъ добрыхъ коней.

Молодой человѣкъ придержалъ свою лошадь.

— Кто тамъ? — раздался изъ открытаго окна мужской голосъ. — Гонецъ?.. съ извѣстіемъ?.. Что новаго?..

— Ея-величеству слава Богу лучше! — гром-

кимъ и отчетливымъ голосомъ доложилъ ординарецъ, поворотивъ свою лошадь и направляясь обратно по дорогѣ, вровень съ окномъ кареты. — Когда сняли испанскія мушки, — продолжалъ онъ, — государыня открыла глаза и попросила пить... Я отъ графа Салтыкова доложить, что есть надежда.

— Фу!.. Слава Богу! — съ глубокимъ, полнымъ и облегченнымъ вздохомъ послышалось изъ глубины кареты.

За экипажемъ скакали верхомъ и ѣхали въ саняхъ уже человѣкъ пять курьеровъ, посланныхъ ранѣе съ извѣстіями болѣе или менѣе тревожнаго свойства. Молодой ординарецъ, привезшій первую вѣсть надежды, присоединился къ этому кортежу и тоже поскакалъ за каретой.

Въ Софіи на перемѣну уже была готова новая подстава: Николаю Зубову какими-то судьбами удалось наконецъ уломать несговорчиваго засѣдателя. Когда экипажъ остановился предъ крыльцемъ, конюхи живо стали перепрягать лошадей. На площадкѣ въ это время стоялъ еще кто-то, новопріѣзжій изъ Петербурга, и разговаривалъ съ Зубовымъ.

— Ah, c'est vous, mon cher Rostoptchin! — послышалось изъ каретнаго окна, — faites moi le plaisir de me suivre; nous arriverons ensemble. J'aime à vous voir avec moi ¹⁾.

Зубовъ, молча, задумчивыми глазами, проводилъ отошедшаго Ростоппина. Быть можетъ, въ эту минуту онъ почувствовалъ въ его лицѣ восхождение новаго свѣтила въ средѣ царедворцевъ...

По дорогѣ въ Петербургъ, время отъ времени, попадались на встрѣчу все новые гонцы и курьеры, которыхъ уже вращали назадъ, и такимъ образомъ набралось ихъ человѣкъ двадцать, что составило длинную свиту саней и вѣрниковъ, мчавшихся за каретой.

Проѣхавъ Чесменскій дворецъ, наслѣдникъ приказалъ на минуту остановиться и вышелъ изъ экипажа. Чтобы хоть нѣсколько развлечь тяжелыя думы высокаго путника, Ростоппинъ, послѣ нѣкотораго молчанія, привлекъ его вниманіе на красоту ночи, которая, дѣйствительно, была необыкновенно тиха и свѣтла и слегка морозна: холодъ не превышалъ трехъ градусовъ. Красивыя тучки быстро и высоко неслись по темносинему небу, и луна то выплывала изъ-за облаковъ, то опять закутывалась въ дымку. Вокругъ царствовала глубокая тишина. Наслѣдникъ молча устремилъ свой взглядъ на луну — и при полномъ ея сіяніи Ростоппинъ замѣтилъ, что глаза его полны были слезъ, которыя тихо катились по лицу.

Поговоривъ съ Ростоппинымъ и крѣпко пожавъ ему руку, государь-наслѣдникъ уже са-

¹⁾ А, это вы, мой милый Ростоппинъ! Сдѣлайте одолженіе, пожайайте за мной! Я люблю быть съ вами.

дился было въ карету, какъ вдругъ обернулся и спросилъ, кто привезъ извѣстiе, что государынѣ лучше.

— Я, ваше высочество,—отвѣтилъ ему молодой ординарецъ, подавшійся впередъ изъ-за кареты.

— Сержантъ лейбъ-гвардіи Коннаго полка?

— Такъ точно, ваше высочество.

— Фамилія?

— Дворянинъ Василій Череповъ.

Наслѣдникъ кивнулъ головою, вслѣдъ затѣмъ дверца захлопнулась—и весь кортежъ помчался далѣе.

Зимній дворецъ былъ переполненъ людьми всякаго званія. При тускломъ свѣтѣ немногихъ лампъ, кое-какъ зажженныхъ наскоро, въ обширныхъ залахъ и корридорахъ толпились сенаторы, генералы, синодальное и иное духовенство, дворяне, городскіе обыватели, придворные чиновники и служители, дамы и фрейлины, гвардейскіе офицеры и солдаты. Одни поспѣшали сюда по обязанности своего званія, другіе изъ любопытства или изъ страха за жизнь императрицы, и всѣ съ затаеннымъ трепетомъ ожидали приближающейся роковой минуты. Смутный гулъ сдержаннаго шопота пробѣгалъ изъ залы въ залу; на каждомъ шагу повторялись вопросы и сообщенія то о часѣ апоплексическаго удара, то о дѣйствіи лекарствъ, о мнѣніи медиковъ... Всякій рассказывалъ разное, но общее чувство и общая мысль выражались въ желаніи хотя бы слабой надежды на выздоровленіе государыни. Графъ Безбородко, въ качествѣ статсъ-секретаря, находился въ ея кабинетѣ. Прибывъ, по обыкновенію, во дворецъ съ докладомъ, онъ съ самаго ранняго утра присутствовалъ здѣсь безотлучно и былъ въ отчаяніи: неизвѣстность будущей своей судьбы, страхъ, что новый государь на него еще въ гнѣвѣ за прежнія столкновенія, и живое воспоминаніе о столькихъ благодѣяніяхъ умирающей императрицы заставляли его часто рыдать какъ ребенка и наполняли сердце его горестью и ужасомъ. Онъ желалъ теперь только единственной милости—быть оставленнымъ безъ посямленія.

Отчаяніе же князя Зубова было безпредѣльно. Не только искусившійся опытомъ царедворцы, но каждый и даже первый попавшійся съ улицы человѣкъ могъ бы легко и свободно прочесть теперь на его фizioноміи полную и окончательную увѣренность въ своемъ паденіи и наступающемъ ничтожествѣ, и эта увѣренность, вопреки самолюбію и помимо искусства самообладанія, слишкомъ ясно выказывалась не только въ выраженіи лица, но даже въ каждомъ движеніи этого человѣка. Проходя черезъ комнату императрицы, онъ по нѣсколько разъ останавливался предъ умирающей и выходилъ рыдая. Толпа придворныхъ сторонилась, отшатывалась и удалялась отъ него, какъ отъ зачумленнаго, такъ

что князь убѣжалъ, наконецъ, въ дежурную комнату и упалъ въ кресло. Томимый жаждою и жаромъ, несчастный не могъ выпросить себѣ даже стакана воды, въ чемъ теперь отказывали ему тѣ, которые еще сутки лишь назадъ на одной его улыбки строили все счастье и благосостояніе своей жизни, и та самая комната, гдѣ еще вчера люди чуть не давили другъ друга, чтобы стать къ нему поближе, обратилась теперь для него въ глухую пустыню.

Наконецъ пріѣхалъ великій князь наслѣдникъ и, зайдя на минуту въ свою комнату въ Зимнемъ дворцѣ, пошелъ на половину императрицы. Вѣсть о его прибытіи въ то же мгновеніе успѣла облетѣть всѣхъ собравшихся въ залахъ, и пріемъ, оказанный ему, былъ уже пріемомъ какъ бы государю, а не наслѣднику. Великіе князья Александръ и Константинъ вышли къ нему на встрѣчу, уже одѣтые въ мундиры тѣхъ батальоновъ, которыми командовали они въ гатчинскомъ «модельномъ войскѣ». Проходя черезъ комнаты, наполненные людьми, ожидавшими восшествія его на престолъ, великій князь очень милостиво, съ ласковымъ и столь свойственнымъ ему рыцарски-учтивымъ видомъ отвѣчалъ на безчисленные глубокіе и часто подобострастные поклоны.

Умирающая лежала на полу, на сафьяновомъ матрацѣ, въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ успѣли помѣстить ее въ первыя минуты утротъ камердинеры ея Тютьнанъ и Захаръ Зотовъ, не будучи въ состояніи поднять на кровать безчувственное тѣло, по причинѣ его значительной тяжести. Теперь уже не къ чему было тревожить его перекладываніемъ, при послѣднемъ издыханіи. Государыня лежала навзничъ, неподвижно, съ закрытыми глазами. Сильное хрипѣніе въ горлѣ, среди всеобщей тишины, слышно было даже въ смежной комнатѣ. Вся кровь билась въ голову, и цвѣтъ лица становился иногда багровымъ, а иногда, когда кровь отливала, принималъ вдругъ самый живой и свѣжій румянецъ. Это послѣднее явленіе обыкновенно пробуждало на минуту въ присутствующихъ нѣкоторую надежду, которая—увы!—черезъ нѣсколько мгновеній угасала снова... У тѣла находились попеременно придворные лекаря и, стоя на колѣнахъ, внимательно слѣдили за дыханіемъ и малѣйшими колебаніями пульса. Въ опочивальнѣ, кромѣ медиковъ и ближайшей прислуги, присутствовали члены императорской фамиліи и камеръ-фрейлина Протасова ¹⁾, ни на минуту не отлучавшаяся отъ государыни съ самаго утра. Глаза ея, помутившіеся глубокимъ горемъ, не отрывались отъ полумертваго тѣла ея благодѣтельницы. Агонія продолжалась уже болѣе сутокъ. Доктора объявили наконецъ, что всякая надежда кончена. Тогда, по приказанію великаго князя наслѣдника, преосвященный Гавріилъ съ духовенствомъ прочелъ надъ умирающею глухую

¹⁾ Анна Степановна.

исповѣдь и причастилъ ее Святыхъ Тайнъ. Затѣмъ Павелъ Петровичъ удалился въ боковой кабинетъ, куда призывалъ для дѣловыхъ разговоровъ нѣкоторыхъ лицъ или тѣхъ, кому имѣлъ сообщить какое либо приказаніе. Такъ, между прочимъ, поручилъ онъ Ростопчину передать графу Безбородкѣ, что, «не имѣя никакого особеннаго противъ него неудовольствія, онъ проситъ его забыть все прошедшее и считаетъ на его усердіе, зная дарованія его и способности къ дѣламъ»; потомъ призывалъ самого графа и лично поручилъ ему заготовить указъ о восшествіи на престолъ всероссійскій; въ теченіе дня разъ пять или шесть призывалъ къ себѣ также и князя Зубова, разговаривалъ съ нимъ очень милостиво и, умѣряя его отчаяніе, увѣрялъ въ своемъ благорасположеніи.

Въ теченіе этого времени во дворецъ прибывали все новыя и новыя сановныя лица, чиновники, военные и люди всякаго состоянія. Горестная вѣсть уже успѣла разнестись по столицѣ, и къ вечеру громадные толпы народа, осыпавыя густыми хлопьями мокраго снѣга, въ прежнемъ безмолвіи стояли на Дворцовой площади. Войска же петербургскаго гарнизона всѣ были собраны въ своихъ казармахъ, въ ожиданіи присяги новому императору.

Въ девять часовъ вечера лейбъ-медикъ государыни, англичанинъ Роджерсонъ, войдя въ кабинетъ, гдѣ находился наслѣдникъ съ супругою, объявилъ, что императрица кончается.

Тотчасъ приказано было войти въ опочивальню умирающей всѣмъ великимъ князьямъ, княгинямъ и княжнамъ, съ которыми вошла и воспитательница ихъ, статсъ-дама Ливентъ, а за нею князь Зубовъ, графъ Остерманъ, Безбородко и Самойловъ. По правую сторону императрицы сталъ наслѣдникъ съ супругою и семействомъ, по лѣвую—доктора, лекаря и вся ближайшая прислуга Екатерины, а въ головахъ—призванные въ комнату Ростопчина и Плещеевъ. Дыханіе императрицы сдѣлалось очень трудно и рѣдко; кровь, какъ и прежде, все еще то бросалась въ голову, искажая черты лица, то отливала въ грудную полость, возвращая физиономіи естественный ей видъ. Полное и благоговѣйное молчаніе всѣхъ присутствующихъ, затаянный и сдержанный трепетъ послѣдняго страшнаго ожиданія, нѣмые взгляды, устремленные на лицо умирающей, отдаленіе на эту минуту отъ всего земного, отъ всѣхъ постороннихъ и суетныхъ помысловъ, глубочайшая тишина и слабый свѣтъ, мерцающій въ комнатѣ,—все это обнимало ужасомъ душу cadaго, все возвышало близкое вліяніе смерти... Тихо и мелодично, переливаясь тонкими металлическими звуками, пробили старинныя часы первую четверть одиннадцатаго. Великая женщина вздохнула въ послѣдній разъ и... духъ рабы Божіей Екатерины предсталъ предъ судъ Всевышняго.

Съ послѣднимъ вздохомъ, казалось, вдругъ

наступилъ для нея тихій и сладкій сонъ. Всегдашняя ея пріятность и величіе постепенно и такъ замѣтно разлились опять по чертамъ спокойнаго лица и во-очію всѣхъ явили еще разъ ту царницу, которая славою своего царствованія наполняла всю вселенную. Сынъ ея и наслѣдникъ преклонился предъ бездыханнымъ тѣломъ и вышелъ, заливаясь слезами, въ другую горницу. Въ то же мгновеніе опочивальня огласилась воплемъ женщинъ, служившихъ Екатеринѣ.

Но слезы и рыданія не простирались далѣе той комнаты, гдѣ лежало тѣло государыни. Прочіе покои дворца были наполнены знатью и чиновниками,—по преимуществу тѣми людьми, которые во всѣхъ перемѣнахъ и обстоятельствахъ, счастливыхъ и несчастныхъ, прежде всего видятъ только самихъ себя и заняты исключительно сами собою, а эта печально-торжественная минута для многихъ и многихъ изъ нихъ казалась страшнымъ судомъ и грозила расплатой за прошлое...

Графъ Салтыковъ вышелъ въ дежурную комнату съ официально печальнымъ и важнымъ видомъ и объявилъ во всеуслышаніе:

— Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, государь Павелъ Петровичъ изволилъ взойти на всероссійскій престолъ.

Едва были произнесены эти слова, какъ множество паредворцевъ бросилось обнимать Самойлова, Ростопчина, Плещеева, камеръ-пажа Нелидова, и прочихъ, въ комъ только усматривали или могли предполагать они будущихъ приближенныхъ, поздравляя ихъ, а за ними всѣхъ присутствующихъ съ новымъ императоромъ.

Графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ, измученный нравственно и изнеможенный физически, проведя въ слезахъ и терзаніяхъ, безъ сна и пищи, почти двое сутокъ, не въ силахъ былъ уже дожидаться кончины императрицы и уѣхалъ къ себѣ на квартиру. Едва прилегъ онъ отдохнуть, какъ приближали сказать ему, что государыня скончалась, а вслѣдъ затѣмъ явился посланный съ повелѣніемъ отъ государя, чтобы Орловъ немедленно прибылъ во дворецъ для учиненія присяги. Старикъ, отговариваясь крайнимъ утомленіемъ, поручилъ передать императору, что, какъ скоро разсвѣтетъ, онъ не преминетъ явиться и исполнить долгъ своего вѣроподданства. Государю такой отвѣтъ показался неугоденъ, и онъ послалъ къ графу вторично, чтобы тотъ, невзирая ни на что, явился немедленно же къ присягѣ. Надо было повиноваться.

— Полагаю, ваше сіятельство, что и вамъ надлежало бы учинить присягу? — встрѣтилъ его императоръ, какъ только гордый вельможа вошелъ къ нему въ комнату.

— Конечно, такъ, государь!—съ глубокимъ и почтительнымъ поклономъ отвѣчалъ Орловъ,—и я, повѣрьте, готовъ учинить то съ охотѣйшимъ моимъ сердцемъ.

Государь вымѣрялъ его взглядомъ и, каза-

лось, внутренно остался доволен отвѣтомъ.

Въ это время оберъ-церемоніймейстеръ Валуевъ, извѣстный какъ самый ревностный блюститель порядка всѣхъ придворныхъ торжествъ и церемоній, явился съ докладомъ, что въ дворцовомъ храмѣ все уже готово къ присягѣ.

Въ церкви, залитой огнями сверкающихъ люстръ, паникадилъ и канделябръ, Павелъ Петровичъ впервые сталъ на императорское мѣсто, и преосвященный Гавріилъ, выйдя на амвонъ, началъ внятно и явственно читать форму присяги, которую вслѣдъ за нимъ громко повторяла густая толпа присутствующихъ, поднимавъ крестообразно сложенные правыя руки.

Императрица Марія, по окончаніи присяжнаго обряда, подойдя къ государю, хотѣла было преклонить передъ нимъ колѣна, но онъ удержалъ и съ чувствомъ обнялъ ее, а вслѣдъ за ней и всѣхъ дѣтей своихъ. За симъ каждый изъ присутствовавшихъ цѣловалъ крестъ и Евангеліе и, подписавъ на присяжномъ листѣ свое имя, почтительно подходилъ къ рукѣ императора и императрицы. Когда же окончилась и эта долгая и утомительная церемонія, Павелъ пошелъ прямо въ опочивальню покойной государыни, тѣло которой къ этому времени было уже въ бѣломъ платьѣ положено на кровать, и въ головахъ его на аналоѣ дьяконъ читалъ Евангеліе.

Это было въ ночь съ 6-го на 7-е на ноября 1796 года.

II.

Первые дни императора Павла.

Едва окончился обрядъ торжественной присяги, какъ къ Зимнему дворцу подлетѣла взмыленная курьерская тройка. Въ саняхъ, дрожа и ёжась отъ холода, сидѣлъ какой-то неизвѣстный петербургской публикѣ человѣкъ, безъ пубы и даже безъ плаща, въ одномъ только полковничьемъ мундирѣ гатчинской формы. Онъ былъ очень сухощавъ, сутуловатъ и жилистъ, и какъ-то судорожно все морщилъ свой подбородокъ. Толстая, несуразной формы голова, постоянно наклоненная на одинъ бокъ, желчно-смуглый цвѣтъ лица и большія мясистыя уши прежде всего кидались въ глаза всѣмъ и каждому при первомъ взглядѣ на этого человѣка. При покойной императрицѣ офицеры гатчинскаго отряда никогда не допускались въ Зимній дворецъ, и потому, не зная расположенія комнатъ, новоприбывшій гатчинецъ просто заблудился въ невѣдомомъ ему лабиринтѣ залъ и корридоровъ... Онъ долго не могъ отыскать императора и тщетно пытался прѣ него у встрѣчныхъ придворныхъ и камеръ-лакеевъ.

— Кто это? Что за человѣкъ такой? Откуда взялся таковъ? — неслись вслѣдъ ему и

справа и слѣва безчисленные вопросы, которыми перекидывались между собой лица Екатерининскаго двора, невольно останавливая вниманіе на странномъ костюмѣ и несуразной фигурѣ незнакомца, а въ особенности на его впадыхъ, сѣрыхъ глазахъ, въ которыхъ свѣтилась какая-то странная смѣсь ума и злости вмѣстѣ съ неуклонной энергіей и желѣзной волей.

Но на всѣ эти летучіе вопросы никто не могъ дать опредѣленнаго положительнаго отвѣта, и за проходившимъ гатчинецъ всецѣло оставалось у всѣхъ одно только безпричинно-непріятное впечатлѣніе, которое дѣлала его, во всякомъ случаѣ, замѣчательная наружность.

— Гдѣ же государь, наконецъ? — остановясь близъ дверей одной залы и съ нѣкоторымъ раздраженіемъ пожавъ плечами, спросилъ незнакомецъ повышеннымъ голосомъ, причѣмъ обвелъ толпу недоумѣло-вопросительнымъ взглядомъ. Онъ говорилъ въ носъ, немножко гнуся и не то-что не договаривая, а какъ бы глотая окончанія словъ и фразы. — Я вызванъ сюда именнымъ моего государя повелѣніемъ, по эстафетѣ, — продолжалъ онъ, видимо сдерживая внутри себя раздраженіе, — и вотъ уже полчаса какъ тщетно ищу его величество, и никому не угодно указать мнѣ, гдѣ государь изволитъ находится.

На этотъ возгласъ откликнулся одинъ изъ гатчинскихъ камердинеровъ государя, случайно находившійся въ залѣ, и почтительно провелъ незнакомца въ кабинетъ императора.

— Кто таковъ? — посыпались на него вопросы, едва лишь онъ затворилъ дверь за неизвѣстнымъ гатчинецъ.

— Господинъ полковникъ Аракчеевъ, — было отвѣтомъ ближайшей кучкѣ любопытныхъ.

— Аракчеевъ?.. Что такое — Аракчеевъ?.. Арак... Dieu, quel nom atroce! — Что за птица? Откуда? — жужжа по залѣ, полетѣли изъ устъ въ уста недоумѣвающие вопросы и ироническія улыбки.

Черезъ четверть часа всеобщее недоумѣніе разъяснилось. Аракчеевъ вышелъ изъ царскаго кабинета объ-руку съ цесаревичемъ Александромъ и въ сопровожденіи великаго князя Константина, а черезъ минуту въ кучкахъ Екатерининскихъ придворныхъ уже передавали самую свѣжую новость, что наследникъ престола назначенъ петербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ полковникомъ лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, великій же князь Константинъ полковникомъ въ Измайловскій полкъ, а Аракчеевъ сдѣланъ петербургскимъ комендантомъ съ производствомъ въ генералъ-майоры. При этомъ передавали, что государь принялъ его съ необычайною милостію, поставилъ рядомъ съ наследникомъ, соединилъ ихъ руки и сказалъ: «Будьте друзьями и помогайте мнѣ»..

Этого разсказа было достаточно, чтобы не только самые юркіе, но даже и наименѣе смышленные люди поспѣшили тутъ же представиться новому коменданту, и съ любезными, искательными улыбками почтительно поручали себя его благосклонному вниманію... Аракчеевъ всѣ эти изъявленія принималъ сдержанно, сухо и холодно. Видно было сразу, что онъ понимаетъ въ корень истинный, сокровенный смыслъ и значеніе придворныхъ ласкъ и привѣтствій.

Начинало свѣтать. Великіе князья, въ новыхъ своихъ гатчинскихъ мундирахъ, съ голубыми Андреевскими лентами черезъ плечо, сѣли на коней и, безъ всякой свиты, поѣхали каждый къ своему полку приводить людей къ присягѣ. На улицахъ было много движенія экипажей и пѣшеходовъ. Лавки начинали отпираться, несмотря на то, что урочная пора для этого далеко еще не наступала.

Сѣрватая мгла разсвѣта пропитана была сыростью быстро начавшейся оттепели. Моросилъ частый дождикъ, и среди глубоко-выпавшаго снѣга успѣли образоваться лужи. Сѣрые контуры домовъ, скрадываясь и сливаясь въ этой туманной мглѣ, глядѣли угрюмо, скучно и холодно. Не только въ лицахъ людей, но, казалось, какъ будто даже въ самомъ воздухѣ разлитъ что-то тоскливое, тревожное, недоумѣвающее... По улицамъ, шлепая по слякоти, въ разныхъ направленіяхъ понуро шли гренадерскіе взводы гвардейскихъ полковъ, относя къ своимъ частямъ знамена, взятые изъ дворца для присяги. На сѣзжихъ полковыхъ дворахъ отсырѣлые и подмокшіе барабаны жидкимъ звукомъ дребезжали «сборъ» — и на этотъ призывный бой, съ разныхъ сторонъ, съ ружьями на перевѣсѣ, въ одиночку выбѣгали изъ казармъ солдаты и спѣшно строились на плацѣ-парадномъ мѣстѣ къ своимъ ротамъ. На каждой такой площадкѣ, предъ наскоро вынесеннымъ аналоемъ, стоялъ съ крестомъ и Евангеліемъ полковой священникъ въ полномъ облаченіи. По прибытіи великихъ князей къ своимъ частямъ, полки Семеновскій и Измайловскій приняли присягу. Преображенскій полкъ былъ приведенъ къ присягѣ своимъ заслуженнымъ и почтеннымъ подполковникомъ Татищевымъ, ¹⁾ котораго государь въ этотъ день тоже почтилъ особою милостію: когда Татищевъ, подавъ ему строевой рапортъ, отступилъ, по тогдашнему правилу, на нѣсколько шаговъ, императоръ самъ подошелъ къ нему, привѣтливо взялъ старика за руку и, подводя къ себѣ, сказалъ, что «такимъ почтеннымъ и заслуженнымъ мужамъ надлежитъ быть ближе къ государю, а въ уваженіе къ его старости, разрѣшилъ ему сидѣть

въ своемъ присутствіи, даже и въ томъ случаѣ, если бы самъ онъ разговаривалъ съ нимъ стоя.

Присяга гвардіи представляла грустное и трогательное зрѣлище: развернутыя знамена полоскались по вѣтру предъ сотенными рядами поднятыхъ рукъ; лица людей были блѣдны и смутны; офицеры и солдаты стояли тихо и понуро, погруженные въ глубокую горестъ; бѣлая часть изъ нихъ молча глотали слезы, иные же плакали навзрыдъ; индѣ раздавались громкіе вздохи и вопли: «Пропали мы, пропала Россія!—Матери не стало... Всѣмъ мать была!.. всѣмъ одна!» Начальствующія лица не унимали этихъ проявленій скорби: они и сами думали и чувствовали почти то-же. И эта скорбь—надо замѣтить—въ такихъ же точно проявленіяхъ выказывается въ русскомъ войскѣ при смерти каждого любимаго монарха.

На 8-е число ноября назначенъ былъ первый «вахтъ-парадъ» ¹⁾ на дворцовой площадкѣ. Въ церемоніи развода должны были парадировать части отъ Измайловскаго и лейб-гвардіи Коннаго полковъ. Великій князь Константинъ, желая одѣлать государю пріятный сюрпризъ, очень заботился, чтобы на этомъ вахтъ-парадѣ, еще первомъ и потому совершенно новомъ въ Петербургѣ, нѣкоторые командныя слова произносились по гатчинскому образцу и чтобы всѣ офицеры были на парадѣ въ длинныхъ перчаткахъ съ раструбами и нѣсли въ рукахъ форменныя гатчинскія трости. Нѣсколько вздовыхъ великаго князя, вмѣстѣ съ полковымъ адъютантомъ, ²⁾ еще до-свѣту обрыскали весь гостинный дворъ, всѣхъ столичныхъ перчаточниковъ и токарей и, къ радости молодого полковника, когда въ 8 часовъ утра онъ пріѣхалъ на полковой дворъ, всѣ эти вещи были уже на лицо и въ совершенной исправности. Полкъ еще съ трехъ часовъ ночи учился на плацу гатчинскому артикулу. Великій князь прорепетировалъ церемонію вахтъ-парада, провѣрилъ офицеровъ и солдатъ и остался доволенъ. Дѣйствительно, Измайловскому полку, на удивленіе самому себѣ, удалось въ нѣсколько часовъ довольно отчетливо изучить важнѣйшія правила новаго устава, надъ готовою рукописью котораго въ это самое время дѣятельно работали въ сенатской типографіи нѣсколько наиболѣе искусныхъ наборщиковъ ³⁾.

Конногвардейцы тоже были въ большой тревогѣ.

Два эскадронныхъ парикмахера всю ночь трудились надъ солдатскими головами, при-

¹⁾ Разводъ.

²⁾ Е. Ѳ. Комаровскій, впоследствии графъ и генералъ-адъютантъ.

³⁾ Три устава о воинской службѣ были изда- ны уже 29 ноября 1796 года.

¹⁾ Николай Алексѣевичъ, генералъ-поручикъ и гвардіи полковникъ.

вода ихъ въ новый форменный порядокъ: ма-зали саломъ ихъ волосы, завивали бубли, за-плетали толстыя косички и въ изобилии обы-пали всю эту куафюру, вмѣсто пудры, пше-ничною мукою. Люди съ трудомъ натягивали другъ на друга мокрыя досины, и ни одинъ человѣкъ не смѣлъ присѣсть, облокотившись къ стѣнѣ, чтобы не смять своей прически. Полковой командиръ, майоръ Васильчиковъ, самымъ тщательнѣйшимъ образомъ во всѣхъ мелочахъ и подробностяхъ осматривалъ каж-даго человѣка изъ отборнаго взвода, назна-ченнаго во внутренній дворцовый караулъ, и неоднократно прорывалось у него душевное безпокойство и опасеніе; онъ зналъ, что новый императоръ не совсѣмъ-то доволенъ духомъ, господствовавшимъ въ средѣ этого аристо-кратическаго полка. Но главное смущало его то, что въ цѣломъ полку никто еще не имѣлъ ни малѣйшаго понятія о новомъ уставѣ. И вдругъ замѣтилъ онъ, что въ концѣ казармен-наго корридора собралась вокругъ кого-то куч-ка конногвардейцевъ, изъ которой по време-намъ раздавались взрывы сдержанной весе-лости.

— Что тамъ за смѣхи? Узнай, пожалуй, мнѣ! — досадливо приказалъ онъ своему личному адъютанту.

— Сержантъ Череповъ показываетъ прус-скую выправку и экзерцицію, — доложилъ тотъ, возвратившись отъ веселой кучки.

— Ва! такъ онъ знаетъ, не шутя? — съ жи-востью подхватилъ начальникъ. — Послать ко мнѣ его сейчасъ-же!

— Череповъ!.. Сержанта Черепова къ ко-мандиру! — словно эхо изъ устъ въ уста пошелъ призывный кличъ по длинному корридору.

— Ну, братъ Вася, достукался! Будетъ уже пудрамантель! — шопотомъ пророчили вослѣдъ ему товарищи.

Но «братъ Вася», нимало не смущаясь, шелъ къ командиру своимъ обычнымъ смѣ-лымъ и увѣреннымъ шагомъ.

— Ты что тамъ за экзерцицію показуешь? — серьезно спросилъ его Васильчиковъ.

— Съ прусской модели, — бойко отвѣтилъ Череповъ.

— И ты не врешь, братецъ?

— Я, ваше превосходительство, дворя-нинъ, — возразилъ сержантъ, гордо вскинувъ слегка свою красивую голову, — и, какъ дворя-нину, врать мнѣ недостойно.

— Гм... Молодецъ, коли такъ! — Да отку-да-жь тебѣ эта выправка вѣдома?

Череповъ объяснилъ, что еще въ прошломъ году, будучи уволенъ въ шестимѣсячный до-машній отпускъ, онъ отпросился «въ нѣкото-рый малый войскъ» за границу и, проживъ два мѣсяца въ Берлинѣ, сошелся съ прусскими солдатами, многократно видѣлъ тамошніе вахтъ-парады и съ наглядки «нарочито и весьма

изрядно» ознакомился съ прусскою выправкой и экзерциціей, такъ что съ тѣхъ поръ не-рѣдко «утѣшаетъ» своихъ «камратовъ» пере-дразнивая и корча, по ихъ просьбѣ, нѣмецкихъ солдатъ и офицеровъ.

— А ну-ка, покажи, какъ это? — предложилъ ему Васильчиковъ.

Череповъ, съ самымъ серьезнымъ видомъ, воспроизвелъ передъ своимъ командиромъ всю воспринятую имъ премудрость.

— Скажи, пожалуй! — воскликнуть тотъ, хлопнувъ себя по колѣнямъ, — да ты, братъ, и впрямь какъ настоящій гатчинецъ!.. Ви-далъ и я ихъ тоже... Ей-ей, прекрасно, без-подобно! Полюбуйтесь, господа офицеры!

Но господа офицеры уже и безъ того любо-вались на ловкаго и молодцоватаго дѣтину.

— Господишь адъютантъ! — назначить сего сержанта нынѣ въ разводъ на ординарцы къ его величеству, распорядился повеселѣвшій Ва-сильчиковъ. — А тебя, братецъ, прошу въ грязь лицомъ не ударить! — прибавилъ онъ, обратясь къ Черепову.

— Радъ стараться! — бойко выкрикнулъ «братъ Вася» и, совершенно по темпамъ прус-скаго образца, повернувшись налѣво-кругомъ, отошелъ отъ своего командира.

Ростепель и мокреть продолжались уже пол-торы сутки. Рыхлый снѣгъ валилъ въ неимо-вѣрномъ количествѣ и предательски застилалъ своею бѣлопуховой скатертью изобильныя лужи отдаленныхъ и немощеныхъ петербургскихъ улицъ. Конная гвардія квартировала тогда за Таврическимъ дворцомъ, подъ Смольнымъ. Въ девятомъ часу утра части, назначенныя въ разводъ, выступили изъ казармъ. Мимо «Та-вриды» тянулась къ Зимнему дворцу сначала конная команда, а за нею весь наличный со-ставъ конногвардейскихъ офицеровъ и, нако-нецъ, отборный пѣшій взводъ внутренняго ка-раула. Люди были одѣты въ лучшихъ своихъ мундирахъ, синихъ съ золотомъ, въ лучшихъ шляпахъ съ дорогимъ плюмажемъ, безъ пла-щей, въ полной амуниціи, и увязали въ глу-бокомъ снѣгу пустынной уллицы. Въ половинѣ десятаго измайловцы и конногвардейцы засту-пили назначенныя имъ мѣста на дворцовой площадкѣ. Здѣсь уже стояла толпа офицеровъ отъ разныхъ частей войскъ, но народу вообще было очень мало, — быть можетъ потому, что объ этомъ новомъ явленіи петербургской жиз-ни никакой официальный агентъ власти и администраціи не извѣщалъ публику заблаго-временно. Около этого времени къ толпѣ офи-церовъ стали все болѣе и болѣе присоединять-ся лица штабъ-офицерскихъ и генеральскихъ ранговъ, подѣвзая къ площадкѣ въ своихъ возкахъ и каретахъ. И ни на комъ ни единого плаща, а ужъ о шубахъ или муфтахъ и поми-ну не было! Все это гвардейское офицерство

присутствовало въ однихъ тоненькихъ мундирахъ и, съ непривычки, тряслось отъ холоду подъ косымъ дождемъ, на вѣтру, который стремительными и буйными порывами налеталъ со моря. Здѣсь, въ этой толпѣ, передавалось множество новыхъ слуховъ и фактовъ, но нельзя сказать, чтобы всѣ эти новости нравились или производили пріятное впечатлѣніе на массу гвардейцевъ, давно уже привыкшихъ къ совершенно иному порядку беззаботной службы и сибаритской жизни. Сообщали за вѣрное, что отнынѣ, въ силу высочайшаго приказа, уже ни одинъ офицеръ не смѣетъ являться никуда иначе, какъ въ форменномъ мундирѣ, тогда какъ до сего времени гвардейскіе щеголи «за рѣдкость мундиръ надѣвали», а больше все фланировали въ муфтахъ, въ шубахъ, да въ роскошно расшитыхъ французскихъ фракахъ, изъ бархатныхъ и драгоценныхъ шелковыхъ матерій, заботясь единственно лишь о своемъ изяществѣ и помышляя только о трактирахъ, банкетахъ, театрахъ, балахъ, маскарадахъ, да о томъ, чтобы посѣщать «пріятныя общества»; о службѣ же дѣйствительной и «всякое понятіе давно позабыли». Сообщали также, что офицерамъ запрещено ѣздить въ крытыхъ экипажахъ, тогда какъ при покойной государынѣ гвардейскій офицеръ «за стыдъ почиталъ себя» не имѣть собственной кареты съ шестеркой и даже съ осмеркой рысаковъ и съ залатымъ въ золото, либо въ серебро гусаромъ, а не то егеремъ на запяткахъ, теперь же только офицерскія жены могли выѣзжать въ закрытыхъ экипажахъ, да и то не шестерней, а парой, или много-много если четвернею цугомъ; мужья же ихъ обязаны были ѣздить верхомъ, либо въ простыхъ санкахъ, или дрожкахъ, «но отнюдь не съ пышностію и великолѣпіемъ». При Екатеринѣ, дѣйствительно, роскошь въ общественной и частной жизни достигла блестящѣйшихъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и печальнѣйшихъ размѣровъ. Не только знатные и богатые, но даже люди самаго посредственнаго состоянія тянулись изо всѣхъ силъ, чтобы не отстать отъ вельможъ и магнатовъ, поражавшихъ всю Европу «своими нѣгами и роскошями». Всѣ хотѣли «кушать» не иначе, какъ на чистомъ серебрѣ, и разорялись на драгоценные сервизы. Императоръ Павелъ въ разговорахъ «о сей матеріи» высказалъ напрямикъ, что онъ охотно согласенъ самъ до тѣхъ поръ ѣсть на оловѣ, пока не востановитъ нашимъ деньгамъ надлежащій курсъ и не доведетъ государственные финансы до того, «чтобы рубли русскіе ходили дѣйствительно рублями».

— Изреченіе божественное и достойно великаго государя!—воскликали при этомъ нѣкоторые, тогда какъ большинство, недовольное новыми порядками и стѣсненіями, только улыбалось и сомнительно покачивало головою.

Между тѣмъ, пока гвардейская молодежь, поживаясь отъ холоду, вмѣстѣ со стариками судачила и обносила въ своихъ кружкахъ новыя узаконенія, великій князь Константинъ, предъ своимъ измайловскимъ фронтомъ, повидимому, совершенно стойчески и равнодушно переносилъ докучную петербургскую непогоду. Около трехъ четвертей одиннадцатаго часа онъ приказалъ адъютанту Комаровскому взять подпрапорщика ⁽¹⁾, идти во дворецъ и, остановясь передъ кабинетомъ государя, велѣть камердинеру доложить его величеству, что разводъ Измайловскаго полка готовъ и что адъютантъ пришелъ за знаменемъ. Комаровскій отправился, но черезъ нѣсколько минутъ вышелъ на площадку, хотя и съ подпрапорщикомъ, но безъ знамени, и смущенно передалъ удивленному и озабоченному Константину, что когда камердинеръ открылъ дверь кабинета и подаль ему знакъ войти, то императоръ, стоя, надѣвалъ перчатки и уже приказалъ-было взять знамя, какъ вдругъ, увидѣвъ громаднаго роста подпрапорщика, спросилъ неожиданно: «а чтѣ, онъ дворянинъ?» и на отрицательный отвѣтъ Комаровскаго замѣтилъ, что «знамя должно быть всегда носимо дворяниномъ», и повелѣлъ привести унтеръ-офицера изъ этого сословія.

Великій князь, необычайно боявшійся отца, сильно перетревожился и приказалъ взять поскорѣе, на первый случай, хоть какого-нибудь подходящаго сержанта. И едва знамя было вынесено къ фронту, какъ на крыльцо гурьбой высыпали новыя лица, новыя сановники, одѣтые въ мундиры новой формы. Эта форма, съ непривычки рѣзавшая глаза и казавшаяся странною, даже какъ будто маскарадною, доставила на первый разъ всему разводу, а въ особенности конногвардейцамъ, источникъ остроты и смѣха. Всѣ эти лица казались имъ словно бы старые портреты нѣмецкихъ офицеровъ, выскочившіе изъ своихъ рамокъ.

Ровно въ одиннадцать часовъ изъ дворца вышелъ самъ императоръ въ преображенскомъ мундирѣ новой формы и направился къ разводу. Сначала, при видѣ петербургской гвардіи, онъ былъ какъ будто недоволенъ—по крайней мѣрѣ, замѣтно отдувался и пыхнулъ, что всегда являлось у него вѣрнымъ признакомъ неудовольствія или гнѣва. Но когда предъ измайловскимъ фронтомъ раздалась команда по-гатицки и строй отчетливо исполнилъ, что требовалось, лицо императора прояснѣло и озарилось привѣтливой улыбкой.

Наконецъ настала очередь ординарцевъ.

Завидѣвъ синій съ золотомъ мундиръ подходящаго конногвардейца, императоръ снова было насутился и отвернулся нѣсколько въ сторону, но ординарецъ, молодцовато остановясь

⁽¹⁾ Въ полковомъ приказѣ было сказано, чтобы подъ знамя нарядить подпрапорщика.

передъ нимъ на разстояніи трехъ шаговъ, продолжалъ все, что слѣдовало въ данномъ случаѣ, въ совершенствѣ подражая прусскому идеалу.

Государь, пріятно удивленный этой новой неожиданностью, внимательно окинулъ ординарца своимъ быстрымъ взглядомъ, и съ благосклонной улыбкой обратился къ полковому командиру:

— Такъ и у васъ, господинъ майоръ, успѣли уже ознакомиться съ новымъ уставомъ? — спросилъ онъ.

Васильчиковъ, не рѣшался утвердительно отвѣтомъ высказать неправду и въ то же время боясь разочаровать государя откровеннымъ признаніемъ, отвѣчалъ нѣсколько уклончиво, съ почтительнымъ поклономъ:

— Стараемся, ваше императорское величество!

Государь лично скомандовалъ ординарцу нѣсколько пріемовъ и поворотовъ, полюбовался его выправкой и маршировкой и остался совершенно доволенъ.

— Спасибо, молодецъ! — привѣтливо кивнулъ онъ ему головою. — Твоя фамилія?

— Череповъ, ваше величество!

— Э, такъ мы съ тобой уже знакомы!

И послѣ короткаго молчанія, въ теченіе котораго его внимательный и зоркій глазъ скользилъ по стройной фигурѣ ординарца, онъ вдругъ прибавилъ.

— Благодарю, *корнетъ*! Мнѣ лестно видѣть въ васъ такого отличнаго служаку!

Это было сказано громкимъ и пріятнымъ голосомъ, такъ что не только окружающіе, но весь разводъ отчетливо слышалъ слова государя, которыя были полною неожиданностью для всѣхъ и болѣе всѣхъ для самого Черепова. Почти ошальзый отъ радости, онъ смутно вспомнилъ, однакоже, что надо сейчасъ же благодарить государя за милость и, по обычаю того времени, преклонилъ предъ нимъ колѣно.

Императоръ протянулъ ему для поцѣлуя свою руку. Череповъ почтительно прикоснулся къ ней губами.

Въ это время прискакали гатчинскихъ войскъ поручикъ Ратьковъ и доложилъ государю, что гатчинскіе и павловскіе батальоны находятся уже предъ городской заставой и ожидаютъ высочайшихъ повелѣній. Обрадованный императоръ тутъ же самъ надѣлъ на него Анненскій крестъ 2-го класса и назначилъ адъютантомъ къ наслѣднику. Въ ту же минуту къ государю подвели «Помпона», его любимую верховую лошадь, и онъ, въ сопровожденіи двухъ сыновей своихъ, быстро поскакалъ на встрѣчу своимъ старымъ любимцамъ, которые всецѣло были его личнымъ созданіемъ, его забавой и утѣшеніемъ въ теченіе долгихъ и монотонныхъ лѣтъ его гатчинскаго одиночества.

Гвардейскій разводъ остался на площади. Хотя по отбытіи государя никѣмъ не была по-

дана команда «стоять вольно», но конногвардейцы, по «вольности дворянства» и по недавнему еще обыкновенію, на что смотрѣлось сквозь пальцы, кружкомъ обступили счастливаго Черепова и на-перерывъ поздравляли его съ неожиданной милостью.

— Каково метнулъ изъ нашего брата-солдата да прямо въ гвардію корнеты!

— Поди-ка!.. Ну-тка!.. да, вотъ-те и пудрамантиль! — дружески смѣясь, замѣчали товарищи.

— Мы думали—буфонить, а онъ, на-ко, и взаправду! Ай, молодецъ же, Васька!

— Что-жь, братъ Вася, поди-ка теперь зазнаешься?..

— Чего-о? — насутился Череповъ, — да вы меня это за кого понимаете?..

— Такъ значить литки съ тебя, дружище!

— Непремѣнно! завтра же послѣ смѣны и устроимъ, — согласился Череповъ. — Прошу, любезные друзья, пожаловать къ фриштыку въ ресторацію Юге, что въ Демутовомъ трактирѣ, пригласилъ онъ: будутъ устерсы и аглицкое пиво, и шампанское вино, и многое другое... Послѣдняя копейка ребромъ, чортъ возьми, для эдакой радости!

Часть спустя по отѣздѣ государя послышались съ Гороховой улицы мелодическіе звуки флейтъ и грохотъ барабановъ.

Весь разводъ, естественно, обратилъ вниманіе на ту сторону, откуда приближались эти воинственные звуки. То были гатчинскіе батальоны, торжественно вступающіе еще въ первый разъ на Дворцовую площадь.

Императоръ вѣхалъ во главѣ той части, которую онъ наименовалъ въ Гатчинѣ своимъ Преображенскимъ полкомъ, а великіе князья слѣдовали предъ такъ называемыми Семеновскимъ и Измайловскимъ полками. Позади пѣхоты и артиллеріи шелъ прекрасный Кирасирскій Цесаревича полкъ, во главѣ котораго Павелъ Петровичъ, будучи наслѣдникомъ, прослужилъ кампанію 1788 года; причемъ надъ его головой не разъ гудѣли шведскія ядра и свистали пули.

Гатчинскіе гости были одѣты совершенно по-прусски, въ короткихъ мундирахъ съ лацканами и въ черныхъ штіблетахъ; на гренадерахъ красовались мѣдныя шапки ¹⁾, а на мушкетерахъ маленькія треугольныя шлпы. Офицеры, большей частью безвѣстные и бѣдные дворяне, изъ бывшихъ морскихъ батальоновъ, шли на своихъ мѣстахъ, держа по формѣ красивые эспонтоны, что для гвардейскаго развода казалось и смѣшно и педантично. Одѣты они были всѣ въ поношенные и потертые мундиры темнозеленаго цвѣта, явно перекрашенные, въ видахъ экономіи, изъ разноцвѣтныхъ суконъ — обстоятельство, опять-таки служившее безко-

¹⁾ Какъ нынѣ у л.-гв. Павловскаго полка.

нечнымъ поводомъ къ насмѣшкамъ и колкимъ замѣчаніямъ.

— Батюшки! да какіе-жъ они пѣгіе, полинялые, оголѣлые, кудые!—трунили между собой блестящіе гвардейскіе шеголи.

Императоръ межъ тѣмъ въ восторгѣ любовался на свое «модельное войско», шесть батальоновъ котораго съ необыкновенной стройностью входили въ «*алиниемангъ*» на Дворцовой площади. Когда же они выстроились въ безукоризненно-чистую, строгую линію, государь обратился къ нимъ съ рѣчью.

— Благодарю васъ, мои друзья!—сказалъ онъ съ замѣтно теплымъ чувствомъ.—Благодарю за вѣрную вашу мнѣ службу и, въ награду за оную, вы поступаете въ гвардію, а господа офицеры чинъ въ чинъ.

Долгія и восторженные «ура» гатчинцевъ были отвѣтомъ на привѣтливое слово государя. Затѣмъ ихъ знамена понесли во дворецъ—и весь гвардейскій разводъ отдавалъ имъ воинскую честь обычнымъ образомъ. Императоръ былъ необычайно доволенъ измайловцами за ихъ быструю науку, обнялъ великаго князя Константина, благодарилъ офицеровъ, а нижнимъ чинамъ пожаловалъ по фунту рыбы. Затѣмъ, поставивъ вообще всѣмъ присутствовавшимъ гвардейцамъ своихъ гатчинцевъ, какъ образецъ, которому должно подражать по возможности близко, государь милостиво пригласилъ всѣхъ безъ исключенія генераловъ, гвардіи, арміи и флота штабъ и оберъ-офицеровъ, даже до послѣдняго инвалиднаго прапорщика—«пожаловать къ нему во дворецъ къ водкѣ и закускѣ».

Такъ окончилось это утро, достопамятное для старой Екатерининской гвардіи.

III.

Опальный.

Почти на полпути между Москвой и Коломною, верстѣ двѣнадцать въ сторону отъ большаго тракта, стояла небольшая помѣщичья усадьба, Любимка, принадлежавшая отставному генералъ-майору графу Ильѣ Дмитріевичу Харитонову-Трофимьеву. Лѣтомъ это былъ прелестный и благодатный уголокъ, совсѣмъ заброшенный и запятанный среди березовыхъ, ольховыхъ и сосновыхъ рощъ, которыя, окружая егѣ со всѣхъ сторонъ, ревниво и тихо оберегали миръ, покой и единеніе всѣмъ забытаго пріюта. И точно, въ теченіе долгихъ годовъ Екатерининскаго царствованія, усадьба Любимка оставалась въ полномъ забвеніи. Рѣдко кто изъ сосѣдей-помѣщиковъ заѣдетъ, бывало, отдать «решектъ» обывателю Любимки да и то заѣзды эти, по большей части, дѣлались словно бы крадучись, исподтишка, съ опаской, какъ бы не провѣдали, какъ бы не донесли,

часомъ, въ подобающее мѣсто... Полицейскій приставъ, которому поручено было наблюденіе за образомъ жизни, мнѣніями и поведеніемъ любимковскаго обитателя, каждый мѣсяцъ аккуратно-нѣйшимъ образомъ являлся къ нему въ усадьбу, причѣмъ старый дворецкій Аникеичъ принималъ его «въ барской конторѣ», поилъ чайкомъ и наливалъ, снаряжалъ особую подводку, которую нагружали изъ господскихъ кладовыхъ и амбаровъ всякой живностью и припасами, въ родѣ битыхъ гусей и куръ, свиного окорока, лукошка яицъ, корца меду, четверика муки, мѣры крупъ, масла и проч. и проч. Полицейскій приставъ, получивъ «дѣтишкамъ на молочишко», угощенный по горло и убагодуществованный, раставался пріятельски со старымъ Аникеичемъ и, не выдавъ въ глаза того, за коимъ былъ приставленъ, убирался во-свояси, отягченный его щедрыми дарами и мечтая, что вотъ, дастъ Богъ, на будущій мѣсяцъ, коли доживу, опять на 3-е число явлюсь къ сіятельному милостивцу за полученіемъ «законоположеннаго». Такъ шли многіе и многіе годы...

Одинъ, забытый въ Петербургѣ, забытый и окрестъ себя, ничего кромѣ смерти не ожидая въ будущемъ и ничего ни отъ кого не желая, кромѣ полного покоя, въ какомъ-то гордомъ смиреніи, спокойно и твердо короталъ свои старческіе дни въ уединенной усадьбѣ графъ Ильѣ Харитоновъ-Трофимьевъ... А было время, что и онъ былъ замѣтенъ и «значущъ», было время, что и онъ игралъ свою видную роль и въ арміи, и при дворѣ Елизаветы, и при Петрѣ II; но это было давно... было да сплыло, и сплыло такъ, что не только сверстники и завистники графа успѣли давно уже простить ему его успѣхи, забыть ему его прошлое, но даже онъ и самъ простилъ имъ ихъ козни и интриги и успѣлъ забыть все минувшее, и сдѣлался вполне равнодушенъ какъ къ своимъ былымъ успѣхамъ, такъ и къ былымъ завистникамъ.

Въ извѣстномъ «переворотѣ» 29-го іюня 1762 года онъ не принялъ ни малѣйшаго участія, открыто порицалъ Орловыхъ и остался вѣренъ памяти Петра III.

— Онъ хотя и нѣмцѣ по духу, но не сомнительно человѣкъ честный и благожелательный ко всѣмъ русскимъ сословіямъ,—говорилъ Петръ графъ Ильѣ, споря съ Григоріемъ Орловымъ на другой или на третій день послѣ «переворота».—И для того мнѣ,—прибавилъ онъ,—какъ тоже честному человѣку, не подобаетъ нарочито смутянить и играть моимъ вѣрнопопдашествомъ.

Графъ Ильѣ, однако же, силой вещей вынужденъ былъ подчиниться новому порядку, но принялъ присягу не ранѣе, какъ воочию увидѣвъ мертваго императора, привезеннаго для погребенія въ Александро-Невскую лавру.

— Не лицу присягаю, присягаю престолу русскому... C'est le principe, mon cher! c'est une

autre chose!—неосторожно выразился онъ при этомъ одному изъ своихъ пріятелей, и слова крутого графа въ тотъ же день были доведены до свѣдѣнія кого слѣдовало. Съ этой минуты его оставили въ тиши. Ни на одномъ изъ торжественныхъ придворныхъ праздниковъ не было видно, въ числѣ приглашенныхъ гостей, статной и мужественной фигуры графа Харитоновъ-Трофимьева, равно какъ и въ длинныхъ спискахъ наградъ и пожалованій орденами, чинами и титулами и крестьянами тщетно кто-нибудь сталъ бы доискиваться его имени. И такъ продолжалось съ нимъ во все блестящее царствованіе Екатерины.

Наслѣдникъ престола, Павелъ Петровичъ, еще въ дѣтствѣ своемъ случайно какъ-то узналъ графа Илью. Однажды даже пригласилъ онъ его къ столу, на свою особую половину, и графъ Ілья обѣдалъ съ наслѣдникомъ, въ обществѣ воспитателей его: графа Панина и Порошина, и въ теченіе обѣда «много утѣшалъ царственнаго отрока» своими занимательными и поучительными разсказами о физикѣ, химіи и о воинскомъ устройствѣ многоразличныхъ европейскихъ армій. Но когда объ этомъ «дошло до свѣдѣнія», то графъ Панинъ въ тотъ же вечеръ деликатно «получилъ на замѣчаніе», — и съ тѣхъ поръ Харитоновъ-Трофимьевъ уже не обѣдывалъ съ наслѣдникомъ престола.

Впослѣдствіи тому же самому наслѣднику, когда онъ уже былъ взрослымъ и женатымъ человекомъ, графъ Ілья имѣлъ случай оказать нѣкоторую услугу. Въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ въ Петербургъ (постоянно онъ жилъ у себя въ усадьбѣ, но въѣзды въ столицу, «по силѣ нужности», формально воспрещены ему не были) узналъ онъ, что Павелъ Петровичъ временно стѣсненъ въ средствахъ, но не рѣшается просить у императрицы, такъ какъ однажды встрѣтилъ уже полный отказъ въ подобной своей просьбѣ.

— Доложите великому князю, — сказалъ графъ одному изъ приближенныхъ наслѣдника, отъ котораго случайно узналъ о его затрудненіяхъ, — доложите ему, что въ память его августѣйшей бабки и родителя, коими я былъ нѣкогда облагодѣтельствованъ, все мое достоиніе, когда бы и сколько бы ни потребовалось, принадлежитъ его высочеству.

И когда тотъ же приближенный, будучи посланъ благодарить графа за его обязательную услугу, присовокупилъ, что наслѣдникъ ни теперь, ни впослѣдствіи не забудетъ графу его одолженія и при первой возможности постарается самъ отблагодарить его достойнымъ образомъ, — графъ Харитоновъ-Трофимьевъ, закусивъ губу, выпрямился во весь ростъ и сказалъ:

— Передайте отъ меня его высочеству, что напрасно онъ обо мнѣ такое мыслить, что я сіе сдѣлалъ не ради надежды на мою персональную

выгоду въ будущемъ, но единственно токмо ради моей благодарной памяти къ моимъ благодѣтелямъ, отъ коихъ милостей я получилъ все, чѣмъ пользуюсь нынѣ.

Этотъ случай былъ сопряженъ съ послѣднимъ пріѣздомъ графа въ столицу. Сколь ни отличалась его услуга самымъ интимнымъ и скромно-конфиденціальнымъ характеромъ, тѣмъ не менѣе люди, усердно слѣдившіе за Павломъ изъ всѣхъ щелей его гатчинской резиденціи, сочли нужнымъ «довести» о «негоціи» графа Харитоновъ-Трофимьева. Эта «негоція» не понравилась, и вотъ съ тѣхъ самыхъ поръ графъ Ілья почти уже безвыѣздно затворился въ своей уединенной усадьбѣ. Съ тѣхъ же поръ, въ кругу соудей и у всѣхъ, кому только было вѣдомо имя Ілии Харитоновъ-Трофимьева, сталъ онъ извѣстенъ подъ прозвищемъ «опальнаго графа».

Это былъ человекъ глубоко несчастный въ своей жизни, и только одна фамильная гордость да прирожденная сила характера помогали ему вѣчно таить внутри себя всѣ муки своего несчастья, никому никогда не жалуюсь, нигдѣ и ни въ комъ не ища себѣ сочувствія и даже не допуская мысли, чтобы кто-нибудь осмѣлился подумать, будто онъ и въ самомъ дѣлѣ можетъ чувствовать себя несчастнымъ. Его политическая карьера была уже давно и безвозвратно разбита; но столько же, если не болѣе, была разбита и его жизнь семейная. Графъ не былъ счастливъ въ супружествѣ. Жена его, которой всецѣло отдалъ онъ, уже будучи въ опалѣ, свою руку и сердце, не сумѣла опѣнить это сердце, ни понять характеръ графа. Капризная и своенравная дочь прожившагося боярина, воспитанная въ модныхъ парижскихъ салонахъ того времени, она плѣнила графа Ілью своей блистательной внѣшностью, шутя отдала ему свою руку, шутя пошла съ нимъ къ аналою, съ проклятіемъ родила ему дочь, а годъ спустя покинула и эту дочь, — и самого графа, предпочтя своей семейной обстановкѣ жгучую жизнь тѣхъ же самыхъ блестящихъ салоновъ Парижа и скандальную репутацію открытой подруги одного изъ самыхъ знаменитыхъ тогдашнихъ «энциклопедистовъ». Ея скандально-блестящая слава, которой завидовали у насъ не только многія великосвѣтскія жены, но даже и мужья этихъ женъ, втайнѣ грызла и сосала сердце гордаго графа. Насколько возможно, онъ старался, если не забыть, то хоть нѣсколько облегчить, утихомирить свое горе и боль уязвленного самолюбія тишиной своего глухого сельскаго угла, постояннымъ углубленіемъ въ чтеніе, въ исторію, да въ сельско-хозяйственные работы. Впрочемъ, онъ не обвинялъ безусловно свою вѣтреноу графиню. Напротивъ, онъ склоненъ былъ скорѣе обвинять себя, такъ какъ главную причину семейнаго несчастья полагалъ въ своемъ собственномъ неосмотрительномъ увлеченіи въ томъ, что женился, будучи старше своей жены годами болѣе

чѣмъ вдвое. Чтобы не подать повода къ какимъ бы то ни было упрекамъ, онъ аккуратно высылалъ ей слишкомъ достаточныя средства для ея заграничной жизни и никому никогда не заикался про эти щедрыя подачки. Но свои собственные потребности съизуилъ онъ до самыхъ скромныхъ предѣловъ, и не потому, чтобы чувствовалъ въ этомъ настоящую материальную необходимость (средства его воотще были болѣе чѣмъ прекрасны), но единственно потому только, что ему, послѣ петербургскаго блеска и въ особенности послѣ разрыва съ женой, стали глубоко противны вся эта пышность, и громъ, и роскошь вельможъ его времени. Графу Иліѣ захотѣлось похорониться въ тишинѣ какого-нибудь невѣдомаго угла, уйти внутрь самого себя, порвать со всѣмъ этимъ свѣтомъ, чтобы и о немъ никто, да и самъ онъ ни о комъ не слышалъ. У него подъ Москвой было огромное и великолѣпное имѣніе, которое славилось своимъ каменнымъ дворцомъ и обширными садами. Въ этомъ имѣніи у графа помѣщались и знаменитый въ свое время конскій заводъ, и знаменитая псовая охота, и домашній оркестръ, и домашній театръ съ трагиками, благородными отцами и первыми любовниками, съ цѣлымъ штатомъ пѣвицъ и танцовщицъ изъ крѣпостныхъ: тутъ же проживали у него на вѣчныхъ и льготныхъ хлѣбахъ и капельмейстеръ-нѣмецъ, и балетмейстеръ-французъ, и куафёръ, и костюмеръ, и много иного, впослѣдствіи теперь бесполезнаго ему люда. Съ тѣхъ поръ, какъ жена его оставила, онъ никогда не жывалъ въ своемъ подмосковномъ имѣніи, но «сокративъ» самого себя, даже и не подумалъ чтобы хоть сколько-нибудь «сократить» весь этотъ праздно проживавшій штатъ.

«Пусть ихъ живутъ; надо же и имъ съ чего ни есть кормиться!» махнувъ рукою, отвѣчалъ обыкновенно графъ Ілія на представленія управителя, который въ первое время новой уединенной жизни своего патрона рѣшался иногда докладывать ему, что не мѣшало бы-де распустить дармоѣдовъ.

Но зато заботы и всю любовь своего горячаго и обижennaго сердца сосредоточилъ графъ на своей дочери. Какъ самая нѣжная мать и нянька, онъ слѣдилъ за нею шагъ за шагомъ еще съ самой колыбели этого покинутого ребенка. И сколько мучительныхъ думъ и заботъ, сколько блестящихъ надеждъ и томительныхъ сомнѣній о будущемъ своей дочери кипѣли и волновались въ душѣ отца, когда онъ по вечерамъ сидѣлъ, бывало, на низенькомъ табуретѣ предъ ея дѣтской кроваткой, въ ожиданіи пока заснетъ его дитя подъ тихой, мурлыкающее бормотанье старой няньки Оеодосѣвны, которая взяла себѣ за правило «безпремѣнно и кажинный вечеръ сказывать сказки своей графинюшкѣ...»

Эту дочь, въ честь своей царственной благодѣтельницы, графъ Ілія называлъ Елизаветой и,

назвая ребенка дорогимъ ему именемъ, въ молитвѣ своей призывалъ покойную государыню быть ея ангеломъ-хранителемъ, ея неземною воспріимною матерью.

Онъ не жалѣлъ никакихъ средствъ на воспитаніе и образованіе своей дочери. Въ теченіе всего ея дѣтства въ Любимѣ проживали три пожилыя особы: англичанка, французенка и нѣмка, которыя были обязаны заниматься съ графиней Лизой языками, рукодѣльями и изящными искусствами, т. е., живописью, игрою на арфѣ да на клавишинѣ. Но простой русскій и притомъ крѣпостной человѣкъ, нянька Оеодосѣвна, всежъ таки «даже и при трехъ мадамахъ» постоянно занимала своего рода первенствующую роль при «графинюшкѣ». Она, конечно, не виѣшивалась въ дрессировку свѣтскаго ея воспитанія, предоставленнаго тремъ «мадамамъ»; но чистая и благотворная струя русскаго вліянія, безъ всякой, конечно, предвзятости на этотъ счетъ мысли, а просто-себѣ и какъ бы инстинктивно, по дѣйствию самой природы вливалась въ душу ребенка, благодаря все тому же простому и непосредственному человѣку—нянькѣ Оеодосѣвнѣ, которая научила свою дѣвочку лепетать и первыя слова, и первыя молитвы. Областью Оеодосѣвны была спальная комната «графинюшки Лизутки», ея умыванье, чесанье, одѣванье и раздѣванье, ея каждоутренній и каждовечерній «без-меня а папа (baise main à papa), ея бѣлье и платьица, ея куклы, цвѣты и картинки, русскія сказки и пѣсни, русскій простой разговоръ, подчасъ воркотня, а болѣе того тихій вздохъ да задушевная ласка своей «полусиротки». Три учителя для русскаго языка, математики, исторіи, географіи и міеологіи были выписаны графомъ, по рекомендаціи ректора, изъ лучшихъ студентовъ московскаго университета. Законъ Божій и священную исторію графъ преподавалъ самъ. Онъ былъ очень религіозный человѣкъ, и никому, кромѣ себя, не рѣшился «препоручить сего наиважнѣйшаго предмета». Да и вообще, среди своихъ книгъ и агрономическихъ занятій, онъ постоянно находилъ время лично слѣдить за воспитаніемъ и образованіемъ своей дочери, вникая во всѣ его подробности.

Такимъ-то образомъ прошло все дѣтство и отрочество этой дѣвочки, выросшей безъ матери, среди привольной жизни забытаго сельскаго уголка, и — «графинюшка Лизутка» незамѣтно стала взрослой дѣвицей. Это была совсѣмъ русская красавица: сильная, здоровая, ловкая и хорошо сложенная, съ плавными и граціозными движеніями, съ лучистымъ взглядомъ большихъ и открытыхъ сѣрыхъ глазъ, съ «соболиною» бровью и длинными рѣсницами, съ нѣсколько капризно-вздернутымъ носикомъ, густыми свѣтло-каштановыми косами и, наконецъ, съ обворожительной улыбкой свѣжихъ, румяныхъ губъ, и эта улыбка имѣла у нея свойство, словно

солнце, озарять все лицо, все существо ея, когда ей было весело или когда она хотѣла быть привѣтливой.

Со вступленіемъ графини Елизаветы въ семнадцатилѣтній возрастъ, учителя ея были отпущены съ хорошими наградами, а три мадамы остались при ней по-прежнему—«для практики и для компаніи», но старая нянька Федосѣевна и въ новомъ положеніи своей воспитанницы, «по законному своему праву», все-таки не покидала первенствующей роли, и графиня Елизавета, какъ и въ оны дни, продолжала быть для нея все тою же «графинишкой Лизуткой».

IV.

Сонъ въ руку.

Ноябрьскій северкій день начиналъ вечерѣть. Стая воронъ и галокъ шумливо кружилась надъ обнаженными деревьями любимковскихъ рощъ, наглядывая себѣ въ прутьяхъ вѣтвей удобныя мѣста для ночлега. Графъ Ілія, проснувшись отъ послѣобѣденнаго сна, вышелъ по обыкновенію въ своемъ темно-синемъ бархатномъ халатѣ на бѣличьемъ мѣху посидѣть въ гостиную, куда въ эту пору дворецкій Аникеичъ, тоже по обыкновенію, принесъ ему съ погреба большую хрустальную кружку фруктоваго кваса. Графъ любилъ посидѣть въ этой комнатѣ именно въ тотъ часъ, когда уже начинаютъ спускаться сумерки и, погрузясь въ глубокое, покойное кресло да прихлебывая изъ кружки ароматный квасокъ, послушать пѣніе своей Лизы съ аккомпанементомъ арфы, или ея игру на клавесинѣ. Графиня Лиза сидѣла у окна, усердно склонившись надъ пальдами; она вышивала шелками роскошный букетъ для диванной подушки, которую намѣревалась поднести «въ презентъ» своему отцу въ день его рожденія, и теперь торопилась, пока еще не стемнѣло, окончить большую пунцовую розу.

— Полно-ка глазѣнки томить!—заглядывал изъ-за плеча дочери на вышиванье и мягко проводя рукой по ея волосамъ, замѣтилъ графъ,—успѣешь, еще, родная...

— Ахъ, пожалуй, не мѣшай, папушка! — тряхнувъ головкой, съ отгѣнкомъ легкаго нетерпѣнія, озабоченно проговорила Лиза,—еще шестнадцать городковъ остается и тогда конецъ.

— Да глаза же слѣпишь, говорю тебѣ.

— Пустое! Молодые еще, не ослѣпнуть... Вѣдь для тебя же стараюсь...

— Для меня... Ахъ, ты, рукодѣльница моя прилежная!—ласково усмѣхнулся графъ.—Для меня... А чѣмъ же я для тебя постараюсь? Въ Москву свозить, нѣшто?

— Не охотница я, мнѣ и здѣсь хорошо пока.

Аникеичъ вошелъ съ полною кружкой на серебряномъ подносѣ.

— Ага, и ты, старый хрѣнь, пожаловать изволилъ!—съ доброй усмѣшкой моргнувъ на него графъ.

— Сами не далечь отъ меня отстали... Хрѣнь да хрѣнь! Какой я вамъ хрѣнь еще!—какъ-бы взаправду сердясь, проворчалъ старый дворецкій.—Купайте-ка лучше, пока пѣнится... Вашего сіятельства на доброе здравіе!—прибавилъ онъ съ поклономъ, когда графъ взялъ и поднесъ къ губамъ своимъ кружку.

— Ну, однако-же, будетъ! Довольно! — ласковымъ, но рѣшительнымъ тономъ обратился этотъ послѣдній къ дочери.

— Въ сей часъ, папушка, въ сей часъ Ужъ только семь городковъ осталось... Вотъ только этотъ бутонъ... одинъ лепесточекъ, и на сей день урокъ мой конченъ.

— Да смеркается же! Будетъ... Пожалуй-ка, лучше сыграй мнѣ, а я послушаю... Только нѣчто бы мажорное,—я въ такой настройкѣ нынѣ.

— Ты говоришь, настройка... мажорная... раздумчиво и какъ-то оттягивая слова, послѣ нѣкотораго молчанія заговорила Лиза.—А знаешь-ли, папушка, и я вѣдь тоже въ совсѣмъ особенной нынѣ настройкѣ.

— Ой-ли, дѣтка! Что такъ?

— Да такъ, и сама не знаю. Все раздумье беретъ... безпричинное... будто симпатія какая.

— Да съ чего же, однако, быть той симпатіи?

— Сонъ такой привидѣлся.

— Со-онъ? Эка выдумщица!..

— Право же сонъ, папушка... И вообрази, дважды кряду въ эту ночь все онъ одинъ снился... Поутру я даже въ «Мартынъ Заде-къ» справлялась.

— Что-жъ за знатный сонъ такой? Ну-ка?

— Да вотъ, изволишь видѣть, снится мнѣ это, будто мы съ тобой вдвоемъ идемъ на высокую гору, и будто эта гора—наша Любимка. «Поди ты, что за странность, думаю. Стать-ли этой нашей Любимкѣ быть вдругъ горою!.. Да еще такою высокою, такою трудною!» И мы съ тобой все на нее взбираемся, все карабкаемся, а изъ-подъ ногъ у насъ все кремешки сыплются, и мы скользимъ, падаемъ и снова поднимаемся, а окрестъ насъ такая пустыня, такая тѣмень, мракъ, хоть глазъ выколи! И плачусь я, что никогда мы не дойдемъ до вершины и никогда нашему бѣдству окончанія не будетъ... И только-что я эдакъ-то сама въ себѣ возроптаю,—гляжу,—ахъ мы съ тобой вдругъ уже на самой вершинѣ, и тутъ вдругъ озарилъ насъ свѣтъ... И такой это былъ блескъ неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И въ сей же часъ мы съ тобой, взявшись за руки, побѣжали съ этой вершины внизъ, и такъ, знаешь-ли, шибко,

такъ легко-легко несемся, будто летимъ, что даже духъ у меня замираетъ. Смотрю, а уже мы среди прекрасной и цвѣтущей долины плывемъ на лодкѣ по широкой рѣкѣ, и тутъ я проснулась.

— Плотно, матушка, значитъ, покушала за ужиномъ,—смѣясь, замѣтилъ графъ на разсказъ своей дочери.

— Ну, вотъ!.. Совсѣмъ почти нисколько не ѣла, одну только чашку молока выпила!—возразила дѣвушка:—И что достопримѣчательно: чуть лишь заснула—опять все тотъ же сонъ... Я себѣ и возьми это на примѣтку, заглянула въ «Мартынъ Задеку», а тамъ знаешь, что про то писано? — Писано, что на гору взбираться—означаетъ трудъ, испытаніе и долготерпѣніе въ горести, а съ горы катиться—вотъ что отъ слова до слова сказано,—я даже въ самой точности запомнила: «сонъ сей, человѣче, нарочито знатную перемѣну въ жизни твоей означаетъ». А что до рѣки касается, то спокойно плыть по оной—прибытокъ, довольство и счастливую жизнь знаменуетъ.

Графъ на это только тихо и нѣсколько грустно улыбнулся своей дочери.

— Все это прекрасно,—замѣтилъ онъ,—а вижу я, однако, что ты, неслухъ адакой, все еще корпѣшь надъ своей работой!

— Последній городокъ, папушка! Ей-Богу, послѣдній!

И настойчивая Лиза не ранѣе-таки встала изъ-за палецъ, какъ дошивъ до конца весь лепестокъ розоваго бутона.

— Ну вотъ, теперь я права!—весело поднявшись со стула и накрывая камчатной салфеткой свою работу, сказала она съ полнымъ, облегчающимъ вздохомъ.—Что же сыграть тебѣ, папушка?

— Что знаешь, дружочекъ... Изъ Метастазія нѣчто, или изъ Моцарта.

Дѣвушка присѣла слегка за клавишныя, взяла нѣсколько аккордовъ и задумалась—что бы такое сыграть ей въ угоду отцу. Взглядъ ея вдумчиво устремился куда-то, какъ бы въ пространство, и безсознательно перешелъ на стекла окна, изъ котораго видна была часть «передняго двора», частоколъ и посреди него высокія дубовыя ворота, крытыя русскимъ навѣсомъ съ гребешкомъ и коньками, а тамъ, за этими воротами—выгонъ, скучно покрытый снѣжной пеленой, и сѣрѣющимъ роцъ со своими крикливыми галками, и подъ роцѣй тотъ большой и густой коноплянникъ, гдѣ еще ребенкомъ такъ хорошо и привольно бывало ей прятаться въ жаркій полдень, среди чаши сильно-пахучихъ высокихъ стеблей, отъ докучнаго дозора подслѣповатой и строгой «мадамы-англичанки».

— Папушка! Глянь-ко, что это такое?.. Никакъ ѣдетъ кто-то,—вскричала вдругъ Ли-

за, вскакивая съ табурета и кидаясь къ окошку.

— Полно! Кого понесетъ сюда въ такую пору!—махнулъ графъ рукою.

— Нѣтъ, папушка, и впрямь ѣдетъ... Слышишь, колокольчикъ почтовый...

Графъ прислушался изъ своего кресла и, дѣйствительно, очень ясно различилъ приближавшійся звонъ заливистаго колокольчика.

— Сдается такъ, что военный будто... въ шлѣпѣ, въ трехугольной... Право же папушка!—гляди въ окно, увѣряла Лиза.

Графъ ничего не отвѣтилъ и только слегка поморщился, невольно выказавъ этой миной признаковъ внутренней досады и неудовольствія. Въ теченіе долгихъ лѣтъ своей опалы онъ изъ опыта уже убѣдился, что рѣдкіе прїѣзды незнакомыхъ лицъ въ военной формѣ, съ почтовымъ колокольчикомъ подъ дугой, знаменуютъ всегда нѣчто официальное, а все официальное не могло доселѣ сулить опальному графу ничего, кромѣ какой-нибудь новой непріятности, новаго стѣсненія.

Колокольчикъ замолкъ передъ самымъ ча-стоколомъ на ту минуту, пока приближавшій съ дворовыми собаками казачекъ отворялъ рѣшетчатые ворота, и вслѣдъ затѣмъ, облетѣвъ полукругомъ дворъ, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барскаго домика.

— Анникенъ, узнай-ка, братъ, кто тамъ и за коей надобностью,—приказалъ графъ дворецкому, позвавъ его обычнымъ хлопаньемъ въ ладоши, что служило у него сигналомъ прїзыва для домашней прислуги.—Да если это какой-нибудь новый приставъ,—прибавилъ Харитоновъ-Трофимьевъ,—такъ ты, братецъ, внуши-ка ему, что это вовсе не порядокъ лѣзть со своими колоколами прямо подъ графское крыльцо, что для сего-де есть у графа сборная изба, либо контора... Ну, и тамъ выдай ему, что слѣдуетъ по положенію и отиравай поскорѣй.

Аникенъ удалился, но, постѣ какихъ-то переговоровъ съ незваннымъ и неожиданнымъ гостемъ, вернулся опять въ гостиную, видимо озадаченный и смущенный.

— Курьеръ... изъ самого Питера,—докладывалъ онъ.—Сказываетъ, что имѣетъ препорученность персонально до вашего сіятельства.

Графъ окинулъ его вопросительнымъ взглядомъ и недоумѣло пожалъ плечами.

— Зови,—сказалъ онъ,—коли персонально.

Черезъ минуту, вслѣдъ за старымъ Аникенчемъ, въ гостиную вошелъ статный и молодой гвардеецъ.

— Его императорскаго величества къ вашему сіятельству именное повелѣніе,—звучно и отчетливо проговорилъ онъ нѣсколько официальнымъ тономъ.

— Какъ вы сказали, сударь?—прищурился

графъ, прикладывая щиткомъ ладонь къ правому уху.—Виновать, кажись, я ослышался...

— Его императорскаго величества... снова началъ-было гвардеецъ.

— То есть, *ея* величества, сказать вы желаете?—перебилъ его графъ, думая исправить и замѣтить курьеру его обмолвку.

— Нѣтъ, графъ, *его* величества,—подтвердилъ тотъ непреложно-увѣреннымъ тономъ.

— Какъ?!.. да развѣ... развѣ императрица?..

— Волею Божіей шестого сего ноября скончалась.

Графъ неподвижно, словно бы громомъ пораженный, съ минуту оставался въ своемъ креслѣ, затѣмъ медленно перекрестился и всталъ съ мѣста, выпрямивъ во весь ростъ.

— Я слушаю повелѣніе моего государя,—съ видомъ благоговѣйной почтительности произнесъ онъ тихо, важно и исполнѣ спокойно.

— Государь императоръ,—началъ гвардеецъ, подавая графу запечатанный пакетъ,—высочайше соизволить дать мнѣ препорученность, дабы передать вашему сіятельству, что воля его величества есть какъ можно скорѣе видѣть васъ въблизи своей особы. — Государь проситъ васъ изготovitъся наипоспѣшнѣйше вашимъ отъѣздомъ, но, впрочемъ, принимая во вниманіе ваши лѣта и домашнія обстоятельства, всемилостивѣйше разрѣшаетъ вамъ четыре дня для необходимыхъ сборовъ. Мнѣ же отъ его величества препоручено препроводить васъ до столицы и озаботиться, чтобы, находясь въ пути, ваше сіятельство ни въ чемъ не потерпѣло никакого неудобства, ниже задержки.

Выслушавъ это, графъ дрожащей рукою сорвалъ конвертъ и сталъ читать собственноручное письмо императора Павла.

— Благодарю тебя, Господи, яко не до конца оставилъ мя еси!—тихо прошепталъ онъ, перекрестясь еще разъ на образъ, и съ благоговѣніемъ поцѣловалъ строки, начертанныя царственной рукою.

— Благодарю и васъ, государь мой, за сіе высокородостное извѣстіе!—взволнованно и съ чувствомъ продолжалъ онъ, подавая курьеру руку.—По формѣ усматриваю, что вы гвардіи офицеръ... Позвольте знать, кого имѣю честь принимать у себя въ домъ?

— Лейбъ-гвардіи Коннаго полку корнетъ Василій Череповъ,—отрекомендовался тотъ съ учтивымъ поклономъ.

— Папушка! Голубчикъ мой! А вѣдь сонъ-то въ руку!—съ восторгомъ и вся въ радостныхъ слезахъ кинулась на шею отцу «графинюшка Лизутка».

V.

Подъ привѣтливой кровлей.

Весь дома графа Харитонова, тихо дремавшій доселѣ въ долгомъ однообразіи своей за-

мкнутой жизни, исполнился вдругъ какого-то особеннаго настроенія. Это была не шумливая своекорыстная радость, не эгоистическія ликования по случаю счастливой перемены, а скорѣе какъ будто испугъ предъ внезапностью переворота, очевидно наступающаго въ жизни графа — чувство смятеннаго страха и благоговѣнія предъ той свѣтлой и высокой ролью, которая, благодаря царской милости, ожидаетъ теперь этого «опальнаго», еще вчера всѣми покинутого и забытаго. Во всей усадьбѣ тихо и серьезно шушукались, передавали вѣсть о кончинѣ императрицы и о новомъ государѣ, который чуть не съ первой минуты своего царствованія вспомнилъ-де о графѣ и послалъ за нимъ особаго гонца, гвардейскаго офицера «изъ самаго что ни есть первѣйшаго въ имперіи Коннаго полка», и что теперь будетъ съ графомъ, «графинюшкой», даи со всей ихъ «ближней услугой»? Какая судьба, какія перемены ожидаютъ ихъ въ самомъ недалекомъ будущемъ? Кто пойдеть «при графскихъ персонахъ» въ Питеръ? Кто останется въ Любимкѣ? Отпустить-ли трехъ «мамамовъ», да какъ-то теперь все это пойдеть вдругъ по новому, когда того нѣтъ и не чаялъ?..

Нечего и говорить, что — начиная съ «графинюшки» и ея няньки Федосѣевны до послѣдняго человѣка въ усадьбѣ, — все смотрѣло на «царскаго гонца» чуть-ли какъ не на Божьяго посланника, который просто съ неба слетѣлъ къ нимъ со своимъ благовѣстіемъ. Всѣ старались чѣмъ ни на есть угодить ему, успокоить, накормить, взлелѣять его послѣ шальной и безсонной курьерской скачки, которая въ двое съ половиной сутокъ примчала его изъ Петербурга въ Любимку.

Аникичъ самолично накрывалъ для него чистой камчатной скатертью обѣденный столъ, торопилъ поварятъ на кухню и шпынялъ казачковъ въ людской, чтобы тѣ проворнѣе грѣли самоваръ для «царскаго посланца»; самъ слезилъ еще и еще разъ на погребъ, обдумывая, какимъ бы виномъ пристойнѣе всего угостить такого гостя и ради такого случая—францевинъ или венгерскимъ? Или итѣмъ и другимъ, а для радости ужъ не выпить-ли еще и бутылку шампанскаго вина? Всѣ эти соображенія въ данную минуту представлялись Аникичу «матеріей нарочито важной» и требующей «особливаго проникновенія».

— Устинъ Аникичъ, кому служить за столомъ укажете: мнѣ, аль Антропу, или Степкѣ?—приставали къ нему нѣсколько гайдуковъ, которымъ тоже было бы «дестно» прислуживать царскому посланцу.

— Самъ служить буду! Никому не дамъ!—съ достоинствомъ отвѣчалъ Аникичъ такимъ рѣшительнымъ тономъ, который не допускалъ уже болѣе никакихъ противорѣчій, просьбъ и доводовъ.

Старая Оедосѣевна съ горничными дѣвушками тоже была въ хлопотахъ не малыхъ. Этотъ отрядъ женской прислуги суетился въ особомъ «чистомъ» флигелечкѣ, приготовляя для гостя «спальную горницу и прочій апартаментъ». Тамъ сметали съ угловъ паутину, спѣшно мыли и подметали полъ, топили лежанку, переводили на время въ контору двухъ «мадамовъ», которыми доселѣ здѣсь помѣщались, взбивали пуховики и подушки, застилали чистыя простыни, вѣшали новыя занавѣски — словомъ, возни и хлопотъ было по горло для всезаботливой и предупредительной Оедосѣевны. — «Пушай, молъ, видить, хоша и въ захолусты живемъ, а все какъ слѣдъ, все по-графскому... Лицомъ въ грязь не ударимъ и графа своєю не поконфузимъ».

Гость между тѣмъ сидѣлъ въ гостиной вмѣстѣ съ графомъ и его дочерью и, отвѣчая на ихъ разспросы, рассказывалъ — насколько зналъ и лично видѣлъ, или отъ другихъ слышалъ — обстоятельства кончины государыни и первыя минуты восшествія Павла, первыя его распоряженія и нововведенія, о которыхъ гвардейцы и публика узнали въ утро перваго вахтѣ-парада. Рассказалъ онъ также и про свой «особливый случай» у государя, благодаря которому столь неожиданно «пожалованъ въ гвардію корнеты», и какъ во время его ординарческаго дежурства во дворцѣ, государь, случайно проходя по той залѣ и постоянно замѣчая его «отмѣнную выправку», до трехъ разъ подходилъ къ нему и каждый разъ изволилъ милостиво съ нимъ разговаривать, разспросилъ, кто онъ и откуда, имѣетъ-ли родныхъ и состояншишко? И когда Череповъ отвѣчалъ, что отъ покойнаго отца своего за нимъ числится въ Новгородской губерніи сто-двадцать душъ крестьянъ, да еще родная тетка, умершая въ бездѣтности пять мѣсяцевъ тому назадъ, оставила ему по завѣщанію сто душъ Московской губерніи, въ Коломенской округѣ, близъ большого рязанскаго тракта, то государь спросилъ, успѣлъ-ли онъ побывать ужъ въ этомъ послѣднемъ своемъ имѣніи, и на отрицательный отвѣтъ Черепова, вѣскольکو подумавъ, вдругъ изволилъ произнести:

— Это очень кстати: у меня въ тѣхъ же мѣстахъ проживаетъ въ своей усадьбѣ генералъ-майоръ графъ Харитоновъ-Трофимьевъ. Покажи къ нему въ сейчасъ же отъ моего имени и скажи, что я жду его съ нетерпѣливостью и прошу пожаловать къ себѣ въ Петербургъ; скажи, что я старика всегда очень помнилъ и охотно желаю его поскорѣе видѣть, дабы имѣть при своей особѣ... Инструкція, маршрутъ, дорожную и особливый пакетъ на имя графа получить имѣешь черезъ часть изъ моего кабинета; пробить изволь тамъ на мѣстѣ не позднѣе четырехъ сутокъ, а въ это время, кстати, коль угодно, то можешь взглянуть и на свое новое имѣншишко.

И вотъ въ силу такого повелѣнія, — заклю-

чилъ рассказъ свой Череповъ, — я, какъ изволите видѣть, примчалъ къ вамъ, чтобы не утратить ни единой минуты насчетъ оповѣщенія васъ о толикой особливой его величества милости; а завтра дабы не мѣшать моимъ постороннимъ присутствіемъ вашимъ скорымъ семейнымъ сборамъ, я прошу позволенія отѣхтать въ свое имѣншишко, а черезъ два дня опять вернуться, исполняя волю моего императора, къ вашему сіятельству услугамъ и буду имѣть честь сопровождать васъ до Петербурга.

— Не смѣю стѣснять васъ, сударь, — слегка поклонился графъ, — но сей ночлегъ прошу имѣть подъ моей кровлей: чѣмъ богаты, тѣмъ и ради, по простотѣ, по старинному. А смѣю спросить, — прибавилъ онъ, — какъ прозваніе имѣншицу-то вашему, чтѣ отъ покойной тетушки досталось?

— Чижово, Замахаевка то-жъ, — отвѣтилъ Череповъ.

— Замахаевка?.. Богъ мой! — вскричалъ графъ Ілія, — да это близехонько, просто руку подать отселѣ, въ самомъ ближнемъ сосѣдствѣ, и двадцати верстъ, почитай, не будетъ!.. Такъ, стало быть, ваша тетушка была Варвара Тимофеевна Порѣзкова, вдова моего былого сослуживца бригадира Василія Ивановича Порѣзкова? Такъ ли?

— Въ самой точности такъ, ваше сіятельство!

— Ну, и прекрасно! Тѣмъ паче пріятно видѣть въ вашемъ лицѣ ея, надѣюсь, достойнаго племянника.

— Батюшка не комплиментъ говоритъ вамъ, а истинную правду, — поспѣшила примолвить графиня Елизавета. — Надо вамъ знать, сударь, мы очень уважали вашу тетушку, потому что она была прямой и независимый человекъ; она одна, почитай, со всей округи ѣзживала къ намъ и водила съ нами хлѣбъ-соль въ то время, какъ всѣ старались отвертываться и не замѣчать насъ, и мы тоже, бывало, у ней гащивали, а меня-то ужъ она въ особенности жаловала. Я къ ней всегда питаю самую благодарную память.

— Кушать подано! — съ официальной торжественностью возгласилъ старшій Анikeичъ, появивъ въ дверяхъ гостиной съ салфеткою въ рукѣ, въ своемъ новомъ камзолѣ и парадномъ кафтанѣ съ графскими гербами по широкому басону.

— Прошу! — поднялся графъ съ мѣста, дѣлая офицеру пригласительный жестъ, той изящной, благоволивой привѣтливостью, которая была свойственна вельможамъ — свѣтскимъ людямъ былого времени. — А ты, графинюшка, — прибавилъ онъ, съ улыбкой обращаясь къ дочери, — будь настоящей хозяйкой, какъ слѣдуетъ, предложи гостю руку и веди его къ столу, а я только кафтанъ мой одѣну и сейчасъ буду къ вамъ. Угощай же его изряд-

ненько, чтобы дорогой гость нашъ не обезсудилъ и всѣмъ остался бы доволенъ, а на утрѣ, сударь,—обратился онъ вслѣдъ затѣмъ къ офицеру,—моя карета четвернею будетъ къ вашимъ услугамъ и доставитъ васъ въ Замахевку.

И, несмотря на убѣдительныя просьбы Черепова оставаться, не стѣсняясь, по-домашнему, въ своемъ халатѣ, графъ все-таки ушелъ въ свою гардеробную переодѣться, а графиня Елизавета съ пріятливою, хотя и нѣсколько смущенной улыбкой, подала гостю руку и, слегка придерживая пальчиками чуть-чуть приподнятый передъ своей будничной робы, граціозно, въ качествѣ молодой хозяйки, повела его въ столовую, мимо стараго Аникенча, который, вспомнивъ по старинѣ всю официальную строгость этикета, подобающаго настоящей минутѣ, съ важно-поднятой головой и важно-насушенными бровями встрѣтилъ и проводилъ серьезнымъ и строгимъ взоромъ прошедшую мимо его молодую пару. И чуть лишь эта изящная пара оставила его за собой, какъ уже старикъ въ гнѣвномъ ужасѣ торопливо замахалъ салфеткой, подавая нѣмые знаки нянѣ Феофановнѣ, которая съ поджюжной горничныхъ двѣшекъ, не будучи въ состояніи превозмочь своего любопытства, заглядывала изъ противоположной двери въ столовую. Старая нянька увидѣла это маханье и съ видимымъ неудовольствіемъ покорилась блюстителю требованій строгаго этикета. Но хоть и однимъ глазкомъ, а все-таки успѣла она взглянуть на свою графинюшку-Лизутку и молодчика гвардейца—«какъ это они такъ пріятно и великатно изволили шествовать вмѣстѣ».

VI.

«Усладушка».

На слѣдующій день, едва лишь разсвѣло, Череповъ, послѣ ранняго завтрака, выѣхалъ на графской четвернѣ въ свою Замахевку. Эта деревня залегала въ весьма людной мѣстности, окруженная ближайшимъ сосѣдствомъ нѣсколькихъ помѣщичьихъ дворовъ, между которыми первенствующую роль играла «Усладушка»—богатая усадьба со всякими причудами и затѣями, принадлежавшая нѣкому Прохору Михайловичу Поплюеву. Имѣніе это, отстоявшее не болѣе какъ на три версты отъ Замахавки, названо было «Усладушкой» самимъ Прохоромъ Поплюевымъ, въ силу того, что въ немъ совокуплялись самыя разнообразныя заведенія, предназначенныя къ услажденію духа и плоти владѣльца. Путь предстоялъ Черепову какъ разъ черезъ «Усладушку». Тихо дремля въ глубинѣ покойной кареты, онъ и не замѣтилъ, какъ, миновавъ богатое

село, экипажъ его спустился на мостъ, за которымъ стоялъ опущенный шлагбаумъ и при немъ сторожка, а по обѣ стороны отъ этой заставы тянулся высокій частоколъ, замыкавшій собой границы «Усладушки». Шлагбаумъ, гремя своей цѣпью, тотчасъ же поднялся вверхъ и безпрпятственно пропустилъ карету. Самый домъ и обширныя службы расположены были въ сторонѣ, саженьяхъ въ полтораста отъ дороги, пролегавшей чрезъ огороженное пространство усадебнаго участка, и хотя эта дорога была единственнымъ проѣзжимъ путемъ, т. е. составляла, въ нѣкоторомъ родѣ, общественную собственность, тѣмъ не менѣе владѣлецъ «Усладушки» считалъ себя въ правѣ держать на ней шлагбаумы, на томъ основаніи, что дорога, молъ, въ этомъ мѣстѣ по моей собственной землѣ пролегаетъ.

Доѣхали до противоположной рогатки, и тутъ Череповъ былъ выведенъ изъ своей тихой дремоты неожиданной остановкой экипажа. Онъ зѣвнулъ, провелъ по лицу рукой, чтобы стряхнуть съ себя остатки дрѣмы, и насторожилъ вниманіе. Казалось, будто кучеръ съ кѣмъ-то бранится или торгуется.

Череповъ опустилъ стекло и высунулся въ окошко каретной дверцы.

— Что тамъ такое?—крикнулъ онъ своему возницѣ.

— Не пропускаютъ!—возвѣстилъ тотъ съ высокихъ козелъ.

— Какъ не пропускаютъ?.. Кто?.. Зачѣмъ?.. Почему?

— Не велѣно... Указъ такой вышелъ,—пояснилъ чей-то посторонній голосъ.

Череповъ кинулъ взглядъ впередъ и увидѣлъ предъ собой опущенный шлагбаумъ, сторожку, и на порогѣ ея человѣка въ особенной формѣ военнаго покроя.

— Что за вздоръ! Проѣзжихъ людей не пускать по проѣзжей дорогѣ!—замѣтилъ Череповъ.—Кто такіе указы можетъ выдавать въ мирное время?

— Нашъ усадовскій баринъ,—было ему отвѣтомъ.

— Усадовскій баринъ?.. Что за баринъ такой?

— Прохоръ Михайлычъ Поплюевъ.

— Да ты что за человѣкъ есть?

— Я-то?.. Я ихней милости гвардеецъ.

«Вотъ гдѣ товарища какого нашелъ!» усмѣхнулся про себя Череповъ и спросилъ его громко:

— Что за гвардеецъ? Солдатъ, что ли?

— Нѣтъ, мы не солдаты, а мы, значитъ, нашего барина гвардія,—пояснилъ человѣкъ въ военномъ костюмѣ.—Я теперича, къ примѣру, карабинеръ,—продолжалъ онъ,—а то есть у его милости и мушктеры, и гусары, и антилеръ.

— Ну, и на здоровье ему!—улыбнулся Че-

реповъ,—а ты, братецъ, все-таки подыми-ка рогатку!

— Не могу, сударь!.. Хоть убей, не могу!.. Мнѣ опасаю того и не жить! Тебѣ-то что, а майоръ, поди-ка, три шкуры съ меня спустить, коли пропустить-то... Не указано!

— Ну-ка! что за майоръ еще?

— Нашего барина майоръ... Потому какъ онъ, значитъ, при себѣ майора такого держать, чтобы насъ муштровать по артикулу... Смерть какой лютый!.. Пропустить никакъ не можно. Впускать иное дѣло: впускать, сказано, всякаго, а выпускать съ разборомъ.

— Да что-жь за причина, однако?

— А то и причина, вишь, что баринъ-отъ нонѣ рожденникъ и, значитъ, рождение свое справляетъ, и для того никого, опрочъ подлыхъ людей, пропускать не велѣно, а указано есть, чтобы которые благородные проѣзжающіе—безотмѣнно къ ихъ милости въ усадьбу просить къ водкѣ и на пирогъ чтобы пожаловали.

— Да мы съ твоимъ баринкомъ вовсе незнакомы,—засмѣялся Череповъ.

— Это все единственно! Это ничего!—возразилъ карабинеръ.—У него что знакомый, что незнакомый—всѣ ему гости.

— Да иной, поди-ка, можетъ, и знать-то его не хочетъ.

— Ну, ужъ про то не наше дѣло! Тамъ ужъ поди, самъ съ нимъ въ усадьбѣ разбирайся. А мы знаемъ одно: не пушай, и кончено!

— Э, такъ я самъ себя пропущу!—сказалъ ему Череповъ и, выйдя изъ кареты, направился къ плагбауму съ рѣшительнымъ намѣреніемъ поднять его.

— Не трошь, баринъ! Не балуй! Я те Христомъ Богомъ прошу!—взмолился карабинеръ, ухватившись обѣими руками за подъемную цѣпь;—майоръ то-ись страсть какой лютый!.. бѣда!.. Ужъ лучше сожди маленько, я товарища пошлю въ усадьбу, пушай сбѣгаетъ да доложить;—тогда твоей милости, можетъ, и пропускъ выйдетъ, а безъ того не моги, не подводи подъ отвѣтъ-то! Ну, што тебѣ! Сожди, прошу честью!

Что было дѣлать! Человѣкъ молить чуть не со слезами,—какъ тутъ не уступить, когда ему, и въ самомъ дѣлѣ, безъ вины можетъ достаться отъ какого-то лютаго майора! Череповъ только плечами пожалъ и согласился обождать въ каретѣ, пока посланный сбѣгаетъ въ усадьбу. Прошло нѣсколько минутъ, какъ вдругъ онъ замѣтилъ, что къ нему скачетъ верхомъ на горбоносомъ дончакѣ какой-то чужакъ съ развѣвающимися «вылѣтами» нѣсколько фантастическаго костюма. Всадникъ этотъ осадил скакуна какъ разъ предъ дверцей кареты и приложился по военному къ своей лохматой медвѣжьей шапкѣ.

— По благородному виду и по экипажу могу судить, что вы, сударь, человѣкъ благородный,—сказалъ онъ Черепову самымъ любезнымъ тономъ.—Смѣю спросить чинъ, имя и фамилію, а равно откуда и куда ѣдете?

— Да что это за комедія, наконецъ! И кому какое до того дѣло!—досадливо воскликнулъ Череповъ.—Если вы тутешній чужакъ помѣщикъ, то прикажите, сударь, вашему карабинеру поднять мнѣ рогатку!

— Извините, государь мой, я не помѣщикъ, хотя и былъ таковымъ нѣкогда; но я тутешняго помѣщика майоръ, и посланъ персонально отъ Прохоръ-Михайлыча дознаться о чинѣ и званіи проѣзжающей особы, а потому не посѣтуйте...

Чтобы поскорѣе отвязаться, Череповъ сообщилъ ему что требовалось и повторилъ свою просьбу насчетъ рогатки.

— Извините, государь мой, но у насъ таковъ уже порядокъ!—учтиво возразилъ мохнатый чужакъ.—Отъ имени моего шефа,—продолжалъ онъ, приподнявъ шапку,—смѣю просить васъ оказать особую честь Прохоръ-Михайлычу... По русскому обычаю, отъ радушнаго хлѣба-соли не отказываются... И ему тѣмъ паче будетъ приятно знакомство ваше, что вы лейбъ-гвардіи офицеръ. Не откажите въ чести!

«Что за чудаки!» подумалъ себѣ Череповъ.—«А впрочемъ, чего тутъ ломаться! не все-ль равно!» И онъ приказалъ кучеру поворачивать къ крыльцу Понлюевского дома, разсчитывая пробить здѣсь самое короткое время и соображая, что все равно, надо же будетъ когда нибудь познакомиться съ этимъ Прохоромъ, какъ съ однимъ изъ своихъ ближайшихъ сосѣдей.

Межъ тѣмъ, чудачный майоръ, чуть только услышалъ приказаніе, отданное кучеру, какъ уже поскакалъ во всю прыть обратно къ дому, неистово махая кому-то рукой и крича во все горло:

— Салютъ!.. Салютъ почтенному гостю!

И въ это самое время раздалися вдругъ три выстрѣла изъ пушекъ. Графская четверня съ испугу шарахнулась было въ сторону, но ловкій кучеръ успѣлъ-таки справиться съ ней безъ дальнѣйшихъ неприятныхъ послѣдствій. Облако дыма тихо разсѣвалось надъ тѣмъ мѣстомъ, откуда сдѣланы были выстрѣлы, и Череповъ, обративъ глаза въ ту сторону, замѣтилъ насыпной маленькій редутецъ, на валахъ котораго стояли четыре чугунныхъ фальконета, а въ одномъ изъ угловъ возвышался длинный шестъ съ развѣвающимся флагомъ.

Два экипажъ подъѣхалъ къ крыльцу, какъ со ступеней сбѣжали два заранѣе поджидавшіе гайдука, одѣтые гусарами, и, спѣшно распахнувъ дверцу, съ почтеніемъ высадили Черепова подъ-руки изъ кареты.

Самъ хозяинъ очень любезно вышелъ къ нему на встрѣчу въ большую пріемную залу съ колоннами, украшенную громадной хрусталь-

ной люстрой и огромными картинами миеологическими сюжетовъ, гдѣ преобладали какія-то обнаженныя богини, Вакхи и Сатиры среди гириандъ изъ винограда, цвѣтовъ и порхающихъ Амуровъ.

Прохоръ Поплюевъ казался на видъ мужиной лѣтъ тридцати-пяти или около. Это былъ небольшой кругленькій человѣчекъ съ одутловатымъ брюшкомъ, на тоненькихъ ножкахъ и съ добродушнымъ, нѣсколько брюзгливымъ лицомъ, которое носило на себѣ слѣды какой-то лимфатической сонливости и апатіи, чему въ особенности помогала слабосильно-опущенное правое вѣко. Отъ этого вѣка все лицо его казалось не то плачущимъ, не то улыбающимся и вообще какъ-то кислотовато куксилось, отличаясь скорѣе бабьимъ, чѣмъ мужскимъ выраженіемъ. Волосы его были распудрены и тщательно завиты въ буки, мягкія руки благоухали какою-то тончайшею парижскою эссенціей, а на толстенькихъ, короткихъ пальцахъ разноцвѣтно сверкали дорогіе перстни. Одѣтъ былъ господинъ Поплюевъ въ расшитый блестками атласный палевый кафтанъ, какихъ въ то время уже не носили болѣе свѣтскіе франты, и вообще всею наружностью своею являлъ онъ апатично-самодовольную и нелишенную нѣкотораго комизма фигурку петиметра добраго стараго времени. Судя по фальконетамъ и карабинерамъ, Череповъ рассчитывалъ встрѣтить въ немъ человѣка со всѣмъ яного характера и наружности.

— Позвольте поручить себя вашей благосклонности,—шаркнувъ ножкой, началъ Поплюевъ, которому майоръ успѣлъ уже доложить о гостѣ все, что требовалось,—и тѣмъ пае,—продолжалъ онъ—что мы не только сосѣди, но и камрады по оружію... Я тоже имѣю счастье быть военнымъ, и при томъ гвардеецъ, но чинъ мой, къ прискорбію, не высокъ: я успѣлъ достигнуть сержантскаго лишь ранга въ Измайловскомъ полку, ибо доселѣ еще только числился, а не состоялъ на дѣйствительной службѣ.

И Прохоръ Поплюевъ, радушно взявъ Черепова подъ руку, повелъ его знакомиться съ остальными гостями, которые, съѣхавшись частію сами, частію же попалъ случайно, какъ и Череповъ, застѣда въ широкой гостиной, гдѣ у одной изъ стѣнъ съ утра уже былъ накрытъ длинный столъ, отягченный всевозможными водками и закусками. Въ этой гостиной на первомъ планѣ, посреди штофнаго дивана съ позолотою, возсѣдалъ въ бархатной рясѣ архимандритъ одного изъ ближнихъ монастырей—человѣкъ далеко еще не старыи и видный собою. Около него сидѣли два монаха того же монастыря и нѣсколько комоленскихъ чиновниковъ, капитанъ съ офицерами армейской роты, квартировавшей въ окрестности, да человѣкъ десять разно-калиберныхъ помѣщиковъ.

Представивъ всей этой компаніи новаго гостя, хозяинъ круто подвелъ его къ столу и

неотступно сталъ приставать съ угощеніями, увѣряя, что дорогіе гости «пропустили» уже по пяти чарочекъ «чефрасу», и что ему необходимо надлежитъ догнать ихъ коли не сразу, то какъ можно скорѣе.

— Я человѣкъ военный и во всемъ регулярность наблюдаю,—замѣтилъ при этомъ хозяинъ,—а «чефрасъ» это есть, государь мой, цѣлебный настой моего собственнаго изобрѣтенія. Вотъ, и отецъ архимандритъ, и господинъ капитанъ довольно хорошо меня знаютъ и всѣ мои качества. Я дисциплину люблю, коя есть наипервое нашему брату основаніе... Отецъ архимандритъ, господа гости!—воскликнулъ онъ вдругъ, обращаясь ко всѣмъ присутствующимъ,—желаете-ли, въ сей часъ тревогу учиню?... Въ сею секунду!.. Вы, отецъ архимандритъ, въ прошломъ разѣ остались довольны, проинспектировавъ мои войска; не любопытны-ли будете взглянуть, каковы они нынѣ?

Всѣ гости поспѣшили заявить свое полное удовольствіе на предложеніе хозяина. Майоръ находился тутъ же. Это былъ субъектъ родомъ изъ такъ-называемой тогда «смоленской шляхты» и носилъ какой-то полупольскій, полувенгерскій костюмъ. Куцый паричокъ, осыпанный мелкими пуколыками, прикрывалъ его небольшую клубо-подобную головку; а круглое лицо, напоминавшее маятникъ стѣнныхъ часовъ, неизмѣнно хранило въ себѣ какую-то странную смѣсь подобострастія, комической строгости и самодовольно-надутаго чванства. При достаточномъ ростѣ, онъ держался прямо, словно бы аршинъ проглотилъ, и состоялъ при хозяинѣ въ качествѣ «майора» всѣмъ чѣмъ угодно: и шутомъ, и собесѣдникомъ, и начальникомъ его надворной гвардіи и церемоніймейстеромъ. Подъ его вѣдѣніемъ находились многія отрасли усладскаго обихода; кромѣ гвардіи, майору подчинялись еще и капельмейстеръ, и балетмейстеръ, фейерверкмейстеръ, кухмейстеръ, штабмейстеръ, и гофмейстеръ. Служивъ когда-то въ военной службѣ, этотъ импровизованный майоръ давно уже предпочелъ тревоги полевой жизни мирному существованію «на хлѣбахъ изъ милости», подъ кровомъ усладскаго барина, и былъ даже необычайно гордъ и доволенъ своимъ настраивающимъ положеніемъ. Получивъ приказаніе хозяина насчетъ тревоги, онъ тотчасъ же выбѣжалъ изъ комнаты, и чрезъ минуту во дворъ уже послышались звуки барабана. Гурьба гостей, одѣвъ шубы, высыпала на крыльцо любоваться тревогой Поплюевской гвардіи. Минутъ черезъ пять на дворъ выстроились человѣкъ тридцать дворовыхъ людей, одѣтыхъ мушкетерами, и прискакали съ конюшни двѣнадцать всадниковъ, изъ которыхъ одна половина называлась гусарами, а другая—карабинерами. Майоръ, въ своей ко-

смотой папахъ, начать ученье и по окончаніи каждой эволюціи непременно подходилъ, по воинскому артикулу, къ отцу архимандриту, для принятія его приказаній. Отцу же архимандриту все достодолжное въ этомъ случаѣ подсказывать армейскій капитанъ, и такимъ образомъ архимандритъ исполнялъ недурно свою роль военного инспектора. Надворная гвардія маршировала во все стороны и производила сильный ружейный огонь, кавалерія гарцовала на своихъ донцахъ, а артиллерія въ грозномъ ожиданіи стояла съ зажженными фитилями на валахъ редута, около своихъ фальконетовъ. Наконецъ архимандритъ приказалъ «штурмовать крѣпость». Майоръ стремительно влетѣлъ въ припрыжку къ своимъ войскамъ, замахалъ и саблей и шапкой, завопилъ неистовымъ голосомъ: «урра-а! впередъ, россияне!»—и надворная гвардія бѣгомъ кинулась на валы редута. Тутъ уже поднялся гамъ и крикъ всеобщій: фальконеты гремѣли съ валовъ, барабанъ билъ «атаку», пѣхотинцы палили изъ ружей, кавалеристы, какъ ошалѣлые, гикали и кружились по всему двору, майоръ надеждася что есть силъ, ободряя свое воинство, карабкавшееся на брустверъ, гости били въ ладоши и кричали «ура», архимандритъ пребывалъ въ полномъ восторгѣ, а хозяинъ, потирая себѣ ручки, весело и добродушно улыбался своей плаксивой улыбкой.

Послѣ этого побѣднаго штурма, Прохоръ Михайловичъ пригласилъ гостей осмотрѣть хозяйство и повелъ ихъ въ оранжерею, гдѣ, для украшенія и «оживленія» южныхъ плодовыхъ деревьевъ, торчали у него насаженные на шпильки и прикрѣпленные проволокой къ вѣтвямъ живые плоды померанцевъ, персиковъ и абрикосовъ, которые еженедѣльно выписывались, по дорогой цѣнѣ, изъ московскихъ фруктовыхъ лавокъ. Гостямъ при этомъ предоставлялось думать, будто эти все персики и померанцы выросли и созрѣли же въ этихъ самыхъ услдовскихъ оранжереяхъ. Изъ оранжерей компанія гостей направилась въ амбары, гдѣ у Прохора Михайловича было сыпано въ зернѣ множество разнаго хлѣба, затѣмъ въ кладовыя, которыя завалены были холстомъ, сукнами и кожами собственной, домашней выдѣлки, и гдѣ помѣщались цѣлыми рядами кадки воску, меду, масла коровьяго и коноплянаго, и проч. Показалъ онъ имъ и свою образцовую псарню, и свои конюшни, гдѣ стояло у него десятка четыре лошадей разныхъ породъ, и особое отдѣленіе собственнаго конскаго завода, и скотный дворъ, и наконецъ повелъ въ самый заповѣдный уголокъ своего хозяйства. То былъ винный погребъ, помѣщавшійся въ подвалахъ его обширнаго двухъ-этажнаго дома, выстроеннаго на прочномъ каменномъ фундаментѣ еще въ прадѣдовскія времена. Здѣсь, въ многочисленныхъ

чишахъ, устроены были ряды полокъ, уставленные разнообразными боченками и бутылками, хранившими всевозможные сорта водокъ, наливкокъ и медовъ, изъ которыхъ многіе носили на себѣ все наружные и несомнѣнные признаки временъ отдаленныхъ. Въ этомъ погребѣ у Прохора стоялъ большой дубовый столъ со скамейками и висѣлъ на стѣнѣ серебряный дѣдовскій ковшъ.

— Прощу, господа!—пригласилъ хозяинъ, снявъ этотъ ковшъ.—Прощу пробовать, кому какой напитокъ болѣе по вкусу придетъ, тому мы такого и за обѣдомъ передъ кувертомъ поставимъ. Ну-тка, отецъ архимандритъ, благоволите начинать по порядку!

И приказавъ своему ключнику надѣдить изъ заповѣдной бочки, Прохоръ подалъ монаху ковшъ, до краевъ наполненный искрометною влагой душистаго меда.

— Какъ кругъ пойдетъ? По тостамъ, что-ли, аль просто?—спросилъ кто-то изъ обычныхъ услдовскихъ гостей и состояльниковъ.

— По тостамъ! по тостамъ!—въ голосъ отвѣчали почти все остальные.

— И такъ, первый тостъ, какъ есмы вѣрные русскіе сыны,—поднявъ торжественно ковшъ, возгласилъ архимандритъ,—да будетъ во славу и здравіе, и во спасеніе, и во всемъ благое успѣшеніе нашей матери-императрицы.

— Виватъ! Ура!—закричали было гости, махая снятыми шапками, какъ вдругъ Череповъ выступилъ впередъ и остановилъ руку архимандрита, который готовъ уже былъ отвѣдать отъ края.

Все переглянулись съ недоумѣніемъ.

— Сей тостъ невмѣстенъ!—серьезно сказалъ онъ.

— Какъ! Что такое?.. Почему невмѣстенъ? Кто дерзостно смѣетъ помыслить такое?—напустились было на него гости.

— Да развѣ вы не знаете иль не слышали еще?

— О чемъ бинъ слышать-то? Что загадки, сударь, гадаешь?

— Да вѣдь императрица-то... волею Божіей, шестаго сего ноябри скончалась.

Серебряный ковшъ выпалъ изъ дрогнувшей руки пораженнаго монаха.

Все отступило молча, въ какомъ-то паническомъ испугѣ. Вопросъ, недоумѣніе, сомнѣніе и недоувѣріе ясно заиграли на лицахъ.

Нѣсколько секундъ прошло въ полномъ молчаніи.

— Скончалась... мать скончалась... А мы здѣсь бражничаемъ!—съ упрекомъ сказалъ наконецъ кто-то упавшимъ голосомъ—и гости печальной толпой, понутивъ головы, одинъ за другимъ стали подыматься наверхъ изъ погреба по широкимъ ступенямъ каменной лѣстницы.

Понятно, что сообщеніемъ о смерти государыни Василіи Череповъ возбудилъ чрезвычай-

ный интерес во всѣхъ гостяхъ услдовской усадьбы. Опомнясь отъ ошеломляющаго впечатлѣнія первой минуты, всѣ они обступили его съ разныхъ сторонъ и закидали вопросами. Каждый стремился услышать прискорбное извѣстіе какъ можно обстоятельнѣе, въ наибольшихъ подробностяхъ—и Черепову пришлось повторить имъ все то же, о чемъ онъ рассказывалъ графу Харитонову-Трофимьеву. Въ концѣ концовъ разговоръ коснулся и того обстоятельства, по которому гвардіи корнетъ прискакалъ царскимъ курьеромъ къ опальному графу, и эта послѣдняя новость едва-ли не произвела впечатлѣнія еще болѣе сильное, чѣмъ вѣсть о смерти государыни: большая часть этихъ гостей были сосѣдами графа, которые, зная причины обстоятельства его продолжительной опалы, не находили нужнымъ оказывать ему какое-либо вниманіе. Всякъ понималъ, что «пѣсенка его спѣта», что онъ ни силы, ни значенія не имѣетъ и, стало быть, не можетъ уже оказать ни пользы, ни милости, ни заступы, ни иного какого-либо покровительства, а потому большинство этихъ людей, выражаясь ихъ же словами, «плевать на него хотѣло». Да многіе и опасались дружить и водиться съ опальнымъ человѣкомъ, изъ страха, какъ бы не навлечь на себя чрезъ это знакомство какихъ-либо подозрѣній или невыгоднаго мнѣнія со стороны представителей намѣстничьей власти. И вдругъ, теперь этотъ самый человѣкъ «въ случай выходить!» Самъ императоръ, на первыхъ же минутахъ своего царствованія, за нимъ особаго гонца посылаетъ, «респектуетъ его особымъ отличіемъ» и—глядь—графъ Харитоновъ изъ ничтожества мгновенно превращается въ «силу», такъ что любого изъ этихъ самыхъ своихъ сосѣдей можетъ теперь «осчастливить», «въ люди вытащить», «дѣтокъ пристроить», «въ чины произвесть», равно какъ и на любомъ же изъ нихъ можетъ выместить за всѣ сплетни и клеветы, за все ихъ пренебреженіе, которое такъ гордо и равнодушно переносилъ въ свои опальные годы. Какъ тутъ быть? Что теперь дѣлать? «И кто бы могъ когда таковое помыслить, и кто бы могъ ожидать сего?» И тотчасъ же, наперерывъ другъ предъ другомъ, стали всѣ восхвалять графа Илію, превозносить его достоинства, его умъ, его характеръ, удивляться ему и отдавать заслуженную дань справедливости и почтенія тому величію духа, съ какимъ онъ переносилъ свою опалу. «Мы-де всегда его чтили и любили! Мы-де всегда говорили, всегда предвидѣли, что его случай еще настанетъ, что его вспомнятъ, потому что русское отечество нуждается именно въ мужахъ толикаго ума и достоинствъ, и спасибо-де государю, что онъ сразу отличаетъ и цѣнитъ истинныхъ сыновъ отечества, и мы-де такъ рады, такъ ужъ рады за графа, и дай-то ему Господи всякого благополучія, и тоже дочери его, «сей прекраснѣй-

шей и благороднѣйшей отрасли...» И чего-чего не было тутъ насаказано! И что всего замѣчательнѣе,—многіе высказывали все это совершенно искренно, отъ души, отъ чистаго сердца, такъ же точно, какъ прежде совершенно искренно, бывало, судачили того же самого графа. Но Василій Череповъ могъ бы теперь подумать, что онъ находится среди самыхъ искреннѣйшихъ друзей и почитателей графа Харитонova-Трофимьева.

Среди этихъ толковъ и разговоровъ появился вдругъ парадный «гофмейстеръ» и объявилъ, что «кушать подано». Все общество отъ закусочнаго стола перешло въ обширную залу съ двумя эстрадами, на которыхъ во время услдовскихъ пиршествъ присутствовали обыкновенно домашній оркестръ и домашняя «опера» Прохора Поплюева. Они и теперь помѣщались на своихъ мѣстахъ, въ ожиданіи выхода гостей къ обѣду. На одной эстрадѣ капельмейстеръ внимательно пялилъ глаза на дверь, боясь, какъ бы не пропустить момента, въ который появится Прохоръ Михайловичъ, торжествующій день своего рожденія, чтобы встрѣтить его величественнымъ полонезомъ, сочиненнымъ «нарочито для сего торжественнаго случая», а на другой эстрадѣ регентъ-семинаристъ, даровитый пьяница и поэтъ, изъ бывшихъ архіерейскихъ пѣвчихъ, все прислушивался къ своему камертону, приготовляя себя и свой оперный хоръ къ той минутѣ, когда будутъ подняты бокалы «за здравіе высокопочтеннаго рожденника», чтобы грянуть ему кантату, тоже «нарочито для сего случая скомпанованную». Пѣвцы были разодѣты въ алые суконные кафтаны съ позументами, кистями и вылетами, какіе и до сего дня можно видѣть на казенныхъ церковныхъ пѣвчихъ, а пѣвицы красовались въ вѣнкахъ изъ фальшивыхъ розъ и въ бѣлыхъ кашемировыхъ тюникахъ греческаго покроя. Столъ былъ сервированъ роскошно. Посрединѣ его возвышалась скала, сдѣланная изъ обсахареннаго торта, на скалѣ между сахарными цвѣтами и елками ютилась сахарная хижина, около которой сидѣлъ сахарный пастушокъ съ пастушкою и паслись сахарные барашки. Въ одномъ мѣстѣ этой скалы помѣщалась особо приспособленная серебряная лаханъ, наполненная бѣлымъ виномъ, что долженствовало изображать озеро, посреди котораго билъ фонтаникъ, орошая своими брызгами пару плавающихъ сахарныхъ лебедей. Однимъ словомъ, въ отдѣлкѣ этой скалы поплуевскій «кухмейстеръ» проявилъ верхъ своего кондитерскаго искусства и изобрѣтательности.

— Отецъ архимандритъ, ты какъ полагаешь, пристойно ли гремѣть полонезу въ разсужденіи толика горестнаго событія?—отнесся хозяинъ къ своему почтенному гостю, еще не вступая въ столовую залу.

Архимандритъ нашель, что звуки музыки,

коли они будутъ въ свѣтскомъ, «аллегретномъ» характерѣ, то лучше ихъ удалить, какъ вовсе не подходящія; но если кокальный хоръ будетъ воспѣвать какіе-либо канты строгаго или маэстознаго характера, то сіе отнюдь не возбранно. Поплюевскій майоръ, выслушавъ на ухо секретное распоряженіе объ этомъ, тотчасъ же полетѣлъ въ столовую предупредить и регента, и капельмейстера, что какъ полонезъ, такъ и все вообще «аллегретное» отменяется, чѣмъ несказанно огорчилъ обоихъ композиторовъ, которые совсѣмъ уже было приготовились блеснуть на славу и удивленіе своими талантами.

Гости сѣли за столъ безъ музыки. Но здѣсь, почти въ самомъ началѣ обѣда, неожиданно-негаданно для всѣхъ, случилось обстоятельство нѣсколько исключительнаго рода: самъ хозяинъ оказался вдругъ пьянъ. Какъ и когда успѣлъ онъ, по выраженію архимандрита, «уготовать» себя—это для всѣхъ осталось непостижимою тайною.

— Проша!.. Экъ тебя!.. Съ чего ты это, скажи пожалуй? Съ горя, аль съ радости?—спрашивали его пріятели.

— И съ того, и съ другого! — заплетаясь языкомъ, меланхолически бормоталъ Поплюевъ.

— А что, Амфитріонъ-то нашъ, холостъ, иль женатъ?—тихо спросилъ Череповъ у своего сосѣда, замѣтивъ полное отсутствіе за столомъ дамскаго общества.

— Вдовый, —отвѣчалъ тотъ, —и къ тому-жъ, бездѣтенъ. Да и на что ему въ другорядъ жениться, —продолжалъ онъ, —коли у него, какъ у шаха персіянскаго, —вонъ, видишь, сударь, —цѣлый гаремъ и балетъ: и опера... Затѣйникъ онъ! Несмотря, что съ виду тихоня, а большій затѣйникъ!

Невзирая, однако, на нетрезвое состояніе хозяина, который въ тихой полудремотѣ слегка покачивался на своемъ мѣстѣ, обѣдъ шелъ своимъ чередомъ, по чину и порядку, благодаря зоркому глазу строгаго майора. Для свѣтскихъ людей подавали скоромное, а для духовенства и для желающихъ—постныя блюда, и каждое блюдо появлялось не иначе, какъ украшенное разными штуками. Вокругъ громадныхъ осетровъ, напрімѣръ, красовался вѣнокъ разнообразныхъ цѣтговъ, которые были выдѣланы изъ свеклы, рѣпы, моркови и картофеля; жареный барашекъ предсталъ цѣлкомъ, съ золотыми рожками, въ бархатной зелени крессъ-салата, чѣмъ должноствовало изображать вокругъ него зеленую лужайку; жареные гуси, индѣйки и куры явились въ украшеніяхъ изъ страусовыхъ и павлиньихъ перьевъ—и все это было настрѣпано въ громадныхъ размѣрахъ, въ поражающемъ изобиліи. О винахъ и напиткахъ нечего и говорить: кромѣ «ординарныхъ столовыхъ», которые стояли предъ каждымъ «кувертомъ, гофмейстеръ, послѣ

каждаго блюда, обходилъ всѣхъ гостей и подчивалъ ихъ еще особыми тонкими, рѣдкими винами. Все это въ совокупности, конечно, должно было производить на головы гостей надлежащее дѣйствіе, такъ что къ концу обѣда лица уже рѣдѣли, и рѣчи становились все громче и непринужденнѣе.

Вдругъ хозяинъ, безгласно дремавшій и до тоста и послѣ тоста за его здоровье, какъ-бы очнулся, откинулся на спинку своего кресла и крикнулъ:

— Гей!.. балетъ!.. жарь лезгинку!.. карабнировъ сюда!.. вали развеселую! «Варварушку-сударушку»... Утѣшай! Съ бубнами, съ ложками!.. Ж-ж-жа!..

Архимандритъ, какъ самый почетный гость, сидѣвшій рядомъ съ Поплюевымъ на первомъ мѣстѣ, дружескимъ и солиднымъ тономъ сталъ урезонивать его, говоря, что таковое-де буйственное веселіе вовсе неприлично, что самъ же онъ предъ обѣдомъ испрашивалъ дружескаго совѣта насчетъ аллегретной музыки, что надо-де вспомнить, каковы суть нынѣ событія, и прочее.

Прохоръ усталъ на него посоловѣлыми глазами.

— Какъ?!.. Что?!.. закричалъ онъ, стукнувъ кулакомъ по столу.—Кто смѣетъ запретить мнѣ?!.. Кто здѣсь хозяинъ, ты али я? Отвѣчай!.. Отвѣчай, кто хозяинъ?! Я тебя уважаю—ты меня уважай!

— Не дури, Прохоръ! Ей, говорю, не дури, а то обижусь!—дружески грозилъ ему архимандритъ.

— Лезгинку желаю!.. Какъ пляшутъ-то бестіи! Какъ пляшутъ! Дрожитъ вѣдь вся!.. Ты погляди—душа выпрыгнетъ!.. Право!

— Невмѣстно сіе, подумай, пьянственный твой образъ!

— Не перечь! Желаю!

— Ну, въ такомъ разѣ, мнѣ и братіямъ не подобаетъ уже здѣсь соприсутствовать.

И архимандритъ обиженно всталъ изъ-за стола, кивнувъ за собой обоимъ монахамъ.

Поплюевъ тоже поднялся вслѣдъ за ними. Качнувшись раза два, онъ подступилъ къ архимандриту:

— Батя!.. а, батя!.. Уважы!.. Прошу тебя, останься!

— Уважу, коли дурость бросишь, а то прощай, братъ!

— Н-нѣтъ, ты безъ кондицій... ты просто останься...

— Невозможно... Окаянный ты, говорю—невозможно!

— Не хочешь?—рѣшительно подступилъ къ нему Поплюевъ, ухватясь за широкій рукавъ его бархатной рясы.

— Не могу!—развелъ тотъ руками.

— Въ другорядъ пытаю: не хочешь?

— Ни сану, ни обстоятельствам не подobaетъ.

— Эй, батя, въ-послѣдніе говорю: останься.. Не хочешь?

Монахъ отрицательно покачалъ головой.

— Собакъ! Ату его! — неистово крикнулъ Поплюевъ, норовя схватить архимандрита за воротъ, но потерявъ равновѣсіе и грузно бухнулся на полъ.

Гости переполошились. Кто кинулся къ монахамъ, кто къ хозяину—одни съ желаніемъ потѣшиться неожиданнымъ «шпектаклемъ», другіе съ цѣлью помѣшать дальнѣйшему «шкандалу», который становился все болѣе уже непристойнымъ. Къ счастью, распорядительный майоръ съ нѣсколькими гостями успѣли подхватить съ полу барахтавшагося Поплюева и унесли его изъ залы. Воспользовавшись этой минутой, архимандритъ тотчасъ же уѣхалъ вмѣстѣ съ монахами.

— Батюшки!.. Что я надѣлалъ!.. Ахъ, несчастный! Чего натворилъ!—убивался и плакалъ Поплюевъ не далѣе какъ чрезъ полтора часа послѣ разыгравшейся сцены, когда пришелъ въ себя и узналъ, что обиженный архимандритъ уѣхалъ изъ усадьбы.—Отца духовнаго... батю... Шутка-ли!.. вѣдь онъ мнѣ духовный отецъ, а я его... Боже мой, Боже!.. Вѣдь мнѣ за это ни въ сей, ни въ будущей жизни... Духовную персону оскорбилъ... И кто смѣлъ его выпустить?.. Уѣхалъ!.. Что-жъ теперь?..

И онъ поникъ на минуту въ отчаянномъ раздумьи.

— Ну, ништо! Дѣло житейское, — уговаривали его пріятели.—Поѣдешь завтра къ нему, прощенія попросишь и помирись.

— Завтра?.. А коли я помру до завтра?.. Тогда-то какъ?.. Вѣдь ни въ сей, ни въ будущей, поймите это!.. Гей! Майоръ! Чортова перечница!—вскочилъ онъ съ мѣста.—Вей тревогу! Запрягать лошадей!.. Да живо у меня!.. Въ монастырь ѣду!.. Въ сейчасъ! въ сію минуту! Почтенные гости всѣ со мной! Прошу!.. Всѣ будь свидѣтелями моего покаянія!.. Всѣ!

Иные согласились на это приглашеніе съ величайшей охотой, а нѣкоторые, и въ томъ числѣ Череповъ, стали отговариваться под разными предлогами и просить уволить ихъ отъ этой поѣздки.

— Нѣтъ, друзья мои!.. Нѣтъ!.. Не могу!—билъ себя въ грудь Поплюевъ.—Гей! Майоръ! Запрягать подъ всѣхъ только моихъ лошадей и въ мои экипажи! Чужіе всѣ распречь и безъ моего позволенія не выпускать изъ сараевъ! Понимаешь?.. А васъ, господанъ гвардіи корнетъ, прошу въ особенности!—искренно и усердно кланялся онъ Черепову. — Не покидайте меня!.. Пожалуйте, поѣзжайте со мной! Окажите истинно дружеское ваше расположеніе и вниманіе!.. Мнѣ безъ васъ невозможно.

— Да на что я вамъ, однако? Чѣмъ могу

быть пригоденъ?—съ невольной улыбкой пожалъ плечами Череповъ.

— Ахъ нѣтъ, не говорите!.. Вы мнѣ великую пользу оказать можете! Вы человѣкъ корпусо-кадетскій и учливый, вы гвардіи офицеръ, — онъ, батя-то мой, вѣдь онъ меня не послушаетъ... Упросите его за меня... Онъ изъ респекта къ вамъ сіе сдѣлаетъ съ охотнымъ сердцемъ!.. По христіанству, прошу!.. Вѣдь ни въ сей, ни въ будущей!..

— Ну, ладно! Инъ, быть такъ! — смѣясь, согласился Череповъ, которому послѣ обѣда, обильнаго столькими возліаніями стало казаться, что въ сущности рѣшительно все равно, куда ни ѣхать и гдѣ ни быть сегодня, а что въ свое имѣніе и завтра проѣхать успѣетъ.

— О, благодѣтель!.. Вотъ люблю! Уважаю!—съ горячею благодарностью кинулся Поплюевъ, пожимая ему руки.—Гей майоръ! Вина сюды! Хочу пить тостъ за господина гвардіи корнета! И пушай при этомъ валиють изъ всѣхъ фальконетовъ! Салютъ въ честь дорогого гостя и друга!.. Живо.. Да вотъ что еще,—приказалъ онъ, остановивъ въ дверяхъ своего майора,—захвати-ка походный погребецъ и подарки для отца-архимандрита: двухъ жеребцовъ упряжныхъ съ моей конюшни, коляску, ту, что ему понравилась, четыре ковра... Мало?—Пятый давай! Да еще салфеточныхъ и скатертныхъ полотентъ дожину съ нашей фабрики... А для братіи бочку меду кати! Все взять съ собою! Да гляди-жъ ты, живѣй!

Не прошло и часу, какъ майоръ доложилъ, что все уже готово и экипажи ждутъ у подъѣзда. Прохоръ Поплюевъ уѣлся въ свою парадную расписную карету вмѣстѣ съ Череповымъ и двумя дворянами, остальные размѣстились по разнымъ экипажамъ и, подъ эскортомъ конныхъ карабинеровъ да гусаръ, длиннымъ поѣздомъ выѣхали изъ усадьбы. Впереди всѣхъ красовался все тотъ же майоръ, на горбоносомъ дончакѣ, а за нимъ восемь карабинеровъ, по четыре въ шеренгу, которые съ бубнами и тарелками отхватывали любимую поплюевскую пѣсню:

Варварушка!
Сударушка!

Не гнѣвайся на меня
Что я не былъ у тебя.

Остальные эскортеры ѣхали, по два, по бокамъ cadaго экипажа, и время отъ времени палили изъ пистолетовъ, отчего упряжные лошади нерѣдко закидывались въ стороны — обстоятельство, доставлявшее немалую потѣху всѣмъ вообще путникамъ. Для этой-то потѣхи собственно и производилась пальба. Въ заключеніи кортежа, четыре конюха вели подъ уздцы двухъ подарочныхъ жеребцовъ, затѣмъ ѣхала подарочная коляска и, наконецъ, двѣ подводы, изъ которыхъ одна нагружена была тоже разными подарками, а другая вмѣщала въ себѣ по-

ходный погребецъ, запасъ винъ и закусокъ, да еще бочку меду для монастырской братіи.

Софроніевскій монастырь, гдѣ игуменствовали отецъ-архимандритъ Палладій, столь обиженный Прошкой Поплюевымъ, отстоялъ верстъ на восемь отъ усадьбовской усадьбы. Торжественное покаянное «шествованіе» усадьбовскаго барина подвигалось впередъ не особенно спѣшно, такъ какъ ѣхали большею частію шагомъ. Путники наши не добрались еще и до половины дороги, какъ насталъ уже вечеръ. Карабинеры позажигали смоляные факелы, а въ передовомъ отрядѣ время отъ времени жгли фальшфейеры и пускали ракеты. Къ счастью кающагося грѣшника, поѣздъ его успѣлъ добраться до монастыря какъ разъ въ то самое время, когда привратникъ совсѣмъ уже было собирался замыкать на ночь святыя ворота. Звуки «Варварушки-сударушки» и пистолетные выстрѣлы, конечно, смолкли еще по крайней мѣрѣ за версту отъ обители, такъ что торжественный поѣздъ вступилъ на монастырскій дворъ въ полномъ молчаніи, которое время отъ времени нарушалось только шипѣніемъ взвивавшихся ракетъ, да распеканіями строгаго майора.

Парадная карета Поплюева остановилась противъ домика, занимаемаго отцомъ Палладіемъ, и монастырскій дворъ, словно зарево, озарился весь багровымъ свѣтомъ пылающихъ факеловъ. Между монашествующею братіей поднялся переполохъ необычайный. Кто въ чемъ попалъ, высказывали монахи изъ келій, не понимая, что бы могло значить внезапное появленіе въ ихъ мирной обители какого-то страннаго кортежа, съ вооруженнымъ эскортомъ, факелами и ракетами. Иные въ смятеніи думали, что ужъ не горятъ ли гдѣ монастырскія строенія, другіе же опасались, что къ нимъ нагрянуло нашествіе иноплемennыхъ, а кто и просто-на-просто слезно вопилъ, что это-де второе пришествіе настало.

Игуменскій служка выбѣжалъ на площадку узнать, въ чемъ дѣло и что за смятеніе такое въ обители?

Майоръ сейчасъ же объяснилъ ему, что приѣхалъ-де самъ Прохоръ Михайловичъ Поплюевъ вымаливать у отца-архимандрита пастьерскаго прощенья за свой великій грѣхъ и привезъ-де съ собою такіе и такіе-то подарки для «его высокоблагословенства».

Обстоятельно выслушавъ это, служка юркнулъ въ дверь игуменской кельи и минутъ чрезъ пять возвратился съ объявленіемъ, что отецъ-архимандритъ гнѣваются и ни за что не желаютъ принять господина Поплюева.

Тогда огорченный Прошка вылѣзъ изъ кареты, кинулъ на земь шапку и опустился среди двора на колѣна.

— Отче! согрѣшихъ на небо и предъ тобою!— воздвѣвъ кверху растопыренныя руки, искренно вопилъ онъ въ полный голосъ, съ самымъ жалостнымъ видомъ, и всѣ свои слезные вопли со-

провождалъ земными поклонами. Это покаяніе длилось минутъ десять, по крайней мѣрѣ, пока-то, наконецъ, въ одномъ изъ архимандричьихъ покоевъ раскрылась форточка, и въ ней появилась торжествующая фізіономія отца Палладія.

— Ага, сударикъ, пожаловать изволилъ!— за-мѣтилъ онъ кающемся.

— Батя!.. Прости!.. Разрѣши, голубчикъ!.. Со-грѣшихъ окаянный!— взывалъ кланяясь Прошка.

— То-то «согрѣшихъ»!.. А давеча что!? Про-си, паршивая овца въ стадѣ Христовомъ! Проси! Говори: «сотвори мя яко единого отъ наемникъ твоихъ».

— Сотвори мя яко единого отъ наемникъ твоихъ!— жалостно повторилъ за нимъ Прошка, воздвѣвая руки.

— А собаками будешь травить?

— Пьянъ былъ, батя! Ей-же-ей, пьянъ!.. Все горячестъ моя виною!.. А ты меня жупе-ломъ за это... Позволяю!.. Хотя канчуками ва-лай!— слова не скажу! Только разрѣши-жь ты меня!

— То-то «канчуками»!.. Ну, да ужъ такъ и быть! Гряди семо, сынъ геенны! Богъ съ тобою! А ужъ я было и прошеніе настрочилъ на тебя! Всѣ пункты намаркировалъ!.. Да ужъ и какое-жъ прошеніе-то!.. Не жить, да и только!.. Ну, да Господь съ тобой, коли просишь и каешься... Я не памятозлобенъ. Ступай сюда, и съ чест-ною компаніею,— гостями будете.

Было уже далеко за полночь, когда поплюевскій кортежъ двинулся въ обратный путь. Но ужъ стрѣляли-ль на этомъ пути изъ пистолетовъ, жгли-ль фальшфейеры, пѣли-ль «Варварушку», пускали-ль ракеты, того ни Череповъ, ни Поплюевъ, ни кто-либо изъ гостей его уже рѣши-тельно не могъ себѣ припомнить, а на слѣдую-щій день, едва только послѣ полудня, Череповъ успѣлъ выбраться въ свою усадьбу изъ госте-примной «Усадлушки».

VII.

Переѣзъна декораціи.

Ознакомясь кое-какъ въ теченіе однихъ су-токъ со своимъ новымъ хозяйствомъ, Череповъ возвратился въ Любимку, гдѣ къ этому времени графъ Харитоновъ-Трофимьевъ совсѣмъ уже изготавился къ отъѣзду. Но Любимка, этотъ забытый, одинокій и всеми обѣгаемый уголокъ, была теперь неузнаваема. Взглянувъ на то оби-ліе экипажей, кучеровъ и выѣздныхъ гусаровъ, которое засталъ Череповъ во дворѣ усадьбы, можно бы было подумать, что графъ Ілія за-даетъ пиръ на весь міръ и что къ нему со всѣхъ сторонъ съѣхались многочисленные дру-зья и пріятели. Это, дѣйствительно, такъ и было, хотя никакого пира онъ не задавалъ и никакихъ друзей не разсчитывалъ у себя ви-дѣть, по той весьма простой причинѣ, что тако-

выхъ онъ не имѣлъ между окрестными дворянами. Тѣмъ не менѣе, именно эти-то самые окрестные дворяне и наполняли теперь скромныя пріемныя покои графа Харитонова-Трофимьева. Тутъ засталъ Череповъ и отца-архимандрита, и двухъ соборныхъ протопоповъ, броницкаго и коломенскаго, равно какъ и двухъ исправниковъ и двухъ предводителей дворянства тѣхъ же уѣздовъ, и многихъ изъ тѣхъ дворянъ, съ которыми третьяго дня экспромптомъ пировалъ онъ у Прохора Поплюева. Даже и самъ Прохоръ, окончательно «истрезвившійся», раздушенный, припомаженный и напудренный, предстоитъ тутъ на-ряду съ другими и, по обыкновенію, добродушно улыбался своей кислотовато-бабьей улыбкой. Всѣ эти гости присутствовали здѣсь либо въ форменныхъ мундирахъ, либо въ самыхъ нарядныхъ своихъ кафтанахъ. Череповъ не зналъ, чему и приписать столь блистательное стеченіе всей этой публики — мужичи и дамъ, юношей и старцевъ, но недоумѣніе его разрѣшилось очень скоро, когда Прохоръ Поплюевъ объяснилъ ему, что вѣсть о «случаѣ» графа съ замѣчательною быстротою успѣла распространиться въ ближнемъ и въ дальнемъ околоскахъ еще третьяго дня, и что «всеѣ сіи дворяне и чиновныя особы» поспѣшили теперь явиться въ Любимку не зачѣмъ инымъ, какъ «единственно токмо въ разсужденіи респекта и поздравленія графа съ толякою монаршею милостію».

— Да вѣдь они же его знать не хотѣли? — съ невольною улыбкой, оглядывая всю эту компанію, вполголоса замѣтилъ Прохору Череповъ.

— То было время, нонѣ другое, — отвѣчалъ тотъ, потупясь, — то былъ человѣкъ въ забвеніи, нынѣ сталъ въ силѣ: кому чинишко, кому крестикъ исхлопочетъ, кому дѣтишекъ въ кадетскій корпусъ на казенное иждивеніе опредѣлитъ, о комъ въ Сенатѣ по тяжбѣ слово замолвитъ, — все это, государь мой, надлежитъ принимать въ тонкое соображеніе; надо напередъ человѣка задобрить, чтобы онъ свой-то сталъ.

— И что-жь, — спросилъ Череповъ, — всѣ эти господа мнятъ себѣ, что графъ не сообразитъ или не догадается о томъ, каковы побужденія руководствуютъ ими въ семъ пресмыканіи?

— И, полно! Чего тамъ! — махнулъ рукой Прохоръ. — Всѣ мы это откровенно понимаемъ, но ужъ на томъ жизнь стоитъ. Да вотъ, хотя бы я, къ примѣру, — продолжалъ онъ, еще болѣе понизивъ голосъ, — нынѣ богатъ я, банкеты задаю, фестивалы торжествую, и всѣ ко мнѣ на поклонъ стекаются, а прогори я, — ну-ка! — да ни единой души во вѣки вѣковъ ни залучишь! Обѣгать будутъ, узнавать не станутъ! И я это хорошо понимаю, но что-жь подѣлаешь? Такова ужъ, сударь, филозофія нашего вѣка.

Но какъ постигались сны, какъ закивали головы, какія улыбки заиграли на лицахъ, ка-

кія привѣтствія полились изъ устъ всѣхъ этихъ дворянъ, іереевъ и чиновниковъ, когда графъ Харитоновъ-Трофимьевъ, въ траурномъ простомъ кафтанѣ безъ всякихъ украшеній, появился между своими гостями! Ни одинъ мускулъ не дрогнулъ въ его спокойномъ лицѣ, которое и теперь, какъ всегда, хранило печать строгой простоты, самодостинства. Онъ не показалъ всѣмъ этимъ господамъ ни своего торжества надъ ними, ни тѣни кичливости счастливой переменѣй своей судьбы, равно какъ не выказалъ предъ ними и особой угодливости. Онъ, какъ и Прохоръ Поплюевъ, понималъ, что «такова ужъ *филозофія* нашего вѣка», и потому нисколько не удивился появленію этихъ практическихъ «филозофовъ» въ своей тѣсной гостиной, даже нимало не возмущился въ душѣ переменѣй ихъ поведенія въ отношеніи къ самому себѣ: «Все сіе такъ есть и всему тому такъ и быть надлежало». Эту мысль можно было прочесть въ его глазахъ, когда онъ молча, спокойно и вѣжливо выслушивалъ лѣтвыя поздравленія, пожеланія и изъявленія радости, преданности и тому подобнаго.

— Ужь позвольте намъ, ваше сіятельство, — подобострастно говорили ему сосѣди и чиновники, — ужъ позвольте быть въ надеждѣ, что вы, при таковой близости къ трону, не забудете иногда своими милостями и насъ, маленькихъ людей!.. Вѣдь мы съ вами, такъ сказать, свои, все сограждане, все земляки, одноокружники, все коломенскіе, сосѣди-съ! Ужь мы за вами, какъ за столпомъ гранитнымъ; вы нашъ якобы природный защитникъ и покровитель... И ежели когда въ случаѣ чего, то ужъ позвольте надѣяться!

— Господа, — отвѣчалъ имъ графъ, — ежели государю императору благоугодно будетъ добрить мнѣ какую-либо отрасль въ управленіи, то не токма-что землякамъ и сосѣдямъ, но и каждому человѣку, кто бы онъ ни былъ, я всегда окажу всякое доброе содѣйствіе, коли то не противно будетъ истинѣ и справедливости. Всякъ, кто знаетъ меня, знаетъ и то, что это не пустое-съ моей стороны слово.

— Можеть, ваше сіятельство, въ прошедшемъ ежели изволили имѣть какой-либо поводъ къ неудовольствію противъ кого-либо изъ насъ, — началъ было коломенскій исправникъ, — то повѣрьте, какъ предъ Истиннымъ...

— Оставьте, — перебилъ его графъ, — пренебрегите симъ и не мыслите болѣе таковаго. Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, — прибавилъ онъ съ улыбкой и переимѣнилъ тему разговора.

Ласково и даже дружески обратился онъ къ Черепову, спрашивалъ, хорошо ль ему съѣздилося въ свое имѣніице, каково нашель мѣстность, домъ, усадьбу и все хозяйство, каково мужики его встрѣтили.

— А вотъ я, сударь,—сообщилъ ему графъ,— даже днемъ ранѣе даннаго мнѣ срока совершенно уже изготовился къ отъѣзду.

— Итакъ, стало быть, когда же вамъ угодно отъѣхать?—спросилъ Череповъ.

— Да ежели вамъ то не вопреки, то думалъ бы даже сегодня; препятствъ ни съ моей, ни съ дочерней стороны никакихъ къ тому нѣтъ.

— А я и тѣмъ паче, со всею моею охотой,—поклонился ему гвардеецъ.

Послѣ наскоро изготовленнаго завтрака, къ которому радушно были приглашены всѣ понаѣхавшіе нежданнныя гости, графъ съ дочерью отслушалъ напутственный молебенъ, отслуженный причтомъ его сельской церкви, и сталъ прощаться съ дворовыми. Эти люди, съ которыми неразлучно прожилъ онъ столько лѣтъ въ своемъ уединеніи, казались искренно тронутыми: и графъ, и его дочь не разъ почувствовали на своихъ рукахъ горячія капли слезъ, когда они подходили прощаться. На дворѣ ожидала большая толпа крестьянъ, — мужики и бабы, отъ мала до велика — все население Любимковского села; даже убогая слѣпая старуха — и та притащилась съ клюкой «проститься со своими боярками». Впереди этой толпы, окруженный всѣми любимковскими стариками, стоялъ староста и держалъ на блюдѣ, покрытомъ узорчатымъ полотенцемъ, большой пшеничный каравай — «хлѣбъ-соль» отъ крестьянъ на счастливую дорогу. Графъ уже на крыльцѣ перещеголялся, по обычаю, со всѣми стариками, снялъ шапку остальной толпѣ, откланялся еще разъ своимъ гостямъ и усѣлся съ дочерью въ широкій дормезъ, запряженный цѣлой шестеркой откормленныхъ и веселыхъ коняшекъ. Цѣлый обозъ тронулся вслѣдъ за графскимъ дормезомъ: тутъ были и кибитки съ ближайшей прислугой, которая «при господахъ» отправлялась въ Петербургъ, и нѣсколько саней съ тюками, сундуками и чемоданами, со всевозможной поклажей, съ домашней рухлядью и съѣстными запасами. Кромѣ того, поѣздъ этотъ увеличивался еще экипажами понаѣхавшихъ гостей, которые со всеусердіемъ пустились провожать «новослучайнаго вельможу» до первой станціи, а мѣстныя власти простерли свое усердіе даже до того, что проводили его до самой границы Коломенской округи и никакъ не хотѣли удалиться отъ него ранѣе сей черты, несмотря на то, что графъ нѣсколько разъ проявилъ ихъ не беспокоиться ради его понапрасну.

VIII.

По дорогѣ.

Въ Москву пріѣхали подъ вечеръ и остановились въ Басманной, въ большомъ, но запущенномъ домѣ, принадлежавшемъ графу Илѣ.

Здѣсь уже все было готово къ приему, такъ какъ графъ еще заблаговременно отправилъ сюда нарочнаго съ извѣщеніемъ о своемъ предстоящемъ пріѣздѣ. Холодныя комнаты были вытоплены, прибраны и освѣщены, когда графскій дормезъ подкатилъ къ крыльцу, украшенному двумя гранитными львами. Прислуга, на попеченія которой постоянно оставались покинутыя хоромы, встрѣтила нашихъ путниковъ въ сѣняхъ, облеченная въ свои давно уже ненадѣванные ливреи, со знаками всего почтенія, какое подобало въ настоящемъ случаѣ по старинному этикету.

Череповъ, не желая стѣснять собой, хотѣлъ было стать по сосѣдству на одномъ изъ ближайшихъ «подворій», но графъ, узнавъ о его намѣреніи, отнюдь не допустилъ этого.

— Чтой-то, сударь, помилуй!—говорилъ онъ ему съ дружеской укоризной,—комнатъ, что ли, нѣту?! Все ужъ заранѣе для тебя приутовлено, цѣлый апартаментъ особый; да это и мнѣ-то, старику, въ стыдъ-бы было, колибъ я отъ своего дома да пустилъ тебя по подворскимъ нумерамъ притыкаться.

Намѣреваясь завтрашнимъ утромъ пораньше тронуться въ дальнѣйшій путь, графъ переоделся въ свой мундиръ и, несмотря на вечернюю пору, поѣхалъ представиться къ своему бывшему знакомому, престарѣлому генералу Измайлову, который въ то время «главнокомандовалъ надъ Москвой». Экстренность случая могла служить достаточнымъ объясненіемъ экстренности вечерняго визита.

Москва уже знала о смерти Екатерины и сѣѣшила по всѣмъ приходскимъ церквамъ при- сѣгать новому императору.

Старикъ Измайловъ, до котораго тоже успѣла дойти быстролетная молва «объ особливомъ случаѣ графа Харитонова», встрѣтилъ его самымъ дружескимъ образомъ. Онъ добродушно рассказалъ, въ какой испугъ былъ приведенъ вчера вечеромъ, когда къ нему во дворъ на- грануль вдругъ цѣлый отрядъ кавалергардовъ изъ Петербурга; думалъ-было, что ужъ не брать ли его пріѣхалъ подъ арестъ да въ крѣпость, «анъ оказалось, что кавалергарды присланы отъ «печальной комиссіи» за государственными регалиями, хранимыми въ Москвѣ, кои теперь потребны въ процессію къ погребальной почести и отправлены нынѣшнимъ утромъ по назначенію». Рассказалъ также старикъ и о томъ, что посятся тревожныя слухи о многихъ реформахъ, затѣваемыхъ императоромъ, что онъ повелѣлъ освободить изъ заточенія извѣстнаго Москвѣ Новикова, князя Трубецкаго ⁴⁾

⁴⁾ Н. И. Новиковъ, содержатель московской университетской типографіи, издатель „Московскихъ Вѣдомостей“, „Экономическаго Магазина“ и многихъ книгъ, оживлявшихъ русскую литературу того времени, былъ обвиненъ въ „мартинизмъ“, въ основаніи тайнаго общества и приго-

и всѣхъ мартинистовъ и «франъ-масоновъ», предписывалъ возвратить изъ Сибири Радищева ⁽¹⁾, самъ посѣтилъ въ Петропавловскомъ казематѣ «главнаго польскаго бунтовщика» Баждѣя Костюшку и самъ освободилъ его при этомъ, — «а господину московскаго университета куратору Хераскову, яко старѣйшему изъ нашихъ стихотворцевъ и славнѣйшему пѣту, пожаловалъ чинъ тайнаго совѣтника», и что вообще, по слухамъ, вездѣ и во всемъ большія перемѣны воспослѣдуютъ. Добродушный старикъ хотя и подхваливалъ при своемъ разсказѣ и то, и другое, но все-таки было замѣтно, что перемѣны тревожатъ его втайнѣ и что, пожалуй, по старому все было бы и лучше, и покойнѣе.

Часа три, по крайней мѣрѣ, продержалъ Измайловъ у себя графа Харитоновъ, бесѣдуя съ нимъ наединѣ въ своемъ кабинетѣ о разныхъ «политическихъ матеріяхъ, нарочито важныхъ по текущему времени», а «графинюшка Лизутка», въ ожиданіи отпа, сидѣла пока въ гостиной со своей старой нянькой. Съ дороги-ли, съ морозу, или съ чего другого, свѣжія щеки ея рдѣли яркимъ румянцемъ и глаза играли нѣсколько лихорадочнымъ блескомъ. Во всѣхъ движеніяхъ дѣвушки порой проявлялось нѣчто нетерпѣливое и порывистое: то она задумывалась о чемъ-то и становилась разсѣянной, или черезчуръ уже сосредоточенной, то вдругъ вдавалась въ совершенно безграничную веселость и начинала тормошить Ѳеодосѣевну, покрывая со смѣхомъ все лицо ея своими быстрыми поцѣлуями, то принималась торопливо ходить по комнатѣ, какъ бы ожидая кого-то, но, не дождавшись, кидалась вдругъ въ кресло и, запрокинувшись на подушку, снова погружалась въ тихое и мечтательное раздумье.

— Мамушка, а что я тебѣ скажу... Ты не разсердишься? — поднявъ съ подушки головку, обратилась она вдругъ къ нянькѣ, послѣ глубокаго молчанія и покоя, длившагося нѣсколько минутъ безъ перерыва.

— Чего мнѣ сердиться? — отвѣтила та, перебирая свои чулочные епицы.

— Мнѣ бы хотѣлось... Нѣтъ, да ты не разсердишься?

— Да ну тебя, графинюшка! Чего ты и въ самдѣлѣ.

— Какъ бы, мамушка, поглядѣть, что офицерикъ нашъ дѣлаетъ! — отчасти со смущенной улыбкой, отчасти же наивно, но, во всякомъ случаѣ, не безъ дѣвичьяго лукавства проговорила Лиза.

ворецъ къ заключенію въ крѣпости. Его друзья и сотрудники, между которыми были князя Юрій и Николай Никитичи Трубецкіе, тоже потерпѣли при этомъ.

⁽¹⁾ Радищевъ — авторъ извѣстнаго «Путешествія изъ Петербурга въ Москву» — книга, за которую онъ былъ сосланъ въ Сибирь.

— Кто-о? офицерикъ? — удивленно подняла на нее Ѳеодосѣевна свои взоры. — Тебѣ-то что до него?

— Ахъ, мамушка, онъ мнѣ очень нравится... Такой красивый, право, да бравый такой!

— Ну да, болтай еще!.. Чему въ ѣмъ нравится? Мужичина какъ мужичина, таковъ же, какъ и всѣ, съ руками, съ ногами, костяной да жильный.

— Анъ не таковъ!.. Я такихъ-то еще и не видывала, коли ты знать хотѣла! — задорно и весело поддразнила ее Лиза.

— Увидишь и лучше, ништо тебѣ! Время-то будетъ еще, зѣвая и крести ротъ, апатично замѣтила старуха.

— Да я теперь хочу его видѣть.

— Мало-ль чего нѣтъ!.. Ишь ты!

— Мамушка! голубушка! — вскочила вдругъ Лиза съ кресла и ласково бросилась къ нянькѣ, — ужасно скучно мнѣ... Просто, такая скука, что одурь беретъ... Съ чего и сама не вѣдаю... Знаешь что... Сходи-ка ты, да погляди, что онъ дѣлаетъ, и коли ничего не дѣлаетъ, то позови сюда его...

— Что ты, что ты, шала!.. Христосъ съ тобой! Вотъ выдумщица-то! — замахала на нее нянька своими спицами.

— Не хочешь?.. Ну, такъ я и сама пойду! — бойко и рѣшительно отклонила отъ нея дѣвушка.

— Лизутка!.. Ей-Богу, графу скажу, — пригрозила Ѳеодосѣевна. — погоди, ужодко, будетъ тебѣ, какъ прійдетъ...

— Да что-жъ тутъ дурного-то?.. Мамушка! Подумай! Вѣдь мнѣ со скуки только поболтать охота.

— Ну, и болтай, коли хочется.

— Съ кѣмъ это? съ тобой, что-ли?

— Ну, и со мной болтай.

— Ахъ, мамушка, да ужъ мы съ тобой-то все вѣдь выболтали, все до чуточки...

— Ну, коли все, начинай сначала.

— Чего это? Болтать-то сначала? Да вѣдь съ тобой скучно!

— Ну, и поскучай маленько.

— Поскучай! Такъ такъ-то ты меня любилъ? — съ укоромъ положила Лиза руки на плечи старухи.

— Ну, чего пристала, графинюшка? — начала та оправдываться. — Ну, коли хочешь знать, такъ его и дома-то нѣтути, офицера этого; еще давеча на почтовый дворъ поскакалъ заказать, чтобы на утрѣ подъ графа лошади съ Ямской были, да и впередъ-то по дороге надоть кулъера спосылать ему, чтобы тамъ на всѣхъ станкахъ подъ нашъ вояжъ подставы готовились. Мало-ли ему дѣловъ да хлопотъ-то! Онъ вѣдь не по вашего сіятельства, а по царскому приказу дѣйствуетъ! Есть, вишь, ему время съ тобой тутъ турецкіе разводы разводить! Какъ же! Дождидайся!

Лиза надула губки и, повидимому, уснокоилась. Но не прошло и пяти минутъ, какъ изъ смежной залы въ открытую дверь послышались быстрые шаги, сопровождаемые звукомъ шпоръ. Графиня Лиза вадрогнула и чутко насторожила уши.

Въ открытой двери показался Череповъ. Не ожидая встрѣтить тутъ дѣвушку, онъ на минуту невольно замедлился на проходѣ въ гостиную, въ нерѣшимости, идти ли далѣе, вернуться ли назадъ.

— Войдите, сударь!—предупредительно пригласила его Лиза. — Вамъ, вѣрно, багюшку надо?

— Да, я хотѣлъ доложить графу, что у меня все уже распоряжено и готово на завтра къ отъѣзду,—сообщилъ Череповъ.

— Онъ еще не вернулся... Коли угодно, то подождите его здѣсь, посидите съ нами, буде то вамъ не въ скуку:

Старая Ѳедосѣевна только взгляды одинъ кинула на свою воспитанницу, удивляясь ея бойкости.—«Ишь ты, стрекоза! И откуда что вдругъ взялось!» ясно говорило выраженія ея лица, которому въ эту минуту она старалась придать нѣчто строгое и недовольное.

Череповъ не заставилъ повторять себѣ любезнаго приглашенія и свободно вошелъ въ гостиную, гдѣ «былъ прошенъ садиться», вслѣдствіе чего и помѣстился на золоченомъ стулѣ въ достопамятномъ и почтительномъ разстояніи отъ молодой хозяйки. Завязался разговоръ. Лизу очень интересовалъ Петербургъ и его бытъ: какъ тамъ живутъ и что дѣлаютъ, и какіе тамъ дома, какія улицы,—такіе-ль, какъ въ Москвѣ, или лучше, красивѣе?—что это тамъ за «дворъ», балы, куртаги, театры, маскарады, армітажъ, гвардія, министры? какія тамъ свѣтскія дамы и дѣвицы, и что у нихъ за наряды, что за моды?—Все это, доселѣ еще невиданное и почти неслыханное ею въ сельской глуши, представлялось ея воображенію чѣмъ-то блистательнымъ, почти сказочнымъ, все это манило ее своимъ радужнымъ блескомъ, и въ то же время какъ будто пугало ея душу. Череповъ охотно отвѣчалъ на всѣ разспросы дѣвушки и, съ удовольствіемъ любясь на ея красивое, оживленное личико, рассказывалъ какъ умѣлъ все, что зналъ объ интересовавшихъ ее предметахъ. И Лиза слушала его съ жаднымъ интересомъ и думала про себя о Череповѣ: «какой онъ, въ самомъ дѣлѣ, добрый и хорошій и какъ онъ все это любопытно и занимательно рассказываетъ!» Даже нянька Ѳедосѣевна, и та заслушалась его рассказовъ, хотя и не переставала по временамъ кидать на него изъ-за своихъ спицъ недовѣрчивые взгляды. Часа черезъ два, когда вернулся отъ Измайлова графъ Ілія, поданъ былъ ранній ужинъ, послѣ котораго всѣ разошлись на покой, въ виду завтрашняго ранняго отъѣзда.

По дорогѣ въ Петербургъ, проѣзжая деревнями и селами, путники наши нерѣдко встрѣчали на сельскихъ улицахъ и площадяхъ, предъ церквами, толпы крестьянъ, которые то шли къ присягѣ, то возвращались отъ нея, то собирали промежъ себя свои мірскія сходы и толковали о смерти парицы да о «перемѣнахъ», про что и до нихъ уже успѣли дойти кое-какіе слухи и вѣсти. Сказывали между крестьянами, что отнынѣ уже не будетъ новыхъ рекрутскихъ наборовъ и даже послѣдній наборъ приказано-де распустить по домамъ, потому что новый царь не хочетъ никакой войны, не желаетъ для себя никакихъ приобрѣтеній, а намѣренъ беречь своихъ людей и соблюдать свое государство; толковали также, что хлѣбъ будетъ дешевле прежняго ¹⁾, что раскольниковъ не станутъ гнать и дозволятъ имъ открыто отправлять всѣ свои духовные обряды и требы, и что крѣпостнымъ людямъ въ скоромъ времени «полная воля выйдетъ», что царь очень доступенъ всѣмъ и каждому, что кто хочетъ, тотъ и воленъ идти прямо къ нему съ прошеніемъ о своихъ нуждахъ, о притѣсненіяхъ ли отъ господъ и начальства, и что царь кладетъ на всѣ такія прошенія судъ скорый и строгій: «коли начальство, аль господинъ виноватъ, сразу взыщеть и на лицо не посмотреть, а коли челобитчикъ неправо проситъ, то берегись: за суетажество худо будетъ». Всѣ эти вѣсти и новости разлетались въ народѣ съ необычайной быстротой черезъ тѣхъ проѣзжихъ курьеровъ изъ Петербурга въ Москву и иные города, которые никогда еще доселѣ не ѣздили по Россіи въ такомъ количествѣ и такъ быстро, какъ въ эти первые дни воцаренія императора Павла. Московско-петербургскій почтовый трактъ, по преимуществу, былъ поприщемъ этихъ курьеровъ, едва лишь на нѣсколько минутъ дѣлавшихъ остановки на почтовыхъ станціяхъ для перемѣны лошадей, гдѣ каждого такого гонца старались принять какъ можно ласковѣе и угостить чѣмъ ни есть получше, лишь бы только вывѣдать отъ него какую нибудь петербургскую новость. Въ этомъ отношеніи въ особенности старались станціонные смотрители, сельскіе старосты и бурмистры, попутные помѣщики, деревенское духовенство и земскіе засѣдатели. Нерѣдко и толпы крестьянъ осаждали станціонные дома въ ожиданіи курьерскихъ новостей, которыя съ московскаго тракта разносились молвою все далѣе и далѣе, въ заповѣдныя глубины русскихъ вѣсей и дебрей. Этимъ курьерамъ, въ глазахъ народа, въ особенности придавало значеніе то, что ихъ подорожныя были подписаны самимъ наслѣдникомъ престола, великимъ княземъ Александромъ Павловичемъ ¹⁾.

¹⁾ Еще за нѣсколько лѣтъ до смерти императрицы Екатерины, цѣны на хлѣбъ не только въ Петербургѣ, но даже и во всей Россіи подыались до 8 и 9 рублей на куль. Это было причиною общей до-

На другой день своей дороги наши путники обогнали оригинальный поѣздъ. Графиня Лиза въ особенности интересовалась никогда еще невиданнымъ ею зрѣлищемъ и долго глядѣла на него, высунувшись изъ каретнаго окошка. По дорогѣ шла шагомъ на статныхъ, породистыхъ коняхъ, толпа блестящихъ всадниковъ, въ стальныхъ доспѣхахъ, въ сіяющихъ шлемахъ со страусовыми перьями, въ красивыхъ кирасахъ и налокотникахъ, съ обнаженными палашами въ рукахъ, а посреди этой толпы, который показались Лизѣ кавалькадою древнихъ рыцарей, ѣхали пышно убранныя дроги, гдѣ стоялъ длинный ящикъ, обитый драгоцѣнною парчею. Въ немъ были заключены государственныя регалии, которые подъ эскортомъ кавалергардовъ перевозились теперь въ Петербургъ для погребальной церемоніи. Этихъ-то самыхъ кавалергардовъ и испугался въ Москвѣ престарѣлый Измайловъ, когда они неожиданно нагрянули къ нему въ домъ чуть не цѣлымъ эскадрономъ.

Въ теченіе этого путешествія Василій Череповъ иногда цѣлыя станціи ѣхалъ въ одной каретѣ вмѣстѣ съ графомъ и Лизой. Когда, бывало, графу становъ скучно глядѣть по дорогѣ на однообразныя, покрытыя снѣгомъ равнины и перелѣски, а между тѣмъ ни дремать, ни читать не хочется, онъ останавливалъ экипажъ и приказывалъ подбѣгавшему Аникичу достать, обыкновенно, дорожную флягу венгерскаго вина да какихъ-нибудь лакомствъ и звать «господина гвардіи корнета»: «Не угодно ли, молъ, позавѣяться различными лакомствами отъ дорожной докуки?»

Гвардіи корнетъ, зная, что увидить еще одинъ лишній разокъ хорошенькіе глазки и свѣтлую улыбку «графинюшки», обыкновенно съ большой охотой принималъ эти приглашенія, выскакивалъ изъ своего возка и подходилъ къ раскрытому окошку дормеза, благодаря графа за его любезное къ нему вниманіе.

Здѣсь онъ, по большей части, получалъ приглашеніе пересѣсть, не стѣсняясь, въ графскій экипажъ, «буде на то есть охота», чтобы поболтать «малую толику» о томъ, о семъ, пока до станціи, и Череповъ пересаживался на переднее сидѣнье, рядомъ съ нянькою Федосѣвною. Тутъ иногда подымался какой-нибудь разговоръ, графъ разспрашивалъ либо про петербургскіе

порядки прошлаго царствованія, либо предавался обсужденію разныхъ дорожныхъ слуховъ о столичныхъ событіяхъ и перемѣнахъ послѣднихъ дней, дѣлалъ различныя планы и предположенія, что изъ всего этого можетъ произойти и воспослѣдовать и какой блескъ ожидается въ будущемъ наше счастливое отечество при такомъ началѣ царствованія новаго монарха, либо же, наконецъ, переходилъ къ воспоминаніямъ о своемъ прошломъ времени, о дворѣ Елизаветы и Петра III, о жизни, лицахъ и отношеніяхъ того давно прошедшаго времени. Графиня Лиза, эта единственная и потому бадованная дочь опальнаго вельможи, часто вмѣшивалась въ разговоры своего отца и тоже строила свои полудѣтскіе радужные планы и предположенія о его будущности, не разъ вызывавшія на уста старика добрую и задумчивую улыбку. Иногда графъ, убаюканный мягкимъ качаньемъ дормеза, начиналъ дремать, причемъ обыкновенно ему вторила и старая Федосѣвна; разговоръ при этомъ, конечно, прекращался, и молодые люди, оставленные, благодаря дремотѣ стариковъ, какъ бы наединѣ и чувствуя каждый такую близость другъ къ другу, начинали испытывать въ душѣ то пріятное, сладкое, хотя и нѣсколько неловкое смущеніе, которое всегда посѣщаетъ въ подобныхъ обстоятельствахъ молодыхъ сердца и является какъ бы предвѣстникомъ невольнаго зарождающагося сближенія и чувства. Они молчали, притаивъ дыханіе и даже избѣгалъ встрѣчи взорами, но глаза ихъ все-таки встрѣчались порою, и въ это мгновеніе каждый изъ нихъ могъ прочесть во взорѣ другую какую-то внутреннюю пылкость, обращенную на него и озаренную свѣтымъ лучемъ ожиданія и надежды на что-то теплое и хорошее, что какъ-будто ожидается, манитъ и непремѣнно должно сбыться въ ихъ будущемъ.

Такимъ образомъ, въ теченіе пяти сутокъ дороги старый графъ и его дочь настолько успѣли привыкнуть къ Черепову и сблизиться съ нимъ, что стали считать его какъ-бы совсѣмъ своимъ домашнимъ человѣкомъ, совсѣмъ добрымъ, старымъ и хорошимъ знакомымъ. Графъ Илья, привыкшій въ теченіе долгихъ лѣтъ своей опалы къ жизни «по простотѣ» и къ совершенно простымъ, непосредственнымъ отношеніямъ къ окружающимъ его людямъ, отъ души полюбилъ молодого гвардейца и просилъ не забывать его домъ и въ Петербургѣ.

— Иди, сударь, ко мнѣ зачѣмъ ни понадобится; чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ для тебя буду. Человѣкъ ты, вижу, хорошій, и мнѣ по праву пришелъ,—сказалъ онъ Черепову на послѣдней станціи.

Его дочь ничего не промолвила при этомъ, но зато взглянула на молодого человѣка такимъ хорошимъ взглядомъ, что не трудно было угадать въ ея глазахъ не только желаніе видѣть

роговины на всѣ жизненные предметы и вызывало неоднократныя жалобы и ропотъ какъ въ обществѣ, такъ и въ народѣ. Одною изъ первыхъ мѣръ императора Павла были указы, отъ 10-го и 18-го декабря 1796 г., о пониженіи цѣнъ на хлѣбъ и о замѣнѣ хлѣбной подати денежною.

*) По званію с.-петербургскаго генералъ губернатора, вел. кн. Александръ долженъ былъ лично подписывать всѣ подорожныя и билеты на выѣздъ изъ столицы.

его почаше, но даже какъ бы приказаніе и полную увѣренность въ томъ, что онъ непременно долженъ и будетъ бывать у нихъ въ домѣ.

Едва графскій поѣздъ приблизился къ заставѣ, какъ предъ нимъ опустился полосатый шлагбаумъ, и дормезъ поневолѣ долженъ былъ остановиться, въ виду этого неожиданнаго препятствія. Здѣсь къ экипажному окошку подошелъ дежурный унтеръ-офицеръ въ новой формѣ по прусскому образцу, и освѣдомился объ имени и званіи проезжающихъ.

— Что за остановка? Въ чемъ дѣло?—выпрыгнувъ изъ своего возка, крикнулъ Череповъ.

— Позвольте, ваше благородіе, чинъ, имя и фамилію, — доложилъ ему дежурный. — Надо знать, кто такіе проезжающіе.

— Да зачѣмъ тебѣ это надо?

— Такъ приказано. Новый приказъ такой вышелъ, чтобы не пускать ни въ Питеръ, ни изъ Питера безъ прописки на заставѣ. Пожалуйста въ караульный домъ росписаться въ книжкѣ.

Череповъ вошелъ въ караулку и отмѣтилъ въ шнуровой тетради, что такого-то числа, въ три часа пополудни, въ столицу вѣхалъ по именному государя императора повелѣнію, генераль-майоръ графъ Харитоновъ-Трофимьевъ съ дочерью и въ сопровожденіи курьера такого-то.

— Подвысы!—крикнулъ дежурный часовому, стоявшему у заставы—и полосатый шлагбаумъ медленно поднялся предъ экипажемъ графа.

Караулъ тотчасъ же выбѣжалъ «вонъ» на платформу и по уставу отдалъ вѣзжающему генералу достолюбезную воинскую почесть, которую столько уже лѣтъ никто нигдѣ не отдавалъ опальному графу.

IX.

Петербургъ того времени.

Все великолѣпіе города Петербурга въ 1796 году сосредоточивалось въ очень ограниченномъ и небольшомъ пространствѣ, между Дворцовой набережной, которая извѣстна была подъ именемъ «*сюрлеке*» (*sur le quai*), Луговой Милліонной, обѣими Морскими и Невскимъ проспектомъ отъ Полицейскаго до Анничкина моста. Центръ города составляли окрестности Зимняго дворца, но и въ этой лучшей части Петербурга — высокихъ, трехъ и четырехъ-этажныхъ каменныхъ домовъ было очень немного. Почти всѣ каменные дома покрывались черепичными кровлями и строились не выше какъ въ два этажа, или въ одинъ этажъ съ подвальнымъ жильемъ, значительно углубленнымъ въ землю. Хотя на Морскихъ и Милліонныхъ да на упомянутомъ пространствѣ Невскаго проспекта деревянныхъ построекъ почти уже вовсе не существовало, или же таковыя

являлись какъ рѣдкое исключеніе, но зато во всѣхъ прочихъ улицахъ каменные зданія составляли едва лишь десятую часть въ общемъ итогѣ жилыхъ построекъ; остальные же дома были все деревянные, рѣдко въ два этажа, а все болѣе съ мезонинчикомъ и съ палисадникомъ предъ окошками.

Въ настоящее время на Невскомъ проспектѣ сохранились въ прежнемъ своемъ видѣ домъ Васильчикова, гдѣ помѣщается «Англійскій магазинъ», уже около столѣтія существующій на одномъ и томъ же мѣстѣ, домъ Косиговскаго (что нынѣ Елисеѣва) у Полицейскаго моста, тогда еще *новый* и принадлежащій князю Куракину, домъ графовъ Строгановыхъ, извѣстный въ тѣ времена подъ именемъ палаццо (*palazzo*), домъ католической церкви и Гостинный дворъ. Всѣ же прочіе дома теперь уже либо сломаны, либо надстроены, такъ что отъ прежняго въ нихъ и слѣда не осталось. На Итальянской улицѣ, противъ Михайловской площади, на правой сторонѣ стояли частію каменные, частію деревянные постройки, а по лѣвой, во всю длину улицы, тянулся каменный заборъ, который ограждалъ собою «дворцовый огорождъ», принадлежавшій къ Лѣтнему саду. На Литейной и Владимірской, въ Конюшенныхъ, въ Троцкомъ переулкѣ, въ Моховой и окрестъ-лежащихъ улицахъ, равно какъ въ Малой и Средней Мѣшчанскихъ, въ Подъяческихъ, на Вознесенскомъ и Екатерингофскомъ проспектахъ — каменный домъ, принадлежавшій частному лицу, являлся уже рѣдкимъ исключеніемъ. Здѣсь тротуары замѣнялись деревянными мостками, и мостовыя вполнѣ могли назваться убійственными. Части же города, извѣстныя и тогда, какъ теперь, подъ названіемъ Московской, Рождественской и Коломны, были сплошь обстроены деревянными домами и вовсе не имѣли мостовой, а Козье-болото въ Коломнѣ являлось дѣйствительнымъ болотомъ непроходимымъ, смраднымъ и покрытымъ зеленой тинью. Такихъ болотъ въ тогдашнемъ Петербургѣ было нѣсколько: по Лиговкѣ, въ Грязной (нынѣ Николаевская), на Новыхъ мѣстахъ и за Каретнымъ рядомъ, гдѣ въ наши дни возвышается столько громаднѣхъ и великолѣпнѣхъ зданій. Васильевскій островъ по набережной Большой Невы сохранился и понынѣ почти въ тогдашнемъ видѣ; но во всѣхъ остальныхъ частяхъ, за исключеніемъ Первой и Кадетской линій, онъ весь напоминалъ тѣ окраины своихъ отдаленныхъ линій за Малымъ проспектомъ, какія недавно еще можно было видѣть въ окрестностяхъ Чекунгъ и Смоленскаго кладбища. Что же касается Песковъ, Петербургской и Выборгской сторонъ, то ихъ лучшія улицы напоминали самыя плохіе уѣздные городишки, а Ямская представлялась настоящей деревней. Каменныхъ церквей въ городѣ было очень не-

много, и великолѣпными могли назваться только Александровская лавра да соборъ Смольнаго монастыря. Казанскій же соборъ былъ еще деревяннымъ низкимъ строеніемъ, выкрашеннымъ желтой краской, съ высокой деревянной колокольной. Соборъ Исаакиевскій, далеко еще недостроенный, представлялъ собой какую-то мрачную массу, безъ всякой архитектуры. Адмиралтейскій шпиль со своимъ кораблемъ хотя и существовалъ, но башню его еще не окружали колонны и статуи, да и самое зданіе Адмиралтейства было низко, не оштукатурено и, не вмѣщая въ себѣ никакого жилья, служило единственно складочнымъ мѣстомъ для кораблестроительныхъ матеріаловъ. Водяной ровъ и прямолинейные земляные валы съ трехъ сторонъ окружали это зданіе тамъ, гдѣ теперь красуется бульваръ Адмиралтейскій. На мѣстѣ нынѣшняго Инженернаго замка стоялъ еще, окруженный липами Лѣтнаго сада, деревянный «Лѣтній дворецъ» императрицы Елизаветы Петровны ¹⁾. Александринскій театръ, извѣстный тогда подъ именемъ *Малого*, представлялъ собой низкое и безобразное зданіе въ родѣ сарая, безъ всякой архитектуры, а *Большой* театръ, гораздо ниже нынѣшняго и не украшенный еще портикомъ, тоже походилъ скорѣе на складочный казенный магазинъ, чѣмъ на храмъ искусства.

Дворцовую площадь окружали дома частныхъ владѣльцевъ, между которыми отличался домъ Кушелева, построенный полукругомъ, на мѣстѣ нынѣшняго главнаго штаба. Арка тогда еще не существовала. Этотъ домъ являлся для Петербурга своего рода Пале-Роялемъ, гдѣ помѣщались и лучшія «лавки» (слово «магазинъ» при Павлѣ было запрещено на выѣскахъ), и лучшіе трактиры, и маскарадная зала Фельета ²⁾ и нѣмецкій театръ ³⁾. Въ Петербургѣ было тогда нѣсколько театралныхъ труппъ: русская, французская, нѣмецкая, итальянская опера и нѣкоторое время даже польская труппа, существовавшая подъ управленіемъ антрепренера Кажинскаго ⁴⁾. На русской сценѣ *Малого* театра, гдѣ давались трагедіи, комедіи, водевили и оперы, блистали тогда трагикъ Яковлевъ и трагическая актриса Екатерина Семенова, комики Бобровъ, Ры-

каловъ, Воробьевъ, пѣвцы Самойловъ ⁵⁾ и Гуляевъ, пѣвица Сандунова. Въ балетѣ отличались Дюпоръ—европейская знаменитость того времени—и не менѣе знаменитый Огюстъ, балетмейстеръ Дидло и танцовщицы: Колосова, Данилова, Иконина. Въ итальянской оперѣ приводила въ восторгъ меломановъ примадонна Маджолетти, а теноры Пасква и Ронкони, буффо Ненчини и Замбони почитались первыми въ Европѣ. Французскій театръ тоже процвѣталъ въ царствованіе Павла, несмотря на всѣ предубѣжденія императора противъ Франціи. На французской сценѣ въ особенности отличалась м-ме Шевалье (сестра танцовщика Огюста). Она занимала первыя амплуа въ комическихъ опереткахъ и блистала своей игрой и пѣніемъ, а главное, что дѣлало ее особенно сильной въ разныхъ столичныхъ міркахъ, это—ея близость къ Кутайсову, который былъ ея безусловнымъ поклонникомъ. Къ ней прибѣгали за протекціей, просили о мѣстахъ и пособіи. Мужъ ея сидѣлъ въ передней и докладывалъ о посѣтителяхъ, которыхъ жена принимала какъ королева. Одно слово ея Кутайсову, записочка Кутайсова къ генералъ-прокурору или другому сановнику—и дѣло рѣшалось тотчасъ же. Французъ Фельетъ въ громадныхъ своихъ залахъ давалъ публичные маскарады, посѣщаемые всѣмъ высшимъ сословіемъ и нерѣдко даже членами царской фамилии. За входъ въ Фельетовскій маскарадъ, равно какъ и за мѣста въ театралныхъ партерахъ, куда ходила вся молодежь лучшихъ фамилій и все гвардейское офицерство, взималось тогда по одному рублю мѣдью. Въ этихъ маскарадахъ можно было и поужинать, причемъ напримѣръ жареный рябчикъ стоилъ 25 коп. мѣдью, а бутылка шампанскаго два рубля, обыкновенное же столовое вино весьма порядочнаго сорта отъ 40 коп. до полтины за бутылку. Лавки Кушелевскаго дома были переполнены французскими и англійскими товарами, которые тогда продавались необыкновенно дешево; поэтому «панель» предъ нашимъ петербургскимъ Пале-Роялемъ служила излюбленнымъ мѣстомъ прогулокъ для тогдашнихъ щеголихъ и модницъ, у которыхъ здѣсь подъ рукой было все, что лишь могла предоставить имъ самая изысканная мода.

За исключеніемъ набережныхъ и Дворцовой площади, тротуаровъ въ городѣ не было, а каменные мосты существовали только на Екатерининскомъ каналѣ, въ томъ видѣ, какъ и теперь, да на Фонтанкѣ, гдѣ они всѣ были подъемными и наружнымъ видомъ походили на Чернышевъ мостъ, существующій до сего дня. Мосты же на Мойкѣ, т. е. Полицейскій, Красный, Синій и Поцѣлуйевъ, были деревянные, и изъ нихъ два средніе получили названіе отъ цвѣта своей окраски. Многія улицы весною

¹⁾ На мѣстѣ его императоръ Павелъ воздвигъ, по собственному своему плану и рисункамъ, въ одинъ годъ съ небольшимъ, „Замокъ св. Архангела Михаила“. Этотъ замокъ имѣлъ видъ крѣпости, окруженъ былъ водяными рвами и валами, на которыхъ стояли пушки, и служилъ жилищемъ императору въ послѣдній годъ его царствованія. Подъемные мосты вели во внутренность замка. Освященъ онъ былъ 8 ноября 1800 г.

²⁾ Ротонда, гдѣ нынѣ помѣщается бібліотека главнаго штаба.

³⁾ Зала этого театра нынѣ занимается общимъ архивомъ главнаго штаба.

⁴⁾ Отца покойнаго В. Кажинскаго, капельмейстера Александринскаго театра.

⁵⁾ Отецъ Василія Васильевича Самойлова.

и осенью были почти непроходимы, а на других лужи не просыхали въ самое жаркое лѣто. На этихъ улицахъ зачастую паслись коровы и расхаживали свиньи, вмѣстѣ со всякой домашней птицей. По ночамъ стаи бездомныхъ собакъ бродили около рынковъ, нарушая покой обывателей своимъ вытьемъ и лаемъ, далеко разносившимся по окрестности. За исключеніемъ центра города, по всѣмъ остальнымъ улицамъ порой просто не было проходу отъ оборванныхъ мальчишекъ, которые устраивали здѣсь свои игры въ городки и въ бабки. Эти мальчишки взимали своего рода копеечную контрибуцію съ чисто-одѣтыхъ прохожихъ, которые въ противномъ случаѣ рисковали быть забрызганными грязью. На поворотѣ съ Невскаго проспекта во Владимірскую помѣщался «*Обжорный рядъ*», гдѣ цѣлыми рядами сидѣли торговки съ хлѣбомъ, пирогами, жаренымъ и варенымъ мясомъ, гусаками и рыбою. Весь рабочій людъ толпился тутъ непременно по два раза въ сутки, обѣдая и полдничая на вольномъ воздухѣ. У Сняго моста тоже постоянно толпились люди обоого пола и различныхъ возрастовъ, вмѣстѣ съ рядчиками, дворецкими и приказчиками. Здѣсь производились наймы прислуги и рабочихъ, а также купля и продажа въ вѣчное и потомственное владѣніе. Однимъ словомъ, Петербургъ *покашой*, Петербургъ, щеголявшій европейскими нравами и перенимавшій европейскія привычки, группировался только въ «*чистой*» части города, т. е., около дворца, на Морскихъ, на Миліонныхъ, да на Невскомъ до Аничкина моста; остальной же весь Петербургъ жилъ «по старинѣ» и деревянной наружностью своей нисколько не походилъ на европейскую столицу.

Съ первыхъ же дней воцаренія императора Павла весь строй и порядокъ петербургской жизни быстро и круто измѣнился.

Въ былое время вельможи Екатерининскаго вѣка, бывшаго по преимуществу «вѣкомъ вельможъ», соединяли въ себѣ всѣ утонченности европейскихъ вкусовъ и привычекъ, все величественное изящество манеръ вѣка Людовика XIV и всю вольность нравовъ эпохи его преемника, полуазиатскую пышность польскихъ магнатовъ и все хлѣбосолюство и щедрость старинныхъ русскихъ бояръ, съ достаточной примѣсью самаго широкаго самодурства. Цѣль жизни заключалась въ наслажденіи: «наслаждайся самъ и давай наслаждаться другимъ, чтобы видѣ нищеты и несчастья не отравлялъ собой подвоты твоего наслажденія» — таковъ былъ девизъ большинства этихъ магнатовъ. У нихъ ежедневно накрывались обѣденные столы на пятьдесятъ и болѣе особъ, куда могли являться не только званые и незваные, но часто даже и вовсе незнакомые люди, лишь бы только ихъ костюмъ былъ мало-мальски

приличенъ. Невскіе острова и Петергофская дорога въ то время представляли собой оживленные ряды аристократическихъ дачъ, со всевозможными затѣями, гдѣ, бывало, въ каждый праздничный день гремѣла музыка, сжигались фейерверки и вся незнакомая «публика» была угощаема чаемъ, фруктами, мороженымъ. Графъ Строгановъ на своей дачѣ устроилъ даже большой танцевальный павильонъ для этой «городской публики» и давалъ для нея блистательныя празднества. Кромѣ того, отъ имени Нарышкина и графа А. С. Строганова ежедневно раздавали пособіе нуждающимся и милость убогимъ деньгами и провизіей. Множество бѣдныхъ семействъ получали отъ нихъ и отъ цѣлыхъ десятковъ другихъ бояръ ежемѣсячныя пенсіоны. Дома этихъ русскихъ вельможъ блистали драгоценными собраніями картинъ, богатыми библіотеками, горами серебряной и золотой посуды, множествомъ драгоценныхъ камней и всякихъ рѣдкостей. Императрица Екатерина, бывало, говаривала въ шутку про Нарышкина и Строганова: «Два человѣка у меня дѣлаютъ все возможное, чтобы разориться, и никакъ не могутъ!» Въ послѣдніе годы ея царствованія въ Петербургѣ стали все болѣе и болѣе появляться изъ присоединенныхъ провинцій магнаты польскіе, которые соперничали въ блескѣ и роскоши съ русскими боярами. Тутъ были князья Четвертинскіе, Чарторыйскіе, Любомірскіе, графы: Иллинскій, Северинъ Потоцкій, Вельгорскій, Ржевускій и др. Все это старалось переблестать другъ друга и богатствомъ, и тароватостью, причемъ открывался достаточный просторъ и честолюбію, и интригѣ.

А въ то же время весь Петербургъ невольможный, всякъ по своему чину и состоянію, также старался «утопать въ роскошахъ». Не только гвардейскіе офицеры, но даже и нижніе чины изъ дворянъ рѣдко занимались службою, пренебрегали фронтомъ и еще рѣже носили свои мундиры, а все больше щеголяли во фракахъ да въ теплыхъ шубахъ съ мѣховыми муфтами, шатались цѣлыми партіями по городу, зачастую «чинили уличныя буйствы и дебоширствы» насчетъ мирныхъ обывателей, разбивали цѣлые трактиры, погребки и «вольные дома», мотали не на животъ, а на смерть, «показуя прилежность свою къ билъярду и къ азартнымъ играмъ», и вообще вели себя «яко сущіе шатуны и повѣсы», самымъ невозможнымъ образомъ. Равно и въ средѣ мелкихъ гражданскихъ чиновниковъ и вообще въ средній классъ петербургскаго населенія проникъ «духъ фривольныхъ нравовъ» и пьянство великое. Цѣлыя ночи, бывало, раздаются въ трактирахъ, въ игорныхъ и въ иныхъ «партикулярныхъ» домахъ веселые звуки музыки и пѣсенъ, звонъ стакановъ и бутылокъ, разбиваемыхъ въ дребезги, вѣнсто-

вые клики пирующих и вопли побиваемых. Слѣдствіемъ этого бывали еженощныя драки, даже цѣлыя побоища партіями, нерѣдко смертоубійства и пожары, особенно частые и опасные при тогдашнихъ деревянныхъ постройкахъ. Страсть къ «роскошамъ» и наживѣ посредствомъ азартной игры, разоряя мелкое чиновничество, поневолѣ заставляла его выискивать себѣ недостающія денежныя средства въ сугубомъ взяточничествѣ и во всякомъ родѣ незаконныхъ поборовъ. Обязанности службы отправлялись кое-какъ, спустя рукава, дѣло задерживались по нѣскольку лѣтъ безъ всякаго движенія, и присутственныя мѣста столицы едва-едва наполнялись похмѣльными чиновниками только къ полудню, а къ двумъ часамъ дня были уже пусты, хотъ шаромъ покати. Коротче сказать, тогдашняя городская и, въ особенности, столичная Россія, въ упоеніи блескомъ и громомъ побѣдъ и всяческихъ торжествъ Екатерининскаго царствованія, считая себя необъятной и страшной силой на всемъ земномъ шарѣ, въ сущности, была таки порядочно распущена и разнуздана халатнымъ управленіемъ вельможъ-сановниковъ, и это въ особенности стало замѣтно для каждаго трезваго и нелицепріятнаго глаза въ послѣдніе годы царствованія доброй и славной монархини, когда ея энергія, неутомимость въ государственныхъ трудахъ и непреклонная воля, подъ гнетомъ лѣтъ, уже значительно ослабли.

Всѣми трезво-мыслящими и прозорливыми людьми стала наконецъ чувствоваться настоятельная необходимость *подтянуть* эту военную, чиновную и чиновничью Россію, слишкомъ уже разнуздавшуюся въ тридцатилѣтнемъ своемъ упоеніи блескомъ російскаго могущества, силы и славы, и слишкомъ уже привыкшую удовлетворять своимъ «роскошамъ и пріятствамъ» на счетъ крестьянъ и вообще нечиновныхъ производительныхъ классовъ народа.

Павель Петровичъ, будучи еще наслѣдникомъ престола, какъ-бы позабытый и забытый отъ столичнаго блеска пышными вельможами и временщиками, очень хорошо видѣлъ и понималъ, среди своего гатчинскаго уединенія, всѣ расшатавшіеся винты и гайки тогдашняго государственнаго механизма. Въ противоположность людямъ того вѣка онъ до педантизма былъ исполнительенъ, точенъ и вѣренъ своему долгу и обязанностямъ, простъ и неприхотливъ въ своемъ домашнемъ обиходѣ, спартански скромненъ во всѣхъ требованіяхъ и удобствахъ своей жизни и очень религиозенъ. Извѣстно, что въ его гатчинскомъ дворцѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно стоялъ онъ на коленяхъ, погруженный въ одинокую молитву и часто обливаясь слезами, паркетъ былъ положительно протертъ, а де-

журные офицеры нерѣдко слышали изъ смежной комнаты его глубокіе вздохи во время молитвы. Кромѣ того, слѣдуетъ еще замѣтить, что, въ противоположность эпикурейскому материализму XVIII вѣка, этотъ человекъ былъ вполне идеалистъ, сочувствовалъ масонству, склоненъ къ высшему романтизму и пламенно любилъ все то, что носило на себѣ рыцарскій характеръ или даже отбѣнокъ. Пожъ, притворство и криводушіе способны были мгновенно выводить его изъ себя, и тогда онъ становился безпопадѣнъ. Одинъ изъ самыхъ непріязненныхъ Россіи писателей сознался, однако же, о немъ, что «онъ былъ справедливъ даже въ политикѣ». — А это уже много для того времени... Что же мудренаго, если, видя общественную расшатанность и понимая ея причины, онъ, со свойственной ему энергіей, принялся, что называется, выбивать клинъ клиномъ и рѣзко впалъ въ противоположную крайность? — Такъ было надобно: состояніе общества того требовало:

Но строгость своихъ требованій онъ примѣнялъ прежде всего и болѣе всего къ самому себѣ. Государь обыкновенно вставалъ очень рано, между четырьмя и пятью часами утра, и обернувшись кускомъ льда, тотчасъ же принимался спѣшно одѣваться, затѣмъ посвящалъ нѣкоторое время молитвѣ, а затѣмъ уже выслушивалъ донесеніе о благосостояніи города и отдавалъ нѣкоторые распоряженія относительно своихъ домашнихъ дѣлъ. Въ шесть часовъ утра въ его пріемной уже находились въ сборѣ всѣ тѣ министры и начальники отдѣльных частей и управленій, у которыхъ въ тотъ день была очередь для доклада, а также и тѣ лица, которымъ еще наканунѣ вѣжливо было почему-либо явиться къ его величеству. Первымъ изъ числа должностныхъ вельможъ обязанъ былъ являться генераль-прокуроръ и первый министръ, графъ Безбородко. Ровно въ шесть часовъ государь выходилъ въ пріемную и до восьми занимался выслушиваніемъ докладовъ и донесеній, обсуждая нѣкоторые безотлагательныя дѣла и кладя свои резолюціи. Въ восемь часовъ у его крыльца уже стояли въ готовности одиночныя санки и засѣдланная лошадь. Отпустивъ своихъ министровъ и сенаторовъ, государь садился либо въ санки, либо верхомъ, въ одномъ сюртукѣ, не взирая ни на какую погоду, и въ сопровожденіи очень немногихъ лицъ, иногда Кутайсова или Оболянина, а иногда Ростопчина, отправлялся подышать свѣжимъ воздухомъ и прокатиться по городу, избирая для этихъ прогулокъ не только людныя, но и самыя отдаленныя, пустынные улицы и закоулки. Иногда при этомъ заѣзжалъ онъ неожиданно въ казармы того или другого полка, пробовалъ пищу, осматривалъ удобства солдатскихъ помѣщеній, цейхгаузы и склады, а къ десяти часамъ

уже возвращался во дворец и, обогрѣвшись нѣсколько, выходилъ на площадку къ ожидавшему его гвардейскому разводу. Тутъ, въ сопровожденіи свиты, посвящалъ онъ часъ воинскимъ экзерциціямъ и нѣкоторое время на личное принятіе челобитенъ и прошеній, въ одиннадцатъ же часовъ возвращался въ свои комнаты, причемъ къ нему свободно могли придти всѣ бывшіе при разводѣ, не только высшее начальство, но даже простые армейскіе и гарнизонные офицеры до прапорщичьяго чина включительно. Тутъ они находили уже разставленные столы съ закусками, и государь, разговаривая съ начальниками и офицерами, приглашалъ всѣхъ безъ изыятія къ водкѣ и закускѣ и самъ закусывалъ тутъ же, вмѣстѣ со всѣми. Затѣмъ, ровно въ полдень, онъ садился со своимъ семействомъ за простой домашній обѣдъ, который готовила ему кухарка-нѣмка и къ которому приглашалъ иногда того или другого изъ приближенныхъ или изъ дежурныхъ офицеровъ. Пообѣдавъ, императоръ отправлялся въ свой кабинетъ отдохнуть на нѣкоторое время, а въ три часа для него опять уже были готовы одиночныя санки и верховая лошадь. Съ пяти же и до семи часовъ происходилъ вторичный пріемъ министровъ съ докладами, затѣмъ одинъ часъ посвящался государемъ своему семейству, а въ восемь часовъ онъ уже ужиная и ложился спать. Въ девять часовъ гауптвахтенные караулы высылали рунды съ барабанщиками, которые, обходя извѣстный районъ города, били вечернюю зорю, и съ этого времени во всемъ городѣ уже не было ни единой горящей свѣчки. Всякая наружная, уличная жизнь тотчасъ же прекращалась: лавки, ворота и ставни замыкались на болтъ и петербургскіе обыватели волей-неволей обязаны были спать, или, по крайней мѣрѣ, сохранять полнѣйшую тишину и спокойствіе.

Но зато предъ разсвѣтомъ, еще въ ночной темнотѣ, между четырьмя и пятью часами, петербургскія улицы, прилежавшія къ сенату и инымъ присутственнымъ мѣстамъ, наполнялись гражданскими чиновниками, которые вереницами пробирались по досчатымъ мосткамъ, поспѣвая къ мѣстамъ своего служенія. Боже избави, если бы кто изъ нихъ осмѣлился хотя пятью минутами запоздать противъ урочнаго времени! Арестъ на «сѣзжей», а не то и выключка изъ службы тотчасъ же поражали неаккуратнаго. Въ пять часовъ утра во всѣхъ безъ исключенія канцеляріяхъ, департаментахъ и коллегіяхъ на рабочихъ столахъ горѣли уже салыныя свѣчи, и трезвые чиновники усердно скрипѣли гусиными перьями. Около этого же часа, проходя по апартаментамъ Зимняго дворца, государь могъ уже видѣть полную и блистательную иллюминацію всѣхъ оконъ «вице-канцлерскаго дома», что стоялъ на Дворцовой площади, по сосѣдству съ кушелевскимъ «Пале-Роялемъ»:

тамъ уже ярко пылали всѣ каминны, блистали зажженные хюстры, лампы и кенкеты, а благообразные, чистенькіе юнoshi дворянскихъ фамилій—гражданская jeunesse dorée того времени—вмѣстѣ съ чиновными старцами-дѣльцами и дипломатами сидѣли на своихъ мѣстахъ за работой. Генераль-прокуроръ, по окончаніи доклада у государя, тотчасъ же спѣшилъ съ высшими сановниками въ тотъ или другой комитетъ, обыкновенно собиравшійся подъ предсѣдательствомъ наслѣдника-цесаревича. Однимъ только сенаторамъ, говоря относительно, дана была маленькая «поблажка»: они должны были засѣдать за краснымъ столомъ не съ шести, а только съ восьми часовъ утра.

«Ad exemplum regis componitur orbis»⁴⁾, съ покорнымъ видомъ и съ подавленнымъ вздохомъ говорили чиновные сибариты, которымъ стало куда-какъ тяжело подыматься съ постели въ ту пору ранняго утра, въ какую они, бывало, только-что ложились послѣ изобильныхъ и роскошныхъ ужиновъ. Тѣ же самые сибариты въ официальныхъ своихъ разговорахъ, конечно, восхваляли новый порядокъ жизни и службы, называя его «*ренессансомъ*», эпохой возрожденія, а въ дружеской бесѣдѣ, съ глазу на глазъ, брюзка на весь міръ и вздыхая о прошломъ привольѣ, дарили эту же эпоху «*ренесанса*» названіемъ «затмѣнія вышне».

Обстановка присутственныхъ мѣстъ тоже измѣнилась. Еще такъ недавно даже въ канцелярію сената неприятно было войти маленькии брезгливому человѣку, а о прочихъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ мѣстахъ нечего и говорить. Салыныя огарки тамъ были воткнуты въ бутылки, чернила наливались въ помадные банки, песокъ насыпался въ черепки, въ плоскіе или бумажные коробки; на полахъ лежала засохшая грязь, которую въ рѣдкихъ, экстренныхъ случаяхъ не отмывали, а просто должны были выскребывать заступами; заоптѣлыя стѣны пропитаны были какой-то салыной грязью, такъ что чистоплотному просителю гадко было и прислониться къ нимъ, а между тѣмъ, въ пріемныхъ для просителей не полагалось не только стульевъ, но даже и простыхъ скамеекъ, и цѣлыя толпы несчастныхъ ходатаевъ по собственнымъ и чужимъ дѣламъ должны были по нѣскольку часовъ дожидаться на лѣстницахъ, въ сѣняхъ и даже на улицѣ. Чиновники торговались съ ними въ канцеляріяхъ; какъ на толкучемъ рынкѣ. Эта расстрепанная и оборванная чернильная рать просто ужасъ наводила на просителей. Случалось иногда, что служители Ѳемиды и администраціи не только безъ церемоніи, но даже безъ всякаго зазрѣнія совѣсти шарили у просителя по карманамъ и отнимали деньги, при веселомъ смѣхѣ похмѣльныхъ сотоварищей. Павловская «под-

⁴⁾ Міръ живетъ примѣромъ государя.

тяжка» быстро и рѣзко измѣнила эти безобразные порядки. Народу дано было право принести прошенія и жалобы лично самому императору. У одного изъ подъѣздовъ Зимняго дворца, въ окошкѣ нижняго этажа, постоянно выставленъ былъ ящикъ для опускающаго просьбы на высочайшее имя, и ключъ отъ него хранился у самого государя, который лично отмыкалъ крышку и прочитывалъ эти бумаги, немедленно кладя по нимъ резолюцію или назначая особые слѣдствія. И сколько взяточниковъ, вымогателей и казнокрадовъ въ первые же дни его царствования было вышвырнуто изъ службы съ опубликованіемъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» именъ и поступковъ «исключаемыхъ»!—Дрожь не отъ стужи, а отъ страха все болѣе и болѣе стала принимать чиновниковъ. Съ перекраской и очисткой присутственныхъ мѣстъ, которымъ дана была приличная и опрятная обстановка, пришлось и дѣльцамъ волея неволей оставлять старые привычки и нравы, брать «полегоньку», осторожно и съ «опаской», а то и вовсе не брать, дѣла не затягивать, а рѣшать быстро, да и самимъ понадобилось облекаться въ новыя форменныя шляпы, мундиры и ботфорты со шпорами. Все это было тяжело, и число недовольныхъ новыми порядками съ каждымъ днемъ возрастало. Зато простой, неслабый людъ, въ первые дни царствования Павла Петровича встрѣчалъ его появленіе на улицахъ криками «ура» и изъявленіями своей благодарности за удешевленіе хлѣба, соли и мяса, за назначеніе умѣренныхъ податей, окончаніе персидской войны и отмену рекрутскаго набора.

Х.

У Государя.

— А что, графъ Харитоновъ-Трофимьевъ не пріѣхалъ еще?—спросилъ государь при утреннемъ докладѣ у петербургскаго коменданта.

— Никакъ нѣтъ, ваше величество!

— Жду его съ нетерпѣніемъ. Какъ только пріѣдетъ, доложить мнѣ тотчасъ же.

— Слушаю-съ и не премину исполнить,—почтительно поклонился комендантъ.

Это было сказано наканунѣ того дня, въ который графъ Ілія со своимъ деревенскимъ караваномъ вѣхалъ въ сѣверную столицу. Караульный офицеръ еще на заставѣ сообщилъ Черепову высочайшую волю, о которой комендантъ, сейчасъ же по полученіи царскаго приказанія, оповѣстилъ караулъ московской ротки.

Графъ Ілія еще съ Москвы, по рекомендаціи старика Измайлова, рѣшилъ «пристать» въ Петербургъ на первое время въ Демутову гостиницу, куда и былъ препровожденъ Череповымъ, который, не теряя лишней минуты,

помчался въ ордонансъ съ «репортотомъ» о пріѣздѣ графа. Это было въ исходѣ третьяго часа. Въ гостиницѣ Демута, почитавшейся въ то время лучшею въ Петербургѣ, графъ Харитоновъ-Трофимьевъ занялъ нѣсколько лучшихъ номеровъ «подъ себя и свою услугу». Еще далеко не успѣли перетаскать въ его помѣщеніе чемодановъ, вмѣщавшихъ въ себѣ наиболѣе нужныя вещи, какъ вошедшій Череповъ доложилъ о пріѣздѣ петербургскаго коменданта.

— Не далѣе какъ вчера государь императоръ изволилъ интересоваться вашего сіятельства пріѣздомъ,—началъ гость послѣ взаимной рекомендаціи и первыхъ привѣтствій, которыя со стороны графа Іліи сопровождались извиненіями, что, не успѣвъ передѣться, принимаетъ его въ чемъ есть, т. е. въ дорожномъ длиннополномъ сюртукѣ, въ родѣ шлафрока.—И-да,—продолжалъ генераль тягуче-размѣреннымъ и нѣсколько гнусливымъ голосомъ,—его величество повелѣлъ мнѣ тотчасъ же, какъ пріѣдете, извѣстить его, и я несказанно счастливъ, что, благодаря вашему неумедленному пріѣзду, могу столь скоро удовлетворить волю моего государя. Конечно, императоръ пожелаетъ, чтобы вы ему представились въ самомъ непродолжительномъ времени, быть можетъ даже завтрашняго дня утромъ, но... извините откровенный вопросъ: имѣете ли вы соотвѣтственную форму?

При этомъ комендантъ указалъ жестомъ на воротникъ и лацканы своего генераль-майорскаго мундира.

— Я имѣю только ту форму, съ коею былъ уволенъ отъ службы, — сообщилъ ему графъ Харитоновъ-Трофимьевъ.

— И-да, но я обязанъ предупредить вашего сіятельства, что приказомъ, отданнымъ на сихъ дняхъ, при паролѣ, вы уже зачислены на дѣйствительную его величества службу, въ составъ генералитета, а потому имѣете представиться въ установленной формѣ одѣянія.

— Но какъ же, если сіе, какъ вы говорите, можетъ воспослѣдовать завтра?—возразилъ Харитоновъ.

— О, это ничего не значитъ!—поспѣшилъ завѣрить генераль.—Я тотчасъ же пришлю къ вамъ образцоваго закройщика изъ лейбъ-гвардіи преображенской швальни, и наши портные на утро одѣнутъ вашего сіятельства какъ нельзя наилучше. Тѣмъ болѣе, — продолжалъ онъ,—что государь императоръ, отечески входя во всѣ нужды и экономію военнослужащихъ, а наипаче преслѣдуя вредныя излишества всякихъ роскошествъ, соизволилъ повелѣть, чтобы господа военные, отъ генераль-аншефа и до прапорщика, имѣли токмо одинъ форменный мундиръ, каковой завсегда и носили бы, а дабы то было отнюдь не обременительно, то вмѣсто прежнихъ богатыхъ мундировъ, повелѣлъ стро-

ить оные изъ недорогого темнозеленаго сукна, подбитые стамедомъ, съ бѣлыми пуговицами, и столь недорогіе, что мундиръ не стоитъ болѣе двадцати двухъ рублей.

Затѣмъ комендантъ сталъ рассказывать о нѣкоторыхъ перемѣнахъ и новыхъ порядкахъ, о томъ, какъ нынѣ даже генералъ-поручики и генералъ-аншефы, украшенные георгиевскими звѣздами, не исключая и самого графа Николая Васильевича Рѣпина, генералъ-фельдмаршала и лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка баталіоннаго командира, обязаны каждое утро ходить въ манежъ, учиться тамъ маршировать, ровняться, салютовать эспонтономъ и изучать новый строевой уставъ, плутонги, эшелоны, пуанъ-де-вю, пуанъ-д'ашпои и прочее.

— Но къ чему же все сіе потребно генералъ-аншефамъ и фельдмаршаламъ?—въ нѣкоторомъ недоумѣніи неосторожно спросилъ графъ Харитоновъ.

— О, не судите такъ, ваше сіятельство, не судите!—возразилъ ему комендантъ съ нѣкоторымъ жаромъ неподдѣльнаго, повидимому, увлеченія.—Въ основаніи сего лежитъ идея сообщить въ распущенныя войска свѣжую силу, научить всѣхъ безъ изыятія тому, что каждому воину знать надлежитъ, научить ихъ прежде всего слѣпо повиноваться и стройно дѣйствовать массами, и когда недреманная бдительность и грозная взыскательность обратятся у насъ въ натуральную привычку, то это заранѣе приуготовитъ наши войска къ побѣдѣ и послужитъ къ наивысшей славы отечества! Таково мое искреннее и глубочайшее убѣжденіе, — заключилъ онъ, подымаясь съ мѣста и берясь за шляпу.

— Куда же вы такъ скоро!—любезно оставилъ его графъ.

— Не могу и не смѣю долѣе: служба, — неуклюже поклонился петербургскій комендантъ, слегка пожимая протянутую ему руку.— Спѣшу къ моему государю исполнить его священную волю и доложить о пріѣздѣ вашего сіятельства, — пояснилъ онъ въ заключеніе и тотчасъ же откланялся.

— Папунка, что это за уродъ былъ у тебя?—спросила у графа вошедшая Лиза, которая изъ смежной комнаты успѣла въ дверную щель высмотрѣть гостя въ ту минуту, когда онъ уже удалялся.

— Какъ, уродъ, мой другъ! — съ нѣкоторымъ укоромъ возразилъ ей отецъ.—Это здѣшній комендантъ, господинъ Аракчеевъ, лицо очень близкое къ императору.

— Пусть такъ, но все-таки онъ препротивный, — утверждала дѣвушка. — Ужасно мнѣ не понравился, хоть я и одну лишь минутку однимъ глазкомъ его видѣла: такое злое и непріятное лицо, и еслибъ ты зналъ, какъ онъ мнѣ не по сердцу!

— Очень умный и, кажись, весьма обходи-

тельный человекъ, — возразилъ графъ, на котораго въ глубинѣ души тоже не совсѣмъ-то пріятное впечатлѣніе сдѣлала своеобразная фигура Алексѣя Андреевича.

Аракчеевъ самъ по себѣ никогда не былъ искательнымъ человекомъ относительно вельможъ и тузовъ своего времени, даже въ началѣ своей карьеры. Но визитъ къ графу Илію былъ сдѣланъ имъ «въ томъ разсужденіи» что неравно государь при докладѣ спроситъ, видѣлся ли онъ уже съ графомъ и каково нашелъ его. Выслушавъ донесеніе Черепова о благополучномъ прібытіи графа Харитонova-Трофимьева, Алексѣй Андреевичъ сообразилъ, что государь въ данную минуту, находится еще гдѣ нибудь на верховой прогулкѣ, и нашелъ, что его комендантское достоинство не пострадаетъ нисколько, если онъ предварительно доклада воспользуется временемъ этой прогулки, чтобы захватить на нѣсколько минутъ въ «Демутова трактиръ» — «оказать честь и респектъ» новоприбывшему «почтенному старцу» — давнишнему любимцу государя. — «Таковое съ моей стороны вниманіе вѣроятно будетъ пріятно и его величеству, въ угожденіе коему всю жизнь и все существо мое посвящаю», заключилъ свое размышленіе Аракчеевъ, отправляясь къ графу Харитонову.

Черезъ часъ по отъѣздѣ его изъ «Демутова трактира» пріѣхалъ туда въ придворной каретѣ дежурный флигель-адъютантъ и объявилъ, что государю императору угодно, немедленно же принять графа, и потому пускай графъ ѣдетъ, не стѣсняясь, въ чемъ есть, т. е., въ кафтанѣ или въ прежнемъ своемъ мундирѣ.

Графъ Ілія спѣшно одѣлся, навѣсилъ на грудь ордена, жалованные ему еще Елизаветой и Петромъ III, прицѣпилъ шпагу и поѣхалъ во дворецъ вмѣстѣ съ флигель-адъютантомъ.

Вечерній приемъ докладовъ далеко еще не кончился у государя, когда графъ Ілія былъ введенъ въ приемную, примыкавшую къ кабинету его величества. Здѣсь съ портфелями и папками подъ мышкой дожидались нѣсколько приближенныхъ лицъ, министровъ и статсъ-секретарей, которые шопотомъ разговаривали между собой, обращая порой боязливые взгляды на запертую дверь кабинета. Изъ старыхъ знакомцевъ своихъ графъ Ілія замѣтилъ здѣсь гр. Н. И. Салтыкова, гр. Александра Строганова и Льва Нарышкина. Первые два раскланялись съ нимъ молча, но очень вѣжливо и по этому поклону можно было замѣтить, что обоимъ имъ нѣсколько недовко въ душѣ за свою прежнюю холодность къ опальному пріятелю ихъ молодости, который теперь вдругъ подымается на высоту милостию монарха и, быть можетъ, будетъ играть очень видную и сильную роль въ государственной и придворной жизни. Зато открытый и добродушный Нарышкинъ сразу же подошелъ къ нему на цыпоч-

какъ съ выраженіемъ самой искренней радости и удовольствія.

— Сколько лѣтъ, графъ... сколько лѣтъ не видались!—взволнованно и шопотомъ говорилъ онъ по-французски, горячо пожимая руку Харитоновъ!—Да, графъ!—достойное поведеніе и честный образъ мыслей (вѣрный или невѣрный—это все равно, лишь бы честный!), судя по вашему примѣру, не всегда пропадаютъ на землѣ втунѣ и безслѣдно!.. Вы снова въ нашей средѣ, послѣ тридцати лѣтъ забвенія и немилости, и снова такой же, какъ и были, какимъ вынуждены были покинуть насъ... Вы здѣсь нужны, графъ, а главное—примѣръ вашъ нуженъ,—нуженъ именно теперь, когда и «время переходчиво», какъ говорится по-русски, и «люди переменчивы...» Вы одинъ изъ немногихъ, которые не переженились.

Графъ Ілія слушалъ его съ равнодушно-спокойной и грустно-привѣтливой улыбкой.

— Нѣтъ, Левъ Александровичъ, моя пѣсня, кажись, уже спѣта: старъ сталъ, да и отсталъ отъ всего въ своей медвѣжьей берлогѣ за тридцать лѣтъ...

— Что за старость еще! Полноте!—махнувъ рукою, перебилъ его Нарышкинъ.—Поглядите: Салтыковъ, Строгановъ, да и мало ли другихъ, пожалуй, постарше васъ будутъ, а и не думаютъ о старости.

— Большимъ кораблямъ большое и плаванье—сказалъ по-русски графъ Харитоновъ.

— Ну, вы тоже не изъ мелкихъ суденышекъ.

— Молодежи пора мѣсто уступать... Вонъ сколько здѣсь молодыхъ... Скажите, пожалуйста, кто такіе?

— Новые люди, новыя силы, графъ,—еще тише заговорилъ Нарышкинъ.—Это вотъ, что у самой двери въ кабинетъ стоитъ, Иванъ Павловичъ Кутайсовъ.

— Какъ?.. Кто такой?—наставивъ ухо, переспросилъ Харитоновъ.

— Кутайсовъ... Онъ турецкаго происхожденія; доселѣ брилъ государю бороду, а теперь, если захочетъ, то такъ отбѣтетъ нашего брата, что ай-ай!.. Сила, большая сила! Въ аристократы метнулъ...

— Какими судьбами?

— Не судьбами, а высочайшею волею... Государь изволилъ прямо высказать, что въ Россіи нѣтъ аристократіи, что здѣсь только тотъ аристократъ съ кѣмъ онъ говоритъ, и до тѣхъ только поръ, пока онъ говоритъ съ нимъ.

— Абсолютный монархъ былъ въ правѣ это высказать,—сдержанно замѣтилъ Харитоновъ.—А эти кто такіе?—спросилъ онъ, указавъ глазами на группу изъ трехъ-четырехъ человѣкъ, стоявшихъ въ нишѣ окна.

— Это наша дѣловая «молодежь», то есть, конечно, молодежь относительная. Это вотъ—статсъ-секретарь Нелединскій-Мелецкій, из-

вѣстный стихотворецъ, это—графъ Ростопчинъ, а подлѣ него Оболяниновъ и Плещеевъ.

Вдругъ растворилась дверь изъ кабинета—всѣ невольно вздрогнули, вытянулись и замолкли. На порогѣ, опираясь на трость, появился императоръ, за спиною котораго виднѣлась фигура Аракчеева.

— Графъ Ілія Дмитріевичъ!.. Пожалуйте, приблизьтесь... Душевно радуюсь видѣть васъ!—громкимъ голосомъ и со свѣтлой улыбкой сказалъ государь, выходя на середину пріемной комнаты и протянувъ по направленію къ графу свою правую руку.

Харитоновъ-Трофимовъ, отдавъ глубокой поклонъ, почтительно выступилъ на три шага впередъ и, прежде чѣмъ принять поданную ему руку, хотѣлъ было, сообразно этикету того времени, преклонить предъ монархомъ колѣно, но государь не допустилъ его до этого и быстрымъ движеніемъ предупредилъ склонявшагося старика.

— Нѣтъ, нѣтъ! Не такъ, графъ!—быстро заговорилъ онъ.—Старые друзья не такъ встрѣчаются... Обнимите меня.

И государь самъ обнялъ и поцѣловалъ графа Ілію, глубоко потрясеннаго и растроганнаго такимъ неожиданнымъ проявленіемъ царской милости и вниманія.

— Пойдемте въ мой кабинетъ; мы давно не видались, а мнѣ есть о чемъ поговорить и посовѣтываться съ вами, — сказала императоръ, приглашая Харитоновъ слѣдовать за собой.

Кабинетная дверь наглухо затворилась за ними.

Аракчеевъ остался въ пріемной и, подозвавъ къ себѣ дежурнаго флигель-адъютанта, пошепталъ ему что-то на ухо съ тѣмъ дѣловымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно передаются приказанія свыше. Флигель-адъютантъ выслушалъ его со вниманіемъ и озабоченно поспѣшилъ удалиться куда-то.

Встрѣча государя съ опальнымъ вельможей и пріемъ, ему оказанный, произвели замѣтное впечатлѣніе на всѣхъ присутствующихъ.

— Однако!—съ многозначительнымъ видомъ исподтишка мигнулъ сосѣду одинъ изъ сановниковъ съ портфелемъ, видимо озадаченный происшедшею сценой.

— Н-да!..—сквозь зубы и шопотомъ процѣдилъ тотъ въ отвѣтъ, раздумчиво закусивъ себѣ нижнюю губу.—Но только въ какомъ же разумѣ надлежитъ понимать это?

— Да такъ и понимать, что *сила*, большая сила.

— И, замѣчайте, даже его превосходительства Алексѣя Андреевича не пригласилъ за собою...

— По истинѣ примѣчательно!

— И вѣдь никого еще изъ самыхъ приближенныхъ не удостоивалъ публично такового пріема! Даже вопреки этикету.

— Н-да... А за какія заслуги, любопытнѣе бы я знать, за какіе подвиги? Что сдѣлалъ?

Чѣмъ ознаменовалъ себя?.. Вотъ и служи послѣ этого.

— Тсс... осторожнѣй: васъ могутъ слышать.

— А пускай! Мнѣ-то что! — съ независимымъ видомъ слегка мотнулъ головой сановникъ. — Однако, какъ бы узнать, гдѣ онъ присталъ и когда принимаетъ? — съ нѣкоторой озабоченностью замѣтилъ онъ послѣ минуты раздумья.

— То-есть, кто это? — переспросилъ сосѣдъ.

— Да все онъ же, графъ Харитоновъ-Трофимьевъ.

— Хм... Во дворцѣ, чай, знаютъ; надо справиться. А по что вамъ?

— Н-н... да такъ... Все же надо будетъ нѣкоторый респектъ оказать ему, визитъ сдѣлать, — пояснилъ чиновникъ, напуская на себя тонъ маленькой небрежности.

— Да, это не мѣшаетъ, — согласился сосѣдъ, думавшій въ душѣ то же самое, — а тѣмъ паче въ разсужденіи сего приѣма, — продолжалъ онъ. — Какъ знать, чѣмъ можетъ быть и какъ еще обернется фортуна!

Придворные, болѣе или менѣе, раздѣляли всякъ про себя и мнѣніе, и ревнивое чувство двухъ этихъ сановниковъ. Чѣмъ долѣе оставалась замкнутою дверь кабинета, тѣмъ болѣе выросло въ ихъ глазахъ значеніе графа Харитонova и тѣмъ настоятельнѣе сознавалась необходимость въ предупредительномъ оказаніи ему всяческаго «респекта». О чемъ бесѣдовалъ съ нимъ государь — это осталось обоюдной тайной, но бесѣда въ замкнутомъ кабинетѣ длилась болѣе получаса, и когда, наконецъ, дверь растворилась снова, императоръ вышелъ въ приемную, ласково положивъ свою руку на плечо графа.

— Готово? — мимоходомъ вскинулъ онъ воприсительный взглядъ на Аракчеева.

Тотъ предупредительно метнулся въ сторону и жестомъ пропустилъ мимо себя двухъ камеръ-лакеевъ, которые приблизились къ государю, держа предъ собою массивное серебряное блюдо. На этомъ блюдѣ, сверкая алмазами, красовались орденскіе знаки.

— Поздравляю тебя кавалеромъ ордена святыя Анны 1-го класса, — милостиво сказалъ государь графу Иліѣ и собственноручно возложилъ на него звѣзду, а потомъ ленту.

— Я слыхалъ, у тебя есть дочь; ты, конечно, привезъ ее съ собою? — спросилъ онъ послѣ того, какъ Харитоновъ принесъ ему благодарность за новый знакъ высокой милости. — Она должна быть представлена императрицѣ, — продолжалъ государь, — и я укажу, когда сіе должно будетъ исполнить.

— Благодарю, ваше величество, но заранѣе прошу для нея милостиваго снисхожденія, — замѣтилъ графъ съ глубокимъ поклономъ. — Она у меня родилась и возросла въ деревнѣ одиноко и для того опасаясь, что обычай большаго свѣта весьма мало ей знакомъ.

— Это ничего; я поручу ее такой особѣ, ко-

торая живо сообщитъ ей надлежащій лоскъ. А благополучно-ли вы доѣхали, не спросилъ я еще тебя? — продолжалъ государь.

— Какъ не надо лучше и спокойнѣе, ваше величество.

— А что, ординарецъ, котораго я послалъ къ тебѣ въ провожатые, хорошо-ли онъ исполнилъ свою обязанность?

— Офицеръ самый достойный и вполне расторопный, — похвалилъ графъ Черепова.

— И ты, стало быть, остался имъ доволенъ?

— Какъ нельзя болѣе, государь!

— Въ такомъ разѣ, коли угодно, можешь взять его къ себѣ въ личные адъютанты.

И вслѣдъ за нимъ императоръ милостиво отпустилъ отъ себя графа. Очередной статсъ-секретарь отправился въ кабинетъ съ докладомъ, а остальные изъ присутствовавшихъ, знакомые и незнакомые, обступили Харитонova и кланялись, и рекомендовались, и знакомились, и пожимали руки и, сіяя улыбками, повидимому, отъ всей души поздравляли его «съ такими милостями монарха».

Графъ Илія, выйдя изъ приемной комнаты, прежде всего пожелалъ поклониться праху усопшей императрицы. Одинъ изъ камеръ-лакеевъ почтительно повелъ его по дворцовымъ корридорамъ и заламъ. Весь дворъ былъ въ глубокомъ траурѣ. Множество лицъ, одѣтыхъ въ черное, толпилось и проходило взадъ и впередъ по всемъ покоемъ, и только шелестъ женскихъ шлейфовъ, да легкій звукъ шаговъ нарушали глубочайшую тишину, которая царилъ въ громадныхъ залахъ и галлерейхъ. «Кавалергардская комната» сплошь была обита чернымъ сукномъ: и потолокъ, и полъ, и стѣны. Камеръ-лакей препроводилъ графа Илію въ Малую Тронную залу, куда 15-го ноября торжественно перенесено было тѣло императрицы, покоившееся дотолѣ въ ея опочивальнѣ, при полномъ дежурствѣ фрейлинь и придворныхъ кавалеровъ. Здѣсь предъ глазами Харитонova предстало зрѣлище, невольно поражавшее каждого своимъ мрачно-роскошнымъ величіемъ. Посреди залы на возвышенномъ тронномъ помостѣ стояла кровать, богато и пышно драпированная малиновымъ бархатомъ, который покрытъ былъ серебрянымъ флеромъ, отороченъ золотой бахромой и украшенъ тяжелыми золотыми кистями. Россійскій императорскій гербъ, расшитый чернетью, шелками, серебромъ и золотомъ, блисталъ въ головахъ этой кровати; а по бокамъ ея на ниспадающихъ драпировкахъ красовались вензелевые шифры Екатерины. Вокругъ помоста стояло нѣсколько массивныхъ бронзовыхъ канделябръ, на которыхъ въ вышинѣ, сквозь туманныя волны ароматнаго курева, трепетно сіяли пѣлые клубки огня и заливали своимъ струящимся свѣтомъ смертный одръ, на которомъ въ особенности рѣзко выдѣлялся строгій и величественный профиль по-

койницы. Тѣло императрицы облечено было въ русское національное платье изъ серебряной парчи, отделанное золотой бахромой и драгоценнымъ кружевомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ «Point d'Espagne». Необычайно длинный и роскошный шлейфъ этого платья, ниспада на ступени, изящно и пышно распростертъ былъ до самаго аналоя, на которомъ положенъ былъ образъ, сверкавшій драгоценными камнями. Малиновый бархатъ и бѣлый серебристый газетъ съ золотымъ позументомъ драпировали и аналой, и орденскія подушки, и подзоры, и тронный помостъ. Въ головахъ кровати, обитые чернымъ флеромъ, сверкали сталью два эспонтона, на которые опирались двое гвардейскихъ офицеровъ, капитанъ и капитанъ-поручикъ, поставленные сюда въ видѣ почетной стражи. Вдоль смертнаго ложа, по обѣ стороны, отступя на нѣсколько шаговъ, неподвижно, какъ изваянія, съ карабинами на плечѣ, стояли шесть кавалергардовъ въ своихъ рыцарскихъ доспѣхахъ и въ шишакахъ, повитыхъ траурнымъ флеромъ. У обѣихъ дверей этой залы, внутри комнаты, на часахъ поставлено было тоже по два кавалергарда, а у ногъ покойницы, въ нѣсколькихъ шагахъ находились четыре камеръ-пажа. Шесть почетныхъ дамъ первыхъ четырехъ классовъ, двѣ фрейлины и восемь придворныхъ кавалеровъ днемъ и ночью находились на дежурствѣ при тѣлѣ императрицы. Духовенство, облаченное въ черныя бархатныя ризы, ежедневно отъ 9-ти часовъ утра до часу дня, а потомъ отъ 3-хъ и до 8-ми вечера, совершало при тѣлѣ церковную службу. Священники, чередуясь другъ съ другомъ, читали вмѣстѣ Псалтири Евангеліе, и чтеніе это производилось непрестанно, днемъ и ночью, на особомъ аналоѣ. Лица всѣхъ сословій, за исключеніемъ однихъ только крестьянъ, безпрепятственно были допускаемы къ рукѣ покойной императрицы.

Эти волны ошмѣма и струящійся свѣтъ множества восковыхъ свѣчей, блескъ парчи и воинскихъ доспѣховъ, эта тишина, среди которой внятно раздается глухой низко-басовой и монотонный голосъ читальщика, эта неподвижная стража и множество, одна за другой преклоняющихся колѣна, мужскихъ и женскихъ фигуръ, которые отъ контраста огней и чернаго цвѣта своихъ одеждъ всѣ кажутся блѣдными и, какъ тѣни, тихо двигаясь въ туманѣ ладона, напоминаютъ собой скорѣе какихъ-то призраковъ, чѣмъ людей, наконецъ этотъ величаво-спокойный видъ усопшей на возвышеніи—все это обвѣяло душу графа Иліи благоговѣйнымъ трепетомъ и поражало ее мыслию о таинственномъ и суровомъ величій смерти. Онъ долго стоялъ въ вѣдомъ созерцаніи предъ недвижнымъ тѣломъ той, которую помнилъ еще во всемъ увлекательномъ блескѣ ея красоты, молодости, характера и силы воли,

когда, тридцать-четыре года тому назадъ, она смѣло и гордо шла на рискованное предпріятіе въ Петергофъ, впереди полковъ императорской гвардіи. И возсталъ предъ нимъ весь контрастъ ея громкаго, славнаго царствованія и своей собственной опальной жизни, но ни чувство горечи, ни чувство упрека не шевельнулись теперь въ душѣ стараго графа.

— Прости мнѣ, если я былъ неправъ предъ тобой!—тихо прошептали его уста, когда онъ съ земнымъ поклономъ повергся у подножія смертнаго ложа великой женщины и великой императрицы.

XI.

Похороны императорской четы.

Государственныя регаліи, подъ эскортомъ кавалергардовъ, были наконецъ перевезены изъ Москвы въ Петербургъ и доставлены императору. Сыновнее чувство побуждало Павла Петровича воздать достойную почесть смертнымъ останкамъ его родителя, который тридцать четыре года назадъ былъ погребенъ въ склепѣ Александро-Невской лавры. Мѣстомъ погребенія русскіихъ императоровъ служить обыкновенно Петропавловскій соборъ с.-петербургской крѣпости, но Петръ III положенъ былъ въ усыпальницахъ лавры, на томъ основаніи, что онъ умеръ лицомъ некоронованнымъ, т. е., отрекшимся отъ престола. Настоящую минуту императоръ Павелъ нашелъ благопотребною для того, чтобы исправить ошибку его покойной родительницы. Онъ задумалъ перенести останки Петра III сначала въ Зимній дворецъ, съ тѣмъ чтобы похоронить ихъ рядомъ съ гробомъ Екатерины въ Петропавловскомъ соборѣ. Съ этой цѣлью государь самолічно съ оберъ-церемоніймейстеромъ Петромъ Степановичемъ Валуевымъ составилъ церемоніаль перенесенія гроба своего родителя во дворецъ и его вторичнаго погребенія обще съ Екатериною II. Собственною рукою намѣчалъ онъ имена высшихъ чиновниковъ, назначенныхъ имъ къ несенію императорскихъ регалій. При этомъ графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ-Чесменскій написанъ былъ «къ императорской коронѣ Петра III». Это было жестоко, но никто не имѣлъ возразить что-либо противъ справедливости возмездія, заключавшагося въ той мысли, которая внушила государю дать это порученіе именно графу Алексѣю Орлову. Князь Платонъ Александровичъ Зубовъ былъ приглашенъ къ участию въ совѣтѣ по случаю перенесенія останковъ Петра III. Въ это время онъ жилъ уже не во дворцѣ, а на Англійской набережной, въ домѣ сестры своей, Жеребцовой, и между придворными мало кто интересовался теперь знать, обрѣтается ли еще въ живыхъ его свѣтлость, хотя Зубовъ все еще продолжалъ

пользоваться должностью и званіем генерал-фельдцейхмейстера. Фельдмаршалъ князь Рѣпинъ послалъ къ нему своего адъютанта Лубяновскаго доложить о назначеніи его въ «свѣтъ» и спросить, угодно ли его свѣтлости пожаловать въ собраніе. Лубяновскій ни души не нашелъ ни на лѣстницѣ, ни въ прихожей и уже въ одной изъ смежныхъ комнатъ наткнулся въ сумрачномъ углу на частнаго пристава. Удивленный нечаяннымъ появленіемъ адъютанта, приставъ осматривалъ его съ ногъ до головы и, допросивъ, кто онъ, откуда, отъ кого и зачѣмъ присланъ, сначала позамялся, а потомъ бросился въ переднюю и исчезъ гдѣ-то. Минутъ пять спустя, предъ Лубяновскимъ растворилась дверь траурной гостиной. Князь Платовъ, читавшій лежа на диванѣ книгу, всталъ при его появленіи. На блѣдномъ и уныломъ лицѣ его, повидимому, пробѣжала легкая улыбка неожиданнаго удовольствія, когда онъ услышалъ, зачѣмъ былъ присланъ къ нему адъютантъ фельдмаршала. Zubovъ поблагодарилъ за вниманіе и просилъ передать князю Рѣпину свое сожалѣніе, что, по причинѣ болѣзни, онъ не можетъ участвовать ни въ совѣтѣ, ни въ церемоніи. Алексѣй же Орловъ, оповѣщенный повѣсткою, изъ «печальной коммисіи» о своемъ назначеніи къ коронѣ Петра III, и никакъ не подозрѣвая, что здѣсь участвовала личная воля государя, пріѣхалъ въ собраніе совѣта «въ полъшня» и сталъ шумѣть и браниться съ Валуевымъ, въ полномъ убѣжденіи, что Валуевъ самовольно, по собственному усмотрѣнію дѣлалъ росписаніе и далъ ему такое «невмѣстное» назначеніе, отъ котораго Орловъ рѣшительно отказался, ссылаясь на слабость въ ногахъ. Раздосадованный Валуевъ не безъ особаго намѣренія положительно умолчалъ о своемъ столкновеніи съ Орловымъ и объ его отказѣ. Наконецъ, печальный церемоніаль былъ окончательно составленъ, и государь заранѣе самолично сдѣлалъ «рекогносцировку» для войскъ отъ Зимняго дворца до лавры. Всѣ наличныя войска, предназначенныя къ участію въ церемоніи, отданы были подъ команду князя Рѣпина, по его «фельдмаршалскому рангу».

За два дня до перенесенія останковъ Петра, весь Петербургъ присутствовалъ при другой церемоніальной процессіи, унылѣе которой трудно было представить себѣ что-либо. Это было перевезеніе изъ Зимняго дворца въ Невскую лавру государственныхъ регалій ко гробу Петра III. Процессія двинулась въ семь часовъ вечера, при двадцати градусяхъ стужи, въ совершенной темнотѣ отъ густаго морознаго тумана. Болѣе тридцати каретъ, обитыхъ внутри и снаружи чернымъ сукномъ и запряженныхъ каждая цугомъ въ шесть лошадей, тихо тянулись длиннымъ рядомъ вдоль по Невскому проспекту. Лошади съ головы и до края ко-

пытъ покрыты были суконными черными попонами съ капоромъ и у каждой при уздцахъ шелъ придворный лакей съ факеломъ въ рукѣ, въ черной епанчѣ съ длинными воротниками и въ обложенной крепомъ широкой шляпѣ. Въ такомъ же нарядѣ и тоже съ факелами въ рукахъ шло по нѣскольку человекъ лакеевъ съ обѣихъ сторонъ у каждой кареты. Кучерá на высокихъ козлахъ сидѣли въ широкополыхъ шляпахъ, какъ подъ наметами. Въ каждомъ экипажѣ помѣщались высшіе сановники и придворные кавалеры въ глубокомъ траурѣ, держа на бархатныхъ подушкахъ тѣ или другіе предметы государственныхъ регалій, отъ которыхъ иногда въ опущенномъ каретномъ огнѣ отражался на мгновеніе сверкающій блескъ драгоценныхъ камней. Мракъ непроглядной ночи, могильная чернота на людяхъ, на лошадяхъ и на колесницахъ, глубокая тишь во многолюдной толпѣ, какой-то зловѣщій свѣтъ отъ гробовыхъ факеловъ и блѣдность отъ того лица—все это вмѣстѣ составляло печальнѣйшее зрѣлище.

Еще за нѣсколько дней до этой процессіи, а именно 19-го ноября, тѣло Петра III, по высочайшему повелѣнію, было вынуто изъ склепа и въ своемъ старомъ гробѣ положено въ гробъ новый, великолѣпно отфланный золотымъ газетомъ и серебристымъ газомъ и украшенный металлическими государственнымъ гербами. Прахъ покойнаго императора выставленъ былъ въ нижней Благовѣщенской лаврской церкви, куда въ тотъ же день къ семи часамъ вечера прибылъ императоръ Павелъ съ супругою и великими князьями. Въ присутствіи императорской фамиліи старый гробъ былъ вскрытъ не болѣе какъ на минуту. Государь приблизился взглянуть на прахъ родителя, но увы! въ этомъ гробѣ не нашелъ онъ уже ни образа, ни подобія Петра III: тѣло его окончательно истлѣло, уцѣлѣли же только шляпа, перчатки и ботфорты. Императоръ орошилъ эти смертные останки горькими слезами и приложился къ нимъ послѣднимъ, прощальнымъ поцѣлуемъ. Вслѣдъ за нимъ отдали ту же дань почтенія царственному праху императрица Марія Ѳеодоровна и цесаревичъ Александръ съ великимъ княземъ Константиномъ, а затѣмъ крышка снова, и уже на вѣки, была наложена на гробъ Петра III.

25-го ноября, утромъ, пріѣхалъ въ лавру съ великими князьями государь во время паннихиды, при провозглашеніи «вѣчной памяти», возложилъ на гробъ родителя императорскую корону, а вечеромъ того же дня происходило торжественное положеніе во гробъ тѣла императрицы. Къ этому дню большая тронная зала была уже вся драпирована чернымъ сукномъ и посрединѣ ея, на тронномъ помостѣ, поставленъ высокій «каструмъ долорисъ». Къ восьми часамъ вечера въ Зимній дворецъ съѣхались

лица обоого пола, имѣющія прїѣздъ ко двору, и все высшее духовенство.

Послѣ литіи, отправленной митрополитомъ Гавріиломъ, восемь камергеровъ приблизились съ обѣихъ сторонъ къ ложу усопшей и, поднявъ ея тѣло, переложили его во гробъ. Четыре камеръ-юнкера несли при этомъ шлейфъ ея платья. Затѣмъ ко гробу приблизилась императрица Марія Ѳеодоровна и возложила на главу усопшей императорскую корону. Какъ скоро это было исполнено, тѣ же восемь камергеровъ подняли гробъ и, въ предшествіи духовенства и четырехъ камеръ-юнкеровъ, несшихъ крышку, перенесли его въ большую тронную залу и поставили на «каструмъ-долорисъ», а четыре старшихъ камергера покрыли его богатѣйшимъ покрываломъ. Послѣ этого была отслужена торжественная панихида и всѣ присутствующіе допущены къ рукѣ покойницы.

2-го декабря, къ десяти часамъ утра, въ Александрѣ-Невскую лавру прибыли всѣ члены императорскаго семейства. Ихъ ожидали уже тамъ всѣ высшіе чины государства и двора, назначенные участвовать въ церемоніи по случаю перенесенія гроба Петра III въ Зимній дворецъ. Отъ монастырскихъ воротъ и вплоть до дворца, на всемъ протяженіи Невскаго проспекта, по обѣимъ сторонамъ его, стояла гвардія. Между великанами - гренадерами, въ изящныхъ свѣтло-зеленыхъ мундирахъ съ великолѣпными касками, тѣснились переведенные въ гвардію мелкіе гатчинскіе солдаты въ нарядѣ пруссаковъ временъ Семилѣтней войны, что тогдашняя публика, вмѣстѣ съ Екатерининскими гвардейцами, находила съ неприличіемъ смѣшнымъ и безобразнымъ. Массы народа, громоздясь на скамейкахъ и лѣстницахъ, тѣснились за рядами войскъ. Всѣ окна, всѣ балконы, драпированные чернымъ сукномъ, несмотря на сильную стужу, были раскрыты настежь и наполнены зрителями, которые унывали даже домовыя крыши.

Послѣ малой литіи, отслуженной митрополитомъ вмѣстѣ со всѣмъ высшимъ бѣлымъ и чернымъ духовенствомъ, приступлено было къ поднятію гроба Петра III. Но тутъ, съ самаго перваго шага, процессія нѣсколько замаялась. Государь замѣтилъ, что къ императорской коронѣ подходит не Алексѣй Орловъ, а какой-то другой чиновникъ.

— Для чего не Орловъ? Вѣдь онъ тутъ?— строго обратился онъ къ Валуеву.

— Тутъ, ваше величество, но... князь отказывается за слабостью.

Императоръ съ негодованіемъ выхватилъ у чиновника бархатную подушку и толкнулъ ею Валуева.

— Ему нести въ наказаніе! — сказалъ онъ громко, такъ что всѣ ясно это слышали.

Но Орлова не было. Кинулись искать его и наряду нашли. Князь Алексѣй Григорьевичъ

забился въ одинъ изъ темныхъ угловъ собора и плакалъ навзрыдъ. Ему передали непремѣнную волю разгнѣваннаго императора и заставили выйти изъ своего уединенія. Руки его сильно трепетали, когда подъ магнетическимъ взглядомъ безмолвнаго государя бралъ онъ императорскую корону. Коснувшись ея, онъ зашатался и, смертельно блѣдный, при помощи двухъ ассистентовъ, подхватившихъ его подъ руки, долженъ былъ пронести эту легкую, но страшную для него ношу весь путь до самой тронной залы. Какія ужасныя воспоминанія и картины должны были терзать его совѣсть въ эти минуты возмездія! Онъ нравственно проходилъ теперь сквозь строй не только гвардейскихъ войскъ, но и безчисленнаго народа. И дѣйствительно, общее вниманіе преимущественно обращалось на графа Орлова и еще на двухъ человѣкъ, несшихъ концы покрыва Петра III. Эти двое были князь Барятинскій и Пассекъ. Всѣ трое занимали въ процессіи мѣста, подобающія первымъ лицамъ въ имперіи.

По перенесеніи въ большую тронную залу, гробъ императора Петра III былъ поставленъ на томъ же «каструмъ-долорисъ», съ гробомъ императрицы Екатерины, и, надъ обоими торжественно отправлена общая панихида и провозглашена общая «вѣчная память». Почетная стража и дежурство были удвоенны. Такимъ образомъ, два эти гроба стояли совмѣстно въ одной залѣ и на одномъ катафалкѣ въ теченіе трехъ сутокъ, до 5-го декабря. Во все это время, попрежнему, отправлялось ежедневно церковное служеніе и чтеніе Евангелія надъ императорской четой, а лица всѣхъ состояній были денно и нощно допускаемы въ извѣстные назначенные часы къ поклоненію усопшимъ.

5-го декабря вновь стояли шпалерами войска, но уже не по Невскому, а по Милліонной и на особомъ, нарочно наведенномъ мосту отъ Мраморнаго дворца до воротъ крѣпости. Въ предшествіи двухъ «печальныхъ рыцарей», съ головы до пятъ закованныхъ въ стальные доспѣхи, медленно двигалась громадная и пышная процессія, въ хвостѣ которой слѣдовали одна за другою двѣ погребальныя колесницы: на первой помѣщался гробъ императора Петра III, а на второй—императрицы Екатерины. За этимъ послѣднимъ шелъ пѣшкомъ государь, въ черномъ одѣяніи, съ воротникомъ изъ кружевъ въ нѣсколько рядовъ, а за его величествомъ слѣдовали: императрица, великіе князья и княгини — всѣ въ такомъ же глубокомъ траурѣ.

Оба гроба поставлены были рядомъ въ Петропавловскомъ соборѣ, гдѣ оставались до 18-го декабря. Въ этотъ же день, т. е., на сорокъ-третьи сутки со дня кончины императрицы, совершено было погребеніе. Литургію и все

вообще служеніе совершалъ Гавріилъ, митрополитъ новгородскій, въ сослуженіи шести архіереевъ, пяти архимандритовъ, четырехъ игуменовъ, духовника съ придворнымъ духовенствомъ и петропавловскаго причта. Послѣ обѣдни отправлена была панихида по государынѣ Елизаветѣ Петровнѣ, въ память дня ея рожденія, а въ началѣ двѣнадцатаго часа прибылъ въ соборъ императоръ со всей высочайшей фамиліей и былъ встрѣченъ со крестомъ. При началіи панихиды, когда раздавали свѣчи, во время ектеніи, митрополитъ кадилъ гробы и церковь, а по окончаніи кажденія были сняты съ катафалка и опущены въ склепъ гробъ императрицы; затѣмъ, точно такимъ же порядкомъ, опустили рядомъ съ ней и гробъ Петра III. Въ это время панихида была окончена и усопшей четѣ провозглашена предъ царскими вратами «вѣчная память». Громъ пушечныхъ выстрѣловъ раздавался съ бастионовъ крѣпости во время погребенія. Ему вторилъ съ набережной огонь полевой артиллеріи и ружейные залпы.

Графъ Харитоновъ-Трофимьевъ, въ сопровожденіи своего личнаго адъютанта, по обязанности присутствовалъ при всѣхъ этихъ печально-торжественныхъ церемоніяхъ.

Василій Череповъ во время послѣдней панихиды обратилъ его вниманіе на золотыя надписи, крупно вырѣзанныя на черныхъ металлическихъ доскахъ въ годовыхъ каждаго гроба. На этихъ надписяхъ значилось: «Императоръ Петръ III, родился 10 февраля 1728 г., погребенъ 18 декабря 1796. Императрица Екатерина II, родилась 21 апрѣля 1729 г., погребена 18 декабря 1796 г.»

— Да,—тихо замѣтилъ на это графъ послѣ минуты грустнаго размышленія, — подумаешь, что эти супруги провели всю жизнь вмѣстѣ на тронѣ, вмѣстѣ умерли и вмѣстѣ погребены въ одинъ день.

— А что-жь,—отвѣтилъ Череповъ,—пожалуй, это скажутъ чрезъ нѣсколько тысячелѣтій будущіе историки, истолковывая уцѣлѣвшія надписи на неизвѣстномъ тогда языкѣ рускомъ. Это и нынѣ въ исторіи частенько бываетъ.

ХІІ.

Новая фрейлина.

Графъ Ілія, прочтя случайно въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» объявленіе, что «въ Садовой улицѣ, противъ Лѣтнаго сада въ Турчаниновомъ домѣ, подъ № 799, отдаются для дворянства покои, богато убранные и съ драгоцѣнными мебелями, помѣсячно и въ годы въ наемъ» поѣхалъ осмотрѣть, что это за покои, нашелъ ихъ «довольно пристойными, со многими удобствами», съ людскими, конюшными

и сараями, и нанялъ для себя цѣлый этажъ, куда и переѣхалъ изъ «Демутова трактира». Череповъ тоже подыскалъ для себя маленькую «пристойную» квартирку по сосѣдству, и въ положенные часы утра являлся къ своему шефу за приказаніями, а затѣмъ сопровождалъ его въ манежъ, гдѣ графъ, на ряду съ другими высшими генералами, долженъ былъ обучаться шагистикѣ, приѣмамъ съ эспонтономъ и всѣмъ «экзерциціямъ» новаго устава. Занятія этого рода были уже не по лѣтамъ старому графу и, въ сущности, очень его тяготили, но отказаться отъ нихъ не представлялось возможности, такъ какъ это дѣлалось вслѣдствіе высочайшей воли, и самъ государь нерѣдко являлся въ манежъ во время подобныхъ занятій, чтобы лично объяснять и указывать своимъ генераламъ новыя правила воинскихъ уставовъ.

Между тѣмъ, въ квартирѣ графа, на половинѣ «графинюшки», шли суетливыя приготовленія. Харитоновъ - Трофимьевъ получилъ отъ Балужева официальное письмо, извѣщавшее о днѣ и часѣ, когда графиня Елизавета, а вмѣстѣ съ ней и самъ графъ Ілія, должны будутъ представиться императрицѣ. Надо было торопиться, чтобы успѣть приготовить парадную «робу», сообразно требованіямъ этикетнаго траура, подумать о «куафюрѣ» и о прочихъ мелочахъ и подробностяхъ параднаго туалета. Василій Череповъ, какъ человѣкъ «досконально знакомый» съ Петербургомъ, по просьбѣ графини Елизаветы Ильининой, поскакалъ на Малую Милліонную къ одному изъ лучшихъ тогдашнихъ парикмахеровъ, Фичулѣ, и привезъ его къ графинюшкѣ для «консиліума» насчетъ прически, причемъ Фичулка несказанно удивился природной длинѣ и роскоши ея волосъ, сказавъ ей, «въ комплименту», что всѣ его булки и шиньоны никуда не годятся въ сравненіи съ подобнымъ «богатствомъ матеріала». Затѣмъ поѣхалъ Череповъ къ одной изъ самыхъ модныхъ портнихъ-француженокъ, m-me Ксавье, которая недавно еще появилась въ Петербургѣ со своей модной лавкой и мастерской, славясь по столичѣ репутаціей «богини Разума», такъ какъ про нее подѣ сурдиной ходили слухи, будто она, въ силу своего величественнаго вида и красоты, но только подѣ другимъ именемъ была нѣкогда избрана Робеспьеромъ и членами комитета «общественной безопасности» для разыгрыванія роли «богини Разума» и развѣзжала по Парижу на торжественной колесницѣ, принимая себѣ подобострастныя поклоненія и божескія почести со стороны парижской черни. Мастерницы этой m-me Ксавье, «ради пушаго спѣху», были перевезены для работы даже въ квартиру графа Харитонова, а сама m-me Ксавье и кроила, и шила, и примѣряла, и источала цѣлые потоки бойкой, блестящей болтовни, комплиментовъ, пи-

кантных намековъ и маленькихъ сплетень изъ высшаго дамскаго свѣта, который былъ ей доступенъ съ задняго крыльца, въ силу ея артистическаго вкуса и профессіи. Нарядъ, созданный ею для графини Елизаветы Ильининой, дѣйствительно, былъ изященъ и великолѣпенъ, при всемъ своемъ траурномъ характерѣ. Старуха m-me Лантини, древняя знаменитость въ качествѣ великосвѣтской учительницы танцевальнаго искусства, нарочно приѣхала нѣсколько дней подѣрядъ въ графской каретѣ, чтобы преподавать молодой дѣвушкѣ всѣ правила церемоніальныхъ реверансовъ, по требованію придворнаго этикета. И вотъ, наконецъ, день представленія императрицѣ.

Графъ Харитоновъ-Трофимьевъ сѣлъ со своею дочерью въ парадную карету и поѣхалъ во дворецъ, а старая нянька Θεодосевна въ то же самое время наняла извозчика и съ трепетомъ въ сердцѣ отправилась къ «Казанской», нарочито пѣть Владычицѣ молебень, чтобы Богъ помогъ ея Лизуткѣ какъ ни есть наилучше представиться матушкѣ-императрицѣ.

Оберъ-церемоніймейстеръ Валуевъ ввелъ графиню Елизавету съ отцомъ въ приемную залу на половинѣ государыни.

Черезъ четверть часа въ эту залу вышла императрица Марія Θεодоровна, въ сопровожденіи государя, статсъ-дамы баронессы Ливень⁴⁾ и фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой!

Смушенная и блѣдная, съ замираніемъ сердца, графиня Елизавета отдала свой первый реверансъ, по всѣмъ правиламъ, удачно усвоеннымъ ею отъ m-me Лантини.

Императрица милостиво улыбнулась и сдѣлала ей знакъ приблизиться.

Государь самолично представилъ своей августѣйшей супругѣ графа Илію и его дочь, съ которою, впрочемъ, и самъ при этомъ впервые только познакомился. Императрица сказала обоимъ нѣсколько милостивыхъ словъ и поблагодарила графа за его испытанную уже въ прежніе годы «приверженность» къ своему супругу, когда тотъ былъ еще великимъ княземъ.

— Вся жизнь моя, какъ въ дни, такъ и нынѣ, по самый гробъ, всецѣло принадлежать его величеству; — съ глубокимъ поклономъ отвѣчалъ Харитоновъ-Трофимьевъ.

— Намъ пріятно видѣть вокругъ себя нашихъ добрыхъ, испытанныхъ друзей, — замѣтила государыня со своей обворожительной улыбкой. — И я надѣюсь, — продолжала она, окинувъ взоромъ дѣвушку и тотчасъ же переведя его

на супруга, — я надѣюсь, государь не откажетъ мнѣ въ моей просьбѣ?..

— Въ чемъ дѣло? — вопросительно вскинулъ на нее императоръ свой на этотъ разъ свѣтлый и веселый взглядъ.

— Я желала бы имѣть графиню Елизавету въ числѣ фрейлинъ моего двора.

— О, съ охотнѣйшимъ моимъ сердцемъ удовлетворяю желанію вашего величества! — весело воскликнулъ императоръ.

Зардѣвшись отъ радости и вся преисполненная благодарнымъ чувствомъ за себя и за своего отца, дѣвушка скромно и изящно отдала новый глубокий поклонъ государынѣ. Послѣ первыхъ минутъ невольнаго смущенія, теперь она впервые только могла поднять на нее взоры и разглядѣть какъ саму императрицу, такъ отчасти и особъ, ее окружавшихъ.

Государыня показала ей очень красивой, блондушкой женщиной; высокій, стройный ростъ, при нѣкоторой полнотѣ, сообщалъ всей ея фигурѣ очень много величія, а необычайная скромность и степенность ея манеръ придавала ей на первый взглядъ даже нѣчто строгое и повелительное. За нею, въ двухъ шагахъ съ правой стороны, видѣлось, исполненное открытаго достоинства, честности и доброты, лицо баронессы Ливень, которую Марія Θεодоровна называла и почитала своимъ довѣреннымъ другомъ, а слѣва — въ совершенный контрастъ съ величественной наружностью государыни — стояла фрейлина Нелидова — маленькая, живая и подвижная, какъ ртуть, сухожававшая брюнетка, съ блестящими черными глазами и съ миловиднымъ личикомъ, которое все дышало жизнію и выразительностію, отражалъ въ себѣ матѣйшій отблескъ каждаго впечатлѣнія. Эта маленькая брюнетка почиталась тогда самой яркой звѣздой интимнаго придворнаго кружка, гдѣ блистала игрой своего остроумія и изяществомъ манеръ и танцевъ.

Отпуская отъ себя графа Харитонова съ дочерью, государыня подозвала Нелидову и поручила ей вниманію и дружбѣ графиню Елизавету, какъ молодую фрейлину, не выполѣ еще знакомую съ порядками придворной жизни, этикета и отношеній, проси не оставлять ее, въ чемъ потребуется, дружескимъ совѣтомъ или указаніемъ. Это было сдѣлано согласно заранѣе сообщенному императрицѣ желанію государя, который хотѣлъ дать молодой и неопытной дѣвушкѣ, на первыхъ шагахъ ея новой жизни, надежнаго друга и руководительницу для того, чтобы не осталась она одинокой въ сферѣ, пока еще для нея чуждой и незнакомой.

Веселая и счастливая, шумя шлейфомъ парадной робы, впрорхнула графиня Лиза въ залу отцовской квартиры, гдѣ ожидалъ уже возвращенія графа Василій Череповъ.

⁴⁾ Впоследствии графиня и княгиня, воспитательница императорскихъ дочерей, женщина, которая, по свидѣтельству современниковъ, была одарена самыми рѣдкими качествами ума и характера: откровенная и твердая, она заставляла самого императора уважать ея мнѣніе.

XIII.

Екатерининская гвардія.

— Поздравляйте, поздравляйте меня!—смѣясь и хлопая въ ладоши и вся сіяя живымъ восторгомъ, говорила она, подбѣгая къ молодому адъютанту.—Это прелесть! восторгъ! божеество! величество!..

— Кто? что такое? — недоумѣло пробормоталъ Череповъ.

— Какъ кто?! — Она! Государыня! Какая благодѣтельница въ ней, еслибъ вы знали! Какъ она милостива! Какъ ласково приняла!.. Мнѣ было сначала такъ страшно-страшно, а потомъ, какъ взглянула на нее, на эту улыбку, взоръ божественный—такъ хорошо вдругъ стало! И страхъ какъ рукой вдругъ сняло! Ахъ, какая же она добрая и величественная!

— Кланяйся, сударь, кланяйся и привѣтствуй!—весело и шутливо обращаясь къ Черепову, говорилъ графъ Харитоновъ. — Могу представить тебѣ вновь-пожалованную фрейлину двора ея императорскаго величества. Какую метнула моя деревенщина!.. а?

— Постой, папущка, не мѣшай! Дай разсказать все по порядку!..

И Лиза, словно бы торопясь высказаться, наскоро стала передавать Черепову всѣ впечатлѣнія, какія произвелъ на нее пріемъ государыни и государя, ихъ черты, наружность, разговоръ, обстановка дворца и прочее; только разсказъ ея отличался отсутствіемъ всякаго порядка и послѣдовательности, хотя она и намѣревалась разсказывать «по порядку». Всѣ эти впечатлѣнія какъ-бы толпились и тѣснились въ ея душѣ, и сразу, одно на-перебой другому, порывались высказаться, выпорхнуть наружу.

Череповъ слушалъ ея разсказъ и любовался оживленными чертами ея лица, которое все сіяло восторгомъ и полудѣтскою гордостью достигнутого торжества и счастья. Замѣтно было, что оказанное ей вниманіе льститъ ея молодому самолюбію и начинаетъ кружить пыльную голову. Онъ былъ радъ и счастливъ за графиню Лизу, но... въ то же самое время нѣчто похожее на смутное предчувствіе тревожно шептало ему, что это увлеченіе блескомъ двора, эта гордость перваго успѣха едва ли не будетъ, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, служить помѣхой ихъ взаимному сближенію, которое началось еще такъ недавно и при такихъ, повидимому, благопріятныхъ условіяхъ.

«Закружится... Охъ, закружится птишка въ этомъ придворномъ свѣтѣ!.. Тутъ и молодость, и красота, и толпа поклонниковъ, искателей, вздыхателей, и все новое, невиданное... Подика, и не вспомнить про насъ грѣшныхъ!» думалось Василию Черепову.

«А ты не плошай и будь молодцомъ! Бери свое съ бою!» подсказывало ему въ то же время свое собственное самолюбіе.

Нельзя изобразить, въ какомъ странномъ и удивительномъ положеніи была до сего гвардія, говорить одинъ изъ бытописателей-современниковъ той эпохи, ¹⁾ и сколь многія злоупотребленія во всемъ господствовали въ высочайшей степени въ оной. Ежели-бъ все то изобразить, то составила бы прелюбопытная картина для потомства, и потомки наши не только-бъ стали удивляться, но едва-ли-бъ въ состояніи были повѣрить, чтобъ все то существовало въ самомъ дѣлѣ, и скорѣе могли бы подумать, что то выдуманная басня и совершенная небывальщина».

И дѣйствительно, положеніе было «странное». Гвардейскіе солдаты, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ живя неподвижно въ Петербургѣ и неся одну только караульную службу, изнѣжились и избаловались до такой степени, что начальство съ трудомъ поддерживало въ своихъ частяхъ кое-какіе наружные признаки дисциплины. Многіе изъ солдатъ обзаводились цѣлыми домами, отдѣльнымъ хозяйствомъ, открывали лавочки и лавки, занимались торговлею и промыслами; другіе, пользуясь безконечными отпусками, вовсе и не жилали даже въ своихъ полкахъ. Отъ этого происходило, что полки, считаясь въ полномъ комплектѣ, на лицо не имѣли и половины штатнаго числа людей, а между тѣмъ, жалованье отпускатось на всѣхъ. Этимъ пользовались полковые командиры и скопляли себѣ изъ жалованья отпусковыхъ цѣлыхъ состоянія.

Но и это еще были злоупотребленія не первой важности. Одно изъ главныхъ золъ составляли дворяне, записывавшіеся въ гвардію въ званіи унтеровъ-офицеровъ и сержантовъ. Этихъ дворянъ за Екатерининское время набилось въ полки громадное множество; въ одномъ Преображенскомъ числилось ихъ нѣсколько тысячъ, а во всей гвардіи до двадцати тысячъ человекъ! И не только дворяне, но и купцы, секретари, подъячіе, духовенство, ремесленники, управители и даже господскіе люди, благодаря протекціи сильныхъ лицъ, а также чрезъ деньги и разныя проски, записывали дѣтей своихъ въ гвардію и тѣмъ самымъ доставляли имъ тѣ же выгоды и преимущества, какими пользовались дворяне дѣйствительно служилые. Въ гвардейскіе полки можно было записывать не только взрослыхъ, но и грудныхъ младенцевъ. Доходило даже до того, что отцы записывали дѣтей еще не родившихся и получали на нихъ закон-

¹⁾ А. Т. Болотовъ. „Любопытныя и достопамятныя дѣянія и анекдоты государя императора Павла Петровича“. См., Русск. Арх. 1864 г. Изданіе 2-е, стр. 708.

ные виды и патенты съ пустыми мѣстами въ строкахъ, для вписки имени. «И вся мелюзга сія, говорить бытописатель и современникъ, не только записывалась, но жалована была прямо либо въ унтеръ-офицеры, либо въ сержанты». Многие, однако, и этимъ еще не довольствовались. Нѣжные и заботливые родители зачастую добивались, чтобы дѣйствительная служба ихъ младенцевъ и даже неродившихся будущихъ дѣтей считалась непосредственно со дня зачисленія ихъ въ списки гвардіи. Такимъ образомъ, старшинство въ чинахъ по линіи производства шло этимъ фиктивнымъ гвардейцамъ еще въ утробѣ матери, и многие изъ нихъ, едва достигнувъ десяти или двѣнадцати лѣтъ, выходили уже въ отставку гвардіи-капитанами или арміи-подполковниками, и родители ихъ похвалялись тѣмъ, что мой-де сынъ-дворянинъ уже окончилъ свой терминъ службы и имѣетъ теперь право всю остальную жизнь безмятежно проживать на покой въ своемъ помѣстьи.

Что же касается взрослыхъ гвардейцевъ, то и изъ нихъ большая часть не служила вовсе, а проживала-себѣ праздно гдѣ заблагоразсудится. Всѣ они «либо лытали, вертопрашили, буянили, бѣгались на бѣгунцахъ, либо съ собаками по полямъ только рыскали да выдумывали моды и разнообразныя мотовства» ¹⁾.

Но и это еще было не наибольшее зло.

Самое главное зло заключалось въ томъ, что эти праздно-проживающіе гвардейцы, едва достигнувъ шестнадцати или восемнадцати лѣтъ, «будучи еще сущими ребятишками и молокососами», перечислялись въ армейскія части штабъ-офицерскими или, по меньшей мѣрѣ, капитанскими чинами, пріѣзжали въ свои полки и, не смыслия ни аза въ военномъ дѣлѣ, да и грамотѣ едва-ли зная, получали по праву въ непосредственное свое командованіе не только роты, но батальоны и даже полки, съ ежегоднымъ доходомъ въ нѣсколько десятковъ тысячъ, и перебывали линію старшинства у дѣйствительныхъ старыхъ служахъ. Существуетъ одна очень характерная пѣсенка, сложенная И. И. Дмитріевымъ въ послѣдніе годы Екатерининскаго царствованія, гдѣ авторъ говоритъ:

Обманывать и льстить
Вотъ всѣ на разумъ правы;
Ахъ, какъ не возопить:
„О, времена! о, правы!“
Полковникъ въ двадцать лѣтъ
Подпорой нашей славы,
А ротмистръ дряхлѣ и сѣдѣ,—
О, времена! о, правы!

Представьте себѣ, въ самомъ дѣлѣ, каково было сѣдоусому, опытному и боевому ротмистру, прослуживъ вѣрой и правдой въ полѣ двадцать пять, а не то и всѣ тридцать лѣтъ, поступать

вдругъ подѣ начальство двадцатилѣтняго полковника, который не только-что не нюхалъ пороху, но даже и «налѣво-кругомъ» не умѣлъ правильно командовать, но зато пользовался правомъ распекать, дѣлать «реприманды» и даже безъ объясненія причинъ давать «абишды», то-есть увольнять подчиненныхъ въ отставку.

«Нельзя изобразить, говорить бытописатель, какое великое множество выпускалось такихъ мотовъ, невѣждъ и сущихъ молокососовъ ежегодно въ армію!» Едва наступало 1-е января, какъ эти «молокососы штабъ-офицерскихъ ранговъ» цѣлыми сотнями выпускались въ армейскія части, и не было полка, въ которомъ не состояло бы ихъ иногда по нѣскольку десятковъ сверхъ комплекта, и всѣ до одного получали отъ казны полное содержаніе по штатамъ. Армейскіе военачальники и даже такія лица, какъ Румянцевъ и Суворовъ, рѣшительно не знали, куда съ ними дѣваться. Большинство изъ нихъ выдавалось разрѣшеніе идти-себѣ на всѣ четыре стороны, съ сохраненіемъ старшинства и содержанія, лишь бы только не мозолили глаза и не бременили своимъ невѣжествомъ порядокъ и требованій дѣйствительной службы. Но это была мѣра палліативная, такъ какъ съ каждымъ новымъ годомъ на нашу армію все-таки выпускались новые тучи подобной гвардейской саранчи, которая все болѣе и болѣе «садилась на шею» заправскимъ армейскимъ служакамъ. Сверхъ того, множество гвардейцевъ выпускалось и «къ штатскимъ дѣламъ» со значительнымъ старшинствомъ и повышеніемъ въ чинѣ и, точно такимъ же образомъ, садилось на шею дѣйствительнымъ дѣльцамъ гражданской службы, отбывая у нихъ мѣста и повышенія, но ни мало не внося съ собой на новое свое поприще хотя бы мало-мальскаго знанія дѣла. О выпускѣ же въ отставку полковниками и бригадирами нечего и говорить: такихъ было множество, и все это въ совокупности дѣлало необычайно быстрымъ производство въ гвардіи, которое, по словамъ современника, «летѣло какъ птица на крылахъ», такъ что въ семь или восемь лѣтъ изъ прапорщиковъ люди выскакивали въ бригадирскій чинъ, «лежучи на боку и живучи въ деревнѣ». Никогда еще въ Россіи, ни до, ни послѣ, не было такъ много «бригадировъ и полковниковъ-молокососовъ», какъ въ этотъ періодъ времени, и никогда гвардейскіе полки не были переполнены такимъ «несмѣтнымъ множествомъ» сверхкомплектныхъ и Богъ-вѣсть гдѣ проживающихъ офицеровъ. «Монархія у насъ была милостивая и къ дворянству благорасположенная, говорить бытописатель, а господа гвардейскіе подполковники и майоры дѣлали что хотѣли, и не только они, но даже самые гвардейскіе секретари были превеликіе люди и жаловали кого хотѣли за деньги».

Въ такомъ-то положеніи засталъ гвардію и

¹⁾ Ibid.

весь военный механизм государства императора Павел Петровичъ.

Что же оставалось ему дѣлать при подобныхъ порядкахъ?

Уже съ давняго времени, будучи еще наслѣдникомъ престола, Павелъ смотрѣлъ съ прискорбіемъ и безпокойствомъ на такой ходъ дѣла. Онъ живо чувствовалъ и понималъ ту нестерпимую обиду, какую несли армейскіе служаки, но не имѣя собственной воли, по необходимости, долженъ былъ молчать до времени. Но вотъ, едва лишь успѣлъ онъ вступить на престолъ, какъ уже именнымъ указомъ отъ 20-го ноября ¹⁾ повелѣлъ оповѣстить повсюду, чтобы всѣ гвардейскіе чины, уволенные въ домовые отпуска, «непремѣнно и въ самой скорости» явились къ своимъ полкамъ и командамъ, гдѣ должны впредь нести прямую службу, «а не по прежнему наживать себѣ чины безъ всякихъ трудовъ».

Именные повелѣнія и указы Павла исполнялись изумительно быстро и точно. Онъ приучилъ къ этому съ первыхъ же минутъ своего царствованія. Точно также и этотъ послѣдній указъ сопровождался всей возможной быстротой и «неукоснительностью». Что за тревога и гоньба поднялась вдругъ по всѣмъ концамъ государства! Какъ переполошились гвардейцы взрослые и родители гвардейцевъ-малютокъ. Изъ Москвы всѣхъ вытурили въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, а многихъ выпроваживали даже и подъ конвоемъ; съ больныхъ отбирали подписки о скорѣйшемъ выѣздѣ, какъ только позволить состояніе здоровья, и никому не давали покоя, пока не было исполнено «въ самой точности» царское повелѣніе. Вѣсть объ этомъ повелѣніи, какъ громовой ударъ, поразила всю Россію, и по преимуществу дворянство. Паника увеличивалась еще новыми слухами о томъ, что буде кто не явится въ срокъ, то не только-что будетъ исключенъ изъ службы, но и имена всѣхъ таковыхъ имѣютъ быть сообщены въ герольдію, дабы впредь никуда уже не принимать исключаемыхъ и вычеркнуть ихъ изъ дворянскихъ росписей. Тысячи нареканій, сѣтованій, вопли и слезы посыпались отовсюду на новые «деспотическіе» порядки. Множество гвардейцевъ, изъ тѣхъ, что лежбочили въ деревняхъ, успѣли не только пожениться, но и дѣтей своихъ записать въ гвардію; другіе кусали себѣ съ досады губы и пальцы, кааясь, что не успѣли во-время выйти въ отставку; третьи рассчитывали на сей годъ навѣрняка высочить въ капитаны или полковники, получить доходные полки, и вдругъ все это лопнуло, всѣ мечты и надежды рассыпались прахомъ!.. Все это гвардейство сходило теперь съ ума и мучилось тоской, не зная, что дѣлать и какъ предстать

предъ лицо монарха. Но безвыходнѣе всѣхъ оказалось положеніе тѣхъ отцовъ и матерей, у которыхъ дѣти числились на службѣ гвардіи сержантами еще въ материнской утробѣ и, будучи теперь въ младенческомъ возрастѣ, писались отпущенными домой «для окончанія образованія въ наукахъ». Многимъ изъ этихъ младенцевъ, благодаря деньгамъ и проискамъ, не только служба считалась за дѣйствительную, но даже было «приклепано» по нѣскольку лишнихъ годовъ, и нашлось множество примѣровъ, что въ полковыхъ спискахъ показывались 16-ти и 18-ти-лѣтники тѣ, кому въ сущности не было еще и 10-ти-лѣтняго возраста. Какъ со всѣмъ этимъ было показаться на глаза государю, который строго и «неукоснительно» требовалъ къ себѣ на личный смотръ всѣхъ безъ исключенія отпускныхъ гвардейцевъ? А между тѣмъ, какъ ни круто было, но высочайшее повелѣніе приходилось исполнить. Мѣстные административныя и воинскія власти повсюду разыскивали гвардейцевъ и волей-неволей выпроваживали ихъ въ Петербургъ. Со слезами и горемъ, съ воплями и проклятіями «деспотизму» жены отправляли мужей, сестры — братьевъ, матери — дѣтей своихъ. Всѣ большія почтовые дороги усеяны были кибитками скачущихъ гвардейцевъ, старыхъ и малыхъ, и матерей, которые въ страхѣ и трепетѣ везли своихъ грудныхъ сержантовъ и прапорщиковъ на смотръ государю. Ямскія слободы спѣшили пользоваться обстоятельствами этой усиленной гоньбы и драли за лошадей неимоверную плату, умножая этимъ всеобщій ропотъ и недовольствіе. «Симъ - то образомъ, заключаетъ бытописатель, наказано было наше дворянство за безсовѣстное и безстыдное употребленіе во зло милости милосердной монархани и за обманы его непростительные». А вмѣстѣ съ тѣмъ надо замѣтить, что эта мѣра, въ сущности исполнѣ законная и справедливая, послужила для большинства дворянъ первымъ предлогомъ къ ропоту и недовольству противъ новаго правительства.

Надо было выбить изъ гвардіи ея преторіанскій духъ, что воспитался въ ней, благодаря тѣмъ политическимъ переворотамъ, въ которыхъ со смерти Петра I она постоянно принимала участіе и пользовалась за то мирволеніемъ да поблажками со стороны высшей власти. Надо было заставить гвардейцевъ сдѣлаться въ настоящемъ смыслѣ солдатами, а не преторіанцами, не лейбъ-кампанцами, среда которыхъ постоянно доставляла контингентъ политическихъ авантюристовъ, иногда высокочаровитыхъ и даже гениальныхъ, но чаще всего алчныхъ и своекорыстныхъ, при полной посредственности ума и характера. Павелъ исполнѣ понималъ все безобразіе подобнаго преторіанства и одной изъ первыхъ своихъ цѣлей поставилъ радикальное искорене-

¹⁾ Указъ объявленъ Военной Коллегіи президентомъ ея, гр. Салтыковымъ.

ние его. Всѣ малолѣтніе и неслужащіе гвардейцы были исключены изъ списковъ, нѣкоторые чины, какъ, напримѣръ, сержантскіе, секретарскіе, обозничіи, были уничтожены и всѣ вообще понижены противъ прежнихъ ранговъ. До сего времени каждый гвардейскій рядовой почиталъ себя не иначе, какъ наравнѣ съ армейскимъ прапорщикомъ, а сержантъ не ниже капитана; императоръ же Павелъ, согласно съ регламентомъ Петра Великаго, установилъ, чтобы одни лишь гвардейскіе офицеры, по отпуску не солдаты, считались выше армейскихъ на одинъ только чинъ, и чтобы впредь изъ гвардіи вовсе не выпускать въ армейскіе полки съ повышеніями, да и въ отставку увольнять не армейскими, а гвардейскими же чинами. Этимъ онъ добился того, что гвардія въ его короткое царствованіе оставила свою былую кичливость и политическое самомнѣніе, а сдѣлалась только *войскомъ*, и при томъ отлично дисциплинированнымъ. А чтобы и самая внѣшность ея не напоминала ей прежняго преторіанства, императоръ замѣнилъ ей пышные и дорогіе мундиръ самыми простыми и дешевыми.

Служба стала строга и тяжела. Въ шесть часовъ утра всѣ солдаты и офицеры, не исключая даже и великихъ князей, уже присутствовали на сѣзжихъ полковыхъ дворахъ, и до самаго полудня — какая ни будь тамъ служба или слякоть — занимались военными экзерциціями. О шубахъ, муфтахъ и каретахъ не стало и помину въ средѣ гвардейскаго офицерства. Но... въ большинствѣ этой среды все росло и росло зтаенное неудовольствіе и ропотъ. Новыя требованія и порядки, послѣ недавняго приволья, казались гвардейцамъ «насиліемъ и произволомъ деспотизма».

XIV.

Завѣтный червонецъ.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ «рестораци Юге», которая помѣщалась въ «Демутовскомъ трактирѣ», сидѣло за завтракомъ нѣсколько гвардейскихъ офицеровъ. Чины все были небольшіе: отъ прапорщика до капитана включительно. На столѣ стояли «устерсы», холодный ростбифъ, да нѣсколько бутылокъ портеру и разныхъ винъ, которыя своей пустотой, очевидно, доказывали, что господа офицеры успѣли оказать имъ подобающую честь. Лица со-стольниковъ уже достаточно подрумянились, пѣнковые «пипки» дымилась въ устахъ, камзолы были нараспашку; но разговоры этой компаніи далеко не отличались той громогласностью, какаю, по настоящему, необходимо должна была бы сопровождать пріятельскую бесѣду при такомъ «легкомъ подпитіи». Говорили тише чѣмъ въ обыкновенный голосъ:

разговоръ шелъ о современныхъ порядкахъ. Екатерининскіе гвардейцы осуждали новыя требованія и строгости военной службы и приходили въ негодованіе и ужасъ отъ новой мѣры наказанія, которая доселѣ никогда не примѣнялась къ офицерамъ и почиталась между ними за наказаніе позорное: на-дняхъ два гвардейскихъ офицера, за какую-то ошибку на вахтѣ-парадѣ, отправлены были подъ арестъ на гауптвахту.

— Слыханное ли дѣло! Офицера, дворянина—и вдругъ подъ сюркузъ часового!.. Послѣ сего и служить невозможно!

— Чего невозможно! — возражалъ Череповъ, — стоитъ только уставъ вытвердить.

— А ты его, небойсь, вытвердилъ?

— Я вытвердилъ.

— Исполать тебѣ! Ну, а нашему брату, ей-Богу, это такая нѣмецкая тарабарщина... То ли дѣло уставъ при матушкѣ Екатеринѣ!

— Ничего; стерпится—слибится, ребята!

— Да, тебѣ хорошо говоритъ! Ты въ Харионовскихъ адъютантахъ сидишь, какъ у Христа за пазухой; а ты, сударь, пожалуй, изволь на наше мѣсто стать, въ строй, на морозецъ, такъ инако запоешь. Офицеръ долженъ украшать собой службу, а тѣмъ паче гвардейскую! Офицеръ, ежели онъ есть человекъ благородный, обязанъ имѣть гардеробъ пристойный и богатый, негнущій столъ, выѣздной экипажъ съ гусаромъ, либо съ егеремъ... а нынѣ что?! Вырядили насъ въ эти грошковые обезьяньи мундирчики и заставили ѣздить верхомъ, либо въ простыхъ санкахъ въ одиночку, да мало сего,—еще и за объѣдомъ опричь двухъ блюдъ воспретили имѣть! И ходи по чину, и одѣвайся по чину, и ѣшь по чину! Да я не по чину, а по утробѣ желаю!

— И однакожъ, это не мѣшаетъ намъ наслаждаться себя устерсами въ сей рестораціи,—улыбнулся Череповъ.

— Да! наслаждайся подъ сурдину и разговаривать громко не смѣй! Мы теперь, братъ, и караулъ не инако заступаемъ, какъ захвативъ въ карманъ нѣсколько сотенъ, на тотъ случай, что ежели неравно прямо съ поста на курьерской тройкѣ въ Сибирь отправятъ, такъ чтобы хоть сколько нибудь деньжонокъ было при себѣ на дорожные расходы!

— Ужъ будто такъ?

— Доточно говорю! Повѣрь, пожалуй!

— Н-да!.. Времена!—вдохнулъ одинъ изъ офицеровъ, постарше другихъ годами и чиномъ. — Не единожды вспоминаешь прежнюю службу! То-то роскошь была!.. Въ караулѣ, бывало, ставали по цѣлымъ недѣлямъ, такъ что, отправляючись на постъ, берешь съ собой и перину съ подушками, и халатъ, и колпакъ, и самоваръ. Пробьютъ это вечернюю зорю—поужинаешь, выпьешь эдѣрово, раздѣнешься и спишь-себѣ волю, какъ дома. Но ужъ въ

особливости въ утѣху было стаявать лѣтомъ на загородныхъ постахъ. Встанешь, бывало, съ солнышкомъ и пойдешь-себѣ, не одѣваясь, а такъ какъ есть, въ колпакѣ, да въ халатѣ, въ лѣсъ за грибами—любо! И никакихъ никогда исторій, и никакихъ происшествіевъ.— Богъ хранилъ! А ужъ этихъ формальностей во вѣки не знали! А теперь тебя хуже чѣмъ въ профосы трафятъ! То и дѣло читаешь въ «Вѣдомостяхъ»: такихъ-то и такихъ-то выкинуть изъ службы, яко недостойныхъ! «Выкинуть!» Хм!.. какъ ошурокъ или тряпку какую!.. Срамъ и позоръ благородному дворянскому сословію! Каково терпѣть-то это!

— А что, государи мои, не прокинуть ли съ горя въ фараончикъ?—предложилъ кто-то изъ офицеровъ.

— Тсс! какой тебѣ фараончикъ!.. Иль не читалъ развѣ?—Запретъ, строжайшій запретъ на азартныя игры!

— Ну, и пушай его!.. Запретъ самъ по себѣ, а мы сами по себѣ. Прислуга здѣсь у Юге вѣрная, не выдастъ... Дверь на задвижку можно.

— Развѣ что на задвижку... Только чуръ: не кричать, ребята, не разговаривать громко, а то бѣда!

— Ахъ, любезный другъ, «бѣда—что текучая вода: набѣжитъ и сплыветъ». Вынимай-ка карты! У кого есть въ запасѣ?

— У Черепова есть. Вася, есть у тебя?

— Найдется. Кто метать будетъ?

— Да чего тамъ кто! Твоя колода, ты и мечи.

— Инъ быть по сему! Пятьсотъ рублей въ банкѣ.

И вынувъ изъ кармана шелковый вязаный кошелекъ, Череповъ высыпалъ изъ него на столъ груды червонцевъ и серебряныхъ денегъ.

Началась игра.

Счастье колебалось: то везло оно Черепову, то отворачивалось отъ него, то заставляло его нѣкоторое время балансировать на скользкомъ уровнѣ, какъ бы не говоря ему ни *да*, ни *нѣтъ*, и снова хмурилось, и снова улыбалось. Игра съ каждой минутой становилась интереснѣе, оживленнѣе и бойче. Игроки все болѣе и болѣе одушевлялись и, время отъ времени, невольно громкимъ восклицаніемъ и споромъ сопровождали перемѣнчивые обороты карточного счастья. Одинъ только солидный капитанъ—тотъ самый, что вздыхалъ о халатахъ и перинахъ прежней каральной службы—по праву старшинства въ чинѣ и въ лѣтахъ, сдерживалъ каждый разъ черевчуръ уже громкіе взрывы молодежи, напоминая ей о грозномъ запретѣ азартныхъ игръ, «по указу его императорскаго величества». И молодежь, любящая, въ силу своихъ лѣтъ и горячей крови, что называется,

поплясать на лезвіи ножа, на минуту сдерживала, подъ давленіемъ его авторитета, слишкомъ громкое проявленіе своихъ азартныхъ чувствъ и начинала говорить чуть не шопотомъ, но черезъ нѣкоторое время опять невольно отдавалась волненіямъ той же горячей крови и вліянію избытка юношескихъ силъ. Каждый очень хорошо сознавалъ, что теперь уже не прежнее, еще недавнее, время, когда можно было гдѣ угодно и сколько угодно, безъ запрета и безъ всякой опаски, предаваться своимъ игрецкимъ и инымъ пылкимъ страстямъ юности; но тѣмъ-то и интереснѣе казалась для нихъ игра—этотъ запретный плодъ новѣйшихъ дней, именно потому, что онъ сталъ вдругъ *запретнымъ*, что тутъ приходилось теперь рисковать не однимъ своимъ карманомъ (это бы пустяки!), а всей карьерой, всею судьбой своей жизни.

Перемѣнчивое счастье, послѣ нѣсколькихъ оборотовъ своего колеса, вдругъ отвернулось отъ Черепова самымъ крутымъ образомъ. Въ нѣсколько картъ онъ спустилъ весь свой банкъ, который былъ сорванъ счастливымъ капитаномъ.

Молодой адъютантъ бросилъ колоду и объявилъ самымъ рѣшительнымъ тономъ, что на нынѣшній день не станетъ болѣе метать.

— Мечи, кто хочетъ, ребята! Съ меня довольно: кошелекъ мой выпустѣ.

— Играй на мѣлокъ,—предложилъ ему кто-то изъ товарищей.

— Гм... на мѣлокъ... Да мѣлковъ-то нѣтъ у насъ.

— Ну, на карандашъ играй; карандашомъ записывать станешь!

— Не хочу! Довольно!

— Ну, какъ знаешь. Займи, коли хочешь, и продолжай. Прерывать не слѣдуетъ.

— Довольно, чортъ возьми! Говорю, довольно! Продолжайте, государи мои, коли въ охоту!

И онъ поднялся со стула.

Солидный капитанъ занялъ его мѣсто и сталъ метать.

Черепову было немножко досадно. Хотѣлось попытать еще разъ счастья—авось либо вывезетъ! Но играть на карандашъ или одолжаться у другихъ ради игры—ему не хотѣлось изъ самолюбія. Онъ отошелъ въ сторону, налилъ себѣ стаканъ вина, развалился на канapé и закурилъ тоненькую, длинную голландскую пипку. А между тѣмъ, глядя на игорный столъ, окруженный тѣсной группой молодежи, онъ чувствовалъ, какъ сердце его зудитъ страстнымъ желаніемъ попытать снова свою удачу. Въ кошелекѣ его оставался только одинъ, и уже послѣдній, «голландчикъ». Но этотъ червонецъ былъ для него зачѣтнымъ.

Его покойная мать, еще ребенкомъ отправляя своего Васеньку въ шляхетный корпусъ,

вручила ему эту монету вмѣстѣ съ благословеннымъ образомъ, и заповѣдала сберечь его на счастье или на самый крайній черный день, потому что этотъ «голландчикъ» принадлежалъ еще ея дѣду и споконъ вѣку почему-то почитался въ семьѣ особенно счастливымъ. И Череповъ до сей минуты свято сохранилъ у себя дорогой подарокъ.

«Рискнуть развѣ?... Куда ни шло!... Вѣдь онъ счастливымъ называется, вѣдь онъ заповѣдникъ! А коли счастливый, то долженъ выручить», думалось ему, въ то время, какъ на столѣ золотые голландчики переходили изъ одной кучки въ другую. «А что, если попробовать на ея счастье?... Вѣдь она и впрямь счастливая... Поставлю-ка я на бубновую даму... Ей-богу! Куда ни шло!»

И Череповъ поднялся съ мѣста.

«Ну, моя радость, моя любимая, дорогая, желанная, выручай!.. Выручай меня!» мысленно молилъ онъ, обращаясь въ умѣ своемъ къ свѣтлomu образу той дѣвушки, которая съ недавняго времени всецѣло царила въ его сердцѣ.

— Атанде!—сказалъ онъ, вмѣшавшись въ среду игроковъ, окружавшихъ столъ;—золотой на бубновую даму.

— Ого! На дѣвушку?—весело замѣтилъ кто-то.

— Да еще на какую, кабы вы знали! Ужъ коли эта не выручитъ.

— А вдругъ измѣнить.

— Что-о?... Она измѣнить... Мечите, капитанъ, мечите!

Вдругъ, въ эту самую минуту, кто-то внезапно дернулъ съ наружной стороны за ручку запертой двери. Игра мгновенно прекратилась, карты исчезли со стола, и на груди золота офицеры поспѣшили накинуть нѣсколько салфетокъ. Завѣтный «голландчикъ» остался въ карманѣ Черепова.

Одинъ изъ игроковъ отомкнулъ задвижку и отворилъ. На порогѣ появился ресторанный слуга, а за нимъ выглядывала фигура гвардейскаго пѣхотнаго солдата.

— Что вы, черти, безпокоите!.. Чего вамъ надо?

— А вотъ, кавалеръ про корнета Черепова пытаются,—почтительно объяснилъ лакей,—не здѣсь-ли, молъ, спрашиваютъ, потому какъ они, сказываютъ, были у нихъ на дому, и дома имъ сказали, что господинъ корнетъ здѣсь находится, то я имъ и говорю, что они точно здѣсь, и проводилъ сюда.

— Отъ кого ты, любезный? Что тебѣ?—съ неудовольствіемъ спросилъ солдата Череповъ.

— Отъ ихъ сіятельства графа Харитоновъ-Трофимьева очередной вѣстовой, — отвѣчалъ гвардеецъ.—Къ вашему благородію записка,—прибавилъ онъ, доставая изъ кармана сложенную и запечатанную облаткой бумажку.

Череповъ развернулъ записку и взглянулъ на почеркъ. Очевидно, почеркъ былъ женскій.

«Господи! неужели... неужели она? Что-жъ это значить?» тревожно ёкнуло его сердце, и онъ съ нетерпѣливымъ чувствомъ жадно сталъ пробѣгать глазами наскоро начертанныя французскія строки.

«Батюшкѣ очень нужно зачѣмъ-то васъ видѣть, писано было въ этой запискѣ, и такъ какъ я иногда по своей охотѣ разыгрываю, какъ вамъ извѣстно, роль его секретаря, то и спѣшу васъ увѣдомить, согласно его желанію, чтобы вы пріѣзжали къ намъ какъ можно скорѣе. Кстати, если хотите похвалить или покритиковать мой придворный сарафанъ, въ которомъ я должна буду присутствовать на коронаціи и который только-что привезенъ мнѣ для окончательной примѣрки г-жею Ксавье, то поторопитесь вашимъ пріѣздомъ».

«Голубка моя! Дорогая, чуть было не вслухъ подумалъ обрадованный Череповъ и, сунувъ кое-какъ записку въ карманъ камзола, какъ ошалѣлый поспѣшно побѣжалъ вонъ изъ ресторана.

— Череповъ!.. Вася!.. Другъ! Куда ты? Что съ тобою?—раздавались вслѣдъ ему голоса товарищей, изумленныхъ этимъ поспѣшнымъ и какимъ-то восторженнымъ бѣгствомъ.

Корнетъ, не оборачиваясь, махнулъ имъ рукою и поспѣшилъ далѣе.

— Экой малый!.. Вотъ служака-то! Какъ вспыхнулъ вдругъ!—пожималъ плечами солидный капитанъ.—Ба! а вѣдь шпагу-то свою второпяхъ и позабылъ,—промолвилъ онъ, кинувъ случайный взглядъ въ уголъ, гдѣ стоялъ тяжело-кавалерійскій палаши Черепова.—Эй! Сударь! Шпагу захватите! Шпагу!—кричалъ онъ ему во слѣдъ; но молодой адъютантъ, скрывшись за дверь, уже не слышалъ этихъ восклицаній.

— Вѣстовой! Подожди-ка, братъ, на минутку, захвати шпагу корнета, да бѣги за нимъ какъ наискорѣе!—распорядился одинъ изъ офицеровъ, вручая гвардейскому солдату оружіе Черепова.

Тотъ принялъ палаши и пустился вдогонку за адъютантомъ.

Какъ на зло, ни одного извозчика не было у подъѣзда ресторана. Череповъ, проклиная и этотъ случай, и всѣхъ «Ванекъ» на свѣтѣ, спѣшно пустился шагать вдоль по Мойкѣ, а вѣстовой, что есть мочи нагонялъ его со шпагой и былъ уже въ десяти шагахъ отъ своего офицера, какъ вдругъ сзади обоихъ ясно и громко раздался чей-то повелительный и гнѣвный голосъ:

— Солдатъ, стой!.. Господинъ офицеръ, стойте!..

Оба остановились въ то же мгновеніе, оба обернулись назадъ и замерли, окаменѣвъ въ невольномъ испугѣ.

Къ нимъ, ухвативъ кучера за кушакъ и приподнявшись въ одиночныхъ, легкихъ санихъ, подвѣзжалъ императоръ.

— Чью несешь ты шпагу?—спросилъ государь вѣстового.

Ихъ благородія, — смущенно отвѣчалъ перепуганный гвардеецъ, указавъ глазами на Черепова.

— Ихъ благородія? — повторилъ государь, принимая удивленный видъ. — О?! Неужели! Стало быть, надо думать, что ихъ благородію слишкомъ тяжело носить свою шпагу, и она имъ, видимо, наскучила. Пожалуй-ка сюда, господинъ офицеръ, приблизьтесь!—строго позвалъ онъ Черепова.

Тотъ подошелъ, не предвидя ничего добраго.

— Ага, такъ это вы?!—гнѣвно воскликнулъ узнавшій его императоръ. — Такъ это вы, сударь!.. Весьма сожалѣю!.. Жалую васъ въ офицеры моей гвардіи, не чаялъ я, сударь, что вы окажетесь столь небрежливъ къ своему сану, и притомъ столь нѣжны, что даже шпагу будете считать себѣ отягощеніемъ.

Череповъ, не постигая до сей минуты, въ чемъ дѣло и за что такой гнѣвъ, торопливо ощущалъ свой лѣвый бокъ и только тутъ съ ужасомъ замѣтилъ, что онъ безъ шпаги.

— Ну, любезный, — продолжалъ государь, обращаясь къ вѣстовому, — такъ какъ сему офицеру шпага его тяжела, то надѣнь-ка ты ее на себя, а ему отдай штыкъ свой съ португезей: это оружіе будетъ для него полегче.

Ошеломленный Череповъ понялъ, что этими роковыми словами вѣстовой произведенъ въ офицеры, а онъ разжалованъ въ солдаты, и машинально надѣлъ на себя амуницію рядового.

— Ступай въ полкъ, — говорилъ между тѣмъ государь гвардейцу, который живо подстегнулъ себѣ офицерское оружіе, — явись твоему начальству и скажи, чтобы сего же дня при вечернемъ рапортѣ мнѣ о тебѣ доложили. Какъ твое имя?

— Изотъ Нефедьевъ, ваше императорское величество!

— Хорошо, любезный! Ступай. А ты, — гнѣвно сверкнулъ государь глазами на Черепова, — становись на запятки, негодница!.. Въ крѣпость! — крикнулъ онъ вслѣдъ затѣмъ кучеру — и бодрая лошадь помчалась.

Былъ четвертый часъ дня. На дворѣ стояла непогода и ростепель, съ моря дулъ порывами сырой и холодный вѣтеръ, но въ улицахъ было людно, и на Невскомъ проспектѣ сновало много экипажей. Еще издали завидя императора, народъ торопливо снималъ панталоны и кланялся; возки, кареты и извозчичьи санки останавливались среди улицы; изъ экипажей выскакивали сѣдоки, сбросивъ свои шубы и становились — мужчины прямо въ грязь, на мостовую, а дамы на каретную подножку и встрѣчали проѣзжавшаго государя глубокими поклонами. Бѣда, если бы кучеръ оплошалъ и не остановился во-

время: по проѣздѣ государя, полиція тотчасъ же арестовала бы виновныхъ, причеиъ и экипажъ съ лошадью были бы отобраны въ казну, и кучеръ съ форейторомъ насидѣлись бы на полицейской «сѣвѣжѣ», гдѣ были бы вышѣнены розгами, и выѣздному лакею (какъ и бывало то въ иныхъ случаяхъ) забили бы лобъ, да и господа натерпѣлись бы множества хлопотъ и непріятностей. Эти строгія требованія личнаго этикета казались болѣе всего обременительными и нестерпимыми для столичной публики, вызывая въ ней постоянный ропотъ на новые порядки.

Видя гнѣвное лицо государя и гвардейскаго офицера съ солдатской португезей на запяткахъ его саней, прохожіе любопытно оборачивались вслѣдъ послѣднему и окидывали его сочувственными взглядами: всякъ догадывался, что это, должно быть, новый несчастный, котораго навѣрное упекутъ куда-нибудь далеко...

И самъ Череповъ думалъ про себя то же.

Смутно и горько было у него на душѣ.

«Теперь прощай!.. Теперь уже все пропало!» думалось ему въ то время, какъ царскій рысакъ бойко мчалъ легкія санки по люднымъ улицамъ. — «Вотъ она, фортуна!.. Охъ, эта фортуна — цыганка: какъ разъ обманетъ!.. А она... она-то, моя радость, ждетъ, поди-ка, сердится — что, молъ, долго замѣшкался!.. И не чаешь, что ты уже въ солдатахъ, на дорогѣ въ казематъ, а оттуда, вѣроятно, въ ссылку, въ какіе-нибудь отдаленные сибирскіе гарнизоны...»

Череповъ зналъ, что въ этихъ случаяхъ не шутятъ, и высочайшія повелѣнія выполняются комендантомъ Аракчеевымъ немедленно, съ быстротой изумительной. Ему стало жутко, когда подумалъ, что не успѣетъ онъ теперь не только извѣстить графа Харитоновъ письмомъ о своемъ неожиданномъ несчастіи, что Лиза о немъ ничего не узнаетъ, но что не дадутъ ему даже захватить съ собой перемѣну бѣлья да кой-какое теплое платье, что такъ и посадятъ, какъ есть въ одномъ мундирчикѣ, на курьерскую тройку, рядомъ съ полицейскимъ драгуномъ, и помчатъ черезъ два-три часа въ тѣ страны, куда и воронъ костей не носить. На свою бѣду, и деньги-то всѣ проигралъ онъ въ проклятый фараончикъ! Какъ быть? За что ухватиться? Съ чѣмъ ѣхать въ дальній и трудный путь?

Въ карманѣ у него оставался всего-навсего единственный и послѣдній его заветный червонецъ.

«Мать, покойница, благословляла на счастье, либо на крайній черный день... Вотъ онъ и пришелъ этотъ червонецъ!» думалось Черепову. «Какъ же теперь обернешься, да и много ли на такую сумму сдѣлаешь?! Тулушишко да кенги гдѣ-нибудь на попутномъ базарѣ купишь, коли дозволить, а на иное что и не хватитъ. Да пока купишь-то, ночью морозъ ой-ой какой пробереть... Смерть!.. Ужъ и теперь вѣтеръ до костей пронимаетъ.. Жутко!»

А бодрая лошадь межъ-тѣмъ все мчитъ и мчитъ по уликамъ легкія саней, и съ каждымъ шагомъ все ближе и ближе къ Петропавловской крѣпости, и прохожіе все такъ-же торопливо и смятенно спѣшатъ съ глубокимъ поклономъ обнажать свои головы.

«Господи! думаетъ Череповъ, если бы была хоть какая-нибудь возможность заговорить, объяснить ему, какъ и почему это такъ случилось... Если бы онъ могъ узнать все какъ есть и какія мои побужденія были... Да нѣтъ! Это невозможно!.. Нечего и думать пустое.. Твоя, Господи, воля святая,—будь что будетъ! Видно, ужъ судьба такая на роду мяѣ написана.—Нечего, значить, и жалѣть себя!»

И думая такимъ образомъ, вдругъ замѣтилъ Череповъ на досчатыхъ мосткахъ какого-то дряхлаго и больного старика-нищаго, очевидно, отставного солдата, который, ковыляя на костыль и протягивая къ прохожимъ руку, дрожалъ отъ холода и кутался кое-какъ въ скудныя и рваныя лохмотья форменной епанечки.

«Я-то еще хоть молодъ и бодръ, а вотъ этому каково! Можетъ, семья съ голоду да холоду помираетъ», мелькнуло въ умѣ Черепова, и сердце его сжалось отъ боли и состраданія при этой мысли.

И вдругъ, на первомъ порыву сердца, почти не отдавая себѣ отчета что дѣлаетъ и какія, еще болѣе страшныя, послѣдствія могутъ изъ этого выйти, Череповъ повелительно крикнулъ царскому кучеру:

— Стой!.. Остановись на минуту!

Кучеръ, по привычкѣ, почти машинально придержалъ вожжи и въ недоумѣніи, одновременно съ удивленнымъ государемъ, оглянулся назадъ.

Лошадь остановилась.

Череповъ соскочилъ съ запятокъ, подошелъ къ нищему, полѣзъ въ свой карманъ и, вынувъ заветный червонецъ, сунулъ его въ дрожащую руку калѣки.

— Дай тебѣ Господи... Спаси тебя, Мать Пресвятая Богородица! — зашамкалъ крестясь вслѣдъ ему несчастный.

— Пошелъ! — крикнулъ кучеру Череповъ, спѣшно вскочивъ на запятки,—и лошадь снова помчалась.

Прошла минута — Павелъ не обронилъ ни единого слова. Прошла еще минута.

— А какой на тебѣ чинъ, братецъ?—вдругъ обернулъ онъ искоса лицо свое на Черепова.

— Рядовой, ваше императорское величество,—отвѣчалъ тотъ.

— Рядовой?.. Ошибаешься, братецъ: не рядовой, а унтеръ-офицеръ.

— Унтеръ-офицеръ, ваше императорское величество!

— То-то!

Бдутъ далѣе. Переѣхали по льду черезъ Неву. Вотъ и Иоанновскія ворота Петропав-

ловской крѣпости. Череповъ недоумѣваетъ: «Что-жъ это, въ самомъ дѣлѣ, значить и какъ объяснить себѣ? — произвелъ въ унтеръ-офицеры, а все-таки везетъ въ крѣпость».

Передъ самымъ въѣздомъ въ ворота государь опять искоса повернулъ къ нему лицо свое:

— Какой на тебѣ чинъ, сударь?

— Унтеръ-офицеръ, ваше императорское величество!

— Неправда, сударь, корнетъ.

— Корнетъ, ваше величество!—подтвердилъ Череповъ, все болѣе и болѣе приходя въ недоумѣніе и не зная чѣмъ-то еще все это разрѣшится на главной гауптвахтѣ, внутри крѣпости. Онъ испыталъ нѣчто похожее на внутреннее ощущеніе утопающаго человѣка, которому кажется, что ужъ онъ совсѣмъ погибъ, тонетъ окончательно, захлебывается,—и вдругъ какая-то счастливая волна опять выноситъ его на поверхность, опять онъ видитъ на мгновенные люди и небо, и дышетъ воздухомъ, и вотъ кидаютъ ему съ берега спасательную веревку, онъ уже ловитъ ее руками, радостная надежда оживаетъ въ его душѣ, но онъ еще боится вѣрить своему спасенію: а вдругъ капризный вихрь вырветъ у него изъ рукъ эту веревку, вдругъ новая волна опять окунетъ его въ бездну... Но—слава Богу!—крѣпость проѣхали благополучно. Государь не остановился ни предъ главной гауптвахтой, ни у подъѣзда комендантскаго дома; а при выѣздѣ изъ тѣхъ воротъ, что мимо кронверка ведутъ на Петербургскую сторону, опять обратился къ Черепову.

— Господинъ офицеръ, какой вашъ чинъ?

— Корнетъ, ваше императорское величество.

— Анъ нѣтъ, не корнетъ, а поручикъ, сударь.

— Поручикъ, ваше величество.

— То-то!

Бдутъ далѣе, по Петербургской сторонѣ, мимо церкви Николая Мокраго; на Тучковъ мостъ выезжаютъ.

— А каковъ вашъ чинъ, господинъ офицеръ? — снова раздался голосъ государя, но уже на этотъ разъ замѣтно повеселѣвшій.

— Поручикъ, ваше величество.

— Гм... Поручикъ... Неправда, сударь; чина своего не знаете! Штабъ-ротмистръ, а не поручикъ!

— Такъ точно, ваше императорское величество.

— Что такое: такъ точно?!

И при этомъ послѣднемъ вопросѣ въ голосѣ государя вдругъ проявилась какая-то суровая нотка, отъ которой дрогнуло сердце Черепова и холодные мураши по спинѣ побѣжали.

— Что «такъ точно»? сударь, я васъ спрашиваю?—еще строже повысилъ свой тонъ императоръ,—что чина своего не знаете, это, что ли, «такъ точно»?

— Никакъ нѣтъ, ваше величество, я говорю такъ точно, что я штабсъ-ротмистръ.

— Ага, то-то, сударь!

«Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Вынеси счастливо, Мати Пресвятая Богородица!» мысленно молится Череповъ, дрожа отъ холода на запяткахъ. А санки межъ-тѣмъ мчатся по Малому проспекту Васильевского острова и приближаются къ Чекушамъ, къ тому мѣсту, гдѣ обыкновенно устраивается сѣздъ на зимнюю дорогу въ Кронштадтъ, проложенную по льду, такъ называемой, «Маркизовой лужи». Тутъ стояла гауптвахта и при ней унтеръ-офицерскій караулъ. Прохожихъ на этомъ пустырьѣ почти не попадалось. На горизонтѣ за взморьемъ, сквозь густыя тучи, начинали пробиваться рдѣющія полосы заката, обѣщая на завтра морозъ и вѣтеръ. Бодрый рысакъ наконецъ усталъ и запотѣлъ. Паръ валилъ отъ него клубами. Чтобы дать передохнуть лошади, государь приказалъ кучеру пустить ее шагомъ и повернулся къ Черепову.

— Господинъ офицеръ, скажите мнѣ чинъ вашъ?

— Штабсъ-ротмистръ, ваше императорское величество.

— Анъ вотъ и неправда, сударь! Ротмистръ!

— Ротмистръ, ваше императорское величество!—бойко подхватилъ Череповъ.

— То-то же, сударь, знайте!—кивнулъ ему государь, съ милостивою улыбкой. — Ну, скажите же мнѣ, господинъ ротмистръ,—продолжалъ онъ,—какъ могло такое случиться, что вы позволили себѣ показаться на улицѣ безъ оружія?

Череповъ съ полною откровенностью сталъ рассказывать какъ было дѣло, какъ онъ послѣ развода зашелъ съ нѣсколькими товарищами позавтракать къ Юге, какъ послѣ нѣсколькихъ бутылокъ началась игра, какъ онъ проигрался въ пухъ и, вспомя про любимую особу, вздумалъ поставить на ее счастье, на бубновую даму, свой послѣдній завѣтный червонецъ, и какъ въ это самое время явился графскій вѣстовой съ запиской.

— Кто игралъ съ вами?—нахмураясь, спросилъ императоръ.

Череповъ въ крайнемъ смущеніи потупилъ глаза, не рѣшаясь выдать товарищей.

— Государь! покарайте меня; я одинъ виновать во всемъ! — произнесъ онъ съ глубокимъ, искренно-сердечнымъ чувствомъ.

— Впрочемъ, я не любопытствую знать ихъ,—сказалъ императоръ, подумавъ. — Я ненавижу ложъ и презираю лжецовъ, но въ семъ случаѣ вполнѣ понимаю побужденіе, которое удерживаетъ васъ назвать вашихъ товарищей. Я васъ прощаю. Но какъ могли вы все-таки забыть ваше оружіе, тѣмъ паче, если получили

письменный ордеръ отъ вашего начальника и должны были спѣшить непосредственно къ нему?

— Государь!—еще тише и смущеннѣе заговорилъ Череповъ. — Я получилъ не ордеръ, а простую записку, и не отъ начальника, а...

— А отъ кого сударь?

Череповъ потупился и молчалъ.

— Ужъ не отъ той-ли особы?—улыбнулся императоръ.

— Вы угадали, ваше величество!—скромно поклонился Череповъ. —И потому-то,—продолжалъ онъ,—какъ только увидѣлъ я строки, начертанныя ея рукой, то и свѣта не увидѣлъ отъ радости и восторга, ибо это еще суть первыя строки, первый знакъ вниманія, полученный мною отъ нея... И я кинулся, какъ ошалѣлый, бѣжать на ея призывъ, забылъ оружіе, забылъ и все на свѣтѣ, а ужъ это, вѣроятно, товарищи догадались передать мою шпагу вѣстовому, какъ вдругъ встрѣча съ вашимъ величествомъ.

— Да, встрѣча съ моимъ величествомъ,—перебилъ государь, начиная снова хмуриться. —Все это прекрасно! Но я желалъ бы знать, сударь, на какомъ это основаніи и по какому праву, и по чьему, наконецъ, повелѣнію солдаты моей гвардіи летаютъ любовными посланьями и передаютъ амурныя пидулки?

— Клянусь, государь!—съ жаромъ воскликнулъ Череповъ, поднявъ свою голову и прямо, искренно взглянувъ въ глаза Павла. —Клянусь честью, это не амурная пидулка, это просто записка самаго ординарнаго содержанія.

— Охотно вѣрю вашей искренности, сударь, но все-таки желаю знать, кто это дерзнулъ распоряжаться, ради партикулярныхъ посылокъ, ординарами графа Харитоновъ-Трофимьева?

Что было отвѣчать на этотъ вопросъ и какъ назвать завѣтное, дорогое имя? Какъ выдать ту тайну своего сердца, въ которой онъ даже и ей самой, этой «любимой особѣ», не осмѣлился еще признаться доселѣ?.. Череповъ снова смутился и снова потупился.

— Я жду отвѣта, сударь! — настойчиво и строго замѣтилъ государь.

Положеніе было ужасное. Неискренность, ложъ или дальнѣйшее молчаніе могли быть пагубны для Черепова, при этой вспыльчивости Павла, при этихъ рѣзкихъ и быстрыхъ переходахъ его отъ гнѣва къ милости и отъ милости вновь къ жестокому гнѣву. Назвать имя графини Елизаветы Ильинишны — не значило ли бы скомпрометировать ее, оставивъ въ умѣ государя, быть можетъ, подозрѣніе насчетъ содержанія письма, хотя бы и самаго ординарнаго, какъ увѣрялъ онъ за минуту предъ симъ? И наконецъ, уже самый фактъ, что она, молодая, благовоспитанная дѣвушка, вдругъ ведетъ какую-то корреспонден-

цію съ молодымъ адъютантомъ своего отца — не кинетъ ли этотъ фактъ на нее, въ глазахъ государя, хотя бы самую легкую тѣнь и упрекъ въ легкомысліи?.. Что тутъ осталось дѣлать! А между тѣмъ, это грозное «я жду отвѣта, сударь», прозвучавшее изъ устъ Павла непреклоннымъ приказаніемъ, свѣтилось и въ его взорѣ, пытливо и пристально обращенномъ на лицо молодого офицера.

Медлить далѣе было уже невозможно. Вмѣсто всякаго отвѣта, Череповъ досталъ изъ кармана записку Лизы и подалъ ее государю.

Павелъ Петровичъ пробѣжалъ ее глазами, и лицо его снова прояснилось, и на губахъ заиграла та благосклонная, привѣтливая улыбка, которою подчасъ онъ такъ умѣлъ очаровывать сердца и души.

— Такъ вотъ это твоя зазнобушка! — сказалъ онъ, возвращая Черепову записку. — Ну, братъ, извини, что узналъ тайну твоего сердца. Впрочемъ, можете, сударь, быть спокойны: я ее никому не выдамъ.

Череповъ почтительно склонилъ свою голову.

— И что же, — продолжалъ императоръ, послѣ нѣкотораго молчанія, — молодая графиня отвѣчаетъ вамъ взаимностью?

— Не знаю, государь, — со вздохомъ отвѣтилъ Череповъ. — Я никогда еще на сей предметъ не дерзалъ объясниться съ нею, хотя люблю ее горячо и много.

— И на ея-то счастье ставили на карту свой заветный червонецъ? Ха-ха! — весело засмѣялся императоръ.

— Хотѣлъ-было, ваше величество, — подхватилъ Череповъ, — да не успѣлъ, не удалось! Но я твердо вѣрю, что она выручила бы! Непремѣнно!

— Гм... И лучше, что не удалось, молодой человѣкъ, повѣрьте!.. А какую же монету изволили вы, сударь, отдать нищему? — какъ бы domeкнувшись о чемъ-то черезъ мгновеніе и быстро переимѣнивъ свой милостивый тонъ на нѣсколько подозрительный, недовѣрчиво спросилъ Павелъ.

— Да все ту же, ваше величество, — усмѣхнулся Череповъ.

— То есть, червонецъ вашъ?

— Такъ точно.

— Гм... Ну, вотъ видите ли, она и выручила! — снова самымъ веселымъ тономъ и даже радостно воскликнулъ императоръ, — все-таки выручила! Тамъ, гдѣ и не ждали! ха-ха!.. Это прекрасный поступокъ, господинъ майоръ! — съ нѣкоторымъ увлеченіемъ продолжалъ онъ, послѣ короткаго раздумья, — прекрасный поступокъ!.. У васъ, господинъ майоръ, я усматриваю доброе и честное сердце... Я люблю это! Но мнѣ нравится также и то, что вы чувствуете влеченіе къ особѣ достойной! Я знаю ее — прекрасная дѣвица, и вполне одобряю выборъ

вашего сердца. Думаете дѣлать предложеніе?

— Не смѣю, ваше величество.

— Почему такъ?

— Да какъ сказать!.. Во-первыхъ, неуверенность въ ней, отвѣчаетъ ли она моимъ чувствамъ...

— Мм... да, это до нѣкоторой степени основательно. А во-вторыхъ?

— А во-вторыхъ, мое служебное, пока еще маленькое и скромное положеніе.

— Н-ну, не совсѣмъ-то ужъ маленькое! — воскликнулъ, перебивъ его, императоръ! — вѣдь вы, сударь, на сколько мнѣ извѣстно, кажиесь... э-э... тово... подполковникъ?.. Не такъ-ли?

— Точно такъ, ваше императорское величество!

— Ну, вотъ видите-ли! Штабъ-офицерскій рангъ! Это дѣло не маленькое, и значуще облегчаетъ, сударь, ваши шансы, если тамъ у васъ нѣтъ еще какого нибудь непріятнаго «*въ-третьихъ*».

— Увы! Есть и «*въ-третьихъ*» ваше величество! — пожалъ плечами Череповъ.

— Будто такъ?!.. Хм!.. Что же такое?

— Да разность положенія. Я хотя и негнусаго дворянскаго рода — старинной отрасли потомокъ, но... состояншишко не велико: всего-навсего триста душъ въ двухъ имѣніишкахъ, а она — дочь богача и вельможи... Такая-ли ей партія пристойна!

— Объ этомъ не думайте, сударь! — подумавъ, рѣшительно сказалъ императоръ. — Все это ваше «*въ-третьихъ*», какъ есть, ничего незначущее. Она единственная дочь, да къ тому же, у нея и безъ вашего довольно. Старайтесь только, чтобы «*во-первыхъ*» было удачно, т. е. удостовѣрьтесь въ ея чувствахъ къ вамъ, а объ остальномъ не заботьтесь.

Въ это время санки подѣзжали къ чекушинской гауптвахтѣ. До платформы оставалось шаговъ сорокъ, не болѣе.

— Караулъ — вонъ! — крикнулъ «часовой у фронта», узнавъ императора, — и на его призывъ изъ караулки выбѣжало человѣкъ десять измайловцевъ, которые спѣшно построились впереди сошекъ.

— Слушай, на пле-чо! — Слушай, на караулъ! — скомандовалъ своему взводу старшій унтеръ-офицеръ и, ставъ на свое мѣсто, принялся салютовать алебардой. Но этотъ салютъ «по новому» выходилъ у него и неловко, и смѣшно.

Государь приказалъ кучеру остановить лошадей.

— Что за негодница стоитъ это за старшаго? — крикнулъ онъ, мгновенно приходя въ сильное негодованіе. — Дѣла своего не смыслить! Да никакъ пьянъ еще!

И дѣйствительно, наружность унтеръ-офицера отличалась далеко не воинственнымъ видомъ. Брюзловатое лицо съ плаксивымъ

выраженіемъ глядѣло совсѣмъ по бабѣ, а не-суразая, одутловатая фигурка на тоненькихъ ножкахъ являла въ себѣ нѣчто весьма комическое въ этомъ военномъ костюмѣ и особенно съ этой алебардой, которая была ей не по росту и, видимо, затрудняла собой неловкаго воина.

— Несносный видъ!.. Подите и прогоните его съ платформы!—приказалъ государь Череповъ.

Тотъ соскочилъ съ запятокъ и побѣжалъ на гауптвахту.

Но каково же было его удивленіе, когда, побѣжавъ ко фронту, узналъ онъ въ несуразомъ унтеръ-офицерѣ Прошку Поплюева.

«Вы какими судьбами!» чуть было не воскликнулъ Череповъ, но воздержался, зная или скорѣе даже чувствуя, что на него навѣрное пристально смотрятъ теперь сзади два гнѣвныхъ глаза.

— Его величество изволилъ приказать унтеръ-офицеру убраться прочь съ платформы,—сообщилъ онъ Прохору самымъ официальнымъ тономъ.

— Какъ?.. Съ платформы? отъ фронта?.. Меня?!.. Не можно тому быть, ваше благородіе; я здѣсь начальство, и стою на своемъ законномъ посту,—столь же официально возразилъ ему Поплюевъ.

— Его величество, говорю, самолично приказать изволилъ—прочь съ платформы!

— А я говорю, что быть тому никакъ нельзя, и его величество приказать сего не можетъ! Отстранитесь, ваше благородіе, не мѣшайте мнѣ дѣлать салютацію и не стойте передъ фронтомъ,—сіе порядкомъ нарушаетъ.

Череповъ, пожавъ плечами, побѣжалъ обратно къ санкамъ. Въ короткихъ словахъ онъ передалъ государю отвѣтъ Поплюева.

Павелъ Петровичъ, очевидно пораженный такой неслыханной дерзостью, два или три мгновенія не произносилъ ни слова, и только глядя на Черепова, тяжело пыхтѣлъ и отдувался.

Это было у него обычнымъ признакомъ сильнѣйшаго гнѣва.

— Подите и сдѣлайте то, что вамъ повелѣно. Арестуйте его сейчасъ же!—отчетливо отдѣляя слова, но не повышая голоса, сказалъ императоръ.

Череповъ снова побѣжалъ на платформу и сообщилъ приказаніе.

— Не вѣрю, ваше благородіе!—твердо возразилъ Поплюевъ,—и быть никогда не можетъ такого приказанія! Развѣ вы не знаете, что прежде чѣмъ арестовать меня, вы должны смѣнить меня со вѣреннаго мнѣ поста? Извольте смѣнить, а тогда уже арестуйте.

Череповъ опять побѣжалъ къ санкамъ и передалъ отвѣтъ унтеръ-офицера.

Это озадачило государя, но не надолго. Подумавъ, онъ улыбнулся съ довольнымъ видомъ.

— А вѣдь правъ!—замѣтилъ императоръ,—и даромъ что пьяный, а лучше насъ, твердыхъ, знаетъ свое дѣло! Молодецъ, унтеръ-офицеръ!—крикнулъ онъ Поплюеву.—Спасибо за знаніе порядка службы!

— Радъ стараться вашему императорскому величеству!—закричалъ со своего мѣста Прохоръ.

Государь приказалъ поворотить лошадь и шибко поѣхалъ прочь отъ гауптвахты; Череповъ едва успѣлъ вскочить на запятки.

Довольно долго ѣхали молча, и все это время Павелъ, казалось, погруженъ былъ въ какое-то раздумье.

— Жаль! какъ бы про-себя подумалъ онъ наконецъ вслухъ.—Очень жаль, что пьянъ... А кабы не это, быть бы офицеромъ...

— Да онъ не пьянъ, ваше величество,—рѣшился замѣтить Череповъ, домекнувшись, что дѣло идетъ, вѣроятно, о Прохорѣ.

— Ты говоришь не пьянъ?—повернувъ въ поворотъ голову, нахмурился императоръ.

— Точно такъ, ваше величество. Это ужъ онъ съ роду такъ: мать-натура одарила его толкимъ незрачіемъ, и потому онъ сдаетъ на пьянаго, а онъ трезвый, и дѣло свое въ самой точности понимаетъ.

— А вамъ, сударь, отколь онъ извѣстенъ?

— Сосѣди, но имѣнію, ваше величество.

— Дворянинъ?

— Такъ точно, ваше величество, дворянинъ Прохоръ Поплюевъ.

— Поплюевъ?.. Тыфу! какая фамилія!..

— Фамилія точно-то пасквильная, но человекъ хорошій, и столь великую приверженность питаетъ къ воинскому дѣлу, что даже у себя въ имѣніи учредилъ изъ дворовыхъ людей мушкетеровъ съ карабинерами, обмундировалъ ихъ и очень дѣятельно обучалъ артикулу и гарнизонной службѣ.

— О?! Стало быть, любить?

— Отмѣнно любить, ваше величество.

— И точно человекъ хорошій?

— Беззлобный, ваше величество; чудакъ онъ немножко, но щедръ и хлѣбосолень.

— А каковъ съ крестьянами? Это главное.

— Да вотъ, графу Харитонову хорошо извѣстенъ онъ по ближайшему сосѣдству; такъ графъ однажды, какъ-то при случаѣ, сказывалъ мнѣ въ разговорѣ, что съ крестьянами онъ ничего-себѣ, жалѣетъ, и живутъ они у него въ достаткѣ и не печалуются на тягости.

— Ну, вотъ это мнѣ очень пріятно слышать!—съ видимымъ удовольствіемъ замѣтилъ императоръ.—А вамъ, сударь, спасибо за то, что не оставили въ заблужденіи моихъ на его счетъ мыслей. Благодарю васъ.

Въ это время санки подкатили къ Салтыковскому подъѣзду Зимняго дворца.

Череповъ быстро соскочилъ съ запятокъ и, вытянувшись во фронтъ у самыхъ дверей,

приложилъ по формѣ лѣвую руку къ полю своей треугольной шляпы.

— А вы, кажись, порядкомъ-таки продрогли, сударь,—замѣтилъ государь, выходя изъ саней и мимолетно взглянувъ на посинѣлое съ холоду лицо офицера.

— Отнюдь нѣтъ, ваше величество!—поспѣшилъ бодро отвѣтить Череповъ.—Погода прекрасная, и я съ удовольствіемъ готовъ бы еще...

— Ага! понравилось, сударь!—засмѣявшись, перебилъ его императоръ.—Видно, хочется быть полковникомъ? Ну, нѣтъ, братъ, больше не надуетъ! Пока довольно съ васъ и этого. Прощайте, сударь!

И государь скрылся за дверью подъѣзда.

Череповъ вскочилъ въ сани перваго попавшаго извозчика и, посуливъ ему рубль на водку, велѣлъ гнать какъ можно скорѣе на Садовую улицу, къ графу Харитонову-Трофимѣву.

Тамъ о немъ сильно беспокоились. Графиня Лиза, въ присутствіи отца, весело вертѣлась передъ трюмо, осматривая на себѣ новую парадную робу изъ чернаго бархата, когда Аникеичъ, войдя съ таинственнымъ и испуганнымъ видомъ, тихо доложилъ графу, что сейчасъ-де прибѣжалъ вѣстовой и рассказываетъ, будто съ нашимъ адъютантомъ, съ Василій Ивановичемъ—несчастіе.

— Что такое?—встревожился Харитоновъ.

— Императору на улицѣ попался, и сейчасъ его, значить, въ солдаты и въ крѣпость...

— Что ты врешь, старый дуракъ! О комъ говоришь-то!—недовѣрчиво и съ досадою вскричалъ графъ.

— Сами извольте допросить вѣстового,—пожалъ старикъ плечами.—Коли я вру, стало и онъ врать.

Призвали вѣстового.

Тотъ, ошеломленный еще всѣмъ, что случилось съ нимъ за нѣсколько минутъ на набережной Мойки, рассказывалъ, насколько могъ и умѣлъ, всѣ обстоятельства внезапной встрѣчи съ государемъ.

— Последнее слово ихъ было «въ крѣпость!»—съ тѣмъ и побѣжали,—заклучилъ свой отчетъ гвардеецъ.

Графу не вѣрилось. Все это казалось такъ несбыточно, такъ странно...

— И ты не бредишь?—спросилъ онъ, колеблѣсь между сомнѣніемъ и вѣрой...

— Извольте взглянуть: на мнѣ офицерская шпага,—какъ на доказательство, указавъ вѣстовой на свое оружіе.—Это шпага вашего сіятельства господина адъютанта.

Дальнѣйшія сомнѣнія были бы напрасны. Графъ тотчасъ же отпустилъ вѣстового, которому, по приказанію государя, должно было немедленно бѣжать и сообщить обо всемъ полковому начальству.

— Бѣдный Череповъ!.. Несчастный молодой человѣкъ!—въ глубокомъ огорченіи и въ сильной тревогѣ повторялъ онъ, ходя по комнатѣ и долго не замѣчая присутствія въ ней своей дочери. Но наконецъ, случайно вскинувъ глаза въ ея сторону, графъ увидѣлъ Лизу и остановился съ невольнымъ выраженіемъ вопроса и удивленія.

Графиня Елизавета, вся блѣдная и скорбная, стояла безмолвно и неподвижно, какъ будто на нее столбнякъ нашелъ.

— Что съ тобой!? Лиза!.. Лизанька!—съ безпокойствомъ подошелъ къ ней графъ.—Да откликнись же!.. Что ты!

— Это я виновата... моя записка... Это я погубила его,—съ трудомъ и почти шопотомъ проговорила дѣвушка.

— Ну, полно, дружокъ! — началъ было графъ.—Могла-ль столь пустая записка...

— Нѣтъ, нѣтъ, это моя вина... моя,—настойчиво и быстро перебила Лиза и вдругъ порывисто схватила отца за руку.

— Папушка! Голубчикъ!.. Если любишь меня, спаси его!—съ воплемъ и мохобомъ вырвалось изъ ея груди.

— Ахъ, милая, и радъ бы самъ, да нѣтъ путей сего исполнить!—съ глубокимъ вздохомъ пожалъ графъ плечами.

— Какъ, нѣтъ путей!.. Какъ, нѣтъ!?. Твой путь прямой: ступай къ государю и проси его, побуждай сейчасъ же!.. Онъ тебя любитъ, онъ для тебя сдѣлаетъ это... Проси, моли его,—ну, что ему стоитъ!.. Вѣдь не преступникъ же Василій Ивановичъ!

— Преступникъ устава воинской формы.

— Ахъ, Богъ мой!.. И что такое вся эта ваша воинская форма! — Ну, и за что?.. за что же?!

— Дитя мое, оставь; ты сего не понимаешь,—ласково и кротко успокоивалъ графъ свою дочку.—Когда нибудь, какъ императоръ будетъ въ особливо-добромъ духѣ, я приступлю къ нему, но нынѣ, когда онъ гнѣвенъ—о, ты не знаешь, что такое гнѣвъ его!—нынѣ это рѣшительно невозможно.

— Невозможно?.. Ты говоришь невозможно?.. Ну, такъ я сама пойду къ нему!—порывисто и рѣшительно воспрянула дѣвушка.—Сама буду просить, кинусь въ ноги, стану молить его, плакать... Я не допущу, чтобы человѣкъ погибалъ по моей винѣ!.. Я, я одна тутъ виновата! И онъ пойметъ же это, онъ тронется мною! А коли нѣтъ, то я скажу ему, что онъ тиранъ и деспотъ! Пусть и меня тогда заточатъ, для того что все-жъ-таки я тутъ болѣе всѣхъ виновата!

И съ рыданіемъ, наконецъ-то прорвавшимся наружу, вся заливаясь слезами, дѣвушка упала на руки отца.

Долго ухаживалъ около нея графъ и долго не могъ ее успокоить. Онъ инстинктивно понималъ, что не одно лишь простое участіе къ знакомому

человѣку сказалося теперь въ сердцѣ дѣвушки столь сильнымъ и рѣшительнымъ порывомъ, что тутъ, какъ бы, кроется нѣчто иное, болѣе глубокое...

Поэтому не хотѣлось ему дѣлать кого-либо изъ домашнихъ людей свидѣтелями ея слезъ и волненія, изъ чего потомъ могли бы, пожалуй, пойти разные преждевременные толки, предположенія и заключенія. Онъ самъ, какъ могъ и умѣлъ, успокаивалъ и утѣшалъ свою Лизу, какъ вдругъ растворилась дверь, и въ комнатѣ послышались чьи-то быстрые мужскіе шаги...

Графъ обернулся и даже вскрикнулъ отъ нечаяннаго изумленія.

Весь сияя радостью и восторгомъ, къ нему шелъ Череповъ.

— Возможно-ли!?—вскричалъ Харитоновъ, простирая къ нему объятія и ясно слыша, какъ позади раздалось вдругъ радостное восклицаніе дочери.

— Поздравляйте!.. Поздравляйте меня!—задыхаясь отъ сильнаго волненія и быстрого взбѣга на лѣстницу, говорилъ Череповъ.

— Спасенъ!.. Слава тебѣ, Господи!—крестясь, промолвили въ одно время и графъ, и Лиза.

— Мало того, что спасенъ! Съ монаршею милостію поздравляйте!—восторженно говорилъ гвардеецъ, — съ необычайною милостію! — Я произведенъ въ подполковники!

— Ну, полно, другъ!—замахалъ на него рукой Харитоновъ,—съ ума ты, что-ли, снягилъ отъ радости!

— Ей-ей же, въ подполковники!—побожился Череповъ. — И даже такъ, что самъ себѣ не вѣрю, на яву ли то, или во снѣ мнѣ снится.

— Но какъ же это? Какими промыслами?

— Да такъ, что въ теченіе одинаго часа разжалованъ въ рядовые и изъ рядовыхъ послѣдовательнымъ порядкомъ произведенъ чрезъ всѣ чины до подполковника включительно!

— Не вѣрю!.. Воля твоя, не вѣрю! Садись и рассказывай, если ты, сударь, и впрямь съ ума не спятилъ.

И Череповъ рассказалъ все, за исключеніемъ лишь той части своего разговора съ государемъ, предметомъ которой была графиня Елизавета и его чувство къ ней. Невольное смущеніе передъ любимой дѣвушкой и извѣстнаго рода деликатность воздержали его отъ повѣствованія объ этой части.

Лиза слушала въ нетерпѣливомъ волненіи и все время не сводила съ него глазъ, и чѣмъ далѣе шелъ его рассказъ, тѣмъ все болѣе и болѣе выраженіе изумленія и радостнаго восторга разливалось по ея красивому лицу.

— Господи! Спаси его, этого рыцарскаго, великодушнаго государя! Награди его за это!—воскликнула она въ восхищеніи, когда Череповъ кончилъ.

— Да, сударь, а все за вѣтный червонецъ помочь, изъ коего вы въ черный день сдѣлали

столь достойное употребленіе!—весело заключилъ графъ Харитоновъ-Трофимевъ.

XV.

Коронація императора Павла.

Еще съ января мѣсяца 1798 года стали дѣлать приготовленія къ коронаціи. Дворъ собирався въ Москву. Отряды гвардейскихъ войскъ выступили туда же отдѣльными эшелонами. Вся придворная свита раздѣлена была на нѣсколько группъ, изъ которыхъ каждая должна была отправиться въ первопрестольную столицу по особому росписанію. Еще ранѣе этого времени императоръ купилъ у графа Безбородки его обширный и великолѣпный домъ, противъ Головинскаго сада, и назвалъ его Слободскимъ дворцомъ. Къ этому дому приказано было пристроить по бокамъ двѣ большія деревянныя залы и домовую церковь¹⁾. Свита великихъ князей, пріѣхавшая въ Москву, ранѣе большого двора, размѣстилась противъ Слободскаго дворца, въ зданіи Стараго Сената, гдѣ была назначена квартира и великимъ князьямъ.

Самъ императоръ, прибывшій съ супругой послѣ всѣхъ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ изъ приближеннѣйшихъ лицъ, остановился, по принятому обыкновенію, въ Петровскомъ дворцѣ.

Вскорѣ назначенъ былъ день торжественнаго вшествія въ древнюю столицу. На протяженіи всего пути отъ Петровскаго до Слободскаго дворцовъ разставлены были полки гвардіи и арміи—пѣхота, конница и артиллерія. Къ участию въ церемоніи наряжены были камергеры и камеръ-юнкеры, а такъ какъ день былъ холодный, то имъ приказано одѣть «супперроки», т. е., родъ широкихъ кафтановъ изъ дунцоваго бархата. Одинъ изъ военныхъ участниковъ этого параднаго вѣзда²⁾ замѣчаетъ, что «ни-чего не было смѣшнѣе, какъ видѣть этихъ придворныхъ (привыкшихъ ходить по паркету въ тонкихъ башмакахъ и шелковыхъ чулкахъ) верхомъ, Богъ знаетъ на какихъ лошадахъ, и на тѣхъ не умѣющихъ держаться и ими управлять: многихъ лошади завозили куда хотѣли, и оттого эти царедворцы потеряли свои ряды и надѣлали большую конфузю». Между ними въ особенности была замѣчательна фигура графа Хвостова бывшаго тогда камергеромъ³⁾. Но въ особенности странное впечатлѣніе на москвичей дѣлали новые военные и гражданскіе мундиры участниковъ церемоніи, казавшіеся имъ съ непривычки, послѣ Екатерининской роскоши «кар-

¹⁾ Домъ этотъ сгорѣлъ въ 1812 году, во время занятія Москвы французами.

²⁾ Графъ Е. Ѳ. Комаровскій.

³⁾ Извѣстный плохой стихотворецъ, «пѣвецъ Кубры», но очень добрый и прекраснѣйшій чело-вѣкъ, служившій постоянной потѣхой для лите-ратурныхъ знаменитостей своего времени.

рикатурными». Всѣ эти чиновники, военные и статскіе, слѣдовали по два въ рядъ, младшіе впереди, что составляло «предлинную линію, въ видѣ протянутой веревки», какъ замѣчаетъ участникъ ¹⁾. Послѣ этихъ придворныхъ ѣхалъ верхомъ императоръ, одинъ, и нѣсколько позади его—два великіе князя: Александръ и Константинъ.

Въ Кремлѣ государь остановился на нѣскольکو минутъ для того только, чтобы приложиться къ св. мощамъ и иконамъ, послѣ чего, сѣвъ опять на лошадь, продолжалъ ишествіе свое до Слободского дворца. Уже начинало смеркаться, когда прибылъ онъ къ этому дворцу, и здѣсь, остановясь передъ крыльцомъ, пропустилъ мимо себя церемоніальнымъ маршемъ всѣ войска, участвовавшія въ парадѣ. Несчастные камергеры и гражданскіе чины должны были все это время оставаться верхомъ, и до такой степени замерзли, что нѣкоторыхъ изъ нихъ принуждены были снимать съ сѣделъ почти въ безчувственномъ состояніи.

День своего коронованія назначилъ императоръ на 5 апрѣля, въ самое Свѣтлое Христово Воскресеніе.

На Страстной недѣлѣ вся императорская фамилія говѣла, и въ Великій Четвергъ приобщалась Св. Таинъ (кромя императора) въ церкви Спаса за золотой рѣшеткой. Обѣдня совершаема была митрополитомъ Платономъ. Императрица Марія Теодоровна, въ полномъ блескѣ и цвѣтѣхъ, великія княгини Елизавета Алексѣевна и Анна Теодоровна, великія княжны Александра, Елена, Марія и Екатерина Павловны, всѣ одѣтыя въ бѣлыя платья, поражали взоры своей красотой и скромнымъ величіемъ. Платонъ стужмѣлъ выразить впечатлѣніе, производимое ими въ ту минуту, какъ онъ предстоялъ предъ алтаремъ, въ ожиданіи св. причащенія. Когда торжественно растворились царскія двери, то прежде нежели діаконъ вынесъ сосудъ съ дарами, митрополитъ Платонъ вышелъ изъ алтаря и, какъ будто пораженный блескомъ этихъ августѣйшихъ красавицъ, отступилъ назадъ, а потомъ, обратясь къ императору, сказалъ:

— «Всемиловѣйшій государь! возри на вертоградъ сей!»

И повелъ рукой, показывая на предстоявшихъ.

У императора примѣтны были на глазахъ слезы.

Священный обрядъ коронованія происходилъ, какъ обыкновенно, въ Успенскомъ соборѣ. Зрѣлище было исполнено величія въ ту минуту, когда государь, самолично возложившій на себя императорскую корону, подаль знакъ своей супругѣ приблизиться и короновалъ императрицу, преклонившую предъ нимъ колѣна. Но замѣ-

чательнѣе всего въ этомъ обрядѣ былъ моментъ, когда, при возглашеніи «Со страхомъ Божиимъ и вѣрою приступите», Павелъ I вошелъ въ алтарь черезъ царскія двери, взялъ съ престола чашу и, какъ глава Церкви, самъ причастился Святыхъ Таинъ. Это зрѣлище представлялось для присутствовавшихъ въ особенности рѣдкимъ, потому что съ самаго 1728 г. въ Россіи не было коронованія *государя*. Причастясь въ алтарѣ, императоръ, въ коронѣ и порфирѣ, снова взошелъ на возвышенное тронное мѣсто и съ высоты его самъ прочиталъ во всеуслышаніе составленный имъ «Фамиліальный актъ о порядкѣ престолонаслѣдія» и повелѣлъ актъ сей на вѣчныя времена хранить въ алтарѣ Успенскаго собора, въ нарочно устроенномъ для того серебряномъ ковчегѣ ¹⁾.

Изъ Успенскаго собора коронованная чета, въ царскихъ облаченіяхъ, шествовала, подъ золотисто-глазетовыми балдахинами, вокругъ деревяннаго Кремля, въ древній дворецъ российскихъ государей. Громъ душевъ, колокольный звонъ съ Ивана Великаго и со всѣхъ сорока-сороковъ колоколенъ Москвы, звуки военной музыки и несмолкаемый гулъ восклицаній войска и безчисленнаго народа сопровождали это торжественное шествіе. Императоръ милостиво и привѣтливо кланялся своему народу.

Въ этотъ день государь щедрой рукой осыпалъ многихъ наградами и отличіями. Всѣ штабъ и оберъ-офицеры, служившіе въ гатчинскихъ войскахъ, получили земли и деревни, смотря по чинамъ, отъ ста до двухсотъ-пятидесяти душъ, а нѣкоторые, какъ Аракчеевъ, Кологривовъ, Донауровъ, Кушелевъ, по двѣ тысячъ душъ. Кромѣ того, Аракчееву дано баронское достоинство. Аркадій Ивановичъ Нелидовъ — родной братъ фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой, — который при восшествіи Павла Петровича на престолъ только-что былъ выпущенъ изъ камеръ-пажей въ поручики гвардіи, а въ маргѣ 1797 года произведенъ въ генераль-майоры и назначенъ генераль-адъютантомъ, — получилъ теперь Анненскую ленту и тысячу душъ, черезъ пять мѣсяцевъ своей дѣйствительной службы. Изъ прежнихъ Екатерининскихъ дѣятелей пожалованы: генераль-фельдмаршалъ графъ Салтыковъ 1-й — крестомъ и звѣздой ордена св. Андрея Первозваннаго съ алмазами, генераль-фельдмаршалъ князь Рѣпинъ — шестью тысячами душъ крестьянъ; графъ Безбородко — вотчиной, поступившей въ казну послѣ умершаго бригадира князя Кантемира, и тридцатью тысячами десятинъ земли въ Воронежской губерніи; сверхъ того возведенъ въ княжеское Всероссійской Имперіи до-

¹⁾ Графъ Е. Ѳ. Комаровскій.

¹⁾ Актъ этотъ составленъ былъ домашнимъ образомъ еще въ 1787 году.

стоинство, съ титуломъ свѣтлости, и предоставлено ему на выборъ шесть тысячъ душъ, гдѣ угодно; Каменскому и Гудовичу 2-му*—графское достоинство; вице-канцлеру Куракину—4,300 душъ въ Псковской и Петербургской губерніяхъ; Ростопчину—орденъ св. Александра Невскаго и 473 души въ Орловской губерніи; гардеробмейстеръ Кутайсовъ произведенъ въ оберъ-гардеробмейстеры 4-го класса, графъ Илія получилъ орденъ св. Александра Невскаго. Много было и другихъ наградъ; но при этомъ всѣмъ замѣчено, что государственные дѣятели Екатерининскаго времени, сравнительно съ новыми, личными любимцами государя, награждены гораздо щедрѣе. Впрочемъ, эти послѣдніе не роптали: для нихъ впереди было еще будущее.

На другой день утромъ въ Кремлевскомъ дворцѣ происходило торжественное «безъ-менъ» (baise-main). Императоръ и императрица на тронѣ въ грановитой палатѣ принимали поздравленія отъ духовенства, высшихъ сановниковъ государства, сенаторовъ, придворныхъ, военныхъ, представителей дворянства и городскихъ сословій. Рука императрицы покоилась на бархатной пунцовой подушкѣ, и всѣ мужчины, за исключеніемъ духовныхъ особъ, отдавъ поклонъ царственной четѣ, подходили къ рукѣ Маріи Ѳеодоровны; дамы же ограничивались однимъ глубокимъ реверансомъ. Между духовенствомъ всеобщее вниманіе обращали на себя нѣсколько высшихъ сановниковъ церкви, украшенныхъ орденами лентами и знаками, что для москвичей составляло совершенную новость. Митрополитъ Платонъ, бывшій нѣкогда законоучителемъ Павла, присутствовалъ здѣсь въ своемъ бѣломъ клобукѣ и въ фіолетовой бархатной рясѣ, поверхъ которой красовалась орденами цѣпь Андрея Первозваннаго. Послѣ «безъ-мена» былъ читанъ списокъ вчерашнихъ наградъ и пожалованій. Всѣхъ крестьянъ роздано было болѣе ста тысячъ, съ надѣломъ земли по пятнадцати десятинъ на каждую душу. Не забыты были и самые крестьяне: высочайшій манифестъ, данный въ самый день коронаванія, возвѣщалъ, что, удостоившись воспріять священное мѣропомазаніе и вѣнчаніе на прародительскомъ престолѣ, императоръ Павелъ почитаетъ долгомъ своимъ передъ Творцомъ повелѣть, чтобы «никто и ни подъ какимъ видомъ не дерзалъ въ воскресные дни принуждать крестьянъ къ работамъ», и чтобы оныя только три дня въ недѣлю работали на помѣщика, а остальное время на себя, потому что «для сельскихъ издѣліевъ остающіеся въ недѣлю шесть дней, по ровному числу оныхъ вообще раздѣляемы, при добромъ распоряженіи, достаточны на удовлетвореніе всякимъ хозяйственнымъ надобностямъ».

Этотъ манифестъ по всѣмъ церквамъ былъ читанъ народу, и когда, по окончаніи «безъ-

мена», государь выѣхалъ верхомъ прогуляться по городу, въ сопровожденіи дежурнаго генералъ-адъютанта и московскаго главнокомандующаго, графа Салтыкова, то громадное множество простого народа со всѣхъ сторонъ окружило Павла, оглашая воздухъ криками «ура!». Тысячи шапокъ полетѣли вверхъ. Императоръ съ улыбкой милости и благоволенія медленно двигался среди этого живого моря обнаженныхъ головъ. Какой-то мужиченко долго шелъ подлѣ его стремени, все любясь на своего царя. И вдругъ онъ обервъ пылъ съ салага его величества, перекрестился и поцѣловалъ его въ ногу. Это было какъ бы сигналомъ для толпы, которая такимъ же образомъ принялась съ обѣихъ сторонъ цѣловать ноги императора.

— Спасибо тебѣ, батюшка, ваше величество, за милости къ намъ, къ сѣрочи твоей!—раздавались голоса въ ближайшей толпѣ народа.—Спасибо за то, что хлѣбушко намъ удешевилъ! войну пошабашилъ! Спасибо, что рекрутиковъ нашихъ по домамъ вернулъ, воскресный праздникъ подарилъ намъ, три дня барщины прочь скостилъ! За все спасибо, милостивецъ! Ты намъ какъ что легче сдѣлалъ!.. Чувствуемъ!

Государь отвѣчалъ, что прямо изъ Москвы намѣренъ самъ поѣхать по Россіи, чтобы собственными глазами видѣть обыкновенный, повседневный бытъ своего народа, его нужды и потребности, и для того воспретилъ начальникамъ какія бы то ни было особыя приготовленія къ его встрѣчѣ.

Эта вѣсть еще болѣе усилила восторгъ простого народа.

Вечеромъ былъ большой балъ въ залахъ Кремлевскаго дворца. Дамы съѣзжались въ черныхъ бархатныхъ робахъ русскаго фасона, которыя при блескѣ брилліантовыхъ колье и брошей на бѣлыхъ куафюрахъ, были необычайно эффектны. Мужчины—и военные, и статскіе—всѣ были въ самыхъ простыхъ форменныхъ мундирахъ новаго образца, въ черныхъ чулкахъ и башмакахъ, въ пудренной прическѣ съ тупеомъ, съ треуголками подъ мышкой и при шпагахъ.

Между всѣмъ этимъ отборнымъ обществомъ дѣлалъ сильную «сенсацію» слухъ, передаваемый шопотомъ, что тремъ дамамъ изъ высшаго московскаго свѣта было отказано въ пріѣздѣ ко двору, несмотря на то, что, по положенію мужей своихъ, онѣ имѣли къ тому полное право.

— Какъ! что?! почему?—шопотомъ перелегали вопросы, обращенные другъ къ другу хо-рошими знакомыми изъ москвичей.

— А это надо понимать такъ, что сей акціей онъ торжественно обнаружилъ нетерпимость свою къ вольной жизни.

— Которая весьма уже, и до самаго высо-

каго градуса, у насъ усилилась, — подхватывали при этомъ въ поясненіе тѣ, которые имѣли причины быть особенно довольными этимъ распоряженіемъ.

— Положимъ, и такъ; но... кому какое дѣло, что кума съ кумомъ сидѣла! — возражали имъ защитники «фривольныхъ» нравовъ.

— Ну, нѣтъ; монархъ долженъ держать камертонъ всѣмъ правамъ и порядкамъ своего государства, — оспаривали защитники новаго павловскаго «режима».

— Положимъ, и такъ, — продолжали оппоненты, — но это можно было бы выразить инымъ способомъ, не столь компрометантнымъ для особъ знатныхъ фамилій.

— Э, нѣтъ! — настаивали защитники, — не говорите! Напротивъ! Она потому-то такъ и учинилъ, чтобы доказать самымъ дѣломъ свою антипатію къ фривольству. Будь это незнатная госпожи, ослабившіяся слишкомъ своевольной жизнью, мѣра не имѣла бы своего предостерегательнаго значенія. То не была бы мѣра наказующая. А потому-то она и *мѣра*, что она учинилъ такъ, не уваживъ нисколько, что эти три госпожи суть именитыхъ фамилій.

— Совершенно истинно! — утверждали другіе защитники новыхъ порядковъ и взглядовъ. — Совершенно такъ и надлежало, потому что молва о семъ навѣрное разнесется повсюду, и для того многія наши барыни въ тотъ часъ же начнутъ воздерживаться и привыкать къ жизни порядочной.

— Тсс... Смотрите, смотрите!.. Кто такова?.. Чья?.. Какая прелесть!.. Видите? видите? — пробѣжалъ по залѣ гулъ замѣчаній и вопросовъ, — и всѣ глаза съ любопытствомъ и вниманіемъ устремились въ одну сторону.

По залѣ проходилъ графъ Ілія Харитоновъ-Трофимьевъ подъ руку со своей дочерью.

Она была, дѣйствительно, прекрасна. Роскошь естественныхъ волосъ, красиво подобранныхъ и взбитыхъ въ высокую прическу искусной рукой лучшаго парикмахера; чудная бѣлизна роскошныхъ плечъ, выдѣляемая еще рельефнѣе изъ-подъ чернаго бархата; ясность и сила искристаго взгляда выразительныхъ глазъ; радостная усмѣшка, въ которой такъ ясно выражалось все удовольствіе, вся чистая полудѣтская радость, все безсмертное счастье, ощущаемое въ эту минуту молодой дѣвушкой, вывозимой еще впервые въ большой свѣтъ и на такой балъ — все это въ совокупности придавало графинѣ Елизаветѣ такую восхитительную прелесть, такую дѣтскую наивную чистоту, не умѣющую маскировать своихъ внутреннихъ ощущеній, что на нее невольно устремились внимательные взгляды старыхъ и молодыхъ ловеласовъ, давно уже отвыкшихъ, въ своей придворной и свѣтской жизни, среди любовныхъ интригъ и похощеній, отъ созер-

панія подобной нравственной чистоты, свѣжести и, такъ сказать, дѣвически-дѣтскаго величія. Такая неиспорченная прелесть — и физически, и нравственно — только и могла создаться въ уединенной, почти глухой деревнѣ, при помощи всѣхъ тѣхъ средствъ, которыя были въ распоряженіи умнаго и честнаго опальнаго вельможи. И этотъ контрастъ нравственной чистоты и обаятельной прелести молодой дѣвушки съ этими великосвѣтскими искушенными «модницами» и «кокетками» петербургскаго и московскаго свѣта — невольно, самъ собой, съ перваго взгляда бросился въ глаза всѣмъ и каждому.

— Какая дивная особа! — глядя сквозь лорнетъ на графиню Елизавету, сказалъ Безбородко, стоявшій рядомъ съ престарѣлымъ Херасковымъ, котораго передъ этимъ онъ только что «удостоилъ» своего особаго вниманія и разговора, какъ старѣйшаго представителя нашей литературы и поэзіи.

— Россійская Цирцея! — съ видомъ старческаго восторга, сказалъ Херасковъ, отправивъ въ носъ добрую понюшку французскаго «рапе» изъ тяжеловѣсной золотой «жалованной» табакерки.

— Нѣтъ, ваше превосходительство! Нѣтъ, не Цирцея! — съ живостью перебилъ его Безбородко. — Цирцея — это слишкомъ низменно, слишкомъ плотски для нея!.. По моему, скорѣй уже Мадонна, если намъ нужны боготворенія.

— Ваша свѣтлость, позвольте согласить мое опредѣленіе съ вашимъ, — съ почтительно-любезнымъ видомъ, сквозь который, однако, проглядывала внутренняя независимость, — сказалъ Херасковъ. — Цирцея въ образѣ Мадонны, или Мадонна въ образѣ Цирцеи. Не такъ-ли? Въ ней есть и то, и другое.

Безбородко, любуясь на графиню Елизавету и въ то же время какъ бы соглашаясь съ Херасковымъ, молча кивнулъ головой.

Въ это время Екатерина Ивановна Нелидова, завидя графа Ілію съ его дочерью, прервала извиняясь какой-то разговоръ съ одной изъ самыхъ почтенныхъ и взыскательныхъ московскихъ старушекъ и съ доброй, милой улыбкой пошла на встрѣчу графинѣ Елизаветѣ.

— Какъ я рада, что наконецъ-то васъ встрѣтила! — привѣтливо заговорила она по французски, протягивая Лизѣ обѣ свои замѣчательно маленькія и изящныя ручки. — Мой братъ не даетъ мнѣ покою: онъ давно уже слышалъ о васъ отъ меня, но сегодня видѣлъ васъ здѣсь впервые, ранѣе меня, и теперь просто сгораетъ отъ нетерпѣнія быть вамъ представленнымъ. Онъ очень добрый мальчикъ. Позвольте мнѣ васъ познакомить съ нимъ.

Лиза, не зная что отвѣчать, полусмущенно взглянула на отца и потомъ на Нелидову.

— Я очень радъ, Екатерина Ивановна; надѣюсь и она тоже,—поспѣшилъ отвѣтить старикъ, замѣтивъ взглядъ дочери, выражавшій ея затруднительное положеніе.

Нелидова подала графу свою руку, и они втроемъ направились къ почтенной московской старушкѣ, за кресломъ которой стоялъ безбородый и дѣвически-свѣжій юноша, Аркадій Ивановичъ Нелидовъ, въ своемъ генераль-адъютантскомъ мундирѣ, съ Анненской лентой черезъ плечо и съ необыкновенно счастливымъ, самодовольнымъ выраженіемъ во взорѣ и улыбкѣ.

Ярко-радостные лучи посыпались изъ его глазъ, когда онъ увидѣлъ сестру, подходившую къ нему вмѣстѣ съ графомъ и Лизой.

Фрейлина Нелидова представила ихъ другъ другу.

Но не успѣлъ еще разговориться молодой генераль-адъютантъ съ плѣвившей его дѣвушкой, какъ къ ней уже подошелъ личный адъютантъ одного изъ высокихъ германскихъ гостей и почтительно передалъ, что его высочество проситъ оказать ему честь—протанцевать съ нимъ слѣдующій контръ-дансъ.

— Передайте его высочеству, что я благодарю за честь и буду ожидать его, — совсѣмъ просто проговорила Лиза.

— Ахъ, ma chere!—съ видомъ легкой дружеской укоризны деликатно замѣтила ей Нелидова, обмахиваясь блестящимъ вѣеромъ. — Надо было отвѣчать не иначе, какъ принявъ на себя видъ почтительной благодарности и съ глубокимъ реверансомъ, по этикету: вѣдь принцъ навѣрно смотрѣлъ на васъ въ эту минуту... Вѣдь это большая честь!.. Я безконечно рада за васъ!

— Учите, учите, Екатерина Ивановна, мою добрую дурушку, — замѣтилъ графъ, ласково похлопывая слегка по рукѣ дочку, чтобы ободрить ее отъ невольнаго смущенія, которое почувствовала она при словахъ Нелидовой.

— Графъ, позвольте представить вамъ и графинѣ, вашей дочери, моего добраго друга,—заговорилъ вдругъ, со своей лукаво-добродушной улыбкой, Левъ Александровичъ Нарышкинъ, подводя какого-то немощнаго, разслабленнаго субъекта, на лицѣ котораго было написано и старческое сластолюбіе, и старческая жажда бодриться и молодиться во что бы то ни стало.

Харитоновъ съ легкой вопросительной улыбкой окинулъ взглядомъ того и другого.

— Мой другъ и достойный менторъ моей молодости, графъ Ксаверій Балтазаровичъ Лопачицкій,—продолжалъ Нарышкинъ, рекомендуя разслабленнаго субъекта,—камергеръ прежняго двора и генераль-поручикъ россійской арміи.

Харитоновъ протянулъ руку.

— Смотри-ка, братъ, пожалуй, и этотъ хрѣнъ туда же! Каковъ?—чуть не прысая со смѣху замѣтилъ командиръ Конно-Гвардейскаго полка, толкая подъ руку одного изъ своихъ старшихъ офицеровъ, окружавшихъ его цѣлой группой.

— Что-жь, ваше превосходительство? Это означаетъ, что мы въ скорости будемъ пировать на его свадьбѣ,—шутя замѣтилъ тотъ.

— Куда ему! — махнулъ кто-то изъ конно-гвардейцевъ.

— Какъ куда, помилуйте! Онъ еще не токмо сносенъ, но и бодръ. Смотрите, смотрите, какъ унывается!—кивнулъ молодой офицеръ, графъ Уваровъ.

— А вы знаете, ваше превосходительство, анекдотъ, который произошелъ съ нимъ нѣкое время назадъ? — обратился онъ къ полковому командиру.

— Что за анекдотъ? Не знаю. Расскажите пожалуйста.

— Какъ же-съ—началь офицеръ.—Покойная императрица Екатерина узнала какъ-то случайно, что этотъ чиновный, съ отличными достоинствами и уже преклонныхъ лѣтъ человекъ взялъ къ себѣ въ метрессы нѣкую танцовщицу. Обстоятельство, такъ сказать, экстраординарное, и всѣмъ оно стало, къ вѣстому скандалу, досконально извѣстно. Но что-жь дѣлаетъ ея величество? — Посудите сами: велѣла выучить заморскаго попугая сему упреку въ его поступкѣ и прислала ему ту болтливую птицу въ день его именинъ, замѣсто поздравленія. Съѣхались эта гости, а онъ и хвастается, вотъ-де какой милостью изволила почтить меня ея величество! Еще никто-де изъ васъ, господа, не удостоился получать таковой! Ну, тѣ и возжелали видѣть заморскую птицу. Приказалъ Лопачицкій принести клѣтку и поставить ее предъ гостями. Гордъ и доволенъ своимъ преимуществомъ необычайно. Но вдругъ глупая птица попугай какъ брякнетъ ему на чистѣйшемъ рускомъ языкѣ: «Стыдно, братъ, на старости влюбляться, да еще въ танцовщицъ!» — Можете заключить объ эффектѣ, который произвело это на присутствующихъ!

Офицеры, глядя на неловкую комизма фигуру разслабленнаго старца, такъ и покатились со смѣху.

— А вѣдь гляди, чего добраго, женится! Предложеніе сдѣлаетъ! — воскликнулъ командиръ.

— Ну, нѣтъ, едва-ли! Соперникъ есть, и могущественный соперникъ!—сомнительно покачивъ головой, сказалъ веселый рассказчикъ.

— Соперникъ?.. Кто таковъ?—спросили нѣкоторые изъ товарищей.

— А вотъ, позвольте взглянуть: его превосходительство генераль-адъютантъ Нелидовъ. Этотъ посильнѣе будетъ!

Подполковникъ Череповъ, какъ офицеръ

конно-гвардейскаго полка, стоялъ въ этой же кучкѣ. Услышавъ имя Нелидова, въ соединеніи съ которымъ было произнесено слово «соперникъ», и метнувъ глаза въ сторону, онъ одновременно почувствовалъ въ груди приливъ негодованія, ревности, досады, опасенія и боязни потерять свою надежду на возможность счастья съ любимой дѣвушкой. Анекдотъ о попугаѣ не произвелъ на него ни малѣйшаго впечатлѣнія, хотя въ то-же время онъ чувствовалъ себя въ состояніи задушить собственными руками этого Лопачицкаго, выѣстѣ съ Нелидовымъ, который вдругъ сдѣлался ему ненавистнымъ. Онъ видѣлъ, что графиня Елизавета весьма благосклонно и привѣтливо отвѣчаетъ на его любезности, и что старый графъ вовсе не смотритъ на это непріязненнымъ взглядомъ; напротивъ, разговаривалъ съ вліятельной московской старушкой и съ фрейлиною Нелидовой, онъ этимъ самымъ какъ будто давалъ своей дочери возможность большаго сближенія съ молодымъ, блестящимъ генералъ-адъютантомъ, который, повидимому, стремился исполнѣ воспользоваться предоставленнымъ ему преимуществомъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Черепову.

Ревность, злость и досада съ каждой минутой все болѣе и болѣе овладѣвали его сердцемъ. Онъ чувствовалъ себя въ состояніи сейчасъ же подойти къ этому ненавистному Нелидову и надѣлать ему всяческихъ непріятностей и дерзостей, вызвать его на дуэль, но... присутствіе около него графини Елизаветы, во всей ея чистотѣ и прелести, невольно воздержало молодого человека отъ всякихъ чрезвычайныхъ и сильныхъ проявленій своего взволнованнаго чувства.

Скрѣпивъ сердце и, по странному чувству, во весь вечеръ не рѣшаясь подойти и заговорить съ нею, онъ видѣлъ, какое лестное вниманіе оказывалъ ей во время контръ-данса блестящій германскій принцъ и какъ на эту прекрасную пару съ живымъ любопытствомъ устремлялись внимательные взоры всѣхъ присутствовавшихъ; видѣлъ потомъ, какъ танцевалъ съ графиней Лизой молодой Нелидовъ и какой благосклонной улыбкой, повидимому, отвѣчала она на его непрерывныя любезности и вниманіе; видѣлъ, какъ потомъ подошелъ къ ней разслабленный генералъ Лопачицкій и пригласилъ съ собою на минуэтъ, который императоръ Павелъ нарочно заставилъ всѣхъ Екатерининскихъ стариковъ протанцовать въ этотъ день въ грановитой палатѣ. Всѣ присутствующіе закусывали губы и строили серьезные мины, чтобы не прыснуть отъ невольнаго смѣха, глядя, какъ всѣ эти развалины, въ парѣ съ молодыми красавицами, выдѣлываютъ граціозные антрша, пируэты и поклоны, по старой танцмейстерской школѣ.

Самъ императоръ, судя по его улыбкѣ, казалось нарочно устроилъ всю эту потѣху.

За ужиномъ Черепову пришлось очень далеко сидѣть отъ графини Елизаветы, но онъ видѣлъ, и не столько даже видалъ, сколько чувствовалъ инстинктомъ какимъ-то, что она совершенно счастлива и довольна; встрѣчалъ съ одной стороны такое вниманіе къ себѣ молодого принца, а съ другой—будучи окружена Нелидовымъ и графомъ Лопачицкимъ, которые, наперерывъ другъ передъ другомъ, вслѣдствіе стремились своею любезностію предугадать ея малѣйшее желаніе.

XVI.

„Звѣзда московска небосвода“.

Трауръ по императрицѣ далеко еще не кончился, и потому блестящія собранія въ «дворянскомъ домѣ», у главнокомандующаго и у другихъ «первѣйшихъ» вельможъ и сановниковъ обходились безъ танцевъ. Единственное исключеніе было допущено только на балѣ во дворцѣ, въ самый день коронаціи. Дамы являлись на этихъ вечерахъ, собраніяхъ и придворныхъ «куртагахъ» не иначе какъ въ черныхъ робахъ, стараясь избѣгать роскоши въ отдѣлкѣ и убранствѣ, потому что роскошь была непріятна государю. На самыхъ большихъ изъ этихъ вечеровъ все дѣло ограничивалось однимъ полонезомъ, звуками котораго встрѣчали появленіе императорской фамиліи. Государь съ супругою, въ предшествіи двухъ церемоніймейстеровъ съ жезлами и въ сопровожденіи лицъ своего семейства, шествовавшихъ за нимъ попарно—кавалера съ дамой—обходилъ, подъ звуки полонеза, вокругъ залы, даря все собраніе поклонами и улыбкой, и затѣмъ — танцы совершенно устранились. Общество, разсыпавшееся по смежнымъ заламъ и гостинымъ, составляло вокругъ небольшихъ столовъ партіи въ лото, бостонъ и дофинъ; молодые люди и дѣвицы играли въ фанты, въ колечко, въ вопросы и отвѣты, въ угадываніе желаній и тому подобныя игры.

Графъ Харитоновъ-Трофимевъ еще заблаговременно, до коронаціи, отдѣлалъ заново свой московскій домъ и задавалъ въ немъ теперь вечера и банкеты. Одинъ изъ этихъ вечеровъ былъ почтень присутствіемъ императорской фамиліи, и государь, всегда блиставшій въ обществѣ своимъ остроуміемъ и очаровывающею любезностію, былъ весьма ласковъ къ хозяину и внимателенъ къ его дочери.

Графиня Елизавета, еще съ перваго выѣзда въ большой свѣтъ, на всю Москву сдѣлала положительное впечатлѣніе. Въ ней единогласно признала Москва звѣзду первой величины, ее всѣ замѣчали, о ней всѣ говорили, нѣкоторые ей зави-

довали, но всё восхищались ея наружностью, ее даже злословили, и это послѣднее обстоятельство могло служить речательствомъ върнаго и полнаго успѣха. Толпа поклонниковъ, и молодыхъ, и старыхъ, и высокопоставленныхъ, и «ординарныхъ», привѣтствовала ея появленіе въ обществѣ, и вслѣдъ за нѣмъ наперывъ старался обратить на себя ея благосклонное вниманіе. Графъ Ксаверій Балтазаровичъ Лопачицкій, въ этомъ отношеніи, болѣе всѣхъ, пользуясь привилегіей своей почтенной старости, иногда получалъ отъ Лизы на свою долю болѣе снисходительной, полушутливой благосклонности, чѣмъ молодые и блестящіе искатели. По этому поводу Левъ Нарышкинъ частенько напоминалъ ему въ шутку знаменитую фразу его попутая, но старый графъ Лопачицкій не смущался этимъ нисколько. Молодой Нелидовъ, казалось, тоже былъ весьма заинтересованъ графиней Елизаветой Ильининой; Нелединскій-Мелецкій посвятилъ и написалъ ей въ альбомъ одно небольшое стихотвореніе, которое всё находили прелестнымъ и чувствительнымъ; даже самъ «патріархъ российскихъ пѣнговъ», старецъ Херасковъ, наклонивъ двѣ своихъ, спустился съ высотъ «пиидарической оды» и нетвердою старческою рукою начерталъ въ этомъ альбомѣ четверостишный мадригалъ въ честь «звѣзды московска небосвода».

Встрѣчая теперь графиню Елизавету въ обществѣ, Череповъ не разъ вспоминалъ себѣ ту минуту, когда эта прелестная дѣвушка еще въ Петербургѣ, возвратясь домой послѣ перваго представленія своего императрицѣ неожиданно пожалованная во фрейлины ея величества и упоенная блескомъ и счастьемъ своихъ впечатлѣній, восторженно рассказывала ему о пріемѣ, котораго была удостоена, о необычайномъ вниманіи, оказанномъ ей придворною знатію... Череповъ тогда уже видѣлъ, насколько все это льститъ ея молодому, чуткому самолюбію, насколько все это начинаетъ кружить ей пылкую голову. Онъ тогда еще, радуясь вмѣстѣ съ нею ея счастью, смутно и тревожно почувствовалъ въ дуплѣ, что эта вольная птичка закружится въ вихрѣ большого свѣта, что эта гордость перваго успѣха въ послѣдствіи, быть можетъ, послужитъ помѣхою его сближенія съ нею, которое началось такъ тихо, такъ просто, хорошо... Теперь, съ болью въ душѣ, онъ видѣлъ, что эти смутныя предчувствія начинаютъ сбываться.

Лиза, дѣйствительно, закружилась въ этой упоительной атмосферѣ придворнаго блеска, свѣтскихъ успѣховъ, похвалъ, поклоненій и обожанія. Тутъ все и повсюду льстило ея самолюбію, пріятно щекотало гордость, будило дремавшее чувство сознанія своей красоты, своего положенія, своего превосходства... Черепову казалось, что это была уже не та «графинюшка Лизутка», какою еще такъ недавно

зналъ онъ ее въ глухой опальной деревнѣ... Не то, чтобы она вся мелочно погрузилась въ радужную суетность окружавшей ее жизни, не то, чтобы для ея души не существовало уже ничего внѣ ея свѣтскихъ успѣховъ, — нѣтъ, душа-то у нея все-таки была хорошая, чистая, высокая и, въ сущности, оставалась такою же, какъ и прежде, но... одурманенная на первое время фиміамомъ всѣхъ этихъ похвалъ и поклоненій, она не думая, не анализируя и даже какъ-бы не понимая вовсе, зачѣмъ это надо думать и анализировать, когда все такъ хорошо—отдалась подхватившему ее потоку, отдалась радостно и довѣрчиво, полная жизни, свѣжей и благоухающей молодости и жажды новыхъ, свѣтлыхъ впечатлѣній. Она довѣрчиво и любопытно, какъ бабочка на огонь вихорнула въ этотъ очаровательный блестящій свѣтъ изъ темной безвѣстности своей деревенской жизни. — «О чемъ тутъ думать! Здѣсь такъ хорошо, такъ свѣтло, тепло и радостно, здѣсь всё такъ меня любятъ, такъ хвалятъ... и всё они, право — же такіе прекрасные, чудесные люди — и мужчины и женщины — всё, безъ исключенія, и мнѣ такъ хорошо съ ними, и я сама такъ люблю ихъ... Пусть всѣмъ будетъ хорошо и весело жить на свѣтѣ!» — Такъ думала Лиза и беззаветно отдавалась уносившему ее потоку. Она искренно и глубоко была убѣждена, что и всѣмъ такъ же хорошо какъ и ей, что и всѣ такъ же думаютъ, какъ она, и такъ же чувствуютъ.

Въ отношеніи Черепова она не то чтобы перемѣнилась, но стала какъ-то расфрантиче. Мысль ея, постоянно отвлекаемая новыми и новыми заманчивыми сторонами еще незнакомой и неизвѣданной ею жизни, менѣе сосредоточивалась, менѣе имѣла теперь случаевъ и поводовъ останавливаться на Череповѣ, чѣмъ прежде, въ первое время въ Петербургѣ, когда Лиза никого еще почти не знала и не видала вокругъ себя, когда подлѣ нея былъ одинъ только онъ, да отецъ, да старая нянька. Теперь же въ Москвѣ какими-то судьбами вдругъ отыскались и родственники, и друзья, и знакомые; пять кузницъ на-перебой заискивали въ ея дружбѣ, двѣ двоюродныя тетки — почтенныя московскія барыни, что называется барыни съ вѣсомъ и съ голосомъ — соперничали между собою въ нѣжныхъ родственныхъ чувствахъ къ племянницѣ, стремились взять ее подъ свое авторитетное покровительство и поговаривали о «достойной партіи». Но о послѣднемъ Лиза пока еще вовсе не думала.

Между тѣмъ Василій Череповъ страдалъ и мучился втайнѣ. Онъ ревновалъ ее ко всѣмъ ея свѣтскимъ успѣхамъ и испытывалъ порой нѣчто очень похожее на чувство совершенно безпричинной ненависти ко всѣмъ ея поклонникамъ. — «Странное дѣло!» размышлялъ онъ иногда самъ съ собой, и что это со мной

вдругъ сталося! Вѣдь надѣялся же я не плошать, вѣдь хотѣлъ же брать ее съ бою! Съ чего-жъ это теперь опускаются руки!.. Малый, кажись, не робкаго десятка, и повелѣи только она, такъ хоть на чорта ради нея подѣзу, все сдѣлаю, все превозмогу... И вѣдь было время, одно бы только слово сказать, признанье сдѣлать прямо и просто и... почему знать, быть можетъ, о-сю пору была бы уже моей... Одно лишь слово... одно!.. Но почему-жъ оно, это слово завѣтное, почему не выговаривается?.. Вѣдь былъ же я доселѣ не только смѣлъ, но иногда и протерзозкъ даже съ иными женщинами; и удавалось, все удавалось... Почему же предъ этой чувствую, что и умъ мутится невольно, и языкъ нѣмѣетъ, и руки опускаются... Одни лишь глаза говорятъ, но она въ глазахъ прочесть того не умѣетъ или не можетъ... а какъ знать? быть можетъ, и не хочется прочесть?.. Отчего это такъ со мной? Уже не оттого ли, что тѣхъ, иныхъ женщинъ, я только обхаживалъ, махался, волочился за ними, а эту люблю... люблю впервые истинной и большой любовью»...

Но отъ всѣхъ этихъ мучительныхъ вопросовъ, думъ и размышлений—ему все же было не легче, и дѣло его ни шагу не подвигалось ближе къ желанной цѣли! Напротивъ, теперь онъ сталъ гораздо далѣе отъ Лизы, чѣмъ въ Петербургѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ императоръ внезапно ошастливилъ его повышеніемъ въ нѣсколько чиновъ разомъ до подполковника включительно, онъ, въ силу своего штабъ-офицерскаго ранга, не могъ уже оставаться личнымъ адъютантомъ при графѣ Харитоновѣ-Трофимьевѣ и на другой же день былъ отчисленъ паролнымъ приказаніемъ государя въ свой лейбъ-гвардіи Конный полкъ. Хотя по новымъ штатамъ въ старой гвардіи этого чина и не полагалось, но—на сей разъ такова была воля императора. Съ отчисленіемъ въ полкъ уже не было причины по-прежнему бывать ежедневно въ домѣ графа и проводить тамъ почти все время; пришлось по-неволѣ сдѣлать свои посѣщенія болѣе рѣдкими и менѣе продолжительными, да и случаи къ разговорамъ съ графиней Елизаветой выдавались теперь гораздо рѣже, и всѣ эти препятствія служили только къ тому, чтобы все больше бедить сердце влюбленнаго Черепова.

XVII.

„Въ Англійскомъ клубѣ“.

Дворъ готовился къ отъѣзду въ Петербургъ, а императоръ къ путешествію по Россіи, въ сопровожденіи Безбородко, Аракчеева и нѣкоторыхъ другихъ лицъ изъ ближайшей своей свиты. Его величество прежде всего намѣревался посѣтить литовскія губерніи и вообще

западную окраину своего государства. Гвардія тоже приготовлялась къ походу въ Петербургъ, на свои постоянныя квартиры, и на дняхъ уже должна была выступить.

Идучи однажды по Тверской, Череповъ вдругъ услышалъ, что кто-то сзади окликнулъ его по имени. Онъ обернулся и увидѣлъ Прохора Поплюева, который въ это время спрыгивалъ съ дрожекъ, запряженныхъ красивымъ рысакомъ собственнаго поплюевскаго завода.

— Ба! вотъ оно кто!—удивленно воскликнулъ Череповъ.—Эге, да что я вижу!.. Вы въ офицерскомъ мундирѣ!.. Поздравляю! Давно ли это?

— А помните, въ тотъ разъ, какъ вы съ его величествомъ въ Чекуши прѣзжали,—сюсюкалъ Прохоръ самодовольнымъ тономъ.—Я было-думалъ, что онъ меня тогда въ гарнизу куда-нибудь, въ Сибирь, а онъ, батюшка, нѣко! За изрядное знаніе службы въ оберъ-офицерскій чинъ пожаловалъ. Справку самолично навелъ обо мнѣ въ полку, ну, великій князь ⁽¹⁾, спасибо ему, отзывъ далъ, что я ништо себѣ, не гнусенъ, и въ скорости за то самое вдругъ читаю въ приказѣ... Такъ-то-съ!.. только увы! не въ гвардію!—вдохнулъ Поплюевъ,—написать изволилъ чиномъ подпоручика въ армію... Это, конечно, лучше чѣмъ ничего, но... при матушкѣ-императрицѣ мы, гвардіи сержанты, арміи капитанами себя полагали, а нынѣ... Ну, да и то слава Богу!.. Куда шествовать изволите?

— Да вотъ думаю въ какой-нибудь трактиръ зайти пообѣдать,—сказалъ Череповъ.

— Самое настоящее дѣло! И я за тѣмъ же!—подхватилъ Прохоръ.—Я въ Англійскій клубъ ѣду, и буде вамъ то не въ противность и все равно, гдѣ ни обѣдать, то поѣдемте вмѣстѣ. Я вѣдь старый членъ, запишу васъ гостемъ, а нынѣ тамъ новому повару вторичная проба дѣлается. Протѣмнѣнный поваръ, я вамъ скажу! Поѣдемте!

Череповъ согласился, и поплюевскій рысакъ помчалъ обоихъ знакомцевъ къ англійскому клубу.

Поваръ, дѣйствительно, былъ «престѣнный» и показалъ себя на славу, такъ что Прохоръ съ чувствомъ самоуслажденія отдалъ всю достодожную дань справедливости его искусству и объѣдался до отвала. Здѣсь была вся московская знать, заштатные дѣятели Семилѣтней войны и вообще Елисаветинской эпохи, предъ которыми люди «временъ очаковскихъ и покоренія Крыма» почитались, въ нѣкоторомъ родѣ, какъ-бы молокососами. Тутъ были и сенаторы, и генералы не у дѣлъ, и

⁽¹⁾ Великій князь Константинъ Павловичъ былъ тогда командиромъ лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка.

дипломаты Бестужевской школы, и экз-губернаторы, и вообще все то, что давало Москвѣ особый тонъ и цвѣтъ нѣсколько брюзгливой и недовольной, но благодушной и патриархальной оппозиціи новымъ людямъ и новымъ порядкамъ. Мнѣнія здѣсь высказывались громко и независимо. Тутъ же присутствовало, въ качествѣ гостей, и нѣсколько петербургскихъ стариковъ, нѣкогда сослуживцевъ и старыхъ друзей московскимъ старцамъ.

И тѣ, и другіе встрѣтились здѣсь за обѣдомъ радостно, какъ родные послѣ долгой разлуки, и отъ удовольствія, казалось, помолодели. Застольная бесѣда оживлялась воспоминаніями: кто рассказывалъ про службу въ Оренбургскомъ краѣ еще при Татищевѣ, кто про Пугача и Шамхала Тарханскаго, и про Остермана, и про Миниха, кто о переформированіи бергъ-коллегіи и московскаго архива что-то доказывалъ, кто про панинскую ревизію, а кто и кенигсбергскую фрейленъ Летхенъ вспоминалъ, и варшавскую панну Цецилію... Ко взаимной общей потѣхѣ, каждый прилагалъ свое, не стѣняясь; анекдотъ шелъ за анекдотомъ. Доставалось кстати и современнымъ порядкамъ и нововведеніямъ... Старички «будировали» и высказывали вмѣстѣ съ тѣмъ свое старинное откровенно-тонкое умѣніе «вести въ обществѣ умныя и вмѣстѣ пріятнѣйшія бесѣды». А сѣдовласые, откормленные лакеи межъ тѣмъ разносили по разнымъ концамъ столовъ то изумительную кулебяку, то чудовищныхъ стерлядей на серебряныхъ блюдахъ, и старшій клубный метръ-д'отель, съ гордымъ сознаніемъ собственнаго достоинства, предлагалъ состольникамъ «манзанеллы, каркавеллы или франконскаго» и нынѣ самыя тонкія вина. Вставъ отъ стола съ раскраснѣвшимися щеками и взвеселившимся отъ воспоминаній сердцемъ и проходя мимо бюста императрицы Екатерины, старики вдругъ словно опомнились, остановились, молча посмотрѣли на нее, какъ на живую, молча взглянули другъ на друга, отерли глаза и отошли со вздохомъ.

Череповъ, окончивъ обѣду, прошелъ покурить и отдохнуть въ «диванную». Въ мягкомъ полусвѣтѣ этой уютной комнаты какъ-то особенно хорошо дремалось, подъ тихій говорокъ клубныхъ старожилловъ, которые искони удалялись сюда для послѣобѣденной дремы и послѣобѣденной бесѣды.

Вдругъ ему показалось, что кто-то произнесъ имя графини Елизаветы Ильининой. Очнувшись тотчасъ же отъ легкаго полубабытыя, Череповъ кинулъ взглядъ въ ту сторону, откуда слышалось это имя, и увидѣлъ въ углу на диванѣ графа Ксаверія Балтазаровича, подлѣ котораго сидѣлъ Нарышкинъ.

— Сколь она прелестна!—старчески-восторженно восклицалъ Лопачицкій,—сколь пре-

лестна! въ особенности на послѣднемъ куртагѣ...

— Стыдно, братъ, на старости влюбиться!—слегка похлопывая его по колѣну, подтрунивалъ Нарышкинъ.

— Ба!.. Но развѣ я столь старъ, чортъ возьми!

— Однако.

— Однако я желалъ бы имѣть потомка,—вотъ что!

— Затѣмъ это, милый менторъ моей юности?

— Затѣмъ... затѣмъ... ну, хотъ затѣмъ, дабы родъ не угасъ, имя передать и состояніе.

— Поздно хватился, братъ.

— Для чего такъ? Для чего это поздно?

— Да для того, что потомка у тебя не будетъ.

— На какомъ основаніи не будетъ?

— Фу, Боже мой! Да тебѣ сколько лѣтъ?

— Мнѣ... мнѣ всего только семьдесятъ два года.

— А! ну, это дѣло инакова рода!—согласился Нарышкинъ.—Коли такъ, то женись смѣло: въ семьдесятъ два года дѣти всегда бывають, и непременно!

— Ты таково думаешь?

— Увѣренъ въ томъ, ибо таковъ законъ природы. Вотъ видишь ли,—продолжалъ онъ,—въ пятьдесятъ они еще иногда могутъ быть, но съ трудомъ; въ шестьдесятъ ихъ совсѣмъ не бываетъ, но въ семьдесятъ два—навѣрное и непременно! надлежитъ только взять за себя молоденькую!

— Вотъ, вотъ!.. Я такъ и думаю, такъ и намѣренъ!—подхватилъ плѣшивый селядонъ, потирая руки.

— Только гляди, братъ, опасайся знатнаго риваля!—пути предостерегъ Нарышкинъ.

— Кого это?.. Кто таковъ риваль мой?—прищурясь на собесѣдника, пренебрежительно двинулъ губой Лопачицкій.

— А Нелидовъ-то? Ты что себѣ думаешь!

— Oh, mon cher! Ce n'est q'un damoiseau!—самоуверенно махнулъ рукою графъ Ксаверій Балтазаровичъ.—Какой это риваль мнѣ! Помилуй!

— Однако, говорятъ, что не нынѣ—завтра онъ сдѣлаетъ формальное предложеніе, и это мною изъ наивѣрнѣйшихъ источниковъ почерпнуто.

— Пуфъ! Ему откажутъ!

— Едва ли. За него ратуютъ пять кузинъ и двѣ тетки. Да и самой-то ей, кажись, онъ вовсе не претитъ.

— Н-ну, mon cher, то мнѣ лучше знать!

— Твое дѣло, конечно... А все-таки, повторю вслѣдъ за твоимъ попугаемъ: «стыдно, братъ, на старости влюбляться!»

— Alons donc, farceur! съ нѣкоторой доса-

дой мотнуть головой влюбленный селадонъ и поднялся съ мѣста.

Этотъ разговоръ сдѣлалъ на Черепова непріятное впечатлѣніе. Ему больно было слышать, что къ той, кого онъ чтитъ столь высоко, люди относятся такъ легко, такъ шутливо, что этому поведенію молью, обдѣланому старцу можетъ же вдругъ придти оскорбительная мысль дѣлать ей предложеніе. Но больѣе всего кольнуло его въ сердце извѣстіе о намѣреніяхъ юнаго генераль-адъютанта. Нарышкинъ, повидимому, говорилъ совершенно серьезно и столь положительно, что съ этой стороны Череповъ почувствовалъ серьезную опасность. Нелидовъ молодъ, красивъ, уменъ, образованъ; одинъ изъ первѣйшихъ любимцевъ государя; предъ нимъ впереди еще болѣе блистательная карьера — при такихъ условіяхъ, что препятствуетъ ей отдать ему руку и сердце?

Съ пылающей головой и щемящимъ, тоскливымъ чувствомъ въ душѣ вышелъ Череповъ изъ Англійскаго клуба и быстрыми шагами безцѣльно пошелъ по тускло-освѣщеннымъ московскимъ улицамъ. Онъ шелъ не глядя куда идетъ и ничего не замѣчалъ ни предъ собой, ни около себя. Въ головѣ его вертѣлась въ какихъ-то туманныхъ обрывкахъ все одна назойливая мысль, центромъ которой была графиня Елизавета и рядомъ съ нею этотъ ненавистный, но прелестный Нелидовъ; въ сердцѣ подымались то злорадство, то горечь и слезы, и казалось ему порой, будто земля ускользаетъ изъ-подъ его ногъ и вмѣстѣ съ нею ускользало все его счастье и дѣломъ разлетались мечты и надежды.

XVIII.

Масонская ложа.

Дворъ и гвардія вернулись въ Петербургъ, гдѣ обыденная жизнь того и другой вошла въ свои колеи, рѣзко и твердо обозначенныя для нихъ императоромъ еще съ первыхъ дней его воцаренія. Череповъ надѣялся, что послѣ московскихъ торжествъ и праздниковъ графиня Елизавета Ильинишна, почувствовавъ себя опять среди своей мирной и тихой домашней обстановки, захочетъ нѣсколько отдохнуть отъ свѣтскаго разсѣянія, болѣе сосредоточится въ самой себѣ, и тогда — «авось либо и про насъ, грѣшныхъ, вспомнить, авось-либо станетъ по старому удѣлять долю своей дружелюбной внимательности и — какъ знать! — быть можетъ, теперь-то и замѣтитъ, что она весьма не чуждая моимъ сердечнымъ чувствованіямъ». Такъ думалъ и надѣялся Череповъ, но увы! — мечты его пока еще не оправдывались на дѣлѣ: графиня Елизавета при встрѣчахъ была съ нимъ и привѣтлива, и любезна, но подъ этой любезностью какъ-то не чувствовалось той простоты и задушевности, какая была въ ней

прежде. Ему казалось, будто она въ отношеніи его все еще находится въ туманѣ той разсѣянности, въ которой находилась все время московскихъ преддверствъ, и онъ съ болью въ душѣ сознавался себѣ, что эта разсѣянность чуть ли не выражаетъ собой полнѣйшаго равнодушія къ нему. Такъ казалось Черепову, и потому состояніе внутренней, затаенной тоски почти не покидало его. Всѣ товарищи и пріятели не безъ сожалѣнія замѣчали, промежъ себя, что онъ положительно измѣнился.

Однажды, какъ-то послѣ «вахтъ-парады», заѣхалъ къ нему по дорогѣ одинъ изъ его добрыхъ знакомцевъ, нѣкто гвардіи-капитанъ Гвоздеевъ, человекъ пожилой и солидный.

Череповъ приказалъ подать закуску, послѣ которой пріятели разговаривались, и бесѣда ихъ незамѣтно приняла характеръ задушевности.

— Скажите, государь мой, — говорилъ Гвоздеевъ, прохаживаясь съ нимъ по комнатѣ, — всѣ мы, ваши друзья-пріятели, примѣчаемъ, что вы досконально преобразовались, какъ-то, стали вовсе не тотъ, что прежде, словно у васъ доука нѣкая въ сердцѣ... Ежели то съ моей стороны не назойно и вамъ не претитъ, скажите, какъ другу... быть можетъ, у насъ явится возможность помочь, облегчить, или по крайности, хотя посовѣтовать вмѣстѣ.

— Да какъ вамъ сказать!.. Просто, скверно живетъ на свѣтѣ, — показалъ плечами Череповъ.

— Вамъ ли то молвить!.. Вы, который лично извѣстны государю, и онъ до васъ столь милостивъ, служебная карьера вамъ улыбается, состоянѣйшка, слава Богу, хватаетъ, изъ себя молодецъ и добрый малый, любимъ и уважаемъ товарищами, — чего вамъ болѣе?..

— Все это такъ, да здѣсь-то вотъ непокойно, — сказалъ Череповъ, указывая на сердце.

— Аль зазнобунка?.. Ну чтожъ!.. Это въ натурѣ вещей: годы ваши такіе, и коли любите, то эта непокойность и тѣмъ паче на благо вамъ, сударь.

— Да, хорошо любить, коли и насъ взаимно любятъ... Но не въ томъ сила... Отчасти, коли хотите, есть и это, а отчасти и другое нѣчто... сумнѣнья, и мало ли что...

— Сумнѣнья? — серьезно повелъ бровью Гвоздеевъ, — въ чемъ же сумнѣнья-то? Въ себѣ ли, въ жизни или въ вѣрованіяхъ?

— Всего бываетъ порой, — проговорилъ Череповъ, какъ-бы вдумываясь и вглядываясь внутрь самого себя. — Но опять-таки не въ этомъ главная сила, — продолжалъ онъ, — а въ томъ, что просто скука давить, пустота вкругъ какая-то, неудовлетворенность моральная... Чувствую, что не хватаетъ чего-то, и живо чувствую, а чего — и самъ не знаю, уяснить не могу себѣ. Но порой такіа минуты находятъ, что, кажись, на всякую отчаянность, на всякое сумасбродство пошелъ бы со всей охотой, очертя голову, лишь бы забыться!

— На эту болѣзнь есть лекарство,—серьезно и съ чувствомъ внутренняго убѣжденія сказалъ Гвоздеевъ.—Лекарство сіе—самоуглубленіе, размышленіе; надо познать себя въ испытаніи естества своего и своей духовной природы, и тогда вы обряцете въ жизни духа такія утѣшенія и радости, каковыхъ никогда не дастъ вамъ вся эта юдольная суетность со всѣмъ ея блескомъ, со всѣми ея благами и почестями.

Гвоздеевъ замолкъ на минуту и продолжалъ раздумчиво ходить по комнатѣ.

— Извѣстно ли вамъ, сударь, что-либо о «Великомъ Востокѣ?»—остановился онъ вдругъ передъ Череповымъ, — слышали-ли вы нѣчто о братствѣ «вольныхъ каменщиковъ?»

— Случалось, — отвѣчалъ тотъ, — и не разъ, и отъ людей весьма досточтимыхъ, которые къ нему относились со всѣмъ почитаніемъ.

— Мудрый и не можетъ отнестись инако, — замѣтилъ собесѣдникъ.

— Да, но правительство наше, кажись, не совсѣмъ-то...

— То-есть, покойная императрица, сказать вы желаете? — перебилъ Гвоздеевъ. — Да, это такъ; но не нынѣшнее правительство. Нынѣ, напротивъ, — продолжалъ онъ, — самъ императоръ весьма сочувствененъ ко франмасонству, и всегда таковымъ оставался. Нынѣ въ здѣшней ложѣ можно встрѣтить людей и знатныхъ, и высокопоставленныхъ. Стремленіе ко всеобщему благу не есть и не можетъ быть преступно.

— Вы франмасонъ? — открыто и прямо спросилъ Череповъ.

Гвоздеевъ потупился, въ легкомъ смущеніи, и отвѣтилъ не сразу.

— Хотя уставы братства, — сказалъ онъ, — и воспрещаютъ открываться профанамъ, но въ человѣкѣ честный и мой пріятель, и я вамъ откроюсь. Да, я франмасонъ, и счастливъ тѣмъ внутренно, ибо только съ тѣхъ поръ, какъ онымъ содѣлался, мои горизонты расширились, и я уразумѣлъ, что въ жизни, помимо суетнаго себялюбства, есть еще жизнь духа, есть иныя, болѣе высокія задачи и мечты... Вотъ гдѣ, сударь мой, можно обрѣсти цѣлительный бальзамъ отъ тѣхъ духовныхъ недуговъ, которые васъ сѣдаютъ! — съ жаромъ глубокаго убѣжденія заключилъ Гвоздеевъ.

Череповъ съ любопытствомъ сталъ — было разспрашивать о сущности общества, о его задачахъ и стремленіяхъ, но собесѣдникъ объявилъ наотрѣзъ, что не имѣетъ права открывать ихъ непосвященному, что въ этомъ отношеніи его связываетъ добровольно данная клятва, что идея и задачи братства имѣютъ нѣсколько степеней и даже посвященнымъ открываются не сразу, а постепенно, по мѣрѣ убѣжденія высшихъ членовъ въ ихъ духовномъ совершенствованіи.

— Но если духъ вашъ точно жаждетъ новыхъ сферъ и достойнаго поприща, — сказалъ Гвоздеевъ, — то я могу предложить вамъ въ члены и ввести въ ложу; тогда, по мѣрѣ удостоенія вашего, вамъ все откроется, все станетъ ясно, и вы познаете на землѣ истинное благополучіе.

То состояніе духа, какое за все это время испытывалъ Череповъ, какъ нельзя болѣе располагало его въ пользу сдѣланнаго ему предложенія. Тоска любви, исключительно наполнявшая его душу, неудовлетворенныя стремленія къ счастію, не дававшимся въ руки, внутреннее одиночество среди товарищей — все это дѣлало въ его глазахъ пустой и непривлекательной ту жизнь, которая повседневно его окружала. Онъ смутно, но вѣрно почувствовалъ въ душѣ, что ему необходимъ какой-нибудь исходъ, какое-нибудь отвлеченіе въ иную сторону, во что-либо новое, еще неизвѣданное имъ въ жизни, и потому-то съ радостнымъ и благодарнымъ чувствомъ ухватился онъ за предложеніе Гвоздеева.

— Углубитесь въ себя, — сказалъ ему тотъ на прощанье, — подумайте хорошенько надъ самимъ собою, поразмыслите напередъ, и если убѣдитесь, что хотѣніе ваше не есть минутный порывъ, а истинная воля души, жаждущей просвѣтлѣнія, тогда рѣшайтесь. Черезъ два дня я заѣду къ вамъ, и коль скоро рѣшимость ваша не ослабнѣетъ, а еще тѣмъ паче укрѣпится, — я буду къ вамъимъ услугамъ, сударь, и мы поѣдемъ тогда.

Въ назначенный срокъ Гвоздеевъ явился къ Черепову.

— Ну что, не раздумали? — спросилъ онъ.

— Везите! — было ему рѣшительнымъ отвѣтомъ.

— Коли такъ, то ожидайте меня завтра въ шесть часовъ вечера.

На другой день, въ условленное время, они сѣли въ карету и поѣхали. Экипажъ остановился скорѣ на набережной Фонтанки, предъ однимъ каменнымъ домомъ, солидной, барской постройки, наружныя окна котораго были замазаны бѣлами, что какъ-бы указывало на отсутствіе хозяевъ, а въ сущности, быть можетъ, служило къ тому, чтобы не привлекать праздное любопытство прохожихъ или вниманіе уличныхъ соглядатаевъ. Вообще, все внѣшнее устройство этого дома показывало, что онъ никакъ не предназначался для отдачи въ наймы разнымъ жильцамъ. Въ немъ не помѣщалось ни лавокъ, ни ремесленныхъ заведеній, и видно было, что весь онъ составляетъ одну квартиру, одно широкое помѣщеніе, какъ бы нарочно припоровленное для барскаго богатаго семейства. Дворъ былъ чистъ и безлюденъ.

Оба пріятеля, отпустивъ наемный экипажъ, вошли въ широкія, полутемныя сѣни съ колон-

нами и длиннымъ потолокомъ, и поднялись по широкой лѣстницѣ въ приемную комнату.

Здѣсь Гвоздеевъ оставилъ Черепова и, пред-варивъ, что ему придется нѣсколько обождать, скрылся за внутренней дверью, которая за нимъ наглухо захлопнулась.

Минуть черезъ десять изъ этой самой двери вышелъ какой-то неизвѣстный человѣкъ, одѣтый въ черный фракъ, и приблизился къ Черепову.

— Если желаете послѣдовать за мною, вы должны дозволить мнѣ завязать вамъ глаза, — сказалъ онъ тихо и вѣжливо, приподнявъ къ лицу его бѣлую повязку.

— Это необходимо? — спросилъ Череповъ.

— Это необходимо, — утвердилъ неизвѣстный самымъ рѣшительнымъ тономъ.

Череповъ, въ знакъ согласія, подставилъ ему свою голову. Плотнo завязавъ глаза, незнакомецъ взялъ его за руку и повелъ чрезъ большой и длинный рядъ покоевъ. Вдругъ остановился, и Череповъ услышалъ громъ тяжелыхъ желѣзныхъ запоровъ, вслѣдъ за которыми закричали массивныя двери.

Оба переступили высокій порогъ и вошли въ комнату, гдѣ провожатый посадилъ Черепова на стулъ.

— Когда я удалюсь отсюда, — сказали, онъ все тѣмъ же тономъ и вѣжливымъ голосомъ, — вы скинете повязку и углубитесь въ книгу, которая разверзта передъ вами.

Новый скрипъ двери и громъ запоровъ возгласилъ объ его удаленіи.

Череповъ снялъ повязку и въ недоумѣніи оглядѣлся вокругъ. Его окружали совершенно черныя стѣны какой-то мрачной пещеры. При слабомъ свѣтѣ лампы, которая, тихо покачиваясь, висѣла надъ его головой, глаза его встрѣтили человѣческій черепъ и близъ него развернутую Библію на бархатной голубой подушкѣ, обшитой золотымъ галуномъ. Все это помѣщалось на небольшомъ квадратномъ столѣ, который былъ покрытъ тяжелой черной пеленой, со всѣхъ сторонъ падавшей до самаго пола. Этотъ полъ былъ тоже черный, затянутый сукномъ или войлокомъ.

Вся эта мрачная обстановка дѣлала впечатлѣніе могилы, которое усилилось еще болѣе, когда Череповъ замѣтилъ вверху сводчатаго потолка, какъ разъ надъ своей головой, какое-то темное мерцаніе. Вглядѣвшись пристальнѣе, онъ увидѣлъ, что это было круглое матовое стекло, на которомъ нарисовано красками изображеніе мертвой головы со скрещенными костями и съ надписью вокругъ: «Memento mori».

Череповъ придвинулъ къ себѣ Библію и внимательно сталъ читать глазами.

Черезъ нѣсколько времени въ глубинѣ пещеры беззвучно раскрылась совершенно незамѣтная потайная дверь, и въ комнату вошелъ новый незнакомецъ, одѣтый въ черное. Голу-

бая лента обвинялась вокругъ его шеи, и на ней, спускаясь на грудь, висѣлъ золотой треугольникъ. Тотъ же эмблематическій знакъ, но только гораздо меньшихъ размѣровъ, на лентѣ алаго цвѣта съ серебряными каймами, украшалъ лѣвую сторону его груди. Въ правой рукѣ незнакомца сверкалъ темнымъ стальнымъ блескомъ обнаженный мечъ.

Неизвѣстный человѣкъ медленными шагами приблизился къ столу и съ важнымъ видомъ спросилъ.

— Какое намѣреніе ваше вступая въ со-братство вольныхъ каменщиковъ?

— Открыть вѣрнѣйшій путь къ познанію истины, — отвѣчалъ Череповъ.

— Чтó есть истина?

— Свойство той первоначальной причины, которая сообщаетъ движеніе всей вселенной.

— По силѣ возможности, дается вамъ понятіе о тѣхъ путяхъ. Но теперь, — продолжалъ незнакомецъ, — слѣдуетъ вамъ знать, что послушаніе, терпѣніе и скромность суть главнѣйшія качества, коихъ требуетъ отъ васъ вначалѣ общество, въ которое вы вступить намѣреваетесь. Чувствуете ли себя способнымъ облечься сими первоначальными добродѣтелями?

— Употреблю къ тому всѣ свои силы. Но знайте также, — поспѣшилъ прибавить Череповъ, — что меня привлекаетъ не любопытство къ наружнымъ обрядамъ общества; я хочу увѣриться въ томъ, чего жаждетъ, но не достигаетъ духъ мой; хочу имѣть средства утвердиться въ добродѣтели и знать, безсмертна ли душа моя?

— Лѣзя-ль сумнѣваться въ томъ! Ничто не исчезаетъ въ мірѣ.

— Но, будучи часть предвѣчной души міра сего, какимъ образомъ душа, оскверненная пороками, соединится съ чистѣйшимъ источникомъ своимъ?

— Ищите и обряцете, толчите и отверзется; но начните повиновеніемъ, — отвѣчалъ незнакомецъ съ нѣсколько торжественною строгостію и, позвавъ вслѣдъ затѣмъ «брата-прислужника», приказалъ ему снять съ Черепова всѣ вещи, какія были при немъ: шапку, часы, кошелекъ, форменный кафтанъ, камзолъ и одинъ сапогъ — именно съ лѣвой ноги. Исполнивъ чтó требовалось, братъ-прислужникъ накрѣпко и въ узелъ перетянулъ ему разутую ногу платкомъ выше колѣна, снова наложилъ на его глаза тугую повязку и обнажилъ грудь, спустивъ съ лѣваго плеча сорочку. Вслѣдъ затѣмъ Череповъ почувствовалъ, что къ обнаженной груди его, какъ разъ противъ самаго сердца, приставленъ мечъ, остріе котораго непосредственно касалось его тѣла.

— Слѣдуйте за мною, — все съ тою же важностью приказалъ незнакомецъ и, взявъ Черепова за руку, повелъ его изъ пещеры.

Долго въ такомъ положеніи дѣлалъ онъ съ

нимъ различные круги и обороты по комнатамъ, не отводя стального острія отъ его груди, но наконецъ остановился и наложилъ его руку на какое-то массивное кольцо.

— Ударьте симъ кольцомъ три раза въ вертикальную плоскость,—приказалъ онъ—и Череповъ исполнилъ его велѣніе.

Черезъ минуту за дверями послышался голосъ.

«Кто нарушаетъ спокойствіе бесѣды братской?»

— Профанъ,—отвѣчалъ путеводитель.—онъ желаетъ вступить въ члены священнаго братства.

«Не тщетное-ли любопытство влечетъ его къ тому?» продолжалъ голосъ за дверями.

— Нѣтъ! онъ жаждетъ озариться свѣтомъ истины.

«Какое имя его? званіе? лѣта?—мѣсто рожденія? занятія родъ?»

Череповъ чрезъ путеводителя долженъ былъ съ точностію отвѣтить на всѣ эти вопросы, послѣ чего дверь отворилась—и его ввели въ большую залу и поставили, какъ показалось ему, должно быть, посерединѣ ея. Повязка все еще оставалась на глазахъ его и холодное остріе касалось груди.

Черезъ минуту, среди глубокой тишины, услышалъ онъ издали важный и тихій голосъ, который его спрашивалъ:

«Пропанъ!—настоятельно-ли желаешь ты вступить въ священное сословіе?»

— Да!—отвѣчалъ Череповъ.

«Имѣешь ли довольно твердости, чтобы перенести испытанія, тебѣ предстоящія?»

— Да,—повторилъ онъ съ внутреннимъ убѣжденіемъ.

«Братъ-учредитель порядка!» торжественно воззвалъ тотъ же голосъ, «начни испытанія и сверши съ профаномъ путь продолжительный и трудный!»

Тогда подошелъ къ Черепову братъ-учредитель порядка, и снова приставя ему мечъ къ груди, а другой рукой взявъ его за руку, началъ съ нимъ путь отъ востока на западъ, и тихо, малыми шагами продолжая водить его такимъ образомъ, громко и внятно говорилъ на философическую тему о жизни и смерти; потомъ остановился, потрепалъ его по плечу и воскликнулъ:

— Vénérable! Профанъ свершилъ первое испытаніе; твердость его подаетъ надежду къ перенесенію дальнѣйшихъ.

Велѣдъ за симъ, эти же самыя слова были повторены еще двумя какими-то голосами, и тогда голосъ повелѣвающій воззвалъ:

«Братъ-учредитель порядка! Начни второй путь!»

И снова повторилось круговое хожденіе отъ востока на западъ, и снова продолжалась ясная и твердая рѣчь о материн и духъ, о безконеч-

номъ и о безсмертіи; и такимъ образомъ былъ пройденъ второй путь испытаній и за вторымъ—третій, который уже былъ послѣднимъ. Когда же братъ-учредитель порядка поставилъ Черепова на мѣсто и, потрепавъ опять по плечу, отдалъ венераблю отчетъ,—его рѣчь слово въ слово была повторена тѣми же двумя голосами, и тогда уже третій голосъ, тихій и сострадательный, произнесъ:

«Возлюбленнѣйшіе братія! Профанъ окончилъ съ похвалою испытанія свои. Онъ достоинъ вступить въ общество наше. Позвольте-ли ему приобщиться къ лику вашему!»

Раздалось глухое рукоплесканіе многочисленныхъ лицъ, изъ чего Череповъ догадался, что этимъ знакомъ братья изъявили свое согласіе.

— «Итакъ, да приблизится!» повелѣлъ издали голосъ.

Новопринятаго брата повели прямо впередъ, направляя его ноги такъ, чтобы онъ ступалъ на извѣстныя мѣста, взвели на ступени, поставили однимъ колѣномъ на подушку и возложили правую руку на библию и мечъ. Кто-то наложилъ на эту руку свою длань и повелѣлъ клясться въ сохраненіи тайны.

По произнесеніи клятвы, слова которой Череповъ повторялъ велѣдъ за незнакомымъ ему голосомъ того, кто держалъ подъ своей ладонью его руку, его отвели задомъ на прежнее мѣсто, и здѣсь нѣкто возлѣ него сказалъ ему: «выстави языкъ!» и приложилъ къ нему какое-то желѣзо.

Въ то же самое время раздался повелѣвающій голосъ: «Да спадетъ повязка съ глазъ его! Да удостоится увидѣть свѣтъ лучезарный!»—и она упала.

Мгновенно предъ глазами Черепова вспыхнуло большое яркое пламя и столь же мгновенно исчезло. Тутъ онъ увидѣлъ предъ собой, въ освѣщенной круглой залѣ, до сорока чловѣкъ, сблизившихся къ нему въ полукругіе, съ устремленными прямо противъ него мечами. За этими людьми, на возвышеніи, гдѣ помѣщался престолъ, подъ зеленымъ балдахиномъ, усѣянными звѣздами, стоялъ великій магистръ, съ повелительно простертою впередъ рукою. По мановенію его, сонмъ братьевъ молча занялъ мѣста свои.

Приглядываясь къ этимъ людямъ, Череповъ замѣтилъ, что всѣ они сидѣли въ черныхъ шляпахъ, и на каждомъ надѣтъ былъ бѣлый лайковый передникъ; но у однихъ передники были просто бѣлые, у другихъ же обшитые розовыми и голубыми лентами, что означало разныя степени достоинствъ. Точно также по степенямъ распредѣлялись и тѣ символическіе знаки, которыми украшались груди братій. Золотые и серебряные треугольники у однихъ висѣли на голубыхъ, у другихъ на алыхъ лентахъ, и при томъ на шеѣ, или же въ петлицахъ. Великій магистръ тоже былъ покрытъ

шляпою, только вмѣсто треугольника на немъ красовался золотой угольникъ, подвѣшенный на голубой широкой лентѣ. Предъ нимъ стоялъ столъ, покрытый до самаго пола зеленымъ бархатомъ. По тремъ угламъ этого стола возвышались три массивныхъ шандала, а посрединѣ лежали на подушкахъ: Библія, мечъ, бѣлый молотокъ, циркуль и треугольникъ.

Когда всѣ разсѣлись по мѣстамъ, великій магистръ приказалъ подвести новопринятаго члена къ своему престолу.

Теперь, подходя къ нему уже съ открытыми глазами, замѣтилъ Череповъ, что посреди залы лежалъ на полу большою планъ Соломонова храма. Онъ догадался, что при первомъ приближеніи къ престолу, ноги его послѣдовательно были переставляемы нарочно затѣмъ, чтобы ступать на извѣстныя изображенія, и именно на тѣ мѣста, которыя по плану ведутъ постепенно во Святая Святыхъ.

Взойдя на ступени и приблизившись къ престолу, Череповъ преклонилъ коленно. Великій магистръ взялъ циркуль, наставилъ его на обнаженную грудь неопита и троекратно ударилъ по немъ молоткомъ. Кровь брызнула изъ раны, къ которой братъ-учредитель поспѣшилъ подставить серебряную чашу. Каждое дѣйствіе сопровождалось здѣсь особенными словами и изреченіями, по установленному обряду. Когда чаша достаточно уже оросилась кровью, великій магистръ предложилъ Черепову одѣться, для чего онъ и былъ введенъ въ смежную горницу, гдѣ ему уняли кровь съ помощью какой-то вязущей жидкости и помогли одѣться въ его платье, и когда, послѣ этого, онъ опять былъ введенъ въ круглую залу и поставленъ предъ престоломъ, венерабль обратился къ нему съ особенной рѣчью.

— Возлюбленный братъ!—началъ онъ торжественнымъ голосомъ,—все что ты опутилъ и видѣлъ, суть гіероглифы таинственной сущности: повязка на очахъ, темная хранина, умственные углубленія, удареніе кольцомъ, пути съ востока на западъ, шествіе по изображенію храма Соломонова—все это есть не иное что, какъ разительныя черты того, что можетъ возбудить въ душѣ твоей мысли о ничтожности міра и желаніе къ отысканію истины: ищите и обрящете, толцйте и отверзется. Мы увѣрены, что довольно бы было единого слова твоего къ сохраненію тайны; но мы вѣдаемъ также и слабость сердца человѣческаго, и потому, надъ священной сею книгою религіи, наполняющею ревностью сердца всѣхъ насъ, приедемъ, для обезпеченія себя, клятву твою, связующую тебя съ нами посредствомъ сей священной книги. Для того требуемъ мы клятвы къ сохраненію тайны, дабы профаны, не понимающіе цѣли братства сего, не могли надѣяться надъ оною и употреблять во зло. Свобода и равенство царствуютъ между нами.

Подъ именемъ «вольныхъ каменщиковъ» мы будемъ стараться вкушъ о возстановленіи зданія, основаннаго на краеугольныхъ камняхъ, изображенныхъ въ сей изящной книгѣ.

При этомъ венерабль указалъ на Библію. Затѣмъ, подавая Черепову лайковый передникъ и маленькую кирку. — «Любезный братъ!» — продолжалъ онъ,—для того-то облачаемъ тебя, подобно каменщику, запономъ и вручаемъ кирку. Приими также и сію бездѣлку — знакъ братскаго союза нашего — и носи на груди твоей всякій разъ, когда посѣтишь общество.

И онъ вручилъ Черепову прорѣзной золотой треугольникъ, на сторонахъ котораго было изображено: «*Les amis réunis*», а въ срединѣ— двѣ соединенныя руки. Этотъ орденскій знакъ висѣлъ на алой съ серебряными каймами лентѣ.

— Приими сіи перчатки,—продолжалъ ораторъ, подавая Черепову пару, сдѣланную изъ батиста,—и да будутъ онѣ тебѣ въ знакъ сохранения чистоты твоихъ дѣяній; прими также и эти двѣ женскія перчатки—для подруги жизни твоей, если таковую избереши себѣ. Прекрасный полъ не входитъ въ составъ нашего общества, но мы не нарушаемъ устава Творца и натуры. Приими наконецъ сей мечъ, которымъ долженъ отсѣкать страсти твои, и вѣдай, что общество соединенныхъ братій, въ которое нынѣ вступилъ ты, есть ничто само по себѣ, если не устремилъ воли своей къ отысканію истины; но это общество служить преддверіемъ пути, который жаждетъ открыть пробужденная совѣсть падшей души.

По окончаніи этой рѣчи, великій магистръ обратился къ брату-учредителю порядка и повелѣлъ ему облечь Черепова въ символическіе знаки вольныхъ каменщиковъ и научить предварительнымъ гіероглифамъ. Тогда братъ-учредитель принялся объяснять неопиту, что такъ какъ онъ, неопитъ, принадлежитъ пока еще къ «*Les Apprentis*», т. е., къ ученикамъ, которые составляютъ первую степень масонства, то знакъ этой категоріи есть какъ-бы хватающее прикосновеніе правой руки къ шеѣ, потомъ относъ этой руки на правое плечо, слагая большою палецъ съ указательнымъ и, наконецъ, опущеніе ея вдоль по бедру. Знакъ же «для познаванія брата» заключается въ пожатіи рукъ такимъ образомъ, чтобы большою палецъ одного подавилъ руку другого вдругъ два раза, съ малой остановкой, а въ третій гораздо сильнѣе и продолжительнѣе.

— Слово для узнанія масона есть «*Sacuin*»,—продолжалъ братъ-учредитель,—и говорится оно послѣ пожатія руки такъ: «Скажи мнѣ первое слово, я тебѣ скажу второе». Тогда вопрошаемый, буде онъ масонъ, произноситъ: «*s*», а вопросившій вслѣдъ за нимъ: «*a*», первый «*q*», второй «*u*», и такъ далѣе. Слово священное есть «*Tudalcain*», и всѣ эти

слова и гіероглифы имѣютъ свое значеніе, но первой степени оны не открываются.

Этимъ послѣднимъ объясненіемъ закончилось посвященіе Черепова въ масоны. Проекзаменовъ его тутъ же относительно правильнаго усвоенія имъ гіероглифическихъ знаковъ и найдя, что онъ усвоилъ ихъ вѣрно, ему подвязали лайковый передникъ, повѣсили на пуговицу кирку, а въ петлицу треугольникъ, дали въ руку обнаженный мечъ, велѣли надѣть шляпу подобно всѣмъ братьямъ и указали то мѣсто, которое должно принадлежать ему во время братскихъ собраний.

Послѣ этого всѣ члены поднялись со своихъ мѣстъ и чинно отправились въ особую столовую, гдѣ ожидало ихъ братское пиршество.

XIX.

Общественная жизнь Петербурга при императорѣ Павлѣ.

Первая ученическая степень масонства, въ которую былъ посвященъ Череповъ, не открыла предъ его нравственно-духовными очами никакихъ особенныхъ тайнъ и откровеній, которыя двинули бы жизнь его на новую дорогу, указали бы ему инныя, высшія цѣли и задачи. А онъ такъ желалъ, такъ надѣялся именно этого!.. Гвоздеевъ утѣшалъ его тѣмъ, что не все-де можетъ быть открыто сразу, что напередъ нужна основательная подготовка и строгая послѣдовательность въ степеняхъ, а за тѣмъ, со-временемъ, все само собою станетъ ясно и «маэстроно» для его ищущаго и пытающаго духа. Но пока—все это сулилось еще впереди, а въ настоящую минуту, при всѣхъ своихъ усердныхъ и аккуратныхъ посѣщеніяхъ ложъ, Череповъ видѣлъ одну только внѣшнюю сторону масонства, одни лишь обряды, часто вовсе не постигая ихъ смысла и ни во что не успѣвая проникнуть далѣе и глубже этихъ чисто внѣшнихъ формальностей. Такое положеніе вскорѣ на много охладило его рвеніе, и онъ сталъ уже гораздо рѣже посѣщать «собратство». Разочарованіе послѣдовало еще и оттого, что многіе изъ масоновъ, не только низшей, но и болѣе высокихъ степеней, не стѣснялись въ обществѣ относиться легко и даже пронически какъ о собратьяхъ, такъ и о своемъ собственномъ масонствѣ. «Что-жь это! Одна мистическая забава, игра взрослыхъ дѣтей въ страшную игру!» съ горечью думалось ему въ инныя минуты. Но положительный результатъ, приобретенный Череповымъ въ масонской ложѣ, заключался въ новыхъ знакомствахъ съ нѣкоторыми изъ тогдашнихъ профессоровъ академіи наукъ. Императрица Марія Ѳеодоровна оказывала особенное вниманіе и покровительство этому ученому учрежденію, и даже нѣсколько профессоровъ русскаго происхожденія пользовались отъ ея

величества особыми субсидіями за чтеніе публичныхъ лекцій въ залахъ академіи и въ кунсткамерѣ. Профессоръ Гурьевъ читалъ тамъ высшую математику, Захаровъ—химію, Севергинъ—минералогію, а Озерецковскій—зоологію и ботанику. Публика въ особенности любила послѣдняго; хотя онъ говорилъ и грубо, не разбирая выраженій, но всегда умно, ясно и увлекательно. Въ числѣ слушателей его были многіе морскіе и горные офицеры; посѣщали иногда аудиторію и молодые гвардейцы, между которыми Череповъ былъ не изъ послѣднихъ. Эти лекціи доставляли имъ случай къ развитію многихъ понятій и къ приобретенію основательныхъ свѣдѣній о нѣкоторыхъ научныхъ предметахъ. Гвоздеевъ тоже былъ въ числѣ наиболѣе ревностныхъ слушателей и, подбодряя Черепова, говорилъ ему, между прочимъ, что это есть одинъ изъ существеннѣйшихъ путей къ усвоенію масонскихъ стремленій и «абсолютной истины».

Академія того времени хотя и не отличалась особеннымъ блескомъ, но приносила обществу несомнѣнную пользу. Подлѣ знаменитыхъ иностранцевъ: Эйлера, Эпинуса, Палласа, Шуберта и Ловица, стояли рядомъ русскія имена: Румовскаго, Лепехина, Озерецковскаго, Севергина, Иноходцева, Захарова, Котельникова, Протасова, Зуева, Кононова и Севастьянова. Правда, не всѣ изъ этихъ русскихъ были люди великіе и гениальные, при томъ многіе же изъ нихъ сильно придерживались чарочки, но всѣ они трудились и честно дѣйствовали «на пользу и преуспѣваніе» Россіи. Первое мѣсто въ числѣ ихъ занималъ Озерецковскій, человекъ умный, основательно ученый, но вздорный, сквернословъ и большой руки кутила. Гвоздееву удалось какъ то ввести Черепова въ профессорскую компанію, и хотя онъ былъ плохой ученый собесѣдникъ, но профессеры уважали его за добрый, открытый нравъ, за полную и беззаветную готовность, во всякое время дня и ночи, на всякую лихую отчаянную штуку, за умѣнье хорошо выпить, еще лучше угостить, да наконецъ и блестящій конно-гвардейскій мундиръ, въ глазахъ многихъ ученыхъ того времени, тоже что-нибудь значилъ. Словомъ, не одинъ изъ нихъ находилъ, что быть съ Череповымъ въ знакомствѣ «и лестно, и пріятно». Обо всей этой компаніи ходило тогда много анекдотовъ. Рассказывали, наприимѣръ, что однажды дѣломъ всѣ члены академіи были на свадьбѣ у одного изъ своихъ товарищей на Васильевскомъ островѣ. Часу въ шестомъ утра шли они домой, гурьбою, въ шитыхъ мундирахъ, въ орденахъ, и присѣли дорогой на помостъ канавки, чтобы отдохнуть и перевести духъ. Въ это время лавочникъ отворялъ свою мелочную лавочку. Озерецковскій предложилъ зайти и напиться огуречнаго разсолу, что преотмѣнно дѣйствуетъ послѣ попойки, и крик-

нуль лавочнику подать имъ ковшъ «сего нектару». Напились и отъикались ученые. «Эхъ, да и хорошъ же у тебя разсолъ, собака! Что же мы тебѣ должны? сколько съ насъ слѣдуетъ?» — «Ничего-съ, ваши превосходительствы и сиятельства!» — отъбѣчаетъ купецъ съ пояснымъ поклономъ. — «Какъ ничего?!» — «Да такъ, ваши превосходительствы, потому вѣдь и съ нашимъ братомъ это случается».

Чтобы размыкать свою внутреннюю тоску, Череповъ въ это время отдавался разнымъ теченіямъ, кидался въ разныя сферы общества, жизни и занятій, нисколько даже не заботясь, «пристойно ли сіе гвардейскому мундиру». Ему просто хотѣлось какъ бы то ни было и гдѣ бы то ни было забыться, заглушить, потопить эту назойливую и ревнивую кручину, которая по временамъ, и особенно послѣ встрѣчъ въ большомъ свѣтѣ съ графиней Елизаветой, глубоко забиралась въ его сердце.

Но ни масонство, ни наука, ни даже профессорскіе кутежи не помогали. Видъ графини Елизаветы — все казалось ему скучнымъ, безцвѣтнымъ, мертвеннымъ, ничто не привлекало, ни въ чемъ не почерпалось забвенія.

Да и самыя условія жизни тогдашняго общества все болѣе и болѣе становились тѣсными и печальными. Время было тяжелое, и вообще, и въ частности, и сдѣлалось оно таковымъ вскорѣ по возвращеніи государя изъ путешествія по Россіи; но въ особенности казалось оно тяжелымъ по сравненію съ привычками и жизнью Екатерининскаго времени. Все перемѣнилось, разомъ, такъ рѣзко и круто, — и общество остановилось въ полномъ недоумѣніи предъ явленіями новой жизни. Государь на многихъ изъ придворныхъ и саповниковъ имѣлъ подозрѣнія, и сколько изъ нихъ, чуть-ли не ежедневно, были отставляемы отъ службы и ссылаемы на житье въ деревни! Тайная канцелярія была завалена дѣлами, преимущественно раскольничьими; Обольяниновъ разбиралъ основанія разныхъ сектъ; многихъ изъ сектантовъ брали въ «Тайную», брили бороды и ссылали на поселеніе. По отзывамъ современниковъ, то настала «эпоха ужасовъ». Одинъ изъ нихъ ¹⁾ говоритъ, что «сердце болѣло, слушая шепоты, и радъ бы не знать того, что рассказываютъ»; а другой ²⁾ свидѣтельствуетъ, что въ то время «надлежало остерегаться не преступленія, не нарушенія законовъ, не ошибки какой-либо, а только несчастія, слѣпного случая»; и всѣ жали тогда съ такимъ точно чувствомъ, какъ во время какой-нибудь повальной бѣдѣзни: прожили день — и слава Богу. Если въ какомъ-либо домѣ занималъ квартиру квартальный надзиратель, то онъ свободно могъ являться тира-

номъ и страшилищемъ всего дома, — была бы лишь охота; его слушались со страхомъ и трепетомъ, отъ него прятались и убѣгали на улицахъ. Доносъ полицейскаго агента нерѣдко могъ имѣть самыя гибельныя послѣдствія. Даже самыя невинныя удовольствія не всегда проходили безъ приправы страха и горечи. Многіе были до того напуганы, что если, бывало, слышать курьерскій колокольчикъ, то такъ и затрясутся, такъ и поблѣднѣютъ: все чудилось, будто фельдъегерь или даже самъ полиціймейстеръ Эртель ѣдетъ брать ихъ въ «Тайную». Брала иногда Богъ-вѣсть почему, даже по такого рода доносамъ прислуги, что господа говорили-де о курносыхъ. Это было уже усердіе паче мѣры и разума, и государь большей частію даже вовсе и не зналъ о немъ.

А въ то-же время, трудно и представить себѣ то бѣшеное веселіе, которое въ эти самые дни царило въ петербургскомъ обществѣ. Въ десять часовъ, по распоряженію полиціи, всѣ огни въ домахъ должны были быть погашены, но обыватели выдумали шторы на двойной подкладкѣ, которыя, будучи спущены въ урочный часъ, пренятствовали видѣть комнатное освѣщеніе съ улицы, и хозяева, простившись со слишкомъ строгими блюстителями законныхъ формальностей, оставались въ кругу людей, не заботившихся о томъ, что ожидаетъ ихъ завтра, — веселились на-пропалую, танцовали до упаду, вели рѣчи самыя безбоязненныя, произносили сужденія самыя рѣзкія. Но часто, съ наступленіемъ грознаго завтра, гости, при возвращеніи домой, находили ожидавшую ихъ тройку, которая отвозила «по назначенію». Случалось, что и хозяева были отправляемы туда же такъ скоро, что созданные ими съ утра гости не находили ихъ. Но эти внезапныя исчезновенія не удивляли и не смущали никого: всякій могъ ожидать на всякій часъ подобной же участи, а до того съ русской беззаботностію старался запастись веселіемъ. Но еще болѣе можетъ показаться невѣроятнымъ, что въ странѣ, подчиненной такимъ грознымъ порядкамъ, могли люди пользоваться замѣчательной свободой порицанія. Въ томъ ящикѣ, который былъ выставленъ въ одномъ изъ нижнихъ оконъ дворца для киданія просьбъ и жалобъ, государь нерѣдко встрѣчалъ карикатуры и пасквили на свою особу и — замѣчательная черта характера! — иногда онъ смѣялся, если находилъ ихъ остроумными, и всегда оставлялъ ихъ, всѣ безъ исключенія, безъ всякихъ послѣдствій для авторовъ. Извѣстенъ, между прочимъ, фактъ объ одномъ камергерѣ, который постоянно позволялъ себѣ говорить о Павлѣ Петровичѣ, еще въ бытность его наслѣдникомъ, самыя рѣзкія вещи, что, конечно, было не безызвѣстно его высочеству. Сдѣлавшись государемъ, Павелъ однажды во дворцѣ увидѣлъ своего давнишняго недруга, который старался

¹⁾ Д. Б. Мертваго, „Русск. Архивъ“ 1867 года, стр. 118.

²⁾ Н. В. Гречъ, „Русск. Архивъ“ 1873 года, стр. 697—699.

теперь всячески удаляться и прятаться за других, чтобы не попасться ему на глаза. Подойдя къ нему самымъ милостивымъ образомъ и взявъ его за руку, государь сказалъ: «Что вы такъ прячетесь, все отъ меня! Повѣрьте, милостивый государь, все то, что *великій князь* зналъ и слышалъ, онъ не скажетъ о томъ *императору*». Таково же точно было его отношеніе и къ пасквилямъ. Пламя камина, обыкновенно, тотчасъ же поглощало эти произведенія подпольныхъ авторовъ.

Придворные балы, торжества и празднества не поражали теперь такимъ ослѣпительнымъ блескомъ и баснословною пышностью, какъ въ предшествовавшее царствованіе, но всегда были оживленны и нерѣдко весьма оригинальны. Въ послѣднемъ отношеніи особенно выдѣлялось торжество наканунѣ Иванова дня, 23-го іюня. Оно учредилось съ тѣхъ поръ, какъ государь, въ январѣ 1797 года, заключилъ конвенцію съ «державнымъ орденомъ мальтійскимъ» объ установленіи этого ордена въ Россіи.

Св. Іоаннъ, какъ извѣстно, былъ почитаемъ въ качествѣ патрона мальтійскихъ рыцарей. Наканунѣ дня его праздника все «великое пріорство руссійское» собиралось въ одномъ изъ загородныхъ дворцовъ, преимущественно въ павловскомъ, и составляло орденскую думу, вело «протоколъ всѣмъ своимъ совѣтованіямъ» и «дѣлало о томъ въ Мальту потребныя сообщенія». Впослѣдствіи, когда императоръ Павелъ принималъ права и титулъ гротмейстера этого ордена, онъ назначилъ на островъ Мальту русскій гарнизонъ и особаго коменданта, а городъ Мальту повелѣлъ внести въ академическій календарь, «наравнѣ съ губернскими Россійской Имперіи городами». Наканунѣ мальтійскаго праздника, обыкновенно вечеромъ, всѣ наличныя войска были собираемы парадомъ вокругъ дворцовой площадки, а самый дворецъ занимали кавалергарды и лейбъ-эскадронъ конногвардейцевъ, которые размѣшались по покоямъ на проходѣ его величества. Къ назначенному часу всѣ находившіеся въ Петербургѣ кавалеры и командоры ордена св. Іоанна Іерусалимскаго собирались во дворецъ и открывали процессіонное шествіе по два въ рядъ. На нихъ тогда красовалось особое одѣяніе: алый орденскій супервестъ съ вышитымъ на груди изображеніемъ бѣлаго мальтійскаго креста. Въ замкѣ этой процессіи шелъ императоръ, въ сопровожденіи орденскаго оруженосца, Павла Ивановича Кутайсова и командира «кавалергардскаго корпуса», съ палашомъ на-голо. Вся процессія троекратно обходила около девяти островъ, разложенныхъ на площадкѣ, обрамленной войсками, послѣ чего императоръ и одинъ изъ высшихъ сановниковъ ордена бросали на костры пылающій факелъ и зажигали ихъ, а затѣмъ шествіе тѣмъ же порядкомъ, между горящими кострами, возвращалось во внутренне

дворцовые покои. Императрица съ женской половиной царской фамиліи, дамы высшаго круга и весь дворъ, обыкновенно, любовались на этотъ древній рыцарскій обрядъ изъ-подъ намета особой палатки, разбивавшейся поблизости.

Но болѣе всего бывало оживленно въ Гатчинѣ во время осеннихъ маневровъ. Здѣсь, въ этой колыбели Павловской арміи и флота, въ этомъ питомникѣ ихъ организаціи, учреждений, выправки и дисциплины—было любимѣйшее мѣстопробываніе императора во время осени. Петергофъ онъ еще любилъ и живалъ тамъ, среди освѣжающихъ фонтановъ, въ самую жаркую лѣтнюю пору, но Царскаго Села терпѣть не могъ и почти никогда въ него не заглядывалъ. Въ Гатчинѣ, еще при жизни императрицы Екатерины, благодаря постоянному пребыванію тамъ наслѣдника, образовалась какъ-бы совсѣмъ иная атмосфера, гдѣ всѣ пріѣзжающіе во дворецъ были принимаемы съ любезностью и радушіемъ; но вмѣсто непринужденности и легкой, веселой свободы, господствовавшей при большомъ дворѣ, здѣсь все было чинно, скромно, семейно и безшумно. Все здѣсь было устроено нѣсколько на прусскій ладъ, и именно по стариннымъ образцамъ прусскимъ: повсюду трехцвѣтные шлагбаумы на въѣздахъ и выѣздахъ изъ городка, повсюду часовые, которые, бывало, на прусскій манеръ окликаютъ проѣзжающихъ и стоятъ въ старинной формѣ временъ Фридриха-Вильгельма I. Тамъ былъ выстроенъ «форшадтъ»—совершенное подобіе маленькаго нѣмецкаго, очень чистенькаго городка; казармы, конюшни, гауптвахты и вообще всѣ казенныя строенія, — точь-въ-точь такія, какъ въ Пруссіи, что такъ нравилось Павлу Петровичу еще со времени его путешествія по Европѣ.

Здѣсь, въ уединеніи, онъ могъ свободно предаваться своимъ любимымъ занятіямъ: воинскимъ экзерциціямъ, составленію военныхъ проектовъ, реформъ, уставовъ, верховой ѣздѣ и чтенію научныхъ книгъ. Извѣстно, что онъ былъ однимъ изъ лучшихъ ѣздоковъ и наѣздниковъ своего времени, и еще съ ранняго возраста отличался въ каруселяхъ; онъ зналъ въ совершенствѣ языки: русскій, славянскій, французскій и нѣмецкій, владѣлъ достаточно хорошо итальянскимъ и латинскимъ, былъ хорошо знакомъ съ исторіей, географіей и математикой, говорилъ и писалъ весьма легко и свободно, и всегда отличалъ особымъ вниманіемъ людей остроумныхъ.

Гатчина уже и въ это время была прекраснымъ уголкомъ среди петербургскихъ окрестностей. Лучшимъ ея украшеніемъ служилъ дворецъ, или точнѣе замокъ, съ башнями и подземными ходами, построенный просторно и прочно изъ тесанаго мѣстнаго плитняка и окруженный каменной стѣнкой, рвами и земляными валами, на которыхъ и доселѣ еще стоятъ орудія того времени. Паркъ и тогда уже былъ тѣ-

нисть и очень обширенъ и изобиловалъ превосходными старыми дубами. Прозрачный потокъ и теперь, какъ тогда, вьется по парку и по садамъ, во многихъ мѣстахъ расширяясь въ обширные пруды, которые почти можно назвать озерами, и на которыхъ красовались въ полномъ боевомъ снаряженіи двѣ прекрасныя яхты. Вода въ этихъ прудахъ до того чиста и прозрачна, что можно считать камешки на глубинѣ двѣнадцати или пятнадцати футовъ, гдѣ плаваютъ большія форели и стерляди. Этотъ замокъ вполне удовлетворялъ романтическимъ, рыцарственнымъ наклонностямъ императора Павла.

Во время осеннихъ смотровъ, парадовъ и маневровъ здѣсь происходили большія увеселенія: концерты, балы, маскарады, фейерверки и спектакли, преимущественно французскіе, безпрерывно слѣдовали одни за другими. Казалось, что на эти немногіе, ясные осенніе дни всѣ удовольствія, всѣ развлечения Версаля и Санъ-Суси сосредоточивались въ Гатчинѣ. Но эти празднества часто помрачались строгостями всякаго рода, какъ напримѣръ арестомъ офицеровъ или мгновенною ссылкой ихъ въ отдаленныя полки. Государь часто бывалъ сердитъ и особенно вспыльчивъ; но замѣчательно, что изъ устъ его никогда, ни при какомъ случаѣ, не вырывалась грубая или обидная брань. Онъ и въ гнѣвѣ умѣлъ сохранять свои врожденные свойства присущей ему рыцарской вѣжливости. Случались также и несчастія, какія нерѣдко бывають на большихъ и горячихъ кавалерійскихъ маневрахъ, и эти случаи весьма раздражали императора; но онъ постоянно выказывалъ много человеколюбія и сердечной теплоты, если кто-либо изъ солдатъ или офицеровъ серьезно былъ раненъ.

ГЛАВА XX.

„Справа по-взводно, въ Сибирь на поселеніе“.

Осенніе маневры 1798 года отличались особеннымъ оживленіемъ. Весь дворецъ и высшій петербургскій свѣтъ переселились на это время въ Гатчину. Всѣ обывательскіе дома этого маленькаго городка были заняты временными постояльцами, которые за какую-нибудь небольшую комнату платили «неслыханно дорого» — отъ пяти и даже до десяти рублей въ двѣ недѣли. Войска, собранныя подъ Гатчиной, раздѣлялись на два отряда: однимъ командовалъ графъ Паленъ, другимъ — Михаилъ Илларионовичъ Голенищевъ-Кутузовъ. Великій князь Константинъ Павловичъ временно исполнялъ должность военнаго губернатора Гатчины. Утро обыкновенно проходило въ полѣ, воинственные клики, звуки барабановъ и громъ выстрѣловъ оглашали мирныя гатчинскія окрестности, а по

вечерамъ все общество собиралось въ залахъ обширнаго дворца наслаждаться звуками прекрасной музыки и изящной игрой французскихъ актеровъ. И воинскія экзерциціи, и придворныя увеселенія — все это шло прекрасно, стройно, удачно, и потому государь всѣ дни находился въ отличнѣйшемъ расположеніи духа. Рассказывали нѣсколько происшедшихъ за это время случаевъ, которые получили даже анекдотическое значеніе. Такъ, напримѣръ, говорили, что однажды, утромъ, дежурный адъютантъ, въ чинѣ поручика, рапортуетъ государю о состояніи одной воинской части, подавъ ему предвѣрительно писанную «рапортчику», гдѣ было проставлено число людей, наряженныхъ въ караулъ, на дежурство; больныхъ и арестованныхъ не было никого. Государь по этой запискѣ слѣдилъ за словеснымъ рапортомъ адъютанта, а тотъ рапортуя: «дежурныхъ столько-то, больныхъ столько-то», по развѣянности или по невольной привычкѣ, произноситъ: «подъ арестомъ», да вдругъ спохватился, что подъ арестомъ-то нѣтъ никого, и замолкъ, совершенно осякшись.

— Кто подъ арестомъ? — спросилъ императоръ.

Адъютантъ смутился еще болѣе, и молчитъ.

— Кто подъ арестомъ? — строго повысивъ голосъ, повторилъ его величество.

— Я, государь! — промолвилъ адъютантъ, преклоняя колѣно.

— Встань, капитанъ! — весело сказалъ императоръ, довольный находчивостью этого отвѣта.

Въ другой разъ, во время самаго маневра, его величество посылаетъ ординарца своего Рибопера, только-что произведеннаго въ корнеты конной гвардіи, съ какими-то приказаніями къ генералу Кологривову, который командовалъ кавалеріей. Рибоперъ, не вразумясь или не вслушавшись хорошенько, отъѣхалъ въ сторону и остановился въ крайне критическомъ положеніи, не зная, какъ ему теперь быть, и что дѣлать? И вдругъ онъ видитъ, что къ нему скачетъ самъ государь съ вопросомъ:

— Исполнилъ-ли повелѣніе?

— Ваше величество, я убить съ батареи по моей неосторожности, — почтительно доложилъ ординарецъ.

— Ступай за фронтъ! Впередъ наука! — довершилъ императоръ.

Эти анекдоты, бывшіе новостью дня, передавались изъ устъ въ уста и служили какъ бы мѣриломъ того прекраснаго расположенія духа, въ какомъ находился императоръ.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней, на разводѣ, данномъ отъ Преображенскаго полка, его величество, по званію баталіоннаго командира, въ итиблетахъ и пѣшкомъ парадировалъ во главѣ баталіона предъ императрицей, и ловко, искусно и легко салютовалъ вспонтомъ.

По окончаніи развода, окруженный всѣмъ

генералитетомъ, начальниками разныхъ частей и полковыми командирами, государь выразилъ имъ и велѣлъ передать войскамъ свое особое благоволеніе и удовольствіе по поводу образцоваго хода маневровъ и всѣхъ вообще воинскихъ занятій.

— Я знаю, господа,—прибавилъ онъ при этомъ,—я знаю, что образованіе войскъ по уставу было не всѣмъ пріятно: я ожидалъ осени, чтобы вы сами увидѣли, къ чему все клонилось; теперь вы видите плоды общихъ нашихъ трудовъ во славу и честь оружія россійскаго.

Однимъ словомъ, все предвѣщало милости и награды, начальство было необычайно довольно, какъ вдругъ одно обстоятельство помрачило общее настроеніе духа.

На слѣдующее утро послѣ этого счастливаго развода, лейбъ-гвардіи Конному полку назначено было липейное ученіе. Надо замѣтить, что государь отчасти имѣлъ предубѣжденіе противъ этого полка за его прежній духъ, и иногда, полусушута, полусерьезно называлъ конногвардейцевъ яковинцами.

— «Vous êtes jacobins»,—говаривалъ онъ полковнику Саблукову,—«par vous, mais le régiment»,—и таково было его постоянное убѣжденіе. Но на сей разъ его величество, будучи весьма доволенъ полкомъ, пожелалъ оказать ему особую честь и объявилъ, что завтра онъ самъ будетъ учить конногвардейцевъ.

На утро погода стала хотя и ясная, сухая, но съ ночи еще дулъ сильный и порывистый вѣтеръ, который ни на минуту не унимался.

Конногвардейцы вышли на учебный плацъ въ самомъ блистательномъ видѣ, облеченные въ свою полную парадную форму.

Они рассчитывали показаться государю истинными молодцами и поддерживать относительно себя его благоволеніе. Ряды открытыхъ экипажей, придворныя линейки, наполненные нарядными дамами и кавалерами, и множество публики наполняли окраины плаца—все это стекло съюда любоваться на ученіе самаго блестящаго полка русской кавалеріи. Графиня Елизавета и Нелидова тоже присутствовали между фрейлинами. Окончивъ обычный разводъ, государь около девяти часовъ утра прибылъ верхомъ на плацъ-парадное мѣсто и принялъ полкъ въ свое командованіе. Чтобы показать полку особое свое вниманіе, онъ нарочно одѣлся въ конногвардейскую форму.

Встрѣченный трубными звуками и салютомъ преклонившихся штандартовъ, его величество, въ сопровожденіи блестящей свиты, поскакалъ вдоль фронта, привѣтливо здороваясь съ эскадронами. Затѣмъ свита отъѣхала далеко въ сторону, и государь, оставшись одинъ предъ полкомъ, началъ ученіе. Сначала дѣло шло прекрасно. Началось съ «перемѣны фронта назадъ». Для этого подана была его величествомъ команда: *«Перемѣна фронта и фланговъ. Весь*

полкъ по четыре, направо рысью марши!» Эскадроны отчетливо заѣхали отдѣленіями направо. Предстояла одна изъ самыхъ эффектныхъ и красивыхъ кавалерійскихъ эволюцій того времени, но зато же она была и самой трудной, самой головоломной и опасной.

— *«Стой, равняйся!»*—скомандовано было тотчасъ же послѣ заѣзда.—*«Укороти поводья! Съ мѣста, марши-марши!»*

И вслѣдъ за этимъ словомъ первое отдѣленіе перваго эскадрона сразу и круто поворотило лѣвое плечо впередъ кругомъ и во весь карьеръ помчалось почти по той же линіи фронта, которую занималъ полкъ до команды. Всѣ остальные отдѣленія полка тѣмъ же аллюромъ слѣдовали на хвостъ за первымъ. Такимъ образомъ, одна половина полка мчалась въ глубокой колоннѣ на встрѣчу другой почти локоть къ локтю встрѣчнаго всадника. Лошади въ нашей кавалеріи того времени вообще были не достаточно выѣзжены, и на такихъ-то лошадахъ приходилось продѣлывать подобную молодецкую штуку! При этомъ нерѣдко случалось, что онѣ заносили, и всадники не всегда могли съ ними справиться: кони сталкивались, люди ошибались другъ съ другомъ, отчего выходили и несчастные случаи. Но на сей разъ Богъ помыловалъ: эволюція была исполнена не только вполне благополучно, но и блистательно, по своей эффектной стройности. Вся вереница громадныхъ всадниковъ мчалась до той минуты, пока не помѣнялась флангами, т. е., пока правый флангъ не очутился на мѣстѣ лѣваго, а лѣвый на мѣстѣ праваго.

Тогда раздалась команда: *«Стой! Во фронтъ, марши! Стой, равняйся!»*—и мчащаяся вереница на мѣстѣ осадилась коней и по отдѣленіямъ сдѣлала заѣздъ во фронтъ, т. е., задомъ къ прежней линіи фронта.

— Хорошо, ребята!—послышался довольный голосъ государя.

Весь полкъ, какъ одинъ человѣкъ, отгранулъ молодецки: «рады стараться!»

Но затѣмъ ученіе пошло уже менѣе удачно. Неистовые и шумные порывы вѣтра относили порой не только слова команды, но даже и трубный звукъ сигнала дѣлали неяснымъ, особенно если онъ подавался издали. Дивизионерамъ и эскадроннымъ командирамъ изъ-за этого вѣтра приходилось иногда командовать и дѣлать построенія чисто наугадъ, по вдохновенію или по соображенію съ какимъ-нибудь однимъ словомъ, которое случайно долетало къ нимъ изъ цѣлой командной фразы. Понятно, что при этомъ нерѣдко исполнялось вовсе не то, что командовалось, а порою происходила даже и путаница во фронтѣ. Императоръ, видимо, начиналъ досадовать и сердиться.

Новый уставъ, выработанный подъ сильнымъ и непосредственнымъ влияніемъ Аракчеева, внесъ во фронтъ буквальную и строгую точность

каждый приемъ исполнялся не иначе, какъ по темпамъ; каждому движенію, да и вообще всему была положена строго и опредѣленно очерченная рамка, выходитъ изъ предѣловъ которой не осмѣливались даже генераль-фельдмаршалы. Уставъ предписывалъ всѣмъ, начиная отъ фельдмаршала и кончая рядовымъ, «все то, что должно имъ дѣлать», и не допускалъ ни малѣйшихъ отступленій отъ своихъ формулъ; подчиняя своей буквѣ всѣхъ и каждого и требуя только безусловно-точного, такъ сказать, автоматическаго исполненія.

Конногвардейцамъ приходилось жутко; они видятъ, что путаются, чувствуютъ что государь, глядя на нихъ, долженъ быть гнѣвенъ, вѣтеръ межъ-тѣмъ такъ и свиститъ, такъ и бьетъ на просторѣ.

— «Господа офицеры, къ атакѣ!» — командуетъ императоръ. — «Весь полкъ рысью впередъ—маршъ!»

И вслѣдъ за этимъ повернулся и поѣхалъ рысью. Отъѣхавъ шаговъ шестьдесятъ, онъ крикнулъ: «Маршъ-маршъ!» далъ шпоры и пустилъ коня полнымъ карьеромъ.

— «Стой, равняйся» — раздалась его команда, въ виду всей публики, почти на самомъ краю плаца. Осадивъ коня, онъ повернулся назадъ, — и что же?.. Развернутый полкъ видѣется вдали — и ни съ мѣста! Какъ стоялъ, такъ и стоялъ, словно вкопанный.

Государь сильно натянулъ поводъ, закусилъ губы, плашмя и свободно опустилъ внизъ плашъ и сдержаннымъ тротомъ отъѣхалъ на ближайшую дистанцію къ полку, на то мѣсто, съ котораго обыкновенно пропускалъ полки мимо себя церемоніальнымъ маршемъ. Свита, предполагая, что линейное ученіе кончено и сейчасъ начнется церемоніальн., спѣшно приблизилась къ государю и стала позади его красиво-пестрой свободной группой.

— «Полкъ, слушай-ай!» — отчетливо, размѣренно и громко раздалась его команда. — «По церемоніальному маршу!.. Справа по-взводно... въ Сибирь... на поселеніе... шагомъ... маршъ!.. Господа офицеры!»

И вотъ, лейбъ-гвардіи Конный полкъ, по знаку его палаша плавно тронулся съ мѣста. Впереди всѣхъ на росломъ пѣгомъ конѣ красиво и горячо выступалъ полковой адъютантъ, за нимъ ѣхалъ залитый въ золото литавщикъ со своимъ богатоизукрашеннымъ инструментомъ, далѣе два трубача, за ними полковой командиръ, потомъ командиръ лейбъ-эскадрона, имѣя позади себя двухъ младшихъ корнетовъ, а затѣмъ, уже по порядку своихъ пумеровъ, красиво слѣдовали стройные взводы. Предъ каждымъ на ретивомъ конѣ въ лансадахъ ѣхалъ взводный офицеръ и салютовалъ палашемъ, парадировавъ мимо императора. Трубачи протрубили «походъ», или, какъ называлось тогда, «фанфаръ», — и вслѣдъ за ними полковой хоръ грянулъ «маршъ лейбъ-

гвардіи Коннаго полка» на своихъ валторнахъ, тромбонахъ, флейтахъ и гобояхъ.

Это была минута необычайнаго эффекта. Въ отвѣтъ на салютъ каждого взводнаго командира, императоръ прикладывался къ полю своей треугольной шляпы. Блѣдныя лица безмолвной свиты выражали испугъ, безпокойство, недоумѣніе... Всѣ свитскіе очень ясно слышали роковую команду императора; у многихъ изъ нихъ въ строю этого самаго полка были внуки, сыновья, братья, племянники, друзья и пріятели... Надо отдать справедливость конногвардейцамъ: они прекрасно, спокойно, съ великолѣпнымъ эффектомъ уходили церемоніальнымъ маршемъ въ свою неожиданную сибирскую ссылку.

Публика на окраинахъ плаца еще не знала въ чемъ дѣло и съ удовольствіемъ любовалась на красивый шагъ конногвардейцевъ.

Пропустивъ мимо себя послѣдній взводъ и не проронивъ ни единого слова, императоръ угромо съѣхалъ съ плаца въ одну изъ аллей и направился домой. Свита, пораженная чуть не паническимъ страхомъ, въ глубочайшей тишинѣ слѣдовала за нимъ шагомъ.

Дежурный фельдъегерь, гремя и пыля своей взмыленной тройкой, нагналъ на дорогѣ Конногвардейскій полкъ и подаль пакетъ командиру. Тотъ, не останавливая церемоніальнаго марша, вскрылъ конвертъ, между страхомъ и радостью, надѣясь, что эта бумага несетъ прошеніе съ приказаніемъ возвратиться въ казармы, но вмѣсто того помутившимся взоромъ прочелъ онъ маршрутъ, которымъ опредѣлилось слѣдованіе до Новгорода, съ поясненіемъ, что дальнѣйшій маршрутъ до Сибири будетъ ему высланъ своевременно. «Идти весь путь неукоснительно церемоніальнымъ маршемъ», прибавляла инструкция въ заключеніе.

— Будетъ исполнено въ самой точности, — промолвилъ командиръ, приложивъ руку къ шляпѣ, — и фельдъегерь тою же дорогой помчался обратно.

Первый ночлегъ полку назначенъ былъ въ Тоснѣ, — ямской слободѣ на большой московской дорогѣ.

XXI.

„Налѣво-кругомъ“.

На другой день послѣ этого происшествія, въ предобѣденное время, графиня Елизавета Ильинишна сидѣла въ комнатѣ Екатерины Ивановны Нелидовой, обсуждая съ нею, въ какомъ нарядѣ слѣдуетъ быть на нынѣшнемъ интимномъ вечерѣ, который предполагался въ гатчинскомъ дворцѣ, на половинѣ императрицы, для небольшого, самаго отборнаго общества.

Въ это время вошелъ ливрейный камеръ-лакей и подаль Лизѣ письмо на серебряномъ

подносъ. Сургучъ на конвертѣ былъ самаго сквернаго достоинства и, вмѣсто печати, при-
тиснутъ мѣдной копѣйкой.

— Прислано съ нарочнымъ, — пояснилъ ла-
кей откланиваясь.

Недоумѣвая, откуда-бы могло быть это по-
сланіе, Лиза сломала печать и равнодушно при-
нялась за чтеніе. Но чѣмъ болѣе она углубля-
лась въ письмо, тѣмъ все тревожило и взвол-
нованнѣ становилось выраженіе ея красиваго
личика.

«Пишу къ вамъ ночью, съ яма Тосны, чи-
тала она,—съ сего перваго нашего этапа въ
отдаленное сибирское странствіе. Могъ-ли я
еще нынѣ утромъ считать на такой исходъ дня,
прекрасно начавшагося!.. Вы, конечно, уже
извѣстны о той злополучной судьбинѣ, коя по-
стигла нашъ полкъ, а въ томъ числѣ и меня,
на ученія сего утра. Все дѣло въ одномъ вели-
комъ недоразумѣніи. Могъ-ли кто либо, не токма
уже дѣльный полкъ, дерзнуть и въ помыслѣніи,
чтобы сознательно учинить что-либо супротив-
ное волѣ его величества! Тѣмъ не менѣе, мы всѣ
несемъ кару за ослушаніе команды, которой
вовсе не слышали. Противный несносный
вѣтеръ, совершенно откосилъ въ иную сторону
слова команды. Мы видѣли, какъ его величе-
ство поѣхалъ рысью съ пункта, достаточно отъ
насъ отдаленнаго, видѣли, какъ помчался онъ
карьеромъ, но не дерзнули учинить того-же во-
слѣдъ за нимъ, опасаясь преступить наисто-
жайшее требованіе устава, не допускающее ни
малѣйшаго движенія во фронтъ, помимо команды
ближайшихъ начальниковъ. Ни я, ни кто-
либо иной изъ насъ не осмѣлились взять
сего движенія впередъ на свой рискъ,
хотя и чаятельно было, что означаетъ оное
вѣроятную атаку. Но такъ какъ мы и
безъ того достаточно въ сіе ученіе по-
грѣшили, то и не желали новою погрѣшностію
отыгчить свои невольныя вины, а потому и оста-
лись на мѣстѣ въ неподвижности. Но какъ-бы
то ни было, теперь уже дѣло это конченное и
непоправимое. Мы идемъ въ Сибирь, чтобы въ
ея хладныхъ степяхъ скончать всю нашу даль-
нѣйшую служебную карьеру. О выходѣ въ от-
ставку не можетъ быть и помысленія, такъ какъ
идемъ мы не своей охотой, а въ послѣдствіе
грозной опалы его величества, и потому должны
служить, гдѣ укажетъ его высочайшая воля, до-
колѣ самъ онъ не предложитъ гнѣвъ свой на ми-
лость. Мы, однако, пока и въ самомъ мечтаніи
не считаемъ на пощаду. Знаемъ только одно,
что куда бы ни кинула насъ суровая судьба, мы
всѣ до единого пребудемъ до конца въ непоколе-
бимой вѣрности и преданности государю и оте-
честву. Таково наше всеобщее убѣжденіе. Но
довольно о сей матеріи. Простите великодушно,
что дерзаю утомлять вниманіе ваше столь длин-
нымъ посланіемъ, но смотрите на меня теперь
какъ на человѣка не отъ міра сего и какъ-бы

на умершаго. Уповательно, что въ сей жизни
мы съ вами никогда болѣе не встрѣтимся, а по-
тому примите снисходительно и благосклонно
сію первую и послѣднюю мою исповѣдь. Среди
свѣтскихъ утѣхъ и разсѣяній, среди блиста-
тельныхъ поклонниковъ вашихъ, вы, графиня,
едва-ли даже и примѣчали то глубокое нѣжное
чувство, которое молча питалъ я къ вашей осо-
бѣ. Теперь, отходя на вѣчную разлуку, можно
сказать по чести и прямо о томъ, чего никогда
не дерзалъ я выразить вамъ въ лицо. Причиной
сему опять-же сіе самое мое чувствованіе, кото-
рое я чтить и дѣлалъ слишкомъ свято въ сво-
ей душѣ, чтобы осмѣлиться выказать его нару-
жу... Меня удерживало сумнѣніе, какъ вы его
примете. Теперь —дѣло явное, и, кончая сіи
строки, я прошу васъ вѣрить, что тамъ, гдѣ-то
въ глубинѣ снѣговъ сибирскихъ, всегда будетъ
биться для васъ преданное сердце, которое до
послѣдняго своего содроганія не перестанетъ
благословляно чтить вашъ образъ. Прощайте
навсегда. Василій Череповъ».

Когда Лиза читала послѣднія строки, лицо
ея сдѣлалось блѣдно и на глазахъ показались
крупныя слезы. Въ словахъ Черепова заклю-
чалось для нея открытіе такой тайны, о которой
она и не подозрѣвала доселѣ, и это открытіе
было ей пріятно, сладко, утѣшительно. Почему?
Она и сама не могла бы дать себѣ въ томъ от-
чета; но перечитавъ еще разъ эти строки, по-
чувствовала на сердцѣ какую-то удовлетворен-
ность, нѣчто теплое и хорошее, и благодарное.
Это чувство казалось ей похожимъ на то, какъ
будто она, среди роскошнаго, но чужестран-
наго города, въ которомъ все такъ шумно, пе-
стро и весело, гдѣ ей самой тоже весело, но гдѣ
она никого не знаетъ и среди чуждой толпы со-
знаетъ себя совершенно одинокой, вдругъ не-
жданно и негаданно повстрѣчалась съ добрымъ,
старымъ знакомымъ, съ которымъ вотъ именно
теперь, въ эту самую минуту, и нужно было
встрѣтиться, съ которымъ именно въ эту-то ми-
нуту такъ и влечетъ подѣлиться всей своей
душой... Но увы!—этотъ «старый знакомый»,
въ дѣйствительности, уходитъ теперь далече, на
темную, безвѣстную и суровую жизнь, и уже
никогда, никогда болѣе не доведется съ нимъ
встрѣтиться.

Вотъ какое смѣшанное чувство вызвало эти
невольныя слезы.

Нелидова все время, пока Лиза читала пись-
мо, внимательно взглядывала на нее изъ-за
своего тамбурнаго вышиванья и, съ чисто жен-
скимъ любопытствомъ уловляя всѣ измѣнчивыя
оттѣнки въ выраженіи ея лица, старалась по
нимъ разгадать какъ содержаніе письма, такъ
и чувства, волновавшія Лизу.

— Другъ мой! Что это?.. Нпкакъ вы пла-
чете?—съ полускупомъ и участіемъ воскликну-
ла она, замѣтя Лизины слезы.—Зачѣмъ? От-
чего?.. Скажите, Бога ради! Неужели это пись-

мо причиной?.. Если такъ, то какое же оно противное!

— Да, это письмо причиной,—подтвердила Лиза,—но оно не противное,—нѣтъ! Оно слабое, доброе, хорошее письмо!.. Господи! Какъ бы помочь этому горю!

— Но, моя милая... въ чемъ дѣло, если это не нескромно?

— Читайте сами.

И Лиза подала ей письмо, которое Екатерина Ивановна стала читать съ полнымъ и серьезнымъ вниманіемъ.

— Вѣдныя! несчастныя!—воскликнула она со свойственной ей живостью и воспримчивостью, окончивъ чтеніе и, словно ртуть, выкакивая съ мѣста и принимаясь быстро ходить по комнатѣ. — За что это они такъ терпятъ!.. Надо сегодня же сказать государю!.. Я беру это на себя... Вѣдь вы, конечно, не будете противъ?

— О! нѣтъ... Спасите, если возможно!.. кинулась въ объятія къ ней Лиза.

— Милая!.. А вы любите?.. Да?.. да? Любите его? — говорила Нелидова, цѣлуя ея голову.

— Я?—въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ подняла на нее Лиза свои взоры.—Я... право не знаю... мнѣ доселѣ какъ-то ни разу не думалось объ этомъ... Но онъ такой добрый, славный, честный... Я только теперь это поняла. Спасите его, дорогая моя!.. Спасите!.. Вы одна только это можете!

Въ эту самую минуту въ смежной комнатѣ послышались быстрые и твердые, хорошо знакомые имъ обѣимъ шаги. Нелидова вздрогнула, закусивъ губу и, какъ бы остерегая Лизу, быстро и крѣпко схватила ее за руку.

Въ этотъ мигъ распахнулась тяжелая портьера, и на порогѣ появился императоръ. Онъ мгновенно захватилъ обѣихъ дѣвушекъ въ ихъ обнявшейся позѣ, съ ихъ одушевленнымъ выраженіемъ лицъ, и съ этими слезами Лизы. Письмо было еще въ рукѣ Екатерины Ивановны.

— Само небо посылаетъ васъ!—воскликнула она, бросаясь къ нему на встрѣчу.

— Что такое?—Въ чемъ дѣло?—весело спросилъ государь, вздернувъ нѣсколько кверху свою голову, что было его привычнымъ движеніемъ, въ которомъ выражалось такъ много царственного, повелительнаго и великодушнаго.

— Дѣло, государь, не сложно. Читайте, и вы все узнаете.

И съ этимъ словомъ она подала императору письмо Черепова.

— Это писано къ вамъ?—спросилъ ее Павелъ Петровичъ.

— Къ ней, ваше величество,—указала Нелидова на смущенную Лизу, у которой на рѣсницахъ все еще сверкали красивыя слезы.

— Что вижу?.. вы плачете?—обратился къ ней императоръ.

— Читайте, государь, читайте! — перебила Нелидова.

— Вы позволяете?—спросилъ онъ графиню Елизавету.

— Прошу о томъ ваше величество, — отвѣтила та съ глубоко почтительнымъ поклономъ.

Императоръ сталъ читать и съ первыхъ же строкъ сосредоточенно отдалъ письму все свое вниманіе.

При всей измѣнчивости своего нрава, въ первую половину царствованія онъ охотно подчинялся нравственному вліянію Нелидовой. Лица, занимавшія въ это время главные мѣста, принадлежали по большей части къ прежнимъ гатчинскимъ собесѣдникамъ государя: это были друзья или родственники Екатерины Ивановны. Двое братьевъ Куракиныхъ, графъ Буксгевденъ, Нелидовъ, Плещеевъ находились между собой въ тѣсной связи и составляли при дворѣ особый тѣсный кружокъ, центромъ котораго была Нелидова. Всѣ ее уважали за ея образованный, своеобразный, симпатично-веселый и колкій умъ, и не могли не плѣняться ея бесѣдою, когда она чувствовала себя въ добромъ расположеніи духа. Правда, подчасъ капризный характеръ ея становился несносенъ, выражаясь въ ворчливости и въ требовательности по отношенію къ близкимъ ей людямъ; но все это легко прощалось и забывалось ей за ея теплое сердце, чуткое и отзывчивое ко всему доброму и хорошему. Вліяніе ея простиралось далеко, и справедливость требуетъ замѣтить, что она пользовалась имъ во благо императора и не разъ спасала невинныхъ людей отъ его гнѣва, причемъ ее никогда не удерживало эгоистическое опасеніе прогнѣвить своего царственного друга. Ей нерѣдко удавалось отклонять нѣкоторые рѣзкія мѣры и распоряженія государя и, между прочимъ, если военный орденъ св. Георгія Побѣдоносца не былъ уничтоженъ, то этимъ обязаны Нелидовой, которая настойчиво и горячо убѣдила императора не исполнять задуманнаго имъ рѣшенія. Словомъ, въ первую половину царствованія Павла она была предметомъ его рыцарскаго почитанія и первымъ лицомъ при дворѣ. Всѣ восхищались ея умѣньемъ танцовать, прелестью и миловидною граціею всѣхъ ея движеній, блескомъ и живостью ея остроумія. Она любила зеленый цвѣтъ—и въ угоду ей придворные тѣвчіе получили новые зеленые кафтаны. Она одна говорила государю что ей вздумается, а иногда даже и отказывалась говорить съ нимъ. Всецѣло принадлежа двору, Екатерина Ивановна находилась въ самой тѣсной близости ко всему императорскому семейству. Она всю свою жизнь была лучшимъ другомъ императрицы Маріи Теодоровны. Отъ нея, конечно, зависѣло бы воспользоваться своимъ положеніемъ, извлечь для себя и для своихъ близкихъ всякія прибыли, какъ и дѣлали многіе до нея и послѣ нея; но она отличалась образцовымъ безкорыстіемъ, и ей слу-

чалось многократно отвергать или умалять щедря милости, которыми стремился награждать ее императоръ.

Окончивъ чтеніе, государь поднялъ свѣтлое лицо на Нелидову.

— Я былъ неправъ,—сказалъ онъ—и отъ всего сердца благодарствую вамъ, что подали мнѣ возможность узнать истину и не допустили совершиться несправедливости. Если простому смертному не довлѣетъ быть несправедливымъ, то колыма-паче государю.

И взявъ со стола бронзовый колокольчикъ, онъ позвонилъ громко и нетерпѣливо.

Тотчасъ же вошелъ дежурный флигель-адъютантъ, дожидавшійся въ корридорѣ.

— Въ сію же минуту дать съ фельдъегеремъ приказаніе Конному полку «налѣво кругомъ!» Возвратиться обратно!—сказалъ государь—и адъютантъ исчезъ, полетѣвъ исполнять высочайшее повелѣніе.

— А молодой-то человѣкъ, какъ видно, любить васъ не на шутку, сударыня?—весело замѣтилъ императоръ, возвращая Лизѣ письмо Черепова.

— Я только-что узнала про то,—смущенно пролепетала дѣвушка.

— Будтоли такъ?.. Иможно-ль тому стать?!

— Увѣрю васъ, государь...

— Хм... Такъ не знали?.. Ну, а я зналъ... Вотъ видите ли, раньше васъ зналъ и давно уже знаю объ этомъ.

Лиза съ выраженіемъ вопроса и удивленія подняла-было на него взоры, но государь, груто повернувшись на каблукъ, выходилъ уже изъ комнаты.

XXII.

Изъ-за тупел.

Первая встрѣча графини Елизаветы съ Череповымъ послѣ его письма прошла какъ-то вовсе не такъ, какъ предполагалъ и мечталъ о ней каждый изъ нихъ заранѣе. Оба они были не то что сконфужены, но имъ вдругъ стало нѣсколько неловко, и они ушли вглубь себя и далеко не высказали другъ другу того что хотѣлось бы высказать. вмѣсто пламеннаго, сильнаго слова, разговоръ между ними вообще не клеился, вертѣлся около самыхъ обыкновенныхъ и вовсе для нихъ постороннихъ темъ, и оба они, какъ бы боясь вывести его на настоящую и столь желаемую каждому дорогу, усиленно старались поддерживать его именно на этихъ постороннихъ темахъ. Все, что заранѣе было такъ стройно и хорошо обдуманно, вдругъ улетучилось, испарилось изъ мысли и памяти, показалось вовсе нектати, вовсе ненужнымъ, неумѣстнымъ; о письмѣ ни съ той, ни съ другой стороны не было сказано ни слова, ни намекъ, какъ будто за эти дни вовсе не произошло ни-

чего особеннаго ни въ судьбѣ Черепова, ни въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, и такимъ образомъ эта первая встрѣча прошла самымъ обыкновеннымъ образомъ и, сравнительно съ ихъ прежними встрѣчами, даже суше, чѣмъ обыкновенно. Но не то было въ душѣ графини Елизавета чувствовала, что Череповъ сталъ не чужой ей сердцу, и почувствовала это еще живѣе и какъ бы осязательнѣе именно въ ту минуту, когда онъ удалился послѣ этой первой встрѣчи и когда не сказалося ему того, что хотѣлось и задумано было высказать. Они продолжали встрѣчаться въ свѣтѣ, но оба боялись и, скорѣе, избѣгали, чѣмъ искали встрѣчъ между собою. Въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ оставалось что-то незавершенное, недосказанное, и оба они чувствовали, что стоить только сдѣлать первый приступъ, сказать всего лишь одно запытное слово, именно то слово, которое *нужно* сказать—и все выскажется, все довершится, все станетъ ясно и хорошо между ними, но это-то слово и не выговаривалось...

Такъ прошла и осень, и зима, и наступилъ мартъ мѣсяцъ 1799 года.

Блестящія побѣды молодого генерала Бонапарте на поляхъ Италіи въ 1796 году и Кампоформійскій миръ, заключенный въ октябрѣ слѣдующаго года, сдѣлали Францію грозой для ее сосѣдей и дали ей рѣшительный перевѣсъ на западѣ Европы. Французское правительство, увлеченное успѣхами своей арміи, перестало полагать всякіе предѣлы своимъ политическимъ притязаніямъ, и потому-то насильственные мѣры, принятые директоріею, побудили нѣсколько державъ образовать вторичную коалицію противъ французской республики. Въ этой коалиціи приняли участіе: Англія, постоянно враждовавшая съ Франціей; Россія, ругавшаяся по Тешинскому трактату за самостоятельность Германіи; Австрія, вполне убѣжденная въ безуспѣшности Раштадтскихъ переговоровъ; Турція, оскорбленная самовольнымъ захватомъ Египта; короли неаполитанскій и сардинскій, угрожаемые со стороны Франціи потерю своихъ владѣній и, наконецъ, нѣкоторые изъ германскихъ владѣтельныхъ князей, сопредѣльныхъ французской республикѣ. Въ 1799 году со стороны союзныхъ государствъ предположено было напрячь всѣ усилія противъ господства безпкойной директоріи. Значительныя арміи направлены были къ Германію и Италію, и въ то же время Австрія, вмѣстѣ съ Англіей, обратилась къ императору Павлу съ просьбой о врученіи командованія союзными войсками въ Италіи полководцу, никогда еще не бывшему побѣжденнымъ—Суворову.

Геніальный старикъ, по смерти императрицы Екатерины, почувствовалъ перемѣну въ началахъ армейскаго военного быта, не сошелся съ нововводителями во взглядахъ на требованія

новаго воинскаго устава, и подвергнутый опалѣ, удаленъ въ свое село Кончанское. Здѣсь, играя съ деревенскими мальчишками въ бабки, зводя на колокольнѣ и читая въ церкви Апостолъ, онъ въ то же время внимательно слѣдилъ за ходомъ войны, бывшей слѣдствіемъ французской революціи; составлялъ, для собственнаго удовольствія, планы кампаній противъ французовъ и, бодрый духомъ, хотя убѣжденный почтенными слѣдинами, томился въ бездѣйствіи. Императоръ вызвалъ его въ Петербургъ и принялъ съ особеннымъ почетомъ и милостію. Во всей столицѣ только и разговора было что о Суворовѣ. Имя его перелетало изъ устъ въ уста, повторялось и въ богатыхъ гостиницахъ, и въ убогихъ подвалахъ, и на всѣхъ перекресткахъ; что ни день, то новый анекдотъ распространился о Суворовѣ; имъ восторгались, его дѣлили, на него возлагали всѣ надежды, — это былъ герой дни, на котораго съ гордостью смотрѣла вся Россія. Одушевленіе въ обществѣ сдѣлалось необычайное: молодыя силы бурлили, искали исхода и порывались къ войнѣ съ врагами цѣлой Европы. Хотя намъ собственно мало было дѣла до Франціи и насъ она ни въ чемъ не касалась непосредственно, но въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ были еще сильны и живучи нѣкоторые принципы и основы, и потрясеніе ихъ въ Европѣ отзывалось негодованіемъ въ русскихъ городахъ и усадьбахъ. Притомъ же, общество это не утратило еще живыхъ воспоминаній о грозномъ блескѣ и громкой славѣ русскаго имени при Екатеринѣ. Долгъ, честь, слава и доблесть не были еще для него пустыми звуками, и меркантильные интересы личнаго эгоизма не смѣли беззащитничиво возвышать свой мѣщански-либеральный голосъ тамъ, гдѣ дѣло шло объ обществѣ государственномъ величіи. Въ этомъ обществѣ, при всѣхъ его грубыхъ недостаткахъ, была еще та особенная закваска, которая порой исполняла его безкорыстными порывами широкаго великодушія и готовностію на многія жертвы. Наши дѣды, вообще, были сильные люди.

На площадкѣ предъ дворцомъ выстроился развернутымъ фронтомъ гвардейскій баталіонъ со знаменемъ и нѣсколько взводовъ иныхъ частей войскъ, назначенныхъ къ заступленію карауловъ. Въ ожиданіи развода, генералитетъ и офицерство, не участвующее въ строю, толпились большими пестрыми группами около главнаго подъѣзда. Война, французы и Суворовъ были почти исключительной темой всѣхъ разговоровъ, разспросовъ и сообщеній между офицерствомъ.

— Господину подполковнику имѣю честь кланяться! — подошелъ къ Черепову Поплюевъ.

— Ба! господинъ прапорщикъ!..

— Подпоручикъ-съ, — поправилъ Прохоръ.

— Какъ? уже?! Простите на моей оплошности, не примѣтилъ сразу.

— Н-да-съ, уже! Иные сверстники, гляди, въ капитаны метнули, а мы своимъ ходомъ только до сего ранга подвинулись.

— Что-жъ такъ медленно?

— Линія-съ... Ну, и притомъ же, признаться сказать, по несправедливости однажды обойденъ былъ представленіемъ къ чину. Незадача мнѣ...

— Давно-ли въ Питерѣ?

— Только четвертаго дня въ двадцати-осьмидневный отпускъ прибылъ, съ высочайшаго разрѣшенія; да вотъ все, до сего утра, со своими старыми измайловцами путался, а то бы непременно къ вамъ заѣхалъ респектъ отдать.

Къ Черепову подошли и поздоровались еще два-три знакомыхъ измайловца.

— А нашъ-то Прошка, каковъ? а? — кивнулъ одинъ изъ нихъ на Поплюева. — Какъ вы думаете, зачѣмъ въ столицу изволилъ пожаловать?

— Пожуривать, конечно.

— Какое! Ищетъ перевода въ дѣйствующую армію.

— Вотъ какъ! — слегка удивился Череповъ.

— А почему-жъ бы нѣтъ? — вступился за себя Прохоръ. — Я ужъ давно въ себѣ мечтаніе питалъ такое, а время теперь самое подходящее. Чинъ на мнѣ скромнехонькій, обиды мною ничьей шеѣ быть не можетъ, ну, а война авось-либо и вывезетъ... Я ужъ думалъ-было абшидѣ брать въ чистую, да мундира по офицерскому рангу пока еще не выслужилъ, а безъ мундира что за абшидѣ!.. Это ужъ не токма-что предъ своимъ братомъ, дворяниномъ, но и предъ подлаго класса людьми довольно въ стыдъ мнѣ будетъ.

— А куда вашъ знаменитый майоръ дѣвался? — спросилъ Череповъ, невольно какъ-то вспомнивъ при этомъ полдѣевскую Усладушку и инспекторскій смотръ отца архимандрита.

— Майоръ-то? — переспросилъ Прохоръ, — да куда-жъ ему дѣваться! Все у меня же на хлѣбахъ живетъ, при вѣрной ему командѣ.

— А вы не распустили ее?

— Помилуйте, зачѣмъ распускать! Аль хлѣба у меня не хватаетъ? Пусть живутъ-себѣ съ Богомъ!

— А знаешь, братъ, что? — шутя обратился къ Поплюеву одинъ изъ его измайловскихъ пріятелей. — Ты бы вѣсто себѣ-то майора на войну послалъ.

— Зачѣмъ такъ?

— Да понадежныѣ будетъ.

— То-есть, въ какомъ разумѣ надлежитъ понимать сіе? — слегка подфыркнулъ, задѣтый заживое, Прохоръ.

— Да весьма просто. Во-первыхъ, для чего тебѣ твой благородный лобъ подъ пули подставлять, а во-вторыхъ, вѣдь и струсишь-то, пожалуй, француза...

— Кто?.. Я?—подпрыгнул Поплюевъ.

— Ты, сударь.

— Я?.. Француза?.. Государь мой, вы меня плохо разумеете! Не токма-что француза, — а, коли захочу, то и самого чорта не струшу.

— Заѣмъ чорта! До чорта далеко, — продолжалъ подтрунивать пріятель, — а вотъ и сего почтеннаго старца, — кивнулъ онъ на стоявшаго впереди пузатенькаго генералика, — стоитъ лишь оглянуться ему на тебя, такъ и того-то струсишь.

— На какихъ резонахъ изволишь полагать обо мнѣ таковое?—все болѣе и болѣе подфыркивалъ Прохоръ. — Я, коли захочу, то и доказать могу, что не струшу.

— Ну, и докажи.

— И докажу!

— Поди и дерни его за тупей, тогда повѣрю.

— За косицу-то?.. Его?.. Вотъ еще! Стоять труда! Нашелъ доказательство!

— Да ужъ какво ни есть, а не дернешь.

— Анъ дерну!

— Анъ врешь!

— Я?.. Не дразни, братъ, лучше! Эй, не дразни!.. Меня стоитъ только раздражить, такъ я бѣдовый!

— Бѣдовый-то бѣдовый, а за косицу все-таки не дернешь.

— Да не токма-что старца, а... понимаешь ли, кого?.. И то дерну!

— Ну, братъ Прошка, никакъ ты во хмѣлю!.. засмѣялись пріятель. — Много-ли *чефрасу* хватилъ сегодня? Съ утра уже благословился. Закуси-ка лучше гвоздичкой, а то духъ будетъ.

— Гвоздичкой-то я закушу, а дернуть все-таки дерну, коли мнѣ такое расположеніе блеснетъ.

— Паря, что не дернешь! — продолжалъ потѣшавшійся пріятель.

— Идетъ! — расхорохорился Поплюевъ, — идетъ, коли на то пошло! На что угодно?

— Да что тебя много разорять-то! На десятокъ устеровъ у Юге, съ аглицкимъ пивомъ. Вотъ я на твой счетъ и позавтракаю. Господа, будьте свидѣтелями, — разнимите!

— *«Смирно-о-о!»* — раздался вдругъ громкій голосъ штабъ-офицера, командовавшаго разводомъ.

Мгновенно все смолкло; генералы вытянулись, въ одну шеренгу противъ фронта, за ними во вторую шеренгу стали всѣ штабъ и оберъ-офицеры, а третья образовалась изъ юнкеровъ и унтеръ-офицеровъ, не участвовавшихъ въ строю.

Пять минутъ спустя, раздалась новая команда: фронтъ взять «на-краулъ», барабаны грянули встрѣчу, эспонтоны и знамя отдали салютъ, и все живое на площадкѣ замерло въ напряженномъ ожиданіи.

Съ крыльца сходилъ императоръ.

начался вахтъ-парадъ. Штабъ-офицеръ спа-

чала заставилъ фронтъ продѣлать всѣ ружейные приемы по флигельману, потомъ скомандовалъ *«баталіонъ шаржируй»*, т. е. стрѣлай, — и фронтъ, не производя огня, продѣлалъ примѣрно заряджаніе, прицѣливаніе и вновь заряджаніе. Затѣмъ была подана команда барабанщикамъ: *«бей сборъ»*. Тѣ вышли и стали бокомъ ко фронту — и вновь грянули барабаны, послѣ чего на середину вышелъ плацъ-майоръ и скомандовалъ: *«Слушай, на плечо! Подвись! Гауптвахтъ направо, гренадеры налево!»* Во время исполненія даннаго движенія, фронтовые офицеры, взявъ эспонтоны вверхъ, въ правую руку, и выйдя впередъ, стали по старшинству чиновать предъ середину парада, а за ними въ двѣ шеренги вытянулись унтеръ-офицеры. Здѣсь плацъ-адъютантъ раздѣлилъ ихъ всѣхъ по постамъ, и тогда по командѣ: *«Господа сберъ и унтеръ-офицеры, на свои места! Марш!»* всѣ разомъ разошлись по рядамъ направо и налево. Затѣмъ — *«Повзводно направо заходи! Марш!»* — и весь парадъ, подъ звуки флейтъ и барабановъ, шелъ церемоніаломъ мимо императора.

Государь остался вообще доволенъ парадомъ и, по окончаніи развода, собравъ вокругъ себя тѣсную толпу офицеровъ, сталъ передавать начальствующимъ лицамъ парольный приказъ и разныя замѣчанія. Черепову случайно довелось стоять какъ-разъ за спиною государя. Вдругъ видитъ онъ, что рядомъ съ его локтемъ протягивается впередъ чья-то рука — и хватъ за черную ленту косицы!

У Черепова захолонуло сердце и на мгновеніе въ глазахъ помутилось. Онъ понялъ, что это такое, и чѣмъ можетъ грозить подобная продѣлка. Государь въ то-же мгновеніе обернулся, и вопросительно-строгий взглядъ его въ упоръ остановился прямо на Череповѣ.

«Погибъ!» какъ молнія мелькнуло въ умѣ послѣдняго. Надо было вырывать уже не Поплюева, а самого себя, и какъ можно скорѣе.

— Простите, ваше величество! — почтительно и тихо проговорилъ онъ, стараясь казаться какъ можно спокойнѣе, — тупей лежалъ не по формѣ... Чтобы молодые офицеры не замѣтили...

Государь молча продолжалъ смотрѣть ему прямо въ лицо тѣмъ же сурово-блестящимъ взглядомъ, и Черепову показалось вдругъ, будто онъ тоже понимаетъ, въ чемъ дѣло и даетъ ему чувствовать это. Съ полминуты, по крайней мѣрѣ, продолжалъ государь держать его подъ этимъ магнетически-дѣйствующимъ взглядомъ, и какое-то смутное чувство говорило Черепову, что если онъ оробѣетъ и смутится, то пропадетъ безвозвратно и на вѣки. Но онъ чувствовалъ себя правымъ, совѣсть его была спокойна.

— Благодарю, *полковникъ!* — громко сказалъ

государь и отвернулся, продолжая прерванную рѣчь съ генераломъ (').

Череповъ оглянулся назадъ,—за нимъ, ни живъ, ни мертвъ и весь блѣдный какъ полотно, стоялъ и трясся, какъ въ лихорадкѣ, Прохоръ Поплюевъ.

Послѣ развода Череповъ по пути заѣхалъ къ Юге позавтракать. Нѣсколько минутъ спустя, появился тамъ и Поплюевъ со своей компаніей.

— Благодаритель мой!.. Спаситель!—плаксиво, смущенно и вѣстѣ съ тѣмъ радостно кинулся къ нему Прошка.—Сколь виноватъ я предъ вами!.. Нѣтъ словъ и мѣры моей винѣ и моей благодарности!..

— Зато вы пари ваше выиграли, равнодушно улыбнулся Череповъ.

— Что пари!.. Въ Сибири мѣста мало мнѣ за это... Я растерялся, но я думалъ... Клянусь вамъ, думалъ, что если на васъ обрушится бѣда, то — была не была! — выступлю впередъ и брякну: такъ и такъ, молъ, я это сдѣлалъ!

— Напрасно не вышелъ, — полковникомъ былъ бы — подтрунилъ измайловскій пріятель.

— Эхъ, братецъ ты мой! пустой ты, какъ вижу я, человекъ! Что полковникъ!.. Не полковникъ, а умъ нуженъ, находчивость, смѣлка — вотъ что нужно! А Прошка — дуракъ, и ничего больше!.. Но нѣтъ,—продолжалъ Поплюевъ, съ чувствомъ обращаясь къ Черепову, — вы великодушны... вы доказали то... Ну, и значить вы меня простите!.. А я вамъ за сіе всю жизнь, какъ собака... понимаете ли, какъ собака буду вамъ преданъ! Издыхать у ногъ вашихъ стану!.. Выпьемъ!

— Такъ-то, братъ Пронька! — хлопнулъ его по плечу пріятель, — хотъ пари я и проигралъ тебѣ, а все же ты не въ барышахъ! Ужъ чего бы кажется, вѣрнѣ награды какъ нынче, анъ глядишь — и тутъ тебя обошли — таки чиномъ!

— Что дѣлать, братецъ мой! — пожалъ плечами Поплюевъ, — беда мнѣ!.. Выпьемъ!

Въ тотъ же день вечеромъ къ Черепову явился вѣстовой и объявилъ, что графъ Харитоновъ-Трофимьевъ проситъ его немедленно же пожаловать къ себѣ по высочайшему повелѣнію.

Череповъ одѣлся по формѣ и поѣхалъ.

Онъ засталъ графа одного въ его обширномъ, слабо освѣщенномъ кабинетѣ. Старикъ

(') Этотъ вполнѣ историческій фактъ извѣстенъ изъ нѣсколькихъ мемуаровъ, напечатанныхъ въ разное время и, между прочимъ, въ запискахъ Н. И. Греча (см. „Русскій Архивъ“ 1873 г.). Ф. Булгаринъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ (изд. 1846 г. ч. II), рассказывая о томъ же, говоритъ, что продѣлка съ тупеетъ была совершена извѣстнымъ шалуномъ того времени Вакселемъ.

сумрачно ходилъ по комнатѣ и казался тѣмъ-то озабоченнымъ.

— Государь императоръ, — сказалъ онъ Черепову, — поручилъ мнѣ, какъ бывшему вашему шефу, передать вамъ, чтобы вы отправлялись въ дѣйствующую армію къ графу Суворову. Вотъ вамъ пакетъ: въ ономъ найдете вы марш-рутъ, дорожную, прогоны и приказъ о своемъ назначеніи. Вы отправляетесь въ распоряженіе фельдмаршала, и государь надѣется, что на полѣ чести потщитесь вы найти болѣе достойное примѣненіе избытку вашихъ силъ и смѣлости.

— Какъ скоро долженъ я выѣхать? — почти-тельно спросилъ Череповъ.

— Немедленно же. Чтобы къ утру васъ уже не было въ городѣ.

— Воля его величества будетъ исполнена, — проговорилъ Череповъ, и уже хотѣлъ-было откланяться, какъ графъ съ участіемъ взялъ его за руку.

— Пожалуй, дружокъ, скажи на милость, — заговорилъ старикъ, мѣняя свой официальный тонъ на дружескую и душевную ноту, — что это за несчастная блажь пришла тебѣ въ голову дергать за тупей.

— Графъ! Неужели вы думаете, что я могъ дерзнуть на что-либо подобное? — открыто и съ чувствомъ достоинства поднялъ Череповъ голову.

— Какъ такъ?! — изумился Харитоновъ, — стало быть, дернулъ не ты?

— Не я, клянусь на томъ честью!

— Такъ кто же?

— Я знаю кто; но прошу васъ, не невольте меня называть его имени. Онъ уже достаточно наказанъ своей совѣстью, и я ни въ коемъ случаѣ не назову его.

Старикъ раздумчиво прошелся по комнатѣ.

— Молодой человекъ, — съ чувствомъ заговорилъ онъ, снова взявъ за руку Черепова, — это съ вашей стороны благородно!.. Не сомнѣваюсь, что вы говорите мнѣ правду; и вѣрь, другъ мой, при случаѣ я доведу о семъ похвальномъ поступкѣ до государя, а теперь прощай, Господь съ тобой!.. Побѣждай съ Богомъ и постарайся возвратиться, какъ подобаетъ храброму!

И съ этими словами онъ поцѣловалъ Черепова и отпустилъ его изъ кабинета.

Миновавъ смежную комнату и проходя чрезъ большую неосвѣщенную залу, Череповъ вдругъ замѣтилъ, что мимо него мелькнуло женское платье.

— Это вы, графиня? — тихо спросилъ онъ голосомъ, упавшимъ вдругъ отъ неожиданнаго волненія. Сердце его дрогнуло и забилося тревожно и сладко.

— Я... постойте на минуту, — шопотомъ лепетала Лиза, — я знаю все... давеча отецъ мнѣ сказывалъ... Вы ѣдете?

— Сею же ночью... Прощайте, быть может, не увидимся.

— Нѣтъ, нѣтъ, не говорите такъ... не надо! — порывисто и какъ-то жутко заговорила она, схвативъ его руку, — не надо... не надо такъ говорить! Вы вернетесь... Вы должны вернуться... Я вѣрю... я буду молиться... Пойдите... Вотъ вамъ.

И быстро снявъ съ себя золотой крестикъ на золотой цѣпочкѣ, она поцѣловала его, перекрестила имъ Черепова и надѣла ему на шею.

— Онъ сохранитъ васъ... молитесь и... не забывайте меня... вашу... Лизу.

И съ этимъ словомъ въ голосъ дѣвушки провались сдержанныя слезы.

Схвативъ ея дрожащую руку, Череповъ съ благоговѣйнымъ чувствомъ восторженно покрылъ ее своими влюбленными поцѣлуями, и вдругъ на душѣ ему стало такъ ясно, тепло, свѣтло и отрадно, и вся будущность озарилась чуднымъ, радужнымъ блескомъ.

Завѣтное, желанное слово, которое не выговаривалось такъ долго, наконецъ-то было сказано.

XXIII.

Въ Италіи.

Череповъ нагналъ Суворова уже около Вѣны и тотчасъ представился фельдмаршалу, вручивъ ему высочайшій приказъ о своемъ назначеніи въ его распоряженіе.

— Крестика, чай, хочешь? Затѣмъ и поѣхалъ? — съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ спросилъ Суворовъ, прочтя бумагу.

— Совсѣмъ напротивъ тому, ваше сіятельство! — съ чувствомъ внутренняго достоинства возразилъ Череповъ, — я здѣсь совсѣмъ случайно и даже самому себѣ неожиданно.

И онъ, зная что старикъ не любитъ терять много времени на лишніе разговоры, вкратцѣ, но съ толкомъ рассказалъ ему причины своего внезапнаго отправления въ дѣйствующую армію.

— Помилуй Богъ! Какой молодецъ! — весело вскричалъ фельдмаршалъ, — изъ-за тупея!.. Ха-ха!.. И товарища не выдалъ! Похвально!.. Ну, будемъ служить съ Божьей помощью! При мнѣ оставайся.

И онъ милостиво отпустилъ отъ себя Черепова.

Суворовъ прибылъ въ Вѣну 15-го марта и былъ встрѣченъ пріятливыми кликами всего населенія. Императоръ Францъ II принялъ его ласково и съ почетомъ. Въ Шенбруннѣ старикъ впервые, послѣ долгой разлуки, увидѣлъ русскія войска и радостно привѣтствовалъ ихъ.

— Здравствуйте, чудо-богатыри, любезнѣйшіе друзья мои! Опять я съ вами! Здравствуйте!

И на восторженныхъ лицахъ героевъ Кинбурна, Фокшанъ, Рымника, Измаила и Праги показались слезы...

Вкратцѣ и на словахъ объяснивъ императору Францу всѣ свои стратегическія предположенія, Суворовъ спѣшилъ уѣхать въ Италію, гдѣ съ нетерпѣніемъ ожидалъ его русскій вспомогательный корпусъ генерала Розенберга.

Но баронъ Тугутъ, первый министръ австрійскаго кабинета, мелкая личность, взобравшаяся на высоту изъ ничтожества, всячески домогался, чтобы русскій фельдмаршалъ представилъ вѣнскому гофкригсрату ¹⁾ точный и подробный планъ будущихъ военныхъ дѣйствій и, не видя этого плана, подъ разными предлогами задерживалъ Суворова въ Вѣнѣ. Эти домогательства не повели, однако, ни къ чему. Суворовъ очень хорошо понималъ, что такое гофкригсратъ, зналъ за нимъ «неискоренимую привычку битымъ быть», называлъ членовъ его *унтеркунфтами, бештимизагерами, мерсенерами* и вообще не располагалъ довѣрять своихъ плановъ Тугуту, секретарь котораго служилъ нѣкогда секретаремъ при Мирабо и поэтому самому казался Суворову подозрительнымъ и продажнымъ. Да и самъ Тугутъ далеко не былъ симпатичной личностью. Эгоистически и ревниво заботясь только о своемъ собственномъ вліяніи при дворѣ, онъ не допускалъ никого дѣйствовать самостоятельно, вмѣшивался во все и, вовсе не будучи военнымъ человѣкомъ, связывалъ по рукамъ австрійскихъ генераловъ, не смѣвшихъ шагу ступить безъ категорическаго предписанія изъ Вѣны. Подобная система, конечно, не могла нравиться Суворову, который хотѣлъ сражаться независимо отъ методическихъ соображеній гофкригсрата. Старикъ не согласился даже запросто побывать у Тугута, для объясненій хотя бы словесныхъ, о чемъ не разъ намекалъ ему графъ Разумовскій, русскій посланникъ въ Вѣнѣ.

— Андрей Кирилловичъ! — отвѣчалъ обыкновенно на эти намеки Суворовъ, — вѣдь я не дипломатъ, а солдатъ... русскій... Куда мнѣ съ нимъ говорить? Да и зачѣмъ? Онъ моего дѣла не знаетъ, а я его дѣла не вѣдаю!.. Знаете-ли вы, Андрей Кирилловичъ, первый псаломъ? — «Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ!»

Кончилось тѣмъ, что на всѣ приставанія

¹⁾ Высшій военный совѣтъ, коего членами были тогда: Коллоредо, Туркгеймъ и Тигъ — покорные исполнители распоряженій штатскаго Тугута. Независимо отъ этихъ членовъ, Тугутъ любилъ употреблять по военнымъ дѣламъ преданнаго ему Лауэра, котораго всѣ ненавидѣли.

Тугута Суворовъ вручилъ ему кипу бѣлой бумаги и показалъ чистый листъ съ бланкомъ императора Павла, со словами: «Вотъ мои планы!»

Эта Суворовская штука окончательнo взбѣсила Тугута и была зерномъ той затаенной неприязни австрійскихъ властей къ русскому главнокомандующему, слѣдствіемъ которой были и безплодность лавровъ, обильно пожатыхъ Суворовымъ въ Италіи и, еще болѣе, безплодность неимовѣрныхъ подвиговъ, имъ же совершенныхъ въ Швейцаріи.

2-го (14-го) апрѣля онъ прибылъ въ Верону. Жители, со свойственной имъ итальянской живостью и пылкостью, сдѣлали ему много шумныхъ овацій: они выпрягли изъ кареты лошадей и повезли ее сами до дворца, отведеннаго фельдмаршалу.

Здѣсь Суворовъ принялъ подъ свое начальство австрійскихъ и русскихъ генераловъ. Представленіе послѣднихъ происходило отдѣльно и какъ бы домашнимъ образомъ, сопровождался разными оригинальностями. Пока Розенбергъ называлъ чинъ и фамилію представляемаго, Суворовъ стоялъ на вытяжку, съ закрытыми вѣками, и при каждой неизвѣстной ему фамиліи быстро открывалъ глаза, говоря съ поклономъ:

— Помилуй Богъ!.. Не слышалъ! Не слышалъ!.. Познакомимся.

Долга очередь до генерала Милорадовича.

— А! это Миша!? Михайло!?—вскричалъ Суворовъ.

— Я, ваше сіятельство!—поклонился статный двадцати-восьми-лѣтній красавецъ въ генеральскомъ мундирѣ.

— Я знавалъ васъ вотъ такимъ!—продолжалъ старикъ, показывая рукою на аршинъ отъ полу.—Я ѣдалъ у вашего батюшки Андрея пироги. О! да какіе были сладкіе! Какъ теперь помню... Помню и васъ, Михайло Андреевичъ! Вы хорошо тогда ѣздили верхомъ на палочкѣ! О, да и какъ же вы тогда рубили деревянной саблею! Поцѣлуемся, Михайло Андреевичъ! Ты будешь герой! Ура!

Милорадовичъ, растроганный до слезъ, говорилъ, что постарается оправдать мнѣніе о немъ фельдмаршала.

Наконецъ Розенбергъ назвалъ генераль-майора князя Багратіона.

При этомъ имени Суворовъ встрепенулся, открылъ глаза, вытянувшись, откинулся назадъ и спросилъ:

— Князь Петръ!.. Это ты, Петръ!.. Помнишь ли ты... подъ Очаковымъ!... съ турками!... въ Польшѣ!...

И подвинувшись къ Багратіону, онъ его обнялъ и сталъ цѣловать въ глаза, въ лобъ, въ губы, приговаривая:

— Господь Богъ съ тобою, князь Петръ!... Помнишь-ли?.. А?.. помнишь-ли походы?

— Нельзя не помнить, ваше сіятельство,—

отвѣчалъ Багратіонъ, со слезами на глазахъ,—не забылъ и не забуду.....

По окончаніи представленія, Суворовъ быстро повернулся, заходилъ широкими шагами, потомъ, вдругъ остановясь, вытянулся и, съ закрытыми глазами, началъ произносить скороговоркою, не относясь ни къ кому именно:

— «Субординація! Экзерциція! военный шагъ—аршинъ; въ захожденіи—полтора. Голова хвоста не ожидаетъ. Внезапно, какъ снѣгъ на голову! Пуля бьетъ въ полчеловѣка; стрѣляй рѣдко, да мѣтко; штыкомъ коли крѣпко. Трое наскочатъ: одного заколи, другого застрѣли, а третьему карачунъ! Пуля дура, а штыкъ молодецъ! Пуля обмишуются, а штыкъ не обмишуются! Береги пулю на три дни, а иногда и на цѣлую кампанію. Мы пришли бить безбожныхъ, вѣтреныхъ, сумасбродныхъ французишковыхъ; они воюютъ колоннами,—и мы ихъ будемъ бить колоннами!... Жителей не обижай! Просящаго пощады милуй!»

Проговоривъ эту инструкцію, Суворовъ умолкъ и, какъ бы утомясь, склонилъ голову, наморщилъ брови, углубился въ себя... Но чрезъ нѣсколько секундъ вдругъ встрепенулся, приподнялся на носки, живо повернулся къ Розенбергу и сказалъ:

— Ваше выссокопревосходительство! Пожалуйте мнѣ два полчка пѣхоты и два полчка казачковъ.

И слѣдствіемъ этого «пожалуйте» было немедленное выступленіе авангарда подъ начальствомъ князя Багратіона.

Въ Веронѣ издано было воззваніе Суворова къ итальянцамъ: «Изъ далекихъ странъ сѣвера пришли мы защищать вѣру, возстановить престолы, избавить васъ отъ дритѣснителей. Наказаніе непокорнымъ; свобода, миръ и защита тѣмъ, кто не забудетъ долга своего—сражаться со злодѣями!»

Русскій корпусъ въ Италіи состоялъ изъ вѣрныхъ сподвижниковъ Суворова въ войнахъ турецкой и польской. Каждый солдатъ зналъ своего «батюшку». Утомленные продолжительнымъ и быстрымъ походомъ, войска авангарда немедленно начали рядъ славныхъ подвиговъ.

Первое дѣло русскихъ съ французами произошло при Палаццоло. Когда Суворову были представлены плѣнные французы, взятые въ этомъ сраженіи, онъ отпустилъ ихъ немедленно во Францію, со словами: «Идите домой и скажите землякамъ вашимъ, что Суворовъ здѣсь». 9-го апрѣля Багратіонъ и Край '1) взяли укрѣпленную Бресцію; 14-го—Моро, разбитый при Лекко и Треццо, бѣжалъ за рѣку Адду, а Серрюрье, настигнутый при Вердеріо, положилъ оружіе. Возвращая шпагу плѣнному Серрюрье, Суворовъ произнесъ стихи Ломоносова:

1) Австрійскій генераль.

„Великодушный левъ алодѣя нивергаетъ,
Но хищный волкъ его лежащаго терзаетъ,—
велѣлъ перевести эти стихи французскому ге-
нералу и выпелъ изъ комнаты.

— *Quel homme!*—воскликнулъ удивленный Серрюрье.

Императоръ Павелъ, получивъ извѣстіе объ этихъ побѣдахъ, велѣлъ діакону возгласить въ концѣ благодарственного молебна: «Высокоповелительному фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому многая лѣта» и, посылая побѣдителю портретъ свой въ перстиѣ, осыпанномъ брильянтами, писалъ въ рескриптѣ: «Примите его въ свидѣтели знаменитыхъ дѣлъ вашихъ и носите на рукѣ, поражающей врага благоденствія всемірнаго». Сынъ Суворова тогда же былъ сдѣланъ изъ камеръ-юнкеровъ генераль-адъютантомъ и отправленъ къ отцу, при чемъ государь сказалъ ему: «Поѣзжай и учись у него; лучше примѣру тебѣ дать и въ лучшія руки отдать не могу».

Стояли дни Страстной недѣли. На бивуакахъ разбивалась палатка походной церкви, и кто хотѣлъ, тотъ шелъ молиться. Суворовъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ штабомъ, питавійся въ эти дни исключительно постной пищей, несмотря ни на какую усталость, постоянно присутствовалъ при богослуженіи и все время службы былъ въ величайшихъ хлопотахъ: пѣлъ на клиросѣ съ дьячками и досадовалъ на нихъ, когда несогласно съ нимъ пѣли, читалъ Апостолъ «съ великимъ напряженіемъ голоса», безпрестанно перебѣгалъ съ клироса на клиросъ, то въ алтарь, то молился передъ мѣстными образами и клалъ положенное число земныхъ поклоновъ, наблюдая въ это время изъ-подъ руки, всѣ ли усердно молятся.—«Религіи преданъ, но пустосвятовъ не люблю», говорилъ онъ и уподоблялъ ихъ вазамъ, которыя звенятъ, потому что внутри пусты. Когда были присланы первые австрійскіе и русскіе ордена для его подчиненныхъ, онъ приказалъ священнику окропить эти знаки отличія святой водой въ алтарѣ, а послѣ молебна, при выносѣ ихъ на блюдѣ, каждый удостоенный монаршей милости становился на колѣна; тогда Суворовъ, съ поцѣлуемъ и приличнымъ привѣтствіемъ, возлагалъ на него орденъ. И самъ престарѣлый австрійскій генералъ Меласъ, котораго онъ называлъ «*папой Меласомъ*», долженъ былъ съ колѣнопреклоненіемъ принять отъ него крестъ Маріи-Терезіи 2-й степени.

Изумивъ всю Италію и Европу быстрымъ переходомъ отъ Вероны до столицы Ломбардіи, Суворовъ въ страстную субботу остановился въ виду Милана.

— *Demain j'aurai mille-ans!*—сказалъ онъ каламбуръ при этомъ, и дѣйствительно, на слѣдующій день, 16-го (28-го) апрѣля, въ самый Свѣтлый праздникъ, русскіе полки торжественно вступили въ этотъ городъ. Народъ съ

восторгомъ привѣтствовалъ своихъ избавителей, хотя и сильно-таки побаивался этихъ «сѣверныхъ варваровъ». Суворовъ ѣхалъ позади своего секретаря Е. Фукса и генераль-лейтенанта Ферстера, приказавъ имъ вмѣсто него раскланиваться съ публикой. Когда же русскіе полки, пройдя перемональнымъ маршемъ, въ густыхъ и тѣсныхъ колоннахъ построились въ каре на городской площади, Суворовъ посреди ихъ, снявъ шляпу, запѣлъ: «Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ».

— «Смертію смерть поправъ, и сущимъ во гробѣхъ живость даровавъ!»—разомъ, какъ одинъ человекъ, подхватило за нимъ 18,000 голосовъ русскаго войска. Все это, дѣйствительно, «содѣлалось стадомъ одного пастыря», замѣчаетъ очевидецъ ¹⁾. Троекратно повторился громъ этой торжественно-священной пѣсни, и эффектъ тысячеголоснаго хора былъ поразителенъ. Миланцы дрожали въ изступленномъ восторгѣ и своими прииѣтственными криками покрыли окончаніе православнаго гимна.

— Христосъ воскресъ, ребята!—когда все смолкло, крикнулъ Суворовъ солдатамъ.

— Во истину воскресъ, отецъ!—отглаголю ему войско.

Это былъ могучій откликъ на православное привѣтствіе, какого никогда еще не раздавалось въ Миланѣ.

Суворовъ слѣзъ съ коня и сталъ христосоваться съ окружающими. Его обступили массы офицеровъ и солдатъ. По замѣчанію очевидца, «не оставалось ни одного фурлейта, котораго бы онъ не обнялъ и троекратно не поцѣловалъ» ²⁾. Даже самъ плѣнный Серрюрье не избѣгнулъ его лобызанія, и Суворовъ заставилъ его отвѣчать по-русски: «*во истину воскресъ*». Но когда общій восторгъ достигъ до полного энтузіазма, старикъ вдругъ прослезился. Онъ вспомнилъ любимыхъ своихъ фанаторійцевъ.

— Съ сими чудо-богатырими взялъ я Измаилъ,—говорилъ фельдмаршалъ,—съ ними разбилъ при Рымникѣ визиря... Гдѣ они?.. Какъ я бы желалъ теперь съ ними похристосоваться! ³⁾

Череповъ присутствовалъ при всей этой грандіозной сценѣ и живо ощущалъ въ груди своей трепетъ какого-то священнаго восторга. Сердце его замирало отъ радости, и въ то же время хотѣлось плакать, и онъ не замѣчалъ даже какъ изъ глазъ его одна за другой падаютъ крупныя слезы, и такъ онъ былъ гордъ сознаніемъ, что и онъ тоже душою и тѣломъ принадлежитъ къ этой доброй, честной, православной семьѣ, ко-

¹⁾ Е. Фуксъ, см. его „Собраніе разныхъ сочиненій“, стр. 184.

²⁾ Ibid.

³⁾ Фанаторійскій гренадерскій полкъ (нынѣ Суворовскій) въ это время находился на другомъ концѣ Европы, въ составѣ нашей голландской арміи.

торая съ дальняго сѣвера явилась въ этотъ роскошный южный городъ, и здѣсь, среди чуждой страны и природы, сознаетъ себя все той же извѣчной и неизмѣнной силой, которая зовется русскимъ народомъ. Вспомнился также ему и образъ Лизы...

Она далеко; но онъ чувствуетъ ее близко, со-всѣмъ близко, какъ бы тоже здѣсь, рядомъ съ собою, и шепчетъ ей свое привѣтствіе: «Христосъ воскресъ, моя милая!»

И подъ влияніемъ этого чувства, досталъ онъ изъ-за пазухи крестикъ, надѣтый Лизой на его шею въ минуту прощанья, и благоговѣнно при-никъ къ нему губами.

Онъ мысленно христосовался съ нею.

Солдаты разсыпались по улицамъ и отведен-нымъ для нихъ квартирамъ, — и Миланъ какъ-то вдругъ превратился совсѣмъ въ русскій старин-ный городъ. Солдатики наши на улицахъ, въ домахъ, въ лавкахъ — крестятся, цѣлуются, обни-маютъ другъ друга, мѣняются красными яйца-ми, которыми они какими-то судьбами успѣли тогчасъ же раздобыть и нарисовать въ сандалѣ, угощаютъ другъ друга пасхою изъ итальян-скихъ булочныхъ, славятъ Христа; вездѣ по отведеннымъ квартирамъ теплятся восковые свѣчи предъ походными мѣдными складенцами, которые русскіе люди сейчасъ же повѣсили на гвоздикахъ, рядомъ съ католическими изобра-женіями. Толпы празднующейся городской черни, не понимая ничего, съ любопытствомъ бѣгали повсюду за солдатами, разсматривали ихъ, какъ нѣчто диковинное, дотрогивались до нихъ и ощупывали руками мундиры, оружіе, разѣвали рты, корчили рожи, жестикулировали, добродушно смѣялись и горлопанили между со-бою. Наши сейчасъ же обглядѣлись и обошлись съ ними по-свойски.

— Ну, братъ-пардонъ, Христосъ воскресъ! — говорили они иному итальянцу. — Хоша ты и бусурманъ, и глупъ, а все же человекъ, зна-чить. Поцѣлуемся!

И какой нибудь Беппо отъ души лобызался съ какимъ-нибудь Мосеемъ Черешковымъ изъ Во-логодской губерніи, и Черешковъ понималъ Беппо, и Беппо понималъ Черешкова. Между ними сейчасъ же отличнѣйшимъ манеромъ уста-навливалось взаимное пониманіе и своеобразные разговоры, которыми и тѣ, и другіе были очень довольны.

— Вступленіе сюда, — говорилъ въ этотъ день Суворовъ всѣмъ окружающимъ его, — вступле-ніе именно въ день торжества торжествъ и праздни-ка празднико-въ, есть предзнаменованіе на враги церкви побѣды и одолѣнія.

Отслушавъ, нарочно для него отслуженную, заутреню и обѣдню въ домашней греко-россій-ской церкви, онъ отправился на литургію и въ городской католическій соборъ. Жители были въ восхищеніи отъ его ласковаго приѣма и обраше-нія. Итальянскіе поэты, импровизаторы и ком-

позиторы слагали въ честь его блистательныя оды, писали торжественныя кантаты, марши и гимны. Когда же вечеромъ посѣтилъ онъ город-ской театръ, то былъ принятъ публикой съ из-ступленіемъ дикаго восторга.

— Помилуй Богъ! — вскричалъ при этомъ старикъ, — боюсь, чтобъ не затуманилъ меня вѣяніемъ! Теперь пора рабочая!

Въ тотъ же вечеръ занялся онъ планомъ дальнѣйшей кампаніи.

— Когда вы успѣли все это обдумать! — вос-кликнулъ изумленный маркизъ Шателеръ, когда Суворовъ открылъ ему свои предначертанія.

— Въ деревнѣ, — отвѣчалъ фельдмаршалъ, — здѣсь было бы поздно обдумывать: здѣсь мы уже на сценѣ.

— И васъ, — сказалъ Шателеръ, — и васъ называютъ генераломъ безъ диспозиціи.

Череповъ, въ качествѣ русскаго полковника, принадлежащаго къ свитѣ фельдмаршала, поль-зовался большимъ почетомъ со стороны город-ской знати и зажиточной буржуазіи. Въ первый же вечеръ, въ фойѣ и партерѣ театра переэна-комился онъ почти со всѣми представителями мѣстной аристократіи и золотой молодежи. Двери лучшихъ домовъ были ему раскрыты съ пол-нымъ радушіемъ. Но увы! въ этихъ богатыхъ салонахъ нашелъ онъ невѣжество, которое ка-залось ему невѣроятнымъ. О Россіи, которую здѣсь знали только по слухамъ, ему приходи-лось выслушивать нехлѣбнѣйшіе вопросы; относи-тельно Германіи здѣсь были убѣждены, что вся она вмѣщается только въ одной Австріи; о Швеціи, Норвегіи, Даніи почти и не слыхи-вали. Въ высшемъ миланскомъ обществѣ Че-реповъ не встрѣтилъ ни одного человека, кото-рый бы побывалъ гдѣ-нибудь за границей. — «Къ чему намъ, говорили ему, выѣзжать изъ своего сада Европы!» Многіе изъ первыхъ вельможъ и знатнѣйшихъ дамъ просили его сказать имъ откровенно, подъ величайшимъ секретомъ: правда ли, что *gli sarussini russi*, т. е., что казаки — русскіе капуцины (такъ ихъ чество-вали за ихъ бороды) закармливаютъ и ѣдятъ дѣ-тей? На слѣдующій день, когда довелось ему быть съ визитомъ у Милорадовича и онъ сталъ рассказывать про эти вопросы, въ комнату врывается вдругъ какой-то аббатъ и въ изступ-леніи бѣшенства реветъ съ отчаяннымъ ви-домъ.

— Генералъ? Если въ васъ есть Богъ, то спасайте! Но спасайте скорѣе!

Всѣ стремглавъ побѣжали за нимъ внизъ.

— Ессоло! — кричитъ итальянецъ, — вотъ онъ! Вотъ! Спасайте!

— Что такое?! Въ чемъ дѣло?! — Всѣ въ смя-теніи, въ испугѣ смотрятъ, ищутъ глазами, и что же?.. Казакъ-ординарецъ, сидя на сту-пенькѣ каменнаго крыльца, какъ вѣчная нянька, держать на рукахъ младенца и смотреть на него умильно со слезами.

— Ты что тутъ дѣлаешь?—строго спросилъ его Милорадовичъ.

— Извините, ваше превосходительство! — говорилъ тотъ, поспѣшно поднявшись съ мѣста, — это дитѣ такъ смахиваетъ на мою Оедьку-пострѣла... на Дону... что я расцѣловалъ его, да вотъ... виноватъ... и расплакался малость.

Милорадовичъ не могъ скрыть своего гнѣва на итальянскаго патера и выругалъ его достойнымъ образомъ.

Австрійскіе генералы просили Суворова дать войскамъ въ Миланѣ болѣе продолжительный отдыхъ, но онъ отвѣчалъ имъ однимъ короткимъ: «*впередъ!*» — и вотъ 26 апрѣля, предъ нимъ спускаетъ свой флагъ Пескьера, этотъ ключъ Пьемонта, а черезъ два дня послѣ нея тоже слѣдуетъ съ крѣпостями Пиччигетоне и Тортоною. Въ самый день сдачи Пескьеры прибылъ въ главную квартиру Суворова великій князь Константинъ Павловичъ, въ сопровожденіи генерала-отъ-кавалеріи Дерфельдена. Моро, атакованный 1 и 2 мая, опять вынужденъ былъ отступить къ Асти и Кони. 12-го мая союзники овладѣли Феррарою, 13-го миланскою цитаделью, 14-го феррарскою, а 27-го мая Суворовъ вступилъ въ Туринъ—столицу Пьемонта, и обложилъ тамошнюю цитадель. Разсматривая на картѣ движенія Моро, онъ сказалъ съ удовольствіемъ: «Моро понимаетъ меня, старика, а я радуюсь, что имѣю дѣло съ умнымъ полководцемъ. Но не тотъ уменъ, о коемъ всѣ говорятъ, что онъ уменъ, а тотъ, кого другіе дуракомъ считаютъ».

И здѣсь онъ оправдалъ слова свои, ибо понявши хитрые маневры французскаго полководца, сумѣлъ *заставить его думать*, будто дается въ обманъ, и перехитрилъ его гениальнѣйшимъ образомъ. Имѣя въ виду не допустить Макдональда, двигавшагося отъ Неаполя до соединенія съ Моро и разбить его отдѣльно, Суворовъ началъ такія странныя движенія войскъ, что они рѣшительно спутали всѣ расчеты Моро и Макдональда. Между тѣмъ, императоръ Павелъ, узнавъ, что въ одинъ мѣсяцъ времени вся Верхняя Италия уже очищена и остатки разбитой арміи Моро отброшены въ Ривьеру Генуэзскую, писалъ Суворову.

«Въ первый разъ увѣдомили вы насъ обь одной побѣдѣ, въ другой о трехъ, а теперь прислали реестръ взятымъ городамъ и крѣпостямъ. Побѣда предшествуетъ вамъ повсемѣстно, и слава сооружаетъ изъ самой Италии памятники вѣчнымъ подвигамъ вашимъ».

Обезпеченный уже со стороны Моро, т.е., съ фронта, Суворовъ смѣло обратился на новаго противника, свѣжія силы котораго угрожали союзникамъ съ тыла. Этотъ новый противникъ былъ Макдональдъ, уже спустившійся съ Аппенинъ и начинавшій дебушировать въ долину рѣки По.

Суворовъ, не любившій ожидать нападеній,

оставилъ одинъ австрійскій корпусъ наблюдать за Моро, а самъ устремился съ главными силами противъ Макдональда, котораго и отгѣснилъ первоначально до рѣки Требіа.

Здѣсь, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ за двѣ тысячи лѣтъ до того Аннибалъ сокрушилъ римлянъ повторилась великая битва Требійская. *Папа Меласъ*, предъ началомъ сраженія читая краткую и ясную диспозицію, остался очень изумленъ, что въ ней ничего не было предписано на случай отступленія, и прислалъ адъютанта спросить, куда надлежитъ отступать?

— Куда? — отвѣчалъ Суворовъ,—за Требікъ, въ Пьяченцу.

Это значило, что отступленія нѣтъ, а надо гнать непріятеля и двигаться впередъ, или умирать. Другихъ исходовъ не признавалъ и не понималъ Суворовъ. Въ этомъ сраженіи, между прочимъ, великій князь Константинъ Павловичъ велъ въ атаку кавалерійскій полкъ, а Багратионъ, несмотря на отчаянное сопротивленіе, рѣшилъ дѣло штыками, подтвердивъ еще разъ на кровавомъ опытѣ превосходство русской «штыковой работы» предъ изобрѣтателями этого страшнаго оружія. Начавшись въ десять часовъ утра, сраженіе окончилось только въ десять часовъ вечера, завершиась полнымъ отступленіемъ французовъ за Требіку. На утро началась новая битва. Макдональдъ дрался съ Суворовымъ три дня подъ рядъ, (7, 8 и 9 июня), и, наконецъ, потерпѣвъ окончательное пораженіе, бросился въ безпорядочномъ бѣгствѣ обратно за Аппенины, чтобы хотя берегомъ моря успѣть какъ-нибудь соединиться съ Моро, начинавшимъ въ отсутствіи русскихъ одерживать нѣкоторые успѣхи надъ австрійцами. Эти успѣхи, однако же, прекратились съ появленіемъ Суворова, который снова заставилъ Моро уйти въ горы. Союзники перешли Требіку и овладѣли Пьяченцою, гдѣ было взято 7,000 человекъ, четыре генерала, столько же полковниковъ и 350 офицеровъ. Жара все это время стояла нестерпимая,—убійственная до такой степени, что, разбирая тѣла на полѣ сраженія, находили умершихъ безъ всякой видимой причины: очевидно, что они были поражены солнечнымъ ударомъ, или же задохались, падая отъ безсилія и будучи завалены мертвыми и ранеными. Суворовъ поспѣвалъ всюду и носился по полю битвы на своемъ поджаромъ горбоносомъ дончакѣ, въ одной полотняной сорочкѣ и подштанникахъ, обутый въ ботфорты и покрытый легкимъ кофлакомъ, вмѣсто шляпы или каски. Закусывалъ онъ въ это время только солдатскимъ сухарикомъ да сухимъ донскимъ балычкомъ, который, составляя его любимую закуску послѣ водки, во всѣхъ походахъ имѣлся у него въ запасѣ. Потери Макдональда были громадны: за время трехдневной битвы онъ лишился девяти генераловъ ранеными, шести тысячъ человекъ убитыми, свыше двѣнадцати тысячъ плѣнными, въ томъ числѣ

510 офицеровъ, да кромѣ того, у французовъ отнято было семь знаменъ и шесть орудій. Но и союзникамъ далась побѣда не дешево: у нихъ насчитано до одной тысячи убитыхъ и около четырехъ тысячъ раненыхъ, между которыми былъ Багратионъ и еще два генерала.

Извѣстіе о Требійской битвѣ шумно полетѣло по всей Европѣ: въ Вѣну, въ Петербургъ, въ Лондонъ... Императоръ Павелъ прислалъ Суворову свой портретъ, осыпанный брилльянтами. «Портретъ мой на груди вашей, писалъ государь старику,—да изъяснитъ всѣмъ и каждому признательность государя къ великимъ дѣламъ своего подданнаго, ими же прославляется царствованіе наше».

Вслѣдъ за Требійской битвой, къ крайнему негодованію Суворова, послѣдовало болѣе чѣмъ мѣсячное бездѣйствіе австрійцевъ. Это былъ подвохъ мстительнаго Тугута, приковавшаго все вниманіе вѣнскаго двора къ продолжавшейся осадѣ Мантуи, стойкость которой служила для бездарнаго гофкригсрата уважительнымъ предлогомъ противодѣйствовать дальнѣйшему развитію наступательной системы русскаго Суворова. Фельдмаршалъ жаловался императору Павлу на робость гофкригсрата, на зависть къ себѣ, какъ чужестранцу, на интриги частныхъ двуличныхъ начальниковъ и безвластіе свое въ производствѣ операций, прежде доклада о нихъ въ Вѣнѣ. Но, наконецъ, судалась и Мантуя, а за нею пала Александрія. Суворовъ вздохнулъ свободнѣе: онъ почувалъ теперь возможность оставить ненавистный ему «дефенсивъ» и, перейдя въ наступленіе, проникнуть въ Ривьеру Генуэзскую.

Но это предполагаемое наступленіе не состоялось по той причинѣ, что его предупредилъ новый главнокомандующій республиканскихъ войскъ въ Италіи, молодой генералъ Жубертъ, котораго самъ Бонапартъ называлъ «наслѣдникомъ своей славы». Усиливъ армію Моромногими поддѣрженіями, Жубертъ снова перешелъ съ нею Аппенины и занялъ сильную позицію при городѣ Нови.

— Юный Жубертъ пришелъ учиться; дадимъ ему урокъ!—сказалъ тогда Суворовъ и, пылкій не по лѣтамъ, стремительно атаковалъ его позицію 4-го августа. Битва была отчаянная и стояла жизни самому Жуберту. Трудность овладѣнія новѣйшими высотами, нестерпимая жара, грозная артиллерія и стойкое мужество непріятеля дѣлали тщетными всѣ усилія русскихъ. До трехъ часовъ дня высоты три раза переходили изъ рукъ въ руки. Русскіе начальники, кромѣ самого Суворова, не знали куда дѣвался Меласъ съ его отрядомъ и удивлялись, чего это старикъ длитъ сраженіе и остается спокоенъ, видя его безуспѣшность. Планъ фельдмаршала и вѣрность его взгляда поняли только тогда, когда онъ вдругъ велѣлъ учинить усиленное нападеніе «на центръ».

Тогда-то начался самый страшный разгаръ битвы. Багратионъ былъ отбитъ. Суворовъ самъ бросился въ ряды солдатъ. При немъ находился великій князь Константинъ.

— Друзья! Богатыри! Дѣти! Съ нами Богъ! Ура!—восклицалъ старикъ—и вотъ «въ слѣпотѣ изступленной храбрости, подъ градомъ смертоносныхъ орудій, не думая о превосходствѣ непріятельской позиціи, презирая неминуемую смерть, бросились русскіе солдаты. Сугубо возстали на нихъ смерть и бѣдствие; но ободряемыхъ примѣромъ вождей, ихъ уже невозможно было удержатъ»¹⁾. Въ это время вдругъ загремѣла въ тылу непріятеля неожиданная канонада: это Меласъ, удачно сдѣлавшій обходъ, громилъ теперь французовъ. Нападеніе на центръ было усилено еще больше. Противникъ, видя невозможность держаться долѣе, рѣшился бросить на жертву часть своихъ войскъ, чтобы спасти остальныхъ, и спѣшно началъ отступленіе въ горныя ущелья, укрываемый мракомъ наступающей ночи. Французы потеряли убитыми и ранеными болѣе десяти тысячъ; русскіе и австрійцы восемь тысячъ. До пяти тысячъ плѣнныхъ и 36 пушекъ достались побѣдителямъ. Когда австрійцы заспорили-было о числѣ этихъ послѣднихъ трофеевъ, причитавшихся на ихъ долю и требовали себѣ половину, Суворовъ порѣшилъ вопросъ коротко и просто:

— Отдать имъ всѣ!—приказалъ онъ,—пушкѣ ихъ! Гдѣ имъ взять! Мы еще возьмемъ! И пушки были отданы безпрекословно.

Подвиги Суворова достойно оцѣнились и монархомъ Россіи, и освобожденной Италіей, и изумленной Европой, возбуждая въ то же время ужасъ правителей Франціи. За освобожденіе въ четыре мѣсяца всей Италіи «отъ безбожныхъ завоевателей» императоръ Павелъ возвелъ Суворова въ княжеское Россійской Имперіи достоинство съ титуломъ *Италійскаго*, «да сохранится въ вѣкахъ память дѣлъ Суворова», и повелѣлъ, «въ благодарность подвиговъ этихъ, гвардіи и всѣмъ русскимъ войскамъ, даже и въ присутствіи государя, отдавать ему всѣ воинскія почести, подобно отдаваемымъ особѣ императорскаго величества». — «Не знаю, кому пріятнѣе, писать старику Павелъ,—вамъ ли побѣждать, или мнѣ награждать васъ, хотя мы оба исполняемъ свое дѣло.—Я какъ *государь*, вы какъ *полководецъ*; но я не знаю, что вамъ давать: вы поставили себя выше всякихъ наградъ, а потому опредѣлили мы вамъ почестъ военную... Достойному достойное!» прибавлялъ государь, въ заключеніе своего рескрипта.

Въ Англіи давно уже на всѣхъ праздникахъ провозглашали тосты за здоровье *избавителя Италіи*, сочиняли ему оды и гимны, выбрали

¹⁾ Слова изъ реляціи о Новѣйскомъ сраженіи.

въ честь его медаль... Но особенное удовольствіе доставила императору Павлу награда, пожалованная Суворову королемъ сардинскимъ, который возвелъ его въ санъ главнокомандующаго фельдмаршала сардинскихъ войскъ и въ гранды Сардиніи, съ титуломъ и степенью *кузеновъ* королевскихъ (*cousin du roi*) и прислалъ ему орденъ Аннонсіады, Маврикія и Лазаря. — «Радуюсь, что вы дѣлаетесь мнѣ роднею, писалъ послѣ этого императоръ Павелъ Суворову, — ибо всѣ владѣтельныя особы между собою роднею почитаются». — «Славѣ легко породниться съ парями!» восклицали поэты. «Я раздѣляю съ другими благодаренія ваши, писалъ фельдмаршалу король неаполитанскій, — вы открыли мнѣ дорогу въ царство мое, вы утвердите меня на моемъ царствѣ».

А между тѣмъ, среди всѣхъ этихъ побѣдъ и овацій, завистливый и мелочно-мстительный Тугутъ готовилъ исподтишка Суворову новыя козни и ковы.

XXIV.

Передъ Альпами.

Десять большихъ выигранныхъ сраженій, двадцать пять взятыхъ крѣпостей, восемьдесятъ тысячъ плѣнныхъ французовъ, около трехъ тысячъ французскихъ орудій, двѣсти тысячъ ружей и полное очищеніе отъ непріятеля всего Пьемонта и Ломбардіи — вотъ что было трофеями и результатомъ Суворовскихъ дѣйствій въ Италіи. Въ четыре мѣсяца сдѣлано было то, надъ чѣмъ почти четыре года трудился Наполеонъ Бонапартъ. И все это совершалось при самыхъ невыгодныхъ обстоятельствахъ, въ какихъ только могъ находиться главнокомандующій союзныхъ войскъ, окруженный тайными шпионами Тугута и явными недоброжелателями — друзьями и холопами того же австрійскаго премьера. Мы уже говорили, на сколько предписанія гофкринсрата связывали Суворова и мѣшали его военнымъ планамъ. Безпрестанно подтверждали ему изъ Вѣны, чтобы онъ дѣйствовалъ какъ можно осторожнѣе, и негодовали, когда онъ насмѣшливо доносилъ, что получилъ въ *Миланѣ* приказаніе идти за *Addu*, въ *Туринъ* — позволеніе *опыстговать* на *Миланѣ*. Суворовъ не безъ основанія подозрѣвалъ во всѣхъ дѣйствіяхъ нашихъ союзниковъ своекорыстную подкладку. Когда же побѣды его освободили Италію, своекорыстіе это обнаружилось вполне. Добрые австрійцы русскими руками загребали жаръ въ свою пользу. По взятіи Туринна, Суворовъ, въ особой прокламаціи, согласно волѣ императора Павла, призвалъ народы Италіи къ возвращенію подъ власть законныхъ ихъ государей, что какъ нельзя болѣе совпадало съ желаніями самихъ итальянцевъ. Но вѣнскій дворъ, вопреки этой прокламаціи поторо-

пился сейчасъ же учредить повсюду свои австрійскія управленія, доходы и подати велѣлъ собирать на Австрію; строго запретилъ народныя возстанія, организованныя для освобожденія страны изъ-подъ ига французовъ; муниципальныя стражи были обезоружены и замѣнены австрійцами; чиновники, присланные отъ сардинскаго короля, не допущены къ отправленію должностей, — и это въ то самое время, когда императоръ Павелъ, дѣйствуя честно и по правотѣ сердца, велѣлъ Суворову звать въ Туринъ законнаго государя и передать ему Пьемонтъ!..

Горько жаловался Суворовъ на всѣ оскорбительныя и бѣдственныя распоряженія гофкринсрата и австрійскихъ канцелярій, постоянно открывая въ то же время все новыя и новыя козни Тугута. — «Я стою между двумя батареями — военною и дипломатическою; первой не боюсь, но не знаю, устою ли противъ другой, писалъ онъ съ досадою. — Или дайте мнѣ полную власть и никто не мѣшай, или я прошу отзыва мнѣ... Ради Бога, отнимите у нихъ перья, бумагу и крамолу!.. Запретите глупую переписку Демосееновскую: она развращаетъ подчиненныхъ... Не они ли потеряли Нидерланды, Швейцарію, Рейнъ и преклоняли колѣна предъ Бонапартомъ? Я началъ поправлять — и глупою системою меня вяжутъ!.. Деликатность здѣсь неумѣстна. *Гдѣ оскорбляется слава русскаго оружія, тамъ потребны твердость дуга и настоятельность*».

Видя неподатливость Суворова, дипломаты и стратеги австрійскаго двора рѣшились нанести ему окончательный ударъ. Побѣда при Нови поселила въ нихъ ложную увѣренность, будто въ Италіи уже нечего болѣе опасаться; да и кромѣ того, присутствіе русскихъ все-таки мѣшало имъ прибрать Италію, какъ слѣдуетъ, къ своимъ рукамъ и задушить ее втихомолку. Готовясь къ завоеванію Генуи, съ тѣмъ, чтобы слѣдующей весной вторгнуться во Францію и кончить войну въ завоеванномъ Парижѣ, Суворовъ вдругъ получаетъ изъ Вѣны неожиданный приказъ — сдать команду надъ австрійскою арміею Меласу и идти съ русскими войсками въ Швейцарію. Вѣнскіе политики цѣлымъ рядомъ происковъ и хитрыхъ убѣжденій успѣли согласить на это распоряженіе и императора Павла. — «Успѣхи французовъ противъ цесарцевъ начнутся съ отбытіемъ русскихъ въ Швейцарію», утѣшалъ онъ фельдмаршала, въ отвѣтъ на его жалобу. Послѣ этого Суворову, конечно, не оставалось ничего, какъ только покориться необходимости и выстушить тѣмъ скорѣе, что вѣнскій дворъ требовалъ выступления *безотлагательно*.

Новый планъ военныхъ дѣйствій, изобрѣтенный Тугутомъ, заключался въ томъ, что союзныя войска займутъ операціонную линію между Нѣмецкимъ и Средиземнымъ морями, а русскіе сосредоточатся исключительно въ

Швейцаріи, откуда австрійскій эрц-герцогъ Карлъ, не дожидаясь даже прибытія Суворова, немедленно выступить къ среднему Рейну, между тѣмъ какъ герцогъ Іоркскій съ англичанами двинется туда же изъ Голландіи. Такими образомъ, два слабосильные русскіе корпуса, Римскаго-Корсакова въ Швейцаріи и Германа въ Голландіи, одинаково предавались австрійцами на вѣрную жертву: Корсаковъ—Массены, а Германъ—Брюна. Достаточно сказать, что, съ уходомъ эрц-герцога Карла, 24 тысячи Корсакова очутились противъ 84 тысячъ французовъ, занимавшихъ Швейцарію.

Это хитросплетеніе австрійскаго министерства составляло вѣнецъ козней Тугута: можно было разсчитывать навѣрное, что Германъ съ Корсаковымъ будутъ просто задавлены масса-ми французовъ, Суворовъ же погибнетъ въ альпійскихъ ледникахъ и пропасть, въ борьбѣ съ непреодолимой природой, и тогда, съ уничтоженіемъ русскихъ, никто и ничто уже не помѣшаетъ Австріи проглотить Цьмонтъ и Ломбардію.

Дѣлать было нечего.

— Иду!—воскликнулъ Суворовъ, прочтя настойчивое предписаніе, —иду! но горе тѣмъ, кто посылаетъ меня! Горѣ Австріи!.. Я билъ, да не добилъ французовъ, и злоумышленники раскаются, но поздно!

Фельдмаршалъ зналъ всѣ предстоявшія ему трудности, зная, что его армія встрѣтитъ на пути своемъ такія мѣста, гдѣ два человека едва могутъ пройти рядомъ, гдѣ и думать нельзя ни о повозкахъ, ни объ артиллеріи; гдѣ нечего разсчитывать на какія нибудь средства продовольствія, гдѣ, наконецъ, придется штыками пролагать себѣ дорогу сквозь узкія горныя тѣснины, уже загражденные французскими отрядами; зная оя также и то, что Массена не станетъ дожидаться его прибытія, а пользуясь уходомъ эрц-герцога Карла, попытается разбить Корсакова, что и случилось на самомъ дѣлѣ.

Всѣ распоряженія къ походу были сдѣланы съ обычной быстротой. Обозы и артиллерія должны были направиться кружнымъ путемъ, водой, а при арміи оставлено только двадцать пять горныхъ орудій, которыми навьючили муловъ. Австрійское полевое интендантство успокоило Суворова, что ему нечего заботиться о перевозочныхъ средствахъ, такъ какъ для него уже заготовлено въ Тавернѣ до полуторы тысячи вьючныхъ муловъ.

Усиленными маршами пришли русскія войска, 4-го (16-го) сентября, въ Таверну.—Передъ ними высились снѣжныя вершины Альповъ. Но каковы же были удивленіе и досада Суворова, когда ни въ Тавернѣ, ни въ окрестностяхъ не оказалось ни одного мула! Этотъ новый подвохъ австрійской политики рѣшительно ставилъ въ-тупикъ русскаго фельд-

маршала, предъ самыми глазами котораго возвышался хребетъ Монте-Ченаре, непроходимый ни для какихъ провіантскихъ повозокъ и доступный только вьюкамъ. Суворовъ видѣлъ, что даже при *его Суворовскомъ* расчетѣ на семидневный походъ отъ Таверны до Шпица, не было никакой возможности двинуться безъ муловъ. Теперь уже ему самому пришлось остановиться и ждать пять сутокъ, т. е., медлить, разрушая тѣмъ свою собственную диспозицію, отъ своевременнаго выполненія которой зависѣло, быть можетъ, спасеніе Римскаго-Корсакова. Но на этой-то остановкѣ собственно и строились расчеты нашихъ добрыхъ союзниковъ. Этого-то только имъ и нужно было.

Суворовъ горько жаловался въ письмѣ императору Павлу на всѣ эти далеко не двусмысленныя штуки, но съ солдатами поневолѣ высказывался иначе.

— Вотъ тамъ,—говорилъ онъ имъ, указывая на подымавшіеся съ сѣвера утесы,—тамъ безбожники французы... Ихъ мы будемъ бить по-русски... Горы велики, есть пропасти, есть водотеки, а мы ихъ перейдемъ—перелезимъ! Мы русскіе! Богъ нами водить. Лѣзши на горы, одни стрѣлки стрѣлай по головамъ врага,—стрѣлай рѣдко, да мѣтко, а прочіе шибко лѣзь въ розбынь. Взлѣзай, бей, коли, гони, не давай отдыху. Просящимъ пощада: грѣхъ напрасно убивать. Помилуй Богъ! Мы русскіе — Богу молимся. Онъ намъ помощникъ; царю служимъ, онъ на насъ и надѣется и насъ любить... Чудо-богатыри! Чада Павловы! Кого изъ насъ убьютъ,—царство небесное!.. Церковь Бога молить. Останемся живы,—намъ честь, слава, слава, слава!

Впрочемъ, солдаты очень хорошо понимали, чего не договариваетъ и даже вовсе не высказываетъ «отецъ». Имя Тугута въ войскахъ нашихъ произносилось съ проклятіемъ, какъ чума, и было извѣстно не только офицерамъ, но и каждому рядовому.

Маленькій городишко, пока въ немъ поневолѣ оставалась главная квартира русской арміи, кипѣлъ жизнью и многолюдствомъ. По главной улицѣ безпрестанно тянулись передвижавшіяся части войскъ, скакали въ разныя стороны посыльные казаки, кучки обывателей стояли тамъ и сямъ въ своихъ характерныхъ костюмахъ и съ обычной жестикуляціей оживленно разговаривали между собой, либо съ военными; пестрые юбки кокетливо мелькали въ улицахъ, хорошенькія личики любопытно выглядывали изъ окошекъ, изъ-за калитокъ, изъ зелени виноградниковъ... Множество разнаго офицерства появлялось съ бивуаковъ потолкаться по городу, закупить чего-нибудь въ лавкахъ, пообѣдать въ рестораціи, поразузнать новости и слухи изъ главной квартиры, которая какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ

становилась центромъ всѣхъ интересовъ и стремленій. Почти всѣ дома заняты были по-стоємъ, но для гостей съ бивуаковъ жители охотно уступали на нѣсколько часовъ помѣщеніе въ своихъ квартирахъ. Всѣ обыватели превратились на это время въ торговцевъ — кто продавалъ лепешки, кто вино, виноградъ, сыръ фрукты... Въ двухъ-трехъ трактирахъ была, такая тѣснота отъ офицеровъ, что новые по-сѣтители съ трудомъ протискивались въ ком-нату. Повсюду стоялъ шумъ и гомонъ, и было во всемъ этомъ нѣчто таборное, оживленно-страстное, жгучее и беззапѣтно-веселое. Здѣсь раздаются нѣжные звуки мандолины, тамъ свинью волокутъ за ноги, и визжитъ она бла-гимъ матомъ; съ ближайшаго бивуака звуки кавалерійской трубы несутся, въ другомъ кон-цѣ барабанъ грохочетъ «сборъ на капицу»; тутъ взрывы хохота, тамъ русская ругань, или нѣмецкая брань, итальянская пѣсня подъ акком-панементъ гитары и разухабистая всероссій-ская «барынька» съ «комаринскимъ». Въ трак-тирахъ играли въ банкъ, въ фараонъ и въ ко-сти. Кучи золота и серебра мгновенно перехо-дили изъ рукъ въ руки, и въ этой битвѣ на зеленомъ полѣ преимущественно отличались австрійскіе чиновники полевого интендантства. Эти господа жили и одѣвались роскошно, пили шампанское, развѣзжали въ комфортабельныхъ экипажахъ, возили за собой любовницъ, про-игрывали и выигрывали десятки тысячъ...

Русскія офицеры насчетъ шампанскаго и вообще вина тоже въ грязь лицомъ не ударяли: послѣдняя копейка шла ребромъ, а вслѣдствіе игры между ними и австрійцами нерѣдко про-исходили ссоры. Вообще, наши на «господъ австрійцевъ» смотрѣли теперь не только косо, но даже враждебно; союзники, конечно, плати-тили намъ тѣмъ же, однако не мы первые подали къ тому поводъ.

Зайдя какъ-то разъ закусить въ одинъ изъ трактировъ, Череповъ столкнулся тамъ съ По-плжевымъ и еще кое съ кѣмъ изъ знакомыхъ офицеровъ: сѣли за общій столъ, заболтались за кружками вина, а потомъ придвинулись къ тому концу, гдѣ австрійскій шикарный офи-церъ металъ банкъ, окруженный тѣсною толпою союзнаго офицерства, и стали слѣдить за иг-рой. Череповъ поставилъ карту и, малу-по-ма-лу, увлекся. Вскорѣ кошелекъ его оказался пустъ. Съ досады на проигрышъ и съ понят-нымъ желаніемъ отыграться, онъ разстегнулъ изъ-подъ камзола свой кожаный *чересъ*, въ которомъ хранились всѣ его деньги, и поло-жилъ его на столъ передъ собой. Но вскорѣ и изъ череса исчезъ послѣдній червонецъ.

Василій Ивановичъ сѣлъ подпершись рукой и задумался.

— Herr Oberst, ваша карта? — спросилъ щеголеватый австріецъ.

— У меня нѣтъ карты... Я не играю боль-

ше, — съ внутренней досадою и потому отрыви-сто проговорилъ Череповъ.

— Затѣмъ такъ? — съ тонкой усмѣшкой при-щурился на него банкометъ.

— Затѣмъ, что я проигралъ все, до копей-ки, и теперь ничего больше не имѣю.

— Ва! — фатовато возразилъ австріецъ, — пока у человѣка есть мундиръ на плечахъ и, наконецъ, собственная жизнь, онъ не можетъ сказать, что ничего не имѣетъ.

Череповъ внутренне дрогнулъ, почувство-вавъ кровное оскорбленіе. Онъ похмуро повелъ глазами на окружающихъ и въ упоръ остано-вилъ свой твердый взглядъ на блистательномъ офицерѣ.

— Русскіе мундиромъ не торгуютъ и от-нюдь не позволяютъ себѣ ставить его на кар-ту, — сказалъ онъ вѣскимъ и спокойнымъ голо-сомъ, — а что касается до жизни, то извольте, я готовъ, но съ тѣмъ, что ежели кто изъ насъ проиграетъ, тотъ всадитъ себѣ пулю въ лобъ сейчасъ же, здѣсь на мѣстѣ.

Опѣшенный фанфаронъ смутился и сталъ бы-ло вѣжливо и мягко объяснять, что онъ хотѣлъ вовсе не то сказать и не такъ понять...

— Безъ объясненій! — перебилъ его Чере-повъ, — чего тамъ не такъ понять! Я отлично понялъ, что вы мнѣ сдѣлали вызовъ, и я его принялъ. Надѣюсь, и всѣ здѣсь поняли это точно такъ же?

— Конечно вызовъ! — подтвердили нѣсколько русскихъ офицеровъ.

— Господа австрійцы, ваше мнѣніе? — спро-силъ кто-то.

Тѣ отвѣчали молчаливымъ пожатіемъ плечъ и въ замѣшательствѣ только переглядывались между собой.

— Камрадъ! — обратился межъ-тѣмъ Чере-повъ къ какому-то казачьему офицеру, — вы, кстати при пистолетѣ. Заряженъ онъ у васъ?

— Непремѣнно, полковникъ.

— Въ такомъ разѣ, одолжите-ка его сюда на минутку.

И Череповъ, внимательно осмотрѣвъ кремь и полку, положилъ врученный ему пистолетъ на столъ между собой и австрійцемъ.

— Ну-съ, милостивый государь, теперь я къ вашимъ услугамъ. Не угодно ли!

Онъ вынулъ на удачу первую попавшую, карту. Это была трефовая восьмерка!

Австріецъ, принужденно улыбаясь началъ метать.

Въ комнатѣ водворилась вдругъ мертвая ти-шина. Всѣ присутствующіе тѣсно столпились вокругъ стола и, затаивъ дыханіе, напряженно слѣдили, какъ ложатся карты.

— Направо — налѣво... на право — налѣво...

— Дана! — сорвался вдругъ общій крикъ, когда наконецъ выпала роковая восьмерка...

Австріецъ поблѣднѣлъ. — Череповъ не ми-

гнулъ даже глазомъ: лицо его оставалось холодно и спокойно.

Бросивъ карты, смущенный фанфаронъ опустилъ руки и молчалъ, какъ школьникъ, пойманный на мѣстѣ.

Противникъ выжидательно смотрѣлъ на него вопросительнымъ взглядомъ.

— Негг Ober-г, вѣдь это шутка? безъ сомнѣнія? да?—тревожно обступили его австрійцы, сдѣлавшіеся вдругъ очень милыми и любезными, — неправда ли? Вы не потребуете отъ молодого человѣка подобной жертвы!

— Я не шутить, господа, ставя мою жизнь на карту,—холодно и твердо возразилъ имъ Череповъ,—и еслибы я проигралъ жизнь, то не принялъ бы ее въ подавленіе отъ противника; а за тѣмъ государь мой,—обратился онъ къ банкету,—такъ какъ пистолетъ до сихъ поръ еще не разряженъ вами, то оставляю вашъ поступокъ на вашу совѣсть.

И сухо раскланявшись съ австрійцемъ, онъ удалился изъ трактира.

— Василій Ивановичъ... другъ... благодѣтель! — остановилъ его вдругъ на порогѣ кинувшійся за нимъ въ догонку Поплюевъ. — Вотъ это такъ!.. Это по-русски, растакъ ихъ душу!.. По-русски... хорошо, голубчикъ!.. хорошо!—растроганно сюсюкалъ онъ своимъ залетающимъ лепетомъ, горячо и крѣпко пожимая руку Черепова. — Вы все проиграли? и «гельдъ ништу» значить?

— Ни копыя не осталось... Да ну ихъ! Это все равно!—нетерпѣливо махнулъ рукой Череповъ, сходя со ступеней.

— Минутку!.. минутку, сударь,—остановилъ его Прохоръ. — У меня до васъ преусердная просьба... Не откажите.

— Что прикажете?

— Будьте столь добры, возьмите у меня взаймы!

— Убирайтесь Поплюевъ.

— Ахъ, ахъ, камрадъ!.. Это ужъ, извините, не по товарищески... Чего намъ кичиться! Свои люди—сочтемся! У меня тысяча червонцевъ,—возьмите пятьсотъ!.. Бога ради!.. Умоляю, не обидьте меня!.. Если не возьмете, то симъ вы доказуете только ваше ко мнѣ презрѣніе, а я дворянинъ такой же, какъ и вы... И за что же?..

— Ну, инъ-быть по вашему! Давайте!—согласился Череповъ.

— Другъ!.. Товарищъ!.. Вотъ... вотъ это такъ!—восторженно кинулся къ нему на шею Поплюевъ. — Благодарствую вамъ, сударь!.. Отъ всей моей признательной души, благодарствую!.. А тотъ шельмецъ,—драматически указалъ онъ жестомъ на трактиръ, подразумевая австрійца,—пускай въ презрѣніи влачить злосчастны дни!.. Ну, а теперъ выпьемъ!

И растроганный Прошка былъ совершенно счастливъ.

Стоустая молва въ тотъ же день разнесла

поступокъ Черепова по всему русскому стану, и Милорадовичъ, этотъ «Баярдъ своего времени» — съ восторгомъ разсказалъ о немъ Суворову.

— Поединщикъ?!—весело встрѣтилъ Черепова фельдмаршалъ, когда тотъ по должности явился къ нему на слѣдующее утро. — За мундиръ жизнь на карту?! Молодецъ! Помилуй Богъ!.. Павлово чадо!.. Спасибо, что за честь російскаго мундира постоялъ и не дался въ обиду *нихт-беитимт-загеру*!.. А за то, что въ запрещенную игру покусился, ступай подъ арестъ немедленно.

Таковъ былъ неожиданный финалъ Суворовскаго привѣтствія. Но арестъ Черепова продолжался не долго: передъ обѣдомъ дежурный адъютантъ принесъ ему на гауптвахту его шнагу и отъ имени фельдмаршала передалъ, что «Свѣтлѣйшій ожидаетъ его спартагской похлебки и желѣзной каши кушать».

XXV.

Чортовъ мостъ.

Послѣ долгаго недоразумѣнія о томъ, какъ быть безъ муловъ, великому князю Константину Павловичу блеснула счастливая мысль—употребить подъ выюки казачьихъ лошадей. Искренно поблагодаривъ его высочество за добрый совѣтъ, Суворовъ тотчасъ же приказалъ спѣшить полторы тысячи казаковъ, а ихъ коней навьючить провіантомъ. Устранивъ такимъ образомъ всѣ помѣхи, русская армія двумя колоннами двинулась 10-го (22-го) сентября къ Сенъ-Готарду. Авангардами командовали Багратионъ и Милорадовичъ.

Утро этого дня было пасмурно и ненастно. Отъ Таверны до Сенъ-Готарда шли трое сутокъ, въ теченіе которыхъ дождь не переставалъ лить-ливня, а рѣзкій сѣверный вѣтеръ съ горъ пронизывалъ насквозь. Войска располагались на бивуакъ подъ кровомъ сырыхъ, холодныхъ ночей, дрогли отъ стужи, мокли отъ слякоти и до разсвѣта поднимались въ походъ. Вся армія тянулась гусемъ по узенькимъ тропинкамъ, то взбираясь на высочайшія горы, то спускаясь въ пропасти; часто и вовсе не видали тропинку, а такъ, махали-себѣ на удачу; часто переходили въ бродъ глубокіе быстротокы, выше колынь въ водѣ, а два раза и по-поясъ ея было. Одна крутизна, выше и длиннѣе прочихъ, умучила войска до усталы души. Переходы были нескончаемые: съ ранней зари до глубокихъ сумерокъ все шли и шли ускореннымъ шагомъ, и на узкой торной тропѣ многіе изъ солдатъ, оскользнувшись, неслись кубаремъ внизъ и разбивались объ острые камни; много выюковъ вмѣстѣ съ лошадьми погибло въ пропастяхъ. Одинъ офицеръ, весело разговаривая и перекликаясь съ

товарищами, вдруг полетѣлъ стремглавъ внизъ съ своею лошадыю, съ такой отвѣсной высоты, что духъ занимало при одномъ взглядѣ внизъ. Сверху не видать было даже и мѣста, на которое онъ упалъ... Солдаты только пере-крестились за упокой его души и не останавливаясь двигались далѣе. Каждый заботился лишь о собственномъ своемъ спасеніи, потому что помощь подать было невозможно. Кто поскользнулся или оступился—могъ считать себя мертвымъ. И на этихъ-то вершинахъ свистали вихри и ревѣла осенняя буря, низвергая съ вершинъ страшные камни и глыбы, паденіе которыхъ раздавалось въ горахъ громовыми раскатами; снѣжные лавины обрушивались на тропу и хоронили подъ собой случайно повернувшихся солдатъ, тогда какъ слѣдующіе люди должны были перебраться черезъ массу лавины, утопая въ рыхломъ снѣгѣ. Шумные водопады до того заглушали воздухъ, что въ пяти шагахъ не слышать было иногда голоса человѣка, кричавшаго изо всей мочи. Мятель и вьюга порою совершенно заматали слѣдъ предшествовавшего путника, и дѣлалось это мгновенно, такъ что всѣ переходили опасное мѣсто чисто на-удалую. Много и погибло при этомъ... Иногда въ одинъ день русской арміи случалось проходить всѣ климаты и испытывать всѣ возможные погоды. Нерѣдко на высотѣ горы, покрытой вѣчнымъ льдомъ и снѣгомъ, все войско начинало коченѣть отъ чрезвычайной стужи и рѣзкаго вѣтра. Даже мѣстные проводники трепетали въ этомъ «холодномъ аду» и наконецъ разбѣжались. Горизонтъ былъ сжатъ громадными тѣснинами, небо было хмуро,—ни единого солнечнаго луча!—и вся природа какъ будто злобствовала. Каждый солдатъ, отищенный своею ношей и утомленный до изнеможения, долженъ былъ еще взлѣзать на каждую гору, какъ на штурмъ крутого вала, или отвѣсной стѣны. Многіе изъ офицеровъ вовсе не имѣли ни вьюковъ, ни верховыхъ лошадей: скатать шинель черезъ плечо, они несли сами въ узелкѣ насущное пропитаніе и все свое походное имущество. — «Чудесно и непостижимо, какъ не истощилось мужество и неутомимость войскъ! восклицаетъ свидѣтель и очевидецъ этихъ ужасовъ. — Одинъ, изнемогшій подъ тягостію всѣхъ сихъ изнуреній, могъ бы остановить ходъ всей колонны» ¹⁾. Но тутъ былъ живой примѣръ передъ глазами—самъ Суворовъ. Среди всѣхъ этихъ ужасовъ, верхомъ на казачьей лошаденкѣ, едва влачившей ноги, фельдмаршалъ все время ѣхалъ подлѣ солдатъ, удивляя всѣхъ легкостью своей одежды: обыкновенный мундиръ, бѣлый камзолъ, такіе же панталоны съ полуботфортами, круглая большая шляпа съ опускными полями, взятая у какого-то капуцина и ветхій, ничѣмъ не под-

битый синій плащъ, или «епанча», которая досталась ему еще отъ отца и всей арміи извѣстна была подъ названіемъ «родительской»,—вотъ и все, что имѣлъ на себѣ Суворовъ, забывшій, казалось, свои семьдесятъ лѣтъ. О-бокъ съ нимъ тащился на казачьей же клячѣ нѣкто Антоніо Гамма, старичекъ изъ Таверны, у котораго въ домѣ фельдмаршалъ основалъ свою главную квартиру, во время невольной пятидневной остановки. Очарованный до восторга характеромъ и образомъ русскаго полководца, Антоніо далъ ему обѣщаніе слѣдовать за нимъ въ горы и, бросивъ въ Тавернѣ жену съ дѣтьми и внуками, сдержалъ свое слово. Онъ служилъ отличнымъ проводникомъ для арміи и облегчалъ Суворовскому штабу сношенія съ мѣстными жителями.

Русскія войска одновременно приблизились къ непріятельской позиціи съ двухъ противоположныхъ сторонъ, и ночь на 13-е (25-е) сентября провели неподалеку отъ Сень-Готарда, вершину котораго занималъ отрядъ непріятеля.

Сень-Готардъ былъ почти недоступенъ со стороны Италіи: единственная тропинка едва-едва проходимая для вьюковъ, извилисто поднималась по крутому свѣсу горы и, взбѣгая до самой вершины Сень-Готарда, гдѣ, на высотѣ 6,800 футовъ, стоялъ страннопріимный домъ капуцинскихъ монаховъ,—нѣсколько разъ пересѣкала два горные потока, глубокія ложбины которыхъ бороздили кручу. Но всѣ эти препятствія не остановили однако формальной атаки русскихъ. Три раза штурмовали они недоступныя скалы и наконецъ взяли снѣжную вершину Сень-Готарда. Французы, въ послѣднемъ отступленіи, спустились къ деревнѣ Госпиталь. Суворовъ сейчасъ же поѣхалъ въ страннопріимный монастырь, у воротъ котораго его встрѣтили всѣ капуцины и самъ семидесятилѣтній пріоръ, бѣлый, какъ лунь. Онъ отслужилъ, по просьбѣ фельдмаршала, благодарственный молебенъ, а затѣмъ пригласилъ его и всю свиту въ братскую трапезу, гдѣ Суворовъ съ большимъ аппетитомъ ѣлъ монашескій обѣдъ изъ картофеля и гороха и весело разговаривалъ съ пріоромъ на разныхъ языкахъ. Образованный пріоръ былъ въ большомъ удивленіи отъ разнообразныхъ знаній и начитанности русскаго полководца. Отдохнувъ нѣсколько времени на снѣгахъ Сень-Готарда, русскіе спустились къ деревнѣ Госпиталь, атаковали здѣсь непріятеля и, уже ночью, въ совершенной темнотѣ, ворвались въ самую деревню, откуда французы бросились бѣжать. Видя невозможность преслѣдовать ихъ войсками, которые едва держались на ногахъ отъ чрезвычайнаго истомленія, Суворовъ отрядилъ въ погоню одинъ только полкъ генерала Велецкаго (Бутырскій), а прочіе полки оставилъ на бивуакахъ въ Госпиталѣ, къ чему, между прочимъ,

¹⁾ Е. Фуксъ, стр. 177.

побуждала его и неизвестность о результатах, добытых Розенбергомъ, который командовалъ второю колонною, направленною въ обходъ, для овладѣнія деревней Урзерномъ.

Результаты эти были удачны не менѣе Суворовскихъ. Подойдя къ Урзерну, Розенбергъ началъ стягивать и устраивать свои полки на уступѣ высокой горы, у подошвы которой расположились французы готовые къ бою. Пока весь корпусъ успѣлъ собраться на уступѣ, густой, непроницаемый туманъ уже повисъ надъ всею окрестностію, и медлить долѣе было нельзя. Розенбергъ отдалъ войскамъ приказаніе—какъ можно тише сойти съ горы и разомъ ударить на французовъ. Но спускъ былъ такъ ужасно крутъ, что солдаты невольно остановились передъ нимъ въ недоумѣніи. Видя эту нерѣшительность и колебаніе, Милорадовичъ вышелъ впередъ и обратился къ солдатамъ:

— Коли вы такъ, то смотрите же, какъ возьмутъ въ плѣнъ вашего генерала! — крикнулъ онъ рѣшительнымъ голосомъ, и съ этими словами вдругъ покатылся съ уступа на спянь.

Этотъ отчаянно-лихой примѣръ электрически подѣйствовалъ на людей: вслѣдъ за Милорадовичемъ русскія войска *скатились*—въ буквальномъ смыслѣ этого слова—въ долину и, давъ по неприятелю дружный залпъ, съ крикомъ «ура!» кинулись на него въ штыки. Этотъ натискъ, не подозрѣваемый противникомъ, былъ столь рѣшителенъ и быстръ, что французы, будучи опрокинуты, смяты и охвачены съ обоихъ фланговъ, бросились бѣжать лѣвымъ берегомъ Рейсы, оставя въ рукахъ побѣдителя три орудія. За наступившею темнотою ночи, ихъ невозможно было преслѣдовать по незнакомой и крайне опасной горной мѣстности, и потому Розенбергъ немедленно занялъ Урзернъ, расположась около него лагеремъ. Въ Урзернѣ было нами захвачено 370,000 боевыхъ патроновъ и дневной запасъ провіанта, въ которомъ мы терпѣли существенную нужду.

Такъ кончился нашъ первый *боевой день* въ Швейцаріи. Ночь на 14-е сентября оба русскіе корпуса провели въ разстояніи трехъ верстъ одинъ отъ другого, хотя и безъ прямого сообщенія между собою. Генералъ Лекюрбъ, наугадъ противникъ, побросавъ большую часть своихъ орудій въ Рейсу, успѣлъ, однако, въ эту же ночь перелѣзть чрезъ страшный хребетъ Бетцбергъ, высотой до 7000 футовъ, спуститься къ деревнѣ Гешененъ, стать по ту сторону Чортова моста и такимъ образомъ все-таки заградить русскимъ дальнѣйшую дорогу. Утромъ, 14-го сентября, Суворовъ соединился съ Розенбергомъ въ Урзернѣ. Въ верстѣ отъ этой деревни, на пути нашей арміи, находилась такъ называемая Урнерская дыра (Urner Loch), т. е., низкое подземное отверстіе въ восемьдесятъ шаговъ длиною, шириною же не болѣе какъ на столько, чтобы пройти одному человѣку и выко-

ному мулу. Таково оно было въ тѣ времена. Самый проходъ пробить между громадными утесами, отвѣсно возстающими изъ самаго русла Рейсы. Въ трехстахъ шагахъ за Урнерскою дырою, на томъ же пути, находится знаменитый мостъ, которому сами мѣстные обыватели дали названіе «Чортова» (Teufelsbrücke). Уже по самому названію можно приблизительно судить, что это такое. Чортовъ мостъ — искусственная арка, какъ будто нечеловѣческими усиліями переброшенная съ утеса надъ бездною Рейсы, на высотѣ 75-ти футовъ. Рейса въ этомъ мѣстѣ съ громовымъ трескомъ и съ быстротою молніи, вздымая огромныя тучи, водяной пыли и брызгъ, бѣшено прыгаетъ съ высоты двухсотъ футовъ съ уступа на уступъ, съ камня на камень и стремительно низвергается съ ревомъ и гнѣвою подъ Чортовъ мостъ въ глубокія пропасти. Въ этихъ тѣснинахъ, казалось, сама природа какъ будто хотѣла испытать, дѣйствительно ли нѣтъ ничего невозможнаго для русскихъ войскъ,—и что же! Быстро появился Суворовъ предъ Урнерскою дырою. Но едва головная колонна вступила въ самое подземелье, какъ была встрѣчена ружейными и пушечными выстрѣлами, тотчасъ же доказавшими, что пробиться сквозь эту страшную дыру физически невозможно. Тогда Суворовъ отряжаетъ въ обходъ двѣ колонны — одну по правому, другую по лѣвому берегу Рейсы. Полковникъ Трубниковъ съ тремястами охотниковъ долженъ былъ нечеловѣческими усиліями взобраться съ правой стороны на скалы, висѣвшія надъ самою «дырою», а майоръ Тревогинъ, во главѣ двухсотъ егерей, тоже охотниковъ, спустился съ двухсотъ-саженной высоты въ самую Рейсу и, поясь въ водѣ, перебравшись съ неимоверными усиліями черезъ бурно-стремительный потокъ, началъ карабкаться на горныя кручи противоположнаго (лѣваго) берега. За Тревогинымъ послѣдовалъ полковникъ Свищевъ съ цѣлымъ батальономъ. Кому довелось видѣть воочию эти громады отвѣсныхъ утесовъ, тотъ и теперь съ трудомъ вѣрить, чтобы войска (и въ особенности всеѣмъ непривычныя къ горной войнѣ) могли собирать на такіе непреступныя крутизны. Трубникову удалось ранѣе лѣвой колонны взобраться на скалы надъ Урнерскою дырою, и неожиданное появленіе его здѣсь, надъ головою противника до того изумило и встревожило французовъ, что передовой ихъ отрядъ, опасаясь какъ бы его не отрѣзали, немедленно же покинулъ свою позицію передъ выходомъ изъ подземелья, а войска, стоявшія позади Чортова моста, второпяхъ начали ломать каменную мостовую кладку. Такимъ образомъ, передовому ихъ отряду уже не было отступленія. Батальонъ Мансурова, пользуясь этою суматохой, прорвался сквозь дыру и бросился въ штыки на французовъ. Припертые къ краю пропасти,

эти герои не сдавались. Они бросили свое оружие въ Рейсу и, вслѣдъ за нимъ, большіе частіи сами погибли въ ея кипячихъ волнахъ; остальное же было переколото на мѣстѣ.

Несмотря на огонь нашихъ стрѣлковъ, французы, стоявшіе за мостомъ, успѣли разорвать значительную часть мостовой арки. Образовавшійся провалъ былъ такъ широкъ, что не давалъ уже возможности перепрыгнуть черезъ него на лѣвый берегъ, гдѣ разсыпалась густая цѣпь непріятельскихъ стрѣлковъ: за каждымъ камнемъ, за каждой скалой, и вдоль самой дороги, и внизъ у рѣки, и наверху по горамъ—вездѣ торчали ружейныя дула, отовсюду летѣли мѣткія пули...

Русскія войска остановленные проваломъ тоже поспѣшили окаймить свой берегъ застрѣльщиками и, подъ защитой ихъ огня, прыгали со скалъ, пробирались къ самому руслу Рейсы, карабкались на утесы, чтобы ловче поражать непріятеля выстрѣлами. Живая перестрѣлка кипѣла съ обѣихъ сторонъ ущелья, всѣ ребра горъ подернулись дымомъ. Между тѣмъ, охотники Тревогина и батальонъ Свищева уже достигли горныхъ вершинъ противнаго берега и спускались оттуда въ тылъ непріятеля. Вслѣдъ за ними генераль-майоръ Каменскій, со своимъ Архангело-городскимъ мушкетерскимъ полкомъ, еще близъ Урзерна перейдя на лѣвую сторону Рейсы, взобрался на страшный хребетъ Бетцбергъ и грозилъ правому флангу противника. Это, наконецъ, заставило французовъ подумать о своемъ спасеніи, и они начали отступать отъ моста.

Череповъ, посланный осмотрѣть, въ какомъ состояніи находится переправа и есть ли хоть малѣйшая возможность перейти на ту сторону прямой дорогой, стоялъ около самаго моста и разговаривалъ съ майоромъ Мещерскимъ. Чуть лишь замѣтили они, что французы на той сторонѣ подаются назадъ, начиная несомнѣнную ретираду, какъ бросились съ ротою солдатъ къ сараю, случившемуся по близости, и вмгъ выдернули изъ его стѣнъ нѣсколько бревенъ.

— Господа офицеры, давайте сюда свои шарфы! Всѣ, сколько есть! больше! несите живѣе!—кричали они ближайшимъ товарищамъ,—передавайте дальше, другимъ, чтобы шарфы сюда!.. Торопитесь!..

И вотъ, черезъ нѣсколько минутъ, передъ ними лежала куча офицерскихъ шарфовъ. Узлами связавъ ихъ одинъ съ другимъ, скрутили нѣчто въ родѣ канатовъ и вплотную соединили нѣсколькими изъ нихъ три-четыре бревна, затѣмъ—закрѣпивъ импровизованнымъ длиннымъ канатомъ верхній конецъ этихъ бревенъ, стоймя поднесли ихъ къ самому краю провала и, упревъ нижнимъ концомъ въ землю, осторожно опустили на шарфяномъ канатѣ другой конецъ на противоположную сторону моста. По этой то зыбкой переправѣ первымъ пере-

шелъ на тотъ берегъ майоръ Мещерскій; за нимъ слѣдовалъ ординарецъ-казакъ, а далѣе Череповъ. Казакъ на серединѣ потерялъ равновѣсіе, мгновенно оборвался и стремглавъ полетѣлъ въ кипящую бездну. Удержать его не было возможности. За Череповымъ, помогая другъ другу, перешло еще нѣсколько офицеровъ, бывшихъ въ головѣ колонны. Храбрый Мещерскій едва ступилъ на противный берегъ, какъ тутъ же былъ смертельно раненъ, и только успѣлъ сказать товарищамъ: «Не забудьте меня въ реляціи», какъ уже опрокинулся со скалы и расшибся въ безднѣ.

Въ это время полковникъ Свищевъ и майоръ Тревогинъ спустились съ горъ и погнали отступавшаго непріятеля, положивъ вдоль узкой дороги до 280 французовъ.

Однако, для перехода черезъ Чортовъ мостъ главныхъ силъ арміи, бревенчатая перекладина, брошенная черезъ провалъ, была далеко недостаточна; требовалось что-нибудь болѣе прочное. Эта работа была тутъ же поручена австрійскимъ пионерамъ, находившимся при нашей арміи. Но нѣмцы до того медленно приступали къ поправкѣ поврежденной части моста и такъ методически измѣряли и рассчитывали каждый вершокъ, что генераль-Рейндеръ, потерявъ всякое терпѣніе, приказалъ вызвать въ нашихъ полкахъ людей, знающихъ плотничье дѣло. Таковыхъ явилось до сотни. Имъ вручили австрійскіе инструменты, и они въ ту же минуту принялись за работу по-своему: натаскали бревенъ, хворосту, досокъ,—и въ какой-нибудь часъ времени мостъ былъ отличнѣйшимъ образомъ исправленъ. Нѣмцы, изумленные быстротою русской работы, только поглядывали на готовый мостъ, да приговаривали:

— Ja!.. fertig!.. Das ist gut! *)

— То-то гутъ!—отвѣчалъ имъ русскій солдатикъ, распорядившійся работой. — Вы бы и до вечера гутѣли, а дѣлу ходу бы не дали.

Рейндеръ представилъ его Суворову, когда тотъ подошелъ осмотрѣть только-что оконченный мостъ.

— Русскій на все пригоденъ!—воскликнулъ фельдмаршалъ. — Помилуй Богъ! на все, на все... и бить врага, и служить Богу и царю. У другихъ этого нѣтъ, а у насъ все есть!

И онъ щедро наградилъ солдата деньгами. Вся колонна немедленно же перешла Рейсу и слѣдовала черезъ деревню Гешененъ къ Вазену. На всемъ этомъ протяженіи, Рейса неслется еще въ видѣ бурнаго потока, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ низвергается водопадами. Дорога то и дѣло перекидывается съ одного берега на другой. Нѣсколько животрепещущихъ мостиковъ, испорченныхъ непріятелемъ, чрезвычайно замедляли наступленіе русскихъ, такъ

*) Да, готовъ!.. хорошо!

что главные их силы уже поздней ночью достигли Вазена, сдѣлавъ въ этотъ день переходъ только въ двѣнадцать верстъ. Но зато и переходъ же!..

XXVI.

Въ царствѣ ужасовъ.

Утромъ 15-го (27-го) сентября Суворовъ выступилъ далѣе, на Альторфъ. Движеніе это происходило по столь же трудной дорогѣ, представляющей одно непрерывное дефиле. Въ Альторфѣ, занятомъ нами также съ бою, Суворовъ рассчитывалъ найти австрійскую флотилію, готовую перевезти его войска черезъ Люцернское озеро въ Швицъ, но флотиліи не оказалось: французы, отступившіе изъ Альторфа къ Люцерну, успѣли захватить всѣ средства къ переправѣ. Со Швицемъ же не было отсюда никакихъ сухопутныхъ сообщеній, кромѣ двухъ тропинокъ, поднимающихся на ужасающую высь Росштокъ и ведущихъ черезъ снѣжный хребетъ въ долину Муттенскую, по которой открывается путь къ Швицу. Но тропинки эти въ позднее время года доступны развѣ для однихъ лишь смѣлыхъ альпійскихъ охотниковъ, привыкшихъ съ малолѣтства, въ своихъ особенныхъ, острымъ желѣзомъ подкованныхъ башмакахъ, карабкаться по громаднымъ утесамъ и пустыннымъ ледникамъ. Только тутъ въ Альторфѣ, увидѣвъ съ ужасомъ Суворовъ, куда завели его австрійскіе колонновожатые—Вейротеръ, Рихтеръ и другіе. Малочисленная русская армія была поставлена въ безвыходное положеніе, и затаенная коварная цѣль Тугута казалась уже достигнутою. Къ довершенію безпокойства Суворова, не было еще никакихъ извѣстій о Корсаковѣ, для соединенія съ которымъ принесено уже столько жертвъ и совершено столько подвиговъ. Между жителями носились, впрочемъ, какіе-то смутные слухи, будто-бы еще наканунѣ происходилъ упорный бой на Линтѣ и союзники чуть ли не потерпѣли въ немъ пораженіе.

Что будетъ съ отрядами Линкена и Готце, остававшимися пока еще въ Швейцаріи—до прибытія Суворова! Что будетъ съ Корсаковымъ, если самъ Суворовъ не достигнетъ назначеннаго сборнаго пункта въ Швицѣ! Что будетъ съ нимъ, если даже опоздаетъ онъ туда къ условленному сроку! Что будетъ, наконецъ, и съ самой арміей Суворова, безъ тѣхъ запасовъ продовольствія, которые рассчитывалъ онъ найти въ Швицѣ!.. Уже въ Альторфѣ армія эта терпѣла крайнюю нужду, несмотря на захваченные магазины, изъ коихъ на долю каждого солдата досталось по три пригоршни муки. Весь провіантъ, какой люди несли на себѣ, почти вышелъ, а вьюки не могли поспѣвать за колонною: безконечной лентой растя-

нулись они по всему протяженію дороги отъ самой Таверны до Альторфа. Части непріятельскихъ войскъ, которыя при отступленіи бросились изъ долины Рейсы въ боковыя ущелья, могли ежеминутно отрѣзать вьюки и окончательно предать русскую армію голодной смерти. Отступать было некуда: вся дорога, т. е., по большей части едва-проходимая тропинка, была загромождена вьюками, да и непріятель все время преслѣдовалъ бы и съ тылу, и съ фланга. Самъ Лекурбъ, тоже отличавшійся необыкновенной рѣшимостію, не допускалъ даже и мысли, что Суворовъ отважится вести свое войско далѣе—по тропинкамъ Росштока, оставивъ за собой 6,000 непріятеля.

И однако-жъ, русскій полководецъ, не колеблясь ни минуты, избралъ именно этотъ путь, и даже самую трудную изъ этихъ тропинокъ, потому что она прямѣе ведетъ къ деревнѣ Муттенъ, а онъ рѣшился—во что бы то ни стало—добраться до условленнаго сборнаго пункта въ Швицѣ. Ни одной арміи въ мірѣ не случилось еще проходить по такимъ страшнымъ стремнинамъ!

Не потерявъ ни одного дня въ Альторфѣ, Суворовъ на разсвѣтъ, 16-го числа, двинулъ на Росштокъ свой авангардъ, подъ командой князя Багратиона. Постепенно тропинка дѣлалась все круче и уже, а мѣстами и вовсе исчезала на скалахъ. Войска должны были взбираться по-одиночкѣ, гуськомъ, то по голымъ камнямъ, то по скользкой глинѣ. Въ иныхъ мѣстахъ приходилось карабкаться какъ-бы по ступенямъ, на которыхъ не умѣщалась и подошва ноги; въ другихъ мелкіе шиферные камешки осыпались отъ каждаго шага; далѣе приходилось выше колѣна вязнуть въ рыхломъ снѣгѣ, которымъ одѣта вершина хребта. Тяжело было и пѣшимъ взбираться на такую гору: но чего же стоило провѣсти лошадей и муловъ, навьюченныхъ орудіями, зарядами и патронами! Бѣдныя животныя едва передвигали ноги: нерѣдко они, какъ и прежде, обрывались съ узкой тропинки, летѣли стремглавъ съ кручи и разбивались о камни, увлекая иногда и людей за собой. Здѣсь, еще болѣе чѣмъ прежде, каждый невѣрный шагъ стоилъ жизни. Часто темныя облака, проносясь по скатамъ горы, охватывали колонну густымъ туманомъ, обдавали холодной влагой до того, что люди были измочены, какъ проливнымъ дождемъ. Погруженные въ сырую мглу, они продолжаютъ лѣзть ощупью, не видя ничего, ни сверху, ни снизу; выбившись изъ силъ, на время приостановятся, отдохнуть—и снова начинаютъ карабкаться. У всѣхъ почти солдатъ и офицеровъ, избилась и обтрепалась здѣсь и послѣдняя обувь. Сухарные мѣшки уже совсѣмъ опустѣли, такъ что нечѣмъ было и подкрѣпить истощенныя силы. Но несмотря на крайнее утомленіе, полубоссыя, голодныя войска русскія все еще не теряли духа. На

всемъ этомъ переходѣ великій князь Константинъ Павловичъ шелъ пѣшкомъ съ авангардомъ князя Багратиона. Было уже далеко за полдень, когда голова авангарда добралась до вершины хребта. Спускъ съ него былъ не менѣе труденъ, чѣмъ подъемъ: отъ шедшихъ предъ тѣмъ дождемъ грунтъ сдѣлался до того вязкимъ и скользкимъ, что во многихъ мѣстахъ приходилось сползать по крутымъ скатамъ, гдѣ, при малѣйшей неосторожности или невѣрно рассчитанномъ шагѣ, ожидала неминуемая смерть въ глубокихъ пропастяхъ. Это, по истинѣ, были картины изъ Дантова «Ада», и не даромъ самъ Суворовъ въ донесеніи своемъ называлъ ихъ «царствомъ ужасовъ».

Одолевъ въ теченіе двѣнадцати часовъ шестнадцать верстъ такихъ, на переходъ которыхъ даже самые привычные охотники употребляютъ не менѣе восьми часовъ времени, Багратионъ къ пяти часамъ вечера спустился съ головой своего авангарда въ Муттенскую долину, тотчасъ же атаковалъ французскій постъ предъ деревней Муттенъ, заставилъ его положить оружіе и занялъ деревню. Несмотря на свою малочисленность, остальные части авангарда до того растянулись по узкой дорогѣ, что собрались у Муттена только поздно ночью, и какъ ни были онѣ утомлены, однако-жь простояли всю ночь на позиціи, въ полной готовности къ бою.

Въ то время, какъ голова авангарда уже давно достигла Муттена, хвостъ арміи еще и не трогался изъ Альторфа. Все протяженіе тропинки отъ того до этого пункта представляло непрерывную нить людей и выюковъ. Въ такомъ положеніи войска встрѣтили ночь. «Счастливы были тѣ, говоритъ историкъ ¹⁾, которые успѣли перебраться черезъ вершину горы и расположиться на первой встрѣтившейся площадкѣ. Правда, и тамъ ночлегъ не слишкомъ былъ покойный: ночь холодная; ни одного деревца на дрова, но, по крайней мѣрѣ, войска тутъ отдохнули. А каково было тѣмъ, которыхъ ночь застала еще на крутыхъ скатахъ горы, на краяхъ пропастей, гдѣ человѣческая ступня не вполне умѣщалась!.. Много несчастныхъ погибло на этомъ бѣдственномъ пути; одни изнемогали отъ холода и утомленія, другіе отъ голода; многіе, прислонясь къ выступу скалы на самомъ краю пропастей, при малѣйшемъ движеніи въ забытіи или во снѣ, обрывались и находили на днѣ ихъ ужасную смерть. Страшный слѣдъ арміи обозначался множествомъ труповъ людей, лошадей и муловъ, разбросанныхъ по всему протяженію пути. Зато переходъ русскихъ чрезъ эти горы до сихъ поръ еще живетъ въ памяти мѣстныхъ жителей, какъ преданіе полубаснословное: показывая эту тропинку, едва замѣтную на скалахъ и снѣж-

ныхъ пустыняхъ, швейцарецъ говоритъ съ благоговѣйнымъ удивленіемъ: «Здѣсь проходилъ Суворовъ». На картахъ Швейцаріи тропинка эта обозначается простою надписью: «Путь Суворова въ 1799 году».

Движеніе въ Муттенскую долину продолжалось два дня безостановочно, и это на протяженіи всего шестнадцати верстъ! Русский аріергардъ безпрестанно и геройски отбивалъ настойчивыя атаки непріятеля. По прибытіи Суворова въ Муттенъ, окрестные жители доставили ему страшныя вѣсти. Теперь уже не осталось сомнѣній, что Корсаковъ совершенно разбитъ при Дюрихѣ и съ огромной потерей отступилъ къ Шафгаузену; Готце разбитъ при Линцѣ и самъ пропалъ безъ вѣсти; Елачичъ и Линкенъ тоже отступаютъ; значительныя силы непріятеля заняли Гларисъ, а самъ Массена собираетъ армію свою къ Швицу, чтобы запретъ русскимъ выходъ изъ Муттенской долины.

Дорого бы далъ Суворовъ за вѣрное доказательство, что слухи эти несправедливы, но увы!—они не замедлили подтвердиться официальнымъ донесеніемъ Линкена. Въ горестномъ безмолвіи на нѣсколько минутъ остановился Суворовъ.

— Готце!—воскликнулъ онъ, наконецъ, съ горечью.—Готце!.. Да они ужъ привыкли,—ихъ всегда били; но Корсаковъ, Корсаковъ!..

Прочтя это донесеніе, фельдмаршалъ убѣдился, что во всей Швейцаріи нѣтъ уже *ни одной* части союзныхъ войскъ, на содѣйствіе которой можно было бы рассчитывать, и что его собственный корпусъ, заброшенный въ Муттенскую долину, окруженъ со всѣхъ сторонъ превосходнымъ въ числѣ непріятелемъ, который стережетъ рѣшительно всѣ выходы. Что дѣлать!? Гдѣ искать спасенія!? Добро-бы еще собственныя войска были обезпечены всѣмъ необходимымъ, но они находились въ отчаянно-страшномъ положеніи: изнуренныя неимовернымъ походомъ, почти босыя, безъ всякой теплой одежды и уже нѣсколько дней въ крайней нуждѣ по части продовольствія. Взявъ изъ Белинцоны запасъ провіанта только на одну недѣлю, Суворовъ рассчитывалъ, что этого количества ему хватитъ до Швица, а тамъ уже надѣялся открыть новыя сообщенія и въ изобиліи получить продовольствіе отъ Готце и Корсакова. Теперь всѣ эти расчеты рушились. Изъ тѣхъ же семидневныхъ запасовъ, которые везлись за его отрядомъ, много потеряно на пути, погибло въ пропастяхъ, потонуло въ горныхъ потокахъ, а сохранившіеся выюки еще тянулись чрезъ снѣговой хребетъ. Въ Муттенской долинѣ у солдатъ не оставалось уже ни одного сухаря. Счастливыми считали себя тѣ, которымъ удавалось раздобыться нѣсколькими картофелями. Офицеры и генералы съ радостью

¹⁾ Д. А. Милютинъ.

платили червонцами за каждый кусок хлеба или сыру. И однако же, несмотря на столь бѣдственное положеніе, русскія войска не тронули ничего у жителей деревушки Муттенъ. Великій князь Константинъ Павловичъ приказалъ на собственные деньги скупить все, что было у нихъ съѣстнаго, и раздать солдатамъ. Эта щедрость великаго князя облегчила хоть на одинъ день ужасное положеніе войска, а жители, приученные республиканцами къ насильственнымъ поборамъ, были крайне удивлены великодушіемъ русскихъ.

Здѣсь у Суворова впервые сжалось сердце. Гибель его арміи казалась неизбѣжной; очевидная опасность глядѣла отовсюду. Восемьдесятъ тысячъ русскихъ солдатъ должны были пропасть ни за грошъ, — и эта мысль убивала фельдмаршала. Онъ только и былъ занятъ ею, не думая уже ни о самомъ себѣ, ни даже о принципахъ австрійской политики, которые тутъ-то и выказали себя во всей наготѣ. И вотъ, въ такомъ-то отчаянномъ положеніи, дорожа каждымъ часомъ, собираетъ онъ, въ тотъ же день, 18-го сентября, военный совѣтъ, на который приглашаетъ всѣхъ генераловъ и нѣкоторыхъ штабъ-офицеровъ, за исключеніемъ австрійца Ауфенберга.

Первымъ явился къ засѣданію князь Багратіонъ и засталъ Суворова въ полномъ фельдмаршальскомъ мундирѣ, со всѣми орденами. Старикъ, не замѣчая вошедшаго Багратіона, продолжалъ ходить по комнатѣ быстрыми шагами и отрывисто бормоталъ самъ съ собой. — «Парады... разводы... большое къ себѣ уваженіе... обернется—шляпы долой!.. помилуй Господи!.. Да, и это нужно, да во-время... а нужнѣй-то... это: знать, какъ вести войну; знать мѣстности; уметь расчестъ; уметь не дать себя въ обманъ; уметь бить!.. А битому быть—немудрено!.. Погубить столько тысячъ!.. и какихъ!.. и въ одинъ день!.. Помилуй Господи!»

Багратіонъ, изъ приличія, тихонько удался, оставя старика въ томъ же глубокомъ раздумьи.

Нѣсколько времени спустя, начали собираться приглашенные на совѣтъ; въ томъ числѣ и Череповъ. Пришелъ и великій князь. Всѣ вмѣстѣ вошли они къ фельдмаршалу.

Суворовъ остановился, сдѣлалъ поклонъ, зажмурилъ глаза, какъ-бы собираясь съ мыслями, — потомъ, послѣ минутнаго молчанія, окинулъ всѣхъ своимъ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ и началъ говорить торжественно, съ одушевленіемъ.

— Корсаковъ разбитъ и прогнанъ за Рейнъ! — говорилъ онъ. — Готце пропалъ безъ вѣсти и корпусъ его разбѣянъ! Елачичъ и Линкентъ ушли! Весь планъ нашъ разстроены!

Тутъ, въ сжатыхъ, но рѣзкихъ выраженіяхъ исчислилъ Суворовъ всѣ происки и козни про-

тивъ него, всѣ гнусныя интриги вѣнскаго кабинета, въ доказательство коварной политики Тугута, приводилъ старанія его удалить русскихъ изъ Италіи и преждевременное выступленіе эрц-герцога Карла изъ Швейцаріи, имѣвшее неизбѣжнымъ послѣдствіемъ пораженіе Римскаго-Корсакова. Наконецъ, и бѣдственное положеніе собственной своей арміи фельдмаршалъ приписывалъ винѣ все тѣхъ же австрійцевъ. — «Если бы не потери были пять дней въ Тавернѣ, говорилъ онъ, — то случившіяся несчастія были бы предупреждены, и Массенѣ не удалось бы одержать побѣдъ, подготовленныхъ для него коварной политикой нашего союзника». Чѣмъ далѣе говорилъ Суворовъ, тѣмъ больше приходилъ онъ въ одушевленіе, тѣмъ сильнѣе выражалось взволнованное состояніе души его. Поступки австрійскаго кабинета называлъ онъ прямо вѣроломствомъ и предательствомъ. Далѣе, сравнивая положеніе свое въ Муттенской долинѣ съ положеніемъ Петра I на Прутѣ, онъ находилъ одно и другое слѣдствіемъ измѣны союзниковъ, съ той разницей, что «Петру Великому измѣнилъ мелкій челоуѣкъ, ничтожный владѣтель... грекъ!.. А государю императору Павлу Петровичу... измѣнилъ... Кто же?!.. вѣрный союзникъ Россіи!.. Это не измѣна... Это — явное предательство, чистое... безъ глупости!.. разумное, расчитанное!..»

Изливъ такимъ образомъ негодованіе свое на Австрію, фельдмаршалъ перешелъ къ очерку настоящаго положенія своей арміи.

— Теперь мы среди горъ, — говорилъ онъ, — окружены непріятелемъ, превосходнымъ въ силахъ. Что предпринять намъ? Идти назадъ — постыдно!.. Никогда еще не отступалъ я!.. Идти впередъ къ Швицу — невозможно: у Массены свѣше шестидесяти тысячъ; у насъ же нѣтъ и двадцати. Къ тому же, мы безъ провіанта, безъ патроновъ, безъ артиллеріи... Помощи намъ ждать не отъ кого... Мы на краю гибели!

Произнося эти тяжкія слова, Суворовъ едва могъ сдерживать порывъ своего негодованія, горести и волненія. Онъ былъ убитъ, растерзанъ, и скорбь его отзывалась во всѣхъ присутствовавшихъ. У каждого сжималось сердце.

— Теперь, — прибавилъ Суворовъ, — одна надежда на всемогущаго Бога, другая — на высочайшее самоотверженіе войскъ... Мы русскіе!.. Съ нами Богъ!..

Словно искра электрическая пробѣжала при этихъ словахъ во всѣхъ слушающихъ. Замѣтивъ это дѣйствіе, старикъ оживился.

— Спасите честь Россіи и государя! Спасите сына нашего императора! — восторженно воскликнулъ онъ, и съ этими словами упалъ въ слезахъ къ ногамъ великаго князя.

Никто не ожидалъ этой сцены; всѣ были

поражены. Константинъ Павловичъ, рыдая самъ, бросился поднимать старика, обнималъ его, цѣловалъ... Всѣ окружавшіе чувствовали неизъяснимое волненіе. Семидесятилѣтній полководецъ, испытанный въ тысячѣ опасностей, непреклонный до упрямства, всегда изумлявшій своей желѣзной силой воли, — теперь плакалъ отъ горя... До сей минуты никто еще никогда и нигдѣ не видалъ Суворовъ плачущимъ.

Когда всѣ нѣсколько успокоились, генералъ Дерфельденъ заговорилъ первый, отъ лица всѣхъ русскихъ начальниковъ. Онъ ручался фельдмаршалу за неизмѣнную храбрость и полное самоотверженіе войска, готоваго идти безропотно, куда бы ни повелъ его великій полководецъ.

Выслушавъ Дерфельдена, Суворовъ вдругъ поднялъ пенящую голову, открылъ зажмуренные глаза и заговорилъ съ явленіемъ:

— Надѣюсь!.. Радъ!.. Помилуй Богъ!.. Спасибо!.. Мы русскіе, — съ помощью Божіей, мы все одолѣемъ! разобьемъ врага!.. И побѣда надъ нимъ!.. Побѣда надъ коварствомъ!.. Будетъ побѣда!

Эти слова, произнесенныя какъ-бы съ пророческой увѣренностью, возвратили всѣмъ твердую бодрость духа. Началось совѣщаніе. Вопросъ былъ въ томъ куда пробиваться: къ Швицу или къ Гларису? Основательныя соображенія, высказанныя великимъ княземъ, заставили согласиться Суворова и всѣхъ присутствовавшихъ на движеніе къ сему послѣднему пункту. Рѣшено было выступать завтра же (19-го), а генералу Ауфенбергу съ его австрійскимъ отрядомъ двинуться немедленно и сбить непріятеля съ горы Брагель. Корпусъ Розенберга долженъ былъ оставаться въ Муттенской долинѣ и до тѣхъ поръ прикрывать ее со стороны Швица, пока всѣ выюки не переберутся за Брагель.

По окончаніи военнаго совѣта, всѣ присутствовавшіе начальники разошлись къ своимъ войскамъ и объявили имъ о предстоящемъ боѣ съ непріятелемъ. — Только, чуръ, ребята, береги патроны! — предостерегали они людей, — патроновъ у насъ почти уже ничего не осталось.

— И не надо! На что ихъ? — возражали солдаты, — мы, ваши превосходительства, и безъ патроновъ!.. безъ патроновъ-то еще вольготнѣе: по крайности, рѣшить скорѣе станемъ, на штыкахъ дойдемъ его!.. Это ужъ безъ сумлѣнія!

Несчастныя событія съ Корсаковымъ и Готце были уже извѣстны въ русскомъ лагерѣ: солдаты знали, въ какой опасности находятся всѣ они въ эту минуту, и по-своему толковали объ измѣнѣ союзниковъ, о баронѣ Тугутѣ, бранили австрійскаго и осыпали Ауфенберговскій отрядъ своими насмѣшками.

Но Суворовъ сумѣлъ скрыть предъ ними отчаянно-тревожное состояніе своей души и поддержалъ въ людяхъ бодрость. Усѣвшись на барабанъ, около солдатскаго костра, велѣлъ онъ подать себѣ шкатулку, въ которой всегда возилъ съ собой всѣ свои ордена и другіе знаки монаршихъ милостей, и медленно сталъ раскладывать передъ собой всѣ эти украшенія, любовался ими и приговаривалъ. «Вотъ это за Очаковъ!.. Это за Прагу!» и такъ далѣе. Обступившіе его солдаты глядѣли на ордена, глядѣли и на своего сѣдовласаго «отца» и тихо переговаривались между собой:

— А что, братцы, старикъ-отъ не унываетъ?!

— Чего ему ныть-то!... Не таковскій!.. Ишь ты, разложилъ ихъ, кавалеріевъ-то этихъ — эво-на сколько!.. Смотри!.. «за Прагу» говоритъ...

— Есть тамъ всякаго, и за Прагу, и за прочее!.. Ничего, батюшка Александра Васильичъ, и за Алыны получишь... Еще краше!.. Никто какъ Богъ!.. Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ!..

— Вѣрно, дѣтки!.. Помилуй Богъ, вѣрно! — добродушно улыбался въ отвѣтъ имъ Суворовъ.

Согласно диспозиціи, выработанной на совѣтѣ, Багратионъ, рано утромъ, 19-го числа, выступилъ съ авангардомъ изъ Муттена и, перейдя снѣжный Брагель, спустился въ три часа дня въ Клентальскую долину, гдѣ нашелъ отрядъ Ауфенберга уже готовымъ сдаться противнику. Войска Багратиона пришли въ негодованіе отъ одного извѣстія объ этомъ. Пока онъ устраивалъ ихъ къ бою подъ огнемъ французскихъ пулъ и картечи, нѣкоторые изъ австрійскихъ офицеровъ генеральнаго штаба сочли нужнымъ предупредить великаго князя Константина, что союзныя войска поставлены здѣсь въ самое опасное положеніе и уговаривали его отъѣхать куда нибудь назадъ, подальше. Великій князь съ негодованіемъ отвѣчалъ имъ, что именно въ подобныхъ-то обстоятельствахъ его присутствіе и можетъ быть въ особенности полезно. Вмѣстѣ съ этими словами далъ онъ шпоры и выѣхалъ предъ боевую линію.

— Мы со всѣхъ сторонъ окружены, ребята! — громко обратился онъ къ людямъ. — Но вспомните, что завтра день рожденія нашего государя и моего родителя! Мы должны прославить этотъ день побѣдой или умереть со славою!

Восторженные клики раздались въ рядахъ и, вслѣдъ за ними, гренадеры, съ барабаннымъ боемъ, безъ выстрѣла и прямо съ фронта ринулись въ штыки на французовъ.

Три раза атакуемый Багратиономъ, непріятель отступалъ все далѣе и далѣе, потерявъ уже болѣе четырехсотъ человѣкъ убитыми и

плѣнными; но получивъ подкрѣпленіе изъ Глариса, занявъ у Клѣнтальскаго озера такую сильную позицію, что всякій подступъ къ ней стоилъ и намъ большихъ потерь. Въ этой самой позиціи, за нѣсколько мѣсяцевъ предъ тѣмъ, ничтожная горсть швейцарской милиціи остановила цѣлую французскую колонну. Послѣ нѣсколькихъ безуспѣшныхъ подступовъ, наступившая темнота и крайнее утомленіе войскъ заставили Багратиона отложить атаку до слѣдующаго утра. Одна только ружейная перестрѣлка въ передовыхъ цѣпяхъ продолжалась еще нѣкоторое время.

Стояла уже глубокая ночь, когда русская армія подтянулась къ своему авангарду у Клѣнтальскаго озера. Въ этотъ день было пройдено ею болѣе двадцати верстъ; но Бетцбергъ, послѣ Росштока, не казался уже нашимъ солдатамъ особенно страшнымъ, хотя и на этомъ переходѣ погибло еще много व्यюковъ. На ночь войска оставлены были въ виду непріятельской позиціи, и приказано имъ стоять какъ можно тише, не разводя огня, а ночь межъ-тѣмъ была холодная: проливной дождь перемежался хлопьями снѣга, и мгlistый туманъ до того сгустился, что въ двухъ шагахъ едва уже было видно товарища. Солдаты, дрожа отъ холода и сырости, промокшіе насквозь, голодные, почти босые не ложились спать.

Вдругъ въ темнотѣ обнаружилось какое-то движеніе на бивуакѣ.

— Гдѣ князь Петръ? гдѣ Петръ? — спрашивалъ кто-то.

Это былъ самъ Суворовъ, въ своей «родительской епанечкѣ», плохо одѣтый, обмоклый, прозябшій... Багратионъ завернутый въ бурку, поднялся съ мокрой земли и встрѣтилъ фельдмаршала.

— Князь Петръ, я хочу, непременно хочу почевать въ Гларисѣ... Миѣ и вотъ имъ, — говорилъ старикъ, указывая на солдатъ, — пора отдохнуть... Намъ холодно и голодно, Петръ... Подумай!.. Непременно хочу почевать въ Гларисѣ!

— Мы скоро будемъ тамъ, — отвѣчалъ Багратионъ. — Головой ручаюсь вамъ, ваша свѣтлость, вы будете почевать въ Гларисѣ! — увѣреннымъ и свѣтлымъ голосомъ прибавилъ онъ какъ бы утѣшая старика, измученнаго за этотъ день и физически и нравственно.

— Такъ будемъ?... Ну, спасибо, князь Петръ! Спасибо, голубчикъ!.. Хорошо!.. Помилуй Богъ, хорошо! — повторялъ Суворовъ, провожаемый Багратиономъ до какого-то овечьяго хлѣва, предназначеннаго на сей разъ фельдмаршалу, гдѣ онъ и провелъ остатокъ этой ночи вмѣстѣ съ великимъ княземъ Константиномъ.

На утро, 20-го числа, бой возобновился еще въпотмахъ, вскорѣ послѣ полуночи. Французы, встревоженные перестрѣлкой двухъ столкнувшихся патрулей, разомъ открыли огонь

по всей своей линіи. Русскія войска, мгновенно встревожившись, какъ будто по условленному сигналу, разомъ кинулись впередъ, «на ура!» и ударили на республиканцевъ съ фронта и праваго фланга. Не видя въпотмахъ мѣстности ни подъ ногами, ни предъ собой, они прямо съ яростью стремились на одну цѣль, которая обозначалась для нихъ вспышками непріятельскихъ выстрѣловъ. Встрѣчая республиканскія войска, расположенныя по косогору, наши бросались на нихъ въ штыки и свергали ихъ съ кручи: въ жару боя многіе и сами, срываясь съ утесовъ, стремглавъ летѣли въ пропасть. Узкая дорога между подошвами кручъ и берегомъ озера была усыяна истерзанными обезображенными трупами русскихъ и французовъ, которые часто лежали рядомъ, или одинъ на другомъ, вѣшившись другъ въ друга. Немногимъ удалось спастись, хватаясь за камни или деревья. Французы живо были выбиты изъ своей непреступной позиціи. Ихъ опрокинули и гнали до Нетстала, отсюда до Нефельса, потомъ до Молиса, гдѣ, наконецъ, прекратилось преслѣдованіе. Багратионъ сдержалъ свое слово: Суворовъ дѣйствительно ночевалъ въ Гларисѣ, занятомъ послѣ шестнадцатичасоваго непрерывнаго боя, трофеями коего намъ достались два непріятельскихъ знамени, три пушки и до шестисотъ плѣнныхъ.

Въ арьергардѣ, оставленномъ у Муттена, все это время тоже дрались и отбѣснели противника до самаго Швица, заставивъ его потерять 3,000 убитыми! И здѣсь точно также бой доставилъ намъ обременительные трофеи: пять пушекъ и 1,200 плѣнныхъ съ однимъ генераломъ (Лакуромъ). Необременителенъ было только эполетъ самого Массены, изъ литого золота, сорванный съ его плеча унтеръ-офицеромъ Махотинимъ.

23-го сентября арьергардъ нашъ присоединился, наконецъ, къ главнымъ силамъ, и такимъ образомъ у Глариса собралось все, что оставалось еще отъ арміи Суворова. Но въ какомъ ужасномъ положеніи были эти остатки — оборванные, босые, безъ артиллеріи, безъ патрона въ сумѣ!.. И что было дѣлать съ людьми, изнуренными безпримѣрнымъ походомъ, постояннымъ голодомъ, ежедневнымъ боемъ!.. Выюки большею частью погибли: раненыхъ не на чемъ было везти. А тутъ еще лопнула и послѣдняя надежда Суворова на соединеніе съ Линкеномъ: оказалось, что австрійскій генералъ безъ всякой необходимости давно уже отступилъ совсѣмъ за горы, въ Граубинденъ, и даже Ауфенбергъ покинулъ русскія войска, уйдя 21-го сентября, по слѣдамъ Линкена, къ Иланцу. Въ подобномъ положеніи нечего ужъ было думать о побѣдахъ: въ пору было спасать только остатки арміи и честь русскаго оружія.

Послѣдовалъ вторичный военный совѣтъ.

Путь долиной Линты, хотя и кратчайшій для соединенія съ Корсаковымъ, нашли неудобнымъ, потому что къ той же Линтѣ долженъ былъ выйти Массена со всѣми своими силами. Другой же путь на Иланць и Куръ къ Фельдкирху, хотя и кружной, былъ удобенъ въ томъ отношеніи, что въ Курѣ, занятомъ союзниками, войска могли запастись провіантомъ. Таково было мнѣніе великаго князя, и Суворовъ съ нимъ согласился. Войскамъ предписано выступить изъ Глариса въ ту же ночь и слѣдовать къ Эльму. Авангардъ порученъ Милорадовичу, арьергардъ — Багратиону. Но до чего уменьшилась числительная сила войскъ, можно было судить по отряду того же Багратиона, который состоялъ, безъ всякой перемѣны, изъ тѣхъ самыхъ частей, что и при вступленіи въ Швейцарію: тогда въ немъ было 3,000 человекъ, теперь же едва и до 1,800 добиралось!.. Но войска за двое сутокъ стоянки у Глариса, которая сама по себѣ была отвратительна, все-таки хоть обогрѣлись у костровъ, заштопали заплаты, зачинили кое-какъ обувь себѣ и офицерамъ. Не трудно вообразить, каково было у нихъ состояніе послѣдней, если даже генералы ходили въ ботфортахъ безъ подошвъ и передовъ, замѣняя тѣ и другіе лапами, обрѣзанными у своихъ же сюртуковъ.

Задолго еще до утра на 24-е сентября, армія Суворова тихо снялась съ позиціи передъ Гларисомъ. Узнавъ объ этомъ уже на разсвѣтѣ, непріятель поспѣшилъ отрѣзать ей путь, но былъ отброшенъ штыками, и потому именно штыками, что намъ больше нечѣмъ было драться. Стойкость и мужественное сопротивление арьергарда, который дрался на каждомъ шагу, поминутно кидаясь въ рукопашную и переходя въ наступленіе, сдѣлали то, что главные силы и остатокъ выжковъ благополучно миновали тѣснину и, пройдя болѣе 20-ти верстъ, спокойно достигли Эльма.

Голодные люди арьергарда братски дѣлились между собой ничтожными крохами хлѣба, который находили въ ранцахъ убитыхъ французовъ.

Череповъ, посланный съ порученіемъ къ Багратиону, исполнивъ что было приказано, пагомъ возвращался по полю сраженія и проѣзжалъ случайно мимо трехъ какихъ-то спѣшенныхъ казаковъ, которые намѣревались дѣлиться булкой, только-что добытой изъ французскаго ранца. Череповъ былъ голоденъ и не безъ алчности выраженія въ глазахъ кинулъ взглядъ на вкусную булку.

— Ваше-скародіе! — скороговоркой крикнулъ ему бойкій казачекъ изъ этой группы, — чай, покушать желаете?.. Не угодно-ли?

И онъ протянулъ къ нему булку.

— Да вы сами голодны, братцы! — колеблясь, отказался было Череповъ.

— Ничего, ваше-скародіе, мы еще раздобу-

демся, здѣсь въ алиргардѣ этого добра — благодаря Господу — есть пока!

Взявъ булку, Череповъ захватилъ изъ кармана горсть червонцевъ и подалъ ихъ своему неожиданному благодѣтелю.

— Извините, ваше-скародіе, этого намъ не надоть!.. Мы не для того! — смущенно заговорили казаки. — А вотъ ежели-бъ милость ваша... кабы намъ патрончиковъ... коли есть у васъ, то пожалуйста, — мы бы сейчасъ этто охоту на булки устроили.

Въ кабурахъ у Черепова было нѣсколько запасныхъ патроновъ, и онъ съ удовольствіемъ подѣлился ими съ казаками.

— Какъ же это вы будете охотиться? — спросилъ онъ, убирая за обѣ щеки кусокъ французскаго хлѣба.

— А вотъ сейчасъ. Только винтовочки набьемъ, сейчасъ и готово! — отвѣчалъ бойкій казачекъ, посылая зарядъ въ дуло. — Котораго примѣрно? — спросилъ онъ у товарищей, мотнувъ головой на цѣпь непріятельскихъ стрѣлковъ, наступавшихъ впереди, шагахъ въ полтора-ста.

— Офицера не бей! у офицера ничего нѣтъ, — посоветовалъ смысленный товарищъ. — А вотъ, вишь, тамъ, въ этой кучкѣ унтеръ ихній идетъ — его и вали: у унтера, надо быть, есть навѣрно!.. Пожалуй, и сырку, а то и ветчинки раздобудемся.

Казакъ прилегъ, положилъ дуло на камень, прицѣлился и — въ тотъ же мигъ намѣченный капралъ завертѣлся на мѣстѣ и упалъ ничкомъ на землю.

— Готово! — воскликнулъ радостно ловкій стрѣлокъ. — Теперь только чуръ, ребята, сторожи: какъ на уру на нихъ побѣгимъ, такъ чтобы другіе его не подобрали! Ну, а теперича слѣдующій!

И онъ опять сталъ заряжать винтовку.

Череповъ далъ шпоры и поспѣшилъ отъѣхать отъ продолженія этой охоты, обвинять за которую голодныхъ, ожесточенныхъ людей онъ въ душѣ не чувствовалъ возможности.

На пути своего слѣдованія, ему попалось еще нѣсколько подобныхъ же кучекъ солдатъ, которые усердно шарили въ ранцахъ убитыхъ французовъ, тутъ же дѣлясь найденнымъ хлѣбомъ, и даже добродушно приносили начальникамъ часть своей добычи.

Однако, и въ Эльмѣ не нашли себѣ русскія войска желаемого отдыха: всю ночь оставались они подъ ружьемъ, на-готовѣ къ бою, въ разстояніи ружейнаго выстрѣла отъ противника и, при этой холодной, ненастной темнотѣ, нигдѣ не могли добыть дровъ, чтобы развести костры; а снѣгъ такъ и валилъ большими хлопьями... Этотъ пріятный ночлегъ покинуть былъ 25-го сентября еще до свѣта, и въ пяти верстахъ за Эльмомъ русскіе увидѣли предъ собой страшный снѣговой хребетъ Рингенъ-Копфъ (Па-

никсъ), знакомый пока только авангарду Милорадовича, который вовсе не ночевалъ въ Эльмѣ. Путь, предстоящій теперь, былъ еще труднѣе, неизмѣримо труднѣе, чѣмъ всѣ прежнія переходы. Даже Росштокъ казался игрушкой въ сравненіи съ Рингентъ-Копфомъ, котораго крутой и продолжительный подъемъ какъ-бы вдругъ выросъ предъ глазами арміи съ первыми лучами разсвѣта. Подъемная тропинка, трудная сама по себѣ, сдѣлалась совсѣмъ непроходимой отъ продолжительнаго ненастья. Люди вязли въ грязи, едва вытаскивали ноги — и опять тѣ же обрыванія и полеты стремглавъ въ преисподнія!.. Опять гибель послѣднихъ выюковъ! Здѣсь была потеряна въ безднахъ вся остальная наша горная артиллерія, которую просто пришлось нарочно побросать въ пропасти, для облегченія животныхъ, необходимыхъ подъ перевозку раненыхъ. Чѣмъ выше поднимались русскіе, тѣмъ круче и труднѣе становился подъемъ, а выпавшій за ночь глубокій снѣгъ совсѣмъ занесъ дорогу. Густыя тучи затянули всю поверхность горы, такъ что люди карабкались наобумъ, ничего не видя предъ собой. Проводники опять разбѣжались, — пришлось самимъ подъ выюгой искать себѣ дорогу, погружаясь въ снѣжные сугробы. Съ высоты горъ слышались глухіе раскаты грома, и по временамъ густой, непроницаемый туманъ разсѣкался блестящимъ молніей, и опять огромные каменья, срываемые бурей, съ грохотомъ катились въ бездны. Русскіе вступили въ область грозы, которая трепала вокругъ, а чрезъ нѣсколько времени молніеносные удары грома раздавались уже значительно ниже: грозовой поясъ былъ пройденъ. И на этомъ-то ужасномъ переходѣ всѣ безъ различія — солдаты, офицеры, генералы — были босы, изнурены и голодны. Промоченные до костей страшнымъ ливнемъ, они вдругъ были застигнуты снѣгомъ, выюгой, метелью, — и мокрая одежда покрылась на нихъ ледяной корой.

Здѣсь въ первый разъ между солдатами раздался ропотъ.

— Ну, братцы, старикъ нашъ совсѣмъ, видно, изъ ума вышелъ! Завелъ невѣсть куда! — громко говорили солдаты, ни мало не стѣсняясь присутствіемъ самого Суворова, который ѣхалъ рядомъ.

— Помилуй Богъ! Они хвалятъ меня! — громко и съ веселымъ смѣхомъ обратился онъ къ окружающимъ. — Такъ точно хвалили меня они же и въ Туречинѣ, и въ Польшѣ!

При этихъ словахъ люди невольно вспомнили, что «отецъ» всегда умѣлъ выводить ихъ съ честью и славою изъ самыхъ безвыходныхъ обстоятельствъ, и имъ стало стыдно за свое минутное малодушіе. Бодрость была возбуждена снова.

Въ это время на одной изъ попутныхъ скалъ увидѣли они надпись.

— Савѣловъ! ты дока на грамоту: разбери-ка,

что оно тутъ обозначаетъ? — обратился одинъ изъ солдатъ къ товарищу.

— А лядъ его знаетъ! Не по законному писано, не по-русски! — отозвался вопрошаемый.

— Эта надпись гласитъ, что «здѣсь прошелъ пустынный», — пояснилъ имъ Череповъ, случившійся рядомъ.

— Пустынный!.. Ишь ты, диковина какая, пустынный! Что-жъ тутъ такого?! — тотчасъ же весело стали переговариваться солдаты. — Насъ-то, поглядишь, эво-на сколько пустынныхъ идетъ, и ничего-себѣ, шагаемъ!.. А у нихъ сейчасъ это надписи!.. Чудесно!.. Ей-Богу!..

И такія-то сужденія произносили люди, отродясь не видавшие горъ, привыкшіе съ колыбели къ простору родимыхъ равнинъ, къ раздолью степей необозримыхъ! А подъемъ все выше да выше, все круче и тяжеле — и опять признаки унынія начинаютъ замѣчаться на изнуренныхъ лицахъ.

Вдругъ, въ эту самую минуту, ни съ того, ни съ сего, Суворовъ во всю мочь затягиваетъ пѣсню:

Что дѣвушка сдѣлалось?

Ай, что красной случилось? —

И далече передается вдругъ разлившійся вокругъ него гомерическій хохотъ, и до крайности истомленные войска съ новой бодростью карабкаются на новую кручу!

Цѣлый день безостановочно тянулась колонна, одолевая кручу Рингентъ-Копфа, и только авангардъ Милорадовича успѣлъ засвѣтло спуститься къ деревенькѣ Паниксъ. Всѣ остальные войска едва въ сумерка достигли ледяной вершины хребта, и тутъ были застигнуты темнотой. Вся колонна такъ и остановилась въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ захватила ее ночь. Немня никакой возможности идти далѣе и совершенно выбившись изъ силъ, солдаты сами пріютились гдѣ попало: на голомъ снѣгу, на камняхъ, на ледяныхъ глыбахъ, или прислонившись къ скалѣ — и такъ провели цѣлую ночь, въ ожиданіи разсвѣта. А тутъ еще, къ довершенію бѣдствія, поднялась вдругъ такая стужа, что многіе солдаты замерзли, во-снѣ, на вершинѣ Паникса, и обледенѣлая дорога сдѣлалась чрезвычайно скользкою. Темносинее небо, сквозь ясный горный воздухъ, морозно играло безчисленнымъ множествомъ яркихъ звѣздъ; студеный вѣтеръ гудѣлъ среди ледника, — и вмѣстѣ съ его воемъ раздавались иные ужасные звуки: то былъ горячечный, полупомѣшанный бредъ, рыданія, вой и скрежетъ, вопли и стоны умирающихъ плѣнныхъ французовъ... Русскіе, какъ болѣе привычные къ суровому климату, переносили эти ужасы легче и если умирали, то дѣлали это тихо.

Здѣсь во-истину была настоящая адская *ночь ужасовъ*. На зарѣ розоватый лучъ восходящаго солнца заигралъ переливами радужныхъ цвѣтовъ на окрестныхъ ледяныхъ вершинахъ

и золотисто обагрилъ густыя тучи, клубившіяся далеко внизу, подъ ногами.

«Ку-ку-ри-ку-у-у!» раздался вдругъ громкій пѣтушій крикъ въ одномъ изъ концовъ русскаго стана.

— Ну-у!.. загорлашилъ старый пѣтухъ!— быстро загомонили промежъ себя солдаты.— Вставай, ребятки, вставай, шевелися!.. Въ походъ пора!

«Кво-охъ, кво-кво-кво-квохъ!» въ отвѣтъ на пѣтушій крикъ весело послышалось съ разныхъ сторонъ куриное кудахтанье — и солдаты живо, со смѣхомъ, подымались со своего ледяного ложа, отбивая на мѣстѣ трепака съ холоду и отряхая съ себя налетъ морозной пыли.

— Ну, ну! вставайте, вставайте, курицыны дѣти!.. Живо! Ишь, батька-то какъ пѣтухомъ оретъ!.. благимъ матомъ! — Стало-быть, время!

И люди, оправясь да поразмявъ члены, набожно и спѣшно крестились на востокъ, откуда большимъ дискомъ подымалось багряное солнце, и еще послѣднѣе становились въ ружье и выстраивались. Унтеръ-офицеры наскоро дѣлали расчетъ по рядамъ, примѣчая, кто живъ, а кто остался почивать вѣчнымъ сномъ въ ледникахъ Рингентъ-Копфа. Но вотъ барабанъ загрохоталъ «подъемъ», гдѣ-то впереди раздалась команда — и головная часть колонны двинулась съ горы по обледѣнному спуску. Этотъ спускъ вполнѣ стоилъ подъема, если даже не былъ еще хуже. На каждомъ шагу, теряя послѣднихъ лошадей и муловъ, армія около полудня спустилась кое-какъ по гололедицѣ и съ величайшей опасностію къ деревнѣ Паниксъ, гдѣ былъ данъ ей небольшой привалъ, и затѣмъ, уже по болѣе отлогой мѣстности, полки направились къ городу Иланцу.

Крупной рысью обскакивая ихъ на этомъ переходѣ, Суворовъ весело кричалъ солдатамъ: «Здравствуйте, чудо-богатыри, витязи русскіе!.. Чада Павловы, здравствуйте!»

И отвѣтный крикъ ратниковъ отъ души, отъ сердца, съ любовью вырывался у всякаго.

— Здравія желаемъ, отецъ, батюшка Александръ Васильевичъ!

И долгое, громкое «ура» безконечными перекатами отъ батальона къ батальону, отъ полка къ полку, провожало старика по дорогѣ и не смолкало даже и тогда, когда его капуцинская шляпа и развѣвавшійся родительскій плащъ совсѣмъ уже терялись впереди изъ виду...

И самъ Суворовъ и каждый ратникъ равно чувствовали и сознавали, что въ эту минуту было спасено болѣе чѣмъ жизнь: спасена была честь оружія русскаго.

XXVII.

Царственный сватъ.

27-го сентября, совершенно уже босая армія пришла въ городъ Куръ, гдѣ кончились ея

незгоды и опасности. Высокій снѣговой хребетъ стоялъ между нею и непріятелемъ, фланги прикрывались австрійскими отрядами, а въ самомъ Курѣ найдены были изобильные запасы продовольствія, дровъ и боевого снаряженія. Здѣсь былъ истинно-свѣтлый праздникъ: на улицахъ всѣ генералы, офицеры и солдаты братски обнимались и цѣловались между собой, поздравляя другъ друга съ жизнью и спасеніемъ. Мгновенно оживился весь русскій станъ. Въ котлахъ варилась похлебка съ говядиной, солдаты рѣзали свѣжій хлѣбъ, курили трубочки-нососгѣйки, давно уже не дымившія табакомъ, фельдфебеля распоряжались около боченковъ съ водкой и дѣлили ее по «братскимъ крышкамъ»... Утомленіе и горе было забыто. Люди принялись чинить обувь, справлять амуницію и уже шутили надъ только-что минувшими страданіями. Къ вечеру по всему бивуаку гудѣли бубны, звенѣли мѣдныя тарелки, и ротные пѣсенники въ кругахъ распѣвали веселыя пѣсни.

Суворовъ приказалъ позвать къ себѣ Черепова. Когда послѣдній вошелъ къ фельдмаршалу, онъ засталъ тамъ двухъ-трехъ высшихъ генераловъ и начальника походной канцеляріи, Е. Б. Фукса, который сидѣлъ за письменнымъ столомъ и приготавлился что-то писать.

— Ну; пиши же реляцію,—говорилъ ему Суворовъ,—все опиши достойное примѣчанія... все!...

— Для сего кисть моя не имѣетъ красокъ,—пожалъ тотъ плечами.—Да и на что тутъ реляція! Для потомства довольно и сего: *«Русскіе перешли Альпы—и Россія имѣетъ Анни-бала!»*

— Го-го!.. Помилуй Богъ!—захлопалъ Суворовъ въ ладоши и принялся свакать по комнатамъ.

— А! Вотъ онъ!—вскричалъ вдругъ старикъ, увидавъ Черепова.—Очень радъ, что пришелъ!.. Хорошо!.. Отлично!.. Въ сей часъ получишь порученіе!

— Что прикажете, ваша свѣтлость?—почтительно спросилъ Череповъ.

— А вотъ-вотъ сейчасъ... Пиши же, Егоръ, пиши, голубчикъ, скорѣе... время не ждетъ!

Но литературное перо Фукса уже и безъ того быстро бѣгало по листу бумаги.

— Вотъ тебѣ ордеръ къ крѣпъ-пальмейстеру,—продолжалъ Суворовъ, подавая Черепову клочекъ бумаги, на которомъ тутъ же написалъ за своей подписью нѣсколько словъ.— Бѣга ты съ нимъ къ казначею, получай прогонъ, изготовься и черезъ часъ будь здѣсь. Егоръ, реляція будетъ готова?

— Поспѣетъ,—утвердительно кивнулъ Фуксъ, не подымая глазъ отъ своей бумаги.

— О, помилуй Богъ!.. у тебя живо!.. Все живо! Ну, хорошо!.. И такъ, голубчикъ,—опять повернулся старикъ къ Черепову,—лети,

мчись... птицей... въ Петербургъ... къ государю... съ реляціей... А будетъ спрашивать,—разскажи ему самъ все, что видѣлъ... что перенесла армія... все... все, безъ утайки!.. Ступай же за прогонами!

Череповъ поклонился и вышелъ.

Черезъ часть у крыльца главной квартиры стояла уже нѣмецкая почтовая брика, и краснощекий швейцарскій почтальонъ, съ бичемъ въ рукѣ и мѣднымъ рожкомъ за спиной, молодцовато красовался на козлахъ. Череповъ въ четверть часа успѣлъ купить себѣ новые сапоги и дорожный, подобный ватку, плащъ да кожаную подушку; набилъ кisetъ табакомъ, уложилъ въ кожаную сакву двѣ перемѣны бѣлья, бытылку рому, двѣ-три булки съ кускомъ копченой ветчины и—совершенно готовый въ путь—явился въ назначенный срокъ къ фельд-маршалу.

— Ну, вотъ, и ты готовъ, и реляція готова!—весело воскликнулъ Суворовъ.—Поѣзжай же съ Богомъ!.. Вотъ тебѣ сумка курьерская... вотъ открытый листъ... Вотъ пакетъ... Государю!.. въ собственныя руки!.. Ну, все, кажись?..

— Все, ваша свѣтлость,—подтвердилъ начальникъ канцеляріи.

— Ахъ, да!.. Поди-ка сюда на минутку!—какъ бы домекнувшись о чемъ-то, кивнулъ Суворовъ Черепову и повелъ его за собой въ другую комнату, гдѣ они очутились наединѣ.

— Есть ли у тебя деньги?—тихо спросилъ старикъ, затворивъ за собой дверь.

— Какъ же, ваша свѣтлость! Прогоня мнѣ въ тотчасъ же выданы.

— Прогоня!.. Помилуй Богъ!.. Я не о томъ... Прогоня!—Помимо прогоновъ есть-ли?

— Найдется еще малая толика.

— Да вдосталь ли?

— Хватить, ваша свѣтлость!—беззаботно махнулъ рукой Череповъ.

— То-то!.. Хватить!.. Ты не церемонься: коли нужно, возьми у меня... Я никому не скажу... Потомъ сочтемся.

— Ей-ей, хватить, ваша свѣтлость!.. Недосугъ только разстегиваться, а то и показалъ бы.

— Ну, коли такъ, то не теряй времени!.. Помилуй и сохрани тебя Божь!.. Поѣзжай, поѣзжай, голубчикъ!.. Господь съ тобой!

И трижды перекрестивъ Черепова, старикъ поцѣловалъ его и выпроводилъ за дверь, положивъ на плечо ему руку.

Череповъ благословясь вскочилъ въ брику, почтарь хлопнулъ бичемъ—и быстрая пѣгала пара бойкой рысью тронулась по улицѣ, кипѣвшей горожанами и нашими солдатствомъ.

Не отъѣхали и трехъ верстъ отъ города, какъ Череповъ, истомленный нѣсколькими безсонными ночами, закутавшись въ плащъ, да прикурнувъ плечемъ и головою къ своей кожаной подушкѣ, спалъ мертвымъ сномъ, подъ однообразный стукъ колесъ подпрыгивающей брички.

Послѣ выхода Суворова изъ Альповъ, вся Швейцарія снова очутилась въ полной власти французовъ. Дѣла австрійцевъ на Рейнѣ и въ Италіи были ничтожны и нерѣшительны. И вотъ, тѣ самые люди, которые всячески старались исторгнуть побѣду изъ рукъ Суворова, стали теперь уговаривать его начинать снова вмѣстѣ съ ними военныя дѣйствія. Эрц-герцогъ Карлъ предложилъ было ему сначала охранять Граубинденъ, пока не получатся новыя повелѣнія отъ вѣнскаго гофкригсрата. Суворовъ пришелъ въ негодованіе.—«Воиновъ, увѣнчанныхъ побѣдами и завоеваніями, держатъ назначать сторожами австрійскихъ границъ!» писалъ онъ Ростопчину, и немедленно рѣшилъ перейти въ Фельдкирхъ, назначивъ Корсакову пунктъ соединенія съ собою въ Линдау. Здѣсь произведенъ былъ размѣнъ плѣнныхъ между русскими и французами, послѣ чего соединившіеся остатки двухъ русскихъ армій расположились между рѣками Иллеромъ и Лехомъ.

Межъ-тѣмъ, эрц-герцогъ Карлъ, все еще не теряя надежды снова привлечь Суворова къ военнымъ дѣйствіямъ, предложилъ ему личное свиданіе съ собой—Суворовъ отказался, сказавъ, что эрц-герцогъ можетъ сообщить ему на письмѣ, что почтетъ нужнымъ. Тотъ опять прислалъ довѣренное лицо, графа Колоредо, съ требованіемъ свиданія. Недовольный повелительнымъ тономъ письма, старикъ сухо отвѣчалъ посланцу:

— Эрц-герцогъ Карлъ, если онъ не при дворѣ, а въ лагерѣ, такой же генераль, какъ и Суворовъ, кромѣ того, что Суворовъ гораздо старше его своей опытностью. И притомъ, передайте его высочеству, что я не знаю обороны: умѣю только атаковать, и двинусь впередъ, когда самъ признаю удобнымъ, и тогда уже не останавлиюсь въ Швейцаріи, а пойду прямо во Франшъ-Конте. Скажите, что въ Вѣнѣ во дворцѣ я буду у ногъ его высочества, а здѣсь, на войнѣ, я, по меньшей мѣрѣ, равенъ съ нимъ и ни отъ кого не приму уроковъ.

«Чего хочетъ отъ меня эрц-герцогъ? писалъ онъ тогда же П. А. Толстому. Онъ думаетъ обволшебить меня своимъ демосеенствомъ... а у меня на бешитмзагенъ отвѣтъ готовъ. Онъ дозволилъ исторгнуть у себя побѣду. Мнѣ 70 лѣтъ, а я еще не испыталъ такого стыда. Да возблится слава его! Пусть идетъ и освободитъ Швейцарію—тогда и я готовъ».

Эрц-герцогъ оскорбился и въ длинномъ письмѣ принялся доказывать, что никакъ не онъ, а Корсаковъ и самъ же Суворовъ виноваты въ потеряхъ. «Всѣ тактики согласны съ этимъ», прибавлялъ онъ въ заключеніе.

И не пощадилъ же его старикъ за эту выходку въ своемъ прямомъ отвѣтѣ!

«Царства защищаются, писалъ онъ, завоеваніями безкорыстными, любовью народовъ,

правотою поступковъ, а не потерю Нидерландовъ и гибелью двухъ армій въ Италіи. Это говорятъ вамъ солдаты, который прослужилъ шестьдесятъ лѣтъ, водилъ къ побѣдамъ войска Іосифа II и побѣдоу утвердилъ за Австріей Галицію,—солдаты, не знающіе ни демосееновской болтовни, ни академиковъ безсмысленныхъ, ни сената карфагенскаго! Я не вѣдаю ребяческихъ соперничествъ, демонстрацій, контрмаршей. Мои правила: *глазomъръ, быстрота, натискъ*».

Но такъ какъ эрц-герцогъ настаивалъ на продолженіи военныхъ дѣйствій и требовалъ отъ русскихъ помощи, то Суворовъ созвалъ въ Линдау новый военный совѣтъ изъ своихъ сподвижниковъ, и этотъ совѣтъ рѣшилъ единогласно, что, *«кромя предательства, ни на какую помощь отъ цесарцевъ нѣтъ надежды, чего ради наступательную операцію не производить»*.

Императоръ Павелъ былъ немедленно же извѣщенъ фельдмаршаломъ объ этомъ рѣшеніи.

Взмиленная тройка подкатила къ одному изъ дворцовыхъ подъѣздовъ.

Курьеръ... курьеръ изъ арміи!—тотчасъ же разнеслось по всѣмъ коридорамъ, этажамъ и апартаментамъ—и курьеръ немедленно же былъ введенъ въ кабинетъ государя.

— Злые или добрыя вѣсти?—быстро спросилъ императоръ.

— Вѣсти геройскія,—почтительно и твердо отвѣтилъ посланецъ, подавая запечатанный пакетъ.

Государь нетерпѣливо сломалъ печать и жадно погрузился въ чтеніе реляціи.

— Слава Богу!.. Честь оружія спасена и армія тоже! — воскликнулъ онъ, осѣняя себя широкимъ крестнымъ знаменіемъ, и снова перечитать всю реляцію.

— Ты находился все время тамъ? при фельдмаршалѣ?—спросилъ онъ.

— Все время, ваше величество, и былъ очевиднымъ свидѣлемъ неимоверныхъ трудовъ и подвиговъ арміи.

Государь съ нѣскольکو бѣльшимъ вниманіемъ окинулъ взглядомъ всю фигуру курьера.

— Господинъ полковникъ Череповъ!—воскликнулъ онъ съ улыбкой. — Ну, что-жъ, удалось-ли вамъ въ бою схватить за тупей фортуну?

— Моя fortuna въ рукахъ вашего величества,—отвѣтилъ, склонивъ голову, Череповъ.

— Недурно сказано!—усмѣхнулся императоръ.—Итакъ, ты видѣлъ все?.. Самъ былъ свидѣлемъ?.. Расскажи. А впрочемъ, нѣтъ!—перевѣрилъ онъ самого себя. — Пойдемъ сперва къ императрицѣ, порадуемъ ее доброй вѣстью, и тамъ за-одно ты расскажешь.

И онъ повелъ Черепова на половину государыни.

— А что ваше сердце, господинъ полковникъ? — нежданно спросилъ вдругъ императоръ. — Все такъ-же ли продолжаетъ хранить чувствительность къ извѣстной особѣ?

— Да, государь, и по-днесъ люблю ее! — открыто сказалъ Череповъ.

— И что-жъ, намѣрены дѣлать предложеніе?

— Желалъ бы съ охотою всего сердца, но...

— Все еще не осмѣливаетесь?

— Да, ваше величество!

— Гдѣ черезчуръ ужъ смѣлъ, а тутъ робокъ не кстати,—замѣтилъ съ улыбкой императоръ.—Ну, хочешь, я буду твоимъ сватомъ. Для меня, надѣюсь, отказа не будетъ.

И съ этими словами они вошли въ кабинетъ императрицы.

Государыня у окна занималась акварельною живописью. Княгиня Ливенъ, бывшая въ тотъ день дежурной статсъ-дамой, сидя за кресломъ ея величества, держала на колѣняхъ какую-то вязальную работу, а дежурная фрейлина читала вслухъ государынѣ вновь вышедшую повѣсть Карамзина. При входѣ императора, обѣ послѣднія дамы почтительно поднялись съ мѣста. Въ эту минуту, быстрымъ взглядомъ окинувъ всю женскую группу, Череповъ чуть не вскрикнулъ отъ восторга: въ дежурной фрейлинѣ узналъ онъ графиню Елизавету, которая, тоже поднявъ глаза на вошедшихъ, вдругъ вся вспыхнула отъ неожиданной радости.

— Я зналъ, зачѣмъ велъ васъ сюда!—какъ бы вскользь замѣтилъ ему государь съ самой милостивой улыбкой, и прямо направился къ императрицѣ.

— Добрыя вѣсти!.. Славныя вѣсти!.. Старикъ нашъ неразлученъ съ геройствомъ! — сказалъ императоръ и самъ сталъ громко читать реляцію Суворова.

Вслѣдъ затѣмъ онъ заставилъ Черепова рассказать о всѣхъ видѣнныхъ имъ подробностяхъ альпійскихъ битвъ и переходовъ. Безыскусственный, но правдивый и оживленный рассказъ въ устахъ очевидца былъ увлекательно ярокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простъ, и невольно хваталъ за душу. Государь сжималъ губы и нервно мялъ въ пальцахъ сложенную бумагу, когда передавались ему всѣ мрачныя подробности предательскихъ козней нашихъ добрыхъ союзниковъ; императрица невольно отерла слезу, слушая о томъ, что перенесено было русской арміей на ледяныхъ вершинахъ и въ глубинѣ темныхъ пропастей этого «царства ужасовъ»; но лица царственной четы засвѣтились удовольствіемъ и радостью, когда рассказъ дошелъ до спасенія арміи, до эпизода ея перехода въ Куръ, до выраженія того чуднаго, геройскаго духа, которымъ оживлено было все

войско въ самые ужасные дни. Переданы были также и многія подробности о великомъ князѣ Константинѣ, о его самоотверженіи въ Клёнтальской битвѣ, о его боевыхъ трудахъ, лишеніяхъ и живомъ участіи къ солдатамъ, съ которыми дѣлился онъ всѣмъ, чѣмъ только могъ и что имѣлъ при себѣ. Этотъ послѣдній разсказъ вполнѣ возвратилъ государю его свѣтлое, довольное настроеніе духа.

— Благодарю!.. Спасибо!—сказалъ онъ привѣтливо Черепову и вслѣдъ затѣмъ вдругъ обратился къ графинѣ Елизаветѣ.—Не правда ли, что не много красавицъ отказались бы отъ чести быть женами подобныхъ героев?

— Если только герои захотятъ обратиться на нихъ вниманіе, государь, — скромно замѣтила дѣвушка.

— О, въ этомъ я совершенно увѣренъ! И потому... (онъ весело окинулъ взглядомъ Черепова и Лизу) и потому, сударыня, я позволяю себѣ просить вашей руки для генераль-майора Черепова. Надѣюсь, ни вы, ни вашъ батюшка не откажете намъ въ этой чести?

Радостно смущенная Лиза сдѣлала глубокій поклонъ государю и, вся зардѣвшись, безмолвно подала жениху свою руку.

XXVIII.

Лучи безсмертія и славы.

Слѣдствіемъ своекорыстной политики вѣнскаго двора и всѣхъ коварствъ Тугута былъ разрывъ нашего союза съ Австріей.

«Вашему величеству, писалъ государь Павелъ Петровичъ императору Францу, — уже должны быть извѣстны послѣдствія преждевременнаго выступленія изъ Швейцаріи арміи эрц-герцога Карла, которой, по всѣмъ соображеніямъ, слѣдовало тамъ оставаться до соединенія фельдмаршала князя Италійскаго съ генералъ-лейтенантомъ Корсаковымъ. Видя изъ сего, что мои войска покинуты на жертву не-пріятелю тѣмъ союзникомъ, на котораго Я полагался болѣе, чѣмъ на всѣхъ другихъ; видя, что политика его совершенно противоположна Моимъ видамъ, и что спасеніе Европы принесено въ жертву желанію расширить вашу монархію; имѣя притомъ многія причины быть недовольнымъ двуличнымъ и коварнымъ поведеніемъ вашего министерства (котораго побужденія не хочу и знать, въ уваженіе высокаго сана Вашего Императорскаго Величества), Я съ тою прямою, съ которой поспѣшилъ къ вамъ на помощь и содѣйствовалъ успѣхамъ вашихъ армій, объявляю теперь, что отнынѣ переставъ заботиться о вашихъ выгодахъ и займусь выгодами собственными своими и другихъ союзниковъ. Я прекращаю дѣйствовать за-одно съ вашимъ императорскимъ величе-

ствомъ, дабы не дѣйствовать во вредъ благому дѣлу»...

Это письмо было передано императору Францу чрезъ русскаго посла, Колычева, замѣнившаго графа Разумовскаго. Прочитавъ его, Францъ до того смутился, что не умѣлъ даже скрыть свои ощущенія предъ нашимъ посломъ, который, послѣ аудіенціи у императора австрійскаго, имѣлъ свиданіе съ барономъ Тугутомъ. Когда Колычевъ объявилъ ему, что русскимъ войскамъ предписано возвратиться въ Россію, Тугутъ сначала не хотѣлъ даже этому вѣрить. Черты лица его, всегда холодныя и неподвижныя, тоже не могли скрыть живого смущенія; но потомъ, придя нѣсколько въ себя, австрійскій министръ началъ вдругъ выхвалять доблести русскихъ войскъ, заслуги полководца ихъ, и старался вывѣдать у Колычева, не можетъ ли Суворовъ хотя повременить на нѣкоторое время выступленіемъ изъ Германіи, въ той надеждѣ, что гнѣвъ императора Павла, быть можетъ, еще смягчится и повелѣнія его будутъ отменены. Послѣ перваго испуга, Тугутъ старался успокоить себя той мыслью, что императоръ Павелъ въ дѣйствительности не рѣшится привести въ исполненіе свою угрозу. Однако же надежды вѣнскаго двора, давно уже, впрочемъ, затѣявшаго втайнѣ отдѣльные переговоры съ французской директоріей, въ скоромъ времени окончательно рушились.

Копія письма къ австрійскому императору была препровождена государемъ къ Суворову, при особомъ рескриптѣ, гдѣ, между прочимъ, значилось: «Вы должны были спасти царей; теперь спасите российскихъ воиновъ и честь вашего государя», а въ слѣдующемъ за тѣмъ рескриптѣ государь писалъ, что болѣе «не намѣренъ жертвовать своими войсками для корыстолюбивыхъ и безстыдныхъ видовъ двора вѣнскаго». Суворовъ, конечно, не претендовалъ на разрывъ съ австрійцами, коварство которыхъ чуть не выморщило всю его армію и было главнѣйшей причиной пораженія Корсакова. Императоръ Павелъ очень хорошо понималъ послѣднее и хотя отставилъ Корсакова отъ службы, но, получивъ донесеніе о выходѣ русскихъ изъ Швейцаріи, писалъ къ Суворову, отъ 29-го октября: «Весьма радъ, что отъ вашего изъ Швейцаріи выступленія узнаетъ эрц-герцогъ Карлъ на практикѣ, каково быть оставлену не во-время и на побѣнне; но нѣмцы люди годные: все могутъ снести, перенести и унести». — «Дѣйствуя на пользу общаго дѣла престоловъ, я не долженъ, однако, терять изъ виду безопасность и благоденствіе моей имперіи, въ чемъ отдамъ отчетъ предъ Богомъ и предъ всѣми подданными моими», писалъ государь къ принцу Конде, извѣщая объ отозваніи своихъ войскъ въ Россію. Распорядясь о немедленномъ выступленіи русскои арміи изъ Баваріи и о движеніи ея

«умѣренными маршами» къ предѣламъ своего отечества, государь формально приказалъ *платить за все* на пути чрезъ австрійскія владѣнія, а деньги на путевые расходы просить заимообразно у курфюрста баварскаго Максимилиана. «Теперь главный предметъ мой, извѣщать оны Суворова,—есть возвращеніе ваше въ Россію и охраненіе ея границъ». Дѣйствующую армію предназначалось расположить подъ непосредственнымъ начальствомъ Суворова, на западной окраинѣ Имперіи, а ему самому повелѣвалось «имѣть пребываніе, яко въ оредоточіи маестностей его, — въ мѣстечкѣ Кобринѣ».

Извѣстясь объ этой высочайшей волѣ, Суворовъ сказалъ:

— Я билъ французовъ, но не добилъ. Парижъ, мой пунктъ, — бѣда Европѣ! — и послалъ племянника своего, князя Горчакова, занимать у курфюрста баварскаго миллионъ гульденовъ.

Швейцарскій походъ, по справедливости, считается, не только у насъ, но и въ Европѣ, вѣнцомъ воинской славы Суворова. Графъ Ростопчинъ, въ письмѣ къ нему, въ слѣдующихъ выраженіяхъ высказывалъ свое мнѣніе объ этомъ походѣ: «Ваше послѣднее чудесное дѣло удостоиваютъ въ Вѣнѣ названіемъ «*une belle retraite*». Еслибъ они (т.-е., австрійцы) умѣли такъ ретироваться, то давно бы завоевали всю вселенную».

— *Belle retraite!* — воскликнулъ со смѣхомъ Суворовъ. — Помилуй Богъ!.. Здѣсь нѣтъ *des belles retraites*, — развѣ въ пропастяхъ!

Императоръ Павелъ, по тому же поводу, писалъ ему въ рескриптѣ отъ 29-го октября: «Побѣждая повсюду и во всю жизнь вашу враговъ отечества, не доставало вамъ одного рода славы — продолжитъ и самую природу. Но вы и надъ нею одержали нынѣ верхъ: поразивъ еще злодѣевъ Вѣры, поправили вмѣстѣ съ ними козни сообщниковъ ихъ, злобу и заистію противъ васъ вооруженныхъ».

Спасеніе русскаго войска въ самой ужасной и труднѣйшей изъ мѣстностей Швейцаріи было во мнѣніи государя величайшей заслугой. Выслушавъ реліцію, онъ тутъ же возвелъ Суворова въ званіе *генералиссимуса* и сказалъ при этомъ графу Ростопчину: «Это много для другого, а ему мало — ему быть ангеломъ», и въ рескриптѣ, которымъ объявлялась старику эта новая милость царская, было изображено: «Награждая васъ по мѣрѣ признательности моей и ставя на высшій степенъ, чести и геройству предоставленный, увѣренъ, что возвожу на оный знаменитѣйшаго полководца сего и другихъ вѣковъ». Въ то же время императоръ повелѣлъ отлить статую Суворова и, въ честь его,

воздвигнуть монументъ въ Петербургѣ, на Марсовомъ полѣ ¹⁾.

Въ числѣ самыхъ дѣятельныхъ и полезныхъ участниковъ швейцарскаго похода былъ великій князь Константинъ Павловичъ, которому Суворовъ, въ донесеніи своемъ государю, отдалъ полную дань справедливости, за что великому князю пожалованъ былъ титулъ *цесаревича*. Всѣ частные начальники и отличившіеся офицеры, по представленію генералиссимуса, получили щедрія награды.

Вся Европа дивилась и рукоплескала Суворову. Ораторы, поэты слагали ему похвалы. Державинъ, воспѣвшій нѣкогда Измаилъ и Прагу, сдѣлалъ швейцарскіе подвиги предметомъ новой своей оды, которая исполнена самобытными красотоми: своеправными, какъ геній Суворова, дикими, какъ природа Швейцаріи. Воспѣвая подвиги русскихъ, Державинъ изображалъ Валгаллу и древняго героя Сѣвера, указующаго на Суворова:

«Се мой», гласить онъ, «воевода,
Воспитанный въ огняхъ, во льдахъ,
Вожь бурь полночнаго народа —
Девятый валъ въ морскихъ волнахъ!»

«Хочоветъ адъ», восклицалъ Державинъ, рисуя битвы въ Альпійскихъ горахъ и представляя Сен-Готардъ исполиномъ, который касается «главой небесъ, ногами ада» и съ реберъ котораго —

„Шумятъ внизъ рѣки!..
Предъ нимъ мелькають дни и вѣки,
Какъ вкругъ волнующійся паръ...»

Эта ода заключалась мыслию, что отнынѣ вѣковѣчными обелисками русскихъ подвиговъ пребудутъ сами Альпійскія горы.

Вмѣсто миллиона гульденовъ, у курфюрста баварскаго нашлось всего 200 тысячъ, которыя и были немедленно доставлены генералиссимусу. Затѣмъ, вся русская армія сосредоточилась въ Аугсбургѣ. Здѣсь прислали къ Суворову почетную стражу.

— Зачѣмъ это!?. Помилуй Богъ!.. Не надо!.. Меня охраняетъ любовь народная! — сказалъ онъ, отсылая караулъ.

Около мѣсяца прожили въ Аугсбургѣ русскіе, и время, проведенное здѣсь, прошло для нихъ шумно и весело. Множество генераловъ, министровъ, путешественниковъ стекалось сюда со всѣхъ сторонъ Европы, чтобы видѣть Суворова, хоть мелькомъ, но во-очію взглянуть на него. Все благоговѣло предъ героемъ Италійскимъ. Изъ Аугсбурга русская армія двинулась далѣе, двумя колоннами — одна черезъ

¹⁾ Монументъ былъ открытъ уже въ 1801 году, въ царствованіе императора Александра I, и первоначально поставленъ на Царицыномъ лугу, а впоследствии перенесенъ на площадь къ Троицкому мосту, которая съ тѣхъ поръ и называется *Суворовскою*.

Богемію, другая—чрезъ Моравію. Самъ Суворовъ слѣдовалъ при первой. Въ городкѣ Вишау встрѣтилъ его хоръ дѣтей, пропѣвшій въ честь ему гимнъ. Старикъ прослезился, перецѣловалъ маленькихъ пѣвцовъ, усадилъ ихъ у себя за столъ, потчивалъ разными лакомствами и самъ пѣлъ съ ними.

1-го декабря Суворовъ прошелъ Нитенау и вступилъ въ Прагу, столицу Богеміи, гдѣ, во исполненіе высочайшаго повелѣнія двигаться «умѣренными маршами», приготовился дать войскамъ своимъ продолжительный отдыхъ и остался здѣсь на цѣлый мѣсяцъ. Сюда прѣхали къ нему генералъ Беллегардъ—со стороны императора австрійскаго, и лордъ Минто—со стороны короля англійскаго, для новыхъ попытокъ уговорить его сражаться. Старикъ былъ и самъ не прочь отъ этого, только не вмѣстѣ съ австрійцами. Множество знатныхъ людей, министровъ, дипломатовъ, генераловъ и дамъ окружали его и здѣсь, какъ въ Аугсбургѣ. Здѣсь, среди героевъ, которыхъ водилъ къ побѣдамъ, среди уполномоченныхъ агентовъ государей, искавшихъ его вниманія и согласія, Суворовъ въ послѣдній разъ явился въ полномъ блескѣ славы и почестей. Въ Прагѣ же помолвилъ онъ и своего сына съ принцессой Курлиндской. По вечерамъ у него происходили многоядные и шумныя собранія. Затѣялъ онъ тутъ справлять русскія святки, завелъ святочные игры, фанты, жмурки, жгуты, подблюдныя пѣсни, самъ пѣлъ и бѣгалъ, и мѣшался въ толпѣ гостей, съ точностію исполняя все, что назначалось ему продѣлывать, когда вынимался его фантъ, водилъ хореводы, заставлялъ нѣмцевъ выговаривать трудныя русскія имена и мудренныя слова, и слушать разсказы о славной плсуньи—боровичской исправничихѣ, и, наконецъ, пускался въ танцы: «люди вправо — пишетъ очевидецъ ¹⁾—а онъ влѣво; такую причинялъ кутерьму, суматоху, штурмъ, что всѣ скакали, прыгали и сами не знали куда». И замѣчательно, что знатнѣйшія богемскія дамы, австрійскіе генералы, даже англійскій посланникъ при вѣнскомъ дворѣ и множество чужестранцевъ — путались вмѣстѣ съ руссаками въ нашихъ народныхъ играхъ. Суворовъ былъ очень доволенъ, если, при игрѣ въ жгуты, особенно больно доставалось по сплнѣ австрійскимъ генераламъ.—«Пониже бы ихъ хорошеничко! Пониже!» — приговаривалъ онъ, хлопалъ въ ладоши. Сюда же, въ Прагу, явился художникъ Миллеръ, присланный отъ курфюрста саксонскаго съ просьбой о позволеніи списать съ Суворова портретъ для дрезденской галлерей. Старикъ очаровалъ Миллера своими разговорами. Ласково встрѣтивъ его, онъ сталъ словами изображать свой нравственный портретъ.

— Ваша кисть изобразить черты лица моего, — говорилъ онъ художнику, — онѣ видны; но внутреннее челоѡѣчество мое сокрыто. Итакъ, скажу вамъ, любезный господинъ Миллеръ, что я проливалъ кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближняго, во всю жизнь мою никого не сдѣлалъ несчастнымъ, ни одного приговора на смертную казнь не подписывалъ; ни одно насѣкомое не погибло отъ моей руки. Былъ малъ, былъ великъ (при этомъ Суворовъ вскочилъ на стулъ); въ приливахъ и отливахъ счастья уповалъ на Бога и былъ непоколебимъ (тутъ онъ сѣлъ на стулъ); непоколебимъ какъ теперь!.. Вдохновитесь вашимъ гениемъ и начинайте!

— Твой гений вдохновитъ меня! — воскликнулъ въ восторгѣ художникъ.

Умолкнувъ, Суворовъ терпѣливо выдерживалъ неподвижную позу — и прекрасный портретъ его, списанный Миллеромъ, до нашихъ дней хранится въ дрезденской галлерей.

Въ это время оживлялъ Суворова не суетный блескъ, окружавшій его, не величіе, въ какомъ являлся онъ въ представленіи своихъ современниковъ — оживляла его надежда явиться снова, но уже самостоятельно, среди громовъ битвы и побѣды. Любимой и самой заветной мечтой его было побѣдить и умереть въ бою, но не на постели.

Высочайшій рескриптъ отъ 29-го декабря засталъ его еще въ Прагѣ. — «Князь! собственноручно писалъ государь, — поздравляю васъ съ новымъ годомъ и желаю его вамъ благополучна, зову васъ къ себѣ. Не мнѣ тебя, герой, награждать! ты выше мѣръ моихъ; но мнѣ чувствовать сіе и цѣнить въ сердцѣ, отдавая тебѣ должно».

Удовлетворяя желанію государя, генералисимусъ простился съ войсками: онъ прослезился — и ничего не могъ сказать имъ отъ волненія... Ряды солдатъ тоже безмолвовали и были грустны, словно предчувствуя, что видятъ «отпа» уже въ послѣдній разъ въ своей жизни. Суворовъ сдалъ начальство генералу Розенбергу и спѣшилъ выѣхать изъ Праги. Но предъ отъѣздомъ, возражая еще разъ на новые планы, представленные ему Беллегардомъ и Минто, онъ выразился напрямикъ, что «всѣ эти планы краснорѣчивы, да не естественны, прекрасны, да не хороши», и на прощанье высказалъ имъ мысль весьма замѣчательную:

— Если хотите еще разъ воевать съ Франціей, — сказала онъ, — то войте хорошо, ибо война плохая — смертельный ядъ. Въ этомъ случаѣ лучше и не предпринимать ее! Всякій, изучившій духъ революцій, былъ бы преступникомъ, если бъ умалчалъ объ этомъ. *Первая великая война съ Франціей должна быть также и послѣднею.*

Спустя пятнадцать кровавыхъ лѣтъ, Европа

¹⁾ Е. Б. Фуксъ.

въ 1812 году убѣдилась въ вѣщихъ словахъ Суворова.

На другой день онъ выѣхалъ изъ Праги въ сопровожденіи небольшой свиты. По дорогѣ, въ моравскомъ городкѣ Нейтитченкѣ, гдѣ умеръ и похороненъ австрійскій фельдмаршалъ Лаудонъ, пожелалось ему взглянуть на гробницу этого замѣчательнаго человѣка. Погрузаясь въ глубокую задумчивость, долго стоялъ онъ и смотрѣлъ на длинную латинскую эпитафію, гдѣ въ подробности и до послѣднихъ мелочей исчислены были дѣла, чины, титулы и отличія Лаудона.

— Къ чему такая длинная надпись! — произнесъ онъ наконецъ въ раздумьи.

Рядомъ съ нимъ стоялъ Фуксъ, ловя налицѣ великаго старца всѣ оттѣнки сокровенныхъ думъ, волновавшихъ его душу въ эту замѣчательную минуту.

— Нѣтъ! Когда я умру, — продолжалъ Суворовъ, обратясь къ своему спутнику, — завѣщаю тебѣ волю мою: когда я умру, не дѣлайте на моемъ надгробіи похвальной надписи. Напишите просто, всего три слова: *«здесь лежитъ Суворовъ»*, — съ меня и довольно!

XXIX.

Смерть великаго дѣда.

Доѣхавъ до Кракова, Суворовъ почувствовалъ себя дурно. Онъ черезъ силу поѣхалъ на балъ, данный въ его честь, но среди пышной толпы видимо казался утомленнымъ и грустнымъ: здѣсь уже не было въ немъ ни обычныхъ его остроумныхъ выходокъ, ни оригинальностей. На другой день у него открылась болѣзнь, извѣстная подъ названіемъ *«фликтена»*; сыпь и водяные пузыри покрыли все его тѣло. Онъ поспѣшилъ добраться до Кобрина, гдѣ находилась его «мастность» и, какъ ни торопился въ Петербургъ, однако, противъ воли, долженъ былъ лечь въ постель. Императоръ Павелъ, встревоженный извѣстіемъ о болѣзни своего генералиссимуса, прислалъ къ нему своего лейбъ-медика Вейкарта. — «Молю Бога, писалъ онъ, — да сохранить мнѣ героя Суворова. По приѣздѣ вашемъ въ столицу, увидите вы вполне признательность къ вамъ вашего государя, которая, однако-жъ, никогда не сравнится съ вашими подвигами и великими заслугами, оказанными мнѣ и государству».

Ежедневно скакали курьеры изъ Кобрина въ Петербургъ, съ депешами о состояніи здоровья Суворова. Медики совѣтовали ему пользоваться водами, но онъ вообще пренебрегалъ медициной, не терпѣлъ лекарствъ и лечился по своему.

— Помилуй Богъ! — отвѣчалъ онъ на всѣ эти совѣты. — Посылайте на воды здоровыхъ богачей, игроковъ, интригановъ, а я вѣдь боленъ

не шутя... Мнѣ надобны деревенская изба, молитва, баня, каша да квасъ.

Однако, извѣстясь о волѣ государя, который желалъ, чтобы больной слѣдовалъ предписаніямъ медика, Суворовъ подчинился приказаніямъ Вейкарта. Однажды какъ-то велѣлъ онъ денщику своему «Прощѣ» отыскать свою старую аптечку, подаренную ему Екатериною.

— Я только хотѣлъ поглядѣть на нее; она надобна мнѣ только на память, — оправдывался онъ, когда Вейкартъ сердито отнялъ у него аптечку.

Предписано было ему одѣваться теплѣе, а онъ не хотѣлъ и отговаривался тѣмъ, что «я де солдатъ!»

— Вы генералиссимусъ, — возразилъ ему Вейкартъ.

— Такъ-то, такъ, да солдатъ съ меня примѣръ брать! Вотъ что! — отвѣчалъ несговорчивый Суворовъ.

Никакъ не могли также убѣдить его ѣсть скромное въ великій постъ. Однако Вейкартъ значительно помогъ своему паціенту. Почувствовавъ облегченіе, старикъ усердно принялся ходить въ церковь, по обыкновенію, глѣз на клиросѣ, читалъ Часы и Апостолъ, клалъ положенные поклоны. Вспыльчивый Вейкартъ безпрестанно сердился на него, доказывалъ, что все это изнуриетъ его физическія силы, а Суворовъ, въ отместку за ворчливость, заставлялъ говорить его по-русски, ходить вмѣстѣ съ собой въ церковь, ѣсть постное, и отъ души смѣялся досадѣ нѣмца-врача, который всячески старался отбоярится отъ такого непривычнаго ему образа жизни. Слыша о безпрерывной благосклонности государя, съ чувствомъ говорилъ Суворовъ: «Вотъ это вылечитъ меня лучше Ивана Ивановича Вейкарта!» — Онъ все еще дѣятельно занимался перепиской, пересматривалъ и провѣрялъ списки наградъ, заботливо спрашивая, «не забытъ-ли кто?» Но по временамъ, чувствуя безнадежность своего здоровья, говорилъ, что лишь-бы добраться до Питера, увидеть государя, а потомъ — умирать въ деревню! Совѣтовали ему просить у императора еще какое-нибудь матеріальное обезпеченіе для себя и дѣтей.

— Какъ!.. мнѣ испрашивать еще что-нибудь у щедрого монарха!.. Да это подло, совѣстно, грѣхъ! — съ негодованіемъ воскликнулъ безкорыстный старецъ.

Но въ другіе часы забывалъ онъ о своей деревнѣ и говорилъ о военныхъ дѣлахъ, о битвахъ; мечталъ о новомъ походѣ въ Италію, во Францію, въ Парижъ, гдѣ, по его убѣжденію, только и могъ быть положенъ дѣйствительный конецъ деспотическимъ дѣйствіямъ республиканцевъ; создавалъ новые планы освобожденія Европы, писалъ письма къ государямъ и знаменитымъ современникамъ; разго-

варивалъ о приготовленіяхъ къ триумфальному въѣзду его въ Петербургъ.

— Дайте, дайте мнѣ только увидѣть государя! — восклицалъ онъ, съ удовольствіемъ слушающій рассказы о томъ, какъ нетерпѣливо ждутъ его въ столицѣ, какія почести придумываетъ ему императоръ, какъ готовить для него помѣщеніе въ Зимнемъ дворцѣ, хочетъ встрѣтить его, какъ римскаго триумфатора, со всей гвардіей, при громѣ пушекъ и колокольнымъ звонѣ. Читая письмо государя, гдѣ онъ писалъ, что «радуется приближенію часа, когда обниметъ героя всѣхъ вѣковъ», старикъ оживалъ, молодѣлъ, веселился и торопился приготовленія къ своей дальнѣйшей поѣздкѣ.

Наконецъ, Вейкартъ разрѣшилъ ему отправиться въ путь, но съ тѣмъ однако, чтобы не уѣзжать въ сутки болѣе 25-ти верстъ. Суворовъ не могъ уже, какъ прежде, летѣть на перекладныхъ, въ ямской телѣгѣ: теперь его везли въ дормезѣ, на перинѣ, обложенного подушками, въ сопровожденіи врачей. Баграціонъ свидѣтельствуетъ, что «переходъ чрезъ Альпійскія горы въ ненастное время, а болѣе всего неудовольствія отъ гофкригсрата и враждебнаго Тугута, изъ зависти и злобы нанесенныя, и ихъ козни сильно подѣйствовали на здоровье Александра Васильевича». Крѣпкая натура боеваго старика долго боролась съ болѣзнію, но наконецъ послѣдняя взяла — таки верхъ.

Не переставая заботиться о состояніи здоровья своего полководца, императоръ Павелъ, тѣмъ не менѣе, отдалъ 20-го марта 1800 года слѣдующій высочайшій приказъ: «Вопреки высочайше изданнаго устава, генералиссимусъ князь Суворовъ имѣлъ при корпусѣ своемъ, по старому обычаю, непремѣннаго дежурнаго генерала — что и дается на замѣчаніе всей арміи».

Этимъ приказомъ особа генералиссимуса поставлена была выше выговора, который вмѣсто него сдѣланъ былъ какъ бы всему русскому войску.

Суворовъ почувствовалъ это тонкое различіе, и тѣмъ сильнѣе было его огорченіе.

Приказомъ этимъ воспользовались его враги и недоброжелатели, чтобы оклеветать его предъ государемъ и повсюду распустили слухъ, что не почести, но гнѣвъ и негодованіе государя ожидаютъ его въ Петербургѣ, что встрѣчи, готовленныя ему, отмѣнены и войскамъ не велѣно отдавать ему почестей, высочайше дарованныхъ за италійскіе подвиги... Въ этой новой и вполне удавшейся интригѣ было не безъ участія тайныхъ клеветовъ Тугута.

Слухи о ней дошли и до Суворова, когда онъ остановился въ Вильнѣ. Въ нѣсколькихъ станціяхъ за этимъ городомъ, свита генералиссимуса съ изумленіемъ и страхомъ увидѣла

въ немъ внезапную переменъ къ худшему. Припадки болѣзни возобновились и усилились. Онъ не могъ ѣхать далѣе и остановился на дорогѣ въ бѣдной литовской корчмѣ. Его внесли въ хату и положили на лавку. Сопровождавшіе его лица не могли удержаться отъ слезъ, при видѣ изможденнаго старика, прикрытаго простынею и почти умирающаго. — «Боже великій! За что страдаю?» — тяжело вздыхалъ онъ по временамъ, прерывая свою молитву и подавляя стоны.

Но желѣзная натура его еще разъ взяла верхъ надъ болѣзнію. Всѣ были обрадованы, когда Суворовъ, кое-какъ перемогшись, началъ снова свое путешествіе, и особенно когда пріѣхалъ онъ въ Ригу. Здѣсь засталъ его первый день Пасхи. Черезъ силу надѣлъ онъ полный мундиръ со всѣми орденами, отслужалъ заутреню и обѣдню и разговѣлся у рижскаго губернатора.

Остальное путешествіе до Петербурга тянулось двѣ недѣли и шло, какъ бы на похоронное шествіе. Толпами высыпалъ къ нему на встрѣчу народъ, но онъ опасаясь потревожить его покой, не рѣшился привѣтствовать героя своими кликами и, обнаживъ головы, провожалъ его въ торжественномъ безмолвіи, плакалъ и крестился, молясь за недужнаго старца. Едва шевелясь и видимо угасая, Суворовъ все еще шутилъ и съ тихой улыбкой говорилъ иногда: «Охъ, устарѣлъ я что-то!..»

Въ Стрѣльнѣ ожидали его друзья и родные. Дормезъ генералиссимуса былъ окруженъ здѣсь множествомъ петербуржцевъ, нарочно съѣхавшихся сюда встрѣтить народнаго героя. Почти всѣ глаза полны были слезъ, когда увидали умирающаго старика — тѣнь великаго Суворова. Слабымъ голосомъ говорилъ онъ съ окружающими его. Дамы и дѣти подносили ему цвѣты и фрукты; онъ благодарилъ дамъ, просилъ матерей приподнимать къ себѣ дѣтей и благословлялъ ихъ дрожащей рукою.

Къ нему приблизилась молодая чета и за ней высокій, но уже сильно дряхлѣющій старикъ въ военномъ генеральскомъ мундирѣ.

Суворовъ поднялъ глаза, и во взорѣ его на мгновеніе вспыхнулъ свѣтлый лучъ удовольствія и радости.

— Вася... Василій... мой... Череповъ!.. Здравствуй, голубчикъ... Царь наградишь тебя... Знаю!.. Хорошо... Помилуй Богъ!.. Спасибо ему за это! — проговорилъ онъ полнымъ чувствомъ, дрожащимъ голосомъ и протянулъ исхудалую костлявую руку.

Череповъ, въ сильномъ волненіи и съ любовію приникъ къ этой рукѣ сыновнимъ поцѣлуемъ. Сердце его сжалось мучительною тоскою и слезы сами невольно навертывались на глаза: такимъ ли оставилъ онъ Суворова нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, въ Курѣ, когда

старикъ отечески цѣловаль и благословляль его въ дальнюю и спѣшную дорогу!..

— А это кто-жь съ тобой?—спросилъ Суворовъ, указавъ глазами на молодую даму, стоявшую рядомъ.

— Жена моя, рожденная графиня Харитонава - Трофимьева,—представилъ Череповъ Лизу.

— Жена!.. Хорошо!.. Поздравляю... У, да какая-жь красавица!.. Любите его, сударыня,—прибавилъ старикъ,—любите... Онъ честный солдатъ и человѣкъ... Онъ достоинъ сего... Вы не дочь ли графа Ильи?.. Знавалъ я его нѣкогда... въ молодости... товарищи были.

— Да, я дочь его... Да вотъ и онъ самъ, мой батюшка!—представила ему Лиза стоявшаго за ней дряхлаго генерала.

— А!.. графъ Ілія!.. Здорово, другъ!—привѣтливо проговорилъ Суворовъ, озарясь страдальчески-свѣтлой улыбкой,—дай руку!.. Уста-рѣли мы немного... А помнишь Куннерсдорфъ... налетъ на Берлинъ съ Тотлебенемъ... вмѣстѣ были... Лихое время!.. Молодость!..

И пожавъ руку графа, онъ, отъ слабости, томно закрылъ свои вѣки и погрузился въ мягкія подушки.

20-го апрѣля, въ одиннадцатомъ часу вечера, тихо въѣхаль Суворовъ въ Петербургъ, чрезъ воздвигнутыя для встрѣчи его триумфальныя ворота и принялъ скромную почесть заставнаго караула, выпедшаго въ сошки, по причинѣ поздняго часа, въ силу устава, безъ ружей. Не заѣзжая въ Зимній дворецъ, остановился онъ въ домѣ племянника своего, графа Д. И. Хвостова, на Екатерининскомъ каналѣ, близъ церкви Николая Морского, и тамъ почувствовалъ себя сразу до того плохо, что тотчасъ же безмолвно легъ въ постель.

Государь, узнавъ о пріѣздѣ Суворова, немедленно прислалъ къ нему его сподвижника, князя Петра Ивановича Багратіона, провѣдать о здоровьи и поздравить съ пріѣздомъ. Багратіонъ засталъ старика въ постели, едва дышавшаго отъ изнуренія. Часто впадалъ онъ въ обморокъ; ему терли спиртомъ виски и давали нюхать.

Пришедши въ себя, онъ взглянулъ на Багратіона, и въ его большихъ гениальныхъ глазахъ не блестѣлъ уже взглядъ жизни. Долго смотрѣлъ онъ, какъ будто припоминая его и наконецъ узналъ.

— А!.. это ты, Петръ!.. Здравствуй!

И замолчалъ, забывшись.

Минуту спустя, взглядъ его сознательно опять остановился на Багратіонѣ, который, пользуясь мгновѣніемъ, поспѣшилъ передать ему все, что приказалъ государь.

Суворовъ при этомъ какъ будто оживился.

— Поклонъ... мой... въ ноги... царю... сдѣ-

лай, Петръ!.. ухъ... больно!—съ усиленіемъ проговорилъ онъ и застоналъ, и впалъ въ бредъ.

Багратіонъ донесъ государю обо всемъ и пробывъ при его величествѣ за полночь. Межъ тѣмъ, каждый часъ доносили императору о ходѣ болѣзни Суворова.

— Жаль его!—съ глубокой грустью сказалъ государь, между многими о немъ рѣчами. — Жаль! Россія и я, со смертію его, теряемъ многое... Да, мы потеряемъ много, а Европа—все!

На утро явился къ генералиссимусу горячій поклонникъ его, вице-канцлеръ графъ Ѳ. В. Ростопчинъ, и привезъ собственноручное письмо Людовика XVIII, при которомъ князю Италійскому препровождался орденъ св. Лазаря и св. Богородицы Кармельской. Суворовъ просилъ прочесть письмо и, взявъ ордена, спросилъ:

— Откуда присланы?

Изъ Митавы,—отвѣчалъ Ростопчинъ.

Горькая улыбка мелькнула на устахъ страдальца.

— Какъ изъ Митавы?—проговорилъ онъ. — Король французскій долженъ быть въ Парижѣ!

И какъ бы сомнѣваясь, такъ ли ему читали, просилъ еще разъ прочесть письмо, и когда услышалъ слова: «Примите, герой великій, знаки почестей отъ несчастнаго монарха, который не былъ бы несчастнымъ, если бы слѣдовалъ за вашими знаменами», — крупныя слезы блеснули на глазахъ его. Старикъ перекрестился, поцѣловаль кресты орденовъ и безмолвно опустилъ ихъ на колѣни.

Съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ недугъ все усиливался; давнишнія привычки и оригинальности Суворова исчезали одна за другой.

Медленно, тихо и безропотно угасалъ закаленный, старый солдатъ...

Память замѣтно начинала измѣнять ему, такъ что часто забывалъ онъ названія мѣстностей, прославленныхъ его недавними боевыми подвигами, забывалъ даже и самыя эти побѣды. Но по временамъ, свѣтлое сознаніе возвращалось, и тогда онъ старался крѣпитися, вставать съ постели, присаживался въ большія кресла, заставляя двигать ихъ по комнатѣ, и даже занимался турецкимъ языкомъ, причемъ воспоминалъ свои походы въ Турцію; но вдругъ нить воспоминаній этихъ прерывалась—онъ умолкалъ, голова его грустно никла на грудь, и тогда съ глубоко-скорбнымъ вздохомъ вырывались у него слова:

— Зачѣмъ не умеръ я тамъ,—на поляхъ Италіи...

Услышавъ однажды отъ племянника, что до него есть дѣло, Суворовъ вдругъ совершенно ободрился и твердымъ голосомъ произнесъ:

— Дѣло? Я готовъ!

Когда же все «дѣло» объяснилось тѣмъ, что баронъ Бюллеръ желалъ получить пожалованный ему баварскій орденъ непремѣнно изъ рукъ знаменитаго генералиссимуса,—Суворовъ

грустно опустил голову и слабо, едва внятным голосомъ, промолвилъ:

— Хорошо... пусть войдетъ...

Наконецъ врачи потеряли всякую надежду. Чувствуя приближеніе смерти, Суворовъ 5-го мая призвалъ духовника, исповѣдался, причастился и съ яснымъ спокойствіемъ духа простился со всѣми окружающими его. Наступила ночь, и съ нею — бредъ предсмертный. Въ безпамятствѣ, умирающій герой отдавалъ разные военныя приказанія, твердилъ о Генуѣ, истолковывалъ стратегическіе планы свои... Бредъ продолжался и утромъ, и послѣдними словами Суворова были: «Генуя... Сраженіе... *Впередъ!*» — а во второмъ часу, 6-го мая 1800 г., въ день св. Іова Многострадальнаго, великій и тоже многострадальный человѣкъ тихо испустилъ послѣднее дыханіе.

Глубокое и тяжелое впечатлѣніе произвела вѣсть о смерти Суворова въ столицѣ, въ войскахъ, въ отечествѣ. Многие инвалиды, его соратники, и всѣ русскіе полки служили панихиды по усопшемъ «*отца*», и эти люди, безстрашно и хладнокровно глядѣвшіе съ нимъ вмѣстѣ на смерть, такъ близко и такъ часто, въ кровавыхъ бояхъ, — теперь неутѣшно плакали какъ дѣти...

Императоръ, до глубины души огорченный смертію русскаго полководца, послалъ своего генералъ-адъютанта передать роднымъ покойнаго, «что онъ, наравнѣ съ Россією и съ ними, раздѣляетъ скорбь о потерѣ великаго человѣка».

На другой день массы народа тѣснились около дома, гдѣ скончался народный герой, и тихо, благоговѣйно входили, одинъ за другимъ, поспѣтители въ траурную залу, гдѣ стоялъ на катафалкѣ гробъ Суворова. Лицо его до того было спокойно, что онъ казался не мертвымъ, а только уснувшимъ. Кругомъ, на бархатныхъ подушкахъ, сверкали всѣ ордена и многочисленные знаки отличій генералиссимуса. Люди всѣхъ званій и состояній, не только петербуржцы, но и нарочно пріѣхавшіе изъ другихъ городовъ, хотѣли взглянуть еще разъ на почившаго и поклониться его браннымъ останкамъ. Въ числѣ ихъ замѣчали множество старыхъ инвалидовъ, которые плакали и молились... И всѣ трое сутокъ такимъ образомъ толпился русскій народъ у этого дубоваго гроба.

Настало ясное, теплое утро 9-го мая. По улицамъ изъ Малой Коломны медленно тянулся похоронный поѣздъ Суворова. Все духовенство столицы предшествовало гробу, стройные клиры оглашали весенній воздухъ пѣніемъ: «Святый Боже». Всѣ сановники, вся знать, военные и гражданскіе чины, сословія: дворянское и ку-

печеское, представители науки, литературы и всѣхъ искусствъ и неисчислимое множество народа шли позади печальной колесницы. Далѣе слѣдовали войска со знаменами, обвитыми чернымъ флеромъ. Глухо и монотонно били похоронный маршъ барабаны, сопровождая мѣрнымъ и медленнымъ своимъ боемъ печальные звуки мелодическихъ флейтъ... Далѣе стройно раздавался мрачный маршъ кавалерійскихъ хоровъ, а еще далѣе, позади траурныхъ эскадроновъ, тяжело громыкали по мостовой артиллерійскія орудія. Безчисленные толпы тѣснились на улицахъ вылотъ до самой Александроневской лавры. Окна, балконы и даже крыши домовъ усыяны были народомъ. Державинъ шелъ за гробомъ и выразилъ скорбь свою о кончинѣ героя, подвиги котораго долго служили ему предметомъ поэтическихъ пѣснопѣній. — «Сѣверны громы въ гробъ лежатъ!» слагалъ онъ о смерти Суворова:

Кто передъ ратью будетъ, пылая,
Вздитъ на клѣтъ, вѣтъ сухари?
Въ стужѣ и въ зноѣ мечъ закаляя,
Спать на соломѣ, бдѣть до зари?

Императоръ Павелъ, окруженный блистательной свитой, верхомъ выѣхалъ на уголъ Невскаго и Садовой. Задумчиво стоялъ онъ, близъ Публичной Библіотеки, ожидая приближающуюся процессію, и когда она поровнялась съ нимъ, его величество снялъ съ головы шляпу.

— Прощай!!! Прости!!! Миръ праху великаго! — сказалъ онъ въ полный голосъ, отдавая низкій поклонъ усопшему — и всѣ видѣли, какъ въ эту минуту текли слезы по лицу государя.

Въ воротахъ лавры шествіе затруднилось. Опасались, что высокій надгробный балдахинъ не пройдетъ подъ ворота, и уже хотѣли-было снимать его.

— Впередъ! — закричалъ вдругъ старый гренадерскій унтеръ-офицеръ, ломавшій всѣ походы вмѣстѣ съ Суворовымъ. — Не бойсь-те, пройдетъ! — Онъ, вездѣ проходилъ!

И вотъ, по слову старика-инвалида, разомъ двинулись впередъ — и, дѣйствительно, колесница вмѣстѣ съ балдахиномъ «прошла» на монастырскій дворъ вполне благополучно.

Обрядъ отпѣванія совершалъ митрополитъ Амвросій. Въ послѣдній разъ загремѣли Суворову его грозныя пушки и зарокотали ружейныя залпы, когда, съ провозглашеніемъ «*вѣчной памяти*», гробъ полководца, на рукахъ его соратниковъ, былъ опущенъ въ могилу, которую покрыва скромная плита съ простою надписью: «*Здѣсь лежитъ Суворовъ*».

Это большіе люди хоронили своего великаго человѣка.

НЕ БЫТЬ ПО СЕМУ!

РАЗСКАЗЪ.

Случилось это въ Петербургѣ, въ 1790 году.

Въ церкви Андрея Первозваннаго, что на Васильевскомъ островѣ, благовѣстили къ вечернѣ, когда у калитки одного изъ одноэтажныхъ домиковъ 7-й островской линіи постучался пожилой человѣкъ, по виду, изъ помѣщичьихъ дворовыхъ людей. Въ рукахъ его былъ клочекъ бумажки съ чѣмъ-то адресомъ.

— Здѣсь, что-ли, стоитъ Сената канцеляристъ господинъ Бродниковъ?—спросилъ онъ у отворившей ему пожилой женщины, читая по своей бумажкѣ.

— А вы отъ кого будете?—отозвалась та въ раздумчивомъ сомнѣніи.

— Да ужъ это иная статья, а только пытался-здѣсь-ли?

— Здѣсь-то здѣсь, да чего вамъ надоть?

— Господина Бродникова. Что тутъ, тетка, дарма-то толковать! Указывай, знай, куда здѣсь ходъ къ нему.

— А вотъ, на енто крылечко, — тутъ онъ и будетъ. Постой, собакъ придержи — онъ у насъ злыя.

— Ладно!

И дворовый постучался у указанной ему двери. Въ небольшой прихожей, куда онъ вошелъ теперь, встрѣтилъ его молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-трехъ, безъ пудры, въ одномъ камзолѣ.

— Здравствуйте, сударь Максимъ Степанычъ. Аль не признали?

— Господи Боже мой!—удивленно развелъ молодой человѣкъ руками. — Захарычъ!.. Да ты ли это?!.. Какими судьбами?

— А вотъ, позволѣте доложить вашей милости, — началъ гость съ методичностью стараго барскаго слуги, — что барыня моя, госпожа Москотиньева, Марья Даниловна, съ барышнею Анной Киянтиновной шлютъ вамъ свой усердный поклонъ и велѣли сказать вашей милости, что сегодня утромъ онѣ изволили прибыть

въ Петербургъ и пристали на Фонтанкѣ у Семеновскаго моста, въ стояломъ домѣ, въ номерахъ, и очинно желаютъ видѣть вашу милость.

Молодой человѣкъ радостно бросился на шею Захарычу и отъ души расцѣловалъ его. Мигомъ одѣвъ онъ кафтанъ, епанчу, трехуголку и чуть же опрометью выбѣжалъ на улицу громко клича извозчика. Черезъ минуту, сидя на дрожжахъ-долгушкахъ спина къ спинѣ съ Захарычемъ, онъ уже ѣхалъ къ Семеновскому мосту, а черезъ полчаса радостно и почтительно подходилъ къ ручкѣ Марьи Даниловны Москотиньевой.

— Здравствуй, Максюша, здравствуй, дружокъ! Садися!.. Сколь рада я тебя видѣть, и сказать не знаю, — говорила растроганнымъ голосомъ и нѣсколько въ минорномъ тонѣ пожилая высокая дама, въ бѣломъ чепцѣ и черномъ шерстяномъ платьѣ. — Аннушка! — кликнула она у запертой двери смежной горницы, — прибирайся-ко, сударыня, скорѣе! Максюша здѣсь уже!

Спусти нѣсколько времени къ комнату вошла двадцатилѣтняя красивая дѣвушка, и лицомъ, и ростомъ, и складомъ походила на мать.

При первомъ обоюдномъ взглядѣ другъ на друга, молодые люди нѣсколько смутились: обнимъ было и радостно, и неловко какъ-то. Впрочемъ, Максимъ Степановичъ Бродниковъ, какъ столичный кавалеръ и при томъ сенатскій, отменно знающій «въжливцыя обхожденія», принятыя въ хорошихъ обществахъ, первый преодолѣлъ свое чувство смущенія и, по обычаю, развязно подошелъ къ дѣвушкѣ сдѣлать ей надлежащій «без-менъ». Они были дальніе родственники и сосѣди по имѣннику. Годъ съ небольшимъ тому назадъ пріѣзжалъ Бродниковъ въ отпускъ, на побывку къ своей матери, и тогда-то, по сосѣдству, часто выда-

ясь съ Аннушкой, онъ и она впервые почувствовали другъ къ другу то чувство, которое подало поводъ ихъ матерямъ, большимъ приятельницамъ между собой, строить самые свѣтлые планы насчетъ будущности Максими и Аннушки. Старухамъ казалось, что надо только подождать еще годикъ—другой, когда Максиму произведутъ въ чинъ сенатскаго секретаря, что уже дастъ ему возможность занять въ провинціи не послѣднюю должность въ службѣ по выборамъ, а тогда—честнымъ пиркомъ да и за свадьбу. Но—увы!.. въ теченіе этого года надъ вдовой Москотиньевой стряслась неожиданная бѣда, которая и привела ее теперь въ Петербургъ, наваливъ на ея плечи массу заботъ, хлопотъ и непріятностей.

— Видишь-ли, дружокъ, въ чемъ наше горькое дѣло,—объяснялъ аона Бродникову, усадивъ его къ столу, на которомъ уже появился пущатый самоваръ со всѣмъ чайнымъ приборомъ,—имѣнище-то наше, Москотиньевка, родовое, кровное—вѣдь оно намъ «ахъ-ти—прости» сказано!

— Какъ такъ?—всплеснулъ руками изумившійся Бродниковъ.

— Да такъ, что теперь оно уже не наше, а Zubовское. Все это Zubовъ, Александръ Николаичъ, фаворитовъ отецъ, устроилъ и такъ-то хитро, что не тобою кто-либо, а и сама-то я узнала лишь въ ту секунду, какъ явились судейскіе вводить его въ владѣніе учинять.

— Но, Богъ мой праведный! Какими-жъ то судьбами могло приключиться? — вскричалъ взволнованный Бродниковъ.

— А вотъ возьми терпѣнія малость, выслушай. Вѣдь у насъ въ Володимирскомъ уѣздѣ—самъ, чай, знать изволишь — продолжала хозяйка,—Москотиньевскія-то земли междѣ обѣ между приходится съ деревнями фаворитова отца. Ну, вотъ, отселева-то, съ этого самаго ближняго сосѣдства и зачалось все дѣло. Еще муженекъ мой, покойникъ—дай Богъ царство небесное!—заложилъ Москотиньевку въ Воспитательномъ домѣ — потому, такъ ужъ, тогда крутыя такія обстоятельства приключились—гусарскіе долгишки его платить пришлось—ну, и заложили по необходимости, шестьсотъ душъ за сорокъ тысячъ рублей, — деньги не малыя! И долги расплатили, а остатки все въ имѣнишко же пошли на разныя хозяйскіе улучшенія и придатки. И ежегодные взносы процентовъ и въ погашеніе сама я преаккуратно каждый годъ послѣ того въ Воспитательный домъ производила, но только за прошлогоднимъ неурожаемъ единожды за все время просрочила. Однако-же, въ послѣдствіи кое-какъ извернулась, добыла себѣ деньжонокъ нужную сумму и уже готовилась отсылать этотъ самый процентный взносъ, какъ вдругъ узнаю, что моя Москотиньевка уже приобретена фаворитовымъ отцомъ. Вообрази себѣ, дру-

жокъ мой, что приключилось! — Старый Zubовъ-то, Александра Николаичъ, въ расчетѣ на всемогущество у престола сына своего Платона, свѣдавъ о моей просрочкѣ, взялъ да потайно, и не токмо что безо всякаго права, безъ всякой довѣренности, но даже безъ моего собственнаго о томъ вѣдома, и въ противность самымъ законамъ Воспитательнаго дома, а по единственному своему могуществу, — взялъ да и взнесъ въ казну всю остаточную сумму, въ какой имѣнище еще числилось въ залогѣ. Ну, конечно, получилъ затѣмъ изъ Воспитательнаго дома оправданную складную себѣ на руки, предъявилъ ее въ Гражданскую Палату, а Палата-то эта, то жъ безо всякаго разбирательства и права, и укрѣпила мое имѣніе за взносчикомъ долга, да и сообщила о томъ Намѣстничию Правленію, а Намѣстничию Правленіе возьми да и введи фаворитова отца въ дѣйствительное владѣніе, а меня съ дочкой вытолкало изъ дому, отнявъ все наше въ немъ движимое имущество въ пользу Zubова. Вотъ какое дѣло-то справедливое! И теперь—заключила свой грустный рассказъ Марья Даниловна,—на остатніе гроши вотъ кое-какъ притащились сюда, съ дочкой да съ Захарычемъ (благо покойникъ успѣлъ его вольною наградить!), будемъ искать правды у матушки-царицы. Хотъ и фаворитовъ отецъ, а потягаемъся!

Бродниковъ молча опустилъ голову на ладонь своей облокоченной на столъ руки и задумался.

— Мудреное это дѣло,—проговорилъ онъ, наконецъ, со вздохомъ,—и крайне мнѣ сумнительно, чтобы удалось вамъ превозмочь толико сильнаго противника... Вѣдь Платонъ Zubовъ — штука-ль сказать! — какія роли у насъ онъ нынѣ отыгрываетъ!.. Вѣдь на его сторонѣ всѣ, всѣ рѣшительно, и сенаторы, и самъ генералъ-прокуроръ: взметнетъ милостиво взоромъ—и осчастливленъ человекъ, а нахмуритъ бровь, иль подмахнетъ перомъ—и пропасть человекъ навѣки... Онъ всемогущъ теперь, и даже самъ Таврическій чувствуетъ, что онъ почти ничто предъ Платономъ Александровичемъ.

— Такъ по твоему что-жъ?—досадливо накинулась на него Марья Даниловна,—такъ и бросить это дѣло? Такъ и помириться на томъ, что тебя на склонѣ дней твоихъ, какъ собаку, вытѣсть съ дочерью взяли да и вытолкали безправно изъ родового гнѣзда? Такъ ужъ значить и правды нѣтъ болѣе въ нашей имперіи?

— Правда-то есть, — возразилъ Бродниковъ,—правда сыщется, лишь бы только довести дѣло до императрицы. Она, не взирая на весь фаворъ къ Zubову, не допустить, чтобы въ ея монархіи, подъ ея скипертомъ учинились столь низкія дѣйствы! Но вопросъ въ томъ, какъ довести-то все сіе до монаршаго воззрѣнія? Кто возьметъ на себя доложить та-

кое дѣло въ противность Zubовымъ? Вотъ что!

— Не знаю, ужъ, что выйдетъ, — сказала Москотиньева, — а только сосѣдъ нашъ Алфузовъ, — чай, помнишь? — бригадиръ-то въ отставку, снабдилъ меня одной цидулкой къ одному тутъ чиновнику, что при Безбородкѣ служить.

— Что за чиновникъ такой? — спросилъ Бродниковъ.

— Чиновникъ-то маленькій, Отстепенскимъ прозывается, но человекъ-то онъ, сказывалъ Алфузовъ, въ силѣ у Трошинскаго, который тоже при Безбородкѣ состоитъ, потому что этотъ самый Отстепенскій женатъ будто бы на одной изъ прежнихъ метресокъ не то Трошинскаго, не то самого Безбородки, и дѣлецъ при томъ; ну, и можетъ протекцію оказать у Безбородки.

— Слыхалъ я про этого Отстепенскаго, — замѣтилъ Бродниковъ, — и слыхалъ въ такомъ родѣ, будто онъ скотина презрѣнная.

— Какъ такъ?! Возможно-ли?! — оторопѣла Москотиньева.

— Да такъ. Ужъ это вѣрно. Потому сказываютъ, любить онъ хабару содрать и съ живого и съ мертвого, а при милостивцахъ своихъ состоитъ, какъ слышно, не столько для дѣла, до пользы службы касающихся, сколько по такой приватной части, что и поименовать ее конфузно, особливо при благородной дѣвицѣ, какъ Анна Константиновна, къ примѣру.

— Но Алфузовъ завѣрялъ меня, — горячо вступилась Марья Даниловна, — что онъ старинный ему пріятель, и что этотъ Отстепенскій, по его письму, сдѣлаетъ все, что лишь будетъ въ силѣ его возможности.

— Не смѣю спорить. Можетъ быть! — пожалъ плечами Бродниковъ.

— Тутъ главная сила въ томъ, чтобы дойти до самого Безбородки, — пояснила Москотиньева, — а ужъ Безбородко, конечно, не откажетъ, возьмется доложить государынѣ... Для него это что! — Плевое дѣло!

— Н-да, коли бы тутъ не фамилія Zubовыхъ замѣшалась! Впрочемъ, — поспѣшили Бродниковъ успокоить Марью Даниловну, — дѣйствительно, если еще и можетъ кто пособить вашему дѣлу, то это, конечно, одинъ только Александръ Андреевичъ Безбородко. Онъ вѣдь окомъ того, что состоитъ при государынѣ у принятія прошеній, а еще и докладываетъ ей почти по всѣмъ внутреннимъ дѣламъ, особливо же по тяжбынымъ объ имѣніяхъ.

— Ну, вотъ, вотъ, про то-то я и разумѣю! А Трошинскій, сказываютъ, и всѣ высочайшіе указы по такимъ дѣламъ заготовляетъ? Такъ ли?

— Такъ-то такъ, да только...

— Чево такого «только»? Что ты запнулся, мой батюшка?

— Не запнулся я, а вотъ что! — рѣшительно

поднялся съ мѣста Бродниковъ. — Вы, Марья Даниловна, конечно, хлопочите, пока станеть возможности; за свое постоять и Богъ велить. Но... ежели бы, паче вашего чаянія, оправдалась пословица «съ сильнымъ не борись» и дѣло ваше вы проиграли бы, то и въ такомъ разѣ особенно кручиниться вамъ нѣтъ чего!

— Что же, по твоѣму? Съ рукой идти по міру? христарадничать прикажешь, что-ли?

— Фу! что вы! — отмахнулся Бродниковъ. — Къ чему такое неподобное мыслить изволите!.. Нѣтъ, вы присядьте и выслушайте меня съ хладнокровностію. Можетъ, я что и не вовсе глупое измыслилъ.

— Изволь, батюшка, пожалуй!.. Сижу и слушаю! — согласилась Москотиньева, отмахнувъ назадъ разлетѣвшіеся съ-горяча ленты своего чепчика.

— Вотъ видите-ли, — началъ не безъ внутренней волненія молодой человекъ, — расположеніе сердца моего какъ къ вамъ, такъ и къ Аннѣ Константиновнѣ вамъ давно уже и доподлинно извѣстно, и я неоднократно подтвердилъ предъ нею страсть мою. Не по одному только виду ея прелестному, но и по своему здравому разсужденію она мнѣ нравится, а еще больше тѣмъ, что ни минуты не сидитъ безъ работы праздною. Другія, желая показать остроту свою и умѣнье жить въ большомъ свѣтѣ, пелятся, махаются, судачатъ, а она нѣтъ! Она, какъ искусная рукодѣлица, либо пейзажи и цвѣты рисуетъ, либо узоры по солому вышиваетъ, либо иное что, и такъ какъ мысли мои въ разсужденіи Анны Константиновны ей извѣстны, а равно и сами вы чрезъ мою матушку давно уже извѣстны, о моемъ исканіи, то что-жъ тутъ! Изъяснимся на чистоту! Если бы вы и проиграли ваше дѣло, то — слава Тебѣ, Господи — у матушки и у меня есть еще достаточно, чтобы прожить кое-какъ съ женой и тещей. И откровенно, я вамъ скажу! По крайней мѣрѣ, проживемъ всѣ вмѣстѣ, однимъ домкомъ, одною семьею! И пречудесно, право!..

Но увы! это предложеніе, вопреки ожиданіямъ молодого человека, вовсе не произвело на Москотиньеву того дѣйствія, на какое онъ рассчитывалъ. Напротивъ, ему показалось, что она какъ будто даже обидѣлась.

Выпрямясь во весь ростъ и какъ-то подбравшись и вдобавокъ еще закусывая губу и нѣсколько наморщивъ брови, она отвѣтила ему дружескимъ, но серьезнымъ и очень вѣскимъ тономъ.

— Благодарю тебя, дружокъ, — начала она, — за твое предложеніе; я знаю, что идетъ оно отъ сердца, и конечно, при моей старой дружбѣ съ твоею матерью, иного зятя мнѣ и желать не надо. Скажу тебѣ даѣе: разъ выиграю я мое дѣло, то завтра же сама стану настаивать предъ твоею матерью о свадьбѣ. Но... если дѣло будетъ проиграно, то скажу тебѣ ясно и прямо

теперь же, что никогда Аннушка не будет твоей женой. Москотиньевы пока еще на чужих хлѣбахъ не жилали—нужды нѣтъ, хотя бы и на дружескихъ, хотя бы и на родственныхъ, а не пойдемъ мы въ нахлѣбники. И безприданницу я за тебя не выдамъ. Нѣтъ на то и не будетъ моего благословенія. Уже если такъ суждено намъ быть заѣденнымъ Зубовымъ, то скорѣе же въ монастырь пойдемъ мы съ ней обѣ и въ кельѣ скоротаемъ жизнь, чѣмъ примемъ чужой хлѣбъ изъ милости. Горды мы съ нею для этого! Вотъ тебѣ и скажъ мой.

Опѣшившій Бродниковъ съ жаромъ началъ было увѣрять и доказывать противное, но Марья Даниловна остановила его наиположительнѣйшимъ образомъ.

— Другъ мой,—сказала она,—продолжая объ этой матеріи, мы съ тобою только задаромъ станемъ тратить наши слова. Чтò мною сказано, то вѣрно, и слова своего я не перемѣню. Ну и кончено! А присовѣтуй-ка лучше ты мнѣ, какъ бы и гдѣ бы это намъ разыскать здѣсь поскорѣе Отстепенскаго?

Бродниковъ общалъ не позже завтрашняго же послѣ-обѣда сообщить его подробный адресъ.

Узнавая отъ Москотиньевыхъ, онъ чувствовалъ себя далеко не въ веселомъ расположеніи духа: отвѣтъ Марьи Даниловны на его предложеніе не оставилъ въ немъ ни малѣйшихъ сомнѣній, что эта твердохарактерная женщина поступитъ именно такъ, какъ она разъ сказала, а между тѣмъ надежда на разрѣшеніе дѣла въ ея пользу казалась ему болѣе чѣмъ сомнительной—почти невозможной. Тѣмъ не менѣе, явившись на другой день около вечера, онъ привезъ ей самый подробный адресъ господина Отстепенскаго. Оказалось, что этотъ господинъ Отстепенскій, Лука Марковичъ, коллежскій ассесоръ и кавалеръ, живетъ на Почтамтской улицѣ, въ самомъ домѣ Безбородки, занимая тамъ гдѣ-то во дворѣ даровую квартиру. Марья Даниловна поѣхала къ нему на слѣдующее же утро, вмѣстѣ съ Аннушкой, захвативъ съ собой и письмо Алфузова.

— Ну, вотъ, Максюша!—съ легкой укоризной говорила она вечеромъ Бродникову, — ты Луку-то Марковича описалъ мнѣ такими черными красками, что даже презрѣдую скотиною называлъ; а онъ оказалъ себя вовсе не такимъ. Нѣтъ, сударь, далеко не скотина. Напротивъ, прекраснѣйшій человекъ, сколько разумѣть могу. Принялъ насъ съ Аннушкой отлично, мягко и ласково, усадилъ въ кресла, внимательно сталъ честь Алфузовскую цидулу и такъ подробно расспросилъ обо всемъ, и обѣ Аннушкѣ кстати; выслушалъ все дѣло и общалъ даже самъ ко мнѣ побывать.—«Позвольте, говоритъ, сударыня, быть-вѣзжу къ вамъ въ домъ, потому, говоритъ визиту вамъ возвратитъ хочу и поближе познакомиться какъ съ вами,

такъ и съ вашею прелестною барышнею». Комплименту даже моей Аннушкѣ ждалъ!

Послѣднее обстоятельство не больно-то понравилось Бродникову, но онъ предпочелъ на этотъ разъ смолчать, не желая безъ особой надобности разстраивать то радужно-свѣтлое и полное надеждъ настроеніе, въ какомъ обрѣталась въ этотъ вечеръ Марья Даниловна, польщенная своимъ первымъ и столь легко доставшимся успѣхомъ въ столицѣ.

Черезъ день Лука Марковичъ заѣхалъ къ Москотиньевымъ. Онъ простеръ свою любезность до того, что вызвался самолично составить прошеніе на высочайшее имя, подѣ единственнымъ лишь условіемъ, чтобы это обстоятельство для всѣхъ и навсегда оставалось бы подѣ покровомъ глубочайшей, мертвой тайны, — «а то, борови Боже, провѣдаютъ какъ-нибудь Зубовы, что авторъ прошенія—онъ, Отстепенскій, то и не уявися чтò будетъ, чтò можетъ произойти изъ такого казуса». Все это было сказано, конечно, не безъ того расчета, чтобы Марья Даниловна поняла и оцѣнила весь рискъ, а стало быть и всю великость жертвы, столь великодушно и безкорыстно приносимой ради ея господиномъ Отстепенскимъ. И Марья Даниловна, разумѣется, вполне прониклась чувствомъ не только простой, но даже благоговѣйной благодарности къ этому «благороднѣйшему человеку». Лука Марковичъ забралъ у нея всѣ наличные документы, справки и свѣдѣнія по ея дѣлу, съ тѣмъ, чтобы на основаніи ихъ по обстоятельныѣ составить прошеніе. На этотъ разъ онъ еще болѣе оказалъ Аннушкѣ «особливой аттенціи и комплиментовъ», приглашая ее не конфузиться, такъ какъ сравнительно съ ея возрастомъ, онъ ей можетъ развѣ въ отцы годиться. Марья Даниловна осталась въ полномъ восторгѣ отъ этого «самимъ небомъ ниспосланнаго ей спасителя» и, строго держа данное обѣщаніе, ни единымъ словечкомъ не обмолвилась Бродникову, что составить прошеніе на высочайшее имя взялъ на себя самъ Лука Марковичъ, да и Аннушкѣ строго на строго наказала о томъ же. Бродниковъ продолжалъ бывать у нихъ по-прежнему каждый вечеръ. На вопросъ его — былъ ли у нихъ Отстепенскій, ему кратко отвѣчали, что былъ, молъ, сегодня и общалъ при первой возможности доложить о дѣлѣ Александру Андреевичу. Впрочемъ, Максюша, по-прежнему влюбленный въ Аннушку, болѣе искалъ поводовъ къ разговорамъ съ нею «объ изящныхъ чувствахъ», чѣмъ о дѣлахъ, и восторженно декламировалъ модные въ то время «любовные стишки» Гавріила Романовича Державина:

„Цари! вы свѣтомъ владайте,—
Мнѣ не завидна ваша часть;
Сто кратъ мнѣ лестнѣе, вы знайте,
Надъ нѣжнымъ сердцемъ сладка власть.
Деритесь, славьтесь, устрашайте,—

А я подъ тѣнью миртъ стою
И *Аннушку* мою пою!"

Между тѣмъ дня черезъ три господи́нь Отстепенскій опять посѣтилъ Москотиньевыхъ и на этотъ разъ привезъ Марью Даниловну ея прошеніе, уже начисто перебѣвленное, такъ что ей оставалось только «къ сему прошенію руку приложить».

— Ну, вотъ, государыня моя, — самодовольно говорилъ ей Лука Марковичъ, — стараніемъ моимъ дѣло ваше, могу сказать, на мази! Вечоръ я въ удобную минуту доложилъ о васъ ихъ высокопревосходительству Александру Андреичу, и о томъ равно, что просьбѣцу имѣете повергнуть чрезъ ихъ посредство на высочайшее воззрѣніе, и Александръ Андреичъ соблаговолилъ выразить, что охотно-де согласны принять васъ у себя завтра въ приемные часы, и даже вмѣстѣ съ дочерью вашей — потому я имъ и о вашей барышнѣ прелестной тоже доложилъ. Ну, вотъ, вы и поѣзжайте завтра утречкомъ съ барышней, а я уже буду тамъ — встрѣчу и препровожу васъ. А вы барышня, — прибавилъ Отстепенскій, обращаясь къ Аннушкѣ, — ежели бы, паче чаянія, ихъ высокопревосходительство обратились къ вамъ съ милостивымъ воззрѣніемъ или съ ласковымъ словомъ какимъ, то вы сему не конфузьтесь, а напротивъ тому потщитесь пріятно улыбнуться, реверансъ ему сдѣлайте; они неравно вздумаютъ васъ и по щечкѣ вашей аленькой потрепать, и за подбородочекъ взять, или за ушко легонько ущипнуть, — то и симъ не смущайтесь, потому это они не точю въ сурьезъ, но ради шутки токмо, для того что они у насъ женской красоты и прелести большою цѣнителемъ, ну, и ничего обиднаго для васъ изъ этого воспослѣдовать не можетъ, а улыбкой своей пріятной и глазками можете только еще болѣе расположить Александра Андреича въ пользу вашего дѣла.

Марью Даниловну внутренно немного покорило, но она и виду не показала, а только рѣшилась со всевозможной деликатностью, какъ бы совѣтуясь, спросить у Отстепенскаго — не лучше ли будетъ на первый разъ поѣхать къ Безбородкѣ ей одной, а Аннушку прихватить съ собой уже тогда, когда надо будетъ поблагодарить его за оказанную имъ милость и содѣйствіе?

— Государыня моя! — слегка поморщился Лука Марковичъ, — ужъ если я взялся за ваше дѣло, то и слѣдуйте моимъ совѣтамъ непреословно. Я знаю что говорю и, повѣрьте, на дурное васъ не наставлю. Кралечки вашей съ того не убудетъ, если вельможа слегка ее по щечкѣ потреплетъ, а вамъ же къ пользѣ. А впрочемъ, какъ угодно, дѣйствуйте по собственному разуму, безъ моего посредства, коли находите такъ за лучшее.

Марья Даниловна испугалась въ душѣ, что можетъ столь легко утратить содѣйствіе и благосклонность своего единственного пока покровителя въ этомъ дѣлѣ и потому поспѣшила завѣрить Луку Марковича, что онъ не такъ ее понялъ, что, напротивъ, она и Аннушка готовы безпрекословно исполнять всѣ его благіе совѣты и указанія. На томъ у нихъ это дѣло и кончилось, и разстались они съ господиномъ Отстепенскимъ, безусловно вѣруя въ силу его ума, опытности, знанія дѣлъ и свѣта, а болѣе въ силу его добраго расположенія къ нимъ, благодаря чудотворному письму бригадира Алфужева.

На слѣдующее утро, къ назначенному часу, обѣ Москотиньевы, помянувъ про-себя «царя Давида и всю кротость его», вступили въ богатые сѣни Александра Андреевича Безбородки. Въ этихъ сѣняхъ и на площадкахъ широкой мраморной лѣстницы стояли и дожидались чего-то разные ординарцы, сенатскіе курьеры, почталіоны, ливрейные распудренные лакеи, какіе-то бритоголовые хохлы съ чубами и въ жупанахъ, вѣстовые гусары, дежурные мелкіе чиновники и тому подобный людъ, составлявшій неизмѣнную принадлежность громадной дворни и канцеляріи богатаго, сановнаго вельможи. Москотиневой съ непривычки даже жутко стало, такъ что она не знала ужъ и подниматься ли ей наверхъ мимо всего этого «скрозь-строю», какъ вдругъ обязательный Лука Марковичъ, примѣтивъ ее съ дочкой съ верхней площадки, самъ сбѣжалъ къ нимъ внизъ и любезно препроводилъ до приемной, усадилъ ихъ у стѣны на стулья, приободрилъ, полюбезничалъ и вдругъ юркнулъ куда-то во внутренніе покои. Приемная была полна самыми разнообразными, разношерстными просителями. У одной изъ внутреннихъ дверей молча торчали другъ противъ друга два ливрейныхъ гайдука, важные, неподвижные, гладко выбритые, раззолоченные, словно аргусы, оберегая входъ въ это сокровенное святилище, а чиновники и домашняя прислуга ходили по приемной на цыпочкахъ и разговаривали тише тѣмъ въ полголоса. — Все это лишь увеличивало въ душѣ Марьи Даниловны робость и чувство благоговѣнія къ величію того мѣста, гдѣ она теперь находилась. Отродясь еще не видывала она подобныхъ палатъ и такой пышности во всей обстановкѣ Екатерининскаго вельможи — дѣльца, хотя эта обстановка представляла ей глазамъ однимъ лишь маленькимъ краешкомъ, однимъ уголкомъ всего своего многосторонняго и разнообразнаго великолѣпія. — «Ужъ если эти холопы, хамы, халдеи, что стоятъ у дверей, столь важны и горды, что къ нимъ, кажись, и подступу нѣтъ, то скольки-паче самъ-то... каковъ же самъ-то долженъ быть!» думалось Москотиневой. Вотъ прошелъ черезъ приемную какой-то важный

напудренный чиновникъ, со звѣздой на груди и съ кипой бумагъ подъ-мышкой, одѣтый въ роскошный французскій кафтанъ. Каковъ онъ изъ-себя! Марья Даниловна даже и не разглядѣла, потому что вниманіе ея въ эту самую минуту сминено было развлечено всѣми группами лѣппинихся у стѣнъ просителей, которые вдругъ разомъ поднялись съ мѣстъ и молча отвѣшивали проходившему чиновнику почтительные поклоны; она почему-то успѣла только замѣтить жирныя, трясущіяся икры этого чиновника, облеченныя въ тончайшіе французскіе шелковые чулки, да видѣла еще, какъ одинъ изъ гайдуковъ предупредительно, но безъ особой впрочемъ почтительности растворилъ передъ нимъ одну половинку дверей, въ которыя очень ловко и безшумно проскользнулъ произведшій «толикую сенсацію» чиновникъ.

— Кто таковъ?.. Ужъ не *самъ-ли*?—шопотомъ освѣдомилась Марья Даниловна у своего ближайшаго сосѣда.

— Какое *самъ*, матушка!.. отвѣчалъ тотъ.— Это только Тропинскій; не больше.

«Господи!.. Каковъ - же *самъ* - то долженъ быть! *Самъ-то!*» жутко подумала про-себя Москотиньева—и въ ея воображеніи вельможный сановникъ представился чѣмъ-то молніеносно грознымъ, ослѣпляющимъ, блестяще великимъ и юпитеровски подавляющимъ каждого простого смертнаго.

Вотъ къ подъѣзду подкатила «въ полномъ парадѣ» шестеркой пугомъ четырехмѣстная раззолоченная «восьмистеколычатая» карета—и большая часть просительской публики сейчасъ же обернулась къ окнамъ—посмотрѣть на это, своего рода, дивное произведеніе искусства. Москотиньевы повернулись туда же, вслѣдъ за прочими. Великолѣпные свѣтло-сѣрые рысакъ были изукрашены блестящими и букетами страусовыхъ перьевъ надъ челками; этихъ дивныхъ коней еле сдерживали фрейторъ и пѣшіе конюхи; напудренный и раззолоченный кучеръ съ бичемъ сидѣлъ, какъ на тронѣ, на высокихъ козлахъ, украшенныхъ золотой бахромой, кистями и расшитыми гербами Безбородки. Двое скороходовъ, залитыхъ въ бархатъ и позументы, со страусовыми перьями на шапкахъ и съ «булавчатыми» тростями въ рукахъ, стояли на-готовѣ по бокамъ передней пары лошадей; два гайдука держались за тужи на запяткахъ и шесть конныхъ выѣздныхъ гусаровъ выстрѣились позади этого пышнаго экипажа.

— Эге, значитъ, Безбородко нынче во дворецъ, къ матушкѣ - парцѣ ѣдетъ,—замѣтилъ Москотиневой ея ближайшій сосѣдъ,—стало быть, и къ намъ скоро выйти изволить, а не то чрезъ секретаря вышлетъ сказать отказъ пріему.

Но не успѣлъ онъ произнести эти слова,

какъ невѣсть откуда, словно изъ-подъ земли, появившійся дежурный чиновникъ выкрикнулъ вдругъ: «Ихъ высокопревосходительство идти изволить!»—и вся кучка просителей, глазѣвшихъ у оконъ на карету, мигомъ очутилась на своихъ мѣстахъ. Настала тишина абсолютная, и Марья Даниловна струхнула еще болѣе.

Два гайдука, словно бы по командѣ, разомъ распахнули обѣ половинки дверей—и въ пріемную, какъ бы съ трудомъ передвигая толстыя, потѣно-образныя ноги, вступилъ Безбородко. Звѣзды, ордена, погонъ для ленты, пуговицы камзола, пуговицы кафтана, эфесъ небольшой пшлага, бѣлмачныя пряжки—все это было у него изъ брильянтовъ, все это искрилось и сверкало, производя на Москотиньеву впечатлѣніе чего-то волшебнаго.

Сановникъ, въ сопровожденіи секретаря, дежурнаго чиновника и господина Отстепенскаго, сталъ по порядку обходить просителей, кратко выслушивая ихъ заявленія, принимая и тутъ же передавая секретарю ихъ бумаги, а иногда и удостоивая ихъ кое-какими вопросами. Въ это-то время Марья Даниловна, успѣвшая уже внутренне оправиться, уставилась на него, что называется, во всѣ глаза: дай дескать, пока не дошла до насъ очередь, разсмотрю-ка я его хорошенько, какіе такіе сановники бываютъ? Но первое, крайне изумившее ее, обстоятельство было то, что сановникъ съ обличья и по мамерѣ вовсе не походилъ на барина, такъ что, въ сравненіи съ нимъ, фizioномія его обоихъ придверныхъ гайдуковъ являли собой неизмѣримо болѣе осанистой представительности и даже барственнаго величія. Поэтому Марья Даниловна пришла къ заключенію, что иной простякъ скорѣе въ правѣ былъ бы подумать, что тамъ, у дверей—Безбородки стоятъ, а тутъ около просителей добрый гайдукъ какой-то ходитъ, но Марья Даниловна въ деревенской простотѣ своей душии неподозрѣвала, что это такъ и слѣдуетъ настоящимъ лакеямъ большого барскаго дома. Однимъ словомъ, Александръ Андреевичъ Безбородко показался ей очень простымъ человѣкомъ.—«Ну, вотъ совсѣмъ какъ свой братъ, заурядный дворянинъ, смотреть себѣ, право!»—На взглядъ, это былъ мужчина около пятидесяти лѣтъ, ростомъ выше средняго, дородный и нѣсколько неуклюжій, съ нескладнымъ станомъ и толстыми икрами, на которыхъ очень плохо держались и морщились складками бѣлые шелковые чулки, чуть не вовсе сползая книзу. Его продолговатое, коротколобое лицо, съ прямымъ широкимъ носомъ и разинутымъ ртомъ, дышало добродушіемъ и веселостью, а взглянувъ на эти сѣрые, совсѣмъ незначительные глаза, Марья Даниловна—не знай она заранѣе, кто онъ таковъ—и не подумала бы, что предъ нею стоитъ не только сановникъ, но одна изъ

самыхъ свѣтлыхъ и дѣловыхъ головъ своего времени.

Обходя по очереди просителей, наконецъ, и къ ней приблизился Безбородко.

— Ваше высокопревосходительство!—почти-тительно засеменилъ вдругъ сбоку и самъ весь какъ-то бокомъ изогнувшись чуть не въ три погибели, господинъ Отстепенскій,—это тѣ самыя госпожи Москотиньевы, о коихъ я онамедни имѣлъ честь докладывать вашему высокопревосходительству.

— А! знаю... помню!—съ ласковой улыбкой кивнуть савонникъ головою обнимъ дамамъ.—Прощеніе заготовили?—спросилъ онъ съ отъѣнкомъ малороссійскаго выговора.

Марья Даниловна трепещуще рукою подала ему бумагу.

— Въ слѣдующую очередь доложу императрицѣ,—какъ бы мимоходомъ сообщилъ ей Безбородко, передавая прошеніе Отстепенскому.—Резолюція, конечно, будетъ зависѣть отъ воли ея величества, но ежели дѣло правое, то можете надѣяться... Съ своей стороны, потщусь быть вамъ полезнымъ.—Сказалъ и пошелъ далѣе, а черезъ минуту его уже провожала по лѣстницѣ къ снѣлмъ стая только-что выслушанныхъ просителей, дежурныхъ курьеровъ и почталіоновъ. Ровно въ девять часовъ утра Александръ Андреевичъ уѣхалъ съ докладомъ къ императрицѣ.

Марья Даниловна могла теперь почитать себя уже у преддверія самаго рая, почти на высотѣ исполненія своихъ надеждъ, и Лука Марковичъ Отстепенскій въ ея глазахъ сдѣлался чуть не самымъ великимъ и сильнымъ человѣкомъ на свѣтѣ. — «Все-то онъ знаетъ, все-то онъ можетъ, и все-то вѣдь, все это онъ мнѣ устроилъ, и Безбородку предупредилъ, и аудіенцію съ самимъ—шутка-ль сказать!—съ самимъ предоставилъ, и расположилъ-то его въ нашу пользу... Господи! Да что же это за высокая душа!.. Какой чистѣйшій, добросердечнѣйшій человѣкъ! И какое безкорыстіе при этомъ! Изъ-за одного лишь письма Алфузова!.. И эдакого-то безподобнаго человѣка есть-же люди, кои чортъ знаетъ въ какихъ мерзостяхъ подозрѣваютъ, преизрядною скотиною чествятъ! И гдѣ только стыдъ въ глазахъ, гдѣ совѣсть у людей, гдѣ страхъ-то Божій?!»

Очарованная Марья Даниловна въ эту восторженную минуту восчувствовала даже нѣкоторое негодованіе противъ Максюши, сколь ни былъ ей этотъ Максюша и милъ, и сердечно дорогъ.—«Нѣтъ, не хорошо! право же не хорошо! Такъ-таки и скажу ему все это прямо въ глаза, что вовсе не хорошо полагать столь легкомысленныя атестации о такомъ почтенномъ и можно сказать, святомъ человѣкѣ».

Одно только обстоятельство стояло нѣсколько темноватымъ вопросомъ въ лучахъ сего радужнаго настроенія Марьи Даниловны: зачѣмъ

это Отстепенскому непремѣнно занадобилось чтобы при оной аудіенціи присутствовала и Аннушка, тогда какъ самъ-то на Аннушку почти и вниманія не обратилъ и — слава Богу!—ни по щечкѣ ее не потрепеталъ, ни за ушко не подергалъ,—напротивъ, все это такъ солидно, благочинно, что въ Аннушкиномъ присутствіи, кажись, и надобности-то вовсе никакой не было.—«Впрочемъ, ему о томъ лучше знать!» порѣшила сама съ собою этотъ вопросъ Москотиньева.

Когда въ этотъ же самый день вечеромъ, она, передавая всѣ свои впечатлѣнія Бродникову, сообщила, что Безбородко самъ общалъ ей доложить ея просьбу въ первую же очередь, то Максюша радостно воскликнулъ.

— Ну, и слава тѣ, Господи! Стало быть, это совершится не далѣе, какъ завтра, а много-много, коли послѣзавтрева: вѣдь Безбородко имѣетъ у государыни докладъ ежедневно; каждое утро въ десятомъ часу ѣзжаетъ туда.

Но прошло и завтра, прошло и «послѣзавтрева», а результатъ доклада не былъ еще извѣстенъ Москотиньевымъ. Зато Лука Марковичъ повадился ѣздить къ нимъ чуть не каждый день въ предъ-обѣденное время. Каждый разъ онъ то коробку «конфектовъ», то «пукетецъ» свѣжихъ цвѣтовъ привезетъ съ собою «барышникъ-очаровательницѣ», и любезничаетъ, любезничаетъ съ нею безъ конца, ручки цѣлуетъ, даже по щечкѣ «потрепетать» разъ какъ-то позволилъ себѣ, и когда при этомъ Аннушка вспыхнула и смутилась, то Лука Марковичъ поспѣшилъ успокоить ее: «вы, дескать, милая барышня, не бойтесь меня, стараго селадона, и не сумѣвайтесь: вѣдь я вамъ въ отцы гожусь; я вѣдь не то что какой-нибудь иной вертопрашный шематонъ-ферлакурникъ, что изъ молодыхъ да ранній—я вѣдь все это такъ только, безкорыстно, ради того лишь, чтобы вамъ же нѣкоторое удовольствіе доставить!»—Предлагалъ Лука Марковичъ Москотиньевымъ и ложу даровую въ театръ, и билеты въ «армитажную маскераду», но онѣ должны были отказать и отъ того, и отъ другого, «такъ какъ уборовъ и костюмовъ надлежащихъ съ собою нѣтъ, а хуже иныхъ-прочихъ быть имъ, какъ родовымъ дворянкамъ, не приходится», да и притомъ, «въ толикихъ горькихъ обстоятельствахъ и несносныхъ приключеніяхъ» обнимъ имъ пока еще вовсе не до веселья,—«а вотъ ужъ развѣ, какъ выйдетъ отъ государыни благополучное разрѣшеніе,—ну, тогда иное дѣло!» Но, къ удивленію Бродникова, рѣшеніе все еще не выходило, а Лука Марковичъ, на всѣ разпросы Марьи Даниловны о сей «деликатной матеріи», отвѣчалъ кратко и нѣсколько уклончиво, что «очередь-де пока еще не наступила».

Бродниковъ, въ разговорахъ объ этой очереди съ Марьей Даниловной, только плечами

пожимать отъ удивленія.—«Какъ-де не наступила, коли *самъ* сказалъ вамъ, что въ первую же очередь доложить?! Вѣдь эти слова его вы сама, своими ушами доподлинно слышали?.. Такъ какъ же такъ? Вѣдь первая-то очередь это значить на слѣдующій же день, а стало-быть валъ Лука Марковичъ тутъ что-нибудь вретъ, кривить душою да путаетъ, знать, хабару съ васъ какую ни есть слушать ему хочется!»

Но это послѣднее предположеніе каждый разъ возмущало Марью Даниловну до того, что, начиная горячо вступаться за честнѣйшаго Луку Марковича, она не могла воздержаться и отъ нѣсколькихъ рѣзкихъ замѣчаній самому Максюгѣ, прося его впрочемъ, въ концѣ концовъ, извинить ее по родственному и какъ старую пріятельницу его матери. Максюша не сердился, но все-таки оставался при своемъ недоумѣніи и подозрѣніи насчетъ господина Отстепенскаго. Болѣе всего казались ему подозрительными эти конфеты, букеты и билеты, о которыхъ умалчивать передъ нимъ не считали нужнымъ Москотиньевы.—«Ужъ что нибудь да замышляетъ эта гадина! Ужъ это не просто!.. Только вопросъ: для себя, или для «милостивцевъ» все это дѣется?» мучительно думалось порою Бродникову. Досаднѣе всего ему было то, что никакъ не могъ онъ присноровиться такимъ образомъ, чтобы попасть къ Москотиньевымъ одновременно съ Отстепенскимъ. Словно, какъ нарочно, всегда выходило такъ, что Отстепенскій заѣзжалъ къ нимъ въ предъ-обѣденное время, когда Бродниковъ волей-неволей долженъ былъ проводить за канцелярскимъ столомъ въ Сенатѣ. А Лука Марковичъ при этихъ своихъ посѣщеніяхъ и не подозрѣвалъ, что у него такой «риваль» существуетъ на свѣтѣ и самонадѣянно мнилъ себя, что сердце «барышни-очаровательницы» вполне свободно.

Спустя около двухъ недѣль послѣ подачи прошенія Безбородкѣ, получаетъ однажды Марья Даниловна записку отъ Отстепенскаго, гдѣ онъ проситъ ее «неуменно пожаловать къ нему, для сообщенія ей наипервѣйшей важности результата объ интересномъ для нея дѣлѣ, а барышнѣ шлю-де усердный поклонъ, въ надеждѣ свидѣться съ нею завтра». Изъ этой послѣдней прибавки Марья Даниловна поняла, что ѣхать къ Лукѣ Марковичу надо ей одной, безъ дочери, и такъ какъ въ запискѣ стояло «неуменно», то она тотчасъ же одѣлась, взяла извозчика и поѣхала въ Почтамтскую.

Господинъ Отстепенскій принялъ ее прямо въ своемъ кабинетѣ и притомъ съ самодовольно-радостною, торжествующею миною; но прежде чѣмъ сообщить ей что-либо, онъ весьма тщательно и даже не безъ таинственности наглухо притворилъ въ кабинетѣ всѣ двери, и только

тогда уже, подойдя къ письменному столу и доставъ изъ папки бумагу, приступилъ къ настоящему дѣлу.

— Н-ну-съ, дорогая моя!—началъ онъ съ нѣкоторымъ отгнѣнкомъ покровительственной фамильярности.—Высочайшая резолюція по вашему прошенію нынче, наконецъ, получена.

Марья Даниловна, въ понятномъ волненіи, даже нѣсколько поблѣднѣла.

— Да вы не пугайтесь! Пока еще все идетъ прекрасно!—поспѣшилъ успокоить ее Отстепенскій.

— Какъ, то-есть, это вы говорите, «пока еще?»—озабоченно спросила Москотиньева.—Развѣ высочайшею резолюціею не полагается конецъ всему дѣлу?

— Эге! какая вы приткая!.. Конецъ!—Конецъ будетъ отъ насъ съ вами, и токъ отъ насъ однихъ зависѣть. Чтѣ вы на меня смотрите такими удивительными глазами?.. Не сумѣвайте! Это я говорю вѣрно,—именно отъ насъ съ вами!

Марья Даниловна домекнулась, что ужъ не на «благодарность» ли намекаетъ почтеннѣйшій Лука Марковичъ, и потому поспѣшила зафривить его, что какъ только дѣло получить окончательное рѣшеніе, то она съумѣетъ быть вполне ему благодарною за всѣ его труды и хлопоты.

— То есть, это вы насчетъ взятки?—такъ-таки нагло и спросилъ ее въ глаза господинъ Отстепенскій.—Нѣтъ, государыня моя, взятку съ васъ зачѣмъ же!.. Взятку мнѣ и другіе дадутъ, да не на всякую взятку я-то еще и посмотрю! Нѣтъ, мы безъ взятокъ, а на взаимномъ, такъ сказать, удовольствіи все это дѣло покончимъ.

Послѣ этого заявленія Марья Даниловна уже окончательно сбилась съ толку и никакъ не могла понять, чего же собственно хочетъ отъ нея господинъ Отстепенскій?

— Ну, да насчетъ сей матеріи послѣ, —махнувъ рукой, продолжалъ Лука Марковичъ,—а теперь наипаче всего надо вамъ ея императорскаго величества резолюцію показать.

И онъ внушительно похлопалъ рукою по бумагѣ.

— Вотъ она!.. Подлинная-съ!.. Извольте взглянуть сами. Изображено здѣсь такъ.

Лука Марковичъ сталъ читать, истово отчеканивая каждое слово и водя указательнымъ перстомъ подъ строками.

«Передать генераль-прокурору для наискорѣйшаго изслѣдованія и, по соображеніи съ законами, заготовить для подписанія указъ Сенату».

— То-есть, что же это значить? Въ какомъ разумѣ понимать это надо?—спросила оторопѣвшая Москотиньева.

— А въ такомъ и понимать, что эту самую бумажку завтра же мы переправимъ въ

Сената канцелярію къ князю Вяземскому, съ документальными, конечно, приложеніями, по коимъ князь Вяземскій и произведетъ надлежащее разслѣдованіе дѣлу и, смотря по тому что такое изъ дѣла окажется въ сообразности съ законами, въ таковомъ разумѣ и высочайшій указъ Сенату будетъ заготовленъ.

— Значить, теперь пойдетъ еще слѣдствие?!—улавшимъ голосомъ спросила совѣмъ разочарованная Москотиньева.

— Всеипремѣннѣйше!—подтвердилъ Отспенскій.—Безъ изслѣдованія развѣ возможно?.. Эдакое дѣло!.. Помилуйте! Вѣдь учини его не Зубовъ, а простой смертный, такъ таковаго бы—съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія да на каторгу! И безъ разговоровъ!.. Какъ же тутъ безъ изслѣдованія!

— Но... вѣдь слѣдствие, пожалуй, затянется?—робко спросила Марія Даниловна, уже заранѣе утрашася предстоящею перспективою всяческихъ «волоките», «хожденій», дрягъ, вымогательствъ, поклоновъ, пресмыканій по переднимъ да по сенатскимъ присутствіямъ—этой ужасной перспективой томительныхъ ожиданій и прожительства въ столицѣ Богъ вѣсть сколько времени, безъ средствъ и въ полной неизвѣстности.

— Мм... н-нѣтъ, затянуться не можетъ,—раздумчиво авторитетнымъ тономъ успокоилъ ее Отспенскій,—и даже никакъ не можетъ, ибо въ резолюціи ясно сказано «*для наискорѣйшаго изслѣдованія*», а высочайшую волю затягивать нельзя. Напротивъ, постараются изслѣдовать и рѣшить какъ можно скорѣе.

— А слѣдовать будетъ кто? Самъ Вяземскій?—спросила оживляясь Москотиньева.

— Ну, гдѣ самому!.. Вѣдь это, матушка моя, персона!.. У него этихъ дѣлъ-то цѣлыя коробки! Одному не разорваться! А вѣришь, что препоручить секретарю, который по этой собственно части—тогъ и рассмотреть, и доложить, и прожектецъ указа заготовить. Однимъ словомъ, все это дѣло теперь какъ есть въ нашихъ рукахъ, благо секретарь-то человекъ знакомый, пріятель мой: въ какомъ разумѣ, значить, я теперь это дѣло направлю и какъ попрошу его, такъ и будетъ исполнено.

— Ахъ, Лука Марковичъ! Благодаритель мой! Вы меня, просто, воскрешаете!—воскликнула умиленная Марья Даниловна.

— Однимъ словомъ,—продолжалъ Отспенскій,—дѣло ваше можетъ быть рѣшено и такъ и эдакъ... Это все отъ взгляда, значить, зависитъ... Какъ взглянуть...

Марья Даниловна опять вытянула встревоженно испуганную физиономію.

— Лука Марковичъ!.. Батюшка!.. Не пугайте!

— Зачѣмъ пугать! Я истинно говорю. Одно изъ двухъ: либо полное удовлетвореніе, либо полнѣйшій отказъ.

— Но вѣдь вы же сказываете, что это собственно отъ васъ теперь будетъ зависеть.

— Отъ меня-съ. Это вы вѣрно понимать изволите. Отъ меня-съ, или вѣришь сказать, отъ насъ обоихъ, то-есть, отъ меня и отъ васъ самихъ: какъ вы пожелаете, такъ мы и учинимъ. Понимаете?

— Виновата, благодаритель! Не понимаю... какъ есть, ничего не понимаю... Гдѣ ужъ мнѣ съ бабьимъ-то умишкомъ!.. Вразумите!

— Охотно, сударыня, охотно. Изъяснитесь. Я человекъ прямой и откровенный, дѣйствовать люблю на чистоту и, какъ сами вы имѣли случай уже замѣтить и на себѣ испытать, человекъ не безъ связей—могутъ сказать, и не безъ вліянія, и потому приступлю къ дѣлу прямо: желаете вы счастья вашей дочери?

Москотиньева опять оторопѣла отъ этого совѣмъ уже неожиданнаго вопроса, которымъ Отспенскій, какъ говорится, прямо въ лобъ ее ошарашилъ.

— Я мать, Лука Марковичъ,—пробормотала она, глядя на него недоумѣлыми глазами,—какъ же не желать-то!.. Она вѣдь у меня одна.

— Ну, вотъ то-то же и есть!.. Одна!.. Поэтому и Богъ велитъ о счастіи дѣтища своего попечися. Это священный долгъ матери. Такъ, стало быть, желаете?

— Разумѣется, желаю.

— Ну, и прекрасно. Теперь спрошу я васъ вотъ что: желаете вы, чтобы она вышла замужъ за человека съ карьерой, отличаемаго начальствомъ, ласкаемаго вельможами, которые властны все счастье жизни какъ его, такъ и дочери вашей составить и наградить ее могутъ такъ, что вамъ и во снѣ даже не снилось!.. Желаете?

— Всѣмъ сердцемъ благодарна вамъ, но... у Аняшки уже есть женишокъ.

Отспенскій поморщился.

— Каковъ таковъ? Чай, изъ сосѣдскихъ помѣщичьихъ лоботрясовъ, иль гарнизонный прапорщикъ? ась?

— Нѣтъ, онъ хотя и небольшой помѣщикъ, однако не лоботрясъ, а служить здѣсь, въ Сенатѣ.

— Гм... въ Сенатѣ... А чинъ каковъ? великъ ли?

— Н-нѣтъ, чинишка-то маленькій... Онъ тамъ канцеляристомъ...

— Ну! это, значить, можно и по боку!—перебилъ Отспенскій.—Это не женихъ нашей-красицы! Нѣтъ!.. Мы ей найдемъ другого... Штатской генеральшей со-временемъ будетъ! Столичною модною дамою сдѣлается! Вотъ какъ!

— Да вѣдь они любятъ другъ друга...

— Пустое, сударыня! Пустое! Вы этому стрекулисту сенатскому откажите отъ дому—вотъ и всей любви ихъ конецъ! А мы тѣмъ

временемъ закружимъ кралячку въ вихрь свѣтскихъ пріятствъ и развлеченій, такъ что она и сама не замѣтитъ, какъ любовь ея остываетъ.—Игры, Лели, Смѣхи, Зефиры и все прочее это, знаете, чего въ деревнѣ-то не увидишь, а тутъ оно все на-яву, да какъ станетъ барышня-то наша въ вельможномъ кругу порхать по цвѣтамъ удовольствій, вся въ брильянтахъ, въ шелкахъ да въ бархатѣ, такъ и что тутъ твоя сенатская любовь!

— Да ради кого вы такъ хлопочете? — спросила замѣтно смущенная Москотиньева.

— Гм... Предположите, что ради самого себя,—отрѣзалъ вдругъ Отстепенскій, съ наглою улыбкой.

— Какъ, ради себя?!—вся вспыхнувъ, удивленно замѣтила Марья Даниловна. — Я не разумѣю васъ... Вѣдь вы же женаты?

— Женатъ, сударыня, женатъ. Я и не утверждаю, что холостъ. Скажу вамъ болѣе: мразь я былъ, червь ползущій, въ родѣ вашего стрекулиста, а вотъ, благодаря супругѣ и ея покровителямъ, въ люди вышелъ: штабъ-офицерскій рангъ приобрѣлъ; орденъ святаго Владимира четвертыя степени, въ дворянскомъ достоинствѣ меня утверждающій, имѣю; лестнымъ знакомствомъ вельможныхъ тузовъ пользуюсь, штатскимъ генераломъ по почтовому вѣдомству со-временемъ буду, и не глядите, что я эдакимъ скромникомъ на сей вотъ даровой квартиришкѣ, на заднемъ дворѣ проживаю, а спросите-ка лучше, сколько у меня капитала въ банкѣ лежитъ?—Такъ я вамъ скажу, что за супругою мнѣ дано полтораста тысячъ, да самъ я уже собственнымъ трудомъ и умѣньемъ пятьдесятъ сколотилъ, итого — двѣсти! А супруга моя такая же бѣдная дворяночка была, какъ и ваша дочка; но съ умомъ да съ пригожимъ личикомъ въ здѣшней столицѣ — ухъ, какую карьеру можно сдѣлать!..

Марья Даниловна въ отвѣтъ на это не проронила ни слова; только грудь ея взволнованно дышала, да глаза съ нѣмымъ ужасомъ уставились въ Отстепенскаго, который впрочемъ увлекся до такой степени, что на первыхъ порахъ и не замѣтилъ эффекта, произведеннаго на собесѣдницу его словами.

— Скажу напрямки, мнѣ ваша дочь нравится, а впослѣдствіи, при случаѣ, она можетъ понравиться и кому нибудь иному, не въ примѣръ повыше меня. И не думайте, чтобы я позволилъ себѣ какъ нибудь опорочить ее; — нѣтъ, мы ее тотчасъ же замужъ выдадимъ за челоуѣка, который у меня уже на примѣтѣ; а ужъ съ будущимъ супругомъ ея поладить и устроиться—это будетъ мое дѣло. Вы мнѣ помогите только кралячку-то на первыхъ порахъ маленько урезонить, а ужъ я вамъ въ благодарность за это и самое-то Аннушку чрезъ благодѣтелей моихъ ошастливлю, озолочу, да и дѣло ваше

къ наиблагополучнѣйшему окончанію доведу. Хотите?

Вмѣстѣ съ этимъ вопросомъ Отстепенскій протянулъ Москотиньевой руку, въ полной увѣренности, что она пожметъ ее въ знакъ согласія, но вскинувъ на нее глаза, и самъ изумился эффекту своихъ словъ. А эффектъ вышелъ полный и для него совсѣмъ неожиданный.

Гордо поднялась съ мѣста негодующая, оскорбленная женщина.

— Господинъ Отстепенскій, вы ошиблись, — сказала она ему сдержаннымъ, но дрожащимъ голосомъ, — я пріѣхала сюда искать справедливости и защиты, а не торговать моею дочерью.

Но господинъ Отстепенскій ни мало не смутился.

— Позвольте, сударыня,—остановилъ онъ ее,—успокойтесь. Меня вы ничѣмъ не удивите, и притомъ же мы не на театръ, и не предъ придворною публикою, чтобы намъ возвышенныя трагедіи разыгрывать; мы вѣдь изъясняемся съ глазу на глазъ, на чистоту. Вы, сударыня, подумайте-ка лучше! Вѣдь отъ вашего рѣшенія зависить вся судьба вашего дѣла! Взвѣсьте и то, что вамъ предлагаютъ ни болѣе, ни менѣе, какъ завидную фортуна для вашей дочери, счастье всей жизни ея. Прикиньте-ка въ умѣ! Да и что тутъ фордыбачиться!.. Чай, знаете пословицу, «что и честь, коли нечего ѣсть».

— Я васъ попрошу отпустить меня отсюда, — сухо проговорила Москотиньева.—Я считаю, что всѣ наши разговоры уже окончены.

— Эй, подумайте!.. Какъ бы не пришлось вамъ покаяться, да ужъ поздно будетъ!

— Я покорнѣе прошу васъ еще разъ — не удерживать меня долѣе.

— Такъ это ваше послѣднее слово?

— Послѣднее, господинъ Отстепенскій.

— Ну, какъ знаете! Вольному воля, спасенному рай! — съ ироническимъ поклономъ обиженно подфыркнулъ онъ себѣ подъ носъ и затѣмъ прибавилъ въ совершенно сухомъ и строго официальном тонѣ.—Въ такомъ разѣ, сударыня, прошу ко мнѣ болѣе не являться, а окончательное высочайшаго имени по дѣлу рѣшеніе будетъ вамъ чрезъ сенатскаго курьера объявлено своевременно.

И онъ съ досадою громко захлопнулъ кабинетную дверь за удалившеюся Москотиньевою.

Съ болью и тоскою безнадѣжнаго отчаянія въ своемъ глубоко оскорбленномъ и возмущенномъ сердцѣ возвращалась къ себѣ домой Марья Даниловна.—«О! будь же вы прокляты всѣ, всѣ вы, красивное сѣмя!» безъ словъ вопіяла она въ глубинѣ души, ѣдучи на плохенькомъ извозчикѣ.—«Какая все это гадость! — фавориты и фаворитовы отцы, сановники и чиновники, — нѣтъ на васъ второго Пугачева, погубители Россіи! Черезъ васъ, только черезъ

васть, развратниковъ, черезъ неправду и ложь вану чиновничью, быть можетъ, она погибнетъ со-временемъ! Будь вы прокляты!»—и жгучія слезы спазматически душили горло несчастной женщины. Она лишь съ большимъ трудомъ могла воздерживаться отъ рыданій.

Быть можетъ, Марья Даниловна сильно преувеличивала; быть можетъ, она чересчуръ много и несправедливо обобщала такимъ образомъ свой гнѣвъ на всѣхъ и на вся, но... на мѣстѣ женщины, беззащитной вдовы, вопіющимъ образомъ ограбленной жаднымъ родителемъ временщика—фаворита, почитаемаго все-сильнымъ, всемогущимъ, на мѣстѣ матери, только-что оскорбленной столь подлымъ образомъ—какое обобщеніе, какое преувеличеніе не станетъ понятнымъ и простительнымъ!..

Впрочемъ, Марья Даниловна была изъ числа натуръ достаточно сильныхъ. Зналъ, что разскажъ о гнусныхъ предложеніяхъ Отступенскаго можетъ возмутить и огорчить Аннушку, пожалуй, еще болѣе, чѣмъ ее самое, она рѣшилась скрѣпиться, подавить въ душѣ свое великое горе и промолчать до поры до времени о его причинахъ. Подъѣзжая къ Семеновскому мосту, Москотиньева уже на столько успѣла побороть себя, возобладать надъ своими чувствами, что могла по крайней мѣрѣ переступить порогъ своего номера, съ увѣренностію, что не разрыдается передъ дочерью и не выскажетъ ей того что заставило надрываться ея сердце.

На вопросъ Аннушки, зачѣмъ звалъ ее къ себѣ Отступенскій, она кратко объяснила ей, зачѣмъ, молъ, чтобы показать резолюцію, по которой дѣло должно поступить теперь къ генераль-прокурору для разслѣдованія.

Подъ вечеръ пришелъ, по обыкновенію, Бродниковъ, но и ему сообщила Марья Даниловна не болѣе того, что и дочери; только при прощаніи, уже въ одиннадцатомъ часу ночи, провожая его, вышла она вмѣстѣ съ нимъ въ теплый корридоръ и, притворивъ за собою дверь, сказала ему тихо.

— Ну дружокъ мой, Максюша, прости меня! Вижу теперь, что правъ ты былъ, когда назвалъ Отступенскаго презирадною скотиною. Этого мало сказать, что скотина, это—премерзавѣйшая гадина, съ которой и врагу своему не пожелаю встрѣтиться!

— Что такъ?—съ любопытствомъ спросилъ Бродниковъ.

— Долго разсказывать. Послѣ разскажу какъ-нибудь, на досугѣ. А что касаемое дѣла нашего, то теперь надежда уже не на князи мірстіи, а на единого лишь Бога!.. Дѣло, кажися, плохо, но... Его святая воля!

— Марья Даниловна! Голубушка!—горячо схватилъ ее за руку Бродниковъ,—если такъ, то еще разъ повторяю вамъ и прошу не крушитесь! Выдайте Аннушку за меня,—у насъ съ матерью про всѣхъ насъ хватитъ!

— Нѣтъ, милый!—отрицательно и грустно покачала она головою,—что сказано, то свято. Москотиньева на чужихъ хлѣбахъ не жила и безприданницу я за тебя не выдамъ. Прощай, голубчикъ! Господь съ тобою!

Бродниковъ поцѣловалъ ея руку и ушелъ съ тяжелою кручиною на сердцѣ. Умомъ онъ понималъ, на сколько безразсудно надѣяться на успѣшный исходъ борьбы со всесильными Zubovыми, но въ сердцѣ его смутно гнѣздилась какая то, самому себѣ почти непонятная, надежда и вѣра, что Богъ всесильнѣе Zubовыхъ, и что этотъ Богъ справедливый, да и Его помазанница не попуститъ совершиться такой вопіющей неправдѣ и насилію.

Прошло дней восемь, девять. Канцеляристъ Бродниковъ въ этомъ послѣдній день былъ по очереди дежурнымъ въ Сенатѣ.

Правительствующій Сенатъ въ то время былъ далеко не то, что впоследствии, когда наконецъ и это мѣсто злато и холодною отчасти коснулась рука реформы, хотя и вѣшней, по преимуществу, но все-таки достаточно благодѣтельной для имѣвшихъ несчастье вѣдаться съ симъ учрежденіемъ по дѣламъ различныхъ гражданскихъ тяжбъ и прошеній. Слякоть на темныхъ лѣстницахъ и закорузала грязь на полу, копотъ на потолкахъ и салыныя пятна на стѣнахъ отъ головъ и спинокъ прислонявшихся къ нимъ просителей, салыныя огарки въ бутылкахъ вмѣсто подсвѣчниковъ, помадные банки вмѣсто чернильницъ—таковъ былъ вѣншній видъ сенатской канцеляріи. Въ залахъ сенатскихъ засѣданій и въ особенности въ залѣ Общаго присутствія было конечно иначе: колонны, паркетъ, покойныя кресла, столъ съ зеркаломъ, покрытый краснымъ сукномъ съ золотой бахромой и кистами, массивные портреты императоровъ и императрицъ всероссійскихъ въ массивныхъ золоченыхъ рамахъ—все это если и подернулось копотью отъ времени, то все же сохранило еще на себѣ признаки нѣкотораго вѣшняго благообразія. Зато большинство сенатскихъ чиновниковъ, грубыхъ, неопрятныхъ, похмѣльныхъ, являлось истиннымъ бичемъ Божіимъ для несчастныхъ просителей, съ которыхъ эти «дѣльцы» вымогали «елико возможно» послѣдній грошъ, душили взятки безъ зазрѣнія совѣсти, въ самой канцеляріи, при всѣхъ, не только открыто торгуясь о всякой малѣйшей справкѣ и «вымѣткѣ» изъ дѣла, но даже просто на просто шаря по просительскимъ карманамъ, къ общему удовольствію остальныхъ своихъ сослуживцевъ. Нѣсколько молодыхъ и достаточно образованныхъ людей, къ числу которыхъ принадлежалъ и Бродниковъ, были нарочно опредѣлены въ Сенатъ по распоряженію генераль-прокурора, съ цѣлью придать посредствомъ ихъ болѣе приличный характеръ канцеляріи. Эта молодежь чуждалась подобныхъ нравовъ и потому чуть не ежедневно подвергалась презри-

тельному осмѣянію и всяческимъ кавѣрзамъ со стороны своихъ старшихъ, закорючлыхъ и наглыхъ товарищей. Тяжело, а подчасъ и невыносимо было порядочному человѣку служить въ этой пресловутой сенатской канцеляріи, и если Бродниковъ еще тянулъ въ ней свою лямку, то единственно лишь въ ожиданіи чина сенатскаго секретаря, что открывало бы ему въ провинціи уже сносную служебную карьеру.

И такъ, онъ былъ дежурнымъ.

Было около двухъ часовъ дня. Присутствіе только что кончилось, и генераль-прокуроръ уже выходилъ изъ залы, какъ вдругъ въ эту самую минуту курьеръ подалъ ему пакетъ.

Князь Вяземскій приостановился, взломалъ конвертную печать и наскоро пробѣжавъ глазами бумагу, содержаніе которой, очевидно, было уже ему извѣстно заранее, положилъ ее до завтрашняго утра подъ сукно своего стола и вышелъ изъ присутствія.

Въ половинѣ третьяго часа въ Сенатѣ, за исключеніемъ дежурнаго сторожа да дежурнаго канцеляриста Бродникова, уже ни души не осталось — и Максимъ Степановичъ, въ полномъ уединеніи и безмолвіи, могъ себѣ свободно разгуливать теперь по всѣмъ сенатскимъ заламъ, садиться на предсѣдательскія кресла, разсматривать портреты, читать извѣстные указы на зеркалахъ, напѣвать и насвистывать вволю, прислушиваясь къ гулкумъ резонансу пустыхъ громаднхъ комнатъ; но такъ какъ все это приходилось ему аккуратно испытывать въ каждое свое очередное дежурство, то поэтому онъ рѣшительно пропадалъ отъ скуки. Сторожъ принесъ ему изъ ближняго трактира обѣдъ, съ которымъ Максюща управился быстро, и затѣмъ, отъ нечего дѣлать, завалился спать на жесткомъ кожаномъ диванѣ, нарочно существовавшемъ въ Сенатѣ ради дежурныхъ чиновниковъ. Такъ проспалъ онъ до вечера, пока не разбудилъ его тотъ-же сторожъ, внеся въ комнату зажженную свѣчку.

— Который часъ? — спросилъ его Бродниковъ.

— Да ужъ восьмой въ началѣ.

— Можеть ли быть?!.. Экъ, какъ заспался-то, однако!.. Чайку теперь хоропо-бы... А?.. Макаровъ?.. Ты какъ насчетъ сего думаешь?

— Что-жъ, я самоваръ наставляю... чай-сахаръ у васъ свой?

— Въ епанчѣ у меня, въ карманѣ, — тамъ тюрничекъ лежитъ.

— Ладно!.. Въ секунтъ будетъ готово.

Но этотъ «секунтъ» на дѣлѣ оказался добрымъ часомъ, такъ что въ промежутокъ этого времени Максюща успѣлъ не только вдоволь и назѣваться, и потяготой насладиться, но и неоднократно послать къ чорту свое положеніе, вынуждающее его торчать глупой пѣшкой на сенатскомъ дежурствѣ, въ то время какъ у Семеновскаго моста, въ нумерахъ, его милая

Аннушка скучаетъ нынѣшній вечеръ въ одиночествѣ. Не видѣться хотя бы и одинъ день съ этой дѣвушкой стало для него уже серьезнымъ лишеніемъ, такъ какъ за время пребыванія Москотиньевыхъ въ Петербургѣ, бывая у нихъ каждый вечеръ, онъ успѣлъ еще болѣе привязаться къ Аннушкѣ, еще сильнѣе полюбить ее. Но помышляя ежедневно о своемъ «предметѣ», не могъ онъ въ то же время не сознаваться самому себѣ, съ болью и горечью въ сердцѣ, что его мечтаемое счастье крайне отъ него далеко, что у старой Москотиньевой фамиліиной гордости и самолюбія болѣе, чѣмъ жалости къ нему и къ своей влюбленной дочкѣ, а дѣло съ фаворитовымъ отцомъ... Дѣлу этому, разумѣется, надо сказать «прости-прощай», такъ какъ глупо же взаправду надѣяться на возможность его благополучнаго разрѣшенія, развѣ Богъ, одинъ лишь Богъ всемогущій перевернетъ его по своему. Но тогда это уже будетъ чудо!.. А въ нынѣшнемъ восемнадцатомъ вѣкѣ люди въ чудахъ болѣе не вѣрятъ, да и чудесъ-то не является — развѣ что одни только Зубовы еще творятъ ихъ въ свою пользу.

Думалъ такимъ-то образомъ Максюща объ Аннушкѣ и о своемъ горькомъ положеніи, «въ разсужденіи чувствъ своихъ и стремленій», а скука среди бездѣйствія, тишины и одиночества одолевала его межъ-тѣмъ своимъ порядкомъ. Взялъ онъ свѣчу и пошелъ опять бродить по заламъ присутствія и подѣлалъ къ генераль-прокурорскому столу, въ надеждѣ найти тамъ что нибудь любопытное, въ утѣшеніе своей скукѣ, такъ какъ онъ зналъ, что подъ сукномъ этого стола князь Вяземскій оставляетъ иногда кое-какія просьбы, рѣшенія, указы, еще подлежащіе исполненію и нерѣдко заключающіе въ себѣ что-нибудь интересное.

На этотъ разъ поискъ Бродникова былъ не безуспѣшенъ. Приподнявъ поду краснаго сукна, онъ увидѣлъ подъ нимъ бумагу, вынулъ ее оттуда, развернулъ и сталъ пробѣгать глазами.

Но по мѣрѣ чтенія, лицо его становилось все блѣднѣе и блѣднѣе, искажаясь чертами боли, ужаса и негодованія; руки тряслись и самъ онъ наконецъ задрожалъ какъ въ лихорадкѣ. Глаза его почти бессмысленно стали бѣгать по строкамъ бумаги, возвращаясь отъ конца къ серединѣ, отъ середины къ началу и опять къ концу, опять къ серединѣ — онъ какъ будто пересталъ понимать смыслъ читаемаго — и наконецъ, уронивъ на столъ бумагу, хлопнулся на него какъ бы обезсиленными руками, опустивъ на руки голову и зарыдалъ — зарыдалъ глухо, тяжело, отчаянно... Съ такими душевными ощущеніями только осужденный могъ бы впервые прочитать свой собственный смертный приговоръ.

И дѣйствительно, въ этой бумагѣ значился своего рода приговоръ Максиму Бродникову.

То былъ указъ Сенату по дѣлу дворянки Маріи Москотиньевой; — указъ, безусловно и окончательно рѣшавшій это дѣло въ пользу Александра Зубова. И подъ этимъ указомъ чернѣлись роковыя слова:

«быть по сему!»

«Екатерина»

Словно обезумѣвъ отъ горя, вскочилъ несчастный съ генераль-прокурорскаго кресла и, ломая руки, сталъ шагать изъ угла въ уголъ по комнатѣ. Рыданія все еще продолжали душить его, и въ этихъ рыданіяхъ хоронилъ онъ всю свою любовь, всѣ свои золотыя надежды.

Странное дѣло!—Вѣдь и до этого указа онъ былъ почти увѣренъ, что иного рѣшенія не будетъ, да и быть не можетъ, а между тѣмъ, когда довелось ему наконецъ прочесть роковую подпись своими собственными глазами — это безповоротное рѣшеніе поразило его какъ нѣчто новое, совсѣмъ неожиданное.

— Господи! Гдѣ же Ты?.. Гдѣ жъ Твоя справедливость?!.. Точно ли Ты существуешь послѣ этого?!—мысленно зывалъ онъ къ Богу въ своемъ ропщущемъ и негодующемъ сердцѣ.

Въ такомъ-то положеніи засталъ его старикъ Макаровъ, принесшій ему на подносѣ стаканъ и два чайника.

— Сударь, — возрился онъ на Бродникова недоумѣвающими глазами. — Сударь, да чтѣ это съ вами?.. Никакъ, вы плачете?

Максимъ Степановичъ словно бы и не слышалъ обращеннаго къ нему вопроса. Ломая руки, съ выраженіемъ безнадежнаго отчаянія въ лицѣ, продолжалъ онъ растерянно ходить по комнатѣ.

— Сударь!.. Я чайку вамъ принесъ... Очнитесь!

И поставивъ подносъ на столъ, Макаровъ подошелъ къ Бродникову и взялъ его за рукавъ.

— Очнитесь, сударь... Вы на себя не похожи стали... Господи помилуй! Съ чего это вдругъ?.. Аль заболѣли?

— Нѣтъ, ничего, Макаровъ, — проговорилъ черезъ силу канцеляристъ, — я здоровъ... я ничего... Оставь меня...

— Да какъ «оставь»?.. Помилуйте!.. На васъ лица вѣдь нѣту... слезы вонъ... Чтѣ съ вами?

— Ахъ, Макаровъ, горе!.. Не спрашивай!.. Великое горе... Тоска несносная!

И молодой человѣкъ, опустясь на кресло, въ отчаяніи закрылъ лицо руками.

— Да какое горе-то?.. Въ чемъ горе? — приставалъ межъ тѣмъ къ нему сторожъ. — Все были, какъ надоть, въ покоѣ, и никакого горя не было; не успѣлъ на полчаса отлучиться, а нѣ тутъ вдругъ горе!.. Да ну его по боку, горе-то это!.. Право!.. Давайте-ка лучше,

а вамъ чайку налью, испейте себѣ съ Богомъ, и горю конецъ!.. Просто, поприятчилось вамъ съ чего-то!

— Ахъ, Макаровъ, чтѣ толковать-то!.. Не знаешь ты... Теперь мнѣ развѣ только изъ пистолета застрѣлиться — и вся недолга!

— Изъ пистолета!.. Эво-на! — мотнулъ головою сторожъ. — Полноте, глупости какія! Кабы всякъ-то изъ пистолетовъ рѣшалъ себя изъ-за всякаго горя, то и людей на землѣ давно бы не было!.. Мало ли горей-то на свѣтѣ! Такъ нѣшто каждому горю такъ-таки въ зубы смотрѣть, такъ и поддаваться?.. А вы, сударь, лучше вотъ чтѣ: давайте-ка мнѣ рублишко; погребки пока еще не заперты — я мигомъ смахаю да принесу вамъ рому яманскаго; а вы себѣ съ чайкомъ его выкушайте, пунштикъ сдѣлайте — и все горе ваше сразу какъ рукой сниметъ! Право!.. По себѣ знаю!.. Хотите, что-ли?.. За одно-то ужъ и меня бы, старика, пуншикомъ угостили... Пречудесно будетъ!

Бродниковъ не отвѣчалъ и продолжалъ сидѣть въ генераль-прокурорскомъ креслѣ, тупо уставясь глазами въ какую-то неопредѣленную точку.

— Э, сударь! Съ вами, какъ видно, не сговоришь пока! — ухмыльнулся сторожъ. — Семь-ка, я самъ по себѣ сбѣгаю да на свои куплю, а вы мнѣ, все равно, потомъ отдадите, да еще какое спасибо-то скажете!.. Баринъ-то вы у насъ хорошій — жаль васъ.

И Макаровъ, не дожидаясь согласія канцеляриста, побѣжалъ въ сосѣдній погребокъ, на Галерную. Черезъ десять минутъ онъ вернулся и торжественно поставилъ на подносъ передъ Бродниковымъ откупоренную бутылку рому.

— Кушайте, сударь, на здоровье! Я вамъ мало что этого самого напитку, а еще и пуншиковъ мятныхъ на закуску принесъ.

— Пей-себѣ съ Богомъ... Я не хочу пока... Я потомъ... Потомъ, можетъ быть! — пробормоталъ въ отвѣтъ ему Бродниковъ, съ трудомъ выходя на мгновенье изъ своего убитаго и какъ бы ослобѣнлагаго состоянія.

Макаровъ не заставилъ повторять себѣ просьбу, правнесъ другой стаканъ, сдѣлалъ пуншъ и выпилъ «за здоровье его милости Максима Степаныча». Затѣмъ, видя, что съ «его милостію» сегодня «каши не сварить» и ни на какую бесѣду не расшевелишь его, сторожъ предпочелъ избрать благую часть и завалился спать въ курьерской комнатѣ.

Бродниковъ остался одинъ, а часы вечера межъ тѣмъ летѣли и летѣли. Было близко уже къ полуночи. Отъ переиспытанныхъ за этотъ вечеръ ощущеній горя и волненія у него пересохло во рту и внутри все ныло и горѣло, возбуждая сильную жажду. Вмѣсто того, чтобы налить себѣ простывшаго чая, онъ полусознательно налилъ полный стаканъ рому и вы-

пилъ его залпомъ. Съ непривычки ему обожгло и ротъ и глотку; онъ поперхнулся, закашлялся до слезъ, но перемогъ себя. «Гадко, да все равно! Привыкаютъ люди и къ этому!» подумалось ему въ ту минуту, и онъ опять принялся ходить по комнатѣ, а между тѣмъ, ромъ вначалѣ исподволь, незамѣтно, но потомъ все болѣе и болѣе начиналъ оказывать свое дѣйствіе на непривычную ко хмѣлю голову Бродникова, такъ что минутъ двадцать спустя послѣ этого приѣма, онъ уже былъ пьянъ совершенно и, чувствуя головокруженіе, снова усялся въ генераль-прокурорское кресло: — «Выпить еще развѣ?... Можетъ, легче будетъ!» мелькнула ему смутная мысль. «Макаровъ сказывалъ, легче... Онъ знаетъ... Пряничковъ мятныхъ принесъ... Закусимъ... Все равно!.. Чего тутъ! Выпьемъ!» И онъ хватилъ еще три — четыре хорошихъ глотка и закусилъ мятнымъ пряникомъ. Дѣйствительно, на первые минуты показалось ему, какъ будто и полегчало; но съ новой дозой алкоголя хмѣль пошелъ работать быстрѣе и сильнѣе. Бродникова совсѣмъ уже, что называется, разобрало. Покачиваясь въ креслѣ и блуждая по столу посоловѣлыми глазами, наткнулся онъ взоромъ на высочайшій указъ, полусознательно перечелъ его снова и, дойдя до словъ «быть по сему», вдругъ пришелъ въ необычайную ярость.

Подъ влияніемъ этого чувства, не давая себѣ отчета въ своихъ намѣреніяхъ и почти не понимая самъ что дѣлаетъ, схватилъ онъ лежавшее на бронзовой чернильницѣ гусиное перо, обмакнувъ его и подъ самой подписью имени императрицы, съ какимъ-то злораднымъ неистовствомъ началъ быстро строчить:

Анъ не быть по сему! Не быть!

Нѣтъ! Нѣтъ, не быть по сему!

Канцеляристъ Максимъ Бродниковъ.

и расчеркнулся такъ энергически, что изъ-подъ пера полетѣли на бумагу чернильные брызги. Но не довольствуясь и этимъ, Максюша уже подъ своимъ собственнымъ именемъ прибавилъ одно новое и крупное

Не быть!!!

съ тремя восклицательными знаками.

Совершивъ, ничто же сумняся, все это необычайное «дѣйство», Бродниковъ осовѣлъ уже окончательно. Дикая вспышка моментально пробудившейся въ немъ хмѣльной энергіи почти вдругъ угасла, чуть ли не съ его послѣднимъ восклицательнымъ знакомъ. Тяжело и хрипло дыша, неподвижно уставился онъ мутными безсмысленными глазами на пламя догоравшей свѣчи, едва ли имѣя еще хотя слабый проблескъ сознанія о своемъ поступкѣ, едва ли даже и помня то, что сдѣлано имъ за минуту назадъ. Въ глазахъ у него мутилось, колеблю-

щееся пламя огарка превратилось вдругъ въ какіе-то огненные круги и колеса; вся комната — стѣны и портреты, мебель, чернильница и зеркало, бутылка и чайники — все это какъ будто ожгло, завертелось, закружилось около него большими плавными кругами... Онъ пытался было подняться, но уже не могъ и грузно рухнулся въ кресло, уткнувшись головой въ его мягкую спинку, а черезъ нѣсколько мгновений впалъ въ тяжелый мертвый сонъ человѣка, отравленного алкоголемъ.

То былъ сонъ безъ видѣній и грезъ, безъ чувствительности органовъ и безъ легкиихъ пробужденій — сонъ въ родѣ обморока, поглощающій въ себя все сознаніе и память человѣка о томъ, что было на яву въ минуты, предшествовавшія сну.

Но первое ощущеніе, случайно почувствованное Бродниковымъ, было что-то въ родѣ толчковъ и тряски. Не понимая, гдѣ онъ и что съ нимъ, и кто и зачѣмъ его толкаетъ, съ трудомъ раскрывъ онъ наконецъ глаза и первое, что увидѣлъ, была фizioномія сторожа Макарова, который уже нѣсколько времени тицетно пытался растолкать заспавшагося канцеляриста.

— Вставайте, сударь! Вѣдь ужъ день на дворѣ... Экъ, вы заспались-то! И не добудились! Здорово, знать, куликнули... Хе-хе!.. Да прочухайтесь же! — Вѣдь ужъ приустройство гляди сейчасъ начнется... чиновники чуть не всѣ на лицо, скоро господа сенаторы станутъ съѣзжаться... Экъ, вы!

Бродниковъ смутно поглядѣлъ вокругъ — дѣйствительно, комната была полна дневнымъ свѣтомъ, но какъ онъ попалъ въ эту комнату, какимъ образомъ могъ въ ней очутиться, этого, хоть убей, не могъ онъ припомнить! Голова у него трещала отъ боли, во рту сказывалось что-то терпкое, сухое, члены отяжелѣли и во всемъ тѣлѣ чувствовалась какая-то разбитость, дрожь и тошнота.

— Фу, какъ мнѣ не хорошо! — пробормоталъ онъ, кисло морщась и хватаясь за голову.

— Еще-бъ тѣ хорошо было! — ухмыльнулся Макаровъ. — Чай, трещить не на шутку? Это ужъ какъ водится!.. Пойдемъ, говорю, живѣй отсюда, пока не застали, благо, я ужъ загодя убралъ и чайники, и бутылку, а то бѣда-бы.

— Куда идти-то? — спросилъ Максюша, хлопая на сторожа недоумѣлыми глазами.

— Ну, вотъ тѣ, куда! Пойдемъ ко мнѣ въ подвалъ, въ сторожовскую... Первымъ дѣломъ помыться надо, ведро воды на голову вылить, а затѣмъ опохмѣлиться не мѣшаетъ — рюмочку хватите, да коли къ этому еще кисленькой капусткой заѣсть — вотъ и поправитесь... У меня найдется! Пойдемъ-ка!

И Макаровъ по одной изъ черныхъ лѣстницъ подъ руку свелъ все еще нетвердаго въ походкѣ Бродникова въ свое подвальное

обиталище, гдѣ у него, дѣйствительно, нашлась и рюмка водки, и капуста, и все что нужно для умыванія.

При усердной помощи этого самаго Макарова и по его рецепту, вся процедура освѣженія и «поправки» была наконецъ исполнена, такъ что, спустя около часу, Максюша почувствовалъ себя значительно уже легче, свѣжѣе и на столько бодрѣе, чтобы быть въ состояніи подняться наверхъ и уѣхать на свое обычное мѣсто.

Но, Боже, что за кутерьма, что за смятеніе поднялось тамъ наверху въ теченіе этого часа, употребленнаго имъ на «поправку»!..

Въ обычное время пріѣзжаетъ князь Александръ Алексѣевичъ Вяземскій, садится за свой генераль-прокурорскій столъ и вдругъ съ удивленіемъ видитъ на немъ какую-то бумагу. Что такое?—Взглянулъ и оцѣнилъ отъ ужаса, словно столбнякомъ пораженный. Присутствіе было уже почти въ полномъ сборѣ, сенаторы глядятъ на Вяземскаго и понять не могутъ, что съ нимъ вдругъ приключилось.

— Господа Сенатъ! Прошу быть свидѣтелями!—собравшись съ мыслями, обратился онъ наконецъ къ присутствующимъ. — Здѣсь учинено небывалое, неслыханное, государственной важности преступленіе.

Сенаторы въ крайнемъ удивленіи поднялись со своихъ мѣстъ и одинъ за другимъ, любопытно обступили столъ генераль-прокурора.

— Указъ Сенату,—продолжалъ Вяземскій,—вчерашняго числа государыней императрицей данный, но полученный уже по окончаніи присутствія и потому положенный мной пока подъ сукно, я нахожу на моемъ столѣ исписаннымъ чьею-то дерзновенною рукою, опровергающею смыслъ высочайшей резолюціи, подъ самою подписью имени ея величества.

И генераль-прокуроръ показалъ сенаторамъ бумагу. Поднялось между ними оживленное движеніе, всѣ потянулись къ указу, всѣ нагнулись надъ нимъ,—кто сквозь очки, кто въ лорнетъ, кто съ ужасомъ, а кто съ простымъ любопытствомъ; разглядываютъ его со всѣхъ сторонъ, рассматриваютъ резолюцію, читаютъ высочайшую подпись и постороннюю приписку подъ нею. Говоръ недоумѣнія и негодованія пошелъ между сенаторами.

— *«Не быть по сему. Канцеляристъ Максимъ Бродниковъ»*.—Что такое? Что за диковина? Какая дерзость!.. Да полно, точно ли сіе въ-явь? Ужъ не чудится ли вамъ чепуха такая?.. Да что это за Бродниковъ? Кто такой?.. Канцеляристъ Бродниковъ... Сумасшедшій, вѣрно? Гдѣ этотъ Бродниковъ? Откуда взялся такой?

Генераль-прокуроръ позвонилъ въ колокольчикъ.

— Просить сюда оберъ-секретарей и по-

звать экзекутора!—приказалъ онъ вошедшему курьеру.

Предстали и оберъ-секретари, предсталъ и сенатскій экзекуторъ предъ грозными очами генераль-прокурора.

— Кто былъ вчера очереднымъ дежурнымъ по канцеляріи?—сурово спросилъ князь Александръ Алексѣевичъ.

— Канцеляристъ Бродниковъ,—почтительно доложилъ экзекуторъ.

— Бродниковъ?.. Такъ вотъ оно кто, Бродниковъ! — пошелъ разговоръ между сенаторами.—Вѣрно, съ ума спятилъ, бѣдняга... Алъ съ пьяну... Это не иначе!

— Подать его сюда въ сію же минуту!—крикнулъ Вяземскій.

Экзекуторъ и нѣсколько секретарей сразу бросились исполнять его приказаніе.

И вотъ тутъ-то я пошелъ по Сенату переполохъ съ кутерьмою. Кинулись за Бродниковымъ въ канцелярію.—«Бродниковъ!.. Канцеляриста Бродникова къ его сіятельству!.. Живѣ!.. Гдѣ Бродниковъ? Нѣтъ въ канцеляріи Бродникова!.. Отыщите Бродникова! Куда онъ почесъ? Найдите въ сію секунду!»—Поднялась бѣготня, смятеніе; чиновники въ ужасѣ и недоумѣніи шущаюются между собою, не зная еще толкомъ, въ чемъ дѣло, но догадываясь, что стрясласъ какая-то бѣда и, кто во что гораздъ, пускаются въ разныя догадки о причинахъ переполоха. А Вяземскій межъ тѣмъ неотступно требуетъ подать ему какъ можно скорѣе Бродникова. Пустились разыскивать Максюшу по всѣмъ отдѣленіямъ, по всѣмъ корридорамъ, угламъ и закоулкамъ — нигдѣ нѣтъ Бродникова!.. Кинулись въ сѣни, къ швейцару—не ушелъ ли молъ?—«Нѣтъ, не уходилъ, епанча здѣсь виситъ».—Что за притча такая! Чиновникъ пропалъ вдругъ! И куда-бъ это онъ могъ запропасться?

И вотъ, въ разгарѣ этого самаго переполоха, поднявшись вверхъ по той же черной лѣстницѣ, входятъ въ канцелярію Максюша.

— Гдѣ васъ чортъ носитъ, шалопай вы эдакой! — накинулся на него степенноначальникъ. — Генераль-прокуроръ васъ требуетъ! Цѣлый часъ ожидаетъ!—Бѣгите живѣ!

У Бродникова упало сердце и лицо мгновенно поблѣднѣло. Хотя въ этотъ моментъ онъ менѣе всѣхъ могъ знать въ чемъ дѣло и ради чего его требуютъ, но смутнымъ инстинктомъ догадался, что должно быть нѣчто неладное, даже очень скверное.

И съ такимъ-то тревожнымъ и инстинктивнымъ убѣжденіемъ явился онъ предъ генераль-прокуроромъ.

— Это ты, сударь, былъ вчера дежурнымъ?—сдержанно спросилъ его Вяземскій.

— Такъ точно, ваше сіятельство, — почтительно поклонился Максюша.

— По окончаніи вчерашняго присутствія,—

продолжалъ князь,—появлялся кто-нибудь въ Сенатъ, изъ своихъ или постороннихъ?

— Никого, ваше сіятельство.

— А самъ ты не входилъ въ эту комнату?

— Входилъ, ваше сіятельство.

— Въ такомъ разѣ, подойди-ка сюда, любезный... ближе!.. ближе! Еще ближе! Къ самому столу ступай!

Бродниковъ приблизился вплотную къ краю стола, и тутъ Вяземскій придвинулъ къ нему уже извѣстную бумагу.

— Это твоей руки писанье?—строго, но все еще сдержанно спросилъ онъ.

Максимъ Степановичъ взглянулъ на бумагу, узнавъ въ ней вчерашній указъ, повергшій его въ такое отчаяніе, и вдругъ, къ величайшему своему изумленію и ужасу, сталъ читать подъ именемъ императрицы: *Анг не быть по сему! не быть! Нѣтъ! Нѣтъ, не быть по сему! Канцеляристъ Максимъ Бродниковъ. Не быть!!!*

Бѣдный Макслюша даже собственнымъ своимъ глазамъ не повѣрилъ. Что такое? *«Не быть?!»* Какъ могли появиться такія слова?.. Неужели онъ самъ это сдѣлалъ?.. Возможно-ли?.. Но тутъ стоитъ его имя.—«Что за притча такая?.. Когда это?.. Точно-ли мною?»

Онъ пристальный взглядѣлся въ почеркъ—писано размашисто, хотя и не совсѣмъ твердо, но несомнѣннѣйшимъ образомъ его собственною рукою.

— Отлѣчай!—еще строже приказалъ Вяземскій.—Ты писалъ это?

— Рука моя, ваше сіятельство,—упавшимъ голосомъ проговорилъ Бродниковъ.

— Несчастный!—крикнулъ князь.—И ты осмѣлился?! На императорскомъ указѣ?! На подлинномъ?! Ты... ты...

Губы князя дрожали и все лицо его пылало величайшимъ гнѣвомъ.

Бродниковъ стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не понимая, какъ могло это случиться, но... «видно ужъ такъ, въ самомъ дѣлѣ, случилось!» Это не миражъ, не сонъ, это точно писано его рукою.—«Знать, Богу такъ было угодно! Его святая воля,—подумалось ему.—Что-жъ, пропадать, такъ пропадать!.. Все равно, что смолчавъ пропадешь, что высказавши все, на чистоту... Господи! вразуми и поддержи меня!»

И онъ рѣшился твердо и безповоротно.

— Ваше сіятельство!—перебилъ онъ Вяземскаго.—Это точно сдѣлалъ я и готовъ за то принять жестокую кару. Я знаю доточно все это дѣло, и вижу, что рѣшено оно не по истинѣ, не по справедливости, а въ угоду сильному... Это *«быть по сему»* можетъ лечь безславнымъ пятномъ на имя нашей великой государыни. Я не хочу этого! Вотъ почему учинилъ я сіе. Казните!

— Какъ?! Что?.. завопилъ князь въ величайшей ярости.—Осуждать священную царскую волю?.. Критиковать высочайшія рѣшенія?! И

это здѣсь предъ лицомъ Сената!.. Мальчишка дерзновенный! Щенокъ!.. Господинъ экзекуторъ!—обратился онъ къ пожилому чиновнику, стоявшему позади Бродникова,—арестовать его въ сейчасъ же на сенатской гауптвахтѣ! Въ карцеръ! Въ темную! Кандалы набить, яко государственному величайшія важности преступнику... Прочь съ глазъ моихъ, негодный!

Экзекуторъ взялъ Бродникова за рукавъ и вывелъ его изъ залы присутствія, а черезъ пять минутъ убитый горемъ, раздавленный своей судьбой Макслюша уже сидѣлъ въ одиночной арестантской камерѣ сенатской гауптвахты.

Но... какъ ни какъ, а генераль-прокурору надо было какими ни на есть судьбами поправить это дѣло, возстановить высочайшій указъ во всей его чистотѣ и первоначальной силѣ. Посовѣтовавшись съ сенаторами, онъ порѣшилъ — немедленно же отдать приказаніе «перебѣлить» бумагу и, какъ только будетъ готова, тотчасъ же ѣхать съ нею во дворецъ, тѣмъ болѣе, что уже приближался часъ его обычнаго четверговаго доклада государынѣ ¹⁾.

Черезъ четверть часа указъ былъ переписанъ, но генераль-прокуроръ, сильно встревоженный всѣмъ этимъ случаемъ, тѣмъ болѣе что по пріятельству съ Платономъ Zubовымъ, онъ самъ былъ не противъ уже положенной резолюціи,—отправляясь во дворецъ съ докладомъ, не захватилъ съ собою испорченнаго указа, а взялъ одну только новую съ него копію. Сдѣлавъ онъ это изъ тайнаго опасенія, чтобы государыня, увидя подлинникъ, не вознегодовала на распущенность сенатскихъ чиновниковъ, которой генераль-прокуроръ, какъ ближайшій начальникъ сенатской канцеляріи, конечно есть первый потатчикъ и попуститель. Однимъ словомъ, князь Александръ Алексѣевичъ боялся «сугубой головомошки».

Императрица въ это время года жила еще въ Зимнемъ дворцѣ. Собственное ея помѣщеніе находилось въ среднемъ этажѣ, надъ правымъ малымъ подъѣздомъ, противъ бывшаго Бриссовскаго дома ²⁾, и помѣщеніе это было довольно ограниченное. Поднявшись по «малой лѣстницѣ», генераль-прокуроръ вошелъ въ комнату, выходившую окнами на малый дворикъ, въ которой обыкновенно находились дежурныя при государынѣ лица и гдѣ за ширмами стоялъ письменный столъ съ приборомъ для статсъ-секретарей и другихъ дѣловыхъ особъ, на случай экстреннаго отправленія какихъ либо приказаній ея величества. Здѣсь, къ девяти часамъ утра, ежедневно собирались санктъ-петербургскій оберъ-полицеймейстеръ съ дневнымъ ра-

¹⁾ Для докладовъ генераль-прокурора въ царствованіе Екатерины назначенными днями были понедѣльникъ и четвергъ.

²⁾ Гдѣ нынѣ штабъ войскъ гвардіи и Петербургскаго округа и музей министерства Государственныхъ имуществъ

портномъ; а такъ же статсъ-секретари и министры, имѣвшіе въ тотъ же день очередные доклады. Впрочемъ, князь Безбородко приѣзжалъ въ одиннадцатомъ часу утра, а генераль-прокуроръ, смотря по дѣламъ, иногда и еще поздѣе, такъ какъ государыня обыкновенно продолжала заниматься докладами ровно до полудня. Изъ «дежурной комнаты» одна дверь направо вела въ «брильянтовую комнату», а другая налево — въ спальню, гдѣ государыня и принимала всегда доклады. Здѣсь, почти у самыхъ дверей изъ уборной, стояли два выгибные столика, обращенные своими впадинами одинъ къ стулу императрицы, стоявшему у самой стѣны, а другой въ противоположную сторону, а предъ этимъ послѣднимъ столикомъ тоже находился стулъ для докладчика.

Князь Вяземскій, въ ожиданіи окончанія доклада одного изъ статсъ-секретарей, приказалъ дежурному камердинеру, всегда безотлучно стоявшему въ это время у дверей спальни, доложить о себѣ ея величеству, какъ только она обычнымъ звонкомъ дастъ ему знать, что входъ къ ней свободенъ.

И вотъ, менѣе чѣмъ черезъ полчаса, дежурный камердинеръ подошелъ къ генераль-прокурору, почтительно промолвивъ: «пожалуйте!»

Князь Александръ Алексѣвичъ, переступая за порогъ спальни, отдалъ государынѣ глубокой и низкій поклонъ, въ отвѣтъ на который она милостиво протянула ему для поцѣлуя свою бѣлую, прекрасно созданную руку. На ней, въ эти часы, по обыкновенію, надѣтъ былъ бѣлый флеровый чепецъ, сбитый нѣсколько на лѣвую сторону, а на себя накинута бѣлая же гротетуровый плафрокъ. Несмотря на шестидесятиоднолѣтній возрастъ, императрица сохраняла еще достаточную свѣжесть лица, прекрасный биестъ и руки, всѣ ея зубы были еще въ полной цѣлости и потому она говорила твердо, безъ старческаго пришепетыванья, только нѣсколько грубоватымъ, какъ-бы мужскимъ голосомъ.

Вяземскій засталъ ее, по обыкновенію, въ очкахъ, которыя она подъ старость стала надѣвать въ случаѣ необходимости писать или читать что-либо, причемъ для этого послѣдняго занятія, кромѣ очковъ, употребляла еще и большее увеличительное стекло, оправленное въ бронзовый ободокъ съ такою же ручкой. Доложивъ ея величеству всѣ свои наличныя дѣла, князь однако же не поднялся съ мѣста, а только приклонилъ и, потупивъ глаза и голову, какъ бы замаялся въ какой-то нерѣшительности.

— Есть у васъ, князь, для меня еще чтонибудь? — спросила Екатерина.

— Есть, ваше величество, — объявилъ онъ смущеннымъ голосомъ, — но только, право, не знаю, какъ ужъ и доложить вамъ объ этомъ.

— А что такое? Я готова слушать! — со снисходительной улыбкой поощрила его государыня.

— Да вотъ... вчерашній вашего величества

указъ Сенату по дѣлу Москотиньевой съ Зубовымъ...

— Что жъ такое?.. Я уже подписала его.

— Да, но онъ... онъ, ваше величество — простите! — нечаянно облить чернилами, такъ что даже резолюція вашей руки и подпись высочайшаго имени залиты окончательно до такой степени, что оныхъ и разобрать теперь невозможно.

— Неужели?.. Какой однако случай! — удивленно подняла Екатерина свои брови.

— Наиприскорбнѣйшій случай, ваше величество!.. разводя руками, вздохнуть генераль-прокуроръ. — И учинилось это по неосторожности токмо и неловкости одного молодого канцеляриста, а потому (при этомъ князь досталъ изъ портфеля перебѣленную бумагу) осмѣливаюсь представить вашему императорскому величеству доточный списокъ съ того указа и всеподданнѣйше прошу — не благоугодно ли будетъ подписать его снова?

Екатерина нѣсколько поморщилась и отвѣтила не сразу.

— Да гдѣ же прежній? — спросила она подумавъ.

— Ваше величество! — опять разводя руками и почтительно склоняясь головой и корпусомъ заговорилъ князь Вяземскій. — Прежній указъ столь много испачканъ, что я не осмѣлился... не почелъ приличнымъ представить его на возвращеніе вашего величества.

— Напрасно, князь, совершенно напрасно. Слѣдовало бы и его захватить съ собою; нужды нѣтъ, что испачканъ.

— Да, но что-жъ дѣлать, государыня!.. Простите, не дерзнулъ, тѣмъ боже, что случай столь необычайный... Такъ вотъ, ваше величество, — слегка вздохнуть генераль-прокуроръ, подвигая къ государынѣ бумагу, — соблаговолите.

— Нѣтъ, Александръ Алексѣичъ, — рѣшительно возразила Екатерина, — я хочу видѣть прежній, а пока не увижу его, до тѣхъ поръ не подпишу вамъ вторично.

— Но, ваше величество...

— Безъ всякихъ *но*, любезный князь!.. Это моя воля, мой капризъ, пожалуй — считайте какъ хотите, но я ужъ такъ рѣшила себѣ это.

Въ такомъ случаѣ, — поднялся съ мѣста Вяземскій, — разрѣшите, государыня, я въ сію же минуту поѣду и привезу его.

— Мм... Зачѣмъ же это?.. Къ чему самимъ вамъ трудиться!.. Это и простой курьеръ можетъ исполнить!

— Все равно, государыня...

— Нѣтъ, князь, — рѣшительно возразила Екатерина, — я желаю, чтобы вы оставались здѣсь: мнѣ надо еще кое о чемъ переговорить съ вами, а вы вотъ пока, пожалуйста, распорядитесь сейчасъ же послать въ Сенатъ курьера.

Нечего дѣлать! Сколь ни не хотѣлось князю, а пришлось повиноваться, — и менѣе чѣмъ

черезъ двадцать минутъ прежній указъ уже былъ врученъ дежурнымъ камердинеромъ генераль-прокурору.

— И такъ, позвольте мнѣ его сюда!—протянула императрица руку.

Князь Александръ Алексѣвичъ крайне смутился, и хотя при этомъ немножко поперхнулся и откашлялся, но учинилъ это ровно на столько, чтобы побороть свое смущеніе и овладѣть собой.

— Всемилоствѣйшая государыня!—заговорила онъ, покорно склонивъ свою голову,—я выношу предъ вашимъ величествомъ, что, желая спасти чиновника отъ справедливаго вашего гнѣва и принявъ въ разсужденіе токмо его молодость и неразуміе, я не со всей точностью осмѣлился доложить вамъ объ этомъ случаѣ: указъ вашего величества не чернилами облитъ, а исписанъ продерзкимъ безумнымъ человѣкомъ. Вотъ онъ.

И генераль-прокуроръ почтительно подаль ей бумагу.

Съ изумленіемъ взглянула Екатерина на слова *«Анъ не быть по сему»* и задумалась.

Вяземскій между тѣмъ съ нѣкоторой душевной истомой ожидалъ ея рѣшающаго слова или дѣйствія.

— Можетъ ли быть,—заговорила наконецъ государыня, — чтобы человѣкъ добровольно сталъ искать себѣ погибели? Подумайте, откуда въ ничтожномъ бѣднякѣ взялось столько духу, чтобы пререкать мой приговоръ?!

— Дерзость и безуміе!—вымолвилъ князь, какъ бы въ поясненіе откуда.

— Гм... Такъ вы находите въ семъ случаѣ только дерзость и безуміе?—переспросила его государыня.—Ну, а я вижу въ немъ гораздо болѣе.

При этихъ вѣскихъ словахъ, произнесенныхъ въдобавокъ весьма внушительнымъ тономъ, князь Александръ Алексѣвичъ, что называется, «сомлѣлъ маленько сердцемъ» и смутился: ему уже казалось, что вотъ-вотъ начнется грозный выговоръ за потворство, потатчество, попустительство и небреженіе со стороны собственнаго его, господина генераль-прокурора. Поэтому онъ уже заранѣе покорно склонилъ предъ государыней свою повинную голову.

— Признаюсь вамъ,—продолжала между тѣмъ Екатерина,—я сдалась на доказательства вашего доклада, я согласилась съ толкованіемъ извѣстныхъ пунктовъ закона господами Сенатомъ, но... знайте, князь, что во глубинѣ души моей я не была довольна рѣшеніемъ этого дѣла. Признайтесь откровенно, кто сочинилъ этотъ докладъ?

— Одинъ изъ моихъ секретарей, государыня.

— Вы сами при этомъ хорошо прослѣдили все дѣло, по документамъ?

— Ваше величество, виноваты!.. При толи-

комъ множествѣ моихъ работъ и разнообразныхъ занятій, каюсь, не успѣлъ даже и пробѣжать его.

— Екатерина съ мягкой укоризной покачала на него головой.

— То-то, Александръ Алексѣвичъ: оно и видно, что не чѣлъ сего дѣла,—замѣтила императрица, — а прочетши, какъ несомнительно честный человѣкъ, увѣрена, что ты не пропустилъ бы ко мнѣ подобнаго доклада, да и проекта такого указа Сенату. Я не толико можеть быть хитростями разума, искуснаго въ законахъ, сколько простымъ бабьимъ сердцемъ своимъ чую, что въ этомъ дѣлѣ пункты закона, можеть быть, и на вашей сторонѣ, но истина и справедливость едва-ли. И вотъ, мой милый, случай, повидимому, продерзостный, гдѣ однако же перстъ Божій ясно указываетъ мнѣ мое неправосудіе. Въ сущности, я даже очень благодарна твоему канцеляристу. Пожалуйста, князь,—приказала она въ заключеніе,—распорядитесь неумедленно прислать ко мнѣ все это дѣло сполна, со всѣми его документами,—я съ нарочитымъ вниманіемъ сама его перечитаю.

Воля государыни была исполнена—и черезъ трое сутокъ Екатерина вручила генераль-прокурору совершенно иное рѣшеніе. Восторжествовалъ не Zubovъ, а дворянка Москотиньева.

— Кстати, князь,—сказала при этомъ государыня Вяземскому,—какъ распорядились вы съ этимъ канцеляристомъ вашимъ?

— Ваше величество, онъ тотчасъ же былъ подвергнутъ мной строгому аресту на сенатской гауптвахтѣ, а нынѣ уже преданъ суду.

— Нѣтъ, князь!—съ живостью и участіемъ сказала императрица, — Бога ради, нѣтъ... Я не хочу этого. Освободите его сегодня же отъ всякаго слѣдствія и суда, предавъ поступокъ его забвенію.

— Государыня,—возразилъ генераль-прокуроръ, — поступокъ оный успѣлъ уже получить по всему Сенату толикую огласку, что оставить чиновника сего на его должности почти такъ невозможнымъ, тѣмъ паче, что какъ оказалось, продерзость его была учинена въ пльномъ состояніи, на дежурствѣ.

— Ну, хорошо,—согласилась императрица,—дабы напредъ и другимъ не повадно было пререкать своими подписями наши указы, ты можешь въ наказаніе исключить канцеляриста изъ службы, съ тѣмъ чтобы напредъ по статскимъ дѣламъ его не опредѣлять вовсе по н толико.

Вяземскій поклонился въ знакъ согласія, и воля государыни была исполнена, а на слѣдующій день Марья Даниловна Москотиньева официально врученъ высочайшій указъ по ея дѣлу, ужѣ отпечатанный въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ».

Кто изобразить, какой ность неожиданно былъ наклеенъ всѣмъ законникамъ, изъ угодливости къ Платону Зубову порѣшившимъ дѣло въ пользу его отца, какъ вознегодовалъ и возропталъ этотъ отецъ на государыню, «отъ коей, признаюсь, не ожидалъ такого себѣ афронту», какой скрежетъ зубовъный поднялъ господинъ Отстепенскій, въ сущности, главный орудователь, который и подвелъ было всю эту каверзу съ первоначальнымъ рѣшеніемъ дѣла. Господинъ Отстепенскій грызъ себѣ ногти отъ злости и «конфуза» на то обстоятельство, что, желая показать себя въ глазахъ Моско-тиньевой вліятельной особой, онъ оказался жалкимъ нулемъ и каверзникомъ, и все это благодаря «не быть по сему» какого-то канцеляриста Бродникова!..

Но зато какая радость, какое ликование, какія слезы и молитвы благодарности и благословенія имени справедливой государыни наполнили одну изъ комнатъ въ «стоялыхъ нумерахъ» у Семеновскаго моста, когда въ этой комнатѣ сошлись Марья Даниловна съ дочерью, послѣ объявленія имъ высочайшаго указа, и Максюша Бродниковъ, послѣ освобожденія его изъ-подъ ареста!

— Ну, вотъ, Максюша, теперь, пожалуй, женись на Аннушкѣ!—говорила ему Моско-тиньева,—и хотя ты не достигъ до чина се-

натскаго секретаря, а напротивъ тому даже исключенъ изъ службы, но, ей-Богу, я даже радуюсь этому обстоятельству: по крайней мѣрѣ, уѣдемъ во-свояси и заживемъ всѣ вмѣстѣ, въ любви да согласіи! Радуюсь и тому, что ты не принадлежишь болѣе къ этому сословію, къ этому гнусному крапивному сѣмени; теперь ты къ землѣ возвращаешься и держись же, голубчикъ, за землю-кормилицу напу, да и сыновей твоихъ, коли Богъ благословитъ, не пускай по штатской, а наипаче по судейской, а ужь пусть они, какъ и отцы ваши, служатъ въ военномъ фронтѣ, по крайности, хоть лобъ свой честно будутъ подставлять за царя и отечество!

Исполнились со-временемъ и эти всѣ желанія почтенной Марьи Даниловны: Максюша женился на Аннушкѣ—и черезъ годъ обѣ бабушки-пріятельницы уже нянчили своего перваго внука, а двадцать-два года спустя, этотъ внукъ дрался подъ Бородинымъ и Тарутинымъ, а въ послѣднюю нашу войну, въ одинъ изъ ненастныхъ осеннихъ вечеровъ, въ офицерской землянкѣ, на позиціи подъ Плевной, молодой внукъ этого внука рассказывалъ автору всю эту исторію, какъ завѣтное семейное преданіе, свято сохранившееся въ родѣ дворянъ Бродниковыхъ.

1880 г.



ОЧЕРКИ КАВАЛЕРІЙСКОЙ ЖИЗНИ.

Отъ штаба до зимнихъ квартиръ.

I.

Сборы и проводы.

— Ваше благородіе, вахмистръ пришелъ.

— Зови его сюда.

Входить эскадронный вахмистръ—солидная, солдатеки-представительная фигура—и останавливается у двери.

— Здравствуй, Андрей Васильичъ! что скажешь?

— Здравія желаю, ваше благородіе! Такъ какъ теперича, ваше благородіе, завтра выступить, такъ майоръ проситъ васъ, чтобы вы изволили эскадронъ отвести, по той собственно причинѣ, какъ они сами изволятъ еще въ городѣ оставаться—потому не здоровы-съ—такъ просили, чтобъ вы ужъ за нихъ.

— Хорошо. Передай майору, что будетъ исполнено.

— Слушаю-съ. Больше ничего приказать не изволите?

— Больше ничего... Развѣ вотъ что: Степанъ, поднеси вахмистру стаканчикъ водки!

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше благородіе!

Водка подана и охотно принята съ вѣжливocerемонной деликатностью.

— За ваше здоровье-съ!—и стаканчикъ разомъ опрокидывается въ широкую вахмистерскую глотку.

— Счастливо оставаться, ваше благородіе!

— Прощай, Андрей Васильичъ!

Солидная фигура степенно скрывается и осторожно притворяетъ за собою дверь.

И такъ, завтра на зимнія квартиры. Выступать въ восемь часовъ утра, стало быть—

надо проснуться въ шесть, а теперь первый часъ дня: времени, для того чтобы изготoвиться, очень достаточно, тѣмъ болѣе, что офицерскіе сборы не велики: походная складная кровать съ кожаной подушкой, чемоданъ съ бѣльемъ и платьемъ, коверъ—какъ неизмѣнное и даже необходимое украшеніе офицерскаго бродячаго быта, да еще походный погребецъ; ну, да пожалуй, ружье да собака—вотъ и все хозяйство! Но въ этомъ хозяйствѣ, знаете ли вы, что достопримѣчательнѣй всего?—Это именно погребецъ, характерные образцы котораго, кажись, только и можно встрѣтить въ быту армейскаго офицера, потому что кому же онъ надобенъ, кромѣ человека, обреченнаго на вѣчно-бродячую жизнь? Такимъ образомъ, изъ «русской» лавки любого ярмарочнаго балагана этотъ неизмѣнный, традиціонный погребецъ переходитъ непосредственно въ офицерскія руки. Представьте вы себѣ маленькій сундучекъ, менѣе аршина въ длину, около трехъ четвертей въ ширину, обитый оленью шкурой, окованный жестью, съ непременно звонкимъ внутреннимъ замкомъ,—а между тѣмъ въ этомъ скромномъ вмѣстилищѣ чего-чего только не заключается!—Тутъ и кругленькій походный самоварчикъ на четыре стакана, миніатюрные экземпляры которыхъ помѣщаются рядомъ, тутъ и мѣдная кастрюлька, крышка которой, въ случаѣ надобности, можетъ замѣнить собою и сковородку, для чего при ней имѣется и желѣзная ручка. Тутъ и мисочка для похлебки, и четыре тарелки: двѣ мелкихъ и двѣ глубокихъ. Тутъ и чайникъ, и чайница, и сахарница, и солонка, и перечница, и черпальница съ песочницей, и два большіе штофа со щегольскими пробками—«аплике», и все это накрывается подносомъ, прилаженнымъ къ

крышью, на которую направлено окно и не большое зеркальце. Но все это богатство составляет только верхний этаж офицерского погреба: приподнимите за ушки вкладное вместилище всей этой роскоши—подъ нимъ окажется этажъ нижній, гдѣ имѣются отлично прилаженные помѣщенія для пары ножей и вилокъ, двухъ столовыхъ и четырехъ чайныхъ ложекъ, для салфетки и полотенца, для карандаша съ перомъ и ножомъ перочиннымъ, для гребешка и бритвы и даже... для сапожныхъ щетокъ. Такъ вотъ что-за штука этотъ походный погребецъ—незамѣнимый и неизмѣнный другъ и товарищъ армейской жизни! Какъ разложишь всѣ его богатства, такъ просто изумляешься: гдѣ и какимъ образомъ можетъ вміститься столько разнообразныхъ вещей въ такомъ маленькомъ сундучкѣ, съ такимъ тѣснымъ объемомъ, а между тѣмъ все это вмѣщается, все это такъ искусно, такъ ловко пригнано и прилажено, что просто не хочется вѣрить, будто погребецъ не есть изобрѣтеніе какого-нибудь аккуратнаго нѣмца, а чисто наше «расейское».

И такъ, почти все наше хозяйство заключается въ этомъ мудреномъ погребцѣ, а для остальныхъ вещей—небольшой чемоданъ, или вьюкъ—и всего! Сборы въ походъ ни коимъ образомъ не займутъ болѣе получаса времени. Но все-таки надо кой о чемъ подумать: во-первыхъ, нанять пароконную подводку подъ вещи, потому что походъ хотя и не великъ, но все-таки продолжается трое сутокъ; во-вторыхъ, надо заказать въ трактирѣ жареную курицу, да жаренаго поросенка съ фаршемъ, да штукъ тридцать пирожковъ съ капустою, на придачу, потому что безъ этихъ необходимыхъ запасовъ рискуешь на пространствѣ всѣхъ трехъ переходовъ не найти ровнехонько ничего изъ удобо-сѣдоваго.

Но курица съ поросенкомъ—это пустяки: заказать ихъ не долго, а главное дѣло, чтобы подводку повыгоднѣе нанять. Отправляемся на почтовую станцію, гдѣ встрѣчаетъ насъ приказчикъ содержателя конной почты. Приказчикъ «изъ насшихъ», со всѣми характерными отличіями физиономіи, запаха и костюма. Объявляемъ ему нашу надобность.

—Сколки коней вы гаворитю?—вѣжливо и любезно прищуриваетъ онъ глаза.

— Пару.

— Па-ару?.. Ну, ѣй зачѣмъ вамъ пару!—Верить тройка! Увсѣмъ гхаросши гаспода заусижда на тройка ѣхаютъ и зъ калаколчикъ. Ми вамъ будзимъ одпусшкацъ сшами лучши курьершки тройка!

— Миѣ нужно не подъ себя, а подъ вещи мои.

— Подъ виещу?.. Ну, то може какой гхаросшій виещу, гхурсшталъ, чи то фаянцы?.. А подъ гхаросши виещу нада гхаросши кони.

На этотъ аргументъ ему категорически объ-

ясняется, что если спрашиваютъ пару, то стало быть только и нужна пара, а не тройка.

— Н-ну, якъ пара, то хай и пара!.. Мож-но ѣй пару! Зачѣмъ нѣтъ?.. А докуда васше благородію ѣхать будете?

— Въ Свислочь.

— До Сшвисшлочь?.. до сшями Сшвисшлочь!.. А зачѣмъ такъ далѣко? зачѣмъ до Сшвисшлочь?

— Зачѣмъ, что тамъ эскадронъ стоять будетъ.

— Сшквadro-онъ?.. Вулянски сшквadroнъ?

— Ну, конечно уланскій.

— А!.. гхѣта доволна гхарасшо!.. Тамъ есть мадамъ Янжелѣва, сшвой ляфка дѣржитъ зъ рижской вина и зъ увсшекимъ припасомъ; ей будзицъ гхаросшій гхандель... Но толки зжвините: ви гаворитю, сшто сшквadroнъ исцо не сштанцъ, а толки будзицъ сштанцъ?

— Да, будетъ.

— Ну, якъ исцо толки будзицъ, то лепшъ бѣрицъ кони до Сшкидель, бо у Сшкидель вже станцъ.

— Куда жъ, любезный другъ, въ Скидель?!. Скидель вонъ гдѣ, а Свислочь эва куда!—Совсѣмъ въ другую сторону!

— Зжвините, але-зжъ и на Сшкидель тожже вулины сштанцъ, и тожже цалы сшквadroнъ.

— Да; только тамъ четвертый, а нашъ—первый.

— Н-ну, и сшто таково, сшто читворты, сшто пѣрви, какгдажъ то ни увсше равно?!. Увсше равно такой зже гхаросши сшквadroнъ и такой зже вулянскій!.. Але зжъ до Сшкидель толки двадцать-восшомъ вѣрстовъ, а до Сшвисшлочь восшимдесшотъ, а може ѣ цалы сшто, а може ѣ болшъ якъ за сшто, бо вѣрсту тамъ не мѣренной... И сшто вамъ за агхѣта ѣхатъ такъ очинъ далѣка?!

— Ну, ужъ это не твое дѣло разсуждаты! Я тебя спрашиваю, сколько возьмешь за пароконную бричку въ Свислочь?

— Ой-вай! сшто зжъ изъ васъ увзятъ?.. Ми не задѣрого—ми по сшовѣстю: двадцать-пять шилковихъ.

— Что такое? двадцать-пять цѣлковихъ? Да ты ошалѣлъ?..

— Нѣтъ, то може исцо мой папѣнъку сшлѣлъ, а ми взже здаровій!.. Меншъ—дали-Бугхъ!—не можна!.. А ни якимъ сшпасѣбемъ не можна!

Начинается торгъ продолжительный и упорный. Еврей спускается понемножку и все убѣждаетъ брать коней до Скиделя, «бо кабы до Сшкидель, то можна ѣ за дванадцать, а те и за дзесѣнцъ рубли», по послѣ переговоровъ, дящихся по крайней мѣрѣ полчаса, въ теченіе которыхъ жидъ пробуетъ поддѣть васъ и такъ, и эдакъ: то лѣстя самолюбію, то даже устыжая: «фѣ! такіи гхаросшій, такіи богатый, але зжъ такіи сшкупій гашшпидинъ!»—дѣло,

наконецъ, слаживается на двѣнадцать рублѣхъ съ кормомъ коней и довольствіемъ ямщика отъ нанIMATEЛЯ.

И такъ, поросенокъ заказанъ, кони пораженны, вещи уложены—стало быть, все уже готово! Слава тебѣ, Господи! Можно, значитъ, съѣздить къ кой-кому изъ хорошихъ знакомыхъ и проститься.

У солдата сборы гораздо короче, а если и замедляются они нѣсколько, то развѣ тѣмъ, что иной изъ нихъ отпросится у вахмистра въ городъ на базаръ купить себѣ что-нибудь необходимое въ его личномъ хозяйствѣ: какія-нибудь шерстяныя вязанныя перчатки, или носки, какихъ-нибудь нитокъ, иголокъ, воску да костышекъ, если онъ портной, какой-нибудь дратвы да вару, если сапожникъ, да развѣ еще какой-нибудь яркострый ситцевый платокъ въ подарокъ старой знакомкѣ—будущей своей «зимовой хозяйшкѣ», которая была уже его хозяйшкой и въ прошлую, и въ позапрошлую зиму. А уходя съ осенняго поста, онъ все свое незатѣйливое имущество упаковуетъ около сѣдла, подъ попонку, на что времени потребуется ему не болѣе десяти-пятнадцати минутъ, и потому солдатская укладка начинается уже въ самое утро выступленія, передъ сѣдловкой. Съ кумомъ какимъ-нибудь онъ простился еще съ вечера, при чемъ кумъ угостилъ его кручкомъ водки, а добрая кума—буде есть такая—еще накануне выстирала ему сорочку, заштопала порты и приготовила кусокъ свиного копченнаго сала, какъ прощальный гостинецъ на дорогу, чтобы солдатъ не забывалъ ее до слѣдующей осенней стоянки.

Нѣкоторыя затрудненія случаются только для старшаго вахмистра, и происходятъ они вотъ отчего: стоитъ эскадронъ, положимъ, хоть на осеннихъ квартирахъ, во время осенняго полкового сбора, недѣль шесть, или около двухъ мѣсяцевъ, въ какой-нибудь деревушкѣ, по близости полкового штаба. При выступленіи, эскадрону надо получить отъ старосты квитанцію, что обыватели къ солдатамъ никакой претензіи не имѣютъ; но крестьяне, иногда справедливо, а иногда и облыжно, непремѣнно заявляютъ кляузныя претензіи: у Ясюка, молъ, огородъ потоптали, а у Мацея шлея да два куля соломы изъ сарая пропали, а у Криштофа изъ-подъ хмѣлю тычины не вѣсть куда повыдерганы—все это суть претензіи, которыя слѣдуетъ удовлетворить, потому что не напрягать же стать формальнаго слѣдствія изъ-за Мацевыхъ кудей да изъ-за Криштофовыхъ тычинъ, когда завтра на разсвѣтъ эскадрону выступать изъ деревни. Значитъ, вахмистру надо помириться, чтобы получить квитанцію. А какъ помириться—дѣло извѣстное. И староста съ сотскимъ, и Мацей съ Ясюкомъ очень хорошо уже, изъ долгаго житейскаго опыта,

знаютъ способъ этого мира. Они знаютъ, что вахмистръ любезно и дружелюбно зазоветъ ихъ въ корчму, поставитъ имъ двѣ или три кварты водки; Мацей съ Ясюками напьются, покалякаютъ, посчитаются кто чѣмъ, проследятся и скажутъ: «а бувайце здоровеньки, брачики! вертайтесь до насъ, да какъ поскарѣйшьте!.. Дай вамъ Боже выслы пущь! Прощайайце!»—и эскадронъ разстается пріятелемъ со всѣми Ясюками и Криштофами, всѣ претензіи которыхъ, настоящія или мнимыя, въ сущности заключаются лишь въ полученіи дароваго угощенія двумя-тремя квартами водки.

Въ ночь передъ выступленіемъ солдатъ просыпается очень рано. Еще небо темно и играетъ яркими звѣздами, или подернуто мгlistымъ, холоднымъ сумракомъ; еще вторые пѣтухи только-что начинаютъ голосисто перекликаться между собою съ разныхъ концовъ погруженной въ глубокій сонъ деревни, а уже солдатикъ, зѣвая и бормоча про себя: «охъ тихихъ-ти-ихъ... Господи Іисусе Христе!»—протираетъ кулакомъ глаза, натягиваетъ сапожника, набрасываетъ на плечи шинель и по хрусткой, заморозковой почвѣ пробирается черезъ дворъ къ конюшнѣ, гдѣ, мѣрно хрустя зубами и изрѣдка пофыркивая, стоитъ его конь, въ ожиданіи утренней уборки. Въ ночь передъ выступленіемъ солдату обыкновенно плохо спится: все кажется, даже и во снѣ, что не успѣешь убраться, что проспшишь тотъ часъ, когда, идучи вдоль сонной деревни, эскадронный трубачъ на старой, дребезжащей трубѣ змѣно и отчасти фальшиво протрубитъ въ ночной тишинѣ знакомые звуки генераль-марша:

Всадники-друзи, въ походъ собирайтесь!
Радостный звукъ насъ ко славѣ зоветъ:
Съ бодрымъ духомъ храбро сражайтесь!—
За царя, родину сладко намъ смерть принять!
Сѣдлай!

Но долго еще до того времени, когда вслѣдъ за высокимъ финальнымъ звукомъ трубы повторится громко и долгозвучно на всю деревню команда взводныхъ вахмистровъ: «сѣдла-а-ай!»

А между тѣмъ солдатикъ уже всталъ, осматрѣлъ лошадь, зачистилъ ее, задалъ гарнецъ утренней дачи, заложилъ сѣна и покрылъ попоной, въ ожиданіи этого зычнаго вахмистерскаго окрика. Потомъ тутъ же на дворѣ умылъ руки и лицо посредствомъ самаго простаго, незатѣйливаго способа: набирая себѣ въ ротъ воды изъ глинянаго хозяйскаго кувшина. Вода холодна и деретъ ему кожу, но это ничего: дѣло здоровое!—а умывшись, солдатикъ становится еще бодрѣе; сталъ степенно, лицомъ на востокъ, гдѣ еще и не думаетъ сѣрѣть бѣлесоватая полоса восхода, и, осѣняя себя широкимъ крестнымъ знаменіемъ, шепчетъ свою тихую молитву. Пока онъ справилъ

ся съ лошады, пока самъ умылся, Богу помолился да приодѣлся, глядь — прошло часа полтора времени. Третьи пѣтухи поютъ; на востокъ чуть-чуть засвѣло, хотя звѣзды блещутъ и мигаютъ все такъ-же сильно и свѣтло въ темной глубинѣ неба, а кое-гдѣ по избамъ у иныхъ добрыхъ хозяевъ уже яркій огонь въ печи затрещалъ; по деревнѣ дымкомъ потянуло; замычалъ теленокъ въ какомъ-то хлѣву; заскрипѣлъ «журавель» надъ колодеземъ — и пустая бадья звучно ударилась въ глубинѣ криницы объ сонную и вдругъ забулканную влагу... Голоса слышны кое-гдѣ; по конюшнямъ фыркаютъ кавалерійскіе кони и гудко бьютъ копытами промерзлую землю. Эскадронная собаченка «Шарикъ», съ закорюченнымъ хвостикомъ, весело затыкала и обнюхиваясь рѣзво побѣжала вдоль по деревнѣ въ припрыжку, подпрыгивая слегка гдѣ-то пришибленной задней ногой. Тамъ и сямъ около хатъ и сараевъ чаще замелькали солдатки темныя фигуры, въ полутѣмѣ похожія на какія-то бродячія тѣни. Въ низенькихъ, крошечныхъ оконцахъ засвѣтились огни. — Деревня мало-по-малу проснулась. И дымкомъ тянетъ по низу сильнѣе и гуще.

Прошло еще около часу — и вотъ трубачъ пошелъ вдоль по деревнѣ, съ одного конца до другого. Раздались рѣзкіе, дребезжащіе звуки. — «Генераль-маршъ» будто-бы будитъ солдатиковъ, а они всѣ и безъ него ужъ давнымъ-давно проснулись. И не успѣлъ еще затеряться за ближайшимъ пригоркомъ въ холодномъ передразвѣтномъ воздухѣ издали-слышны высокій звукъ трубы, какъ уже съ четырехъ концовъ деревни почти разомъ раздается эта знакомая и давно ожидаемая команда: «сѣдай!» — и солдатики вмигъ засуетились.

Въ конюшняхъ — слышно — то тамъ, то здѣсь фыркаютъ, храпятъ и бьются сѣдаемые кони, раздаются обращаемые къ нимъ возгласы:

— Но-о, ты!.. Куда-а?!.. Смирно!.. Ы! ай-шій!.. Сто-ой!..

— Шклянникъ! Поддержитка-сь, братецъ, свою Баранесу! Мѣшаетъ, подлая: зубамъ балуется...

— Бочаровъ! куды-те, дьяволъ, щетки мае задѣвалъ? Отдай щетки-то!

— Трохименко! прячьте, пожалуйста, вашъ надоуздокъ — валяется!

А въ это время взводные вахмистра похаживаютъ по конюшнямъ да подбадриваютъ:

— Но-но, ребятки!.. встrepoхнись, воронись!.. Живо, живо, братцы! Живѣя! И то, вишь, сколько запоздали!.. Ну-ну, не копайся! Чтобы въ секунтъ!

Но «ребятки» не копаются: они и безъ поощреній, ужъ сами по себѣ, «въ секунтъ» готовы, — и вотъ, то съ того двора, то съ этого, подлезгивая тяжелыми саблями, сходятся къ сборному пункту, то-есть къ вахмистерской квартирѣ,

одиначные всадники, ведя коня въ поводу и вольно положивъ на плечо пику.

Андрей Васильевичъ въ это время давно уже «всталиши» и наскоро чайкомъ заниматься изволятъ.

Вотъ зашли къ нему «взводные» доложить, что люди, почитай, готовы, а онъ ихъ чайкомъ:

— Карпъ Макарычъ! Илья Степанычъ! Кушайте, пожалуйста!.. безъ сумленія!.. Наливайте-тка! да только, значитъ, поскорѣя!

Взводные наскоро втягиваютъ въ себя горячій, дымящійся чай, кто изъ стакана, кто изъ чашки, кто изъ кружки, — обжигаютъ себѣ при этомъ глотки, морщатся, пучатъ глаза, но это ничего, потому вахмистерскій чай, извѣстно, дѣло горячее.

Но вотъ вахмистръ выходитъ ко фронту.

— Всѣ ли въ сборѣ, ребята?

— Всѣ, какъ есть, Андрей Васильичъ!

— Никто ничего не забылъ?.. Осмотритесь-ко!

— Все какъ есть, при себѣ... будьте безъ сумленія!

— Ну, ладно!.. Садись!

И фронтъ заколебался: солдатики ловкимъ взмахомъ взбираются на тяжело-завьюченныхъ лошадей, изъ ноздрей которыхъ паръ валитъ клубами. Слегка прозябшіе кони нетерпѣливо фыркаютъ и бьютъ копытами закорюзлую землю. Вотъ, наконецъ, всѣ сѣли и разобрали поводья. Вахмистръ снялъ шапку и крестится — весь эскадронъ тоже крестится начинаетъ.

Около кучки бабъ и мужиковъ, староста съ сотскимъ, опершись на свои дубинки, да нѣсколько мальчишекъ, запрягавъ прозябшія рученки въ спущенные рукава холщевыхъ сорочекъ, любовытно посматриваютъ на всю эту процедуру.

— Ну, братцы, съ Богомъ! — раздается голосъ вахмистра. — Смирно! Съ права по три, шагомъ ма-а-ршъ!

И эскадронъ тихо двинулся, слегка колебля надъ своей темной массой легкіе флюгера, въ сѣрвовой мглѣ разсвѣта.

Мальчишки, въ припрыжку, звонко перекликались между собой, провожаютъ его и задираютъ эскадроннаго Шарика, который, тоже въ припрыжку на трехъ своихъ ногахъ, съ веселымъ, радостнымъ лаемъ и визгомъ швыряется во всѣ стороны, то кидается между рядами, то забѣгаетъ впередъ и, вертя своимъ закорюченнымъ хвостикомъ да скаля зубы, ласково засматриваетъ лошадямъ и людямъ въ глаза, словно бы говоря имъ этимъ взглядомъ: «Ну, вотъ, братцы мои любезные, и опять дождался походу!.. Да взгляните же на меня, на Шарика-то, и я вѣдь вмѣстѣ съ вами! Никуда отъ васъ! Привелъ Господь Богъ, значитъ, опять прогуляться; только — ай, ай! цѣлый переходъ придется безъ кормежки въ сухую отмахать!.. И-ихъ ты! весело!..»

И люди, и кони словно бы понимают Шарику: первые улыбаются ему, а вторые ласково пофыркивают, мотая на него книзу головами, и вдруг осторожнѣй начинают переступать, какъ бы нарочно для того, чтобы невзначай не задѣть его копытомъ, когда онъ вдругъ затешется и заегозитъ между рядами.

Староста съ сотскимъ, убагодушенные вчерашнимъ вахмистерскимъ угощеніемъ, отправились, опираясь на свои дубинки, провожать эскадронъ далеко за околицу, а съ другой стороны рядовъ увязалась за однимъ виднымъ, красивымъ солдатикомъ какая-то молодая бабенка и, выпативъ корпусъ впередъ, поспѣшиваетъ босикомъ за лошадинымъ ходомъ, лишь бы не отстать отъ своего солдатика. Бабенка закрываетъ глаза рукою и всхлипываетъ.

— Не плачь, дура, чево ты! — обернувшись на нее книзу, говоритъ ей красивый солдатикъ. — Ну, чего жъ ты! вѣдь сказано, назадъ вернемся!

— О-ой, сабо́лику мой! — слышенъ въ отвѣтъ на это сквозь всхлипыванья перерывистый, надорванный отъ слезъ женскій голосъ.

— Эка безстыжая!.. Полно-те, не срамись!.. При людяхъ сама бѣжить, а сама плачешь!.. Право, стыдно!.. Аль съ утра ужъ хватила, что ли?.. Рабата смѣяться будутъ.

— Ничего, пушай ее! — толерантно замѣчаетъ собѣдъ, — извѣстно дѣло: покутница, солдатка...

— Ой, салдатка, салдатка, голубонько мой! — сквозь слезы, ни на кого не глядя и все продолжая закрывать глаза рукою, навзрыдъ голосить бабенка. — Може й маво сако́дника гдѣсь-то проводѣе хтось такъ само!.. быу, та й узали, у моска́лики пайшоу, и сама одна засталася!.. О-ой, сабо́лику мой асны!..

— А ось пачакай, пачакай, быдло ты! Я це кіемъ! — грозитъ на нее своею дубинкою солидный сотскій.

Но покутница, знай-себѣ, воетъ.

— Ну, дура, не плачь, говорю! — продолжаетъ время отъ времени увѣщевать ее красивый солдатикъ, — вѣдь ничего не подѣлаешь!.. Назадъ вернемся, такъ я те хустку червону подарю... Не плачь же! Срамъ вѣдь!

— Ничего! — опять-таки отвѣчаетъ на это собѣдъ, — пушай ее!.. Потому, извѣстно — люблю!

Но вотъ, и староста съ сотскимъ, откланившись въ послѣдній разъ «до забаченья», понуро повернули назадъ къ деревнѣ, и покутница-бабенка отстала отъ конского шага, утомясь, наконецъ, отъ быстрой ходьбы босыми ступнями по холодной, жестко-замороженной почвѣ — и эскадронъ мало-по-малу всею своею темною, колеблющеюся массой скрылся за горою, по направленію къ городу, въ легкомъ морозномъ туманѣ занимающагося утра.

Разсчитывая, что завтра придется пораньше встать, я нарочно раньше легъ въ постель и, по обыкновенію, на сонъ грядущій сталъ пробѣгать столбцы первой попавшейся подъ руку газеты. Было уже болѣе двѣнадцати часовъ, когда въ прихожей раздался авторитетный звонокъ, обыкновенно обозначавшій своей силой приходъ кого-нибудь изъ товарищей — и точно: черезъ минуту въ спальню ввалились съ топотомъ и веселымъ шумомъ адъютантъ съ квартирмейстеромъ.

— Какъ!.. уже въ постели? — Что за безобразіе! Эдакая ранъ еще, а онъ спать! — раздались ихъ возгласы. — Мы, братъ, къ тебѣ прощаться пришли — «принимай гостей, покидай постель!»

— Васъ бы нелегкая еще попозднѣй принесла: чѣмъ же я теперь кормить васъ буду?

— Все, что есть въ печи — все на столъ мечи!

— Было бы что метать-то! Трактиры наши — сами знаете — въ эту пору ужъ заперты.

— Не въ трактирахъ дѣло, а въ хорошей бесѣдѣ! Чай дома есть?

— Разумѣется.

— И выпить найдется что-нибудь?

— По обыкновенію.

— Ну, а хлѣбъ да соль у денщиковъ отыщемъ — значитъ, аминь тому дѣлу!

Однако я распорядился, чтобы человѣкъ побѣжалъ поскорѣе въ ресторанъ и попытался бы тамъ достучаться да добыть чего ни на есть изъ съѣстного, хоть холоднаго ростбифу, что-ли.

— Вотъ это правильно! — подхватилъ адъютантъ, — потому что не о единомъ хлѣбѣ сытъ будетъ человѣкъ, но и о ростбифѣ.

Пока одинъ денщикъ побѣжалъ въ трактиръ, другой сталъ возиться около самовара, раздувая его, по денщицкому обыкновенію, длиннымъ голенищемъ походнаго сапога.

— А гдѣ Апроня? — освѣдомился адъютантъ о моемъ сожителѣ, котораго добрые пріятель по-просту звали между собою этой интимной кличкой.

— А гдѣ ему быть? — По обыкновенію, въ театрѣ пропадаетъ.

— И все подыхаетъ по Эльсинорской? Съ «актрисками» возится?

— Подыхаетъ...

— А лихо она, чортъ ее возьми, канканъ танцуетъ!.. И куплеты сказываетъ не безъ шикъ!

— Тѣмъ и беретъ. Впрочемъ, дѣвочка добрая...

Завязался обыкновенный офицерскій разговоръ: о лошадяхъ, о манежѣ, о начальствѣ, о женщинахъ, о ростовщикѣ-евреѣ и его процентахъ, да о романѣ «Mlle Giraud — ma femme».

Въ это время раздался новый звонокъ — и послѣ нѣкоторой возни въ прихожей, вошелъ мой сожитель Апроня.

— А я, братъ, съ актрисками,—проговорилъ онъ таинственнымъ полушопотомъ, на цыпочкахъ шагалъ ко мнѣ своими длинными ногами и подавая намъ руки.

Мы всѣ невольно разсмѣялись.

— Гдѣ жъ онѣ и много ль ихъ?

— Здѣсь вотъ!—И онъ кивнулъ по направлению къ нашей офицерской гостиной и кабинету.—Цѣлая тройка! И ѣсть мы всѣ хотимъ, какъ сорокъ тысячъ братьевъ хотѣть не могутъ.

— Цѣлая тройка?!.. Что жъ тамъ больно тихо у нихъ, никакого гвалту не слышать?

— Постояйте: разойдутся еще... Вотъ городшко-то мерзѣйшій!—съ досадою продолжалъ Апронья,—только-что спектакль кончился. Думалъ это поужинать; толкнулся къ Роммеру—заперто, къ Шестаковской—заперто, къ Бездѣнскому—тоже заперто!.. Тыфу, ты!.. Вотъ и живи тутъ!.. А онѣ ѣсть хотятъ; Варвара Семеновна даже и не переодѣвалась: какъ играла, такъ дебардеромъ и поѣхала; торопились, думали—авось не запрутъ, ая не тутъ-то было!.. Ну, ужъ городъ! въ двѣнадцать часовъ хоть съ голоду помирай!.. Я вижу это, что и ѣсть-то имъ хочется, да и прозябли, катаючись со мною за пищей—ну, что жъ тутъ, думаю... «Поѣдьте, mesdames, говорю, къ намъ: авось что-нибудь и отыщемъ».—Ну, вотъ и пріѣхали! Найдется, что-ли, у насъ-то хоть что-нибудь?

— Да что вы тамъ заперлись?—раздались веселые и нетерпѣливые голоса за запертой дверью.—Прикажите хоть огня-то подать... Мы въ потемкахъ!

Я велѣлъ мигомъ зажечь лампы, затопить каминъ и давать поскорѣ чаю, а самъ живо одѣлся и явился къ неожиданнымъ гостямъ, которые уже весело тараторили съ моими товарищами, вышедшими къ нимъ по первому зову.

Я нашелъ въ своемъ кабинетѣ уже довольно оживленную картинку: большая лампа подъ розовымъ колпакомъ наполняла всю комнату мягкимъ матовымъ свѣтомъ; сухія дрова уже весело трещали въ каминѣ; двѣ актрисы—Каскадова и Радецкая—обѣ очень миловидныя и веселыя женщины—напаяливъ фехтовальныя перчатки и упрятавъ свои головы подъ сѣтчатыя маски, стояли по срединѣ комнаты въ самыхъ воинственныхъ позахъ и затѣяли между собою преуморительный бой на эспадронахъ, къ немалому соблазну лягаваго щенка, который, весело таякая, гонялся то за одной, то за другою, игриво теребя ихъ шлейфы; а страсть моего сожителя—дѣвица Эльсенорская, одѣтая мальчишкой въ шикарный костюмъ дебардера, въ которомъ она только-что играла въ театръ роль Леони въ извѣстномъ буфѣ «Всѣ мы жаждемъ любви»—сидѣла за піанино и, какъ-то ухитряясь въ одно и то же время перекидываться словцомъ-другимъ въ общей болтовнѣ и аккомпанировать себѣ бойками аккордами, напѣвала шикарный куплетецъ:

A Provins
On recolte des roses
Et du jasmin et des tra-ta-ta-ta,
Et beaucoup d'autres choses!

Звукъ свѣжаго голоса, смѣхъ и возгласы двухъ бойцовъ въ юбкахъ, ихъ оживленные личики, съ яркими щеками, съ которыхъ не успѣлъ еще сойти густой румянецъ, наведенный на нихъ морознымъ холодкомъ, потомъ этотъ лязгъ стальныхъ эспадроновъ, веселое таяканье щенка и трескъ ярко пылающихъ полѣньевъ—все это казалось такъ ярко, весело, молодо, свѣжо, все дышало такою беззаботною и беззаветною жизнью и удовольствіемъ, что я ни мало не пожалѣлъ о томъ, какъ теперь, въ виду завтрашняго похода, пришлось подняться съ постели въ часъ ночи вмѣсто шести утра и былъ очень доволенъ этимъ внезапно импровизованнымъ набѣгомъ на мое обиталище.

— Однако, соловья баснями не кормятъ!—воскликнулъ мой сожитель.—Что же, въ самомъ дѣлѣ, есть у насъ что-нибудь ѣсть?

Въ эту минуту вошелъ дежчикъ мой, котораго посылаю я въ трактиръ на фуражировку.

— Вотъ тебѣ и живой отвѣтъ на твой голодный вопросъ,—сказалъ я, указывая на него Апронѣ.—Ну, что, Степанъ, что скажешь?

— Заперто, ваше благородіе.

— Тыфу, ты!—съ досадою топнулъ сожитель.—Ты бѣ разбудилъ ихъ!

— Я разбудилъ-съ; только повара у нихъ всѣ разошлись и огонь погашенъ, а буфетчикъ пьянъ-съ; однаже жъ я взявши его деликатно, значить, за шиворотъ, препроводилъ въ кладовую и нашелъ четыре холодныхъ калетки-съ.

— Только четыре?!—вскричали мы съ ужасомъ.

— Только-съ,—отвѣтствовалъ невозмутимый Степанъ.

— Ну, господа, утѣшительнаго мало!

— Такъ точно, ваше благородіе, я и самъ думалъ, что мало, и для-того толкнулся этта у насъ внизу къ евреямъ и добылъ у нихъ два куса жидовской шуки маринованной.

— Четыре котлетки и два куса жидовской шуки—значить, положеніе наше еще не такъ отчаянно! Фонды подымаются!.. Ну, а дома не найдется ли еще хоть чего-нибудь изъ перекусковъ?

— Амаръ-съ есть!—доложилъ Степанъ,—копченая корюшка есть... сыру небольшой кусокъ оставшись... да еще съ полбанки пиккулей найдется.

— Такъ что же ты молчишь-то, голова!.. Живо тащи все это сюда... Живо!

— Каштаны тоже есть, ваше благородіе!—вспомнилъ онъ, уходя уже за дверь,—и фрухта есть...

— Какая фрухта?

— Груши-съ. Штукъ съ десятокъ будетъ.

— Каштаны и груши! Пикнули и омаръ! а ты говоришь, что ничего нѣтъ съѣдобнаго! Варваръ ты эдакой!

— Такъ нѣшто, ваше благородіе, все это съѣдобное?—недовѣрчиво ухмыльнулся мой Степанъ Григорьевичъ.

— А что жь по-твоему?

— Такъ, малодушіе одно... баловство, значить.

Однако наши жрицы Талин и Медномены настолько проголодались послѣ длиннаго спектакля, что не сочли малодушіемъ ни пропитанныхъ казеннымъ перцемъ англійскихъ пикнулей, ни каштановъ, которые онѣ тотчасъ же стали печь въ каминѣ и преуморительно таскать ихъ изъ полымя концами еспадроновъ.

Омаръ и копченая корюшка, котлеты и жидовская шука, пикнули и ломти ржаного солдатскаго хлѣба (за невозможностью достать лучшаго),—все это исчезало съ тарелокъ съ быстротою исполнѣ похвальнойю, какъ вдругъ раздался звонокъ паки и паки, и вслѣдъ затѣмъ вошли еще четверо товарищей.

— А мы на огонекъ!—объявили они.—Видимъ свѣтъ въ окнахъ, слышимъ звукъ унылый фортепьяно—и зашли!

— Откуда Богъ принесетъ?

— Отъ Колотовичей,—тамъ нынче вечеръ коротали на англійскомъ чаѣ... Нѣтъ ли, господа, хоть рюмки водки-то?

— Есть!.. Только вотъ насчетъ закуски уже скудно стало!

— А твой походный поросенокъ съ курицей?

— Увы! поросенка съ курицей принесутъ отъ Роммера только завтра къ семи часамъ!..

— Ваше благородіе! картошка есть у насъ!—возгласилъ вдругъ Степанъ Григорьевичъ, какъ вѣстникъ спасенія появившись у двери.

— Что-за картошка такая?

— Сырая-съ. Только, значить, сейчасъ можно сварить, а потомъ на сковородкѣ поджарить, потому какъ у меня еще остался кусокъ сала свиного и цыбулька-съ... давеча мы съ Аникѣемъ для себя брали... такъ значить, этта, можно поджарить со шкварками и съ лучкомъ-съ. Въ одинъ секундъ будетъ готово!

— Картошка!.. браво! давай сюда картошку!—захлопали въ ладоши наши дамы.—Душки, шес-
dames, давайте сами варить картошку! Это, душки, прелюбопытно будетъ!

Степанъ принесъ кострюльку и лукошко картофелю. Дѣвица Эльсинорская, засучивъ рукава своей бархатной курточки и фартукомъ подвязавъ вокругъ талии столовую салфетку, принялась за стряпню: отбирала лучшій картофелины, обмывала ихъ въ водѣ, прополаскивала и укладывала въ кострюльку. Дѣвица Радецкая рѣзала на мелкіе кусочки свиное сало, а Каскадовой выпала нагорышая доля: морщась отъ лучнаго запаху, летучій

эфиръ котораго до слезъ ѣлъ глаза, она крошила въ тоненькія колечки головку цыбульки, къ затаенной потѣхѣ моего Степана, который съ явнымъ, хотя и безмолвнымъ скептицизмомъ относился къ мудреной стряпнѣ «барышень-актерокъ». Но барышни-актерки, худы ли, хорошо ли—дѣло свое справляли довольно споро. Наполненная доверху кострюлька уже кипѣла на таганкѣ, а Эльсинорская, присѣвъ на корточки передъ каминомъ, усердно подкладывала желѣзнымъ прутомъ каленные уголья и головешки подъ кострюлю, — и картошка, при таковыхъ стараніяхъ, поспѣла довольно скоро. Живо ее облупили, еще живѣе искрошили съ помощью вилокъ, пересыпали лукомъ и саломъ, посолили, перемѣшали всю эту еутерму, выложили на сковороду и отправили снова въ каминъ на ту же самую таганку, но теперь уже не вариться, а жариться. Дѣвица Эльсинорская, вся раскраснѣвшаяся, какъ ракъ, отъ двойного жара огня и собственного усердія, вся озаренная съ лица яркимъ, перебѣгающе багровымъ свѣтомъ похвальной, съ напирской въ зубахъ, все такъ же сидѣла на корточкахъ и, пошевеливая сковородку, то и дѣло ворошила вилокъ картофельное крошево, чтобъ оно получше прожаривалось да побольше румянилось.

— «Красотки-грязетки совсѣмъ не кокетки!» подъ аккомпанементъ шипящаго сала напѣвала она въ то же самое время, сквозь зубы, сжимавшіе дымящуюся напирску.

— Ай, душки, страсти какія!—съ ужасомъ вскричала дебелая Каскадова, съ гримасой нюхая свои пальцы.—Ай, какія ужасті! руки просто страхъ, какъ лукомъ воняютъ... Господа, нѣтъ ли одеколону у васъ? Бога ради, выручите меня поскорѣй, а то юнкеръ Ножинъ и ручекъ мнѣ больше цѣловать не будетъ!

Дѣвица Каскадова — кстати или некстати сказать—была идеально, безкорыстно, неравнодушна къ юнкеру Ножину—очень стройному и красивому мальчику.

Одеколонъ и вода, и мыло, и полотенце явились къ услугамъ ручекъ дѣвицы Каскадовой, которымъ угрожала столь серьезная опасность, а между тѣмъ и жарено Эльсинорской поспѣло. Хотя вытаскивая его изъ камина, она и нацедила на всю комнату, такъ что пришлось всѣ форточки раскрывать, однако же стряпня ея, вопреки ожиданіямъ скептическаго Степана, оказалась превкусною. Эльсинорская была очень довольна и своимъ кулинарнымъ искусствомъ, и отданной ей данью сираведливости и похвалъ, и все увѣрила, что картофель, зажаренный такимъ образомъ, называется картофелемъ à la Pouchkin. Дѣвица же Радецкая, горячо споря съ ней, доказывала, что «вовсе не à la Пушкинъ, а à la шустеръ-клубъ, дѣшка», потому что сама она сколько

разъ въ лѣтнемъ петербургскомъ шустерь-клу-бѣ ѣдала картофель, приготовленный точно такимъ же образомъ.

— Ну, а отнынѣ пускай же онъ будетъ à la Эльсинорская!—порѣшили ихъ споръ голодный Апроня, запихивая за щеки изрядное количество картофельныхъ крошекъ и заѣдая ихъ ржанымъ солдатскимъ хлѣбомъ.

Хересь да petite Bourgogne, честерь да груши отличнѣйшимъ образомъ приправили нашъ внезапно импровизованный ужинъ. Апроня, подозревая чловѣка, тайно и многозначительно мигнула ему—и въ ту же минуту раздался въ комнатѣ очень хорошо знакомый всѣмъ звукъ осторожно вскупоренной засмоленной бутылки. Шампанское зашипѣло и запѣнилось въ стаканахъ,—а вмѣстѣ съ нимъ улыбки и взоры, смѣхъ и разговоръ стали еще оживленнѣе.

— Господа, позвольте тостъ!—провозгласилъ, подымаясь, длинный Апроня.—За картофель à la Эльсинорская!

— И за картофель, и за самой Эльсинорскую! за Варвару Семеновну!—подхватилъ кто-то изъ офицеровъ.

Компанія перечекалась съ виновницей тоста и выпила исправно какъ за картофель, такъ и за Эльсинорскую.—Да здравствуютъ и тотъ и другая!

А тамъ уже и пошло, и пошло...

— За ручки Каскадовой и за bouquet d'oignon, которыми онѣ пахнутъ!—предложилъ одинъ.

— За шиварки Радецкой!—изобрѣлъ другой.

— За Колумба, который открылъ Америку!—подхватилъ третій,—потому что, не открой онъ ее, мы бы не ѣли сегодня картофелю!

— За Фердинанда Кастильскаго и Изабеллу Арагонскую, потому что, не дай они кораблей Колумбу, такъ Колумбъ, пожалуй, и не открылъ бы Америку!

— Ну, господа, если ужъ Фердинандъ съ Изабеллой пошли въ ходъ,—замѣтилъ кто-то изъ товарищей,—то, значить, слѣдующій тостъ будетъ за Колумбовы корабли, а затѣмъ, чтобы быть послѣдовательными, придется пить за испанскій флотъ, а отъ испанскаго флота за флотъ вообще, а тамъ за Финикiянъ, за Аргонавтовъ, за Ноевъ ковчегъ и т. д., восходя до самыхъ прародителей, такъ ужъ что-бы скорѣе къ дѣлу, лучше начнемъ сначала, т. е. съ праотца Адама и праматери Евы.

— Скачекъ, мой другъ, слишкомъ великъ,—замѣтили ему на это предложенiе,—послѣдовательность въ этомъ случаѣ лучше и почтеннѣе.

— Да; но въ такомъ случаѣ едва-ли мы нынче дойдемъ до Адама.

— Ну, не дойдемъ, такъ дополземъ, дастъ Богъ.

— О, нѣтъ, сомнѣваюсь, скорѣе же костыми

ту ляжемъ, мертви́и бо сраму не имутъ! А за прародителей все-таки выпить надо! Кто, господа, поддержитъ мой тостъ?

— Я!—бойко подхватила Эльсинорская, ловко вспрыгивая съ бокаломъ на стулъ.—Пью, господа, за праматерь Еву par excellence!.. И за древо познанiя добра и зла!—промолвила она, лукаво сверкнувъ на всѣхъ глазами.

— Браво! это тостъ разумный, потому что, не будь этого древа, мы не умѣли бы познать ни добра, ни зла; и слѣдовательно—лишены были бы въ принципѣ самой способности распознавать настоящiй Редереръ отъ тутейшей жидовской поддѣлки! И такъ: за древо познанiя добра и зла! Идетъ!..

— Охъ, моя прелесть, ужъ коли такъ, то не выпить ли намъ съ вами, кстати, и за грѣхопаденiе!—шутливо вздохнувъ, обращаясь съ бокаломъ къ Эльсинорской, ея застольный сосѣдъ Апроня.

— Умныя рѣчи прiятно и слушать!—разсмѣялась она, чокнувшись съ сосѣдомъ такъ звонко и сильно, что даже нѣсколько вина выплеснулось изъ ихъ стакановъ.—Оба они залпомъ осушили ихъ. Эльсинорская сразу вскочила вдругъ изъ-за стола, въ припрыжку подлетѣла къ пианино, взяла нѣсколько бойкихъ аккордовъ, бѣгло проиграла веселый ригурнель въ темпѣ «мазурѣчки» и лихо запѣла своимъ задорнымъ голоскомъ:

Гой, вы улане—малеваны чѣпки!
Сенде, поядон' до моей коханки!

Но особенно хорошо, граціозно и въ то же время уморительно-комично у нея выходилъ слѣдующiй куплетецъ, который она не пѣла, а почти говорила—сначала разслабленно-болтливенькимъ, какъ бы умирающимъ голосомъ, а потомъ комическимъ, лукаво-смирненнымъ тономъ польскаго ксендза:

Панна умирала—ксендза сен' пытала:
«Чи на тамъ-темъ сѣнци сон' улане прищеци?»—
Ксендзъ ей отповѣдзаялъ, же и самъ не вѣдаялъ,
«Чи тамъ сон' уланы, чи ксендзы коханы...»

И все это вдругъ, совсѣмъ неожиданно завершилось у нея лихимъ и эффектнымъ мотивомъ начала:

Гей-гопъ, улане! гопъ, малеваны чѣпки!
Гопъ! сенде, поядон' до моей коханки!

Огненное allegro всей этой пѣсни было пропѣто, дѣйствительно, прекрасно. Въ самомъ мотивѣ, въ которомъ сквозь его бойкую веселость порой прорываются минорныя, чисто славянски-занывающие нотки, было нѣчто искристое, вдохновенное, беззаветно-удалое.

Съ послѣднимъ своимъ сильно взятымъ финальнымъ аккордомъ, она живо вскочила съ табурета, при оглушительныхъ «браво» и рукоплесканiяхъ, и комически присѣла всей пу-

ближѣ, пародируя рутинную благодарность актрисъ со сцены. Оставленное ею мѣсто занялъ мой сожитель, который вообще большой артистъ въ душѣ: отлично понимаетъ цыганскую и въ особенности русскую пѣсню и очень недурно играетъ на цитрѣ, такъ что мы, бывало, съ нимъ иными вечерами все время проводимъ за музыкой—онъ съ цитрой, а я тихо ему аккомпанирую на пианино, и выходило это у насъ иногда-таки недурно. Увлеченный, какъ и всѣ мы, хорошо и характерно свѣтой пѣсней, онъ, какъ бы въ отвѣтъ ей, своимъ все еще звучнымъ, хоть и надтреснутымъ баритономъ заплѣлъ старый кавалерійскій маршъ.

— «Вы замундштучили меня»—началъ онъ съ фанфардами въ аккомпанементѣ, который все время идетъ марсiальнымъ темпомъ кавалерійскаго марша:

Вы замундштучили меня
И полнымъ व्यюкомъ осыдлали;
И какъ ремонтнаго коня
Меня къ себѣ на корду взяли.

— О, да! въ этомъ отношеніи я—опытный п лихой берейторъ!—воскликнула Эльсинорская и, какъ бы въ подтвержденіе своей похвалы, сняла со стѣны манежный бичъ и, отступя въ глубину комнаты, дѣйствительно очень ловко взмахнула имъ и щелкнула.

Апроня продолжалъ свое «Признаніе кавалериста».

Повсюду слышу голосъ вашъ,
Въ сигналахъ васъ припоминаю
И часто вмѣсто „рысью маршъ!“
Я ваше имя повторяю.

— И на гауптвахту попадаю!—экспромптомъ добавила Эльсинорская.

Несу вамъ исповѣдь мою,
Мой ангелъ, я вамъ рапортую,
Что я васъ болѣе люблю,
Чѣмъ пуншъ и лошадь верховую!

— Мерси за лестное сравненіе съ лошадью!—пренебрежительно выдвинувъ румяныя губки, въ шутку поклонилась пѣвцу его пассiя.

— Да это, можетъ быть, очень лестно для женщины, но плохо для кавалериста, если онъ уже начинаетъ любить что-нибудь болѣе своей лошади!—не безъ легкой лавительности замѣтила Радецкая, которой, какъ кажется, въ душѣ было немножко непріятно, что нѣкоторые отдають предпочтеніе не ей, а ея сценической соперницѣ.

— А что, господа, хорошо бы теперь жженку уланскую, да трубачей бы куда?—расходилъ мой сожитель.—Одобряете, аль нѣтъ? Уже прощаться такъ прощаться съ товарищемъ, чтобы проводы какъ слѣдуетъ! А то, подика, жди, когда-то еще онъ прійдетъ теперь въ штабъ изъ своей свислочской трущобы!

Мысль была единодушно апробована. Трубачи въ этихъ случаяхъ идутъ съ величайшей охотой, въ которомъ бы часу ихъ ни подняли. Они знаютъ, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ труды ихъ оплачиваются съ избыткомъ.

Хотя и было уже около трехъ часовъ ночи, но адъютантъ тотчасъ же поѣхалъ въ свою трубачскую команду за музыкой, а принадлежности для жженки нашлись и дома, тѣмъ болѣе, что эта «уланская» жженка приготовляется хотя и по особому, но не хитрому и не сложному рецепту. Во всѣхъ холостыхъ военныхъ компаніяхъ ужъ такъ испоконъ нѣку ведется, что вареніе жженки являетъ собой актъ нѣкоего отчасти торжественнаго свойства. Денщики принесли металлическій уѣмистый сосудъ и не безъ сознанія важности предстоящаго священнодѣйствія поставили его на подносѣ по срединѣ стола. Усатый майоръ — многоопытный жженковаритель, скрестилъ надъ сосудомъ два обнаженныхъ сабельныхъ клинка, на срединѣ которыхъ утвердилъ глыбу сахара, и систематически сталъ обливать эту глыбу прозрачно-золотистымъ коньякомъ. Затѣмъ въ сосудъ было всыпано двѣ скрошенныя тесемки ванили—и зажженный спиртъ вспыхнулъ слабымъ синеватымъ пламенемъ. Кромѣ ванили—никакихъ болѣе специй. Огни потухли; спиртъ разгорается ярче—пламя его начинцетъ забирать свою силу и трепетными языками обвивается вокругъ клинковъ и лижетъ бока сахарной глыбы; тающій сахаръ съ шипѣньемъ и легкимъ трескомъ огненными каплями падаетъ въ глубину пылающаго сосуда. Усатый майоръ беретъ бутылку краснаго вина и осторожно, чтобы не погасить пламени, выливаютъ его, въ равномъ количествѣ съ коньякомъ, уже не на глыбу, а прямо въ сосудъ, и zaczynaетъ мѣшать горящую жидкость большой суповой ложкой. Майоръ строго знаетъ свое дѣло и не ошибется, а совершить его въ тактъ и въ мѣру, что называется, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой и, наконецъ, со вкусомъ. Благородный, горячій чадъ спиртныхъ паровъ распространяется по темной комнатѣ и слегка начинаетъ туманить головы. Нервный свѣтъ слабого пламени, тускло-синеватыми бликами трепетно перебѣгая иногда по свѣтлой стали оружія, развѣшаннаго по стѣнамъ красивыми группами, скользитъ по ближайшимъ къ вазѣ предметамъ и придаетъ мертвенно-блѣдный, фантастическій колоритъ лицамъ, тогда какъ дальніе планы комнаты остаются въ густомъ и почти непроницаемомъ мракѣ. Состольники какъ-то притихли, изрѣдка развѣ перекинутся сосѣдъ съ сосѣдомъ какимъ-нибудь словомъ, но и то лишь въ полголоса — всѣ съ такимъ сосредоточеннымъ вниманіемъ слѣдятъ за дѣйствіемъ искуснаго майора, усатая фигура котораго освѣщается нѣсколько болѣе прочихъ.

Но вотъ, одинъ изъ насъ садится за пианино—и хоръ подхватываетъ за нимъ товарищескую, военную пѣсню про «черныхъ гусаръ», пѣсню, сложенную на тотъ угорско-славянскій мотивъ, изъ котораго Францъ Листъ нѣкогда создалъ свой извѣстный «Венгерскій маршъ».

Въ бой съ врагомъ смерть идетъ—
Черные гусары!

Но не успѣли мы еще кончить эту пѣсню, какъ уже въ прихожей послышался топотъ многочисленныхъ подошвъ, говоръ, сморканье, откашливанье, продуванье инструментовъ, возня какая-то—и вдругъ цѣлый хоръ нашихъ трубачей дружно и энергично грянулъ отсюда лихую старо-польскую мазурку Хлопицкаго. Кто-то подавъ руку одной изъ дамъ—звякнули шпоры, щелкнулъ каблукъ—и въ тотъ же мигъ нѣсколько паръ понеслись по темной комнатѣ вокругъ большого стола, за которымъ усатый майоръ, съ невозмутимымъ и самосознательнымъ спокойствіемъ и серьезностью специалиста, продолжалъ, стоя надъ пылающей вазой, свершать свое священнодѣйствіе. Пары носились по комнатѣ, сшибаясь и сталкиваясь между собой, едва озаряемые слабымъ синеватымъ огнемъ пылающаго снирта и блѣдно-золотистымъ свѣтомъ луны, заглядывавшей въ окна съ высоты яснаго неба. При такомъ двойномъ и отчасти фантастическомъ освѣщеніи, эти какъ тѣни носившіяся пары походили на какихъ-то бѣснующихся призраковъ изъ «Шабаша вѣдьмъ» или изъ «Вальпургіевской ночи». Расшитый блестками испанскій «дебардеръ» Эльсинорской вакхически мелькалъ, какъ буря, то здѣсь, то тамъ по всѣмъ угламъ темной комнаты.

Но вдругъ, трубачи неожиданно смолкли, разомъ оборвавъ мазурку на одной ноткѣ. Кружащіяся пары остановились въ полнѣйшемъ недоумѣніи на одномъ изъ самыхъ горячихъ моментовъ своей пляски. Нашъ адъютантъ одѣлать сюрпризъ, котораго въ данную минуту мы менѣе всего ожидали. Черезъ самый краткій промежутокъ времени, послѣ того какъ столь внезапно оборвалась лихая музыка, вдругъ въ тишинѣ всеобщаго недоумѣвающаго молчанія раздались полные, густые, торжественно мрачные аккорды нашего похороннаго марша. Словно бы какимъ-то леденящимъ вѣяніемъ могилы охватили всѣхъ эти звуки послѣ горячей бури мазурки. Что-то жуткое и щемящее невольно упицнуло за сердце каждаго. Мы всѣ инстинктивно какъ-то замолчали и слушали каждый въ томъ положеніи и на томъ мѣстѣ, гдѣ его неожиданно захватили похоронные аккорды. Одинъ только майоръ надъ своей вазой оставался по-прежнему невозмутимо-спокоенъ, сосредоточенно и шавно продолжая мѣшать ложкой пылающую жидкость.

Эффектъ погребальныхъ звуковъ, при этомъ прозрачномъ мракѣ, трепетно озаряемомъ двойнымъ свѣтомъ луны и жженки, былъ — надо отдать ему должную справедливость — очень хорошъ именно своей неожиданностью. Но одна неожиданность вслѣдъ за другой, а эту другую смѣнила вдругъ третья, и эффектъ этой послѣдней былъ еще лучше. Едва замолкли послѣдніе, словно бы въ глубь могилы уходящіе, аккорды похороннаго марша, какъ наши трубы вдругъ грянули рѣзко «адскій галопъ» Оффенбаха, съ его бѣшеннымъ, горлечнымъ темпомъ, съ его рокотомъ будто бы кипящей адской смолы, съ его перебѣгающими, летучими звуками, которые словно бы чертенята прыгаютъ, скачутъ, искрятся, и толпятся, и сшибаются цѣлыми вереницами, одни вслѣдъ за другими, въ какомъ-то музыкально-позитическомъ хаосѣ адскаго фейерверка, поджариваемые на шипящихъ сковородахъ всей угарно-веселой кухни Вельзевула.

— Пущено!—весело крикнулъ кто-то—и наши остановившіяся было пары вновь понеслись по комнатѣ и закружились еще живѣе въ чадѣ Оффенбаховскаго голопа.

— Жженка готова! Зажигайте свѣчи!—громко провозгласилъ майоръ, бросая на полъ горячіе клинкіи.

Комнату освѣтили. Стаканы наполнились горячимъ ароматнымъ напиткомъ.

— Ну! добраго пути! За предстоящій походъ, хотя и пустынный, а все-таки выпить надо!—предложилъ тостъ мой сожигатель.

Выпили за добрый путь, и за походъ, отдавая должную справедливость искусству майора, потому что сваренная имъ жженка была, въ своемъ родѣ, превосходна. Пили потомъ за полкъ и полковое товарищество, при чемъ трубачи грянули полковое маршъ, всегда и неизмѣнно, въ силу стараго обычая, сопровождающій эти тосты. Время летѣло весело и потому слишкомъ быстро, такъ что мы и не замѣтили, какъ по сосѣдству на соборной колокольнѣ ударили благовѣсть къ заутрени.

— Эге! да уже шесть часовъ, господа! Надо же дать человѣку и отдохнуть передъ походомъ!—домекнулся кто-то изъ товарищей.

— Нашелъ время для отдыха!—отвѣчали ему смѣхомъ.—Теперь ему развѣ только чаю выпить, умыться да одѣваться въ походную форму.

Рѣшили, что спать не стоитъ ложиться, потому что только хуже размаешь себя. Да оно и точно: когда ужъ тутъ спать! Нѣкоторые изъ товарищей рѣшили проводить меня и эскадронъ нѣсколько верстъ за городъ, до перваго привала. Тотчасъ же распорядились послать къ рейткнехтамъ приказанія, чтобы сѣдлали такихъ-то и такихъ-то лошадей и вели ихъ къ перевозу. Между тѣмъ гости наши стали собираться домой. Ихъ одѣли, укутали, обмо-

тали башлыками и всею компанією пустились провожать на улицу. Заранѣ вышедшіе тру-бачи, построившись, ждали уже подъ воротами. Мы усадили нашихъ барынь на извозчиковъ; пные изъ нашихъ услыхъ на передки, другіе кое-какъ примостились на подножкахъ, остальные вокругъ и пѣшкомъ—и вотъ вся эта процессія съ музыкой двинулась шагомъ по сонному городу, къ необычайному изумленію жидаковъ, только-что просыпавшихся и продиравшихъ глаза изъ-подъ своихъ бебеховъ, въ ожиданіи гандловъ и гешефтовъ наступающаго дня.

Въ небѣ только-что начинало сѣрѣть по восточной окраинѣ, но звѣзды все еще мерцали кое-гдѣ рѣдкими точками. Свѣтъ скло-няющейся луны однако же замѣтно слабѣлъ и блѣднѣлъ, а въ морозно-чуткомъ воздухѣ пахло уже разсвѣтомъ зарождающагося утра.

Мы добросовѣстнымъ образомъ проводили нашихъ театральныхъ дамъ до ихъ квартиры и простились.

Трубить голубые улавы
И ѣдутъ изъ города вонъ!—

раздался веселый голосокъ дѣвочки Эльсинорской—и съ этой пѣсенкой, быстро и легко подымаясь по ступенькамъ, она скрылась въ темнотѣ лѣстницы, ведущей въ ея театральную келью.

II.

На первомъ переходѣ.

Когда я вернулся домой, пароконная бричка съ почты уже ждала во дворѣ и денщики укладывали въ нее мои вещи. Напившись чаю, я одѣлся въ походную форму, навѣсилъ лядунку, прицѣпилъ саблю, пригналъ пистолетную кабуру, да подстегнулъ чешую шапки и пѣшкомъ отправился по едва пробуждающимся улицамъ внизъ, подъ гору, подъ которую, оглабая городъ, протекаетъ Нѣманъ. Мнѣ хотѣлось пройтись. Утро, борясь съ передразвѣтною мглою, все болѣе и болѣе вступало въ свои права. Вотъ и спускъ къ Нѣману. Съ рѣки подымается бѣлый туманъ. У береговъ плаваютъ тонко-слоистое, матовое «сало». Парома нѣтъ еще: онъ на той сторонѣ и пока не виденъ за туманомъ, изъ котораго самыми смутными очерками едва-едва выдѣляются крутизны и возвышенности противоположнаго берега, съ его крышами еврейскихъ домишекъ и колокольной Францишканскаго кляштора. Холодно и тихо. Эскадрона нѣтъ еще, но у перевоза виденъ человѣкъ и темная фигура коня въ поводу подъ попоной; гляжу—это мой рейткнехтъ дожидается съ моимъ «Ветераномъ». Поласкавъ коня, я въ ожиданіи эскадрона присѣлъ на одно изъ бревенъ, на-

валенныхъ у берега. Въ католическихъ костелахъ зазвонили къ ранней «мѣшѣ». Вотъ грязныя жидавки въ лохмотьяхъ плетутся по спуску и, звонко перебраниваясь, занимаютъ обычныя, насиженныя мѣста, около перевоза, со своими «кошиками» и лотками, на которыхъ продается всякая снѣдь, въ родѣ булокъ, варенаго картофеля и гнилыхъ яблокъ. По-немногу начинаютъ набираться сюда же разныя солдатки, бабы, евреи, мѣщане, мужики съ возами да фурманки, въ ожиданіи переправы на ту сторону. И моя бричка подѣхала. Время отъ времени съ рѣки доносятся протяжные переклики паромщиковъ съ судовщиками, которые на своихъ «берлинкахъ» спускаются внизъ по теченію. На перевозѣ между солдатками и жидами крикливо подыался уже какой-то «хандель»—что-то въ родѣ старыхъ штановъ продается, разсматривается и перекупается—и евреи при этомъ перебиваютъ другъ у друга «выгодныя гешефты».

Но вотъ, приближаясь издали, доносятся все слышнѣе, все ближе, съ высокими фальцетомъ хоровыхъ подголосковъ, гудѣнье бубновъ и звякъ мѣдныхъ тарелокъ. Мой конь, заслыша знакомые звуки, поднялъ морду, насторожилъ уши и, понюхавъ воздухъ, вдругъ заржалъ, подобрался и нетерпѣливо сталъ бить копытомъ мерзлую землю—своихъ, значить, почувлять. И точно: вонъ уже видны голубые съ бѣлымъ флюгера, а вотъ и нашъ эскадронъ, на вороныхъ своихъ коняхъ, спускается съ горы. Вахмистръ остановился, повернулъ коня и пропускаетъ мимо себя людей, предупреждая, чтобы тѣ «подтянулись и шли въ порядкѣ».

— Смирно!—командуетъ онъ, завидя офицера.—Эскадронъ сто-ой!—И вслѣдъ затѣмъ руку подъ козырекъ и подѣвываетъ съ рапортомъ, что все, молъ, обстоитъ благополучно.

— Здорово, люди!

— Здравія желаемъ, ваше благородіе!—какъ одинъ человѣкъ, откликаются болѣе сотни здоровыхъ, громкихъ голосовъ однимъ бойкимъ, перекатымъ выкрикомъ.

— Слѣза-ай... вольно, оправиться!

Люди зашевелились, засморкались, съ обычнымъ лязгомъ сабель, слѣзаютъ съ лошадей, оправляются; иной подтягиваетъ подиругу, иной оглаживаетъ своего коня, ласково хлопывая его ладонью по шеѣ; кто уже и трубочку запалилъ, а кто дымитъ наскоро-сверченной папироской. Махорочнымъ запахомъ потянуло. Иные покупаютъ у торговки булки и весело гуторятъ и торгуются съ ними, а одинъ молодой уланчикъ въ неловко сдвинувшейся на затылокъ шапкѣ, съ добродушно улыбающейся физиономіей, улетаётъ за обѣ щеки горячій картофель—и лицо его выражаетъ такое удовольствіе, что такъ и кажется.

будто въ эту минуту онъ совершенно доволенъ и счастливъ тѣмъ, что наслаждается сильно-горячей картошкой. Двое солдатиковъ, отдѣляясь отъ эскадрона, осторожно осматриваются и переговариваются о чемъ-то межъ собою: видно, что имъ очень бы желательно теперь незамѣтнымъ образомъ юркнуть въ гостеприимную дверь ближайшаго кабака и хватить по кружку; они за массою лошадей дѣлаютъ уже разные маневры и лавируютъ для того, чтобы вышло это какъ-нибудь «поделкатяге и попартикуляриге»; но глазъ эскадроннаго вахмистра зорокъ: онъ знаетъ натуру и характеръ, и наклонности каждаго человека въ своемъ эскадронѣ, и его не надуешь никакими маневрами и эволюціями; онъ чувствуетъ, въ чемъ тутъ *суть* дѣла, и потому издали, окликнувъ двухъ солдатиковъ по имени, строго грозитъ имъ пальцемъ—и тѣ со смущенно-улыбающимися физиономіями неспѣшно и разочарованно возвращаются къ фронту.

— Паро-омъ!.. ге-ей! да-вай жи-въ-я паро-омъ!—рупоромъ приставивъ руки къ губамъ, зычно подаетъ вахмистръ голосъ на тотъ берегъ.

— И-де-етъ!—протяжнымъ откликомъ доносится къ намъ изъ тумана съ середины рѣки—и вотъ минутъ черезъ десять, выплывая изъ бѣлосоватой мглы темной массою, паромъ неуклосно и медленно причаливаетъ къ берегу.

— Переправа по-взводно. Первый взводъ впередъ,—шагомъ, маршъ!

Люди спѣшно двинулись къ парому.

— Не жмись! не напирай! Куды васъ, дьяволы, всѣхъ разомъ поперло!—распоряжался и хлопоталъ вахмистръ.—Вводи въ порядкѣ поочередно, на лошадь дистанція, по одному!.. Да осторожнѣе! подь ноги гляди! Ставь коней рядомъ, головами въ поле, къ водѣ, задомъ къ серединѣ!.. Да безъ суеты! Поспѣешь! Небойсь, никого не забудемъ, всѣхъ возьмемъ!.. Ну? готово, что ли?

— Готово!

— Ну, отчаливай съ Богомъ! Господь съ вами!.. Вороненко, доглядите, чтобы тамъ все было въ порядкѣ!

— Не сумлевайтесь, Андрей Васильичъ!—успокоительно откликается «взводный!»—не допустимъ.

И паромъ, какъ-то скрипя и кряхтя, грузно и тяжело отчаливаетъ отъ берега и уплываетъ въ рѣдѣющую мглу тумана. Съ рѣки слышно, какъ иногда тревожно топнуть обь настилку парома конскія копыта и вслѣдъ за тѣмъ рѣзко и коротко взвизгнуть сердитые жеребцы.—Но-о, ты! дерись тутъ еще, кусайся! я те покусаюсь!—доносится сердитый голосъ солдата, крикнувшаго на повздоровившихъ коней.

Паромъ придетъ обратно не ранѣе какъ минутъ черезъ двадцать, а то и черезъ полчаса. Переправа—дѣло довольно скучное, по-

тому что пока послѣдовательно перевезутся всѣ четыре взвода, пройдетъ по крайней мѣрѣ часа полтора времени, въ теченіе которыхъ сиди себѣ на берегу и, что называется, жди погоды. Скучно. Смотришь разбѣянно на скачущихъ и потому понурившихъ головы коней, и на топчущихся съ холоду солдатиковъ, на возы и фурманки, которые скопляются все болѣе и которымъ долгонько-таки придется теперь дожидаться своей очереди на паромѣ. Сидяція у лотковъ жидовки все такъ-же перебариваются между собою за бутку, купленную солдатомъ у Мерки, а не у Рашки. Жиды купили и продали, нерекупили и перепродали все тѣ же старые штаны и успѣли уже сдѣлать нѣсколько выгодныхъ гешефтовъ. Мальчишки съ празднымъ любопытствомъ глазѣютъ на ожидающихъ уланъ. Вотъ съ молитвенникомъ въ рукахъ идетъ какая-то пани «до косціолу» и, проходя мимо «москалей», отвернулась и сплунула въ сторону. Жжешь одну папироску за другой, въ ожиданіи, когда-то, наконецъ, переправившись самъ съ послѣднимъ взводомъ; но вотъ—слава Богу, подѣхали товарищи, обѣщавшіе проводить; пришелъ полковой портной Мовша Элькесъ, который вмѣнилъ себѣ какъ бы въ нѣкую священную обязанность являться самолично во всѣхъ случаяхъ полковой жизни: на маневры, на плацъ, во время учений и смотровъ, на переправу, при уходѣ и прибытіи эскадроновъ, на пирушки въ приходжю офицерскихъ квартиръ, на именины, на похороны—однимъ словомъ, всегда, вездѣ и повсюду безъ присутствія Мовши Элькеса дѣло не обходится. На маневрахъ, смотрахъ и переправахъ онъ обыкновенно является съ бутылкой водки въ одномъ карманѣ, со связкой бубликовъ въ другомъ и съ грушами во всѣхъ остальныхъ, причемъ считаетъ первымъ долгомъ своимъ предложить «гашпндамъ офицерамъ» угощеніе всѣми имѣющимися у него въ наличности запасами. Вслѣдъ за Мовшей Элькесомъ къ парому пришла своей утиной походкой и мадамъ Хайка—точно также какъ и Мовша, неизбѣжная спутница полка во всѣхъ случаяхъ его жизни. Оба они состоятъ при полку и въ веселую минуту любятъ заявлять о себѣ, что «сложатъ въ вулянахъ». Мадамъ Хайка Пикова—пожилая женщина, которая взяла себѣ привилегію снабжать всѣхъ офицеровъ полка папиросами и сигарами; но и кромѣ этихъ двухъ специальныхъ предметовъ, она доставляетъ, въ случаѣ надобности, и чай, и сахаръ, и свѣчи, и вино, и платки носовые, и чулки, и вообще все, что бы ни понадобилось въ офицерскомъ хозяйствѣ.

— А ми до васъ на пероводы!—заговорили и Мовша, и Хайка, подходя къ намъ съ поклонами.—Можже одного румку на дорошку?—любезно предложилъ Элькесъ, вытаскивая бутылку.

— Нѣтъ, спасибо! не хочется...

— Ну, то гхля мине гхэто будетъ обидно. Я же у васъ шиль сшиводною...

— Когда сегодня?—удивились мы всѣ, услышавъ это заявленіе.

— Сшиводно въ ночь...

— Да ты развѣ былъ?

— А какъ же жъ нѣтъ?.. Когда жъ би я могъ не бить. И ми билъ, и Хайка билъ, и музику слышали... У вше время у ваша переходя били зъ музыканты.

— Да какъ же вы узвали про это?

— Ага! вже взжали!.. бо у насъ такі нхухъ, и такі духъ, и такі слыухъ есть!.. Жзживите!

Пріѣхалъ полковой командиръ съ адъютантомъ проводить эскадронъ и простаться съ нимъ. Всѣ мы, не выключая эскадроннаго Шарика и Хайки съ Элькесомъ, переправились, наконецъ, на ту сторону вмѣстѣ съ четвертымъ взводомъ и поднялись на крутой подъемъ, гдѣ на площадкѣ, почти уже за городомъ, въ порядкѣ ожидали три первые взвода. Полковникъ осмотрѣлъ строй и пожелалъ людямъ добраго пути.

— Пѣсенники на правый флангъ!

— Пѣсельники на правый фланокъ! Живо!—передали по фронту приказаніе взводные вахмистры—и человѣкъ двадцать уланъ рысью выѣхали изъ рядовъ со всѣмъ своимъ пѣсеннымъ инструментомъ и размѣстились «по голосамъ».

— Ну, съ Богомъ!.. Прощайте, ребята!

— Счастливо оставаться, ваше высокоблагородіе!—весело и дружно рявкнулъ фронтъ въ отвѣтъ командиру.

— Отъ меня по чаркѣ водки!

— Покорѣйше благодаримъ!—еще веселѣе пробѣжало дробь по рядамъ.

— Съ Богомъ!

— Эскадронъ, смирно!.. Справа по три равеніе налѣво шагомъ... ма-аршъ!

И въ порядкѣ—пики въ руку, глаза налѣво—эскадронъ стройными рядами, красиво подобравъ коней, двинулся мимо полкового командира.

— И прищайте! и прищайте! и прищайте!—махая платками, кричали въ-догонку и Хайка, и Элькесъ.

Не бѣлы снѣги во полѣ забѣлѣли,

разливисто, высоко и свѣжо зазвенѣлъ вибрирующий теноръ запѣвалы, который съ разукрашенной лентой и бубенцами махалкой ѣхалъ впереди своей команды.

— «Ай, да забѣлѣли!» дружно подхватилъ хоръ, сопровождаемый звономъ тарелокъ и парюю гудящихъ бубновъ—и эскадронъ подъ эти родные, широко-разливистые и душу захватывающіе звуки, тихо, но бодро уходилъ въ широко-раскинувшуюся даль при-нѣманскихъ полей, только-что за сутки предъ симъ успѣв-

шихъ покрыться, какъ тонкой пеленою, пушистыми дѣвственно-бѣлыми снѣгами.

Туманъ поднялся и разсѣялся. Солнце проглянуло изъ-за облаковъ и блеснуло тѣмъ именно свѣтомъ, который обѣщаетъ прекрасную, ясно-морозную погоду. Въ воздухѣ рѣяли тонко-иглистые, замороженные искорки, на которыхъ играли солнечные лучи, такъ что онѣ казались будто плавающею мельчайшею алмазною пылью. Тѣ же лучи солнца, преломляясь на отдѣльныхъ снѣжинкахъ, превращали и снѣжные поля въ какія-то серебряныя скатерти, по которымъ щедрою рукою разсыпаны искрящіеся точки самоцвѣтныхъ каменьевъ,—и острые лучи всѣхъ этихъ алмазовъ, рубиновъ и яхонтовъ даже колятъ глазъ порою своимъ яркимъ, играющимъ блескомъ. По полямъ кое-гдѣ раскиданы одиноко растущія дикія груши; изрѣдка попадаются онѣ и около самой дороги и стоятъ словно серебряной шапкой покрытыя снѣжнымъ налетомъ, который запустилъ ихъ шарообразно и обильно разросшіяся вѣтви и прутья. По сторонамъ дороги, на свѣжемъ снѣгу, который толькосамымъ тонкимъ слоемъ покрылъ землю, видны иногда заячьи слѣды; а вонъ по тоненькимъ черточкамъ, которыя узкою ленточкой тянутся въ сторону и пропадаютъ за ближними кустами, видно; что здѣсь недавно стадо куропатокъ перебѣжало. Воробьи задорно и бойко чирикаютъ по дорогѣ надъ свѣжимъ навозомъ; а эскадронный Шарикъ рѣшительно поражаетъ своею неутомимостью: задравъ кренделемъ свой хвостикъ, онъ просто кубаремъ какимъ-то мечется по полямъ, кидается во всѣ стороны и звонкимъ, веселымъ лаемъ оглашаетъ всю пустынную окрестность.

Эскадронъ растянулся—себѣ на вольномъ походѣ. Впереди идутъ пѣсенники, въ нѣкоторомъ разстояніи за ними—взводы, по порядку своихъ нумеровъ; позади взводовъ гуськомъ тянутся всадники съ «заводными» лошадьми въ поводу, а въ самомъ хвостѣ колонны, замыкая ее собою, ѣдетъ дежурный по эскадрону унтеръ-офицеръ, наблюдая за порядкомъ и за тѣмъ, чтобы люди не отставали, не отъѣзжали въ стороны и не слишкомъ бы растягивались. Нѣсколько въ сторонѣ, отдѣльно отъ фронта, по краю дороги, ѣдутъ вахмистръ съ двумя взводными и ведутъ между собою какую-то бесѣду. Отношенія вахмистра къ «унтерамъ» вообще и ко «взводнымъ» въ особенности основаны «на политикѣ»: они всѣ другъ другу говорятъ «вы». Сколько бы ни были интимно-приятельственны эти ихъ отношенія къ тому или другому «унтеру», но ужъ «ты» ни одинъ изъ нихъ не скажетъ самому задушевному своему пріятелю. Въ этомъ «вы» у нихъ выражается какъ бы взаимное уваженіе и почеть къ званію унтеръ-офицера, и даже чуть произведутъ въ унтера какого-нибудь рядового, ко-

того вчера еще всё «тыкали», сегодня всё — и его товарищи-рядовые, и новые товарищи-унтера — начинают уже говорить ему «вы». Вахмистра всё называют по имени и отчеству, а в официальных случаях «господином вахмистром»; он же по имени и отчеству относится только ко взводным, к эскадронному квартирмейстеру, фуражмейстеру и писарю, а прочих всех унтеров, говоря им «вы», кличет по фамилиям. Никакое начальство этой «политики» никогда между ними не вводило, не настаивало и не наблюдало за образованіем именно такого рода взаимных унтерь-офицерских отношений. Эскадронные командиры из старых служак иногда даже бывают и недовольны своими вахмистрами за эти «миндальности», но — такая уж «политика» установилась как-то сама собой и столь укоренилась между солдатами, даже столь нравится им, что их уж ни каким образом от нея не отлучишь. Да пожалуй, что и не слѣдует отлучать, ибо вь этой формѣ взаимныхъ отношений, вь этомъ «вы», вь этомъ «Андрей Васильчъ» и «Карпъ Макарычъ» невольнымъ образомъ выражается и ихъ взаимное сознание чувства собственного достоинства, и уваженіе къ чину унтерь-офицера, да вмѣстѣ съ тѣмъ оно же служитъ и добрымъ примѣромъ рядовымъ, а вь особенноти молодымъ солдатамъ. Чѣмъ меньше грубости вь нравахъ и взаимныхъ отношеніяхъ, тѣмъ лучше!

Вотъ впереди чернѣется вь воздухѣ придорожный крестъ, а неподалеку отъ него торчатъ соломенная кровля корчмы, которая стоитъ на перекресткѣ. Отъ этой корчмы намъ надо будетъ свернуть направо и идти на фольваркъ Капцовщизну, на мѣстечко Индуру до деревни Прокоповичи, гдѣ назначенъ первый ночлежъ. Какъ подойдемъ къ корчмѣ, то это будетъ значить, что отошли мы отъ города около семи верстъ — значить, уже время спѣшить людей, чтобы облегчить лошадей и самимъ поразмять ноги вь небольшой прогулкѣ, около версты, до перекресточной корчмы, гдѣ можно сдѣлать маленький привалъ.

Спѣшились и пошли. Крѣпкій снѣжокъ хруститъ подъ ногами; отъ лязга сабель, колотящихся ножнами о промерзлую почву, стоитъ какой-то особенный металлическій шумъ надъ идущимъ эскадрономъ; заслыша этотъ шумъ и завидя колеблющиеся флюгера, испуганная птица съ тревожнымъ, короткимъ выкрикомъ отлетаетъ съ дороги, а за нею, откуда ни возьмись, срывается вдругъ и цѣлая стая, и съ пронзительнымъ крикомъ вь какомъ-то замѣшательствѣ тянется вь сторону, низко надъ бѣлыми полями, за дальнюю лощину, и тамъ, долго кружась надъ избраннымъ вновь мѣ-

стомъ, наконецъ-то опускается и успокаивается понемногу.

Бричка моя, съ вѣстовымъ на облучкѣ, опередила эскадронъ и рысью поѣхала къ корчмѣ, чтобы успѣть тамъ къ нашему прибытію выгрузить погребецъ и дорожные запасы.

Вотъ и корчма передъ нами — низенькая, маленькая, грязненькая, съ черною соломенною кровлей, на которой разросся порожѣлый мохъ, и торчатъ засохшіе стебельки бурьяна. Изъ низенькой закопченной трубы дымъ валитъ. Длинный журавель скрипитъ надъ крыницей, изъ которой батрачка тянетъ бадью. Двѣ лохматые собаки, тощія и злыя, бросаются на лошадей и на Шарика, который вь виду столь грознаго непріятеля, поджавъ хвостикъ, старается поскорѣ затесаться вь середину между людьми и конями.

— Эскадронъ, стой!.. Послать взводныхъ вахмистровъ съ котелками!

Люди весело, вь ожиданіи водки, стали потаптываться и махать зазябшими руками. Нѣкоторые перекидывались снѣжками, нѣкоторые боролись между собою, чтобы согрѣться. Иные до сине-багровыхъ пятенъ натирали себѣ снѣгомъ ладони и пальцы, такъ какъ лѣвой рукѣ, держащей поводья, приходится терпѣть муку не малую: на морозѣ, при небольшомъ даже вѣтрѣ, лѣвая рука начинаетъ невыносимо щемить, ныть и скоро коленѣтъ, такъ что тутъ единственное спасеніе — растирать себѣ пальцы сухимъ снѣгомъ, для возбужденія вь нихъ теплоты и чувствительности.

Вь маленькой низенькой корчмѣ топилась печь, и дымъ бѣлъ глаза: вѣтромъ выбивало изъ трубы. Замурзанные жиденята вь однѣхъ рубашенкахъ ерзали голымъ тѣломъ по холодному, сырому, грязному земляному полу; двѣ еврейки, вь капкахъ-то смолкыхъ лохмотьяхъ, съ ухватами возились у печки, готовя шуку и кугель къ наступающему шабашу. Грязь, вонь и нечистота, но не бѣдность — отнюдь не бѣдность, ибо за перегородкой, куда провели насъ, офицеровъ, висѣли очень порядочныя лисьи шубы, пальто, мантильи и даже шелковыя платья тѣхъ самыхъ евреекъ, которыя вь такихъ скверныхъ лохмотьяхъ возились тецерь у печки.

Корчемка, несмотря на свое внѣшнее убожество, стояла на очень бойкомъ мѣстѣ и, судя по этимъ мантильямъ и платьямъ, приносила доходъ хороший. Сюда обыкновенно вь базарные дни наѣзжаютъ изъ городу перекупщики-евреи и приобрѣтаютъ у крестьянъ всё продукты, которые тѣ везутъ вь городъ; здѣсь же обыкновенно и крестьяне пропинаютъ значительную долю своей выручки, и всякій возвращающійся изъ города останавливается, хоть на минутку, и выпиваетъ «килихъ» на дорогу.

Вахмистра упорно стали торговаться съ еврейками о водкѣ, которой на эскадронъ обык-

новенно требуется полтора ведра. Еврейки до-
мили за ведро пять рублей. Цѣна и точно-что
убійственная, но еврейки соображали себѣ то
обстоятельство, что до слѣдующей попутной
корчмы не близко—верстѣ восемь, по крайней
мѣрѣ, а ужь коль скоро солдаты остановились
и покупаютъ водку, то стало быть есть на-
добность распить ее не дальше, а именно
здѣсь, въ виду длиннаго перехода при холод-
ной погодѣ.

Въ тѣсномъ пространствѣ за перегородкой,
куда мы вошли, вѣстовой уже приготовилъ за-
куску: раскрытъ погребецъ, развернулъ сахар-
ную бумагу, въ которой покоилась жареная
курица, и распаковалъ корзинку съ пирож-
ками. Послѣ не особенно сытнago ужина на-
канунѣ, послѣ бессонной ночи и наконецъ теперь,
послѣ маленькаго моціона, скромный завтракъ
показался всѣмъ намъ очень вкусенъ и при-
ятенъ. Мы съ превеликимъ аппетитомъ истре-
бляли пирожки и нахоладовавшіеся на морозѣ
курицу, запивая ихъ хересомъ да краснымъ
виномъ, причемъ поневолѣ приходилось чере-
доваться стаканамъ, за недостаткомъ ихъ. А
между тѣмъ за перегородкой набралась полне-
хонькая горница солдатъ: приходили они —
кто погрѣться, кто за уголькомъ для трубоч-
ки, кто такъ-себѣ просто поглазѣть, что тутъ
дѣлается, а вахмистръ все еще упорно торго-
вались съ еврейками, не уступавшими имъ
«а-ни грѣша!»

Я кликнулъ эскадроннаго за перегородку.

— Бросьте вы, наконецъ, торговаться!.. Что
же мы людей-то изъ-за нихъ даромъ на мо-
розѣ держимъ.

— Да какъ же, ваше благородіе, никакъ
не возможно!.. Подлая эдакія, вдругъ пять
рублей за ведро, коли мы никогда больше
трехъ съ полтиной не платили!

— Ну и чортъ съ ними! Пять, такъ пять!..
Надо же наконецъ дать людямъ водки!

— Да нѣтъ-съ, никакъ невозможно-съ!.. по-
тому опять же я докладываю вашему благо-
родію, что онѣ подлая...

— Да брось же ты, ей-Богу!..

— Воля ваша-съ, конечно... а только для-
того, что намъ жалко вашихъ денегъ... за что
же-съ вы теперича задаромъ будете кидать
имъ два рубля съ четвертакомъ? Люди, конеч-
но, на угощеніи очень благодарны, а все же
никто не пожелаетъ, чтобы господа офицеры
для насъ такъ-вотъ, зря, кидали лишнее... Ни-
какъ это невозможно-съ!

— Ну, да ладно! кончайте скорѣе!

— Не извольте беспокоиться, ваше благо-
родіе!.. Мы ужь ихъ урезонимъ: сдадутся-съ!

И точно что урезонили: полтину на ведро
еврейки спустили, но ужь меньше никакъ!
Вахмистръ пришелъ доложить объ этомъ обо-
стоятельствѣ.

— Все-жъ-таки семьдесятъ-пять копеекъ

выгадали-съ!.. Покрайности, не такъ ужь обид-
но!—заявилъ онъ, съ отгѣнкомъ несовѣмъ
еще улегшейся досады въ лицѣ и въ голосѣ.—
Ваше благородіе, а насчетъ полковнической
чарки какъ прикажете быть?—спросилъ онъ,
нѣсколько понизивъ голосъ.

— Не знаю ужь,—пожалъ я плечами.—На
походѣ, коли нѣтъ эскадроннаго командира, всѣ
чарки, по обыкновенію, офицерскія, стало
быть мои.

— Такъ точно-съ. Намъ бы, значить, пол-
ковническую чарку выпить лучше, какъ ужь
совсѣмъ придемъ на мѣсто, на квартиры.

— И то правда. Стало быть, такъ и сдѣ-
лайте.

— Такъ точно-съ, оно и людямъ вольгот-
нѣе, а на походѣ двѣ чарки будетъ много-съ:
неравно кого и разберетъ. А насчетъ непью-
щихъ какъ прикажете-съ?

— Непьющимъ дать, по обыкновенію, пива
или меду по стакану.

— Слушаю-съ!

Вахмистру при этомъ — тоже по обыкнове-
нію—налили мы стаканчикъ и поднесли и дали
два пирога на закуску. Маленькій знакъ такого
вниманія со стороны офицеровъ всегда бываетъ
вахмистрамъ очень пріятенъ.

Что касается до двухъ чарокъ на человѣка,
то по практическому замѣчанію вахмистровъ,
это за-разъ будетъ, дѣйствительно, много: ка-
зенная чарка сама по себѣ равняется добро-
му стаканчику; солдатъ же вообще пьетъ ма-
ло и рѣдко—конечно, отъ того, что это рѣдко
ему удастся—и потому, чтобы захмѣлѣть, для
большей части изъ нихъ двухъ чарокъ совер-
шенно достаточно, а одна необходима на по-
ходѣ чисто уже въ гигиеническихъ условіяхъ,
особенно при осенней сырости или по зимне-
му холоду.

Расплатясь съ еврейками, мы вышли на
дворъ. Тамъ «взводные» уже кончили раздачу
винной порціи: каждый человѣкъ по порядку
подходилъ къ своему взводному и принималъ
отъ него свою чарку. Большая часть солда-
тиковъ принимали ее не иначе, какъ переkre-
стясь сначала, и выпивъ, передавали слѣдую-
щему пустую посудину съ поклономъ.

— Ну, готовы, что-ли?

— Готовы-съ!.. Покорнѣйше благодаримъ ва-
ше благородіе!—весело отгѣкнулись вдоль по
всему фронту улыбающіяся лихія рожи, въ
своихъ характерныхъ, заломленныхъ на бек-
ренъ шапкахъ.

— Теперь веселѣе пойдетъ... И пѣсни иг-
рать будетъ непримѣръ вольготнѣе! — замѣ-
тилъ голосистый запѣвало, обтирая обшлагомъ
шинели свои обледенѣлые и поблѣвшіе отъ
холоду усы.

Погребецъ, снова уложили со всѣми съѣст-
ными запасами въ бричку, и я пустилъ ее
впередъ эскадрона, приказавъ ѣхать пошибче,

рысью, чтобы вѣстовой успѣлъ на ночлегъ приготовить мнѣ къ приходу эскадрона уголь въ избѣ, раскинуть походную кровать и поставить самоварчикъ. Вѣстовой Бочаровъ былъ чело-вѣкъ надежный, и потому, сразу давъ тумака въ спину мямлѣ ямщику, убѣдилъ его этимъ внушительнымъ аргументомъ ѣхать какъ слѣдуетъ—и бричка моя покатила себѣ крупною рысью.

Я простился съ провожавшими меня товарищами. Эскадронъ двинулся по дорогѣ вправо, а тѣ въ перегонку другъ съ другомъ пустились сначала въ карьеръ, а потомъ пошли крупною рысью и скрылись за волнистою локатостью, по направленію къ городу.

Морозъ усиливался. Высокія облака сплошь почти заволокли все небо, и солнце свѣтило изъ-за нихъ тускло-красноватымъ пятномъ съ какимъ-то мѣднымъ отсвѣтомъ. Этотъ свѣтъ солнечнаго диска служилъ вѣрнымъ предвѣстникомъ, что къ вечеру морозъ усилится еще болѣе.

Мы шли густымъ сосновымъ лѣсомъ. Подымался вѣтеръ, и видно было, что онъ крѣпчаетъ. Хотя мы сами еще и не ощущали на себѣ его рѣзкаго дѣйствія, будучи заслонены двумя зелеными стѣнами въ обѣихъ сторонѣхъ дороги; но вѣтеръ таянулъ по вершинамъ, и порывы его иногда становились столь сильны, что высокія, старыя сосны, качаясь и крѣнясь, издавали неприятный скрипъ, иногда похожій то на скрежетъ, то на жалобныя стоны. Воронѣ цѣлой стаей кружилось и каркало гдѣ-то надъ лѣсомъ. Спугнутый заяцъ выскочилъ изъ-подъ пня и, какъ ошалѣлый въ страхѣ и ужасѣ засигалъ примехонько-таки вдоль по дорогѣ, впереди эскадрона, преслѣдуемый свистомъ и уханьемъ нашихъ людей. Шарикъ, заливаясь лаемъ и подрыгивая заднею лапкой, ретиво и рѣзко пустился за нимъ въ догонку, но векоръ по лаю слышно стало, какъ ему и досадно, и обидно, что заяцъ совсѣмъ вотъ на виду и сигаетъ прямо, а онъ межъ тѣмъ никакъ его догнать не можетъ и черезъ это только прыть свою собакою предъ цѣлымъ эскадрономъ посрамляетъ.

Старый вахмистръ, досадливо цмокнувъ губами, опасливо покачалъ головою.

— А-ахъ, ты Господи!.. И нужно же было этому косоглазому лѣшему!.. проворчалъ онъ въ полголоса.

— Чего ты, Скларовъ? — обратился я къ нему, не понимая причины его сѣтующаго замѣчанія.

— Да заяцъ, ваше благородіе.

— Ну, такъ что-жь, что заяцъ?

— Да оно ничего, а только примѣта не хорошая... Дай Богъ, кабы переходъ благополучно сдѣлать!.. У насъ уже это изстари замѣтка такая положена, что какъ ежели заяцъ

перебѣжитъ дорогу, или вотъ какъ теперича и того хуже, побѣжитъ вдоль твоему пути тутъ ужъ гляди, какая ни-на-есть шкѣда приключится... Ну, да никто, какъ Богъ!.. Авось пронесетъ благополучно! — заключилъ онъ словами надежды, но эти слова были сказаны, кажись, болѣе для утѣшенія нѣсколькихъ ближайшихъ людей, слышавшихъ нашъ разговоръ; самъ же Скларовъ, въ душѣ своей, какъ мнѣ показалось, мало вѣрилъ въ то, чтобы переходъ кончился благополучно.

Пѣсенники, между тѣмъ, разливались во всю грудь, несмотря на морозъ, остальные калякали сосѣдъ съ сосѣдомъ да покуривали свои носогрѣйки, повидимому, вовсе не раздѣляя вахмистерскихъ опасеній насчетъ случайно подвернувагося и ни въ чемъ неповиннаго зайца.

Между тѣмъ мы вышли изъ лѣсу. Широко и далеко раскинувшееся поле охватило насъ со всѣхъ сторонъ, и здѣсь уже вѣтеръ, гуляя себѣ невозбранно на всемъ вольномъ просторѣ, сталъ сильно-таки рѣзать въ правую щеку своими студенными порывами.

Было уже болѣе четырехъ часовъ пополудни, когда мы прошли фольваркъ Капцовщицку, гдѣ противъ стараго помѣщичьяго «сломянаго палаца», принадлежащаго родовитому пану, съ нѣкотораго времени, какъ бѣломо на глазу, стоитъ новенькая православная церковь въ чисто великорусскомъ стилѣ, а подлѣ нея расположился уютный домикъ, въ которомъ помѣщается сельская школа. За Капцовщицкой опять пошли волнообразныя поля, съ раскиданными кое-гдѣ рошницами и черелѣсками да съ полосой непрерывнаго темно-синяго бора на горизонтѣ, вдоль берега Нѣмана. Высокіе кресты тамъ и самъ раскиданы по этимъ пространствамъ, на межахъ и на перекресткахъ тропинокъ и проселочныхъ дорогъ. Иногда они попадаются и по дорогѣ, и на каждомъ непременно имѣется врѣзанная надпись, гласящая, что «тенъ кржижъ повстаніоны на памѣнтекъ» о томъ или другомъ обстоятельстве панско-костельной жизни. Кстати, объ этихъ крестахъ: на второмъ переходѣ, близъ нашего пути, стоитъ около одной рѣченки высокій и прочный крестъ съ надписью весьма своеобразной. Есть даже и легенда. Нѣкій панъ, «родовиты шляхцицъ», однажды въ весеннее половодье тонулъ въ разлившейся рѣчкѣ вмѣстѣ со своей нетычанкой и конями. Въ минуту опасности онъ далъ обѣтъ, что ежели панъ Богъ избавитъ его отъ смерти, то онъ на семь мѣстъ поставитъ «кржижъ на памѣнтекъ». На панское счастье проѣзжаетъ какой-то хлопъ, который, видя крайне критическое положеніе родовитаго пана, пустился вскачь въ ближайшую деревню, кликнувъ мужиковъ съ жердями, волами и веревками—и тѣ вытащили изъ воды пана вмѣстѣ съ нетычанкой и конями. «Родовиты шляхцицъ — якъ гонорѣвы и по-

ржонды чловѣкъ» сдержалъ свой обѣтъ, данный Богу: поставилъ крестъ и на немъ увѣковѣчилъ себя слѣдующею надписью: «тень крижи павъ пану поставилъ, за то, же павъ пана одъ смерци выбавилъ».

Тускло-багровое пятно все болѣе и болѣе склонялось къ западу, и вмѣстѣ съ его склоненіемъ, даль на горизонтѣ замѣтно начинала кутаться въ какую-то свинцово-сѣрую мглу съ лиловатымъ оттѣнкомъ. Морозъ крѣпчалъ, а вмѣстѣ съ морозомъ крѣпчалъ и порывистый сѣверо-восточный вѣтеръ, который быстро гналъ по небу дымчатая, причудливо очерченныя облака, и эти ближайшія къ землѣ облака, окрашенные по закраинамъ своимъ въ молочно-фіолетовые и дымно-розоватыя тоны, довольно явственно обрисовывались своими измѣняющимися формами и очертаніями на общемъ фонѣ туманнаго неба. Ни клочка лазури уже не было видно. Снѣгъ не падалъ, но сильные порывы вѣтра, сглаживаясь по землѣ, вздымали его съ полей и съ дороги. И этотъ снѣгъ былъ такой мелкій, сухой, какъ песокъ, и колющій до жгучей боли, такъ что казалось, будто тысячи иголокъ колятъ уши, глаза, носъ и щеки. Этотъ проклятый снѣжный песокъ мельчайшей пылью забивался за воротники и таялъ за шеей отъ прикосновения къ тѣлу; набивался онъ и за лѣвый рукавъ подъ сорочку, которая сырѣла и увлажнялась. Рука невыносимо ныла подъ замшевою перчаткой—а каково же было тѣмъ несчастнымъ солдатикамъ, у которыхъ вовсе не имѣлось никакихъ перчатокъ!.. Пальцы ногъ начинали сильно щемѣть на холодныхъ стальныхъ стременахъ; колѣни, плотно обхваченныя натянутыми рейтузами, холодели подъ вѣтромъ. Я тѣшечю старался прикрыть и укутать ихъ полами своего пальто: вѣтеръ то и дѣло распахивалъ эти полы и забирался холодной струйкой подъ рукава, къ плечу и изъ-подъ шеи за спину и выщемливалъ изъ глазъ соленую слезу, которая, катясь по лицу, ужасно неприятно щекотала щеки и, пропадая въ усахъ, замерзала на нихъ ледяными сосульками.

Разыгрывалась сухая морозная мятель. Снѣгъ все болѣе и болѣе сметало съ дороги и крутило въ полѣ, накидывая его пластами и сугробами въ канавкахъ, около камней да подъ можжевельнымъ низенькимъ кустарникомъ. Дорога совсѣмъ почти обнажилась и темнѣла подъ ногами впереди глинисто-коричневою лентой. А надо замѣтить, что до послѣднихъ сутокъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, шелъ непрерывный осенній дождь, размочившій глинистую почву до того, что по всему пути образовались страшныя шероховатости, бугры, впадины и глубокія колеи. Потомъ въ одну ночь все это мѣсиво вдругъ заколодило крѣпкимъ морозцемъ и слегка прикрыло первымъ зим-

нимъ снѣжкомъ. Теперь же, когда этотъ снѣжокъ сносило вѣтромъ, вся дорога обнажилась и представила такую гололедицу, что лошади, пытливая ступая самымъ осторожнымъ шагомъ, поминутно скользили и спотыкались. Мы никакъ не предвидѣли, чтобы въ обычныхъ условіяхъ того климата могло вдругъ заколодить такъ, какъ это неожиданно случилось теперь, и потому большую часть лошадей не успѣли перековать на зимніе шипы. Въ прежніе годы, обыкновенно, приходилось намъ выступать на зимнія квартиры въ эту самую пору либо по прекрасной сухой дорогѣ (ибо осень въ томъ краѣ считается почти лучшимъ временемъ года), либо же по размягченному дождями глининому мѣсиву. Морозы въ томъ краѣ наступаютъ гораздо позднѣе, а въ этотъ разъ случился вдругъ такой милый сюрпризъ и, какъ нарочно, передъ самымъ-таки выступленіемъ!

Пока дорога сплошь была прикрыта снѣжкомъ, кони шли себѣ бодро, легко, спокойно и увѣренно, но теперь, по открывшейся гололедицѣ, мы принуждены были, вмѣсто обычныхъ шести веретъ въ часъ, дѣлать только четыре и даже нѣсколько менѣе. Студеный вѣтеръ, вздымая чолки и гривы лошадямъ, свистѣлъ между пиками, шумѣлъ и плескалъ флюгерами и крѣпко-таки донималъ озябшихъ людей. Но люди, видимо, бодрелись, не унывали и подняли воротники плащей только тогда, когда я дважды отдалъ настойчивое приказаніе поднять ихъ на уши и сосушить на рукавные обшлаги, въ прорѣзъ которыхъ въ такихъ случаяхъ у насъ пропускаются мунштучные поводья. Это все-жъ-таки хоть сколько-нибудь предохраняетъ лѣвую руку отъ вліянія стужи. Пѣсенники, несмотря на рѣзкій вѣтеръ, почти неумолчно горлачили развеселыя пѣсни. Красивая махалка то и дѣло ходенемъ-ходила и плясала въ тактъ надъ ихъ хоромъ, споря со свистомъ и шумомъ вѣтра звономъ и звяканьемъ своихъ бубенцовъ и колокольчиковъ.

— Полно, ребята, вамъ горланить!—крикнулъ я имъ,—глотки простудите!

— Никакъ пѣтъ-съ, ваше благородіе!—откликнулись мнѣ изъ хора,—намъ по экому времени ежели пѣтъ, такъ не въ примѣръ лучше!

— Да чѣмъ же лучше-то?

— А какъ же стѣ!.. Вотъ, какъ попоешь, да трубочку еще горяченькую потянешь, такъ оно словно бы и теплѣе!.. Вѣдь пѣсня грѣетъ!

Вдругъ, недалеко позади меня крикнулъ ледъ подъ конскими копытами, и затѣмъ что-то глухо рухнуло всей массой на землю и сухо, коротко хрустнуло. Раздался тяжелый, глухой, болѣзненный стонъ.

— Ваше благородіе!.. ваше благородіе! оставите эскадронъ!—раздался за мной тревожный голосъ вахмистра.

Съ командой «стой!» я повернулъ назадъ своего коня. Шагахъ въ десяти отъ меня въ придорожной канавкѣ лежалъ на боку и барахтался конь, силясь подняться на ноги и сильно придавивъ своей массой солдата. Ужасъ невыносимой боли и страданія исказили черты лица упавшаго. Послѣ перваго стога, онъ лежалъ теперь безмолвно и безсильно. Нѣсколько соскочившихъ съ сѣделъ людей подняли лошадь и высвободили изъ стремени ногу солдата. Онъ сгоряча быстро поднялся на ноги, заботливо отряхнулъ съ полы снѣгъ, сдѣлалъ шагъ, другой и вдругъ словно бы оступившись, съ новымъ крикомъ боли, какъ спопъ, упалъ на землю.

— Что съ тобой, Катинъ?

— Не могу знать, ваше... больно... нога... Ой, нога!—съ трудомъ простоналъ онъ, заскрежетавъ зубами.

Вахмистръ съ однимъ изъ солдатиковъ бросился къ нему, подняли съ земли и поставили на ноги.

— Ничего! Пройдись немножко,—ободрилъ его Скляръ,—разомнися чуточку! Оно сейчасъ же и тово... полегчаетъ!

— Не могу, Андрей Васильичъ!—черезъ силу бормоталъ солдатъ.—Мѣчи моей нѣтъ на то... никакъ не могу-съ я...

— Ну, а ты попробуй!.. Ничего!.. Мы тебя поддержимъ.

— Развѣ что поддержите...

Онъ сдѣлалъ надъ собою еще одно усиліе и упалъ на руки державшихъ, которые нѣсколько шаговъ протаскали его на себѣ, держа подъ мышки. Придавленная нога безсильно волочилась за ними, какъ мертвая.

— Ну, что-жь ты, братъ,—снова подбодрилъ его вахмистръ.

— Мѣчи нѣтъ... Христа-ради... положите меня... Смерть какъ больно!

И онъ, сдавливая въ себѣ стоны, крѣпко стиснулъ, сцѣпилъ свои челюсти и опять заскрежеталъ, судорожно поводя скулами. Волѣзненная блѣдность, видимо, разливалась на его страдающемъ лицѣ, которое вдругъ какъ-то осунулось отъ жестокой, мучительной боли.

Его положили на землю. Вѣтеръ распахивалъ и взвѣвалъ полы его шинели.

Я соскочилъ съ лошади и подбѣжалъ осматрѣть его ногу.

— Надо бы снять ему сапогъ, да поглядѣть, чтѣ тамъ у него?—замѣтилъ вахмистръ.

— Гдѣ тебѣ собственно больно? которое мѣсто?—наклонился я надъ нимъ, опустился на колѣни, затѣмъ, чтобъ осматрѣть ушибъ.

— Все больно... вся нога... по колѣно... и въ суставѣ... и въ ступнѣ, и въ голени... все больно...

Вахмистръ сдѣлалъ попытку стянуть съ него сапогъ.

— Ой!—завопилъ несчастный благимъ ма-

томъ.—Не мучайте, Христа-ради!.. Оставьте!.. Ажъ дотронуться мѣчи нѣтъ!

— На лошадь сѣсть можешь?

— Не знаю... Попробуйте... помогите... авось-либо...

Его осторожно поднесли къ коню и подсадили. Но перенося черезъ сѣдло ногу, онъ вдругъ закачался въ воздухъ и безсильно, почти безъ чувствъ, рухнулъ на руки поддерживавшихъ его товарищей.

Тѣ снова отнесли его нѣсколько въ сторону и положили на землю.

Я съ тоской оглянулся вокругъ и пожалъ плечами: помощи никакой и ни откуда!

— Что-жь теперь дѣлать?

— Н-да-съ!.. вотъ онъ, заяцъ-то, ваше благородіе!—съ видомъ укора къ моему невѣрію замѣтилъ старый Скляръ.—Это онъ! все онъ, проклятый!.. Ужъ это повѣрьте!.. Наша примѣта солдатская не мимо идетъ!

— Да ужъ это никто, какъ заяцъ!.. это такъ!.. это вѣрно!—качая головами, толковали между собой солдатики.

Заяцъ ли, не заяцъ, а дѣлу все-таки было не легче отъ того. Куда мы теперь дѣнемся съ этимъ несчастнымъ Катинымъ? Очевидно, нога его была переломлена. Споткнувшаяся и поскользнувшая лошадь грохнулась всею своею тяжестью на землю. Закоченѣлая рука всадника не могла быть чувствительна къ поводу и потому не успѣла во-время поддержать его, а затѣмъ нога его очутилась голенью надъ узкой канавкой, а носкомъ въ стремени, на краю ея, и отъ силы удара хрустнула и оломила, не выдержавъ напора всей массы лошадиного тѣла; да кромѣ того въ суставѣ, отдѣляющемъ ступню отъ голени, могъ быть еще и вывихъ,—что, дѣйствительно, и оказалось впоследствии. Продолжать путь на конѣ онъ уже не могъ никакимъ образомъ.—«Господи, и дернуло же меня, словно бы нарочно, словно бы на зло услать впередъ свою бричку!» съ болью въ душѣ думалось мнѣ. «Хотѣ бы подбѣжалъ кто-нибудь на наше счастье!» Послать бы куда за подводой—но куда пошлешь: по сторонамъ ни единой деревушки, ни единой хатки нигдѣ не видать; во всѣ концы, куда ни глянь—одна голая равнина, одни поля и поля безконечныя... Отъ Капцовщины отошли уже верстъ шесть, до Индуры остается еще верстъ восемь, по крайней мѣрѣ. Да и пока доѣдетъ посланный—а по такой дорогѣ много ли ускоачешь!—пока приведетъ онъ подводу, сколько это времени пройдетъ?! Какъ быть-то тутъ!..

Я глянулъ вдоль по дорогѣ впередъ, глянулъ назадъ—не видать ли гдѣ какого-нибудь воза? Никого и ничего не видно. А несчастный между тѣмъ сильно страдаетъ. Молчитъ, крѣпится, не хочетъ выказать передъ товарищами всей силы своей боли, но по лицу, по скуловымъ мускуламъ, по сведеннымъ чело-

стоямъ видно, каково ему въ эту минуту!.. Лицо его совсѣмъ поблѣднѣло, и все тѣло, безсильно растянувшееся на землѣ, колотила первая лихорадочная дрожь. А тутъ еще этотъ вѣтеръ проклятый, эти взмѣты холоднаго, сыпучаго снѣга!.. Чтобы хоть сколько-нибудь защитить его отъ вѣтру, я приказалъ плотнѣй и гуще сдвинуть вокругъ него лошадей: все же какъ будто меньше чуточку продуваетъ. Эскадронный Шарикъ, словно бы тоже понимая, въ чемъ дѣло, вдругъ примолкъ и присѣлъ надъ лежащимъ солдатомъ и какъ-то пылливо заглядывалъ въ глаза то Катину, то окружающимъ его людямъ. И сидитъ себѣ этотъ Шарикъ такой грустный и озябшій; хвостикъ поджалъ подъ себя, самъ весь трясется, а вѣтеръ выдыхаетъ ему шерсть на загривкѣ...

Прошло около получаса. Погода не унимается нисколько—и эскадронъ понуро стоитъ себѣ середь чистаго поля. Люди начинаютъ уже озябать весьма и весьма чувствительнымъ образомъ. И маханье руками, и потаптыванье хоть и помогаютъ, но уже очень мало. До которыхъ же поръ стоять-то! Я рѣшился, наконецъ, на крайнюю мѣру, приказалъ привести одну изъ заводныхъ лошадей и сблизить ее съ конемъ Катина посредствомъ связанныхъ поводьевъ; затѣмъ велѣлъ достать три чумбура, чтобы изъ двухъ устроить родъ переплета между сѣдлами сблизженныхъ коней, закрѣпивъ узлами у четырехъ лукъ, а третьимъ привязать больного къ этимъ наскоро импровизованнымъ носилкамъ, на которыя придется положить его поперекъ обоихъ сѣделъ. Хотя и очень неудобно, да все же лучше, чѣмъ лежать ему безпомощно, подъ выюгомъ въ полѣ.

Люди приступили уже къ работѣ, какъ вдругъ, гляжу, сзади приближается къ намъ издали что-то въ родѣ телѣжки или повозки.

— Слава тебѣ Господи!—обрадовались солдаты.—Несетъ Богъ кого-то.

Вскорѣ подѣхалъ на парѣ сытыхъ лошадокъ въ легонькой нетычанкѣ какой-то панъ, въ родѣ шляхтича-арендатора, съ усами и узенькой полоской бакенбардъ, спускающихся подъ горло, въ картузъ и синей бекешѣ со шнурками на груди—однимъ словомъ, цѣльный типъ зажиточнаго шляхтича-арендатора.

Мы остановили его.

— Чѣто вамъ вгодно?—спросилъ онъ, оглядывая меня и людей какимъ-то неровнымъ взглядомъ, въ которомъ отражались и недоумѣніе, и нѣкоторая доза трусливаго замѣшательства, что вотъ, молъ, зачѣмъ и для чего это остановили его вдругъ «московскіи жолнержи», а вмѣстѣ съ тѣмъ и недовольство на насъ за эту остановку.

— Вы куда ѣдете?—спросилъ я, въ томъ предположеніи, чтобы попросить его довезти больного.

— А па цо то пану капитану?

— Да вотъ несчастье у насъ случилось: лошадь упала, и солдатъ ногу, кажись, сломалъ, будьте такъ добры—удѣлите ему мѣсто въ вашей нетычанкѣ! тѣмъ болѣе, если вамъ по пути съ нами... мы на Индуру идемъ.

Родовитый шляхтичъ, услышавъ мой тонъ, въ которомъ не было ничего ни грознаго, ни насильственнаго, ни начальственнаго, а была одна только просьба, искавшая у него лишь человѣческаго состраданія и помощи, вдругъ измѣнилъ замѣшательное выраженіе своихъ глазъ и лица, придавъ имъ самоувѣренное спокойствіе съ чувствомъ сознанія собственнаго достоинства.

— Мнѣ не по путю съ вами,—коротко и сухо отвѣтилъ онъ,—бо я сѣгну до дому, у свой фѣлваркѣ.

И онъ дернулъ вожжами.

— Пойдите!.. одну минуту!—вскричалъ я, ухватившись за бортъ нетычанки. — Я вамъ заплачу за эту услугу... Сколько вы возьмете до Индуры?

— Звыните, я не фурманъ какой-нѣбудь!—съ гордостью и сухо отвѣтилъ панъ.

— Я обращаюсь къ вамъ не какъ къ фурману, а какъ къ человѣку, и за то время, которое мы отыщемъ у васъ, я предлагаю вознагражденіе... Вѣдь тутъ пустынное разстояніе—всего какихъ-нибудь восемь верстъ... Угодно вамъ за это получить три цѣлковыхъ?

— Аль бо жъ... я вже ймѣлъ честь доложить господину капитану, что я не звоцкъ.

— Я обращаюсь къ чувству вашего состраданія... взгляните на этого несчастнаго.

— Н-ну, то й чѣто жъ мнѣ до тѣго?! Онъ для мнѣ ни сватѣ, а-ни братъ... и къ тому жъ у мнѣ свой интересъ есть... Звыните, не могу служить вамъ.

И онъ энергически хлестнулъ вожжами по своимъ лошадамъ.

— Вы заставляете меня употребить насиліе!—крикнулъ я ему, ощутивъ въ себѣ уже нѣкоторый приливъ досады.

— Пршепрашамъ!.. Ни мамъ часу, пане!—огрызнулся онъ мнѣ черезъ плечо и погналъ лошадей.

— Остановить его, ребята!.. Живо!—крикнулъ я, и двое уланъ въ ту же минуту нагнали родовитаго шляхтича. Схвативъ съ двухъ сторонъ подъ уздцы его лошадей, они повернули назадъ панскую нетычанку.

Панъ даже побагровѣлъ отъ злости. Шляхетное лицо его изображало громъ и молнію. Онъ, брызгаясь слюной сквозь усы, съ жаромъ и бранью протестовалъ противъ уланъ, но тѣ молча, преспокойно и равнодушно тащили къ эскадрону его лошадей.

— Аль бо жъ этое есть насылье, господинъ капитанъ!—кричалъ и жестикулировалъ онъ изъ своей нетычанки.

— Да, насиліе, вызванное вами самими!—
вполнѣ согласился я съ нимъ.

— Я протѣстую!.. Я дворянинъ... и я не
желаю возить вашихъ солдатовъ!.. Я имѣю
жаловатыя на васъ, когда такъ!.. Я подамъ
прошеніе до господына пулковника, до гу-
бернатора, до самаго начальніка краю!

— Кому угодно и когда угодно!.. Держи,
ребята, лошадей его, да несите сюда Катина!
Осторожнѣе только... легче, легче!.. Клади его
въ бричку!.. Прошу васъ, посторонитесь не-
много, дайте мѣсто больному!— снова обратился
я къ пану.

— Та что жъ этое такое!.. Чи я есть въ
плѣну у васъ?.. Чи я есть повстанецъ якій!..
Не желаю, а-ни-куда не желаю посторониться!..
бо я есть полны господаржъ свѣого экипажу!

— Не заставляйте меня прибѣгать къ по-
вому насилію!—предостерегъ я пана, въ то вре-
мя какъ вахмистръ, «вѣжливыенько» взявъ его
подъ руку, предлагалъ то же самое:

— Пожалуйте, добродѣю, пожалуйте!.. По-
дайтеся чуточку въ сторону... Честью про-
симъ васъ!

— Н-ну, когда такъ, то я буду требовать
сатисфакцію... Я сатисфакцію желаю!.. кричалъ
панъ, — бо этое не легально!.. Звыните!.. Вы
мнѣ докумѣнты у закону показитъ на этое!..
Я сатисфакцію буду требовать!

— Хошь десять!.. Живѣй, ребята! Не ко-
пайся!

Катину подостлали подъ больную ногу пан-
скаго сѣнца и прикрыли его попонкой. Я при-
казалъ вахмистру нарядить особаго унтеръ-
офицера, который ѣхалъ бы рядомъ съ пан-
ской нетычанкой и наблюдалъ, чтобы больно-
му не было сдѣлано какого-нибудь насилія
или обиды.

Эскадронъ тронулся далѣе. Панская неты-
чанка, съ ворчащимъ паномъ подъ присмо-
тромъ, слѣдовала за нами въ хвостѣ колонны.

Солдаты вдругъ какъ-то нахмурились и при-
уныли.

Замѣтно было, что несчастное приключе-
ніе съ Катинимъ и его страдающій видъ сдѣ-
лали на нихъ свое впечатлѣніе. Пѣсни уже
не раздавались болѣе, и даже разговоры по-
чти совсѣмъ замолкли.

Смеркалось. Тьма на сѣверо-востокѣ надви-
галась все гуще и гуще, расплзаясь вверхъ
и въ стороны, и обращалась въ какую-то чер-
ную мглу въ самомъ зенитѣ неба. Только на
западѣ, на краю горизонта, словно бы узкая
щель, горѣла темно-багровымъ огнемъ длинная
полоса заката, и контрастъ этой кроваво-ог-
ненной полосы съ надвигающеюся тьмой и
мглой всего остального горизонта производилъ
какое-то бозсознательное, грустно-тяжелое впе-
чатлѣніе: въ немъ какъ-будто заключалось нѣ-
что злобѣщее. Одинъ только Гюставъ Дорѣ
въ своихъ неподражаемыхъ черныхъ гравю-

рахъ умѣеть схватывать въ такомъ совершен-
ствѣ подобные контрасты тьмы и гаснущаго
свѣта. Мнѣ невольно вспомнились при этомъ
два изъ его рисунковъ: послѣдній моментъ
библейскаго потопа и Дантъ съ Виргиліемъ,
спускающіеся съ голыхъ и мрачныхъ скалъ
въ пропасти Ада.

Эскадронъ шелъ молча и грустно. Уже со-
всѣмъ почти стемнѣло. Края неба съ дальними
планами земли слились во что-то тусклое,
мглистое, неопредѣленное. Вотъ изъ-за при-
горка выглянули смутныя очертанія вѣтряной
мельницы. Словно бы какое привидѣніе, под-
нявшее къ небу руки, вставала она въ сто-
ронѣ со своими крыльями изъ мглы, сливав-
шей всѣ ея детали въ одинъ смутный, стран-
ный и фантастическій очеркъ. Два-три огонь-
ка мелькнуло впереди — мы подходимъ къ
Индурѣ. А несносный вѣтеръ, уже давнымъ
давно остудившій все тѣло, не переставая
рѣжетъ своими порывами щеки, забирается за
рукава и сылетъ въ лицо колючей и сухой
снѣжной пылью.

Каково-то этому бѣдному Катину теперь съ
его нервной лихорадкой!..

Вотъ и Индура.—Слава тебѣ, Господи!

Приказавъ эскадрону не останавливаясь
слѣдовать далѣе, я остался пока въ Индурѣ съ
свѣстовымъ и однимъ унтеръ-офицеромъ, кото-
рый долженъ былъ тотчасъ же отвезти боль-
ного назадъ въ городъ и сдать его въ госпи-
таль. Въ Индурѣ находится становая квартира;
есть, говорятъ, и фельдшеръ; но становой
уѣхалъ куда-то по поводу «мертвого тѣла», а
мѣстнаго Эскулана тоже нигдѣ не оказалось.
Унтеръ-офицеръ побѣждалъ разыскивать сот-
скаго, чтобы тотъ распорядился тотчасъ же на-
счетъ обывательской подводы. Шановнаго пана
держать было больше незачѣмъ. Трое мужиковъ
сняли съ повозки Катина и кое-какъ стащили
его пока въ становую квартиру.

— Звыните, господынь капитанъ! — обра-
тился ко мнѣ шляхтичъ, но уже безъ гонору и
задору, а болѣе адакъ въ миролюбивомъ тонѣ,—
и что жъ я тѣразъ такъ-таки ѣ долженъ
уѣхать?

— Можете ѣхать, можете жаловаться и тре-
бовать сатисфакцію—вообще, все, что вамъ угод-
но; но прежде позвольте вамъ вручить обѣ-
щанную плату,—сказалъ я, подавая зеленень-
кую бумажку.

Шляхтичъ, очевидно, никакъ не ожидалъ,
чтобы сумма, предложенная ему сгоряча, въ
минуту крайней необходимости, была уплачена
сразу и безъ всякихъ пререканій.

— Благодарю вамъ! — спѣшно принимая
деньги и быстро пряча ихъ въ карманъ бе-
кеша, проговорилъ онъ очень ласковымъ и обя-
зательнымъ тономъ.— Благодарю вамъ, госпо-
дынь капитанъ!.. Конечно, хотя ѣ кони мои

потомились, и самъ я столько время потратилъ... и увсе жъ надо такъ говорить, что этое есть насылье—какъ хѹчете себѣ...

— Я съ вами не спорю — согласился я; — безъ всякаго сомнѣнія, насиліе; но что жъ дѣлать, если вы поставили меня въ необходимость употребить его! Очень жаль — все что могу сказать вамъ.

— Конечно такъ!.. Но однако я не имѣю до васъ прѣтензіи... Я отлично понимаю, что тутъ была така необходимосць, така экстренносць... ну, и что жъ издѣлать!.. Я понимаю... я самъ, какъ есть благородны чловѣкъ и дворянинъ—я понимаю! еще разъ благодарю вамъ... Звоните!

Шановный панъ протянулъ руку, ища моего пожатія. Я не отказалъ ему въ этой пустой любезности—и мы разстались.

Наконецъ-то отыскали сотскаго, который послѣ довольно продолжительнаго и довольно безтолковаго спора у корчмы съ нѣсколькими мужиками, привелъ очередную подводу. Больному устроили мы изъ сѣна ложе, настолько покойное, насколько допускала наша скудная возможность — и унтеръ-офицеръ съ моей запиской повезъ его въ городъ.

Мы съ вѣстовымъ отправились далѣе.

Индуря — это скверное, бѣдное и грязное мѣстечко, расположенное на голой плѣшинѣ и являющее собою безотраднѣйшій видъ пенедища. Оно горѣло нѣсколько разъ, почти періодически, и все не можетъ отстроиться какъ слѣдуетъ. Мы скоро оставили его за собой.

Багровая полоса на западѣ уже совсѣмъ потухла — и прикрытая снѣгомъ поля снова охватили насъ со всѣхъ сторонъ, тускло бѣлѣясь при слабомъ свѣтѣ облачной ночи. Въ нѣсколькихъ шагахъ, впрочемъ, можно было разглядѣть черные стебли репейника да бурьяна и бѣлые дымки снѣга, взметаемаго завирухой по краямъ дорожныхъ канавокъ; но впереди уже ничего не видать, кромѣ безразлично и неопредѣленно стоящей передъ глазами какой-то мглы бѣлесоватой. Давно ушедшій эскадронъ не видѣлся темнымъ пятномъ въ этой мглѣ, и мы не стремились нагонять его, а шли себѣ осторожнымъ шагомъ, такъ какъ лошади все еще иногда скользили и оступались на гололедныхъ мѣстахъ да по глубокимъ колеямъ и ямамъ. Дорога къ тому же была пряма, и до Прокоповичей—мѣста нашего ночлега, оставалось уже верстъ около двухъ, не болѣе.

Вотъ и кладбище видѣется влѣво, въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ дороги. Высокіе темные кресты—которые прямо, которые сильно покосившіеся — печально глядятъ на насъ съ плѣшины голаго пригорка и какъ будто простираютъ объятія своими поперечными брусьями.

Миновали кладбище. Мой вѣстовой Свири-

довъ бѣжалъ шагахъ въ трехъ за мною. Вдругъ наши кони захрапѣли и шарахнулись въ сторону. Въ ту же минуту, какъ стрѣла, пущенная изъ лука, мимо меня промчалась лошадь Свиридова, ударила въ сторону и понесла вдоль по полю. Мой «Ветеранъ» тоже было ринулся за нею, но я на первыхъ же скачкахъ упруго и сильно взялъ на себя поводъ и, весь подавшись корпусомъ назадъ, сильно осадилъ его. Унесшійся вѣстовой мелькнулъ мнѣ въ глаза еще на одно мгновеніе темной точкой и исчезъ въ бѣлесоватой мглѣ равнины. «Ветеранъ», нервно переступая ногами, безпокоился, вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, храпѣлъ и пугливо поводитъ настороженными ушами.

— Го-о ля!.. го-о ля! — ласково подавалъ я ему голосъ, оглаживая и стараясь успокоить. Зная, насколько портится лошадь, если оставлять ее подъ впечатлѣніемъ страха, не разъяснивъ себѣ причину его и не заставивъ умное и смышленное животное во что бы то ни стало вернуться къ испугавшему его предмету, дать разглядѣть его, пройти мимо разъ или два и, такимъ образомъ успокоивая, убѣдить его, что страхъ былъ напрасенъ,—я повернулъ назадъ моего «Ветерана». Ему крѣпко не хотѣлось этого, однако жъ я безъ шпоръ заставилъ его покориться своей рукѣ, своему шенкелю и ласковому голосу.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дороги лежалъ обглоданный трупъ крестьянской лошади. Вѣроятно, бѣдняга пала во время сильной распутицы и невылазной грязи, измученная въ-конецъ непосильною тяжестью громоздкаго воза и изнуренная голодомъ.

Я замѣтилъ, что отъ падали убѣгали, поджавъ хвосты и понурия голову, двѣ собаки. Онѣ трусили по цѣлині нespѣшной, вихлявой волчьей побѣжкой, присѣдая слегка на заднія ноги и ковыляя по вспаханному, глыбистому полю. «Ветеранъ» храпѣлъ, дрожалъ и не хотѣлъ пройти мимо падали. Я долженъ былъ слѣзть съ него, взять подъ уздцы и только такимъ образомъ, проведя его дважды около трупа, мнѣ удалось достигнуть своей цѣли. Лошадь, повидимому, убѣдилась, что страхъ ея былъ ложенъ, однако же, когда я снова сѣлъ въ сѣдло, она все еще по временамъ чутко подымала голову въ ту сторону, куда побѣжали собаки, настороживала глазъ, поводила строгими ушами и пытливо нюхала воздухъ.

Вдали на одно лишь мгновеніе какъ будто мелькнули двѣ искорки какимъ-то фосфорическимъ свѣтомъ: мелькнули и исчезли.

Волки это, что-ли? Или мнѣ только такъ показалось?

— Ого-го-го-о-о-о! — донесся до меня, сквозь свистающій вѣтеръ, Богъ-вѣсть изъ какой-то дали, окликъ чловѣческаго голоса.

«Вѣрно, Свиридовъ», подумалось мнѣ — и я на всякій случай подаль ему отвѣтныи крикъ.

Минуты три спустя окликъ повторился уже значительно ближе, и черезъ нѣсколько времени я замѣтилъ темный приближающійся предметъ.

— Свиридовъ... ты?

— Я, ваше благородіе!

И онъ верхомъ показался на краю дороги.

— Ишь ты, сволочь проклятая, занесла! — бормоталъ онъ, впрочемъ безъ всякой досады. — Чуть изъ сѣдла не вышибла!.. Эко дѣло какое!

— Куда это ты, братъ, леталъ на ней?

— Да понесла, ваше благородіе... спужалась... Съ версту, почитай, въ сторону провало ее, дѣшаго... не дай Богъ!.. Чуть не застрялъ было въ мерзломъ болотѣ! — тамъ только и чувствовалась... Ишь ты, грѣхъ какой!

— А ты зачѣмъ поводья распускаешь? Оттого и занесла!

— Виновать, ваше благородіе!.. Оно точно что... да ужъ руки больно зашлись, просто смерть, какъ сомѣли съ морозу... Это аны, ваше благородіе, волковъ такъ спужались, — добавилъ онъ черезъ минуту.

— Нѣтъ, братъ, вѣришь, что дохлой лошади.

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе — волковъ. Ужъ это будьте благонадежны!

— Какіе тамъ волки! Просто, голодные собаки.

— Никакъ нѣтъ-съ, потому я самъ изволилъ видѣть... Онъ такъ на меня и зирнулъ этта... словно какъ свѣчкой!.. Ей-Богу-съ!.. Ихъ шара тутъ была.

— Пара-то пара; это и я замѣтилъ.

— Такъ точно-съ. И што же, мудренаго тутъ нѣту, потому имъ теперича этто самая ихъ голодная пора подходитъ. Со мной этто однажды былъ случай эдакой, — примолвилъ онъ понизивъ нѣсколько голосъ, послѣ короткаго молчанія.

— Какой такой случай?

— А такъ-съ. Мы еще тодысь въ Тверской губерніи стояли. Послали меня въ штабъ, въ городъ, значитъ, въ Бѣжецкой; а эскадронъ уже на зимовыхъ квартирахъ стоялъ. Вотъ, этто, возвращаюсь я изъ штаба, а дѣло-то ужъ подѣ вечеръ было; совсѣмъ, почитай, смерклося. Аны на меня и напади. Семь штукъ — за волчихой, значитъ, ходили... Ну, и голодная пора тоже; надо такъ полагать, что время ужъ подѣ святки подходило. Дорога-то мнѣ лежала черезъ лѣсокъ, и лѣсокъ-то эдакъ совсѣмъ махонькой — одно слово, совсѣмъ пустышный, нестоющій лѣсокъ, и тутъ-то аны откелева не возмись и напади! Лошадь, извѣстно, шарахнулась и понесла, а аны за ёю! Да такъ вѣдь, шельмы, и бѣгутъ не отставая! Какъ увязались, такъ и бѣгутъ. Вижу я: конь устаетъ — трудно этта, чижало ему. Што тутъ дѣлать! Совсѣмъ бѣда приходитъ! Потому лошадь, извѣстно, вещь казенная и за ее въ отвѣтъ надо быть; ну, опять же и жалко ло-

шадку; не дай Богъ потираться — кто тогда виновать? — одинъ я, значитъ. Подумалъ этто я себѣ, перекрестился да и выхватилъ саблю. Гляжу — а одинъ такъ-таки прямо подѣ горло коню и кидается. Я изловчился да и полоснулъ его. Взылъ, подлець, и отсталъ. Гляжу, другой съ лѣваго бока норовитъ зубами за ногу меня цапнуть — я его прынулъ. Онъ и покатился. Такъ что-жъ бы вы думали, ваше благородіе, какой это звѣрь безчувственный! Одно слово, волкъ, такъ ужъ волкъ и есть! Какъ только онъ покатился, другіе этто всѣ на него накинулись и давай его рвать зубами. Даже и про меня позабыли. А я тѣмъ часомъ шпоры — и убѣгъ! Тѣмъ только и спасся. Ходилъ, на другой день утречкомъ, думалъ себѣ этто, коли ежели шкура осталась, такъ подобрать да продать ее; одначежь ничего не нашель, окромя маленькой эдакой слѣдокъ крови ево остался, а самого не нашель. Должно, кто ни-на-есть ѣхалъ, да и подобралъ себѣ мою работу. Такъ только, значитъ, эдакомъ и прогулялся! А вотъ, ваше благородіе, уже и Прокоповичи! — добавилъ онъ, указавъ рукой по направленію къ темной массѣ, которою неясно обрисовалась впереди насъ деревня.

Огонекъ мелькнулъ въ какомъ-то оконцѣ.

Слава тебѣ, Господи! первый переходъ конченъ, и минутъ черезъ десять меня ждетъ уже постель, и отдыхъ, и стаканъ горячаго чаю!

III.

На ночлегѣ.

У околицы, гдѣ торчали два-три покосившіеся и подгнившіе креста, встрѣтилъ меня квартирьеръ и отпрапортовалъ, какъ должно по формѣ, что квартиры заняты были квартирьерами исправно, и эскадронъ уже размѣщенъ.

— А гдѣ моя квартира? — спросилъ я.

— А туточка-съ не подалечку. Позвольте, я покажу вашему благородію.

И квартирьеръ пошелъ нѣсколько впереди моей лошади.

— Только вамъ... не знаю ужъ, понравится ли... съ запинкой проговорилъ онъ сомнѣвающимся тономъ.

— А что такъ?

— Да больно плохая квартира-съ.

— Такъ вы чего же глядѣли - то? Развѣ нельзя было занять которую получше?

— Никакъ невозможно-съ. Потому эта что ни есть самая прекрасная: хата, покрайности просторнѣе, и печь при ей имѣется, а продчія всѣ не въ примѣръ сквернѣе-съ, потому — какъ есть курныя хаты: и холодно, да и грязно-съ.

Значитъ, изъ худшаго менѣе худое. Ну, да нашему брату привередничать въ этихъ слу-

чаяхъ не приходится: что есть, тѣмъ и пользуйся; и притомъ не въ первой уже!

Я соскочилъ съ коня передъ низенькой дверью хаты, къ которой привелъ меня квартирьеръ. Онъ прошелъ въ темныя сѣни, указывая мнѣ дорогу, и раскрылъ дверь, изъ которой повалили чадный паръ клубами.

— Богъ помочь, хозяева!—проговорилъ я, войдя въ хату.

— И на вѣки вѣковъ. Аментъ!—отвѣтилъ мнѣ изъ угла силпый, какъ будто сдавленный въ хляб грудн мужской голосъ.

Въ хатѣ было жарко натоплено, такъ что подъ потолкомъ ходилъ, какъ въ банѣ, густой и прѣлый паръ, скопившійся отъ дѣйствія теплоты на отсырѣлыя стѣны. Припахивало тѣмъ угарцемъ, который остается отъ рано закрытой печи, послѣ выпечки хлѣбовъ.

Я осмотрѣлся въ этомъ парѣ, но нигдѣ не нашелъ и признака моей походной кровати.

— А гдѣ же вещи мои?—съ удивленіемъ обратился я къ квартирьеру.

— Не могу знать.

— Да развѣ Вочаровъ съ фурманкой не пріѣзжалъ сюда?

— Никто не пріѣзжалъ. Мы цѣльный день здѣсь, а никого не видали; да кабы пріѣхалъ, такъ ему окромя какъ сюда и дѣваться некуда.

— Милый сюрпризъ—нечего сказать.. только его и не доставало!

Я осмотрѣлся, выгадывая себѣ, какъ бы лучше устроиться въ данномъ положеніи. У двухъ стѣнъ находились плотно приколоченныя и вбитыя въ земляной полъ узенькія лавки. Улежась ни на одной изъ нихъ не было почти никакой возможности: и узко, и мокро — потому-что со стѣнъ течетъ. Я приказалъ принести себѣ кулъ соломы и бросить его на полъ въ наиболѣе чистомъ передѣмъ углу. Но, чортъ возьми, какъ вѣсть хочется!..

— Хозяинъ! Нѣтъ ли у васъ чего-нибудь закусить.

— А ничѣго нѣма, паночку!

— Нѣтъ ли похлебки какой что-ли, какогонибудь кулешки, или гороху? разогрѣть бы, коли холодный?

— Та нѣ, какъ, паночку! Якой-съ тамъ кулешикъ, када и у домъ крупы нѣма!

— Ну, можетъ, яйца есть, или сало?

Хозяинъ усмѣхнулся съ какой-то ѣдкой горечью.

— Э!—безнадѣжно махнулъ онъ рукой!—та ни сала, а ни яйца—ничѣго! Адна бѣднота та цѣснога такая, што и-и Боже мой!..

— Да сами вы ѣдите же что-нибудь?

— А такъ. Ядмо, алежъ и яда таковська! У воду покидаемо скариночки хлѣба, та цыбулку, та ось и уся яда!.. А сало,—прибавилъ онъ, помолчавъ немного, — якъ кабаны поклантъ, то и сала тоды сдабудземъ!

Плохо утѣшеніе! Впрочемъ, Свиридовъ побѣждалъ по деревнѣ да въ жидовскую корчму—промыслить для меня чего-нибудь стыдого. Я скинулъ съ себя амуницію и закурилъ папиросу, которая, какъ извѣстно, перебиваетъ голодъ,—«а тѣмъ часомъ, думаю себѣ, авось-либо и Вочаровъ съ фурманкой подѣдетъ». Начиная приглядываться къ обстановкѣ моего ночлежнаго обиталища. Длинная лучина воткнута въ стѣну и неровнымъ свѣтомъ озаряетъ хату. Около лучины сидитъ съ прямой старуха и молча, сосредоточенно, съ какимъ-то пришибленнымъ выраженіемъ въ лицѣ, прядетъ кудельную пряжу. Монотонно-мѣрный звукъ прялки и веретена носить въ себѣ что-то грустное и усыпляющее. Хозяинъ сидитъ по-нуро, и по лицу его не разберешь: думаетъ ли онъ о чемъ, или ужъ до такой степени пришибленъ какимъ-то внутреннимъ гнетомъ, что и думать пересталъ давнымъ-давно о чемъ бы то ни было. На печи храпитъ хозяйскій сынъ, умаявшійся за цѣлый день на работѣ. Двое босыхъ бѣлоголовыхъ ребятинокъ сидятъ около прядущей «бабульки» и съ выраженіемъ тупого, полуиспуганнаго недоумѣнія поглядываютъ то на меня, то на бабульку. Третій ребятинокъ — солистый, замурзанный двухлѣтокъ, поджавъ подъ себя ноги, сидитъ на припечку въ теплой золѣ и сосетъ корку хлѣба. И все это — хоть бы слово проронило! Упорное, тупое, сосредоточенное молчаніе прерывается по временамъ только тихимъ квохтаньемъ куръ да хрюкомъ поросятъ, ютящихся подъ печкой. Но зато тишину хаты наполняютъ: непрерывный звукъ прялки, приканье запечнаго сверчка, да чье-то трудное, тяжелое дыханье за перегородкой.

Вдругъ изъ-за той же перегородки раздался крикъ и плачъ младенца.

— Марьянка! ходзь поколышь яну!—тихо сказала бабулька.

Бѣлоголовая дѣвочка, шмыгнувъ носомъ, сползла съ лавки и ушла за перегородку. Оттуда послышался тихій скрипъ качаемой зыбки, какъ бы въ дополненіе къ стуку бабулькиной прялки. Но плачъ и стонъ младенца не унимался. Въ этомъ слабомъ стонѣ слышалось что-то хилое, больное.

Прошло болѣе получаса, а ребенокъ все пицить, и бѣлоголовая Марьянка, не переставая, колышетъ зыбку.

Растворилась дверь, напустивъ изъ сѣней клубы холоднаго воздуха—и въ горницѣ показались вахмистръ, при саблѣ, но съ какой-то дымящейся кружкой въ рукахъ. Поставивъ на столъ эту кружку, онъ формальнымъ образомъ отрапортовалъ, что въ эскадронѣ все обстоитъ благополучно.

— А фурманки-то все нѣтъ, ваше благородіе,—сказалъ онъ, переждавъ минуту послѣ рапорта.

Я пожалъ плечами.

— Не прикажете ль, ваше благородіе, чайку?—продолжалъ Андрей Васильичъ.—Я кружечку захватилъ для васъ, ежели не побрезгуете.

— А, спасибо, голубчикъ!—съ удовольствіемъ согласился я.—Гдѣ жъ это ты его добылъ?

— А съ собой было малость захватимши. Мы эта вскипятили кипятокъ да въ ѣмъ-то чай и заварили-съ. Кушайте на здоровье, ваше благородіе! Пожалуйте-съ!

Съ голодухи я просто съ наслажденіемъ глоталъ горячій вахмистерскій чай и въ душѣ былъ искренно благодаренъ старому Склярову за его вниманіе. И въ самомъ дѣлѣ, у нашихъ солдатиковъ это замѣчательная характерная черта: въ какую бы то ни было критическую минуту—вотъ, хоть бы подобную настоящей—они никогда не забудутъ своего офицера и подѣлятся съ нимъ послѣднимъ кускомъ; всегда сами, первые, радужно и безкорыстно предлагаютъ, что Богъ послалъ; и откажись офицеръ—солдатъ въ душѣ навѣрное обидится и мысленно обзоветъ его «гордымъ».

Пришелъ Свиридовъ и принесъ кусокъ черствого козьего сыру да солдатскаго хлѣба.

— Больше ничего нѣту, ваше благородіе!—доложилъ онъ.—Всю деревню избѣгалъ—нигдѣ ничего! Бѣдность эта у нихъ что-ли ужъ такая: ни молока, ни сала—какъ есть ничего! У жиловъ пабашъ взошелъ—тоже, значить, не отпускаютъ. И то уже насилу выдралъ сыру вотъ!.. Булочка есть у меня, ваше благородіе!—добавилъ онъ, вынимая изъ кармана шинели круглый бѣлый хлѣбъ.—Не прикажете ли-съ?

— Нѣтъ, братъ, спасибо! съ меня пока и этого будетъ довольно!—отказался я, не желая лишить солдата лакомаго куска.

— А ты гдѣ жъ ее добылъ?—спросилъ его вахмистръ.

— А давеча-съ при переправѣ купилъ у торговки... думалъ эта на закуску себѣ.

— Ишь ты! запасливый!—ласково кивнулъ на него Андрей Васильичъ.—А что это у васъ тутъ такое питить-то все?—обратился онъ къ бабулкѣ.

— Дѣцко,—коротко отвѣтила старуха.

— Дзяучинка малѣнька,—добавилъ въ поясненіе хозяйинъ.

— Ну, этто ихъ благородію неспокойно будетъ,—заботливо замѣтилъ вахмистръ.—Вы бы ее уняли какъ...

— А якъ яну уймать!—пожалъ старикъ плечами.—И то вже хлѣпчики наши, ось, калыхающъ-калыхающъ сабѣ калыбку, та ни чо́го не зрѣбця!

— Э!.. съ чего жъ этто она такъ-то?

— А хвѣра, дабрадзейку!.. И matka хвѣра, и дзяучинка хвѣра... Такъ бѣдуймо, што и-и!.. ховай Боже!

— А matka то гдѣ-жъ?

— А ось-тамъ коло калыбки ляжиць у безпамяцю...

— Дочка тебѣ, что-ли?

— Нѣ, сыно́ва жонка.

— Чѣмъ же она хвораеть-то?

— А хто ё знае!.. такъ-сабѣ, хвороба якось-то... вже дзевяты дзень пайшоу...

— И все безъ памяти?

— А такъ: у безпамяцю... ни сама а-ни кавалка хлѣба не зѣсьць, а-ни дѣцка не гадуе.

— Э!.. такъ дитѣ, должно, эта съ голоду-то у васъ и питить... Грудное еще, что-ли?

— Але,—подтвердилъ хозяйинъ.

— Такъ вы бы ево хоша молочкомъ отпаивали,—сердобольно посоветовалъ Скляровъ.

— А дѣ жъ яво узяць!—горько усмѣхнулся старикъ.—Якъ бы каро́ука, дакъ бы и малако было, а то гѣть-ничого нѣма на усемъ гаспадарствѣ!

— Однако, чѣмъ же вы дитѣ-то кормите? соской, что-ли?

— А такъ!.. Ось, бабулька моя пакуецъ хлѣбца та й паробиць соску; такъ се й гадуе!

Вахмистръ сочувственно и скорбно покачалъ головой:

— Гдѣ больная-то?—спросилъ я, окончивъ свою скудную закуску.

— А ось тутей, паночку,—указалъ хозяйинъ.

— Можно видѣть ее?—освѣдомился я, предполагая указать ему на какое-либо сподручное средство помощи.

— А вжежъ!—кивнулъ онъ головой.

Мы вошли за низенькую перегородку, не доходящую до потолка на аршинъ. Старикъ свѣтилъ намъ лучинкой. На парѣ досокъ, сколоченныхъ въ родѣ нары, лежала на какихъ-то грязныхъ лохмотьяхъ молодая женщина. Открытые глаза ея были живы, но глядѣли тупо, неподвижно, безмысленно. Дыханіе съ трудомъ вырывалось изъ груди. Достаточно было одного взгляда, одного прикосновенія къ пылающему лбу, чтобы опредѣлить безошибочно сущность болѣзни: это былъ несомнѣнный и при томъ глубокій тифъ. Я объяснилъ хозяйину, что хвороба его невѣстки прежде всего требуетъ чистаго и прохладнаго воздуха и, по возможности, болѣе свѣта; что накаивать до угару печь и держать больную въ этихъ потемкахъ за перегородкой для нея въ высшей степени вредно. Объяснилъ я ему также, какимъ образомъ дѣлать и прикладывать ей къ головѣ холодные компрессы.

— Дзякуймо, паночку!—съ явнымъ недовѣріемъ поблагодарилъ старикъ.—Але жъ ципѣрачки глѣ ей, дбаймо такъ, што вже ни чо́го не трѣба, бо яна усе едино памрѣць!.. Отъ, дочка моя, такъ са́мо жъ,—продолжалъ хозяйинъ,—усе у безпамяцю була, та й вмерла...

позавчера вже й поховали на цментаржу... А ни чо́го не паробиць!..

И онъ махнулъ рукою съ тѣмъ покорнымъ равнодушіемъ, которое является плодомъ горя сильнаго, безысходнаго и притупляющаго душу.

— Андрей Васильичъ!—тихонько отнесся къ вахмистру Свиридовъ. — Надо бы покормить чѣмъ ни есть ребенка-то!

— Надо,—согласился Скларовъ, — да чѣмъ покормить?

— А вотъ-съ, ежели теперича милость ваша будетъ, што сваю чайку одолжите-съ, такъ я бы сейчасъ сбѣгалъ.. Да вотъ ихъ благородіе уже и кружечку опростали... Мож-но-съ?

— Ну, ладно, бѣги... да гляди, въ накладку налей, чтобы послаше было!—сказалъ ему вахмистръ вдогонку.

Свиридовъ черезъ пять минутъ принесть полную кружку, осторожно и неуклюже держа ее обѣими руками, «съ опаской», чтобы не пролить.

— Надо бы съ ложечки,—замѣтилъ Андрей Васильичъ.

— Никакъ вѣтъ-съ, мы ей смастеримъ соску.

— Да съ чего же соску-то?

— А съ булочки... Я свою булочку stravлю... Наквасимъ этта мякишу—и даже очинно прекрасно будетъ!

— Ну, дѣло, малый!.. Это хорошо!—похвалилъ Скларовъ—и два усатые добряка принялись мастерить мѣсиво больному ребенку.

— На, баушка! сунь-ко маладенцу въ ротикъ—пушай пососеть! съ эстого онъ, дастъ Богъ, здоровѣй станеть!—сказалъ Свиридовъ, по окончаніи стряпни, подавая старухѣ сверченную изъ чистой тряпичи соску.—А этто вотъ тебѣ пушай напослѣ будетъ: тутъ вотъ еще полбулочки да полкружки чайку осталось, такъ оно, значить, и на завтра вамъ хватить. Бери себѣ съ Богомъ! Христосъ съ тобою!

— А самъ жа-жъ ты, саколику?.. сердобольно отозвалась старуха, стѣсняясь нѣсколько принять отъ солдата остатокъ его булки.

— Да ужъ объ насъ-то, Божья старушка, ты не печалуйся! Мы и камешекъ погрыземъ, такъ и то сыти будемъ—дѣло солдатское!.. А ты ничего! ты бери, не сумлевайся!

— Дзякуймо вамъ, дабрадзея!—поклонились солдатамъ хозяева.

— Нѣ на чемъ, бабушка, нѣ на чемъ! Хорошо, что хоть и это-то нашлося!

Ребенку вложили соску—и въ ту жъ минуту онъ замолчалъ и успокоился. И опять тишина хаты наполнилась звуками прятки, скрипомъ зыбки; да цвириканьемъ сверчка за печью.

Я отослалъ отъ себя на покой и вахмистра,

и вѣстового, а самъ расположился кое-какъ на кулѣ соломы.

Я чувствовалъ изрядную усталость. Безсонная ночь накануне, моцію длиннаго перехода, цѣлый день, проведенный на воздухѣ все это въ совокупности позывало на отдыхъ. Сомкнувъ отяжелѣлыя вѣки, я думалъ, что тотчасъ же засну подъ монотонный звукъ бабушкиной прятки, но сверхъ ожиданій, сонъ мнѣ не давался. Я погрузился въ какое-то забытье, урывками возвращаясь къ дѣйствительности, чтобы влѣтъ за тѣмъ опять забыться на нѣкоторое время. Чувствовалъ только, что голова тяжела, что въ ушахъ стоитъ звонъ и шумъ какой-то: можетъ, отъ прятки, а можетъ, и кровь играетъ. Въ умѣ всплываютъ и тонуть какіе-то образы, какія-то смѣшанныя грезы: то блески на дебардерѣ Эльсинорской и лихая мазурка Хлопцакого, то «гоноровы и поржонды чловѣкъ», который раскланиваясь говоритъ: «благодару вамъ, господынъ капитанъ!»—то эскадронный Шарикъ, сидящій въ полѣ надъ блѣднымъ Катинымъ... булочка голоднаго Свиридова... тупой взглядъ широко раскрытыхъ глазъ тифозной женщины... сверчокъ и прятка... опять больной пискъ ребенка... Апронъ съ бокаломъ вина подымается... опущенные усы маіора шевелятся надъ пламенемъ жженки... опять Эльсинорская и еще кто-то и гдѣ-то, но кто и гдѣ—не разберешь... «Гой-вы улане малеваны чапки!» Мадамъ Хайка кланяется и кричитъ: «и пришайте, и пришайте!» Наконецъ, все это путается съ обрывками какихъ-то мыслей, ходитъ большимъ колесомъ передъ сомкнутыми глазами, окутывается бѣлымъ туманомъ снѣжной ночи и тонетъ въ немъ безслѣдно и невѣдомо гдѣ—и вотъ, тяжелый, глубокий сонъ окончательно оковываетъ и мысль, и усталое тѣло.

Много ли и долго ли спалъ я—не знаю. Проснулся—потемки... хоть глаза выколи. Тусклая ночь мутно глядитъ въ маленькое оконце. Съ просонья, въ первую минуту рѣшительно не разберешь, что это такое, и никакъ не понимаешь, гдѣ ты и что съ тобой. Это часто бываетъ съ людьми, когда приходится спать въ новомъ незнакомомъ мѣстѣ. Чувствую только, что до ломоты отлежалъ весь правый бокъ, что рука затекла до колючихъ мурашекъ, а въ головѣ такая тяжесть, такая боль въ вискахъ и звонъ въ ушахъ, и пить ужасно какъ хочется... Воздухъ въ хатѣ сперся и напрутъ до того, что нѣтъ уже возможности вынести этой атмосферы.

«Должно быть, я угорѣлъ», подумалось мнѣ, и вотъ, припоминая себѣ расположеніе хаты и свое мѣсто, я ошупью пробрался къ двери, вышелъ въ сѣни, нащупалъ тамъ новую дверь и, выйдя на дворъ, уѣлся на «призобѣ», жадно вливая въ грудь ночной, освѣжающей воздухъ.

Вѣтеръ утихъ; сухая метель улеглась, и небо прояснѣло. Яркія звѣзды сверкали острыми, морозными лучами въ темно-синей глубинѣ его. По всей деревнѣ сонъ и тишина невозмутимая.

Вотъ, слышу—приближаются издали чьи-то поспѣшные хрусткіе шаги... лягнула сабля, поддѣтая на крючекъ... Вотъ, двѣ темныя фигуры тихо проходятъ мимо.

— Ночные?—окликнулъ я.

— Ночные, ваше благородіе!—откликнулись солдаты, узнавъ меня по голосу.

— А какъ, ребята, полагаете: много ли времени теперь?

— Да надо быть, полночь, ваше благородіе... недавно пѣтухи пѣли.

— Не пріѣзжалъ Бочаровъ съ фурманкой?

— Никакъ нѣтъ-съ!.. Не чуть было...

Это обстоятельство начинало меня уже нѣсколько беспокоить: куда бы могъ онъ запропаститься, и не случилось ли съ нимъ чего?.. Но чему случиться!—кажись бы, солдатъ смысленный и трезвый, расторопный.

«Дай, хоть пройдуся, да для порядку загляну по конюшнямъ, подумалъ я себѣ, авось либо, походя, головѣ легче станетъ».

Тутъ я вспомнилъ, что въ карманѣ пальто у меня были вѣтренныя спички. Паля ихъ одну за другою, я освѣтилъ себѣ кое-какъ сѣни, отыскалъ дверь и нашелъ въ хатѣ свою шапку. Воздухъ тамъ показался мнѣ, послѣ освѣщенія, такимъ, что только бы бѣжать поскорѣе! Пока я, сжигая спички, отыскивалъ шапку, больная тихо бредила что-то за перегородкой. Этотъ больной, надтреснутый и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то дикій голосъ просто всю душу вымучивалъ.

Я пошелъ въ сопровожденіи одного изъ «ночныхъ» по деревнѣ, заглянулъ въ одну, въ другую, въ третью конюшню, или вѣрнѣе сказать—въ хлѣвы, гдѣ, рядомъ съ крестьянскою скотиною, по необходимости, тѣснятся и наши кони—ничего; все и вездѣ, какъ выражаются солдаты, «обстоятъ благополучно». Люди въ полушубкахъ спятъ себѣ покойно тутъ же, въ уголкахъ, подставъ подъ себя ворохъ сѣна, либо кулъ соломы, да покрывшись съ головой шинелями. На походѣ рѣдко который изъ нихъ остается въ дымной и тѣсной курной хатѣ: большая часть, несмотря на зимній холодъ, ночуетъ около своихъ коней, во избѣжаніе какого-либо несчастья, въ родѣ пожара или конокрадства.

Но вотъ—чу!.. слышно громоуханье громоздкихъ колесъ по мерзлой дорогѣ... все ближе и ближе.—«Ужъ не мой ли Бочаровъ», думаю, и пошелъ на встрѣчу. Такъ и есть: моя бричка!

— Гдѣ это васъ нелегкая до сихъ поръ носила?

— Виновати, ваше благородіе! Тутъ такое случилось, что и не приведи Богъ!

— Что еще?!

— Да какъ же-съ! Изволили вы этта прика-

зать, чтобы ѣхать намъ напередъ; а онъ, подлецъ, возьми да и свороти въ сторону...

— Кто онъ?

— Да фурманъ-съ. Говоритъ, тутъ, молъ, ближе и скорѣе дождемъ. Я съ дуру-то и послушайся—думалъ, что путное говоритъ, а онъ этта, проѣхавши верстѣ пятокъ, остановился маленько у корчмы у одной—покормить, говоритъ, коней малость надо; не болѣе какъ съ полчаса, говоритъ, забавимся. Я этта остался при вещахъ, а онъ, сволочъ, въ корчму пошелъ. Гляжу—анъ выходитъ оттелева распяно-пьянешенекъ... Вотъ сами изволите посмотреть: и до сей поры лыка не вяжетъ, почитай что въ безчувствіи лежитъ въ бричкѣ-съ. Я какъ уложилъ его, такъ самъ и поѣхалъ, но только дорога мнѣ по вѣтмѣ мѣстамъ совсѣмъ, значить, новая и незнакомая... Кабы просто нашимъ обнаковеннымъ трахтомъ на Индуру бы ѣхалъ, такъ ту-то дорогу я знаю доподлинно, а по вѣтмѣ никогда не доводилось... а тутъ стемнѣло да вьюга этта—я и обился съ пути. Такъ вотъ и плуталъ не вѣсть гдѣ, пока добрые люди—спасибо—не вывели на настоящую дорогу! Ну, да ужъ и наkostenялъ же я ему за это! Надо, ваше благородіе, безпремѣнно разыскать, потому это не порядокъ!

Подозрѣнія на Бочарова я не имѣлъ: онъ извѣстенъ всему эскадрону, какъ солдатъ честный, правдивый и совсѣмъ не пьющій, да и видно было, что онъ трезвъ совершенно; а фурманъ, дѣйствительно, лыка не вязалъ—и преспокойно хранилъ себѣ въ бричкѣ, уткнувшись носъ въ небо.

Я приказалъ поскорѣе раскинуть себѣ походную постель, только не въ хатѣ, а въ сѣняхъ, что и было исполнено при свѣтѣ фонаря—и улегся на холодную подушку, покрывшись мѣховою шубой. Эттакъ, по крайней мѣрѣ, было и лучше, и здоровѣе, и удобнѣе.

— Подъ утро—чую сквозъ сонъ—кто-то ходитъ и возится рядомъ со мною, и вотъ, надъ ухомъ слышится уже сдержанный, осторожный голосъ Бочарова:

— Ваше благородіе... а, ваше благородіе...

— Продирать глаза—смерть, не хочется! И притворяешься, будто не слышишь.

— Ваше благородіе!.. а, ваше благородіе!—слышится снова, минутку спустя.—Извольте вставать—пора уже!..

— Ахъ, ты, варваръ! И выспаться не дашь!—бормочешь ему, зѣвая и потягиваясь.

— Ради стараться, ваше благородіе!.. Самоваръ готовъ-съ!

Высовываешь носъ изъ-подъ шубы—и въ сѣроватомъ свѣтѣ занявшагося утра видишь, какъ на порогѣ кипитъ уже походный самоваръ, и чайникъ на немъ бѣлѣтъ, а на скамьѣ стоитъ раскрытый погребецъ, и стаканъ уже приготовленъ, и фаршированный поросенокъ, со всей свойственной ему угнетенной невинностью, вы-

ставляетъ изъ сахарной бумаги свое жареное рыло, а Бочаровъ стоитъ уже надъ душкою съ полотенцемъ и ковшикомъ воды.

— Мыться извольте, ваше благородіе—сонъ какъ рукой сниметь.

И точно: плеснулъ нѣсколько разъ на лицо студеною водою—и откуда свѣжесть да бодрость взялася! Не успѣлъ еще утереться, а проворный вѣстовой доликаетъ уже чайникъ и вслѣдъ за тѣмъ преподноситъ стаканъ ароматнаго чая, который на холодку пьется почему-то съ великимъ аппетитомъ.

А вотъ и Андрей Васильичъ въ дверяхъ появляется.

— Ваше благородіе, эскадронъ въ сборѣ, и квитанція получена.

Давши хозяевамъ, въ благодарность за ночлегъ, на лекарство, или вѣрнѣе, на похороны для больной, я оставилъ мою темную, грустную, неприглядную хату и вышелъ ко фронту.

Черезъ пять минутъ начался уже второй переходъ... Тѣ же кони, тотъ же Шарикъ, тѣ же поля съ крестами и перелѣсками и тѣ же «не бѣлы свѣги» — въ полѣ и въ устахъ разливистыхъ подголосковъ.

IV.

Приходъ въ Свислочь.

День былъ сѣрый и, такъ сказать, безпроектный, когда эскадронъ нашъ, послѣ второго ночлега, дѣлалъ свой третій и послѣдній переходъ. Въ полѣ мела завихруха и стоялъ такой крутень, что хлопья мокраго снѣга, вертясь и кружась передъ глазами, словно бы несмѣтные рой какихъ-то одухотворенныхъ существъ, застилали непроницаемой завѣсой всю окрестность. Этотъ снѣгъ залѣплялъ глаза и чуть лишь находилъ удобное мѣстечко, въ родѣ складки платья, тамъ и залегалъ цѣлой грудкой. Набивался онъ и въ гривы лошадямъ, и въ баки людямъ, и на донца шалокъ насѣдалъ, какъ будто слой пушистой ваты. Препятная погода, особенно эта снѣжная мокреть, тающая потѣками по лицу и заставляющая ежиться изъ опасенія, какъ бы она не протекла за шею, доводила просто до глупой досады. По лицамъ было видно, что въ головѣ у людей засѣла гвоздемъ одна лишь мысль, какъ бы поскорѣй ужъ добраться до стоянки! Завихруха эта началась съ ранняго утра и преслѣдовала насъ въ теченіе цѣлаго перехода. День былъ воскресный, но по такой погодѣ не попалось намъ на встрѣчу ни однихъ саней съ круголицей, курносой бабой въ пестромъ платкѣ, на задку «полукошика» и съ мужикомъ на передку, которые въ воскресенье обыкновенно попадаютъ по дорогамъ, возвращаясь изъ мѣстечекъ, куда они прѣзжаютъ «до косяцѣу, або до церкви». Жизнь полей заявляла себя однимъ лишь свистомъ

снѣжнаго крутень, но ни одного птаха, ни одного галченка, ни единой даже старой карги-вороны не видѣлось по краямъ дороги, все это позапирталось, куда Богъ привелъ и, нахохлясь да утыкнувши носъ подъ крыло, пережидало, когда-то наконецъ утихомирится эта скучная непогода.

Не доходя восемнадцати верстъ до Свислочи, отъ эскадрона постепенно стали отдѣляться его взводы. Вотъ и перекрестокъ дорогъ, обозначившійся давно-знакомымъ крестомъ съ рѣзнымъ изображеніемъ «пана Іезуса», на которомъ трепался подъ вѣтромъ цвѣтной лоскутъ пелены, подвѣшенный въ видѣ юбки чьею-то благочестивою рукою; на крышечкѣ, осѣняющей фигуру Христа, и на поперечныхъ брускахъ тяжело нахлобучило цѣлыя шапки пушистаго снѣга. У этого перекрестка отдѣлился первый взводъ и свернулъ по дорогѣ къ своимъ квартирамъ, назначеннымъ ему въ одной изъ деревень на первые два зимніе мѣсяца. Пройдя нѣсколько верстъ, отдѣлились третій и четвертый, потомъ второй, такъ что со мною остался только эскадронный штабъ, учебная эскадронная команда, да еще команда молодыхъ, дурноѣзжихъ и худоконныхъ лошадей, которые требовали особенной выправки и ухода въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ, подъ непосредственнымъ надзоромъ эскадроннаго командира.

— Ваше благородіе! — подбѣхалъ ко мнѣ вахмистръ, — позволте людямъ пѣсни поиграть! Очинно желаютъ!

— Пѣсни! Да гдѣ же пѣсенники-то? вѣдь всѣ почти разбрелись со взводами?

— Это ничего-съ, кое-кто наберется, да впрочемъ, теперича кто и не пѣсельникъ такъ и тотъ будетъ орать—больно забко ужъ!

— Пускай ихъ, коли охота!

— Вали, ребята! — одобительно махнулъ имъ Скларовъ, какъ видно, довольный полученнымъ разрѣшеніемъ.

Ребята подбодрились, отряхнулись и «повалили», хотя безъ бубновъ, которые отсырѣли отъ мокрети и, значитъ, не могли уже дѣйствовать; зато яркая махалка съ мокрыми лентами ходила съ большей противъ обыкновеннаго энергіей, и мѣдныя тарелки отбивали тактъ, словно бы звономъ своимъ желали пересилить свистъ завихрухи.

Ай, да раскудрявъ, кудравъ, кудравъ-да
Прраскудрявая моя!

отчеканивали громкіе и бойкіе голоса развеселую пѣсню про вешнюю зеленую березыньку.

Нечего сказать, и пѣсня какъ разъ по сезону!..

А крутень завивается да лѣпнеть хлопьями въ глаза и знать себѣ ничего не хочетъ!

Но вотъ, порою на минутку словно бы и притихнетъ вѣтерокъ, и хотя снѣжина все-таки валитъ себѣ хлопьями, но сквозь этотъ снѣжный

вуаль можно какъ будто и распознать длинную-преддлинную полосу, которая слѣва чернѣется впереди на дальнемъ горизонтѣ: это выступаютъ окраины громадной пуши, въ глубинахъ которой бродятъ, какъ послѣдніе Могикане вымирающей породы, могучіе зубры Бѣловѣжи.

Вотъ и деревня Рожки съ заброшенной панской усадьбой, отданной на аренду еврею со всѣмъ ея садомъ, бельведеромъ, бесѣдками и прочими затѣями панскаго досужества. Дуплистые корявые ветлы какими-то уродливыми бородавками красиво торчатъ по берегу болотистаго и запруженнаго ручья. Этотъ ручей, изобилующій карасями и жабами, сплошь заросъ камышомъ и гибкими кустами тонкаго лозняка, который красноватыми прутьями своими выдѣляется на свѣжномъ фонѣ всей картины, вмѣстѣ съ черными, помпонавидными шишками камыша, почему-то напоминающими мнѣ своимъ видомъ артиллерійскіе банники. Изъ-за садовой ограды глядятъ высокія, древнія деревья съ черными гнѣздами, грустно и задумчиво перевѣсившіеся на дорогу своими вѣтвями, которыя никнутъ чуть не до земли, отягченные насѣвшими на нихъ комьями снѣга.

Команда наша вступаетъ на низенькій, дырявый мостикъ.

— Подъ ноги!—кричитъ по обычаю вахмистръ, остерегая людей, чтобы тѣ внимательнѣй слѣдили, какъ бы часомъ которая лошадь не застряла копытомъ, да не покалѣчилась бы въ мостовой продолбнѣ.

Своротили влѣво, а тамъ въ трехъ верстахъ ужъ и Свислочь видна, со своимъ каменнымъ обелискомъ, костельною башней и каменными воротами, поставленными при вѣздѣ, въ родѣ какой-то триумфальной арки. Вотъ знакомая соновая рошца, гдѣ водятся бѣлки; вотъ озерко небольшое, гдѣ мы бывали утокъ; вотъ кладбищенская роща, среди которой бѣлѣются стѣны каплицы, а вотъ наконецъ и она, неизмѣнная жидовская корчма, которая, убоясь изобильной конкуренціи въ самомъ мѣстечкѣ, хитровато выскочила за околицу и, подмигивая своими подслѣповатыми, окривѣлыми оконцами, какъ бы говоритъ каждому мимоидущему: «зжвините!.. хоць на ёденъ килишекъ!»

Вдоль по улицѣ метелица мететь,—
За метелицей уланина идетъ!

свищетъ и щелкаетъ, и гаркаетъ, и ухаётъ моя команда,—и съ этой пѣсней, вся запущенная и занесенная снѣгомъ, вся бѣлоусая, бѣлобровая, бѣлобордая, вступаетъ на улицу мѣстечка, по которой въ эту минуту дѣйствительно мететь разлихая метелица.

Еврейское сердце не камень: слышавъ знакомые звуки, всѣ эти Лейбки и Мошки съ Басками и Рашками, и со всѣмъ племенемъ и потомствомъ выскажутъ, въ чемъ ни попало, за пороги своихъ домишекъ и, потряхивая пейса-

ми, да скаля улыбкамы зубы, кланяются, кланяются и ныряютъ впередъ головами и бородаками, и съ розовою мысью о предстоящихъ гандлахъ и гешефтахъ встрѣчаютъ насъ своими привѣтствіями:

— А! гхэто ви-и... Сштари зжнабѣди! Пэрвши сшквadroонть!.. Зждрастуйте вамъ! зждрастуйте вамъ!.. Мы такіи радыи вамъ, сшто ви изновъ попереходзили дѣ насъ!.. Зъ зжимнимъ кварталомъ!.. Дай вамъ Бозже!..

На площади команда останавливается, и квартирьеры разводятъ ее по конюшнямъ.

Самая «вальготная» стоянка для солдата—это, безспорно, стоянка «во взводѣ», т. е. въ той глухой деревушкѣ, брошенной въ какую-нибудь, часто непроѣздную и невылазную трущобу, гдѣ назначено стоять его взводу. Иногда взводъ разбивается и на двѣ смежныя, ближайшія деревушки. Начальства надъ нимъ тутъ всего лишь одинъ взводный вахмистръ, и службой его несравненно менѣе донимаютъ. Иногда бываетъ и такъ, что одинъ эскадронъ раскинется по широкимъ квартирамъ верстъ на двадцать разстоянія. Придетъ солдатъ на зимнюю стоянку и станетъ, конечно, къ знакомому хозяину, гдѣ стоялъ онъ и прошлую, и позапрошлую зиму. Въ этой курной хатѣ онъ свой человѣкъ, особенно если полюбилися хозяйкѣ или хозяйской дочкѣ: его такъ уже и считаютъ своимъ человѣкомъ. Накормятъ его чѣмъ Богъ послалъ, но ужъ конечно тѣмъ, что и сами ѣдятъ, и не ихъ вина, если ѣдятъ они испоконъ вѣку плохо кромѣ картошки да гороху ничего не смакуючи; развѣ что когда къ Рождеству да къ Святой «кабаны поколятъ», то тогда и борщъ со свиной, и кашу съ саломъ на столъ подадутъ, а въ обыкновенное время все больше картофелевою «затиркою» да кулешикомъ пробавляются. Литовско-русскій крестьянинъ просто поражаетъ глазъ непривычнаго человѣка своимъ хилымъ, болѣзненно-блѣднымъ, робко-забитымъ и какъ бы отошалаемымъ видомъ. Виною этому, кромѣ нравственнаго гнета недавнихъ временъ польской панщины, служить конечно его скудная, малопитательная пища, при изнуряющемъ мускульномъ трудѣ надъ малоблагодарною почвой. Но этотъ забитый хлопъ очень добродушенъ и радушно дѣлится съ солдатомъ своей картошкой. Жонка или дочка его непременно моетъ бѣлье и къ празднику—гляди—сошьетъ ему сорочку, или по здѣшнему «кошулю»; а постоялецъ, чѣмъ можетъ—помогаетъ по хозяйству: дровъ нарубитъ, лучинъ для свѣтца надеретъ, воды наноситъ,—и живетъ такимъ образомъ хлопъ съ солдатомъ весьма дружелюбно, удѣляя ему и мѣсто за столомъ, и уголь на печкѣ, и часто «прощаетъ», т. е. даритъ солдату его паекъ казенный.

Солдатъ сегодня къ вечеру пришелъ на квартиру, а завтра утромъ первымъ дѣломъ устро-

илъ конюшню, на которой всегда стараются поставить хоть по парѣ лошадей, потому что по замѣчанію кавалеристовъ. конь скучаетъ и плохо ѣсть, если одинъ стоитъ. Затѣмъ раза два въ недѣлю взводный вахмистръ сдѣлаетъ ѣзду своему взводу, раза два соберетъ «грамотную команду» и «въ книжку почтывать» заставить, а остальное время у солдата свободно, за исключеніемъ утренней и вечерней уборки коня, задачи корма, да водопоя: онъ себѣ и тачаетъ сапоги, либо портняжить, либо столярить и черезъ то кой-какую деньгу зарабатываетъ.

Но нѣтъ хуже для него стоянки, какъ у жи-довъ на квартирѣ, что неизбѣжно случается въ мѣстечкахъ.

Еврейская семья можетъ довольствоваться неизмѣнно малой долей самой непрѣзливой пищи: фунта два хлѣба, селедка да нѣсколько цыбукель — вотъ и все дневное пропитаніе. Только къ шабашу приготовить они себѣ пищу получше: щуку маринованную или фаршированную съ перцемъ, кугель запекутъ; но это пища «коширная», т. е. чистая, и солдату ее не дадутъ отвѣдать. Вообще, солдату еврей не дозволитъ сѣсть за тотъ столъ, за которымъ самъ онъ сидитъ съ чадами и домочадцами: солдатъ ѣсть «трефное», и все, что ни исходить отъ него, есть «трефъ», поэтому прикосновеніе къ коширному столу, коширной ложкѣ, тарелкѣ, къ коширной посудинѣ неизбѣжно «потрефитъ» ихъ, т. е. осквернитъ и сдѣлаетъ негодными къ употребленію. Для солдата еврей заводятъ особый горшокъ, въ которомъ особо варятъ ему пищу, избѣгая по возможности даже въ самой печи ближайшаго сосѣдства горшка трефнаго съ горшками коширными. Когда солдатъ ѣсть, то свою посудину онъ долженъ поставить либо на лавку, либо на какое-нибудь особое приспособленіе, въ родѣ скамейки, табурета, чурбана, но никакъ не на тотъ столъ, за которымъ ѣдятъ сами евреи, исключеніе допускается только въ корчмахъ, гдѣ непременно имѣются трефные столы, предназначенные для нечистыхъ «гоевъ», къ числу которыхъ относятся всѣ, кто не суть евреи. Въ мѣстечкахъ живутъ иногда и не совсѣмъ-то бѣдные евреи, которые держатъ свои лавки, занимаются какимъ-нибудь болѣе или менѣе опредѣленнаго свойства «гандломъ» и потому имѣютъ возможность питаться чѣмъ-нибудь лучшимъ, нежели селедки и цыбульки; и дѣйствительно, они несравненно менѣе отказываютъ себѣ въ болѣе лакомомъ и питательномъ кускѣ; но опять-таки этотъ кусокъ никакъ не для солдата. Хлопъ, по крайней мѣрѣ, дѣлится съ солдатомъ тѣмъ, что и самъ ѣсть, жидъ никогда не подѣлится, никогда не отольетъ долю своей похлебки изъ своего коширнаго горшка въ трефной горшокъ солдатскій; для солдата онъ все-таки готовитъ особую пищу, и эта послѣдняя несравненно хуже и

скуднѣе его собственной. Горячую воду въ горшкѣ замутитъ еврейка ложкой муки, покрошитъ одну цыбульку, кинетъ нѣсколько картофелинъ и предлагаетъ это яство солдату. Любимъ—не любишь, а ѣшь, потому что ѣсть хочется! Солдатъ вообще терпѣливъ и рѣдко когда жалуется, но постой у евреевъ иногда возбуждаетъ между солдатами сѣтованія и жалобы справедливыя.

— Ужъ не то обидно,—говорятъ они,—что кормятъ тебя чортъ знаетъ какою бурдой, а то обидно, что эту самую бурду нѣтъ того, чтобы тебѣ поставили по-людски: на, вотъ, молъ, солдатъ, поѣшь, чего Богъ послалъ; не взыщи, что пусто!—Нѣтъ вѣдь, подлая! Сунуть ее тебѣ подъ носъ, словно какъ псу какому лядашему! Сама сунетъ, а сама такъ этта зирнѣтъ на тебя, словно бы говоритъ: на, жри, собака! да подавись ты, окаянный!—Вотъ что обидно, коли по человѣчеству судить-то!

Это самое обстоятельство часто служитъ мотивомъ ссоръ между постояльцемъ и еврейско-хозяиномъ. Разъ, помню, былъ такой случай: довольно зажиточный еврей—лавочникъ и домовладѣлецъ—долгое время кормилъ постояльца изъ рукъ вонъ плохо! Солдатъ терпѣлъ, терпѣлъ да и не выдержалъ: взялъ, однажды, свою посудину съ бурдой да и понесъ къ эскадронному командиру: извольте, молъ, посмотреть, выше выскоблагородіе, чѣмъ меня изодня-въ-день кормятъ!—Майоръ попробовалъ, и точно: мерзость была невообразимая! Призвалъ онъ къ себѣ еврея-хозяина и внушилъ ему, что коли самъ ѣшь вкусно, такъ и стыдно, и грѣшно обдѣлать постояльца, который ничѣмъ не виноватъ, что ему довелось стать сюда постоемъ. Но еврею хотъ колъ на головѣ теши! Гдѣ бы урезониться, а онъ, кажись, еще хуже сталъ продовольствовать солдата. Тотъ терпитъ день, терпитъ другой, а на третій озлился, и только-что ему ткнули подъ носъ горшокъ съ холодною бурдой, онъ попробовалъ, видитъ, что плохо, всталъ и, не говоря дурного слова, вылилъ сполна этотъ горшокъ на покрытую парикомъ голову «мадамъ Пейсахъ-вой». Евреи всполошились. Всполошился весь родъ ихъ и племя, вся родня и знакомые!—«А! сшьволочъ, тибѣ тѣразъ будутъ до Сибири спправляцъ! Гхарасно!»—и идутъ всѣмъ кагаломъ жаловаться къ эскадронному командиру, но здѣсь они встрѣтили отпоръ, и отпоръ вполне справедливый, потому что взыскивать за самоуправство съ солдата, который раньше этого употребилъ единственный оставшійся ему законный путь, съ солдата, доведеннаго голодомъ до такого проявленія своей досады,—едва-ли было бы политично. Евреи хотѣли было подымать цѣлое дѣло, но убоялись расходовъ на протори и убытки, и потому остались при однѣхъ лишь угрозахъ.

Солдатъ не любитъ становиться постоемъ къ

еврею. И не столько оттого онъ этого не любить, что его тамъ дурно кормятъ (дурно кормятъ и у хлопа, хоть и все же чуточку лучше), но не любилъ онъ «жидовскаго постоя» потому, главнѣйшимъ образомъ, что у еврея онъ встрѣчаетъ какое-то гадливое и слишкомъ презрительное отношеніе къ своей человѣческой личности. Еврей считаетъ себя выше, чище, аристократичнѣе солдата, которымъ онъ думаетъ всегда помыкать, если только солдатъ имѣетъ такую недолую, что станетъ на еврейскую квартиру. Въ прежніе годы въ этихъ случаяхъ употреблялся авторитетъ силы со стороны начальства: нынѣ онъ отнюдь не употребляется. Въ принципѣ оно очень хорошо, но на практикѣ солдату приходится отъ этого гораздо плоше, чѣмъ прежде. Помочь горю можно однимъ: полною отмытой широкихъ квартиръ на обывательскихъ хлѣбахъ и замѣною ихъ если не казарменнымъ, то хотя бы тѣснымъ расположеніемъ съ пищей изъ котла, при чемъ солдатъ постоянно имѣетъ на свою долю говяжій супъ, щи или горохъ съ четвертью фунта мяса и кромѣ того кашу съ масломъ или саломъ. Теперь мы зачастую являемся свидѣтелями такихъ фактовъ, что солдатъ, въ теченіе пяти, а иногда и шести мѣсяцевъ зимней стоянки на широкихъ квартирахъ, принужденъ питаться одной вареной картошкой. Подумайте, насколько вслѣдствіе этого у насъ увеличивается общій процентъ слабосильныхъ людей! Вѣсну и лѣто, довольствуясь изъ котла, солдатъ ѣстъ хорошо; но въ это время у него и работы по горло, въ особенности же въ кавалеріи, гдѣ надо о лошади думать прежде, чѣмъ о себѣ. Остается зима: гдѣ бы солдату поправиться, понабраться силы, а онъ ѣстъ одну картошку, да картошку да тѣюрю съ цыбулкой, да кулешекъ, да затирку, а мясо видѣть только на Великій праздникъ, да и то не у всякаго хозяина!.. И это—почти общее свойство зимнихъ стоянокъ Сѣверо-Западнаго края. Конечно, встрѣчаются иногда почти цѣлыя волости, какъ напримѣръ Шимковская въ Волковыскомъ уѣздѣ, которыя представляютъ собою исключеніе, но... это все-таки *исключеніе*, весьма счастливое и потому весьма рѣдкое. Въ теченіе зимней стоянки, эскадронъ въ отведенномъ ему районѣ мѣняетъ черезъ каждыя шесть-восемь недѣль мѣста своего расположенія: взводы переходятъ изъ волости въ волость на новыя квартиры, и это дѣлается для того собственно, чтобы не слишкомъ обременять обывателей одной какой-либо довольно ограниченной мѣстности. Одинъ только «эскадронный дворъ» или «штабъ» остается неизмѣнно въ одномъ и томъ же мѣстѣ во всю зимнюю стоянку, напр. въ Свислочи, въ Великихъ Брестовицахъ, въ Скиделѣ, въ Закревицѣ; взводы же непремѣнно мѣняютъ свои квартиры въ прилежащихъ окрестностяхъ. Но солдату, за весьма нечастыми исключениями, отъ этого отнюдь не лучше: вездѣ и

повсюду та же тѣснота, та же затирка и картошка, тѣ же отвратительныя гигиеническія условія для жизни!.. И стало быть, выходъ изъ подобнаго положенія только одинъ: если не казарменное, то тѣсное расположеніе съ довольствіемъ изъ артельного котла. Широкое расположеніе имѣетъ еще много и другихъ неудобствъ, весьма существенныхъ для военнаго дѣла: для грамотности, для развитія и образованія солдата въ чисто военномъ отношеніи, для постоянной практики въ военныхъ упражненіяхъ и проч. И какъ теперь, такъ и всегда, результатъ естественно-будетъ выходить одинъ и тотъ же: необходимость тѣснаго, сборнаго расположенія эскадрона или роты.

И такъ, мы въ Свислочи, среди обширной, четырехугольной базарной площади этого мѣстечка, сплошь обставленной старинными еврейскими домами и домишками съ высокими острогребенными кровлями.

— Гдѣ же мнѣ квартира отведена?

— А вотъ, пожалуйста, ваше благородіе! — говоритъ, руку подъ козырекъ, нашъ квартирьеръ. Пожалуйста со мною! Сюда вотъ, на Брестскую улицу! Подъ ваше благородіе намъ отвели у Кудлаковскихъ.

Брестская улица представляетъ собой довольно длинный, прямой и широкий проспектъ, въ концѣ котораго вырисовывается силуэтъ католической каплицы съ легкой башенкой, а по бокамъ ея двое каменныхъ триумфальныхъ арокъ, и надъ ними по сторонамъ возвышаются купы древнихъ тополей, вязовъ и грабовъ. Такая улица—хоть и въ губернскомъ городѣ, такъ ничего бы себѣ. Бѣлые деревянные домики съ крылечками и бѣленья хатки, иногда съ палисадниками, тянутся по бокамъ этой улицы. Въ одномъ изъ такихъ домиковъ помѣщается отведенная мнѣ квартира.

Панъ Кудлаковскій—старый ветеранъ польскихъ войскъ; у него имѣются «стара-пани» — его супруга и двѣ «дцурки» — довольно зрѣлыя и нѣкогда, быть можетъ, недурненькія дѣвы; у двухъ же дцурокъ есть «канарекъ у клятцѣ» и «панталюны», т. е. канарейка въ клѣткѣ и «панталюны», т. е. разбитыя клавикорды, иногда съ черными клавишами вмѣсто бѣлыхъ и съ бѣлыми вмѣсто черныхъ, что нерѣдко встрѣчается въ Свислочи; и все это есть у нихъ непремѣнно, потому что безъ «канарка у клятцѣ», безъ олендра на окнѣ и безъ этихъ маусайловыхъ «панталюновъ», невозможно даже и вообразить себѣ ни одного шляхетнаго дома въ Свислочи.

Черезъ темныя стѣны вхожу въ отведенную мнѣ половину—бррр!.. какъ это все здѣсь холодно, мрачно и неприглядно!.. Самъ панъ со своей семьей ютится въ другой, удобообитаемой половинѣ дома, мнѣ же отвели половину, никогда никѣмъ необитаемую уже довольно долгое время и существующую почти исключительно

для военныхъ офицерскихъ постоевъ, либо же для склада на зиму кое-какихъ хозяйственныхъ припасовъ. Мнѣ за это, конечно, нѣтъ ни малѣйшей надобности—да нѣтъ и права—быть въ претензіи на пана Кудлаковского, но темнота, холодъ и неприглядность все-таки остаются, и надо позаботиться о томъ, чтобы какими ни-на-есть судьбами изгнать ихъ отсюда поскорѣе: въ одномъ окнѣ отбита часть стекла—заткнемъ его покуда хоть сѣномъ. Двойныя рамы не вставлены, и потому около оконныхъ переплетовъ образовались ледяные бугры, залушеченные снѣжнымъ налетомъ и съ виду напоминающие прекраснѣйшій, рафинированный сахаръ; стѣны тоже покрыты серебрищимся снѣжнымъ налетомъ. Видно, что комната эта ни разу еще съ лѣта не топлена и потому выстудилась и находилась до того, что самыя стѣны ея наружныя насквозь промерзли. Послалъ къ хозяевамъ за дровами.

— Не отпускаютъ дровъ, ваше благородіе... не желаютъ!

— Поди и купи у нихъ! Скажи, мы деньги сейчасъ же заплатимъ.

Пошелъ въстовой и черезъ малое время вернулся.

— Пожалуйте деньги-съ, ваше благородіе... Неси, говорятъ, деньги, тогда отпустимъ... Злеть за вязанку требуютъ.

Однако, не любезенъ же панъ Кудлаковский: хотя, въ сущности, и обязанъ бы по положенію отопить мнѣ комнату, но ужъ не говоря про то—ни за что, ни про что, и даже не зная меня вовсе, на одну вязанку дровъ не желаетъ оказать кредита; видно, хочетъ выморозить постояльца-москаля вмѣстѣ со своими тараканами. Выдалъ я два злотыхъ и приказалъ на всякій случай притащить двѣ вязанки. Мебели въ квартирѣ не оказалось никакой, за исключеніемъ чего-то въ родѣ конторки или шифоньерки—вещь, которая рѣшительно никуда и ни къ чему не была мнѣ пригодна въ настоящемъ моемъ положеніи.

— Бочаровъ! сходи къ хозяевамъ и скажи, что я прошу прислать мнѣ какой-нибудь столъ и стулъ, что здѣсь даже сѣсть не на чемъ.

— Вѣжливо прикажете просить, ваше благородіе?—отозвался въстовой.

— Всенепремѣннѣйше вѣжливо! никакъ не иначе!

— Слушаю-съ!

Повернулся и ушелъ, а черезъ минуту возвращается!

— Изволятъ просить, ваше благородіе!

— Ну, и что-жь?

— Я даже очинно великатно-съ... но только аны не изволятъ соглашаться—потому, говорятъ, ничего у нихъ лишняго нѣту.

— Поди еще разъ и скажи, что они обязаны по положенію дать мнѣ необходимую мебель.

— Слушаю-съ!.. Но только... теперича...

Бочаровъ видимо заминался.

— Въ чемъ дѣло, братецъ?

— Да я... опять-таки насчетъ того, ваше благородіе, какъ то-есть на этотъ разъ просить прикажете?—опять-таки вѣжливо-съ?

— Да что это у тебя за вопросъ, любезный! Какъ же иначе, если не вѣжливо?

— Напрасно-съ, ваше благородіе... потому они по чести ничего этого не желаютъ, а все поровнять какъ бы это съ гвалту, чтобы жалиться потомъ на насъ! Ужъ я вѣдь знаю ихняго-то брата!

— Ну, вотъ, потому-то и проси вѣжливо! вдвое, втрое, вдесятеро вѣжливѣй!

— Слушаю-съ!

Постъ пятиминутныхъ переговоровъ Бочаровъ возвратился и какъ-то странно ухмыляется.

— Пожалуйте деньги ваше благородіе.

— Затѣмъ?.. Какія деньги?

— Потому какъ я изволятъ вамъ докладывать, что они либо съ гвалту, либо за деньги, а по чести никакъ не желаютъ.

— Что это, братецъ, за вздоры ты рассказываешь?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе!—солидно сталъ оправдываться Бочаровъ.—Я у нихъ просилъ, а аны говорятъ, у насъ нѣту. Я имъ: какъ же, молъ, нѣту, коли комнаты у васъ полнымъ-полнешеньки,—и стулья и диваны? А это у насъ, говорятъ, для своей, для хозяйской надобности; а что ежели вы, говорятъ, насчетъ закону, такъ мы, говорятъ, свой законъ исполнили и этихъ самыхъ мебели въ вамъ поставили.

— Гдѣ же эта мебель, и куда они ее поставили?

— А вотъ этотъ самый чортовъ тычекъ, ваше благородіе!—кивнулъ въстовой на стоявшую въ углу шифоньерку.—А что ежели вамъ угодно брать, говорятъ, съ гвалту, на разбой, такъ это мы со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ—хоть весь домъ на клочки разнесите!.. Одначе я имъ на это докладываю, что силкомъ ихъ благородіе не желаютъ, а просятъ васъ по чести. А по чести у насъ, говорятъ, нѣту! А вы, говорятъ, либо съ гвалту, либо за деньги въ наймы—полтора рубля на мѣсяцъ прокату.

Какъ ни странно было заявленное мнѣ желаніе, чтобы мебель была взята мной насильно, но кто знаетъ отношенія мѣстнаго мелкаго шляхетства ко всякимъ представителямъ «силы наяздовой» въ томъ краѣ, тотъ пойметъ и подкладку, затаенную сущность такого желанія: возьми я насильно необходимую мнѣ мебель—панъ Кудлаковский ни къ какому начальству, ни къ какой власти не пошелъ бы на меня жаловаться; но онъ вмѣстѣ со своей пани и паннами изъ всѣхъ бы силъ принатужился и пошелъ трубить да благовѣститъ на вся веси и дѣбри, ко всѣмъ «родѣкамъ» и «знаемымъ»,

что вотъ, молъ, каково наше положеніе! вотъ какое насиліе! вотъ въ какихъ условіяхъ обречены мы влечить наше существованіе! и т. д. въ подобномъ же родѣ. Панъ Кудлаковскій имѣлъ бы случай, благодаря мнѣ, очень долго изображать изъ себя жертву вечернюю и увѣ!—этого-то счастливаго случая я и лишилъ его!..

Принесли на прокатъ столъ и два стула; затопили печку, но дымъ изъ нея повалилъ такой, что давай Богъ только поскорѣе всѣ двери настежь! Долго мы мучились съ этой злосчастной печкой, пока-то, наконецъ, кое какъ отогрѣлась она, но ужъ зато и накалили жъ ее такъ, что хоть бы доброй банѣ въ пору. Закрыли вьюшки—угаръ, и значить, снова дверь настежь. Самоваръ уже кипѣлъ на столѣ, но съ сегоднѣшнимъ утромъ вышли всѣ мои сѣдобные запасы, а ѣсть хочется. Знаю я, что въ Свислочи обрѣтается нѣкая пани Генальска, у которой въ прошлыя стоянки «столовались» наши офицеры. Посылаю къ ней вѣстового съ деньгами и съ просьбой сварить мнѣ сейчасъ же ухи или супу (ибо трое сутокъ питался, что называется, въ сухоматку), да за-одно ужъ узнать, сколько возьметъ она съ меня въ мѣсяцъ, за столованье.

— Не желаетъ, ваше благородіе!—докладываетъ, возвратясь, мой посланный.—Совсѣмъ не желаетъ.

Это начинало дѣлаться досаднымъ. Да и что такое, въ самомъ дѣлѣ, всѣ и вся не желаютъ да не отпускаютъ, словно бы нарочно стогорились!

— Что же говорить она?—спрашиваю,—почему именно не желаетъ?

— Да говорить, что... что-жъ мнѣ, говорить, изъ-за тарелки супу ходить на базаръ, покупать говядину, алы рыбу тамъ, что-ли, коли базаръ ужъ давно кончился, и говядины можетъ нѣту, да опять же дрова палить, печь затоплять, да варить, да и мало ли что... много хлопотъ, говорить, ваше благородіе.

— Да ты сказывалъ ли ей, что ей деньги за это заплащать?

— Сказывалъ, ваше благородіе, какъ не сказывать! и даже очинно явственно показалъ ей рублевую бумажку, что вы дать изволили, но только она все же не желаетъ, хоть и деньги, потому, говорить, изъ-за пустяковъ хлопотъ больно много!

— Ну, а насчетъ столованья, какъ?

— Да... насчетъ столованья-то... тоже почитай, что не согласна. Кабы, говорить, четверо алы пятеро ихъ было, такъ оно бы ништо, а для одного—хлопотъ много... Развѣ что, говорить, стануть платить ровно что за пятерыхъ, тогда пожалуй... Нѣтъ ужъ, ваше благородіе, у этой Генальской—духъ ея канальскій... Я вѣдь ужъ ее знаю!.. Какъ есть лядашая баба, это такъ точно-съ!

«Грустно!» говорю себѣ, какъ Горбуновскій батюшка на панихидѣ,—«очень грустно», но ничего не подѣлаешь и сердиться нельзя, тѣмъ болѣе, что пани Генальска, со своей точки зрѣнія, права совершенно, и для чего ей, въ самомъ дѣлѣ, хлопотать и беспокоиться ради совершенно посторонняго человѣка, и притомъ москаля, когда эти хлопоты не принесутъ ей ровно никакихъ замѣтныхъ, существенныхъ выгодъ?

Надо, значитъ, самому о себѣ промыслить.

Вспомнилъ я, что по рекомендаціи приказчика конной почты, въ Свислочи есть «мадамъ Янкелева», которая «сшовой лямка держитъ зъ рижской вина и зъ увшекимъ припасомъ». Не выручить ли хоть эта благодѣтельница рода человѣческаго, думаю себѣ. Посылаю за мадамъ Янкелевой. Черезъ нѣсколько минутъ въ смежной горницѣ слышится чей-то женскій запыхавшійся голосъ и топотъ обтираемыхъ и стряхиваемыхъ отъ снѣга ногъ—и вотъ, вслѣдъ за этимъ, въ комнату ко мнѣ вдругъ, какъ чиненная бомба, влетаетъ что-то коренасто-приземистое, широкоплечее, короткошейное, задрипанное, заплѣднанное, и грязное—распрегренное.

— Здрасуйте вамъ!—возглашаетъ это нѣчто запыхавшимся голосомъ.

— И вамъ здравствуйте!—отвѣчаю я и начинаю приглядываться: передъ мной стояла и во весь широкій, крупногубый ротъ улыбалась, скаля прекрасные бѣлые зубы, нѣкая молодая особа женскаго пола, толстомысал, толстомордая, съ красными щеками, которые такъ и дрожали при каждомъ ея шагѣ, пылая несокрушимымъ здоровьемъ,—стоялъ этотъ крѣпышъ-карапузикъ и улыбаясь глядѣлъ на меня маленькими, бѣгающими и смѣющимися голубыми глазами. Голова ничѣмъ не прикрыта, волоса, какъ стрѣха, встрепаны и въ пуху, на плечахъ какая-то легонькая, порыжѣлая бархатная кофточка, въ которой, очевидно, она такъ и прибилъ-жала съ улицы.

— Это вы-то и есть мадамъ Янкелева?—спрашиваю я, рѣшительно не узнавъ ее въ первую минуту.

— Я?... Нѣтъ, жвините!..—громко засмѣялась и затараторила она звонкимъ, молодымъ, еврейско-гортаннымъ голосомъ.—Нѣтъ, я жене мадамъ Янкелева, я—Лейка Янкелювна, цурка мадамъ Янкелевой—мамзэлъ Лейка Янкелювна... Кохда зжъ ви не взнали мнѣ? У мнѣ зжъ еще есть братъ Ипекъ и сѣстра Рашка, и Рашка вже замужъ выходила и тоже сшовой лямка держитъ съ халспинкой и зъ сшитцомъ, и зъ увшекимъ матерьюмъ, и вже сшовой дитю вмѣетъ... И кохда-ви будице што пакипать зъ матерьюмъ, то ви въ Рашки пакипайтей!.. Сшпижалуста!

Тараторить—и здоровыя щеки ея при этомъ трясутся, а сама все улыбается, да бѣлый и

ровный рядъ зубовъ своихъ скалить. Выраженіе довольно открытое, и лицо можно бы было назвать даже симпатичнымъ, но—Боже, что-за грязь, что-за грязь, что-за сморщенная грязь! и что-за запахи!—на пять шаговъ такъ и разить «шилѣдкемъ» и «шибулькемъ».

— Очень пріятно познакомиться,—говорю,—возобновить то-есть старое знакомство?

Мемзэль Лэйка, стоявшая какъ трамбовка, или тумба какая, вдругъ дѣлаетъ книксъ и видимо старается изобразить его не безъ кокетства.

— И минѣ такъ сѣможъ... Отчинѣ даволна періятно!

— Ну, вотъ что, моя милая,—говорю ей,—минѣ ужасно ѣсть хочется.

— Ой, и минѣ такъ сѣможъ!—смѣется на это Лэйка. — Я вже пакушила, пакушила, и вже зновъ кушить гхочитца!.. Какъ пакушию, такъ и зновъ кушить!.. такъ и зновъ!.. Сшліово гхоноремъ!

— Что у васъ есть въ вашей лавкѣ?

— Увше есть.

— Ну, однако?

— Увше, сшто ни сгхочите!

— А напрімѣръ?

— Цилѣтки есть.

— Ну, это по твоему запаху слышно, что онѣ у васъ есть. А кромѣ селедокъ?

— Сширъ козлячій есть, сширъ гхалань-сипки, сшардынки есть—увше есть... Ай, нѣтъ! жввините!—вдругъ спохватилась она. — Вже нѣма ни сширъ, ни сшардынки, бо вже увше пакипили одъ пана Родовицкѣго, одъ пана зъ Гобаты, отъ пани Глиндзичъ—увше, увше вже пакипили и ницъ нѣма, толки сширъ козлячій есть!.. Ютро будзьмы до Бялштокъ пасицаць пакипать товару, то на чвартекъ увше будзиць у лявка! а до чвартекъ—ни!

— Ну, до четверга еще длинная пѣсня! А не можете ли вы какъ-нибудь достать мнѣ рыбы или говядины?

— Ри-иби, чи то гховьядины?... Мьеса? А на цо то мьеса?

— Сварить супъ или уху...

— Шюпъ, чи то уши?... Можно й шюпъ, можна й уши, але жъ на шшиводно вже не можна пакипить а-ни мьеса, а-ни рибовъ...

— Ну, да что же у васъ есть, наконецъ, кромѣ селедокъ да козлячяго сыру?

— Увше есть!—самоувѣренно шмыгнула носомъ мамзэль Лэйка и почесалась всей пятерней съ праваго бока по юбкѣ, — увше, сшто ни сгхочите!

— Это я уже слышала.

— А сшто ви слышала?—вдругъ любопытно встрепенулась дщерь Янкеля.

— Что у васъ все есть.

— А!.. а я думала, сшто друго!—разочарованно мотнула она головой и стала пере-

числять припасы своей лавки.—Мигдалъ есть, розинки, павидло, пукаты, щиколаты, пераники розмайтыхъ гатункевъ ¹⁾, увшѣ благоходны перипасы!.. Трухли есть!

— Какъ! даже и трюфели?—невольно изумился я.

— А такъ! Есть и трухли!—не безъ гордости похвалилась Лэйка.

— Да откуда жъ онѣ у васъ?

— На-асши!.. тутейши! Ихъ тутъ зѣ псомъ шукають...

— Какъ это зѣ псомъ?

— А такъ. Пѣсь гходитъ до ласу и увше нюгхаеть, нюгхаеть изъ носомъ сшвоимъ по зѣмю, — и увше такъ нюгхаеть и напотомъ роеть, роеть сшебѣ и зъ лапомъ сшвоимъ — увше такъ роеть и знагходитъ трухлю!.. А мы вже напотомъ егхо препаруемъ и одпусшаемъ до предажи. Можже гасшнининъ спиручникъ трухли гхоче?

— Коли другою нѣтъ ничево, неси хотъ трюфели, пожалуй!.. Да нѣтъ ли еще хотъ ялицъ-то у васъ?

— Яйки?.. А якъ жке-жъ!.. Яйки? — яйки есть! А сшколки яйковъ гхля пана?

— Десятка три неси: мнѣ надо и вѣстовыхъ моихъ накормить.

— Заразъ, заразъ, гасшнининъ спиручникъ! заразъ! — замахала руками Лэйка и бомбой стремительно вылетѣла изъ комнаты.

— Экъее претъ-то!—процѣдилъ во слѣдъ ей Бочаровъ изъ другой комнаты.

Вскорѣ явились у меня яйца, масло, трюфели и нѣсколько жидовскихъ булокъ, посыпанныхъ своеобразно-ароматическимъ сѣменемъ чернушки.

Вѣстовые мои устроили какими-то судьбами, что хозяйка позволила распалить въ своей кухонной печкѣ два-три полѣнца подъ таганкой, благодаря чему мы могли сварить трюфели на винѣ (благо, у меня былъ запасъ съ собою) и выпустили яйца на сковородку. Этой-то яичницей да трюфелями съ масломъ я и былъ сытъ, вмѣстѣ съ вѣстовыми моими. Только нельзя сказать, чтобы трюфели особенно понравились солдатамъ, потому что на другой день, послѣ обѣда, состоявшаго точно такъ же исключительно изъ трюфелей да яичницы, улегшись на постели, я слышу, какъ вѣстовые мои ѣдятъ въ другой комнатѣ и между собою разговариваютъ:

— Эка, подумаешь, прости Господи! что-то объ иной часъ ѣсть-то только приходится!—говорить Бочаровъ.

— А что? — отзывается ему рейткнехтъ Алешинъ.

— Да какъ же!.. Вдругъ этта теперича—вареная гнплушка съ дерева!.. И какъ это только господа могутъ ее ѣсть, ей-Богу!.. Чуд-

¹⁾ Различныхъ сортовъ.

но, братецъ ты мой! И какой въ ей скусъ?— ну, вотъ, какъ есть гнилушка съ березы!.. Право!

— Бочаровъ! — кликнулъ я его въ свою комнату.

— Чего изволите, ваше благородіе?!

— Что, братъ, не нравится кушанье-то?

Стоить и ухмыляется.

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе, потому скусу въ ѣмъ никакого...

— Ну, а Французы, братъ, за эту самую гнилушку большія деньги выручаютъ: рубля по три за маленькую баночку берутъ.

— И нѣшто имъ платять, ваше благородіе?

— Да еще какъ платять-то! Это самое что ни есть дорогое кушанье, а тебѣ вотъ не нравится!

Стоить мой Бочаровъ и недовѣрчиво ухмыляется по-прежнему.

— Шутить изволите, ваше благородіе,—ласково произноситъ онъ наконецъ, еле удерживая веселый смѣхъ и—нальво кругомъ выходитъ изъ комнаты.

Такъ мнѣ и не довелось убѣдить Бочарова въ тонкомъ гастрономическомъ достоинствѣ трифелей.

Базарный день въ Свислочи.

Каждый воскресный день въ Свислочи съ ранняго утра подымается особенное движеніе. Жидки торопятся выслать своихъ «агентовъ» на всѣ выѣзды и ближайшіе перекрестки дорогъ, ведущихъ къ мѣстечку. Это — въ нѣкоторомъ родѣ сторожевые посты «гандловаго люду». Но зачѣмъ такіе посты нужны свислочскому люду гандловому? Нужны они зачѣмъ, чтобы перенимать на дорогѣ крестьянъ, доставляющихъ на базаръ свои сельскіе продукты. Везетъ себѣ бѣлоголовый хлопъ на своемъ возу «каранкову», а то и цѣлую «корцову», бочку «оброку» или «збожа»¹⁾ и уже разсчитываетъ въ умѣ своемъ предстоящіе ему барыши, какъ вдругъ на послѣднемъ перекресткѣ налетаетъ на него съ разныхъ сторонъ ватага еврейскихъ «агентовъ». Хлопъ моментально оглушенъ, озадаченъ и закиданъ десятками вопросовъ, летящихъ въ перебой одинъ другому: «А что везешь? а что продаешь? а сколько каранковъ? а чи запродалъ вже кому? а чи не запродалъ?» Хлопъ не знаетъ, кому и что отвѣчать, а жидки между тѣмъ виснутъ къ нему на задокъ, карабкаются на возъ, лѣзутъ съ боковъ, и съ переду, останавливаютъ подъ уздцы лошаденку, тормозятъ ошалѣлаго хлопа, запускаютъ руки въ овесъ или въ жито, пробуютъ, смакуютъ, разсматриваютъ, пересыпаютъ съ ладони на ладонь и при этомъ хаотъ—непремѣнно, во что бы то ни стало хаотъ разсматриваемый товаръ, а другіе, — кто половче да поувертливѣе — насильно суютъ хлопу въ руку, въ карманъ, или

за пазуху сермяжки кое-какія деньжонки — и не столько денегъ, сколько запросилъ хлопъ, а сколько самимъ вздумалось по собственной своей оцѣнкѣ, которая, конечно, всегда клонится къ явному ущербу хлопа, и если этотъ послѣдній не окажетъ энергическаго сопротивленія, съ помощью своего громкаго горла, горячаго кнута и здоровыхъ кулаковъ, то та партія жидковъ, которой удалось, помимо остальныхъ агентовъ, всунуть въ руку продавца сколько-нибудь деньжонокъ, рѣшительно овладѣваетъ и хлопомъ, и его збожемъ, и его возомъ. Одинъ изъ одолѣвшей партіи вырываетъ уздцы лошаденки изъ рукъ своихъ противниковъ, что неизбежно сопровождается еврейскимъ «галласомъ», «гвалтомъ», ругатней и дракой; а другіе въ это самое время, взгромоздясь на крестьянскій возъ и нависнувъ на него съ боковъ, овладѣваютъ, какъ можно скорѣй, кнутомъ и вожжами, третьи отпихиваютъ и въ грудь, и въ плечи, и въ зубы, и куда ни попало азартно-наступающихъ агентовъ всѣхъ остальныхъ партій, и все это, разумѣется, происходитъ при оглушающемъ «гвалтѣ». Но чуть лишь передовому бойцу удалось высвободить уздцы и оглобли, какъ вожжи и кнутъ начинаютъ немилосердно хлестать лошаденку, которая, побрыкавшись малость, съ мѣста пускается вскачь, а жидки за нею, и рысью, и галопомъ, подобравъ полы хламидъ своихъ: «Ой-вай! ховай Божке!» — Передовой боецъ, въ припрыжку, охраняетъ уздцы и оглобли отъ новыхъ враждебныхъ покушеній, за что ему безпрестанно попадаетъ то въ спину, то въ шею. Возница, овладѣвшій вожжами, дергаетъ и понукаетъ кляченку, отмахиваясь кнутомъ на всѣ стороны, остальные же съ понукательными

¹⁾ Каранковая бочка=112 казеннымъ гарнцамъ, а корцовая=156 казен. гарнц. Оброкъ — овесъ, збоже—жито, рожъ, вообще зерновой хлѣбъ.

криками: «Фарь!.. фарь-фарь!» ⁴⁾ съ высоты съ бою взятаго воза спихиваютъ цѣпляющихся за «дробины» жидковъ и, наконецъ, удаляются съ торжествомъ побѣдителей отъ преслѣдующаго непріятели, который, видя уже, что дальѣйшее преслѣдованіе будетъ вполне бесполезно, ограничивается одною крупною перестрѣлкою брани, посылаемой въ догонку противнику, торжествующему свой новый «выгодни гешэфтъ». Хлопъ тоже пытается протестовать противъ побѣдителей, но тѣ не слушаютъ его и знай-себѣ гонять кляченку и въ хвостъ, и въ гриву, направляя ее прямехонько-таки въ ворота своего собственнаго «заѣзднаго дома». Чуть лишь въѣхали въ глубину двора—ворота тотчасъ же на запоръ—и недоумѣвающий, одурѣлый отъ гвалта и галласа хлопъ оказывается въ буквальный плѣну у своихъ побѣдителей. Кричи и ругайся тутъ себѣ, сколько хочешь—никто тебя не услышитъ, никто не явится на выручку, ибо залпѣтыя двери и ворота налагаютъ на хлопа полный арестъ и преграждаютъ къ нему путь какой бы то ни было выручкѣ и подмогѣ. А станетъ хлопъ много артачиться—жидки и побьютъ его, такъ не дорого возьмутъ—ступай, ищи потомъ съ нихъ, коли битье безъ свидѣтелей было!.. Но бить хлопа—это уже крайность, прибѣгать къ которой жидки не любятъ, имѣя въ виду возможность возмездія, которое, рано-ли, поздно-ли, можетъ наступить для одного изъ ихъ компаній, со стороны односельчанъ оскорбленнаго хлопа. Для жидковъ гораздо выгоднѣе ласково, но немилосердно обобрать хлопа и остаться съ нимъ добрыми «прііяцѣлками»—«кабъ и на пришудъ одъ него гхарошій гандель имѣтъ». Въ силу этихъ соображеній, составляется обычная стратегіа слѣдующаго рода: прежде всего жидки торопятся сбросить на земь мѣшки съ овсомъ или житомъ, лишь бы только скорѣй съ возу долой, дабы потомъ имѣть ясное доказательство, что товаръ уже проданъ, на тотъ случай, еслибы несговорчивый хлопъ вздумалъ «упинаться» и еслибы какими-нибудь (впрочемъ, весьма трудными) судьбами удалось ему прибѣгнуть къ помощи власти или посторонняго лица. Последніе случаи весьма рѣдки, но прозорливый еврейчикъ всегда ужъ, ради собственнаго спокойствія, постарается оградить и обезопасить себя и свое дѣло со всѣхъ возможныхъ сторонъ. Затѣмъ, прежде чѣмъ приступить къ отмѣриванію и пересыпкѣ купленнаго товара, жидки подносятъ хлопъ, въ видѣ угощенія или «магарыча» одинъ и другой, а то, случается, и третій «келихъ» водки, и только тогда, какъ замѣтятъ, что добрая порція хмѣлю забрала уже голову хлопа, наведя на него нѣкоторый дурманящій туманъ съ

соотвѣтственной дозой сердечной мягкости и благодушія, они приступаютъ къ мѣрѣ и пересыпкѣ. Пока одни мѣрятъ, пересыпаютъ да отсыпаютъ, другіе стараются разными пріятными разговорами и распросами отвлечь вниманіе хлопа отъ совершаемаго дѣла, и этотъ маневръ всегда почти удается имъ какъ нельзя лучше. Зерно умышленно просыпается изъ мѣры на землю и спѣшно подметается метлами въ какой-либо укромный уголокъ, ибо просыпка этого рода въ общій счетъ нейдетъ, хотя въ концѣ концовъ и составитъ собою нѣсколько лишнѣхъ гарнцевъ, дающихъ возможность къ лишнему «гешэфту». Слова «кѣрець», «каранка», «шанекъ», «полкѣрець», «двѣ цверци», «двѣ шуснастки», «усьмъ лахурковъ», изображая собою различныя величины установленныхъ обычаемъ мѣръ,—величины крайне сбивчивыя при ихъ смѣшеніи и почти невозможныя для вычисленія точнаго отношенія одной мѣры къ другой,—градомъ сыплются изъ устъ отмѣрщиковъ и окончательно сбиваютъ съ толку одурѣлаго хлопа, который знаетъ, что всѣ эти мѣры точно существуютъ, но никакъ не можетъ съ-полньяна сообразить, что восемь лахурковъ осьмины совсѣмъ не идутъ въ одинъ счетъ и вперемѣшку съ четырьмя цверцами корца; онъ только чувствуетъ, что «жидюги» волей-неволей «закрутили съ нимъ гешэфта» и теперь оббегориваютъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, «во всю свою господарску волю!..» Но вотъ перемѣрка да пересыпка окончена, оброкъ спѣшно убранъ въ еврейскіе амбары, и хлопъ, ощущая ничтожность насильно всунутаго ему задатка, начинаетъ требовать окончательнаго расчета; но евреи съ крайнимъ удивленіемъ отвѣтствуютъ, что деньги-де уже получены имъ сполна, что никакихъ болѣе расчетовъ нѣтъ, и что надо, дескать, Бога не бояться, требуя съ нихъ вторично уже полученную плату. При этомъ, для окончательнаго ублаженія хлопа, ему иногда подносится еще одинъ келихъ водки; а буде хлопъ упинается—то расправа съ нимъ коротка: ворота настезь, оглобли поворочены и—въ шею! Озадаченный, раздосадованный, разочарованный и огорченный хлопъ посмотритъ жалостно на доставшіеся ему скудные грѣши, перекинетъ ихъ раздумчиво съ ладони на ладонь, почешетъ за спиною и, сообразивъ, что на такую ничтожную сумму не приобрѣтешь ничего путнаго для своего хозяйства, махнетъ рукой и повернетъ «до кѣрчмы», гдѣ и спуститъ до конца всю свою злосчастную выручку.

Такъ вотъ для какихъ гешэфтовъ гандловый людъ посылаетъ за околицы и на перекрестки своихъ агентовъ. Эти агенты разными маневрами стараются одинъ предъ другимъ скрытно и незамѣтно пробраться на болѣе отдаленные отъ мѣстечка пункты, дабы, занявъ тамъ выгодную позицію, перенять подѣвжаю-

⁴⁾ Пошоль, поѣжай!

шаго хлопа ранѣе своихъ конкурентовъ, и изъ этого выходить у нихъ тоже бои не малые.

Но что-за цѣль и что-за выгода у гандлового люда отбивать товаръ съ бою на перекресткахъ, вмѣсто того, чтобы спокойно покупать его на базарѣ? — Эту цѣль и эту выгоду я поясню сейчасъ же.

Коль скоро въ какомъ-либо мѣстечкѣ расположенъ на зимнихъ квартирахъ «эскадронный дворъ», то гандловый людъ всячески старается не допустить эскадроннаго командира и фуражмейстера до непосредственныхъ сдѣлокъ съ хлопотъ-продавцомъ овса. Евреи всегда набиваются на то, чтобы заподрядиться какъ-нибудь съ эскадрономъ на оптовую поставку овса и сѣна; но для эскадрона, въ свой чередъ, несравненно выгоднѣе бываютъ непосредственныя сдѣлки съ самими продавцами, такъ какъ тутъ весь товаръ на виду со всеми его качествами, да и покупается онъ изъ первыхъ рукъ гораздо дешевле. Если же командиръ, отвергнувъ посредство еврейской поставки, оплошаетъ почему-либо въ базарный день запасть въ полноѣ нужнымъ ему на недѣлю количествомъ овса, то жидки скупаютъ весь овесъ сполна и тогда уже сами наложить на него такія цѣны, съ которыми не въ состояніи будетъ потягаться самая высокая казенная «справка» а эскадронный и ѣзди тогда по помѣщикамъ, хлопочи да выбивайся изъ силъ, добываячи нужное количество фуража! Въ виду возможности такого «гешефта», жидки и стараются изо всехъ силъ не допустить хлопа до базарнаго мѣста, а захватить его на предупредительныхъ пунктахъ, дабы чрезъ то явиться самими, по возможности, господами дѣла и устранить конкуренцію эскадрона, ибо эта конкуренція для нихъ во всякомъ случаѣ очень опасна: эскадронъ всегда купить честно, не обижая хлопа, съ обоюдной выгодой какъ для себя, такъ и для продавца, а очевидность выгоды влечетъ этого послѣдняго къ прямой сдѣлкѣ «съ войсковыми» и, стало быть, выбиваетъ его изъ подъ гнетащаго экономическаго вліянія еврейской насильственной эксплуатаціи, самихъ же евреевъ лишая хорошаго «гешефта».

Таковой способъ дѣйствій гандлового люда заставляетъ и насъ, въ свой чередъ, высылать партикулярнымъ образомъ маленькія команды на передовые посты, за околицы и къ перекресткамъ. Назначеніе этихъ командъ — въ два, три или четыре человѣка каждая — состоитъ въ томъ, чтобы оберегать, по возможности, хлопа отъ жидовскихъ насилій и посягательствъ, чтобы не дать жидкамъ насѣсть на крестьянскій возъ, а самими проводить его мирнымъ порядкомъ въ мѣстечко, до базарной площади. Главныя внушенія вахмистра направлены при этомъ на одно, чтобы всячески избѣгать драки съ жидками, которые, въ свой чередъ, стараются затѣять побойще, дабы за-

ручиться существенными доказательствами, въ родѣ порванныхъ лапсердаковъ и расквашенныхъ фізіономій, при помощи которыхъ затѣять съ эскадрономъ безконечныя кляузы. Для подобныхъ экспедицій люди выбираются надежные, смысленные, разсудительные, при известной внушительной наружности, и, благодаря этому, наше обереганіе хлоповъ проходитъ всегда почти благополучно. Таковой образъ дѣйствій съ нашей стороны проливаетъ въ еврейскія сердца горечь и злобу противъ насъ не малыя и вселяетъ въ нихъ мысль о мщеніи разными каверзами, что иногда и удается имъ приводить въ исполненіе. Такъ-то вотъ мы и воюемъ съ ними изъ-за хлопскаго «оброка».

* *

Базарная площадь все болѣе и болѣе покрывается хлопскими «полукдшиками». Этотъ «полукдшикъ» есть не что иное, какъ плетеное изъ прутьевъ лозы подобіе корзины — полукорзинка, если перевести буквально. Съ одной стороны, плетенка загибается вверхъ настолько, что образуетъ спинку, или задокъ, въ который можно упереться спиною, по самую шею; другая, противоположная сторона, т. е. передокъ, загиба уже не имѣетъ, а отъ спинки къ передку идутъ, постепенно суживаясь, боковыя лопасти плетенки, которыя у передка смыкаются съ плетенымъ же днищемъ полукдшика. Такой-то полукдшикъ ставится лѣтомъ на колеса, а зимою на полозья и служить нехитрымъ экипажемъ для хлопа на всемъ Чернорусь. Каждый почти хлопъ, ѣдучи «до церкви, або до косяіолу», забираетъ съ собою и свою бабу, которая, обмотавъ себѣ голову червонной хусткой и ухитрившись, въ силу обычной моды, устроить изъ этой хустки какіе-то рога, торчащіе съ боковъ надъ ушами, сидитъ себѣ на задку полукдшика въ овчинномъ кожухѣ или въ сѣромъ «сукмянцѣ» и улыбается всемъ своимъ круглымъ курносимъ лицомъ, потому очень ужъ довольна, что «чоловікъъ узая іе у людъ». Самъ «чоловікъъ» сидитъ скорчившись на передку и править маленькой рыжей лошадкой, а сзади непременно уже увязался и бѣжитъ по дорогѣ не отставая ихъ дворовый песъ — какой-нибудь Рябко, Сѣрکو или Чернушка. Пока «чоловікъъ въ жонцей» будетъ стоять, въ церкви за обѣдней, Рябко взберется на сѣно въ полукдшикъ, сядетъ на хозяйское мѣсто и, ни за что не сходя съ него, станетъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ сторожить хозяйское добро, — такъ къ тому ужъ и приучены съ-измала всѣ эти Рябки съ Сѣрками. Базаръ начинается только послѣ обѣдни, и потому всѣ тѣ возы, которымъ удалось избѣжать еврейской атаки на передовыхъ постахъ, скупаются со всеми своими продуктами и издѣльями на площади, около высокаго каменнаго обелиска съ золоченымъ шпилемъ, который нѣкогда былъ воздвигнутъ здѣсь, Богъ-вѣсть

для какой надобности, прежнимъ владѣльцемъ мѣстечка, графомъ Тышкевичемъ. Иные изъ мужиковъ остаются «доглядать» свое добро, буде Сѣркѣ запропалъ куда, или не найдется добрый сосѣдъ-знакомый, на котораго можно было бы покинути возъ; но замѣчательно, что баба никогда сторожить не остается: она всегда идетъ «до церкви», ибо и вырядилась-то она въ «квату хустку» и «пацюрки»¹⁾ на шею навѣсила нарочно для этого случая. Тѣ же изъ болѣе зажиточныхъ крестьянъ, которые прѣзжаютъ сюда безъ торговыхъ цѣлей, а просто Богу помолиться, возами своими базарной площади не загромождаютъ: они ютятся какъ-нибудь по разнымъ корчмамъ и заѣзднымъ домамъ, и только въ томъ случаѣ, если исповѣдуютъ православную вѣру, оставляютъ возы подъ надзоромъ Рябковъ и Сѣрковъ у церковной ограды. Католики же передъ костеломъ коней своихъ не покидаютъ, хотя наружная сторона костельной ограды и бываетъ постоянно сплошь заставлена разными экипажами, въ родѣ возковъ, нетычанокъ, бричекъ и даже полуконшиками, но эти полуконшики принадлежатъ уже никакъ не хлопамъ: это все—панскіе экипажи и прѣзжаетъ въ нихъ «до косяцу» все то, что такъ или иначе считаетъ себя выше хлопа, начиная отъ окрестныхъ помѣщиковъ и кончая разными «ржондцами, дворовыми, бывшими войтами гминъ, егерями-полѣсовщиками и вообще «дробною шляхтой», ей же нѣсть конца и предѣла во всемъ Западномъ краѣ. Хлопы въ своихъ полуконшикахъ испоконъ вѣку ѣздятъ въ оглобляхъ съ дугою, шляхетскіе же экипажи всегда отличаются польскою упряжью «съ бичемъ».

Въ ожиданіи начала церковной службы, передъ оградой церкви и костела стоятъ разнообразныя, пестрыя группы крестьянъ: мужики въ чистыхъ полотняныхъ «кошуляхъ»²⁾, у которыхъ высокіе вороты, завязанные «стѣнжкой», т. е. красной шерстяной тесемкой, приподняты въ родѣ старинныхъ жабо или же выпущены, лежа поверхъ откидного овчиннаго воротника, широко лежащаго на плечахъ и спинкѣ сѣраго сукнина³⁾; на головахъ невысокія сѣрыя овчинныя шапки, а у болѣе щеголеватыхъ «дѣцюковъ» (парней) суконные картузы съ лакированными козырьками; на ногахъ смазные чоботы, въ которые впущены суконныя «ногавицы» (штаны); подпоясаны всѣ либо ремнями съ бляхою, либо шерстяными цвѣтными поясами. На бабахъ бѣлѣются сверхъ

«чепцовъ» позотняныя «наметки», а на дѣвущкахъ пестрѣютъ цвѣтныя хустки, въ видѣ рогатаго вѣнца со спущенными сзади концами, украшенные съ боковъ надъ ушами пучками зеленыхъ листьевъ и вѣтокъ подсолѣзника, руты или же яркими искусственными цвѣтами. Изъ-подъ сукмяновъ и кожушковъ у тѣхъ и другихъ видѣются шерстяныя юбки цвѣтовъ: синяго, зеленого, или зеленого съ краснымъ, а груди непременно украшены пестрыми «пацюрками», бисеромъ, коральками, монистами, спускающимися въ нѣсколько нитокъ съ шеп, вмѣстѣ со «скаплержемъ». Эти «скаплержи», представляющіе собою нѣчто въ родѣ медальончика, на которомъ по цвѣтному сукну вышито стеклярусомъ и бисеромъ символическое изображеніе имени «Іезуса» или «Святей панны Марии», служатъ знакомъ принадлежности къ какому-либо костельному братству и зачастую носятъ безразлично какъ католиками, такъ и православными крестьянами, на ряду съ мѣдными шейными крестиками и финифтяными образками.

Въ ожиданіи благовѣста, эти пестрыя группы хлоповъ и женщинъ, кто сидя, кто стоя, ведутъ между собою весьма чинныя и тихія бесѣды, потому что гадѣть, шутить и смѣяться до обѣдни почитается грѣхомъ и неприличіемъ: «до обѣдни смѣхъ та гомонъ—вялики грѣхъ та соромъ». Въ силу этого и выраженіе лицъ и улыбокъ носятъ хотя и праздничный, но скромный, сдержанный и даже важный характеръ. Разговоры тоже сдержаннаго характера: пытаются обыкновенно о здоровьи, о всходахъ (буде весною), объ урожаѣ (буде лѣтомъ), о хозяйствѣ, о состояніи домашняго скота, но никакъ не заведутъ разговоръ про какия бы то ни было дрязги и сплетни мелкожитейскаго или скандальнаго характера—«бо коло церкви вялики грѣхъ такимъ словомъ бавицьсе».

— Добры дзень!—приподымая шапку и протягивая руку, говоритъ кумъ куму.

— И вамъ дай Боже!.. Якъ се маешь, куме? Чи дѣбре дужъ?

— А отъ, якъ бачите!.. Подзякѣвать пану Богу, гадуемсе!⁴⁾ А вы якъ?

— И мы такъ саможъ!

— Ну, й добре, куме! дай вамъ Боже!

— А чи не паволишь, куме, нашей кабаты?—предлагаетъ кумъ, вынимая изъ кипени берестяную тавлинку съ нюхательнымъ табакомъ.

— А добра кабака?—пытается угощаемый кумъ, запуская два пальца въ тавлинку.

— Гэ-гэ!.. Нюхны та лечь не журисе! (лишь не заплачь),—похваляется угощатель.

Оба нюхаютъ, причемъ угощаемый кумъ здорово кряхтитъ отъ удовольствія.

⁴⁾ Благодареніе Богу—живемъ, кормимся.

¹⁾ Цвѣтной ситцевый платокъ или кусокъ бѣлаго холста, служащій головнымъ уборомъ, и стеклярусныя бусы, «пацюрки» — составляютъ обыкновенный праздничный нарядъ чернорусянки.

²⁾ Кошуля—сорочка.

³⁾ Сукмянъ—верхняя одежда, въ родѣ полушубка, изъ грубаго сѣраго или темнокоричневаго сукна домашней пряхи.

— Ого! дужа кабака! вялыми дужа!—одобряетъ онъ.—А скудова, куме, бярёце яё? може привозна зъ-подъ Кракова, чи зъ-подъ Гданьска?

— Нѣ, куме,—*сампантре!* ¹⁾—заявляетъ угощатель, очень довольный комплиментомъ своему зеленчаку.

Но вотъ съ вышки отдѣльно стоящей «дзвоницы» загудѣлъ надъ мѣстечкомъ первый ударъ «вяликаго дзвону». Хлопы снимаютъ шапки и набожно крестятся.

Въ костелѣ тоже раскашывается на своей оси и звонитъ колоколъ, приводимый въ движеніе съ помощью рычага, къ которому привязана веревка—и дрожащій гулъ двойного призывнаго благовѣста несется въ воздухѣ на всю тихую окрестность. Сѣрые сукманцы и бѣлые колушки поднимаются съ мѣста и степенно, неспѣшной походкой, направляются къ притворамъ церкви и костела.

Навышку «дзвоницы» между тѣмъ карабкаются два—три «хлопчика», выпросившіе себѣ у пономаря позволеніе позвонить когда ударятъ «у усѣ дзвоны». Деревенскіе «хлопчики» (мальчики), кажись, всѣ безъ исключенія—превеликіе любители позвонить. Эта забава доставляетъ имъ огромное удовольствіе, и тѣ изъ нихъ, которые воспользовались даннымъ имъ разрѣшеніемъ, стараются сохранить его за собою какъ бы нѣкую привилегію и на будущее время. И надо видѣть, съ какою серьезною важностью, съ какимъ чувствомъ сознанія собственного достоинства хватается хлопчикъ за веревку колокола, какъ старательно и съ какимъ наслажденіемъ производитъ онъ самую операцію звона и какъ поглядываетъ при этомъ внизъ на тѣхъ ребятенковъ, которые не сподобились пономаршей милости. Эти послѣдніе стоятъ около дзвоницы и, задравши кверху глазенки, съ такимъ безграничнымъ удовольствіемъ и съ такою дѣтскою завистью смотрятъ на избранныхъ счастливецъ—съ удовольствіемъ, ради самаго трезвона, послушать который такъ имъ пріятно, и съ завистью—зачѣмъ не они на вышкѣ, зачѣмъ не имъ, а тѣмъ досталась въ удѣлъ эта счастливая доля!..

И передъ церковью, у притвора, и передъ костеломъ непремѣнно помѣщаются нищіе, но передъ костеломъ они замѣтнѣе и количествомъ, и количествомъ, потому что здѣсь у нихъ имѣется болѣе шансовъ на болѣе щедрыя и обильныя подачки, такъ какъ въ числѣ прихожанъ костела бываетъ столько помѣщиковъ и шляхты, тогда какъ прихожане церкви—все тѣ же сѣрые хлопцы, большая часть которыхъ и сами-то чуть-чуть развѣ подостаточно нищаго. Впрочемъ, нѣкоторые изъ этихъ ни-

щихъ переходятъ отъ церкви къ костелу и обратно; но ужъ тотъ, который хочетъ «рабоваць» подѣ костеломъ, непремѣнно долженъ «жебраць» по-польски, если желаетъ получить добрую выручку; въ противномъ же случаѣ результатъ будетъ тотъ же, что и подѣ церковью, если еще не скуднѣе. Нищіе тутъ бываютъ двухъ родовъ: переходяіе и осѣдлые. Переходяіе часто соединяются въ цѣлыя партіи, отъ двухъ до десяти и болѣе человекъ; они составляютъ изъ себя нѣчто въ родѣ артели и подѣ началомъ своего «головы» или «гатамана» переходятъ отъ мѣстечка къ мѣстечку, чрезъ дебри и веси, стараясь не пропустить базарнаго дня или «кьермаша» ¹⁾; другіе же изъ переходяіихъ, болышею частію слѣпцы, промышляютъ отдѣльно, съ повадыремъ, которымъ чаще всего нанимается малолѣтокъ. Иные даже покупаютъ себѣ лошаденку, строятъ надъ полукошикомъ «буду» (въ родѣ кибитки) и развѣзжаютъ по базарамъ. Въ Свислочи почти каждое воскресенье прѣзжаетъ на базаръ одинъ такой слѣпецъ, вмѣстѣ съ повадыремъ—дѣвочкой, пяти или шести-лѣтнимъ ребенкомъ, которая у него сидитъ за кучера. Слѣпецъ останавливается со своей будой на самомъ бойкомъ мѣстѣ, посреди базара, и начинаетъ гнусливо тянуть безконечнаго «Лазаржа» или «Дзесентюру». Эти переходяіе каліки всѣ вообще промышляютъ, главнѣйшимъ образомъ, посредствомъ пѣнія: садутъ гдѣ-нибудь въ рядъ при дорогѣ, при церкви, или похода остановятся кучкой подѣ окнами какой-нибудь корчмы, либо хаты и начинаютъ:

Певны члѣвѣкъ богаты,
Въ злото, сребро шкарлаты,
И збытъ коштовне шаты,
Ядлѣ, пилѣ, тылько танцѣвалъ,
Дзень и ноцѣ банкетѣвалъ,
Пыхон' въ сердцу свемъ хѣвалъ.

И тянется, тянется у нихъ этотъ «Лазаржъ» безконечно, монотонно и тоскливо-скрипучими, ноющими и разбитыми голосами. И замѣчательно вотъ что: всѣ эти нищіе, извѣстныя обыкновенно на своемъ чернорусскомъ нарѣчій, пѣсни свои, между тѣмъ, тянутъ не иначе, какъ на исконерканомъ польскомъ языкѣ, и зачастую сами не совсѣмъ-то хорошо понимаютъ слова своихъ пѣсенъ. Это вотъ отчего происходитъ: учить ихъ пѣть обыкновенно наиболѣе старый, наиболѣе опытный, бывалый и дошлый нищій, который и самъ смолodu нерѣдко бывалъ въ повадыряхъ и учился у своихъ стариковъ, а между этими стариками попадаются и грамотные, но по-старинному, грамотѣ умѣющие не по-русски, а исключительно по-польски. На польскомъ же языкѣ уже съ давнихъ поръ существуютъ книжки

¹⁾ Обычная острота: „сампантре“—названіе, звучащее будто бы французскимъ происхожденіемъ, есть, въ сущности, сочетаніе трехъ словъ; самъ панъ тре, т. е. самъ, дескать, тру.

¹⁾ Кьермашъ—приходскій праздникъ, всегда почти сопряженный съ ярмаркой.

такія—сборники разныхъ «кантычекъ», въ которыхъ имѣются и всѣ нищенскіе «вѣрши»; изъ этихъ-то книжекъ и почерпали старики свои пѣсни, которымъ обучаютъ на слухъ неграмотныхъ. И вотъ, въ силу обычая, нашъ чернорусскій калика и поетъ польскія кантычки, не безъ основанія рассчитывая также и на то, что польская кантычка болѣе тронетъ сердобольныя струны пана или шляхтича, чѣмъ грубая «речь хлопска». Классъ переходящихъ нищихъ пополняется исключительно самыми бѣдными крестьянами изъ разряда огородниковъ и кутниковъ, которые не имѣютъ ни земли для обработки, ни скота, ни земледѣльческихъ орудій, а весь свой трудъ прилагаютъ къ разработкѣ своего огорода, засѣянаго исключительно почти картофелемъ. Разъ, что картофель не уродился—кутникъ остается безъ хлѣба, семья его разбредается въ разные стороны и идетъ «рабѣвать», т. е. просить милостыню.

Другой сортъ нищихъ—осѣдлые, такъ называемые «старушки подкосцѣльны». Это уже, можно сказать, аристократы своего положенія. Они живутъ здѣсь же, въ мѣстечкѣ, имѣютъ себѣ постоянный уголь, и ремесло свое почитаютъ какъ бы богоугоднымъ дѣломъ, а себя самихъ—въ нѣкоторомъ родѣ должностными лицами, принадлежащими къ костелу. «Старушковъ подкосцѣльныхъ» вы только и можете встрѣтить у костела, но отнюдь не у церкви, ибо всѣ они самые ревностные католики; да и вообще, около православныхъ церквей вовсе не попадаетъ нищихъ этого сорта. «Старушекъ подкосцѣльныхъ» одѣтъ всегда чище калики; на немъ вы встрѣтите иногда и чоботы, и нѣчто въ родѣ сюртука синяго сукна, и сорочка у него въ воскресенье непременно чистая; но при этомъ онъ все-таки сумѣетъ пріятно выставить на видъ и подштопанныя прорѣхи своей бѣдности, и свою безпомощную старческую дряхлость. Между ними всегда бываютъ и «бабульки подкосцѣльны». И «старушки», и «бабульки» садятся въ рядъ по бокамъ прохода отъ ограды къ притвору, и тѣ изъ нихъ, что попочтѣннѣе, занимаютъ наиболѣе почетныя мѣста у притвора, которыя составляютъ уже какъ бы неотъемлемую и законную ихъ собственность. Эти «старушки» съ «бабулками» зачастую бываютъ увѣшаны разными чѣтками, «ружоньцами, кржижиками, медалями и скаплержами»; въ рукахъ у нихъ «кпекъ» и «ксѣнжка», въ которой и заключаются всѣ эти ихнія «кантычки». «Старушекъ» поетъ всегда почти со смысломъ, т. е. выбираетъ «кантычку», соотвѣтственную времени и обстоятельствамъ; «бабулька» же говоритъ безъ всякаго разбору, что ни попало; такимъ образомъ, утромъ, во время «мши», она вамъ будетъ пѣть хоть «добра́я ночь, о Іезу!»—которая, впрочемъ, составляетъ одну изъ са-

мыхъ любимыхъ пѣсень всѣхъ этихъ бабулекъ. И вотъ, сидитъ себѣ бабулька, мѣрно раскачиваясь сзади на передъ, глаза уткнула въ ксѣнжку, руку, просительно протянула къ мимоидущимъ, а сама слезнымъ и тоненькимъ голоскомъ пречувствительно выводитъ:

Добра́я ночь, о, Іезу! о, милосѣи моя!
Нѣхъ въ твемъ рѣнку уснен'я, лепянка твоя!
Нѣхай ми сен'сьни завше о тобѣ!
Нѣхай розмавямъ зъ тобоу' дзвѣсъ собѣ!
О, Іезу! ме коханьє! ⁴⁾.

«Старушекъ» же, не обращая ни малѣйшаго вниманія на сосѣдную бабульку, каждый самъ по себѣ и самъ для себя, тянетъ, уставя куда-то въ пространство водянистые, выпѣвшіе глаза свои, смотря по вкусу: кто «Лазаржа», кто «Аньѣль Паньски»—буде «мша» идетъ заупокойная, но чаще всего тянутъ они совсѣмъ по-своему извѣстную «Дзесентюру»:

Тройца — Богъ Ойцець, Богъ Сынъ, Богъ
Духъ святы,
Въ Тройцы—Богъ ѣденъ вигды не поенты;
Богъ Ойцець пршедь вѣкъ въ собѣ Сына
рѣдзи,
Богъ Духъ одъ Ойца и Сына похѣдзи.

А далѣе идетъ въ подобныхъ же стихахъ изложеніе десяти заповѣдей, вслѣдствіе чего собственно и пѣсня называется «Дзесентюрою».

Ближе къ оградѣ лѣплятся разные пришлые, переходящіе слѣпцы, калики, сухоручки, безногіе, а также нѣмтыри, которыхъ, вмѣстѣ съ колтунастыми, очень много шатается по краю. Все это обнажаетъ свои немощи и язвы, нѣмтыри пучать глаза, дѣлаютъ выразительные жесты и мычатъ слюнявымъ ртомъ, а все остальное вопить, кто во что гораздъ, на всевозможные голоса: «Пандѣчку! Панѣнко! Дрогѣньги! Злопѣньки! О ля Бога! Змилуй сен'; хоць грошицъ на калѣкку! Нанѣчку!.. Панѣнко!»—и все это въ ладъ киваетъ обнаженными головами, покачивается всѣмъ корпусомъ, сидя на мѣстѣ, и тянется къ вамъ десятками скрюченныхъ, просящихъ рукъ и скорченныхъ, закорючлыхъ ладоней.

Рядомъ съ нищими, въ особенности на кіермашъ или на большіе Господскіе праздники, въ костельной оградѣ, у притвора, всегда помѣщаются двое-трое, а то и болѣе кочующихъ продавцовъ, которые то на стойкахъ, то просто на землѣ раскладываютъ свои товары, заключающіеся во множествѣ разноцвѣтныхъ четоковъ и пестрыхъ скаплержей; тутъ же блестятъ у нихъ высеребранные и мѣдные кржижики, медалики, образки, колечки; рядомъ разложены литографированные и раскрашенные картинки

⁴⁾ Доброй ночи, о Іисусе! о, моя любовь! Пусть въ Твоей рукѣ усну я, созданіе Твое! Пускай мнѣ снится всегда о тебѣ! Пусть теперь разговариваю я съ Тобою! О, Іисусе, моя любовь!

и образа: «Матка Божска Ченстоховська и Остробрамська», «Свенты Казимержъ», «Свенты Станиславъ», «Свенты Юзефъ», а также и обдѣланныя въ рамочки молитвы «до Сердца Іезусовѣго», на которыхъ, въ гирляндочкѣ раскрашенныхъ цвѣтовъ, изображено и самое это сердце, пылающее пламенемъ. Тутъ же продаются и деревянные настольные кресты съ цинковымъ распятіемъ, и фарфоровые «кршестельницы», которыя во всякомъ домѣ, гдѣ обитаютъ добрые католики, вѣшаются на стѣну около дверей для того, чтобы каждый гость, входя въ комнату, могъ омочить въ налитую туда святую воду большой палецъ правой руки и осѣнить себя крестнымъ знаменіемъ.

Къ костелу, между тѣмъ, подъѣзжаютъ изъ окрестныхъ усадебъ разнокалиберные экипажи, изъ которыхъ выгружаются паны и панпчи, пани и паненки, разряженные по-праздничному, иногда чопорныя, но больше все веселыя, потому что, при скудости деревенскихъ развлеченій, костель, гдѣ непременно встрѣтишься со знакомыми, представляетъ для нихъ все же таки развлеченіе не малое. Подъѣзжаютъ сюда же—но только уже въ болѣе скромныхъ повозкахъ или саняхъ—и мелкія шляхтянки, непременно въ широкихъ красныхъ криволиняхъ, съ яркими синелевыми сѣтками на головахъ, а дѣвицы съ фальшивыми и фольговыми цвѣтами, торчащими во всѣ стороны изъ-за ушей и на макушкѣ; шляхтичи—все въ синихъ да въ сѣрыхъ сюртукахъ и бекешахъ, и непременно каждый изъ нихъ гладко «оголитъ», т. е. выбрихъ себѣ подбородокъ, ради праздника.

Но вотъ, начинается служба. Вотъ выступаетъ «сакристанъ» въ бѣлой «комжѣ» съ распятіемъ на длинномъ древкѣ и идетъ процессіональной походкой по храму; за нимъ ксендзъ съ реликвіями, поддерживаемый подъ руки наиболѣе почетными прихожанами изъ пановъ; по бокамъ ксендза идутъ двое мальчиковъ, тоже въ комжахъ, съ пронзительными колокольчиками въ рукахъ, а за ксендзомъ двигается уже вся масса народу, и совершается внутри храма хожденіе вокругъ стѣнъ. Органъ звучитъ *fortissimo*, колокольчики звенятъ что есть мочи, и весь народъ, тоже что есть мочи, поетъ въ унисонъ торжественную пѣснь, послѣ которой и начинается уже самая «мша».

Нигдѣ столь рѣзко не бросится вамъ въ глаза раздвоенность жизни и населенія этого края, какъ если вы заглянете въ костель и въ православную церковь.

Вотъ, напримѣръ, хоть бы въ Свислочи. Костель высится на самомъ видномъ пунктѣ мѣстечка, выходя на двѣ площади и на самую лучшую улицу, а православная церковь запряталась куда-то за каменный гостинный дворъ, подальше отъ глазъ, и стоитъ себѣ у околицы на самомъ выѣздѣ, такъ что ее и не видать со всѣмъ ни откуда: ни съ площади, ни съ улицы,

и свѣжему человѣку; для того, чтобы попасть туда, надо прежде спросить: «покажите, люди добрые, гдѣ, молъ, тутъ у васъ церковь-то православная?» — а иначе, пожалуй, и не отыщешь ее!

Насколько былъ здѣсь забитъ и униженъ хлопъ, на столько же вмѣстѣ съ нимъ была забита и унижена его хлопская «цѣрква». Путешествуя по краю, вы по сію пору можете во многихъ и многихъ еще мѣстахъ встрѣтить гордо стоящія, красующіеся на площадяхъ костелы и тутъ же, только не рядомъ, деревянные срубы, косые и кривые, и ихомъ поросшіе, и соломой крытые, съ виду похожіе болѣе на какіе-то амбары или сарайчики, надъ которыми водруженъ кривой и ржавый желѣзный крестъ, во свидѣтельство того, что амбаръ этотъ есть православная церковь. Какъ хлопъ не смѣлъ приблизиться къ пану и стать съ нимъ на одну доску, такъ точно и его хлопская цѣрква не осмѣливалась приблизиться къ панскому костелу, а пряталась всегда въ какой-нибудь уголъ, гдѣ бы подальше да незамѣтнѣе... И если нынѣ увидите вы благолѣпныя церкви, стоящія на подобающихъ мѣстахъ, то все это одѣлано только въ послѣднее время, уже послѣ 1863 года, а что было раньше,—о томъ еще и доселѣ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ дряхлые и покосившіеся срубы...

Въ старенкой, попошенной ризѣ служить «попъ» обѣдня своимъ прихожанамъ. Передъ мѣстными образами теплятся тоненькія свѣчи желтаго воску. На клиросѣ плохо поютъ, вмѣстѣ съ дьячкомъ, два-три солдатики, два-три хлопчика да любитель изъ хлоповъ. Церковь полна прихожанами—но куда ни обернись, куда ни глянь—все одни только хлопскіе кожанки да сермяжки, да солдатскія шинели; вездѣ и повсюду, во всѣхъ углахъ все одни и тѣ же хлопскія да солдатскія лица. Одна только «панматка» (попадья) да русскій мировой посредникъ съ семействомъ, да уланскій майоръ—разнятся наружнымъ видомъ своимъ отъ этой массы кожуховъ и сермяжекъ. И видишь воочию, насколько правы были поляки, называя все это хлопской церковью и хлопской вѣрой. У нихъ даже и поговорка есть на это: «попъ—для хлопа, плебанъ—для пана». Нѣкоторые старики молятся по-польскимъ молитвенникамъ, по этимъ «олтаржикамъ злѣтымъ», что служить живымъ свидѣтельствомъ того, относительно весьма еще недавняго времени, когда единственно доступная для панскаго крѣпостного хлопа «наука» заключалась въ обученіи польской грамотѣ, вслѣдствіе чего въ рукахъ у него и о сію пору остается еще этотъ польскій молитвенникъ, быть можетъ, нѣкогда подаренный ему въ поощреніе за науку его сердобольной панной. На многихъ бабахъ и «маладзѣхнахъ» (молодицахъ) красуются выставленные на груди скаплержи, а нѣкоторыя изъ бабъ

даже крестятся по-польски. Стоит вся эта «громада» тихо и чинно, службу слушает внимательно; но взгляните въ эти лица—и вы прочтете на нихъ выраженіе какого-то индифферентизма, безучастія, хотя церковь и пощёщается хлопамъ, благодаря базарному дню, довольно исправно. Что это такое? Нелюбовь ли къ церкви? Затаенная ль приверженность къ костелу?—Нѣтъ, ни то, ни другое, а именно индифферентизмъ къ дѣлу религіи какъ хлопской, такъ равно и «панской»,—индифферентизмъ, имѣющій свои основанія, до известной степени, въ причинахъ политическихъ: стоитъ только вспомнить, сколько разъ этотъ народъ былъ перегоняемъ изъ православія въ унию, изъ униі въ католичество, изъ католичества въ православіе и изъ униі въ православіе, и какія административныя мѣры зачастую принимались для этихъ перегоновъ... Этотъ народъ не отстаивалъ себя и не боролся здѣсь за свою вѣру столь энергично и упорно, какъ боролся малорусъ; онъ просто-себѣ подставилъ свою шею и спину натиску всѣхъ историческихъ, наплывныхъ невзгодъ, и лишь благодаря этому, чисто пассивному, сопротивленію, успѣлъ и до нашихъ дней сохранить свою славяно-русскую самобытность; но что касается до религіи, то тутъ уже невольно и воплію естественно выработался этотъ индифферентизмъ, который, дай Богъ, чтобы изгладился лишь въ будущемъ поколѣніи.

Но теперь взгляните въ костелъ и посмотрите на характеръ наполняющей его публики.

Передние ряды скамеекъ заняты исключительно крупнымъ шляхетствомъ изъ окрестныхъ помѣщиковъ; тутъ красуются пестрые паничи, нарядныя паненки, дородныя маменьки и солидные папеньки. Въ среднихъ рядахъ засѣдаетъ шляхта помельче, изъ оставшихъ чиновниковъ и учителей, изъ посессоровъ (арендаторовъ) и маленькихъ «кавалковъ» землевладѣльцевъ, въ родѣ нашихъ однодворцевъ. Въ женскомъ полѣ здѣсь преобладаютъ красныя кринолины и синелевыя сѣтки. Впрочемъ, и эта публика причисляетъ себя исключительно къ шляхетскому классу. Заднія же скамейки переполнены людьми, принадлежащими къ панскимъ дворнямъ: здѣсь помѣщаются разные официалисты, ржондцы (управляющіе, приказчики), писаря, псари, лакеи и панны-покоѣвы (горничныя), а также приманиваются и «мястечковые», т. е. мѣстные мѣщане изъ тѣхъ, что зажиточнѣй. Но гдѣ же тутъ хлопъ? гдѣ *срый* народъ?

Хлоповъ никогда не встрѣтите вы на скамейкахъ. Не знаю почему, но они никогда не садятся, а все время молятся стоя, либо на коленяхъ, и занимаютъ пространство у стѣнъ, по бокамъ, да позади скамеекъ, около притвора и въ самомъ притворѣ. Только нѣсколько наиболѣ нарядныхъ маладзѣхъ и дзѣвчинъ

пробираются впередъ, къ балюстрадѣ главнаго алтаря, и стоя передъ нимъ всю обѣдню, остаются на виду у всѣхъ. Взгляните на выраженіе молящагося хлопскаго лица — вы прочтете въ немъ какой-то сосредоточенно тупой фанатизмъ: видно, что хлопъ въ этомъ чужезычномъ богослуженіи ничего не понимаетъ, но вѣрить—вѣрить слѣпо, напряженно, и чего-то боится. На лицахъ шляхетныхъ—и въ особенности на женскихъ лицахъ — зачастую прочтете вы тоже фанатизмъ, но тутъ уже онъ является съ искоркой чего-то осмысленнаго, самосознательнаго. Что же такое способствуетъ развитію фанатизма въ прихожанахъ костела, рядомъ съ индифферентизмомъ прихожанъ церкви? — Способствующихъ причинъ много и говорить о нихъ надо долго, что уже никакъ не входитъ въ задачу моихъ очерковъ; но вы поймете, что влияетъ отчасти на это явленіе, если просто присмотритесь къ обстановкѣ костела.

Прежде всего въ ней кинется вамъ въ глаза какой-то декоративный характеръ: эти разноцвѣтныя «хоронгвы», стоящія рядами по бокамъ скамеекъ и вдоль стѣнъ; эти разрисованные алтари съ лѣпными изображеніями ангеловъ и херувимовъ. Всѣ эти ангелы и херувимы ужасно напоминаютъ конфетныхъ амуровъ и тѣхъ французскихъ псевдоклассическихъ купидоновъ, которыми въ доброе старое время всегда украшались бордюры пригласительныхъ свадебныхъ билетовъ — «невинные амуръ и розовые купидоны съ игривыми улыбками на устахъ и съ гирляндами цвѣтущихъ розъ»—вотъ вамъ идея наиболѣе общихъ украшеній этихъ алтарей, по бокамъ которыхъ выступаютъ всегда изваянія разныхъ святыхъ. Изваянія эти по большей части бываютъ раззолочены и раскрашены. Будучи вылѣплены изъ гипса, а иногда вырѣзаны изъ дерева, они тоже въ высшей степени характерны. Кто бывалъ въ нашихъ костелахъ Западнаго края и вглядывался въ эти статуи, того не могла не поражать въ нихъ одна особенность: всѣ они отличаются сладостнымъ, восторженнымъ, экстазнымъ и фанатически-католическимъ—именно *католическимъ* выраженіемъ своихъ фizioномій, а самыя позы, въ которыхъ онѣ выступаютъ передъ зрителемъ, носятъ въ себѣ нѣчто изысканное, театральное и даже балетное—ну, такъ вотъ и кажется, что передъ вами «жрецъ изъ Нормы», или балетный «пейзанъ», который, продѣлавъ трудное антрна и достаточно повертѣвшись въ одной точкѣ на самомъ носкѣ одной ножки, вдругъ обращается къ публикѣ: одна рука на сердцѣ, другая—привѣтственно откинута на отмашь, а лѣвая ножка граціозно и эфирно отставлена назадъ: дескать, глядите, пожалуйста, сколь я прелестенъ!—И этотъ-то балетно-католическій элементъ прежде всего кидается въ глаза свѣ-

жему человѣку. А потомъ образа: сантиментально-страдающее женское лицо съ вынутымъ изъ груди пылающимъ сердцемъ, т. е. собственно съ червоннымъ тузомъ, изъ коего, въ видѣ листьевъ артишока, извергается кровавое пламя; затѣмъ другое женское, но уже фанатически-скорбное лицо, съ грудью, пронзенною семью шпагами, которыя всѣ такъ и торчатъ изъ нея лучами; потомъ сладостно-кастратское, безбородое и гунявое, но очень молодое лицо монаха, одѣтаго въ коричневую хламиду и лобызавшаго голаго младенца, коего сей монахъ, подобно кормилицѣ, держитъ въ своихъ страстныхъ объятіяхъ; или вотъ еще: изображенъ суровый мужчина съ дикимъ взоромъ и страшными мускулами, такъ что вы только и видите одни лишь мускулы, мускулы и мускулы, при такомъ общемъ впечатлѣніи, которое вамъ невольно, однако же, такъ вотъ и напоминаетъ жирнаго и коренастаго мясника съ Рѣзвицкой улицы,—и подѣ этимъ-то, якобы «священнымъ», изображеніемъ подписано: «отъ баранекъ Божій». Нечего сказать, хорошъ «баранекъ»!.. Затѣмъ обратите вниманіе на всѣ эти символическія изображенія польскаго костела: вотъ вамъ изваяніе ногъ, пробитыхъ гвоздями и истекающихъ кровью, т. е. не въ мѣру перепачканныхъ красною краской; вотъ вамъ воздѣтыя къ небесамъ руки съ растопыренными пальцами (и замѣтите, одѣ только руки и больше ничего), обильно политыя кровавыми струями и обрызганныя кровавыми пятнами, и всѣ эти изображенія неизмѣнно окружены вселенскими орудіями пытки и казни: тутъ вамъ и клещи, имолотки, и ножи, и гвозди, и плетки-трехвостки съ желѣзными когтями-крючьями, и пѣтухи, и терны, и лозы, и копыя, и вервья, и губки съ оцетомъ, и столпъ позорный, и черепъ «Адамовой головы», и чего-чего тутъ только не имѣется! И все это кричитъ—*кричитъ* вамъ о пыткахъ, о крови, о страданіяхъ, о мукѣ и смерти; все это нарочно *сдѣлано*, нарочно утрировано, нарочно рассчитано именно на этотъ кричащій эффектъ!.. А въ аккомпанементъ ко всѣмъ этимъ сладостно-балетнымъ экстазамъ и кроваво-кричащимъ эффектамъ вдругъ раздаются рулады и фіоритуры сиплаго органа, напоминающія вамъ столь извѣстную рутину итальянскихъ мотивовъ! И какъ, въ самомъ дѣлѣ, идутъ ко всему этому именно итальянскіе мотивы!

Есть у насъ при полку «нашъ общій другъ» изъ мѣстныхъ польскихъ уроженцевъ, котораго офицеры прозвали «Донъ-Юзіо де-ля-Пурдосъ графъ Лабраданъ-де-Каналья», а то еще и «Донъ Сезарь-де-Базаномъ» обзываютъ, но послѣдняя кличка дается только въ тѣхъ случаяхъ, когда «Донъ-Юзіо» желаютъ сдѣлать комплиментъ. Этотъ Донъ-Юзіо, будучи совершенно партикулярнымъ человѣкомъ, въ нѣко-

торомъ родѣ, «состоитъ при полку». Онъ въ душѣ своей «артыста» и очень любитъ импровизировать на фортепіано. Разъ, гостя у меня въ Свислочи, отправился Донъ-Юзіо вмѣстѣ со мною въ костелъ и забрался, совершенно неожиданно для меня, на хоры, гдѣ панъ «органыста», получивъ отъ него на выпивку скромное пожертвованіе, въ видѣ какой-то серебряной монетки, согласился пустить его на свое мѣсто за органомъ. Во время совершенія евхаристіи у католиковъ обыкновенно играетъ органъ, не сопровождаемый пѣніемъ. Слѣзъ мой Донъ-Юзіо на табуретъ, и вдругъ—стоючи внизу и ничего не подозревая, слышу я: раздаются сверху знакомые звуки, которые еще и въ Петербургѣ давнымъ-давно успѣли уже намозолить мнѣ уши.

Скажите ей, что пламенной душою
Съ ея душой сливаюсь тайно я,

виртуозно наигрываетъ Донъ-Юзіо. Слышу, дивлюсь и ушамъ своимъ не вѣрю! Но нѣтъ, это не галлюцинація слуха; это даже не просто случайное сходство мотивовъ, а именно: «Скажите ей, что горькою тоскою отравлена молодая жизнь моя», именно извѣстный романсъ кнѣгини Кочубей, пѣтый г. Тамберликомъ. И я не ошибаюсь, думая, что это никакъ не гимнъ священный, а салонный романсъ, ибо черезъ минуту онъ съ нѣкоторыми варіаціями переходитъ въ другой, не менѣе же извѣстный романсъ: «Я помню все: и образъ милый, и ласки, ласки безъ конца», который нѣкогда сочинила у насъ Текла Тарновская, а завершается у Донъ-Юзіо все это попури аріей изъ «Риголетто»: «La donna e mobile», такъ что сомнѣній уже никакихъ нѣтъ: остается только слушать и дивоваться.

— Скажите, пожалуйста, любезный другъ, что это вы начудесили?—спрашиваю его потомъ, когда онъ спустился съ хоръ.

— А что?—очень добродушно изумился Донъ-Юзіо.

— Какъ «что»?.. Что это такое вы играть-то изволили?..

— А то такъ... моя импровизація.

— Да вѣдь это «Скажите ей»?

— А такъ!—согласился Донъ-Юзіо. — Но что же съ того?

— Да вѣдь это же неприлично—за обѣдней въ костелѣ и вдругъ—«La donna e mobile».

— Для чего жъ неприлично?.. И Богъ же зѣ вами! Такіе прекрасные мотивы! У насъ у кощіола на это время свободне допускается играть органу что ему ни схочется, абы только не *allegro*; а я къ тому же добавилъ къ тѣмъ мотивамъ еще такіе маэстозный и религіиный характеръ.

— Такъ у васъ это допускается?—спрашиваю его.

— Совершенно свободне!.. А когда жъ у васъ этое не можно?

— У насъ-то?.. Ну, батюшка, у насъ за-пой вы за обѣдней «Скажите ей», такъ васъ, по малой мѣрѣ, въ сумасшедшій бы домъ посадили.

— О?!.. Такъ строго?!.. И прямо такъ-таки ажъ у сумасшедшій?

— Непосредственно.

— О?!? — покачалъ Юзіо головой съ при-скорбіемъ развитого и цивилизованнаго чело-вѣка. — У сумасшедшій... От-то нравы... бар-барыйски правы!..

Кончилась служба и въ церкви, и въ косте-лѣ. Народъ, прежде чѣмъ разойтись, непре-мѣнно постоятъ пестрыми группами около огра-ды для того, чтобы и на людей посмотреть, и себя показать. Лица теперь гораздо оживлен-нѣе, веселѣе, и особенно у молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ. Эти послѣднія особенно любятъ покрасоваться теперь на народѣ своими свѣ-жими пучками подстѣжника или зеленой руты, торчащими надъ ушами, въ головномъ уборѣ. Дѣвушки-щеголихи даже нарочно въ теченіе всей зимы сохраняютъ въ горшкахъ зеленую руту, очень тщательно ухаживая за нею для того, чтобы каждое воскресеніе имѣть удоволь-ствіе украсить ея вѣточками свою голову. Онѣ стоятъ теперь отдѣльными группами, рѣдко или почти никогда не смѣшиваясь съ мужчи-нами, глазѣютъ на разѣзжающееся панство и шпактуются, шушукуются, пересмѣиваются, дѣ-лая промежъ себя своевеселыя замѣчанія, пред-метомъ которыхъ большею частію служить ка-кая-нибудь вычурная, новомодная шапочка или красный, расшитый золотомъ бантыкъ на ка-кой-нибудь паненкѣ—и при этомъ такими от-крытыми, добродушными улыбками сіяютъ ихъ широкощеія, круглыя лица съ остренькими, вздернутыми носами, и выставляются на по-казъ ряды такихъ перлово-бѣлыхъ зубовъ, какимъ, конечно, отъ всей души позавидовала бы не одна щеголиха, избалованная житейскою роскошью.

Большая часть пановъ, прежде чѣмъ разѣ-хаться по своимъ усадьбамъ, непременно за-вертываютъ на малое время въ лавку къ «ма-дамъ Янкелевой». Панамъ это необходимо, по-тому что у «мадамъ Янкелевой» каждый изъ нихъ встрѣтится съ «пріищелемъ», купить ка-кую-нибудь «бакалею», потолкуетъ, посплетни-чаетъ, и главное—новости узнаетъ. Старый Янкель, въ вѣчной своей длиннополой сѣрой хламидѣ, съ порыжѣлой «ермулкой» на сѣдлов-сой головѣ, со скверной «щигаркой» въ зубахъ и съ неизмѣнною привѣтливою улыбкою на лу-каво-добродушномъ лицѣ, встрѣтитъ каждого пана со всѣми знаками наипреданнѣйшаго и на-почтительнѣйшаго восторга и, чутко слушая панскіе разговоры, время отъ времени самъ позволить себѣ вставить въ нихъ какое-нибудь

слово, расскажетъ о томъ, что сосѣдній гѣсни-чій «на пасшлѣдномъ полеванью двоихъ кабаны забилъ», что «панъ сшправникъ зъ Волкови-ску до Хгродны поѣхалъ», и непременно сдѣ-лаетъ при этомъ, въ видѣ глубокомысленнаго соображенія, вопросъ: «и зачѣмъ онъ поѣхалъ дотуда: и на цо то ему было ѣхалъ?» Но еще непременно освѣдомится онъ, уличивъ удоб-ную минутку, о томъ, «сшлось ли того-то на по-лтику слишкомъ?» А между тѣмъ у стараго Янкеля въ это время уже стоятъ наготовѣ раскупоренная бутылка «гданьской вудки зъ Варшаву» и тарелочка со сладкимъ, засушен-нымъ «мигдаловымъ тастѣчкѣмъ» на закуску—и старый Янкель всегда ужъ бладушно пред-ложить «ласкавому пану» угощеніе сими дву-мя пріятными предметами, причемъ, конечно, и себя не забываетъ, такъ что къ тому вре-мени, какъ паны поразѣдуются, благодушная физіономія длиннаго Янкеля успѣетъ уже из-рядно подрумяниться. И паны довольны Янке-лемъ, и Янкель доволенъ панами. Но пока они закусываютъ да толкуютъ о томъ, «сшто на полтику слишкомъ», ихъ «почтивы паны» и паненки успѣютъ закупить у мадамъ Янкеле-вой и шелковыхъ нитокъ, и англійскихъ игло-локъ, и гарусу, и стеклярусу, и тесемокъ, и бахромокъ, успѣютъ побывать и у Рашки въ лавкѣ, и потогрыватьсь съ ней насчетъ колен-кору, да ситцу, и даже сказать ей «компле-менту» относительно ея прекраснаго «дитю». Наконецъ, паны со чады и домохадцы усажи-ваются въ свои возки, кучеръ шелкаетъ би-чомъ, кони трогаются—и старый Янкель, вы-шедшій провожать своихъ «почтивыхъ» гостей на ступени своей галереи, привѣтливо и дол-го «манифестуетъ» имъ махающей рукою, въ которой болтается его бархатная «ермулка». А въ это время торгъ на базарѣ вошелъ уже въ полный разгаръ.

Торги по мѣстечкамъ Западнаго края имѣ-ютъ, въ нѣкоторомъ родѣ, свое историческое значеніе. Многіе изъ нихъ ведутъ свое начало еще отъ тѣхъ «старожитныхъ» дней, когда Витольдъ, развивая торговлю Литовскаго кня-жества, жаловалъ свои города и мѣстечки магдебургскимъ правомъ, которое давало при-вилегіи на торги, ярмарки и предоставляло жителямъ имѣть свои опредѣленные мѣры и вѣсы. Отъ этого-то, между прочимъ, и произо-шла впослѣдствіи весьма разнообразная и для нешосвященнаго челоуѣка крайне спутанная си-стема мѣръ, гдѣ свободно господствуютъ всѣ эти «локти литевьски», «локти коронны», «шан-ки», «кѣрцы», «каранки», «лахурки» и проч. Въ XVII вѣкѣ многіе магнаты, владѣвшіе цѣ-лыми городами и мѣстечками, выпрашивали магдебургскія привилегіи и для своихъ «маент-ковъ». Такимъ образомъ, въ этой странѣ раз-витіе торговыхъ пунктовъ шло путемъ чисто административнымъ. Владѣльцы, получая въ

свою пользу известную подать съ торговъ и базаровъ, конечно, находили выгоднымъ для себя наибольшее ихъ распространение; но еще болѣе выгоднымъ находили это дѣло евреи, которые, издавна захвативъ въ свои руки всю торговлю, охотно платили владѣльцамъ известный «податокъ» за безграничное право высасывать въ свою пользу всѣ жизненные соки и силы страны. Чрезмѣрное и чисто паразитное развитіе въ государствѣ шляхты, считавшей униженіемъ «для гонѣру своего» занятіе торговлей и промышленностью и, въ силу этого, предпочитавшей лѣнствовать и лизоблюдничать у патронствующихъ магнатовъ, и потомъ вѣчныя внутреннія неурядицы—лишили среднее сословіе страны, т. е. мѣщанство, всякой инициативы, всякой производительной дѣятельности, сдѣлали его пнертнымъ и вполне ничтожнымъ. Каждый мѣщанинъ и нынѣ любитъ воображать себя «родовитымъ шляхтицемъ», а въ былыя времена онъ всячески стремился пробиться въ шляхту, выслужить себѣ у какого-нибудь магната «пришгарбованья до гарбу его-мосци». Поэтому государству пришлось создавать среднее сословіе искусственно, административными мѣрами. Королевское правительство поощряло эмиграцію изъ Германіи, даже заманивало ее и для того надѣляло города магдебургскимъ правомъ. Вслѣдствие этого мы видимъ и по сей день, что громадное большинство ремесленниковъ въ Варшавѣ и вообще въ городахъ Польши и Литвы—все ополчившіеся нѣмцы. Въ равной же мѣрѣ, правительственная власть покровительствовала и евреямъ, которые послѣ германскихъ гоненій, обрѣтая здѣсь, въ нѣкоторомъ родѣ, новую Палестину, переселялись въ нее цѣлыми тучами и, наконецъ, какъ саранча покрыли собою весь громадный край. Съ захватомъ всей торговли и промышленности въ еврейскія руки, рынки весьма скоро потеряли то благотворное значеніе для общества, какое они всегда имѣютъ въ государствахъ, органически и правильно развивающихся изъ себя свои экономическія силы и неподверженныхъ такимъ паразитнымъ, чуждымъ наростамъ, какимъ въ старой Польшѣ было еврейство. Базарныя площади облѣпились со всѣхъ сторонъ гостепримными шинками, куда евреи всячески заманивали крестьянъ, пріѣзжавшихъ на торгъ, и гдѣ слабодушный хлѣпъ нерѣдко пропивалъ послѣднюю копейку, какъ и нынѣ пропиваетъ ее. Базары сдѣлались, благодаря шинкамъ да корчмамъ, притонами разгула, пьянства и нравственнаго растлѣнія. Благосостояніе крестьянина чахло, гибло и пришлось, наконецъ, къ тому, что въ настоящее время, когда крестьянинъ сталъ свободнымъ землевладѣльцемъ, земля его, принадлежащая ему *de jure*, на самомъ-то дѣлѣ принадлежитъ корчмарю-еврею, ибо нѣтъ почти такого крестьянина, который не состоялъ бы въ неоплатномъ и вѣч-

номъ долгу этому корчмарю своей деревни. Евреи вѣками высасывали крестьянскіе потъ и кровь, вѣками обогащались на счетъ хлѣпскаго труда и хозяйства. Такой порядокъ вещей давно уже породилъ въ высшей степени напругенное, ненормальное состояніе, продолжающееся и по сей день и отразившееся пнерціей и вредомъ на всѣ классы производителей. Довольно будетъ, если мы, для болѣе нагляднаго примѣра, скажемъ, что въ 1817 году на 655 ярмарочныхъ и торговыхъ мѣстъ одной лишь Гродненской губерніи было 14.000 шинковъ и корчемъ, содержимыхъ исключительно евреями, стало-быть болѣе чѣмъ по 12 на каждое мѣсто! Четырнадцать тысячъ кабаковъ въ странѣ, которая имѣетъ всего лишь около 6.000 разнаго рода поселеній—мѣстечекъ, деревень, усадебъ, фольварковъ и т. п.¹⁾.

* * *

Толпы наѣзжихъ крестьянъ отъ церковной ограды бредутъ-себѣ на базарную площадь, которая тѣсно-ваго-таки облѣпилась возами: тутъ привезли на продажу дрова и сѣно, смолу и деготь, зерновой хлѣбъ, пеньку и ленъ, коньяльное сѣмя, масло и медъ. Праздничный людъ какъ въ лабиринтѣ пробирается между оглоблями и колесами, между жующими волами и лошадиными мордами. Неспѣшно, бредя нога за ногу, похаживаетъ себѣ этотъ людъ по базару, останавливая разсѣянное вниманіе на томъ или другомъ товарѣ и группируясь болѣе вокругъ нѣкоторыхъ предметовъ. Дѣвчачьи больше всего тянетъ туда, на край площади, гдѣ изъ раскрытыхъ дверей лавки ярко пестрѣтъ выставленный на показъ красный товаръ, гдѣ развѣваются пунцовые да синіе ситцевые платки, длинные красно-зеленые шерстяные пояса, да туго проклеенныя пестрые ленты; бабы же адресуютъ себя больше все къ хозяйственной части и кучатся на серединѣ базара, въ томъ мѣстѣ, гдѣ на подостланной соломѣ разложены по землѣ глиняныя кувшины, горшки, глѣчики и миски съ «поливой» и безъ поливы, гдѣ цѣлою горою наставлены одни на другіе разнокалиберныя ведра, боченки, балежки да кадушки, которые бьютъ въ глаза своимъ новенькимъ, чистенькимъ блѣдно-планшевымъ цвѣтомъ и свѣждо пахнутъ дубовымъ деревомъ. Молодые парни, такъ же какъ и дѣвки, непрочъ помыслить насчетъ соблазнительнаго шегольства, и потому разсматриваютъ и пробуютъ на ошупь, хорошо ли качество товара, изъ котораго стачены тѣ длинные смазные чоботы, что цѣлымъ рядомъ развѣсилъ на жерди швецъ-еврей. Иной

¹⁾ Цифры эти заимствованы нами изъ статистическаго описанія Гродненской губерніи П. Вобровскаго (т. II, стр. 385), который, въ своемъ обширномъ и въ высшей степени добросовѣстномъ и почтенномъ трудѣ, относясь къ дѣлу критически и весьма осторожно, даетъ намъ всегда наиболѣе точные и достовѣрные цифры и факты.

парень, кромѣ ощупыванья, еще съ наслажденіемъ понюхаетъ эти чоботы и скажетъ при семъ: «А ѣй добре жъ юхтомъ пахнуть!.. Яй-Богу!.. Ось, падаввице!» и дастъ понюхать близъ-стоящимъ товарищамъ. Понюхаетъ одинъ, понюхаетъ и другой, и одобрительно махнутъ головами, а третій скажетъ: «А дай жа-жъ, брадику, и минѣ понюхацъ!» и тоже протянетъ руку къ чоботамъ. Но въ равной степени съ чоботами вниманіе «дзѣцюковъ» привлекаетъ и та башня суконныхъ картузовъ, которые, напавъ одинъ на другой, съ большою осторожностію и почти на балансѣ носятъ по базару еврей-шапочникъ. Картузы такіе хорошіе, синіе и черные, и темно-зеленые, и все съ такими блестящими лакированными козырьками, и все такіе «городскіе». И вотъ «дзѣцюкъ» никакъ не можетъ отказать себѣ въ удовольствіи примѣрить на собственную голову подходящий картузокъ; но надѣтъ его на себя ухарски, какъ-нибудь эдакъ ловко и красиво, набекрень, нашъ неуклюжій, добродушно простоватый «дзѣцюкъ» никогда не сумѣетъ: онъ напаялитъ себѣ картузъ на самыя уши, отъ загривка до бровей, и, оскаля самодовольно-доброй улыбкой свои бѣлые зубы, повернется къ товарищамъ и спроситъ:

— А што, панове-браще, чи ладна?

— Авже-жъ,—одобрительно мотнутъ тѣ головами,—картузокъ добры! Якъ у нашого око-
нда!

— Сшаміи окономически картузъ! сшаміи паньски и даже охвицирски!—выхваливаетъ еврей, приятно и завлекательно вертя другимъ изъ подобныхъ же картузовъ на указательномъ пальцѣ своей свободной руки.

Степенные мужики-хозяева, «паны-господаржъ» подобнымъ «глупствомъ» не прельщаются. Они трутся преимущественно около товаровъ положительнаго свойства. Одинъ оглядываетъ смѣтливо-внимательнымъ и нѣсколько завистливымъ взглядомъ молодого, нестраго бычка, выведеннаго на продажу, который, будучи привязанъ за рожки къ возу, глупо разставилъ ноги и безучастно взираетъ на весь міръ Божій своими спокойными, агатовыми глазами.

— Отъ, кабы минѣ такой,—прищмокнувъ языкомъ, мечтательно говоритъ господаржъ.—Кабы только грѣшн, дакъ-бы ѣй пакупицъ одъ разу!

Но увь! грошей-то и нѣтъ у мечтающаго господаржа... Другіе степенные хлопцы при-
сматриваются къ сопникамъ, санямъ и повозкамъ, прикидываютъ на руку серпы да заступы, пробуютъ большимъ, закорузлымъ въ работѣ пальцемъ степень заостренности желѣзныхъ косъ.

Какіе-то молодые паничи въ венгеркахъ, въ смушковыхъ шапкахъ, въ длинныхъ повстанскихъ бутахъ, или «штыфляхъ», подпоясанные широкими лакированными поясами, съ арапниками да съ нагайками въ рукахъ, раз-

вязно похаживаютъ своею компаніей по базару, въ сопровожденіи услужливаго еврея-фактора—либо паничамъ неприлично ходить по торгу безъ фактора, который, для того, чтобы наибольшимъ образомъ выразить передъ ними все свое усердѣйшее и высокое почтеніе, ходитъ за ними все время безъ шапки. Паничи разсматриваютъ молодыхъ, смазливенькихъ крестьянокъ, отпуская на ихъ счетъ пикантныя замѣчанія и шутки, разсматриваютъ и лошадокъ, прищипываются къ нимъ, подбодряя ихъ иногда горячимъ ударомъ нагайкой, причемъ лошадка норовисто вздернетъ къверху мордой и тропотнетъ задними ногами. А иногда подобнаго же свойства привѣтливый ударъ, шутки ради, попадаетъ и въ спину фактора или хлопа, зазѣвавшагося на пути молодыхъ паничей: но факторъ принимаетъ этотъ милостивый ударъ, какъ особый знакъ «велькей ласки паньскей», а хлопъ за тычкомъ не гонится, и потому, обернувшись только въ сторону удара, чтобы полюбопытствовать, откуда досталось ему такое неожиданное благополучіе, онъ торопливо сдернетъ со своей покорной головы «чапѣчку» и апатично, безъ всякой злобы, потретъ себѣ ладонь по поясницу.

Разныя свислочскія «обывацельски» и шляхтянки хлопотливо шмыгаютъ по базару и прищипываются ко всевозможнымъ хозяйственнымъ продуктамъ, смакуя опытнымъ языкомъ коровье масло и медъ. Стрѣлки-полѣсовщики съ неизмѣнными барсучьими ягташами черезъ плечо, въ ременныхъ поясахъ, униженныхъ оловянными и мѣдными солдатскими пуговицами, бродятъ по площади и продаютъ убитую серну или пару зайцевъ—трофей собственной своей охоты. Сельскіе старосты, сотскіе, волостные старшины, одѣтые поприглядѣе и почище остальной сѣрой публики, безъ всякой цѣли фланируютъ тутъ же, съ кнутиками и дубинками въ рукахъ, которые являются у нихъ какъ-бы обычнымъ атрибутомъ власти предохраняющей. Эти «сельскія власти» держатъ себя очень солидно, степенно, съ чувствомъ сознанія собственного достоинства, и отнюдь никого не награждаютъ, подобно паничамъ, ударами своихъ «кѣйковъ» и кнутиковъ. Но болѣе всего, по всевозможнымъ направленіямъ, во всѣ концы и во всѣ стороны снуютъ и шныряютъ жида, жидовки, жиденята, и все куда-то и зачѣмъ-то торопятся, все хлопочутъ, торгуются, галдятъ и вообще выказываютъ самую юркую, лихорадочную дѣятельность. Они стараются теперь перекупить все то, чего не удалось имъ захватить въ свои руки съ бою на аванпостахъ. Но главныя усилія братіи израилевыхъ направлены на дрова, на хлѣбъ зерновой, на сѣно, т. е. на такіе все предметы, на которые, въ случаѣ большого захвата оныхъ въ еврейскія руки, можно будетъ тотчасъ же повисить цѣну по собственному своему произ-

волу. Нѣкоторые жидовки и здѣсь занимаются «гандломъ»: если вы увидите въ корзинахъ дурно выпеченныя, сѣроватыя, посыпанныя макомъ или чернушкой лепешки, коржики и бублики, то знайте, что продаетъ ихъ навѣрное какая-нибудь почтенная мадамъ Сорга; если обоняніе ваше поразитъ несущійся изъ грязнаго ведра острый запахъ селедки, или увидите вы разложенныя по землѣ, гирляндой вплетенныя въ соломенное кручево головки цыбулекъ, то можете быть увѣрены, что и эти ароматическіе товары составляютъ предметъ торговли разныхъ «мадамовъ».

Надъ площадью стоитъ сплошной гулъ и гомонъ: бычачій ревъ и мычанье телятъ, свинное хрюканье и поросачій визгъ, ржаніе лошадей, гусиный гоготъ и разноголосый говоръ людей—все это сливается во-едино, составляя необходимый, всеоживляющій аккомпанементъ этой пестрой, подвижной, праздничной картины. Но надо всѣмъ этимъ гомономъ и гуломъ царить все-таки единственный и неподражаемый базарный «гвалтъ» и «галласть» иудейскій.

На самой серединѣ площади, подъ каменнымъ обелискомъ отмежевали себѣ мѣсто уланы: тутъ ихъ душъ тридцать-сорокъ толпятся постоянно; одни поваѣхали изъ «взводовъ» за пріемомъ фуража, другіе же, «свислочки», повысыпали на площадь ради праздника и базара. Посреди этой группы, на тщательно подметенномъ мѣстѣ возвышается копа золотистаго овса. Уланики ходятъ по базару и гдѣ завидятъ крестьянина съ овсомъ, предлагаютъ ему продать товаръ «на царскую службу», но крестьяне и сами охотно везутъ свои мѣшки подъ золоченый шаръ свислочки обелиска, если только имъ удалось благополучно избѣгнуть еврейскихъ покушеній. Подъ этимъ обелискомъ навѣрное присутствуютъ эскадронный и взводные вахмистры, одѣтые въ кучные кавалерійскіе полушубки, у которыхъ однако вся грудь, обшлага, карманы и полы щегольски выложены узорчатымъ сафьяномъ краснаго и зеленаго цвѣта. Уже это у нихъ первое дѣло—скопить себѣ изъ заработныхъ и присылочныхъ изъ дому денегъ на «партикулярный», франтовскій полушубокъ, по борту котораго непременно болтается томпаковая цѣпочка отъ часовъ. Взводные со своими ефрейторами и подручными пріѣхали за фуражемъ, а эскадронный помогаетъ фуражмейстеру торговаться. Тутъ же присутствуютъ, отъ нечего дѣлать, и эскадронный писарь, и эскадронный квартирмейстеръ—въ нѣкоторомъ родѣ, все щеголи и аристократы, и всѣ между собой «на политикѣ», т. е. не иначе, какъ на «вы».

Но замѣчательнѣе всѣхъ между ними фуражмейстеръ Мызниковъ. Онъ все время стоитъ-себѣ, опершись спиною на обелискъ и,

нахохлившись да завернувшись по уши въ шинель, которая на немъ въ этихъ случаяхъ вѣчно въ накидку, равнодушно и флегматически посасываетъ свою коротенькую «носогрьбку».

Трудно себѣ представить что-нибудь болѣе невозмутимое, чѣмъ этотъ длинноногий крѣпышъ Мызниковъ. Эта глубокая, сосредоточенная невозмутимость проглядываетъ у него въ каждомъ словѣ, въ каждомъ взглядѣ, въ малѣйшемъ движеніи, въ посасываніи трубочки, даже въ самой манерѣ—взрѣдка сплевывать во время куренія слюну. Передъ Мызниковымъ стоитъ столикъ, на столикѣ замкнутая шкатулка и записная книжка съ обгрызаннымъ карандашикомъ, а въ шкатулкѣ десятка на два рублей намятыхъ мѣдяковъ. Мызниковъ съ крестьяниномъ не разговариваетъ, даже не торгуется, а просто взглянетъ на овесъ, пересыплетъ его изъ горсти въ горсть и по виду безошибочно опредѣлитъ качество и цѣну—и цѣна у него всегда будетъ обоюдно-безобидная. А заартачится крестьянинъ, Мызниковъ кратко предложитъ ему отправиться къ жидамъ, и опомнившійся хлопъ сразу же догадывается, что артачиться не расчитъ, потому—цѣна подходящая, которой жида никакъ не дадутъ—и торгъ заключается сразу. Овесъ отмѣривается не жидовскою, а казенной, штампованной мѣркой, на трезвые глаза, причемъ самъ крестьянинъ съ помощью солдата и ссыпаетъ его въ кучу, а Мызниковъ въ это время молча, про-себя, считаетъ количество мѣрокъ и никогда не ошибется, потому—никогда ничѣмъ отнюдь не развлекаетъ въ эти минуты своего сосредоточеннаго вниманія. Кончили ссыпку—Мызниковъ неторопливо достаетъ изъ кожаной мешонки ключикъ, аккуратно отмыкаетъ шкатулку, еще аккуратнѣе отсчитываетъ деньги и молча отдаетъ ихъ крестьянину; затѣмъ беретъ свою книжку и отмѣчаетъ въ ней что-то.—Что?—ужъ это одному лишь Богу да Мызникову извѣстно, потому человекъ онъ неграмотный, но у него есть свои собственные какіе-то гіероглифы, съ помощью которыхъ онъ записываетъ количество четвертей овса и сумму уплаченныхъ денегъ, и всегда, какъ ни повѣряли Мызникова, расчетъ у него оказывался математически точенъ до послѣдняго полугарнца, до послѣдней четверти копейки!

Къ двумъ часамъ пополудни базарная площадь все болѣе и болѣе пустѣетъ. Тѣ мужики, что поисправнѣе, торопятся, продавши свои продукты, поскорѣе убраться «до дому», минуя шинковые соблазны. Это тѣ, которые помнятъ себѣ мудрую пословицу: «хто корчму мынае, той счасъе знае»; большинство же, которое эту пословицу переиначиваетъ такъ, что «хто корчму мынае, той счасъя не знае», прибавляя къ сему еще, что «за свой

грошъ вяздѣ харошъ», отправляется «до гульбы» подъ сѣнь гостепріимныхъ шинковъ. А тамъ уже къ этой порѣ тѣсно-тако становится. «Гуляютъ» въ корчмѣ и мужчины, и бабы, и дѣвки, и даже дѣти, едва достигшія двѣнадцати лѣтъ ¹⁾. Это немѣрное употребленіе водки съ такого ранняго возраста служить, между прочимъ, едва-ли не одною изъ главнѣйшихъ причинъ слабосилія, вялости, преждевременнаго старчества и того зелено-блѣднаго, чахлаго цвѣта лица, который служитъ характеристическимъ признакомъ, отличающимъ крестьянъ Западнаго края. Къ этой страсти, безъ сомнѣнія, приучили здѣшній народъ, посредствомъ вѣковыхъ усилій и стараній, все тѣ же благодѣтели рода человѣческаго—евреи, плодящіе и множащіе безъ числа кабаки и корчмы.

Загляните во внутренность любой корчмы въ базарный день—и вы увидите, приблизительно, слѣдующую картину:

Довольно обширная комната, гдѣ налѣво отъ входа высится большая и широкая печь,—комната съ глинянымъ, сырмъ поломъ, съ грязными, но нѣкогда бѣлыми стѣнами, по которымъ тянутся лавки и столы, заключаетъ въ себѣ отъ пятидесяти до ста человѣкъ народу,—словомъ, столько, сколько можетъ вмѣститься въ ней, за исключеніемъ нѣкотораго пространства посередкѣ, удѣленнаго для танцевъ. Впрочемъ, лѣтомъ чаще танцуютъ на дворѣ или на улицѣ передъ корчмою. Крѣпкій запахъ сивушнаго полугара, смѣшанный съ тютюновымъ дымомъ, сразу ошибаетъ обоняніе входящаго. Жидъ-корчмарь, и его супруга, и его подростки, и его «наймытка» усердно разливаютъ по кружкамъ водку, по гарпцамъ пиво, и торопливо огребаютъ крестьянскіе «гроши». Еврей даже вспотѣлъ отъ усердія и заботы. Порыжѣлая ермолка его сдвинулась на затылокъ, мокрыя прядки волосъ липнуть ко лбу; лицо его блѣдно, брови наморщены, глаза горятъ лихорадочнымъ огнемъ, и на всемъ лицѣ написано алчно-озабоченное опасеніе, какъ-бы скорѣе удовлетворить побольше народу, заграбастать побольше денегъ и — главное — не просчитаться въ этой кутерьмѣ и суматохѣ. Главное—не просчитаться ни на одинъ грошъ, ни на четверть копейки! Та же самая забота, только еще гораздо нервнѣе, выражается на лицѣ еврейки-супруги, строго покрикивающей на сбившуюся съ ногъ свою наймытку. Взгляните на жиденятокъ — и они до поразительности вѣрно напоминаютъ вамъ ту извѣстную картину, на которой изображено семейство лисичи, принесшей въ свое логово лакомую курицу. Ни дать, ни взять—тѣ же самые ма-

ленькіе лисенята, безсознательный, врожденный инстинктъ которыхъ почуялъ запахъ крови и свѣжаго мяса.

Въ глубинѣ комнаты, въ переднемъ углу помѣщаются музыканты. Это—большеею частью бродячіе евреи. Сухощавый старикъ съ совиными глазами, въ круглыхъ мѣдныхъ очкахъ, барабанитъ молоточками на цимбалахъ. Его из-желта сухіе, узловатые и крючковатые пальцы съ нервной силой пробѣгаютъ по струнамъ инструмента. Кудластый, кровавогубый еврей средняго возраста, закидывая голову, зажмуривая глаза и плавно покачиваясь всѣмъ корпусомъ, съ увлеченіемъ истиннаго «артисты» разливисто наяриваетъ и взвизгиваетъ на убогой скрипичѣ. Это такъ-называемый «скрипакъ». Третій еврейчикъ, длинный, чахоточный юноша, гудитъ на бубнѣ и, наконецъ, четвертый, совсѣмъ уже ребенокъ, съ голодными и робкими глазами, ударяетъ желѣзной палочкой въ металлическій треугольникъ. Въ простые дни по корчмамъ не бываетъ музыки; вы можете встрѣтить ее только на кіермангѣ или въ дни базарные. Эти странствующие артисты избираютъ себѣ для своего промысла извѣстный районъ какой-либо мѣстности и перекочевываютъ изъ мѣстечка въ мѣстечко, принаравливаясь попасть въ каждое къ его базарному дню.

Мужики пьютъ, сидя за столомъ, и ведутъ при этомъ длинныя бесѣды другъ съ другомъ, широко облокотясь и подпирая головы руками. На ихъ лицахъ вы очень и очень рѣдко встрѣтите выраженіе веселости. Они пьютъ какъ-то мрачно, флегматически, вяло, но много (если хватить «грѣшей»), и все посасываютъ свой тютюнокъ, балакая другъ съ другомъ. Напившись любятъ жаловаться на «недолую», на «горькое жищѣ» и часто распускаютъ нюни, плачутъ, лобызаются—«дай-жа-жъ буси (губы), маспане!»—иногда и посчитаются между собой, но никогда почти не дерутся. Это — народъ смиренный и кроткій, и въ самомъ веселіи его вѣчно есть что-то подавляющее, какой-то внутренній тяжелый камень. Молодицы и бабы гораздо бойче. Онѣ не садятся, а стоя кучатся по комнатамъ, пьютъ съ ужимкой, морщатся, улыбаются и ведутъ между собой громкіе, звонкіе и хотя безсвязные, но очень оживленные разговоры. Бабы задорнѣе мужиковъ, и потому иногда случается, что одна тетка сдернетъ съ головы другой «очипокъ», или «чапецъ», а та, какъ кошка, азартно вцѣпится въ волосы своей супротивницѣ.

Молодые «дзяучаты», «маладзѣхны» и «дзѣцюки» заводятъ «танку» (танцы). Обыкновенно зачинаютъ женщины, а «дзѣцюки» пристають уже пстомъ.

Этихъ танцевъ немного у нашего черноруса: «кружки», «казакъ» да еще «крутель».

«Кружки» нѣчто въ родѣ вальса: становятся

¹⁾ Тѣхъ, кто усомнился бы въ справедливости сего послѣдняго факта, отсылаемъ опять-таки къ почтенному труду г. Бобровскаго (т. I стр. 814).

четыре, шесть, иногда восемь паръ и кружатся по порядку, парень съ дѣвкой; но чаще танцуютъ женщины сами по себѣ, по недостатку охочихъ кавалеровъ. Танцующіе и смотрящіе подпѣваютъ въ это время разные короткіе куплетцы, болѣе комическаго характера, въ родѣ, напримѣръ, такихъ:

Мужикъ жито продае
Да мнѣ гроши не дае,
А я съ рѣдзями зышлася,
За цыбульку напилася,
За цыбульку та за макъ
Пайшла замужъ, та не такъ!

или еще такую вотъ пѣсню:

Апанасъ волы пасъ,
Кацярина бычки,
Гуляй, гуляй, мила душа,
Куплю чаравички,
Ты, Андрей, не дурѣй,—
Фартухъ подзарѣнца!
Мнѣ татувка яго шу,
Штобы Янку палюбіу!

«Казакъ» пляска мужская. Обыкновенно два «дѣвцюка», когда сильно ужъ расходятся, становятся другъ противъ друга и начинаютъ, сѣменя ногами, выкидывать разные «гопаки», «выкрутасы» и «падскѣки». А что касается до «крутеля», то это танецъ весьма мудреный и составляющій, также какъ и «казакъ», мужское достояніе. Въ «крутелѣ» сказывается элементъ комическій, и для того чтобы хорошо протанцовать его, надо быть очень ловкимъ,—качество, которымъ не всегда могутъ похвалиться наши чернорусскіе хлопаки. Двое парней становятся насупротивъ другъ друга и берутъ въ руки дубинку аршина въ три длиной, держась за концы ея. Вся штука состоитъ въ томъ, чтобы въ тактъ подъ музыку ловко и быстро перебрасывать черезъ дубинку ноги—одинъ правую, а другой въ то же самое время лѣвую. Это рѣдко удается, и танецъ обыкновенно кончается тѣмъ, что кто-нибудь изъ «дѣвцюковъ» грохнется всей тушей на землю—явленіе, неизбѣжно сопровождаемое всеобщимъ веселымъ смѣхомъ и шутками.

Молодицы же и бабы, когда подопьютъ, тоже непрочъ попѣть. Собравшись въ кучу, онѣ обыкновенно затягиваютъ всѣ въ унисонъ какую-нибудь бабью пѣсню,—чаще всего такую:

Ой, тошно, не развеселюся,
Бо хлопцы ня любяць,
Ой, хлопцы ня любяць,—
Пайду й утаплюся!
Пайду утаплюся
На зялёнамъ винѣ,
Пайду разшибуся
На мягкой паринѣ!

Но веселье этихъ людей непродолжительно. Оно вспыхнетъ на нѣсколько мгновеній въ корчмѣ, подъ влияніемъ музыки и винныхъ па-

ровъ, да тамъ же и потухнетъ. Нашему черноруссу болѣе свойственны умильные слезы да слабосильныя жалобы на недолю, чѣмъ бойкая веселость, требующая извѣстной энергіи и бодрости духа.

Въ четыре часа на базарной площади уже пусто. Только у корчемъ видны еще полукопики да возы, и запряженные лошадаенки скукаютъ да скукаютъ себѣ, понутивъ мохнатые морды въ ожиданіи, когда-то, наконецъ, выйдетъ изъ корчмы загулявшійся хозяинъ. Который крестьянинъ не успѣлъ продать на базарѣ свой товаръ, да Боже сохрани, не уберется, чтобы съ горя отъ неудачи не зайти въ корчму, тому теперь бѣда неминуемая! Къ корчмарю тотчасъ же прибѣжить съ надворья кто нибудь изъ домохозяевъ и торопливо сообщитъ по-еврейски, то такой-то, молъ, Опанасъ изъ Занокъ или Мацей изъ Клепачей заѣхали ко двору съ непроданнымъ товаромъ. Получивъ такое извѣстіе, еврей самымъ ласковымъ, самымъ пріятельскимъ образомъ встрѣчаетъ и пана Мацея, и пана Опанаса.

— А! сштары прііяцѣлекъ!.. Якъ сшѣмашъ, когханъ?!.. чи добре гхандловаль?.. Гхаросшаго гешѣфту издѣлаль?

— А, до бѣса! Якась тамъ гешѣфта!—съ досадою шваркая свой «капѣлюхъ» на стойку, говоритъ Мацей. — От-гѣ лядаша гадзйна!.. Добры базаръ! А ни славы, ни ужитку!

— Когхда-жъ не продалъ?—съ участіемъ освѣдомляется жидъ.

— Эге! ходъ, продай чортовой мацяри!

— Божже-жъ мой, Божже, дай цебѣ гоже (лучше)—качая головой, усиливаетъ жидъ степень своего участія.

— Гѣже... Харѣша угѣда!—ворчитъ недовольный Мацей.—Спадѣвалсе дастаць хочъ съ два рубли, ажъ не продау ни на капейку!

— Ну, ну, не журисе... Надъ спиротою Богхъ съ калитѣю!—утѣшаетъ еврей.—Ты наперѣдъ вышій, а напатѣмъ будзмы вже говориць!.. Можке й я у тебе схѣчу пакипиць!

И онъ съ крайней предупредительностью начинаетъ цѣдить изъ бочки въ жестяной кручокъ добрую порцію водки.

— На, пій, муй когханъ, муй Мацейко!.. Ой вай, добры ти хлопакъ, Мацейко!.. Я жъ тебе такъ люблю и мнѣ такъ жалко зъ тебе, бо ти, я жзнаю, ти гхарѣшій чловѣкъ! Ой, какой гхарѣшій! Пій, пій, муй гѣлубе! пій спабѣ зъ Богхомъ!

— Мацей долго простоялъ на базарѣ и отощалъ. Отъ ранняго утра, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ выѣхалъ изъ дому (изъ сосѣдней деревни верстъ за десять), у него во рту куска хлѣба не было. Мацей жадно и медленно, сквозь зубы, съ наслажденіемъ тянетъ поданную ему водку, а на голодный желудокъ алкоголь быстро оказываетъ свое надлежащее дѣйствіе.

— А може ти гхочешь кушить?—освѣдомляется жидъ.

— А вже-жъ!.. Когда-жъ ня хѳчу?

— Ну, то нѳ, пакушій щилѳтке!

Мацей и селедку съѳсть, и хлѳба убереть при этомъ фѳнта два, а хмѳль межъ тѳмъ все болѳе забираетъ свою силу въ головѳ Мацея.

— А може ти й пива гхочешь?

— Але!.. давай и пива, кали ты такій щедрый!—говоритъ уже заплетающимся языкомъ разлакомившійся крестьянинъ.

— Кушій сшабѳ зѳ Богхомъ и пиво!.. Ой, пиво здоровій штука! Хто пиво пѳе, той тлустѳе. И ти будзипъ тлустый!

Когда же Мацей, вытянувъ пиво да покутивъ тютюну, окончательно уже охмѳляетъ, любезный жидъ говоритъ ему:

— Н-ну, тапѳрички даваймо таргавацьсе, а напатомъ вже издѳлаемъ рахубу (расчетъ).

Но Мацею уже не до торгу. Хмѳль шибко бродитъ въ его головѳ, и онъ снова требуетъ водки. Однако жидъ—«зжалѳючи твого зждарова»—водки Мацею больше не отпускаетъ. Онъ требуетъ, чтобы Мацей поскорѳй продавалъ ему «збожа».

— Ти слюшій, ти минѳ продавай, бо тибѳ треба йшо ѳгхати до дому, и ти изновъ повезешъ такого ценжару (тяжестъ), ти сшваго кивяку завшемъ патамишь!

Мацей послѳ долгихъ убѳждений соглашается, наконецъ, продать ему «збожа» и требуетъ за товаръ два рубля. Но жидъ приходитъ въ ужасъ отъ сказанной цѳны и начинаетъ убѳждать, что такихъ и цѳнъ нѳтъ на торгу, да никогда и не бывало, и не будетъ во вѳки вѳковъ, «бо насши до того не допущать»,—что оттого-то онъ и не нашель покупателя, что базаръ уже кончился, и потому надо продавать дешевле.

— Когхда гхочишь, то я тибѳ буду давати пять злоты—сшемдзешють пять кипѳйкувъ! И венцей ницѳ!

— Н-не можна!—упрямо мотая головой, метель языкомъ Мацей.

— Н-ну, и сшто таково не можна!.. Н-ну, гхарашь! Я добры чловѳкъ и минѳ очинь зѳ тебе зжалко и для тѳго я тибѳ сгхочу малѳнкій придатекъ издѳлаць, кабѳ ти зжнать, якої я добры, кабѳ ти и сшвоимъ дѳтямъ сшказалъ, якої Мойша Шульбергъ естѳ добры! Ну, для тѳго я тибѳ дамъ ишо двоухъ кипѳйкувъ.

— Н-не можна!—упрямится Мацей.—Два рѳбли!

— Не можна?.. Ахъ, ти, сшволачь ти, сшволачь! Я зжѳ тибѳ кирмилъ, я зжѳ тебе пайлѳ и зѳ вудкей, и зѳ пивомъ, а ти «не можна!» Ну, такъ я зжѳ тибѳ буду показати,

сшто таково минѳ можна!—входитъ въ азартъ Мойша Шульбергъ. — Ти, може, мисшлялѳ, сшто ти даромъ у мене кушилъ? Подавай дѳньгувъ!

Если въ корчмѳ мало народа и за Мацея вступиться некому, то Мойша Шульбергъ съ супругой и домохадцами насядуть на него съ гвалтомъ, обвинять «въ разбойствѳ, въ мисшельничествѳ», отберуть Мацеево жито, вытолкають его за дверь, и ницѳ съ нихъ гдѳ хочешъ! Но если Мацей податливъ и согласится продать товаръ за цѳну, предлагаемую Мойшей, то Мойша въ благодарность нальетъ ему еще килишекъ водки, въ видѳ «магарыча», потомъ сдѳлаетъ съ нимъ «рахубу», въ которой выведетъ и за хлѳбъ, и за селедку, и за водку съ иномъ, вычтетъ за все это злотыхъ около двухъ, остальные же дѳньги вручить Мацею, съ поклономъ проводить его за дверь, самъ поможетъ ему взобраться на возъ, самъ проведетъ за ворота Мацееву коняку и скажетъ: «Дай Божже пуць! До видзѳню, пршѳя-цѳлю!»

Такъ-то обрабатываются и всѳ почти дѳла у всѳхъ этихъ Мацеевъ со всѳми Мойшами Шульбергами.

* * *

Свечерѳло, базарный дѳнь кончился—и Свислочь до слѳдующаго воскресенья опустѳла и погрузилась въ обычное затишьѳ. Въ кое-какихъ оконцахъ зажглись какъ-то грустно мигающѳе огоньки. Даль окуталась холоднымъ туманомъ. По Брестской улицѳ изрѳдка проѳзжаютъ послѳднѳя уже повозки съ наиболѳе запоздавшими и потому наиболѳе хмѳльными хлопамъ, которые направляются въ Гренки или въ Занки. Вѳрныѳ, хотя и голодные, Сѳрки и Рѳбки понуро тянутся за своими хозяевами.

Что это за протяжные, томительные стоны раздаются изъ этихъ удаляющихся полукониковъ?

То хмѳльной черноруссъ затынулъ свою обычную пѳсню...

Ой, сирочѳя слезы дармо не минають,
Ой, якъ падуць на бѳль камень—камень
пробивають,

стонетъ и воетъ онъ монотонно и долго, лежа на днѳ полуконника,—и этому чловѳческому вою какъ бы вторить доносящееся издали завыванье спущенныхъ на ночь собакъ. И всѳ эти звуки, вмѳстѳ съ надвигающеюся мглой холоднаго вечера, съ грустными огоньками, съ понурой конякой, и понурымъ Сѳркомъ—невольнѳ вѳютъ на душу невыразимѳю тоскою...

По поводу либеральных привѣтствій.

Былъ у меня знакомый «россіяня Мойжешовѣго вызнанья», т. е. по просту говоря, еврей, по имени Ицко Мышь. Мы познакомились съ нимъ во время длинной и скучной зимней стоянки въ одномъ изъ мѣстечекъ, которыя, по цифрѣ преобладающаго населенія, такъ ужь и называются испоконъ вѣку «жидовскими».

Ицко Мышь былъ женатъ на «мадамъ», которая могла читать «французскова книшку», и потому почиталъ себя человѣкомъ «цыбулизованнымъ». Онъ очень любилъ читать газеты и слѣдить за «палытика». Говорить о политикѣ—было первое наслажденіе, первая страсть ребѣ Ицки Мыша и недѣля было до-ставить ему большаго наслажденія, какъ если пуститься съ нимъ въ длинные и простран-ные разговоры по этому предмету, причемъ почтенный ребѣ весьма былъ склоненъ дѣлать философскіе выводы. Вообще, ребѣ Ицко Мышь—и по складу ума своего, и по складу своей жизни—былъ немножко философъ, и да-же съ эпикурейскимъ оттѣнкомъ, въ чемъ, иногда подъ веселую руку, проговаривался и предъ нами. Но отнюдь никогда не рѣшился бы онъ признаться, даже малѣйшимъ наме-комъ, предъ досточтимыми старозаконными отцами мѣстнаго кагала въ своемъ свободо-мыслящемъ отношеніи къ эпикурейскому на-чалу сей брэнной юдоли!.. Изъ этого слѣдуетъ, что Ицко Мышь, нося почтенный титулъ «ребѣ», былъ все-таки либераль, «дыпломата и палытикъ».

* * *

Это было во время франко-прусской войны.

Бывало, шатаючись отъ скуки по мѣстечку, зайдешь къ Мышу въ «бакалейна ляфка». Ребѣ тотчасъ же предложить «гхамбургске шигарке» и попросить потолковать съ нимъ на досугѣ.

— Н-ну, а и сшто на палытика слишно?—начинаетъ онъ послѣ первыхъ разспросовъ о здо-ровьи и т. п.

— Да что, ничего особеннаго!—пожмешь ему въ отвѣтъ плечами.—Все по-прежнему.

— По пережнему?.. Пфсе!.. Кепиське! (пло-хо). Н-ну, а сшто, францо-озъ изъ прусскомъ усе бьютсе?

— Бьются, почтенный ребѣ, бьются.

— Пфсе!.. И скажить спизжалуста, съ чегго етое усе они бьютсе?

— Извѣстное дѣло, война...

— Вайна-а?.. Такъ. Н-но сшто это такогхо есть вайна? а?.. ви какъ понимаетю? Типерь ви будите минѣ въ розжа, я буду вамъ въ мор-да—гхаросшій перадокъ? га?

— Да ужь какой же порядокъ!..

— Ага!.. и сшами ви зжнаетю, сшто ни-какой перадокъ, — н-ну, от-то само и есть вайна!

И ребѣ, необыкновенно довольный своимъ «фылозовскимъ» выводомъ, начинаетъ усилен-но раскуривать и съ наслажденіемъ смаковать «свогхо гхамбургске шигарке».

— Н-ну, а ви слишали!—таинственно и зна-чительно начинаетъ онъ, послѣ минуты само-довольнаго и глубокомысленнаго молчанія, по-правивъ на головѣ своей порыжѣлую бархат-ную ермолку.

— Про что это, почтенный ребѣ?

— Гхамбеттъ.

— Про Гамбетту?

— Такъ. Про Гхамбеттъ.

— Что жъ такого?

— Зъ наснихъ!—говоритъ онъ, плутовато подмигивая.

— Кто?

— Але-зжъ Гхамбеттъ!

— Какъ! Гамбетта изъ вашихъ?! Не можетъ быть!

— Зъ наснихъ!—горячо и съ видомъ глубо-чайшаго убѣжденія увѣряетъ, бѣя себя въ грудь, Ицко Мышь.

— Полноте, ребѣ! Не можетъ быть!

— Н-ну, и сшто такогхо не можжна бити! Сшто ви минѣ гхавѣрютю, коггда про то важке у Липську (въ Лейпцигѣ) на гизету напи-сано! Зъ наснихъ!.. Дали-Бухгъ, зъ наснихъ!!! Шпаньски ззраэлитъ! Отъ гхто есть васшъ Гхамбеттъ!..

— Не смѣю спорить. Впрочемъ, что-жъ, это должно лѣстить вашему національному са-молюбію.

Солидный ребѣ чуть-чуть приподымается съ головы свою ермолку и, слегка качнувшись кор-пусомъ впередъ, изображаетъ нѣчто въ родѣ самодовольнаго поклона.

Очевидно, въ душѣ онъ необычайно дово-ленъ тѣмъ, что Гамбетта оказывается «зъ на-сихъ».

— Такъ, такъ!—вдыхаетъ Мышь.—Дыкта-торъ! Додумайтю — диктаторъ и удругъ зъ наснихъ!.. Чи то било нагоггда одъ Мако-вѣувъ? га?.. Диктаторъ!!! От-то есть девятна-стый вѣкъ!! Прегхрессъ!.. Понимаетю? га?

— Какъ не понять!—Понятно...

— Н-ну, ви понимаете, и я понимаю, бо ми зъ вами цыбулизваны люди... Такъ?

— Должно быть такъ, ребъ Мышь.

— Н-ну, то я взже вамъ гхавѡру, сшто то есть такъ!—заключаетъ Ицко авторитетнымъ и безапелляціоннымъ тономъ, и снова принимается съ глубокомысленно-сосредоточеннымъ и наслаждающимся видомъ сосать свою «пигарке».

— Н-ну, а ви слыхали,—начинаетъ онъ снова, какъ бы собравшись съ мыслями, —Кремеръ?

— Что такое Кремеръ?

— Минисштръ одъ юстиціи.

— Ахъ, то-есть Кремьѣ, хотите вы сказать?

— Н-нѣтъ!.. Якій тамъ Крамьѣ!.. То егхо такъ францо-озы называютъ, алежъ онъ не Крамьѣ, а Кремеръ, и то—такъ само-ажъ, якъ и про Гхамбеттъ—есть у Липську на гизету написано! То взже вѣрно!..

— Не смѣю спорить... Ну, такъ что же этотъ Кремеръ?

— *Зъ насшихъ!*!—съ гордостью воскликнулъ ребъ Мышь.

— И этотъ изъ вашихъ?!

— *Зъ насшихъ!*!.. Дали Бугхъ, зъ насшихъ!

— Что-жь, и этимъ открытіемъ, полагаю, вы должны быть довольны.

— О!.. Ми взже отчинъ, отчинъ даволны!.. Н-но жвините!—слегка дотрогивается ребъ Мышь до пуговицы моего пальто.—Слихали ви про энгираль Абель Дѹэ?

— Оболадуетъ?—переспрашиваю я, неуразумѣвъ хорошенько названнаго имени.

— Н-нѣтъ! Якій тамъ Абылдуевъ,—махаетъ руками Мышь.—Сшто это естъ такогхо Абылдуевъ?! Абылдуевъ—пфѣ!.. Я вамъ гхавѡру не пра Абылдуевъ, а пра Абель Дуэ. Дѹэ—энгираль, начельникъ одъ францозски дывизью!

— Ахъ, это вы про Дуэ говорите!—домекнулся я, вспомнивъ про героя, погибшаго славною смертию въ бою съ пруссаками.

— Такъ, такъ, про энгираль Дуэ!—киваетъ мнѣ обрадованный Мышь, будучи весьма доволенъ тѣмъ, что наконецъ-то его поняли.

— Ну, такъ что же Дуэ?—спрашиваю его.

— *Зъ насшихъ!!!*—торжественноскочивъ съ мѣста и даже приподнявъ надъ головою ермолку, воскликнулъ мой добрый философъ.

— Да, этотъ, дѣйствительно, изъ евреевъ, согласился я, вспомнивъ, что о происхожденіи знаменитаго генерала было гдѣ-то оповѣщено въ газетахъ.

— Ага!.. ага!—обрадовался ребъ Мышь.—Ага! Типерь ви сшами гхавѡритю, што зъ насшихъ! Н-ну, и додумайтю жь!.. Додумайтю, прасшю васъ!

— О чемъ же додумать мнѣ, почтенный ребъ? — вопрошаю я Мыша.

— Мм... додумайтю, — приложивъ глубоко-

мысленно палецъ ко лбу, началъ мнѣ мой философъ.—Додумайтю, сшто зъ одного сштарана *энгираль*, а зъ другого сштарана—*зъ насшихъ*... «Энгираль зъ насшихъ!..» Ага?! Сшто это естъ такогхо? Додумайтю!

— Ну, что же, дослужился,—потому и генераль.

— Н-нѣтъ, жвините! Дослужжилсе!.. Ви мнѣ скажите: накогхда у насъ въ Россія ребъ Ицко Мышь будетъ энгираль?.. га?.. Накогхда этое будетъ?

— Ну, ужъ это-то едва-ли будетъ,—усмѣхнулся я, озадаченный такимъ неожиданнымъ исходомъ нашего разговора.

— Ага!—подхватилъ мой философъ,—ага! ви сшами гхавѡритю, сшто никакгхда!.. А сшто этое одзначае?.. Н-ну?.. Этое одзначае,—тогда же пояснилъ онъ, разставя два пальца лѣвой руки и методически указывая на нихъ указательнымъ пальцемъ правой,—этое одзначае, сшто то естъ цыбулизована сштарана, а от-то—барбарыйськи ярави!.. Жвините!

Этотъ разговоръ съ ребъ Ицекомъ Мышемъ неволью припомнился мнѣ по поводу той радости, съ которою нѣкоторые петербургско-либеральные газетчики привѣтствовали извѣстіе, что семинаристы и евреи, удостоенные аттестата зрѣлости, будутъ производиться у насъ въ офицеры не болѣе, какъ черезъ полгода службы въ рядахъ нашей арміи.

Почему же и нѣтъ? Счастливыя исключенія всегда и вездѣ бываютъ. Для этихъ исключеній требуется только прирожденное призваніе, способность, *талантъ* къ военному дѣлу, и коль скоро есть талантъ, есть призваніе, то настоящій офицеръ выйдетъ не только изъ семинариста, но даже и изъ моего ребъ Ицека Мыша. Но для этого надо *родиться*, то-есть быть счастливымъ исключеніемъ, и при такомъ условіи полугодовой срокъ службы, конечно, принесетъ человѣку свою существенную пользу, какъ будущему офицеру, тѣмъ болѣе, что прирожденный солдатъ не ограничится для своей службы однимъ только законодопускаемымъ полугодовымъ срокомъ, а навѣрное станетъ продолжать ее и далѣе, какъ свое наиболѣе любимое дѣло, быть можетъ, даже до конца своей жизни, и при дальнѣйшемъ прохожденіи службы успѣетъ исподволь познакомиться со всѣми ея условіями и требованіями въ такой мѣрѣ, что изъ него года черезъ два дѣйствительно выйдетъ знающій, опытный и полезный офицеръ.

Солдатскому дѣлу (въ смыслѣ *рядового* солдата) научиться въ полгода, конечно, можно, и даже очень хорошо, такъ какъ для этого требуется не особенно много; но *офицерскому* дѣлу, и притомъ такъ, чтобы быть дѣйствительно полезнымъ офицеромъ, выучиться въ полугодовой срокъ едва ли можно. Считаю

нужнымъ пояснить, что мы разумѣемъ при этомъ не *уставную* часть, не пунктики, а *духъ* службы и, главнѣйшимъ образомъ, *способность командовать людьми*, то-есть способность разумно подчинять себѣ, своему слову, волю многихъ людей, и подчинять ихъ въ критическую минуту, такъ, чтобы они шли за вами и дѣлали то, что вы имъ укажете. Для этого, повторяю, прежде всего надо, чтобы люди знали васъ и вѣрили въ васъ, въ вашъ опытъ, въ ваше знаніе дѣла, въ вашъ характеръ, словомъ, чтобы вы были для нихъ авторитетомъ. Авторитета же во всѣхъ арміяхъ міра достигаютъ только *старослуживые* солдаты и офицеры. Въ полгода этого не достигнешь. И подумайте, что жъ это будутъ за офицеры, которые, прослуживъ въ нижнихъ чинахъ только полгода, выдержать офицерскій экзаментъ, получить право надѣть эполеты и тотчасъ же выйдутъ въ отставку, чтобы заняться какимъ-либо инымъ, болѣе прибыльнымъ дѣломъ. Понятно, что за весь короткій срокъ ихъ службы у нихъ на умѣ будетъ не офицерское, а то, болѣе прибыльное и удобное, дѣло, къ которому они стремятся всей душой своей, тяготясь своимъ солдатствомъ и «держа на офицера» только затѣмъ, чтобы въ будущемъ избѣжать тягостей именно солдатской службы.

Наступаетъ война, государство требуетъ въ поле свои резервы, полугодовые офицеры становятся въ ряды, послѣ того какъ уже много лѣтъ занимались своими частными дѣлами,— дѣлами, не имѣющими ничего общаго съ дѣломъ военнымъ. Какимъ авторитетомъ будетъ пользоваться подобный «партикулярный» офицеръ между своими солдатами, которые, безъ сомнѣнія, свое *солдатское* дѣло, какъ дѣло менѣе сложное, будутъ знать (даже и послѣ нѣсколькихъ лѣтъ частной жизни) все-таки лучше, чѣмъ онъ свое офицерское, ибо послѣднее, въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ стоитъ военная служба нынѣ, требуетъ отъ офицера постоянной практики, требуетъ, чтобы онъ твердо слѣдилъ за ходомъ военной науки, чтобы онъ въ сферѣ, отмежеванной его дѣятельности, всегда былъ на высотѣ тѣхъ требований, которыя предъявляетъ офицеру постоянно-развивающаяся военная наука,—иначе же онъ окажется вовсе непригоднымъ къ своему дѣлу. Какое довѣріе въ состояніи будутъ оказывать солдаты подобному офицеру?—Повторяю еще и еще разъ, что я не говорю о счастливыхъ исключеніяхъ, которыя всегда были и всегда будутъ возможны, но говорю о массѣ, о томъ большинствѣ, за которое нынѣ радуются либеральные газетчики.

Чтобы быть послѣдовательными, эти господа необходимо радуются и за право нашихъ евреевъ на производство въ офицеры. И въ самомъ дѣлѣ, почему бы имъ не быть произ-

водимыми въ эти чины на ряду со всѣми другимъ гражданами? Подумайте только: мусульманскіе иновѣрцы у насъ производятся;—отчего же, въ качествѣ иновѣрцевъ, не быть производимымъ и евреямъ? Отчего бы, въ самомъ дѣлѣ, и ребѣ Ицкѣ Мышу не быть энгиромъ?

Газетчики не должны находить къ этому никакихъ существенныхъ препятствій. Гражданскія права евреевъ сравнены почти во всемъ съ остальными сословіями государства, общую воинскую повинность несутъ они наряду со всѣми, общеобразовательныя заведенія для нихъ уже давно открыты,—словомъ, газетчикамъ не остается желать ничего, какъ только, чтобы ребѣ Ицко Мышъ поскорѣй былъ у насъ энгиромъ,—тѣмъ болѣе, что производство Ицки Мыша въ этотъ чинъ подвинетъ насъ на пути либеральнаго прогресса и лишитъ Ицку права дѣлать сравненіе между «цибулизованной» страной и нашими «барбарыскими» правами.—Его превосходительство генералъ-майоръ ребѣ Ицко Мышъ—это должно составлять верхъ желаній либеральныхъ газетчиковъ. ихъ конечный идеалъ, если только они захотятъ оставаться послѣдовательными и логически вѣрными самими себѣ.

Представьте однако себѣ ребѣ Ицку Мыша не въ генеральскихъ пока еще, а просто въ офицерскихъ чинахъ. Представьте себѣ его хотя бы въ качествѣ эскадроннаго командира. Вообразите его на борзомъ конѣ (если только Ицко рѣшится взять подъ свое сѣдло борзого) предъ лихимъ эскадрономъ (если только у такого командира эскадронъ будетъ лихимъ), въ то время когда майоръ Мышъ по сигналу «рысью размашистою» скомандуетъ своей части:

— Шкадро-онъ, равненію у право, изъ рисомъ ма-арсъ!..

Или напиримѣръ:

— Шкадронъ, изъ права на одного, въ рубкомъ, въ пупкомъ, въ фланкировкомъ, въ барьеръ на карьеръ марсъ-марсъ!

А каковъ ребѣ Ицко Мышъ будетъ въ бою въ моментъ атаки—этого даже и вообразить себѣ невозможно! Зато очень возможно представить себѣ, чѣмъ онъ будетъ въ мирное время и какой «гандель», какіе тонкіе «гешефты», какую «кдимерцію» будетъ извлекать изъ своего эскадрона, изъ своихъ гарпцовъ овса и пудовъ сѣна, и что-за лихой вахмистръ будетъ у Ицки Мыша!.. Можно держать сто противъ одного, что этогъ вахмистръ будетъ называться Іосьюкой Беренштамомъ, и во всѣхъ «гандлахъ» и «гешефтахъ» окажется правою рукой своего достойнаго и храбраго командира. А какъ хорошо будетъ жить русскому солдату подъ управленіемъ Мыша и Беренштама!..

Впречемъ, что-жъ!.. Либеральные газетчики

въ этомъ случаѣ могутъ сослаться на примѣръ Европы и либерально привѣтствовать Ицковъ въ роли нашихъ военачальниковъ. Подождемъ и поглядимъ, быть можетъ и это случится.

* * *

Но нѣтъ, серьезно говоря, на сколько могутъ быть желательны, не говоря уже объ Мышахъ, а просто «партикулярные», полугодовые офицеры въ рядахъ нашей арміи? И что эта армія станетъ съ ними дѣлать? Не лучше ли, прежде чѣмъ либерально привѣтствовать слухъ о «новыхъ правахъ» нашихъ семинаристовъ и «зрѣлыхъ» евреевъ, подумать о томъ, чтобы русская армія была вполнѣ и на всякое время обезпечена корпусомъ вполнѣ знающихъ, способныхъ и соотвѣтственныхъ своему назначенію офицеровъ? Не лучше

ли подумать о томъ, какимъ образомъ удерживать ихъ въ рядахъ арміи, какимъ образомъ обезпечить положеніе офицера и нравственно, и матеріально, такъ, чтобы мало-мальски способный человѣкъ не бѣжалъ при первой возможности изъ арміи въ службу по акцизу, по контролю или по желѣзнымъ дорогамъ? Общая воинская повинность, безспорно, прекрасная государственная мѣра въ разсужденіи *солдатскаго* званія, какъ званія легче усвоимаго и требующаго несравненно меньшей подготовки, чѣмъ должность офицерская. Но «полугодовые» офицеры... Прежде чѣмъ либерально привѣтствовать такой слухъ, газетчикамъ, если они не Ицки Мыши, а русскіе люди, не мѣшало бы серьезно подумать о послѣдствіяхъ, какія могутъ произойти для русской арміи отъ такихъ опытныхъ руководителей.

НА ТРАВѢ.

I.

Веселый походъ.

Весенній кампанентъ кончился. Іюнь пришелъ на смѣну мая. Эскадроны изъ полкового сбора расходятся «на траву». «Трава»—это кавалерійскія каникулы. Съ «травкою» начинается «вальготное» лѣтнее время и людямъ, и конямъ. И тѣ, и другіе въ теченіе шести недѣль, а иногда и цѣлыхъ двухъ мѣсяцевъ, отдыхаютъ отъ фронтовой службы весенняго сбора: не нужно надѣвать на себя никакой сбруи—ни мундировъ, ни шапокъ, ни амуниціи—знай себѣ одно только дѣло: уборку коня, да черезъ день ступай въ луга косить сѣно. День косьбы и день отдыха, а за косьбу—и лучший кусокъ мяса, и лишняя чарка водки. Кони въ это время раскованы и овса уже не получаютъ, а ѣдятъ одну свѣжую траву, которая необходима для нихъ въ гигиеническомъ отношеніи, какъ кровоочистительное средство, послѣ чего, съ переходомъ на овесъ, лошадь становится бодрѣе и лучше возьметъ настоящее, прочное тѣло, которое у кавалеристовъ называется «овсянымъ» тѣломъ, въ отличіе отъ дутаго и непрочнаго «сѣннаго».

Съ вечера принесли приказъ по полку. Что тамъ такое?—прочитаемъ: «Съ окончаніемъ весенняго полкового сбора, предписываю съ завтрашняго числа эскадронамъ выступить на

травяное довольствіе въ мѣста ихъ расположенія». Прекрасно. Степанъ! «взводный» былъ?

— Заходитъ, ваше благородіе. Сказывалъ, что майоръ приказали въ семь часовъ утра выступать.

— У тебя вещи уложены?

— Все готовъ-съ. По утречку подвода выѣдетъ... я ужъ распорядимшись.

* * *

Утро свѣжее, погожее. День будетъ жаркій, но до мѣста дойти успѣемъ еще до солнцѣ: придемъ часу въ одиннадцатомъ.

Я вышелъ за городъ, къ мосту, чтобы встрѣтить тамъ эскадронъ и идти съ нимъ походомъ. На мосту уже стояла небольшая кучка нашихъ эскадронныхъ конюховъ и офицеровъ. Всѣ въ походной формѣ, въ лядункахъ и при пистолетахъ. Одни изъ офицеровъ только проводятъ свои эскадроны, доставятъ себѣ маленькое удовольствіе прогулки верхомъ въ прекрасную погоду и вернуться въ городъ; другіе, командированные полковымъ приказомъ, пойдутъ на траву со своими частями. Я былъ въ числѣ этихъ послѣднихъ. Тутъ же, около этой группы, стояли двое денщиковъ «съ запасами».

Вотъ на подгородной дорогѣ показались облака пыли, сквозь которую мелькаютъ вороньи кони, бѣлые кители и острия пикъ сверкаютъ искрами на солнцѣ. — «Наши подходятъ!» Эскадронный командиръ, красиво собравъ горячаго, виднаго коня, короткимъ галопомъ мо-

лодцовато подтѣзжаетъ къ нимъ навстрѣчу, и грохотъ отвѣтнаго отклика на его: «здорово, люди», бодрымъ и свѣжимъ звукомъ несетъ въ утреннемъ воздухѣ. Эскадронъ проходить мимо насъ и на минутку останавливается за мостомъ. Рейткнехты подводятъ лошадей офицерамъ и принимаютъ отъ денщиковъ дорожные «запасы», которые спѣшно и ловко привычною рукою упаковываютъ въ свои кабуры. Вызвали пѣсенниковъ впередъ и тронулись далѣе.

Дорога идетъ длинной аллеей и теряется за пригоркомъ. Старые вязы, тополи, березы и рябины кидаютъ на нее прохладную тѣнь и тихо шелестятъ росистою листвою. Офицеры вольно ѣдутъ-себѣ впередъ и нѣсколько въ сторонѣ отъ эскадрона, стараясь подъ широкими и кудрявыми вѣтвями доставить своимъ конямъ прохладу утренней прозрачной тѣни. Ароматъ сигары порою смѣшивается съ запахомъ русской махорки, который, будучи доносимъ иногда легкимъ вѣтеркомъ, становится какъ-то особенно пріятенъ на воздухѣ.

Прошли двѣнадцать верстъ незамѣтно. На дорогѣ, подъ сѣнью высокихъ, старыхъ деревьевъ, стоитъ одинокая, бѣлая корчма, извѣстная подъ именемъ «Мурованки». Взглянуть на нее—видно, что древняя, прочная постройка. Въ ея сыроватыхъ и мрачныхъ стѣнахъ въ 1863 году пировали повстанцы, не помышляя о роковой близости генерала Гагцакаго. Вотъ въ сторонѣ крестъ, на которомъ хотѣли распять казака, случайно перехваченнаго на дорогѣ; только не удалось: ловкій казакъ какъ-то хитро успѣлъ увернуться и удрать на своемъ скакунѣ отъ крестной смерти. Здѣсь эскадрону сдѣлалъ привалъ. Людямъ—обычная чарка водки, а офицеры съ юнкерами, расположившись на землѣ подъ деревомъ, распаковываютъ свои «запасы». Походная фляга идетъ въ круговую, и неизмѣнная жареная курица кромсается на части; неизмѣнные пирожки съ капустой, словно изъ рога изобилія, сыплются на траву изъ неловко развернутаго бумажнаго тюрника. Умный эскадронный Шарикъ, почуявъ съѣстное, подбѣжалъ дробной побѣжкой, вѣжливо виляя хвостикомъ, и усѣлся тутъ же, умильно поглядывая на закуску и засматривая въ глаза всѣмъ и каждому: неужели, молъ, вы, господа офицеры, Шарика позабудете? Въ офицерской кучкѣ и въ солдатскихъ группахъ идетъ какой-то, повидимому, безпричинный, но добродушно-веселый смѣхъ и говоритъ: погода это, что ли, дѣйствуетъ такимъ образомъ—не знаю, только очевидно, что всѣмъ очень весело.

Солнце начинаетъ уже печь—и какъ пріятно теперь на нѣсколько минутъ растянуться-себѣ, заложивъ руки подъ голову, на сыроватой землѣ, подъ деревомъ, которое кидаетъ на тебя свою колеблющуюся, золотисто-зеленоватую

тѣнь, а сквозь эту тѣнь такъ ласково пробиваются мелкими свѣтлыми пятнами—какъ сквозь сѣтку—лучи горячаго солнца! Легко, хорошо, привольно... Голубое, глубокое небо сквозить изъ-за листвы. Взоръ лѣнливо и безопасно блуждаетъ вокругъ, переходя отъ вѣтвей и неба къ тѣмъ полямъ, по которымъ волнуются легкими тѣнями еще зеленые, но уже колосистые нивы, и сквозь шопотъ листвы слышно, какъ дождемъ сыплются надъ этими нивами звуки безчисленныхъ жаворонковъ и какую тревогу бытъ въ травѣ кузнечики... Подъ эти звуки начинаешь будто забываться немного полудремотой, какъ вдругъ—«Садись!»—и снова на коня, и снова пошелъ походомъ!

II.

Ильяновскій фольваркъ.

Свернули съ большой дороги влѣво и пошли проселкомъ. Впереди засинѣла гора, покрытая сосновымъ боромъ. Это—Гродненская пуца зачинается. На склонѣ этой горы, среди лѣса, стоитъ Ильяновскій фольваркъ, куда мы теперь направляемся. Дорога идетъ открытыми полями, по которымъ торчатъ высокіе покосившіеся кресты, разбросанные и тамъ, и сямъ, по всѣ стороны; кое-гдѣ видны соломенные кровли убогихъ деревушекъ, кое-гдѣ возвышаются группы высокихъ тополей, являющіяся неизмѣнною принадлежностью панскихъ фольварковъ.

Солнце печетъ. За эскадрономъ стоитъ облако пыли, поднятое конскими копытами. Жара очевидно умяла людей, и они примолкли. А въ этой тишинѣ, сквозь мѣрный и однообразный конскій топотъ, еще слышнѣе и отчетливѣе разсыпаются съ неба серебристыя трели жаворонковъ, а подъ ногами кузнечики поднимаютъ такой оживленный концертъ, что кажется, будто это сама трава стрекочетъ.

Но зато, послѣ жаркой и пыльной духоты, какъ освѣжительно обвѣяла насъ вдругъ сыроватая прохлада густаго лѣса! Запотѣлые и запыленные кони подбодрились и зафыркали, чуть только вступили подъ широкую тѣнь; между людьми тоже легкій говорокъ пошелъ—и примолкшіе было пѣсенники дружно подхватили вдругъ веселую пѣсню, которая среди частаго лѣса раздается какъ-то громче, ярче, полнѣе.

Что-за веселый этотъ лѣсъ Ильяновскій! Характеромъ своей растительности онъ нѣсколько напоминаетъ Бѣловѣжскую пуцу, хотя, конечно, въ миниатюрѣ и гораздо бѣднѣе. Огромный, широкій и раскидистый орѣшникъ густо заслоняетъ нашу дорогу съ обеихъ боковъ ея, а надъ нимъ вѣковые дубы простираютъ крѣпкія вѣтви, и старые грабы раскидисто сплетаются, въ видѣ навѣса, свою ярко-

зеленую, изящную и веселую зелень. Прелесть, как хороша эта короткая лѣсная дорога!

И вдругъ, повѣяло на насъ чуднымъ ароматомъ розы и жасмина.—Что это за запахи? откуда онѣ несется? Мы съ двумя товарищами свернули съ дороги въ сторону; продираясь между хлесткими зелеными вѣтвями, углубились въ лѣсную чащу, которая, то и дѣло, прерывается небольшими полянками и лужайками, каждая въ нѣсколько сажений въ окружности,—и вдругъ открываемъ въ этой чашѣ одичалые кусты бѣлыхъ розъ, усѣянные пышными цвѣтами, и кусты одичалаго садоваго жасмина, на которыхъ, какъ звѣздочки, сверкаютъ бѣлоснѣжные грозди цвѣтовъ. Откуда вдругъ такая роскошь среди этой глуши? Мы съ коня нарвали нѣсколько пышныхъ пучковъ розъ и жасминовъ, съ которыхъ скатывались еще рѣдкія капли росы, и привезли ихъ къ эскадрону. Товарищи наши были пріятно изумлены этимъ неожиданнымъ сюрпризомъ.—«Гдѣ, что и какъ, и откуда взялись такіе пышные букеты?» посыпались на насъ разспросы. Эскадронный командиръ, который уже не первое лѣто ставалъ въ этихъ мѣстахъ «на травѣ», разъяснилъ наше недоумѣніе: здѣсь нѣкогда былъ обширный паркъ знаменитаго польскаго графа Валицкаго. Этотъ прекрасный паркъ давно уже заброшенъ, забытъ, заглохъ и превратился въ дикій лѣсъ, гдѣ мѣстами сохранились еще и до нашихъ дней одичалые кусты жасмина, розъ и сирени. Если нѣкогда воздѣланный паркъ былъ великолѣпенъ, судя по разсказамъ,—то нынѣ этотъ лѣсъ съ такою роскошью цвѣтовъ, по моему мнѣнію, сталъ еще лучше, еще прекраснѣе, послѣ того какъ время наложило на него свою руку и щедро впустило въ него столь поэтическую одичалость.

Но вотъ лѣсъ кончился. Поднимаемся на плавно-волнистую возвышенность, и вдругъ—предъ нами открывается зеркальная поверхность широкаго, большаго озера, которое сверкаетъ своимъ серебромъ между кудрявыми кучами деревьевъ. Далеко, вправо, видны надъ озеромъ черепичныя и соломенные кровли, башенки костела, куполъ и колокольня церкви; это—мѣстечко Езёры, принадлежавшее нѣкогда тому же графу Валицкому,—а ближе, надѣво, возвышается гора, покрытая высокимъ, синимъ боромъ. Это уже Гродненская пуша. Березы, клены, вязы, ольха и осина спускаются къ самому берегу озера, гдѣ, между зеленою, видны кое-какія постройки, сарай, домикъ; близъ домика вьется бѣлый дымокъ изъ-подъ вѣтвистаго навѣса, подъ которымъ устроена эскадронная кухня, а выше, на пригоркѣ, стоитъ съ распростертыми крыльями вѣтряная мельница. Мы опять вступаемъ подъ тѣнь деревьевъ и поднимаемся въ гору. Здѣсь встрѣчаютъ насъ квартиреры, отъ которыхъ

отдѣляется унтеръ-офицеръ и официальнымъ шагомъ подходитъ рапортовать эскадронному командиру. Шарикъ узналъ *своихъ*, узналъ знакомыя мѣста—и потому, задрвавъ кверху свой крендель, бойко пускается въ припрыжку впередъ, оглашая воздухъ веселымъ и звонкимъ лаемъ.

Неподалеку отъ озера, въ лѣсу, на полугорѣ, подъ стѣною высокихъ сосенъ Гродненской пуши, притаился одинокій Ильиновскій фольваркъ. Въ этомъ лѣсномъ убѣжищѣ нашъ эскадронъ проводитъ время своей «травы». Выводы тотчасъ же разбились по фольварковымъ сараямъ, которые безъ всякаго порядка разбросаны и тамъ, и сямъ, между лѣсомъ, но недалеко одинъ отъ другого. Люди устроили стояла и тутъ же по сараямъ приладили свои собственные постели.

— Теперича мы, значить, на дачѣ!—ослабѣя широкой улыбкой, съ видимымъ удовольствіемъ говоритъ Каковинъ, эскадронный заглавало, распустивъ свою амуницію и разстегивая китель. — Прекрасная трава будетъ, братцы!

— А ты почему знаешь?—откликается ему «взводный».

— Потому и знаю, что день нонича очень прекрасный: ишь, какая, теплынь! И свѣту сколько! Ужъ это у меня первая примѣта такая,—какъ выходить на траву, коли ежели день погожій, и вся трава веселая будетъ.

— Твоими бы устами да медъ пить!

— Ну, медъ не медъ, а водочки, дастъ Богъ, своими устами хватимъ!

Входитъ въ сарай эскадронный вахмистръ—освѣдомиться, хорошо ли въ каждомъ взводѣ устроились люди и лошади.

— Андрею Васильевичу!.. Съ травой честь имѣемъ проздравить!—летятъ ему навстрѣчу привѣтливые голоса веселыхъ солдатъ.

* *

Офицеры вмѣстѣ съ «майоромъ», т. е. эскадроннымъ командиромъ, располагаются по комнатамъ панскаго дома, являющагося лучшимъ образцомъ тѣхъ помѣщичьихъ обиталищъ, которыя въ Литвѣ и въ Польшѣ извѣстны подъ характернымъ именемъ соломенныхъ дворцовъ. Это былъ «*правдивы палацъ сломяны*». Низенькій, деревянный, одноэтажный, съ небольшими окривѣлыми окнами, рамы которыхъ качаются на плохихъ желѣзныхъ цѣляхъ, съ бревенчатыми балками поперекъ потолка, съ бѣлыми стѣнами и расщелистымъ поломъ, крытый соломенной кровлей,—домъ этотъ служилъ нѣкогда убѣжищемъ одному изъ самыхъ яркихъ и характерныхъ представителей «старожитной Литвы» конца прошлаго столѣтія.

Теперь онъ пустъ и оживляется на нѣсколько недѣль только лѣтомъ, когда его займутъ

подъ постой наши офицеры. Въ соломенной кровлѣ, поросшей темнозеленымъ бархатнымъ мхомъ, гнѣздится множество воробьевъ; вдоль бѣленыхъ стѣнъ, между переплетовъ, растутъ абрикосы; рѣшетчатые крылечки густо увиты зеленою хмѣля и дикаго винограда; по этимъ стѣнамъ и по выющейся зелени въ солнечный полдень бѣгаютъ шустрья ящерки, а подъ половицами гнѣздятся ужи, которые иногда сквозь широкія щели заползаютъ и въ комнаты. Сначала такое сосѣдство казалось не особенно пріятнымъ, но вскорѣ мы совсѣмъ привыкли къ этимъ безвреднымъ змѣямъ.

Странное и какое-то смѣшанное впечатлѣніе производитъ этотъ «палацъ сломяны», брошенный среди лѣса и заглохшаго парка, въ южной части громадной Гродненской пуци, на берегу широкаго и прекраснаго озера. Поглядѣть на него снаружи—низенькій, одноэтажный, деревянный домишко подъ соломенную кровлю, построенный глаголемъ, и только. Кажись бы, ровно ничѣмъ не отличается отъ сотенъ тысячъ подобныхъ же шляхетскихъ соломенныхъ палацовъ, въ изобиліи раскинутыхъ по всей Литвѣ и вообще по Западному краю. Но чуть вступишь подъ эту убогую кровлю, тутъ и начинается это странное, смѣшанное впечатлѣніе. Внутри рядъ низенькихъ, темноватыхъ комнатъ, съ маленькими окнами, съ потолкомъ, настланнымъ поверхъ поперечныхъ балокъ, съ бѣлеными стѣнами и некрашенымъ поломъ. Мебель сбродная, стародавняя и дубовато-крѣпкая, всѣмъ характеромъ и видомъ своимъ обличающая несомнѣнное мѣстное происхождение. Все сѣро и скудно, и ото всего вѣетъ какимъ-то сыровато-затхлымъ холодомъ запустѣнія и нѣкоторою мрачностью. Но тѣмъ сильнѣе, тѣмъ поразительнѣе дѣйствуетъ на васъ неожиданный видъ драгоценныхъ предметовъ самой изысканной артистической роскоши, собранныхъ въ этихъ бѣдныхъ стѣнахъ, подъ этою соломенною кровлею. Въ углахъ стоятъ китайскіе боги и японскія фарфоровыя вазы, болѣе чѣмъ въ полтора аршина вышины, испещренныя затѣйливою живописью; на окнахъ и на простыхъ тесовыхъ столахъ тоже красуются подобныя же сосуды, нѣсколько меньшихъ объемовъ, носящіе на себѣ клейма китайскихъ и древнихъ японскихъ мастеровъ, рядомъ съ произведеніями королевско-саксонской и северской фабрикъ. Стекланный шкафъ, на которомъ скалитъ зубы чей-то желтый черепъ, облеченный въ древній рыцарскій шлемъ, наполненъ дорогимъ и рѣдкимъ хрусталемъ и коллекціей дорогихъ яшмъ, аметистовъ, лазореваго камня, малахитовъ и другихъ наиболѣе цѣнныхъ горныхъ породъ. На стѣнахъ, въ старинныхъ золоченыхъ рамахъ, почернѣвшихъ отъ времени, висятъ прекрасныя картины, принадлежащія кисти старыхъ, хорошихъ мастеровъ испанской и французской школы. Но,

Боже мой, въ какомъ запущеніи, въ какомъ унадкѣ всѣ эти драгоценныя коллекціи! Иныя картины прорваны и облуплены, хрусталь побитъ, нѣкоторыя вазы сломаны... Жалко и больно смотрѣть на эти дивныя вещи, и вмѣстѣ съ тѣмъ становится досадно на невѣжественную небрежность людей, не сумѣвшихъ соблюсти и сохранить ихъ, какъ должно. Но какой странный контрастъ представляютъ всѣ эти предметы искусства и роскоши съ этими потолочными балками, съ этими бѣдными, низенькими стѣнами соломеннаго палаца! Странное присутствіе ихъ въ этихъ нежилыхъ, мрачныхъ и скудныхъ покояхъ кажется вамъ какимъ-то рѣзкимъ диссонансомъ,—и невольно рождается вопросъ: кому, когда, зачѣмъ и для чего пришла идея совокупить и погребсти отъ свѣта всѣ эти коллекціи подъ непривѣтливую кровлю убогаго домишка, одиноко брошеннаго среди пустыря Гродненской пуци?

Тотъ, кто сдѣлалъ это, былъ въ своемъ родѣ замѣчательнымъ человѣкомъ, и память о немъ сохранилась, по преданію, еще и доселѣ, далеко за предѣлами Ильнянскаго фольварка.

III.

Авантюристъ-магнатъ прошлаго вѣка.

Это былъ нѣкто Валицкій, польскій шляхтичъ называвшій себя—правильно или не правильно — графомъ. Жизнь его, исполненная разныхъ приключеній, носила на себѣ загадочный и отчасти романическій характеръ. Одинъ изъ замѣчательныхъ авантюристовъ, почти современникъ знаменитаго Калиостро, шляхтичъ Валицкій являлъ въ себѣ нѣкоторыя типическія черты своего времени.

Бѣдный потомокъ захудалаго рода, онъ изъ милости получилъ воспитаніе въ домѣ «крайчаго литевскаго», пана Бучинскаго, гдѣ выказалъ замѣчательныя способности къ наукамъ. Преданіе говоритъ, что когда ему исполнилось восемнадцать лѣтъ, панъ Бучинскій, въ силу «старожитнаго» обычая, подарилъ ему бричку, четверку лошадей, пару пистолетовъ, ружье и саблю, снабдилъ бѣлежъ и нѣсколькими перемѣнами платья, да двумя-тремя рекомендательными письмами въ Вильну и въ Варшаву, и закрѣпилъ за нимъ мальчика-казачка, да кучера; затѣмъ будто бы призвалъ его въ лучшую парадную комнату своего могилевскаго дома и приказалъ гайдукамъ растянуть его на коврѣ—ибо, въ качествѣ родовитаго шляхтича, Валицкому не подобало быть растянутымъ на голомъ полу, а непременно на коврѣ, и не иначе, какъ на хорошемъ коврѣ. Послѣ этого панъ Бучинскій, крайчій литевскій, въ своемъ «властнѣмъ» присутствіи, тоже въ силу «старожитнаго» обычая, велѣлъ гайдукамъ влѣпить ему, здорово живешь, «сто бизуновъ», т. е. пле-

тей, собственно, не ради какого проступка, а просто на добрую память и, по окончании столь назидательной операции, вручил юношѣ сто червонцевъ, дозволивъ припасть къ своей ногѣ, дабы почтительно облобызать ее, и пустил въ подаренной бричкѣ на всѣ четыре стороны «въ умизги до-фортуны», т. е. на волокитство за счастьемъ. Это было въ 1770 или 71-мъ году—и съ тѣхъ поръ о Валицкомъ ни на Литвѣ, ни въ Польшѣ не было слуху. Онъ исчезъ, какъ словно бы сквозь землю провалился. Но вотъ, проходитъ двадцать лѣтъ, въ Варшавѣ закипѣла революція — и въ разгаръ ея, въ этомъ вѣтrenomъ, но прелестномъ городѣ вдругъ появляется воспитанникъ пана Вучинскаго,—но какъ появляется! — съ несомнѣннымъ состояніемъ въ нѣсколько милліоновъ и съ фантастическимъ титуломъ итальянскаго графа! Было много толковъ по поводу этого титула: одни утверждали, будто Валицкій самозванецъ; другіе доказывали, что онъ точно купилъ себѣ графство въ какомъ-то итальянскомъ владѣніи, — но какъ бы то ни было, а достоверно, что король Станиславъ-Августъ лично призналъ за нимъ этотъ титулъ и возвелъ въ кавалеры ордена Станислава 1-й степени за щедрое пожертвованіе значительныхъ суммъ въ пользу учебныхъ заведеній. Еще болѣе толковъ и подозрѣній возбуждало загадочное происхожденіе его милліоновъ. Говорили, будто это громадное состояніе нажито карточною игрою, будто онъ выигралъ брильянты у королевы Маріи-Антуанетты, и примѣшивали къ этому вдобавокъ какое-то темное участіе въ исторіи знаменитаго «ожерелья королевы». Въ Ильиновскомъ фольваркѣ стоялъ прислоненный къ стѣнѣ подрамокъ съ огромнымъ холстомъ, на которомъ замѣчательно-сочною кистью изображенъ во весь ростъ Валицкій, съ задумчивыми голубыми глазами, среди роскошной обстановки богатаго кабинета. Онъ сидитъ въ креслѣ у стола, одѣтый въ богатый французскій кафтанъ; предъ нимъ стоитъ раскрытый ларецъ, наполненный драгоценностями, а въ рукѣ изображены нити крупныхъ брильянтовъ, которыми фантастическій графъ, какъ будто небрежно и задумчиво играетъ ⁴⁾. Картина дѣлала нѣкоторое впечатлѣніе.

Но всѣ эти невыгодные слухи относились исключительно къ темному и безвѣстному періоду жизни Валицкаго. Съ появленія же въ Варшавѣ и уже до конца своей жизни, онъ—какъ утверждаютъ—будучи страстнымъ игрокомъ, велъ большую игру необыкновенно счастливо, при чемъ, однако, случилось ему и про-

игрывать огромныя суммы. То былъ золотой вѣкъ азартной игры. По свидѣтельству Ө. Булгарина, во всѣхъ значительныхъ городахъ Литвы и Польши, не говоря уже о Вильнѣ и Варшавѣ, разныя куртизанки открыто держали у себя игорные дома, куда стекалось польское панство и русское офицерство. Игра шла почти исключительно на одно только золото, которое цѣлыми грудами бывало навалено на зеленомъ полѣ, и ставки шли не на отдѣльныя монеты, а на *стопки*, т. е. понтеры ставили на карту стаканы, наполненные червонцами безъ всякаго счета. Цѣлыя шайки варшавскихъ шуллеровъ разъѣзжали по всему краю, рыскали по ярмаркамъ, слѣдовали за полками и отрядами и грѣли руки, гдѣ была лишь малѣйшая возможность. Въ этотъ азартный періодъ героями подобнаго сорта было составлено много значительныхъ состояній, извѣстныхъ на Литвѣ даже до послѣдняго времени; но съ тѣхъ же самыхъ поръ за поляками укрупнились и въ Россіи, и въ Европѣ репутація шуллеровъ по преимуществу, и замѣчательно, что даже въ наши дни наиболѣе значительный контингентъ нечистыхъ игроковъ составляетъ намъ все-таки польская національность.

Появись въ Варшавѣ, Валицкій сразу произвелъ ослѣпляющее впечатлѣніе на общество. Манеры, тонъ, образъ жизни — все это было имъ усвоено такъ, что внушительно говорило всѣмъ и каждому о привычкѣ графа къ высшему обществу. Его связи со многими дворами и знаменитостями того времени были извѣстны всѣмъ, а баснословная щедрость, веселый нравъ и роскошь жизни доставили ему огромную популярность въ Европѣ. Даже гордые польскіе магнаты наперерывъ стремились приобрести дружбу и расположеніе загадочнаго графа. Онъ весь вѣкъ остался холостымъ человекомъ, но задавалъ балы и принималъ дамъ. Красавицы всей Европы добивались его благосклонности и постоянно толпились вокругъ золотыхъ грудъ игорнаго стола, который никогда не оставался закрытымъ въ его домѣ. Онъ игралъ въ высшей степени хладнокровно, съ тѣмъ «пріятнымъ изяществомъ», которое считается наилучшимъ украшеніемъ хорошаго игрока. Никто не умѣлъ съ такимъ спокойствіемъ и любезностью проигрывать и отдавать громадные куши, какъ панъ грабя Валицкій,—но зато же никто не могъ и наказывать болѣе жестокимъ образомъ тѣхъ шуллеровъ, которые шайками врываются въ его домъ съ цѣлью пообчистить любезнаго графа. Замѣтивъ противъ себя комплотъ, онъ до послѣдней нитки обиралъ честную компанію говоря ей въ назиданіе: «*contre coquin—coquin et demi!*» и затѣмъ сейчасъ же отдавалъ весь выигрышъ въ пользу бѣдныхъ.

Что касается до темнаго періода его жизни, то тутъ рассказываютъ слѣдующіе факты.

⁴⁾ Въ настоящее время, когда конфискованное Езерское имѣніе, принадлежавшее наслѣднику Валицкаго; замѣшанному въ послѣднемъ возстаніи, куплено гр. Левашовымъ, портретъ этотъ перешелъ во владѣніе семейства г-жъ Костялковскихъ въ Гроднѣ.

Получивъ отъ пана Бучинскаго сто бизуновъ и сто червонцевъ, молодой человекъ укатилъ изъ Могилева и предался игрѣ. Фортуна иногда ему улыбалась, но чаще поворачивалась спиною къ своему искателю и довела его въ одну прескверную ночь до того, что и бричка, и кони, и бѣлье, и казачекъ съ кучеромъ— все это осталось въ рукахъ шулеровъ, а Валицкій очутился маркеромъ въ одномъ изъ лембергскихъ трактировъ. Долго влачилъ онъ это незавидное состояніе, посвящая все свободное время изученію карточныхъ фокусовъ, расчетовъ и тайствъ игры, и успѣлъ довести ловкость рукъ своихъ и соображеніе достепени гениальнаго совершенства. Въ такомъ-то положеніи столкнула его однажды судьба съ извѣстнымъ польскимъ магнатомъ, княземъ Фр. Сапѣгою, который, зайдя въ трактиръ поиграть на бильярдѣ, случайно обратилъ вниманіе на наружность и выѣшій лоскъ ничтожнаго маркера. Узнавъ, что въ этой должности состоитъ родовитый польскій шляхтичъ, Сапѣга не потерялъ такого «униженія» своего сословія и взялъ съ собою Валицкаго въ Вѣну, гдѣ онъ и состоялъ нѣкоторое время у князя «на ласкавемъ хлѣбѣ» въ качествѣ приживальщика, въ числѣ подобныхъ же шляхтичей, составлявшихъ дворъ и свиту знаменитаго магната. Отъѣзжая по дѣламъ въ Польшу, Сапѣга оставилъ Валицкаго въ Вѣнѣ и далъ ему денегъ «на разживу». Съ этого-то и пошелъ уже въ гору воспитанникъ Бучинскаго. Булгаринъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» рассказываетъ, что однажды ночью Валицкій металъ банкъ въ долѣ съ нѣсколькими игроками мелкаго разбора, въ одномъ изъ самыхъ грущобныхъ вѣнскихъ трактирчиковъ. Счастье, или вѣрнѣе, «искусство» на сей разъ благоприятствовало Валицкому, карманы партнеровъ были уже пусты, и компанія дольщиковъ намѣревалась уже забастовать, какъ вдругъ входитъ въ комнату «нѣкто» въ венгерскомъ костюмѣ, съ видомъ «таинственнаго незнакомца», высокій, худощавый, длинноусый, и выдернувъ наудачу какую-то карту, произноситъ тихо.

— Ва-банкъ!

Дольщики смутились, но Валицкій метнулъ на незнакомца внимательно зоркій взглядъ и пригрозилъ метать. Компанія остановила его и потребовала напередъ, чтобы, во-первыхъ, были пересчитаны наличныя деньги банка, а во-вторыхъ, чтобы венгерецъ положилъ соотвѣтственную сумму.

— Душевно бы радъ, но, къ сожалѣнію, со мною нѣтъ ни копейки!—наотгрьзъ отказался незнакомецъ и, снова подвинувъ карту, повторилъ свое тихое—«ва-банкъ».

Компанія, за исключеніемъ банкмета, продолжала сопротивляться столь оригинальному понтеру.

— Если вы, господа, честные люди, — за-

явилъ, наконецъ, венгерецъ,—вы должны поверить мнѣ на честное слово.

Тѣ не соглашались.

Тогда Валицкій, пересчитавъ банкъ, отдалъ его товарищамъ и сказалъ незнакомцу.

— Если вы, милостивый государь, обращаетесь къ моей чести, я охотно готовъ держать вамъ банкъ на ваше слово. Извольте, я держу вамъ одинъ, безъ участія этихъ господъ. Ваша карта?

Незнакомецъ не открылъ ея.

Валицкій молча началъ метать направо и налево.

Рискованная игра шла уже на чистую, но банкметъ отлично владелъ собою и казался совершенно спокойнымъ.

— Бита!—столь же спокойно и тихо произнесъ незнакомецъ, оборачивая свою карту,—и, дѣйствительно, она была убита.

— Попрошу васъ,—прибавилъ онъ, обращаясь къ Валицкому, — отправиться со мной и получить деньги.

— Какъ вамъ угодно,—со сдержаннымъ поклономъ отвѣчалъ счастливый шляхтичъ.

— Но только я не желаю, чтобы ваши товарищи отправлялись вмѣстѣ съ вами: я приглашаю къ себѣ васъ одного, но никакъ не этихъ господъ!—рѣшительно заявилъ венгерецъ.

— Какъ вамъ угодно,—повторилъ Валицкій и, не взирая на доводы своихъ товарищей, опасавшихся отпустить его одного, послѣдовалъ за незнакомцемъ.

Они отправились.

Пройдя нѣсколько глухихъ улицъ и переулковъ, путники вышли въ болѣе людную и безопасную часть города, гдѣ венгерецъ остановился у подъѣзда одного роскошнаго дома. Прислуга съ величайшимъ почтеніемъ раскрыла предъ нимъ дверь — и Валицкій вмѣстѣ со своимъ спутникомъ, прошелъ въ кабинетъ черезъ анфиладу богатыхъ комнатъ.

Пригласивъ своего гостя садиться, хозяинъ обратился къ нему съ вопросомъ.

— Извините за нескромность, но... скажите, кто вы такой?

— Претендентъ короны польской,—любезно, но совершенно серьезно отвѣчалъ Валицкій.

— По какому же праву?!—широко раскрывъ глаза, изумился венгерецъ.

— По праву родовитаго польскаго шляхтича. Я—шляхтичъ Валицкій; а вамъ, конечно, извѣстно, что каждый изъ насъ имѣетъ законное право на выборъ въ короли.

— О, если такъ, то позвольте имѣть честь рекомендоваться!—улыбнулся хозяинъ.—Я князь Эстергази. Вамъ, какъ претенденту на польскую корону, а мнѣ, какъ венгерскому магнату, положимъ, хотя и не слѣдовало бы посѣщать такіе вертепы, въ какомъ мы столкнулись се-

годня, но... но я иногда дѣлаю это отъ скуки и изъ любопытства.

— А я для того, чтобы не умереть съ голоду,—промолвилъ въ отвѣтъ Валицкій и, кстати, рассказалъ ему свою біографію,

Этотъ случай сблизилъ его съ венгерскимъ магнатомъ, въ домѣ котораго, по прошествіи нѣкотораго времени претендентъ короны польской сталъ до такой степени «своимъ человѣкомъ», что Эстергази рѣшительно ни на шагъ не могъ обойтись безъ него. Уѣзжая въ Парижъ съ какимъ-то дипломатическимъ порученіемъ, магнатъ захватилъ съ собой и претендента, который успѣлъ не только втереться, благодаря князю, въ высшее парижское общество, но чрезъ княгиню Полиньякъ достигъ до самой королевы. Онъ сдѣлался постояннымъ членомъ самыхъ интимныхъ вечеровъ Маріи-Антуанетты и былъ почти постояннымъ партнеромъ ея за картами. Говорятъ, будто нѣкоторое время она дарила его особой благоклонностью и особой довѣренностью; говорятъ также, будто и Валицкій оказалъ для нея и для ея семейства много услугъ при началѣ первой французской революціи. Положеніе при дворѣ и въ особенности вечера въ Трианонѣ сблизили Валицкаго со множествомъ знаменитостей того времени, а также съ французской и иностранной знатью. Вездѣ и повсюду умѣлъ онъ ловко пролѣзть, втереться съ чувствомъ сознанія собственного достоинства, понравиться своей наружностью и нравомъ и, наконецъ, сдѣлаться «своимъ» интимнымъ человѣкомъ. Въ это время и былъ положенъ первый фундаментъ его громадному состоянію. Онъ игралъ постоянно и все съ тѣми же изящными достоинствами *beau joueur'a*. Онъ много путешествовалъ, былъ въ Англіи, въ Италіи, въ Германіи—и вездѣ появлялся не иначе, какъ въ качествѣ настоящаго *grand seigneur'a*, со своимъ графскимъ титуломъ, со своими связями и знакомствами и со своимъ дивнымъ искусствомъ, которое открывало ему не только двери, но и карманы сильныхъ и богатыхъ міра сего. Какъ польскій шляхтичъ, онъ считалъ себя аристократомъ по преимуществу и постоянно выказывалъ тенденціи наивысшаго аристократическаго свойства. Духъ революціи, однако, выкуривъ его изъ Парижа, куда возвратился онъ послѣ своихъ путешествій, — и панъ Валицкій появляется на родинѣ, сначала въ Варшавѣ, гдѣ производитъ необычайный фуроръ, а потомъ и «на Литвѣ глембокей», гдѣ накупаетъ себѣ нѣсколько богатѣйшихъ имѣній и, между прочими, Езёры (цѣлое мѣстечко, къ которому принадлежало болѣе десятка деревень и фольварковъ, раскинутыхъ по окрестности), осушаетъ въ нихъ многія болота и проводитъ сплавные каналы. Здѣсь-то, на берегу озера Бѣлаго, въ трехъ верстахъ отъ Езёръ, среди высокаго сосноваго

лѣса, соорудилъ себѣ Валицкій «палацъ сломяны», который и называлъ Вилия-нова, а мѣстное крестьянство передѣлало его уже на свой ладъ въ Ильяново. Одна часть обширнаго лѣса, и именно та, гдѣ растутъ дубы, вязы и грабы, была превращена въ прекраснѣйшій паркъ, а другая, такъ называемый «боръ» или «чернолѣсье», неприкосновенно оставлена во всей дикой красотѣ и прелести стародавней пуши. Ильяновскій фальваркъ, вдаваясь болѣе въ сосновый лѣсъ, стоитъ, однако, почти на рубежѣ этой пуши и парка, которые въ настоящее время, отъ лѣтъ ихъ запущенія, уже слились между собой въ одну одичалую, поэтическую заросль.

Въ 1804 году, фантастическій графъ появился вдругъ и на петербургскомъ горизонтѣ. Сначала онъ было нанялъ себѣ цѣлый нижній этажъ въ домѣ графини Браницкой, что нынѣ князя Юсупова, на Мойкѣ, но вскорѣ найдя, что въ этой квартирѣ мало солнца, купилъ себѣ на Морской, на углу Почтамтскаго переулка, собственный домъ, куда и переселился со своей дюжиной золотыхъ эмальированныхъ табакерокъ, украшенныхъ живописью Петито (которыя принадлежали Людовику XVI и достались Валицкому какими-то особыми путями), и со своей коллекціей алмазовъ, брильянтовъ и иныхъ драгоценныхъ камней, гдѣ, между прочимъ находился извѣстный сапфиръ, имѣвшій свойство измѣнять свой цвѣтъ послѣ захождения солнца и послужившій поэтному *м-те* Жанлюсь темой для повѣсти. Ни у одной, самой отъявленной щеголихи не было такого разнообразнаго, многочисленнаго и богатаго собранія дорогихъ шалей и кружевъ, какимъ славился мужчина Валицкій, проявившій относительно нѣкоторыхъ предметовъ и вещей чистое женскіе прихоти и вкусы. Онъ былъ отличный болтунъ, а его встрѣчи, знакомства, житейскія столкновенія и приключенія во время путешествій по Европѣ давали ему неистощимую тему для рассказовъ, въ которыхъ никто и никогда не могъ отличить, гдѣ истина переходитъ въ фантазію и гдѣ фантазія граничитъ съ истиной. Извѣстно, что въ тѣ времена двери нашихъ баръ были равно открыты

Для званныхъ и незванныхъ,
Особенно изъ иностранныхъ—

и потому все высшее петербургское общество охотно принимало Валицкаго и ѣздило къ нему въ домъ, на его блестящіе балы и тонко-гастрономическіе банкеты. Свѣтскихъ дамъ влекло къ нему обычное любопытство, съ цѣлю полюбоваться на его кружева, шали и драгоценности, которыя онъ иногда умѣлъ дарить необыкновенно кстати и всегда съ такимъ искусствомъ и тактомъ, что отъ его подарка рѣшительно не было возможности отказаться.

Объ одномъ только не любилъ говорить Ва-

лицкій — это именно о темномъ періодѣ своей жизни, и когда однажды его спросили, правда ли, что князь Сапѣга встрѣтилъ его въ Лембергѣ маркеромъ, онъ отвѣчалъ: «правда», но на вопросъ, какимъ образомъ дошелъ онъ до такого состоянія, Валицкій проговорилъ по-морщась:

— Это для васъ нисколько не интересно, а для меня скучно.

И подобными фразами онъ всегда отдѣлывался, какъ скоро дѣло начинало касаться его прошлого.

Во время его пребыванія въ Петербургѣ, въ Кронштадтскій портъ возвратился изъ кругосвѣтнаго плаванія Крузенштернъ на своихъ корабляхъ «Нева» и «Надежда». Наши моряки навезли съ собой множество заморскихъ диковинокъ, которыя продавались тогда съ аукциона, въ правленіи Россійско-Американской компаніи. Между этими диковинками, предъ которыми ежедневно толпились наши бере, въ особенности обращали на себя вниманія рѣдкіе коллекціи вещей китайскихъ и японскихъ. Лучшие экземпляры тѣхъ и другихъ были скуплены Валицкимъ, и теперь забытые остатки ихъ ютятся въ убогихъ стѣнахъ Ильиновскаго фольварка.

Не добившись никакихъ особыхъ почестей и отличій у императора Александра I, Валицкій удалился въ Литву и остатокъ жизни своей проводилъ то въ Вильнѣ, то въ Гроднѣ, то въ своемъ ильиновскомъ «палацѣ сломянемъ».

Богъ-вѣсть, изъ какихъ побужденій происходила его замѣчательная щедрость: было ли это прирожденное свойство души, или дѣло тщеславія, но только онъ кидалъ кошельки каждому просящему, жертвовалъ большія суммы на богоугодныя заведенія, устраивалъ въ Вильнѣ восемь университетскихъ степеній и купилъ цѣлый домъ, въ которомъ жили эти студенты — стипендіаты съ гувернеромъ, на полномъ иждивеніи Валицкаго. Кромѣ того, Виленскому же университету подарилъ онъ богатую коллекцію рѣдкихъ камней и минераловъ, которая составляетъ теперь собственность университета Кіевского. Факты этой категоріи, безспорно, рисуютъ Валицкаго свѣтлыми, симпатичными чертами.

Но въ то же время существуетъ преданіе, что въ этомъ самомъ Ильиновскомъ фольваркѣ, въ лѣсу были выгнаны глубокія ямы, въ которыхъ по нѣскольку дней морили хлопковъ, въ наказаніе за какой-нибудь проступокъ. Тяжкіе стоны этихъ несчастныхъ раздавались по лѣсу въ долгія зимнія ночи. Какъ согласить одно съ другимъ? Какъ допустить, чтобы человекъ, щедро сыпавшій вокругъ себя золото съ благотворительными цѣлями, могъ въ то же время спокойно слушать эти стоны? Какъ-то не хочется даже вѣрить, что это могло быть; но преданіе существуетъ, и намъ самимъ показывали въ

лѣсу, неподалеку отъ фольварка, завалившіяся и поросшія кустарниками ямы, говоря, будто это и есть мѣсто хлопскихъ истязаній. Но если преданіе справедливо, то оно только еще разъ подтверждаетъ ту общезвѣстную историческую истину, что родовитая польская шляхта не признавала ничего внѣ себя, внѣ своего сословія, и если отличалась яркими доблестями, то только въ пользу шляхетства же, но отнюдь не въ пользу народа, почитая его въ Польшѣ и въ Бѣлой, и въ Малой Руси за народъ иноплеменной и притомъ низшей, рабственной расы. Съ этой точки зрѣнія становится понятнымъ и отношеніе шляхтича Валицкаго къ ночнымъ стонамъ его хлопковъ ¹⁾.

Мнѣ и моему товарищу отвели въ соломенномъ палацѣ крайнюю, непроходную комнату, съ окномъ въ заглохшій садъ, которая, по преданію, была спальней самого Валицкаго. Вечеромъ, лежа на своихъ походныхъ складныхъ постеляхъ и невольно слушая трепетный звукъ крыльевъ ночныхъ бабочекъ, порхавшихъ вокругъ лампы, да странный шорохъ ужей подъ половицей, мы припомнили себѣ рядъ рассказовъ о загадочномъ владѣльцѣ этого «палаца».

— Такая яркая, блестяще-роскошная жизнь и такой убогой «палацъ»! И зачѣмъ, рядомъ съ этою аляповатою, грубою мебелью, на этомъ некрашенномъ полу стоятъ драгоценныя вазы, а на этихъ кривыхъ стѣнахъ висятъ картины, которыя могли бы быть украшеніемъ действительныхъ, а не «сломяныхъ» палацовъ? Была ли это одна изъ тѣхъ «фацецій», которыми отличалась польская магнаторія прошлаго вѣка, или простая случайность? Или же, наконецъ, панъ Валицкій вообразилъ себя древнимъ Цинциннатомъ, который суету и величіе Рима промѣнялъ на огородъ и соломенную кровлю деревенской хижинъ?

— Ни то, ни другое, ни третье! — отвѣчалъ мнѣ товарищъ на цѣлый рядъ моихъ вопросовъ и діалогическихъ размышленій.

— Такъ что же, по-твоему?

— По-моему, очень просто! И я, и ты видали много подобныхъ же панскихъ, помѣщичь-

¹⁾ Большую часть рассказовъ и подробностей про Валицкаго мы слышали отъ русскаго старожилы гродненскаго края, отставного артиллерійскаго полковника А. Я. Каховскаго, который послѣ 1863 г. взялъ отъ правительства въ аренду Езерское имѣніе и пользовался имъ до 1875 г. Впрочемъ, подобныя преданія о фантастическомъ графѣ довольно распространены въ мѣстномъ шляхетствѣ и между духовенствомъ. Ф. Булгаринъ, который въ своихъ «Воспоминаніяхъ» посвятилъ Валицкому нѣсколько интересныхъ страницъ, дѣлаетъ предположеніе, что вѣроятно все состояніе его нажито было тайной продажей брильянтовъ, картинъ, рѣдкостей и т. п. Но едва-ли предположеніе это можно назвать основательнымъ. Общее мнѣніе въ краѣ склоняется къ тому, что состояніе Валицкаго было сдѣлано игрою и, преимущественно, благодаря брильянтамъ Маріи-Антуанетты.

ихъ «палацовъ», и въ каждомъ изъ нихъ замѣчается, болѣе или менѣе, одно и то же: неряшество и грубость постройки, полнѣйшее отсутствіе настоящаго житейскаго комфорта, въ томъ смыслѣ, какъ всегда понимали и понимаютъ его, напримѣръ, англичане, и вмѣстѣ съ этою грубостью и неудобствами—аристократическія замашки, картины, фарфоръ, а тутъ, гляди, рядомъ грошевая литографія «Дѣвочка съ барабаномъ» и какой-нибудь полинялый букетъ искусственныхъ цвѣтовъ. Это у нихъ всегда и во всемъ сказывается—и это есть не что иное, какъ прирожденное неряшество.

Такимъ-то прозаическимъ, расхолаживающимъ выводомъ моего товарища былъ заключенъ рядъ нашихъ воспоминаній и моихъ поэтическихъ размышленій. Но... какъ бы то ни было, такъ или иначе, а все-таки шляхтичъ Валицкій, съ его фантастическимъ графствомъ и шальными милліонами, является личностью крупной и достойнѣйшей.

IV.

Ильяновскій призракъ.

Въ нашей комнатѣ было нѣсколько накурено и душно. Товарищъ мой всталъ и растворилъ окно. Блѣдный и какъ бы трепетный лунный свѣтъ оварялъ блѣдно-синее небо и ближній лѣсъ, подернутый дымкою легкаго тумана, который прозрачно курился надъ болотистой низиной, гдѣ пробирался межъ осокіи тихій лѣсной ручей. Кусты жасминовъ и бѣлыхъ розъ, омоченные росой, сверкали подъ лучами луны, словно осыпанные снѣгомъ, и благоухали еще сильнѣе, чѣмъ въ душно-горячій полдень. Дурманящій смѣшанный запахъ этихъ цвѣтовъ ароматною широкою струею вливался къ намъ въ раскрытое окошко.

Я взглянулъ на товарища, который не отходилъ отъ окна и, какъ показалось мнѣ, пристально вглядывался во что-то.

— Во что ты уставился, Апроня?—спросилъ я, замѣтивъ его напряженное и отчасти изумленное вниманіе.

— Тсс!—сторожно поднялъ онъ палецъ и поманилъ меня.

— Чего тебѣ?

— Ступай сюда... гляди... гляди, гляди!.. Скорѣе!—шопотомъ лепеталъ Апроня.

Я вскочилъ съ постели и помѣстился рядомъ съ нимъ въ окошкѣ.

— Видишь?—указалъ онъ пальцемъ по направлению къ болотистой низинѣ.

— Ничего не вижу... Въ чемъ дѣло?

— Бѣлое... вонъ-вонъ... Видишь?

— Бѣлое?.. Ну, что жъ такое?! туманъ курится и только.

— Туманъ!.. А въ туманѣ-то что?

Я сталъ вглядываться пристальнѣе, и въ ту

же минуту взоръ мой различилъ нѣчто особенное, странное...

Среди выюхившихся струекъ тонкаго пара что-то бѣлое тихо двигалось, словно бы плыло вдоль по низинѣ. Слабый лучъ мѣсяца скользилъ неровными бликами по этой неопредѣленной фигурѣ. На первый взглядъ трудно было опредѣлить, что это такое: живое ли существо, причудливый завитокъ сгустивагося пара, или воздушный призракъ?

— Это женщина,—тихо проговорилъ Апроня.

— Вотъ вздоръ какой!—усмѣхнулся я на его замѣчаніе.—Откуда тутъ быть женщинамъ?

— Ей-богу, женщина! Когда она проходила нѣсколько ближе, такъ я замѣтилъ совсѣмъ какъ-будто женскій обликъ.

— Мерещится!.. А впрочемъ, можетъ быть и женщина,—согласился я,—баба какая-нибудь возвращается изъ сосѣдней деревни!

— Въ лѣсъ-то!.. Да вѣдь тутъ некуда возвращаться! Я, слава тебѣ, Господи, знаю этотъ лѣсъ: въ той сторонѣ и жилья то нѣтъ никакого, и при томъ...

Апроня нѣсколько замаялся.

— Что «при томъ?»—взглянулъ я на него вопросительно.

— А то, что походка-то у нея не бабья: больно ужъ плавно движется... и стройна тоже.

— Дѣло воображенія!—усмѣхнулся я и, не чувствуя болѣе охоты стоять передъ окномъ, вернулся къ своей постели.

— Нѣтъ, чортъ возьми, это любопытно!—пробормоталъ Апроня—и въ тотъ же мигъ, натянувъ сапоги да накинувъ пальто, спрыгнулъ въ паркъ прямо черезъ окошко. Лопухи и крапива зашурстѣли подъ его шагами—и затѣмъ все смолкло.

Я взялся за книгу и сталъ читать. Окно оставалось раскрытымъ, и сквозь него набралось въ комнату еще болѣе звенящихъ комаровъ и бѣлыхъ мохнатыхъ бабочекъ, привлеченныхъ молочно-матовымъ свѣтомъ лампы. Минутъ около пяти ночная тишина ничѣмъ не нарушалась. Вдругъ подъ лѣсомъ раздался какой-то тихій, нѣсколько мелодическій звукъ: не то легкій стонъ женскаго голоса, похожій какъ-будто на какой-нибудь условный знакъ, не то случайный выкликъ какой-то птицы, вострепнувшей въ просонкахъ. Я поднялъ голову и прислушался; но такъ какъ вслѣдъ за этимъ опять наступила невозмутимая тишина, то я снова занялся моею книгой. Но не прошло и минуты, какъ вдругъ тотъ же самый звукъ повторяется еще разъ, только нѣсколько слабѣе и какъ-будто дальше. Я вскочилъ съ постели и, высунувшись въ окошко, сталъ чутко прислушиваться. — Все тихо. Золотой серпъ мѣсяца все такъ-же плыветъ себѣ по блѣдной лазури, все такъ-же паръ курится надъ низиной

и сверкаютъ бѣлыя звѣздочки жасмина; шу-
страя ящерка пробѣжала, тускло сверкнувъ на
мгновенье подъ лучемъ мѣсяца: а издали, ког-
да вслушаешься въ ночную тишину, начи-
наешь различать щелканье соловьевъ въ при-
брежныхъ кустахъ, склонившихся надъ широ-
кимъ озеромъ, и слабые мелодическіе, нѣсколько
урчащіе стоны жабъ на далекомъ болотѣ. Не
дождавшись повторенія въ третій разъ того
особеннаго звука, что привлекъ мое вниманіе,
я, наконецъ снова улегся на своей постели.

Нѣсколько времени спустя, зашуршали подъ
окномъ лопухи да крапива — и въ комнату
выпрыгнулъ мой товарищъ.

— Ну, что?—спросилъ я.

— А Богъ его знаетъ что!—пожалъ плеча-
ми Апроня.—Прошелъ по лѣсу и вдоль ручья,
да даромъ только прогулялся.

— Ничего не видалъ?

— Н-нѣтъ, сначала-то, какъ пошелъ во
слѣдъ, она мнѣ издали раза два мелькнула въ
глаза, а потомъ подъ лѣсомъ вдругъ исчезла,
словно сквозь землю провалилась... Ты слы-
шалъ окликъ какой-то?—спросилъ Апроня.

— Слышалъ, и даже дважды.

— Ну, да, два раза. Я тоже совсѣмъ яв-
ственно слышалъ, и гдѣ-то близко около себя; по-
шелъ-было на звукъ, но онъ повторился уже въ
другой сторонѣ, я туда—пусто; искалъ межъ
деревьевъ—ничего нѣтъ.

— Немудрено: въ лѣсу-то вѣдь темень.

— Ну, нѣтъ, не совсѣмъ: межъ стволами
все-таки свѣтъ пробивается, такъ что можно
бы различить, особенно бѣлое. Но нѣтъ, гово-
рю тебѣ, какъ сквозь землю!.. А интересно бы
дознаваться, что это такое?

— Привидѣніе,—улыбнулся я въ шутку.

— А что-жь?! — подхватилъ Апроня. —
Этотъ загадочный панъ Валицкій, этотъ «па-
лацъ» въ лѣсу, пустырь вокругъ—все это та-
кія данныя, что какая нибудь легенда и, осо-
бенно, привидѣніе были бы здѣсь очень кста-
ти.—Чу! — перебилъ онъ свою рѣчь, — слы-
шишь?

Въ эту минуту въ лѣсу дѣйствительно по-
слышался въ третій разъ тотъ же самый за-
гадочный звукъ—и едва онъ замеръ въ воз-
духѣ, какъ вдругъ словно бы въ отвѣтъ ему,
раздался въ той же сторонѣ негромкій про-
тяжный свистъ.

— Чортъ возьми, это рѣшительно не спро-
ста! — увѣренно воскликнулъ Апроня. — Въ
Ильяновѣ, значитъ, есть свои тайны, и это
меня очень утѣшаетъ.

— Почему такъ?

— Стану наблюдать и добиваться сути.—
Все-таки развлеченіе и, значитъ, въ концѣ
концовъ, «траву» проведемъ не совсѣмъ уже
скучно.

— Помогай тебѣ Господи!

— И тебѣ вмѣстѣ со мной!—въ шутку до-
бавилъ Апроня, накрываясь своей простыней.

На слѣдующій день, около полуночи, онъ
нарочно усѣлся передъ раскрытымъ окномъ и
имѣлъ терпѣніе продежурить такимъ образомъ
часа два, коли не болѣе, но увы!—напрасно.
Ночь была такая же ясная и тихая, а «при-
видѣніе» наше не появлялось.

— На этотъ разъ не желаетъ!—въ шутку
задохнувшись, мой сожитель, покидая свой обсер-
вационный постъ. Но эта неудача не помѣшала
ему въ слѣдующую ночь повторить свои наблю-
денія и даже прогуляться по лѣсу, однако же
безъ всякаго успѣха. Это, наконецъ, ему на-
доѣло, и онъ оставилъ свою праздную затѣю.

V.

Ильяновская легенда.

Прошло дней восемь. Мы уже совсѣмъ успѣ-
ли позабыть про нашъ таинственный призракъ,
какъ вдругъ, однажды, передъ обѣдомъ, вхо-
дить въ комнату мой сожитель съ торжествую-
щимъ видомъ.

— Поздравляй меня! Добился-таки!—вос-
кликнулъ онъ, смѣясь и потирая руки. — Въ
Ильяновскомъ фольваркѣ существуетъ легенда!

— Будто?

— Самымъ положительнымъ образомъ.

— И кто герой ея?

— Ни болѣе, ни менѣе, какъ самъ ясно-
вельможный панъ, грабя Валицкій!

— А героиня?

— Какая-то француженка... графиня, гер-
цогиня и чуть ли даже не сама Марія-Ан-
туанетта.

— Такъ это она-то и гуляетъ?

— Она!

— Поздравляю! Но легенду-то откуда-жь
ты узналъ.

— А, это совсѣмъ особъ-статья. Я, видишь
ли, пошелъ было на траву взглянуть, каково-
то наши косятъ,—началъ объяснять мнѣ А-
проня, — а назадъ возвращаясь лѣсомъ. Иду
это себѣ, глядѣ—лежитъ на бугорочкѣ орга-
низмъ изъ Езерскаго костела и уплетаетъ зе-
млянику, прямо съ вѣточекъ срываетъ, ка-
наля, самую крупную, спѣлую ягоду, и въ
ротъ!—а на бугоркѣ-то цѣлый ягодникъ, даже
алѣетъ издали. Соблазнился я, глядячи на
него, тѣмъ болѣе, что по жарѣ-то пить ужас-
но хотѣлось, и прилежъ съ нимъ рядышкомъ,
благо, человѣкъ знакомый: мы съ нимъ прош-
лымъ лѣтомъ все на утокъ хаживали въ пу-
шенскія озера. Ну, разговорились за ягодой-то,
сперва про охоту, про то, да сѣ, а тамъ про
дѣвчатъ съ маладзѣхнами, что ходятъ въ лѣсъ
по землянику, — вѣдь онъ тутъ у нихъ боль-
шимъ сердцеѣдомъ почитается,—а съ сего пред-
мета—вѣроятно ужъ по ассоціаціи идей, такъ

какъ дѣло касалось женщинъ и лѣса, вспомнилъ я про наше привидѣніе и разсказалъ ему, какая она медни штука была.

— Ну, и что-жь на это твой панъ органыста?

— Сначала какъ будто опѣшили и смутили нѣсколько — такъ показалось мнѣ, — продолжалъ мой сожитель, — а потомъ вдругъ и говоритъ: «А что вы думаете себѣ, пане ротмістру! оно и въ правду привидѣніе! фантомъ! и вы, говоритъ, не хорошо сдѣлали, что пошли за нимъ въ дгонку, потому, говоритъ, это дѣло рискованное и могъ бы изъ него выйти «бардзо кепски интэрестъ!» — А что же, спрашиваю, развѣ были примѣры? — «Да всякаго, говоритъ, бывало; мало-ль чего на свѣтѣ не случается! И вы ужъ лучше въ другой разъ не пытайтесь, а то, дали-Бугъ, бѣда будетъ!» — Стало быть спрашиваю путя, у васъ вѣрно и легенда есть? — «М...да, говоритъ, есть и легенда». — И вѣрно съ графомъ Валицкимъ? — «М...да, есть таки и съ Валицкимъ». — Въ чемъ же дѣло-то? Это, говорю, любопытно, — и присталъ къ нему. Органыста мой сначала было помялся, да и разсказалъ... немножко нескладно и несообразно, но, въ отношеніи мѣстнаго интереса, ничего себѣ, живетъ и эдакъ, потому, какая ни-на-есть, а все-жь таки «легенда».

Изложивъ всѣ эти обстоятельства, сожитель мой самымъ положительнымъ образомъ обратился къ предобѣденной закускѣ.

— Я слушаю твою легенду, — напомнилъ я ему о продолженіи.

— Мм... постой, братъ, не до нея! — озабоченно пробурчалъ Апроня, пережевывая кусокъ копченой селедки. — Дай сначала поѣсть, а потомъ слушаай себѣ, сколько хочешь!

И мы усѣлись за свой «офицерскій обѣдъ», въ которомъ фигурировали неизмѣнный супъ изъ курицы и столь же неизмѣнные битки въ сметанѣ, съ блинчиками на «пирожное». — Этими тремя, такъ сказать, традиционными блюдами, какъ извѣстно, испоконъ вѣка ограничивается все кулинарное денщицье искусство.

Увы! легенда «пана органысты» оказалась произведеніемъ совершенно ничтожнаго творчества. Все дѣло будто-бы въ томъ, что панъ-грабя Валицкій, живучи въ Парижѣ, влюбилъ въ себя какую-то знатную французенку, злую и ревнивую женщину, которая никакъ не хотѣла отвязаться отъ вѣтрености ловеласа. Валицкій долженъ былъ тайкомъ удрать отъ нея изъ Парижа, но французская «вельможная пани» поскакала вслѣдъ за нимъ и долго странствовала по Европѣ, разыскивая повсюду своего невѣрнаго друга, съ цѣлю привлечь опять къ себѣ его сердце, или же отомстить ему самымъ чувствительнымъ образомъ. Многолѣтнія старанія и поиски ея были совершен-

но безуспѣшны. Едва доходилъ до нея слухъ, что фантастическій графъ проживаетъ въ томъ-то или въ этомъ городѣ, она мчалась къ нему, но случай всегда устраивалъ дѣло такимъ образомъ, что Валицкій, ничего не зная и не подозрѣвая о ея преслѣдованіяхъ и поискахъ, чуть не наканунѣ, или за нѣсколько часовъ до ея пріѣзда, уѣзжалъ въ другой городъ или въ другое государство — и бѣшеная французенка снова начинала свою неутомимую погоню. Между прочимъ, графъ успѣлъ побывать на Востокѣ, въ Константинополѣ и въ Каирѣ, гдѣ купилъ себѣ на рынкѣ прекрасную «туркиню», или «бѣлую арабку», плѣнившись ея замѣчательной красотой. Графъ, всей душой привязался къ своей рабынѣ и найдя, что странствія и шатанія по бѣлу свѣту достаточно уже ему надобли, вернулся въ Литву и поселился со своей «туркиней» въ тишинѣ и уединеніи Ильиновскаго фольварка. Здѣсь у него «туркиня» лежала на отоманкѣ и играла на торбанѣ, а панъ-грабя влюбленно дремалъ у ея ногъ, — и этотъ магометовъ рай въ Ильиновѣ продолжался нѣсколько мѣсяцевъ, какъ вдругъ неожиданно и негаданно, словно свѣгъ на голову, въ Ильиновское затишье нагрянула бурная французенка. Графъ очень смутился, но, какъ «говоровы и поржондны чловѣкъ», т. е. какъ истый *galant homme*, связанный съ «герцогиней» воспоминаніями вѣжнаго чувства, не дерзнулъ отказать ей въ гостепріимствѣ, тѣмъ болѣе, что герцогиня эта успѣла убѣдить его, будто она ѣдетъ въ Петербургъ и, случайно узнавъ въ Гроднѣ, что старый другъ ея находится въ своемъ помѣстьи такъ близко отъ ея прямого пути, рѣшилась свернуть немного въ сторону, сдѣлать двѣ-три лишнія мили, чтобы только взглянуть на него и этимъ посѣщеніемъ заплатить дань воспомнанію о дняхъ любви и счастья, пережитыхъ когда-то съ нимъ вмѣстѣ. Панъ-грабя принялъ путешественницу, никакъ не подозрѣвая, что она можетъ таить въ душѣ какіе-либо коварные замыслы. Но путешественница ихъ таила. Она попыталась было воскресить въ душѣ графа старое чувство, попробовала вновь плѣнить и увлечь его своей красотой, но графъ пребылъ въ непоколебимой вѣрности своей «туркинѣ». Герцогиня упростила его показать ей туркиню — и графъ, послѣ долгихъ колебаній, исполнилъ ея желаніе. Французенка употребила всю свою ловкость и любезность, чтобы обворожить простодушную соперницу. Къ сожалѣнію, легенда не удостоверяетъ съ точностью, на какомъ языкѣ изъяснялись между собой обѣ женщины. Впрочемъ, когда мой Апроня предложилъ этотъ вопросъ пану органыстѣ, то находчивый парень не затруднился и на этотъ разъ отвѣтомъ: «герцогиня не мувила по-турецку и туркиня не мувила по-французску, то може обѣ-двѣ онѣ

мувили по-польску, а якъ и по-польску не мувили, то кеды жъ не можно съ пантомимы!?» — Но, какъ бы то ни было, женщины подружились—одна искренно, другая притворно, и стали ходить вмѣстѣ «на шапערъ до лясу». На этихъ прогулкахъ сначала ихъ сопровождали гайдуки и «паннѣ покоёвы», но французенка измѣнила этотъ порядокъ, сказавъ, что для лѣсныхъ прогулокъ она предпочитаетъ уединеніе. Такимъ образомъ, избавясь отъ докучливыхъ глазъ и ушей сопровождавшей дворни, она получила возможность прогуливаться съ глазу на глазъ со своей, ничего не подозрѣвавшей, соперницей.

Быть можетъ, графу и казалось иногда нѣсколько страннымъ это продолжительное пребываніе мимоѣжей французенки въ его соломенномъ палацѣ, но такъ какъ онъ прежде всего былъ широкій магнатъ и очень гостепріимный человѣкъ, да при томъ и большой эскентрикъ, то и сказалъ себѣ: «пусть живетъ, коли ей нравится: у Валицкаго-де мѣста и хлѣба хватить для цѣлаго баталіона французенокъ!»—И влюбленная французенка, къ немалому соблазну и скандалу окрестныхъ помѣщицъ, проживала въ Ильяновѣ уже около мѣсяца, ни съ кѣмъ не знакомясь и не унывая насчетъ главной своей задачи—вернуть къ себѣ привязанность графа. Но графъ не поддавался и все-таки пребывалъ въ вѣрности къ туркини. Видя его непреклонность, французенка рѣшилась добиться своего, что называется, не мытьемъ, такъ катаньемъ. Однажды, въ жаркій полдень, во время уединенной прогулки съ туркиней въ лѣсу, она предложила ей выкупаться въ озерѣ и—утопила ее. Какъ именно удалось ей утопить соперницу—легенда не объясняетъ. Графъ чуть не помѣшался отъ горя, но подозрѣвать свою гостью не могъ, потому что она первая принесла ему вѣсть о смерти, прибѣжавъ домой въ ужасѣ и въ слезахъ, съ огчаянными криками «спасите! спасите!» и объявила, что прекрасная туркиня, почувствовавъ дурноту во время купанья, упала въ обморокъ и утонула. Дней десять подрядъ закидывали въ озеро неводъ, но тѣла не отыскивали. Французенка осталась въ Ильяновѣ утѣшать графа въ горести, но графъ былъ безутѣшенъ. Напрасно мечтала она, что теперь его сердце обратится къ старой привязанности; напрасно расточала передъ нимъ свои ласки и нѣжность, и предупредительность, и всяческія обольщенія,—безутѣшный графъ оставался вѣренъ памяти своей туркини. Тогда, убѣждаясь въ окончательной безуспѣшности своихъ исканій и безпрестанно чувствуя въ глубинѣ души мучительныя угрызения совѣсти за смерть не повинной и довѣрчивой женщины, французенка однажды ночью ушла изъ своей комнаты, оставивъ въ ней открытое письмо, гдѣ исповѣдалась въ совершенномъ ею преступленіи и

заявила, что идетъ теперь наказать себя за грѣхъ подобною же смертью. На другой день, въ прибрежной осоцѣ нашли ея мертвое тѣло и безъ христіанскаго погребенія закопали въ лѣсу, гдѣ, пожалуй, еще и теперь можно отыскать слѣды ея одинокой могилы. Графъ послѣ этого уѣхалъ въ Петербургъ и съ тѣхъ поръ очень рѣдко уже навѣдывался въ Ильяново, съ которымъ соединилось у него столько тяжелыхъ воспоминаній. Зато французская грѣшница и по смерти не оставила—таки въ покоѣ это мѣсто: съ тѣхъ поръ, иногда, тоскующая тѣнь ея бродитъ по лѣсу и протяжнымъ стономъ своимъ оглащаетъ окрестную пушу. Зла она никому не дѣлаетъ; но тѣ, которые имѣли несчастье встрѣчать ее ночью лицомъ къ лицу, всегда кончали тѣмъ, что рано или поздно тонули въ озерѣ.—«Для того и прошу пака ротмистра не слѣдить больше за нею, бо я знаю, панъ любитъ купаться!» Этимъ предостереженіемъ закончили панъ органыста свой рассказъ моему сожителю.

— Какъ ты находишь эту легенду?—спросилъ меня Апроня.

— Весьма подозрительной,—отвѣчалъ я.

— Почему такъ?—изумился сожитель.

— А потому, что она отзывается чѣмъ-то дѣланнымъ, сочиненнымъ, да при томъ и сочиненіе-то несуразое, а какъ-будто придумана вся эта штука на скорую руку и, можетъ быть, по вдохновенію самого же пана органысты.

— Да что же за цѣль, однако?

— Кто его знаетъ!

— Но... вѣдь привидѣнье-то мы видѣли!

— Ну, видѣли.

— А коли видѣли, такъ что жъ оно такое?

— Не знаю! поживемъ—увидимъ, а увидавши, можетъ, и довѣдаемся, «цось онѣ доказуе».

* * *

Прошло дня два. Майоръ нашъ былъ въ отсутствіи, уѣхавъ по дѣламъ службы въ штабъ, а за старшаго остался Апроня. Вахмистръ, явившись по утру съ рапортомъ, что въ эскадронѣ «все обстоитъ благополучно», замаялся на минуту и потомъ, крикнувъ себѣ въ руку, спросилъ нѣсколько таинственнымъ и какъ бы неувѣреннымъ, сомнѣвающимся тономъ.

— Ваше благородіе, ничего ночью слышать не изволили?

— Ничего. А что?

— Да такъ-съ... собаки больно разлаялись...

— А и въ правду!—замѣтилъ я,—даже разбудили было меня, проклятыя!

— Такъ точно-съ,—подтвердилъ вахмистръ,—очинно безпокоились, а особливо Шарикъ нашъ.

— Что же за причина?—спросилъ мой сожитель.

— Кто его знаетъ! «Ночные» сказывали, будто ходило что-то... Они запримѣтили на обходѣ, словно бы бѣлое что-то около фольварка

по лѣсу бродить... и собаки все въ лѣсъ швырялись.

Мы съ Апроней невольно переглянулись.

— Это, ваше благородіе, надо быть, все та... французинка!—помолчать и тайносно понизивъ голосъ, замѣтилъ вахмистръ.

— А ты откуда про нее знаешь?

— Денщикъ сказывалъ; потому, какъ онъ слышалъ, когда ваше благородіе за обѣдомъ разсказывать изволили...

— Ну, такъ ты распорядись, чтобы ночные непремѣнно изловили и задержали «бѣлое», коли оно еще разъ около насъ станетъ шататься.

— Слушаюсь-съ, ваше благородіе!

Но съ тѣхъ поръ «бѣлое» не показывалось по ночамъ около Ильянова—и мы перестали вспоминать о немъ. Между тѣмъ, время шло своимъ чередомъ, и мы вполне пользовались тою привольною жизнью, которую приносятъ «травы» армейскому солдату и офицеру.

VI.

Жизнь на травѣ.

На другой же день по приходѣ эскадрона на траву стали расковывать лошадей; это для нихъ—то же, что скинуть обувь для человѣка, натрудившаго ноги продолжительною ходьбою. Солдаты живо устроили конюшни въ отведенныхъ сарагахъ—и тутъ же, около своихъ коней, примостили себѣ изъ кой-какихъ досокъ нары подъ собственныя постели; надъ нарами подвѣсили досчатые полки, на которыхъ обыкновенно помѣщаются ленчики съ потяжками и шапки, а въ стѣны повѣшивали неизбежные колышки. Безъ этихъ колышковъ нигдѣ и никогда не обойтись нашему солдату. Послѣ стояла для лошади, колышки являлись ближайшею его заботою; онъ набьетъ ихъ въ стѣну прежде, чѣмъ подумаетъ устроить свою собственную постель, не говоря уже о прочемъ. На одномъ колышкѣ повѣситъ онъ мундштукъ съ уздечкой, на другомъ кабуру съ пистолетомъ, на третьемъ саблю, на четвертомъ торбу съ фуражемъ, на пятомъ щетку и скребницу и т. д. У иного этихъ колышковъ надъ постелью вбито штукъ до десяти, коли не больше, и на каждомъ повѣшена какая-нибудь принадлежность солдатскаго обихода. Когда, наконецъ, колышки вбиты, вещи развѣшаны и постели устроены, солдатъ начинаетъ подумывать объ украшеніи своего временнаго обиталища. Вздвѣнный вахмистръ, какъ старшій по конюшнѣ, гдѣ помѣщается особо его взводъ, выбираетъ себѣ, конечно, и лучшее мѣсто—обыкновенно въ темномъ углу сарая, въ томъ разсужденіи, что гдѣ потемнѣе, тамъ прохлады больше и муха не такъ докучаетъ. Затѣмъ наиболѣе комфортабельныя мѣста разбираютъ себѣ унтера, находящіеся во взводѣ, а за ними уже рядовые, которые посмышленѣе

да порасторопнѣе. Наименьшая доза удобства выпадаетъ обыкновенно на долю «смирненныхъ», роль которыхъ естественнымъ образомъ играютъ рекруты въ первые мѣсяца по прибытіи въ полкъ, пока не пооботрется и не освоится вполне со своимъ бытомъ. У стараго солдата, а тѣмъ болѣе у унтера, всегда почти есть въ запасѣ, на случай, какая-нибудь кошма, или старенькій, вылинялый коврижъ, который онъ, въ подражаніе «господамъ», т. е. офицерамъ, непремѣнно повѣситъ на стѣну надъ своею постелью. Это—первый признакъ того, что конюшня начинаетъ украшаться. Затѣмъ—смотришь—гдѣ-нибудь выглядываетъ отбитый кусочекъ зеркальца, или кисетъ, сшитый изъ пестрыхъ лоскутиковъ, либо какая-нибудь картинка, случайно добытая и вырванная изъ «Иллюстраціи» или изъ моднаго дамскаго журнала. Солдаты необыкновенно любятъ всякія подобныя картинки. Какое-нибудь иллюстрированное объявленіе, хотя бы отъ чайнаго магазина, какая-нибудь пестрая бумажка отъ конфетъ, выброшенная на улицу за окончательно ненадобностью, непремѣнно будутъ подобраны солдатомъ, если только онъ набредетъ на нихъ; а разъ что набрелъ, то ужъ непремѣнно подыметъ, разсмотритъ, что это не просто бумажка, а картинка, и сейчасъ засунетъ ее въ обшлагъ шинели или за голенище, имѣя въ виду—немедленно же по приходѣ на квартиру украсить ею стѣну надъ своею постелью. У одного молодого солдатика я замѣтилъ разъ въ сараѣ надъ его изголовьемъ засаленнаго и обгрызаннаго бубноваго валета, который былъ прилѣпленъ къ стѣнѣ хлѣбнымъ мякишемъ.—Зачѣмъ это у тебя? спрашиваю его.—«Потому, ваше благородіе, картинка-съ», отвѣчалъ онъ, съ удовольствіемъ ослабляя свои бѣлые зубы и любуясь на бубноваго валета. Когда же я, видя такую его любовь къ «картинкамъ», подарилъ ему цѣлый нумеръ «Иллюстраціи», купленный когда-то на желѣзной дорогѣ, то радости и восторгу моего солдатика просто и конца не было. Лучшаго подарка для него, кажется, невозможно было и придумать. Онъ тотчасъ же украсилъ полптипажами все пространство стѣны надъ своимъ изголовьемъ, не пренебрегши даже и шахматной задачей; но бубноваго валета все-таки не снялъ — «потому, ваше благородіе, все же и онъ картинка!» Съ этими «картинками» нашъ солдатъ почти никогда не разстается; если у него есть сундукъ, то картинки непремѣнно украшаютъ исподнюю сторону крышки,—а нѣтъ сундука, солдатъ, при переходѣ съ квартиры на квартиру, забираетъ съ собою и свои картинки, пряча ихъ то за пазуху, то въ походный чемоданчикъ. На другой же день по приходѣ на новую стоянку, можете быть увѣрены, что всѣ эти картинки вы сполна найдете надъ его изголовьемъ. Но, кромѣ картинокъ, во время «травы» у солдата

является и еще одно украшение, это—зеленны вѣтки листовныхъ деревьевъ и цучки болотнаго пахучаго айру.

Чуть пойдутъ люди въ озеро купаться, непременно нарѣжутъ листьевъ этого айру и наломаютъ въ лѣсу свѣжихъ, кудрявыхъ вѣтокъ смолистаго тополя да березы—«потому духъ отъ нихъ очень прекрасный». Всю эту зелень они понатыкаютъ въ разныя щели и разукрасятъ, уберутъ ею стѣны надъ своими постелями. Войдешь въ конюшню—и глазу весело станется: такая она вся кудрявая, зеленая, нарядная, и свѣжій растительный запахъ въ ней дѣйствительно «очень прекрасенъ»!..

Но главный предметъ украшенія каждой конюшни, это—неизмѣнная «веселка», которая качается надъ входомъ на высокой и гнуптой жердинѣ¹⁾. Какихъ только фантазій и какого искусства не прилагаютъ солдаты, чтобы устроить какъ можно красивѣе свою веселку, чтобы перешеголять ею веселки всѣхъ остальныхъ взводовъ! Но это соревнованіе достигаетъ наивысшаго своего предѣла въ томъ случаѣ, напимѣръ, когда, во время лагерныхъ сборовъ, въ смежности расположатся эскадроны различныхъ полковъ. Я помню, въ Гроднѣ, въ 1870 году, на Бѣлостокскомъ форштадтѣ помѣщались рядомъ одинъ эскадронъ Ямбургскихъ и дивизіонъ Владимірскихъ уланъ. Надо было видѣть это веселочное соревнованіе!—Ямбуржцы выставили какую-то узорчатую фигуру, свитую изъ соломы и украшенную пестрыми лоскутками. Владиміры тоже прибѣгли къ помощи лоскутковъ и устроили для себя нѣчто въ видѣ медали, въ срединѣ которой красовался бѣлый крестъ на подобіе георгіевскаго. Ямбуржцамъ стало нѣсколько завидно: «вишь, молъ, лишница²⁾, Егорья ухитрилась подвѣсить!» И вотъ, соревнованіе побудило ихъ смастерить не то что медаль, а цѣлую звѣзду съ ломаными лучами. Это, въ свой чередъ, подзадорило Владимірцевъ, которые къ своей медали подвѣсили обручъ и въ немъ помѣстили двухъ куколъ, въ видѣ уланъ въ заломленныхъ набекрень шапкахъ. Черезъ день точно такіе же уланы появились и у Ямбуржцевъ, да не просто, а избоченся фертомъ. Но Владиміры ухитрились между своими двумя уланами приладить и третье, да еще верхомъ на коникѣ, руки въ боки, и пику съ флюгаркой въ коника воткнули—и

такимъ образомъ перешеголяли Ямбуржцевъ. Все это дѣлалось въ ожиданіи парскаго проѣзда, такъ какъ государь императоръ долженъ былъ проѣзжать по этой улицѣ къ лагерному полю на смотръ гродненскаго отряда.

На травѣ подобное же соревнованіе относительно украшенія веселокъ, хотя, конечно, въ меньшей степени, является между взводами одного и того же эскадрона. Солдаты очень любятъ, когда надъ ихъ конюшню качается красивая и притомъ «затѣйная» веселка. А если по сосѣдству съ веселкой появится еще вѣтряная мельница съ трешеткой, смастеренная искусною рукою какого-нибудь взводнаго механика-самоучки, то ужъ конюшня почитается вполне изукрашеною—и солдатамъ остается только «утѣшаться» въ свободныя минуты на свою «вѣтрянку» да на веселку: «у насъ, молъ, не въ примѣръ веселѣй, чѣмъ въ третьемъ взводѣ!»

* *

Вечерѣтъ. Эскадронный командиръ, задумчиво пуская струйки табачнаго дыма, сидитъ на ступенькахъ ветхаго крылечка, сплошь обвитаго зарослью хмѣля, павоя и дикаго винограда. Вотъ эскадронный Шарикъ прибѣжалъ, отчихивался отъ пыли и весело виляя своимъ кренделемъ. Это значитъ, что старшій вахмистръ идетъ. И, дѣйствительно, менѣе чѣмъ черезъ минуту появляется солидная фигура стараго Склярова.

— Кончили?—освѣдомляется майоръ.

— Слава Богу, съ нонѣшнимъ урокомъ подобрались совсѣмъ. Какъ прикажете на завтра?

И майоръ, все такъ же задумчиво пуская колечки дыма, обстоятельно и неторопливо отдаетъ приказаніе, чтобы на завтра, по расчету, половину людей съ шести часовъ утра послать въ луга и начинать косить не съ того мѣста, которое ближе, а тамъ, гдѣ трава больше выросла.

— Кириловъ въ сторожѣ былъ⁴⁾,—докладываетъ на это вахмистръ,—такъ онъ сказывалъ, будто за Василѣвымъ перелазомъ трава очинно густая и вся въ соку стоитъ.

— Ну, съ Василѣва перелаза и начинать.

— Слушаю-съ.

Затѣмъ слѣдуетъ обычное приказаніе, что какъ только накосятъ первый возъ травы, тотчасъ же и везти ее на конюшню и задать лошадямъ, да только не валить въ ясли свѣжую траву на вечернююю, буде вечерашняя не выѣдена, а то перепрѣтъ подъ свѣжей и—не ровенъ часъ—лошади еще переболѣютъ, какъ объѣдятся прѣлою этой.

— Ты гляди, чтобы люди, каждый разъ какъ задаютъ свѣжую, непременно выбирали

¹⁾ «Веселка» плетется изъ соломы, въ видѣ кольца или диска и къ ней подвѣшиваются соломенные кисточки. Число кисточекъ обозначаетъ число лошадей, стоящихъ на конюшнѣ.

²⁾ Яичница—шуточное названіе Владимірскаго полка, давнее ему Ямбуржцамъ еще въ 30-хъ годахъ, по причинѣ желтаго цвѣта, присвоеннаго этому полку, и въ отместку за прозвище „угольщики“, которымъ Владиміры окрестили своихъ одобривацевъ, Ямбургскихъ уланъ, поражавшихъ нѣкогда глазъ мрачнымъ видомъ своего темнаго фронта.

⁴⁾ Т. е. былъ посланъ заранѣе сторожить траву.

напередъ изъ ясель весь недоѣдъ и разсыпали бы его на лужайкѣ, для просушки впрокъ, въ сѣно.

— Слушаю-съ, ваше-ско-родіе! Ужь будьте безъ сумѣнія.

— Да вотъ, что... Завтра я на траву поѣду, такъ ты распорядись-ка тово... взять въ луга боченокъ водки и мясную порцію косарямъ.

— Безпремѣнно, ваше-ско-родіе!

— Люди не вернулись еще?

— Идутъ уже.

И точно: изъ глубины лѣса смутно доносятся тонкіе подголоски. Но вотъ они все ближе и ближе, такъ что можно уже различать и басы, и другіе голоса, гулко отдаваемые, какъ будто съ разныхъ концовъ, лѣснымъ эхо. Только словъ еще нельзя разобрать; но по мотиву знаешь, что это пѣсня про «очи мои, очи», которыя «не даютъ покою середь темной ночи».

То наши косари идутъ.

Вотъ они, наконецъ, уже въ виду Ильиновскаго фольварка, приближаются медленнымъ шагомъ; на плечахъ—вольно закинутыя косы, а на косахъ у нѣкоторыхъ торчатъ привязанные пучки пестрыхъ полевыхъ цвѣтовъ. Впереди этой вольно идущей гурьбы манерно выступаютъ двое плясуновъ въ высокихъ зеленыхъ колпакахъ, сплетенныхъ въ минуту отдыха изъ разныхъ злачныхъ травъ, и въ рукахъ у нихъ пучки цвѣтовъ, которыми они размахиваютъ и выводятъ, вмѣсто извѣстныхъ хоровыхъ «ложекъ». За плясунами, въ такомъ же точно колпакѣ, идетъ запѣвало и энергически машетъ въ тактъ кудрявою вѣтвью граба, вмѣсто «махалки». Подобные же колпаки видны и на нѣкоторыхъ пѣвцахъ, а другіе украсили себя поверхъ фуражекъ вѣнками.

Сталь я засыпаетъ, горе забывати,—

Пришла ко мнѣ радость—радость дорогая,
Ваопла на крылечко да брякъ во колечко!..

дружно и отчетливо выводитъ хоръ, подбодряемый энергическими жестами запѣвалы, задававшего мыслью «потѣшить господъ».

Майоръ всталъ со ступенекъ и пошелъ навстрѣчу косарямъ.

— Спасибо, братцы, за работу!

— Р-р-рады стараться, ваше-ско-родіе!—вдругъ оборвавъ свою пѣсню, какъ одинъ человекъ, равкнула толпа полуроты.

Артельщикъ вынесъ косарямъ водки—ихъ дневную порцію. Я всегда замѣчалъ, что когда солдаты подходятъ къ водкѣ, веселое лицо его принимаетъ вдругъ сосредоточенное, солидное выраженіе; онъ, терпѣливо дождавшись своей очереди, беретъ изъ рукъ предшествовавшего товарища «крышку», выпиваетъ ее съ необыкновенно серьезнымъ и отчасти даже суровымъ видомъ, и съ молчаливымъ поклономъ пере-

даетъ слѣдующему. Это почти общая манера у нашихъ солдатъ, изъ которыхъ многіе, коли не бѣлая часть, прежде чѣмъ выпить, непременно наскоро и торопливо перекрестятся.

Пока косари пьютъ свою порцію, лѣсники добровольно составляютъ «кругъ». Между ними появились уже и «ложки», и «тарелки», и бубенъ съ пестрой махалкой! Они тихо, въ полголоса, стовариваются и совѣтуются промежъ себя, какою бы пѣсней напередъ всего «потѣшить господъ».

Но вотъ, послѣдній рекрутикъ, конфузясь, неловко какъ-то выпилъ свою «крышку». Всѣ люди примолкли, переглянулись между собою и вдругъ...

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше-ско-родіе!—веселыми и довольными голосами несется дружный крикъ изъ толпы, а затѣмъ сейчасъ же—

Солдатухи-ребятушки,
А гдѣ-жъ ваша тетка?—
Наша тетка—камандерска водка,—
Вотъ гдѣ наша тетка!

Около получаса продолжается пѣніе разныхъ, наиболѣе излюбленныхъ пѣсенъ. Офицеры всѣ сидятъ на крылечкѣ, а тутъ же рядомъ, на чистомъ воздухѣ, кипятъ самоваръ, и денщики, звеня ложечками, наливаютъ душистый чай въ стаканы.

Солнце садится, и въ тихомъ вечернемъ воздухѣ вьются цѣлые столбы лѣсной мошки, предвѣщая на завтра ясную и жаркую погоду. Лѣсъ начинаетъ кутаться въ тонкую, сизоватую дымку, а по верхушкамъ сосенъ еще скользятъ и искрятся лучи заката, облизая горячимъ краснымъ свѣтомъ, всегда и безъ того красноватые, сосновые стволы и сучья. Птицы замолкли, только одинъ черпый дроздъ выводитъ еще время отъ времени свой мелодическій высвистъ, гдѣ-то въ густыхъ вѣтвяхъ ближняго дерева, да голенастые аисты, слетѣвшіе въ свои гнѣзда, на сонъ грядущій, топчутся въ нихъ, помахивая крыльями и, высоко задржавъ къверху красноносые головы, производятъ своими клювами какой-то странный, но не лишенный мелодичности звукъ, сначала медленный, раздѣльный, потомъ все ускоряющійся и, наконецъ, переходящій въ частую дробь, которая очень похожа на звукъ деревянной трещотки.

Но—чу!.. Рѣзко и громко раздается по лѣсу звукъ трубы, играющей людямъ «сборъ» на вечернюю кашу. И вотъ, идутъ они вольными группами—кто съ котелкомъ, кто съ миской, съ кувшиномъ или съ бадейкой, и у каждого въ рукахъ своя деревянная ложка и своя порція хлѣба,—идутъ, мелькая межъ кустовъ бѣлыми кителями, которые, то тамъ, то здѣсь, вдругъ принимаютъ на мгновеніе розовый тонъ, когда случайно ударить на нихъ косвенный лучъ, прокравшійся между стволами. Веселый

и разнообразный говоръ сопровождаетъ эти группы. Кто-то рассказываетъ, жестикулируя руками, должно быть очень смѣшное, потому что взрывы смѣха то и дѣло раздаются въ одной изъ удаляющихся кучекъ. Въ другой кучкѣ кто-то съ кѣмъ-то считается за какія-то провинности. Въ третьей—одинокій голосъ чувствительно выводитъ высокимъ фальцетомъ какую-то заунывную пѣсню про то, какъ «собачка вѣрная, звѣрокъ, завоюетъ у воротъ». Люди спускаются съ горы къ берегу озера, гдѣ выкопана въ землѣ эскадронная кухня, прикрытая съ трехъ сторонъ навѣсомъ, устроеннымъ въ видѣ шалаша изъ еловыхъ вѣтвей, камыша и хвороста. Тѣдкій бѣлый дымокъ выбивается и струится изъ-подъ этого навѣса, а вмѣстѣ съ его запахомъ, въ тихомъ, безвѣтренномъ воздухѣ распространяется также и вкусный паръ отъ крупяной похлебки съ лучкомъ, съ перцемъ, съ картофелемъ и съ поджаренными «шкварками» изъ свиного сала.

Отдѣльными группами привольно раскидываются люди на зеленой лужайкѣ и начинаютъ свой ужинъ. Рѣчи почти совсѣмъ утихаютъ, и слышится лишь одно смакованье. Не ѣдятъ только трое: кашеваръ, дежурный унтеръ-офицеръ, да трубачъ, — они потомъ поужинаютъ себѣ на просторѣ, а теперь у каждого своя забота: кашеваръ, въ бѣломъ фартукѣ, то и дѣло мѣшаетъ горячую похлебку большимъ деревяннымъ уполовникомъ да подливаетъ охочимъ ѣдокамъ, которые подходятъ къ нему со своими посудинами, прося прибавки; унтеръ-офицеръ наблюдаетъ за тишиной и порядкомъ, а трубачъ, время отъ времени, наигрываетъ разные кавалерійскіе сигналы.

— Это какой сигналъ? — наставительно, экзаменаторскимъ тономъ, спрашиваетъ старослуживый дядька у двухъ племяншей-рекрутовъ.

— Это, дядинька, должно статья, «направо!» — неувѣренно отвѣтствуетъ одинъ изъ нихъ.

— Гдѣ-жъ тебѣ «направо»?! «Направо» будетъ вотъ эдакъ: «лѣвый шенкель приложи и направо поверни» — вразумительно подгвѣщаетъ дядька. — Вотъ тебѣ «направо»? А это — самъ слышишь — это во какъ: тамъ, тамъ, та-ти-тамъ! тамъ, тамъ, та-ти-тамъ!

— Это, дядинька, «еплояда», — оскаливаясь широкой улыбкой, замѣчаетъ другой рекрутикъ.

— Эва, куда хватилъ! еплояда — та совсѣмъ иначе!.. Амплѣвъ! — возвышая голосъ, поворачивается онъ къ трубачу, — трескани-ко племяншу еплояду! — пушай поучитесь!

Трубачъ играетъ деплояду.

— Вишь, она какъ! понимаешь? А это: тамъ, тамъ, та-ти-тамъ, это — наступленіе полуполуэскадронно, послѣ чего атака въ-разсыпку бываетъ на антилерію аль на стрѣлковъ.

Трубачъ играетъ сигналъ «по-взводно налѣво кругомъ».

— А это что? знаешь?

— Знаемъ, дяденька, знаемъ! — подхватываютъ въ разъ оба рекрута, — это, значитъ «Антонъ козу веде, бісова коза нейде — иды-жы!»

— Вѣрно! — соглашается наставникъ. — Эта Антонова коза, братцы, самый что ни-на-есть лядашій сигналъ, потому онъ къ непріятелю спиной поворачивать повелѣваетъ! И ты его не могъ любить!

— А коли начальство такъ укажетъ?

— Укажь это особь-статья! — укажутъ, такъ сполнай, а самъ по себѣ ты все-жъ-таки любить его не могъ!

— А почему? — наивно спрашиваетъ одинъ изъ племяншей.

— А потому, что вашего брата нонѣ не бьютъ, такъ вы и не знаете, что означаетъ спину подставлять. У тебя, къ примѣру сказать, гдѣ хрестъ-ать? на груди, аль на спинѣ болтается?

— Извѣстно, на груди, дяденька.

— Вотъ то-то же и оно! И для того, что у тебя хрестъ на груди, ты и есть православный воинъ, — философствуетъ дядька, — потому въ писаніи сказано есть: «симъ побѣдиши» — это означаетъ, что хрестомъ ты непріятеля одолѣешь, а какъ хрестъ у тебя на груди, такъ, значитъ, и ломи на непріятеля грудью, а покажешь ему спину — онъ тебѣ ее пулями горячими и вспишетъ! Понимаешь?.. Потому-то вотъ, еплояду и вобще всякое наступленіе уважай, а «Антонову козу» не могъ любить!

Кавалерійскіе сигналы, къ которымъ слова были нѣкогда сочинены знаменитымъ кавалеристомъ, графомъ Дмитриемъ Ерофеевичемъ Остенъ-Сакеномъ, солдаты у насъ заучиваютъ вообще довольно скоро, чему способствуютъ, съ одной стороны, именно слова, обращающія сигналъ въ подобіе пословицы или пѣсни, а съ другой стороны — самая система обученія, коль скоро она ведется такимъ образомъ, что въ свободныя минуты (какъ, напримѣръ, во время обѣда или ужина), трубачъ постоянно наигрываетъ сигналы на трубѣ, а опытные солдаты, заставляя молодежь вслушиваться въ звуки, учатъ ее съ голоса словамъ и объясняютъ при этомъ значеніе каждого сигнала. Такимъ образомъ, обученіе, не имѣя, такъ сказать, казеннаго, принудительнаго характера, идетъ какъ бы само собою, исподволь, незамѣтно, и глядишь — рекрутъ, поступившій въ полкъ въ мартѣ мѣсяцѣ, къ весеннему кампаненту знаетъ уже аллюрные и поворотные сигналы, а къ осеннему сбору изученіе его простирается и до знанія всѣхъ вообще сигналовъ, которые необходимы собственно солдату. Но замѣчательно при этомъ, что большую часть сигналь-

ныхъ словъ солдаты переиначили совѣмъ по-своему, какъ напримѣръ, эту же самую «Антоннову козу» и многіе другіе, гдѣ данъ у нихъ полный просторъ своеобразному и не всегда скромному юмору. Эти послѣдніе сигналы заучиваются еще скорѣе и охотливѣе.

— Смирно!.. — раздается вдругъ команда дежурнаго унтеръ-офицера, который, запримѣтивъ въ кустахъ подходящаго къ кухнѣ эскадроннаго командира, спѣшитъ къ нему съ форменнымъ рапортомъ, что къ ужину, молъ, имѣется такая-то похлебка на столько-то чело-вѣкъ, столько-то фунтовъ крупы, масла столько-то и проч. Дежурный обязанъ знать это съ самою полною точностью, такъ какъ выдача и пріемъ изъ кладовой всѣхъ вообще припасовъ и кладка ихъ въ котель производятся не иначе, какъ въ его присутствіи, дабы не могло быть никакой потаенной сдѣлки между кашеваромъ и артельщикомъ.

При этомъ громогласномъ «смирно!» солдаты мгновенно оставили ложки и повскакивали съ мѣстъ, тотчасъ же вытянувшись въ струнку.

— Сидите, ребята, сидите!.. Не вскакивать!.. Ыщите себѣ съ Богомъ! хлѣбъ да соль вамъ! — еще издали предупреждаетъ ихъ, махая рукою, эскадронный командиръ, причемъ, вслѣдствіе его словъ, солдатскія группы опять принимаютъ прежнее свободное положеніе, и работа челоустей начинается снова. Майоръ подходитъ къ кухнѣ, чтобы заглянуть въ котель, приказываетъ кашевару зачерпнуть себѣ уполковникомъ солдатской похлебки и, остужая губами, осторожно пробуетъ съ деревянной ложки вкусное и сильно горячее варево.

Но вотъ ужинъ конченъ. Эскадронъ собирается здѣсь же, на лужайкѣ, въ одну тѣсную толпу, обращается лицомъ къ востоку и — по знаку загѣвзвалы — молитвенные звуки: «Отче нашъ», исторгаемые болѣе чѣмъ изъ сотни сильныхъ, здоровыхъ грудей, стройно несутся вдоль по широкой глади засыпающаго озера.

Четверть часа спустя, эскадронъ уже утомился, и въ глубокой тишинѣ, когда подойдешь случайно къ сараю, слышно, какъ жуютъ и хрустятъ зубами кони, и какъ въ одномъ уголкѣ какой-нибудь краснобай рассказываетъ сказку засыпающимъ товарищамъ. На «офицерской» кухнѣ денщикъ выбиваетъ дробь поварскими ножами, готовя битки на ужинъ. Въ освѣщенныхъ комнатахъ, сквозь растворенныя настежь окна, слышны звуки цитры и разговоръ офицеровъ, а въ прибрежныхъ кустахъ соловьи перекликаются своими яркими пѣснями...

Тишь — глубокая, невозмутимая тишь на землѣ и на небѣ; теплый и мягкій воздухъ полонъ вѣшнею влагою и пахнетъ жасминомъ, тополемъ и сосной, и въ то же время отдаетъ слегка и сыростью воды, когда чуть замѣтное дуновеніе мягкаго вѣтерка потянетъ съ озера

къ лѣсу. Темная, но ясная ночь вопаряется надъ лѣсной пустыней.

VII.

На сѣнокосѣ.

Утромъ, часу въ одиннадцатомъ, къ крыльцу подводятъ застѣданныхъ лошадей. Закуривъ сигары, мы цѣлою компаніей отправляемся въ луга, на траву, куда косцы очередного полукоскадрона ушли еще въ шесть часовъ, чтобы воспользоваться для работы временемъ, пока солнце не такъ сильно припекаетъ. Офицерскія собаки являются добровольными и неизмѣнными спутниками этихъ прогулокъ. Онѣ уже по этимъ конямъ, подведеннымъ къ крыльцу, какъ бы догадываются, чуютъ и понимаютъ, что предстоитъ прогулка, и потому прыгаютъ вокругъ нихъ съ веселымъ визгомъ и лаемъ, пылливо и ласково засматривая въ глаза и людямъ и конямъ.

Поѣхали. Выбрались изъ лѣсу; ѣдемъ по узкой межѣ, мимо зеленѣющихъ овсовъ, которые являются теперь великимъ соблазномъ для лошадей: такъ ихъ и тлнетъ нагнуть шею да зашипнуть зубами вкусный зеленый пучекъ этого лошадиного лакомства! И какъ имъ, должно быть, завидно теперь глядѣть на этихъ собакъ, которые рыщутъ себѣ по полю, гдѣ сами хотятъ, то и дѣло швыряясь въ стороны, ныряютъ въ овесъ, исчезая на минуту въ его зелени и снова мелькая на солнцѣ своею бѣлою волнистою шерстью съ коричневыми пятнами. Это не то, что чинно и смиренно идти на мундштукъ, чувствуя на своей спинѣ всадника и покоряясь его волѣ, тогда какъ зеленныя метелки овса такъ и манятъ къ себѣ, словно сами напрашиваются на зубы... А глупыя собаки и не догадываются, что здѣсь можно бы вдосталь полакомиться!.. Вотъ и луга. Стаи мелкихъ мотыльковъ и мушекъ, кобылки и коромысла выжуютъ и рѣютъ надъ высокою травой, которая роскошною изумрудною заростью покрыла сыроватую низину. Верстахъ въ двухъ впереди видна дубовая роща, гдѣ торчатъ, между прочимъ, нѣсколько деревьевъ, въ разное время опаленныхъ молніей. Не знаю ужъ почему, только громовые удары, по примѣтамъ мѣстныхъ старожиловъ, раздражаются преимущественно надъ этой рощей. Вонъ, тамъ, неподалеку отъ нея, видны ряды нашихъ косцовъ. Освѣщенные солнцемъ, они пестрѣютъ издали на зеленомъ фонѣ луга своими яркими рубахами, гдѣ перемѣшались цвѣта: розовый и голубой, красный, бѣлый и желтый. Подъѣзжаемъ совѣмъ уже близко, такъ что явственно слышенъ мѣрный шуршащій звукъ лезвій нѣсколькихъ десятковъ косъ, подъ размахомъ которыхъ трава ложится волнообразными рядами. Косари правильно цѣпью подвигаются

плавно впередь—размахъ руки усерденъ и вѣренъ—работа кипитъ у нихъ, и обезпокоенныя лягушки, то и дѣло, въ смятеніи прыгаютъ изъ-подъ ногъ. Волосы на вискахъ у людей совсѣмъ уже смокли отъ обильнаго пота, а желѣзо косякъ межъ тѣмъ искрами сверкаетъ на солнцѣ, и лица у всѣхъ косарей бодрья и веселыя—потому каждому извѣстно, что майоръ еще съ вечера приказалъ вахмистру захватить въ луга по порціи холоднаго мяса на человѣка да боченокъ водки.

Склярровъ, завидя «господь», еще издали идетъ къ намъ на встрѣчу съ многодовольною, тихою улыбкой, задумчиво и машинально погрызывая и треща въ зубахъ длинный стебелекъ какого-то полевого злака. Но Шарикъ, никогда и нигдѣ не отстающій отъ своихъ, уже далеко опередилъ его, успѣвъ повстрѣчаться и, по обыкновенію, снюхаться съ нашими сетерами. Ласково игралъ, грызаясь и борясь съ ними лапами, онъ какъ бы чувствуетъ, что здѣсь онъ, въ нѣкоторомъ родѣ, хозяинъ, къ которому пожаловали гости-пріятели, и бодро въ припрыжку бѣжитъ къ намъ навстрѣчу со всей своей песьей компаніей, на много превосходящей его и ростомъ, и силой, что не мѣшаетъ имъ, однако, жить между собою въ отличнѣйшей дружбѣ.

Подъ самою рощею стоитъ возъ и пасется пара стреноженныхъ артельныхъ лошадей, которые вскорѣ повезутъ кокну травы въ эскадронныя конюшни. Тутъ же рядомъ, подъ тѣнью развѣсистаго дуба, солдаты успѣли уже смастерить изъ валежника шалашикъ и покрыли его соломой да вѣтвями. Какъ хорошо теперь полежать на свѣжей душистой травѣ подъ его сѣнью! Въ шалашѣ поставлено ведро съ холодною водою изъ криницы, чтобы незачѣмъ было косякамъ далеко ходить, когда захочется промочить пересохшее горло,—и тутъ же въ уголкѣ выглядываетъ изъ-подъ накиданной травы боченокъ, спиртуозный запахъ котораго ясно даетъ знать о томъ, что въ немъ заключается. Передъ шалашикомъ дымится маленький костерокъ, и на немъ въ котелкѣ что-то варится.

— А я, какъ значить въ ожиданіи, что ваше высокоблагородіе съ господами изволите пріѣхать,—докладываетъ майору Склярровъ,—такъ собственно по той причинѣ самоварчикъ наставилъ, потому, думаю, можетъ, чаю угодно будетъ выпить... и вотъ тоже ребята купаться въ рѣчку бѣгали, такъ раковъ наловили для господъ—варятся вонъ въ котелкѣ, скоро готовы будутъ—можетъ, закусить пожелаете?—У меня про запасть, значитъ, все захвачено съ собою!

Спасибо старому Скляррову! Его предупредительная заботливость устроила для насъ нѣчто въ родѣ таборнаго пикника, очень скромнаго, но—благодаря своеобразной обстановкѣ—очень пріятнаго. Это, между прочимъ, одно изъ про-

явленій тѣхъ простыхъ, довѣрчивыхъ, душевныхъ и, такъ сказать, родственно-добрыхъ отношеній, которыя, безъ малѣйшаго ущерба дисциплинѣ и субординаціи, благодаря Бога, существуютъ еще въ русской арміи между солдатомъ и «своимъ» офицеромъ.

Майоръ осмотрѣлъ траву, освѣдомился, много ли выкошено, сдѣлалъ нѣсколько соответственныхъ распоряженій и приказалъ людямъ на полтора часа зашабашить. Это время, т. е. около полудня, дается имъ на закуску и отдыхъ. Послѣдовала обычная процедура съ командирской водкой, и затѣмъ солдаты разлеглись себѣ въ тѣни подъ деревьями.

— Только, гляди, не ложись на брюхи, ребята, а то холера скрючитъ,—внушительно предостерегъ ихъ при этомъ вахмистръ.

Мы между тѣмъ отлично позавтракали вкусными раками, въ волю напились чаю и въ волю отдохнули въ шалашикѣ. Два часа прошли незамѣтно. Люди, поднятые съ отдыха вахмистромъ, уже давно принялись за свою работу, когда мы нехотя разстались, наконецъ, съ гостепріимною сѣнью шалаша, гдѣ такъ пріятно лежалось и дремалось на душистой травѣ, замѣнявшей намъ тюфяки и диваны, и гдѣ можно было при томъ лежать въ тѣни, тогда какъ палищее солнце обливало землю потоками горячаго свѣта. Но, во всемъ послѣдовательный и всегда систематичный, хотя и коренной русскій человѣкъ, нашъ майоръ объявилъ намъ, что время ѣхать, потому дома обѣдъ ждетъ,—а майоръ, въ силу своего стародавняго обычая, не любилъ манкировать положеннымъ часомъ своего обѣда. Въ силу того же стараго (но нынѣ уже исчезающаго) обычая, который еще въ началѣ 60-хъ годовъ былъ общимъ обычаемъ въ русской кавалеріи, офицеры и юнкера «своего» эскадрона, во время травы и на зимнихъ квартирахъ, всегда пользовались у майора открытымъ столомъ. Въ этомъ отношеніи нашъ добрый и простой майоръ былъ совсѣмъ командиръ стараго закала. И, Боже сохрани, еслибы въ то время, когда самъ онъ жилъ при эскадронѣ, какой-либо изъ его офицеровъ вздумалъ готовить для себя отдѣльный столъ на свои собственные средства! Майоръ, конечно, не сказалъ бы ему ни слова, но почелъ бы себя глубоко и безпричинно обиженнымъ такимъ поступкомъ. Однажды, его офицеры, зная очень хорошо, что онъ человѣкъ далеко не богатый, вздумали было со всевозможною деликатностью предложить ему каждый за себя условленную мѣсячную плату за столъ. Майоръ жестоко оскорбился этимъ предложеніемъ.

— Чортъ возьми!—весь вспыхнувъ, вскричалъ онъ голосомъ, исполненнымъ обиды и негодованія. — Я, кажется, ничѣмъ не подаль вамъ, господа, повода оскорблять меня подобнымъ образомъ! Я для васъ эскадронный коман-

диръ, а не трактирщикъ! Я самъ былъ субалтерномъ и самъ всегда ѣлъ у своего командира... Это обычай — святой обычай!.. И вы, когда будете вѣскадронными, вы его не преступите, если вы порядочные люди!..

Минута этой вспышки долго была памятна всѣмъ офицерамъ. Понятно послѣ этого, что, уважая и цѣня въ своемъ майорѣ его честный, патриархальный нравъ и обычай, мы, конечно, подчинились ему безпрекословно, а потому и теперь поспѣшили сѣсть на коней, когда онъ напомнилъ намъ, что дома обѣдъ ожидается.

VIII.

Велля Гершуна.

Ѣхали мы подъ палящимъ, невыносимымъ солнцемъ. Кони, угнетенные жаромъ, повурились и подвигались черезъ силу вялымъ, лѣнивымъ, размаинымъ шагомъ.

— Фу!.. поскорѣй бы до лѣса добраться! — истомно проговорилъ Апроня.

— Съ полверсты осталось, не болѣе, — замѣтилъ на это нашъ юнкеръ. — Вонъ, ужъ Гершкина корчма видна подъ лѣсомъ.

— Просто смерть, какъ пить хочется.

— Это отъ раковъ! — совершенно правильно пояснилъ майоръ. — А что, господа, — прибавилъ онъ, обращаясь ко всѣмъ, — нѣтъ ли у кого спичекъ? закурить хочется.

Но увъ! — огня ни у кого не оказалось.

— Какъ на грѣхъ всѣ вышли! — издохнулъ юнкеръ, показывая пустую спиченицу.

— Ну, да вотъ, впрочемъ, у Гершкиной корчмы и напьемся, и закуримъ, — пообѣщалъ майоръ, въ утѣшеніе. — А у васъ, кстати, подруга ослабла, — замѣтилъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Какъ остановимся, подтяните.

Всѣ эти маленькія обстоятельства сложились такимъ образомъ, что, по общему убѣжденію, остановка у Гершкиной корчмы являлась, въ нѣкоторомъ родѣ, необходимостью.

Эта корчма, какъ и всѣ вообще литовскія придорожныя корчмы, отличалась отсутствіемъ, такъ сказать, домовитости и хозяйственности. Вы видите просто убогій домишко, кое-какъ построенный изъ битой глины, кое-какъ выбѣленный и покрытый соломой, — домишко, который торчитъ себѣ одинъ-одинехонекъ, гдѣ-нибудь подъ лѣсомъ или въ чистомъ полѣ, на перекресткѣ двухъ проселочныхъ дорожекъ — и не видать вокругъ его ни забора, ни огорода или сада, ни амбара, ни сарайчика, ни иной какой-либо хозяйственной постройки, — словомъ, ничего такого, что могло бы служить признакомъ сельскаго труда и домовитой осѣдлости. При Гершкиной корчмѣ не имѣлось даже навѣса, подъ который проѣзжему крестьянину можно бы было поставить свою блячку. И, дѣйствительно, въ этихъ придорож-

ныхъ «халупкахъ» обитаетъ людъ, для котораго окончательно не существуетъ никакого производительнаго труда. Въ нихъ селится обыкновенно еврей, обремененный болѣе или менѣе многочисленнымъ потомствомъ, селится кое-какъ, на скорую руку, въ тѣснотѣ, въ бѣднотѣ и въ грязи, съ единственною цѣлью — «айнъ гитесь гешефтъ, мухентъ». Для этого «гешефта» онъ обыкновенно снимаетъ въ аренду у мѣстнаго сельскаго общества придорожную хатку на курьихъ ножкахъ, беретъ въ акцизномъ управленіи билетъ на право продажи, запасается на всякій случай «алемби-комъ» для «дыстыляція» и «ливромъ» для насасыванія водки изъ боченка, затѣмъ покупаетъ на водочномъ заводѣ бочку «картофлянки» да боченокъ «спиритуса» — и, перебравшись въ «халупку» со чады и домочадцы, со всѣми «манатками» и «бебехами», открываетъ «гандель». Ему незачѣмъ имѣть корову, чтобы достать молока, ему не нужна и домашняя птица, да незачѣмъ и трудиться ни надъ посѣвомъ картофеля, ни надъ грядкой огородной овощи: все это, въ случаѣ надобности, нанесутъ къ нему въ достаточномъ количествѣ окрестные или проѣзжіе «хлопы» за какую-нибудь «полкварти» картофельной водки. Скучно, неприглядно и даже небезопасно, порой, жить одному, безъ сосѣдей, на такомъ безлюдномъ пустырь, подъ громаднымъ старовѣчнымъ лѣсомъ; но еврей мирится со всѣми неудобствами и даже со всѣми страхами своего эфемернаго существованія, имѣя въ виду «гандель» и «гешефты» и принимая при этомъ въ соображеніе одно только существовавшее обстоятельство, а именно: насколько выгодно арендовать корчму въ той или въ этой мѣстности.

Мы подъѣхали къ Гершмну обиталищу; но ни вокругъ корчмы, ни внутри ея ни души не было примѣтно. Палящая жара, очевидно, загнала все живое въ какія-то невѣдомыя закуты; даже еврейская неугомонная дѣтвора, которая вѣчно торчитъ на дворѣ, теперь тихо забила, запряталась въ какіе-то темные уголки, ища себѣ прохлады отъ этого душнаго зноя.

— Гей! кто тамъ у васъ?.. Есть ли живъ человекъ? Отзовися! — зычнымъ голосомъ закричалъ Апроня.

Спусти минутку, внутри какъ-будто что-то зашевелилось. Послышался скрипъ внутренней двери, а затѣмъ пріотворилась и наружная, изъ за которой тайственно глянуло на насъ обликъ молодой женщины. Что на ней было надѣто — мы, по краткости времени, не могли замѣтить, но видѣли только, какъ изъ мрака сѣней сверкнуло бѣлизной полуобнаженное плечо, какъ она поспѣшно и стыдливо постаралась прикрыть рукой свою разстегнутую грудь и въ то же мгновеніе склон-

фуженно поторопилась скрыться опять въ глущину сѣней, захлопнувъ за собой двери. Осталось у насъ только мимолетное, смутное впечатлѣніе какъ бы чего-то сверкнувшаго, чего-то очень красиваго.

— Что сей сонъ значитъ? — съ улыбкой спросилъ Апроня, обводя всѣхъ насъ недоумѣвающимъ взоромъ. — Вотъ, ужъ именно, «какъ мимолетное видѣніе, какъ геній чистой красоты!» Откуда это и кто она, не знаете, господа?

Но на послѣдній вопросъ никто изъ насъ не могъ дать никакого отвѣта: мы, точно такъ же какъ и Апроня, ничего не знали и, какъ и онъ же, каждый готовъ былъ въ свою очередь спросить: «что сей сонъ значитъ?»

— Гей! да выйди же, наконецъ, кто-нибудь!.. Гершко! Дьяволъ!..

— Заразъ, заразъ, паночку! заразъ! — слышался сильный, заспанный голосъ, сопровождаемый катаральнымъ хрипомъ и кашлемъ.

Черезъ минуту на порогъ показался сгорбленный, пожилой еврей съ сивыми пейсами и такой же бородкой, въ порывѣлой засаленной ермолкѣ, сбившей въ сторону и на затылокъ, въ «пантофляхъ» на босу ногу и въ рваномъ «лапсардыкѣ», изъ-подъ котораго мотался талисманический «цыцесъ». Лицо его было багрово и одутловато, а голова, почти безъ шеи, плотно сидѣла на коренастомъ, приземистомъ туловищѣ. Это былъ самъ корчмарь, ребъ Гершко Гершуна. Не надо было быть особеннымъ специалистомъ, чтобы, взглянувъ на его лицо и фигуру, сразу и безошибочно опредѣлить, что естественная смерть ребъ Гершуны воспослѣдуетъ не иначе, какъ отъ апоплексическаго удара. Почтенный Гершко, «по слабости здоровья», сильно придерживался чарки, и каждый вечеръ былъ уже положительно, что ~~к~~ ^слывается, «готовъ». А надо замѣтить, что подобная слабость является рѣдкимъ исключеніемъ въ средѣ евреевъ. Они, вообще, хотя и пьютъ, но очень умѣренно и почти никогда не напиваются до пьяна. Почтенный же ребъ Гершуна, благодаря своей «слабости здоровья», сдѣлался притчей во языцѣхъ и постояннымъ предметомъ пересудовъ между всѣми окрестными соплеменниками; на него указывали, какъ на пагубный примѣръ, какъ на позоръ во Израилѣ, прибавляя при этомъ съ укоризной: «а еще старозаконный!» — Ребъ Гершко при этомъ, какъ бы сознавая свое непотребство, обыкновенно вздыхалъ сокрушенно, пошмокивалъ языкомъ, покачивалъ головою, почесывалъ въ затылкѣ — и все сваливалъ на судьбу да на слабость здоровья, оправдываясь тѣмъ, что какъ же, молъ, ему не пить, если онъ овдовѣлъ, а жена и не подумала о томъ, что умирая она оставляетъ на его вдовьи руки столько ребятъ малъ-мала меньше! Всему причиною, значитъ, неумѣст-

ная смерть жены, которую онъ такъ оплакиваетъ, такъ горько и чувствительно оплакиваетъ, что только въ винѣ и можетъ топить свое горе. Добрые люди совѣтовали-было ребъ Гершунѣ жениться вторично, и онъ самъ былъ не прочь отъ этого, но слава о слабости его здоровья шла столь далеко, что ни въ ближнихъ, ни въ дальнихъ мѣстечкахъ рѣшительно не находилось ни одной охотницы связать себя супружескими узами со старымъ и пьянымъ Гершкою. Понятное дѣло, что при такой слабости здоровья, гандловыя дѣла и гешефты ребъ Гершуны шли очень плохо. Онъ имѣлъ возможность только кое-какъ перебиваться изо-дня-въ-день со своею дѣтворой, но при всемъ этомъ не ропталъ ни на людей, ни на Бога, и былъ человѣкъ положительно добрый, смиренный и общительный, который любилъ и угостить, и выпить въ компаніи «съ хорошимъ человѣкомъ». Поэтому нѣтъ ничего мудренаго, что къ солнечному заката ребъ Гершко всегда оказывался невяжущимъ лыка. Теперь онъ вышелъ къ намъ вполнына и, очевидно, только-что съ просонья.

— Стаканъ воды, пожалуйста! И огня давай! — обратились къ нему разомъ и майоръ, и Апроня.

— Ой, ваше бляхгородю, у насъ такой цоганый вода зъ рѣчку, сито й пить не подѣ лицо такимъ бляхгородни гашпидамъ, — замалхъ рукою Гершко, скрививъ свою физиономію такъ, чтобы она самымъ нагляднымъ образомъ выражала отвращеніе, — а вѣже якъ ви такъ гхочете, то у мене есть мідъ на ледовня, гхароси мідъ, лицецъ! то вѣже лепшъ викусшайте липцу!

— Давай, чего хочешь, только поскорѣе! — согласился наши жаждущіе.

— Велля! — повернувшись къ двери, закрычалъ ребъ Гершко.

Въ темномъ пространствѣ сѣней какъ-то скромно и стыдливо показалась стройная фигура высокой дѣвушки, которая тщательно кутала въ большой бѣлый платокъ свои плечи. Ребъ, отдавая ей приказаніе, торопливо зататорилъ что-то по-еврейски, въ чемъ мы могли разобрать одно только: «айнъ лицесъ-бутьелке...»

Пока я, соскочивши съ сѣдла, подтягивалъ подпруги, а ребъ Гершко, жалуясь на жару и духоту, подносилъ майору зажженную свичку, на дворъ высыпала вся ватага его замурзанной, ободранной дѣтворы, которая осматривала насъ съ равнодушнымъ любопытствомъ.

— Все твой? — кивнулъ майоръ на ватагу.

— Успе мой! — съ отеческой радостью отвѣтствовалъ ребъ. — Успе Гершки и успе Герштунятки! Богъ бляххосшловилъ мене!

— А та мадамъ — жена твоя, что ли?

— Зжвините, она еще не мадамъ, а мам-

зжелъ,—съ вѣжливой улыбкой проговорилъ Гершко,—и она жъ не жѣна мене, бо маво жѣнка Богхъ узятъ до шебѣ, а она менѣ пурка.

— Твоя дочь?—съ удивленіемъ спросилъ Апроня.

— Такъ есть, моя старшая, скуднастый рокъ пайшелъ взже! И такой гхаросши еврейски дѣвицу! такой мондры, такой цѣотны, такой набозжни!—съ родительской гордостью похвалялся Гершко.

— Что-жь ты ее въ дѣвкахъ-то держишь? Замужъ бы пора уже!—замѣтилъ майоръ.

Ребѣ, скрививъ рожу, почесалъ въ затылкѣ.

— Ой вай!—цмокнулъ онъ, со вздохомъ,—кабъ якой гхаросшій партый, а то партый такой нѣтъ!.. Та й она еще така млѣда и така глупя. «Нѣтъ, гховоритъ, тѣтуле, я не гхѣчу замѣжъ, минѣ и такъ гхаросшь!»

— Гдѣ жъ она была у тебя прежде? Я что-то не помню ее... замѣтилъ майоръ, пыхтя изъ своей коротенькой походной трубки.

Оказалось, что Велля до прошлой зимы жила и воспитывалась въ Крынкахъ ¹⁾ у своей тетки, но тетка умерла, не оставивъ ей ничего, кромѣ кое-какихъ пустыхъ нарядовъ,—и бѣдной Веллѣ, не пожелавшей мыкаться по чужимъ людямъ въ качествѣ «наймычки-батрачки», пришлось перебраться въ Гродненскую пушу, на отцовское «господарство». Можно представить себѣ, какова должна была показаться молодой дѣвушкѣ жизнь въ этой лѣсной трущобѣ, на пустырь, да еще зимою, съ оравой голодныхъ и босыхъ братишекъ и сестреночъ и съ вѣчно пьянымъ, безпечнымъ и безалабернымъ отцомъ.

Между тѣмъ, пока ребѣ Гершко распространялся о Веллѣ и ея теткѣ, сама Велля успѣла уже наскоро накинуть на себя какое-то бѣлое съ мушками ситцевое платье, въ покроѣ котораго сказывалась претензія на современныя городскія моды,—и вышла къ намъ, уже безъ слѣдовъ смущенія на лицѣ, держа въ рукахъ подносики со штопоромъ, бутылкой и двумя стаканами.

Теперь мы могли вполне разглядѣть ее.

Это была красота поразительная! Хотя Веллѣ только пошелъ семнадцатый годъ, но на видъ, какъ и большая часть женщинъ азиатскаго типа, она казалась гораздо старше своего возраста. Вы бы сказали, что ей навѣрное уже стукнуло двадцать одинъ или двадцать два года. Представьте себѣ весеннюю розу въ то майское утро, когда она, только-что окончивъ ходъ своего естественнаго развитія, вполне дозрѣла, распустилась роскошнымъ махровымъ цвѣткомъ и вся еще скромно дышетъ силою стронутой свѣжести,—такова была Велля. Стройная, крѣпкая, съ тою плавною округлостью формъ и движеній, которыя ясно говорятъ вамъ

о сдержанной внутренней силѣ, о внутреннемъ огнѣ, затаенномъ до поры до времени, и служить признакомъ несокрушимаго здоровья и громаднаго запаса жизненныхъ силъ,—эта дѣвушка поражала еще и очаровательною прелестью своего лица, которое носило въ себѣ характерный отпечатокъ чистаго еврейскаго типа, но типа такого, какой встрѣчается вамъ въ лучшихъ образцахъ искусства, воспроизводящихъ его на полотнѣ во всей его библейской красотѣ и поэзіи. Жаркій и нѣсколько смугловатый колоритъ лица, синеватый отливъ черныхъ курчавыхъ волосъ, которые, казалось, отягощали своимъ изобиліемъ ея голову, характерный погибъ бровей, яркія и нѣсколько крупныя губы,—все это дышало силой и страстью; но огонь баядерки, горѣвшій въ ея глазахъ, умѣрился тѣною длинныхъ и скромно-опущенныхъ рѣсницъ. Художникъ не нашелъ бы для себя лучшаго типа, еслибы вздумалъ писать библейскую Юдию съ отсѣченной головой Олоферна.

Велля, какъ бы не замѣчая, что столько глазъ лобуются на нее съ нескрываемымъ изумленіемъ и восторгомъ,—скромно потупивъ взоръ, показывала видъ, что она исключительно занята своимъ дѣломъ, и тщательно сбивала штопоромъ сургучъ съ засмоленной бутылки. Ясный взоръ ея мимолетно поднялся и сверкнулъ на насъ на одно лишь мгновенье въ ту минуту, когда, напѣнивъ холоднымъ медомъ стаканы, она поднесла ихъ желавшимъ напитокъ. Но что это было за взгляды и что-за очарованіе въ немъ свѣтилось!

Бутылка была распита менѣе чѣмъ въ минуту. Но тутъ случилось маленькое и непредвидѣнное затрудненіе. Оказалось, что никто изъ насъ не догадался захватить съ собою денегъ; да оно и понятно: на что брать съ собою деньги, въ деревнѣ, выѣзжая изъ дому просто-себѣ прогуляться на какіе-нибудь полтора, два часа времени?

— Сколько тебѣ слѣдуетъ, Гершко?

— Два злоты за бутелька,—съ почтительнымъ поклономъ отвѣтилъ еврей.

Мы объяснили ему наше затрудненіе.

— Ну, то ницъ не шкодзе! ¹⁾—предупредительно замахалъ онъ рукою.—Ницъ не шкодзе, ваше блахгородо! Мы жевасъ зѣнаемъ! А якъ вась мой міодекъ прійшелся до густу ²⁾, то у мене завше ³⁾ можно пакипать сколько бутелькевъ. Когда ви только схочете, то моя Велля будзидъ носить до вась на фольварокъ! И позѣмку зъ лѣсу, и гржибы зъ лѣсу ⁴⁾ такъ само-жъ можна носиць!

— Ну, вотъ и прекрасно!—подхватили чуть не всѣ мы хоромъ.—Пускай и меду, и поземки,

¹⁾ Не бѣда!

²⁾ По вкусу.

³⁾ Всегда.

⁴⁾ Землянику и грибы изъ лѣса.

¹⁾ Мѣстечко въ Гродненскомъ уѣздѣ.

и грибовъ, и всего пускай носить! Да больше! да почаще! да присылай ее поскорѣе!

— Присылай сегодня же, деньги получить!—крикнувъ въ заключеніе Апроня—и мы, сопровождаемые многочисленными поклонами ребѣ Гершки, весело тронулись далѣе.

Тѣмъ зеленого, густого лѣса, навѣвая тихую прохладу, видимо освѣжила и оживила нашу компанію.

— Боже мой! И это—родная дочка пьянаго, засаленного Гершки!—воскликнулъ Апроня.

— Просто оскорбительно!—сплюнувъ въ сторону юнкеръ Ножинъ.

— Н-да! рѣдкостная красота!—раздумчиво согласился майоръ, посасывая трубочку.—И чортъ ихъ знаетъ, подумаешь, какъ это у нихъ рождаются такія, въ подобныхъ условіяхъ жизни, а главное, какъ они могутъ развиваться въ такую прелесть!.. Видь, поди-ка, кромѣ «щилѣтке» да «цибулке» и не ѣсть ничего, а вся такъ и пышетъ здоровьемъ!

— Ухъ, такую-то женщищу да въ Петербургъ бы!...—не безъ азарта воскликнулъ юнкеръ, даже зажмуривъ глаза отъ увлеченія.—Показать бы ее только въ театрѣ, да на гуляньи, такъ видъ и брильянты, и бель-этажи, и рысаки, и тысячи—все къ ей ногамъ полетѣло бы! Концессіи раздавать бы стала!

— Н-да!—все такъ же раздумчиво замѣтилъ майоръ,—а здѣсь вотъ и замужъ ее никто не беретъ, потому—бѣдная! «гроши не мѣе!» Такъ и завянутъ!

— Ну, по-моему, ужъ пусть лучше вянетъ,—высказался Апроня,—чѣмъ выйти за какого-нибудь грязнаго Шмуклу въ лапсѣрдакъ, да наплодить съ нимъ дюжину всякихъ Шмудлятокъ. Завянуть въ глуши—это все же какъ-то поэтичнѣе!

— Просто оскорбительно!—энергически и досадливо повторялъ нашъ юнкеръ.

* * *

Велля стала иногда показываться у насъ на фольваркѣ, принося каждый разъ то грибовъ, то ягодъ, причемъ товаръ ея оплачивался щедро рукою. Эта щедрая плата вѣроятно и служила причиною ея довольно частыхъ посѣщеній. За какой-нибудь кувшинъ земляники, вся цѣна которому десять грошей, ни одинъ изъ насъ, бывало, не скупился бросить лишній рубль, чтобы получить въ благодарностъ застѣнчиво-радостную, прекрасную улыбку,—тѣмъ болѣе, что всѣ мы очень хорошо знали, до какой степени дорогъ каждый грошъ этой бѣдной дѣвушкѣ и ея босоногому семейству. Она являлась всегда по утрамъ, около того времени, какъ мы кончали нашъ завтракъ, и скромно, терпѣливо оставалась дожидаться насъ на дворѣ, около крылечка. Сколько разъ, бывало, просили ее войти въ комнаты отдохнуть, закусить—Велля всегда очень деликатно отпѣкивалась. Не отказывалась она только отъ

стакана чаю, когда ей предлагали его, но и то вышнпала этотъ стаканъ на крылечкѣ, не переступая нашего порога. Въ этой дѣвушкѣ въ особенности было замѣчательно, что она являлась къ намъ всегда въ чистенькомъ миткалемъ или ситцевомъ платицѣ, а это—надо замѣтить—большая рѣдкость между евреями, не только бѣдными, но даже и весьма зажиточными. Можете быть увѣрены, что заурядная еврейка отъ шабаша до новаго шабаша ни за что не надѣнетъ на себя чистаго платья. Нельзя сказать, чтобы и наша Велля отличалась чистотою въ своемъ домашнемъ обиходѣ: тамъ на ней, конечно, были точно такія же грязныя лохмотья, какъ и на каждой еврейской работницѣ,—но къ намъ на фольваркѣ она приходила всегда такая чистенькая, свѣжая и скромная, что казалось, будто, сознавая свою красоту, она не хочетъ портить изящнаго впечатлѣнія въ людяхъ, залюбовавшихся ею съ перваго разу. Каждый разъ она просила позволенія сорвать съ куста одну или двѣ розы и очень кокетливо украшала ими свою курчавую голову. Понятно, что съ нашей стороны никогда не встрѣчалось ей въ этомъ отказу, а юнкеръ Ножинъ даже весьма обязательно набиралъ для нея цѣлые букеты. Когда, бывало, начинали съ нею шутить, она отвѣчала скромной улыбкой и не дичилась въ разговорѣ; но чуть лишь эта шутка переходила предѣлы невинной скромности, обращаясь въ легкое заигрываніе, Велля вдругъ вспыхивала, въ характерныхъ бровяхъ ея показывалось тревожное движеніе страха и обиды—и, озираясь во всѣ стороны смущенно-безпокойнымъ взглядомъ, она торопилась уйти съ фольварка. Это странное озиранье по сторонамъ было такого свойства, что невольно казалось, будто Велля опасается какого-либо тайнаго и ревниваго соглядателя, который, вслѣдствіе допущенной ею вольности, имѣлъ бы право заподозрить ея чистоту и скромностъ. Поэтому, послѣ одного или двухъ опытовъ въ подобномъ родѣ, никто изъ насъ уже не позволялъ себѣ пускаться съ Веллей въ излишнія любезности. Но эта пугливая и застѣнчивая скромностъ только увеличивала обаяніе ея прелести. Намъ, людямъ заброшеннымъ со своимъ эскадрономъ въ глушь пустыннаго лѣса, гдѣ почти и не встрѣтишь женскаго лица,—намъ, безъ всякихъ цѣлей и намѣреній, было просто пріятно встрѣчать иногда у себя на фольваркѣ это свѣтлое, молодое существо, во всей его, нѣсколько дикой и своеобразной, прелести. Исключительная обстановка нашего существованія «на травѣ», и эта пуща зеленая, и эти озера лѣсныя, и это горячее лѣто—все какъ будто совокуплялось такъ, что утреннее появленіе дикарки Велли вносило въ нашу лѣсную жизнь вѣяніе чего-то поэтическаго. Юнкеръ Ножинъ безъ ума влюбился въ стройную дочь ребѣ Гершуны. Онъ просто бре-

диль ею, называя ее, въ своемъ влюбленномъ восторгѣ то Юдиною, то Иродиадой, рвалъ для нея пышные букеты, немилосердно истребляя красу нашихъ роскошныхъ розовыхъ кустовъ и жестоко царапая себѣ руки колючими шипами,—а въ свободные часы исчезалъ на одинокія прогулки въ глубину пущенскихъ дебрей, въ тщетной надеждѣ встрѣтиться тамъ со своей очаровательницей. Но, увы!—надо думать, что мечты и надежды юнаго Ножина не увѣнчивались ни малѣйшимъ успѣхомъ, потому что онъ возвращался каждый разъ домой усталый, нѣсколько смущенный и видимо обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, избѣгая улыбокъ и разспросовъ добродушнаго майора.

IX.

Нечистая сила мутить.

Какъ теперь помню,—это было 23-го іюня, въ самый канунъ Ивана-Купала. Въ той мѣстности, гдѣ мы обитали, еще и доселѣ сохранилось чествованіе купальскаго праздника во всей его древней аллегорической обрадности, а потому мы съ Апроней собирались въ эту ночь отправиться верхами въ пущу, на берега озера Кагана, гдѣ должно было совершиться это интересное празднество—удѣлѣвшій остатокъ языческихъ временъ первобытнаго славянства.

Солнце начинало садиться.

Люди, въ урочный часъ, подъ присмотромъ взводныхъ вахмистровъ, провели на недоуздохъ коней къ водоюу въ ближайшее озеро. Для этого они, обыкновенно, прибывъ къ берегу, вскакиваютъ каждый на спину своей лошади и, съ помощью шенкелей, заставляютъ ее войти въ воду саженой на пять, на шесть отъ берега, такъ какъ у самаго берега дно слишкомъ илисто и мелко, да и вода, взбаломученная копытами, тотчасъ же становится мутною. Вотъ уже вернулись съ водоюу послѣдовательно три первые взвода, а четвертый только еще направился къ озеру. Эта взводная очередь принята у насъ для большаго порядка, чтобы избѣжать на берегу лишней толкотни и суеты между людьми и конями — отъ одновременнаго скопленія ихъ цѣлой массой, а также и для того, чтобы дать время замутившейся водѣ отстояться.

Мы, въ ожиданіи чая, сидѣли, по обыкновенію, на крылечкѣ, подъ навѣсомъ хмѣля и дикаго винограда, а въ вечерѣющемъ воздухѣ стояла такая невозмутимая глубокая тишина, что до насъ ясно доносились съ озера и плескъ воды, производимый движеніемъ входящихъ въ нее коней, и понуканья, и тотъ своеобразный мелодическій посвистъ, столь хорошо знакомый кавалеристамъ, посредствомъ котораго всад-

никъ обыкновенно старается возбудить въ своемъ конѣ охоту къ водоюу.

Вдругъ этотъ плескъ превратился въ шумъ необычайныхъ размѣровъ. Послышались перепуганные, тревожные крики, восклицанія, брань, голоса «держи! лови!» — Затѣмъ раздался, все болѣе и болѣе приближающійся, гулкій и сильный топотъ многочисленныхъ копытъ—и вдругъ, чрезъ нѣсколько мгновеній, мимо насъ, шагахъ въ тридцати, вихремъ пронеслося съ гуломъ и ржаньемъ около десятка вырвавшихся на волю горячихъ коней. Это была чудная и своеобразно красивая картина! Распустивъ хвосты трубою и закинувъ гордые головы, съ развѣвающимися гривами, съ огненнымъ взоромъ и раздутыми ноздрями, эти скакуны безъ всадниковъ, промчавшись нѣсколько десятковъ саженой въ одной тѣсной кучѣ, вдругъ ударились межъ деревьями вразсыпную, оглашая лѣсъ на далекое пространство своимъ гуломъ и звонкимъ серебристымъ ржаніемъ, которое подхватывалось перекатымъ эхо. Слѣдомъ за этою ватагой неслись почти всѣ остальные кони четвертаго взвода; на большей части изъ нихъ еще сидѣли кое-какъ всадники, тщетно стараясь однимъ недоуздохомъ сдержать бѣшеный пылъ своихъ лошадей, которыя, ошалѣвъ отъ какой-то неизвѣстной намъ причины, то и дѣло, взвивались на дыбы, давали «козловъ»^{*)} и изо всей силы порывались вслѣдъ за умчавшимися скакунами. Изъ опрокинутыхъ людей, кое-какъ успѣвшихъ подняться на ноги, иной торопливо старался поймать конецъ недоуздка, другой бѣжалъ, что есть мочи, за своимъ конемъ, третій, подданный кверху ловкимъ «козломъ» и сброшенный наземъ черезъ голову,—къ счастью, успѣвъ не выпустить изъ рукъ недоуздокъ, силится всѣмъ корпусомъ, откинутымъ въ упоръ, удержать выпрыгающую лошадь, — и все это сопровождается криками и смятеніемъ солдатъ, бѣгущихъ вдогонку, — словомъ сказать, переполохъ поднялся ужаснѣйшій!

Я былъ командиромъ 4-го взвода, и потому понятно, что происшедшая неожиданность касалась меня самымъ ближайшимъ образомъ.

Вдругъ, смотрю, бѣжитъ ко мнѣ Слуцкій, мой взводный вахмистръ, застегивая на ходу свой китель. Слуцкій—это ражій дѣтина, чуть не косая сажень въ плечахъ, съ великолѣпными окладистыми черными баками и съ голосомъ, который гудитъ у него какъ изъ бочки, вслѣдствіе чего въ хорѣ гусенниковъ Слуцкій всегда «спускаетъ октаву».

— Ваше благородіе! бѣда!—еще издали во-

^{*)} «Дать козла» — специальное выраженіе. Лошадь „даетъ козла“ посредствомъ лягающего прыжка задними ногами, вслѣдствіе чего, при отсутствіи сѣдла и стремянъ, всадникъ легко можетъ полетѣть черезъ голову лошади.

пить онъ впопыхахъ и въ испугѣ. — Явите божескую милость!.. Надо доложить майору!..

— Какъ это у васъ тамъ случилось — спрашиваю его.

— Да «Банныкъ» ¹⁾ подъ рекрутникомъ, подъ Пашинымъ, спужавшись чего-то, шарахнулся въ сторону, смялъ въ воду и Пашина-то, а самъ ударился въ кучу коней, переполоху надѣлалъ такого, что просто ужаси! А за нимъ и всѣ другіе кони словно ошалѣли, тоже парашнулись — афтимъ манеромъ и вышла вся каша!.. Явите Божескую милость, ваше благородіе! потому хоша случай такой, а все же много виновати!

И побѣжалъ къ майору, который, вернувшись послѣ обѣда съ луговъ, прилегъ соснуть пока до вечерняго чая. Узнавъ, въ чемъ дѣло, онъ приказалъ сейчасъ же засѣдять нѣсколькихъ лошадей и послать на нихъ наиболѣе смѣшленныхъ и знакомыхъ съ мѣстностью солдатъ разловить убѣжавшихъ скакуновъ, а другую часть людей отправить съ тою же цѣлью пѣшкомъ. Такъ какъ происшествіе случилось въ моемъ взводѣ, то я счелъ обязанностью вмѣстѣ со своими людьми тоже отправиться на поиски.

— Кстати, захватите трубача съ собою, — посоветовалъ мнѣ майоръ, — и велите ему время отъ времени играть сборъ: на звукъ трубы кони легко и сами соберутся.

Человѣкъ восемь всадниковъ отправились по разнымъ направленіямъ лѣса; я со Слуцкимъ и съ трубачемъ — выбравъ себѣ между ними направленіе, приблизительно, центральное — поѣхали прямо по лѣсной цѣлинѣ, въ глубину пуши. Гдѣ рысцою, гдѣ шагомъ, пробираясь между кустами и старыми деревьями, мы отѣхали отъ фольварка версты на три, когда я приказалъ трубачу впервые подать сигналъ. Амплѣвъ приставилъ губы къ трубѣ — и «сборъ» зарокоталъ по пустыни лѣса. Какъ только замеръ въ отдаленномъ эхо послѣдній звукъ трубы, мы стали прислушиваться, и вдругъ, изъ двухъ или трехъ концовъ лѣса, какъ бы въ отвѣтъ на призывъ сигнала, послышалось вдали тонкое конское ржанье.

— Ага, почуяли, значитъ! — замѣтилъ Амплѣвъ.

Мы продолжали прислушиваться, стоя на мѣстѣ еще въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, но ржаніе не повторялось и, среди лѣсной тишины, ничто пока не служило признакомъ приближенія лошадей. Отѣхавъ впередъ еще на версту, мы повторили «сборъ», но результатъ остался столь же безуспѣшнымъ.

— Ваше благородіе! — обратился ко мнѣ Слуцкій, — не подать ли бы лучше «апель» вмѣсто «сбора».

— А что? — отозвался я.

¹⁾ Имя коня.

— Да такъ; потому «апель», значить, конь завсегда не въ примѣръ лучше чувствуетъ.

— Дай «апель», Амплѣвъ!

И лѣсная пустыня рѣзко огласилась дребезжащею высокою трелью сигнала. Слуцкій соскочилъ съ лошади, и не выпуская изъ руки трензельнаго повода, прилегъ ухомъ къ землѣ и сталъ прислушиваться.

— Гудѣтъ, ваше благородіе! — съ какою-то таинственностью, вполголоса сообщилъ онъ черезъ минуту.

— Что гудетъ?

— Земля гудетъ... значить, топотъ слышнѣтъ.

— Далеко?

— Сдается такъ, быдто все ближе... все гулче становится... Подать бы, ваше благородіе, еще разокъ?

— Труби! — приказалъ я Амплѣву.

И вотъ, минуты двѣ спустя послѣ повтореннаго сигнала, снова раздалось, уже гдѣ-то не вдалекѣ, серебристое ржаніе, а затѣмъ, черезъ нѣсколько времени, ясно послышался топотъ и трескъ сухого валежника, ломаемаго подъ тяжестью конскаго копыта.

Мы внимательно напрягли слухъ и зрѣніе.

Черезъ минуту, на небольшую открытую ложину, лежавшую передъ нами, выбѣжалъ конь «Асланъ» и, остановившись отъ насъ шагахъ въ полтораста, чутко насторожилъ строгія уши, понюхалъ воздухъ и вдругъ, испуганно шарахнувшись въ сторону, въ одно мгновеніе исчезъ куда-то вправо за густыми кустами.

Слуцкій живо очутился на сѣдлѣ и, пригнувшись къ луку, чтобы защитить лицо отъ хлесткихъ прутьевъ да отъ колючихъ сосновыхъ вѣтвей, пустился — по мысленному предположенію — на перерѣзъ «Аслану».

Мы остались дожидаться на мѣстѣ.

Опять послышался трескъ сучьевъ и топотъ, и опять выбѣжала на ложину лошадь, почти въ томъ же самомъ направленіи, какъ и «Асланъ», и, точно такъ же какъ и онъ, приостановилась, озираясь по сторонамъ. Видимо усталая, она обмахивалась хвостомъ и отфыркивалась.

— Э, да это никакъ «Бабелина»! — шопотомъ замѣтилъ Амплѣвъ. И действительно, взглядывшись, я узналъ въ этой сухощавой длинношеей кобылѣ нашу кроткую «Бобелину».

Лошадь, межъ тѣмъ, завидя насъ, радостно заржала высоко поднявъ голову, и вдругъ направилась примехонько-таки къ намъ совсѣмъ покорно, смиренно и легонькою рысцою. Амплѣву не стоило никакого труда шагомъ податься ей навстрѣчу и, осторожно приближаясь, схватить ее за болтавшійся недоуздокъ.

Спустя около четверти часа вернулся и Слуцкій, ведя за собою «Аслана».

— Гдѣ тебѣ удалось поймать его?

— А, лядашій конь, — проворчалъ онъ съ неудовольствіемъ, — все лицо изъ-за него прутьемъ

перецарапало! Нагналъ ужъ я его вона гдѣ, въ болотѣ! Никакъ къ себѣ не подпускайть, хоть что хошь! Чуть я подойду эдакъ осторожно сбоку—онъ сейчасъ это въ сторону и шабашъ! Ничего не подѣлаешь! Умучилъ просто! И до тѣхъ поръ не давался, пока его по брюхо въ болото не втемяшило; ужъ тутъ только я могъ взять его, да чуть было и самъ не утопъ со всѣмъ! Вона-какъ разубрался—страсть!

И дѣйствительно, Слуцкій и оба коня были мокры и покрыты зелеными прядями болотной тины.

— Амплѣвъ! возьми «Аслана» съ «Бобелиной» къ себѣ въ заводъ, и пойдемъ далѣе!—распорядился я.

— Ваше благородіе, вамъ угодно... впередъ?—какимъ-то страннымъ, подозрительнымъ тономъ спросилъ меня Слуцкій.

— Да, впередъ; а что такое?

— Да оно ничего-съ... а только... конечно... Кто его знаетъ!.. Какъ бы не спужаться вамъ... неровенъ часъ...

— Что ты за чушь несешь!—съ удивленіемъ оглядѣлъ я моего «взводнаго». — Чего я тамъ буду «пужаться»!

— Виновать, ваше благородіе! Есть воля ваша, а только... не ладно тамъ.

— Да говори ты, любезный, толкомъ! Что такое не ладно-то?

— Конечно, ваше благородіе, въ добрый часъ сказать, а въ дурной помолчать... А я къ тому собственно изволю докладывать, что темно уже становится,—ну... а ночь-то нынче купальская-съ.

— Такъ что же?

— Какъ угодно вашему благородію, но только я, значить—какъ воть стою передъ вами, такъ точно сваими глазами видѣлъ... Тамъ, ваше благородіе, «оно» ходитъ...

— Пьянъ ты, братецъ, что-ль?! Какое тамъ еще «оно»?

— И не дожидаясь объясненія, я сказалъ людямъ: «шагомъ маршъ» и тронулся далѣе.

— Кто его знаетъ, ваше благородіе, что «оно» такое, а только ходитъ... Самъ, значить, видѣлъ,—на ходу уже продолжалъ докладывать мнѣ Слуцкій!—Я, этта, крадусь къ «Аслану», а «оно» мнѣ навстрѣчу... И больше не будить, къ примѣру, какъ вонъ до того дерева—шагахъ въ тридцати, значить, остановилось и смотреть на меня, и показисъ мнѣ, что жалостно такъ, во всѣ глаза, то-ись, смотреть! А потомъ вдругъ шастъ въ сторону и пропало, ну, воть словно сквозь землю провалилось!

— Померещилось, можетъ?—замѣтилъ Амплѣвъ,—въ лѣсу это бываетъ объ ину-пору.

— Чего те «померещилось»? Пьянъ я, чтоли, и въ сам-дѣлъ?! — огрызнулся на него Слуцкій.—Говорятъ те, сваими глазами, а онъ—«померещилось»!

— Какое же «оно» съ виду-то? на что похоже?—спросилъ я съ невольной улыбкой.

— Бѣлое, ваше благородіе, какъ есть, все бѣлое, и на головѣ, словно какъ у покойниковъ, саванъ, алибо платокъ какой, не знаю ужъ, а только что бѣлое,—это вѣрно-съ!.. И какъ быдто женска пола, ваше благородіе.

— Ну, баба какая—нибудь пошла свентоянскія травы собирать, и только; а ты, солдатъ, испугался!.. Эхъ, братъ!

— Есть воля ваша! а только не похоже оно на бабу деревенскую, хоша и точно—что скорѣе сдѣтъ на женскій полъ, иначе жъ не баба, потому ежели бабу—то сейчасъ видно!

— А этта, ваше благородіе,—помолчавъ минуту, снова заговорилъ Слуцкій таинственно пониженнымъ тономъ,—я такъ думаю, что это никто больше какъ... французенка... та самая, что штабъ-ротмистръ анадьсь изволили вамъ сказывать... Это она самая и есть!

«Ильяновская легенда!» — подумалъ я про себя.

— А развѣ вы еще не забыли про нее?—спросилъ я Слуцкаго.

— Зачѣмъ забыть, ваше благородіе! Намъ какъ тодысь про нее денщики сказывали, такъ очинно даже занятно!.. И мы часто потомъ промежъ себя толковали, да и ночные наши тоже видѣли, какъ и я же воть теперь. Да и что жъ мудренаго,—нѣсколько философски продолжалъ мой взводный,—мѣста здѣсь самыя подходячія: и лѣсъ этта, и болота, и озера—вся эта нечистъ любить вѣдь по такимъ трущобамъ водиться, а нонче къ тому же Аграфена Купальница,—воть и выползла, значить, на свѣтъ Божій. Сегодня ей шабашъ!

— А что, Иванъ Антонычъ,—не совсѣмъ-то увѣренно обратился къ Слуцкому Амплѣвъ,—кони-то сегодня ни съ того, ни съ сего разбѣжались — вѣдь это все, поди-ко, ѣйныя же штуки! Пожалуй, что она все шкодитъ!

— А ты какъ понимаешь?—какъ бы нѣхотя, но увѣренно и авторитетно, въ пользу оборота отвѣтилъ ему Слуцкій и замолкъ.

Разговоръ прекратился.

Солнце давно уже сѣло, и въ лѣсу съ каждой минутой становилось все болѣе сумрачно и сыровато. Проѣхали мы впередъ еще около версты отъ мѣста нашей послѣдней остановки.

— А ну-ко, Амплѣвъ, подай еще «апель»,—распорядился я, когда мы выѣхали въ одну изъ лѣсныхъ тропинокъ, которую можно было разглядѣть еще въ сумракѣ по двумъ глубокимъ колеямъ, проложеннымъ крестьянскими возами.

Сигналъ былъ поданъ.

— О-го-го-го-о-о!—долетѣлъ къ намъ издали человѣческій голосъ.

— Лѣшій!..—проговорилъ Амплѣвъ съ какой-то странной улыбкой, которая слышала-

лась въ его слегка-дрогнувшемъ голосѣ, такъ что выходило—не то онъ въ шутку сказалъ это, не то и въ самомъ дѣлѣ рассказы Слуцкого оставили въ немъ свою долю суетвѣрнаго впечатлѣнія.

— Дура! — буркнулъ на него взводный сквозъ зубы.—Это ваше благородіе, должно, кто-нибудь изъ нашихъ голосъ подаётъ,—обратился онъ непосредственно ко мнѣ.—Можетъ пождать прикажите?—авось, подѣйдить!..

И мы придержали коней.

— А что жь, Иванъ Антонычъ, — съ той же улыбкой въ голосъ продолжалъ Амплѣевъ,—рази не бываетъ такъ, что «онъ» нарочно заводитъ? Для-тово и голосъ по-человѣчьи подаётъ!

— Ну, и пушай его,—нѣхотя и съ отгѣнкомъ неудовольствія проворчалъ Слуцкій.—«Заводить»!.. выдумалъ тоже, «заводить!»—Мы здѣсь теперича, братецъ мой, на торной тропѣ стоимъ, а она все куда ни-на-есть да выведить! Это не то, что какъ давеча по цѣлинь да по болоту! А здѣсь къ тому же видко; даже гораздъ видчѣе, чѣмъ тамъ было.

Въ это время навстрѣчу къ намъ по тропинкѣ выѣхалъ всадникъ.

— Это ты, Андрей Васильичъ?

— Такъ точно, ваше благородіе—отвѣтилъ голосъ Склирова.

— Ну, что? какъ тамъ у васъ? Разловили?

— Есть таки. А у васъ двѣ?

— Двѣ: «Асланъ» да «Бобелина».

— Ну, и славу Богу! восемь коней, значить, поймано. Одна «Астролябія» только отбилась въ сторону, къ Гершкиной корчмѣ побѣжала,—объяснилъ вахмистръ,—ну, да туда за ней Вороненко съ тремя солдатами погналъ; надо быть, переймутъ и ее!

— А всѣхъ-то девять бѣжало?

— Такъ точно. Шестерыхъ ужъ домой повели.

— Стало быть, и намъ больше дѣлать нечего? Поворачивай, ребята!

И мы, взявъ себѣ въ вожакъ Склирова, которому уже хорошо была извѣстна эта тропа, направились по ней къ Ильянову.

X.

Ночь на Ивана-Купала.

Черезъ нѣсколько времени, влѣво отъ насъ, въ той сторонѣ, гдѣ старорослый хвойный лѣсъ былъ нѣсколько рѣже, я замѣтилъ вдали мелькающій между деревьями отблескъ какого-то зарева, а еще спустя нѣсколько минутъ, до нашего слуха сталъ доноситься съ той же стороны гулъ людского говора и звуки пѣсенъ. Женскіе голоса были слышнѣе.

— Ишь у мужиковъ-то гульба! — замѣтилъ Склировъ,—Купалу, значить справляютъ.

— А что, Андрей Васильичъ,—освѣдомился

я,—не знаешь ты, штабсъ-ротмистръ поѣхалъ туда, или нѣтъ?

— Надо быть, поѣхали, ваше благородіе, потому они приказывали телѣжку свою заложить, и мы уже закладывали даже, какъ случилась-то у насъ катавасія эта.

«Стало быть, я вѣроятно найду его тамъ», подумалось мнѣ, и потому, не желая болѣе утомлять мою, и безъ того уже утомленную, лошадь, я сдалъ ее на руки Слуцкому, приказавъ людямъ слѣдовать своей дорогой, а самъ лѣшкомъ отправился по тому направленію, откуда слышались голоса и трепетнымъ свѣтомъ мелькало зарево.

Пройдя сотни три сажень, я очутился на возвышенномъ берегу озера. Густой, высокій лѣсъ со всѣхъ сторонъ окружалъ его, какъ стѣной, и опрокинутый отражался въ водѣ смутными, черными тѣнями. На противоположномъ, болѣе отлогомъ, берегу раскинулась предо мной оригинальная картина. Тамъ пылалъ громадный костеръ.

Вереницы искръ, словно бы живыя существа, какіе-то фантастическіе рѣзвые духи, а не то—какъ будто огненные листья въ осеннюю бурю, цѣлыми снопами взвивались кверху, кружились въ воздухѣ, длинной полосой уносились далече, или же огненнымъ дождемъ сыпались въ воду, отражаясь огненными змѣйками въ ея невозмутимо-спокойной глади.

Вокругъ этого костра толпилось множество народа. Сюда, изъ нѣсколькихъ окрестныхъ деревень Езерской волости сошлись крестьяне праздновать своего Купалу. Мѣсто около костра было украшено молодыми березками, воткнутыми въ землю; въ сторонѣ виднѣлось нѣсколько шалашей, покрытыхъ зелеными вѣтвями, и передъ ними курились маленькіе костерки, на которыхъ «маладзѣхны» ¹⁾ готовляли яичницу—это излюбленное и необходимое—такъ сказать, традиціонное кушанье Купальскаго праздника. Старики со старухами сидѣли въ отдѣльныхъ кружкахъ и угощались водкою и сыромъ. Вообще, на Купалу не употребляютъ мяса, выбирая для пиршественныхъ угощеній болѣе растительную или молочную пищу. Вокругъ костра, взявшись за руки и образовавъ хороводное кольцо, ходили справа налево и потомъ слѣва направо молодые «дзѣцюки» и «дзѣвчины». И тѣ, и другія были украшены вѣнками и подпоясаны стеблями горькой полыни. Они пѣли купальную пѣсню про «рачка», про то, какъ

Задумау рачокъ жаницися,
Тай пайшоу до жабци журицися;
„А у цебѣ, жабо, чарѣво рябо“!
А у цебѣ, раче, очи въ тылѣ,—

и все это сопровождалось неизмѣннымъ пригѣвомъ: «Ой, Купала! Купала на Ивана! то то!»

¹⁾ Молодицы.

Потомъ выборный коноводъ праздника, или такъ-называемый «урядникъ», отдѣлилъ парней отъ дѣвушекъ и поставилъ однихъ по эту, а другихъ по ту сторону купальскаго «кострища»,—и вотъ, по знаку его, черезъ пламя понеслась съ разбѣгу прыгающая вереница. Сначала прыгали дѣвушки, а парни хоромъ поддѣвали при этомъ:

Цеперь Купала, завтра Янъ
Кидау дзѣвокъ празъ барканъ!

А потомъ, когда стали прыгать парни, хоръ дѣвушекъ заводилъ имъ тотъ же припѣвъ, измѣняя только вмѣсто «дзѣвокъ» — «кидау хлопцѣу празъ барканъ».

Тутъ же, рядомъ съ «кострищемъ», стояла «кукли», то есть чучело, смастеренное изъ разнаго тряпья и ветоши, изъ роговъ, соломы, вѣтвей и конопляныхъ волоконъ. Эта «кукля», изображающая собою Купалу, будетъ подъ утро обожжена на кострѣ и потомъ потоплена въ озерѣ.

Купальская ночь, по мѣстнымъ преданіямъ, есть ночь чародѣйская: рѣки и вода въ теченіе ея свѣтятся особеннымъ свѣтомъ; деревья и особенно старые дубы таинственно ходятъ по лѣсу и разговариваютъ между собою; ведутъ свои разговоры также и звѣри, и вообще всѣ животныя—и если кому удастся подслушать ихъ говоръ, тотъ считается «вяликимъ вѣдунцемъ на свѣцѣ».

Колдуньи или «вѣдмы» тоже обнаруживаютъ свою дѣятельность: онѣ отнимаютъ молоко у коровъ, собирая тайкомъ росу на огородахъ у своихъ сосѣдей, съ которыми онѣ въ ссорѣ, и давая эту росу пить своимъ собственнымъ коровамъ, послѣ чего сосѣдская корова должна уже меньше давать молока. Въ эту ночь расцвѣтаетъ папоротникъ, а бабы вообще собираютъ въ лѣсахъ и лугахъ разныя травы и зелья: руту, василь, дзятель, богатки, папораць, иванъ-да-марью, чередель, курослѣпъ и лопанъ съ ластовнемъ. На утро онѣ несутъ съ собою эти травы въ церковь, и тамъ священникъ окропляетъ ихъ святою водою, послѣ чего зелья эти, получая названіе «свянто-янскихъ», хранятся въ теченіе цѣлаго года, до слѣдующаго Купалы, и служатъ цѣлебнымъ средствомъ въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ, или талисманомъ противъ колдовства, или же, наконецъ, примѣтами будущаго благополучія. Такъ называемая «купальня» или «купальница» (*Ranunculus acris*) и «свянто-янская трава» (*Nuregium perforatum*) почитаются могущественнымъ, неотразимымъ средствомъ для возбужденія чувствъ любви и нѣжной преданности,—да и вообще, вся Купальская ночь, въ силу древнихъ преданій, есть ночь невозбранной, беззавтѣной любви и страсти для всей молодежи, которая вообще, во все остальное время года, отличается болѣе цѣломудріемъ, чѣмъ

распущенностью своихъ нравовъ. На разсвѣтѣ Иванова дня даже и солнце показываетъ чудеса необычайныя. По мѣстнымъ повѣрьямъ, оно, всходя на горизонтъ, «зайчиками играетъ по небу», раздѣляется на нѣсколько малыхъ солнцъ, которыя сверкающими колесами кружатся и вертятся одно вокругъ другого, разбѣгаются въ стороны и опять соединяются въ одно обыкновенное солнце. Но ранѣе этого явленія, вся молодежь должна непременно выкупаться въ озерѣ, послѣ чего Купальская ночь со всѣми ея волхвованіями, чарами и вакханаліями считается уже законченною, — и люди, какъ бы омывъ, очистивъ себя отъ всей бѣсовщины и грѣха, спѣшатъ домой, чтобы нарядиться въ чистыя сорочки, въ цвѣтныя уборы, и идти въ церковь, съ пучками цвѣтовъ и разнаго зелья.

* * *

Вдоволь налюбовавшись чудной картиной, которая оживленно развѣртывалась предо мною по ту сторону озера, вся озаренная свѣтомъ громаднаго костра, я направился вдоль берега съ намѣреніемъ дойти до рыбацѣй становки, чтобы переплыть въ челнѣ на ту сторону, гдѣ предполагалъ встрѣтиться съ моимъ сожителемъ Апроней, и вмѣстѣ съ нимъ вернуться домой въ его телѣжкѣ.

Темная, звѣздная ночь охватила глубокое небо и, посредствомъ своего тускаго свѣта, превращала въ странныя, фантастическія очертанія каждый встрѣчный пенъ, каждый кустъ и громадные, вывороченные наружу, какъ бы лапчатые, корни деревьевъ, поваленныхъ нѣкогда бурей. Я шелъ въ потемкахъ, часто спотыкаясь о валежники и путаясь въ кустахъ широкаго папоротника, но мало-по-малу глазъ мой свыкся съ темнотою: въ немъ изгладилось давѣшнее впечатлѣніе огненной яркости костра, раздражавшее свѣтчатую оболочку, и окружающіе предметы стали принимать для меня болѣе опредѣленные очертанія.

Вдругъ, мнѣ послышался шорохъ чьихъ-то шаговъ—и какая-то фигура быстро пошла мнѣ навстрѣчу. Я успѣлъ только замѣтить, что это было что-то бѣлое, и остановился, поддавшись странному, но вполне невольному чувству какой-то жуткости, охватившему на мгновеніе мое сердце.

Бѣлое подошло совсѣмъ близко ко мнѣ, словно бы я былъ для него знакомымъ и ожидаемымъ существомъ. Но вдругъ, взглянувъ на меня и какъ бы сознавая свою ошибку, оно быстро метнулось отъ меня и побѣжало въ сторону.

Но я узналъ его.

— Велля!—закричалъ я, направляясь вслѣдъ за бѣлою тѣнью. — Велля! остановись! не пугайся!.. Это я!.. Или не узнала?

Но бѣлая тѣнь продолжала бѣжать, не обращая вниманія на мой голосъ. «Зачѣмъ ей быть въ лѣсу въ эту пору, и что она можетъ здѣсь

дѣлать?» мелькнуло у меня въ головѣ—и я пустился вслѣдъ за нею, совсѣмъ не думая о томъ, что мое присутствіе, быть можетъ, вовсе ей не желательно. Вдругъ она запнулась о какой-то корень и упала. Въ эту самую минуту я успѣлъ подбѣжать къ ней и помочь встать на ноги.

— Велля, успокойся, это я... Чего ты побѣжала отъ меня? чего испугалась?—ласковымъ голосомъ говорилъ я, удерживая ея руки.

— Я ошиблась... извините... я не узнала—смущенно пролепетала она своимъ гортаннымъ еврейскимъ голосомъ, стараясь пересплянуть испугъ и волненіе,—я думала, это онъ.

И Велля не договорила. Произнеся это слово «онъ», дѣвушка какъ бы спохватилась и замолкла.

— Кто «онъ»?.. О комъ говоришь ты?—спросилъ я.

— А развѣ жъ я сказала «онъ»?.. Нѣтъ, нѣтъ, господнѣй поручикъ, вы ошиблись, я не говорила этого... Можетъ, вамъ такъ послышалось, а я не говорила!—торопливо принялась она увѣрять меня.

— Ну, Господь съ тобою!—я не разспрашиваю...

— Нѣтъ, нѣтъ!..—напирала она на словѣ, стараясь придать ему силу убѣжденія.—Но когда жъ я кланусь вамъ въ самомъ дѣлѣ я не говорила этого...

— Ну, да, милая Велля, это все мнѣ только такъ послышалось,—я ошибся, я вѣрю тебѣ; но скажи, Бога ради, что ты здѣсь дѣлаешь одна одишенька, въ такую пору? Какъ тебя занесло сюда?

— Я гуляла... Нѣтъ!—перебила она вдругъ самое себя, порывисто схвативъ меня за руку.—Я вамъ признаюсь... Вы добрый, вы не захотите для меня злого и вы не будете насмѣхаться надо мною... я вамъ признаюсь... я нарочно ушла изъ дому... я убѣжала...

— Ты?... убѣжала?!—невольно изумился я.—Зачѣмъ?... Вѣдь отецъ у тебя добрый, онъ любить, онъ не обижаетъ тебя,—зачѣмъ же ты убѣжала?

— Ахъ, я не знаю сама, что со мною!—въ мучительной тоскѣ зашепеляла Велля, схватясь рукой за голову.—Да, онъ добрый и онъ не обижаетъ меня, но онъ меня замужъ выдаетъ!.. Понаѣхали сваты изъ Камюнки—ребѣ Мордухъ Пикверъ и Шлема Зильберъ—и теперь сидятъ и пьютъ съ тѣтуле и пропиваютъ меня за Орель Бублика, а я не хочу идти замужъ!.. Не хочу и не хочу я.

— Да отчего? Развѣ Орель Бубликъ дурной человѣкъ такой?

— Нѣтъ, онъ не дурной, но я...

И Велля замолкла, опять не договаривая и словно ошъишись на недосказанной мысли.

— Да что же ты... любишь кого другого, что-ли?

— Ахъ, не спрашивайте меня!.. Несчастная я—и пропащая моя голова!.. Когда бъ вы знали только!.. Они всѣ думаютъ, что я набожная еврейская дѣвушка... О, кабы они знали!.. Они проклянутъ, они хѣримвъ на меня наложатъ!.. Они ни за что не простятъ меня!..

— Велля, нельзя ли намъ помочь тебѣ?.. Мы все сдѣлаемъ, что только возможно, мы приложимъ всѣ старанія...

— Оставьте!.. Никто мнѣ на этомъ не поможетъ!

И присѣвъ на поваленное дерево, дѣвушка закрыла лицо руками и зарыдала.

— Ну, что вы хотите отъ меня?—вдругъ поднявшись и снова схвативъ меня за руку, заговорила она въ какой-то ожесточенной экзальтаціи.—Ну, да! я люблю!.. да люблю-то я на мое горе, христіанина!.. Они не простятъ мнѣ этого!..

— Въ такомъ случаѣ, разорви съ ними, принимай сама христіанство и выходи за него замужъ.

Въ отвѣтъ на это дѣвушка засмѣялась горькимъ и—какъ показалось мнѣ—нѣсколько истерическимъ смѣхомъ.

— Да онъ-то когда жъ настолько любитъ меня!.. На что я ему!.. Вотъ, я одна, я жду его и мучаюсь, а онъ и не думаетъ! ему и дѣла нѣтъ!..

И она снова зарыдала, отвернувшись отъ меня и прислонясь головой къ стволу старой ели.

Бѣдная Велля!

Я видѣлъ всю глубину ея горя; мнѣ такъ хотѣлось бы утѣшить ее, хоть чѣмъ-нибудь помочь ей, хоть на сколько-нибудь облегчить ея кручину; но что я могъ сдѣлать для нея въ данную минуту!.. Чувство понятной деликатности не позволило мнѣ спросить объ имени любимого ею человѣка, а сама она не называла его.

Минуты двѣ спустя, нарыдавшаяся Велля, словно бы очнувшись, вдругъ подняла свою поникшую голову.

— Оставьте меня!—порывисто зашепеляла она, съ умоляющимъ видомъ сложивъ свои руки.—Бога ради, уйдите отсюда!.. Уходите поскорѣй! Не надо, чтобы вы были со мною! Не надо, чтобы насъ видѣли!.. Пожалуйте меня.

— Велля, ты ждешь его?—рѣшился я сдѣлать ей послѣдній вопросъ.

— Да!—призналась она черезъ силу.—Да, я жду его, онъ долженъ придти сюда... Поэтому... уйдите отсюда... умоляю васъ!

Дружески и просто пожавъ ей руку, я поспѣшилъ удалиться смущенный этой неожиданной встрѣчей и огуманенный грустью за горе бѣдной еврейки.

XI.

Разгадка.

Шесть недѣль «травы» прошли быстро, почти незамѣтно. Съ 15-го іюля начинался общій сборъ, или—такъ называемый у насъ—осенній кампанентъ; поэтому 14-го числа нашему эскадрону надлежало покинуть Ильиновскія вѣси и дебри.

Всѣ послѣдніе дни, начиная съ 9-го или 10-го іюля, жара стояла убійственная, такъ что даже и густая, почти непроницаемая тѣнь подъ лѣсными великанами не давала живительной прохлады. Въ раскаленномъ воздухѣ не чувствовалось ни малѣйшаго вѣтерка, и если, бывало, взглянешь въ даль, за озеро, то ясно можешь наблюдать какое-то серебристое рѣяніе и дрожащую струистость этого воздуха, что особенно становится замѣтнымъ на сѣроватомъ фонѣ отдаленныхъ сельскихъ построекъ. По стволамъ сосенъ сочились растопленная солнцемъ растительная смола, а въ самомъ лѣсу стоялъ такой сильный, такой густой, распаренный запахъ сосны и ели, что, пробывъ въ этой атмосферѣ около получаса, начинаешь уже чувствовать въ груди и въ головѣ какую-то наркотическую тяжесть.

Въ такую жару даже и не тянетъ на воздухъ. Выглянешь черезъ силу на крылечко: все какъ-то пригнетено, замерло, затаилось и дремлетъ... Изрѣдка развѣ, по какой-либо вуждѣ, пройдетъ по двору разстегнутый солдатикъ такой размазанной, тяжелой походкой, или понуро лѣниво пробредетъ кудластая собака, высунувъ языкъ; а куры забрались въ тѣнь подъ стѣнной сарай и, для лучшей прохлады, по-вырывали себѣ въ землѣ ямки и сидятъ въ нихъ неподвижно, не подавая голоса... Жарко, скучно... одолеваетъ лѣнь, и сонливость... Ни за что не можешь взяться, ничего не хочется дѣлать—ни читать, ни думать: и мысль, и тѣло подавлены тупой тяжестью. А солнце между тѣмъ все льетъ и льетъ съ безоблачнаго, но какого-то бѣлесоватаго неба потоки знойныхъ лучей, которые до того накаляютъ почву, что если выйти на солнцепекъ и постоять на пескѣ всего лишь нѣсколько секундъ, то ступня замѣтно становится жарко даже сквозь толстую кожаную подошву. Только въ комнатѣ и можно еще кое-какъ дышать, да и то не иначе, какъ съ плотно закрытыми ставнями.

Даже вечера и ночи не приносили съ собой прохлады: въ недвижномъ воздухѣ все-таки стояла страшная духота. Но такъ какъ все же это было единственное время, когда являлась нѣкоторая возможность отдохнуть отъ несносныхъ знойныхъ лучей, то мы и старались пользоваться имъ какъ можно больше, чуть лишь послѣдніе отблески багрового свѣта померкнуть

на верушкахъ пущенскихъ сосенъ. Въ томъ краѣ сумерки бываютъ непродолжительны, и какъ только солнце скроется за горизонтомъ, причудливо озаривъ на прощанье отдаленныя, низкія облака перламутровыми переливами золотого, розоваго и фіолетоваго цвѣта, ночная тьма быстро начинаетъ окутывать землю. Въ этотъ часъ, изнемогшіе отъ дневного жара, мы, всей нашей компаніей, выходили посидѣть часа два-три на крылечкѣ, побесѣдовать за стаканомъ чая и подышать хотя и душнымъ, но все же не столь убійственно знойнымъ воздухомъ. Наступала ночь; въ травѣ подымался неумолкаемый, непрерывный трескъ кузнечиковъ; ящери и жабы выползали на дорожку; летучія мыши начинали черкать воздушные зигзаги неуклюжимъ полетомъ своихъ острыхъ крыльевъ; мѣдно-красный, почти кроваво-багровый мѣсяцъ показывался въ туманно-тусклой знойной мглѣ надъ чертой темно-сизаго горизонта и, недолгое время низко проплывъ надъ землей, снова скрывался за той же чертой. Въ эту пору вдалека можно было любоваться красивыми зарницами, которые то тамъ, то здѣсь безпрестанно вспыхивали трепетнымъ огнемъ на отдаленныхъ окраинахъ неба и бороздили его въ разныхъ направленіяхъ излучистыми огненными змѣйками. Невольно такъ и вспоминались эти чудные стихи Тютчева:

Неостывшая отъ зною
Ночь іюльская блистала,
И надъ тусклою землею
Небо, полное грозой,
Отъ зарницъ все трепетало.
Словно тяжкія рѣсницы,
Разверзались порою,
И сквозь бѣглыя зарницы
Чьи-то грозныя зѣнницы
Загорались надъ землею...

Но эти «грозныя зѣнницы», чаруя взоръ великолѣпнымъ своей гнѣвной игры, невольно наводили на роппущую мысль, что есть же гдѣ-то такія богатныя палестины, гдѣ въ эту самую минуту рокочетъ громъ и шумитъ обильный ливень, неся съ собою жаждущей землѣ освѣжающую прохладу, тогда какъ у насъ...

— Господи! хоть бы гроза! хоть бы на мгновеніе грянулъ громъ и прыснулъ дождикъ!—неоднократно повторялъ каждый изъ насъ, маясь въ эти душныя ночи. А благодушный майоръ все увѣрялъ и даже предлагалъ пари держать, что завтра—«ну вотъ ужъ завтра, посмотрите, навѣрное будетъ вамъ гроза, и громъ, и ливень такой, что не землѣ, а небу жарко станетъ!»

Но увы! пророчеству майора суждено было сбыться не завтра и не послѣ завтра, а какъ разъ въ то время, когда намъ нужно было выступить изъ Ильинова.

Не желая напрасно мучить людей и лошадей томительнымъ и довольно длиннымъ переходомъ подъ полуденнымъ зноемъ, нашъ эскад-

ронный командир порѣшилъ выступить изъ Ильянова около полуночи, чтобы подъ утро успѣть прибыть въ подгородную деревню Каплицы, гдѣ на время осенняго кампанента намъ были назначены квартиры.

Вещи наши мы уложили и отправили на подводу еще съ послѣ-обѣда, а сами, такъ сказать, налегкѣ остались дожидаться ночи.

Часу въ одиннадцатомъ, поужинавъ остатками холодной говядины и распивъ послѣднюю бутылку вина изъ своего «травяного» запаса, мы одѣлись по-походному и вышли на дворъ, гдѣ рейткнехты ожидали уже съ конями. Немногіе изъ замѣшкавшихся солдатъ выводили послѣднихъ лошадей изъ конюшенъ и пристраивались ко своимъ взводамъ, фронтомъ къ дорогѣ. Вахмистръ наскоро отдавалъ какія-то послѣднія распоряженія.

— Садись!

Люди зашевелились, залазгали сабли, затронули копыта, но менѣе чѣмъ въ минуту эскадронъ стоялъ уже фронтомъ, какъ вкопанный.

— Пѣсенники впередъ!

— Такъ-то все же веселѣе будетъ идти ночью!—съ улыбкой обратясь съ намъ, пояснилъ майоръ свое послѣднее распоряженіе.

— Направо маршъ!.. Прямо—шагомъ!..

И масса вороного эскадрона, словно бы рядъ темныхъ тѣней, тихо и плавно тронулась съ мѣста. Черезъ минуту запаленныя трубки-носогрѣйки, будто свѣтляки, то тамъ, то здѣсь мигали по рядамъ красно-огненными точками.

Воздухъ былъ насыщенъ электричествомъ. Густыя массы свинцово-сѣрыхъ и бурыхъ облаковъ еще въ началѣ десятаго часа медленно и грозно начали надвигаться съ юго-запада, захватывая все шире и дальше пространство синяго неба, а теперь онѣ нахлобучились надъ лѣсомъ въ-сплошную и замѣтно клубились одна надъ другими въ своихъ причудливыхъ, гигантскихъ очертаніяхъ.

Мы шли узкой лѣсной дорогой. Офицеры отдѣлились впередъ отъ эскадрона и тихо разговаривали между собой.

Вдругъ ослѣпительно вспыхнула молнія зеленовато-бѣлымъ огнемъ и вслѣдъ за ней, почти безъ промежутка во времени, грянулъ трескучій ударъ грома. Лѣсное эхо въ безконечныхъ, рокошующихъ раскатахъ понесло его по пространствамъ пуши и надъ озерами. Громъ въ пространномъ лѣсу — это нѣчто совсѣмъ особенное, что трудно передать человѣку, который не былъ самъ свидѣтелемъ такого поэтического и грандіознаго явленія.

— Ого, гроза, кажись, какъ разъ надъ головой! — здравъ кверху лицо и ни къ кому собственно не обращаясь, замѣтилъ юнкеръ Ножинъ.

— Ну, вотъ вамъ и дождались, наконецъ!—весело сказалъ на это майоръ.—Опустить пи-

ки! — крикнулъ онъ, оборотаясь къ эскадрону.—Остріемъ ниже къ землѣ держи!.. Не распускать коней, ребята! держи въ поводу хорошенько! Оглаживай лючаще, чтобы не пугались!

Вахмистръ осадилъ коня и, свернувъ нѣсколько въ сторону, сталъ пропускать мимо себя ряды, наблюдал, толково ли исполняютъ люди только-что отданныя приказанія. Но эскадронъ насчетъ толковости и дисциплины — не хвалился сказать — былъ у насъ образцовый.

Снова черкнула по небу молнія и снова зарокотали по лѣсу громовые раскаты, но дождя еще не было. Мы жадно ждали его первыхъ живительныхъ капель. Лѣсъ, какъ мертвый, стоялъ недвижно и таинственно. Послѣ вторичной молніи, черезъ нѣсколько мгновений сверкнула третья, четвертая; а тамъ еще и еще — и вотъ, вскорѣ все небо затрепетало почти непрерывными огнями, которые вспыхивали то тамъ, то здѣсь, то одновременно въ разныхъ концахъ небосклона, такъ что не успѣвала потухать молнія, какъ уже новый раздражающій свѣтъ озарилъ всю окрестность. Затѣмъ—снова мракъ, который отъ этихъ рѣзкихъ и быстрыхъ переходовъ къ ослѣпительному свѣту, казался еще гуще, еще темнѣе и непрогляднѣе. Были мгновенья, когда въ теченіе двухъ и даже трехъ секундъ все небо пылало непрерывнымъ свѣтомъ, и что за дивные оттѣнки представляли тогда эти прихотливо клубящіеся массы облаковъ! Въ эти мгновенья вполне ясно и отчетливо можно было различать и общую картину неба, и всѣ окружающіе предметы, и нашъ путь, озаряемый на далекое разстояніе. Но ни единая капля дождя все еще не падала на землю. Это была сухая гроза—одна изъ самыхъ страшныхъ, когда-либо виданныхъ мною въ жизни. Гроза, соединенная съ ливнемъ, который сразу вноситъ съ собой въ природу освѣжающее начало, дѣйствуетъ на нервы въ несравненно меньшей степени, да при томъ и не на всякіе нервы; но при грозѣ сухой, когда сумма электричества, разлитого въ отягченномъ воздухѣ, достигаетъ своего maximum'a, оно вліяетъ и на душу, и на физическій организмъ угнетающимъ образомъ: вы чувствуете какую-то безотчетную тоску и томленіе, вы испытываете даже безсильную, жалкую злобу червяка предъ этой слѣпой стихійной силой, которая каждое мгновенье можетъ васъ раздавить, уничтожить, тогда какъ при другихъ условіяхъ вы повелѣваете надъ ней вашей разумной волей, подчиняя ее силѣ науки; но здѣсь, въ данномъ положеніи, вы беззащитны, вы ничтожны предъ ней,—здѣсь уже не вы надъ ней, а она, эта стихійная сила, царитъ надъ вами. Люди, неоднократно лицомъ къ лицу видавшіе смерть въ сраженіяхъ, сравниваютъ (и, какъ мнѣ кажется, учены удачно) впечатлѣніе, производимое сухой

грозою, раздражающеюся не вдали, а прямо надъ головою, — съ впечатлѣніями пассивнаго боя, когда вы безмолвно и неподвижно стоите подъ пулями и гранатами, служа мишенью для непріятеля, а сами межъ тѣмъ не стрѣляете, не имѣете возможности развлечь вниманіе чѣмъ-нибудь постороннимъ и остаетесь въ неизвестности — прикажутъ ли вамъ, наконецъ, броситься въ отчаянную атаку, которая въ эту минуту кажется вамъ блаженнымъ и желаемымъ раемъ, сравнительно съ угнетающимъ адомъ пассивнаго боя.

Вдругъ, въ одно изъ тѣхъ мгновеній, когда трепетныя молніи, словно бы раздирая небо въ разныхъ концахъ, непрерывно поддерживали свѣтъ на двѣ, на три секунды, мы замѣтили направо, въ двухъ шагахъ отъ насъ и около самой дороги обнявшуюся пару — мужчину и женщину, которые сидѣли подѣ густо-лиственнымъ раскидистымъ деревомъ.

— Велля! — почти въ одинъ голосъ воскликнули и я, и Ножинъ.

— Ба! да и панъ органиста съ нею!.. — громко сказалъ майоръ, въ немаломъ изумленіи отъ такой неожиданности.

Настало мгновеніе полнаго мрака, а затѣмъ опять вспыхнула молнія, подѣ деревомъ никого уже не было. Придержавъ коня и вглядываясь въ ближайшую окрестность, я, при одной изъ слѣдующихъ вспышекъ, не безъ труда могъ смутно различить, какъ въ глубинѣ лѣса убѣгали два человѣческіе призрака. По крайней мѣрѣ, въ эту минуту, при неровномъ и фантастическомъ освѣщеніи молніи, они казались скорѣе призраками, чѣмъ людьми; но первое мгновеніе, озарившее ихъ слишкомъ ясно и близко отъ насъ, и при томъ съ достаточною продолжительностью, чтобы позволить разглядѣть ихъ положительнымъ образомъ, — не оставляло ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что это были точно Велля съ органистомъ.

— Вишь ты, панъ добродѣй! — добродушно смѣясь и покачивая головой, проговорилъ майоръ. — Удачно выбралъ мѣсто и время для любовныхъ свиданій!

— Органистъ и Велля! — да что жъ это, господа, такое?! — все еще не совсѣмъ-то приходя въ себя, пожалъ плечами Апроня.

— Ты хочешь знать, что это такое? — съ невольной усмѣшкой обратился я къ моему сожителю. — Это разгадка Ильиновской легенды.

Вскорѣ послышался глухой, но все болѣе приближающійся шумъ, и вслѣдъ затѣмъ порывистый вихрь налетѣлъ на деревья, которые загудѣли и закачались подѣ его неистовымъ напоромъ. Въ лѣсу раздавался трескъ ломающихся вѣтвей и тяжелый скрипъ нагнетаемыхъ сосенъ, похожій иногда на старческое крихтѣнье, а иногда переходящій въ чисто человѣческіе, протяжные стоны. Еще минута, другая — и

дождь хлынулъ, какъ изъ ведра, вмѣстѣ съ громомъ и бурей.

— Фу!.. Слава Тебѣ, Господи! Наконецъ-то освѣжать начинается! — обнаживъ голову, проговорилъ Апроня съ облегченнымъ полнымъ вздохомъ, который просто съ наслажденіемъ вырвался на волю изъ его широкой, богатырской груди.

— Ну-тка, ребята, кто кого перешумить — вы ли бурю, или она васъ? — весело вызывающимъ тономъ обратился майоръ къ пѣсенникамъ — и въ ту же минуту, на речитативный вопросъ голосстаго запѣвалы, который допытывалъ «солдатушекъ-ребятушекъ» гдѣ жъ, молъ, ваши дѣды — дружный хоръ молодецкихъ голосовъ, вмѣстѣ съ громомъ и бурей, отгрянулъ ему:

Наши дѣды — старыя победы!
Вотъ гдѣ наши дѣды!

Когда подѣ утро мы пришли въ Каплицы, на насъ, буквально, нитки сухой не было. Вода хлюпала въ высокихъ сапогахъ, и вся одежда, начиная съ кители и до сорочки, была грузно отягощена впитанною въ нее дождевою влагою.

XII.

Послѣдняя встрѣча.

Недѣли двѣ спустя, я проходилъ, въ базарный день, по гродненской площади, направляясь въ клубъ обѣдать. Вдругъ чувствую изъ-за плеча, что кто-то опережаетъ меня, почти касаясь моего локтя, и слышу чей-то знакомый, хриплый и ласковый голосъ.

— Здрастуйте вамъ!.. здрастуйте вамъ, гасшпидинъ сперучникъ! коггда-жъ ви не взнали мене?

Оборачиваясь, гляжу — ба! достопочтенный ребѣ Гершко Гершуна! Тебя ли это я вижу?!

— Я сшами, я сшами, въ моемъ властнемъ персону!.. Н-ну, и какъ же-жъ васъ Богхъ милуе?

— Ничего, слава Богу, скверно.

— Ой, ф-фэ! сшто ви говоріють!

— Ну, а тебя какъ?

— Мине? Хвала Богху, мине отчинъ даволна гхарасшьо! И Богхъ мине балшово радосшту пайсшлалъ... Коггда-жъ ви не зжнать? — Я маво лцурке, маво Вельке замужъ видамъ!

— Ой-ли?.. За кого же? За Орель Бублика?

— Ну, то такъ естѣ! За Орель Бубликъ! за оятъ сшами! — А ви скудова зжнать?!

— Слухомъ земля полинится.

— Такъ, такъ, сшлюгхомъ по жземлю... Ну, и гхаросшій партый падайшолъ. И я для тѣго на гхородъ періѣгхалъ, зжеби пакупиць подарункевъ и розмайтыхъ перипасовъ на веселью¹⁾.

— И что же, женихъ-то богатый?

— Уй, якій бегхаты! Уй-уй!.. Дай Богхъ.

¹⁾ Подарковъ и разныхъ припасовъ на свадьбу.

какъ я билъ таки ждарови, якъ онъ бегхаты! Съ гхаросшаго дому, бо его папыныке сшаво заѣдна корчма мае на Каміонку, и гхаросши гандель крутить! Тамъ не то сшто ув'наспѣ на Ильяново: тамъ другой интѣресъ!

— Ну, отъ души тебѣ поздравляю!.. Кланыйся Веллѣи пожелай ей отъ меня всякаго счастья!

— Ой, благодарю вамъ! благодарю вамъ, гашспидинъ сперучникъ, на васшемъ сшловѣ ласкавемъ! — забормоталъ ребѣ Гершко со своими обычными многочисленными поклонами — и мы разстались.

* * *

Прошло четыре года. Отрядъ нашъ былъ выведенъ на маневры по виленской дорогѣ, верстъ за пятьдесятъ отъ Гродны. На второй или на третій день маневровъ авангардъ нашей стороны, наступая на противника, занялъ мѣстечко Каменку, гдѣ и веллѣно было ему расположиться на дневку. Нашъ эскадронъ входилъ въ составъ авангарда, и потому вполне понятно, что мы, въ лицѣ своего разъѣзда, первые вступая въ мѣстечко, сейчасъ же отмежевали себѣ, такъ сказать, львиную долю, т. е. заняли лучшее мѣсто на площади подѣ бивуакъ эскадрона и лучшую корчму подѣ постой своихъ офицеровъ. Корчма эта стояла на той же площади.

Освободясь отъ пыли, пота и гризи, которыми въ изобиліи вознаграждены мы были за горячія движенія этого дня, умывшись холодною водою и освѣживъ на себѣ бѣлье, мы съ наслажденіемъ растянулись въ повалку на ворохѣ душистаго сѣна, въ ожиданіи чая и закуски. Одинъ только Апроня все еще не угомонился, возясь и хлопоча о чемъ-то на дворѣ около нашей подводы, гдѣ онъ отдавалъ какія-то распоряженія своему «взводному», пушилъ фурумана, приказывалъ что-то денщикамъ и велъ о чемъ-то переговоры съ хозяиномъ корчмы, съ кузнецомъ и съ мѣстнымъ факторомъ.

Но, наконецъ, и онъ ввалился въ комнату, съ довольнымъ и размазаннымъ видомъ чело-вѣка, который хотя и чувствуетъ себя очень усталымъ, но въ то же время удовлетворенъ сознаніемъ, что онъ исполнилъ все, къ чему былъ призванъ, все, что отъ него требовалось, и что было ему положено — однимъ словомъ, разсудилъ, разрядилъ, ввунилъ, обругалъ кого слѣдъ, распорядился, всѣмъ озаботился и можетъ теперь съ чистою совѣстью опочить на лаврахъ, то бишь... на сѣнѣ.

— А знаете, господа, вѣдь здѣсь наша старая знакомая есть? — объявилъ онъ, скидая съ себя всю амуницію, вмѣстѣ съ запыленнымъ кителемъ.

— Кто такая? — лѣниво повернулъ я къ нему мою голову.

— Мадамъ Бубликъ.

— Что — за Бубликъ такой? — отозвался майоръ, — никакого Бублика не знаю.

— Господи Боже мой, да Веллѣ! Помните Веллѣ Гершуна — нашу Юдию Ильиновскую?

— Ба!.. Веллѣ?.. Какъ же помнить!.. Да какими жъ она здѣсь судьбами?

— Замужъ за гашспидинъ Бубликъ, — передразнивая жидовскій акцентъ, пояснилъ майору Апроня, — и посммотрите списжалуста, сшто за гхаросши мадамъ зъ негхо вѣйшла! Ой-вай!

Любопытство провозмозгло усталость. Я не могъ отказать себѣ въ удовольствіи повидаться съ милой Веллѣй, въ прошлый романъ которой, благодаря извѣстной уже случайности, я былъ посвященъ болѣе всѣхъ моихъ товарищей. Я хотѣлъ поскорѣе взглянуть на старую свою знакомку, на эту чудную библейскую красавицу, образъ которой если и рисовался изрѣдка моему воображенію, то не иначе, какъ въ той поэтической обстановкѣ, въ какой я помню ее въ дѣсу, въ два ночные момента — на Ивана-Купала и подѣ сухой грозой.

Но, Боже мой, что-жъ это такое?

Я рѣшительно не узналъ ее съ перваго взгляда. Гдѣ же Веллѣ? Гдѣ она — эта страстно очерченная, своеобразно-граціозная, гибкая и сильная фигура азіатской балдерки съ головой и взоромъ Юдины!..

Предо мной стояла раздобрѣвшая и уже нѣсколько обрюзгая, апатичная жидовка въ парикѣ, изъ-подъ котораго болтались въ ушахъ длинныя серебряныя сережки съ фальшивыми камнями, а надѣ парикомъ возвышался скотканый чепецъ съ бантами изъ замасленныхъ лентъ. Поблеклое лицо ея, покрытое какими-то желтыми пятнами и веснушками, не сохранило даже и тѣни прежней красоты и не выражало ничего, кромѣ апатіи; большіе же глаза, если и загорались порою, то уже не огнемъ поэтической страсти, а только безпокойствомъ за барышъ, только суетно-мелочною жадностью хозяйки-скопидомки. Въ четыре года супружества она умудрилась наплодить пять чело-вѣкъ дѣтей, изъ которыхъ послѣдніе были двойни. Богъ Авраама, Исаака и Иакова, очевидно, благословилъ ее плодородіемъ пра-матери Лен. Супругъ ея — гашспидинъ Орель Бубликъ, находившійся подѣ деспотическимъ началомъ своего отца, предсталъ предѣ нами въ образѣ рыженькаго, тщедушнаго еврейчика, который всѣмъ смысломъ фигурки своей являлъ полнѣйшее ничтожество и былъ замѣчательнъ только тѣмъ, что слылъ между мѣстнымъ еврейскимъ населеніемъ за чело-вѣка очень набожнаго.

Веллѣ — чудная, поэтическая Веллѣ — въ грязномъ, пахучемъ образѣ обыкновенной «мадамъ», обыкновенной жидовки, какихъ вы тысячами встрѣчаете по городамъ и мѣстечкамъ Западнаго края, — кто изъ насъ могъ бы четыре года тому назадъ вообразить себѣ подобную метаморфозу!..

«Просто оскорбительно!» вспомнилось мнѣ при этомъ выраженіе юнкера Ножина.

О б л а в а н а у т о к ъ.

Рано утромъ нашъ панъ Буткевичъ разбудилъ меня. Самый сладкій сонъ смежалъ мои вѣки, когда подъ окномъ раздался энергическій стукъ въ раму, и показалась курчавая голова пана, съ засматривающимъ, улыбающимся лицомъ и съ плотно приплюснутымъ къ стеклу мясистымъ носомъ, отчего на самомъ кончикѣ этого носа образовалось преуморительное плоское, бѣлое пятнышко въ гривенникъ величину.

— А ну-те бо! вставайте, коли хотите ѣхать! — раздался изъ-за окна голосъ пана Буткевича. — Божьи птицы вже давно спаваютъ и качки ¹⁾ ждутъ насъ, а вы усе еще спочиваете! Вставайте ко, вставайте!

Я живо вскочилъ съ теплой постели и растворилъ окошко.

Свѣжій утренній холодокъ сразу обвѣялъ мнѣ все лицо и отозвался бодрящею дрожью въ тѣлѣ.

Солнце только еще подымалось, и низкіе, косые лучи его въ легкомъ золотисто-розоватомъ туманѣ пробивались между стволами и просвѣтами деревьевъ, яркими косиками ложились по росистой лужайкѣ, попережку съ длинною тѣнью древесныхъ стволовъ, и безчисленными блестками дробились въ жемчужныхъ капляхъ росы, обильно покрывавшей траву, вѣтви калины, листья кукурузы и яркія махровыя шапки маку, которыми сплошь были испещрены клумбы и грядки запущеннаго палисадника. Птицы весело, громко и оживленно щебетали, перепархивая и путаясь въ густыхъ вѣтвяхъ высокихъ, раскидистыхъ деревьевъ. Пискливые утята, то и дѣло шлепаясь желтоватымъ брюшкомъ, на нетвердыхъ еще лапкахъ въ-перевалку пробирались слѣдомъ за утицей по густой травѣ къ небольшой сажалкѣ. Гуси гоготали и пронзительно звонко вскрикивали, красивыми взмахами расправляя крылья. Длинноногія аисты только-что отлетѣли на болото за добычей. Уланы вели коней на водопой, то мелькая съ ними на солнцѣ, то заслоняясь тѣнью, между густою зеленью. Бодрые кони шли тротомъ, рѣзво играли и фыркали. Утро вставало свѣтлое, свѣжее, бодрое. Прелестъ, что-за утро!

— Э, далъ Богъ погоду! — замѣтилъ панъ Буткевичъ. — Надо такъ думать, добре полеванье ²⁾ задастся, але-жъ и жарко будетъ—ой, какъ жарко!

— Влѣзайте въ окно, — предложилъ я пану.

— Нѣ, я и такъ постою... И такъ побалакаемъ! Вы только поскорѣйшъ!

— У меня живо!.. Бочаровъ! одѣваться!

Проворный вѣстовой, по обыкновенію поднявшійся съ пѣтухами, не заставилъ повторять себѣ приказанія. Салогі, умывальникъ, кипящій самоваръ съ чайникомъ—все это явилось у него почти разомъ. Пока я одѣвался, панъ Буткевичъ вкусно прихлебывалъ чай изъ стакана, поданнаго ему на подоконникъ.

— Не хотите ли водки на дорожку?—предложилъ я ему.

— Э, нѣтъ, благодарю вамъ, — отказался онъ, — бо у мене вже такой шпородокъ: какъ чай, то не водка, а какъ водка, то не чай. А мы зъ вами какъ прїедемъ вже до мѣста, то тогда по началу хватимъ по килишку и закусимъ. Жонка мнѣ вже й закуску спрепаровала; только звыните—закуска такъ-себѣ, простая, по-гультайску, по-охотницку. Ну, вы вже готовы?

— Какъ видите.

— Ну, то ѣдьте! А то чѣ даромъ время тратить!.. Ёдымы!.. Помогай Боже!

Мы съ ружьями усѣлись въ легонькую повозку, панъ Буткевичъ подобралъ вожжи — и сытая, рыжая лошадка повезла насъ бойкою рысью по лѣсной дорогѣ. Пара сетеровъ рыскали и швырялись по сторонамъ, то и дѣло исчеза въ кустахъ и звонкимъ, веселымъ лаемъ оглашая лѣсную чащу.

* * *

Это было въ серединѣ іюля, въ то самое время, когда эскадроны отдыхаютъ «на травѣ». Нашъ эскадронъ обыкновенно уходитъ «на траву» въ Ильяново, верстъ около двадцати трехъ отъ Гродны. Это—усадьба, брошенная въ староросломъ лѣсу, почти на самомъ берегу обширнаго Рыбницкаго озера среди прекрасной мѣстности.

Панъ Буткевичъ — управляющій Ильяновской усадьбою — страстный охотникъ, милый человекъ и, конечно, «родовиты шляхтиць», въ которомъ, однако, замѣчательна черта, въ высшей степени рѣдкая въ шляхтичѣ: отсутствіе всякой кичливости своимъ шляхетскимъ достоинствомъ.

Мы направлялись теперь въ мѣстечко Езѣры, чтобы тамъ соединиться съ партіей охотниковъ и ѣхать далѣе за Бѣлое озеро, къ сборному пункту охоты.

Въ Гродненской губерніи есть три лѣсныя пущи, которыя своими вѣковыми зарослями

¹⁾ Утки.

²⁾ Охота.

приближаются къ дикому и глухому характеру первобытныхъ лѣсовъ. Въ центрѣ губерніи лежить самая важная и самая обширная изъ нихъ—пуца Бѣловѣжская, на югѣ—Рудская и на сѣверѣ—пуца Гродненская. Эта послѣдняя, въ нѣдрахъ которой мы находились въ данную минуту, заключаетъ въ себѣ 97,000 десятинъ и покрываетъ болѣе $\frac{1}{4}$ территории Гродненскаго уѣзда. Сосна является первенствующей породой во всѣхъ трехъ пуцахъ. Но по болѣе влажнымъ и наземистымъ мѣстамъ вы встрѣтите кудрявую и разнородную растительность, гдѣ грабъ и осина, береза и ясень, дубъ и вязъ, илимъ и чернокленъ мѣшаются между собою мягкими оттѣнками своей разнообразной зелени.

Песчано-каменистая почва возвышенностей способствуетъ произрастанію сосны и, отчасти, ели; низменные же долины, залегающія между волнистыми выступами этихъ возвышенностей, представляютъ собою болотистый черноземъ, и на сихъ-то послѣднихъ мѣстахъ растетъ вся кудрявая краса Гродненской пуцы, которая наполнена болотами въ особенности въ сѣверо-восточномъ и южномъ концахъ своихъ. Эти болота, составляющія цѣлую группу въ сѣверной части губерніи, занимаютъ до трехсотъ квадратныхъ верстъ пространства и связаны между собою почти непрерывною цѣпью. Изъ нихъ, напримѣръ, Рыбницкое и Соболево тянутся на 15 верстъ въ длину и на 8 въ ширину; Святое болото тоже въ 15 верстъ длины, при ширинѣ въ 6 верстъ; Берштанское—въ 12 верстъ длиною и 8 шириною. Всѣ они покрыты мѣстами лѣсомъ Гродненской пуцы, которая только въ западной своей части, по берегу Нѣмана, почти сплошь представляетъ сухую и песчаную почву; мѣстами же заросли густымъ, непродорваннымъ кустарникомъ; часто бываютъ совсѣмъ непроходимы, и только по нѣкоторымъ изъ нихъ пролегаютъ узенькія тропинки, съ трудомъ доступныя пѣшеходу. Изъ этихъ болотъ берутъ свое начало множество рѣчекъ и ручейковъ, вливающихся въ сплавную рѣку Котру или въ притокъ ея—Пырру. Обиліе торфа и желѣзной руды (отчего, между прочимъ, многія деревни, лежащія въ желѣзисто-болотистыхъ мѣстностяхъ губерніи, называются *Руднями*) составляетъ естественное, но совсѣмъ неразработываемое богатство этихъ болотъ.

Второю характерною особенностью Гродненской пуцы является длинный рядъ лѣсныхъ озеръ, которыя всей группой принадлежатъ системѣ Пырры и Котры. Она соединяются между собою посредствомъ протоковъ и такимъ образомъ составляютъ непрерывную цѣпь, представляя продолговатыя фигуры, соответственно направленію рѣкъ, иногда расширяющіяся до трехъ верстъ, а иногда суживающіяся до двухъ-трехъ десятковъ сажень и даже менѣе. Грунтъ и берега этихъ озеръ мѣстами болотисты,

но большею частію довольно тверды и даже возвышенны. Самое большое изъ нихъ—Бѣлое, въ 12 верстъ длиною, посредствомъ протока Хомуты соединяется съ небольшимъ озеромъ Млотовымъ, а то, въ свою очередь, съ Запурьемъ и Лотомъ; изъ этого же послѣдняго беретъ начало свое очень быстрая и студеная рѣчка Ратничанка, вливающаяся въ Нѣманъ около Друскеникъ и извѣстная цѣлительными свойствами своихъ струй, купанье въ которыхъ дѣйствуетъ укрѣпляющимъ образомъ на нервы. Неподалеку отъ озера Запурье, нѣсколько лѣсныхъ болотистыхъ ручьевъ сливаются во-едино и образуютъ длинный, около 15-ти верстъ, притокъ Кальнипу, который, въ видѣ узкаго озера, отъ 2-хъ до 1-ой версты шириною, вливается въ озеро Каганъ, являющееся, впрочемъ, скорѣе заливомъ озера Бѣлаго; это же послѣднее сливается съ Рыбницкимъ, или Рыбнипей, дающимъ начало рѣчкѣ Пыррѣ, которая, какъ уже сказано, впадаетъ въ Котру, а Котра въ Нѣманъ, и такимъ образомъ все это пространство, окаймленное рядомъ озеръ, дающихъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ начало рѣчкамъ Ратничанкѣ и Пыррѣ, представляетъ собой обширный островъ, въ которомъ съ одной стороны въ крайнемъ пунктѣ лежатъ Друскеники, а съ другой, близъ устья Котры—деревня Комотова. Кромѣ этой водной дѣли, въ сѣверо-восточной части Гродненской пуцы лежитъ озеро Берштанское, соединяющееся съ Котрой, а нѣсколько болѣе на сѣверѣ, въ видѣ широкаго протока—озеро Грудъ. Но все это составляетъ только сѣтъ главныхъ водовмѣстителей Гродненской пуцы. Пространства же обширныхъ болотъ между Пыррой и Котрой также усыяны озерами, какъ напримѣръ: Чортовымъ, Лебединымъ, Долгимъ, Гильдомъ, Щучьимъ и другими. Берега ихъ толки, лѣсисты, а дно переполнено иломъ и тиной. Всѣ эти лѣсныя озера изобилуютъ рыбой, а въ особенности Рыбница и Каганъ, гдѣ ловятся язи, судаки, окуни, налимы, карпы и угри, не говоря уже о карасяхъ, пикаряхъ, вьюнахъ, ершахъ и прочей мелкой рыбицѣ. Въ прежніе годы они давали добрый уловъ пѣвковъ, но въ зиму 1840 года пѣвки почти всѣ вымерзли, и съ тѣхъ поръ этотъ прибыльный промыселъ прекратился. Все это обширное пространство лѣсныхъ озеръ называется Озернымъ или Езерно, а потому и главный населенный пунктъ его—мѣстечко, принадлежавшее до 1863 года помѣщику Валицкому, носить то же самое характеристичное имя—Езэры. Но въ равной степени съ богатствомъ рыбнаго царства, эти мѣста богаты и дичью. Не говоря уже о дикихъ животныхъ—о волкахъ, на которыхъ тутъ нѣсколько разъ въ году устраиваются большія облавы, не говоря о лисицахъ, сернахъ и зайцахъ, здѣсь есть чѣмъ поживиться и охотнику на птицу: вальдшнепы, дупеля, бекасы, кулики,

водяныя курочки, камышники, различные виды коростелей, а главное—дикия утки, за которыми, собственно, и поднял меня въ нынѣшнее утро панъ Буткевичъ—находить себѣ привольные притоны по всѣмъ этимъ болотамъ и озерамъ. Но опытные езерскіе охотники говорятъ, будто, по многолѣтнимъ своимъ наблюденіямъ, они замѣчаютъ, что, несмотря на приволье здѣшнихъ мѣстъ для птицы, она въ нихъ не держится равномерно. Иной годъ озера кишмя кишатъ пернатыми обитателями, а на слѣдующее лѣто оказывается ихъ очень мало; потомъ черезъ годъ, а то и черезъ два налетаютъ снова въ прежнемъ изобиліи — и такъ это повторяется периодически. Замѣчаніе свое езерскіе охотники относятъ преимущественно къ уткамъ, такъ какъ промысловая охота, существующая по берегамъ луцкихъ озеръ, направляется исключительно лишь на эту птицу. Кулики да дупеля представляютъ, по мнѣнію ихъ, одну лишь «забавку», а не дѣло, и ради «куличья» езерскіе охотники никогда не соберутъ «облаву».

* * *

— Вы никогда не полевали зъ облавой?—спросилъ меня панъ Буткевичъ.

— На звѣря случалось не однажды.

— Ну, а на качекъ?

— На качекъ, признаюсь, не доводилось, и даже не могу себѣ представить, что это за облава?

— А вотъ забачите! Это только и есть на Езерахъ, — пояснилъ Буткевичъ, — бо у насъ тутъ и самыя мѣста такія, что только зъ облавой можно. Коли вы никогда не видѣли, то этое для васъ будетъ любопытно.

— А вотъ посмотримъ!—промолвилъ я, стараясь вообразить себѣ заранѣе, что такое можетъ быть на самомъ дѣлѣ эта «облава на качекъ».

Между тѣмъ, мы прѣехали въ мѣстечко Езёры, гдѣ присоединилось къ намъ еще двое охотниковъ изъ мѣстныхъ обывателей; отставной кавказскій капитанъ панъ Людорацкій, бодрый, красноносый старикъ лѣтъ шестидесяти, и панъ «органысты» изъ езерскаго костела — молодой человѣкъ съ закрученными усиками, очевидно франтъ и сердцеѣдъ, что уже видно было изъ каждой его ухватки, изъ того, какъ кокетливо надѣта на бекрень его легонькая, и чуть ли не дамская, оломоленная шляпочка съ развѣвающимся голубой ленточкой, и какъ повязанъ его тоненькій розовый галстучекъ. Панъ Буткевичъ познакомилъ насъ, какъ будущихъ сотоварищей по охотѣ, — впрочемъ, съ паномъ-капитаномъ я былъ знакомъ уже раньше и предложилъ обоимъ мѣсто въ повозкѣ. Мы потѣснились. Людорацкій грузно бухнулся между нами въ середину, а панъ-органыста ловко вскочилъ на облучекъ, спиной къ лошади, свѣсилъ за бортъ одну ногу,

уперъ, избоченясь, руку въ ляжку; и вообще рисовался, стараясь держаться въ молодецки красивой и непринужденной позѣ и все время нагѣвая себѣ подъ носъ какой-то сантиментальный польскій романсикъ. Мы узнали отъ новыхъ нашихъ сотоварищей, что нѣсколько охотниковъ, еще гораздо раньше насъ, прѣехали уже къ сборному пункту, — поэтому и намъ нечего было мѣшкать. Лошадка снова тронулась своей бойкой рысцой.

— Гей! Сшто! сшто!—вдругъ раздался за нами отчаянный и громкій крикъ.—Пане Буткевичу!.. пане Буткевичу!.. проше затримаць!.. Почекайте трошечку... Едну хвилечку, пане! едну хвилечку!

Буткевичъ придержалъ лошадь.

Мы обернулись.—Что тамъ такое? Въ чемъ дѣло?

Смотримъ — дуетъ во всѣ лопатки еврей Блохъ, котораго зовутъ просто Блохой, и машетъ намъ обѣими руками.

— Пазжволте, спижалуста, и мнѣ зъ вами!—говорилъ онъ, снимая шапку и подбѣгая къ повозкѣ, весь запыхавшійся и красный.—Нехъ пахъ бѣндзе такій ласшкавий!.. Вазжмить и мине на полюваню! Спижалуста!..

— А-ле-жъ нѣтъ сѣсть гдѣ!—пожалъ плечами Буткевичъ.

— Увше равно!.. Для мнѣ то вништо рунне, муй ласшкавы пане!—жестикующа руками, убѣждалъ еврей.—Ми якъ нѣбудь такъ!.. Притулимсе, примостимсе избоку, аль-бо на задку... Я отъ какъ!—пояснилъ онъ, вдругъ вскакивая на задокъ телѣжки и утверждаясь ногами на задней оси, а руками ухватясь за верхній край спинки, отчего вся фигурка его выпятилась задомъ, распялилась и вообще приняла преуморительное положеніе.

— Але-жъ коняка потомитсе!—доказывалъ ему Буткевичъ.—Пять чловѣковъ—то вже за много будетъ! коняка не вытягнетъ!

— Нѣ, нѣ! я лѣхгки, я отчинъ давольно лѣхгки, я вмѣю въ спобѣ толки двадцать-пять хунты! сшто такого для гхороснаго киняку двадцать-пять хунты?!—Н-ну?!. Дали Бухгъ такъ... Цовѣрю!

— Ну его до дзйбла! нехай ѣдзе!—попросилъ за него капитанъ Людорацкій—и благодаря его ходатайству, Блоха остался на задкѣ въ своемъ распяленномъ положеніи.

— И ты тоже, Блоха, на охоту?—спросилъ я его.

— А то жъ нѣтъ, гашпидинъ спиручникъ?—съ чувствомъ собственного достоинства возразилъ онъ мнѣ.—Хяба жъ ви не бачитю?—Я изъ ружо-омъ! цѣла хфудзея за плечима! Ой, я балшой агхотникъ! Отчинъ балшой!

Всѣ, кромѣ меня, засмѣялись, слушая эту похвальбу. Я же разглядывалъ новаго нашего спутника. Я зналъ о Блохѣ только одно, что онъ — плутъ величайшей руки, потому что

ухитрился одному из моих однополчанъ-товарищей, стоявшему у него на квартирѣ, за шесть недѣль «травы» представить счетъ за-бреннымъ у него въ лавкѣ и въ заѣздномъ домѣ продуктамъ, по которому приходилось уплатить за одни только миндальныя печенья, иногда подаваемые къ чаю—какъ вы думаете сколько?—ни болѣе, ни менѣе, какъ семьдесятъ пять рублей серебромъ!!! — Одинъ уже этотъ счетъ служилъ лучшей рекомендаціей индустриальнымъ способностямъ «гасшидина Блоха». Въ настоящую минуту у него за плечами висѣлъ старинный мушкетонъ, съ дуломъ, которое къ концу шло широкимъ раструбомъ, а самъ Блоха былъ препоясанъ ремнемъ, и у этого ремня болталось множество прикрѣпленныхъ къ нему веревочекъ.

— Что это у тебя за путаница?—спросилъ я, указавъ глазами на сей послѣдній снарядъ.

— О! это въ мине мой ягхттаншъ!—похвалился Блоха.—Ми на него наспи качки подвѣшимъ!

Телѣжка катилась по очень тряской дорогѣ, такъ что нашимъ бокамъ приходилось—таки испытывать порядочное колотье, но Блоха пѣйко держался за бортъ спинки обѣими руками. Зато лицо его изображало при каждомъ толчокѣ преуморительныя гримасы, въ которыхъ сказывались и страданія, и страхъ, и тягота настоящимъ своимъ, крайне неудобнымъ, положеніемъ, а самъ онъ то и дѣло тихо вскрикивалъ.

— Ой!.. Ойхъ!.. Ой-вай!.. Уй-уй-кой!.. Огхъ!.. Уй, гевальт!

— Что съ тобой Блоха? чего ты кряхтишь такъ?

— Ой, жвините! успѣхъ кишки повитрасло!.. Кабъ ви, пане Буткевичу, трошечку полегче!

Но панъ Буткевичъ, лукаво ухмыляясь про себя, еще пуще припустилъ свою бойкую лошадку.

* * *

Темный лѣсъ окуталъ насъ своими зелеными объятіями. Изрѣдка попадались по сторонамъ тропинки, небольшія, группы деревенскихъ бабъ и дѣвочекъ, собиравшихъ грибы и травы въ фартуки своихъ пестрядей и въ берестяные кошики. Одна изъ этихъ группъ обратила на себя особенное наше вниманіе. Подъ деревомъ, безсильно прислонясь къ широкому стволу спиной, вытянувъ ноги, сидѣла молодая женщина, съ очень испуганнымъ, блѣднымъ лицомъ. Ее съ участіемъ окружали три-четыре дѣвушки, одна изъ которыхъ, припадъ ртомъ къ обнаженной ногѣ сидѣвшей товарки, казалось высасывала ей что-то губами.

— Чѣто-съ то случилось?—окликнулъ ихъ Буткевичъ, приостановивъ лошадку.

— Гадюка пожалила,—отвѣтили ему изъ группы.

— Э?! Кѣпськи иятересь! Ну, але жъ хвала Богу, въ-часть и лекарство есть!

Панъ Буткевичъ былъ человѣкъ крайне предусмотрительный и запасливый: онъ постоянно носилъ съ собой всякія снадобы, ланцетикъ и пинцетикъ, и зажигательное стекло съ трутомъ, и нитки съ иглою, и корпю, и карандашикъ съ книжкой и множество подобныхъ вещей, Богъ знаетъ гдѣ и какъ у него укладывавшихся. На первый взглядъ онъ невольно рождалъ вопросъ: на что, молъ, ему нужно таскать съ собой всю эту, никуда не нужную, дрянь? — анъ смотришь, придетъ экстренный случай, и что-нибудь изъ этой дряни вдругъ и понадобится, да еще окажется крайне необходимымъ и полезнымъ. Такъ было и теперь: панъ Буткевичъ порылся у себя въ широкихъ, вмѣстительныхъ карманахъ и досталъ пузыречекъ съ прованскимъ масломъ, которое было сварено съ какимъ-то специальнымъ зельемъ, какъ разъ служившимъ дѣлительнымъ средствомъ противъ укушенія змѣй. Тотчасъ же наливъ на тряпочку нѣсколько капель этого состава, онъ приложилъ его къ опухшей ранкѣ, перевязалъ ее головной «хусткой» и, растолковавъ, что дома надо тотчасъ же пить бузину, «жебы пропрѣть хорошенько», да смазывать ранку «олѣей», тронулъ вожжами и покатилъ далѣе.

Вскорѣ между деревьями показалась бѣлая хатка, въ которой обитали лѣсные стражники. Узнавъ отъ жонки одного изъ нихъ, что «малойцы» всѣ уже отравились къ сборному мѣсту, мы покинули на дворѣ, на ея попеченіе, нашу лошадку съ повозкой и далѣе пошли уже пѣшкомъ по узенькой тропинкѣ.

Пройдя съ полверсты, мы вдругъ очутились на крутомъ, возвышенномъ берегу. Вода, какъ зеркало, сверкнула въ глаза изъ-за зелени кустовъ и деревьевъ. Тропинка сбѣгала внизъ къ пологому, узкому берегу, по которому были развѣшаны для просушки мережи, невода, сѣти, сачки. Горьковато-ѣдкій запахъ бѣлаго дыма доносился къ намъ снизу. Двѣ корытообразныя, долбленныя душегубки на половину были вытянуты изъ воды на берегъ. Передъ шалашкомъ, сложенымъ изъ вѣтвей, дымился костерокъ. Тутъ же была вырыта въ грунтѣ возвышеннаго берега землянка, гдѣ хранились нѣкоторыя изъ принадлежностей рыболовства и ночевали очередные работники, а за нею, далѣе въ глубь земли, шла «ледовня»,—погребъ, въ которомъ на льду оберегалась наловленная рыба.

Внизу, около шалашика, мы уже встали цѣлое общество охотниковъ. Тамъ было человѣкъ до пятнадцати, и между прочими нѣсколько лѣсныхъ стражниковъ изъ двухъ ближайшихъ сторожекъ, которые всѣ почти считались хорошими стрѣлками, такъ какъ болѣе половины изъ нихъ настоящее занятіе свое переняли

еще съ дѣтства отъ отцовъ, тоже бывшихъ въ свое время полѣсовщиками, а остальные опредѣлились на нынѣшнія свои должности изъ отставныхъ и безсрочныхъ солдатиковъ. Иные изъ охотниковъ налаживали себѣ ружья, другіе возились со своею обувью, подкладывая бресту въ лапти, чтобы менѣе забиралось въ нихъ илистой грязи, третьи закусывали хлѣбомъ съ сыромъ и съ копченымъ саломъ, или же такъ-себѣ, просто, болтали между собой, ничего особеннаго не дѣлая.

Панъ Буткевичъ, какъ-то кривля отъ удовольствія, вытаскивалъ изъ ягдташа бутылку водки съ чаркой, кроху хлѣба и что-то съѣстное, по обыкновенію завернутое въ синюю сахарную бумагу.

— Отъ, теперь и подкрѣпиться время!—назидательно замѣтилъ онъ, развертывая изъ бумаги жареную курицу и кусокъ свиного сала.— Пожалуйте! Прошу!

И, по обычаю, выпивъ самъ первую чарку, передалъ ее мнѣ вмѣстѣ съ бутылкой. Отъ меня она пошла къ капитану и далѣе, пока не обошла весь нашъ маленькій кружокъ. Обо всей остальной охочей братіи мы съ паномъ Буткевичемъ позаботились еще съ вечера и заказали въ Езѣрахъ полведра, которые теперь и были предоставлены сюда еще до нашего прибытія. Пока круговая чарка обходила всѣхъ охотниковъ, панъ Буткевичъ, опустясь на колѣни, кромсалъ складнымъ охотничьимъ ножомъ жареную курицу, которая въ настоящую минуту—Богъ вѣсть почему—показалась мнѣ очень вкусной. Между тѣмъ закусывая мы не тратили даромъ времени, а держали между собою «граду». Самыми опытными и бывалыми въ сихъ мѣстахъ охотниками явились теперь между нами панъ Буткевичъ съ паномъ капитаномъ. Которому-нибудь изъ нихъ надлежало принять на себя роль «маршала». Оба великодушно уступали эту честь одинъ другому, и Богъ знаетъ, до коихъ поръ длились бы между ними эти деликатности, еслибы панъ-органиста—тоже, въ нѣкоторомъ родѣ, человекъ бывалый—не надоумилъ ихъ рѣшить дѣло жребіемъ, что, впрочемъ, и всегда разрѣшается здѣсь недоумѣнія въ подобныхъ казусныхъ случаяхъ охоты. Панъ Людорацкій подкинулъ вверхъ первую попавшуюся палку и налету схватилъ ее поперекъ рукою. Панъ Буткевичъ охватилъ ее надъ рукою Людорацкаго, плотно приблизивъ свой кулакъ къ большому пальцу капитана, затѣмъ капитанъ перенесъ свой кулакъ выше Буткевичъ, а Буткевичъ выше капитана и такъ далѣе—пока верхній конецъ палки не покрылся рукою пана Буткевича, что и давало ему теперь неоспоримое право быть маршалкомъ нашего полевана.

Буткевичъ тотчасъ же сдѣлалъ расчетъ людимъ: оказалось всѣхъ на лицо девятнадцать

человѣкъ. Онъ раздѣлилъ насъ на два отряда, въ девять человѣкъ каждый, и приказалъ одному отряду занять противоположный берегъ озера, назначивъ за старшихъ: въ одномъ—пана-органиста, а въ другомъ—пана-капитана. Еврей Блоха при этомъ въ счетъ не принимался.

— А минѣ жъ до якого бжегу?—полупутя спросилъ онъ, видимо желая заявить и о своемъ «властномъ» присутствіи.

— А хоть до дзябла!—махнулъ ему рукою распорядитель.

— Ну, то я лепшъ издѣсь зостанусе!—издѣсь выгодно!

— Покажи-ка, что это у тебя за допотопное ружье?—обратился я къ Блохѣ.

— О! то есть шпаньска мушкетѣ!—похвалился еврей.—Бардзо цѣнна штука! въ сшвѣмъ время мозже й за сшто рубли сштоило!

Я взялъ въ руки эту «шпаньску мушкетѣ», взглянулъ на нее поближе—и не могъ не расхохотаться: ни курка, ни замка не существовало и признаковъ, одна лишь собачка жалостно болталась.

— Какъ же ты будешь стрѣлять изъ этой штуки?—спрашиваю Блоху.

— А зачѣмъ минѣ сштрѣлять?—вопрошаетъ онъ меня на это.

— Да вѣдь ты же явился на охоту.

— Ну, такъ! Я агхотникъ, алежъ я не буду сштрѣлять, а я буду толки такъ примѣратсе, бо у минѣ и безъ сштрѣлянья сшама мушкета такой сштрашвій штука, и ротъ имѣеть ув сшибѣ такой балшой, якъ у пушкѣ!

— То-есть, какъ же это, однако, примѣряться?—спрашиваю его.

— А зквините, я буду изждѣлать отъ такъ! И Блоха взялъ да и прицѣлился очень грозно.

— И какъ толки я буду такъ изждѣлать,—продолжалъ онъ мнѣ свои поясненія,—то ув сшѣки птицу отчинъ будать минѣ сшпигатьсе, бо птицу будить миешлять сшибѣ, какъ бидто я егхо хѣчу сштрѣлять, а онъ того сшибѣ не зкнайть, сшто я толки такъ на сшутку лякаю та примѣраюсе ¹⁾.

— Такъ для чего жъ тебѣ и примѣряться, коли такъ-то?

— А для тогхо, кабъ увсшѣки птицу минѣ даволно сшпигалсе!

— Но для чего жъ нужно птицъ-то пугать?

— А для тогхо, сшто я есть агхотникъ!

И Блоха, дѣйствительно, былъ охотникъ, но только совсѣмъ особаго сорта—и это оказалось для меня самымъ нагляднымъ образомъ въ концѣ нашей охоты.

Между тѣмъ партія, отряженная на противоположный берегъ, спѣшно раздѣвалась и складывала одежду свою вмѣстѣ съ ружьями въ

¹⁾ Пугаю и прицѣливаюсь.

одну из душегубокъ, въ которой уже показывался на водѣ молодой рыбакъ. Двое изъ тѣхъ, что не умѣли плавать, нашли способъ утилизировать для переправы длинное бревно, нѣкогда прибитое къ берегу: раздѣвшись до-нага, они усѣлись на него верхами, и съ помощью длинныхъ шестовъ, которыми — одинъ справа, другой слѣва — упирались въ озерное дно, стали переправляться на противоположный берегъ. Остальные всѣ пустились туда же вплавь, вмѣстѣ со своими собаками, а рыбакъ перевозилъ имъ въ душегубкѣ пороха, платье и ихъ временнаго «довудцу», пана-органисту.

Собаченки этихъ лѣсныхъ стражниковъ, по истинѣ, весьма замѣчательны. Всѣ онѣ самой простой, плебейской породы, но умны и выдрессированы на свободѣ какъ нельзя лучше! Черныя, съ коричневыми подпалинами и съ длиннымъ туловищемъ на коротковатыхъ ногахъ, онѣ, несмотря на этотъ нѣсколько неуклюжий складъ, отличаются неутомимостью, проворствомъ, достаточной быстротой бѣга и хорошимъ чутьемъ, такъ что полѣсовщики даже и не заводятъ у себя, кромѣ этой породы, никакихъ другихъ псовъ болѣе облагоустроенной расы. Эти же «чернушки» у нихъ на всѣ руки! Онѣ и хату стерегутъ, и на обходъ лѣса бѣгаютъ съ хозяиномъ, и за зайцемъ погонятся, и по красному звѣрю поведутъ, и за утками въ воду полѣзутъ. Словомъ сказать — это, за исключеніемъ наружности, во всѣхъ отношеніяхъ прекрасныя и очень практическія собаки.

— Але вара ¹⁾, панове! напередъ умова! ²⁾ — крикнулъ, обращаясь ко всѣмъ вообще, панъ Буткевичъ. — Опручъ качки не бить а-ни якого птаха! Бо то вже не порадохъ, и вийдець не полеваньє, а чортъ знѣ что!

Всѣ дали обѣщанье, хотя въ душѣ то, быть можетъ, и не каждый охотно подчинился уговору, въ виду тѣхъ соблазновъ, которые будутъ представлять собою кудики и бекасы, но... панъ Буткевичъ былъ въ своемъ родѣ педантъ и строгій, систематическій охотникъ, который ежель шелъ на волка, то уже ни за что не сталъ бы въ тотъ разъ стрѣлять по зайцу. Какъ «голова всему полеванью», онъ съ гребцомъ-рыбакомъ выѣхалъ въ душегубкѣ на середину озера и держался какъ разъ противъ крайнихъ звеньевъ цѣпи, занимавшей оба противоположные берега. Капитанъ повелъ нашу сторону, органистъ противную, и оба, какъ на дѣйствительной облавѣ, разставляли стрѣлковъ, назначая каждому свой номеръ, шагахъ въ пятидесяти сойдѣ отъ сойда. Оба доводцы помѣстились на флангахъ, ведущихъ въ сторону предполагаемаго движе-

нія, и когда цѣпи растянулись, каждая, приблизительно, шаговъ на четыреста, то доводцы голосомъ подали вѣсть объ этомъ на противоположный флангъ главному нашему маршалку, и тогда по крику его «зачинай» — охота наша была открыта.

Панъ Людорацкій, внимательно наблюдая прибрежныя камыши, осоку, аиръ и вообще каждый кусточекъ, осторожно сталъ пробираться вдоль берега вправо! Я стоялъ вторымъ номеромъ и подвигался непосредственно за капитаномъ. Жидъ Блоха вертѣлся все около меня со своею «шпаньской мушкой», но не рядомъ, а нѣсколько поодаль, держась болѣе глубины лѣса. Очевидно, Блохъ пріятно было думать, что и онъ на охотѣ и тоже ходитъ съ ружьемъ и можетъ «сиппигать птицовъ»; но, какъ кажется, пріятнѣе всего была ему та мысль, что есть же таки на свѣтѣ существа, которыя и его могутъ бояться, и этими существами онъ въ настоящую минуту воображалъ себя утокъ!

Густая листва широко вѣтвистыхъ деревьевъ, нагнувшихся стволами къ водѣ, склонилась надъ нею прозрачно-зеленымъ навѣсомъ. Было уже часовъ около восьми. Солнце стояло высоко, но подъ сыроватою тѣнью зелени еще не было жарко. Приходилось пробираться или по усѣянному ракушками да улитками мягкому, бѣлому песку, по которому юрко бѣгали разыгравшіяся на солнцѣ ящерицы, или по топкому болоту, причѣмъ со всѣхъ кочекъ бултыхались въ воду большія зеленныя, жирныя лягушки и жабы; то надо было карабкаться на крутой бережокъ, цѣпляясь руками за стволы и корни деревъ и кустарника. По низамъ — верболозъ, а нѣсколько повыше — кусты жимолости, крушины, берестянику и волчьей ягоды росли такъ тѣсно другъ подлѣ друга, что образовывали родъ живой изгороди, обрамлявшей собою озерныя берега. Одинъ только густой орѣшникъ, да барбарисъ забирались подалее въ глубь лѣса, выбирая себѣ мѣста болѣе сухія. Высокія, густыя, сочныя травы, возросшія на тучной, болотисто-черноземной почвѣ, свѣжо дышали разными травяными запахами и цѣлко путали стеблями шагающую ногу. Но кромѣ того, нашъ путь время отъ времени затрудняли еще колоды и вывороченныя съ корнями стволы, свидѣтельствующіе о тѣхъ страшныхъ буреломахъ, которые повторяются въ здѣшнихъ лѣсахъ почти періодически въ каждое десятилѣтіе. Эти колоды, опутанныя завитками дикаго хмѣля и веселыми побѣгами разнообразныхъ павоевъ, кажется, самую природу брошены здѣсь какъ будто съ умысломъ, какъ будто для того, чтобъ придать еще болѣе красоты этимъ дикимъ лѣсамъ, среди всей этой непродорной заросли разнообразныхъ кустарниковъ. Муравьиныя кучи и миллионы насѣкомыхъ, питаю-

¹⁾ Чуръ!

²⁾ Уговоръ.

щихся деревомъ, находятъ себѣ пріютъ около этихъ колодъ и въ самомъ стволѣ, а иногда подъ нимъ копошатся и змѣи.

Вдругъ, гдѣ-то позади раздался выстрѣлъ. Эхо шарахнулось въ противоположный берегъ и вдоль по водѣ пошло гулять по лѣсамъ стихающими раскатами. Выстрѣлъ въ лѣсу, какъ извѣстно, особенно громокъ, а надъ лѣсными водами онъ раздается какимъ-то особенно красивымъ звукомъ и тотчасъ же подхватывается гулкимъ и чуткимъ эхомъ. По лѣснымъ вершинамъ, слѣдъ за этимъ выстрѣломъ, поднялась въ птичьемъ мірѣ величайшая сумятица. Гай-вороны тревожно закаркали и потянули куда-то вдаль, застрекотали вертлявые сороки, застонали чайки, и вся мелкая птица тоже разными писками, выкриками и высвистами выразила свой испугъ, смѣтеніе и опасеніе.

Панъ Людорацкій приложился. Вдругъ, смотрю—жидъ Блоха, который теперь находился нѣсколько впереди меня, бросивъ свою «мушкету», весь съѣжился, скорчился, полуприсѣлъ на согнутыя колѣнки и, заткнувъ себѣ пальцами уши, съ тревожнымъ ожиданіемъ въ искривленномъ гримасою лицѣ, слѣдилъ за прицѣлившимся капитаномъ.

Ба-бацъ!—и Блоха весь нервно вздрогнулъ.

Я взвелъ курокъ и приготовился: испугнутая стая дикихъ утокъ, штукъ въ пять, тревожно и торопливо тянула надъ водою и прямо-таки подъ мой выстрѣлъ. Вдругъ...

— Ой, не сштрѣлите, гасшпидинъ спиручникъ!—раздается за мною отчаянно умолющій голосъ еврея. — Дайте минѣ напередъ отбѣгчй подалишъ! А то ви можете сштрѣлить въ мене, куда я не гхочу!

— Ахъ, чтобъ тебѣ проклятому!—невольнo сорвалось у меня слово вызванное крайней досадой. И въ самомъ дѣлѣ, можно ли было болѣе не кстати отвлечь вниманіе человѣка такимъ глупымъ крикомъ, да и крикнуть-то еще какъ разъ подъ руку. — Утки пролетѣли даромъ, что называется, мимо моего носа!

— Исчезни, окаанный! Провались ты отсюда!—пригрозился я Блохѣ.

Но Блоха, видя, что опасность звука моего выстрѣла для него уже миновала и, готовясь удирать подальше, все-таки захотѣлъ нѣсколько поправиться и поддержать свой гоноръ.

— Ви на мене, спижалуста, не шѣрдитесь,—заговаривалъ онъ убѣждающимъ тономъ. — Я, може, и спамъ би сштрѣлилъ, и даже билъ би отчигъ гхрабры чловѣкъ, кабъ толке оно не такъ гхромко гхуркотало!

— Исчезни, говорю тебѣ еще разъ!

— Н-ну, гхарашо, гхарашо!..—замахалъ онъ руками. — Жзвините, когда ви такой сштрогій... Я же не зкналь... До сшвиданья вамъ!

И подобравъ съ земли свой мушкетонъ, Блоха быстро юркнулъ отъ меня въ зеленую чащу и исчезъ за кустами.

* * *

Мы двигались все далѣе и далѣе въ нѣдра пуши по берегамъ озера Кагана. Выстрѣлы, то и дѣло, раздавались теперь надъ водою, и почти каждый изъ нихъ отмѣчалъ собой новую добычу котораго-нибудь изъ охотниковъ. Если стая утокъ поднималась съ нашего берега, то стрѣлокъ, противъ котораго она испугнулась, билъ ее въ летъ: одна или двѣ птицы падали, остальные по диагонали перелетали на тотъ берегъ и, значитъ, опять-таки противъ какого-нибудь стрѣлка, и тотъ уже встрѣчалъ мѣткимъ выстрѣломъ желанныхъ гостей. Та же птица, которая изъ-подъ выстрѣла тянула вдоль озера назадъ, попадала либо подъ дробь далѣе стоявшихъ охотниковъ, либо натыкалась на Буткевича, — и панъ маршалокъ встрѣчалъ ее мѣткимъ ударомъ, стоя въ своей душегубкѣ. Если раненая или убитая утка падала близко къ берегу, то наши сетеръ и, главнѣйшимъ образомъ, полѣсовщицы чернушки вытаскивали ее для своихъ хозяевъ; когда же падала она далеко, или отлетала умирать въ камыши, разбросанные индѣ по серединѣ озера, то въ этихъ случаяхъ добивалъ ее уже Буткевичъ и складывалъ въ свою душегубку.

Было уже за полдень. Буткевичъ приостановилъ охоту и подплылъ къ нашему берегу. Годубое небо дышало зноемъ. Ни малѣйшаго вѣтерка. Вѣтви и листья, подъ вліяніемъ этой жары, безсильно опустились. Янтарная смола сочилась изъ сосенъ, которыя наполняли весь воздухъ своимъ сильнымъ, ароматическимъ запахомъ. Почва распарилась, а въ болотныхъ мѣстахъ даже курилась, и изъ этихъ послѣднихъ мѣстъ подымался запахъ болотисто-водяной сырости, аиру и свѣжей, сочной травы, который струями мѣшался съ запахомъ хвойнаго лѣса. И носились надъ этими низинами рой мошекъ, мотылей, комариковъ, и съ тонкимъ звенящимъ жужжаніемъ сновали лѣсныя пчелы. Пѣвчія птицы совсѣмъ примолкли. Изрѣдка однѣ только иволги да дрозды лѣниво и вяло перекликались между собою.

— А замѣчаете вы, какъ эта птица странно разговариваетъ? — отнесся ко мнѣ панъ Людорацкій, растянувшись рядомъ со мною у корней раскидистаго дуба, на мягкомъ бархатно-зеленомъ мху. — Я ее зову французской-гувернанткой, добавилъ онъ.

— Почему же такъ?—съ улыбкой спросилъ я, озадаченный такимъ страннымъ названіемъ.

— А потому что—замѣчали-ль вы?—она постоянно высвистываетъ такъ, какъ будто говоритъ: «vite-vite-vite-vite-vite, messieu-urs!» ну, вотъ ни дать, ни взять, какъ гувернантка мальчишкамъ!..

Я разсмѣлся. Сравненіе было оригинально, и высвистѣть, дѣйствительно, очень походилъ на звуки, изображенные капитаномъ.

— А то есть еще другая птица—тоже полѣсамъ и роццамъ обитаетъ,—продолжалъ Людорацкій,—такъ та нѣсколько иначе свищетъ...

— А именно?—спросилъ я.

— А именно такъ, какъ будто поспѣшно спрашиваетъ на бабій манеръ: «послушай, послушай, послушай, Василий, —Митька дома?»

И это у капитана тоже выходило очень похоже.

— У каждой птицы есть свой разговоръ,—продолжалъ онъ,—это мы еще съ товарищами на Кавказѣ замѣчали. Вѣдь ужъ извѣстно, что индюкъ, напримѣръ, все здоровкается по солдатски: «здравія желаемъ, ваше благородіе!» А перепелки, такъ тѣ настоящія пропѣлицы, и ужъ у нихъ одно изъ двухъ: либо ругаются нехорошимъ словомъ, что и сказать нельзя, либо все пить приглашаютъ: «пить такъ пить!.. пить такъ пить!»—это самая любезная птица!

— Потому что пить зоветь?

— А такъ! потому-то я и люблю ее. Какъ заслышу вечеромъ въ полѣ, такъ мнѣ это сейчасъ и напомнить, что пора водку пить и за ужиномъ садиться. Почтенная птица!

* *

Послѣ получасового отдыха мы возобновили нашу охоту, длившуюся до четырехъ часовъ дня, и въ общемъ результатъ доставившую намъ до сорока штукъ утокъ. На мою долю пришлось двѣ кряквы и одинъ чирокъ. «Облава» собралась у того же самаго рыбацкаго куреня, отъ котораго утромъ зачалась наша охота. Рыбные ловли на здѣшнихъ озерахъ держитъ на откупъ одинъ костромской крестьянинъ, котораго всѣ зовутъ «русскимъ». Онъ научилъ своихъ батраковъ варить русскую уху, о которой въ Западномъ краѣ вообще очень мало имѣютъ понятія.

Когда мы подошли къ куреню, то застали тамъ между рыбаками и нашего Блоху. Присѣвъ на корточки передъ костеркомъ, онъ съ внимательнымъ любопытствомъ наблюдалъ, какъ варится рыба и закипаетъ вода въ чугуномъ котелкѣ, подвѣшенномъ на треногу.

Бѣсть намъ хотѣлось не на шутку, а душистый паръ ушницъ, подымавшійся изъ котелка, пріятно шекоталъ обоняніе и раздражалъ аппетитъ. Вскорѣ поспѣло это рыбацье варево, и мы, раздобывъ у батраковъ деревянные ложки, усѣлись въ кружокъ на землѣ и пѣзъ общаго котелка стали хлебать вкусную похлебку.

Жидъ Блоха, между тѣмъ, обдѣлывалъ себѣ «выгодные гешефты». Онъ скупалъ у подѣсовщиковъ битыхъ утокъ, и скупалъ ихъ по бездѣлицѣ, что-то въ родѣ восьми или десяти копеекъ за пару. Стрѣлки охотно уступали ему своей излишекъ, и такимъ образомъ у Блохи оказалось до десятка паръ, если не болѣе. Тутъ-то и пригодился ему оригинальный поясъ съ «мутузочками»: каждую птицу онъ бралъ за голову и аккуратно подвязывалъ къ этому поясу. Такимъ образомъ, черезъ нѣсколько минутъ Блоха весь обвѣшался биткою птицей и предсталъ предъ нами въ гирляндѣ пестро-сѣрыхъ утокъ, которыя висѣли вокругъ его стана въ родѣ коротенькой юбки съ бахрамою. Въ этомъ оригинальномъ убранствѣ, съ мушкетонномъ за плечами, Блоха былъ уморителенъ до послѣдней степени.

— На кой прахъ тебѣ столько птицы?—спросилъ я его.

— У гхорождъ повезу до предазжи,—отвѣтилъ онъ съ такимъ достоинствомъ, какъ будто всѣ эти утки были трофеями его собственной охоты.

— И надѣшься сбыть?—продолжалъ я.

— Увсигъ до одногохъ!

— И до скольку думаешь выручить за пару?

— Огулемъ кипайкувъ по шнорокъ.

— Выгодный гешефтъ! — одобрилъ Людорацкій.

— Когда-жъ не выгодно!.. Хо-хо!.. На то-жъ я есть и агхотнянкъ.

* *

Когда, часомъ позже, проѣзжая черезъ Езёры, мы высаживали капитана съ органамистой, насъ обступили нѣсколько еврейчиковъ.

— Жквините! скажите спизжалуста, —любезно заговорили они, обращаясь ко всѣмъ намъ,—чи насшъ Блюхъ еще на палюваню?

— На полеванѣ.

— А чѣму-жъ онъ не зъ вами?

— Оттого, что у него качекъ черечуръ уже много набито.

— Уй?! ви гаворитю, много качковъ?

— Много, много! Цѣлый ворохъ будетъ!

— Пессе!.. и увесе снамъ штрѣлилъ?!

— Всѣхъ, до единой.

— От-то!.. И увесе зе шнѣей шпаньской мушкетъ?

— Все изъ нея!

— Пессе!.. Скажите спизжалуста! Насшъ? насшъ Блюхъ!.. От-то агхотнянкъ!.. О!.. Насшъ Блюхъ! Ми науснигда изжнали, шьто насшъ Блюхъ есть чловѣкъ отчинъ доволна гхрабры!

Что дѣлаетъ ворона...

По недостатку офицеровъ, разѣхавшихся въ отпускъ послѣ весенняго кампанента 1872 года, я былъ прикомандированъ ко 2-му эскадрону на время травного довольствія.

Командировка эта была для меня тѣмъ пріятнѣе, что я поступалъ временно подъ начальство человека, котораго любилъ всей душой. Да впрочемъ, нашъ длинноусый майоръ, Данило Ивановичъ Джаксонъ былъ общимъ любимцемъ полка, и служить съ нимъ было легко и весело. Кавалеристъ до мозга кости, попавшій изъ аудиторіи московскаго университета прямо на фронтную лошадь, онъ до самой смерти, всю жизнь, или всю службу (что въ данномъ случаѣ рѣшительно одно и то же), провелъ въ одномъ и томъ же Ямбургскомъ уланскомъ полку, который замѣнилъ ему домъ, и семью, и всѣ привязанности души и сердца.

Лихой «службистъ», лихой и вѣрный товарищъ, душа полкового кружка, олицетворенное благородство и честность, съ душой и жизнью на-распашку, добрякъ, дѣлившійся съ товарищемъ-уланомъ послѣдней конейкой, если таковая обрѣталась въ наличности, первый и горячій голосъ за всякій благородный порывъ, за всякое доброе дѣло, и въ то же время первый загибалъ на всякую лихую, остроумную и веселую штуку,—таковъ былъ майоръ Джаксонъ.

Дай Богъ, чтобы подобные типы не переменились въ русской арміи!..

2-й эскадронъ, обыкновенно, стоялъ у насъ на травѣ верстахъ въ двадцати отъ полкового штаба, нѣсколько въ сторонѣ отъ старой виленской дороги, занимая подъ свое помѣщеніе три-четыре сарая на фольваркѣ Закревщицна.—Мѣсто это тихое, укромное и напоминающее собой всѣ вообще фольварки, разбросанные по Литвѣ и Западной Руси. Заглохшій прудъ, покрытый бѣлыми и желтыми кувшинками, осокой и айромъ; на берегу—полуразрушенная водяная мельница, живописно поросшая темно-зеленымъ мхомъ, изъ-подъ котораго тамъ и сямъ вырываются побѣги ползучихъ растений, злаки и тоненькіе отпрыски будущихъ деревьевъ. Низенькій одноэтажный домикъ, подъ соломЕННОЙ кровлей, раздѣленный сѣнками на двѣ равныя половины; густо поросшій огородъ, отъ котораго иногда до одури вѣетъ укропомъ въ распаренномъ воздухѣ; прямо передъ глазами нѣсколько великановъ-сосенъ, гдѣ на каждой обитаетъ семейство аистовъ. Такая-то неприхотливая картина окружаетъ фольваркъ съ

его передней стороны; противная же сторона прячется въ лѣсу, подошедшемъ своими вѣковыми деревьями прямо къ стѣнѣ нашего домика.

Въ этомъ лѣсу, если отойти съ полверсты отъ фольварка, стоитъ древняя и крайне-убогая православная церква, въ которой давно уже не отправляется богослуженіе, а вокругъ нея сгущились заросшіе бугорки да погнившіе кресты забытаго кладбища. Поцереку лѣса, въ одной сторонѣ, тянется правильный земляной валъ, и тутъ же встрѣчаются два высокіе бугра, поросшіе вѣковыми деревьями. Мѣстные жители называютъ ихъ «шведскими могилами» и «шведскимъ валомъ», рассказывая, что на этомъ самомъ мѣстѣ, при царѣ Петрѣ, когда тутъ еще не росло лѣса, а было чистое поле,—происходило «побойско» между шведами и русскими, и было пролито много крови, отчего-де и самый фольваркъ или усадьба называется «Закревщицной», т. е. стоящей за кровью. Весь этотъ уютный сельскій уголокъ орошается извилистой рѣчкой Пыррой, берега которой въ этомъ мѣстѣ поросли высокими древними вербами, ольхой и чернокленомъ, и по стволамъ этихъ деревьевъ красиво завивается густѣйшій хмѣль, а макушки унижены шалками воронихъ гнѣздъ. Прибрежные луга кишатъ міриадами пестрыхъ мотыльковъ, коромысѣ и кузнечиковъ, и все это рветъ въ солнечныхъ лучахъ и звучитъ неумолкаемымъ концертомъ, который вечеромъ, во время заката, начинается сливаться съ мелодическимъ урчаньемъ и стономъ жабъ въ заглохшемъ прудѣ и на сосѣднемъ болотѣ. Въ это же время цѣлыя тучи воронъ и галокъ, крестиками ряби въ глазахъ на страшной высотѣ, совершаютъ вечерній перелетъ, кружась надъ строеніемъ и наполняя всю окрестность разсыпчатымъ карканьемъ...

Бывало, первое удовольствіе у насъ въ эту пору—пойти на берегъ Пырры раковъ ловить. Возьмемъ съ собой двухъ-трехъ солдатиковъ да денщика, и гдѣ-нибудь на бережку костерокъ разложимъ. Бѣдкій дымокъ отгоняетъ мошку. Солнце уже село. Ни одинъ листъ не шелхнется въ своей лѣнливой, дремотной неподвижности. Все темнѣй и темнѣй становится въ охлаждающемся воздухѣ, и только блесловатый край потухшаго неба сквозитъ въ подѣ между совершенно черными отраженіями толстыхъ стволовъ и кустарника. Двое солдатиковъ—привычные наши ловцы—раздѣваются и, наскоро перекрестясь, осторожно спускаются въ рѣчку. Всѣ движенія свои въ водѣ стараются они

дѣлать какъ можно плавнѣе и тише, чтобы излишнимъ шумомъ и всплесками не «всполошить» раковъ. Бережокъ у Пырры отвѣсный и глубокий: какъ только спустишься, такъ тебя сразу по грудь и охватитъ водой. Раки въ этотъ часъ забрались уже спать въ свои норки.

Наши ловцы, какъ бы крадучись, пробраются въ рѣчкѣ вдоль бережка и внимательно щупаютъ его подъ водой. Нашупавъ рачью норку, ловецъ осторожно запускаетъ въ нее свою руку—и черезъ секунду, выброшенный на траву, черный броненосецъ въ смятеніи начинаетъ дрыгать своимъ хвостикомъ; за нимъ другой, третій,—такъ что только поспѣвая ихъ подбирать да въ мѣшокъ укладывать! И глядь—черезъ полчаса уже полная кострюля начинаетъ поемногу закипать надъ костеркомъ на треножникѣ. Сейчасъ это—одѣвшимися людямъ по доброму стакану водки за труды, вмѣстѣ съ командирскимъ «спасибо», а еще полчаса спустя и сами мы, тоже пропустивъ по чаркѣ, тутъ же на бережку примостимся поудобнѣе на разостланномъ коврѣ и принимаемся за вареныхъ раковъ, которыхъ навалить передъ нами полное блюдо горю. Такъ мы его и одолѣемъ вдвоемъ, промежъ тихаго разговора. И престоимыне, превкусные это у насъ ужины выдохили!

Перѣдко, бывало, во время рачьяго лова подойдетъ къ намъ проживавшій по сосѣдству еврей, Мошка Гусатый, который у Джексона поставлялъ сухой фуражъ для эскадрона, и тихо задумчивымъ тономъ вступить съ майоромъ въ хозяйственные разговоры. Этотъ Мошка, мужикъ лѣтъ тридцати-пяти, въ своемъ родѣ былъ человѣкъ весьма изобрѣтательный. Впрочемъ, никто и никогда его Мошкой не называлъ, а былъ онъ въ пѣломъ полку извѣстенъ подъ именемъ Шишка,—такъ и прозывали его всѣ «Шишка Гусатый». Такое, нѣсколько странное, прозваніе имѣло свою причину. Дѣло въ томъ, что у Гусатаго подъ лѣвымъ глазомъ былъ довольно значительной величины мясистый шаровидный наростъ, который онъ называлъ «гулей» и говорилъ, что эту гулю ему «Богъ далъ»; уланъ же за эту «гулю» и прозвали его «Шишкой». Шишка да Шишка — и Богъ-вѣсть съ коихъ поръ такъ ужъ и прослылъ онъ Шишкой по всей окрестности.

Помню, однажды, въ послѣдѣнное время, завѣсилъ я въ своей комнатѣ раскрытое окно байковымъ одѣяломъ, чтобы мухи не такъ доносили и, растянувшись на походной желѣзной койкѣ, принялся въ мягкомъ полуусвѣтѣ за чтеніе какой-то газеты, только-что доставленной къ намъ изъ штаба съ «летучей почтой»¹⁾. Данило Ивановичъ между тѣмъ ходилъ

по смежной комнатѣ, служившей намъ и приемною, и столовою вмѣстѣ, и насвистывалъ что-то въ родѣ полкового марша.

Вдругъ, слышу я—торопливо кличетъ онъ меня оттуда въ-полголоса, съ оттѣнкомъ какой-то особой таинственности въ тонѣ, словно хочетъ показать нѣчто достойное особеннаго вниманія и боится, какъ бы не опоздать я поглядѣть на любопытное явленіе.

— Всеволоды!.. а Всеволоды!.. Ступай сюда скорѣе!..

— Чего тебѣ?—откликаюсь я лѣниво и нехотя.

— Ахъ, да ступай, говорю!.. Шишка идетъ!

— Ну, такъ что жъ что Шишка?

Въ это время майоръ показался на порогѣ моей комнаты.

— Да вотъ, видишь ли, въ чемъ дѣло, голубчикъ,—начинаетъ онъ объяснять мнѣ все тѣмъ же отчасти таинственнымъ тономъ, — протранжирился я немного въ Вильнѣ, а онъ за деньгами идетъ.

— Гм!.. Денегъ у тебя нѣтъ, что ли?

— То-есть, не то что нѣтъ; — деньги-то, положимъ, есть всегда; но лишнихъ, какъ на грѣхъ, теперь не имѣется, да и на другія надобности нужны по эскадрону, и потому отдавать ему теперь мнѣ не хотѣлось бы.

— Такъ и не отдавай: скажи, что послѣ.

— Да приставетъ вѣдь... а я отказывать не умѣю,—боюсь, что отдамъ.

— И много долженъ ты?

— Нѣтъ, пустяки: всего только тридцать рублей.

— Ну, братъ, на бѣду и у меня пусто! — сказалъ я, раскрывъ ему бумажникъ, гдѣ скудно засѣло какихъ-то пять или шесть рублишекъ.

— Э, да я не объ этомъ! — перебилъ онъ, нетерпѣливо махнувъ рукою.—Не въ деньгахъ дѣло!

— А въ чемъ же?—поднялъ я глаза въ недоумѣніи.

— Разговори ты его какъ-нибудь.

— То-есть, какъ же это, однако, разговаривать-то?—невольно разсмѣялся я.

— Ну, какъ знаешь, такъ и разговаривай! только устрой, чтобы онъ не пристаивалъ и отваливалъ.

— А ты какъ скоро надѣешься отдать ему?

— Ну, недѣли черезъ двѣ, не позже... Какъ получу изъ ащика, такъ и отдамъ сейчасъ же. Разговори, голубчикъ!

учреждается сообщеніе посредствомъ конныхъ вѣстовыхъ, которые доставляютъ изъ штаба въ части полка всѣ нужныя бумаги, письма, газеты и послышки. Иногда, въ случаѣ отдаленнаго расположенія какого-либо эскадрона, для этихъ сообщеній выставляются даже въ извѣстныхъ промежуточныхъ пунктахъ отдѣльные посты, въ два или три человѣка при унтеръ-офицерѣ. Это и называется у насъ «летучею почтой» или «летучкой».

¹⁾ Когда кавалерійскій полкъ не находится въ сборѣ, то между полковымъ штабомъ и эскадронами, разбитыми по деревнямъ, обыкновенно

— Ну, ить быть по сему!—согласился я.— Нечего дѣлать, надо подыматься съ постели... Фу! жара какая, однако!.. Душно!

И я лѣниво направился въ смежную комнату, а Джексонъ вслѣдъ за мною прошелъ въ свою спальню. Низенькія окна стояли у насъ настежь раскрытыми. Я облокотился на подоконникъ и высунулъ голову на дворъ. Смотрю—стоитъ мой Шишка подъ окошкомъ, въ своей длиннополой заласившейся хламидѣ; шапка, по обыкновенію, съѣхала на затылокъ, на лицѣ нѣкій гнетъ ожиданія изображается,—стоитъ и тросточкой своею поигрываетъ, легонько вертя ее по серединѣ между пальцами. И видно, что жарко, не въ могути ему жарко, сердечному.

— Здравствуй, Шишка! Что скажешь хорошенькаго? Зачѣмъ ты?

— Нѣтъ ми такъ... до гасшпидинъ майоръ,—уклончиво и какъ бы нѣхотя отвѣчаетъ Шишка.

— А зачѣмъ тебѣ майора?

— Такъ... свшой интересъ имѣемъ.

— Вѣрно за деньгами?

— Можже и такъ...

— И очень получить желаешь?

Шишка хитровато усмѣхнулся.

— Зквините,—началь онъ,—а когда зкъ ви зжнаите таково щаловѣкъ на свѣту, который не жжалъ бы того?

— Такого человѣка!.. Хм!.. не знаю.

— Ну, и я такъ само-зкъ не зжнаю.

— Вѣрно. А теперь и я тебя въ свой чередъ спрошу: зквините, а когдажъ ви не знаете, что ивогда не всякое желаніе исполняется.

Шишка недовѣрчиво глянулъ мнѣ въ лицо и, ничего не отвѣчая, какъ на явно невозможную вещь, вытянулъ свою шею и, мимо меня, сталъ заглядывать во внутрь комнаты.

— Гасшпидинъ майо-оръ?! Гасшпидинъ майо-оръ?! — повторялъ онъ, ища глазами Джексона.

«Чѣмъ же, однако, думаю себѣ, буду я его разговаривать долѣе?» какъ вдругъ попалась мнѣ на глаза тоненькая книжонка, которую, возвращаясь вчера изъ Вильны, купилъ майоръ на желѣзной дорогѣ. Это было собраніе какихъ-то анекдотовъ изъ еврейскаго быта, кажется, г. Гулевича. Сегодня за обѣдомъ мы, отъ нечего дѣлать, перелистывали эту книжонку и находили въ ней нѣкоторые сценки довольно забавными.

«Вотъ оно, что выручить меня!» подумалъ я, вспомнивъ изъ нея одну подходящую штуку.

— Напрасно, Шишка!—говорю еврею,—не смотри, не заглядывай. Майора ты не увидишь и денегъ сегодня отъ него не получишь.

— Ну, да! — явно не вѣря мнѣ, мотнулъ онъ головою, какъ на самыя пустыя рѣчи.—Отъ гасшпидинъ майоръ кабъ ми да не получили сваго деньгувъ!.. Чи можжна тому битъ?

— Да ужъ вѣрно говорю,—не получилишъ.

— Гасшпидинъ майоръ?! — опять тянется и заглядываетъ Шишка.

— А очень хочется?.. Очень?

— Агхъ, осптавьте спизжалуста васшего шутку!.. Гасшпидинъ майо-оръ?!.

— Сказано, не заглядывай. А если ужъ такъ тебѣ желательно, то можешь получить отъ меня, но никакъ не отъ майора.

— Одъ васъ?

— Ну, да, конечно, отъ меня,—какъ будто не понимаешь!

— Н-ну, якъ одъ васъ, то одъ васъ!.. Съ балшущимъ вдовольтвіемъ! — повеселѣлъ вдругъ Шишка.

— Изволь, мой милый, но только съ однимъ условіемъ...

— Вспловіюмъ?.. Яке таке вспловію?.. И зачѣмъ тутъ вспловію?

— Затѣмъ, что безъ того невозможно.

— Не вазможна?.. Хм!.. такъ. Ну, гхъ-расышь!—согласился онъ, подумавъ;—а какое вспловію?

— Самое пустое: я загадаю тебѣ одну загадку.

— Зжагадке?.. Зачѣмъ зжагадке?

— Затѣмъ, что если отгадаешь, то сейчасъ же и деньги получишь, а не отгадаешь—приходи черезъ двѣ недѣли.

— Ну, ви зновь на шутке! разочарованно махнулъ онъ рукой.

— Безъ малѣйшихъ шутокъ; говорю тебѣ самымъ серьезнымъ образомъ.

— Этъ! осптавьте спизжалуста!.. И спто я вамъ буду сгадывать вашого зжагадке?.. Кабъ я билъ якій филозовъ, чи то мондры чловѣкъ, то ябъ вамъ сгадалъ, а то зкъ я заусѣмъ простой бѣдный еврей,—спто я знаю?

Вижу я, что не поддается мой Шишка на эту штуку,—надо его взять на болѣе существенную приманку, и иду къ Джексону въ спальню.

— Дай мнѣ, пожалуйста, говорю, тѣ тридцать рублей, что ты ему долженъ.

— Ну, вотъ!.. Вѣдь просилъ же тебя разговорить его какъ-нибудь!—съ досадой почесалъ майоръ затылокъ.

— Да ты не беспокойся, говорю,—я тебѣ ихъ всѣ сполна сейчасъ же и назадъ принесу; а ты мнѣ дай только для возбужденія у него аппетита!

Досталъ мнѣ Джексонъ изъ шкатулки тридцать рублей, подхожу я съ ними опять къ окну и начинаю пересчитывать бумажку за бумажкой.

Просіялъ мой Шишка, будто и точно аппетитъ почувствовалъ. Ну, думаетъ, сейчасъ конецъ испытанію!

Пересчиталъ я бумажки и подношу пачку къ его носу.

— Поюхай.

— Н-ну, и спто я вамъ буду нюхать!.. Зачѣмъ минѣ нюхать?!

— Понюхай, чѣмъ пахнетъ.

Потянувся Шишка впередъ носомъ и—не-чего дѣлать—понюхалъ сложенную пачку. Была не была! думаетъ, авось-либо на этомъ уже и конецъ.

— Н-ну, и сшто таково съ чѣмъ пагхнеть!—разсуждаетъ онъ,—жвѣстно, съ чѣмъ пагхнеть! съ бемажкомъ пагхнеть!

— «Съ бемажкомъ»? Ну, такъ отгадывай загадку.

— Ну, пфэ!.. Опять ви изъ вапнимъ зжагадкомъ!

— Не желаешь?

— Я вѣже сшказаль... Зжвините.

— Ну, какъ знаешь. Прощай.

И съ этимъ словомъ я отошелъ отъ окошка.

— Але-жжъ паспшойте, паспшойте трошечку, гасшпидинъ сперучникъ!—мигомъ ухватился Шишка за подоконникъ, всосывая въ комнату свою физиономію. — Сшто таково васше зжагадке? Можже, йонъ очинъ даволна трудвій?

— Нѣтъ, самый пустякъ!.. Малый ребенокъ—и тотъ разгадаетъ.

— И якъ я сгадаю, то ви атдаете минѣ деньгувъ?

— Сію же минуто.

— А якъ я не сгадаю?

— Такъ получишь черезъ двѣ недѣли.

— Н-ну, гхарасшьо! гадайте васпего зжагадке!—съ видомъ безповоротной рѣшимости махнулъ рукой Шишка и отцѣпился отъ подоконника.

— Изволь, мой милый. Слушай.

— Н-ну?

И онъ весь превратился во вниманіе.

Я показалъ ему рукой на воронья гнѣзда.

— Чтѣ дѣлаетъ ворона послѣ того, какъ проживетъ два года на свѣтѣ?

— Сшто-о-о?—чуть не съ ужасомъ и въ величайшемъ недоумѣніи выпучилъ онъ на меня глаза свои.

Я отчетливо и вразумительнымъ тономъ повторилъ ему загадку.

— Пазжволте, пазжволте,—тревожно перебилъ меня Шишка,—зжвините, какъ вы гхавѣриту? Сшто начинается издѣлать верона... Та-акъ?

— Такъ, мой милый.

— Напосилю того, якъ онъ будетъ переживать... Сшкѣлаки годы, ви гхавѣриту?

— Два.

— Ахъ, да!.. Двоухъ гѣдовъ... На свдемъ жистю! Такъ?

— Совершенно вѣрно.

— Гхарасшьо!.. Сшто начинается издѣлать верона напосилю того, якъ онъ будетъ переживать двоухъ гѣдовъ на свдемъ жистю?

И произнося эти слова, Шишка принялъ сосредоточенную позу, вдумчиво приставилъ палецъ ко лбу, устремилъ прищуренный взглядъ куда-то въ пространство и, какъ бы отдавая себѣ отчетъ въ каждомъ словѣ, сталъ бормо-

тать про-себя въ полголоса: «сшто начинается издѣлать верона на посилю того» и т. д.

— Ну, а сшто такого будетъ онъ издѣлать?—совершенно неожиданно и при томъ, повидимому, самымъ наивнымъ образомъ обратился онъ ко мнѣ съ вопросомъ.

— Вотъ про то-то я тебя и спрашиваю,—возразилъ я, видя, что этимъ вопросомъ еврей думалъ-было схитрить со мной.

— Кабъ я зналъ!—въ недоумѣніи и даже нѣсколько амбиціозно пожалъ онъ плечами.

— Подумай и догадайся, говорю я ему; на то и загадка.

— Хм!.. Зжагадке!.. Очинъ доволна глупій зжагадке!

— Тѣмъ хуже для тебя, если ты—«мондры еврей» и догадаться не можешь.

— Але-жжъ, зжвините!.. Пазжволте, я до-думаю.

— Ну, додумывай—я не мѣшаю.

И снова—глубокомысленно палецъ ко лбу, снова прищуренный взглядъ въ пространство, по-прежнему бормоча въ полголоса, съ мучительнымъ умственнымъ напряженіемъ, вдалбиваетъ въ себя Шишка каждое слово: «сшто начинается издѣлать верона» и далѣе.

— А! зжвините!.. Додумалъ!—радостно сорвался онъ вдругъ съ мѣста, заранѣе уже торжествуя свою побѣду.—Додумалъ, гасшпидинъ сперучникъ! Додумалъ!.. Ага!.. Ну, а ви вѣже сабѣ мисляли, сшто я такіи глупій, сшто зжагадке вапного не сгадаю?! Пфэ!.. Пазжволте деньгувъ!

— Да ты зубы-то не заговаривай!.. «Деньгувъ»!—Ты разгадку скажи сначала, а потомъ уже «деньгувъ».

— Ну, гхарасшьо, гхарасшьо... Сшлюгхайте!—началъ онъ самымъ увѣреннымъ тономъ.—Онъ будетъ зновъ по новому летать,—такъ само-жжъ якъ дитю: бо когда дитю есть вже двоухъ гѣдовъ, то дитю начинается гходить. Чи то вѣрно?

— Нѣтъ, братъ, не вѣрно. Не угадалъ.

— Н-но!—мотнулъ онъ въ сторону головой.—Якъ то вже не вѣрно, то сшто-жжъ такого вѣрно!

— А вотъ «додумай».

— И додумаю!.. Зжвините!..

И снова глубокомысленная поза.

— Додумалъ!—съ новымъ торжествомъ восклицаетъ чрезъ минуто Шишка.—Додумалъ! Онъ будетъ якъ-нѣбудъ зновъ по новому карчить.

— Не угадалъ; дважды не угадалъ, братъ: все такъ же и летаетъ, и каркаетъ, какъ и прежде.

— Але-жжъ пазжволте до троухъ разовъ!—вступился за себя Шишка.

— Сдѣлай одолженіе, я не препятствую.

И опять онъ задумался.

— Знайшоль!.. Онъ будетъ сшто-нѣбудъ

зновѣ по новому кушить. То тѣразъ такъ?—приступилъ онъ ко мнѣ, однако уже не съ прежнимъ торжествомъ и увѣренностью.

— Нѣтъ, не такъ, объявляю ему со вздохомъ,—все ту же падалину жреть.—Не угадалъ, братъ, и въ третій разъ.

— Ну, то я вже не зжну!—съ досадою развелъ Шишка руками, — то ви минѣ на смѣхъ, бо такого и загадке нѣтъ... И то одно глупство выходитъ! Живните!

Совсѣмъ разсердился и даже разобидѣлся мой Шишка.

— Пазжволте мово деньгувъ!—приступилъ онъ ко мнѣ черезъ минуту.

— Эге, братъ! А условіе?.. Забылъ?.. Приходи черезъ двѣ недѣли.

— Гаспилидинъ майоръ?! Гаспилидинъ майоръ?!—опять тоскливо сталъ онъ тянуться на ципочкахъ и заглядывать въ окошко.

— Верзиловъ! проводи-ка, братъ, Шишку за мельницу!—крикнулъ я проходившему мимо улану.

Ловкій солдатъ подхватилъ еврея подъ руку—и молча, но преважно повелъ его съ фольварка.

* * *

На другой день, подъ вечеръ, около нашихъ конюшенъ, я занимался исправленіемъ своей лошади. Это былъ вороной жеребчикъ чистой арабской крови, и чистый красавчикъ, но съ однимъ величайшимъ порокомъ—причина, по которой онъ достался мнѣ довольно дешево. Жеребчикъ мой имѣлъ привычку опрокидываться; а это, не говоря уже о вредѣ для него самого, является крайне опаснымъ для всадника: кавалеристы очень хорошо знаютъ, что этотъ порокъ нерѣдко бываетъ причиною не только несчастныхъ паденій, но даже мучительной смерти для неосторожнаго и неловкаго всадника. Представьте себѣ, что лошадь, идущая подъ вами или даже стоящая на мѣстѣ въ совершенно спокойномъ состояніи, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, моментально взвивается на дыбы, становится, что называется «свѣчкой» и затѣмъ столь же моментально опрокидывается навзничъ; и если вы не успѣли уловить мгновенья, чтобы соскочить съ нея (что довольно трудно, ибо требуетъ большой ловкости и сноровки), или же соскользнуть съ ея крупа (что гораздо легче), то вы опрокидываетесь вмѣстѣ съ вашей лошадыо, которая наваливается на васъ всей своей тяжестью, и тогда передняя сѣдельная лука очень легко можетъ проломить вамъ грудь, что грозитъ неминуемой смертью.

Вотъ отъ этого-то несчастнаго порока и надо было отучить мнѣ моего жеребчика. Существуетъ для этого въ нашихъ полкахъ одинъ стародавній способъ, который всегда увѣнчивается полнымъ успѣхомъ; но способъ крайне жестокой, варварскій и притомъ весьма опас-

ный для лошади. Состоятъ онъ въ томъ, что одинъ изъ самыхъ ловкихъ всадниковъ садится на порочную лошадь, которую, разумѣется, крѣпко держать въ это время съ обѣихъ сторонъ подъ уздцы. Когда всадникъ успѣлся и разобралъ поводья, ему подають кувшинъ или бутылку съ водой и затѣмъ пускають лошадь на волю. Штука вся въ томъ, чтобы въ самый моментъ, какъ только начинается лошадь взвиваться на дыбы, сильнымъ ударомъ разбить у нея на темени сосудъ съ водой. Ощущеніе непредвидѣннаго удара сверху, вмѣстѣ съ ощущеніемъ внезапно пролитой воды, конечно, ошелѣмляетъ лошадь, и она невольно опускается на переднія ноги. Этотъ маневръ, продѣланный нѣсколько разъ сряду, при малѣйшей попыткѣ животнаго «стать свѣчкой», очень скоро отучаетъ его отъ дурной привычки, но рискъ при этомъ заключается въ томъ, что—не ровенъ часъ—вы или покалечите лошадь, поранивъ ее осколками стекла, или же повліяете силою удара на состояніе ея мозга. Поэтому-то я и не хотѣлъ подвергать моего жеребчика такимъ жестокимъ экспериментамъ. Надо было изобрести что-нибудь болѣе подходящее, или, по крайней мѣрѣ, менѣе опасное. Съ этой цѣлью мною и былъ придуманъ способъ, который беру на себя смѣлость рекомендовать кавалеристамъ, такъ какъ результаты его на практикѣ оказались самыми успѣшными. Я придумалъ замѣнить кувшинъ и бутылку свѣжымъ гусинымъ яйцомъ. При попыткѣ взвиться на дыбы, всадникъ съ достаточной силой разбиваетъ на темени лошади яйцо, содержимое котораго обливаетъ ей своею клейкой жидкостью всю голову и морду. Послѣ этой операціи, рейткнехты немедленно уводятъ лошадь въ конюшню и разсѣдлавъ оставляють ее въ такомъ видѣ до слѣдующаго дня. Понятное дѣло, что непріятное ощущеніе склеенныхъ волосъ, на которые садится и пыль, и насккомья, и въ особенности надоедливая, неотвязная муха, въ концѣ концовъ, служитъ достаточнымъ и продолжительнымъ наказаніемъ животному за его порокъ: это ощущеніе дѣйствуетъ ему на нервы. На слѣдующій день, предъ повтореніемъ того же сеанса, лошадь должна быть хорошенько зачищена, освѣжена, голова и морда ея тщательно вымыты, чтобы дать ей почувствовать всю пріятность облегченія отъ клейкихъ яичныхъ потѣковъ. Послѣ этого, промывъ ее на кордѣ, повторяйте ваше испытаніе и—ручаюсь вамъ, что трехъ, четырехъ уроковъ будетъ совершенно достаточно для отученія лошади отъ опасной привычки: она уже будетъ знать и никогда не забудетъ, что при малѣйшей попыткѣ подняться на дыбы,—тамъ, наверху, надъ головою есть что-то такое, что неизбѣжно разобьется объ ея темя и обольетъ всю морду клейкой жидкостью, со всѣми суточными послѣдствіями столь непріят-

наго сюрприза. Этотъ способъ самъ по себѣ уже достаточно внушителенъ, а главное—совершенно безопасенъ для здоровья лошади и удобенъ въ томъ отношеніи, что стоитъ весьма дешево. Въ крайнемъ случаѣ гусиное яйцо можно, конечно, замѣнять и куринымъ, но первое надо считать предпочтительнѣе, по количеству изливаемой жидкости.

И такъ, на другой день, подѣ вечеръ, въ то время, какъ я занимался исправленіемъ жеребчика, а Джаксонъ, наблюдая за успѣшнымъ ходомъ этой операци, прогуливался по двору со своей крючковой палкой, идетъ къ нему на встрѣчу Шишка Гусатый.

— Ты чего?—спросилъ его Джаксонъ.

— Нѣтъ, ми не до васъ... Ми до гаспипидинъ сперучникъ,—отвѣтилъ Шишка, потнувъ на меня головой.

— Комнѣ?—откликнулся я.—Никакихъ дѣлъ и отношеній съ тобой не имѣю ни по овсу, ни по сѣну; а впрочемъ—къ твоимъ услугамъ. Что скажешь?

— Жвините,—началъ онъ съ той сладко умиляющейся миной и ужимкой, которыя обыкновенно употребляетъ еврей, если хочетъ показать вамъ высшую степень вѣжливости и деликатности.

— Жвините, гаспипидинъ сперучникъ... будьте такіе ласкавыи, скажите минѣ снижалуста, сшто таково онъ будетъ издѣлать?

— Кто?—спросилъ я, не разобравъ хорошенько вопроса.

— Онъ,—повторилъ Шишка съ наивысшей деликатностью.

— Да кто такой онъ? Говори толкомъ!

Еврей помялся, и въ затрудненіи повелъ головой и плечами, какъ бы колебался внутренно—сказать, или не сказывать?

— Верона... произнесъ онъ наконецъ, тихо и отчасти смущенно, словно бы и самому ему стало конфузно за свой «бардзо деликатнѣй» вопросъ.

Я понялъ, но, въ виду этой Шишкиной «деликатности» довольно комическаго свойства, притворился, что не понимаю.

— Что такое?—переспрашиваю его снова.

— Верона...

— Какая ворона?

— Тѣмъ сшами, сшто будетъ переживать двоухъ гѣдовъ на своѣмъ жистю,—вымолвилъ Шишка, окончательно уже сконфузясь.

При видѣ этой фигуры и по свойству самаго вопроса мы съ майоромъ, не выдержали и оба покатались со смѣху.

— Хм!.. И то вамъ ув'сшмѣгхъ!—съ укоризной покачалъ еврей головой.—А кабъ ви побили въ моя сшкура, то вамъ би било нѣ до сшмѣгхъ!.. Бо ви жзнаите, гаспипидинъ майоръ,—приступилъ Шишка къ объясненію,—ви жзнаите, какъ сгадали они минѣ того сшаво жжа-

гадке, то я иду сабѣ по шляху ¹⁾ до дому, а сшамъ увше того мислю въ сшнавомъ голову ймѣю: «сшто таково будетъ онъ издѣлать?»—И я не додумалъ.—И напатомъ, якъ прійшелъ я вже до дому, и сядалъ до коляцыи ²⁾, и мине моя жженка поставила цалу миску ляпши, але-жкъ я ниж-адней лѣжки не скушилъ, бо увше думаю того сшаво мислю: «и сшто таково будетъ онъ издѣлать?»—И я не додумалъ. Ну, и напатомъ лягалъ я сшпать, але-жкъ такъ минѣ нудно, такъ нудно подѣ бебехемъ... и увше того сшаво мислю, якъ бы сшвердло у голову: «и-ну и сшто-жкъ таково будетъ онъ издѣлать!?! Богхъ мой, сшто таково!?! сшто таково!?!»—И я не додумалъ. И то минѣ даже въ стыдъ, бо я думаю сабѣ: я-жкъ не глупій чловѣкъ и не могу додумать сшавога прастово жжагадке! Н-ну и сшто таково!?! Ну, гхараснѣю!—обратился онъ вдругъ ко мнѣ самымъ рѣшительнымъ тономъ,—ви отдаєте мине деньгувъ празъ двоухъ недѣлювъ, и я на тымъ сшпаккойнѣ, бо они у гаспипидинъ майоръ въ шкатунке якъ у Богха за пазухемъ. Ну, и хай будетъ такъ. Я сшагласнѣй. Але-жкъ, гаспипидинъ сперучникъ... жвините, не нудѣте мине... скажите снижалуста, што таково будетъ онъ издѣлать?.. Ну, и сшто вамъ сштоить!.. Ну, и когда-жкъ я васъ прасшю!.. бо минѣ-жкъ такъ нудно, такъ нудно... ой-вай, якъ нудно!.. Снижалуста!

И онъ въ заключеніе скорчилъ самую несчастную, умоляющую рожу.

— Ну, ужъ такъ и быть!—согласился я со смѣхомъ.—Въ уваженіе твоихъ мученій, я тебѣ открою. Слушай.

— Н-но?! просіялъ вдругъ мой Шишка.

— Ворона...

— Н-но-но?—съ плуговатой подмижкой подставилъ онъ ухо.

— Послѣ того, какъ проживетъ два года...

— Нн-но??

И онъ весь преобразился въ нетерпѣливое, жадное вниманіе и любопытство.

— Начинаетъ жить третій годъ,—докончилъ я прерванную фразу.

Предоставляю вамъ самимъ вообразить себѣ то громадное смущенное удивленіе, которое запечатлѣлось и какъ бы застыло въ эту минуту на озадаченной фizioноміи ошеломленнаго Шишки. Въ первое мгновеніе, словно бы въ испугъ, онъ схватился обѣими руками за кончики своей рыжей бородки и, не выпуская ее изъ пальцевъ, уставился въ меня выпученными глазами.

— Та-акъ??—произнесъ онъ наконецъ послѣ минуты, въ своемъ родѣ, эффектнѣйшаго молчанія.

¹⁾ По дорогѣ.

²⁾ За ужинъ.

— Такъ, мой милый,—подтвердилъ я въ то-
нѣ, соотвѣтственномъ настроенію Шишка.

— Пфес... Гхарасшьо-о...

— Нравится?

— Гхарасшьо-о!..

— Доволенъ?

— Очинъ доволенъ!.. Благодарю вамъ, гаспи-
динъ сперучникъ,

— Ну, и значить, теперь, умудренный опы-
томъ, убирайся и приходи за деньгами черезъ
двѣ недѣли.

* *

Наконецъ, пришелъ и онъ, этотъ срокъ, на-
значенный мною. Въ теченіе этого времени
Шишка хотя и появлялся иногда у насъ на
фольваркѣ, по какому-либо дѣлу, но о день-
гахъ не заикался больше. Въ назначенный
день, получивъ изъ ящика свои деньги, Джек-
сонъ не только расплатился съ Шишкой, но
далъ ему еще сколько-то десятковъ рублей въ
счетъ будущихъ поставокъ. Расчетъ этотъ
происходилъ какъ разъ передъ обѣдомъ. Мис-
ка ботвиньи съ розоватою лососиною, только-
что привезенною майоромъ изъ города, аппе-
титно манила къ себѣ взоры—и мы усѣлись за
столъ.

Шишка тщательнымъ образомъ пересчиталъ
всѣ бумажки, аккуратно уложилъ ихъ въ свой
бумажникъ и, самодовольно спрятавъ его за па-
зуху, отошелъ къ дверямъ и помѣстился у косяка.

Въ совершенномъ молчаніи, которое свой-
ственно проголодавшимся людямъ, принялись
мы за нашу ботвинью, какъ вдругъ Шишка
фыркнулъ у двери, видимо сдерживая смѣхъ.

Мы взглянули на него съ нѣкоторымъ недо-
умѣніемъ, однако не сказали ни слова.

Но глядь—черезъ минуту опять то же смѣш-
ливое фырканье.

— Чему ты? обернулся на него Джексонъ.

— Живните, гаспидинъ майоръ, живи-
ните!—въ какомъ-то неудержимомъ восторгѣ
замахалъ онъ руками, словно бы подлетая на
цыпочкахъ къ нашему столу.—А жзнайте ви,
сшкѡлки пурцентовъ заработалъ я сабѣ на тыхъ
деньгахъ?

— На какихъ это?—спросилъ я.

— На тыхъ сшамихъ, сшто ви сказали ми-
нѣ «получи празъ двоухъ недѣлювъ».

— Да какъ же это, коли онѣ лежали у майо-
ра въ шкатулкѣ?

— Ну такъ, такъ! Они лягали у гаспидинъ
майоръ ув'шкатунке, а ми на нихъ пурценты
сабѣ работали. Ага!?

— Молодецъ, коли не врешь. Но какимъ же
образомъ?

— Додумайтѣ!—съ торжествомъ предложилъ
мнѣ Шишка.

— Чортъ тебя знаетъ!—пожалъ я плечами.—
Я ужъ тутъ ровно ничего не понимаю!

— Ага?! Не понимаетъ?.. Ну, то этое од-
значае, сшто натиперь то есть маво жкагадке!

— Расскажи, пожалуйста; это любопытно.

— Ага, то теперачки ви любопытнѣй! А якъ
я билъ любопытнѣй, то ви какъ мине нудили?..
га?.. Ну, гхарасшьо! Я буду добрыйшъ одъ
васъ. Сшлюхайте!..

И ставъ въ нѣсколько торжественную позу,
Шишка наскоро и ловко, однимъ мимолетнымъ
движеніемъ заворотилъ себѣ обшлагъ на лѣ-
вомъ рукавѣ и приступилъ къ разсказу.

— Живните, — началъ онъ «бардѡ дѣли-
катне». — Сшкѡлки недѣлювъ переходило одъ
вашего жкагадке?

— Двѣ недѣли,—отвѣчалъ я.

— Такъ. Двоухъ недѣлювъ Віѣрно. А сшкѡл-
ки на тымъ времени било ярманкувъ? ¹⁾.

— Ну, ужъ этого, братъ, не знаю.

— Ну, то я вамъ буду говорѣть; било ча-
тире ярманке: билъ базаръ на Сшкидель, билъ
базаръ на Езіоры, билъ на Крынки и на Ен-
дура ²⁾. И ми бѣхали сабѣ до увсѣхъ чати-
рохъ ярманкувъ; ми захѡдили до кѡрчмы, гдѣ
много есть зѣ-нашшихъ и много увсѣякаго на-
роду, и ми до увсѣхъ до нихъ говорѣли
такъ: «Гаспидида, живните! Выймайте каж-
дый члѡвѣкъ одного десѣнтке ³⁾, а я буду
выймать одного сшиненькаго бемазжке ⁴⁾, и
напатомъ я вамъ буду сгадовать одноге жка-
гадке. И гхто маво жкагадке сгадае, хай той
береть сшиненькаго бемазжке; гхто маво жка-
гадке не сгадае, я буду брать у того одного
десѣнтке. Гхарасшьо?» — «Гхарасшьо, говѡ-
рать,—хай будетъ такъ!» — Н-ну, выкладѣли
они минѣ сшвѡихъ десѣнткувъ; выкладѣлъ я
имъ маво сшиненькаго бемазжке, и напатомъ
говѡру: «Живните! Сшто начинается издѣлать
верона напосшлю того, якъ онъ будетъ пере-
живать двоухъ гѡдовъ на свѡемъ жистю?» —
Н-ну, и сшто ви сабѣ думае!.. Азжѣ ни
адинъ сшвѡлачъ не сказалъ минѣ сшто такого
онъ будетъ издѣлать!.. Забиралъ я натогда
тые десѣнтке, забиралъ сваво сшиненькаго
бемазжке, и такимъ сшспособемъ одъ чати-
рохъ ярманкувъ заработалъ сабѣ дванадцать рубли
пнятьдесюнтъ кипѣйкувъ чистаго пурценту!..
Благодару вамъ, гаспидинъ сперучникъ!..
благодару за науке!

И торжествующій Шишка отдалъ мнѣ глу-
бокій поклонъ съ видимымъ наслажденіемъ.

Послѣ этого, долго еще, при каждой встрѣчѣ
онъ деликатно и тайнственно останавливалъ
меня тихимъ вопросомъ:

— А сшто, чи нѣма у васъ ѣще какого
жкагадке про верона?

— Про ворону? Нѣтъ, братъ, говорю, не
имѣется.

— Ну, то якъ нѣма про верона, то може
есть про какого другого сшкатина?

¹⁾ Ярмарокъ.

²⁾ Названія мѣстечекъ Гродненской губерніи.

³⁾ Пять копеекъ.

⁴⁾ Пять рублей.

Полковья приживалки.

I.

Безсловесныя.

Какъ въ большихъ барскихъ домахъ, въ особенноти въ домахъ былого времени, такъ и въ большинствѣ нашихъ полковъ существовали, а кое-гдѣ еще и до сихъ поръ существуютъ особаго рода приживалки, столь органически входящія въ самый складъ быта и жизни, къ которымъ онѣ присосались, какъ улитки къ коралловому рифу, что безъ нихъ иногда даже невозможно представить себѣ подобнаго дома, или подобнаго полка, въ особенности, если это полкъ кавалерійскій. Приживалки эти бываютъ разныя: и въ образѣ человѣчьемъ, и въ образѣ безсловесныхъ—собакъ, козловъ, иногда птицъ и т. п.

Еще въ моей «Исторіи Ямбургскаго уланскаго полка» я долженъ былъ отмѣтить любовь къ животнымъ, какъ выдающуюся особенность, искони присущую нашимъ солдатамъ. И дѣйствительно, поднять на улицѣ въ грязи несчастнаго, голоднаго щенка, принести его въ эскадронъ и тамъ выкормить и выхолить—это была и есть одна изъ самыхъ характерныхъ чертъ солдатскаго добродушія. Такой выкормышъ становится уже эскадронною собственностью. Рядомъ съ любовью къ собакамъ шла любовь къ козламъ. При конюшнѣ эскадроннаго командира въ былые годы всегда жила эскадронный козелъ, общій любимецъ и забавникъ, состоящій тоже на общественномъ иждивеніи. Подразнить въ шутку козла, схватить за рога, закрутить его и заставить бодаться—это всегда было и есть одно изъ первыхъ удовольствій солдата въ досужую минуту. Въ послѣднее время козлы въ кавалерійскихъ полкахъ, къ сожалѣнію, начинаютъ выводиться изъ обычая, но въ прежніе годы эскадронные козлы, также точно какъ и собаки, бывало, дѣлають съ эскадрономъ всѣ походы, идутъ на ученья, на маневры и даже выходятъ на смотры и парады. И кажется, не было еще примѣра, чтобы удалось согнать съ плаца этихъ неизмѣнныхъ солдатскихъ спутниковъ: ни козелъ, ни собака ни за что не отойдутъ отъ своей части; куда часть, туда и они: часть несется въ атаку—и они лупятъ за нею; часть проходитъ церемоніальнымъ маршемъ—и они тоже парадируютъ впередъ, либо въ замкѣ, или на одномъ изъ фланговъ. Какъ тутъ ни бейся полицейскіе блюстители, какъ ни старайся прогонять ихъ съ плаца, все равно ничего не по-

дѣлаешь: прoderутся снова сквозь толпу и лягутъ на свое надлежащее мѣсто, такъ что ужъ, волей-неволей, полицейскимъ приходится терпѣть этотъ исконный безпорядокъ, мириться съ нимъ. А сколько этихъ вѣрныхъ псовъ погибло въ послѣднюю войну отъ пуль и осколковъ подъ Плевной, на Балканахъ... Они и тамъ были, и тамъ переносили всѣ труды и невзгоды вмѣстѣ со своими эскадронами и ротами.

Справить псу хорошій ошейникъ въ складчину, да если еще съ бубенчикомъ,—какъ это любо солдатамъ! Въ Ямбургскомъ полку, въ тридцатыхъ годахъ, при трубаческой командѣ жилъ на конюшнѣ огромный и очень красивый козелъ, надѣленный отъ природы прекрасною волнисто-бѣлою шерстью. Бывало, предъ какимъ-нибудь большимъ праздникомъ трубачи сводятъ его въ баню, вымоютъ, вычешутъ и выкрасятъ одинъ разъ сандаломъ, другой—синькой или инымъ какимъ-нибудь «красивомъ»,—и вотъ, на завтра гуляетъ себѣ до Бѣжецку трубачскій козелъ, весь розовый или голубой, на рогахъ разноцвѣтныя ленты развѣваются, а подъ длинною бородою бубенчики позвякивають.

Въ тѣ же годы служилъ въ Ямбургскомъ полку офицеръ, поручикъ Скворцовъ, который въ совершенствѣ умѣлъ подражать всевозможнымъ птичьимъ крикамъ и вывистамъ. Онъ былъ страстный любитель пернатыхъ и завелъ у себя большой птичникъ, гдѣ у него воспитывались и голуби, и сороки, и галки, и дрозды, и разная мелкая лѣвчая птишка. Онъ имѣлъ замѣчательный даръ приручать къ себѣ птицу и дѣлать ее послушно своему голосу. Идетъ ли гулять, или на конюшню,—прикажетъ раскрыть клѣтки, свистнетъ, и птицы всей стаей слетаются къ нему, щебечутъ, садятся на него и сопровождаютъ во время прогулки. Бывало, когда 3-й эскадронъ, въ которомъ состоялъ Скворцовъ, идетъ весеннимъ походомъ съ зимовки въ Бѣжецкъ, его весь походъ сопровождаютъ выпущенныя на волю скворцовскія птицы-лѣвчія, которыя выются надъ эскадрономъ, перепархиваютъ отъ одного всадника къ другому, безболѣзненно садятся на лошадей, на плечи, на шапки, на лики и поютъ—поютъ немолчно всѣми разнообразными своими голосами. Крестьяне попутныхъ деревень съ изумленіемъ обѣгались глядѣть на это диво-дивное; иные даже набожно крестились и замѣчали, что «видно эти солдатики чѣмъ ни есть Богу угодили,

что ихъ всякая птица Господня эдакъ-то любить!»

Помню тоже, въ 1868 году былъ кампанентъ подѣ Скиделемъ (мѣстечко Гродненской губерніи), и кампанентъ продолжительный: затынулся онъ что-то около двухъ съ половиною мѣсяцевъ. Нашему эскадрону довелось стоять въ деревнѣ Глинянахъ, а это совсѣмъ скверная, убогая чернорусская деревушка, брошенная въ глубокой пыли, на солнопѣхъ, среди песчаной почвы, у голаго глинистаго бережка какой-то тощей рѣченки; травка тамъ самая скудная и такая блеклая, что даже жидовскія козы брезгаютъ ею; нигдѣ по близости ни одного деревца, и съ утра до вечера ни малѣйшей тѣни, развѣ-что отъ хатъ короткими косяками ложится она на землю, но увы!—не дастъ оживляющей прохлады... Пыль, жара, духота и скука неисходная,—вотъ какова была милая стоянка! Вернешься къ полудню съ продолжительнаго ученія домой, усталый, размазанный отъ жары; отдохнешь немного, а затѣмъ—куда дѣваться? Развѣ въ Скидель отправиться? Да больше, пожалуй, и некуда. Что-жь, оцѣ бы ничего: до Скиделя лишь около четырехъ верстѣ будетъ, казалось бы, и немного, но... дорога такая скучная, ѳнылая, облысѣлая со всѣхъ сторонъ, что какъ подумаешь о ней да о томъ, что по такой песчаной голи придется сегодня снова четыре версты туда, да четыре обратно жариться на солнцѣ и глотать густую пыль, такъ и въ Скидель ѣхать вся охота отпадетъ, хотя тамъ и тѣни вволю найдется въ старомъ паркѣ князей Четвергинскихъ, да и развлечения существуютъ, въ видѣ набитаго офицерствомъ «заѣзднаго дома», съ кривымъ биллардомъ, гдѣ задаетъ концерты на гитарѣ какой-то заѣзжій итальянецъ, прозванный кѣмъ-то и почему-то «le rara», въ сообществѣ съ двумя потертыми, безголосыми пѣвцами. Но какъ раздумаешься, то и тамъ, въ сущности, все то же, все давно знакомое, надѣвшее даже. *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*.. А между тѣмъ, лѣнь и скука доходятъ просто до одуренія. Чтѣ бы такое выдумать?.. Читатъ бы, что ли? Но ужъ мы, отъ нечего дѣлать, всѣ книжки, какія нашлись у скидельскаго батюшки, всѣ старыя газеты и въ нихъ всѣ качевскія объявленія съ «дождались» и проч., всѣ капсюли Матико, всѣ мальцѣ-экстракты Иоганна Гоффа—все это сплошь и вдоль и поперекъ перечитали, чуть ли даже не наизусть ихъ вызубрили, такъ что и чтеніе, подѣ конецъ, противно становится. Правда, существуетъ одна всеобщая панацея отъ скуки—карточный столъ; но у насъ въ эскадронѣ, какъ на подборъ, собралась все такая компанія, что изъ пяти человѣкъ только двое умѣли играть въ карты. Засядутъ они въ пикетъ, а остальнымъ тремъ отъ скуки да отъ-мухъ все же погибать приходится.

Только и было одно развлеченіе, что къ вечеру, какъ спадетъ нѣсколько жара, ожидаемъ мы, пока не придетъ тотъ или другой изъ денщиковъ доложить, что, молъ, «ваши благородія, череда йдетъ!» Это значитъ, домашній скотъ, а главное—овечья отара глинянская на ночлегъ домой возвращается. Выйдемъ мы тутъ всѣ, сколько насъ ни есть, къ околицѣ, навстрѣчу чередѣ, а двое денщиковъ сзади чумбуры несутъ. Стадо воловъ и коровъ съ телятами и поросятъ со свиньями пропустимъ въ околицу безпрепятственно; овечью же отару, пока проходитъ весь этотъ скотъ, денщики да охочіе солдатики тщательно отъ воротъ хворостинками отгоняютъ, чтобы преждевременно ни одна овца впередъ не совалась. А чуть пройдетъ воловьѣ п свиное стадо, тутъ сейчасъ денщики въ воротахъ поперекъ пути натягиваютъ чумбуръ, въ видѣ барьера, четверти на двѣ отъ земли, и тогда начинается наше ежевечернее единственное развлеченіе: старый круторогій баранъ-передовикъ пододѣтъ къ чумбуру, и здѣсь, наткнувшись на неожиданное препятствіе, упрется передъ нимъ лбомъ, а потомъ вдругъ отчаянно скокъ черезъ чумбуръ!—и если скачокъ совершился благополучно, баранъ не запнулся, то за нимъ все стадо начинаетъ правильную скачку черезъ барьеръ справа по одному, галопомъ. За нимъѣнемъ лучшаго, и это сходило за потѣху.

Но вскорѣ къ сему скудному развлеченію прибавилось еще и другое.

Какъ-то разъ подѣ вечеръ входитъ къ намъ вахмистръ, только-что возвратившійся на артельныхъ лошадахъ изъ Скиделя, а самъ что-то подѣ полой бережно держитъ, и на лицѣ его изображается нѣчто чрезвычайное, многодольное, почти торжественное.

— Ихъ высокоблагородію, господину майору, и вашимъ благородіямъ,—говоритъ онъ,—отъ скидельскаго батюшки сосунка привезъ. Они мнѣ наказывали, значитъ, что кланіісяде отъ меня господамъ и скажи, молъ, батюшка въ подарокъ шлютъ.

И доставъ изъ-подѣ полы торбу, вахмистръ, встрясъ изъ нея на полъ молодого поросенка.

Прекрасный оказался поросенокъ! Рыльце розовое, хвостикъ винтомъ, взгляды олицетворенной невинности и безпечалія, а самъ весь пестренькій: бѣлая шерстка и по ней мелкая черная крапинка, словно кистью брызгнута.

— Вотъ и жаркое на завтра!—воскликнулъ нашъ майоръ, вообще склонный глядѣть на весь міръ Божій съ самой прозаической точки зрѣнія.

Но мы всѣмъ огуломъ стали протестовать противъ такого радикальнаго рѣшенія.

— Какъ можно такъ безжалостно заколотъ столь прекрасное и невинное созданіе!.. Жаркое, какое ни-на-есть, завтра, во всякомъ случаѣ, будетъ, а сосунокъ... сосунокъ едва-ли

три недѣли, какъ узрѣлъ свѣтъ, и ему, вѣроятно, жить еще хочется... Младенецъ!.. И во вниманіе ко младенческому возрасту, его надо пощадить, и тѣмъ болѣе, что онъ такой красавецъ, такой чистенькій! Нѣтъ, заколотъ батюшкина сосунка рѣшительно невозможно! Пусть его живетъ и наслаждается жизнью! Будемъ его отпаивать молокомъ, будемъ его кормить, холить, дадимъ приличное воспитаніе, выдрессируемъ его, и пусть онъ живетъ пока въ утѣшеніе всѣмъ намъ отъ скуки, а со временемъ пускай будетъ эскадронною свиньею!

Такъ было рѣшено общимъ мнѣніемъ субалтернъ-офицеровъ, и майоръ легко сдался на общій голосъ, тѣмъ болѣе, что и вахмистръ, со своей стороны, соблазнялъ видами на будущее:

— Оченно ужъ хорошее поросѣ! Словно какъ дите малое! Жалко-съ!.. Пушай ужъ, ваше высокоблагородіе, около эскадроннаго котла покормится пока на кухнѣ, а тамъ, дастъ Богъ, выкормимъ,—по крайности, окорокѣ, да колбасы здоровыя выйдутъ, и при томъ свои же, не купленные! Оно и людямъ пріятно будетъ разговѣться съ филиповокъ, да и господа покупаютъ.

Однимъ словомъ, рѣшено было оставить сосунка въ живыхъ на воспитаніе—и такимъ образомъ у насъ неожиданно былъ обрѣтенъ источникъ новаго развлеченія среди неисходной глинянской скуки.

Прозвали его офицеры Сусомъ, отъ латинскаго *sus*, но солдаты—ужъ кто ихъ знаетъ, почему—сами по себѣ дали вдругъ Сусу кличку, повидимому, совершенно не подходящую и для многихъ почтенныхъ людей, быть можетъ, даже небезобидную; тѣмъ не менѣе, намъ пришлось имъ уступить въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ наше «Сусъ» оказалось на практикѣ окончательно непригоднымъ, и даже до такой степени, что самъ поросенокъ никогда на «Суса» не откликался, не затрудняясь, однако, идти на двѣ несравненно болѣе сложныя клички, данныя ему солдатами. Выдумали они вдругъ называть его то «Прокураторомъ», то «Аблакатомъ». Почему такъ? Почему непременно «Прокураторъ» или «Аблакатъ», а не иначе какъ? Разгадка въ томъ, что у насъ въ эскадронѣ съ давнихъ поръ существовали два коня хорошей вѣзды, и тѣло держали прекрасно, только не особенно казистые: было въ ихъ наружности нѣчто свинювидное, и эти-то два коня по эскадронному конскому списку числились подъ случайными названіями «Прокураторъ» и «Адвакатъ». Съ этого и пошла у солдатъ кличка поросенку. И что же? Къ общему нашему удивленію, поросенокъ охотно шелъ и на «Прокурата» и на «Аблаката», а зовешь его, бывало, «Сусъ», онъ, что-называется, и въ усь себѣ не дуеетъ, словно бы эта послѣдняя кличка вовсе не къ нему относится. Такимъ образомъ, поневолѣ, при-

шлось и намъ звать его «Аблакатомъ». И вотъ, въ самомъ непродолжительномъ времени этотъ «Прокураторъ» или «Аблакатъ» сдѣлался общимъ любимцемъ какъ солдатъ, такъ и офицеровъ. Впрочемъ, онъ и жилъ пока преимущественно на офицерскомъ дворѣ, гдѣ ему ежедневно преподавались уроки надлежащаго воспитанія и дрессировки. Этимъ послѣднимъ предметомъ занимались преимущественно денщики да конюхи, къ которымъ, впрочемъ, нерѣдко присоединялись и солдаты въ свободную минуту. Стали они учить поросенка «манежной вѣздѣ», и мало-по-малу, выучили ходить всѣми аллюрами, по командѣ—шагомъ, рысью и даже собраннымъ курцъ-галопомъ. Продѣлывалъ у нихъ поросенокъ—по-своему, конечно,—даже траверсы съ ранверсами и чуть ли не всю манежную премудрость себѣ усвоилъ. Бывало, командуютъ ему: «рысью!»—идетъ поросенокъ рысью. «Вольтъ направо, маршъ!»—дѣлаетъ вольтъ направо. «Вольтъ налѣво!»—дѣлаетъ вольтъ налѣво. «Направо назадъ», «налѣво назадъ», «принимай направо», «принимай налѣво», «черезъ манежъ» и прочее,—поросенокъ все это продѣлываетъ самымъ исправнымъ образомъ. Было же, подумаешь, у людей и терпѣніе, и охота отъ скуки!.. Выучили они его прыгать сначала черезъ подставленные кольцообразно руки, какъ кота, потомъ черезъ палку, черезъ обручъ и вообще научили отлично бить всакій барьеръ, вышиною сообразной, конечно, поросенку росту и складу. Прошелъ съ небольшимъ мѣсяцъ, а уже нашъ поросенокъ по вечерамъ идетъ, бывало, черезъ чумбуръ въ околицу первымъ нумеромъ, впереди всей овечьей отары. Необыкновенно понятливое животное оказалось. Вахмистръ даже въ умиленіе приходилъ.

— Ахъ, ваше благородіе! Если бы этое поросѣ, къ примѣру сказать, агличанамъ, да въ циркъ продать—большія бы деньги дали!

Всѣ солдаты были того же убѣжденія. Приѣзжалъ однажды къ намъ въ гости и батюшка скидальскій, нарочно за тѣмъ, чтобы взглянуть на свой подарокъ, о необычайныхъ свойствахъ котораго и до него дошла стоустая молва. Заставили солдаты поросенка и передъ батюшкой явить свое искусство. И явилъ, выдержавъ этотъ экзаменъ съ толикою честію, что батюшка только руками развелъ и заявилъ намъ, что «подлинно сказать, феноменальный поросенокъ... даже можно сказать, геніальный поросенокъ!»

— Ахъ, батюшка!—вмѣшался вахмистръ,—я вотъ и докладываю господамъ, что кабы этое поросѣ да агличанамъ...

— Англичанамъ?—подхватилъ батюшка;—это правильно. Англичане его сейчасъ бы въ газетахъ пропечатали, портретъ помѣстили бы, а потомъ на всемірную выставку, и медаль ему золотую пожаловали бы «за преуспѣваніе и

искусство»... Есть такая медаль, «Honoris causa» прозывается.

— Нѣтъ, что медаль! А я говорю, что деньги большія дали бы! — доказывалъ вахмистръ.

— Да-а, это точно, и деньги, непременно деньги! — соглашался батюшка, — потому что у нихъ первымъ дѣломъ пари! Сейчасъ пари на этого поросенка, и кто выигралъ пари, тотъ и получаетъ кушъ фунтовъ стерлинговъ.

— А н, батюшка, такъ думаю, что, кабы намъ этого «Прокурата», къ примѣру сказать, по начальству представить при депортѣ, что вотъ, молъ, какъ достигаютъ, стараются въ 1-мъ эскадронѣ, дескать, не токма-что лошадей, а и поросятъ выѣзжаютъ... Вѣдь только подумать: вся манежная ѣзда, какъ есть вся — шутка сказать! Поросенокъ... Я такъ полагаю, что, можетъ, и поощреніе какое вышло бы...

— Ну, это ужъ дѣло, отъ нашего разумнѣя независящее, — развелъ руками батюшка. — Потому, ежели что до начальства, то это надо на предварительное разсмотрѣніе господъ офицеровъ повергнуть; а что англичане — ну, это другое дѣло! Это точно-что! Тутъ и медаль, и деньги большія!

Между тѣмъ, время шло, и пока вахмистръ прикидывалъ умомъ то насчетъ англичанъ, то насчетъ начальства, «Прокурать» оказывалъ дальнѣйшіе успѣхи въ развитіи своего искусства. Но высшая школа, высшій предѣлъ или, такъ сказать, вѣнецъ всей его премудрости оказался въ томъ, что юный «Прокурать», по собственной инициативѣ, никѣмъ не побуждаемый, вдругъ чрезвычайно возлюбилъ бѣгать съ денщиками въ корчму за водкой. Чуть лишь завидитъ, что денщики «съ посудиною» направляются къ корчмѣ, онъ со всѣхъ ногъ пускается вдругъ въ карьеръ и съ торжествующимъ визгомъ лупитъ впереди ихъ туда же. Оказалось, что шинкарка, тоже облюбившая нашего «Прокурата», каждый разъ, что придуть къ ней денщики, прикармливала его картофелемъ-недорождкомъ — бываетъ такой мелюзга-картофель, величиной не болѣе, какъ съ вишню, который въ Западномъ краѣ идетъ исключительно на кормъ убойнымъ свиньямъ. «Прокурать» же повсюду бѣгалъ за денщиками, совершенно какъ собака, и что замѣчательно, — ни съ одной изъ глиняскихъ свиней не хотѣлъ знаться, пренебрегалъ ихъ компаніей и вообще не желалъ имѣть съ сородичами никакого совместнаго дѣла, даже и по части землеройства въ навозныхъ кучахъ предпочиталъ уединеніе.

Кончился, наконецъ, долгій и скучный кампанентъ; нашъ эскадронъ пошелъ на два мѣсяца въ полковой штабъ для караульной службы, потомъ отправился въ глушь, за сто верстъ отъ штаба, на зимнія квартиры. — «Прокурать» все это время оставался при эскадронной кухнѣ, выросъ, растолстѣлъ, возмужалъ, — словомъ, сдѣ-

лался настоящей свиньей, но увь! — съ ходомъ возмужалости, его необыкновенныя способности къ «манежной ѣздѣ» и вообще острота пониманія стали все болѣе и болѣе притупляться, а вмѣстѣ съ тѣмъ и природныя привычки его прародителей постепенно возобладали надъ прививными качествами эскадронной культуры и цивилизаціи. Даже самъ вахмистръ разлюбилъ, наконецъ, «Прокурата» и все чаще и чаще сталъ подумывать объ окорокахъ да колбасахъ на предстоящія святки.

— Вамъ высокоблагородіе, съ «Прокуратомъ» надо бы порѣшить, — докладывалъ онъ майору. — Сами изволите видѣть, какой съ его прокъ! Никакой забавы, а жретъ за добрыхъ троихъ свиней, поди-ка. Всю манежную выѣздку позабылъ, какъ есть всему разучился, и, то-ись, ни вольтовъ не понимаетъ больше, нп барьера не беретъ, ни команды не слушаетъ — ну, ничего, какъ есть ничего знать не желаетъ. Одно слово — заколотъ его и вся недолга!

Но не пришлось мяснику наложить руку на эскадроннаго вскормленца и нѣкогда общаго любимца. «Прокурать» погибъ хотя и трагической смертію, но не отъ ножа мясничьяго. Какъ-то разъ, въ ростепель мягкаго зимняго утра, гуляя, по обыкновенію, на улицѣ, забрелъ онъ за околицу, въ поле, и тамъ былъ загрызень полѣсовищичьими собаками. Только къ вечеру, да и то случайно, узнали въ эскадронѣ о печальной судьбѣ, постигшей «Прокурата», и приволокли на салазкахъ окоченѣлый трупъ его, весь истерзаный, искусаый, съ перегрызеннымъ горломъ... Такимъ образомъ, не сбылись и надежды вахмистра на вкусные окорока и колбасы.

* * *

На эскадронномъ иждивеніи живутъ иногда орлы, ястребы, совы, барсуки, волчата, медвѣжата. О собакѣ нечего и говорить: это неизмѣнный другъ эскадронной и офицерской жизни. Между друзьями послѣдней категоріи въ особенности вспоминается мяѣ прекрасный волнисто-бѣлый пудель «Коньякъ», принадлежавшій одному изъ нашихъ однобригадцевъ Владимірскаго полка штабсъ-ротмистру барону Унгерну.

Во время большихъ лагерныхъ сборовъ къ намъ всегда наѣзжала «въ усиленномъ составѣ» какая-нибудь провинціальная драматическая труппа, которая открывала рядъ представленій въ городскомъ театрѣ. Главнѣйшій доходъ театру доставляло, конечно, многочисленное офицерство, являвшее собой почти исключительный контингентъ театралныхъ посѣтителей. Эти спектакли далеко не блистали изяществомъ и выдающимися талантами, недостатокъ которыхъ «усиленный составъ» труппы обыкновенно старался восполнить разными трико, откровенными дебардерами, декольтированными плечами и еще болѣе декольтированными куплетами, равно какъ и отчаяннымъ канканомъ, который

являлся неизбежным заключением каждого представления, даже постъ самой раздирательной мелодрамы. Нѣсколько нашихъ одобрительныхъ гадцевъ, и въ томъ числѣ баронъ Унгернъ, обыкновенно абонировались на крайнюю литерную ложу бенуара, низенькій барьеръ которой выходилъ прямо на сцену. Въ числѣ посѣтителей этой ложи неизмѣнно являлся и пудель «Коньякъ».

Ужъ чего-чего, бывало, не дѣлалъ съ нимъ баронъ Унгернъ, чтобы отвадить его отъ театра!.. И гнали-то его изъ ложи, и полицейскимъ-то поручали надзирать, чтобы «Коньякъ» не пробирался съ подѣзда въ театральные корридоры, и хлыстомъ, и пинкомъ выпроваживали изъ этихъ корридоровъ, и дома-то пытались оставлять его подъ замкомъ—ничто не помогало! Оставляютъ его на попеченіе денщиковъ, «Коньякъ» ухитрится какъ-нибудь тайкомъ убѣжать отъ денщиковъ и явится-таки въ театрѣ; запертъ, бывало, его въ квартирѣ, «Коньякъ» подыметъ такой неистовый вой, что переполюшитъ всѣхъ сосѣдей, а разъ было даже выбилъ стекло въ окнѣ и съ окровавленными лапами и мордой приближалъ-таки къ серединѣ спектакля. Прогонять, бывало, его изъ ложи; онъ обѣжитъ кругомъ, проникнетъ театральнымъ дворикомъ, черезъ задній ходъ, мимо бухгалтерской и уборныхъ на сцену и прошмыгнетъ-таки изъ-за кулисъ въ литерную ложу; отгонитъ его полицейскій отъ главнаго подѣзда, онъ все же найдетъ возможность какъ ни-на-есть прокрасться въ корридоръ и осторожно постучаться лапой или мордой въ запертую дверь заветной ложи. Офицеры, предполагая, что это кто-нибудь изъ товарищей, откроютъ дверь, и «Коньякъ» стремительно врывается къ нимъ и занимаетъ свое мѣсто. Тутъ уже мудро было его выпроводить, не подымая шума. Мѣры кротости оказывались безсильными, мѣры строгости вызывали визгъ, вой и рычаніе. И добро бы, это была въ немъ такая привязанность къ самому хозяину, котораго «Коньякъ», дѣйствительно, очень любилъ, но нѣтъ, тутъ дѣйствовала неуправляемая страсть къ самому театру, къ зрѣлищу. Еслибы «Коньякомъ» руководило только первое чувство, то онъ, достигнувъ цѣли своихъ стремленій, конечно, удовольствовался бы тѣмъ, что, заперевъ подъ стулъ барона Унгерна, свернулся бы тамъ въ комокъ и спалъ себѣ преспокойно до конца спектакля; «Коньякъ» же, напротивъ, чуть лишь попадалъ въ ложу, какъ стремился сѣсть на стулъ и, на виду всей публики, принимался внимательно созерцать все происходящее на сценѣ.

Обычная театральная публика такъ уже привыкла видѣть «Коньяка» въ числѣ зрителей что присутствіе его на обычномъ мѣстѣ доставляло ей только одно лишнее развлеченіе, не лишнее своей веселости. И въ самомъ дѣлѣ, не безынтересно было взглянуть порою, какъ

умные глаза красивой собаки внимательно и съ такою сосредоточенною серьезностью слѣдятъ за дѣйствіями на сценѣ. Когда начинали аплодировать и вызывать актеровъ, «Коньякъ» тоже присоединялся къ публикѣ и отрывистымъ лаемъ выражалъ свое одобреніе. Впрочемъ, къ этому тоже всѣ привыкли и потѣшались собачьими «bis» и «bravo».

Но иногда не обходилось и безъ болѣе крупныхъ, хотя совершенно невинныхъ скандаловъ, доставлявшихъ собою зрителямъ источникъ веселаго смѣха. Такъ, напримѣръ, въ одномъ водевилѣ, которой носитъ названіе—что-то въ родѣ «Ампишки» или «Мимишки», на сценѣ должна появляться комнатная собачка—любимица героини водевиля. При появленіи этого дѣйствующаго лица изъ безсловесныхъ «Коньякъ» первымъ дѣломъ прыгнулъ черезъ барьеръ на сцену и, какъ галантный кавалеръ, тотчасъ же сталъ знакомиться съ хорошенькой болонкой, по всѣмъ правиламъ собачьей вѣжливости. Въ публикѣ, конечно, взрывъ веселаго хохота, между актерами замѣнительство. Принимаются гнать «Коньяка» со сцены, и онъ не протестуя, покорно удаляется въ свою ложу, преспокойно садится на свой стулъ и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ съ прежнимъ вниманіемъ созерцать пѣсью.

Въ другой разъ шелъ какой-то водевилъ, гдѣ храбрый любовникъ, въ однихъ чулкахъ, прычетъ отъ ревниваго мужа подъ столъ, покрытый ниспадающею до пола скатертью. Ревнивый мужъ, видъ себя отъ ярости, съ палкой въ рукахъ, мечется по сценѣ, отыскивая своего соперника, заглядываетъ во всѣ углы и все не находитъ его, какъ вдругъ на помощь ревнивому мужу является изъ ложи «Коньякъ», и начинаетъ дѣлать передъ столомъ стойку, какъ бы указывая недогадливому своимъ ворчаньемъ и лаемъ, что вотъ, молъ, гдѣ находится тотъ, кого ты ищешь. Храбрый любовникъ, чувствуя, что зубы «Коньяка» могутъ угрожать его пяткамъ, поспѣшнѣе сценическихъ ударовъ палкой, выскакиваетъ изъ подъ стола и—давай Богъ ноги поскорѣе со сцены! Торжествующій «Коньякъ» за нимъ. Въ публикѣ разумѣется хохотъ, аплодисменты и крики: «браво, «Коньякъ», браво!» «Коньякъ», прогнавъ со сцены храбраго любовника, поворачивается къ зрителямъ и, ставъ передъ суфлерской будкой, принимается лаять на публику, какъ бы выражая свою собачью благодарность за ея единодушныя поощрительныя вызовы.

Съ тѣхъ поръ уже, бывало, какъ только на сценѣ идетъ кака-нибудь суматоха или начинаютъ выплясывать канканъ, «Коньяка» приходится сильно держать за ошейникъ, а то такъ и гляди, что прыгнетъ на сцену и пустится отличатся въ танцахъ, гоняясь за юбками декольтированныхъ актрисокъ.

За эту-то замѣчательную страсть къ театру «Коньякъ» и получилъ прозвище «великаго театрала».

* * *

Кромѣ собакъ, молодыхъ звѣренышей и хищныхъ птицъ, офицеры нерѣдко заводятъ у себя и черепахъ, которыя угрюмо обитаютъ въ какомъ-нибудь темномъ углу офицерской комнаты, подолгу не употребляя рѣшительно никакой пищи. Рассказываютъ, что одинъ изъ нашихъ юнкеровъ однажды сдѣлалъ даже очень удачный опытъ прирученія и дрессировки ужа, который долгое время жилъ съ нимъ вмѣстѣ въ его квартирѣ и особенно любилъ покоиться въ тепломъ карманѣ мѣхового халата. Достался онъ этому юнкеру въ подарокъ еще маленькимъ уженкомъ, не болѣе трехъ вершковъ длиной: дядька въ свои именины преподнесъ его завернутымъ въ чистый платокъ, вмѣсто именниннаго кренделя, въ надеждѣ получить рубль на водку, такъ какъ зналъ, что юнкеру давно уже хотѣлось имѣть у себя ужа; нарочно, ради этого, поймалъ въ парникахъ и представилъ. Съ тѣхъ поръ началось воспитаніе уженка, котораго года за полтора жизни вытянуло въ длинную плеть, около аршина.

Къ чему вы держите у себя такую гадину?—спросили какъ-то воспитателя.

— Отличное средство противу кредиторовъ!—отвѣчалъ юнкерь.—Сами вы знаете, господа, что въ мірѣ нѣтъ ничего несноснѣе лавочницы или факторши-еврейки, которой вы имѣли несчастье задолжать нѣсколько рублей за табакъ или за сахаръ. Ходитъ она, ходитъ, и можетъ быть увѣрены, что каждое утро непременно застанете ее у себя въ прихожей, какъ неизбѣжное тѣмело *morgi*. «Не ходи ты ко мнѣ, мадамъ, говоришь ей, нѣтъ теперь ни конейки! Подожди; вѣдь сама ты лучше меня знаешь, что къ такому-то числу мнѣ всегда присылаютъ изъ дому деньги,—ну и подожди недѣлю!» Еврея—того всегда можно урезонить; но еврейка ничего этого не хочетъ понимать: ей просто наслажденіе какое-то доставляетъ придти къ вамъ каждое утро, надѣдать своей особой, смотрѣть, что вы дѣлаете, сколько стакановъ чаю выпьете, какую сорочку надѣваете; слушать, что вы говорите; видѣть, кто и зачѣмъ къ вамъ приходитъ и, въ то же время, назойливо повторять вамъ со вздохами:

— А кеды жъ я зъ васъ моихъ деньгувъ полѹчи?.. Я же такая сшлябая на ждаровье, а ви гхочите, кабъ я увше до васъ гходила!

Вы согласитесь, что это, наконецъ, можетъ надѣсть до смерти.

Вотъ тутъ-то юнкерь и рѣшился завести у себя радикальное средство. Какъ появится эдакая надѣдалыцица и начнетъ приставать, не слушая никакихъ резоновъ, онъ ей сейчасъ говоритъ:

— Такъ вы, мадамъ, непремѣнно желаете получить сію же минуту?

— Дайте, сшто можжетъ!

— Ну, извольте! Все, что могу и все, что имѣю—отдамъ съ удовольствіемъ! Держите пригоршни!

Та и рада: подставить обѣ руки и ждать, а тотъ ей изъ кармана и выложить передъ самымъ носомъ живого ужа.

— Извольте, мадамъ! Получайте!.. Все, что имѣю!

Ужъ конечно, изовьется, раскроетъ пасть, засинитъ, а мадамъ какъ заоретъ благимъ матомъ, да давай Богъ ноги!

— Хай имъ чортъ!—говоритъ,—позаволили у сшибе увъ квартару зжмѣювъ и увспякаго трѣфу; болшь и гхадить до нихъ не можна!

Только этимъ и избавился юнкерь.

Потомъ, какъ прислали ему изъ дому деньги, встрѣчаетъ онъ эту мадамъ на улицѣ: «Получайте, говоритъ, мой долгъ за сахаръ», и даетъ ей деньги. Куда тебѣ! Мадамъ и слушать ничего не хочетъ:

— Нѣтъ, нѣтъ! Ви минѣ зжмѣювъ, а не деньгувъ будете давать! Не гхочу!

Насилу разубѣдиль, да и то только при помощи соблазнительнаго вида синенькихъ асигнацій.

Съ тѣхъ поръ, вообще, когда приходили къ нему кредиторы «зъ насшихъ», то напередъ, осторожно всунувъ кончикъ носа въ чуть-чуть пріотворенную дверь, освѣдомлялись у чело-
вѣка:

— А сшто, чи зжмѣя васши дома?

— Дома,—говоритъ,—дома!

— Ну, то до сшвиданья вамъ!.. Скажите, сшто ми загходили!

А сами ужъ и не дерзали переступить порога юнкерской комнаты.

II.

Донъ-Сезарь де-Базанъ.

Изъ приживалокъ, принадлежащихъ къ роду, извѣстному въ зоологій подъ названіемъ *Homosapiens*, двѣ личности особенно выдаются въ моей памяти, хотя ни та, ни другая не имѣли между собой ничего общаго, если не считать самое приживальство, какъ *raison d'être*, какъ способъ и цѣль самаго ихъ существованія. Одинъ былъ полякъ, другой—русакъ закоренѣлый; одинъ старался походить на маркиза Поуа, другой былъ въ сущности Ноздревъ, но Ноздревъ, пришибленный жизнью; одного мы прозвали въ полку Донъ-Сезарь де-Базаномъ, другой самъ себя называлъ баши-бузукомъ. Оба они достойны были состраданія, не знаю только который больше.

Донъ-Сезарь де-Базанъ, дворянинъ испанскій, иначе Юзіо (его крестное имя Юзефъ), былъ

жертвой той злосчастной эпохи, которая со-
здавала польское возстаніе 1863 г. и его послѣд-
ствія. Онъ былъ шляхтичъ «родовиты одъ по-
топу», но бѣдный, и захудалость его произо-
шла не по его собственной винѣ, а перешла къ
нему въ видѣ наслѣдства отъ родителя; но у
него сохранились родственныя связи и сослов-
ныя отношенія къ нѣкоторымъ изъ тузовъ
мѣстнаго дворянства. Онъ получилъ «свѣтское»
воспитаніе, недурно владѣлъ французскимъ
языкомъ, недурно игралъ на роялѣ, недурно
пѣлъ, хорошо декламировалъ польскихъ поэ-
товъ, отлично вальсировалъ и полькировалъ,
превосходно плясалъ мазурку, обладалъ при-
роднымъ стремленіемъ къ «хорошимъ привыч-
камъ», изящному костюму, гастрономическому
столу и тонкимъ винамъ, къ «воздуху свѣт-
скихъ гостиныхъ» и, вообще, къ «хорошему
тону». Всѣ эти блага сопровождали его дѣтство,
и всѣхъ оныхъ благъ лишился онъ съ раз-
рывомъ юности: смерть отца круто и сразу
произвела роковой крахъ, который вынудилъ
его бѣдную мать и молодую красивую сестру
идти жить въ «люди», на хлѣбъ изъ милости,
въ незавидномъ зависимомъ положеніи «бѣд-
ныхъ родственниковъ», самъ же Юзіо... Увы!
Къ чему послужили всѣ его задатки свѣтскихъ
пріятныхъ талантовъ и способностей!.. Юзіо
очутился въ безпомощномъ положеніи. Вчера
еще неслазущій дворянинъ, молодой сибаритъ,
мѣстный левъ и денди, сегодня онъ, неспо-
собный ни къ какому положительному, упорно-
му труду, позналъ вполнѣ, что такое значить
существованіе бездомной собаки. Впрочемъ, на
первый разъ вытянули изъ омута собачей
жизни и поставили его на ноги все тѣ же со-
словныя отношенія и родственныя связи съ
мѣстными тузами. Тузамъ удалось втиснуть
его чиновникомъ для письма въ губернатор-
скую канцелярію, а потомъ, съ выслугою въ
чинъ, они устроили ему даже положеніе гу-
бернаторскаго чиновника для особыхъ поруче-
ній, причемъ и его свѣтскіе пріятные таланты
легко могли бы найти себѣ достоюлжное при-
мѣненіе. Чиновникъ для особыхъ порученій—
это уже было *нѣчто*, съ этимъ соединялись
виды на будущую карьеру, на кусокъ хлѣба,
на самостоятельное существованіе, быть мо-
жетъ, даже на небезвыгодную женитьбу. Но
тутъ, на бѣду, подошло возстаніе. Юзіо былъ
на столько благоразуменъ, что «не утекъ до
мясу», равно какъ и оставаясь на коронной
службѣ, не сдѣлалъ никакой подпольной кавер-
зы на пользу «свентей sprawy»; онъ только,
такъ сказать, принялъ долгу, затаился, въ
расчетъ, что авось-либо про меня не вспо-
мнѣть, пока не пронесется вся эта буря, — и
вотъ, въ силу такого пассивнаго отношенія къ
«общему дѣлу», его сочли «дурнымъ патри-
отомъ»; знатные «родѣки» отъ него отшатну-
лись, а при новыхъ административныхъ поряд-

кахъ онъ не могъ остаться на своемъ служеб-
номъ мѣстѣ, какъ католикъ. Правда, существо-
вало одно средство, которое весьма много и
успѣшно эксплуатировалось въ то время: сто-
ило лишь сдѣлаться «Паномъ Пшепендовскимъ»,
т. е. «навrócićсь на православье», но Юзіо
не прибѣгнулъ къ нему и былъ оставленъ за
штатомъ.

Вотъ когда началось для него каторжное,
истинно собачье существованіе! Въ край по-
наѣхали новые люди изъ Россіи, которые чуж-
дались его, какъ поляка; свои же чуждались
какъ «злемыслѣнцѣго», и бѣдный Юзіо, безъ
почвы, безъ поддержки, повисъ на воздухѣ
между тѣми и другими. Положеніе ужасное,
роковое!..

Но тутъ, на его счастье, вскорѣ пришелъ
изъ Великороссіи нашъ полкъ, двинутый, въ
составѣ 7-й кавалерійской дивизіи, въ Запад-
ный край, на смѣну частямъ, черезчуръ
уже долго застоявшимся въ этомъ краѣ. Офи-
церы, въ большинствѣ своемъ, народъ добрый,
покладистый, мало думающій о политикѣ или,
лучше сказать, вовсе не занимающійся ею, за
исключеніемъ, конечно, людей опытныхъ, иску-
шенныхъ жизнью и научившихся относиться
къ ней серьезно беззаветной молодежи. Въ
воображеніи этой послѣдней Западный край
представлялся въ стародавнихъ образахъ злато-
кудрыхъ разбитныхъ паненкогъ, въ грохотѣ
размашистыхъ фигуръ лихой мазурки, въ раз-
дольи поэтическихъ «маювокъ» ¹⁾, въ «роман-
сованья» съ миловидными поляками, а также
въ образѣ услужливыхъ евреевъ-факторовъ, ко-
торыхъ иногда можно, для острастки, потаскать
за пейсы; представлялся этотъ завѣтный край
и въ видѣ прекрасныхъ охотъ на «сарнѣ» и
«дзиковъ» ²⁾ въ дѣвственныхъ пущахъ, и въ
видѣ веселыхъ поѣздокъ въ гости по помѣщи-
камъ, по мястечковымъ ярмаркамъ и, нако-
нецъ, кромѣ всѣхъ этихъ прелестей, мелькала
въ умахъ пріятная надежда на возможность
новыхъ военныхъ экспедицій, т. е., иными
словами, на возможность подражаться къ каки-
мъ-то тамъ повстанцамъ, отличиться, получить
крестикъ и т. п. Вообще, представленія нашей
молодежи о новомъ для нея краѣ были розово-
поэтичны, а потому, конечно, крайне неосно-
вательны. Нечего и говорить, что на первыхъ
же порахъ для нея послѣдовалъ рядъ разоча-
рованныхъ во многомъ и многомъ; но таково уже
свойство нашего военного люда, что куда бы
ни занесла его военная служба, въ какихъ бы
условіяхъ ни очутился, онъ всегда очень быст-
ро сумѣетъ освоиться съ новой обстановкой,
примѣниться къ ней и, насколько возможно,
зажить себѣ, что называется, припѣваючи.

Злосчастный Юзіо сразу сообразилъ, что

¹⁾ Загородныхъ весеннихъ пикниковъ; маювка —
отъ слова май.

²⁾ Дикихъ козъ и кабановъ.

судьба весьма благосклонно посылает ему въ нѣкоторомъ родѣ владѣ въ лицѣ нашей офицерской молодежи. Надо, значитъ, къ ней пристроиться. Какъ пристроиться?—Это не трудно. Чуть-ли не въ первый же вечеръ по приходѣ полкового штаба на новую стоянку, войдя въ трактиръ вслѣдъ за офицерами и подсѣвъ на кончикъ общаго стола, Юзіо скромно вступилъ въ разговоры съ однимъ, съ другимъ, съ третьимъ, сказалъ нѣсколько любезностей, выразилъ свое удовольствіе по поводу прибытія «кавалеріи», въ которой, какъ ему «досконально» извѣстно, служатъ все джентельмены, «по-рабочны люди, муй пане»,—что въ полку, мѣсто котораго мы теперь заняли, у него было много, много истинныхъ друзей и пріятелей, напримѣръ, князь такой-то, майоръ и полковникъ такіе-то (отчего и не прилгать немножко?),—и вотъ, знакомство на первый случай завязано. Завтра продолжается та же исторія. Бѣдный Юзіо — чтобы недорого стоило его скудному карману — тратится на одинъ лишь куфель пива, который даетъ ему приличную возможность просидѣть въ трактирѣ, сколько вздумается. Затѣмъ начинаются любезныя съ его стороны поклоны при встрѣчѣ съ офицерами на улицѣ; затѣмъ, въ первый же праздничный день, когда польская публика расходилась изъ костела и наше офицерство группами слонялось тутъ же на площади, глаза на горожанъ и, конечно, любопытствуя знать, кто такая эта интересная блондинка, или та скромная шатенка, или эта пышная брюнетка съ молитвенникомъ на рукахъ?—нашъ панъ Юзіо тутъ какъ тутъ и услужливо развертываетъ въ немолчаемомъ разсказѣ длинный біографическій свитокъ каждой пани и паненки: сколько за такою-то приданого, и какой нравъ у ея матери, кто въ нее былъ влюбленъ, кто дѣлалъ предложеніе и почему получилъ отказъ, и въ кого была влюблена пани такая-то, и можно ли ухаживать за этой интересной вдовушкой, съ успѣхомъ или безъ успѣха, — словомъ, въ два-три дебюта своего знакомства съ офицерами, Юзіо показался имъ хотя и ничтожнымъ, но добрымъ малымъ, совсѣмъ не похожимъ на тѣхъ поляковъ, что злобно хмурятся и отворачиваются при встрѣчѣ съ «пришкеленымъ москалемъ». Кромѣ того, Юзіо оказался неоцѣненнымъ человѣкомъ и по части знакомства съ условіями жизни въ городѣ: гдѣ что достать, гдѣ выгодноѣ купить, у кого дешевле взять мебель на прокатъ, кого поостеречься, какъ шуллера и пройдоху, гдѣ удобнѣ нанять квартиру сухую, теплую, недорогую,—все это онъ зналъ въ совершенствѣ и такъ любезно предлагалъ каждый разъ свои безкорыстныя услуги, что вскорѣ вполне расположилъ къ себѣ сердца молодыхъ офицеровъ. Все это дѣлалось съ извѣстнымъ тактомъ,—Боже избави, чтобы кто могъ подумать, будто Юзіо фактор-

ствуетъ!—Нѣтъ, онъ лишь изъ расположенія, изъ любезности, изъ желанія оказать пріятельскую услугу! Притомъ же надо сказать, что и самолюбію бѣднаго полячка, отринутаго своими «компатріотами», доставляло не малое утѣшеніе и даже гордость то обстоятельство, что онъ знается съ офицерами, — «съ кавалеріей, муй пане!»—что его постоянно встрѣчаютъ съ ними на улицѣ, въ трактирѣ, на гуляньи. Юзіо, какъ будто, выросъ нѣсколько вершковъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и—казалось ему—будто точно такъ же онъ выросъ и въ глазахъ постороннихъ. Такъ были проложены имъ первые шаги къ новому положенію въ жизни, которое долженствовало дать ему, наконецъ, какую-нибудь точку опоры, какую нина-есть почву подъ ногами.

Служилъ у насъ въ ту пору нѣкто Черемисовъ, разжалованный изъ гвардіи штабсъ-ротмистровъ въ солдаты, съ переводомъ въ нашъ полкъ, за дуэль, ~~надѣлавшую~~ въ свое время не мало шума въ Петербургѣ. Къ намъ же въ полкъ былъ онъ впоследствии произведенъ и въ офицеры. Это было дѣтски ясное, добрыйшее изъ добрыйшихъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, безалабернѣйшее изъ безалабернѣйшихъ существо, какое только доводилось мнѣ встрѣчать когда-либо въ мірѣ. Идеальная честность, незлобивость голубиная и крайне простосердечная довѣрчивость къ людямъ. Для Черемисова всякій встрѣчный-поперечный, особенно же при случаѣ выпившій съ нимъ, безразлично былъ «хорошій человѣкъ», а хорошіе человѣки, судя по дальнѣйшимъ степенямъ и ихъ симпатичности, дѣлились у него на «прекраснѣйшаго человѣка», «первый сортъ человѣка» и «душа человѣка». Надо было учинить нѣчто очень гадкое, чтобы Черемисовъ рѣшился сказать: «да, ошибся, братъ, ошибся... дрянъ-человѣкъ выходитъ!» Съ одной стороны, подобныя качества, съ другой—«все ни почемъ, все тринь-трава, все спустя рукава, вали черезъ пень колоду, авось да небось, день мой—вѣкъ мой, послѣдняя копейка ребромъ, для милаго и даже для не милаго дружка—сережка изъ ушка, послѣдняя рубашка въ дѣлежъ»—изъ таковыхъ-то свойствъ и особенностей слагался характеръ Черемисова. Добрый малый былъ богатъ и тароватъ, а потому безъ пути сорилъ своими деньгами и писалъ на себя жидамъ векселя да росписки въ пятьсотъ рублей за сто. Есть у него деньги—иди къ нему всякій и бери займы, хоть безъ отдачи, потому что не напомнимъ, а не напомнимъ потому, что самъ на другой же день позабудетъ, кому и сколько выдано; нѣтъ у него денегъ—онъ самъ займетъ, и тоже безъ отдачи, коли не напомнимъ, потому что точно также позабудетъ у кого взялъ и сколько. Записныхъ книжекъ, памятныхъ листковъ и счетовъ—ничего подобнаго у него никогда и въ заводѣ не было.

Состоялъ при немъ дядька и пестунъ, изъ бывшихъ крѣпостныхъ дворовыхъ, по имени Несторъ. Вѣчно небритая рожа, съ жучьими глазами и черными усищами, косая сажень въ плечахъ, красная рубаха, видъ атамана волжской разбойничьей шайки, а въдобавокъ ко всему, нерѣдко загулъ и непробудное пьянство, причемъ на счетъ барина или, какъ Несторъ называлъ иногда, «барскаго дитяти» забирались во всѣхъ погребкахъ и лавкахъ вина, водки и закуски,—таковъ былъ этотъ достойный дядька и пестунъ. Загуляетъ Несторъ, отлучится на сутки, на другія—и нашъ Черемисовъ сидитъ, какъ дитя малое, безпомощное, безъ чаю, безъ свѣчей, безъ свѣжей сорочки, не зная, какъ и къ чему приложить руки, пока не кончится Несторовъ загулъ. Совершенно подѣлать этому пестуну, какъ-то сами собою подобрался у Черемисова и кучеръ, и конюхъ, и разухабистая телѣга съ росписной дугой и персидскимъ ковромъ на сидѣньи, и бѣшеная тройка саврасыхъ, съ породистымъ рысистымъ коренникомъ и въ крендель выюшимися пристяжными, въ наборчатой русской сбруѣ, съ колокольцами и бубенчиками. И вотъ къ этому-то непутѣвому Черемисову примазался подъ крыло бѣдный Юзю.

Первымъ дѣломъ онъ произвелъ Черемисова въ князья.

— Але жъ вѣшь ты, кохалы, — внушительно говорилъ онъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, каждому жиду — фактору, каждому торговцу, трактирщику, извозчику, заимодавцу. — вѣшь ты, же мѣшкамъ тѣразъ за коѣнжемъ Черемисовымъ? О! то вельки магнатъ московски! Досконалемъ! И такі пенѣнзны, якъ тень Ротшильдъ! ¹⁾

Князь да князь—такъ и пошелъ Черемисовъ за князя, такъ и прослылъ въ цѣломъ округѣ, потомъ по цѣлому краю. И все это, помимо его воли и вѣдома, учинилъ одинъ панъ Юзю. Кончилось тѣмъ, что и самъ Черемисовъ привыкъ, наконецъ, къ этой кличкѣ.

Нанялъ Юзю для Черемисова помѣщеніе на Купеческой улицѣ, въ заѣзжемъ домѣ, который у жида въ слылъ подѣ именемъ «Казанскаво гаштеницу», и занялъ Черемисовъ подѣ себя весь этотъ одноэтажный домъ, гдѣ имѣлось всего лишь пять комнатъ для прѣзжающихъ, съ конюшнями, сараями и садомъ. Какъ-то само собою, незамѣтно и вполне естественно, устроилось такъ, что и Юзю помѣстился тутъ же. Катаются они съ «княземъ» во весь духъ на бѣшеной тройкѣ, причемъ Юзю съ серьезнымъ видомъ любителя-знатока отыгрываетъ вожжею лѣвую пристяж-

ную; ходятъ они вмѣстѣ въ трактиръ обѣдать, причемъ, конечно, и обѣдъ Юзю записывается въ «общій счетъ» на имя «князя»; ходятъ вмѣстѣ гулять на музыку, причемъ Юзю все также галантенъ и любезно-предупредителенъ со всѣми офицерами; ходятъ вмѣстѣ въ театръ, гдѣ Юзю красуется, конечно, въ ложѣ «князя». Всѣ, бывало, только и слышать отъ него: «мы съ княземъ», «у насъ съ княземъ», «нашъ милый князь», «князь былъ со мною тамъ-то», «мы съ княземъ купили себѣ то-то, сдѣлали то-то»,—словомъ, отношенія установились такія, что ни Черемисова безъ Юзю, ни Юзю безъ Черемисова даже и представить себѣ нельзя было. Приодѣлся Юзю мало-по-малу и приобулся: и цѣпочка къ часамъ, и запонки золотыя у него появились, и тросточка съ серебрянымъ набалдашникомъ и, наконецъ, для пущей важности завелъ онъ себѣ даже форменную дворянскую фуражку съ краснымъ околышемъ и кокардой. Всѣ эти «багательки» были, конечно, подарками «милаго князя». Юзю занялъ у Черемисова положеніе пріятеля-мажордома; занялъ во всемъ его обиходѣ нѣкоторый порядокъ, взялъ на себя веденіе расходныхъ счетовъ, расплачивался въ трактирѣ и въ лавкахъ за покупки, велъ переговоры съ заимодавцами, съ портнымъ, сапожникомъ, прачкой и т. п. Все это, конечно, крайне не нравилось Нестору и прочимъ челядинцамъ.

— Вишь ты, учетчикъ какой еще объявился! Погоди жъ ты!—злобно ворчали они себѣ подъ носъ. А Юзю и въ усь не дуется, тѣмъ болѣе, что сошелся съ Черемисовымъ даже на «ты», что, впрочемъ, было, вообще, не трудно.

— Я же-жъ только твои интересы оберегаю... Мнѣ все равно, деньги не мои, но мнѣ тебя же жалко,—убѣдительно доказывалъ онъ своему патрону—и доказывалъ совершенно правильно, потому что безшабашныхъ тратъ у Черемисова, дѣйствительно, стало несравненно меньше противъ прежняго. Если и случалось Юзю чѣмъ-нибудь попользоваться лично для себя, то онъ былъ настолько добросовѣстенъ, что всегда просилъ или предупреждалъ объ этомъ пріятеля: мнѣ, дескать, нужно свѣжія перчатки или новый галстукъ купить; можно пока признаться у тебя?—Отказа, конечно, никогда не было.

Придутъ къ Черемисову товарищи въ гости,—Юзю хлопочетъ составить партію въ вистъ, угощаетъ сигарами, пуншемъ, откупориваетъ бутылки, подливая въ стаканы; наблюдаетъ насчетъ завтрака или ужина, чтобы все было подано въ порядкѣ, и въ то же время занимается гостей, рассказываетъ польскіе и иные анекдотцы, немножко сидетничаетъ, конечно, насчетъ разныхъ интересныхъ пани и ихъ благовѣрныхъ, «декламируетъ» Мицкевича, поетъ чувствительные романсы или бречитъ на раз-

¹⁾ Но ты знаешь ли, любезный, что я живу теперь вмѣстѣ съ княземъ Черемисовымъ? О! это большой московскій баринъ! Вѣрно! И богатъ, какъ Ротшильдъ!

битомъ фортепіано какую-нибудь мазурѣчку. Когда недостаетъ четвертаго партнера, присаживается къ карточному столу, разумеется, не кто иной, какъ тотъ же Юзіо и играетъ съ «апломбомъ», съ пріятностію, «якъ сенъ-подоба поржонднѣму чловѣку». Пройграетъ малукъ толику, сейчасъ же: — *Sher prince, prête moi quelques roubles!* будь такой ласковый, заплати пока за меня, пожалуйста, потомъ сочтемся». А выиграетъ Юзіо, — деньги, конечно, прикарманитъ, потому что это ужъ такое его счастье — «фортуна, муй пане».

И вотъ, такимъ образомъ, стали заводиться кое-когда у Юзіо и «свои собственныя» карманныя деньжишки. Тогда Юзіо отправляется обыкновенно въ кондитерскую Аданки, играетъ съ мелкими чиновниками на билльярдѣ, а кого можно, то даже и угощаетъ предъ буфетомъ коньякомъ, что умѣетъ продѣлывать иногда и не безъ покровительственнаго тона, и тутъ же, на виду у всѣхъ — непремѣнно на виду — расплывающаяся налчными «своими собственными» девъгами — дескать, не думайте, что у меня нѣтъ ихъ!

— «Мой другъ, князь Черемисовъ... обыкновенно начинаетъ онъ тутъ по какому-нибудь поводу рассказывать чиновникамъ. — Ah! а proros! вы знаете, что сдѣлалъ недавно мой другъ Черемисовъ?... *Charmant garçon!*... Ah, comme je l'aime!... Но только я ему говорю: послушай, милый князь, ты жъ понимаешь, ты знаешь, какъ мы всѣ тебя любимъ и уважаемъ...» и т. д. въ подобномъ же родѣ.

Чиновники льютъ за счетъ Юзіо коньякъ, слушаютъ его рассказы и, видя его постоянно «съ княземъ», убѣждаются, что онъ дѣйствительно другъ его, а это уже, такъ сказать, «позируетъ» нашего Юзіо, даетъ ему кое-гдѣ нѣкоторый вѣсъ, даже нѣкоторый блескъ на него налагають.

— Вы знаете пана Юзефа такого-то? — спрашиваетъ напримѣръ кто-либо.

— Нѣтъ, не знаю. Кто это панъ Юзефъ?

— А это другъ князя Черемисова.

— А! вотъ какъ!

— Да-а! Какъ же! Они друзья неразлучные.

Съ теченіемъ времени, у Юзіо предъ посторонними, т. е. внѣ офицерскаго кружка, явилось и въ тонѣ голоса, и въ выраженіи лица, и въ самой походкѣ даже нѣчто самостоятельное, исполненное нѣкоего достоинства и значительности. Вотъ что значитъ создать себѣ положеніе «княжескаго друга». Съ этимъ вѣстѣмъ измѣнился и взглядъ весьма многихъ «родаконъ» и «компатріотовъ» на Юзіо, — онъ пересталъ уже быть отверженцемъ, и предъ нимъ снова растворились двери нѣкоторыхъ польскихъ домовъ, еще недавно закрытыя для него столь презрительно. Казалось бы теперь, когда онъ окончательно сошелся съ москалями, даже живеть на счетъ одного изъ нихъ, добрые па-

тріоты должны бы были еще болѣе чураться бѣднаго Юзіо, но... повстанскія времена отошли въ вѣчность, страсти поутихли, а положеніе «княжескаго друга» и возможность познакомиться чрезъ этого друга съ самимъ «княземъ», богатымъ женихомъ, хоть и москалемъ, но зато чловѣкомъ «со связями въ столицѣ», заставили нѣкоторыхъ маменекъ и молодыхъ вдовушекъ сдѣлаться въ отношеніи Юзіо не только любезными, но даже искательными.

И дѣйствительно, Юзіо познакомилъ съ нѣкоторыми дамами своего «друга». Бывало, Черемисовъ влюбится слегка въ какую-нибудь пани или паненку, а Юзіо страдаетъ, — страдаетъ вдвойнѣ: и за него, и за себя, потому что и со своей стороны, какъ другъ, считаетъ своимъ долгомъ тоже влюбиться и притомъ въ ту же самую особу, но, конечно, всякое первенство, всякое преимущество въ чувствахъ великодушно уступаетъ милому князю, «для того, что онъ же-жъ такой милый», — а самъ ограничивается только вздохами, чувствительными романсами, платоническими восторгами и разговорами съ другомъ «о ней», о томъ, сколь она прелестна, интересна, какъ выразительно посмотрѣла на Черемисова тогда-то, какъ улыбнулась, съ какимъ оттѣнкомъ сказала то-то и проч. Это была у него болтовня неистощимая, ибо Юзіо никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы не «конфидентовать»: «така жъ натура, муй пане!» Но кромѣ темъ для болтовни, періоды Черемисовской влюбленности всегда доставляли ему новый источникъ заботъ и хлопотъ, сопряженныхъ съ бѣготнею по лавкамъ и ѣздою на извозчикахъ: надо идти съ княземъ «до костѣлу», чтобы встрѣтить тамъ «ее». надо заказать букетъ и отвезти его къ «ней» отъ имени князя, надо выписать изъ Варшавы ея любимыя «цукѣрки», и «цистѣчки», и «конфеты», устроить веселую «маювку», на которой «она» была бы царицею, передать по секрету иногда записку, иногда какое-нибудь многозначительное слово, по порученію друга... Но и это еще не все. Если Черемисовъ отправляется на тайственное свиданіе съ «нею», то и Юзіо идетъ вмѣстѣ съ нимъ, но, конечно, такъ, чтобы «она» этого не знала, и пока у него длится интересное tête-à-tête, Юзіо скромно стоитъ гдѣ-нибудь въ сторонкѣ, зорко и чутко карауля, чтобы никто и ничто не помѣшало спокойствію его друга, — стоитъ и мучится, и терзается, и вздыхаетъ, но утѣшается сознаніемъ, что если, молъ, не я, то онъ — онъ, другъ мой, по крайней мѣрѣ, счастливъ!

Иногда случалось, что какая-нибудь особа вдругъ, ни съ того, ни съ сего, разонравится! Черемисову, и онъ круто оборветъ Юзіо, продолжающаго болтать и безкорыстно восхищаться ею.

— Убирайся ты къ чорту! — скажетъ ему бывало. — И чего это ты, въ самомъ дѣлѣ, при-

сталъ ко мнѣ съ нею?!.. Нѣтъ у тебя развѣ другого разговора?

Такое неожиданное замѣчаніе было для Юзіо все равно, что «цукъ» для занесшейся лошади.

— Mais, mon cher... вѣдь ты жъ... то-есть она жъ, вѣдь... она жъ намъ такъ нравится?— озадаченно, заикаясь, начинаетъ онъ оправдываться.

— Нравится? Никогда она мнѣ не нравилась. Все ты врешь, сочиняешь!

— От-то штука!.. Але жъ прошені! Я жъ любопытный знать, какъ же-жъ то такъ?

— Да такъ, что замолчи и баста!

Юзіо въ первую минуту очень озадаченъ: какъ же это такъ, въ самомъ дѣлѣ? Но если такъ, то, казалось бы, теперь онъ смѣло можетъ убраться въ сторону свое великодушное самопожертвованіе ради друга, дать полную волю своему собственному чувству къ этой особѣ и ухаживать за нею уже ради самого себя, эгоистически; но нѣтъ, ничуть не бывало!

Чувство Юзіо въ такихъ случаяхъ какъ-бы считаетъ своимъ долгомъ тоже вдругъ испариться.

— Parbleu!—пожимая плечами, говоритъ онъ, спустя сутки, другія.—Говорятъ, что эта пани Пшенпендовска хорошенькая... Mais, au fond, ничего въ ней нѣту такого особеннаго... И я даже не понимаю, чѣмъ такого могло намъ въ ней нравиться...

— То-есть не намъ, а *тебѣ*, скажи лучше,—внушительно поправляетъ его пріятель.

— Bah! Voilà la chose!

И Юзіо при этомъ удивленно выпучиваетъ глаза.

— Да развѣ жъ не такъ?

— Н-ну! Finisse, mon cher! Quelle blague!—отмахивается онъ,—и никогда же она мнѣ, а ни Боже мой, никогда даже не нравилась! То ли дѣло пани Пшездѣцка!.. А вѣдь ты, cher prince, ты не даромъ проходилъ вчера съ нею цѣлый часъ по аллеѣ!.. Я жъ таки кое-что подмѣтилъ... Ну, признайся! Будь другомъ! Вѣдь такъ?.. а?.. Досконалемъ!.. Але я что жъ то за прелестьна женщина!.. Богъ мой!

И Юзіо, какъ ни въ чемъ не бывало, совершенно искренно начинаетъ заряжать себя новымъ чувствомъ къ пани Пшездѣцкой—и опять идетъ у него рядомъ съ болтовней и восторгами хлопотливое шнырянье на извозчикахъ, бѣготня по костѣламъ, по бульвару, за букетами, конфетурками и т. п.—Cher prince, прикажи, пожалуйста, этому грубияну Нестору (я изъ нимъ даже и говорить не хочу!), чтобы онъ заплатилъ за четыре концы извозчику—для тебя же все старался! Усталъ, какъ собака какой!.. А за букетъ заплатимъ потомъ... я пока на кредитъ приказалъ... Mais quelle femme! Dieu, quelle femme!.. И не будь ты мнѣ другомъ,—н-ну, князь!.. Я бы, кажется, а-никому и-никогда не уступилъ бы такого честию!.. Та-й Бо-

же жъ мой! Я бы и до дуэлю пошелъ! До Сибиру!

Офицерство наше вообще относилось къ Юзіо не только снисходительно, но даже весьма любовно и прозвало его донъ-Сезаръ де-Базаномъ; зато денщики сильно его не долюбливали, и все это съ легкой руки Нестора, который восчувствовалъ къ нему съ перваго раза непримиримую ненависть и презрѣніе за то, что «ужъ больно онъ барскому добру учетчикъ непрощенный; и ни то онъ тебѣ на барскомъ, ни то на лакейскомъ положеніи, такъ что даже совсѣмъ непонятный человѣкъ,—такъ себѣ, какое-то полублагородіе выходитъ!» Вообще, денщики, гдѣ можно, не упускали случая сдѣлать ему какую-нибудь грубость, выказать свое презрѣніе; и хотя имъ нѣрѣдко порядкомъ-таки доставалось за это отъ «господъ», но, увы! никакіе «разносы въ пухъ и прахъ» не могли измѣнить денщицкихъ чувствъ относительно нашего Донъ-Сезаръ де-Базана.

Между офицерами былъ одинъ только человѣкъ, питавшій къ Юзіо неодолимую антипатію и потому не упускавшій случая зло подшутить надъ нимъ, поставить его въ какое-нибудь смѣшное или критическое положеніе, поддразнить его, пустить на его счетъ какую-нибудь шпильку, выдумку, больно задѣть его самолюбіе и—замѣчательное дѣло—этотъ упорный врагъ, къ удивленію нашему, былъ самъ полякъ, землякъ, «компатріотъ» Юзіо, отъ котораго этотъ послѣдній, казалось бы, могъ ожидать наиболѣе сочувствія и поддержки. Но Юзіо выносилъ все его выходки и приставанія съ рѣдкимъ благодушіемъ и смиренствомъ, хотя при этомъ и принималъ каждый разъ «благородный» видъ холоднаго, сдержаннаго и молчаливаго презрѣнія—дескать; я все-таки слонъ въ сравненіи съ этою москвой.

Такъ прошло нѣсколько лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ сжилъ не только съ Черемисовымъ, но и съ полкомъ настолько, что уже стали считать его какой-то неотъемлемой полковой принадлежностью. Бывало, съ 1-мъ эскадрономъ, въ которомъ состоялъ Черемисовъ, онъ и на траву, и на зимнія квартиры ѣдетъ «въ хвостѣ» на офицерской новозѣ, съ лягавыми щенками; въ ней же развѣзжаетъ за разными покупками, по порученію офицеровъ, и въ ней же возвращается съ эскадрономъ въ штабъ на кампаментъ. При этомъ на головѣ его всегда красуется форменная фуражка съ кокардой, и Юзіо, видимо, очень доволенъ, когда встрѣчные крестьяне и евреи снимаютъ передъ нимъ шапку, принимая его тоже за офицера. Онъ съ важностью и благоволяющимъ достоинствомъ подымаетъ руку къ козырьку и слегка киваетъ головой въ отвѣтъ на подобныя привѣтствія.

Если Черемисову случалось уѣзжать въ отпускъ, Юзіо на это время обыкновенно при-
страивался на житье къ кому-нибудь изъ офи-

церовъ, и всѣ уже давно привыкли смотрѣть на это, какъ на самое правильное, законное дѣло, потому что куда-жъ ему иначе дѣваться? Вышелъ въ послѣдствіи Черемисовъ въ отставку, уѣхалъ къ себѣ въ казанское имѣнье, но Юзіо неизмѣнно, какъ и прежде, сохранился при полку, переходя время отъ времени отъ офицера къ офицеру, какъ-бы по наслѣдству. И офицерство имъ не тяготилось: поживетъ нѣсколько недѣль, а то и мѣсяцевъ у одного, перейдетъ къ другому, къ третьему и т. д., пока не совершитъ извѣстный циклъ по офицерскимъ обиталищамъ. Имъ не тяготились, потому что лишній человѣкъ не объѣстъ, а гдѣ сыты двое, тамъ хватитъ и на третьяго. Юзіо былъ-таки сибаритъ по своей природѣ: любилъ сладко поѣсть, мягко и много поспать, лѣниво повалиться по диванамъ съ сигарой въ зубахъ, весело выпить, но не огорчался, если и подолгу не доводилось ему вкушать отъ всѣхъ сихъ благъ; только въ разсказѣ или при воспоминаніи о нихъ на его лицѣ появлялась блаженная улыбка, и губы начинали вкусно причмокивать, въ чемъ собственно и обнаруживались его сибаритскія наклонности и симпатіи. Но вообще, при слабости къ сибаритству, онъ могъ и умѣлъ, когда надо, быть очень покладливымъ, неприхотливымъ и невзыскательнымъ, спать гдѣ и на чемъ придется, лишь бы только побольше, ѣсть что случится—отъ трюфелей и бекасовъ до «железной» солдатской каши на постномъ маслѣ—и ничего себѣ, благодареніе Богу, только здоровѣть нашъ Донъ-Сезарь и постоянно сохранять беззаботное, веселое настроеніе духа.

Бывало, посторонніе люди неоднократно, при случаѣ, спрашиваютъ у офицеровъ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ:

— Скажите пожалуйста, что такое этотъ вашъ Юзіо?

— Добрый малый, — отвѣчаютъ имъ, — услужливый, иногда очень пріятный въ обществѣ.

— Но при чемъ онъ, собственно?

— Какъ при чемъ? При полку, разумѣется.

— То-есть, что же онъ при полку изображаетъ собой?

— Такъ себѣ, ничего... Юзіо, да и только, иначе Донъ-Сезарь де-Базанъ, — и все тутъ, иного ничего не изображаетъ.

— Но... что онъ дѣлаетъ? Родъ его жизни, напримѣръ, занятій тамъ, что ли?

— Онъ? какъ вамъ сказать!.. Онъ собственно проживаетъ при Ямбургскомъ уланскомъ полку.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— И въ этомъ проживаніи, стало быть, заключается все его общественное положеніе?

— Исключительно въ этомъ.

— Ну, а если война? Или если просто двинутъ вашъ полкъ отсюда куда-нибудь на новую стоянку? Тогда же съ нимъ какъ?

— А очень просто. Тогда, конечно, и Юзіо двинется вмѣстѣ съ нами. Это вѣдь для него легче легкаго: весь его багажъ таковъ, что встать и готовъ! Куда же ему иначе дѣваться!

И дѣйствительно, вѣдь полка для бѣднаго Донъ-Сезарь де-Базана нѣтъ мѣста, нѣтъ существованія на свѣтѣ.

III.

Вашибузуку.

Какъ, когда и по какому случаю онъ впервые появился въ полку, — этого никто не знаетъ и не помнитъ.

Юзіо — тотъ, по крайней мѣрѣ, какъ присталъ къ намъ, такъ уже у насъ однихъ и держится безотлучно; если иногда онъ и совершаетъ перекочевки, то все въ полку же — изъ эскадрона въ эскадронъ, отъ офицера къ офицеру. Онъ, такъ сказать, животное домашнее, осѣдлое (*bestia domestica*). Вашибузуку — совсѣмъ наоборотъ, появляется исключительно лишь налетами, внезапно, какъ снѣгъ на голову, когда его и не чаютъ; мелькнетъ, какъ метеоръ, повернется тамъ-сямъ, пошумитъ, подебошитъ (если возможно), непременно займетъ у того-другого малую толику деньжишекъ и исчезнетъ столь же неожиданно, какъ и появился — и опять о немъ на нѣсколько мѣсяцевъ ни слуху, ни духу.

Помню я мою первую съ нимъ встрѣчу.

Я еще недавно былъ произведенъ въ офицеры и, побывавъ въ Петербургѣ, возвращался въ полкъ изъ отпуска. На одной изъ железнодорожныхъ станцій, чуть ли не во Псковѣ, гдѣ пассажирскій поѣздъ останавливается позднимъ вечеромъ почти на часъ времени, сѣлъ я за общій столъ и спросилъ себѣ поужинать. Противъ меня усѣлся какой-то старикъ, лѣтъ около шестидесяти, въ мохнатой кавказской буркѣ и въ черной черкесскѣ, съ кинжаломъ за поясомъ. На сѣдой, плотно остриженной головѣ его небрежно и лихо была накинута, заломленная какъ-то разомъ и набекрень и на затылокъ, потерята офицерская фуражка съ малиновымъ околышемъ, про которую можно сказать, что, судя по всѣмъ видимостямъ, она-таки повидала виды на своемъ вѣку. Но и про физиономію, украшенную этой фуражкой, можно бы было съ увѣренностію подумать то же самое. Физиономія эта выражалась въ слѣдующихъ характерныхъ штрихахъ и бликахъ: сѣрые полинялые глаза съ самоувѣреннымъ, почти наглымъ, но въ сущности безалаберно-добродушнымъ выраженіемъ; густыя, какъ щетки шершавыя, брови — совершенно бутафорскія брови, въ родѣ тѣхъ, что наклеиваютъ себѣ въ иныхъ характерныхъ роляхъ актеры; сивые длинные усы, съ подусниками, и носъ, похожій на кактусъ, — носъ

замѣчательный: большой и припухлый, съ ло-скомъ, словно бы упитанный или наливной изнутри чѣмъ-то сочнымъ, сизо-багроваго цвѣта, съ прыщами и жилками,—нось, не оставляющій никакого сомнѣнія въ сильномъ и хроническомъ пристрастіи его обладателя къ крѣпкимъ напиткамъ. «А вѣдь это Ноздревъ въ старости!» — невольно подумалось мнѣ при взглядѣ на фигуру моего почтеннаго vis-à-vis, — «совершенный Ноздревъ, только одѣтый вмѣсто архалаука въ черкесску!»

Спросилъ онъ себя тоже чего-то закусить, разумѣется, съ водкой—и пристально уставив-ся на меня вопрошающимъ взглядомъ.

— Вы, кажется, Ямбургскаго уланскаго полка?—обратился онъ ко мнѣ съ той «приятной» катаральной хрипотой въ голосѣ, которую иные почему-то называютъ «майорской» хрипотой.

Я отвѣчалъ утвердительно.

— Какъ же это я васъ не знаю?.. Вѣрно произведены еще недавно?

— Да, недавно.

— То-то я и гляжу, что лицо незнакомое... А то я вѣдь весь вашъ полкъ—слава-те Господи!—на перечетъ, какъ свои пять пальцевъ знаю. Какъ же! Все друзья-пріатели!.. Что Джек-сонъ? Здравствуетъ? Кардашъ, Бушуевъ, Друри, Антонъ Васильевичъ?

И онъ почти задномъ вывалилъ мнѣ около десятка именъ моихъ однополчанъ-сослуживцевъ.

— Всѣ—говору—слава Богу, живы и здорovy.

— Ну, и слава Богу!.. Кланяйтесь, пожа-луйста, отъ меня всѣмъ, скажите, что скоро за-верну къ вамъ въ полкъ — всѣхъ навѣщу, ни-кого не обойду, никого невниманіемъ не обижу, со всѣми какъ слѣдуетъ выпьемъ и закусимъ, и по душѣ потолкуемъ.

— А отъ кого именно прикажете кланяться?—спросилъ я.

— То-есть, это вы насчетъ имени?.. «Что въ имени тебѣ моемъ!»—сказалъ поэтъ нашъ зна-менитый. Имя, пожалуй, вы позабудете, а ска-жите просто, что Башибузукъ-де кланяется,—они уже знаютъ. Да и вамъ, я чай, эта кличка моя не безызвѣстна, хотя бы по слухамъ?

— Н-нѣтъ, признаюсь, не слыхалъ.

— Не слыхали?!

И старикъ выпучилъ на меня удивленные глаза. Мнѣ показалось, что онъ не только оза-даченъ, но какъ-будто даже нѣсколько задѣтъ за-живое такимъ неожиданнымъ обстоятель-ствомъ.

— Не слыхали?.. Можетъ ли это быть?.. Въ нашемъ-то полку и вдругъ не слыхали о Баши-бузукъ-то!.. Нѣтъ, да вы вспомните, вы вѣрно позабыли. Ба-ши-бу-зукъ, говорю. Навѣрное слышали!

— Да нѣтъ же, не слыхалъ,—возражаю я.

Старикъ отчасти даже огорчился.

— Ну, можетъ быть!—сказалъ онъ со сдер-жанымъ вздохомъ. — Не смѣю не вѣрить... Долженъ вѣрить, когда мнѣ говоритъ офи-церъ... Обязанъ вѣрить. Но каковы же друзья-пріатели! а?.. Каковы?!.. Значить, ни разу о Башибузукъ и не вспомнили... Изъ глазъ вонъ—изъ сердца вонъ... Да! «Тотъ любви скажи про-щай, кто на три года въ даль уйдетъ»... Да и я-то, старая скотина, тоже хорошъ! Другихъ корю, а самъ-то! Самъ не то что носа не пока-залъ, а и полстрочки никому не черкнулъ за все время... Но нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, дав-ненько же, значить, не навѣдывался я въ вашъ полкъ, если въ молодомъ его поколѣніи—вотъ, какъ въ васъ, напримѣръ,—даже и преданія, и самая память о Башибузукъ исчезли... Впро-чемъ, вѣдь я у васъ—шутка ли сказать!—боль-ше двухъ лѣтъ не бывалъ, все странствовалъ далече... Но и носило же меня, я вамъ скажу, чортъ знаетъ гдѣ по святой Руси, то-есть, бу-квально, «отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды»... А по этому поводу и ради столь приятной встрѣчи не выпить ли намъ чего-нибудь? а?.. Какъ вы думаете?.. Выпьемъ!

— Да вотъ, я пью красное,—не прикажете ли?

Мой собесѣдникъ поморщился и прищурился на бутылку.

— Красненькое? — сказалъ онъ, какъ-то злыбоко поѣживаясь и потирая руки.—Что жъ, по-жалуй, будемъ пить и красненькое; хотя, знаете ли, у этихъ мерзавцевъ станціонныхъ буфет-чиковъ французское вино всегда поддѣльное... Но я не прочь! Для компаніи отчего же, съ удовольствіемъ!.. Хм... А лучше бы... тово,—медлительно произнесъ онъ, какъ-бы въ раз-думьи, неопредѣленно глядя куда-то въ про-странство,—лучше бы... если ужъ хотите уго-stitъ старика, то... знаете, какъ въ пѣснѣ цы-ганской говорится, прикажите-ка, батенька, «чтобъ согрѣться старичку, поднестъ рюмку коньячку» — оно по существу нѣе будетъ... А потомъ ужъ и красненькаго можно... Вы, го-лубчикъ, извините меня, старика, что я такъ безцеремонно... Это вѣдь только потому, что я у васъ въ полку свой человѣкъ, и какъ увижу эту самую вашу форму, такъ вотъ, вѣрите ли, словно бы нѣчто родное, ажъ все сердце вспо-лыхнетъ... Ей-Богу!

— Вы, стало быть, прежде служили въ на-шемъ полку?

— Нѣтъ-съ! Вся моя служба на Кавказѣ прошла.

И, произнесъ это съ отгѣнкомъ нѣкоторой гордости, старикъ, какъ-бы невзначай, распахнулъ пошире бурку, очевидно съ намѣреніемъ дать мнѣ замѣтить висѣвшій на его лѣвыхъ газыряхъ солдатскій георгіевскій крестикъ.

— Весь вѣкъ на Кавказѣ-съ, — продолжалъ онъ,—и преимущественно въ Нижегородскомъ драгунскомъ... Впрочемъ, служилъ и въ пѣ-

хотѣ—не по своей охотѣ... Но вся бѣда моя въ томъ, что мой роковой предѣлъ—это чинъ капитана. Точно-съ! И вѣрите-ли, какъ дойду до этого чина проклятого, такъ и шабашъ.

— Почему же шабашъ? — спросилъ я.

— Какъ «почему», говорите вы... Понятно, почему! Потому что провалюсь!.. Провалюсь — неизбежно, фатально, словно бы мнѣ это на роду написано!.. Помилуйте, товарищи мои давно уже въ генераль-лейтенанты мѣтитъ, а я только капитанъ въ отставку! Вотъ и разо-читите!

— Что же такъ?

— Не везетъ-съ!.. «Счастье—глюкъ, говорить, надо глюкъ, говорить!» Какъ дойду до капитанскаго чина, такъ меня сейчасъ по шапкѣ — и разкалуютъ по сентенціи въ солдаты-съ!.. И не подумайте, чтобы за что-нибудь такое неблагородное, марающее честь мундира, въ родѣ растраты или солдатскихъ денегъ тамъ, что-ли, нѣтъ, это—Боже избави! Этакой грязи никогда!.. А все только по своей необузданности или, вѣрнѣе сказать, по роковымъ стеченіямъ обстоятельствъ. Разъ, напримѣръ, не въ мѣру строго съ начальствомъ обошелся; другой разъ, будучи дежурнымъ по карауламъ, приказалъ молоденькому караульному прапорщику, подъ мою отвѣтственность, благороднаго арестанта выпустить, на честное слово, ради ночного свиданія съ дамою его сердца, а тотъ, каналья, возьми да и удери!.. А въ третій разъ... ей-Богу, я ужъ и самъ не знаю, какъ и за что, и почему это въ третій разъ угодилъ я въ солдаты!.. Думаю, просто потому, кажись, что судьба такая, — ничего не подѣлаешь! «Счастье—глюкъ, говорить, надо глюкъ, говорить». Выпейте!

И старикъ, такъ сказать, «вонзилъ» въ себя сразу принесенную ему большую рюмку коньяку.

— И вотъ-съ, — продолжалъ онъ, — дослужился я, наконецъ, и въ четвертый разъ на своемъ вѣку до капитана. Нѣ-ѣтъ, думаю, дудки! Шалишь, кума, больше не надуешь! Старъ ужъ я сталъ солдатскую-то лямку въ четвертый разъ тинуть съ начала! И какъ только прочелъ въ приказѣ о своемъ производствѣ, сейчасъ же, то-есть не медля ни единой минуты, подалъ рапортъ о болѣзни, вмѣстѣ съ прошеніемъ объ отставкѣ—въ чистую! И чтобы подальше отъ какого-либо соблазна, принялъ себѣ такое намѣреніе никуда не выходить, ни съ кѣмъ не сталкиваться, и для того наглухо заточился въ своей квартирѣ... Потому—врагъ вѣдь силенъ! И кто-жъ его знаетъ, можетъ, вдругъ нечаянно наткнешься такъ, что и въ-четвертыхъ угодишь подъ красную шапку... Тяжко мнѣ было заточенье-то это, потому я человѣкъ общительный; но, думаю, какъ ни какъ, а ужъ на этотъ разъ выдержу характеръ. И перехитрилъ-таки свою судьбу злодѣйку! Носъ ей наклеилъ, да какой!—

и, могу сказать, счастливъ! Потому—многого не желаю, а добрыхъ друзей на Святой Руси по вѣкъ мой хватить,—съ меня и довольно! Вѣдь у меня, батенька, на Руси, знакомство-то какое! Въ каждомъ краѣ, въ каждомъ почти городишкѣ паршивомъ найдется кое-кто изъ старыхъ друзей; изъ сослуживцевъ, однобывачниковъ, односумовъ—и, Богъ ты мой!.. Да и вся кавказская знать меня знаетъ: къ самому князю Александру Ивановичу, къ фельдмаршалу, вхожъ, иногда въ Скерневицы навертываюсь—и ничего-себѣ, не брезгаетъ старымъ солдатомъ: къ собственному столу пригласить и накормить, и напоить, да еще съ нѣкоторой субсидіей отпустить. — «Спасибо, говорить, старый товарищъ, что меня, старика, не забываешь!»—А я ему на то стишкомъ:

Пусть прежде Богъ меня забудеть,
Когда рѣшусь тебя забыть!

Правду говоритъ пословица: «Не имѣй сто рублей—имѣй сто друзей», а у меня и точно-что «не красна мошна рублями да красна душа друзьями». Все друзья, вездѣ друзья—и на Кавказѣ и въ Бѣлокаменной, и въ Питерѣ, и въ Вильнѣ, и въ Варшавѣ... А полковъ, полковъ-то однихъ сколько, гдѣ меня и знаютъ, и принимаютъ, и рады-радешеньки, когда приѣду; пожить-погостить оставляютъ... И ничего-себѣ, кое-какъ живемъ, хлѣбъ жуемъ, Господа славо-словимъ... Я теперь—точно, какъ у насъ въ нѣнѣ въ одной кавказской поется:

Мнѣ Царь бѣлый—отецъ,
А Россія мнѣ мать,
И въ родствѣ, наконецъ,
Вся российская рать!

— Гдѣ же собственно вы теперь обитаете?—спросилъ я.

— Мм... то-есть, какъ вамъ сказать на это?.. Вездѣ и нигдѣ! Потому, видите ли, какъ вышелъ я въ отставку, такъ съ тѣхъ поръ, собственно говоря, постольнаго пріюта или, такъ сказать, *мет-а-тѣра* нигдѣ не имѣю, а странствую себѣ по всей Руси широкой—гдѣ на чужинѣ, гдѣ на обывательскихъ, либо на почтовыхъ, при случаѣ, а гдѣ и на своихъ на двоихъ, пѣшкомъ съ мѣшкомъ, пока ноги ходятъ,—больше все по полкамъ по разнымъ... Ну, иногда, впрочемъ, какъ уже докладывалъ вамъ, и къ милостивцамъ, къ прежнимъ односумамъ, а нынѣ уже звѣздносоцамъ, завернешь,—благо, не брезгаютъ, да и помощь иногда окажутъ. И ничего-себѣ, живу, не роншу на Создателя.—«Можно жить, не тужить, и царя благодарить!..» Могу сказать, даже счастливъ и доволенъ, потому что сердце чисто, духъ мой ясенъ, умъ и крѣпокъ, и покоенъ! Такова-то, господинъ корнетъ, моя философія, почерпнутая мною, могу сказать, долгимъ опытомъ изъ моря житейскаго.

— А теперь куда вы направляетесь?

— Теперь-то?.. Да какъ вамъ сказать... Въ точности пока еще и самъ не знаю: можетъ быть, въ Вильну, можетъ, въ Варшаву, а можетъ, и къ вамъ заверну, смотря по тому, какъ куда шатнется... Взяли мнѣ питерскіе друзья билетъ пока до Вильны; но, очень можетъ быть, подумаю еще и высажусь въ Динабургъ или въ Рѣжницъ—тамъ у меня тоже старые пріятели есть, а въ Динабургъ къ тому же и полкъ знакомый квартируетъ... Такъ что, куда собственно ѣду я—это еще вопросъ, покрытый и для меня самого мракомъ неизвѣстности... Вообще говоря, батенька мой,

Я много ѣзжу по Руси,
Отъ Керчи до Валдая,
И пью при томъ не мало *си-
валдая*.

— Такъ-то-съ! Не обезсудьте старика на такой моей солдатской откровенности!

Вскорѣ у выходной двери пронзительно зазвенѣлъ основной колокольчикъ, и полусонный голосъ дежурнаго сторожа выкрикнулъ монотоннымъ речитативомъ:

— Динабургъ, Вильна, Варшава — первый звонокъ!

Я поспѣшилъ расплатиться за буфетомъ и простился со своимъ случайнымъ знакомымъ.

— Такъ не забудьте же въ полку-то поклониться!—кричалъ онъ мнѣ въ-договку уже на платформѣ.—Такъ и скажите вѣзмъ: Башибузуку, молъ, кланяется, скорѣ набѣгъ на васъ учинить. Прощайте!

* * *

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Я успѣлъ со-всѣмъ позабыть про мою случайную встрѣчу, какъ вдругъ однажды, зимнимъ вечеромъ, раздается въ прихожей звонокъ, вслѣдъ за которымъ чей-то незнакомый, но авторитетный голосъ вопрошаетъ: «дома?» — и затѣмъ, не ожидая даже денщицыго отвѣта, въ комнату вваливается нѣкто, въ кавказской буркѣ, покрытой мокрымъ снѣгомъ, и въ папахѣ, низко нависшей надъ бровями.

Смотрю и не могу признать, кто такой могъ бы это быть?

— Здравствуй, дружище!—радостно восклицаетъ между тѣмъ на ходу незнакомый гость.—Аль не узналъ старика?.. Помнишь, на станціи?.. Башибузука-то? — Онъ самый и есть передъ тобой, какъ листъ передъ травой! Здорово!

Тутъ я, конечно, узналъ его; но только думаю себѣ: когда же это мы съ нимъ успѣли сойтись на «ты»? Онъ, однако, не далъ мнѣ раздумывать, а приступомъ, съ налету, заключилъ меня въ свои объятія и трижды звонко облобызалъ мои щеки, измазавъ ихъ мокрыми усами.

— Позволь, голубчикъ, хоть отогрѣться чуточку! Пріюти на часокъ, Христа-ради! Измокъ иззябъ, усталъ—просто, до лихоманки! И ѣсть

хочу, какъ сорокъ тысячъ братій хотѣть не могутъ!

Просить человѣкъ пріютить на часокъ,—не отказать же ему въ такой бездѣлицѣ, и тѣмъ болѣе въ его положеніи!

— Милости просимъ!—говорю. И обогрѣемъ, и накормимъ.

— О! благодѣтель!.. Вотъ душа-человѣкъ! Вотъ кунакъ-то! Это, что называется, по-кавказски, по-нашему!.. Ну, спасибо, солдатское мое спасибо тебѣ за это!

— Какими судьбами вы къ намъ?—спрашиваю его.

— То-есть, кто это мы?—переспросилъ онъ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.—Я одинъ, со мной никого нѣтъ больше.

— Да я про васъ-то самихъ и спрашиваю.

— Ахъ, про меня!—спохватился онъ, какъ-бы догадавшись.—Такъ зачѣмъ же тутъ это «вы» перемонное? Чего же это мы будемъ *смыкатся*?—Не подобаетъ! Ей-ей не подобаетъ! Я человѣкъ простой—вся душа, какъ на блюдцѣ. Коли я полюбилъ человѣка,—не могу съ нимъ на «вы» быть! Такъ вотъ и тянетъ, по старой привычкѣ кавказской, сейчасъ же на «ты» перейти. Душа моя! Кунакъ! Говори мнѣ, пожалуйста, на «ты», безъ церемоній! И я тоже буду! Такъ гораздо удобнѣе.

— Ну, это какъ кому,—замѣтилъ я, невольно улыбаясь на наивное нахальство моего гостя.—Мнѣ, напримѣръ, вовсе неудобно; я, съ непривычки, часто ошибаюсь буду.

— Это ничего!—снисходительно успокоилъ онъ меня, пожимая руку.—Ошибка въ фальшь не ставится. А для закрѣпленія дружбы, мы при первомъ же случаѣ выпьемъ на «ты», и шабашъ тому дѣлу! О чемъ, бишь, ты спрашиваешь?.. Да! Какими судьбами я попалъ сюда?—Очень просто, голубчикъ: былъ въ Варшавѣ, былъ въ Скерневицахъ у фельдмаршала, съ поклономъ—съ русскимъ поклономъ къ нему—понимаешь? По-кавказски!.. Ну, былъ потомъ въ Ченстоховѣ, опять въ Варшавѣ, въ Ново-георгиевскѣ, въ Иванъ-городѣ, въ Люблинѣ, оттуда въ Брестъ, изъ Бреста въ Бѣлостокъ, изъ Бѣлостока сюда—вотъ и весь маршрутъ мой. Все по полковымъ штабамъ гостилъ у друзей-пріятелей. Но чортъ его знаетъ—судьба моя такая! Только-что ввалился въ вашу оканную Гродну—грязь, слякоть, снѣжкище валитъ... Я сейчасъ извозчика... Ахъ! кстати, голубчикъ! Совсѣмъ изъ ума вонъ! Вѣдь у воротъ мой извозчикъ ждетъ. Прикажи, пожалуйста, рассчитать его,—завтра сочтемся... Ну-съ, такъ вотъ беру извозчика. Вези, говорю, къ майору Джаксону. Привозить.—Дома?—«Никакъ нѣтъ; въ эскадронѣ».—Э! чортъ возьми, досада какая! Вали, говорю, къ Друри. Дома?—«Въ отпуску-съ».—Тьфу ты, канальство! Я къ Черемисову,—въ театръ.—Я туда, сюда,—стукнулся еще къ двумъ-тремъ—никого!

То въ театрѣ, то въ клубѣ, то «въ гости ушли-съ». Экіе безобразники! Никто дома не сидитъ! Незадача, думаю. Какъ тутъ быть?.. Прodrогъ ужасно, съ холода рюмку бы водки, да чаю стаканъ, да отдохнуть съ дороги, потому усталъ, говорю тебѣ, ужасно, а они, черти, по клубамъ да по театрамъ!—«Ну, говорю извозчику, пошелъ теперь, куда знаешь; я ужъ тутъ ничего больше не могу придумать; думай ты за меня». Ёдемъ мы по этой улицѣ, видимъ свѣтъ въ окнахъ; извозчикъ мой и остановился.— «Надо быть, говорить, дома, потому свѣтло».— Да здѣсь кто живетъ-то?—спрашиваю. Онъ и называетъ тебя. Ба! думаю—вотъ оно гдѣ мой спаситель обрѣтается!.. Ну, конечно, сейчасъ же сюда, а остальное ты ужъ знаешь. Такъ вотъ, друже ты мой, еще разъ въ ножки кланяюсь тебѣ,—пріюти старика на одну ночь, а тамъ завтра къ Джексону въ эскадронъ проберусь—и вся не долгá! Но теперь дай мнѣ, Христа ради, рюмку водки и хотя чего-нибудь куснуть на голодные зубы!

— Все это будетъ сію минуту,—утѣшаю его.—Но гдѣ же вещи ваши? Надо приказать внести ихъ сюда.

— Какія вещи?—вопрошаетъ Башибузукъ съ недоумѣніемъ.

— Ну, чемоданъ или сакъ тамъ, что ли?

— Че-мо-да-анъ! фи фю-ю!—просвисталъ онъ, махнувъ рукою.—Зотъ еще какія нѣжности! Никогда отродясь, другъ мой, у меня никакихъ чемодановъ не бывало. Я, какъ Діогенъ,—omnia mea mecum porto! Чай, знаешь пѣсенку:

Аристотель о, о, о, оный,

Славный филозовъ.

Продаль пантало, о, о, о, оны,—

Ходить безъ штановъ!

— Такъ и я, братъ, точно! Живъ Богъ—жива душа моя, а съ голоду на Руси, говорятъ, еще никто не умиралъ. Зачѣмъ мнѣ вещи? Только лишнюю тяжесть таскать за собою да платить за багажъ на дорогахъ? Нѣтъ, братъ, я этой глупой модѣ не слѣдую. Omnia mea mecum porto—я все тутъ!

* *

Нельзя сказать, чтобы Башибузукъ особенно обременялъ кого-либо собою. Когда онъ свершалъ свои «набѣги», то это были набѣги дѣйствительно на цѣлый полкъ, а не на того или на другого изъ офицеровъ. Тяготы своего пребыванія въ полку онъ поровну раздѣлялъ между всѣми, какъ подушную повинность. Сегодня случай привелъ его ко мнѣ, завтра онъ точно также случайно останется ночевать у другого: гдѣ захватила его ночь, тамъ и остался. Здѣсь привелось позавтракать, тамъ пообѣдать, тутъ у такого-то чаю напиться, въ четвертомъ мѣстѣ поужинать,—онъ и счастливъ, по-

тому что всегда вертится въ «компаніи», всегда съ «друзьями», съ «кунаками». Любитъ онъ поговорить, побалагурить—только не мѣшай ему языкомъ болтать,—и дѣйствительно, болтунъ онъ неистощимый; и все это съ прибауткой, «со стишкомъ», съ пословицей, съ неизмѣннымъ refrain ко всякой темѣ: «а вотъ-де у насъ, бывало, на Кавказѣ»,—я какъ попадетъ на этого кавказскаго своего конька, то только пошли Богъ терпѣнія слушать! Въ особенности онъ любилъ рассказывать про Нижегородскій полкъ, его бытъ, его боевые подвиги, про полкового пѣсенника-запѣвалу и пьяницу Малышку—и въ эти минуты одушевлялся искренно, безъ напускнаго пафоса, и непремѣнно цитировалъ Нижегородскую пѣсню:

Старый полкъ нашъ двѣсти лѣтъ
Ходить въ бой,
Много знаетъ онъ побѣдъ
За собой.

И заканчивая какой-либо подобный рассказъ, точно также непремѣнно приведетъ «стишокъ» изъ той же пѣсни:

Такъ нашъ старый полкъ живетъ
Двѣсти лѣтъ,
Молодѣя каждый годъ.
Отъ побѣдъ.

Когда, бывало, просятъ его къ водкѣ и закускѣ, онъ, весело и пріятно потирая руки, сейчасъ же скажетъ «стишокъ».

Эхъ-ма! служба тяжела,
Часомъ просто не находка!
А была чтобъ весела,
Что драгуну нужно?—Водка!

И, по обыкновенію, разомъ «вонзаетъ» въ себя рюмку, въ заключеніе чего опять—таки «стишокъ»:

Знать, драгуны таковы,
Свой завѣтъ не позабудутъ:
Могутъ быть безъ головы,
А безъ водки ужъ не будутъ.

И откуда только у него брались эти «стишки»!—На всякій случай, на всякое обстоятельство непремѣнно отвѣтитъ стишками.

Ну, братъ, и наклеялся же ты вчера!—дружелюбно коритъ его кто-нибудь утромъ.—Даже подъ столъ свалился!

— А что-жь!—отвѣчаетъ онъ,—это какъ слѣдуетъ!

Счастливъ тотъ, кто въ вихрѣ боя,
Иль въ пирушкѣ громовой
Славной смертью палъ героя
Хоть подъ столъ за край родной.

Потрепалъ онъ какъ-то двухъ жидковъ за какую-то мошенническую продѣлку. Тѣ жаловаться къ полиціимейстеру. Выходитъ, разумеется, исторія, изъ которой надо выручать Башибузука.

— И зачѣмъ ты рукамъ волю давалъ!—корить его пріятели.

— А что-жь!—говоритъ—мы, братѣ, кавказцы! Мы таковы! Мы—

Въ дѣло, будто на охоту,
Съ радостью идемъ,
И черкесскую когорту,
Словно зайцевъ, бьемъ.

— Да вѣдь это, возражаютъ ему, не черкесы, а жида.

— Жиды? Тѣмъ паче!

Ужъ Шамилевой фалангѣ
Мы потачки не дадимъ,
И у насъ на лѣвомъ флапгѣ
Мало пользы будетъ имъ!

— Имъ-то, разумѣется, мало, потому что взять съ тебя нечего; но и тебѣ немного: нарвешься когда-нибудь такъ, что и въ кутузку засадятъ!

— Кого? Меня?.. Никогда!

Съ нами Богъ и Фрейтагъ съ нами,
Съ нами Фрейтагъ—съ нами Богъ!

Какъ я сказалъ уже, Башибузукъ, кромѣ того, что было на немъ надѣто, не имѣлъ никакого имущества. Если черкесска его приходила въ крайнюю ветхость, — кто-нибудь изъ друзей, самъ или въ складчину, дарилъ ему новую — и Башибузукъ опять на нѣсколько лѣтъ былъ «экипированъ». Одинъ, бывало, подарить ему старье, но еще крѣпкіе сапоги, другой — рейтузы, третій — сорочку, четвертый — пару носовыхъ платковъ, и Башибузукъ счастливъ. — «Я богатъ, я очарованъ, я опять экипированъ!» въ восторгѣ восклицалъ онъ въ этихъ случаяхъ. Но вздумали однажды пріятель снабдить его бѣльемъ въ полной мѣрѣ, такъ, чтобы всѣхъ принадлежностей было у него по полдюжину, — Башибузукъ, къ удивленію, отказался.

— Нѣтъ, господа, куда мнѣ съ этимъ возиться! Все равно раскрадутъ или растеряю. Мое правило такое: одна сорочка у прачки, другая на себѣ, и все тутъ! Износятся пріятель дастъ новую. А эти полдюжины — это вѣдь уже цѣлое имущество, подъ него и чемоданъ нуженъ, и счетъ вести надо, заботиться надо... Нѣтъ, ужъ Богъ съ нимъ, а вамъ—сердечное спасибо!

Такъ и не согласился принять нашъ подарокъ.

Между прочимъ, замѣчательно былъ рассказъ его о томъ, какимъ образомъ однажды избавился онъ развѣ навсегда отъ всѣхъ своихъ долговъ и кредиторовъ.

«Это было незадолго до выхода моего въ отставку,—рассказывалъ намъ Башибузукъ. — Долги меня одолѣвали, а вы сами, чай, знаете, какъ дѣлаются долги нашимъ братомъ. Нужно тебѣ, положимъ, сто рублей, а услужливый жидъ или армянскій восточный человѣкъ де-

реть съ тебя вексель въ триста,—по десяти, а то и по двѣнадцати процентовъ въ мѣсяцъ; а не заплатилъ въ срокъ, переписывай вексель съ сопричитеніемъ процентовъ на проценты, по двѣнадцати же въ мѣсяцъ... Пройдетъ нѣсколько мѣсяцевъ, и твой сторублевый долгъ вырастаетъ чуть не въ тысячный!.. И вотъ, такихъ-то дутыхъ долговъ по векселямъ накопилось у меня до десяти тысячъ, и все это тутъ же, у себя дома, въ штабномъ районѣ, благодаря разнымъ промышленнымъ Карапеткамъ, Каспаркамъ и Шмулькамъ, осаждающимъ у насъ, на Кавказѣ, штабъ каждаго полка не хуже чѣмъ здѣсь, въ Западномъ краѣ. Разница только та, что вы здѣсь имѣете дѣло съ одними жидами, а мы и съ жидами, и съ армянами, и съ греками, и съ персами, чего и врагу пожелать грѣшно, въ особенности относительно грековъ. Десять жидовъ изъ одного грека выкроить можно! Судите же сами, кому легче — вамъ или кавказцамъ?

«Видю я, наконецъ, что исхода нѣтъ никакого: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ; чѣмъ больше переписываешь векселя, тѣмъ все ту-же мертвую петлю на себѣ затягиваешь. И знаю, что придетъ, наконецъ, день мой судный, подадутъ ко взысканію и... чего добраго, даже до капитанскаго, до рокового моего чина не дадутъ дослужиться. Между тѣмъ дѣйствительныхъ моихъ долговъ, если положить ихъ даже съ 24-мя годовыми процентами, было менѣе чѣмъ на три тысячи. Но и то тяжело. Откуда возьмешь вдругъ три тысячи, когда ни движимаго, ни недвижимаго не имѣется, да и нѣтъ къ тому же ни дядюшки, ни тетюшки, ни бабунки, которые могли бы нѣчто оставить по наслѣдству. Поэтому для меня, въ сущности, было все равно, три ли тысячи, десять ли тысячъ: и такъ, и этакъ одинаково скверно выходило.

«Но вдругъ судьба мнѣ улыбнулась.

«Пріѣхалъ къ намъ въ штабъ интендантъ открывать цѣны, а денегъ у интенданта много, потому что уже давно въ интендантахъ служить и почитается наипытнѣйшимъ... Самъ онъ, какъ водится, изъ поляковъ, на рукахъ драгоценные перстни сверкаютъ, при часахъ массивная золотая цѣпочка, безъ шампанскаго обѣдать не садится и въ собственной шегольской коляскѣ развѣзается; остановился въ гостиницѣ, три номера подъ рядъ — что ни есть лучшихъ номеровъ — одинъ подъ себя занялъ, квартирмейстера и нужныхъ офицеровъ шампанскимъ угощаетъ,—ну, особа, да и только. Случился въ тѣ же поры у насъ въ Царскихъ Колодцахъ наѣздомъ окружной — большой мой пріятель, лихой малый, умная голова, изъ старыхъ кавказцевъ — и любилъ онъ меня очень, и зналъ хорошо мои скверныя обстоятельства. Даже, могу сказать, обязанъ ему благодарностью за то, что онъ неодно-

кратно сдерживалъ плотоядные насчетъ меня порывы и аппетиты моихъ кредиторовъ. Встрѣчаетъ онъ меня какъ-то на улицѣ и зоветъ къ себѣ; въ гостиницѣ тоже былъ остановившись: «приходи-де вечеркомъ на пульту; интендантъ будетъ». Ладно. Собрались мы у него на чай, кое кто изъ нашихъ, интендантъ тутъ же, брильянтами своими сверкаетъ! Послѣ пультки обычнымъ манеромъ закусили, поужинали, выпили, а тутъ и предложитъ кто-то, чуть ли не самъ же интендантъ, въ «любишь не любишь» перекинуться. Идетъ! Кто же отъ этого въ доброй компаніи откажется! Заложилъ интендантъ банчикъ. Облѣпили его понтеры, словно мухи просыпанный сахаръ. Играютъ. И не прошло еще часу, какъ игра поднялась уже большая, серьезная. Я поглядѣлъ-поглядѣлъ, да и соблазнился, — рискну-ка на счастье! — и сталъ понтировать. Поставилъ карту—дана, другую—дана; я «на пе»—взялъ и «на пе».—Везетъ, думаю, везетъ! Понтируй дальше, не робѣя, гни даму, гни туза-злодѣя!.. Впередъ! Впередъ!.. «Жизни только тотъ достоинъ, кто на смерть всегда готовъ»!.. И есть же анаемское счастье! Разъ въ жизни только такое и приходитъ—большое, глупое, слѣдное счастье!.. Что вы себѣ думаете! Менѣе чѣмъ въ четверть часа, ни разу не сорвавшись, взялъ я кругленькій кушакъ въ три тысячи рублей. Хочу понтировать дальше, только вдругъ чувствую, наложилъ кто-то на плечо мое руку. Оборачиваюсь—пріятель окружной.

— Брось-ка, говоритъ, на минуту; мнѣ тебѣ нужно два слова сказать.

— Отстань! говорю. Послѣ! Потомъ! Видишь, везетъ какъ!

«А онъ мнѣ таково-то настойчиво, внушительно:

— Бастуй, говоритъ. Довольно!

«А самъ такъ выразительно на плечо нажимаетъ.

— Ну, думаю, вѣрно не спроста.

«Забастовалъ я, получилъ чистоганомъ три тысячи, пересчиталъ и золото, и бумажки, набилъ ими всѣ карманы и отошелъ отъ игровыхъ.

— Къ чему ты, говорю ему, остановилъ меня? Вѣдь какъ везло-то!

«А онъ мнѣ на то:

— Надо, говоритъ, и честь знать, а то посади свинью за столъ, она и ноги на столъ! Можетъ быть, говоритъ, это всеблагое Провидѣніе милость свою къ тебѣ испосылаетъ, такъ ты и чувствуй, и не искушай его безъ нужды; умѣй отстраниться во-время, а то, не ровнѣе часть, и три-то тысячи спустишь, да еще, гляди, на нѣсколько тысячъ дашь на себя реваншу, а расплатиться-то и нечѣмъ... Ну, и что-жъ тогда благородному офицеру дѣлать? Пулю въ лобъ?.. А ты, говоритъ, возблагодари всеблагое-то Провидѣніе, да давай-

ка деньги сюда, ко мнѣ въ шкатулку, здѣсь онѣ поцѣлѣе будутъ; а теперь ступай спать съ легкимъ духомъ и чистымъ сердцемъ; завтра же утромъ приходи ко мнѣ, потолкуемъ, какое наилучшее приспособленіе дать этому капиталу.

«Вижу я—говоритъ человѣкъ такъ серьезно, убѣдительно, словно отецъ родной; отдаю ему деньги; онъ пересчиталъ и при свидѣтеляхъ заперъ въ шкатулку.

— Пусть, говоритъ, дѣло на чистоту будетъ.

— Ладно.

— Прихожу къ нему послѣ ученья, утромъ, какъ было установлено, а тамъ, гляжу, сидятъ уже въ гостяхъ двое моихъ сожителей. (Я, видите ли, жилъ съ двумя товарищами; особый такой маленькій домочекъ мы занимали). Хозяинъ мнѣ на встрѣчу.

— Ну, говоритъ, капиталистъ! Добро пожаловать! Сперва закуси, а потомъ поведемъ серьезную бесѣду. Я, говоритъ, и обоихъ твоихъ сожителей нарочно пригласилъ на совѣщаніе.

«Закусили мы, трубки закурили, все какъ слѣдуетъ... Окружной и говоритъ мнѣ:

— Какъ же ты, другъ, намѣренъ капиталомъ своимъ распорядиться?

«А я только плечами пожимаю.

— Не знаю, говорю, — такими мыслями пока еще не задавался. Имѣнія на такой капиталъ не купишь, а и купишь, такъ все равно за долги отберутъ, да и долговъ-то всѣхъ не расплатишь. Что имъ три тысячи, тварямъ-то этимъ! Только аппетитъ ихъ скаредный еще пуще раздражишь! Поди-ка, еще сильнѣе напирать начнутъ: заплатилъ-де три, — значить, можешь и остальные!

— Вотъ въ томъ-то и сила, — возражаетъ онъ мнѣ, — въ томъ-то и фортель, что надо теперь же воспользоваться счастливымъ случаемъ и расквитаться со всѣми, то-есть, буквально, со всѣми кредиторами.

«Я ажно глаза выпучилъ.

— Христось съ тобой! говорю. — Какъ же такъ расквитаться, коли всѣхъ долговъ у меня до десяти тысячъ?

— Да ужъ какъ ни какъ, а расквитаться надо.

— Но какимъ же способомъ?

— Такимъ, чтобы заплатить деньги и получить назадъ векселя, всѣ до единого. Я, говоритъ, распорядился уже пригласить всѣхъ твоихъ главнѣйшихъ займодавцевъ, назначилъ имъ время—вотъ черезъ полчаса соберутся—и скажу имъ, что желаю заплатить за тебя и жертвую на это три тысячи.

— И ты воображаешь, что эти христопрдавцы согласятся?

— Вотъ попытаемъ... Не согласятся—тогда у насъ еще другой способъ остается въ запасѣ.

— Что за способ такой?—спрашиваю.

— Есть уж! Не беспокойся! Самый радикальный! Коли ты самъ ничего не придумалъ, то мы подумали за тебя и выдумали нѣчто.

«Вотъ собрались, наконецъ, кредиторы: два армянина, полтора жида и одинъ цѣлый грекъ. Предлагаетъ имъ окружной сдѣлку: «такъ и такъ, говоритъ. Видя безвыходное положеніе пріятеля, желаю ему помочь и плачу за него, по силѣ своей возможности; болѣе трехъ тысячъ пожертвовать на это не могу, но съ васто, въ сущности, и этого исполнѣ довольно, такъ какъ сами вы знаете, что векселя ваши дутые, и вы теперь получаете за нихъ въ возвратъ весь дѣйствительно данный вами капиталъ, да еще сверхъ того по 24 процента. Сдѣлка, молъ, хорошая, и, говоря по совѣсти, согласиться можно».

«Куда тебѣ!.. Тѣ и слышать ничего не хотѣть.—Мы, говорятъ, уже знаемъ, что штабсъ-капитанъ вчера три тысячи въ штоссъ выигралъ; пусть ихъ намъ и заплатитъ, а мы новые векселя ему за то согласны переписать и подождемъ со взысканіемъ. Можетъ, Богъ пошлетъ ему еще другой такой же кушъ выиграть, а можетъ и больше, — за что же мы свое-то станемъ терять!»

«Словомъ сказать, какъ ни уламывали ихъ—не соглашались. Уперлись на своемъ и баста! Нечего дѣлать, пришлось окружному прогнать ихъ къ чорту.

— Ну, другъ любезный, — говоритъ онъ мнѣ,—самъ ты видишь, хотѣлъ я помочь тебѣ, старался, убѣждалъ—не пробирается!.. Теперь тебѣ ничего больше не остается, какъ только умереть.

— Какъ умереть?! — удивился я.—Что за вздоръ ты мнѣ предлагаешь!

— Отнюдь не вздоръ, — говоритъ. Надо умереть, тогда мы ликвидируемъ твои дѣла; тогда всѣ эти хриstopродавцы поневолѣ пойдутъ на сдѣлку. Мы скупили всѣ твои векселя, и ты выйдешь чистъ и свѣжъ, какъ бутонъ, паче свѣга убѣлишься и вздохнешь, наконецъ, свободно. Вся штука въ томъ, что умереть надо. Умри-ка, и въ самомъ дѣлѣ, денька этакъ черезъ четыре!

«Я гляжу, какъ шальной, то на того, то на другого, то на третьяго.

— Воля ваша, говорю, а только я ровно ничего не понимаю. Шутите вы надо мной, что-ли?

— Нѣтъ, увѣряютъ они. — Мы тебѣ предлагаемъ это самымъ серьезнымъ образомъ, какъ единственно возможный и даже выгодный для тебя исходъ.

— Ну, такъ вы, друзья, извините! Стало быть, вы съ ума сошли!

— Нѣтъ, говорятъ,—пока еще, слава Богу, въ здравомъ разсудкѣ, а только самъ ты видишь, что безъ твоей смерти кредиторы ни-

какъ не согласятся покончить твои счета за три тысячи.

— Это-то, конечно, вѣрно, соглашаюсь я,—но только, чортъ возьми, неужели же мнѣ, ради удовлетворенія Шмулекъ и Карапетокъ, пулю въ лобъ себѣ пустить?!

— Ну, вотъ уже и пулю!.. Зачѣмъ пулю?.. Тутъ пуля вовсе не требуется. Тебѣ, напротивъ, надо умереть, такъ сказать, законнымъ порядкомъ и на законномъ основаніи, какъ умираютъ всѣ добропорядочные и благонамѣренные люди, то-есть, сперва, значить, поболѣть денька этакъ три, четыре, а тамъ и скончаться.

«Я и рукой махнулъ.

— Нѣтъ, говорю друзья: вы окончатель-но съ ума сошли, и если у васъ нѣтъ для меня въ запасъ болѣе умнаго совѣта, то прощайте!

— Да ты постой, говорятъ, ты не кипятишься, а выслушай сначала. Это вовсе не такъ глупо и не невозможно, какъ тебѣ кажется. Слушай: могъ бы ты, напри-мѣръ, вчера или сегодня простудиться, схватить себѣ гриппъ, жабу, горячку тамъ, что-ли, воспаленіе, или вообще какую-нибудь подобную мерзость? Могъ ли бы?.. Развѣ кто изъ насъ застрахованъ отъ такой случайной напасти?

— Ну, положимъ, могъ бы, говорю. Только что жъ изъ этого?

— А вотъ что: представь себѣ, что ты заболѣлъ, слегъ въ постель и умеръ, лежишь на столѣ, а я, какъ власть полицейская, присутствую тутъ же, для наблюденія за производствомъ описи твоего имущества, и между тѣмъ, подъ рукой, извѣщаю всѣхъ твоихъ кредиторовъ, вступаю съ ними въ соглашеніе, скупаю векселя, и вотъ, такимъ образомъ, пока ты будешь лежать кверху носомъ, мы обдѣлаемъ твои дѣла, и тебѣ, послѣ того, будетъ такъ легко, такъ легко... жить на свѣтѣ!

— Какъ, говорю, жить на свѣтѣ, коли вашъ премудрый расчетъ на моей смерти строится?!

— Ахъ, голова, голова! корятъ они меня. Неужели все еще не понимаешь? Не о смерти,—о жизни дѣло идетъ!.. Кто жъ тебѣ запретить въ тотъ же день воскреснуть? Какъ только послѣдній вексель будетъ возвращенъ, ты и воскресай! Прямо такъ-таки и воспрянь предъ всею компаніей твоихъ кредиторовъ, къ наивышему ихъ ужасу.

— Н-да, говорю, только вѣдь это обманъ выводить...

— Зачѣмъ обманъ?.. Какъ это можно обманъ?.. Развѣ у тебя не могла быть летаргія? Помилуй, да это ни полковой, ни уѣздный врачи не откажутся засвидѣтельствовать. Летаргія дѣло весьма возможное. Они даже рады будутъ: во-первыхъ, такой интересный случай въ наукѣ, а потомъ, кто-жъ не радъ проучить

хорошенько всѣхъ этихъ общихъ нашихъ кро-
вопийцъ, съ которыми по закону, самъ знаешь,
ничего вѣдь не подѣлаешь. Къ тому же весь
свой долгъ ты выплачиваешь честно, даже съ
большими процентами, и только изъ самосо-
храненія предпринимаешь стратегическій ма-
невръ, чтобы выпутаться изъ злостной ло-
вушки, въ которую тебя систематически за-
тягируютъ.

«Словомъ сказать, всѣ доводы пріятелей были
убѣдительны и ясны, какъ дважды-два — че-
тыре. Я такъ и хватилъ себя по лбу.

— Вотъ она, гениальная-то мысль! Уми-
рать, говорю, умирать сію же минуту! Кла-
дите меня на столъ, надѣвайте саванъ, плачъ-
те и рыдайте, и зовите кредиторовъ. Кончено!
Я умираю!

— Погоди, говорятъ,—не торопись. Побудь
живъ и здоровъ, еще дня два: вѣдь ничего
же они съ тобой въ такой короткій срокъ не
сдѣлаютъ! Побѣжай-ка лучше на охоту. На
охотѣ тебѣ разрѣшается схватить горячку, а
по возвращеніи — прямо въ постель, и тогда
умирай себя съ Богомъ, на законномъ осно-
ваніи.

«И дѣйствительно, такъ мы все и устроили.
Поболтался я день въ штабѣ, на другой день
уѣхалъ съ товарищемъ на охоту, на третій
возвратился утромъ домой и прямо въ постель.
Докторъ ко мнѣ ходитъ, нашъ полковой врачъ,
добрѣйшій Готлибъ Христофоровичъ — и такъ
усердно навѣщаетъ больного по два раза въ
день, и утромъ и вечеромъ; ставятъ передъ
нимъ каждый разъ самоваръ и бутылку рому
ямайскаго, которую онъ и усиживаетъ въ одинъ
визитъ, «ганцъ аккуратишъ». Ну, при этомъ,
конечно, и пріятели навѣщаютъ, играютъ въ
карты, хотя и не безъ нѣкотораго стѣсненія,
такъ какъ всякій шумъ и громкіе разговоры
Готлибъ Христофоровичъ воспретилъ строжай-
шимъ образомъ. Въ Колодцахъ межъ тѣмъ
слухъ пошелъ, что бѣдный Башибузукъ бо-
ленъ, лежитъ не вставая съ постели, стра-
даетъ... Кредиторы, разумѣется, тоже прослы-
шали, являются одинъ за другимъ узнать о
здоровьи, справится-ли, и какъ — девочки,
конечно, не допускаютъ ихъ: плохъ, молъ, не
тревожьте. Шмульки и Каранетки только въ
затылкахъ почесываютъ отъ раздумья: ну, какъ
помретъ, не ровенъ часъ? Съ чѣмъ тогда оста-
немся?.. Призадумались-таки сильно. На слѣ-
дующій день толкуютъ въ мѣстечкѣ, что боль-
ному еще хуже стало — вонъ и сторы въ окнахъ
спущены, и солombok даже подсыпали передъ
домомъ на улицѣ — шумъ-де чтобы не такъ
безпокоилъ. Встрѣчаетъ Готлиба Христофоро-
вича нашъ полковникъ, освѣдомляется обо
мнѣ: правда ли, что болѣзнь такъ серьезна?
Хочу, молъ, самъ навѣстить больного. А Гот-
либъ Христофоровичъ ему на это: «Нѣтъ,
говорить, — полковникъ, не безпокойтесь; бо-

лѣзнь сама по себѣ вовсе не опасная — *mor-
bus creditoris* называется. Такою болѣзнью,
говорить,—дай Богъ и каждому захворать, съ
тѣмъ, чтобы радикально вылечиться отъ за-
тяжныхъ и хроническихъ *debitonis centesima-
rum* и прочаго».

«На третій день утромъ я, наконецъ, уми-
раю. Подпудрили меня, чтобы поблѣднѣе ка-
зался, подъ глазами жженой пробкой темные
круги вывели, положили на столъ, покрыли
всего простынею и на лицо набросили особую
кисейку, а то неравно муха на носъ сядетъ,
усами пошевелишь — и весь эффектъ ни къ
чорту! Притащили даже изъ лазаретной по-
койницкой три канделябра съ восковыми свѣ-
чами и поставили вокругъ меня по порядку,
какъ слѣдуетъ; зеркало бѣлой салфеткой завѣ-
сили, въ комнатѣ ладономъ покурили; сожи-
тели по-очереди псалтирь надо мною читаютъ.
Вотъ и другъ-окружной пріѣхалъ, а что до
кредиторовъ, то ихъ и извѣщать не потребо-
валось: сами нагрянули, чуть лишь прослы-
шали, что скончался... Стоять съ кислыми ро-
жами въ прихожей да заглядываютъ въ полу-
раскрытую дверь: вишь, молъ, аспидъ, око-
лѣлъ и не расплатился... Пропали бѣстѣящія,
лакомыя надежды на десять тысячъ!.. А я
лежу, не шелохнусь и только думаю себѣ:
Господи, что же это будетъ, если мнѣ теперъ
вдругъ чихнуть захочется!.. Между тѣмъ, слышу,
окружной зоветъ кредиторовъ въ комнату...

— Вы, говорятъ, братцы, зачѣмъ это сюда
пожаловали? Покойнику поклониться? Что-жъ,
поклонитесь, дѣло хорошее. Жаль бѣднаго,
такъ неожиданно умеръ и ничего, говорятъ,
не осталось, кромѣ платяя носильнаго да
сѣдельнаго прибора... Немного же вамъ въ
разверстку-то придется!

«У тѣхъ рожи-то еще больше вытянулись.

— Какъ, возражаютъ ему, — а три-то ты-
сячи?

— Какія такія?

— А тѣ, что съ интенданта выигралъ? Мы
вѣдь слышали!

— Мало ли какіе слухи бываютъ! Выигралъ-
то можетъ быть не онъ, а я, или его сожи-
тели, и мы же хотѣли за него расплатиться,
но... сами вы тогда не пожелали. Теперь на
себя пеняйте!

«Взмолились къ нему всѣ Шмульки и Кара-
нетки, нельзя ли-де какъ-нибудь на трехъ ты-
сячахъ покончить! Мы-де согласны и ника-
кихъ болѣе претензій имѣть не будемъ; вотъ
и векселя, нельзя ли кончатъ поскорѣе, хоть
сію минуту, не доводя дѣла до описи и поли-
цейско-судейской процедуры?

— Я ужъ тутъ, братцы, самъ ничего не
могу! — возражаетъ ему окружной. — Развѣ что
вотъ оба сожителя покойнаго пожелаютъ какъ-
нибудь кончить съ вами... Вы уже теперь ихъ
просите, а я не причѣмъ!

«Тѣ чуть не въ ноги моимъ сожителямъ, благодѣтелями называютъ, плачутъ, воздыхаютъ. Я лежу-себѣ неподвижно: бровью не моргну и только думаю, какъ бы не расхохотаться!..»

«Покончили, наконецъ, на трехъ тысячахъ; деньги—съ рукъ на руки; векселя всѣ до единого получили, торжественно разорвали, уничтожили, затѣмъ выпроводили изъ дому всѣхъ Шмукель и Каспарокъ съ Карапетками—и я воскресъ!»

«На другой день былъ какой-то праздникъ; вечеромъ на бульварѣ музыка играетъ, гулянье, народу пропасть, и я тоже присутствую, къ несказанному общему изумленію! Поздравляютъ меня всѣ съ воскресеніемъ изъ мертвыхъ, — «вотъ, говорятъ, я раньше втораго пришествія сподобились», спрашиваютъ, хорошо ли на томъ свѣтѣ, а кредиторы—Боже мой! еслибы только можно было изобразить ихъ отчаяніе и злобу!..»

— Ну, говорятъ, больше мы вамъ ни одной копейки не повѣримъ!

— И отлично, голубчики, сдѣлаете! — отвѣчаю имъ.—Лучше поблагодаримъ другъ друга за науку; а что до меня, то я ужъ, конечно, ни за чѣмъ къ вамъ не обращуся!

«И такимъ-то образомъ, съ тѣхъ самыхъ поръ я твердо рѣшилъ себѣ не дѣлать больше никакихъ долговъ, иначе какъ у пріятелей на честное слово, ради маленькой перехватки; но векселей, росписокъ — никакихъ и никогда! Маленькая перехватка у пріятеля — это ничего, это совсѣмъ другое дѣло: нѣсколько рублей никогда не разорять. Будутъ у меня деньги—отдамъ, не будутъ, съ меня не взыщутъ, простятъ, забудутъ по-пріятельству. Не такъ ли? И вотъ, потому-то собственно, при выходѣ въ отставку, я и распродалъ все, что было у меня излишняго, дабы не обременять себя впредь ни долгами, ни имуществомъ! Однимъ словомъ, — *omnia mea mecum porto* — и счастливымъ».

* * *

Имѣлъ Башибузукъ слабость не только говорить стишками, но и сочинять стишки, окончательно неудобные для печати. Изъ всѣхъ его собственныхъ произведеній цензура благопристойности можетъ пропустить только одно четверостишіе — надгробную эпитафію, сочиненную имъ самому себѣ:

Подъ камнемъ сямъ лежитъ Башибузукъ.
Не много зналъ онъ въ жизни сей науку,
Зато умѣлъ въ бою съ врагомъ рубиться
И въ каждый часъ съ пріятелемъ напиться.

Разъ какъ-то заговорилъ онъ о смерти и упомянулъ о своемъ духовномъ завѣщаніи. При этомъ мы всѣ невольнымъ образомъ разсмѣялись.—Какое-жъ у тебя можетъ быть духовное завѣщаніе?

— Какъ «какое»?—Самое настоящее! И я всегда имѣю его, на случай смерти, при себѣ;

ношу вмѣстѣ съ указомъ объ отставкѣ, въ боковомъ карманѣ. Не вѣрите? — Показать могу сію минуту.

И вынувъ изъ потертаго конверта форменно-сложенный листъ бумаги, онъ прочелъ намъ слѣдующее:

«Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Находясь въ здоровомъ разумѣ и совершенно полной памяти, завѣщаю послѣднюю мою волю и прошу всѣхъ моихъ друзей не поминать меня лихомъ. Друзей же моихъ того полка, въ которомъ постигнетъ меня смерть, усерднѣе прошу оказать мнѣ послѣднюю услугу — похоронить меня на общій ихъ счетъ, по христіанскому восточно-православному обряду. Драгоценное боевое оружіе мое: Базалаевскій кинжалъ и шапку завѣщаю тому изъ хорошихъ моихъ друзей, кому вещи сіи достанутся по жребію, кинутому въ общемъ друзей моихъ присутствіи. Носильное же мое платье раздать, на поминъ грѣшной души моей, нищимъ, однимъ изъ коихъ и самъ я весь вѣкъ мой странствовалъ въ мірѣ».

Завѣщаніе это было за надлежащими подписями одного изъ полковыхъ священниковъ и двухъ друзей-свидѣтелей. Приведено ли оно въ исполненіе, или же Башибузукъ и доднесъ еще странствуетъ по полкамъ — не знаю. Я давно уже потерялъ его изъ виду.

IV.

Гаспнидинъ Элькесъ.

Этотъ былъ самый шельмоватый изъ всѣхъ нашихъ приживалокъ. Но, несмотря на шельмоватость, вообще присущую еврейской расѣ, онъ былъ достоинъ и уваженія многими своими личными качествами, да и самая шельмоватость его вовсе не носила въ себѣ отталкивающаго характера; иногда онъ даже «утѣпалъ» насъ ею, ибо съ этимъ его качествомъ нерѣдко сочеталась нѣкоторая доля своеобразнаго еврейскаго остроумія.

Пока полкъ стоялъ въ Тверской губерніи, въ немъ и понятія не имѣли о томъ, что такое еврей Западнаго края; зато со всей прелестію еврея, во всей ея неприкосновенности, пришлось познакомиться съ перваго же часа, даже съ перваго шага, при вступленіи нашемъ на гродненскую почву. Здѣсь однимъ изъ первыхъ явился и тотчасъ же прикомандировалъ себя къ офицерамъ «гаспнидинъ Элькесъ», который сразу заявилъ, что онъ «первелегированный» портной и можетъ шить «изъ увешнаго корту увешнаго кистомъ», а также кроить, пороть и штопать, и «зновъ по новому зе сштараво перевертатъ изъ полнымъ раставраціумъ, надзвычайне же вуляньски колеты, штыблеты, жакеты и жалеты»; можетъ притомъ доставлять всякія офицерскія вещи: «апалеты, атышкеты, шапки въ папкѣ,

пегхоны, претаней и прочаго причадалу», равно какъ «вина, ликворы, розмаите напои и шигарке контрабандовы»,—словомъ, оказался чловѣкомъ вполне необходимымъ, въ особенности на первое время.

Много являлось къ намъ подобныхъ же предлагателей всевозможныхъ услугъ, но Элькесъ какими-то судьбами ухитрился всѣмъ имъ перебить дорогу и въ ряду ихъ занять при полку первое мѣсто. Онъ какъ-бы наложилъ на нашъ полкъ своего рода амбарго, или запрещеніе, какъ-бы объявилъ его своей собственностію, исключительнымъ предметомъ своей эксплуатаціи и обработки. Конкуренція ему явилась только со стороны мадамъ Хайки, и конкуренція настолько сильная, что съ нею, какъ ни бился гасшпидинъ Элькесъ, а ничего не могъ подѣлать и, въ концѣ концовъ, вынужденъ былъ силой обстоятельствъ признать за Хайкой всѣ права относительно поставокъ нѣкоторыхъ вещей, необходимыхъ въ офицерскомъ обиходѣ. Такимъ образомъ, отъ Элькеса отошли всѣ операціи по части снабженія насъ винами, чаемъ, сахаромъ, стеариновыми, свѣчами, готовымъ бѣльемъ и папиросами; зато всецѣло удержалось за нимъ все, касавшееся портняжнаго искусства и снабженія офицерскими форменными вещами. И онъ не остался въ накладѣ. Послѣ похода у каждаго нашлось кое-что для починки и передѣлки изъ носильнаго платья, и всей этой работой завладѣлъ Элькесъ настолько, что даже обижался искренно и горько, если кто-нибудь изъ насъ случайно отдавалъ какую-либо починку въ постороннія руки. Сверхъ ожиданій, онъ оказался весьма порядочнымъ мастеромъ своего дѣла, такъ что многіе стали заказывать ему и новыя вещи. Это, конечно, еще болѣе упрочило его положеніе въ качествѣ полкового портного, и онъ сталъ добиваться—нельзя ли какими ни-на-есть судьбами объявить о его привилегированномъ положеніи въ полковомъ приказѣ—«бо натогда увсѣшъ взже будутъ знатъ, каково я естъ персону»,—но, не добившись такого официального признанія своихъ преимуществъ, ограничился тѣмъ, что устроилъ себѣ новую вывѣску, съ надписью: «Первилегированный полковой портной» и съ изображеніемъ уланскаго колета, вмѣсто прежней, гдѣ значилось просто «военный и пратыкулярный».

Мало-по-малу онъ усвоилъ себѣ положеніе, въ нѣкоторомъ родѣ, непремѣннаго члена полка и настойчиво сталъ появляться и присутствовать при всѣхъ официальныхъ и общественныхъ отправленіяхъ его жизни: на смотрахъ и парадахъ, на молебствіяхъ при торжественныхъ случаяхъ, на полковыхъ и эскадронныхъ праздникахъ, на офицерскихъ пирушкахъ и пикникахъ, на полковыхъ ученьяхъ и большихъ маневрахъ, при приѣздѣ и отъѣздѣ разнаго начальства и т. п., и присутствовалъ при всемъ

этомъ, конечно, добровольно, въ качествѣ «первилегированнаго портного», со всѣми своими атрибутами въ сумкѣ: иглами, нитками, ножницами, воскомъ и наперстками,—«затаво сшто, ежели увъ когхо зъ гасшподъ афицерувъ одервѣтсѣя пуговка, альбо сштрамесшка, то жебы заразы мозжна било починка издѣлать».

Поэтому всѣ уже и привыкли видѣть Элькеса вѣчно торчащимъ и трущимся то на плацу, то въ чьей-либо прихожей, въ канцеляріи, на конюшняхъ, около кухни, около денщиковъ и музыкантовъ, — и никто не находилъ этого страннымъ, ибо онъ уже разъ навсегда завоевалъ себѣ такое «первилегированное» положеніе. Выходи на плацъ, въ случаѣ если предвидѣлось продолжительное ученіе или большой смотръ, Элькесъ, кромѣ необходимыхъ «причадаловъ» портняжнаго искусства, всегда приносилъ съ собою узелокъ или плетеную корзинку, наполненную бутылками зельтерской воды, водкой, бубликами, швейцарскимъ сыромъ и апельсинами или яблоками. Съ этой ношей онъ таскался позади фронта и любезно предлагалъ офицерамъ «засвѣзжиться» и «закрѣпиться» изъ его плетеной корзины. И не думайте, чтобы онъ дѣлалъ это ради «геншефта», за деньги,—нѣтъ, гасшпидинъ Элькесъ не продавалъ, а угощалъ, изъ одной лишь любезности, «затаво сшто и сшвой, полковой, первилегированный».

Главнѣйшей страстью гасшпидина Элькеса было все знать, все видѣть, все слышать, вездѣ самолично присутствовать. Онъ нерѣдко замѣнялъ намъ общественно-политическую газету. Каждое утро обтекалъ онъ поочередно всѣхъ наличныхъ офицеровъ, сообщая имъ всевозможныя новости дня. Чуть лишь успѣшь проснуться, а въ особенности, если это въ праздничный день, когда не надо идти ни въ манежъ, ни на ученіе,—глядь, гасшпидинъ Элькесъ уже тутъ, какъ тутъ! Входитъ въ комнату, поздравляетъ съ добрымъ утромъ, «зъ празжникумъ», освѣдомляется, нѣтъ ли «каково починку», и затѣмъ, почтительно ставъ у прилолки, начинаетъ выкладывать «спамаво пасплѣдново новасшю», вродѣ того, какъ Лейба Пикверъ подпадулъ Сруля Макверъ; какъ «мадамъ прекарорша» побранилась вчера на гуляньи «за молодова марава сшюдья и зъ пачмайсштерсшомъ»; какъ у майора Джакосона сегодня въ ночь кобылица ожеребилась; какъ князь Черемисовъ, въ знакъ своего благоволенія къ Хайму Абрамзону, написалъ ему на себя, ни за что ни про что, вексель во сто рублей; какъ играли вчера на театрѣ и сколь была хороша актриса Эльсинорская, къ которой даже самъ гасшпидинъ Элькесъ питалъ бурную, но платоническую страсть. И выкладываетъ онъ всѣ эти новости, пока не прикажешь дать ему рюмку водки и не прогонишь милостиво къ чорту,—надоѣлъ, молъ, приходи завтра! Но

иногда онъ, дѣйствительно, Богъ вѣсть какими путями, умѣлъ заблаговременно проникать и весьма серьезныя новости. Такъ, напримѣръ, помню я, въ лѣтѣ 1870 года, дня два спустя послѣ смотра, съѣланнаго Государемъ Императоромъ гродненскому отряду, на пути изъ-за границы, гаспидинъ Элькесъ серьезно объявляетъ, что на дняхъ будетъ война.

— Какая война? Откуда тебѣ война почудилась? Съ кѣмъ война?

— Н-ну, отъ, пасмотритю! Фрынцозъ изъ пруссомъ ваковать будутъ—сшкура, очанъ даже довола сшкура!

Въ то время мы всѣ смѣялись надъ прорицаніями Элькеса, но не прошло и двухъ недѣль, какъ телеграфъ, дѣйствительно, принесъ вѣсть о разрывѣ между Пруссією и Францією.

— А сшто?!.. А сшто, не гхаворилъ я?: га?: Когхда-жъ не правда вѣйшло? Когхда-жъ не по-моему?: га?:

Мы только руками разводили.

— Да откуда же ты все это могъ знать заранѣе?

— Ага!.. Ми взже знаимъ!.. Ми увше знаимъ, бо увъ насъ есть сшваво почта пантуфлёва—еврейшкаво почту, такъ сшамо-жъ, якъ и талиграфъ. Зъ Липську¹⁾ зжнaimъ, зъ барлинсшкаво биражу зжнaimъ,—на то ми и евреи, жебы увше зжнали заранѣшъ!

Элкесу было уже лѣтъ подъ-сорокъ, когда онъ присталъ къ нашему полку въ качествѣ своеобразной полковой приживалки, и замѣчательно, что въ такомъ солидномъ возрастѣ онъ довольно быстро выучался не только читать, но даже и нѣсколько писать по-русски. При этомъ, любя слѣдить за «палытика», онъ постоянно уносилъ у насъ старыя газеты; новѣйшія же политическія извѣстія, какъ уже сказано, зналъ иногда и раньше газетъ, при посредствѣ почты пантуфлёвой. Съ теченіемъ времени этотъ человѣкъ такъ сжился съ полкомъ, что, подобно донъ-Сезаръ де-Базану, составилъ собой нѣчто въ родѣ необходимой полковой принадлежности, и даже самую наружность свою перекроилъ нѣсколько на военный ладъ: ухарски сталъ заламывать набекрень шапку, закручивать кверху усы и подстригать рыжую бороду,—дескать, знай напихъ! «Ми тозже въ вулянагхъ сшлюзжачъ».

Слѣдуетъ замѣтить, что онъ былъ хотя и шельмоватый, но, въ сущности, хорошій жидъ и по натурѣ своей довольно благодушный, готовый на услугу, часто воплиъ безкорыстную, не говоря уже о всегдашней готовности сшить въ кредитъ сюртукъ или доставить офицерскія вещи. Кромѣ того, Элькесъ былъ человѣкъ, не лишенный нѣкотораго своеобразнаго остроумія.

Еще въ тѣ времена, когда носилъ офицерамъ «щигарке и розмаите напитокъ», доставилъ онъ однажды такую мерзкую кислотину бѣлостокской фабрикаціи, что былъ за нее обруганъ и названъ мошенникомъ. Элькесъ очень обидѣлся и въ оправданіе свое повелъ такую рапею:

— Ви гхаворитю, мишельникъ. Ну, гхарасшю. А когхда двоухъ каралёвъ ѳдинъ другій надувайтъ, сшто это есть називаетсе?—Палытика?—Такъ. И когхда двоухъ минисштрувъ ѳдинъ другій надуваеъ, сшто это есть називаетсе?—Дыплюматія. Ну, и когхда двоухъ энгиралъ ѳдинъ другій надувайтъ, то ми гхаворимъ, сшто то есть сшстратегія. Гхарашю. Такъ само-жъ и двоухъ кишцовъ ѳдинъ другій надувайтъ, а ми увсшгъ зжнaimъ, сшто то есть кимерція. Такъ. Н-ну, а когхда однаво бѣднѣй еврей на двоухъ сшгъ палавиномъ кишѣйкувъ будитъ васъ надувайтъ, сшто *это* есть називаетсе? га?—Машенство, мазурство, обманство!—Ой вай-вай! То таково правду на сшвѣту!

У этого человѣка была совсѣмъ особенная, своеобразная и притомъ типично-еврейская складка ума и мышленія, въ чемъ собственно и выражалась наибольшимъ образомъ его шельмоватость. Такъ, напримѣръ, подарилъ ему кто-то басни Крылова; онъ ему чрезвычайно понравились, и онъ нѣрѣдко цитировалъ ихъ стихъ въ разговорѣ, а нѣкоторые, наиболѣе имъ излюбленные, передавалъ даже наизустъ, но совершенно по-своему, подкладывая подъ нихъ свой собственный жидовско-философическій смыслъ. Въ особенности любилъ онъ басню «Шѣтухъ и жемчужное зерно», которую передавалъ такимъ образомъ:

Навозжну купчу разжывая,

Пятугхъ зжнагхѳдилъ разъ жамчужнаво

И гхаворитъ: „Ф-фэ! какво вѣщъ пу-
сштая!

Сшкудова оно и наѳо минъ оно?

— Изъ таво сшлѣдувайтъ нравывшеню, сшто тенъ сшами гасшпиндинъ пятугхъ билъ балшой дуракъ.

Могъ ли кто, кромѣ истаго еврея, усвоить и передѣлать смыслъ этой басни подобнымъ образомъ!

Но, бывало, когда онъ особенно ужъ расходится, почувствовавъ себя на счетъ басенъ въ истинномъ и большомъ ударѣ, да если еще при этомъ пристанутъ къ нему офицеры—разскажи, дескать, самую завѣтную,—то гасшпиндинъ Элькесъ начиналъ обыкновенно разсказывать про то, какъ «сшланы сшланяютъ», и изображалъ это такъ:

«По улицу сшланы сшланяли, какъ бидто на неказъ, а може и до предазжи. Зжвѣстно, сшто сшланы сшланяетъ есть диковинка увъ насъ. И зжа тыми сшланами по улицу толпи зжѣвакувъ гхадили. Гхарасшю. Хай будитъ

¹⁾ Изъ Лейпцига.

такъ. И удругхъ, сшкудова ни увзъялесе сшпадъ-якогось-то сшъ падваротню Мошка (зъ насшихъ). И якъ забачилъ Мошка, сшто издѣсь по улицу сшланы сшланяють, — онъ и ну лаятесе и ругаетсе изъ увсшякимъ галласъ, изъ увсшякимъ рѣйвахъ. Сшкандалъ!.. И удругхъ выхидитъ на увстрѣчь ему Гершико Шавкинъ, почтивый чловѣкъ, и тоже зъ насшихъ. И якъ забачилъ Шавкинъ, сшто Мошка издѣлалъ такова сшкандалъ, онъ ему и гхаворитъ: «Ай, Мошка, Мошка! И когхда-зжъ тибѣ не сштидно?» — «Ну, а сшто мнѣ будитъ сштидно!» — «Ш-ша!.. Сшто тибѣ будитъ сштидно? Сшто тибѣ будитъ сштидно?» Сшволачь!.. Тибѣ не сштидно, сшто ти издѣлалъ такова галласъ, такова рѣйвахъ, такова сшкандалъ, когхда издѣсь по улицу сшланы сшланяють!» — А Мошка ему на то: «Зжвините! Ми за тово за сшамово и ланмсе, и ругаетсе, сшто увсшякій, гхто насъ ни забачитъ, будитъ напатоми сшибѣ гхаворитъ: «Ай, Мошка! Зжнатный Мошка! И якій онъ сшилный, и якій онъ гхрабрій, и безъ драку папалалъ на балсшова зжабилку, издѣлалъ таки галласъ, таки рѣйвахъ, таки сшкандалъ, когхда издѣсь по улицу сшланы сшланяють, азжъ при сшамомъ гасшпидинъ палачмайстеръ!» — Правывшенью: «Гхто зъ васъ, гасшпида, гхочитъ битъ таки сшилный и таки гхрабрій, якъ Мошка зъ насшихъ, хай тотъ толке сшибѣ лаетсе, и ругаетсе изъ увсшякимъ сшкандалъ на таво опшамово время, якъ по улицу сшланы сшланяють, какъ бидто на пеказъ, а може и до предазжи».

И разсказывая подобнымъ образомъ Крыловскія басни, Элькесъ былъ вполне убѣжденъ, что у Крылова смыслъ каждой басни точно таковъ, какъ въ его передачѣ — «толке зжвините, я-зжъ не могу сшлюво увъ сшлюво, а я, конечно, передаю вамъ зе сшваими сшлывами».

Но въ особенности, помню я, эта шельмоватая складка и смѣтка его ума сказалась однажды при слѣдующемъ случаѣ.

Въ утро одного изъ июньскихъ дней 1872 года почти все наличное офицерство драгунской и уланской бригадъ 7-й кавалерійской дивизіи, собранныхъ на кампанентъ при Гроднѣ, отправлялось въ Вильну, для празднованія юбилея 50-ти-лѣтней службы въ офицерскихъ чинахъ почтеннаго начальника этой дивизіи, генералъ-лейтенанта П. А. Курдюмова.

Гасшпидинъ Элькесъ, разумѣется, былъ съ нами, пристроясь всѣми правдами и неправдами гдѣ-то въ III-мъ классѣ, потому что безъ него, какъ говорится поговорка, и вода не освятится.

Выѣхали мы рано, часу въ седьмомъ, съ пассажирскимъ поѣздомъ, и около десяти часовъ утра были на станціи Ландварово — послѣдней передъ Вильной. На полпути между этими двумя пунктами есть туннель, гдѣ поѣздъ проходитъ около полуторы минуты въ пол-

нѣйшей темнотѣ, такъ какъ, въ виду кратковременности подземнаго движенія, огонь въ вагонахъ не зажигаютъ. Въ Ландваровѣ поѣздъ стоитъ минутъ пять, не болѣе, и такъ какъ на станціи существуетъ буфетъ, то, конечно, туда и направилось большинство офицерства — кто ради кружки пива, кто для бутылки содовой воды, потому что яркое солнце уже пекло самымъ исправнымъ образомъ, и въ вагонахъ было душно.

Вышелъ въ буфетъ, въ числѣ прочихъ, и поручикъ Тарченко. Это былъ добрый вѣтрогонъ, большой руки школьникъ, всегда веселый и очень изобрѣтательный на разные «смѣшныя штуки», нерѣдко весьма остроумныя. Между прочимъ, онъ въ совершенствѣ умѣлъ подражать мѣстному еврейскому жаргону и поддѣлываться подъ чужіе голоса. Бывало, если въ трактирѣ или въ полковомъ клубѣ вздумается ему неожиданно представитъ изъ другой комнаты кого-нибудь изъ начальства, то просто въ смущеніе приводитъ: не знаешь, Тарченко ли это дурачится, или вѣзправду начальство пришло, — и офицерство, на всякій случай, начинаетъ застегиваться и подтягиваться.

Вышелъ онъ изъ буфета и сталъ въ нашей группѣ, въ тѣни, на платформѣ, а какъ разъ напротивъ, въ цѣпи нашего поѣзда, стоитъ третьеклассный вагонъ, одно отдѣленіе котораго сплошь набито евреями.

На варшавской дорогѣ есть такіе вагоны, что дѣлятся на два большихъ отдѣленія, чловѣкъ на двадцать каждое.

Стоитъ Тарченко съ папирской въ зубахъ, ехидно улыбаясь чему-то, и бормочетъ себѣ подъ носъ:

— Экая прелесть!

— Что такое? Въ чемъ видишь ты прелестъ? — спросилъ его кто-то.

— Да какъ же! Взгляните, пожалуйста! Вотъ этотъ «маладова зжидокъ», что сидитъ у окна «увъ педжакъ, изъ рузжовымъ карватѣлькемъ» и куритъ «сшваво шигарке» — «Богъ мой!» съ какимъ достоинствомъ онъ ее куритъ, и вообще въ самомъ-то въ немъ сколько достоинства и какой «гѣноръ»... Необычайно типиченъ, и непременно долженъ быть «цыбудизованный кшмерсантъ»... Прелестъ!.. Люблю!.. Прохлаждается себѣ у окна «зе шигаркемъ» и вниманія не хочетъ обращать на тѣхъ остальныхъ лапсардыковъ.

Дѣйствительно, облокотясь на открытое окно и съ самодовольствіемъ пуская струйки дыма, сидѣлъ въ еврейскомъ отдѣленіи вагона чрезвычайно типичный жидокъ, лѣтъ тридцати, въ сѣромъ пиджакѣ, съ розовымъ галстухомъ и въ легкой шелковой фуражкѣ, которая, впрочемъ, какъ и всякая головная покрывка у евреевъ, неизбѣжно сбивалась на затылокъ.

— Хотите, господа, устрою съ нимъ по-

тѣху?—вдругъ, словно бы по внезапному вдохновенію, предложилъ Тарченко.

— Потѣху? А напрімѣръ?

— Да ужъ это мое дѣло! Тамъ увидите... Пойдемъ къ нимъ въ вагонъ. Только чуръ!—вѣжай, братцы, всѣ гуртомъ, какъ разъ съ третьимъ звонокъ, чтобы имъ некогда было жаловаться кондуктору на тѣсноту.

— Да вѣдь душно тамъ, чеснокомъ разить...

— Э, батюшка, на то и жидъ, чтобы разило. А душно—такъ и вездѣ вѣдь душно. Зато потѣха будетъ! Только вотъ что,—предварилъ Тарченко,—кто-нибудь изъ васъ пускай сидеть рядомъ съ этимъ самымъ жидкомъ—коли вѣжливо попросить, такъ еврей всегда уступитъ мѣсто—но непременно рядомъ, и какъ вѣждемъ въ туннель, оставъ между жидкомъ и собою чуточку мѣста—на столко, чтобы мнѣ можно было лишь ногу поставить на скамейку. Въ этомъ пока и все дѣло.

Ударилъ третій звонокъ, и человекъ шесть офицеровъ послѣшно направились къ еврейскому отдѣленію. Одинъ за другимъ, гурьбою, торопливо вскочили мы въ вагонъ; дверца захлопнулась, раздался сигнальный свистокъ оберъ-кондуктора, и поѣздъ тронулся.

Набилось нѣсть теперь въ этомъ отдѣленіи, какъ сельдей въ боченкѣ. Впрочемъ, нѣсколько евреевъ потѣснились, такъ что рядомъ съ намѣченнымъ еврейчикомъ кое-какъ нашлось мѣстечко, гдѣ и усѣлся одинъ изъ офицеровъ, а остальные, вмѣстѣ съ Тарченко, остались пока стоя. Изъ всѣхъ ближайшихъ къ намъ сыновъ Израиля одинъ лишь этотъ еврейчикъ-франтъ продолжалъ сидѣть неподвижно и безучастно у своего окошка; только поморщился, изображая на лицѣ непріятное для себя удивленіе, когда неожиданно привалила въ вагонъ наша ватага,—дескать, вотъ еще! Только этого новаго безпокойства не доставало! И затѣмъ ихъ чортъ несетъ сюда?

Тарченко, въ накинутаю на плечи легкой шинели, стоитъ избоченясь прямо передъ нимъ и спокойно докуриваетъ папироску. Докурилъ и вдругъ—хлопъ слегка по плечу еврея:

— Пусти-ка, любезный, мени сѣсть.

Еврей передернулся, «амбиціозно» повернулъ къ нему лицо, удивленно поднявъ брови и съ неудовольствіемъ процѣдилъ сквозь зубы:

— Сшто такова?

— Сѣсть меня пусти, говорю.

— Зжвините, это маво мѣшту.

— Да ты видишь, однако, что я стою!

— Н-ну, и сшто мнѣ съ таво, чи ви сштаитю, чи не сштаитю, когхда я имѣю сшаво балетъ?

— И я тоже имѣю билетъ. Ты уже сидѣлъ довольно, можешь и постоять.

— Зачиво я вамъ буду спитаять, когхда я гхочу спидѣтъ?

— Затѣмъ, что я прошу тебя уступить мнѣ твое мѣсто.

— А когхда я вѣвсшю не гхочу всшту-пать!

— Не хочешь уступать, такъ я его займу и самъ, когда мнѣ вздумается.

— Н-ну, этаво ми ишо будимъ пасшма-трѣть.

— А вотъ и посмотришь, какъ придетъ время.

— Этъ!—махнулъ еврейчикъ рукой.—Асштавтъ мине, пизжалуста!

И онъ отвернулся къ окну и снова засосалъ свою сигарку.

Поѣздъ мчится все дальше и дальше. Еврейская публика, очевидно, заинтересованная неожиданно начавшимся объясненіемъ, насторожила глаза и уши, ждетъ, что будетъ и чѣмъ кончится. Проходитъ еще минутъ пять. Еврей, однако, видятъ, что дальнѣйшаго продолженія исторіи нѣтъ, и потому мало-по-малу начинаютъ отвлекать свое вниманіе на другіе предметы и возвращаться къ своимъ прежнимъ, на минуту прерваннымъ было, разговорамъ.

— Однако, любезный, пусти же меня сѣсть, наконецъ!—снова начинаетъ Тарченко.

Еврейчикъ настойчиво продолжаетъ смотрѣть въ окошко и курия показываетъ видъ, будто вовсе не замѣчаетъ обращенной къ нему фразы.

— Слышишь ли, тебѣ говорятъ! Я сѣсть хочу!—уже нѣсколько настойчивѣе продолжаетъ Тарченко.

Еврей усиленно старается показать видъ, что не обращаетъ на него вниманія. Тарченко снова дотрогивается слегка до его плеча.

— Н-ну, и сшто ви до мине чапляетесь!—съ досадою огрызнулъ тотъ, наконецъ-то поворотивъ голову.—Я взже сшказалъ маво рѣшенью и болшъ не желаю!

— Да вѣдь ты видишь, что офицеръ стоитъ, ты бы изъ вѣжливости...

— Сшто мине съ таво, сшто афицеръ! Зжвините, я и сшамъ въ сшибѣ таково же афицеръ... Я пассажиръ.. Я сшамъ кипецъ на второва гильдію зъ Бялыштокъ... Ми тозже зжнамъ перадокъ!.. И когхда ви гхѣчетю до мине чаплятьсе, я буду претесштѣвать... Я претесштую... Зжвините, я претесштую.. Я буду, накынецъ, кандыкторъ зжвать!

— И я позову кондуктора.

— Я буду писшать увъ жжалобнаво кнышка!

— И я въ жалобную книгу напишу. Такъ и напишу, что такой-то купецъ заставилъ меня простоять предъ собою цѣлую станцію. Вотъ и будемъ вмѣстѣ писать—ты свое, а я свое. И тебѣ скажу мою фамилью, а ты мнѣ свою скажи,—познакомимся кстати.

— Зжвините: сшто ви мине увше «ти» да «ти!» Минѣ ишо нпгхто увъ сшвѣту «ти» не гхавѣрилъ... Минѣ сшамъ палацмайштеръ увъ

Бялыштокъ «ти» не гхавѣритъ, сшамъ гхивернатуръ не гхавѣритъ... Зжвнвите! Ми аймѣямъ сшзаво бакалейна лѣпка, и насъ очинъ дазже даволна зжнאותъ.

И еврей съ гордо-недовольнымъ видомъ опять отворачивается къ окошку. Остальная публика снова насторожила уши и начинаетъ шушукаться между собой. Замѣтно, что она очень недовольна и осторожно, искоса поглядываетъ на офицеровъ. Между тѣмъ, амбиціозный еврейчикъ, дабы показать, что онъ окончательно ни на кого и ни на что не обращаетъ вниманія, принимается, глядя въ окошко, напѣвать въ полголоса, и притомъ, кажись, нарочно по-русски, для доказательства намъ своей образованности.

— Толке сштавить сшмаркаться немножка, Буду ждать, не драгнеть ли увъ зжванокъ...

— Господинъ купецъ, я вамъ буду говорить «вы», только пустите меня на ваше мѣсто.

Тотъ продолжаетъ, словно бы и не слышнть:

— Пригдади, ~~яко~~ милый акрошка, Пригдади, насшиди вечерокъ.

— Господинъ купецъ второй гильдіи! Я вамъ предлагаю очень выгодное условіе...

— И я сштану тусшить на зжеркалу сшвѣчу, Увъ каминъ много дрѣви сшпалю.

— Но, наконецъ, чортъ возьми, это мнѣ надоѣдать начинается!

И я сштану сшплюшать васшово перѣтнаго ^{разжгевру,}

Бизъ катораво я просшта зжить не въ ^{сшасштанью!}

Какъ разъ въ эту самую минуту поѣздъ влетаетъ въ туннель. Тарченко, пока еще есть слабый отблескъ дневного свѣта, спѣшно ставитъ правую ногу на скамейку между поющимъ еврейчикомъ и его сосѣдомъ-офицеромъ, а затѣмъ черезъ мгновеніе насъ окончательно облекаетъ тьма кромѣшная, въ которой, какъ ни напрягай зрѣніе, ровно ничего не увидишь.

— Такъ ты не хочешь, чортъ возьми, уступить мнѣ мѣсто?!—вдругъ раздается громко и грозно въ этой тьмѣ голосъ Тарченки заглушающій грохотъ поѣзда. — Не хочешь?.. Не хочешь?!. Ну такъ вотъ же тебѣ!

И вмѣстѣ съ этимъ словомъ рѣзко раздается звукъ, поразительно похожій на пощечину, вслѣдъ за которымъ въ тотъ же мигъ слышится совершенно еврейскій крикъ, напоминающій голосъ амбиціознаго еврейчика:

— Уй!.. Вай-миръ!.. Сшто таково!?. Зачиво?!

— Хлэсть!—раздается вторично звукъ пощечины, и за нимъ мѣрно слѣдуетъ рядъ подобныхъ же ударовъ. Голоса Тарченки не слышать, но зато все громче и громче вслѣдъ за каждымъ ударомъ раздаются завывающіе, неистовые вопли и восклицанія еврейскаго голоса:

— Ой-вай! Ой-вай!.. Протесштую!.. Я не

нажволю!.. Я кипецъ!.. Кандыктѣрь!.. Кандыкто-о-о-ръ!..

— Тарченко! Чтѣ ты дѣлаешъ!.. Безумный! Перестань, ради Бога!—въ смятеніи и съ крикомъ бросились къ нему взволнованные товарищи, стараясь схватить его руки и оттащить отъ еврея, какъ вдругъ, къ удивленію, замѣчаютъ, что Тарченко преспокойно стоитъ на своемъ мѣстѣ и только звонко колотитъ ладонями по колѣну своей собственной ноги, поставленной на скамейку, причемъ самъ же испускаетъ всѣ эти вопли, въ совершенствѣ перенявъ не только произношеніе, но даже самый звукъ, самый характеръ голоса именно того еврея, чтѣ сидѣлъ у окошка. При этой мистификаціи, мы всѣ разразились невольнымъ хохотомъ, а между тѣмъ въ кромѣшной тьмѣ вагона раздаются все тѣ же вопли:

— Кандыктѣрь!.. Кандыктѣрь!.. Ой, аброхъ цу миръ!.. Гевалтъ! Гевалтъ!.. Каравултъ!.. Ратуйце, ланове! Ратуйце!.. Каравултъ!!

Но вотъ поѣздъ вылетѣлъ изъ туннеля, и вагонъ моментально наполнился яркимъ свѣтомъ солнечнаго утра. Стоитъ нашъ Тарченко, какъ и прежде, избоченясь передъ еврейчикомъ, а еврейчикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаетъ смотрѣть въ окно, любуясь на окружающую природу и преспокойнѣйшимъ образомъ потягиваетъ «сшзаво щигарке».

Но тутъ все, что было въ вагонѣ еврейскаго, все это въ ужасѣ нѣмого негодованія поднялось съ мѣстъ и, любопытно вытянувъ впередъ свои шеи, носы и лица, устремило взоры выпученныхъ глазъ на амбиціознаго жидка и на нашего Тарченку. Между этими всѣми Гершками, Ицками, Шмулями, Шлюмами, Борухами и Лайзерами пошелъ глухой совѣщательный «галдась», ропотъ смущенія и негодованія. А бѣлостокскій еврейчикъ, какъ будто не замѣчая всей этой сенсациі въ средѣ своихъ единоплеменниковъ, преспокойно продолжаетъ наслаждаться воздухомъ и «щигаркемъ». Наконецъ, одинъ изъ евреевъ, похрабрѣе и поавторитетнѣе прочихъ, перегибается корпусомъ чрезъ высокую спинку скамейки и обращается къ «потерпѣвшему» съ запросомъ:

— Мойше! Чи тебе зжбилъ?

— Якъ-то? — отрывается еврейчикъ отъ окошка, съ недоумѣніемъ похлопывая глазами, словно бы и не понимаетъ, о чемъ его спрашиваютъ.

— Я казжу, тебе зжбилъ?—вразумительнѣе и настойчивѣе повторлетъ вопрошающій,—дескать ты пойми, какъ важенъ съ твоей стороны утвердительный отгѣтъ и чтѣ изъ него восполсѣдуетъ.

— Мине?!—отрицательно подымаетъ Мойша къ лицу свои руки. — Мине?!. Пфесъ! Гхто зжбилъ?

— Якъ-то гхто? Зжвѣстно гхто! Афицеры тебе зжбили!

— Афицеры?.. Мине??. Пфссь!.. Альбо-жтъ я вѣмъ?.. То, може, они сшами мендзы-собон' билесе!.. Сшто я жзнаю!

— Якъ мендзы-собон' ?.. Якъ-то мендзы-собон' ?!—вдругъ загадѣдо уже нѣсколько еврейскихъ голосовъ.—Когхда-жъ ми не сплюхали зе сшваими угхами?.. Мендзы-собон' билесе, а по еврейскику крийчали?.. Уй, какова пасшкудства!.. Тибѣ жжили, а ти сшамъ засштупаешсье! А ишо кипецъ!.. Сшволачь ти, сшволачь! Шлимезальникъ, шлѣмигиль, а не кипецъ!

— Гхто сшволачь?—взбѣлился и вскочилъ, какъ опшаренный, амбиціозный еврейчикъ.—Я сшволачь?.. Вусъ загстъ ду деаъ да-цу?.. Бинъ игхъ сшволачь!? Бинъ игхъ а-шлѣмигиль?! Ти мине сшмѣлъ при благороднымъ людемъ таково сшлюва гхавѣрить!.. Ширлатанъ! Пасшкудникъ!.. Голѣмъ, шойтѣ, бааль-бейсъ! Шамъ ти сшволачь! Балагуле, хаборъ!

И между евреями горячо начинается взаимная перебранка, которая съ каждой минутой разгорается все больше и больше; голоса и мнѣния раздѣлились: одни вступаются за Мойшу, а другіе, раздраженные такимъ заступничествомъ, еще съ большимъ азартомъ нападаютъ и на Мойшу, и на его сторонниковъ; жестикующія и брань становятся все горячѣе, все порывистѣе, все оскорбительнѣе; слова со всѣхъ сторонъ трещатъ и сыплются; какъ горохъ,—того и гляди, вотъ-вотъ сейчасъ дѣло дойдетъ до взаимной баталіи между всполошившимися евреями... Офицеры остаются совершенно въ сторонѣ, совсѣмъ позабытые расходившимися спорщиками и молча созерцаютъ всю эту исторію. Потѣдъ, наконецъ, останавливается на Виленской станціи,—вагонная дверца растворяется, и всѣ эти почтенные Гершки, Шмульки, Шліомки, а съ ними и сшамъ Мойше, кубаремъ выкатываются на платформу, азартно сцѣпившись другъ съ другомъ: кто въ бороду, кто въ пейсы, кто за шиворотъ, — гвалтъ и галласть между ними ужасный; навалились они всѣ другъ на друга въ одну общую кучу и барахтаются въ ней между собой, тузя одинъ другого чѣмъ и какъ попало и уже не разбирая, кто за кого и кому отъ кого достается въ этой ожесточенной трѣпкѣ... Жандармы кидаются разнимать жидовскую свалку. Тутъ же, откуда ни возмись, и нашъ гасшпидинъ Элькесъ успѣлъ прибѣжать на шумъ изъ какого-то дальняго вагона и, пронырливо тыча свой носъ туда и сюда, допытывается у офицеровъ: «Сшто таково? Сшто спшлючилось?.. Какова дѣлу? Зачиво таково сшкандалъ?»

— Ладно,—говорять ему,—узнаешъ послѣ! Потомъ расскажемъ! Бѣги лучше, нанимай извозчиковъ пока другіе не расхватали.

Пріѣзжаемъ въ Европейскую гостиницу, что на Нѣмецкой улицѣ, гдѣ надо было всѣмъ намъ поскорѣе переодѣться въ полную парадную форму, чтобы ѣхать на квартиру начальника

дивизіи съ поздравленіемъ. Элькесу при этомъ, конечно, не мало работы: тому лядунку пригнать, этому этишкетъ укоротить, здѣсь подшить, тамъ приметать; но, несмотря на полныя руки работы, никакъ не можетъ онъ заняться своимъ дѣломъ какъ слѣдуетъ: все безпокоить его любопытство узнать, что такое случилось у евреевъ на платформѣ? изъ-за чего это они подняли между собой «такова балсшова драку и гхто былъ найпервсшій и наибѣлсшій жжабѣнку?»

Разсказали мы ему, наконецъ, въ чемъ дѣло и что за причина.

Элькесъ только головой тряхнулъ далеко не одобрительнымъ образомъ.

— Этаво и жзначить, заувсшѣмъ вигходить по сшсправедливосштю, сшто онъ досталъ сшибѣ таково тѣкманке!—высказался наконецъ нашъ «первилегированный» портной,—бо такъ ему и надо!..

— Это почему «такъ надо?»—съ удивленіемъ спросили мы Элькеса.

— Бо онъ, жжвините мине, а тольке я такъ сшабѣ думаю, сшто онъ увъ сшамово дѣлу не еврей, а сшволачь. Бо кабъ онъ билъ правдзивый еврей, онъ би издѣлалъ не такъ!.. Нѣтъ! Онъ би издѣлалъ заувсшѣмъ не такъ!

— А какъ же, по-твѣому, слѣдовало ему сдѣлать? Какъ бы ты самъ поступилъ на его мѣстѣ?

— Ого!.. Кабъ я билъ на его мѣсшту, я би... Тѣ!.. Я би, жжвините, издѣлалъ от-такъ: якъ ты еврей спшпытали увъ мине: «Мойше, чи тибѣ жжили?» то я би адвѣчалъ: «Такъ; мине жжили». Н-ну, а и сшто напатѣмъ?.. Додумають, сшто напатѣмъ!.. Напатѣмъ зайчасъ палычія, жиндарми, претаколъ, сштолке сшвидѣтелювъ, зайчасъ до марова я спшюдья, зайчасъ палый гисшторіумъ, сшкандалъ, спшюдъ, публичне разгеворы, гизжеты, карресшпанденцы,—уй, вай! Хай имъ чортъ!.. Тутъ таково гисшторію, — а вамъ тымъ часомъ надо на юбалай, до начельныкъ дывизіумъ, и тамъ-же увсше началсштво, сшамъ энгираль-гшбернатырь, банкетъ изъ музикумъ, а у васъ, издѣсь таково сшкандалъ!.. Богхъ мой!.. Зачиво сшкандалъ? Затаво, сшто Мойша сказалъ: «такъ; мине жжили». Н-ну, и скажжте мине сшами, па спшѣвѣсто: сшкѣлке ви давали би минѣ адсштупнова, сштоби я замирилсе изъ вами? Когхда-жъ би ви сшами не увспрасшивали мине, сштобъ я билъ такій добрый, такій велькодусшвій?!.. Га?.. Н-ну, и я би замирилсе изъ вами на пятьшѣсть рубли!.. И ви би минѣ зѣраазъ атдавали тыхъ пятьшѣсть рубли, тай ишо гхавѣрили би сшибѣ—сшлявы Богху, сшто толке пятьшѣсть, а не цалаво тшспячу!.. От-то би билъ гхаросшій гешѣфтъ!.. И кабъ тешъ еврей издѣлалъ изъ вами такъ, то я би гховѣрилъ, сшто то есть правдзивый еврей, а тапѣрички я гха-

бору, што то не еврей и не кипецъ, а шволачъ!

— А вѣдь Элькесъ правъ, шельма! — невольно согласились мы между собой. — И догадайся тотъ жидокъ поступить такимъ образомъ, хороши бы мы были ради юбилея!

— Даже очинъ доволенъ гхаросши! — подтвердилъ торжествующій Элькесъ.

— Не радуйся, любезный! И тебѣ не сладко было бы, какъ на весь ванъ кагалъ пошла бы слава, что ты купецъ съ битой мордой.

— Живните, а гхдѣ спшияки? Спшияки нѣту! И якъ толке би я заполучилъ одъ васъ тыхъ пятьшотъ рубли, я би заразъ увесѣмъ адкрывалъ увесъ закретъ, какъ било настояцаво дѣлу и каково гхаросшаго гешефтъ я спшбѣ издѣлалъ! Не даромъ зже ви спшами гховѣритю, спшто маво таково тытулъ: «Гасшпидинъ Элькесъ — первилегированный портной-плутъ и кавалеръ зъ ордена Шельмы!»

V.

Мадамъ Хайка.

Въ раду силуэтовъ разныхъ сыновъ и дщерей Израэля, мелькающихъ въ цѣпи моихъ воспоминаній, одинъ наиболѣе свѣтлый и симпатичный образъ встаетъ предо мною — при имени Хайки Пиковой. Эта была добрая, хорошая, честная женщина. Миръ ей праху!

Хайка Пикова — старуха за пятьдесятъ лѣтъ, бездѣтная вдова прогорѣвшаго купца-обывателя Лейзера Пикъ — существовала лишь тѣмъ, что успѣвала заработать себѣ около нашихъ офицеровъ. Она поставляла намъ чай, сахаръ и вина, мыло, полѣтна, папиросы и т. п., и во всѣхъ своихъ поставкахъ постоянно была на столько добросовѣстна, что поневолѣ приучила все наше офицерство обращаться исключительно къ ней за всѣми подобными требованіями. У нея не было своей собственной лавки; она забирала продукты своей «кимерціи» у другихъ торговцевъ; но ни одинъ изъ торговцевъ не отважился бы отпустить Хайкѣ на комиссію плохой или залежалый товаръ, потому что Хайку ни на томъ, ни на другомъ не надуешь: сама купчихой была! А такъ какъ обороты торговцевъ съ полкомъ, т. е. собственно съ кружкомъ офицеровъ и юнкеровъ, происходили почти исключительно черезъ Хайку, то подсовывать ей плохой товаръ не было и расчета: братъ перестанетъ, къ другимъ обратиться. И вотъ, такимъ-то образомъ, тотъ маленкій процентъ, который удѣляли ей, съ одной стороны, торговцы за комиссію и съ другой — офицеры за кредитъ, составлялъ единственный источникъ ея существованія. Если гасшпидину Элькесу пришлось уступить ей поле этого рода дѣятельности, то только потому, что Хайка побѣдила его своей безуслов-

ной честностію: продуктъ, какъ уже сказано, всегда у нея надлежащаго достоинства, цѣна настоящая, не дутая, и при этомъ никогда ни малѣйшей приписки въ счетахъ, несмотря на то, что иногда приходилось забирать у Хайки въ кредитъ по нѣскольку мѣсяцевъ сряду. Но, сверхъ всего, наша Хайка отличалась и еще однимъ, чрезвычайно рѣдкимъ, почти неслыханнымъ (въ особенности между еврейками) достоинствомъ: она никогда не приставала и не надѣдала съ требованіемъ уплаты по счетамъ. — «Зачѣмъ?.. Увсше равно, будутъ деньгувъ, будутъ заплачивать и Хайкѣ!» — И не было въ полку примѣра, чтобы у кого-нибудь вышли съ Хайкой недоразумѣнія въ расчетахъ, или чтобы Хайка осталась кѣмъ-нибудь недовольна. Получить офицеръ жалованье или деньги изъ дому, — первая уплата, конечно, Хайкѣ: «На, молъ, мадамъ! За твое терпѣніе ты первая и получаешь!»

Подобно Элькесу, и она каждое утро обтекала офицерскія квартиры, но не ради сплетень и новостей, а единственно затѣмъ лишь, чтобы справиться, есть ли еще у офицера табакъ или свѣчи и не нужно ли ему чего доставить? Впрочемъ, ея коммиссіонерскія услуги ограничивались только вышеисчисленными предметами офицерскаго обихода. Хайка вообще была женщина безукоризненно строгихъ нравственныхъ правилъ, и предложеніе всякихъ иныхъ услугъ, хотя бы даже въ родѣ того, чтобы свести офицера съ займодавцемъ-процентникомъ, считала недостойнымъ себя, своихъ лѣтъ и своего вдовьяго достоинства.

Вскорѣ мы всѣ такъ привыкли къ нашей старой Хайкѣ, что она тоже вошла въ цикль полковыхъ приживалокъ, сроднилась со всѣми нашими интересами и стала, въ своемъ родѣ, полковою необходимостію. Поэтому она даже не безъ гордости заявляла, что тоже служить въ уланахъ, и что хотя на каждомъ «кимпаненту» ей неоднократно предлагаютъ посторонніе офицеры «перехѣдить увъ пѣгхѣта, и увъ драгѣны, и увъ артилеріумъ», но она всѣмъ родамъ оружія и всему офицерству на свѣтѣ предпочитаетъ «нашихъ вуляновъ», — «затаво спшто якъ я взке одъ разу начала спшлюжить увъ вулянагхъ, то гхѣчу азжѣ до спшамово смшертю увъ адинъ полкъ асптаваться».

Нерѣдко она жаловалась на свою недужность, на то, что «стала взке спшлябѣя на ждздаровью» и, вспоминая о близкой смерти, очень желала только одного: чтобы ее похоронили наши уланы, — непременно уланы и непременно «изъ музикумъ», «спшоби якъ понесутъ мине, то спшоби музика вуляньска грала маршѣ-фунѣбръ, — болшѣ одъ таво я ничево не сжалаю!» — Въ томъ, чтобы быть похороненной съ музыкой, заключалась, кажись, единственная суетность, единственное честолюбіе Хайки.

Иногда офицеры дѣлали ей маленькіе сюрпризы и подарки. Ёдетъ, напимѣръ, кто-нибудь въ отпускъ.

— Ну, мадамъ, какого тебѣ гостинцу привезти изъ Питера?

— Ой, благодарю вамъ! Минѣ зжъ ничиво не надо!

— Да ты не стѣсняйся, говори прямо, чего желаешь?

— Н-ну, и сшто я жзнаю!.. Якъ ви взже такіи добрый до мене, то первизите сшто жзнатю. Я за увшиво буду доволная.

— Ладно!.. Ождай, значить, подарка.

И привезутъ ей, бывало, какой-нибудь шерстяной матеріи на платье, или сережки изъ опикса, или платокъ ковровый, — и Хайка просто на седьмомъ небѣ отъ восторга, потому что любила она и пофрантить, и одѣваться чисто, а скудныхъ средствъ ея между тѣмъ едва лишь на крохи хлѣба да на селедку съ цыбулкой хватало.

Но болѣе всего угодить ей довелось мнѣ, когда однажды, согласно ея завѣтной мечтѣ, привезъ я ей въ подарокъ новый парикъ изъ Петербурга. До тѣхъ поръ она, какъ добрая старозаконная еврейка, за неимѣніемъ парика, прятала свои сѣдые волосы подъ старенькую накладку изъ поружьлага отъ лѣтъ, нѣкогда чернаго атласа, съ прошитою по срединѣ бороздкой пробора, и поверхъ этой накладки наливали тюлевый чепецъ съ широкими бантами и пунцовыми розами. Но парикъ—вастоящій «петербургскій» парикъ, изъ настоящихъ женскихъ волосъ — это такая роскошь и такой неожиданный сюрпризъ, что Хайка просто глазамъ своимъ не повѣрила, когда я открылъ передъ нею парикмахерскую коробку.

— Богъ мой! Это толке сшинъ матеру, альбо жзнангхъ невіѣсшту можетъ издѣлать такова дригацѣнаво педарокъ!

На слѣдующее утро она явилась ко мнѣ уже въ моемъ парикѣ и даже въ нарочно обновленномъ чепцѣ, съ розами и бантами, еще болѣе яркими и пышными.

— Н-ну! Типеричка я взже заувсигѣмъ вастоящій, какъ естъ, гхароспій кипеческій мадамъ, и мене взже не будетъ увъ сштидъ пайти увъ сшабашъ на шпацеръ до Сшадовой улийцу.

Этотъ подарокъ я сдѣлалъ ей въ знакъ благодарности за ея участіе ко мнѣ, по слѣдующему поводу:

Однажды, возвращаясь съ эскадрономъ съ зимнихъ квартиръ, по весенней распутицѣ, схватилъ я себѣ сильную горячку и, въ первый же день по прибытіи въ штабъ, долженъ былъ слечь въ постель. Нѣсколько сутокъ пролежалъ я въ забытіи, но въ тѣ мгновенія, когда ко мнѣ возвращалось слабое сознаніе, замѣчалъ я, что у моей постели сидитъ кто-

то посторонній, какая-то женщина, которой большею частію я не узнавалъ, и только порой казалось мнѣ, будто это Хайка. Когда же переломъ болѣзни совершился, и я, проснувшись отъ продолжительнаго оживляющаго сна, окончательно пришелъ въ себя, — первое, что бросилось мнѣ въ глаза, былъ чепецъ съ пунцовыми розами. Предо мною въ креслѣ дѣйствительно сидѣла наша Хайка, съ какимъ-то вязаньемъ въ рукахъ. Оказалось, что она добродухотно явилась сидѣлкою ко мнѣ, совершенно одинокому, и, чередуясь съ денщикомъ, ухаживала за мной по цѣлымъ днямъ во все тяжелое время моей болѣзни. Черта такого безкорыстнаго, великодушнаго добросердечія по неволѣ заставила меня еще болѣе полюбить эту добрую старуху. Я было предложилъ ей плату за ея трудъ и время, непроизводительно потерянное у моей постели; но Хайка, несмотря на всю свою бѣдность и нужду, наотрѣвъ отказалась отъ денегъ и даже отчасти обидѣлась на меня за такое предложеніе:

— Сшто я вамъ—догхтуръ, чи сшто?!

Чѣмъ же послѣ этого можно было отблагодарить ее, какъ не тѣмъ, чтобы исполнить давнишнее, самое завѣтное ея желаніе имѣть хорошій парикъ—вещь, по цѣнѣ своей, окончательно для нея недоступную?

Случай со мной былъ далеко не исключительнымъ примѣромъ Хайкина сердоболія. Сколько разъ бывало, что заболѣетъ серьезно одинокій офицеръ, въ особенности же молодой юнкеръ,—Хайка, безъ всякаго зова и приглашенія, является къ нему добродухотной и безкорыстной сидѣлкою.—«Бо кабъ у него матка, была, то matka бы сидѣла, а какъ нѣма матки, хто-жъ его пожалуе?!» Кроме всѣхъ своихъ достоинствъ, это была женщина веселая, спокойная, всегда безропотно покорная своей долѣ, даже довольная своей судьбой, несмотря на то, что эта судьба далеко ее не баловала. Съ Хайкой пріятно было подчасъ и побесѣдовать, потому что она была старуха умная, разсудительная, видѣвшая на своемъ вѣку многое, и изъ всѣхъ житейскихъ передрагъ успѣвшая какими-то судьбами вынести и сохранить въ себѣ свѣтлый взглядъ на жизнь и ясное душевное спокойствіе. Одинокая, бездѣтная старуха, не нашедшая въ своей средѣ особеннаго уваженія и участія, именно вслѣдствіе своего неплотія (что у евреевъ вообще почитается за большой порокъ), Хайка, кажись, всю любовь своей души перенесла на нашъ полкъ, гордилась его успѣхами на смотрахъ и парадахъ, радовалась его радостямъ, сочувствовала его печальямъ. За такую привязанность къ полку на нее даже косились многіе изъ евреевъ; но въ особенности дѣлая буря недовольства со стороны всего мѣстнаго кагала разразилась однажды надъ неповинной головой бѣдной старухи по слѣдующему случаю.

Осенью 1871 г. появилась въ городѣ холера, которая вырывала свои жертвы преимущественно изъ еврейской среды, живущей въ тѣхъ краяхъ, за рѣдкими исключеніями, крайне бѣдно, грязно и скученно. Евреи вообще суевѣрны и не любятъ называть какую бы то ни было эпидемическую болѣзнь ея настоящимъ именемъ; а при необходимости, въ разговорѣ, всегда стараются упомянуть о ней какъ-нибудь иносказательно, опасаясь, что въ противномъ случаѣ—чуть лишь произнесешь точное названіе болѣзни—она, тутъ какъ тутъ, непременно къ тебѣ и пристанетъ. Зная этотъ суевѣрный предразсудокъ, молодые офицеры подчасъ, бывало, нарочно спрашиваютъ у знакомыхъ евреевъ: «Отчего у васъ умеръ такой-то?»

Еврей на это всегда отвѣтитъ: «Такъ... Отъ гхудоа хворобы».

— Отъ какой же именно? Что это за худая хвороба?—пристаютъ офицеры.

— Ну, и ви сами зжнаетю. Спитѣ я вамъ буду гхавѣрять!

— Да-нѣтъ, однако, какъ она называется, эта ваша хвороба, отъ которой умеръ такой-то?

— Ну, жжвѣстно, досталъ сшибѣ и отсюда, и оттуда. Понимаетю? — неохотно отвѣтитъ, наконецъ, еврей, указывая надлежащимъ посянительнымъ жестомъ себѣ на ротъ и на заднюю прорѣху фалды своего сюртука, и поспѣшить перемѣнить тему разговора.

Когда же холера усилилась до довольно значительной степени, такъ что евреи стали умирать ежедневно десятками, то какой-то святой падикъ-талмудистъ, къ которому обратились они за совѣтомъ, увѣрилъ ихъ, что для прекращенія смертности собственно въ еврейской средѣ, надо сдѣлать «отводъ» болѣзни на какую-либо иную среду, на «гойевъ», и для этого необходимо-де исполнить особый обрядъ такого рода: нанять какого-нибудь человѣка изъ нееврейской среды (это *conditio sine qua non*) и поставить его на нѣкоторое, хотя бы самое короткое, время сторожемъ у воротъ еврейскаго кладбища, съ тѣмъ, чтобы онъ встрѣтилъ на своемъ посту перваго еврейскаго покойника, какого принесутъ къ оградѣ. При этомъ похоронная процессія, остановясь въ нѣсколькихъ шагахъ передъ воротами, должна спросить у сторожа, есть ли еще мѣсто на кладбищѣ?—на что сторожъ необходимо долженъ отвѣчать, что мѣстъ уже болѣе нѣтъ, всѣ, молъ, заняты, все кладбище сплошь захоронено, ни одной пяди земли свободной не имѣется—стало быть, не трудитесь умирать, потому что и хоронить васъ больше негдѣ. Евреи, однако, несмотря на увѣренія сторожа, должны упрашивать его пропустить имъ лишь на этотъ разъ, въ видѣ исключенія, только одного—всего лишь одного покойника, что это у нихъ уже послѣдній, а больше ни одного

изъ евреевъ, умершаго отъ худой хворобы, не будетъ, въ чемъ они и даютъ всѣ торжественную клятву. Сторожъ все-таки обязанъ отказывать, и вотъ тогда-то участвующіе въ похоронной процессіи, отстранивъ сторожа, якобы силою растворяютъ ворота и врываются съ покойникомъ на кладбище. Послѣ этого обряда, удачно совершеннаго, холера непременно должна-де прекратиться между евреями и перейти на ту среду, къ которой принадлежитъ сторожъ.

Между тѣмъ, умерла одна богатая купчиха, приходящаяся какъ-то сродни нашей Хайкѣ. Видятъ евреи, что дѣло совсѣмъ уже плохо, что худая хвороба изъ лачугъ начинаетъ забираться въ хоромы, и рѣшили, что надо, наконецъ, безотлагательно сдѣлать отводъ болѣзни. Вслѣдствіе этого, кагалъные старшины вздумали возложить на Хайку, какъ на родственницу покойной, особую миссію: ты, дескать, всѣхъ уланъ доподлинно знаешь, у тебя есть знакомые и между солдатами—привайми-ка одного изъ нихъ сыграть роль сторожа къ похоронамъ твоей родственницы.—Хайка сообразила, что въ такомъ случаѣ худая хвороба перейдетъ на уланъ, и потому отказалась отъ предлагаемой миссіи. Взѣлись на нее за это старшины: ты, молъ, не хочешь оттого, что сама въ уланахъ служишь, около нихъ всякій трѣфъ ѣшь, и сама стала трѣфная!).—Хайка не на шутку оскорбилась этимъ послѣднимъ эпитетомъ и посчиталась со старшинами. Тѣ рѣшили между собою оставить ее въ покоѣ—«пуръ ей и пѣкъ ей! Хай ей чортъ!»—и обратиться помимо ея къ солдатамъ.

Въ это время въ караулѣ при штабѣ находился 2-й эскадронъ, расположенный въ пяти верстахъ отъ города, въ деревнѣ Грандичи, куда дорога лежитъ какъ разъ мимо еврейскаго кладбища.

Пошли старшины на базаръ подыскивать подходящаго для ихъ цѣли человѣка и попали тамъ на улана Вахрушова, отпущеннаго въ городъ за покупками, по собственной надобности: тебѣ, милый человѣкъ, все равно-де надо въ эскадронъ, въ Грандичи, возвращаться, такъ заодно уже постой-ка сторожемъ у нашего кладбища, пока мы похоронимъ нашу покойницу,—это нужно-де намъ для большаго почета; мы тебя научимъ заранѣе, что говорить и какъ отвѣчать на наши вопросы, а ты за свою услугу хорошо заработаешь себѣ на водку. Такимъ-то образомъ сторговались они съ Вахрушовымъ за пять золотыхъ¹⁾, дали ему въ задатокъ два золотыхъ, да еще кручекъ водки, ради наибольшаго поощренія къ усердію въ исполненіи роли сторожа, и затѣмъ, внушивъ ему все, что слѣдуетъ, отправили его

¹⁾ Нечистая.

²⁾ 75 копеекъ.

къ кладбищу, а сами поспѣшили къ покойницѣмъ—поторопить ея выносъ.

Вахрушовъ былъ малый не промахъ, солдатикъ себѣ на умѣ и притомъ отчасти плутоватый. Идучи къ кладбищу, завернулъ онъ по пути въ шинокъ, выпилъ еще водки на полученные два золотыхъ и пришелъ въ веселое расположение духа. Сталъ онъ у кладбищенскихъ воротъ и думаетъ про-себя: «Зачѣмъ это вдругъ жидамъ сторожъ здѣсь понадобился? Никогда такого случая еще не бывало... Что-нибудь не спроста!.. И отдадутъ ли они остальные три золотыхъ, или поднадуютъ?.. Вѣрнѣе, что поднадуютъ... А можетъ и нѣтъ?»

И домой-то хочется солдату, да и трехъ золотыхъ упустить не желаетъ—все же надежда мелькаетъ ему такая, что авось и не надуютъ. Только вотъ притча: зачѣмъ это вдругъ имъ сторожъ понадобился?—«Поднадуютъ-ли тамъ, нѣтъ-ли, а лучше, пока что, поднадую-ка и самъ жидовъ!.. Такъ-то дѣло, какись, вѣрнѣе будетъ,—авось-либо и больше заплатятъ!..» Ходитъ онъ себѣ у воротъ, а самого даже смѣхъ разбираетъ—въ жидовскіе, молъ, сторожа нанялся и должнъ увѣрять, что ни одного мѣста нѣтъ на кладбищѣ.

Только вотъ, пока онъ такъ себѣ размышляетъ, изъ города спѣшнымъ шагомъ валитъ уже еврейская гурьба, посреди которой высятся носилки съ покойницею. Подходятъ процессіи къ кладбищу и останавливаются въ десяти шагахъ передъ воротами:

— А сшто? Чи есть ищо мѣсту на кей-веръ?

Вахрушова словно лукавый подтолкнулъ,—еще веселѣй ему стало, и махнулъ онъ рукой на свою обязанность.

— Есть! Есть! говорить.—Много есть еще! Ступайте всѣ! Не токма что про всѣхъ васъ хватить, а еще и дѣтямъ, и внукамъ, и правнукамъ вашимъ вдосталь останется.

Можете себѣ представить, какой паническій переполохъ произошелъ между евреями, какой «гевайтъ», какіе «ваймиры» завопили они всѣмъ кагаломъ, въ какомъ ужасѣ замечались во всѣ стороны!..

А Вахрушовъ при этомъ самъ еще предупредительно растворяетъ настежь ворота и приглашаетъ:

— Пожалуйте! Милости просимъ!

Въ ярость пришли евреи, подскочили къ нему съ воплями, съ ругательствами, съ кулаками, а плутъ-солдатъ и глазомъ не моргнетъ, только предостерегаетъ внушительнымъ образомъ наиболѣе завзятыхъ:

— Вы, братцы, того... полегче, не балуй!.. А то вѣдь у меня, при себѣ—сами видите—и пистолетъ въ кабуръ, и сабля вострая... Вамъ же не хорошо будетъ, какъ выну.

Вмѣшались въ дѣло габын и габеры—старшины и члены погребальнаго братства Хеврѣ:

одни отстраняютъ разъярившуюся кучку, другіе взмолились къ солдату: скажи, молъ, Бога ради, что нѣтъ уже ни одного мѣста!

А тотъ имъ на это: «Какъ можно, чтобы мѣстовъ не было, коли есть еще авона сколько!»

— Ну, гхарасшьо! Нехай тамъ есть, а ти сказжи, сшто нѣтъ! Закрой сшибѣ глази, сшто би тибѣ не видно било, и сказжи: нѣтъ!

— Зачѣмъ же, милый человекъ, мнѣ врать?.. Я, братъ, солдатъ, я присягу принималъ служить вѣрою и правдою, такъ какъ могу я опослѣ того говорить неправду—самъ посуди ты!

Приступаютъ къ нему хоромъ уже всѣ, сопровождавшіе покойницу, евреи и еврейки: скажи, да скажи!—Ну, и что тебѣ стоитъ! Ты же вѣдь порядился!

— Мало ли, что порядился! Да коли подрядъ-то не выгоденъ! Экое дѣло не пяти золотыхъ стоитъ.

— Ну, гхарасшьо! Бери болшѣ, бери, сшто гхочинь, толке сказжи намъ какъ слѣду-вантъ!

— Давайте сто рублей, такъ скажу, а меньше ни копейки! Не могли и думать!

Стали евреи совѣщаться между собою—какъ быть при такомъ прискорбномъ и скандальномъ случаѣ. Иные, изъ наиболѣе суевѣрныхъ; предлагали-было—ужь куда ни шло!—собрать въ складчину сто рублей, какъ вдругъ одинъ «шейне-морейне»,—«мондра глова» изъ старшинъ-талмудистовъ и казуистовъ «додумалъ», что не только ста рублей, но и обѣщанныхъ трехъ золотыхъ давать не слѣдуетъ, ибо теперь, что ни дай ему, все будетъ напрасно, такъ какъ условная процедура самаго обряда уже нарушена, скандалъ произведенъ,—значитъ, чудодѣйственная сила отвода хворобы потеряна, и даже самое погребеніе покойницы не можетъ состояться, пока не припрутъ новаго сторожа, потому что, если похоронить ее сряду послѣ такого скандала, послѣ такого зорнаго приглашенія всѣхъ евреевъ со чадами и дальнѣйшимъ потомствомъ пожаловать на кладбище, на готовыя мѣста, то худая хвороба такъ пойдетъ косить, «сшто ми увсиѣ, до снами послѣдній еврей, якъ мугъи издѣх-немъ!»

Рѣшили на общемъ совѣтѣ, что надо нести покойницу назадъ въ городъ и постараться какъ можно скорѣе принаять другого, болѣе подходящаго сторожа. Сказано—сдѣлано. Подняли опять носилки на плечи и повалили всей гурьбой обратно. Только вдругъ—опять неожиданная бѣда!—Полиція не выпускаетъ ихъ въ городъ: «Нельзя, холерный покойникъ».—О, въ какой же ужасъ, въ какое отчаяніе и бѣшенство пришли злосчастные евреи! Хочешь не хочешь—пришлось повернуть къ кладбищу и похоронить купчиху не только безъ спасительнаго обряда, но еще возвращаться домой

подъ гнетущимъ суевѣрнымъ убѣжденіемъ, что теперь уже все кончено, ничего не подѣлаешь, и чрезъ проклятаго гоія-солдата весь гродненскій Израиль «издегхнеть» до одинаго!

Но тутъ какъ-то самъ собой явился вопросъ: кто виноватъ въ такомъ оборотѣ дѣла? Кто подучилъ солдата? Ибо не можетъ быть, чтобы солдатъ не былъ подученъ, чтобы онъ самъ, своей собственной головой, «додумалъ» сыграть такую злостную шутку! Ему навѣрное былъ открытъ тайный смыслъ и значеніе обряда! Кто и какъ и когда открылъ его?

При рѣшеніи этой задачи, кому-то изъ габайевъ приди вдругъ на умъ имя Хайки Пиковой. — Это она виновата; — она и никто больше! Она подучила солдата! Она, вѣроятно, успѣла перенять его на пути къ кладбищу и сообщила настоящую суть дѣла! И это такъ естественно: она знаетъ съ уланами, она черезъ нихъ и сама стала тrefная, — кто жъ, какъ не Хайка?! — «Хайка, Хайка, одна лишь Хайка Пикова всему начало и первая причина!» — хоромъ завопили всѣ, и старъ, и младъ, и мужчины, и женщины. И вотъ обрушилась на бѣдную старуху злоба всего кагала.

Прибѣгаетъ она къ намъ въ великомъ горѣ, вся въ слезахъ, и рассказываетъ, что кагалъ хочетъ наложить на нее «херимъ» ¹⁾, что теперь она должна погибнуть съ голоду, потому что каждому доброму еврею будетъ запрещено съ нею знаться, какъ съ оскверненной, отверженной женщиной, что теперь ни одна лавка не отпуститъ ей товару ни въ кредитъ, ни даже за наличныя деньги, и потому ей уже нечѣмъ будетъ снабжать офицеровъ, а остается развѣ съ моста да въ воду!

Принялись мы, какъ смогли и сумѣли, утѣшать несчастную старуху, говорили, что, что бы тамъ ни было, мы ее во всякомъ случаѣ не оставимъ безъ крова, хлѣба и покровительства, постараемся разяснить все дѣло, обратимся къ губернатору и чрезъ него къ штатному раввину — все напрасно! Хайка была неутѣшна! — Нѣтъ, развѣ кагалъ наложилъ «херимъ», никакой въ мірѣ губернаторъ ничѣмъ не поможетъ!

Къ счастью, наступила холодная сухая погода, пошли легкіе морозы — и, благодаря кое-какимъ санитарнымъ мѣрамъ, холера, достигнувъ, повидимому, своего зенита, вдругъ обрвалась сразу и прекратилась спустя нѣсколько дней послѣ злосчастнаго для Хайки при-

ключенія съ Вахрушовымъ. Благодаря этому счастливому обороту дѣла, а также и ходатайству у штатнаго раввина, съ неповинной старухи былъ снятъ общественный херимъ, и она вновь получила возможность, какъ и прежде, поставлять намъ чай и сахаръ, табакъ и вино, мыло, бѣлье и свѣчи.

Спустя нѣсколько лѣтъ, полкъ получилъ предписаніе выступить на новыя квартиры — къ австрійской границѣ, причемъ мѣсто стоянки полковому штабу указано было въ невозможномъ городѣ Пинчовѣ ¹⁾. Это обстоятельство захватило Хайку Пикову совершенно врасплохъ. Выступить одновременно съ полкомъ она не могла, — помѣхой были разныя дѣлишки и долги по забранному товару въ лавкахъ: надо было разсчитаться, продать кое-какое имущество, выхлопотать увольнительное свидѣтельство, паспортъ, и т. п. Все это необходимо должно было задержать Хайку недѣли на три, по крайней мѣрѣ. Полкъ между тѣмъ ушелъ, а съ нимъ отправился и «первелегированный портняжъ» Мовша Элькеесъ, имѣвшій настолько средствъ, чтобы разомъ покончить всѣ свои дѣла въ Гроднѣ. Итакъ, Хайка осталась одна. Хлопоты ея съ увольнительнымъ свидѣтельствомъ какъ-то затянулись не въ мѣру долго. Разсчитавшись на полученные отъ офицеровъ деньги со всѣми долгами, она продала кое-какія свои крохи, но увы! — денегъ, вырученныхъ отъ этой продажи, оказалось крайне недостаточно на путешествіе въ Кѣлецкую губернію. Пришлось, что называется, засѣсть у моря и ждать погоды. Между тѣмъ нужда съ каждымъ днемъ подступала все круче и круче; гешефты по поставкѣ чая и свѣчъ офицерамъ новой части, пришедшей на смѣну нашему полку, окончательно не удалось, потому что у этихъ офицеровъ явились другіе, болѣе бойкіе и юркіе поставщики и поставщицы. Напала на Хайку тоска, — и раздумье о бесполезности поѣздки въ Пинчовъ, гдѣ, конечно, давно уже нашлись свои пинчовскія Хайки, все чаще и чаще приходило ей въ голову. Стала бѣдная старуха грустить и хирѣть все больше да больше... Явилась апатія, опустились руки, а съ этимъ сильно опустилась и сама Хайка, постарѣла, сдѣлалась уже вправду «шлябѣя на здаровью», и вотъ, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, въ полкъ дошло извѣстіе, что она скончалась.

Такъ и не довелось бѣдной Хайкѣ быть погребенной подъ звуки уланской музыки, хотя она и служила весь вѣкъ свой въ уланахъ.

Будь ей земля легка! Миръ ей праху!

¹⁾ Кѣлецкой губерніи.

¹⁾ Нѣчто въ родѣ запрещенія, проклятія и отверженія. Херимъ, будучи наложенъ кагальными старшинами, становится безусловно обязательнымъ для всего еврейскаго общества.

Буяновъ—мой соседъ.

Такъ звали въ N-скомъ уланскомъ полку одного офицера. Фамилія у него была лихая, и самъ онъ былъ тоже лихой. Но по фамиліи, несмотря на собственную ея лихость, его никто не называлъ: всѣ обходились однимъ только, такъ сказать, псевдонимомъ. Неизвѣстно—кто, какъ и когда окрестилъ его Буяновымъ, но кличка столь припала по шерсти и такъ была типично-характерна, что вполне замѣнила ему собственную фамилію, которую, наконецъ, вслѣдствіе долгаго неупотребленія, онъ и самъ даже успѣлъ предать полному забвенію, и однажды, на рапортѣ полковому командиру, взявъ да и подмахнулъ съ форсистымъ росчеркомъ: «Корнетъ Буяновъ».

И точно, это былъ лихой корнетъ Буяновъ...

Онъ былъ, въ своемъ родѣ, послѣднимъ изъ Могиканъ, остатки которыхъ еще тамъ и сямъ встрѣчаются иногда въ нашей армейской кавалеріи. Типъ—буйный, но достолюбезный.

Въ то время, когда мнѣ довелось впервые узнатъ корнета Буянова, ему было уже года тридцать три, а можетъ и побольше; и въ эти солидные годы онъ все еще сидѣлъ въ корнетскомъ чинѣ; но почему оно такъ случилось, я расскажу погодя немного.

Представьте вы себѣ мужчину—нѣсколько выше чѣмъ средняго роста, плечистаго, плотно сколоченнаго, съ кавалерійскими ногами, поставъ которыхъ сразу обличалъ, именно вѣвшагося въ плоть и кровь, привычку къ лошади. Послѣ этого представьте себѣ открытый и смѣлый взглядъ очень добрыхъ, сѣрыхъ глазъ и длиннѣйшіе русые усы, которые два съ половиной раза можно обмотать вокругъ уха, или связать въ бантъ на макушкѣ головы, подобно тому, какъ завязываются тесемки ночного чепца,—представьте себѣ все это—и вотъ вамъ будетъ вѣрный портретъ корнета Аполлона Буянова.

Жиды его боялись, но любили.

Я потому упомянулъ о жидакъ почти на первомъ планѣ, что трудно представить себѣ какую-нибудь кавалерійскую стоянку безъ жидовъ, такъ какъ кавалерія у насъ разбросана преимущественно по западнымъ и южнымъ окраинамъ Россіи, которая, какъ извѣстно, преизобилуетъ еврейскимъ населеніемъ, играющимъ весьма существенную роль въ условіяхъ домашней жизни каждаго полка и, вообще, каждаго воинской части.

Спросите въ мѣстѣ стоянки полка любого еврея—знаетъ ли онъ корнета Буянова?

— Ой-вай!—отвѣтитъ вамъ, взявшись за пейсики и потряхивая головою, сынъ Израиля,—а гдѣ жъ его не знае? Его не можна не знаць!

— Почему же не можно?

— А такъ есть. Бо онъ даетъ сшибе знаць! И зъ керманомъ, и зъ голосомъ даетъ... бо онъ такий сштрашный—ай-ай, який сштрашный!.. Але жъ онъ хоць и сштрашный, а толке онъ наиправдивый баронъ (баринъ).

— Что-жъ онъ—бьетъ васъ, что ли?

— Ой, нѣтъ! Какъ же-жъ то такъ можна, зжебы биць!.. биць не біе. а толке, а толке видъ въ его такий сштрашный!.. Отчень сштрашный!

— А вы его боитесь?

— Ну, такъ!.. А якъ же-жъ не бояцьше?—бо не можна не бояцьше; бо его и сшторонне начальство якде боицьше; але жъ ми его и любимъ, бо онъ до жидкувъ отчень добрый, и якъ толке увъ его деньги есть, то отъ его большой гандель можно зробиць: онъ тогдѣ увше накипаеъ—штьд и ненужно, а накипаеъ.—Какъ есть, настоящій баронъ!

Такова-то характеристика Буянова, которую вы можете услышать изъ устъ израильскихъ.

И солдаты любили его, потому что онъ былъ простъ съ солдатомъ: не форсилъ передъ нимъ, не барничалъ и въ то же время не панибратничалъ, но держалъ себя совсѣмъ просто, какъ слѣдуетъ хорошему офицеру. А солдаты въ особенности любили и цѣняли именно такую простоту, потому что ихъ трудно удивить какимъ-нибудь штукарствомъ или фокусничествомъ: они, во-первыхъ, всякіе виды видали, а во-вторыхъ, какой-то нюхъ, чутье какое-то на этотъ счетъ есть у нихъ, съ помощью котораго они инстинктивно и почти всегда сразу угадываютъ *суть* человѣка; въ искренней же простотѣ имъ видится и чувствуется человѣческое отношеніе къ ихъ брату. «Онъ простой», или «аны простые», говорили солдаты про корнета Буянова—и это было чуть ли не лучшая изъ его характеристикъ.

Есть на свѣтѣ люди, пользующіеся блаженной привилегіей полнаго одиночества: ни впереди, ни позади, ни по сторонамъ—никого нѣтъ у нихъ родныхъ, или близкихъ, ко которымъ бы сердце болѣло, или существованіе которыхъ вызывало бы думы и заботы въ головѣ человѣка. Нѣтъ у него никого и ничего; стоитъ онъ себѣ въ жизни, какъ вѣха въ полѣ, одинъ-одинѣшенекъ, беззаботно, безпечно: день

да ночь—сутки прочь, и слава Создателю милостивому! Сломить вѣху бурю—начальство новую поставитъ; сломить одинокаго человѣка житейскою грозой-непогодой—никто, по крайней мѣрѣ, по немъ хныкать не станетъ. А одно уже это, что некому по тебѣ хныкать, скорбѣть и сітовать,—ей-Богу, есть великое преимущество и утѣшеніе въ жизни. Уже одно только это сознаніе можетъ дѣлать человѣка счастливымъ, беззаботнымъ, довольнымъ своєю долей, или, по крайней мѣрѣ, равнодушнымъ къ собственной судьбѣ, какова бы она ни была.—Положеніе, которому отъ души можно позавидовать; и этимъ-то положеніемъ полнаго бобыля, этой счастливой привилегіей полнаго сиротства вполне пользовался корнетъ Буяновъ.

Но... свойства человѣческой природы таковы, что человѣку все-таки невозможно прожить всю жизнь на бѣломъ свѣтѣ безъ привязанности къ чему бы то ни было. Старая барышня, не нашедшая смолodu мужа, не знающая, что такое значить быть матерью и не имѣющая въ жизни ни близкихъ, ни родныхъ, на кого она могла бы излить запасъ чувствъ своего женскаго сердца,—привязывается, наконецъ, къ какой-нибудь сабаченкѣ, къ коту, канарейкѣ. Привязываются иногда одинокіе люди къ деньгамъ, къ рѣдкимъ книгамъ, къ хорошимъ картинамъ, къ старымъ вещамъ, да и мало ли къ чему еще! И эти страсти замѣняютъ имъ болѣе или менѣе потребность въ привязанности къ чему-то болѣе живому, высшему, къ чему-то родному и близкому, чѣмъ могъ бы быть для нихъ только живой человѣкъ и чего именно судьба-то и лишила ихъ въ жизни.

Но между людьми, обрекшими себя на житейское бобыльничество, есть натуры, которые не могутъ удовлетвориться привязанностями только этого рода. Это натуры болѣе широкія и живыя, болѣе тонкія и чуткія на жизнь, для которыхъ поэтому и привязанности нужны къ чему-нибудь болѣе живому,—къ чему-нибудь такому, что являло бы въ себѣ для бобыля нѣчто въ родѣ живого, одухотвореннаго организма, заключало бы въ себѣ извѣстнаго рода мысль, идею, имѣло бы свое нравственное значеніе.

И вотъ, такимъ-то именно *нѣчто* и являются въ жизни для бобылей, по преимуществу, два предмета: монастырь и полкъ.

Быть можетъ, иному изъ читателей покажется нѣсколько страннымъ такое сопоставленіе. Монастырь и полкъ—что же тутъ общаго?—Казалось бы, ровно ничего нѣтъ и быть не можетъ. Но это только кажется. Стоитъ взглянуть немножко попристальнѣй, поближе,—и казаться перестанетъ.

Общее, во-первыхъ, то, что какъ монастырь, такъ и полкъ, представляя собой — одинъ

строга замкнутую въ себѣ общину религиозно-духовную, другой—тоже не мало замкнутую въ себѣ же общину военную, являются, каждый самъ по себѣ, чѣмъ-то въ родѣ отдѣльнаго, самостоятельно-живого, одухотвореннаго организма, представляютъ собою какъ-бы отдѣльное собирательное лицо, имѣющее свой смыслъ, идею, назначеніе, свое призваніе, свою жизнь, свои типическія особенности, свой характеръ, свою фizioномію, свойственную только ему и во многомъ непохожую даже на другія фizioноміи того же самаго рода. Эти-то исключительныя особенности и служатъ причиною того, что человѣкъ всей душой привязывается именно къ такому-то монастырю, или къ такому-то полку. Но этимъ еще не ограничивается *общее* между тѣмъ и другимъ. И тамъ, и здѣсь, извѣстная горсть людей случаемъ или обстоятельствами стягивается въ одинъ тѣсный кружокъ, который держится, кромѣ дисциплины, еще и общности симпатій и интересовъ не исключительно матеріальнаго свойства. И тамъ, и здѣсь, теченіе жизни обусловлено извѣстнаго рода правилами и законами, за которые перешагнуть невозможно, оставаясь вполне вѣрнымъ своему назначенію. Подъ вліяніемъ особенностей такой жизни складывается иногда свой особый кругъ понятій и убѣжденій. Тутъ есть свои уставы, строгіе и сурово-неуклонные, свои обычаи и нравы, свое общественное мнѣніе, свой *point d'honneur*, свой судъ, своя круговая порука...

Надѣвая монашескую рясу, или военный полковой мундиръ, человѣкъ какъ-то невольно начинаетъ чувствовать себя инымъ, нѣсколько отрѣшеннымъ отъ остальнаго міра. Между нимъ и этимъ остальнымъ міромъ словно бы ложится какая-то очень тонкая разграничивающая черта: тутъ вотъ, молъ, я и та небольшая община, съ ея уставами и жизнью, къ которой я принадлежу прежде всего и больше всего; а тамъ, за этой чертой — тамъ остальной уже міръ и вся жизнь остальная. Я могу сочувствовать той жизни и ея интересамъ, ея движенію, ея стремленіямъ, но все-таки для меня на первомъ планѣ будутъ стоять жизнь и интересы избранной мною общины, которые, пока я честно принадлежу этой общинѣ, будутъ для меня болѣе родными, болѣе близкими моему сердцу.

И монастырь, и полкъ представляютъ для бобыля болѣе или менѣе прочное убѣжище, пристанище мирное и тихое, въ которое человѣкъ можетъ уйти и спрятаться, какъ улитка въ свою скорлупку. А эта возможность спрятаться въ свою скорлупку, не переставая въ то же время жить своеобразной и полной жизнью, и притомъ такой жизнью, какая тебѣ наиболѣе по-сердцу,—эта возможность, говорю я, особенно для человѣка нравственно измученнаго той жизнью, которая кипитъ тамъ, за тонкой

разграничивающей чертой,—есть уже великое и драгоценное преимущество. И вотъ, поэтому-то бобыль тихого и мирнаго характера, съ наклонностью къ жизни спокойной, созерцательной, зачастую въ концѣ концовъ шагаетъ черезъ разграничивающую черту и надѣваетъ на себя монашескую рису, а человѣкъ болѣе живого, болѣе дѣятельнаго и энергическаго нрава едва-ли не удобнѣе всего распорядится собой, если изберетъ для себя жизнь полковую, буде только у него есть къ этому дѣлу нѣкоторое призваніе. Въ этой послѣдней жизни бобыль всецѣло сохранитъ всѣ преимущества, всѣ золотыя выгоды своего беззаботнаго и безкорбнаго одиночества, и въ то же время ни мало не будетъ чувствовать грустныхъ сторонъ бобыльничества, которыя непременно, такъ или иначе, дадутъ ему себя знать въ жизни той, *заграничной*. А не будетъ онъ ихъ чувствовать потому, что для такого бобыля полкъ замѣняетъ собой все: полкъ для него—свой домъ, свой очагъ, своя семья, свой другъ и товарищъ, и даже—я позволю себѣ такъ выразиться—въ нѣкоторомъ родѣ, своя любимая женщина.

Корнетъ Аполлонъ Буяновъ, какъ сказано уже, былъ круглый бобыль на свѣтѣ, и потому всей душой, всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ своимъ отдался Н-скому уланскому полку. Онъ былъ просто влюбленъ въ свой полкъ, и надо прибавить, что это былъ любовникъ нѣжный и ревнивый. Въ немъ особенно замѣчалась щекотливость ко всему, что такъ или иначе касалось полковой чести. Эта щекотливость переходила у него даже въ излишнюю щепетильность, и отъ нея-то, по преимуществу, происходили всѣ маленькія бѣды въ жизни корнета Буянова, которыя для иного могли бы показаться и вовсе не маленькими, но для беззаботнаго и лихова бобыля Буянова всякая бѣда была только маленькою, да и то еще, если онъ удостоивалъ ее названіемъ «бѣды».

И не дай Богъ было заспорить съ Буяновымъ о чемъ бы то ни было, что съ какой-либо стороны касалось его полка. Хвалить и восхищаться его полкомъ вы могли, сколько угодно,—и по вѣщности Буяновъ принималъ эти похвалы весьма сдержанно, какъ достоподобную дань справедливости—«потому что иначе это и быть не можетъ!»—но въ глубинѣ души онъ были ему весьма пріятны и ложились на сердце мягкимъ елеемъ. Кто похвалилъ Буянову его полкъ, тотъ уже былъ для него хорошимъ человѣкомъ. Въ Н-скомъ уланскомъ полку для Буянова все, что ни есть, было «лучше всѣхъ» и «лучше всего», все казалось образцовымъ и безусловно прекраснымъ: общество офицеровъ ужъ конечно лучше всѣхъ, и не найти нигдѣ другого подобнаго, а о товариществѣ нечего и говорить! И лошади лучше всѣхъ, и трубачи первые по дивизіи, и полковой маршъ лучше всѣхъ маршей на свѣтѣ, и ученья, и грамот-

ность, и гимнастика, и верховая ѣзда ни въ одномъ полку не идутъ такъ хорошо, какъ въ Н-скомъ уланскомъ. Даже въ отрицательныхъ качествахъ Буяновъ ни въ комъ другомъ не допускалъ превосходства.

Какой-нибудь пріѣзжій станетъ, бывало, при случаѣ рассказывать, что въ такомъ-то драгунскомъ полку жестокія попойки ядутъ, что подобныхъ пьяницъ, кажись, и на свѣтѣ нѣтъ.

— Гм!.. Вы полагаете?—скажетъ, бывало, на это корнетъ Буяновъ, ревниво крутя свой усъ и кидая взглядъ исподлобья, — вы полагаете, что нѣтъ?.. Гм!.. А позвольте узнать, что пьютъ драгуны?

— Да все пьютъ!

— Гм!.. Значить, универсально. Н-да, это съ одной стороны, пожалуй, не дурно... Н-да-съ. Но *все*... это значить—мѣсиво, мѣшанина, и показываетъ отсутствіе системы и изящнаго вкуса. Н-нѣтъ-съ, милостивый государь,—съ видомъ компетентнаго человѣка возражалъ Буяновъ,—это что за питья! Вотъ ежели бы вы поглядѣли, напримѣръ, въ Н-скомъ уланскомъ полку, мундиръ котораго я имѣю честь носить... (это пояснительное добавленіе слѣдовало всегда неукоснительно и притомъ съ достоподобной внушительностью). Н-да-съ!.. Такъ вотъ, въ нашемъ полку, говорю я, вотъ пьютъ, такъ пьютъ!.. Мы, знаете, тоже не враги универсальности—нѣтъ, Боже сохрани! Мы отнюдь не враги!.. Энциклопедія, знаете, не мѣшаетъ; но у насъ при этомъ строгая система есть: если мы сегодня начали, положимъ, съ водки, то водкой продолжаемъ и ею же и оканчиваемъ; на завтра, положимъ, портеръ,—портеромъ начинаемъ, портеромъ и кончаемъ; на послѣ-завтра хотя бы мадера—и съ ней та же выдержка, и такъ далѣе—перебирайте хоть всю карту любого погреба—у насъ до всего своя очередь дойдетъ! Но вы видите, что при самой широкой универсальности, у насъ введена строгая система: мы послѣдовательнѣе, и такимъ образомъ мы, во-первыхъ, избѣгаемъ вредной мѣшанины, во-вторыхъ, имѣемъ достаточно времени оцѣнить по достоинству вкусъ и качества каждаго напитка, чего при мѣшанинѣ вы никакъ не достигнете. Итакъ, милостивый государь, надѣюсь, вы теперь понимаете, что въ Н-скомъ уланскомъ полку пьютъ никакъ не хуже хваленыхъ драгунъ, но только пьютъ систематичнѣе, рациональнѣе. Поэтъ сказалъ: «мудрый пьетъ съ самосознаньемъ», а я къ этому всегда добавляю: «и съ винопознаньемъ». Ну-съ, а пить такимъ образомъ, на мой взглядъ, не оставляетъ желать ничего лучшаго. Вы съ этимъ согласны, или нѣтъ?

Пріѣзжій, убѣжденный такими неотразимыми аргументами, конечно, спѣшилъ вполне согласиться съ корнетомъ Буяновымъ.

Или, бывало, скажутъ при Буяновѣ, что у

таких-то гусаровъ страшнѣйшій картѣжъ идетъ.

— Гм!.. У гусаровъ картѣжъ? — опять начинать Буяновъ покручивать свой усь.— Можеть быть и такъ; но позвольте вамъ сообщить, что, напримѣръ, въ N-скомъ уланскомъ полку (мундиръ котораго я имѣю честь носить) игра бываетъ такая... такая, что...

— Помилуйте, да тамъ у гусаровъ шуллера! — перебиваетъ вдругъ кто-нибудь корнета Буянова.

— А-а!.. Гм!.. Шуллера?.. Гм!.. Да!.. Ну, у насъ шуллеровъ нѣтъ! — говоритъ озадаченный внезапно Буяновъ.— Чего нѣтъ, того нѣтъ — тѣмъ и хвалиться не стану.

А если, бывало, на смотру начальство отдастъ преимущество драгунамъ или гусарамъ, корнетъ Буяновъ иначе и не принимаетъ эту похвалу, какъ личность противъ уланъ, какъ явное пристрастіе и несправедливость.

Похулить N-скій уланскій полкъ, а тѣмъ паче отнестись къ нему съ умысленной небрежностью или съ насмѣшкой, — это значило, ни болѣе, ни менѣе, какъ нанести личное и при томъ тяжкое оскорбленіе корнету Буянову въ самое чувствительное мѣсто его самолюбія.

А наносить ему оскорбленія было не совсѣмъ-таки удобно, потому что могло пахнуть порохомъ. Впрочемъ, онъ далеко не былъ бретеромъ и даже въ принципѣ не одобрялъ бретерства; онъ никогда не наискивался на случай къ вызову, справедливо находя это неприличнымъ фанфаронствомъ, но... судьбѣ угодно было трижды ставить корнета Буянова въ такія положенія, гдѣ онъ чувствовалъ неизбежную необходимость вытягивать противника къ барьеру. И всѣ три дуэли Буянова происходили у него только по поводу щекотливости къ чести полка. А впрочемъ, надо и то сказать, что честь полка Буяновъ понималъ въ смыслѣ широкомъ до фантастичности.

Буяновъ былъ не совсѣмъ счастливъ по службѣ. Лѣстница повышеній, чиновъ и отличій была создана не для него. Началъ онъ службу свою въ N-скомъ же уланскомъ полку — съ юнкерскаго званія, въ которомъ протянулъ лямку года четыре, если не болѣе.

— Чего вы все въ юнкерахъ-то сидите? — спрашиваютъ Буянова.

— Да все къ экзамену некогда приготовить... А впрочемъ, мнѣ и такъ хорошо.

Онъ былъ вполнѣ равнодушенъ къ чинамъ, повышеніямъ и вообще къ служебной «карьерѣ». Никогда ни тѣмъ зависти или неудовольствія не промелькнуло у Буянова, если кто изъ младшихъ товарищей, какими-нибудь судьбами, опережалъ его по линіи производства. — «Изя за чего, братъ, интриговать-то тутъ?» — говоритъ онъ бывало. — Къ арміи интрига не пристала: тутъ, какъ ты ни бейся, какъ ни интригуй, а все-таки дальше майорскаго чина едва-ли

вынырнешь. Вѣчный майоръ — это, братъ, нашъ предѣлъ, его же не преидеши, — такъ и къ чорту, значить, всякую интригу, и знай служи-себѣ, пока служишься!» Между тѣмъ, службу зналъ Буяновъ отлично: это даже, въ нѣкоторомъ родѣ, конекъ его былъ. Онъ и царскимъ ординарцемъ назначался, и начальство достодожную справедливость ему отдавало, а лѣстница чиновъ и отличій все-таки ускользала изъ-подъ ногъ Буянова. И причиной такого ускользанья была все та же щепетильная щекотливость къ «чести полка».

Первая «бѣда» постигла Буянова — едва лишь успѣлъ онъ надѣть корнетскіе эполеты. Надѣвши ихъ, Буянову захотѣлось немножко пожуировать жизнью, а потому взялъ онъ двадцатисемидневный отпускъ и поѣхалъ въ Москву.

Можете ли вы представить себѣ корнета Буянова иначе — какъ не страстнымъ любителемъ цыганъ? Иначе представить себѣ его невозможно, а потому первый выѣздъ его въ Москвѣ изъ комендантскаго управленія былъ въ таборъ, на Патріаршіе пруды, гдѣ обиталъ тогда хоръ знаменитаго Ивана Васильевича съ его нѣкогда знаменитой солисткой Маней.

Буяновъ сразу влюбился и въ могучій контроль этой Мани, и въ ея могучіе египтянскіе глаза.

Онъ и дневалъ, и ночевалъ въ этомъ таборѣ, заслушиваясь цыганскими пѣснями, и чуть не до слезъ наслаждался ухарски-хватающими за душу и щемящими сердце звуками «Садаромы», «Венгерки», «Размолодчиковъ» и «Сѣропѣгихъ».

Въ этомъ таборѣ встрѣтился, познакомился и даже сдружился онъ съ однимъ пріѣзжимъ гвардейскимъ гусаромъ.

Между тѣмъ срокъ отпуска уже кончился. Буяновъ записалъ въ управленіи на выѣздъ свой билетъ, но... сердце не камень — остался онъ одинъ лишній денекъ, чтобы съѣздить въ таборъ проститься съ глазами Мани.

И вотъ, сидитъ Буяновъ въ таборѣ, верхомъ на стулѣ, облокотясь на его спинку и подперевъ рукой голову, грустно-раздумчиво слушаетъ, какъ Маня, стрѣляя большими глазами и небрежно подыгрывая на гитарѣ, выразительно поетъ ему: «Не уѣзжай, голубчикъ мой!..» — И Буяновъ чувствуетъ, что поется это для него — собственно, исключительно для него одного, и думаетъ себѣ:

— «Не уѣзжай, голубчикъ мой!..» А что, и въ правду, не останется ли еще на денечекъ?.. на одинъ только маленькій, совсѣмъ маленький денечекъ!.. Ужъ куда ни шло!

«Не уѣзжай!.. не уѣзжай, голубчикъ мой!» звучитъ межъ тѣмъ густой и страстный контроль Мани.

— Не уѣду! — стукнувъ по спинкѣ стула.

громко порѣшили корнетъ Буяновъ—и остался въ таборѣ.

— Послушай, переходи-ка къ намъ въ гвардію!—предложилъ между прочимъ Буянову его новый пріятель гусарь.—Тамъ ты, по крайней мѣрѣ, на виду будешь.

— Ничего, мнѣ и въ арміи хорошо,—уклонился Буяновъ.

— Да что тебѣ за охота?—съ недоумѣніемъ пожалъ плечами пріятель.

— Люблю... Полкъ свой люблю.

— Да что тамъ любить-то?

— Какъ, Боже мой, что?! *Все* люблю!.. Ну, наконецъ привычка.

— Вотъ охота!.. И добро бы еще въ гусарахъ, а то прозябаетъ человѣкъ—чортъ знаетъ гдѣ, въ этихъ эплетникахъ, въ какомъ-то тамъ уланскомъ полку... Фи!.. И что-за полкъ-то выбралъ!

Буяновъ вспыхнулъ. Онъ живо и какъ-то болѣзненно почувствовалъ, что «честь его полка» задѣта, а потому внимательно и холодно посмотрѣлъ на гусара.

— Ты пьянъ, или нѣтъ?—спросилъ онъ его.

— Къ сожалѣнію, пока еще трезвъ. А что?

— А то, что если бы ты былъ пьянъ, я на твои слова посмотрѣлъ бы только, какъ на лепетъ пьянаго человѣка, а теперь я попрошу тебя взять ихъ немедленно же назадъ.

Гвардеецъ расхохотался.

— Да тутъ и брать-то нечего, любезный другъ!—возразилъ онъ.

— Это ужъ мое дѣло! А я повторяю приглашеніе взять назадъ.

— Ну, а я остаюсь при прежнемъ моемъ мнѣніи. Выпьемъ!

— Нѣтъ, не выпьемъ. Итакъ при прежнемъ?

— Самымъ рѣшительнымъ образомъ.

— Ну, такъ позволь же сообщить тебѣ, что N-скій уланскій полкъ, мундиръ котораго я имѣю честь носить,—спокойно и не подымаясь со стула, началъ Буяновъ,—вовсе не «чортъ знаетъ что такое», и вовсе не «какой-то», а чтобы убѣдить тебя въ этомъ болѣе существеннымъ образомъ—я, корнетъ N-скаго уланскаго полка, пришлю къ тебѣ завтра утромъ моихъ секундантовъ.

Гусарь никакъ не ждалъ столь крутого оборота. Онъ хотѣлъ было вступить съ пріятелемъ въ дальнѣйшія объясненія, но Буяновъ коротко и рѣшительно оставилъ его:

— Любезный другъ, обо всемъ другомъ мы будемъ говорить, сколько угодно, но на этотъ счетъ—мы уже кончили.

И затѣмъ, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ продолжалъ умиляться цыганскимъ пѣніемъ.

На слѣдующій день, дѣйствительно, пріѣхали къ гусару секунданты,—и на другое утро послѣ ихъ посѣщенія въ Сокольникахъ состоялась дуэль. Буяновъ ранилъ гвардейца въ

плечо, впрочемъ не опасно. Въ двѣнадцать часовъ того же дня въ квартиру его явился плацъ-адъютантъ и арестовалъ корнета Буянова!

Военно-судное дѣло длилось не очень долго—и Буяновъ былъ разжалованъ въ солдаты, на Кавказъ, въ одинъ изъ линейныхъ баталіоновъ.

Солдатъ онъ былъ исправный, и педантически несъ свою службу наравнѣ съ рядовыми, ни разу не позволивъ себѣ, чтобы за него дѣлали что-либо другіе. Такимъ образомъ, прошло болѣе двухъ съ половиной лѣтъ. Буянову дали унтеръ-офицерскія нашивки и, наконецъ, послѣ одной успѣшной экспедиціи, произвели за отличіе въ прапорщики.

Буянова давно уже брала тоска по своему уланскомъ полку, но пока онъ былъ солдатомъ, тутъ ничего не подѣлаешь; а теперь, съ производствомъ въ офицеры, онъ еще сильнѣе ощутилъ эту тоску. Не долго думая, списался онъ, частнымъ образомъ, со своимъ прежнимъ полкомъ и подалъ переводъ, къ которому, на его счастье, препятствій не оказалось,—и вотъ, Буяновъ снова очутился въ N-скомъ уланскомъ полку такимъ же самымъ корнетомъ Буяновымъ, какимъ былъ прежде, почти за три года. Многихъ изъ старыхъ товарищей уже не было въ рядахъ, но многіе еще и оставались, и при встрѣчѣ съ ними-то Буяновъ впервые почувствовалъ, что есть нѣчто высшее, кромѣ одной прихоти, нѣчто болѣе глубокое и серьезное, что потянуло его въ этотъ полкъ, такъ сказать, на старое пепелище. Тутъ для него было что-то свое, родное, теплое, привычное и близкое его сердцу. Встрѣтили его въ полку добрымъ пиромъ—и снова зажилъ корнетъ Буяновъ посреди старыхъ товарищей.

Но не прошло и года, какъ новая «бѣда» постигла его.

Полкъ въ это время квартировалъ внутри Россіи, въ одной изъ черноземныхъ губерній. Помѣщиковъ было много, зима стояла хорошая и очень веселая. Офицеры, какъ водится, ѣздили по помѣщикамъ, охотились и плясали, плясали и охотились, наполняя промежутки между тѣмъ и другимъ обильными обѣдами и ужинами, съ не менѣе обильными возліаніями. Кое-кто ухаживалъ за молодыми помѣщицами, кое-кто за барышнями. Было нѣсколько влюбленныхъ и даже одинъ женихъ. Женихъ этотъ былъ недавно переведенъ въ N-скій полкъ, и Буяновъ не успѣлъ даже сойтись съ нимъ настолько коротко, чтобы считать себя сердечнымъ его пріятелемъ. Невѣсту этого жениха тоже зналъ онъ весьма мало, встрѣтивъ ее раза два или три на кое-какихъ вечерахъ, и едва-ли даже былъ ей представленъ.

Пріѣхалъ однажды онъ изъ эскадрона въ пол-

ковой штабъ, а штабъ расположенъ былъ въ одномъ изъ уѣздныхъ, хотя и грязныхъ по вѣншиности, но сытыхъ городковъ. Вся штабная компанія, по обыкновенію, сходилась въ «Московской гостиницѣ», почитавшейся «лучшею», гдѣ гудѣла «машина» и шелкали шары на бильярдѣ.

Буяновъ пріѣхалъ въ самомъ веселомъ и благодушественномъ расположеніи своего вѣчно-корнетскаго духа. Послѣ тридцати-верстнаго пути, съ порядкомъ перезабъ съ дороги и приказавъ лихому ямщику—съ колокольцами и бубенцами подкатить «на огонекъ»; прямо къ Московской гостиницѣ.

— А!.. Те-те-те!.. Буяновъ, мой сосѣдъ!—опривѣтствовали его нѣсколько офицеровъ въ бильярдной.

— Онъ самъ,—подхватилъ Буяновъ, протягивая руки.—Буяновъ, мой сосѣдъ,

Проживъ имѣнне въ десять лѣтъ,
Съ цыганками, въ трактирахъ съ
ямщиками,
Вошелъ сюда, съ небритыми усами,
Вошелъ и понесло отсюда кабакомъ...

Человѣкъ! Уразумѣй это и подай: пуншу, водки-листовки и московскую селянку на сковородѣ. Ну! живо у меня! Въ карьеръ съ мѣста! Маршъ!

Въ трактирѣ было на ту пору нѣсколько пріѣзжихъ помѣщиковъ и горожанъ. Пока Буяновъ согрѣвалъ себя пуншемъ и около бильярда узнавалъ штабныя новости, ему въ другой комнатѣ приготовили ужинъ.

Какъ сказано уже, Буяновъ былъ въ самомъ благодушественномъ и даже весьма мирномъ настроеніи духа. Оставля товарищей доигрывать бильярдную партію, онъ ушелъ въ залу съ «машиной» — упитывать себя московской селянкой.

Къ его столу подсѣлъ одинъ изъ знакомыхъ помѣщиковъ, баринъ весьма фатоватаго свойства.

Какъ-то въ разговорѣ этому помѣщику пришлось упомянуть имя невѣсты Буяновскаго однополчанина, причѣмъ онъ сталъ подтрунивать надъ ихъ платоническимъ чувствомъ.

Буяновъ поморщился, однако же промолчалъ.

Фатоватый помѣщикъ, не замѣчая этого морщенья, или не желая замѣчать его, продолжалъ свои заглазныя издѣвки и подъ конецъ выразился на счетъ этой барышни въ нѣсколько двусмысленномъ тонѣ.

— У васъ есть фактическія доказательства тому, что вы говорите?—серьезно и сдержанно спросилъ его Буяновъ.

— Mais mon Dieu! Какихъ вамъ тамъ еще доказательствъ!.. Это всѣ знаютъ!—развязно возразилъ помѣщикъ.

— Отъ всѣхъ я этого не слыхалъ, а слышу отъ перваго отъ васъ,—настойчиво и спокойно продолжалъ Буяновъ,—и спрашиваю васъ: имѣете вы доказательства вашихъ словъ.

— Mais... Mon cher!

— Во-первыхъ, я для васъ не «моншеръ», а во-вторыхъ, угодно вамъ прямо отвѣчать на мой вопросъ?

— А, полноте! Allons donc! Какой вы, право, blagueur!.. Ну, и скажите мнѣ, вамъ-то что-за забота?.. Вѣдь это лично до васъ нисколько не касается!

— Это касается до чести N—скаго уланскаго полка. Понимаете-съ?

Помѣщикъ недоумѣло выпучилъ глаза.

— До чести полка... Какъ это до чести полка?—пробормоталъ онъ, глядя на Буянова.

— А такъ-съ!—выразительно, но тихо пояснилъ тотъ.—Вы позволили себѣ издѣваться передо мною надъ моимъ однополчаниномъ. И онъ, и я—мы равно имѣемъ честь носить мундиръ этого полка-съ. Это одно. Второе: вы позволили себѣ легкомысленно произнести имя порядочной дѣвушки, хотя есть такія деликатныя вещи, о которыхъ порядочные люди въ кабакахъ не говорятъ. Но это зависить отъ взгляда, и потому это уже—ваше дѣло. А вотъ теперь пойдетъ мое дѣло. Эта особа—невѣста моего однополчанина; не сегодня—завтра она будетъ принадлежать къ числу дамъ нашего полка; она и теперь уже не чужая полку, въ качествѣ невѣсты нашего товарища; а потому, въ отсутствіи ея жениха, я, какъ его товарищъ, имѣю жадное право зажать вамъ ротъ, милостивый государь. И я попрошу васъ отказать отъ вашихъ словъ, и нигдѣ, никогда не повторять того, что вы позволили себѣ сказать мнѣ. Понимаете-съ?

— Вы слишкомъ строги и слишкомъ требовательны,—возразилъ помѣщикъ, пренебрежительно и полунасмѣшливо выдвигая нижнюю губу и явно показывая тѣмъ задѣтую «амбицію», — и притомъ... притомъ же я нахожу, что съ вашей стороны все это не болѣе, какъ смѣшное донкихотство.

Но едва сказалъ онъ это, какъ сковородка съ селянкой полетѣла въ его физиономію.

Раздался крикъ испуга и боли.

Мирные обыватели, засѣдавшіе въ этой комнатѣ, повскакали съ мѣстъ и засуетились. Уланы, съ кіями въ рукахъ, повысыпали въ дверь изъ смежной комнаты—узнать и взглянуть, что тутъ случилось. И предстало имъ зрѣлище фатоватаго помѣщика, въ-конецъ растеряннаго и обильно облиятаго сокомъ московской селянки, съ кусками капусты и мяса на платьѣ, на лицѣ и въ причекахъ.

Буяновъ, какъ ни въ чемъ не бывало, спокойно сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, подперевъ подбородокъ руками, и только къ половому обратился:

— Подай мнѣ новую порцію селянки!

Послѣдствіемъ такого неожиданнаго казуса была новая дуэль—и адъютантъ отвелъ корнета Буянова на полковую гауптвахту. Пред-

упредить пистолетную расправу не было никакой возможности: все происшествие случилось слишком явно и получило большую огласку.

Через три мѣсяца Буяновъ снова надѣлъ солдатскую серягу. Его упрятали въ одинъ изъ драгунскихъ полковъ.

И снова пошло у него то же педантическое отправленіе своихъ обязанностей: чистка и уборка коня и сбруи, спанье на конюшнѣ, вставанье раньше пѣтуховъ, дежурство по цѣлымъ суткамъ на линейкѣ, несмотря ни на жестоку стужу, ни на осеннюю слякоть и сырость, ни на июльскій удушающій зной. Цѣлые три года Буяновъ примѣрно несъ солдатскую службу, съ одною мыслью, что какъ только произведутъ его въ прапорщики, такъ тотчасъ онъ подастъ переводъ въ N-скій уланскій полкъ. — «Я не отъ міра сего, драгунскаго, писалъ онъ къ старымъ товарищамъ; я здѣсь только временный гость. Въ драгунахъ остается одно мое брѣнное тѣло, но духъ мой съ вами».

Наконецъ-то, на четвертомъ году службы, его опять произвели въ офицеры—и опять подалъ онъ переводъ въ N-скій уланскій полкъ.

Тутъ бы, казалось, теперь-то вотъ и служить Буянову, наученному двукратнымъ опытомъ, во что обходится щекотливость къ чести полка, но — къ числу наиболѣе выдающихся Буяновскихъ качествъ относится полная несправимость, какъ въ недостаткахъ, такъ и въ достоинствахъ. Буяновъ, напримѣръ, былъ великодушнѣе — и потому его надувалъ всякій, кто только хотѣлъ. Онъ не умѣлъ отказывать просящему.

— Буяновъ, у тебя есть деньги?—бывало спроситъ его кто-нибудь изъ товарищей.

— Есть. А что?

— Да такъ... Сколько у тебя денегъ?

— Да не особенно тово... десятка два рублишекъ найдется.

— И тебѣ онѣ нужны?

— Немножко нужны.

— Да зачѣмъ тебѣ деньги? Это вовсе нейдетъ къ тебѣ! Ей-Богу! Деньги тебѣ не къ лицу.

— Нелзя, братъ, и безъ оныхъ: чаю-сахару закупить, да билетовъ взять на мѣсяцъ у кухмистра—вотъ и все.

— А я у тебя хотѣлъ было денегъ взять.

— Что-жъ, бери, съ удовольствіемъ! Сколько тебѣ?

— Да надо шестьдесятъ.

— Ну, шестидесяти нѣту. Возьми двадцать.

— А самъ-то съ чѣмъ останешься? Вѣдь это послѣднія?

— Ничего, какъ-нибудь выкрутятся!.. Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ. А тебѣ не премѣнно шестьдесятъ нужно? Не менѣе?

— Никакъ не менѣе.

— Гм!.. Ну, постой, сейчасъ поправимъ

дѣло. Эй, Огневъ! Позови сюда закладчика Шмура. Живѣ!

И денщикъ Огневъ бѣжитъ за Шмуромъ.

— Что ты хочешь дѣлать, Буяновъ?

— Часы заложить... да вотъ пальто лишнее, пожалуй.

— Это для чего же?

— Да вѣдь тебѣ деньги нужны?

— Ха, ха, ха!.. Я пошутить только... хотѣлъ удостовѣриться, всегда ли твой карманъ играетъ роль всеобщей кассы; а мнѣ въ сущности, не нужно.

Буяновъ хмурится.

— Такъ что же, чортъ возьми! Что я тебѣ, кукла или шутъ гороховый дался, чтобы ты надо мной шутки шутить вздумалъ! — съ неудовольствіемъ ворчитъ онъ.

— Да я по-товарищески...

— Гм... по товарищески!.. Ты, по-товарищески, что-нибудь умнѣе выдумалъ бы, чѣмъ шутить-то надо мною.

— Ну, не сердись, Буяновъ! Я только такъ! Не хорошо сердиться.

— Да я не сержусь... Я ничего... Ну, что-жъ, выпьемъ, что ли?

— Можно.

— Ну, и прекрасно! Вотъ умныя-то рѣчи п омынать пріятно. Не вмѣни, Господи, во грѣхъ младенцу твоему Аполлонію!

И опрокидывалась «рюмка примиренія».

А сколько разъ надували его жидки и всевозможные проходимцы и проходимки, прикидывавшіеся убогими, погорѣлыми, голодными, безмѣстными — этому онъ даже и счетъ потерялъ. Дастъ, бывало, такимъ образомъ, какому-нибудь просящему пройдохѣ, передѣлитъ, что называется, послѣднимъ рублишкой, а потомъ вдругъ и скажетъ:

— А вѣдь, пожалуй, надулъ, подлецъ!

— И навѣрное надулъ! — подтвердить ему кто-нибудь изъ присутствующихъ — у него и рожа-то такая.

— Ну, по рожѣ, братъ, не суди. Рожи всякія бывають: и косая, и прямая—обѣ есть хотятъ.

— А все-таки надулъ! — поддразниваютъ Буянова.

— Гм... Надулъ... А чортъ его знаетъ, можетъ, и не надулъ... Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, нужда человѣку. Просить—стало-быть, нужно. Ну, и конецъ тому дѣлу!

А ужъ о томъ, чтобы выручить товарища, п зачастую въ ущербъ самому себѣ, нечего и говорить. Съ нимъ, по поводу разныхъ выручекъ, разные курьезы случались, въ числѣ которыхъ, между прочимъ, происшествія съ лядункой и съ пожарной кишкой.

Происшествіе съ лядункой состояло въ томъ, что у одного изъ товарищей Буянова, съ которымъ онъ сожительствоваъ на квартирѣ, передъ самымъ сномъ пропала вдругъ лядун-

ка. Искали, искали, всю квартиру перешарили — нѣтъ какъ нѣтъ лядунки, словно въ воду капала. А тому, между тѣмъ, надо на ординарцы подъѣзжать. Буяновъ, не долго думая, великодушно отдаетъ ему свою собственную, а самъ выѣзжаетъ въ строй безъ лядунки.

— Господинъ корнетъ, гдѣ ваша лядунка? — грозно вопрошаетъ его производящее смотръ начальство.

— Тутъ, недалеко, по сосѣдству, ваше превосходительство, въ экстренномъ отпуску находится, — отвѣчаетъ Буяновъ, ловко отдавая салютъ своей саблей.

— Извольте отправляться на мѣсяцъ на гауптвахту!

— Слушаю, ваше превосходительство.

И Буяновъ высиживаетъ свой терминъ на полковой гауптвахтѣ.

Но едва успѣли его выпустить изъ-подъ ареста, какъ случилось происшествіе съ пожар-ной кишкой.

Въ городѣ N, гдѣ расположенъ былъ полковой штабъ, и гдѣ населеніе болѣе чѣмъ на двѣ трети состоитъ изъ евреевъ, случился вдругъ пожаръ. Живо пошелъ трещать и свистать огонь по жиденькимъ, скученнымъ, закоулочнымъ еврейскимъ постройкамъ. Буяновъ однимъ изъ первыхъ прилетѣлъ на мѣсто пожара. Онъ то и дѣло кидался въ лачуги, спасалъ пожитки погорѣльцевъ, тушилъ, заливалъ, работалъ и багромъ, и топоромъ, и вообще выказывалъ дѣятельность необычайную, изумительную. Пожарная работа была одной изъ любимѣйшихъ сферъ его дѣятельности, и онъ самъ называлъ себя «большимъ любителемъ пожаровъ». Приѣхала, наконецъ, пожарная команда, — Буяновъ и съ нею дѣйствовалъ: направлялъ кишку, до седьмого пота работалъ около насоса, накачивая воду, и ушелъ съ мѣста тогда только, какъ заливались послѣднія дымящіяся головни, — ушелъ, перепачканный сажей, залитый водой, оборванный, усталый и голодный, но какъ нельзя болѣе довольный своею дѣятельностью.

Вдругъ на другой день получается въ штабъ бумага, въ которой значится, что «полицейское управленіе города N, отдавая вполне заслуженную дань признательности N—скаго уланскаго полка корнету Буянову, за оказанное имъ энергическое содѣйствіе пожарной командѣ, вмѣстѣ съ симъ имѣетъ честь объявить, что, вслѣдствіе чрезмѣрно-энергическаго усердія къ дѣлу корнета Буянова, пожарная кишка въ нѣсколькихъ мѣстахъ оказалась порванной, насосъ же — испорченнымъ; а посему полицейское управленіе покорнѣе проситъ, дабы было сдѣлано достоющее распоряженіе, въ видахъ соблюденія казеннаго интереса, о взысканіи съ корнета Буянова 83 руб. и $\frac{3}{4}$ копейки серебромъ, на по-

крытіе ущерба, коему подверглись означенный пожарный насосъ совокупно съ кишкою».

И Буяновъ — хочешь, не хочешь — заплатилъ за кишку, или, пожалуй, за собственное великодушіе и усердіе, почти всѣмъ своимъ третнимъ жалованьемъ. И подобные-то казусы случались съ нимъ чуть не на каждомъ шагу.

Я уже сказалъ, что къ числу самыхъ достопримѣчательныхъ качествъ Буянова относится полнѣйшая неисправимость, какъ въ достоинствахъ, такъ и въ недостаткахъ. Поэтому, Буяновъ опять-таки недолго наслужилъ въ N-скомъ уланскомъ полку.

Перевели его въ полкъ въ началѣ мая, а въ началѣ августа уланская бригада выступила въ осенній кампанентъ. Сборъ назначенъ былъ въ окрестностяхъ одного сквернѣйшаго мѣстечка, населеннаго, опять-таки, по преимуществу, жидами. Въ самомъ мѣстечкѣ стали штабы обоихъ полковъ и расположились отъ каждаго полка по одному эскадрону, а остальные эскадроны разбросались въ окрестности, до сосѣднихъ деревнямъ. Буяновъ занялъ себѣ квартиру въ самомъ мѣстечкѣ. Все, что только можно занять подъ жилье, было уже здѣсь занято, а потому квартира Буянова могла назваться квартирой въ одномъ лишь метафорическомъ смыслѣ. Онъ помѣстился на сѣномъ еврейскомъ дворѣ, въ узенькомъ и тѣсномъ срубикѣ безъ крыши, роль которой играли еловые и ольховыя вѣтви, накиданныя на потолочныя поперечины. Эти срубики служать для зажиточныхъ евреевъ мѣстомъ времяпровожденія въ дни осеннихъ праздниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ «кучекъ» и установленныхъ въ воспоминаніе сорокалѣтнихъ странствій по пустынѣ Синайской.

И вотъ, въ одной изъ такихъ кучекъ и помѣстился корнетъ Буяновъ. Кое-какъ приладили ему дверь и оконце, кое-какъ набросали на потолокъ доски, какія случились въ хозяйствѣ подъ рукой, да накидали на доски нѣсколько вѣтвей. Въ дождикъ хоть и капало сверху, но все же это была квартира. Поставилъ Буяновъ себѣ тутъ походную кровать, завѣсилъ одну стѣну ковромъ, на которомъ красовались у него двѣ сабли, кабура съ револьверомъ, мундштукъ съ уздечкой, и тутъ же на гвоздѣ торчала черная вице-шапка. Въ углу стоялъ уютный походный погребецъ, съ самоваромъ, стаканами, тарелками, кастрюлей, водочными флягами и прочей чайной и столовой принадлежностью; тамъ же за-одно вмѣшались: пара низенькихъ мѣдныхъ подсвѣчниковъ, чернильница съ песочницей, подносы и сапожные щетки. Сверхъ поименованныхъ предметовъ, Буяновъ приладилъ къ окну треногій столъ, на столъ — складное зеркало съ брильнымъ приборомъ, передъ столомъ поставилъ: съ одной стороны деревянную скамейку, съ другой —

опрокинутый ребромъ чемоданъ, который, такимъ образомъ, обратился у него въ инструментъ для сидѣнья, — и вотъ, вся меблировка Буяновской квартиры была готова. Помѣщеніе, нельзя сказать, чтобы особенно комфортабельное, но на кампанеттѣ лучшаго, пожалуй, и не требуется. По крайней мѣрѣ, Буяновъ былъ имъ вполне доволенъ.

Однажды онъ находился въ нехорошемъ расположеніи духа. Въ тотъ день, утромъ, происходили маневры — эскадронъ противъ эскадрона, и случилось такъ, что N-скіе уланы, вмѣстѣ съ Буяновымъ, были внезапно атакованы и взяты врасплохъ противникомъ. Это обстоятельство подало поводъ офицерамъ другого полка, бывшимъ на сей разъ счастливыми маневренными побѣдителями, подтрунить надъ N-скими уланами; а подтрунивая, между прочимъ, были пущены въ ходъ въ присутствіи Буянова, въ корчмѣ, выполнявшей роль трактира и бригаднаго клуба. Буяновъ покусывалъ усы, однако же отмалчивался или отшучивался, сознавая, что истина и право на сей разъ не съ нимъ. Но придя къ себѣ въ «кучку», онъ уже не маскировалъ своего сквернаго расположенія духа и, лаконически приказавъ денщику поскорѣй наставить самоваръ, улегся на кровать и углубился въ чтеніе «Русскаго Инвалида», по спискамъ о производствѣ, что дѣлалъ всегда, когда хотѣлъ поскорѣе заснуть.

Вдругъ слышитъ онъ, почти подъ самымъ окномъ у себя, какой-то шумъ, свистъ, лай, уськанье, хохотъ...

— Огневъ! узнай, кой чортъ тамъ?.. Что случилось?

— Рябка обижаютъ, ваше бла-родіе.

— Какъ? Нашего эскадроннаго Рябка?

— Такъ точно, ваше бла-родіе, его самого.

— Кто обижаетъ?

— А съ другого полка трубачскій козелъ.

— Какъ козелъ обижаетъ?

— Рогами, ваше бла-родіе. Денщики усыпаютъ.

— Чьи денщики? Наши?

— Никакъ нѣтъ, ваше бла-родіе, съ другого полка... Ахвитантскій денщикъ.

Буяновъ выглянулъ въ оконце.

На улицѣ стояло человѣкъ семь денщиковъ, а въ серединѣ ихъ группы — бѣлый выхолощенный козелъ, уставясь лбомъ въ землю, галопировалъ очень забавнымъ образомъ и съ наскоку порывилъ боднуть лохматую сѣрую собаку. Цесъ лапалъ, огрызался, кидался на козла, но денщики тщательно оберегали послѣдняго, какъ только ему начинала грозить серьезная опасность со стороны собачьихъ зубовъ, и наоборотъ, всячески помогали своему козлу боднуть чужую собаку.

— Поди, отыми Рябка, — распорядился Буяновъ.

Огневъ пошелъ и вернулся.

— Не даютъ, ваше бла-родіе; не отпускаютъ.

Буяновъ вскочилъ съ кровати, съ намѣреніемъ самолично защитить эскадронную собаку. Глядь — ужъ кромѣ денщиковъ — остановились немного въ сторонѣ трое только-что подошедшихъ офицеровъ, изъ числа давешнихъ побѣдителей, и смотрятъ на дѣйствительно-забавную сцену козлино-собачьяго поединка.

— Что, батюшка, видно вашихъ повсюду бьютъ! — пошутилъ одинъ изъ офицеровъ, обращаясь къ Буянову, — не только люди, но и звѣри вашихъ побиваютъ.

Всѣ засмѣялись.

Эта, сама по себѣ невинная, выходка и этотъ смѣхъ задѣли за живое щекотливаго Буянова.

— Въ случаѣ надобности, и наши сумѣютъ побить, кого слѣдуетъ, — тономъ шутки же отвѣчалъ Буяновъ, — только не на маневрахъ и не козлами, а въ настоящую.

Намекъ былъ понятъ. Слово за словомъ, слово за словомъ, съ шутокъ на серьезное, съ серьезнаго на горячее — сказано было нѣсколько взаимныхъ колкостей и... объясненіе, начатое изъ пустяка, кончилось тѣмъ, что Буянову сдѣлали вызовъ. Ну, и... конечно, Буяновъ дрался.

На сей разъ упрятали его далеко — на границы Бухары, въ средне-азіатскія степи.

Гдѣ онъ? Что съ нимъ? Какъ онъ тамъ живетъ и гдѣ скитается? Здоровъ ли, или убитъ, или сталъ жертвой лютыхъ степныхъ горячекъ? — Богъ вѣстъ! — Доселѣ еще ничего неизвѣстно. Но можно безъ малѣйшаго сомнѣнія и съ полной увѣренностью сказать, что если живъ и здоровъ, то солдатскую службу свою несетъ по-прежнему исправнѣйшимъ образомъ, и если приведетъ Богъ быть въ дѣлѣ, то и опять лицомъ въ грязь не ударитъ.

Быть можетъ, иной читатель найдетъ, что Буяновъ, какъ личность, звучитъ какимъ-то диссонансомъ среди тѣхъ новыхъ типовъ, которые выработалъ ходъ прогрессивнаго развитія современной намъ жизни. — Можетъ быть! отвѣчу я такому читателю, — можетъ быть, и такъ! Онъ чудакъ; онъ безалаберный, вѣбальмошный человѣкъ; онъ можетъ иному показаться страннымъ, отчасти смѣшнымъ, отчасти Донъ-Кихотомъ. Но... онъ свято чтитъ свое военное дѣло; онъ всей душой преданъ своему скромному призванію солдата; онъ до фанатизма, до чего-то идеальнаго влюбленъ въ свой полкъ; онъ безкорыстно добрый и честный человѣкъ; онъ честный и хорошій офицеръ и добрый боевой товарищъ. Скажутъ: зачѣмъ онъ не подумалъ, не постарался сдѣлать болѣе современно-полезное, практическое примѣненіе къ чему-нибудь изъ своей жизни. Но, господа, — не всѣмъ же быть мировыми судьями, присяжными повѣренными, журналистами, фельетонистами, и не всѣмъ же служить по разнымъ

аквизитнымъ и контрольнымъ учрежденіямъ; надобно же кому-нибудь быть и уланскимъ корнетомъ. Вы спросите, быть можетъ: зачѣмъ же и для чего это надобно? Вамъ существованіе уланскаго корнета, съ его скромнымъ назначеніемъ, можетъ казаться вещь совершенно бесполезной. Но — не сегодня, завтра — въ жизни государства можетъ придти и такая критическая минута, когда и мировые судьи, и присяжные повѣренные, и фельетонисты, и чиновники, служащіе по новымъ учрежденіямъ, да наконецъ, быть можетъ и ты самъ, мой читатель — всѣ вы восчувствуете настоятельную надобность и въ уланскомъ корнетѣ Буяновѣ... А въ чистомъ полѣ, передъ рядами враговъ, Буяновъ

будетъ *на своемъ мѣстѣ* — и сколь ни мала его роль, какъ взводнаго командира, но въ общемъ механизмѣ военнаго, боевого дѣла, и эта маленькая роль важна и необходима. И корнетъ Буяновъ, будучи тогда на своемъ мѣстѣ, сумѣетъ честно и доблестно сдѣлать свое дѣло: за нимъ, куда хочешь, полѣзутъ солдаты. — *Suum cuique, hospoda!*

И гдѣ бы онъ ни былъ нынѣ — вездѣ и всегда мой теплый привѣтъ ему! А можетъ быть... можетъ быть, и опять увидить его. N — скій уланскій полкъ въ своей тѣсной полковой семьѣ, въ томъ же мундирѣ, съ тѣми же длиннѣйшими усами и въ томъ же вѣчномъ, неизмѣнномъ Буяновскомъ чинѣ корнета.

КТО ЛУЧШЕ?

(Посвящается другу моему Ицкѣ Янкелевичу Штрапецкому).

Въ одно прескверное утро поручикъ Болиголова очутился въ пренепрятныхъ обстоятельствахъ. Обстоятельства эти — Богъ ихъ знаетъ почему — въ общегити извѣстны преимущественно подъ именемъ «критическихъ». Именно въ это самое скверное утро въ карманахъ поручика Болиголовы, по самомъ тщательномъ разслѣдованіи, не оказалось ни копейки наличныхъ денегъ.

«И дернула жъ велегкая засѣсть съ этимъ капитанъ-прохвостомъ», мысленно укоряетъ себя поручикъ, вспоминая вчерашній нитоссъ у какого-то проѣзжаго авантюриста, пана Ивановскаго, который, встрѣтись въ ресторанѣ гостиницы кое съ кѣмъ изъ офицеровъ, отрекомендовался имъ отставнымъ капитаномъ, познакомился, зазвалъ къ себѣ въ номеръ, велѣлъ подать шампанскаго, затѣмъ предложилъ играть, а затѣмъ... поручикъ Болиголова очутился «въ критическихъ».

«...И дернула жъ... Нѣтъ, да вѣдь какъ! По первому абцугу... Вѣдь болѣе тысячи въ выигрышъ былъ... и забастовать бы, — такъ вѣтъ же!.. А тутъ вдругъ тррахъ! — и пошло, и пошло... Какъ будто заколодило, проклятое!»

— Ваше благородіе, Штрапецкій пришелъ.

— Кто?

— Штрапецкій, Ицка.

— А, чортъ!.. Этого еще не доставало!.. Вѣдь сказано же тебѣ, болванъ, чтобы никого!.. Ну, что же я буду съ нимъ дѣлать?.. Пошелъ, скажи, что сплю... еще не просыпался, молъ.

— Да я, ваше благородіе, я имъ изволилъ

уже такъ докладывать, а аны — «ничего, говорить, мы подождемъ, посидимъ».

— А, чортъ его!.. Ну, нечего дѣлать, зови!..

* * *

— Здрастуйте вамъ, гасшпидинъ сперучникъ.

— Здравствуй, Ицка. Садись.

— Нѣ, можна и наспятаать... Ви пазжвѣлять?

— Какъ знаешь. Что скажешь хорошаго?

— А ви сшто скажете?

— Да что, братъ, у меня все скверно... Вотъ проигрался вчера.

— Огхъ, сшлихаль, сшлихаль, сшлихаль... сшлихаль, — грустно качаетъ головой Ицка.

— Да, братъ, увѣ!.. проигрался... и потому ты пришелъ совершенно напрасно.

— Напраснѣй!.. А почомъ ви зжиаєте, что я напраснѣй?

— Да потому что изъ моего долга я не могу теперь отдать тебѣ ни копейки.

— А на сшто минѣ ваше кипѣйке?.. Пфѣ!.. Зжвините, когда жъ я вамъ говѣрилъ сшто на вашъ долгхъ? Я толке зайшолъ взнать чи ви зждаровѣй?

— Здоровъ, какъ видишь.

— Н-но, зжвините, а я сабѣ думаю, сшто ви не зждаровѣй!

— Почему же ты это думаешь?

— Такъ. Бо я сшлихаль, сшто ви досталъ себѣ карманне чагхотке, и я жъ пришелъ сшгнать у васше благородю, чи не хочете ви медицинске средство?

— Денегъ, что ли?—недовѣрчиво покосился на Ицку поручикъ.

— Такъ

— Да ты развѣ дашь?

— Н-ну, якъ не я самъ, то можна съдобить. У мене есть одного шаловѣкъ, мой гхаросшій зжнѣкомій, и онъ даетъ на гхаросшій пурцентъ... Алежъ ви понимаетю, на гхаросшій пурцентъ, подъ вѣксюль, то можна зъ нимъ поговорить.

— О, благодѣтель рода человѣческаго! Прииди въ объятія мои!—вскричалъ, простирая руки, обрадованный Болиголова.

— Алежъ на гхаросшій пурцентъ!—значенательно поднявъ Ицка указательный палецъ.

— Сплихалъ, сплихалъ, сплихалъ!—благодушно передразнилъ поручикъ, у котораго въ головѣ сейчасъ же замелькали свои соображенія: «Четыреста рублей остального долга до-
слать капитану, тридцать рублей въ бакалейную лавку, двѣнадцать сапожнику, — и того четыреста - сорокъ - два рубля... Стало бытъ пятьсотъ рублей». — Мнѣ нужно пятьсотъ рублей, Ицка.

— Пятсо-отъ!?! Пфс...

— Никакъ не менѣ.

— Алежъ замного пурценты выйдетъ, — съ участіемъ предостерегъ Ицка, какъ-бы самымъ родственнымъ образомъ входя въ денежные интересы и расчеты поручика. — Уй, какъ замного!.. Во тотъ одного шаловѣкъ, мой зжнѣкомій, онъ беретъ ни менышъ якъ десѣтъ пурценты на мясѣнцъ.

— Десятъ въ мѣсяцъ! — въ ужасѣ всплеснула руками поручикъ, — десятъ въ мѣсяцъ!.. Пощади, Бога ради!

— Н-ну, кабъ то билъ я, то какъ я васъ люблю, то я-бъ изъ васъ ажъ ни одного пурцентъ; а ни вѣксюль, а ни расписке, а такъ, на одного честю. Алежъ то не я, — то мой зжнѣкомій.

— Да вѣдь это же безбожно.

— Н-ну и сшто ни схѣчите — жидъ, якъ есть жидъ! То не еврей, не взраадить, жидъ пархаты, и пурценты его жидовски... такой свѣлачъ! Н-но... а когда вамъ надо, то сшто ви будете издѣлать? — ви будете давать и не десѣтъ, а дванасти, и тринасти, и пятнасти... Та-а-къ?

Поручикъ Болиголова сидитъ, не отвѣчая ни слова, но все болѣе и болѣе погружаясь въ мрачное раздумье.

— Н-ну, то какъ же будетъ?—переминаясь съ ноги на ногу, тихимъ вопросомъ прерываетъ Ицка минутное молчаніе.

— Да ужъ и самъ не знаю какъ!—со вздохомъ пожалъ поручикъ плечами. — Только десятъ въ мѣсяцъ—этого я рѣшительно не могу.

— Зачиво такъ?

— Да видинъ ли, еслибъ я намѣренъ былъ никогда не платить моихъ долговъ, то я бы

охотно согласился не то что на десять, а хоть на сто въ мѣсяцъ; но такъ какъ я имѣю обыкновеніе долги мои платить, то...

— Понимаю, понимаю!—сообразительно подмигнувъ Ицка, — то десѣтъ будетъ вамъ замного... Я и самъ сабѣ такъ мыслятъ... Н-но пазжѣлте, я заразъ побѣгу, повѣдаю тово свѣлача, поговору, — може, онъ будетъ загласный и на меншъ.

И благодѣтельный Ицка, не дожидаясь отвѣта, стремительно пустился обдѣлывать «айнъ вигонди гешефтъ для гашпидинъ сперучникъ».

* * *

Черезъ полчаса Штралецкій входитъ снова. На лицѣ его какое-то странное выраженіе: не то онъ торжествуетъ, не то чѣмъ-то смущенъ отчасти.

— Ну, что, Ицка?

— Есть! — многозначительнымъ и таинственнымъ шопотомъ докладываетъ онъ томившемуся поручика, и затѣмъ сразу же вынимаетъ изъ кармана вексельную бумагу и пачку засаленныхъ «жидовскихъ» ассигнацій, кладя передъ нимъ на столъ и то и другое.

— На сколько? — лаконически вопрошаетъ Болиголова.

— Этъ!.. Свѣлачъ!..—презрительно и грустно махнулъ рукой Ицка.

— Десятъ, что ли?

— Н-ну и сшто ви хотите! — раздражается онъ потокомъ досады, — когда жъ я вамъ говорю, сшто жидъ, какъ есть жидъ! Зжвините!

— Да ты безъ прелюдій, говори прямо: десятъ?

— Такъ! — съ грустнымъ вздохомъ и смущенно потупляя глаза, высказался наконецъ Ицка.

— Не нужно!—рѣшительнымъ движеніемъ, но съ внутренней досадой, отодвинулъ отъ себя Болиголова и деньги, и вексельную бумагу.

Штралецкій съ грустно-покорнымъ видомъ неторопливо сталъ припрятывать и то и другое въ свой старенькій сафьяновый и очень вѣстительный бумажникъ, доставшійся ему по наслѣдству отъ отца, если даже и не отъ дѣда еще.

Въ это время вошелъ денщикъ и подаль Болиголовѣ письмо, пояснивъ, что принесъ-де факторъ изъ гостиницы.

Болиголова, какъ-бы инстинктивно догадываясь, что содержаніе письма не должно быть ему особенно приятнымъ, досадливо сорвалъ конвертъ и принялся разбирать безграмотное писаніе.

* * *

«Милостивый Государь!»

«Потому что я есть намѣренный ѣхать сегодня далѣй, то и остаюся у надежде, что вы не задержите мене съ присылкой достальнаго вашего долгу чотырохъ стовъ рубли. Съ отлич-

нымъ уваженемъ имѣю честь быть капитанъ Ивановскій».

Судорожнымъ движеніемъ скомкавъ въ рукѣ письмо, Болиголова досадливо швырнулъ его въ уголъ и молча сталъ ходить по комнатѣ.

Ицко Янкелевичъ, скромно сложивъ на желудкѣ пальцы, какъ стѣбровой звѣрекъ, внимательно слѣдилъ своими пытливыми глазами за каждымъ движеніемъ поручика, который долго еще, словно маятникъ, болтался изъ угла въ уголъ по комнатѣ, тщетно соображая, какъ ему быть, и все-таки ни до чего не додумался.

Такимъ образомъ проходитъ минутъ десять, съ одной стороны, во внутренней борьбѣ, съ другой—во внимательномъ наблюденіи этого состоянія: одинъ все ходитъ, другой слѣдитъ глазами, но оба не подають о себѣ другъ другу ни малѣйшаго знака, ни звука, ни взгляда, словно бы тутъ вовсе и нѣтъ другого чело-вѣка, а ходитъ одинъ Болиголова или сидитъ одинъ Ицка. Но наконецъ, послѣдній медленно подымается съ мѣста и съ глубокимъ собо-лѣзующимъ вздохомъ произноситъ:

— До свиданья вамъ, гасшпидинъ спечурникъ.

— Постой ты, чортъ! Куда ты?—словно бы очнувшись, остановилъ его Болиголова.

— Н-но?—вопросительно подымаетъ къ его лицу свои взоры Штрапецкій.

— Погоди... Останься, пожалуйста.

— Алежъ жвинните, не маю часу.

— Да ну тебя! Не ломайся!.. Давай, что ли, вексель!

— Н-но... А и што съ того будетъ — раз-ставилъ Ицка свои растопыренныя ладони.

— Какъ «что будетъ»? Ты мнѣ дашь деньги, а тебѣ подпишу вексель—я только.

— Алежъ таки жидовски пурценты, хай имъ чо-ортъ! И минѣ жъ такъ жалко зъ васъ... И за што ви тому шведлачу будете платитъ такъ замного!?. Пфуй!..

— Да ну тебя, въ самомъ дѣлѣ! Не мучь, пожалуйста, давай скорѣе!

— Н-ну, какъ ви вже такъ хотите, той хай будетъ такъ! Хай будетъ по-вашему!

И Штрапецкій съ покорнымъ видомъ снова выложилъ на столъ вексель и деньги.

Черезъ пять минутъ сдѣлка была окончена. Болиголова принялся пересчитывать пачку.

— Ицка! — съ неприятнымъ недоумѣніемъ воскликнулъ онъ, дойдя до послѣдней бумажки, — да вѣдь тутъ не пятьсотъ, а только чотыреста-пятьдесятъ?!

— То такъ есть, — утвердительно согласился Штрапецкій.

— А гдѣ же остальные?

— А то-жъ, жвинните, то-жъ пойдутъ за пурценты... То вже такій перадокъ, жебы пурценты наусегда за мясѣнцъ уняродъ.

— Да вѣдь я такимъ образомъ опять оста-нусь безъ копейки?

— А на што вамъ кипѣйке? Ви жъ аймѣете крадитъ! Гхарѣши гасшпида живутъ безъ ки-пѣйке, и нигто съ того не жалѣесе, абы былъ крадитъ!

Дѣлать нечего, — и огорченному поручику волей-неволей пришлось согласиться съ этимъ убѣдительнымъ аргументомъ.

* * *

Проходитъ мѣсяцъ — и какъ разъ день въ день, часъ въ часъ къ Болиголовѣ является Ицка Янкелевичъ Штрапецкій.

— Жвинните, я прійшоу напомнить...

— Знаю, знаю! И самъ не хуже тебя помню, да дѣлать-то, братъ, нечего, денегъ нѣтъ, не получилъ еще.

— Пфс... Когда ви хотите жзнать, то я и самъ и въ сабѣ такъ мисляль, што нѣтъ... Н-ну, а што жъ теперь будетъ?

— Не знаю. Что захочешъ, то и будетъ.

— То надо вѣкслю до протѣсту...

— Протѣстуй, пожалуй.

— Алежъ съ того будетъ шкандалъ!?

— Какъ знаешъ.

— Н-ну, я не хѣчу, кабъ вамъ былъ шкандалъ, бо я васъ такъ люблю и вважаю... И на послю того зачѣмъ вамъ будетъ шкандалъ? Ну, ска-жить пизжалуста!

— Однако, какъ же ты думаешъ сдѣлать?

— Н-ну, и што я буду думать?! — Я жъ завѣмъ маленькаво паловѣкъ, што я могу сабѣ думать?.. То вже ви за мене додумайтѣ. И радъ бы, Ицка милѣйшій, да придумать ничего не могу. Думай ужъ ты за меня, я тебѣ уполномѣчиваю.

— Я?! Пфс... Н-ну, якъ такъ, то за позво-леньемъ паньскимъ, якъ панъ позволи, то я-бъ сабѣ думалъ, што налѣйшиъ за всего зновъ переписать вѣкслю.

— Ицка!—воскликнулъ повеселѣвшій Боли-голова, — майнѣ алдерлибстеръ Ицка! У тебя, чортъ возьми, геніальная голова! Умри, Ицка, — лучше этого ничего не сочинишь ты!

«Гасшпидинъ» Штрапецкій тотчасъ же вы-тащилъ изъ бокового кармана дѣдовскій бумаж-никъ, аккуратно порылся въ немъ и досталъ вексель Болиголова выѣстъ съ новой вексель-ной бумагой.

Писайте, ваше благхородю, «одъ сего щисла повиненъ есть на спшумма пѣтсоть-пѣтде-сентъ-пѣтъ рѣбли на одного мясѣнцъ».

Болиголова, просто въ ужасѣ нѣкоемъ, по-ложилъ перо.

— Ицка! — прервалъ онъ еврея. — Ицка! Умилосердись! Вѣдь десять процентовъ, я пони-маю, можно еще, пожалуй, дать на мѣсяцъ; но на два — это, согласись самъ, будетъ уже слишкомъ «замного». Это не возможно!..

— Писайте, ваше благхородю, — настоячиво, но деликатно повторяетъ Ицка, — писайте «одъ сего щисла повиненъ есть на спшумма пѣт-соть-пѣтдесентъ-пѣтъ рѣбли.

— Ицка! Проклятый! Вѣдь это ужь проценты на проценты! Вѣдь ты безъ ножа рѣжешь!

— Зжвините, якъ то можна безъ ножа за-рѣзать? Сшто это ви таково гавдиртю!—оправдываясь, съ чувствомъ собственнаго достоинства, отмахивается Ицка. — И еще въ додѣтекъ, кабъ то билъ я; а ви жъ знаете сшами, сшто то не я, то мой зжнакомій, одного шаловѣкъ,—то увсе онъ, а не я.. И сшто я зъ нимъ буду издѣлать, якъ онъ такий шволачъ, такий жидъ! Онъ же мине тягнетъ за горло,—ну, а я вже по своемъ неволу зъ васъ тягну.

— Да вѣдь вексель на твое имя!

— Ну, а у того шволача есть другій вѣксюль, и тотъ вѣксюль вже есть написанный на маво имени, и онъ, гавору вамъ, зъ мене тягнетъ! Я-жъ сшамъ плачу ему десентъ пурценты.

Въ концѣ концовъ вексель переписывается еше на мѣсяцъ, совершенно сообразно желанію Ицки.

Проходитъ новый мѣсяцъ—и отъ слова до слова повторяется та жѣ самая исторія: вексель переписывается снова, но уже не на 555, а на 606 р. 50 к. Болиголова видитъ наконецъ, что такимъ образомъ незамѣтно зарвешься гораздо чувствительнѣе, чѣмъ въ какой бы то ни было капитанскій штоссъ; а потому твердо рѣшается прекратить дальнѣйшее, и при томъ столь систематическое обираіе своего кармана. Но какъ въ этомъ случаѣ поступить злосчастному поручику?

* * *

Приходитъ слѣдующій срокъ, приходитъ и Ицка, съ предложеніемъ обмѣнять старый вексель на новый, въ 665 р. 50 к. Но поручикъ рѣшительно объявляетъ: дѣлай что хочешь, поступай какъ знаешь, а переписывать больше ни за что не стану!

— Ну, додумайто жъ, якимъ бы способомъ развязаться минѣ изъ тымъ шволачомъ! Развязитъ мине, бо онъ зъ мине тягнетъ!

— Да что, братъ, какъ ни думаю, а выходитъ все на одно!—вздыхаетъ Болиголова, пощелкивая пальцемъ о палецъ. — Изъ имѣнія раньше четырехъ мѣсяцевъ и думать нечего ни о какой получкѣ... А вотъ, развѣ что... Если бы въ Петербургъ поѣхать,—тамъ бы, пожалуй что сейчасъ же у родныхъ досталъ себѣ денегъ и расплатился бы...

— Ну, то писайте имъ, нехай присылаютъ!—съ живостью подхватилъ Ицка.

— Писалъ!—съ безнадежнымъ вздохомъ махнулъ рукой поручикъ,—да не помогаетъ... Безъ личнаго свиданія ничего не подѣлаешь. Пишутъ въ отвѣтъ, приѣзжай-де самъ, потолкуемъ, посмотримъ и устроимъ какъ-нибудь все дѣло. Вотъ и письмо, читай хоть самъ пожалуй.

— И Болиголова, для пущей убѣдительности, далъ Ицкѣ письмо петербургскаго родственника. Тотъ повертѣлъ его и такъ, и сякъ

въ рукахъ, постарался прочесть, кое-что разобралъ и убѣдился.

— Ну, то надо ѣхать до Петербургу,—приговаривалъ онъ.

— Эге!.. Вишь ты какой приткій! Сейчасъ и «до Петербургу»! А на какіе шиши я поѣду?

— Якъ то на сшисши?—въ недоумѣніи заморгаль Ицка.

— Да такъ, что на дорогу нужны же деньги, а у меня ни гроша.

Ицка раздумался.

— И то же будетъ за вѣрно, сшто ви у Петербургу сдобудете деньгувъ?—поборая въ себѣ послѣднія колебанія, осторожно спросилъ онъ послѣ минуты раздумья.

— Навѣрное добылъ бы,—удостовѣрилъ поручикъ,—вотъ тебѣ и письмо въ доказательство.

— Н-ну, то настягайте ваша сшабляка, ходите да гасшпиндинъ пулковникъ и берите отпускъ!—самымъ положительнѣйшимъ образомъ порѣшилъ вдругъ Ицка.

— Да говорятъ же тебѣ толкомъ, что нѣтъ у меня денегъ на дорогу.

— То вже не ваша забота. Берите отпускъ.

— Да вѣдь надо же мнѣ, наконецъ, и жить чѣмъ въ Петербургѣ, хоть на первые-то дни, ну самъ подумай!..

— То вже, кажу, не ваша забота. Берите отпускъ,—настоятельно и увѣренно подтверждаетъ Ицка, очевидно, весьма довольный въ душѣ той новой комбинаціей, которая пришла ему въ голову.

Болиголова слѣдовалъ благому совѣту, подстегнулъ саблю, отправился къ полковому командиру—и черезъ два часа адъютантъ привезъ къ нему уже подписанный и припечатанный билетъ въ 28-ми дневный отпускъ.

Ицка Янкелевичъ, необыкновенно довольный собой и своей изобрѣтательностью, собственноручно помогалъ денщику возиться надъ чемоданомъ Болиголовой и укладывать необходимые вещи.

— Ицка!—пожимая плечами, время отъ времени вопрошаетъ его поручикъ,—да разъясни же ты мнѣ наконецъ, какъ же это будетъ? Взаимы, что-ли, достанешь ты мнѣ на дорогу, или какъ?

— Этъ!.. Сшто таково!.. То вже не ваша забота! зжвините! Ви толке ѣжайте!—каждый разъ отвѣчаетъ Ицка такимъ тономъ, какъ-бы желая сказать: «не приставай молъ! знаю, что дѣлаю! Уже будешь доволенъ!»

И вотъ, онъ выказываетъ необычайную дѣятельность: считаетъ, сколько носокъ, сколько платковъ носовыхъ уложено въ чемоданъ, все это записываетъ себѣ на особую бумажку «для памяти», упаковываетъ сюртукъ, мундиръ, эполеты, этикетки и прочія офицерскія вещи, заботливо освѣдомляется, «чи не забыто еще че-

го?», приводить двухъ извозчиковъ, на одного сажаетъ поручика, на другого валитъ чемоданъ, на чемоданъ же взбирается самъ, съ какимъ-то своимъ собственнымъ узелкомъ подмышкой, и торжественно препровождаетъ все это на желѣзную дорогу.

— Балетъ одъ первій класъ и балетъ одъ багажъ,—любезно преподнесъ онъ Болиголовъ два билета, предварительно потискавшись, понюхавъ и похлопотавъ у обѣихъ кассъ—пассажирской и багажной.—Ви вже будьте спшакійніи, вже увсье гитово, и я зъ вами.

— Какъ! И ты тоже ѣдешь?!—непритворно изумился поручикъ.

— А такъ! До Петербургу! Уже и балетъ досталъ сабѣ! Въ кимпанія зъ вами!

— И тоже въ первомъ класѣ—подтрунилъ тотъ.

— Ну-у!.. Пфай!.. Сшто ви гаворитю! Я даже спшигалсе!—выпучивъ глаза и словно бы дѣйствительно въ испугѣ, сталъ отмахиваться Ицка.—Уфъ первій класъ!.. От-то!.. Чи я сдурѣлъ, чи сшто!.. Для сабе уфъ первій!.. Я сабѣ взялъ у третій, а кабъ еще билъ читвортый, то я бы взялъ у читвортый!.. Жаль, очинъ жалъ, сшто нѣтъ читвортый класъ!—съ легкимъ вздохомъ сожалѣнія покачалъ онъ головой.—То такой глупій перадокъ на тымъ сжалѣзномъ колѣю!.. Очинъ доволна глупій!

Затѣмъ таинственно поманивъ къ себѣ поручика и отведя его нѣсколько въ сторону, Штралецкій, какъ-бы подъ величайшимъ секретомъ и съ опаской, чтобы кто не подслушалъ, заговорилъ ему шопотомъ:

— Жзвините, якъ вамъ сшто схочется, чи то покуштить, чи то выштить сшто, то ви увсье сабѣ спрашуйте, сшто ви схочете; а на потомъ ви толке моргните до мене, то я вже буду издѣтъ, при вашемъ особу, и я вже сшамъ буду заплатить у буфетъ.. Пизжадуста!

— Стало быть, я ѣду на подномъ твоёмъ иждивеніи?—со смѣхомъ спросилъ поручикъ.

— Такъ. За маво кошту, якъ би то мой багажъ,—подтвердилъ Ицка,—бо я жзнаю, ви такой бляхородній шаловѣкъ, ви мене не схочете абидѣтъ, и ви минѣ будете отдавать увсье, и никакой сшпоръ, и никакой маровая сшюдя у насъ не будетъ. Такъ?

— Быть по-твоему!—соглашается Болиголовъ и, ничто же сумняся, оба отправились въ путешествіе—одинъ въ первомъ, другой въ третьемъ класѣ.

* * *

Пріѣхали въ Вильну, гдѣ вечерній пассажирскій поѣздъ стоитъ болѣе часу. Путешествующая публика рассказываетъ за сервированными столами, причемъ немедленно же поднимается и обыкновенная стукотня ножей и вилокъ, и бѣготня нумерованныхъ фрачныхъ лакеевъ съ блюдами и тарелками. Здѣсь Болиголовъ, на бѣду Ицкѣ, встрѣтился со старыми знакомыми, гусарскими офицерами, которые

стоятъ частью въ городѣ, частью въ ближайшихъ окрестностяхъ, и вѣчно, ко времени прихода поѣздовъ, наѣзжаютъ въ вокзалъ, ради собственного развлечения. Сѣли за ужинъ, потомъ явилось шампанское, а Ицка изъ отдаленнаго угла, съ затаенной тоской въ сердцѣ своемъ, наблюдаетъ и загадываетъ себѣ—потребуется ли шампанскаго панъ сперучникъ или не потребуется? и когда потребуется, то много ли потребуется? и сколько ему, Ицкѣ, за то заплатить придется?..

Потребоваль!

— Огхъ!.. Аинъ бутелькесъ!—со вздохомъ мутящаго сокрушенія считаетъ про себя Штралецкій.—Уй! нохъ аинъ бутелькесъ! цвай бутелькесъ!—хлопнувъ руками объ полы и качая головой, шепчетъ онъ минутъ черезъ десять.

— Эй, Ицка! заплати тамъ по счету!—кинулъ ему поручикъ, окончивъ ужинъ—и гасшпидинъ Штралецкій, несказанно обрадованный тѣмъ, что всѣ его страхи и опасенія ограничились только двумя бутылками, предупредительно спѣшитъ исполнить волю своего «багажа».

— Жзвините! Сшлюхайтю! — поспѣвая за нимъ послѣ перваго звонка, убѣдительно шепчетъ онъ на ухо съ умоляющимъ видомъ,—не куштите вже большъ шимпаньскаго, бо оно для голова сшамаво паскудства! И минѣ жъ такъ дожалю, какъ ви будете неждаровій... Куштите лепштъ водка, чи то коньякъ съ цукѣркемъ,—сшами бляхародни напитокъ!

И всю дорогу, на каждой станціи, гдѣ только есть буфетъ, Ицка непременно выскакиваетъ изъ своего вагона и начинаетъ расхаживать по платформѣ мимо купѣ, занятого его живымъ «багажемъ». Иногда «багажъ» выходилъ, и тогда Ицка уже зналъ свою роль и вытаскивалъ бумажники: иногда же не выходилъ—и гасшпидинъ Штралецкій, съ облегченнымъ и временно успокоеннымъ сердцемъ, возвращался въ свой вагонъ, въ ожиданіи дальнѣйшаго томленія передъ слѣдующимъ буфетомъ.

— И такимъ-то образомъ пріѣхали они наконецъ въ Петербургъ. Предупредительный и расторопный Ицка тотчасъ же самъ и карету нанялъ, самъ и багажъ получилъ, и отъ всѣхъ мелочныхъ хлопотъ избавилъ своего кліента, и только когда все уже было у него готово и все исправлено, спросилъ его, приподнимая шапку:

— А до каково гасштиницу прикажетю?

— Въ Бель-вю пошелъ, на Невскій.

— Въ Бель-вю, сплюхай!—не безъ гордаго сознанія собственного достоинства повелительно крикнулъ онъ извозчику, взгромоздясь съ чемоданами къ нему на козлы. Ицка былъ теперь гордъ и веселъ сознаніемъ, что и онъ «тоже уфъ сшгалицу» и при томъ «ѣхаетъ уфъ каретахъ» и, стало быть, можетъ впослѣдствіи у себя дома рассказывать «увѣшкямъ»

спиводачамъ», какъ это онъ «билъ на сшталлицу» и какъ въ каретахъ ѣхалъ.

* * *

Быль у Болиголовы въ Петербургѣ довольно близкій родственникъ и въ то же время добрый другъ, который занимался изданіемъ одного весьма скромно распространеннаго журнала. На этомъ-то родственникѣ главнѣйшимъ образомъ и зиждились всѣ надежды, планы и расчеты поручика; къ нему-то онъ и поѣхалъ тотчасъ же, едва успѣвъ переодѣться съ дороги. Послѣ первыхъ родственныхъ привѣтствій и объятій, причины пріѣзда въ Петербургъ были объяснены немедленно, тѣмъ болѣе, что родственникъ-редакторъ былъ уже заранѣе ознакомленъ съ этими причинами изъ писемъ поручика.

— Мм... Вотъ видишь ли,—заговорилъ онъ нѣсколько морщась и пружась, — въ данную минуту дѣла мои нѣсколько плоховаты: журналъ идетъ мм... то-есть, такъ себѣ, ни шатко, ни валко, а коли говорить откровенно, то болѣе пожалуй что и валко... Подписка слаба, сотрудники, бумага, типографія, то да сѣ... Однимъ словомъ, не въ авантажъ обрѣтаемся.

Болиголова при этомъ сюрпризѣ подвигнулся, и что называется, повѣсилъ носъ на квинту.

— Но... это, въ сущности, ничего не значить!—ободрительно продолжалъ редакторъ,—и я надѣюсь, что могу помочь тебѣ во всякомъ случаѣ.

— То-есть какъ же это?—воспрянулъ духомъ поручикъ.

— А вотъ видишь ли, есть тутъ у меня одинъ... По части искусства пишеть...

— Искусства деньги занимать, что ли?—улыбнулся Болиголова.

— Мм... н-нѣтъ, по части искусства вообще: о живописи, о скульптурѣ и музыкѣ... больше все это съ эстетической стороны... съ высоты вѣчныхъ идеаловъ...

— Ну, такъ что же?—спросилъ поручикъ.—При чемъ тутъ идеалы и эстетика?

— А при томъ, что онъ въ то же время очень полезный человѣкъ... И я самъ иногда въ круглыя минуты у него пользуюсь.

— Идеалами?

— Нѣтъ, деньгами.

— Въ займы даетъ, что ли?

— Да, на солидный процентъ и подъ вѣрное обезпеченіе, или подъ вѣрное поручительство.

— И идеалы сему не препятствуютъ?

— Ни мало! Напротивъ, очень помогаютъ. Я за это доставляю ему авторское удовольствіе видѣть свои статьи и свое имя въ печати.

— И стало быть твое поручительство имѣетъ требуемую силу?

— Мм... Въ извѣстной степени, да.

— Такъ поручись за меня, голубчикъ! Ты

самъ вѣдь знаешь, что изъ деревни черезъ четыре мѣсяца...

— За этимъ дѣло не станетъ,—перебилъ редакторъ,—но... надо, чтобы ты самъ ему понравился.

— Кому?

— Да все-жъ ему, сотруднику.

— Это зачѣмъ же?

— Затѣмъ, что онъ требуетъ извѣстнаго уваженія къ своей особѣ, да еще солидарности со своими убѣжденіями, а главное, почтенія къ его познаніямъ и таланту.

— Тыфу ты, чортъ! Какія штуки еще!

— Да, не иначе! А ты, конечно, и не читалъ его произведеній?—спросилъ редакторъ.

— Я?!—удивился поручикъ,—я, мой другъ, кромѣ «Уставовъ», рѣшительно ничего не читаю. А развѣ это нужно?

— Необходимо. Я дамъ тебѣ двѣ-три книжки моего журнала и укажу... Ты ознакомься предварительно, и если хочешь имѣть успѣхъ, то пожалуйста какъ можно болѣе ловкихъ комплиментовъ! Понимаешь?

— Ну, чортъ возьми, задача!—закусивъ усь, пробормоталъ поручикъ.—Однако, нечего дѣлать!—вдохнулъ онъ.—Только какъ же и когда ты мнѣ это устроишь?

— А постараюсь завтра же,—успокоилъ родственникъ.—У меня завтра редакціонное утро,—продолжаетъ онъ,—сотрудники собираются, будетъ и онъ вѣроятно, а для пущей вѣрности я даже пошлю ему записку, чтобы приходилъ непременно, и постараюсь предупредить его, а ты пріѣзжай около часу, и познакомишься... Только не забудь прочитать статьи предварительно.

— Нечего дѣлать, коли нужно, такъ хоть всю ночь и все утро убью на это. Только, чортъ возьми,—добавилъ Болиголова, какъ бы размышляя съ самимъ собой,—эстетика, идеалы и деньги въ ростъ...

— Знаменіе времени, мой милый,—улыбнулся редакторъ.

— Хм... знаменіе... Н-нѣтъ, у насъ эти дѣла съ Ицкой Янкевичемъ, какъ видно, гораздо проще выходить.

И поручикъ, пока до времени, успокоился духомъ, въ ожиданіи завтрашнихъ успѣховъ.

Уже поздно вечеромъ вернулся онъ въ свой номеръ. Сонный Штралецкій, помѣстясь на стулѣ, давно ужъ поджидалъ тамъ его возвращенія.

— Ну, и сшто?—спросилъ онъ съ любопытствомъ, которое очевидно томило его душу тоскою ожиданія.

— Завтра! Завтра, майнъ аллерлибстеръ Ицка!—увѣреннымъ тономъ успокоилъ его поручикъ.

— Жавтра!.. И то вже будетъ за вѣрно?

— По крайней мѣрѣ, такъ обыцано.

— Ну, хвала Богу!.. То я буду ждатель до жавтра,—успокоился Ицка.

— Какъ же ты помѣстился и гдѣ устроился?—спросилъ его Болиголовъ, раздѣваясь.—Тоже въ этой гостиницѣ?

— Сшто-о?.. Увъ этомъ гостиницу?.. А хай ему чортъ!—отмахнулся Штралецкій,—тутай менышъ якъ на пультора рубли и нумеру нѣма, и увшѣ такъ задорого, такъ задорого—ай-вай!.. Я улѣковалъ сабе на Спадовемъ улицу, въ Кукановъ домъ, у Малкинсъ перевулѣкъ,—тамъ увшѣ наashi... У одного еврей улѣковалсе за два злоты на сутку... И я вже покушилъ, покипилъ сабѣ булке та щилетке—хвала Боху, на шами одлични манирѣ!.. До спшвиданью вамъ, гасшпидинъ сперучникъ... Сшпите!

И Ицка осторожно, на ципочкахъ, вышелъ изъ комнаты.

* * *

На слѣдующій день, прѣхавъ къ редактору въ назначенное время, Болиголовъ засталъ уже тамъ нѣсколько гостей сотрудниковъ, изъ которыхъ нѣные покосились на его кавалерійскій мундиръ, со свойственной нѣкоторымъ литераторамъ угрюмостью, которая, по большей части, бываетъ у нихъ совершенно безпричинной. Впрочемъ, въ данную минуту Болиголовъ было не до разбирательствъ, кто какими взглядомъ на него възираетъ. Протянувъ руку редактору, онъ мелькомъ взглянулъ ему въ глаза пытливо выпрашивающимъ выраженіемъ, которое, казалось, говорило: «ну что, успѣшно ли?»—«Благополучно!» отвѣтили ему исподтишка глаза редактора. Поручикъ успокоился, усѣлся въ кресло и закурилъ паппроску. Сотрудники, между тѣмъ, продолжали вести разговоры, т. е. ругали чью-то статью, поносили заочно какого-то литератора, сообщали нѣсколько сплетенъ про общихъ враговъ и отсутствующихъ пріятелей, злословили какихъ-то постороннихъ редакторовъ, презрительно относились о какихъ-то постороннихъ газетахъ и журналахъ,—словомъ сказать, редакціонное утро было таково, какъ и всѣ, ему подобныя. Но все это для озабоченнаго посвоему Болиголовы не представляло ни малѣйшаго интереса. Разсматривая, этихъ господъ, онъ думалъ про-себя: «какой же изъ васъ, любезные друзья, есть благодѣтель рода человѣческаго?»—и никакъ не могъ съ точностью уяснить себѣ этого вопроса: всѣ они какъ-то болѣе походили на ищущихъ и берушихъ деньги, чѣмъ на дающихъ оныя.—«Какой же изъ васъ даетъ, въ самомъ дѣлѣ? Этотъ ли, совершенно приличный джентльменъ, или тотъ псклявый замарашка, или наконецъ сей кашлатый субъектъ, что похожъ болѣе на воскресенскаго дьякона, чѣмъ на «цивильнаго» человѣка?

Редакторъ между тѣмъ поднялся съ мѣста и кивкомъ предложилъ поручику слѣдовать за собой въ другую комнату.

— Ну что, прочелъ статью-то?—быстро и съ озабоченнымъ видомъ спросилъ онъ.

— Прочестъ-то прочелъ, только, признаюсь, для меня это отчасти темна вода во облацѣхъ.

— Ну, ничего... Хвали!.. Ты только хвали, знай, да поддакивай.

— Тфу ты, какое подлое положеніе!—пожалъ плечами поручикъ.

— Ага, братъ, умѣешь кататься, умѣй и то-во... понимаешь?

И подойдя къ двери, редакторъ высунулъ изъ нея голову къ сотрудникамъ.

— Анатолій Борисовичъ, пожалуйста сюда на минутку,—съ особенной мягкостью въ голосѣ, позвалъ онъ кого-то,—и въ ту же минуту въ дверяхъ появился совершенно приличный джентльменъ, съ золотымъ пенснѣ, которое придавало какой-то особенный и какъ-бы зловѣщій блескъ его совершенно круглымъ, хищно совинымъ глазамъ. Джентльменъ былъ непріятно красивъ собой и очень старательно заботился, чтобы всѣмъ манерамъ своимъ придавать изящную и плавную округленность. Онъ какъ-бы постоянно помнилъ про-себя объ этомъ.

— Позвольте, господа, познакомить васъ,—началъ редакторъ, обращаясь къ обонимъ,—господинъ Шмецъ,—поручикъ Болиголовъ, о которомъ я вамъ говорилъ давеча.

Господинъ Шмецъ оскалилъ улыбкой свои щучьи зубы и протянулъ руку. То и другое было продѣлано имъ съ очень изящной любезностью.

— Ваше имя давно уже извѣстно мнѣ по литературѣ,—пробормоталъ между тѣмъ поручикъ, памятуя дружескій завѣтъ насчетъ возможно большаго количества комплиментовъ.

— А!.. А вы развѣ читаете?—спросилъ размякшимъ отъ удовольствія голосомъ польщенный авторъ, даже не сообразивъ, что вопросъ былъ глупъ и недовокъ.

«Кромѣ «Уставовъ» ничего»—чуть было не сорвалось съ языка поручика, но хорошо, что спохватился во-время.

— О, какъ же!—поспѣшили онъ поддакнуть.—Ваши статьи объ искусствѣ, это... это въ своемъ родѣ... перлы... Я просто въ восторгѣ... и въ особенности отъ послѣдней статьи... Превосходно! Превосходно!.. Я, какъ и вы же, поклонникъ чистаго искусства, а потому и вашъ поклонникъ.

Въ улыбающихся глазахъ господина Шмеца показалось даже нѣкое масло умиленія. Онъ съ чувствомъ поспѣшилъ еще разъ пожать руку поручика, который въ это самое время думалъ про-себя: «О, Болиголовъ, сколь ты врешь и сколь кривишь душой!»

— Мнѣ очень пріятно за наше время,—заговорилъ межъ тѣмъ господинъ Шмецъ уже съ нѣкоторымъ нахальствомъ признаннаго авторитета,—да, именно, знаете ли, за наше время, когда наконецъ и подъ военнымъ мунди-

ромъ встрѣчаешь иногда пониманіе и любовь къ интересамъ высшаго порядка.

«Ахъ ты, сшволачь ты, сшволачь!» подумалъ при этомъ комплиментѣ Болиголова, невольно какъ-то вспомнивъ любимое выраженіе и еврейскій акцентъ Ицки Штраелецкаго. Но увы!—крутыя обстоятельства рѣшительно не допускали поручика отвѣтить этому Шмecu за его комплиментъ такъ, какъ-бы слѣдовало по совѣсти и какъ навѣрное отвѣтилъ бы онъ, не будь у него этихъ проклятыхъ крутыхъ обстоятельствъ. А теперь, вмѣсто того, пришлось только пробормотать нѣчто въ родѣ, что давно уже, молъ, желалъ имѣть честь познакомиться съ вами.

— Н-да, да... и мнѣ самому тоже очень пріятно,—растягивая слова, цѣдилъ сквозь зубы господинъ Шмецъ, уже тономъ нѣкотораго покровительства.—А вы, вѣроятно, и сами кое-что пишете?

«Кромѣ веселой и росписокъ, ничего» хотѣлось бы отвѣтить поручику, но... благоразуміе пересилило, и онъ ограничился однимъ скромнымъ «нѣтъ», произнесеннымъ даже какъ-будто со вздохомъ сожалѣнія.

— Но это все равно!—какъ-бы въ утѣшеніе ему, замѣтилъ литераторъ.—И мнѣ во всякомъ случаѣ будетъ очень пріятно видѣть васъ у себя... Заходите какъ-нибудь...

— Когда позволите? — послѣднимъ освѣдомиться поручикъ.

— Когда хотите, все равно... По вечерамъ только я обыкновенно въ оперѣ или во французскомъ театрѣ, ну а потомъ, конечно, заѣдешь въ какой-нибудь кабачекъ, въ родѣ Бореля или Татаръ, поужинать... Я, знаете, люблю,—говорилъ Шмецъ нѣсколько небрежнымъ тономъ и какъ-то все пожевываясь да поводя плечами, — эдакъ легкій ужинъ со стаканомъ добраго винца. А самое лучшее — приходите ко мнѣ завтракать,—предложилъ онъ,—я завтракаю обыкновенно дома, въ двѣнадцать часовъ... Мы закусимъ и потолкуемъ за доброй сигарой... Да вотъ что: приходите завтра,—мой адресъ извѣстенъ редакціи, а впрочемъ—вотъ моя карточка. Ровно въ двѣнадцать васъ будетъ ожидать уже сочный кусокъ ростбифа. Мой поваръ готовить недурно, — по крайней мѣрѣ, я имъ пока доволенъ.

Послѣднія слова свои господинъ Шмецъ произносилъ уже въ дверяхъ, возвращаясь въ кабинетъ редактора, гдѣ все еще жарко спорила и кричала о чемъ-то компанія сотрудниковъ. Онъ считалъ, что достаточно уже облакалъ представленнаго ему офицера и что аудіенція его съ нимъ продолжалась тоже достаточно.

— Ну, что, каково я подличалъ?—спросилъ Болиголова у редактора, когда наконецъ всѣ литераторы разошлись.

— Отмѣнно хорошо! — похвалилъ тотъ.—Я даже и не ожидалъ отъ тебя такого искусства. Те-

перь, братъ, почти уже можно сказать, что дѣло въ шляпѣ.

— Да, но однако онъ вѣдь и не заикнулся про дѣло-то.

— Мм... Видишь ли, онъ вообще объ этой матеріи болѣе помалчиваетъ; но это, въ сущности, ничего не значить, и ты можешь быть совершенно покоенъ. Отправляйся къ нему завтракать, но только ровно къ двѣнадцати—не проспи и не пропалберничай! Онъ человѣкъ аккуратный и по этому же качеству судить о степени благонадежности своихъ кліентовъ.

— Да ты, голубчикъ, говорилъ ли съ нимъ, предупредилъ ли его какъ слѣдуетъ?—озабоченно спросилъ поручикъ.—Меня все сомнѣніе беретъ, что о дѣлѣ-то онъ ни полслова.

— Эхъ, любезный другъ!—махнулъ рукой редакторъ.—Ужъ разъ что завтракать пригласилъ и самъ время назначилъ, такъ стало быть, и говорилъ, и предупредилъ—не беспокойся! Приглашеніе къ завтраку прямо означаетъ, что дѣло твое на хорошей дорогѣ. Безъ того, повѣрь, не пригласилъ-бы!

И обнадеженный поручикъ успокоился до завтра.

А вечеромъ опять-таки засталъ онъ въ своемъ номерѣ терпѣливо ожидавшаго Ицку.

— Н-ну, и сшто?—спросилъ Ицка по-вчерашнему.

— Завтра! завтра, майнъ аллерлибстеръ Ицка!

— Алежъ эквините, и вѣбра било жавтра, и жавтра стало вже сшиводно, а ви изновь минѣ говоритю «жавтра»...

— Ну да: *минѣ* говорить «жавтра», и я тебѣ говорю «жавтра».

— Такъ. То жавтра?.. И то вже будетъ за вѣрно?

— Надѣюсь, навѣрное.

— Н-ну, то хай будетъ такъ. До сшвиданью вамъ, гасшпидинъ сперучникъ. Сшпите!

* * *

На карманныхъ часахъ Болиголова было безъ трехъ минутъ двѣнадцать, когда онъ подѣхалъ на извозникѣ къ дому, гдѣ обиталъ господинъ Шмецъ, этотъ современный «благодѣтель рода человѣческаго» — благодѣтель высшаго полета, или, говоря его же словами, «высшаго порядка», являвшій собой между подобными благодѣтелями типъ новый, и при томъ такой, какого не доводилось еще наблюдать армейскому уланскому поручику, имѣвшему доселѣ дѣла только съ разными Ицками да мадамъ Ривками.

Болиголова, поднявшись на лѣстницу, взглянулъ еще разъ на часы, гдѣ стрѣлка показывала двѣнадцать безъ полторы минуты, а онъ нарочно заѣжалъ сегодня въ часовой магазинъ Винтергальтера и попросилъ поставить свои стрѣлки точъ-въ-точъ по адмиралтейской пушкѣ. Передъ поручикомъ красовалась высо-

кая дверь, обитая зеленым сукномъ, съ бронзовыми гвоздиками, съ мѣдной щелью, надъ которой было вырѣзано четкими буквами «*для писемъ и газетъ*», и съ мѣдной же доской, гдѣ столь же четко кидалось въ глаза имя, отчество и фамилія «*Богодѣтеля*». Твердо помня замѣчаніе родственника о безпримѣрной аккуратности господина Шмеца и о томъ, какую важную роль это качество должно играть въ его собственномъ дѣлѣ, Богодѣлова, чтобы быть аккуратнымъ до высшей степени педантизма, рѣшилъ себѣ, что лучше ужъ обождать передъ дверью даже и эти полторы минуты, и потому нажалъ пуговку электрическаго звонка не ранѣе какъ обѣ стрѣлки совершенно сошлись въ одной точкѣ циферблата надъ знакомъ XII, что случилось какъ-разъ въ ту секунду, когда съ Адмиралтейства раздался гулъ полуденнаго выстрѣла. Дверь отворилась тотчасъ же, но не совсѣмъ, а только на одну четверть: она была на цѣпи, такъ что пока не снята эта цѣпь, что могло быть сдѣлано только посредствомъ какого-то особаго секрета, никто и никакими судьбами не могъ бы проникнуть въ квартиру господина Шмеца. — «Что это, отъ воровъ ли такая предосторожность, или отъ тѣхъ, кто за его благодѣянія ходитъ морду бить ему?» подумалъ себѣ легкомысленный поручикъ. Между тѣмъ, въ щель выглянула гладко выбритая фізіогномія дюжаго лысинаго лакея.

— Дома Анатолій Борисовичъ?

— Ваша фамилія?—не отвѣчая на вопросъ, спросилъ тотъ.

Богодѣлова подавъ свою карточку.

Лакей прочелъ ее, — и результатомъ этого было то, что дверь, немедленно же освободясь отъ цѣпи, вполне раскрылась предъ поручикомъ.

— Обождите въ приемной: Анатолій Борисовичъ сейчасъ выйти изволятъ, — проговорилъ лакей, направляя гостя въ смежную комнату.

Богодѣлова, оставшись одинъ, оглядѣлся вокругъ. — «Фу, ты, какая роскошь!» невольно подумалось ему, при видѣ всѣхъ этихъ массивныхъ бронзъ, инкрустацій, мозаикъ, фарфоровъ и старинной дубовой мебели съ удивительной рельефной рѣзбой. Каждая вещь являла, въ своемъ родѣ, замѣчательное произведение искусства и самымъ нагляднымъ образомъ доказывала, что у господина Шмеца дѣйствительно есть и пониманіе, и достаточно изящнаго вкуса, но... въ то же время коллекція эта дѣлала такое впечатлѣніе, которое невольно наводило на мысль, что всѣ эти вещи попали сюда съ аукціоновъ, либо изъ кладовой закладчика. На стѣнахъ этой приемной красовались картины Лагорио, Боголюбова, Маковского и др. На столахъ и пьедесталахъ стояли бронзы Либериха, мраморы Каменскаго и Бродскаго, — тѣ и другіе въ несомнѣнныхъ

оригиналахъ, и это сочетаніе именъ явно указывало, что господинъ Шмецъ предпочитаетъ, а можетъ быть и поощряетъ вообще русскую школу, русское искусство. Впрочемъ, Богодѣлова еще ранѣе, изъ его статей объ искусствѣ и о прочихъ «матеріяхъ важныхъ», уразумѣлъ, что господинъ Шмецъ отнюдь не принадлежитъ къ числу нигилистовъ; напротивъ, изъ этихъ статей явствовало, что онъ хотя и либераленъ, но какъ либераленъ? — Въ самомъ благонамѣренномъ смыслѣ, то-есть, уважаетъ, во-первыхъ, почтенное сословіе присяжныхъ повѣренныхъ и всѣ прочія благодѣянія, съ нимъ сопряженныя; во-вторыхъ, одобряетъ гласныя кассы ссудъ и, вообще, благотѣтельную гласность; въ-третьихъ, готовъ содѣйствовать и народному образованію, не иначе, какъ по системѣ бароновъ Корфа и Косинскаго; но, при всемъ либерализмѣ этого сорта, въ господинѣ Шмецѣ, относительно искусства, проявлялся болѣе всего русскій національ и даже, кое въ чемъ, съ консервативнымъ оттѣнкомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и въ вопросахъ политическихъ господинъ Шмецъ былъ самымъ доброкачественнымъ патриотомъ, хотя подчасъ и не прочь былъ подпустить въ свой патриотизмъ долю «гражданской скорби», но только немножко, въ самомъ умѣренномъ количествѣ, такъ, чтобы о немъ каждый могъ подумать, что сей господинъ Шмецъ не то что совсѣмъ либералъ и не то что совсѣмъ консерваторъ, но можетъ, по обстоятельствамъ, сдѣлаться и тѣмъ и другимъ вообще, какъ ему заблагоразсудится, въ силу своей собственной независимости.

Господинъ Шмецъ, несмотря на свое предупрежденіе, что ровно въ двѣнадцать часовъ Богодѣлову будетъ уже ожидать дымящійся паромъ кусокъ сочнаго ростбифа, заставилъ-таки поручика около десяти минутъ прождать своего выхода въ приемную. Но зато, что это былъ за выходъ!.. Прежде всего, невидимой рукой растворилась одна изъ дверей — и въ комнату вбѣжалъ, обнявша воздухъ, породистый бульдогъ съ отвратительной, злобно оскаленной мордой и остановился какъ разъ противъ Богодѣловы, уставивъ и расширивъ на него пытливыя ноздри и не менѣе пытливые взоры. Такъ и казалось, что усынки его только хозяйскій голосъ, бульдогъ въ то же мгновеніе вопьется зубами въ незнакомаго человѣка, какимъ въ данную минуту являлся передъ нимъ нашъ поручикъ.

«Гм... Если только сюда приходятъ иногда за тѣмъ, чтобы морду бить, то предосторожность недурная, да и дрессура отличная», подумалъ себѣ Богодѣлова, оглядывая собаку не безъ сомнѣній насчетъ дружелюбности ея намѣреній.

Но размышленіе это было прервано шлепаньемъ шаркающихъ туфель — и въ ту же минуту въ дверяхъ появился господинъ Шмецъ, небрежно и быстро поигрывая на пальцѣ шел-

ковыми кистями роскошнѣйшаго атласнаго халата, и появился весь такой свѣжій, только-что вымытый, благоухающій и сіяющій улыбой.

— Pardon, Бога ради! — развязно заговорилъ онъ, дѣлая видъ, будто изъ скромности запахиваетъ грудь съ умѣренно-смущеннымъ видомъ, — pardon, cher monsieur Болиголова! Я заставилъ васъ подождать немного, но это не моя вина... Я только-что взялъ мою утреннюю ванну, а этотъ каналья, мой камердинеръ, забылъ, что вышелъ весь флаконъ ароматической эссенціи, которую я обыкновенно вливаю въ мою ванну (это, знаете ли, необыкновенно освѣжаетъ организмъ), и я вынужденъ былъ дожидаться, пока этотъ негодяй леталъ на извозчикѣ въ косметическій магазинъ... Простите, Бога ради!.. Душевно радъ видѣть васъ! — говорилъ Шмецъ, тряся руку поручика своей мягкой, свѣжей и душистой рукой. — Но вы, впрочемъ, необыкновенно аккуратны! — прибавилъ онъ въ видѣ комплимента.

— Да я былъ у вашей двери ровно въ двѣнадцать часовъ, по пушкѣ.

— О, какъ же, какъ же! — подхватилъ Шмецъ. — Я знаю, знаю... У меня у самого часы всегда по пушкѣ, и мнѣ тотчасъ же доложили о васъ, но... вы уже знаете обстоятельство... Я, признаюсь, очень люблю аккуратность и хотя по натурѣ вовсе не нѣмецъ («такъ ужъ навѣрное жидъ», подумалъ при этомъ поручикъ), но относительно аккуратности всегда желалъ бы быть самымъ неандертальскимъ нѣмцемъ—это моя слабость... Я очень уважаю въ другихъ это, рѣдкое въ наши дни, качество, и очень требователенъ къ самому себѣ, а потому надѣюсь, вы теперь понимаете мою невольную манкировку?

Болиголова только молча поклонился на все это словозліяніе.

— Однако, соловья баснями не кормятъ! — съ нѣкоторой озабоченной торопливостью, потирая руки, продолжалъ Шмецъ, — и я полагаю, что нашъ скромный завтракъ уже ожидаетъ насъ въ столовой. Пожалуйте!.. Прошу покорно!

И они прошли въ столовую, отдѣланную дубомъ, въ русскомъ вкусѣ. Роскошный буфетъ, въ видѣ избы, съ поставками, полками, гребешками, пѣтушками и коньками, былъ весь уставленъ серебряными и позолоченными чашами, братинами, стопами, кружками, тарелками и блюдами Овчинниковской и Сазиковской работы и, занимая видное мѣсто въ комнатѣ, производилъ эффектъ необычайный. Дубовый столъ, покрытый нѣжно-бѣлой, какъ снѣгъ серебрястою скатертью, съ большимъ шифромъ А и Ш подъ дворянской короной, красовался по срединѣ комнаты, сверкая яснымъ хрусталемъ и серебряными приборами. Два гладко выбритые лакея въ черныхъ фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ, замѣчательные своими не-

обычайно солидными и важными фізіономіями, отодвинули отъ стола два стула съ высокими рѣзными спинками—и хозяинъ съ гостемъ заняли мѣста.

— Какъ восныйй человекъ, вы, конечно, пьете водку?—любезно замѣтилъ первый, раскрывая необыкновенно изящный шкафчикъ-погребецъ, гдѣ помѣщалось нѣсколько графинчиковъ.—Которую прикажете? Здѣсь и *амербляниш*, и джинъ, и алляшъ, и листовка, и очищенная, но... лучше всего я порекомендую вамъ вотъ что. Вы вѣдь служите въ Литвѣ, — стало быть, вѣроятно, имѣете понятіе о доброй старушкѣ—Литевкѣ?.. Посмакуйте-ка эту и скажите, какова!

И аккуратно наливъ дозу старки въ рюмочку, которая была величиною не болѣе какъ съ наперстокъ, онъ любезно подаль ее поручику.

«Ужъ лучше бы и не дразнилъ, а далъ бы, какъ слѣдуетъ, настоящую рюмку очищенной», кислозато помыслилъ про-себя этотъ.

— Ну-съ? Какъ вы находите?—вопросилъ господинъ Шмецъ, уже заранѣе впиваясь въ гостя торжествующимъ взглядомъ.

Болиголова, конечно, похвалилъ его нектаръ, ибо успѣлъ замѣтить, что если господинъ Шмецъ вообще предлагаетъ, угощаетъ или показываетъ что-либо у себя въ квартирѣ, то это дѣлается такимъ самодовольнымъ и заранѣе торжествующимъ тономъ, который необходимо требуетъ безусловной похвалы, восторга и удивленія.

— Ну-съ, а теперь примемтесь за ростбифъ! — аппетитно потирая руки, предложилъ хозяинъ.

Важный лакей въ бѣлыхъ перчаткахъ снялъ съ серебряной миски массивную крышку—и два говяжьихъ куска зашекетали своимъ вкуснымъ паромъ обоняніе состоляниковъ.

— Куски оба хороши, но... берите этотъ!.. Онъ, кажись, будетъ посочнѣе,—любезно предложилъ господинъ Шмецъ,—собственноручно подвигая къ гостю горячую серебряную миску.— Ну-съ, а насчетъ вина?—продолжалъ онъ, снова впиваясь въ Болиголову своими торжествующими круглыми глазами,—какое вы предпочитаете? Не стѣсняйтесь: это рѣшительно все равно, потому что я, для своихъ потребностей, держу свой домашній погребъ, гдѣ, къ услугамъ моихъ пріятелей, имѣются всѣ лучшіе сорта. Но... что до меня, то я, за моимъ скромнымъ завтракомъ, предпочитаю бутылочку бургонскаго. Одобряете ли мой вкусъ?

— Какъ нельзя болѣе! — любезно замѣтилъ поручикъ.

— Въ такомъ случаѣ, очень радъ, и тѣмъ болѣе, что это не нарушаетъ моей привычки, а то, знаете ли, какъ-то скучно и менѣе вкусно пить одно вино, въ то время, какъ добрый пріятель, сидя вмѣстѣ съ вами, смакуетъ другое... Отъ однородности вина является однородность ощущеній вкуса, что сообщаетъ однородную теплоту обоимъ организмамъ, а отъ этой теплоты уже естественно рождается и симпатическая

однородность впечатлѣній, мысли и настроенія, не такъ ли? Это, знаете ли, очень глубокое физиологическое наблюдение, и честь его, надо сознаться, я долженъ приписать самому себѣ, моему собственному анализу.

А между тѣмъ, пока продолжалось это новое словоизліяніе любезнаго хозяина, лакей, съ видомъ какого-то благоговѣйнаго почтенія, словно бы къ нѣкому священному или драгоцѣнному предмету, бережно внесъ бутылку бургонскаго и, опасаясь какъ-бы не взболтнуть вино малѣйшимъ неосторожнымъ движеніемъ, положилъ бутылку въ наклонномъ положеніи на особо приспособленный серебряный снарядъ, который изображалъ собой нѣчто въ родѣ лафета морской или осадной пушки на колесахъ, такъ что бутылка, положенная на него, представляла, въ нѣкоторомъ родѣ, видъ массивнаго артиллерійскаго орудія въ миниатюрѣ.

— Какъ видите, я тоже человѣкъ не безъ воинственныхъ замашекъ и наклонностей, — замѣтилъ Шмецъ, указывая на снарядъ и видимо желая посредствомъ этого замѣчанія блеснуть слегка своимъ остроуміемъ.

Завтракъ былъ оконченъ и бутылка распита. Лакеи принесли хозяину и гостю полосканье для рта и серебряный сервизъ съ кофе.

— Нѣтъ, знаете ли, пойдемте пить нашъ кофе въ кабинетъ, — предложилъ Шмецъ. — Я вамъ дамъ добрую сигарочку, и мы, раскинувшись въ покойныхъ креслахъ, покалякаемъ на просторѣ.

«Слава Тебѣ, Господи! наконецъ-то можно будетъ и о дѣлѣ поговорить», думаетъ себѣ Болиголова, но — не тутъ-то было. Хозяинъ и «добрую сигарочку» далъ, и въ покойныя кресла усадилъ, и кофе предложилъ, и самъ развалился на кушеткѣ, протянувъ свои ноги и небрежно-лѣниво, какъ котъ, поигрывая кистями халата, но о дѣлѣ ни гу-гу! Напротивъ, разговоръ его сводится на искусство, на «пязынныхъ женщинъ», по большей части, его «добрыхъ пріятельницъ», фотографическіе и иллюминированные портреты которыхъ украшали письменный столъ и шифоньерки его кабинета.

Господинъ Шмецъ въ разговорѣ этомъ скромно и слегка давалъ чувствовать о своихъ успѣхахъ у этихъ «добрыхъ пріятельницъ», между которыми фигурировали имена извѣстныхъ актрисъ и извѣстныхъ кокотокъ. Исключеніе дѣлалось имъ только въ пользу «свѣтскихъ красавицъ». — «Это тутъ одна... женщина изъ общества, и потому, вы понимаете, я не смѣю назвать ея имени», предупреждалъ онъ, чуть лишь болтовня его начинала неосторожно касаться портрета какой-либо женщины этой категоріи.

«Господи! да скоро ли жъ о дѣлѣ!» томится между тѣмъ въ глубинѣ души злосчастный поручикъ.

Но увь! — о дѣлѣ пока все еще ни гу-гу, а разговоръ, т. е. вѣрнѣе сказать — неумолчная

и въ то же время небрежно-лѣнивая болтовня господина Шмца обрѣтаетъ для себя новую тему. Болталъ же исключительно почти онъ одинъ, предоставляя Болиголову только слушать да подѣ-часть любезно поддакивать кивками головы или улыбкой. Эта тема нашла въ переходѣ отъ женщинъ къ поэзіи, и господинъ Шмецъ, закатывая свои совино-круглые глаза, слащаво сталъ восторгаться стихами Фета, Полонскаго, Щербины и декламировать изъ нихъ кое-какіе отрывки.

— А вотъ, кстати! — лѣниво поднялся онъ съ кушетки. — На дняхъ тутъ былъ у меня одинъ пріятель, еще молодой начинающій поэтъ, и оставилъ мнѣ кое-какія свои вдохновенія. Мы ихъ прочтемъ, коли хотите. Я уже ихъ проглядывалъ, и на мой вкусъ, право, не дурно. Не знаю, какъ вы найдете...

— Да вѣдь я плохой цѣнитель, — вздумалъ было отговориться поручикъ.

— О, нѣтъ, не скромничайте, — перебилъ его Шмецъ. — Вы такъ умѣете понимать пязическое... Меня, батюшка, не проведете: не говоря ужъ о моихъ статьяхъ, которыми вы отдали справедливость, но судя по тому только, какъ вы глядѣли на мои мраморы и на мою скромную картинную галлерейку, я сразу увидѣлъ, что въ васъ есть это тово... однимъ словомъ, бьется эта живая жилка... Надѣюсь, оцѣните и произведенія моего пріятеля.

По тону, какимъ все это высказывалось, а въ особенности по назойливости, съ которой навязывалось чтеніе стиховъ, Болиголову не трудно было догадаться, что подъ анонимомъ «пріятеля» фигурируетъ самъ господинъ Шмецъ, въ качествѣ «молодого начинающаго поэта» и, конечно, не замедлитъ потребовать достодожной и обязательной похвалы своимъ «вдохновеніямъ».

— Ну, слушайте, напимѣръ, хоть вотъ это! — предложилъ Шмецъ, доставъ изъ письменнаго стола тщательно переписанную тетрадку, и началъ читать, съ декламаторскимъ придыханіемъ и слащавымъ закатываніемъ глазокъ:

Заунывно востъ
Вѣтеръ подъ окномъ,
Тьма почная кроетъ
Лѣсъ и все кругомъ.
Луна, путь свершая,
Разливаетъ блескъ,
Звѣздыочки сверкая...
И мороза трескъ.
Вѣтерокъ подуеъ,
Ели зашумятъ,
Жалобно березы
Бѣлыя скрипятъ.

— Какова картина-съ!.. А?.. — вскричалъ господинъ Шмецъ, изображая порывъ невольнаго восторга. — «Жалобно березы бѣлыя скрипятъ» — какова образность и музыкальность стиха! Не правда ли? Вѣдь это что-жъ? Вѣдь это такъ себѣ, пустякъ, бездѣлка, одинъ лишь мигъ, удачно уловленный изъ жизни природы,

а между тѣмъ, вы чувствуете, что тутъ есть, есть нѣчто... Эта простая картинка, по-моему, стоитъ Фетовскихъ стиховъ—помните:

Чудная картина,
Какъ ты мнѣ родна:
Снѣжная равнина,
Полная луна...

— Фетовскіе стихи, словъ нѣтъ, хороши, но эти... эти, по-моему, лучше, или, по крайней мѣрѣ, я ихъ ставлю въ полный *pendant* между собой. Но вотъ, пожалуйста, прослушайте еще вотъ эти!—быстро подхватилъ Шмецъ, замѣтивъ, по выраженію лица Болиголова, что тотъ, какись, намѣревается перевести разговоръ на совершенно иную тему.—Это недолго, всего одна минута, и притомъ вещь очень миленькая, которая, на мой взглядъ, ей-ей, ничѣмъ не хуже Лермонтовой «Русалки», а ужъ о Гейневскихъ-то русалкахъ нечего и говорить!—Эта одна, по-моему, потягается со всѣми его Лурлеями! Вотъ посмотрите,—эта пьеска тоже «Русалкой» называется.

И господинъ Шмецъ опять приступилъ къ чтенію:

Изъ волнъ могучихъ выплываетъ
Съ власами черными она,
И воду бурно колыхаетъ,
Катится на берегъ волна...
Волны русалка не боится,
Сидитъ недвижимо она.
По небу мѣсяцъ лишь катится
И плещетъ синяя волна.
Все тихо. Тихо воды плещутъ,
Сидитъ русалочка одна,
На небѣ ярко звѣзды блещутъ,
Катится блѣдная луна.

— Какъ вы находите? Вѣдь прелесть! Не правда ли?... Скажите откровенно ваше мнѣніе! — О, превосходно!—съ самымъ серьезнымъ видомъ поспѣвши похвалить поручикъ и даже голосу своему придавъ при этомъ нѣкоторую потрясенность восторженнаго чувства, а самъ въ душѣ между тѣмъ думаетъ: «Ай-ай, какой же ты однако, мой другъ Болиголова, мерзавецъ, что у тебя хватаетъ духу такъ нагло лгать и хвалить такую плоскую чепуху, и все это потому только, что тебѣ деньги до зарѣзу нужны!..»

— Ну вотъ, ну вотъ, я и зналъ, что найду въ васъ человѣка съ тонкимъ пониманіемъ!—говорилъ торжествующій Шмецъ.—Ахъ, эта поэзія и ея святѣяя прелесть! Ну, подумайте, чтѣ въ состояніи замѣнить ихъ для души, и особенно въ наше меркантильное, матеріалистическое время!... Нѣтъ, кто что ни говори, а я искренно, всей душой люблю поэзію и никогда отъ нея не отстану... Это единственный лучъ, который облагораживаетъ человѣческую душу и не даетъ ей окончательно зачерствѣть и погрязнуть въ эгоистическихъ интересахъ нашей современной жизни. Но вотъ, Бога ради, послушайте еще одно стихотвореньце!

И господинъ Шмецъ неудержимо уже, въ

какомъ-то поэтическомъ запое, сталъ душить ошеломленнаго поручика чтеніемъ своихъ стихотвореній, нанизывая ихъ одно за другимъ, безъ отдыха и перерыва, и только восклицая при каждомъ новомъ плодѣ своего вдохновенія:

— А это!.. А это!.. А вотъ это еще!.. Посмотрите! Послушайте!—И онъ декламировалъ и декламировалъ, и самъ прислушивался къ музыкѣ своихъ стиховъ и упивался ею, и такимъ образомъ были прочитаны: «Сонъ», затѣмъ «Мечты и Грезы», «Къ матери-Музѣ», затѣмъ «Къ сиротѣ Полѣ», къ какой-то «Мамзель Лизель», «Къ графинѣ К.», «Къ баронессѣ М.», сатира «На г-жу Мокуръ», баллада подъ названіемъ «Жена казака», а затѣмъ уже пошло нѣчто совсѣмъ безобразное насчетъ «упругихъ персей» и «ловкихъ диверсій», да насчетъ участія, счастья и ада сладострастья... Поручикъ Болиголова даже вспорѣлъ отъ этой нескончаемой пытки.—«Да когда жъ ты, музину сынъ, начнешь наконецъ о дѣлѣ!» мыслить онъ, терзаясь и злобствуя втайнѣ. «На смѣхъ, что ли, послалъ меня любезнѣйшій кузень къ этому хлыщу! или все это идетъ за проценты?»

Но наконецъ-то господинъ Шмецъ дошелъ до послѣдней страницы своей тетрадки, и замолкъ, съ видомъ сладостнаго расслабленія. Далѣе читать уже было нечего. Слава Тебѣ, Господи! Поручикъ рассчитывалъ сейчасъ же приступить къ дѣлу,—но опять-таки не тутъ-то оно было!

— Знаете ли, вы мнѣ можете сдѣлать большое одолженіе,—началь господинъ Шмецъ, пылливо смотря на поручика ласкающимъ взоромъ.—Возьмите-ка съ собой эту тетрадку и передайте ее вашему кузену—только чур! Бога ради, не говорите, какъ и отъ кого вы ее получили... Это, видите ли, до времени составляетъ чужой секретъ... («Врешь!» подумалъ Болиголова), секретъ, котораго раскрывать я не имѣю права... Но пусть вашъ кузень прочтетъ, выберетъ изъ этого нѣсколько вещей, которыя наиболѣе ему понравятся, и отпечатаетъ въ своемъ журналѣ. Вамъ это, надѣюсь, очень легко будетъ устроить.

— Но, я думаю, вамъ-то еще легче,—возразилъ Болиголова,—вѣдь вы его сотрудникъ.

— Н-да-а, оно конечно...—кисло ватно поморщился господинъ Шмецъ,—но мнѣ, по нѣкоторымъ соображеніямъ, не хотѣлось бы, чтобы это шло черезъ меня... И это собственно по отношенію къ другимъ сотрудникамъ... Я не желаю, чтобы они знали, что это идетъ отъ меня... Вы еще не знаете, что это за народъ: тутъ сейчасъ вѣдь интриги и прочее, а мнѣ, между тѣмъ, очень хотѣлось бы провести въ свѣтъ молодой талантъ. Пусть сначала будетъ напечатано подъ инициалами, пусть прочтется публикой, и тогда, смотря по степени успѣха, можно будетъ открыть и имя автора.

Нечего дѣлать! Пришлось поручику, въ ожиданіи благъ будущаго займа, согласиться на

эту уступку, которая, по заявленію самого Шмеца, будетъ принята имъ въ смыслъ большаго одолженія. Онъ взялся передать тетрадь кузену-редактору.

— Однако... вотъ что, Анатолій Борисовичъ...—появившись немного, рѣшился онъ наконецъ самъ заговорить о дѣлѣ, видя, что Шмецъ рѣшительно не подымаетъ о немъ разговора.

Господинъ Шмецъ тотчасъ же принялъ дѣловой, суховатый видъ, поджалъ губы и насто-рожилъ уши.

— Мнѣ кузенъ сказывалъ,—продолжалъ Болиголовъ,—что онъ говорилъ вамъ насчетъ... насчетъ моего дѣла...

— То-есть? — заморгавъ глазами, какъ-то нервно подался впередъ литераторъ.

— То-есть, насчетъ того, что мнѣ очень нужны были деньги, и я ищу ихъ...

— Ахъ да! это о деньгахъ!—съ небрежнымъ зѣвкомъ махнулъ Шмецъ рукою.—Какъ же, какъ же!.. Помню, онъ сказывалъ мнѣ что-то. Ну-съ, такъ что же?

— Кузенъ рекомендовалъ мнѣ—обратиться именно къ вашему содѣйствію.

— Хм... Къ моему содѣйствію... То-есть, какъ же это?..

— А ужъ право не знаю. Вѣроятно, ему это болѣе извѣстно.

— Хм... То-есть, конечно, я настолько пріятель съ вашимъ кузеномъ, что не прочь сдѣлать для него, по силѣ возможности, какое-нибудь пріятное одолженіе, но-о...

Господинъ Шмецъ остановился и нѣсколько задумался, пощелкивая пальцемъ о палецъ и неопредѣленно устремивъ совиные глаза куда-то въ пространство.

— Какъ велика сумма, которую вы бы желали?—спросилъ онъ, послѣ нѣкотораго размышленія.

— Тысячу рублей,—доложилъ ему поручикъ.

— Тысячу рублей... Хм... Это такая ничтожная сумма, что... Видите ли, я собственно подобнаго сорта дѣлами вовсе вѣдь не занимаюсь,—заговорилъ Шмецъ какъ-бы оправдываясь,—то-есть, надо вамъ знать, что въ коммерческомъ мірѣ я, дѣйствительно, веду дѣла, но дѣла слишкомъ крупныя, гдѣ иногда приходится на биржѣ изъ одного кармана въ другой перешвыривать цѣлые десятки, а то и сотни тысячъ... Вы понимаете, это совсѣмъ другая штука!.. Конечно, я могъ бы охотно ссудить васъ изъ моихъ карманныхъ денегъ, но, къ сожалѣнію, въ настоящую минуту совершенно не имѣю свободныхъ суммъ, которыми могъ бы располагать по произволу. Стало быть, надо обратиться къ займу, а занимать мнѣ—вы понимаете ли—мнѣ, Анатолію Борисовичу Шмecu, который ведетъ дѣла свои en grand, и вдругъ занимаетъ какую-нибудь ничтожную тысячу рублей—это... это, согласитесь, можетъ меня только скомпрометировать въ моемъ

коммерческомъ мірѣ, можетъ даже кредитъ мой подорвать... Вотъ, если бы вамъ нужно было двадцать, тридцать тысячъ,—ну, тогда другое дѣло! Я пожалуй могъ бы добыть вамъ у одного человѣка—банкиръ тутъ есть одинъ, мой пріятель—но, надо знать, что это, батюшка мой, жидъ, и потому даетъ, разумѣется, не иначе какъ только подъ соотвѣтственное обезпеченіе, то-есть, подъ залогъ домовъ, земель или бумагъ достаточно солидной цѣнности. А такъ, безъ этого, я просто и ума не приложу, чѣмъ тутъ помочь вамъ!

Господинъ Шмецъ видимо ломался и вралъ, съ цѣлью придать себѣ пущей важности на глазахъ поручика. Какъ ни старался онъ напустить на себя побольше достоинства и презрительнаго тона, когда говорилъ, что вовсе не занимается «дѣлами подобнаго сорта», однако же Болиголовъ подмѣтилъ въ немъ черту, совершенно обшую и тождественную въ Ипкой Янкевичемъ Штрапецкимъ,—это именно упоминаніе про «одного человѣка» и «пріятеля», который, какъ-бы нѣкій мнѣ, постоянно фигурируетъ у всѣхъ подобныхъ господъ въ подобныхъ обстоятельствахъ: это, дескать, не отъ насъ, а все отъ того «одного человѣка» зависитъ, все онъ-де, все тотъ же самый нужный человѣкъ, все тотъ-же пріятель-жидъ,—не еврей, а просто жидъ-пархатый, «спиволачъ», которому необходимы вѣрныя обезпеченія и жидовскіе проценты, а безъ того-де мы бы сами всей душой готовы!

Болиголовъ очень ужъ стало противно это лманье господина Шмеца, такъ что онъ, не продолжая болѣе разговора, взялся за шапку и поднялся съ мѣста.

— Пойдите, батенька, куда же вы стремитесь!—остановилъ его Шмецъ.—Дайте-ка немножко пораскинуть умомъ,—авось-либо и придумаемъ для васъ что-нибудь подходящее... Говоря откровенно, я къ вамъ почуствовалъ большую симпатію, да и въ уваженіе къ рекомендаціи вашего кузена мнѣ бы очень, очень хотѣлось оказать вамъ эту пустячную услугу. Присядьте-ка немного, а я подумаю...

Господинъ Шмецъ, напустивъ на себя сосредоточенно-задумчивый видъ, потупилъ голову и медленно сталъ расхаживать по кабинету, играя халатными кистями.

— Вотъ что!—сказалъ онъ наконецъ, оставаясь предъ Волиголовой съ рѣшительнымъ видомъ.—Самъ я, повторяю, этими дѣлами... ну, то-есть, положительно не занимаюсь!.. Какъ тамъ ни извиняйте, какъ тамъ ни смотрите, а все оно какъ-то грязновато выходитъ... да и противно мнѣ!.. Что дѣлать! Характеръ ужъ такой!.. Будь у меня только свободныя—ей Богу, послѣднія бы отдалъ! Вѣрьте мнѣ, голубчикъ!.. Но давать въ ростъ, подъ вексель, на проценты—чортъ возьми! я слишкомъ поэтъ, слишкомъ артистическая натура для этого!.. А мы вотъ что: есть тутъ у меня одинъ чело-вѣчекъ—онъ иногда по моимъ дѣламъ бѣгаетъ...

Поговорите-ка вы съ нимъ, а я его предупреджу, и онъ вамъ навѣрное какъ-нибудь это устроитъ.

— Очень хорошо,—согласился поручикъ и освѣдомился, когда именно и въ какой часъ можетъ состояться свиданіе съ «человѣчкомъ».

— Да завтра,—чего же откладывать!—назначилъ господинъ Шмецъ.—Являйтесь прямо къ завтраку, и тутъ вы встрѣтитесь и, надѣюсь, дѣло ваше будетъ кончено съ полнымъ успѣхомъ. А тетрадку-то мою не забудьте,—прибавилъ онъ, подавая поручику рукопись.—Пожалуйста, ужъ такъ, какъ говорилъ... про стихи-то... ужъ я буду надѣяться...

И они разошлись.

— Ну что? — спросилъ редакторъ кузена, когда тотъ пріѣхалъ къ обѣду.

Болиголова въ подробности рассказалъ про свое утреннее посѣщеніе.

— Ломается, шельмецъ! Это его постоянная манера,—замѣтилъ редакторъ, выслушавъ рассказъ.—И про биржевыя тысячи все это сохвалъ, по крайней мѣрѣ, на двѣ трети! А ужъ что касается до стиховъ, то это, братъ, прямо контрибуція съ меня за мою рекомендацію... Этакая гадина!

Болиголова, между прочимъ, рассказалъ и о томъ впечатлѣніи, какое сдѣлала на него обстановка Шмецовской квартиры.

— Н-да,—замѣтилъ наэто редакторъ.—А не далѣе еще, какъ пять лѣтъ назадъ, этотъ самый Шмецъ ходилъ, буквально, въ заплатанныхъ сапогахъ и обличалъ дворниковъ да городскихъ въ уличныхъ газеткахъ, какъ вдругъ получилъ — не то въ наслѣдство откуда-то, не то спантажировалъ съ кого-то тысячу рублей, и съ этой-то тысячи человѣкъ, что называется, жить пошелъ; все больше гвардейскимъ офицерамъ въ ростъ ссужалъ, и вотъ тебѣ результаты!

— Н-ну, и сшто?—спросилъ вечеромъ Штраппецкій, когда поручикъ вернулся въ свой номеръ.

— Ахъ, аллерлибстеръ Идка! Опять ты здѣсь!.. Завтра, братъ, завтра!—было ему отвѣтомъ.

— Ой-вай!! Опять завтра! И вчѣра было жавтра, и позавчѣра было жавтра, и зновъ теперь жавтра... Гасшпидинъ сперучникъ!—остановился онъ вдругъ съ рѣшительнымъ видомъ передъ Болиголовой, ударивъ себя въ грудь рукою,—не говорите большъ минѣ «жавтра»,—скажите пизжалуста «посшлю жавтра».

— Да зачѣмъ же послѣ завтра, если говорить тебѣ: завтра!

— Нѣтъ! нѣтъ!—замахалъ еврей руками.—Я вже не хѣчу жавтра! Минѣ вже не надо жавтра! Цуръ ёму и пекъ ёму, тому «жавтра!..» Скажите минѣ пизжалуста «посшлю жавтра», и я вже не буду ждать, я вже цѣлый день буду сабѣ сшпакойнѣй и не буду думать сабѣ все того мисшлю, бо минѣ жъ такъ нудно, такъ

нудно, — ой-вай!.. Ну, и скажите же минѣ «посшлю жавтра!» Ну, и сшто вамъ стѣитъ!..

— Ну, ладно! Только проваливай! Послѣ завтра.

— Ну, то хай будетъ такъ!.. То посшлю жавтра? И то вже будетъ завіѣрно? Ну, гхарасшѣ!.. благодарю вамъ, гасшпидинъ сперучникъ, сшто ви мине вшпакоили. До сшвиданью вамъ. Сшпните.

* * *

Ровно въ двѣнадцать часовъ Болиголова опять пріѣхалъ къ господину Шмecu, который уже не заставилъ себя ждать, по-вчерашнему, а встрѣтилъ его въ своемъ кабинетѣ и все въ такомъ же халатѣ, и все такой же свѣжій, сіяющій и благоухающій, только-что выйдя изъ своей ванны.

Во время завтрака раздался звонокъ, и черезъ минуту вошелъ въ столовую, почтительно сгибая спинку и осторожно (вѣроятно, тоже въ знакъ почтительности) ступая на носки маленькихъ и коротенькихъ ножекъ, какой-то молодой человѣкъ, съ крошечной французской бородкой и усиками, закрученными въ струнку, весь раздушенный и завитой, въ кокахъ, счесанныхъ впередъ на виски, въ свѣженькомъ пиджакѣ, въ модномъ галстучкѣ и въ лакированныхъ сапожкахъ, съ банальной наружностью «кокодеза» мелкаго разбора.

— А, это вы, Артѣшка!—небрежно кивнулъ ему Шмецъ въ полъ-оборота.

— Я-съ, Анатолій Борисовичъ!.. А что, скоро смахалъ?

— Скоро-то скоро, да есть ли чтѣ путнаго?

— Есть!—поспѣшили завіѣрить Артѣшка съ многозначительной миной.

— Ну, молодецъ! Можете за это выпить рюмку водки и спросить себѣ котлетку.

И кокодезь, какъ облаканный пѣсикъ, только-что не виляя хвостикомъ, но зато весело потирая себѣ руки и улыбаясь своему патрону, аппетитно принялся за завтракъ.

Господинъ Шмецъ представилъ этого Артѣшку своему гостю, когда изъ столовой, по-вчерашнему, пошли всѣ въ кабинетъ курить сигары и пить кофе. Артѣшка развязно, съ какимъ-то «канканчикомъ» въ манерахъ, присѣлъ за піанино и съ бойкимъ шикомъ сталъ наигрывать самыя модныя французскія шансонетки, рапортуя въ промежуткахъ между куплетами о своихъ вчерашнихъ вечернихъ похожденияхъ, о томъ, какъ успѣлъ онъ побывать и въ циркѣ Гинѣ, и въ театрѣ Берга, и въ Буффѣ, гдѣ познакомилъ стараго князя Колченогова съ Камилъ-де-Лионъ, и какъ князь пригласилъ его за это ужинать съ собой и съ Камилкой къ Борелю, и какъ завистливо смотрѣла на него за это Мокурка, которой онъ ужъ давно обѣщалъ насолить при случаѣ, и вчера какъ нельзя лучше успѣлъ все это устроить и исполнить, такъ какъ Мокуркѣ очень и очень хотѣлось познакомиться съ княземъ, но

онъ успѣлъ предупредить и не допустить до этого, и оказалъ услугу Камилкѣ, которая за это при случаѣ, конечно, поблагодарить его своей мимолетной благосклонностью.

— Каковъ мой Артѣшка! — подмигивая на него поручикъ, смѣялся господинъ Шмецъ, — со всѣми французескими знакомъ, и всѣ эти берговскія актриски за нимъ рѣшительно ухаживаютъ...

— Еще бы! — подхватилъ Артѣшка даже съ какимъ-то гордымъ самохвальствомъ и какъ будто вовсе не сознавая, сколько мерзкой сущности заключалось въ его роли относительно князя и двухъ кокотокъ. — Еще бы имъ да не ухаживать за мной, — продолжалъ онъ, — когда я могу любую изъ нихъ и устроить, и разстроить, и денегъ добыть при случаѣ... Надо же за все за это пользоваться, тѣмъ болѣе, что я по натурѣ поклонникъ красоты и искусства!

«Чортъ васъ возьми, да когда же вы, наконецъ, будете о дѣлѣ-то говорить со мной!» досадливо и тоскливо думаетъ-себѣ поручикъ, а болтовня Артѣшки межъ тѣмъ все льется и льется, какъ каскадъ, впережку съ пикантными шансонетками, — и съ языка его такъ и сыплются имена графа Кoko, князя Сережи и разныхъ Мокурокъ, Камилокъ, Катей-чикиковъ, Шиманскихъ и т. п.

Болиголова, убѣдясь, что всей этой болтовнѣ, какъ видно, и конца не будетъ, взглянулъ на часы и рѣшительно взялся за шапку.

— Погодите минутку! — остановилъ его Шмецъ. — Я долженъ извиниться передъ вами, что оставляю васъ однихъ съ моимъ Артѣшкой... Мнѣ надо одѣться, тороплюсь по дѣлу къ барону Гинцбургъ (это имя было пущено зря, очевидно, для пущаго шипку), да надо еще къ Штиглицу заѣхать, а вы переговорите съ Артѣшкой — онъ уже все знаетъ, и говоритъ, что устроилъ... Тѣмъ лучше! А пока — до пріятнаго свиданья.

И господинъ Шмецъ удалился въ свою гардеробную.

— Мнѣ Анатолій Борисовичъ говорилъ уже о вашемъ дѣлѣцѣ, — развязно предупредилъ коко-десъ, чуть лишь его патронъ вышелъ изъ комнаты. — Видите ли, — продолжалъ онъ, какъ-то торопливо подпрыгивая колѣнкой и упорно созерцая пепель своей сигары, — Анатолій Борисовичъ собственно вовсе вѣдь не занимается этими дѣлами, а это ужъ такъ только, не въ счетъ абонементъ, по пріятельству... Ему даже вовсе непріятны эти дѣла, могу васъ увѣрить! И онъ очень, очень щекотливъ на этотъ счетъ, право! Но... принимая во вниманіе ваше положеніе, желаетъ оказать вамъ дружескую услугу, и потому обратился къ моему содѣйствію...

«Ахъ, Ты, Господи! И вѣчно у нихъ эти виланья и длинныя прелюдіи!» съ досадой думалось, между тѣмъ, поручикъ.

— И я вотъ, какъ видите, цѣлое утро прорыскалъ по вашему дѣлу, — продолжалъ Артѣшка, — ну, и дѣйствительно, кое-что удалось таки устроить! Только считаю долгомъ предупредить, что наличными деньгами дать не соглашаются.. деньгами вы не получите.

— А чѣмъ же? — спросилъ поручикъ.

— Гробами-съ.

— Какъ?!. Чѣмъ?!. Какими гробами? — вскричалъ Болиголова, разинувъ ротъ отъ удивленія.

— Какъ какими? — улыбнулся Артѣшка, — обыкновенными деревянными гробами, въ какихъ покойниковъ хоронятъ.

— Да что же вы, милостивый государь, шутите надо мной, что ли?!

— Я-съ? Помилуйте!.. Ни мало! Я вамъ говорю настоящее дѣло.

— Полноте! Какіе вздоры!.. Что же я стану дѣлать съ вашими гробами?

— Ахъ, съ гробами все можно сдѣлать, все что угодно!.. Это, видите ли, обыкновенно дѣлается такъ, что вы купите гробовъ на вексель, положимъ хоть на три тысячи, а можете продать ихъ въ свою пользу, уже на наличныя деньги, но конечно съ очень значительной уступкой.

— Это что-то совсѣмъ не сообразное!.. Ну, подумайте сами, какому же чорту я стану продавать ихъ — я, офицеръ, пріѣхавшій въ отпускъ на короткое время и вдругъ торговецъ гробами?!

— Отчего же нѣтъ? Помилуйте, у насъ это очень часто дѣлается, — возразилъ Артѣшка. — Вы закупаеете партію простыхъ сосновыхъ гробовъ и продаете ихъ гуртомъ въ какую-нибудь больницу или въ нѣсколько больницъ, частями. Для этого нужно только войти въ предварительное соглашеніе съ кѣмъ-либо изъ больницы администраціи, въ родѣ тамъ какого-нибудь старшаго доктора или смотрителя, и если вы предложите имъ извѣстный процентъ съ каждаго вашего гроба, то они охотно согласятся на такую комбинацію. Это очень просто-съ.

— Ну, нѣтъ, ваша комбинація для меня вовсе неудобна! — наотрѣзъ отказался поручикъ.

— Хм... Что же такъ? — ухмыльнулся Артѣшка. — Впрочемъ, если неудобно, то я вамъ предложу другую: покупайте на вексель нѣсколько роялей.

— Часъ отъ часу не легче, — воскликнулъ Болиголова, ударивъ себя объ полъ. — То гроба, то рояли!.. Да вы бы сообразили сперва хоть то, что куда же я поставлю ихъ до продажи-то.

— Да вамъ незачѣмъ и ставить: вы ихъ тотчасъ же заложите въ любую гласную кассу, или въ частный ломбардъ, или въ громоздкія движимости, куда угодно, и сразу получите наличными деньгами.

— Нѣтъ, это все слишкомъ сложно и хлопотно, и окончательно для меня неудобно, — отказался поручикъ.

— Хм... Что жь тутъ дѣлать!—смущенно пожалъ плечами кокодесъ, который уже считывалъ на вѣрную поживу «куртажемъ».— Въ такомъ случаѣ, я поѣду, похлопочу еще разъ, авось что и удастся!—юрко и обязательно предложилъ онъ въ ту же минуту.—До свиданья, господинъ Болиголова! Завтра въ эту пору вы уже найдете меня съ отвѣтомъ у Анатоля Борисовича.

И юркій, маленькій Артѣшка исчезъ, съ обычной своей вихлявой развязностью.

— Это, наконецъ, чортъ знаетъ что!—восклидалъ поручикъ, рассказывая въ тотъ же день своему кузену-редактору про необычайную комбинацію съ гробами и ролями.—И объясни ты мнѣ, пожалуйста, что такое, въ сущности, этотъ Артѣшка и что-за роль его у этого Шмеца?

— А это, видишь ли, другъ мой,—пояснилъ редакторъ,—говорятъ, что каждая большая акула обыкновенно имѣетъ при себѣ одну юркую, маленькую рыбку, которая всегда вьется и плаваетъ впереди акулы и отыскиваетъ для нея добычу,—вотъ, то же самое и этотъ кокодесъ Артѣшка при солидномъ господинѣ Шмецѣ, съ тою только разницею, что Артѣшка подь-часъ служить для него и козломъ отпущенія, если нужно взвалить на него какой-либо грѣшокъ, или неловкость, или неудачу, и Артѣшка за все эти услуги получаетъ отъ него скромное, но приличное вознагражденіе.

* * *

Въ условленное время Болиголова встрѣтился съ кокодесомъ въ квартирѣ господина Шмеца. Это было уже послѣ завтрака, и потому господинъ Шмецъ вскорѣ оставилъ ихъ вдвоемъ, извиняясь, подъ вчерашнимъ предлогомъ, что ему нужно идти одѣваться.

— Ну-съ, господинъ поручикъ, устраивай-таки я наконецъ ваше дѣло!—уже въ нѣсколько фамиллярномъ тонѣ заговорилъ, ходя вокругъ, раздушенный и завитой Артѣшка.—Есть тутъ у меня,—продолжалъ онъ,—одна почтенная, пожилая дама, и она, пожалуй, согласна дать вамъ деньги, но только не меньше какъ на пятнадцать процентовъ въ мѣсяцъ и еще съ однимъ маленькимъ, пустячнымъ условіемъ.

— Съ какимъ еще?—угрюмо и подозрительно спросилъ поручикъ.

— О, это совершенные пустяки, которые, въ сущности, вамъ ровно ничего не будутъ стоить!—предупредительно подхватилъ Артѣшка.—Вы дадите на себя вексель на пять мѣсяцевъ, гдѣ впередъ будутъ вписаны проценты, и подпишетесь подъ нимъ не поручикомъ, а ротмистромъ или майоромъ.

— Это зачѣмъ же?—въ недоумѣніи спросилъ Болиголова, невольно сдѣлавшись еще подозрительнѣе.

— Мм... такъ. Это, въ сущности, одна

только фантазія этой почтенной особы.

— Да, но фантазія, совершенно неосновательная.

— Согласенъ, и однако жь это ея непремѣнное условіе.

— Да вы понимаете ли, что вы мнѣ предлагаете?—замѣтилъ Болиголова, едва сдерживая въ себѣ негодованіе.—Этотъ, по вашему, ничтожный пустякъ, въ сущности, есть подлогъ, то-есть уголовное преступленіе.

— Да-съ, это маленький подложецъ, вы совершенно правы!—съ любезной улыбочкой согласился Артѣшка.—Но коли вамъ ужъ такъ до зарѣзу нужны деньги, то я не вижу причины, почему бы его и не сдѣлать! Вѣдь если вы имѣете серьезное намѣреніе расплатиться, то онъ для васъ вполнѣ безопасенъ,—подлогъ этотъ никто и знать не будетъ! А если не отдадите въ срокъ, ну, разумѣется, тогда уже дѣло иного рода!.. Но вы, конечно, жалѣючи себя, не захотите быть неаккуратнымъ, и такимъ образомъ, этотъ подложецъ будетъ только служить для почтенной дамы надежной гарантіей... Это вѣдь только, такъ сказать, для успокоенія ея совѣсти, не болѣе-съ!

— Слуга покорный!—поклонился поручикъ.—На эту штуку вы меня не поддѣнете!

— Такъ въ такомъ случаѣ вотъ что-съ!—извернулся находчивый Артѣшка.—Позвольте мнѣ васъ поздравить съ этой дамой; она, право же, очень и очень милая особа, и очень добрая... Вы еще молодой человекъ, кавалеристъ, съ наружною, и имѣете много шансовъ... Если вы ей сумѣете понравиться, то быть можетъ она вамъ займетъ и безъ всякаго обезпеченія... Она такая!

— Послушайте!—внушительно схвативъ его за руку, закричалъ взбѣшенный поручикъ.—Что вы такое? наивный ли мерзавецъ, или сознательный подлецъ?

— Анатолій Борисовичъ!.. Анатолій Борисовичъ!...—запикалъ въ полный голосъ, весь съѣжась, перетрусившій Артѣшка.

На его крикъ, тотчасъ же растворилась дверь—и въ комнату послѣшными шагами вошелъ господинъ Шмецъ, предшествуемый своимъ оскаленнымъ бульдогомъ.

— Что съ вами, Артѣшка?.. Чего вы орете?—небрежно спросилъ онъ съ самой спокойной улыбкой.

— Послушайте, господинъ Шмецъ!—едва сдерживая въ себѣ порывъ негодованія, обратился къ нему поручикъ.—Съ кѣмъ это вы меня сводите, скажите, Бога ради!? Этотъ господинъ второй день уже предлагаетъ мнѣ чортъ знаетъ что: то гробы продавать, то роля закладывать, то подложную подпись дѣлай ему на вексель, то наконецъ ступай и поправься какой-то старухѣ... Да вѣдь за это подобнымъ Артѣшкамъ морду бьютъ!

— Ахъ, успокойтесь, Бога ради!—ни на йоту не измѣняя себѣ, со своей мило-привѣт-

ливой улыбкой вступился Шмецъ. — Это онъ все отъ излишняго усердія, — право же, отъ усердія!.. Увѣряю васъ!.. Вы не сердитесь на него!.. Ну, разсудите хладнокровно, развѣ этотъ клопъ стоитъ того, чтобы порядочный человѣкъ на него сердился?.. Полноте!.. А вы, любезный Артѣшка, — прибавилъ онъ, съ внушительной строгостью обратясь къ кокодесу, — маршъ сію же минуту вонъ отсюда! И чтобы духу вашего не пахло, пока не обдѣлаете мнѣ для поручика дѣло на самыхъ льготныхъ условіяхъ!.. Да безъ шутокъ, смотрите! А то лучше и на глаза не смотрите! Прогоню, и вѣдь, какъ щенокъ, околѣете на улицѣ!..

— Слушаю-съ, Анатолій Борисовичъ! — Я, напротивъ, со всѣмъ моимъ удовольствіемъ, и не понимаю даже, чѣмъ они могли обидѣться... Ей Богу-съ!..

И огорченный Артѣшка, почтительно согнувшись въ три погибели, какъ вьюнъ выскользнулъ изъ кабинета.

* * *

На слѣдующее утро Болиголова не успѣлъ еще окончить свой несложный туалетъ, какъ въ дверь его номера осторожно постучались, и на приглашеніе войти — въ дверяхъ появился Артѣшка, все такой же чистенькій, гладенькій, завитой, раздушенный и припимаженный, и все съ той же, присущей ему, вихляво-развинченной походкой и развязной улыбкой.

— Здравствуйте, поручикъ! — заговорилъ онъ, какъ ни въ чемъ не бывало. — Ну-съ, наконецъ-то дѣло устроилось! И на самыхъ льготныхъ условіяхъ! То-есть, понимаете ли, ужъ на такихъ условіяхъ, льготыѣ которыхъ для васъ ни я, ни Анатолій Борисовичъ да и никто на свѣтѣ не добудетъ.

— Что жъ за условія такія?.. — осведомился Болиголова, не подавая кокодесу руки и даже не пригласивъ его садиться.

— Ахъ, ужъ повѣрьте, поручикъ, что я изо всѣхъ моихъ силъ постарался!.. Просто измучился!.. Есть тутъ одинъ человѣкъ такой — онъ изъ жиновъ, перекрестъ, ну, и потому не взыщите: проценты, дѣйствительно, жидовскіе, но чего вы хотите отъ хама? Развѣ онъ понимаетъ, что имѣетъ дѣло съ порядочными людьми!.. Но зато, можно сказать, безъ всякаго матеріальнаго обезпеченія!.. То-есть, положительно безъ всякаго!

— Да вы безъ прелюдій! Вы къ дѣлу-то поскорѣе! — безцеремонно поторопилъ его поручикъ.

— Къ дѣлу-съ? Извольте, поручикъ! — поклонился Артѣшка, распространяя отъ своего носового платка нестерпимое благоуханіе кипрской эссенціи. — Дѣло въ томъ, что онъ даетъ вамъ тысячу рублей, но не иначе, какъ подъ поручительство вашего кузена, на двадцать процентовъ въ мѣсяцъ, срокомъ на пять мѣсяцевъ, и вы выдадите на себя два векселя, и

оба подъ поручительство: въ одномъ будетъ вписана сумма и проценты, — то есть, всего, значить, 1,800 рублей, а другой вексель вы подпишете на три тысячи-съ.

— Это что еще?! — вскричалъ Болиголова нахмурясь.

— Ахъ, Бога ради не безпокойтесь и не думайте ничего дурного! — загозилъ Артѣшка. — Этотъ послѣдній вексель не имѣетъ рѣшительно никакого существеннаго значенія и выдается только для взаимнаго спокойствія... Вѣдь согласитесь, надо же и этому жиду какое-нибудь обезпеченіе! Вѣдь онъ не требуетъ съ васъ ни залога, ни фальшивой подписи; а ужъ съ такимъ то пустячнымъ обезпеченіемъ — да это у него съ руками, куда хочешь, оторвуть и деньги-то!.. Вѣдь если вы заплатите въ срокъ, то оба векселя вамъ тотчасъ же возвратятся, а это собственно дѣлается въ обезпеченіе неустойки, судебныхъ пошлинъ, протеста и прочихъ расходовъ на случай несостоятельности... Нѣтъ, ужъ повѣрьте, условія самыя божескія! И вы иначе — ручаюсь вамъ — нигдѣ не достанете.

Болиголова погружился въ кратковременное, но тяжелое раздумье. Что оставалось ему дѣлать! Теперь-то ужъ онъ вполне осязательно понималъ, что ему было бы несравненно выгоднѣе, не ѣздя въ Петербургъ, а оставаясь попрежнему въ скверномъ жидовскомъ городишкѣ Западнаго края, ежемѣсячно переписывать векселя Ицкѣ Штралецкому и включать въ нихъ проценты на проценты, чѣмъ подвергаться всѣмъ утонченнымъ комбинаціямъ господина Шмца и его достойнаго фактотума — Артѣшки. Но этотъ поучительный опытъ — увы! — пришелъ къ нему слишкомъ уже поздно: Ицка Янкелевичъ затратилъ чуть ли не послѣднія свои свободныя деньжишки на эту глупую поѣздку въ Петербургъ и ждетъ теперь, какъ манны небесной, съ-часу-на-часъ, обѣданной уплаты. И Болиголова вполне сознаетъ, что теперь уплата необходима до зарѣзу, или иначе онъ и Ицка черезъ нѣсколько дней будутъ поставлены въ самое крайнее и безвыходное положеніе, безъ гроша денегъ и безъ кредита въ чужомъ городѣ, не имѣя даже возможности возвратиться въ свои западно-русскія палестины. И такъ это живо представилось теперь поручику, какъ Ицка Штралецкій, подобно temento mori, будетъ безконечно появляться по вечерамъ къ нему въ номеръ со своимъ неизмѣннымъ: «н-ну и сшто?» какъ онъ будетъ вздыхать и вымаливать, чтобы ему не говорили больше «зжавтра», а сказали бы лучше «послѣ зжавтра», для того «жебы Ицка билъ еще одного дня сшапокойнѣй», какъ онъ будетъ плакаться, что «зауспѣмъ прожилсе увѣ этомъ проклятомъ гхородѣ», и воображать, какъ тамъ, на родинѣ, «заскучили» безъ его «зжонка» и его «малыи ребѣнки, и какъ они спрашиваютъ: «мамуде, ай гдѣ жъ типерь татуде»?.. И такъ все это показалось вдругъ поручику скучно и

утомительно, что онъ, скрѣпя сердце, махнулъ рукой и подписалъ Артѣшкѣ оба векселя: «Вѣдь отдамъ же, чортъ возьми, черезъ четыре мѣсяца! Голодать буду, а отдамъ!.. ну ихъ!» — рѣшилъ онъ себѣ и успокоился.

Кокодексъ, получивъ векселя, тотчасъ же тщательно запряталъ ихъ въ боковой карманъ, при чемъ даже бережно застегнулся, и — немедленно поѣхалъ съ Болиголовымъ къ редактору.

Когда этотъ послѣдній поставилъ на обоихъ векселяхъ свои «бланки», кокодексъ предупредительно подалъ Болиголову пачку ассигнацій и вѣжливо сказалъ:

— Пересчитайте-съ.

— Послушайте, любезнѣйшій! — съ удивленіемъ обратился къ нему поручикъ. — Что жъ это однако? Гдѣ же ваша тысяча?.. Вѣдь тутъ всего девятьсотъ!

— Такъ точно, девятьсотъ, вы не ошиблись! — еще любезнѣе подтвердилъ Артѣшка.

— А гдѣ жъ остальные сто?

— Отчислены въ куртажъ, за комиссію... Ужъ это такъ по положенію... Ужъ это всегда десять процентовъ за хлопоты.

— Стало быть, вы удержали ихъ въ свою пользу?

— Мм... отчасти—да, но...

— А отчасти, то-есть въ большей части, въ пользу господина Шмеца?

— Ахъ, нѣтъ-съ, помилуйте! — фальшиво потупляя глазки, поспѣшилъ возразить Артѣшка, — какъ вы можете подумать!.. Анатолій Борисовичъ вовсе такими дѣлами не занимается; они изъ одной лишь чести-съ.

— Ну, инъ быть по-вашему! Только проваливайте вонъ поскорѣе! — махнулъ рукой Болиголовъ и пригласительно указалъ кокодексу на дверь.

Въ этотъ же день вечеромъ поручикъ окончательно и сполна расплатился съ Ицкой. Тотъ остался въ полномъ восторгѣ и даже насильно поцѣловалъ его въ плечо и въ руку.

— Ну, майнъ аллерлибстерь Ицка, если-бъ ты только зналъ, если-бъ ты могъ себѣ представить, чего мнѣ стоило добыть для тебя денегъ! — говорилъ ему Болиголовъ, не безъ горечи качая головою, и рассказалъ послѣдовательно всю исторію своихъ пожатій съ господиномъ Шмecomъ и его Артѣшкой. Ицка слушалъ и только время отъ времени произносилъ свое «пфе!» съ самымъ искреннимъ изумленіемъ и негодованіемъ.

— Чортъ съ ними, но я десять твоихъ жидовъ отнынѣ предпочту одному господину Шмецу! — заключилъ Болиголовъ свое грустное повѣствованіе.

— Ой-вай! А то жъ еще литератъ, цыбулизованный шаловѣкъ... Пфе!.. Н-ну, и скажите мнѣ, пизжалуста, снито жъ тилерачки съ того будетъ?

— Да чему быть-то? Ты свое получилъ и завтра уѣдешь во-свои, а я на послѣдніе десять рублей постараюсь получше напиться и... за твое здоровье пушу себѣ пулю въ лобъ! Только всего и будетъ!

— Н-но! Шыша! — въ ужасѣ поднявъ руки, вскричалъ еврей. — Шъ пулѣмъ!.. заразы вже и шъ пулѣмъ!.. Пфай! Осптавтю пизжалуста!.. Не будь я Ицка Янкевичъ Штралецкій, когхда я вамъ пазжволю на то! Сплюхайтю!

И онъ осторожно, съ самымъ сердечнымъ видомъ, на ципочкахъ и неторопливо подступилъ къ поручику.

— Сплюхайтю, гасшпидинъ сперучникъ!.. И ви же зжнаетю, якъ я васъ люблю и вважаю, и мине жъ такъ изъ васъ зжалко, такъ зжалко — ай-вай, якъ зжалко! И я жъ не хóчу, кабы ви билъ увъ смутку... Сплюхайтю: асптавте мине трошечку на дорога, а зжавтра зрану поѣду сабѣ на машина до своя зжонка, до своихъ дѣткювъ, бо они тамъ такъ скучать безъ мине... н-ну, и я поѣду, а ви асптавайтесь и берить пизжалуста одъ мине увсшѣхъ осптатнихъ деньгювъ!

— Какъ! Опять на тѣ же условія?!.. Нѣтъ, братъ, слуга покорный! — на отрѣзъ отказался поручикъ.

— Ай, зжвиняте! Не такъ! — замахалъ на него Ицка. — Я вже готовій дать вамъ и безъ вексюль, и безъ росписке, и даже безъ увсшякаво пурцентъ!.. Ай, нѣтъ, зжвините! — спохватился онъ въ то же мгновеніе. — Завсшѣмъ безъ пурцентъ не можна, бо ви сшами зжнаетю, деньги то таково дѣлу, снито оно любить пурцентъ. Алежъ ви мине дадите спамаво маленькаво пурцентикъ... Н-ну, такъ, одногхо пурцентъ на мясѣнцъ, и подъ просштово росписке, бо я зжнаю, ви шаловѣкъ вѣрный и благхородній, и якъ ви вже для мине изъ тымъ цыбулизованнымъ шволачомъ увъ петля полѣзли, то ви мине не надуетю. Берить пизжалуста увсшѣхъ маво деньгювъ!.. Прасшю васъ!

И Ицка, отсчитавъ себѣ только двадцать пять рублей, всю остальную пачку рѣшительно положилъ на столъ передъ Болиголовымъ.

— И когхда вже такъ, то не надо мине и росписке! Ви мине напотомъ, якъ прѣхаете, то дадите и росписке! — торжественно заключилъ Ицка, и даже самъ растрогался отъ своего великодушія. — А тилерь благодарю вамъ за вѣрная отдача! — прибавилъ онъ съ поклономъ. — До свшданья вамъ, гасшпидинъ сперучникъ! Сшшнте!



ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ.

ВОЕННАЯ ЖИЗНЬ ВЪ ВАРШАВѢ.

съ 1815 по 1831 годъ.

(Глава изъ исторіи лейбъ-гвардіи Уланскаго Его Величества полка.)

I.

Поруганіе разоренной Москвы отомщено было великодушіемъ императора Александра въ сохраненныхъ стѣнахъ Парижа. Русскія войска, эти «сѣверные варвары», освободивъ безсильную и поработенную Европу, съ торжествомъ возвращались, покрытыя славой, въ предѣлы далекаго отечества, межъ тѣмъ какъ представители цивилизованныхъ державъ посѣщали въ Вѣну, на великій конгрессъ, гдѣ должно было рѣшиться будущее устройство и взаимныя отношенія умиротворенной Европы и гдѣ ея географической картѣ предстояло подвергнуться весьма существеннымъ измѣненіямъ. Императоръ Александръ, занявшій теперь первенствующую роль и потому окруженный тайной завистью спасенныхъ имъ правительствъ, прежде всего позаботился о судьбѣ поляковъ. Еще въ 1813 году, при занятіи Герцогства Варшавскаго, великодушный государь, забывая зло, нанесенное поляками Россіи, выказалъ имъ полное свое благожелательство. Въмѣсто того чтобы ввести военное положеніе, какъ это обыкновенно дѣлали въ подобныхъ случаяхъ французы, онъ безо всякихъ перемѣнъ оставилъ въ Польшѣ все ея административное и земское устройство, ненарушимо сохранивъ за нимъ всю его власть и, мало того, принявъ еще на себя всѣ расходы по управленію Герцогствомъ Варшавскимъ.

Союзникамъ нашимъ болѣе всего былъ желателенъ новый раздѣлъ этого Герцогства между тремя сосѣдними державами, на томъ основаніи: что созданное Наполеономъ, оно по-

стоянно служило ему главнымъ и покорнымъ орудіемъ всѣхъ его завоевательныхъ плановъ на сѣверѣ.

Узнавъ объ этихъ намѣреніяхъ, поляки употребили всѣ усилія для предотвращенія грозившей имъ будущности. Съ этой цѣлью всѣ воеводства Герцогства повергли къ стопамъ императора Александра свое единодушное желаніе и мольбу принять ихъ соединенными подъ его скипетръ. «Императоръ, говорили они, можетъ управлять нами впредь по своему желанію, мы же только просимъ, чтобы онъ не допустилъ насъ подпасть подъ владычество нѣмцевъ, потому что поляки составляютъ одно племя съ русскими» ¹⁾.

Не давая до окончанія войны никакихъ обѣщаній, императоръ Александръ, по заключеніи мира, очень ласково принялъ въ Парижѣ депутацію отъ Наполеоновскихъ польскихъ легіоновъ и старался успокоить ее относительно будущаго. «Польская армія, сказалъ онъ, сохранитъ свое прежнее устройство», и указывая на бывшаго при семъ цесаревича Константина прибавилъ: «командовать ею будетъ родной братъ мой».

Съ открытіемъ Вѣнскаго конгресса, рѣшеніе судьбы поляковъ явилось однимъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ. Представители европейскихъ державъ соглашались скорѣе подѣлить всю Польшу вторично, чѣмъ видѣть ее возстановленной подъ влияніемъ Россіи. Но императоръ Александръ твердо сопротивлялся этимъ настояніямъ: онъ стоялъ тогда единственнымъ защитникомъ польскаго дѣла.

¹⁾ Ф. Смитъ, „Исторія польскаго возстанія и войны 1830 и 1831 годовъ“; ч. I, гл. I, стр. 6.

Межь тѣмъ поляки въ уныломъ и боязли-
вомъ настроеніи духа ожидали рѣшенія участи
своего отечества и, жадно прислушиваясь ко
всякимъ извѣстіямъ, сплетнямъ и слухамъ, всю
свою надежду основывали единственно на ве-
ликодушія Александра.

Однимъ изъ первыхъ радостныхъ извѣстій
въ этомъ отношеніи былъ для нихъ приказъ
генераль-фельдмаршала графа Барклая-де-
Толли, отданный по арміи, въ которомъ оповѣ-
щалось, что «корпусъ войскъ польскихъ, пре-
давшихся совершенно во власть и покрови-
тельство августѣйшаго государя императора
нашего, имѣетъ на сихъ дняхъ, по высочайше-
му его императорскаго величества соизволенію,
вступить въ городъ Варшаву». Объявляя объ
этомъ по арміи, Барклай-де-Толли поручалъ
корпуснымъ и другимъ частнымъ начальни-
камъ «внушить всѣмъ подчиненнымъ ихъ о
дружественномъ обращеніи съ сими войсками».

Вмѣстѣ съ этимъ приказомъ, и
русской арміи стало извѣстно, что цесаревичъ
Константинъ Павловичъ останется въ Варша-
вѣ на постоянное жительство. Для его высо-
чества принялись отдѣлывать два особые двор-
ца: для зимняго помѣщенія Брюлевскій па-
лацъ, а для лѣтняго Бельведеръ, расположен-
ный на краю города, въ южной его части,
среди прекраснѣйшей мѣстности. Городъ гото-
вился къ торжественной встрѣчѣ. Вмѣстѣ съ
цесаревичемъ, въ видѣ его почетной гвардіи,
должны были вступить въ Варшаву нѣкоторые
части русскихъ гвардейскихъ полковъ, пре-
имущественно тѣхъ, гдѣ его высочество чис-
лился шефомъ. Это были баталіонъ Литовска-
го, баталіонъ Финляндскаго, дивизіонъ Улан-
скаго полковъ и полубатарея гвардейской кон-
ной артиллеріи. Высочайшій приказъ объ от-
дѣленіи дивизіона засталъ лейбъ-гвардіи улан-
скій полкъ на походѣ изъ Парижа въ отече-
ство, въ мѣстечкѣ Шнейде-Мюлле. Эскадроны
его высочества и 2-й немедленно же отдѣли-
лись отъ полка и, подъ командой полковника
Заборинскаго 2-го, выступили въ Варшаву.

17-го сентября назначено было парадное
вступленіе гвардейскаго отряда въ столицу
Польшы, подъ командой самого цесаревича. За
нѣсколько дней предъ симъ части этого от-
ряда прибыли въ окрестности Варшавы и рас-
положились по деревнямъ. Его высочество хо-
телъ показать свою гвардію во всемъ блескѣ
военнаго щегольства. Людямъ дано было нѣ-
сколько дней на изготовку. Въ назначенный
день къ одиннадцати часамъ утра лейбъ-улан-
скіе эскадроны, въ составѣ двадцати рядовъ
во взводѣ, выстроились на шоссе предъ Воль-
скою заставой, вмѣстѣ съ остальными частями
отряда. Сюда прибылъ къ нимъ цесаревичъ и
съ музыкой повелъ въ городъ, гдѣ отрядъ про-
ходилъ церемоніальнымъ маршемъ предъ гене-
раль-фельдмаршаломъ Барклаемъ-де-Толли, ко-

торый въ тотъ же день отдалъ этимъ воин-
скимъ частямъ полную похвалу въ особомъ при-
казѣ по арміи. «Бывъ очевидцемъ, писалъ
Барклай, и свидѣтелемъ той отличной хра-
брости и безпримѣрнаго мужества, съ какимъ
сіи самыя войска, вмѣстѣ съ товарищами сво-
ими, сражались на полѣ чести и увѣковѣчили
славу государя и отечества своего, и тѣхъ ве-
личайшихъ и долговременныхъ трудовъ, какіе
они въ войнѣ переносить должны были, я не
могъ не удивляться, что послѣ всего того вой-
ска сіи возвращаются съ такой исправностью
и устройствомъ во всѣхъ генерально частяхъ,
которые превзошли всякое мое чаяніе и ожи-
даніе. Бодрость и веселый видъ людей доказы-
ваютъ наилучшее попеченіе о нихъ ихъ на-
чальниковъ; чистота и единообразіе въ одѣя-
ніи, въ оружьи и ружейной амуниции, и со-
держаніе лошадей въ хорошемъ тѣлѣ удосто-
вѣряютъ въ строгомъ наблюденіи порядка служ-
бы. Выбывая въ особую честь командовать столь
отличными войсками, пріятнымъ поставлю дол-
гомъ изъявить истинную благодарность мою
баталіоннымъ и эскадроннымъ начальникамъ
и всѣмъ гг. офицерамъ за рѣдкое и примѣрное
усердіе ихъ къ службѣ».

Такиими словами заключалъ генераль-фельд-
маршалъ свой похвальный отзывъ о гвардей-
скомъ отрядѣ.

Гвардія цесаревича расподожилась въ са-
момъ городѣ. Лейбъ-уланскій дивизіонъ зимо-
валъ въ Мировскихъ казармахъ.

По воспоминаніямъ современниковъ, это было
самое веселое и цвѣтущее время Варшавы,
которая представлялась имъ «какой-то счастливой
Аркадіей, тихимъ пристанищемъ послѣ
продолжительной боевой и трудной жизни».
Умѣренный климатъ, дешевизна, удобства жизни
и веселое общество, все это дѣлало службу
въ Варшавѣ чрезвычайно привлекательной для
русскихъ офицеровъ, духъ которыхъ какъ нель-
зя болѣе совпадалъ съ наклонностями и при-
вычками варшавской жизни, ибо разгулъ, тор-
жества, пиры, вино и карты составляли отли-
чительныя черты нашей военной молодежи то-
го времени. По замѣчанію одного изъ совре-
менниковъ, русскіе офицеры вели себя въ
Варшавѣ «какъ самыя благородныя рыцари
Баярдова времени»; въ особенности щедрость
ихъ была изумительна. Деньги сыпались безъ
счета. Сидятъ они, напримѣръ, въ какомъ-ни-
будь изъ лучшихъ трактировъ—лучшими по-
читались тогда Виленскій, Гамбургскій, Англій-
скій и Дрезденскій—вдругъ приходитъ бѣдный
старикъ съ дочерью: онъ играетъ на скрипкѣ,
она на арфѣ; сыграла, проиграла нѣсколько арій
и, глядишь, куча серебра очутилась предъ нею.
Приходитъ бѣдная монахиня-шарятка, одна
изъ сестеръ милосердія, проситъ, чтобъ ей за-
казали какую-нибудь работу, и одинъ рот-
мистръ даетъ ей тутъ же тысячу рублей и ве-

лить шитье себѣ три манишки! Поляки дивились русскимъ офицерамъ, воображая, что всѣ они громадные богачи, тогда какъ, напротивъ, большая часть изъ нихъ были вовсе не богаты, а только тароваты на удачу, привыкнувъ ставить ребромъ и жизнь, и послѣднюю копейку. Дворянство польское, въ виду неуверенности относительно намѣреній императора Александра, старалось заискивать расположенія русскихъ и ничего не падало для достиженія этой цѣли. Знатнѣйшіе магнаты сгибали открывать свои богатые палацы для принятія новыхъ гостей. Смирная въ себѣ чувство вражды, старались они потопить его въ роскошныхъ пирахъ, гдѣ испивалось полными чашами вино за братское соединеніе двухъ славянскихъ племенъ и вѣчную ихъ дружбу. Богъ вѣсть, насколько все это было искренно, но только наши русскіе вѣрили имъ вполне и, не желая оставаться въ долгу у польскаго гостеприимства, кто какъ могъ, отплачивали полякамъ тѣмъ же и здѣсь-то высказывалась вся широкая русская натура. Варшава заликовала, загремѣла музыкой, празднествами, увеселеніями. «Никогда еще не было выпито столько вина какъ въ эту эпоху», замѣчаетъ современникъ. Въ особенности отличались широтой и радушіемъ пиры и сходки у бывшаго командира лейбъ-уланъ, генерала-отъ-кавалеріи барона Меллера-Закомельскаго. Одинъ изъ его банкетовъ закончился, на примѣръ, слѣдующимъ образомъ: послѣ изобильнаго обѣда и игры въ «фараонъ», гдѣ столы засыпаны были золотомъ, радушный хозяинъ около полуночи велѣлъ приготовить у себя во дворѣ шестьдесятъ саней, въ которыя стали разсаживать большую часть гостей по-одиночкѣ и къ каждому изъ нихъ сажали по музыканту, вѣнчивъ ему въ непрѣмѣнную обязанность во всю дорогу играть что хочетъ на своемъ инструментѣ. Во главѣ этой своеобразной процессіи везли огромный транспарантъ съ приличными изображеніями и надписями, и вся вереница саней тянулась въ теченіе полутора часа по Новому Свѣту и другимъ главнымъ улицамъ.

Варшава представляла въ ту эпоху самый оживленный видъ: городъ обстраивался, украшался; эмигранты польскіе, получивъ широкую амнистію, толпами возвращались въ свои дома и помѣстья; увеселенія и празднества становились все чаще и чаще; русская военная молодежь дружилась съ польскою, и духъ прежней вражды, казалось, уже исчезалъ понемногу; польскія красивыя панны переставали коситься на «москалей», и наши уланы въ угодность имъ, ломая свой языкъ, заговорили по-польски. Казалось, все идетъ какъ нельзя лучше: свобода, слияніе, дружба и братство, и вотъ, въ довершеніе всего, 12-го (24-го) декабря, въ день рожденія императора Александра, новая конституція была обнародована въ

Польшѣ. Русскій военный кружокъ былъ въ полномъ убѣжденіи, что этотъ великодушный актъ императорской милости къ нашимъ недавнимъ закоренѣлымъ врагамъ окончательно закрѣпитъ между ими и нами честныя братскія узы, какъ вдругъ, непосредственно вслѣдъ за обнародованіемъ конституціи, стали замѣчать наши офицеры какое-то недовольство и какъ будто охлажденіе къ себѣ со стороны поляковъ. Не имѣя права надѣяться ни на что и неожиданно получивъ гораздо болѣе того, о чемъ еще столь недавно едва дерзали робко мечтать, поляки вдругъ перестали обращать вниманіе на милостивый даръ ихъ великодушнаго побѣдителя. Помня только то, чего не удалось получить имъ (то-есть полного возстановленія въ границахъ 1772 года), они стали роптать и утверждать, что государь далъ имъ конституцію съ тайной мыслью никогда не выполнять ее. При этомъ ни сколько не принималось ими въ соображеніе простое логическое возраженіе русскихъ, которые говорили имъ, что еслибы виды императора дѣйствительно были таковы, то онъ могъ бы и вовсе не давать никакой конституціи.

Великодушный монархъ очень хорошо зналъ объ этомъ клеветническомъ ропотѣ, но наперкоръ фактамъ, не желая разочаровываться въ полякахъ, относилъ всѣ подобныя проявленія къ ничтожному меньшинству, которое никогда, нигдѣ и ничѣмъ не бываетъ довольно.

Онъ искренно хотѣлъ осчастливить народъ польскій и потому, руководствуясь желаніями и чувствами польской интеллигенціи, назначилъ своимъ намѣстникомъ въ Варшавѣ, то есть поставилъ во главѣ правленія, не цесаревича Константина, а заклатаго, стараго врага Россіи и ревностнаго республиканца прежнихъ дней, генерала Заіончека. Этотъ послѣдній не замедлил составить все управленіе по гражданской части изъ людей, за вѣдомо принадлежавшихъ къ партіи самой враждебной для Россіи. Великій князь Константинъ Павловичъ, вопреки желаніямъ и надеждамъ какъ мѣстнаго русскаго кружка, такъ и вообще русскихъ людей, въ силу настояній Чарторыйскаго и лицъ его партіи, не принялъ никакого участія въ управленіи Царствомъ и скромно ограничился только ролью главнокомандующаго польскою арміею.

Русскій отрядъ въ началѣ 1815 года ожидалъ было возвращенія въ отечество, но бѣгство Наполеона съ острова Эльбы и появленіе его вновь во Франціи рѣшили дѣло иначе. Послѣ пятимѣсячнаго похода, вызваннаго этимъ неожиданнымъ событіемъ, войска, на обратномъ пути, проходили Польшу, и гвардейскій отрядъ, въ томъ же составѣ, оставленъ былъ на постоянныхъ квартирахъ въ Варшавѣ, при особѣ цесаревича. Служившіе тогда помнятъ еще, какъ сильно затуманились они при этомъ рас-

пораженіи. Хотя и лестно было остаться при начальникѣ, имя котораго отмѣтилось въ недавнихъ военныхъ событіяхъ; хотя и утѣшительно было служить на глазахъ того, кто, усвоивъ себѣ военную жизнь и служба примѣромъ самоотверженія, могъ такъ близко и вѣрно отличить неліцемерное усердіе русскаго войска, къ тому же и стоянка въ Варшавѣ обѣщала свои удовольствія и удобства,—но многіе изъ офицеровъ были уроженцами Петербурга и коренныхъ русскихъ провинцій, гдѣ имѣли родныхъ и состояніи: ихъ таяло на родину... Однако, съ теченіемъ времени, тоска по родному краю мало-по-малу умѣрилась и, наконецъ, излечилась при мысли, что русскіе гвардейцы остаются здѣсь на стражѣ, впереди другихъ, и первые, въ случаѣ войны, могутъ сойтись съ непріятелемъ.

При откомандированіи 1-го дивизіона лейбъ-уланъ, командиромъ его былъ полковникъ Заборинскій; начальникомъ же гвардейскаго Варшавскаго отряда вскорѣ назначенъ былъ генералъ-майоръ Веревкинъ, а командующимъ гвардейской кавалеріей съ конной полубатареей сдѣланъ генералъ-майоръ Альбрехтъ.

Въ 1815 году приступлено было къ формированію польской арміи и Литовскаго корпуса, на что не безъ опасеній за будущее глядѣли русскіе люди.

Такъ, напримѣръ, предсѣдатель временнаго управленія Герцогства Варшавскаго, В. С. Ланской, извѣщая государя, что манифестъ о созданіи Царства Польскаго «не произвелъ такого вліянія, какого ожидать бы можно отъ народа болѣе чувствительнаго» и что «объявленіе титула короля и увѣреніе въ будущемъ конституційномъ правленіи принимается не за милость, но за опасеніе послѣдствій отъ бѣглеца изъ Эльбы», вмѣстѣ съ тѣмъ высказывалъ съ полной и благородной откровенностью свой взглядъ на идею о созданіи особаго польскаго войска. «Все благосердіе твое, говорилъ онъ монарху, и всѣ усилія наши не могутъ быть сильны сблизить къ намъ народъ и вообще войско польское, коего прежде буйное поведеніе и сообразныя оному наклонности противны священнымъ нашимъ правиламъ, и потому, если я не ошибаюсь, то въ формируемомъ войскѣ пытаемъ мы змій, готоваго всегда изліять на насъ ядъ свой». В. С. Ланской заключалъ свое письмо подтвержденіемъ, что намъ «ни въ какомъ случаѣ считать (разсчитывать) на поляковъ не можно».

Тѣмъ не менѣе, государь желалъ остаться вѣрнымъ своему великодушному обѣщанію, и формированіе продолжалось. Русскіе полки, поступившіе въ составъ Литовскаго корпуса, носили по преимуществу названія по городамъ Западнаго края; уроженцы этого края какъ офицеры, такъ и солдаты, нарочно переводились изъ всѣхъ частей нашей арміи на служ-

бу въ Литовскій корпусъ, который весь размѣщенъ былъ на постоянныхъ квартирахъ въ западныхъ губерніяхъ и по границѣ Царства Польскаго. Рекруты, набираемые въ районѣ Западнаго края, точно также поступали на укомплектованіе этого корпуса. То же самое дѣлалось и по отношенію къ польской арміи, для которой кадрами послужили боевые польскіе легіоны, отдавшіеся милосердію императора Александра во Франціи. Вмѣстѣ съ этими мѣрами, и Варшавскій отрядъ русской гвардіи начиналъ все болѣе и болѣе принимать литовско-польскую окраску. Такъ, въ 1817 году, въ пріѣздъ цесаревича въ Петербургъ, изъ всѣхъ полковъ и батарей гвардіи были имъ выбраны уроженцы Западнаго края и въ сентябрѣ мѣсяцѣ отправлены въ Варшаву на укомплектованіе гвардейскаго отряда. Точно такой же выборъ произведенъ цесаревичемъ и между офицерами гвардейскихъ полковъ, и между выпускными воспитанниками кадетскихъ корпусовъ, да кромѣ того обѣ армейскія кирасирскія дивизіи и нѣкоторые изъ легко-кавалерійскихъ полковъ отдали всѣхъ своихъ литвиновъ на пополненіе кавалерійскихъ частей гвардейскаго отряда. Въ то же время множество лицъ польской и литовской шляхты и обывателей поступало въ варшавскіе русскіе полки на правахъ вольноопредѣляющихся. Наконецъ, нижніе чины, отправленные по выздоровленіи изъ заграничныхъ госпиталей, при слѣдованіи чрезъ Варшаву, были представляемы цесаревичу, и его высочество дѣлалъ лично выборъ изъ нихъ, оставляя у себя преимущественно уроженцевъ Западнаго края. Русскіе офицеры Варшавскаго отряда отправлены были въ качествѣ инструкторовъ въ польскіе полки и обязаны были обучать ихъ сообразно требованіямъ русскаго устава. Такъ, для обученія польскихъ уланскихъ полковъ, отъ нашихъ уланъ, по выбору цесаревича, отправлены были: полковникъ Заборинскій, штабъ-ротмистръ Крыловъ, корнеты: Марковичъ, баронъ Франкъ и Бычковъ, да кромѣ того съ cadaго эскадрона по два унтеръ-офицера и по два рядовыхъ, особенно ловкихъ, толковыхъ и знающихъ дѣло. Полковникъ Герштенцвейгъ, въ городѣ Ленчицѣ, формировалъ конныя польскія батареи.

Въ это же время при лейбъ-уланскихъ эскадронахъ учреждена была школа верховой ѣзды, «для усовершенствованія людей въ семъ искусствѣ, введенія единообразной посадки и постоянныхъ правилъ обученія во всей кавалеріи». Варшавская школа основана одновременно съ подобной же въ Петербургѣ, и государь императоръ повелѣлъ, чтобы люди 2-й и 3-й уланскихъ и обѣихъ конно-егерскихъ дивизій, въ составѣ одного штабъ-офицера отъ дивизіи, одного оберъ и двухъ унтеръ-офицеровъ отъ cadaго полка, ежегодно направляемы

были въ Варшавскую школу, которую цесаревичъ отдалъ въ вѣдѣніе генерала Альбрехта. Лейбъ-уланъ обязаны были постоянно давать имъ для ученія своихъ лошадей, и притомъ самыхъ лучшихъ, что составляло неизмѣнный предметъ огорченія для эскадронныхъ командировъ.

Съ прибытіемъ лошадей, искупленныхъ особо-командированнымъ офицеромъ, и людей, переведенныхъ изъ гвардейской и армейской кавалеріи, лейбъ-уланскій дивизионъ, 20-го марта 1817 года, раздѣленъ былъ на четыре эскадрона, съ назначеніемъ въ каждый эскадронныхъ и взводныхъ командировъ, а также полного комплекта унтеръ-офицеровъ.

Къ сему времени все уже готовилось къ тому, чтобъ изъ этихъ эскадроновъ образовать отдѣльный полкъ. Въ мастерскихъ и швальняхъ готовилось новое обмундированіе, по рисункамъ формъ, которые заказывалъ цесаревичъ въ Петербургъ знаменитому военному жапристу того времени, художнику Орловскому. Сукно на постройку обмундированія выдано было тонкое, англійское. Мундиръ оставленъ прежній, только желтый приборъ замѣненъ бѣлымъ, и эполеты даны изъ бѣлага гаруса, съ густой невисячей бахромой; синія шапки прежняго образца замѣнены желтыми, по формѣ полковъ Литовской уланской дивизіи, съ бѣлымъ же приборомъ и съ изображеніемъ въ щитѣ гербоваго орла, вмѣсто Св. Георгія, — литовскаго всадника, «погоня». Что же касается лошадей, то опредѣленной масти для нихъ не полагалось; требовалось только, чтобы ростъ лошади былъ не ниже двухъ аршинъ и не выше двухъ аршинъ съ двумя вершками. Подъ трубачей и адъютантовъ шли лошади самыхъ фантастическихъ мастей: пѣгія и чалыя, буланья и соловья; но эскадроны старались пополняться, по возможности, одномастными конями. Такимъ образомъ 1-й дивизионъ ѣздилъ на гнѣдыхъ, 3-й эскадронъ на рыжихъ, а 4-й — на вороныхъ. Цесаревичъ не жаловалъ только бурыхъ лошадей и всегда велѣлъ ихъ прятать куда-нибудь подальше, въ заднюю шеренгу, чтобы въ глаза не попадались.

Спустя семь мѣсяцевъ послѣ раздѣленія лейбъ-уланскаго дивизиона на четыре эскадрона, цесаревичъ повелѣлъ называться имъ «лейбъ-гвардіи уланскимъ Литовскаго корпуса полкомъ», но названіе это сохранилось недолго, да и въ Петербургѣ официально оно не было принято.

Въ 7-й день декабря 1817 года послѣдовалъ высочайшій приказъ, въ силу котораго варшавскіе уланскіе эскадроны названы лейбъ-гвардіи уланскимъ его императорскаго высочества цесаревича Константина Павловича полкомъ, то-есть 1-й дивизионъ, удвоенный людьми западно-русскаго происхожденія изъ другихъ гвардейскихъ и кавалерійскихъ частей, въ сущ-

ности возвращенъ къ своему первобытному полковому названію 1803 года, съ добавленіемъ къ прежнему лейбъ новаго слова *гардіи*. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ново-сформированнымъ полкомъ велѣно было взять старшинство надъ тѣми частями, которыя дали имъ начало. Командиромъ уланъ цесаревича назначенъ генерал-майоръ Александръ Ивановичъ Альбрехтъ. Высочайшій приказъ доставленъ былъ въ Варшаву 14-го декабря, и на слѣдующій день (15-го) лейбъ-уланъ цесаревича уже въ новой формѣ парадировали на разводѣ предъ своимъ августѣйшимъ шефомъ.

1-го февраля 1818 года въ Варшаву доставлены были отъ военнаго министра серебряныя трубы (числомъ 22), всемилостивѣйше пожалованныя полку государемъ императоромъ. На этихъ трубахъ находится изображеніе Георгіевскаго креста и надпись «*Л.-в. уланскому его императорскаго высочества полку за отличные подвиги, оказанные въ достопамятную кампанію, благополучно оконченную въ 1814 году*».

Въ полку однако не было своего музыкальнаго хора, которымъ онъ обзавелся только къ осени 1818 года.

Въ настоящее время, когда наши гвардейскіе полки пользуются прекрасно организованными полковыми оркестрами, читателю, вѣроятно, не безынтересно будетъ познакомиться съ составомъ кавалерійскаго хора того времени. Въ этотъ составъ входили двадцать пять нижеслѣдующихъ музыкальных инструментовъ, общая стоимость которыхъ равнялась, по тогдашнимъ цѣнамъ, 1.270 рублямъ: два фагота, четыре валторны, четыре кларнета, четыре флейты, двѣ трубы, большой барабанъ (турецкій), барабанъ малый, одинъ контръ-фаготъ, одинъ тромбонъ, два челана, металлическій треугольникъ, металлическія тарелки и бубенъ.

Подъ звуки этого хора полкъ проходилъ церемоніаломъ въ конномъ строю на парадѣ 24-го февраля 1819 года, по случаю освященія вновь пожалованныхъ полку Георгіевскихъ штандартовъ, съ надписью: «*За отличіе при пораженіи и изнаніи неприятеля изъ предѣлъ въ Россіи 1812 года*». Въ строй были выведены всѣ русскіе варшавскіе полки, предъ которыми православное духовенство на площади торжественно отправляло обрядъ освященія знаменъ и штандартовъ, собранныхъ у аналоя. Предъ каждымъ изъ полковъ командиромъ онаго громкогласно была прочитана высочайшая грамота, и затѣмъ воинскіе стяги, при звукахъ музыки и непрерывномъ «ура», были отнесены въ ряды. Препроводя въ свой полкъ высочайшую грамоту, его высочество, въ особомъ рескриптѣ, выражалъ надежду, «что сей знакъ монаршаго благоволенія послужитъ вѣщимъ поощреніемъ къ службѣ его императорскаго величества всѣхъ вообще и каждаго изъ чиновъ полка, дабы и впредь быть въ полной мѣрѣ достойными онаго».

II.

Порядокъ службы и воинскихъ занятій въ Варшавѣ, благодаря трудамъ и вниманію, а также и умѣнью цесаревича, былъ доведенъ до образцовой степени, такъ что и великій князь Михаилъ Павловичъ изъ Петербурга, и королевскіе принцы изъ Берлина нарочно прѣзжали бывало въ Варшаву полюбоваться на войска цесаревича и научиться у него этому замѣчательному искусству доводить одиночное и общее фронтовое образованіе войскъ, въ относительно короткое время и безъ употребленія особенно крутыхъ мѣръ, до высокаго совершенства. Тайна этого умѣнья крылась въ самомъ цесаревичѣ, въ его личномъ характерѣ и военной опытности: онъ зналъ чего и насколько можно требовать отъ солдата, умѣлъ разыскать когда слѣдуетъ, а еще болѣе умѣлъ похвалить, поощрить и щедро наградить за дѣло. Солдаты постоянно видѣли, что самъ великій князь, наравнѣ съ нимъ, охотно переноситъ всѣ трудности службы, не требуетъ отъ людей того, чего самъ не въ состояніи былъ бы для примѣра имъ исполнить, заботливо входитъ въ солдатскій бытъ, умѣетъ понятно и кстати говорить съ солдатами, — и въ этомъ-то крылась вся тайна его искусства. Главное дѣло въ томъ, что цесаревича любили, и для того, чтобы встрѣтить его довольную улыбку, ясный взглядъ его привѣтливыхъ голубыхъ глазъ и радостно произнесенное «спасибо ребята! По чаркѣ водки, по фунту мяса набрата!» — для этого солдаты готовы были, что называется, изъ кожи лѣзть, работать напролетъ и дни и ночи. И замѣчательно вотъ что: въ то время когда строго-формалистическая, мертвая система Аракчеева, примѣняемая командирами его школы къ войскамъ русской арміи, расположеннымъ внутри Имперіи, давала такіе печальные результаты въ количествѣ побѣговъ, самоубійствъ и преступленій — эти грустные явленія въ Варшавскомъ отрядѣ составляли очень рѣдкіе, исключительные факты. Въ этомъ нагляднымъ образомъ убѣждаютъ насъ данныя полковыхъ мѣсячныхъ отчетовъ. Цесаревичъ, въ большинствѣ случаевъ, почти исключительно примѣнялъ одно наказаніе: выписку въ армейскія части. Онъ прежде всего и болѣе всего старался дѣйствовать на самолюбіе человѣка.

Взглянемъ же теперь на тотъ порядокъ занятій и службы, которымъ прѣзжали заимствовать высокіе гости цесаревича.

Цесаревичъ вставалъ съ постели очень рано, — зимой въ шесть, а лѣтомъ въ четыре часа утра, и даже ранѣе. Въ восемь часовъ зимой и въ пять во время лагерныхъ сборовъ онъ уже выходилъ въ приемную, одѣтый въ форму, какая полагалась въ данный день по правиламъ устава о гарнизонной или лагерной службѣ, и принималъ коменданта, высшихъ начальниковъ частей, если тѣмъ была къ нему какая-либо на-

добность, а также и офицеровъ, представлявшихъ по разнымъ случаямъ и наряженныхъ въ должности. Тутъ же представляемы были и нижніе чины, какъ-то: вахмистры эскадроновъ его высочества, дневные пѣшіе ординарцы, вновь поступившіе въ полкъ, вновь обмундированные, вновь произведенные въ унтеръ-офицеры и вахмистры и, наконецъ, рекруты. Послѣ этого пріема его высочество выѣзжалъ къ разводу, который отмѣнялся въ очень рѣдкихъ случаяхъ.

Съ окончаніемъ лагерныхъ сборовъ, въ теченіе всей осени, зимы и ранней весной, военный день обыкновенно начинался разводомъ, который постоянно происходилъ въ девять часовъ утра, среди города, въ лучшей его части, на Саксонской площади. Цесаревичъ почти всегда лично присутствовалъ при этой церемоніи, гдѣ, въ случаѣ надобности, отдавалъ парольныя приказанія. Въ нарядѣ развода входили: полковой караулъ, конные ординарцы и, по очереди отъ полковъ гвардейской кавалерійской дивизіи, караулъ во дворецъ «Королевскія Лазенки». Караулы отъ нашего полка, по особому желанію его высочества, непременно должны были прежде парадировать при разводѣ, а потомъ уже отправляться на свои посты. Обыкновенно выводилось въ строй отъ полка 48 рядовыхъ съ трубачомъ, при одномъ оберъ и двухъ унтеръ-офицерахъ. Парадировать со взводомъ офицеръ того эскадрона, отъ котораго наряжался караулъ, приходившій изъ казармъ на площадь въ восемь часовъ утра. Караульная очередь велась между Подольскимъ, кирасирскимъ, лейбъ-уданскимъ и польскимъ гвардейскимъ конно-егерскимъ полками. Впоследствии же, а именно съ 1824 года, къ этой очереди примкнули и Гродненскіе гусары. Къ разводу назначался еще, тоже въ очередь съ другими полками, конный разѣздъ, въ составѣ двѣнадцати-ряднаго взвода, при трубачѣ, одномъ оберъ и трехъ унтеръ-офицерахъ, который являлся на площадь тоже къ восьми часамъ и, по окончаніи развода, въ присутствіи цесаревича, смѣнялся съ церемоніей съ разѣздомъ предшествовавшего дня. Изъ числа офицеровъ непременно должны были присутствовать на площади всѣ, кто занималъ въ тотъ день какія-либо дежурства при своихъ частяхъ, какъ-то: дежурный по полку (обыкновенно ротмистръ или штабъ-ротмистръ изъ старшихъ), четыре дежурные по эскадронамъ (отъ штабъ-ротмистра до корнета включительно), которые послѣ развода должны были безотлучно находиться при своихъ эскадронахъ; затѣмъ одинъ оберъ-офицеръ за приказаніемъ (должность эту исправлялъ всегда по смѣнѣ одинъ изъ дежурныхъ по эскадронамъ предшествовавшего дня) и, наконецъ, конный ординарецъ.

Сверхъ того, по очереди отъ полковъ дивизіи назначались: караульный въ Королевскія Ла-

зенки, дежурный офицеръ и унтеръ-офицеръ по Уяздовскому госпиталю и одинъ, какъ сказано уже, въ разъѣздъ со взводомъ. Изъ штабъ-офицеровъ же по дивизионной очереди наряжался одинъ дежурный по карауламъ 3-го отдѣленія. Но кромѣ дежурныхъ, при разводѣ обязательно должны были присутствовать всѣ наличные офицеры эскадрона, отъ котораго въ тотъ день сдѣланъ караульный нарядъ. Должностнымъ же и офицерамъ остальныхъ эскадроновъ въ будніе дни, за исключеніемъ какихъ-либо особыхъ случаевъ, дозволялось и не присутствовать, употребляя это время на служебныя занятія со вѣренными имъ частями. Зато въ праздничные и воскресные дни всѣ безъ исключенія офицеры полка находились при разводѣ. Форма одежды была такая же, какъ въ Петербургѣ, съ той разницею, что въ обыкновенные дни офицеры въ городѣ могли носить черныя шапки, какъ назывались тогда политурные вице-кивера, обтянутые клеенкой. Съ 1-го октября мундирные лацканы закрывались, люди переходили на зимнее положеніе, и тогда уже разводъ при открытыхъ лацканахъ производился только въ исключительныхъ торжественныхъ случаяхъ, по воскресеньямъ же, зимой, офицеры должны были одѣвать къ разводѣ лядунки и шарфы.

Съ 17-го января 1818 года въ разводахъ начинается участвовать въ конномъ строю, вмѣсто одного взвода, цѣлый эскадронъ, выводъ во фронтъ по 15-ти рядовъ, съ комплектомъ эскадронныхъ трубачей и съ 12-ю унтеръ-офицерами. Люди выѣзжали на эту церемонію не иначе какъ въ полной боевой амуниціи, сдѣлая полнымъ походнымъ व्यюкомъ, и являлись на Саксонскую площадь въ восемь часовъ утра. Послѣ развода очередной взводъ смѣнялъ съ церемоніей вчерашній разъѣздъ, а остальные три взвода возвращались домой въ казармы. Эти наряды «въ разъѣздъ» цѣлаго эскадрона дѣлались въ очередь съ другими конными полками, обыкновенно, по праздничнымъ днямъ либо по желанію цесаревича, а въ высокаторжественныхъ случаяхъ въ разъѣздъ назначался всегда эскадронъ его высочества и парадировалъ со штандартомъ.

Каждый воскресный и праздничный день русскіе полки посылали отъ себя особые части, каждая въ количествѣ двухъ взводовъ, при трехъ офицерахъ и соотвѣстномъ числѣ унтеръ-офицеровъ, въ церковный парадъ. Хоръ музыки назначался по очереди. Къ одиннадцати часамъ утра взводы эти прибывали въ Замковую церковь, и, по окончаніи божественной литургіи, цесаревичъ на Зигмундовой площади пропускалъ ихъ мимо себя церемониальнымъ маршемъ, поздравляя иногда людей съ праздникомъ. Но изъ всѣхъ зимнихъ парадовъ этого рода съ особенной торжественностію дѣлался Крещенскій. Войска русскаго отряда стояли шпалерами отъ Королевскаго Замка, или «Бур-

га», какъ тогда его называли, до берега Вислы, гдѣ устраивалась «Иорданъ» для освященія воды и окропленія ею всѣхъ русскихъ знаменъ и штандартовъ.

Съ началомъ мая мѣсяца пѣхота и артиллерія выступали въ лагерь на Повонзковское Поле, и съ этого времени разводы производились уже по лагерному положенію въ восемь часовъ утра, за Повонзковской заставой, безъ особой церемоніи. При этомъ офицеры, не наряженные въ караулъ, совершенно освобождались отъ присутствованія при разводѣ, какъ и всегда впрочемъ, когда разводъ дѣлался за городомъ. Дежурные офицеры смѣнялись уже сами по себѣ, безъ особыхъ формальностей, обыкновенно послѣ ученья, а равно и домашніе полковые караулы послѣ ученья же заступали свой постъ на полковой гауптвахтѣ. Но по праздничнымъ днямъ даже и въ лагерное время разводы производились въ городѣ, на Саксонской площади, въ девять часовъ, а равно и церковный парадъ къ обычному времени отправлялся въ Замковую церковь. Въ лагеряхъ же отправлялось съ большою торжественностію только католическое богослуженіе.

Съ выходомъ пѣхоты въ поле, кавалерія поочередно посылала въ Повонзковскій лагерь особый взводъ «на пикетъ», что продолжалось во все время лѣтнихъ сборовъ. Городскіе же караулы, которые обыкновенно содержала пѣхота, дважды въ году были занимаемы кавалерійскими частями: при уходѣ пѣхоты въ лагерь и при возвращеніи ея изъ лагеря въ Варшаву. Это дѣлалось каждый разъ въ теченіе двухъ, трехъ дней, чтобъ облегчить пѣхотинцамъ внутреннее устройство своего быта, хозяйства и помѣщенія въ палаткахъ и потомъ въ казармахъ. Во время же пребыванія государя императора въ Лазенковскомъ дворцѣ и кромѣ того въ лѣтнюю пору, начиная съ 20-го іюня, разводы производились исключительно отъ кавалерійскихъ полковъ, въ Лазенкахъ, на площадкѣ, въ восемь часовъ утра, ежедневно, до начала травяного довольствія.

Какъ одну изъ особенностей тогдашней гарнизонной службы въ Варшавѣ надо отмѣтить караульные порядки, наблюдавшіеся въ дни католической Страстной недѣли. Съ наступленіемъ этихъ дней въ польскихъ костелахъ, какъ извѣстно, совершенно прекращается колокольный звонъ, замѣняясь деревянными колотушками и трещетками. Вмѣстѣ съ этимъ и по Варшавскому гарнизону всегда отдавался приказъ, чтобы воинскія части, заступающія караулы, не били въ барабанъ и не трубили ни утренней, ни вечерней зари, а также и при смѣнѣ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда весь караулъ требуется въ ружье, часовой у фронта обязанъ былъ вызывать его на платформу не ударомъ въ колоколъ, а словами: «караулъ вонъ!» Чести

въ эти дни не отдавалось никому, штыки оставались отомкнутыми, и ружья въ сошках ставились прикладами не вниз, какъ обыкновенно, а вверхъ, въ родѣ того какъ нѣкогда было «на погребеніе». Этотъ порядокъ караульной службы наблюдался вплоть до Свѣтло-Христовой заутрени.

Въ первые годы нашего пребыванія въ Варшавѣ, когда наступали католическіе «гробы»⁴⁾, то для приданія большей пышности этому обряду, во всѣ варшавскіе костелы наряжались отъ русскихъ и польскихъ войскъ особыя команды, въ родѣ почетныхъ карауловъ. Но въ 1830 году, когда въ массѣ городскихъ обывателей глухое раздраженіе противъ «москалей» достигло уже значительной степени, велѣно было не посылать болѣе «для обхода Христовыхъ гробовъ» нижнихъ чиновъ «россійскихъ войскъ», ни командами, ни даже по-одиночкѣ, хотя бы они и принадлежали къ католическому вѣроисповѣданію. Эта предосторожность указываетъ на степень польскаго раздраженія и ненависти къ русскому мундиру. Даже русскимъ офицерамъ воспрещалось показываться въ эти дни верхомъ или въ экипажахъ близости костеловъ, подъ тѣмъ предлогомъ чтобы не увеличивать стѣсненія въ людныхъ улицахъ. Но запрещеніе это не простиралось на офицеровъ и солдатъ польской арміи: и тѣ и другіе во время «гробовъ» и Пасхи могли свободно присутствовать вездѣ гдѣ угодно.

Великимъ постомъ православные солдаты кавалерійскихъ полковъ говѣли дивизіонами, вмѣстѣ со своими офицерами; исповѣдывались у отряднаго священника и причащались въ Замковой церкви. Католики же и лютеране посылались въ свои храмы особыми командами, при офицерахъ. Великій князь наблюдалъ въ средѣ своихъ подчиненныхъ за неуносимымъ выполненіемъ обрядовъ религіи. Эти обряды въ чуждой намъ средѣ католическаго населенія отличались особеннымъ блескомъ. Въ страстные дни, напримѣръ, къ выносу плащаницы наряжался особый парадъ отъ всѣхъ русскихъ полковъ съ ихъ музыкой, а также и всѣ полковые пѣвчіе, соединявшіеся въ одинъ общій хоръ громадныхъ размѣровъ. Крестные ходы совершались съ большою торжественностью. Къ церковному же парадѣ на Свѣтлое Христово Воскресеніе назначались обыкновенно два сборные взвода, въ пятнадцать рядовъ каждый, въ составъ которыхъ входило отъ каждого эскадрона по пятнадцати рядовыхъ, по два унтеръ-офицера, и сверхъ того три трубача. Съ этими людьми цесаревичъ христовался за заутрени, а въ девять часовъ утра являлись къ его высочеству въ Брюлевскій дворецъ всѣ офицеры и классные чиновники,

вахмистры, ординарцы, назначенные на сей день, и по четыре унтеръ-офицера отъ каждаго эскадрона. Принявъ поздравленія и перекрестовавшись со всѣми, великій князь обмѣнивался съ вахмистрами и фельдфебелями краснымъ яичкомъ и одѣлялъ присутствовавшихъ нижнихъ чиновъ денежными подарками. Со дня Свѣтлага Христова Воскресенія уланы начинали носить открытые лацканы и, если позволяло состояніе погоды, не закрывали ихъ уже вплоть до урочнаго осенняго срока.

15-го апрѣля бывалъ обыкновенно весенній парадъ всѣмъ подкамъ Варшавскаго гарнизона и войскамъ, расположеннымъ въ окрестныхъ городкахъ и мѣстечкахъ. Польской пѣхотой цесаревичъ постоянно оставался очень доволенъ. На весеннемъ парадѣ 1830 года она въ особенности угодила его высочеству щегольской чистотой одежды и церемоніальнымъ маршемъ, которымъ проходила «отлично хорошо» какъ взводами, такъ и колоннами. Умѣя щедро награждать, цесаревичъ, однако, въ случаѣ надобности, умѣлъ и взыскивать, дѣйствуя преимущественно на самолюбіе служащихъ и въ особенности старшихъ начальниковъ. Подольскіе кирасиры въ 1830 году удовлетворяли его высочество менѣе прочихъ полковъ во фронтовомъ отношеніи. Изъявляя свою благодарность войскамъ за парадъ 15-го апрѣля, великій князь замѣтилъ въ письменномъ приказѣ, что лейбъ-гвардіи Подольскій кирасирскій полкъ «выступалъ нечисто, а въ особенности 1-й и 2-й эскадроны, которые какъ рысью, такъ и галопомъ проходили неровно, фланговые унтеръ-офицеры не держали дистанціи и не ровнялись; гг. офицеры вообще дурно сидѣли на лошадяхъ, а особливо г. полковникъ, баронъ фонъ-Франкъ, сидитъ на лошади хуже какъ рекрутъ, только-что прибывшій въ полкъ». Уланы на этотъ разъ, какъ и всегда впрочемъ, найдены «во всѣхъ отношеніяхъ въ отличности». Пожаловавъ нижнимъ чинамъ всѣхъ удовлетворительныхъ частей по чаркѣ водки и фунту мяса на человѣка, его высочество отдалъ въ приказѣ выговоръ командирѣ Подольскаго кирасирскаго полка, генералъ-лейтенанту Кноррингу: «2-му, «за нечистое выступленіе въ парадъ и найденныя по фронту упущенія» и приказалъ «производить ежедневно сему полку ученіе до того времени пока не будетъ доведенъ до надлежащей фронтовой исправности».

За неисправность кирасиръ пришлось платиться и уланамъ, такъ какъ Кноррингъ, будучи бригаднымъ командиромъ,⁴⁾ предписалъ

⁴⁾ Гробы соотвѣтствуютъ плащаницѣ православныхъ.

⁴⁾ Первую бригаду Варшавской гвардейской кавалерійской дивизіи составляли полки л. гв. Подольскій кирасирскій и Уланскій цесаревича. а вторую Польскій гвардейскій конно-егерскій и Гродненскій гусарскій. Начальникомъ этой дивизіи былъ генералъ польской службы генералъ-адъютантъ Курнатовскій.

обоим полкамъ производить ежедневныя конныя ученья внутри своихъ полковыхъ дворовъ. Уланы ворчали про себя, что это для того-де сдѣлано, чтобы кирасирамъ не такъ уже обидно было.

Вообще, цесаревичъ въ первой четверти 1830 года былъ особенно недоволенъ Подольцами и потому нерѣдко дѣлалъ имъ въ приказахъ выговоры. На дивизионномъ ученьи, 29-го апрѣля, его высочество нашелъ, что Подольскій кирасирскій полкъ «по фронту опустился» и, изъясняя ему свое особенное неудовольствіе, приказалъ «всѣмъ онаго полка чинамъ, то-есть отъ генерала до рядовыхъ, находиться безотлучно въ полковыхъ казармахъ впредь до дальнѣйшаго приказанія и производить ежедневно ученье (равно и сего, то-есть 29-го числа, въ 4 часа пополудни) въ такой точно формѣ, какъ были одѣты на бывшемъ сего числа ученьи». А ученье было въ полной боевой формѣ, съ полнымъ походнымъ व्यюкомъ. Наказаніе продолжалось до 1-го мая, когда опять назначено было ученье всей дивизіи. На этотъ разъ полки найдены «во всѣхъ фронтовыхъ оборотахъ въ совершенной исправности», за что и отдана благодарность его высочества всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, нижнимъ чинамъ пожаловано по чаркѣ вина и фунту мяса, и вся дивизія на два дня освобождена отъ всякихъ занятій. «А Подольскій кирасирскій полкъ изъ назначеннаго ареста освобождается», прибавлено въ заключеніе въ томъ же приказѣ.

Вообще, при взысканіяхъ за неисправности у цесаревича старшій никогда не избавлялся отъ ответственности за ошибки младшаго: взыскивалось съ того и другого. Однажды, напримеръ, весной, въ праздничный день, проѣзжая съ церковнаго парада въ Бельведеръ, встрѣтилъ великій князь какого-то унтеръ-офицера польскихъ войскъ, который, вмѣсто казеннаго галстука, повязалъ себѣ на шею шелковый шарфъ и красовался своими длинными кудреватыми волосами. Въ это же время попались его высочеству еще два польскіе солдата одѣтые не по установленной формѣ. Въ тотъ же день отданъ былъ строгій выговоръ въ приказѣ полковымъ командирамъ этихъ солдатъ, а ротные ихъ командиры на трое сутокъ посажены на гауптвахту.

Въ предупрежденіе подобныхъ случаевъ, для польскихъ и русскихъ войскъ была издана на обоихъ языкахъ особая книжка, подъ заглавіемъ: «Правила для солдатъ, какимъ образомъ они должны поступать на службѣ и. вѣдъ оной, сохраняя приличную осанку». Вводные начальники обязательно должны были читать эту книжку своимъ солдатамъ какъ можно чаще и вразумительнѣе.

Поляки — извѣстные любители всякихъ а въ особенности военно-парадныхъ зрѣлищъ, тѣмъ

болѣе, что въ тѣ времена ихъ національному самолюбію чрезвычайно льстило видѣть «свое собственное народное войско», доведенное до такой высокой и блестящей степени фронтного совершенства. Множество городскихъ обывателей и дамъ толпились по краямъ Саксонской площади, когда цесаревичъ производилъ тамъ разводъ, и присутствовавшіе внѣ строя офицеры постоянно были осаждаемы просьбами прекраснаго и непрекраснаго пола провести ихъ поближе къ великому князю, откуда лучше можно бы видѣть церемонію. Поэтому офицеры подъ своимъ покровительствомъ всегда проводили на средину площади своихъ «цѣвильныхъ» знакомыхъ и давали имъ мѣсто въ толпѣ военныхъ. Цесаревичъ обыкновенно смотрѣлъ на это весьма снисходительно, и только въ ожиданіи царскаго пріѣзда въ Варшаву напоминалъ паролнымъ приказаніемъ, чтобы офицеры, присутствующіе на разводѣ внѣ строя, стояли въ надлежащемъ порядкѣ, на своихъ мѣстахъ, по старшинству полковъ, не обближались бы къ свитѣ его величества «и цѣвильныхъ людей между себя не вводили бы, исключая только министровъ и сенаторовъ». Разсказываютъ, что однажды извѣстный въ Варшавѣ комическій актеръ французской труппы, Мерэ (Mairet), талантъ и личность котораго весьма были любимы великимъ княземъ, желая проскользнуть въ офицерскую толпу, очутился и запутался какими-то судьбами между рядами солдатъ. За это нарушеніе военнаго благочинія цесаревичъ велѣлъ его тутъ же свести на гауптвахту; но, разумѣется, арестъ Мерэ продолжался не долго: сейчасъ же послѣ развода велѣно было его выпустить. На другой день Мерэ въ какомъ-то водевилѣ разыгрывалъ роль солдата національной гвардіи, которому капитанъ грозитъ арестомъ за упущеніе по службѣ. «Нѣтъ, это уже черезчуръ скучно!» воскликнулъ вдругъ Мерэ экспромтомъ, разумѣется отъ себя: «вчера на гауптвахтѣ, сегодня на гауптвахтѣ; это ни на что не похоже!» Цесаревичъ очень смѣялся этой шуткѣ.

Ежегодно 4-го іюня въ Варшавѣ торжественно справлялось особое празднество въ честь учрежденія Царства Польскаго, и по этому поводу дѣлался большой парадъ всѣмъ войскамъ, собраннымъ въ лагеряхъ и въ городѣ, то-есть всей польской арміи и русскому отряду, на обширномъ полѣ, за фольваркомъ Парижъ, съ участіемъ въ церемоніи также и всѣхъ полковыхъ обозовъ. Обыкновенно вся Варшава, разодѣтая по-праздничному, высыпала и пѣшкомъ, и верхомъ, и въ экипажахъ на это рѣдкое зрѣлище. Тутъ же приносилось и общее поздравленіе съ этимъ днемъ намѣстнику Царства, генералу Заюичеку, въ отношеніи котораго великій князь соблюдалъ особый этикетъ; во всѣ высокоторжественныя дни русскіе офицеры и самъ цесаревичъ со свитой, въ полной парадной

формѣ, собирались утромъ въ Брюлевскомъ дворцѣ и оттуда отправлялись въ «Намѣстниковскій палацъ» приносить поздравленіе представителю царя польскаго.

Между тѣмъ, однажды навсегда установленный порядокъ занятій шелъ своимъ чередомъ въ теченіе цѣлаго года. Въ 1817 году упражненія въ верховой ѣздѣ въ зимнее время производились въ Саксонскомъ манежѣ и были распределены такимъ образомъ, что каждый эскадронъ имѣлъ возможность одинъ разъ въ недѣлю пользоваться манежемъ въ теченіе цѣлаго дня. Вторникъ и среда отдавались 1-му дивизиону, а пятница и суббота 2-му. Эскадронныя ученія не прекращались и зимой. Когда дозволяло состояніе погоды, и морозъ не превышалъ 10—12 градусовъ, очередной эскадронъ приходилъ на Саксонскую площадь и упражнялся въ ломкѣ фронта и въ разныхъ эволюціяхъ по эскадронному уставу того времени. Люди выѣзжали въ спенсерахъ и иногда въ фуражкахъ, но всегда съ полнымъ вооруженіемъ, сѣдлая лошадей «съ переднимъ व्यокомъ».

Ученія эти по возможности производились черезъ день. Въ 1818 году на манежную ѣзду стали налегать уже менѣе. Эскадроны пользовались Саксонскимъ манежемъ уже не цѣлый день напролетъ, а только по пяти часовъ, такимъ образомъ, что напримѣръ, отъ 7 до 11 утра занимался эскадронъ его высочества; отъ 11 до 12 унтеръ-офицерская смѣна сего эскадрона; затѣмъ отъ 12 до 5, 2-й эскадронъ, а отъ 5 до 6 его унтеръ-офицерская смѣна. Въ тѣ дни, когда не бывало манежныхъ занятій, людей обучали пѣшему строю на полковомъ дворѣ или на плацу, выводя каждый эскадронъ въ составѣ двухъ двадцатипятирядныхъ взводовъ, а также практиковали въ стрѣльбѣ въ цѣль изъ пистолетовъ, для чего имъ, въ видахъ экономіи, отпускались изъ Модлинскихъ запасныхъ парковъ чугуныя пули. Каждымъ взводомъ отдѣльно занимался его командиръ, по всѣмъ частямъ строевого, умственного и нравственного образованія, а при этихъ занятіяхъ обязаны были присутствовать также и субалтернъ-офицеры, которые числились въ тѣхъ взводахъ, но не командовали ими. За небрежность, отсутствіе или неумѣлость взводнаго начальника отвѣчалъ эскадронный командиръ, удостоившій его къ командованію взводомъ. Этотъ порядокъ, честь введенія коего исключительно принадлежить цесаревичу, постоянно наблюдался во всей строгости, и такимъ образомъ будущіе дѣльные эскадронные и полковые командиры въ практической школѣ цесаревича подготавливались и вырабатывались исподоволь, еще съ перваго офицерскаго чина. Они, между прочимъ, обязаны были твердо знать въ лицо и по фамиліи всѣхъ людей своей части и всѣхъ безъ изыятія унтеръ-офицеровъ своего полка; его

высочеству тѣмъ легче было повѣрять ихъ въ этомъ отношеніи, что самъ онъ отлично зналъ большую часть людей въ полкахъ своего отряда.

— Какъ, сударь, зовутъ у васъ этого молодца?—спрашивалъ онъ иногда у молодого офицера, указывая на любого улана, когда случилось ему завернуть въ манежъ или на полковой дворъ во время взводныхъ занятій.

Молодой офицеръ, если не твердо помнилъ имя и не могъ сразу же бойко и увѣренно назвать его, обыкновенно въ смущеніи потуплялъ взоры.

— Такъ какъ же зовутъ его? Не знаете...

— Виновать, ваше высочество!

— Ну, такъ, я вамъ, сударь, напомнимъ. Его зовутъ такъ-то. Стыдно!

И называя имя человѣка великій князь нерѣдко называлъ и губернію, изъ которой тотъ былъ родомъ. Память у него была изумительная.

Съ началомъ марта, числа около 6-го, въ полкахъ начинался эскадронный компантъ, т.-е. занятія собственно манежемъ прекращались, и эскадроны приступали къ полевой ѣздѣ и къ фланкерскимъ ученіямъ. Собирались для этихъ ученій либо у арсенала, къ 12-ти часамъ дня, либо на плацу предъ Уяздовскимъ госпиталемъ, и выходили обыкновенно во всей боевой амуниціи и съ полнымъ व्यокомъ. Вообще надо замѣтить, что въ Варшавѣ полевые ученія иначе и не производились какъ только съ полнымъ походнымъ व्यокомъ и боевымъ вооруженіемъ. Послѣ нѣсколькихъ ученій эскадроны сводились въ дивизионы и начиналось ученіе дивизионерное. Затѣмъ около 20-го апрѣля всѣ части армейскихъ конно-польскихъ войскъ (сводный дивизионъ конно-егерской и уланской дивизій и команды конно-артиллерійскихъ ротъ), прикомандированныя «для узнанія порядка службы» къ кавалеріи русскаго отряда, возвращались въ свои полки и батареи для занятій въ весеннемъ сборѣ, а наши приступали къ полковымъ ученіямъ на Мокотовскомъ полѣ. Тутъ же происходили и дивизионныя ученія пѣше-по-конному и, наконецъ, къ началу мая бригадные и дивизионныя въ конномъ строѣ. Июнь отдавался травѣ, но лошади уже не выгонялись въ табуны, какъ прежде, а пользовались свѣжей кошеной травой на конюшняхъ. Въ это время люди получали отдыхъ отъ строевыхъ занятій.

Съ началомъ іюля мѣсяца эскадроны посылали отборныя команды нижнихъ чиновъ въ Лазенковскую школу плаванья, состоятъ при которой на это время назначался отъ cadaго полка особый оберъ-офицеръ, постунавшій въ распоряженіе начальника школы, полковника Валентино. Здѣсь нижніе чины постепенно и систематически обучались искусству плаванья, сначала отдѣльно, потомъ съ лошадью, потомъ цѣлыми командами, съ лошадьми и безъ оныхъ.

Это было занятіе весьма полезное и вполне необходимое для истиннаго кавалериста, который со своим конемъ не долженъ останавливаться ни предъ какими преградами, мало-мальски доступными физическимъ силамъ человека и его лошади. Курсъ обученія продолжался отъ двухъ до трехъ лѣтнихъ сезоновъ, продолжавшихся каждый около двухъ мѣсяцевъ, и, въ концѣ концовъ, кавалеристы съ конями своими обязаны были переплывать Вислу. Пѣхота имѣла свою отдѣльную школу плаванія, устроенную въ болѣе широкихъ размѣрахъ, неподалеку отъ Варшавы, въ Маримонтѣ, на берегу Вислы, и для пѣхотинцевъ обученіе этому искусству считалось даже болѣе обязательнымъ чѣмъ для кавалеристовъ. Занятія плаваньемъ въ пѣхотѣ продолжалось постоянно въ теченіе трехмѣсячныхъ лагерныхъ сборовъ подъ Повонзками. Полный курсъ оканчивался экзаменомъ, въ присутствіи цесаревича и главноначальствующихъ лицъ, послѣ чего каждому человеку, признанному достойнымъ, выдавался особый патентъ. Для полученія патента требовалось, чтобъ ученикъ, пройдя всѣ семь классовъ въ школѣ, могъ пробыть на водѣ два часа сряду, переплывать Вислу въ мундирѣ и панталонахъ, съ оружіемъ въ рукѣ, и умѣть въ различныхъ позахъ и положеніяхъ бросаться въ воду съ семисаженой высоты. Не каждый, конечно, могъ достигать полнаго совершенства, но вообще плаванье въ войскахъ шло хорошо, люди обучались ему весьма охотно. Его высочество ежегодно производилъ общій смотръ плаванія на Вислѣ подъ Бѣянами. Люди по-баталіонно подходили къ берегу, часть изъ нихъ отряжалась въ работу и принималась тутъ же вязать плоты изъ заранее приготовленнаго матеріала или завладѣвала на время нѣсколькими рыбацкими челнами. Остальные же люди, разувшись и сложивъ сапоги вмѣстѣ съ амуницией на плоты или въ лодки, по командѣ начальника, съ ружьями въ лѣвой рукѣ, стройно бросались въ воду по взводу или ротами, или даже цѣлымъ батальономъ. Офицеры, со шпагой въ рукѣ, обязаны были находиться каждый впереди своей части. Искусство доходило до того, что люди не только могли держаться въ водѣ почти въ вертикальномъ положеніи, но даже стрѣлять, производя по сигналамъ бѣглый огонь или пальбу залпами. Переплывъ Вислу, они, послѣ минутнаго отдыха, а иногда и безъ онаго, пускались назадъ либо же, обувшись и разобравъ патронныя сумы, тотчасъ начинали на томъ берегу какой-нибудь односторонній маневръ, раскидывали цѣпъ, производили атаку, потомъ отступленіе и возвращались тѣмъ же путемъ, т.-е. вплавъ, отстрѣливаясь въ водѣ своей цѣпью и производя разныя эволюціи, въ родѣ захожденія плечомъ и перемѣны фронта, въ виду предполагаемаго приближенія флотп-

ли. Все это теперь могло бы показаться невѣроятнымъ, еслибы не было еще въ живыхъ нѣкоторыхъ свидѣтелей и участниковъ этихъ лихихъ упражненій. Первоначально обучали плаванью нѣсколько прусскихъ сержантовъ, но по прошествіи двухъ первыхъ лѣтъ у насъ выработались уже собственные инструкторы-плавальщики. По окончаніи урока, ученики получали каждый свою порцію водки, которая хранилась въ особыхъ ящикахъ подъ ключомъ у этихъ инструкторовъ; предъ купаньемъ же употребленіе не только водки, но даже и пива строго воспрещалось.

Съ половины іюля прекращалось въ кавалеріи травяное довольствіе и начинались снова ученія тѣмъ же порядкомъ, на Мокотовскомъ полѣ: сначала одно или два полковыя, а затѣмъ прямо дивизіонныя. Выводили на эти ученія рано: люди должны были быть въ полной готовности къ 5-ти и даже къ 4½ часамъ утра, но тутъ уже допускалось, въ видѣ облегченія, одѣтыми быть въ спензерахъ или въ лейбикахъ, смотря по погодѣ. Ученія слѣдовали черезъ день, и его высочество не пропускалъ почти ни одного. Офицеръ, посылаемый отъ каждой полка за приказаніемъ, долженъ былъ являться въ Бельведеръ ранѣе четырехъ часовъ утра и почти всегда былъ допускаемъ въ спальню великаго князя. Его высочество постоянно почивалъ не иначе какъ на кожаномъ походномъ матрацѣ, съ кожаной подушкой въ головахъ и покрывался своей старой шинелью. На балконѣ у него въ лѣтнее время всегда стояло пять большихъ банокъ—одна съ угремъ, который предъ дождемъ мутитъ воду, другая съ лягушкой и деревянной лѣсенкой и т. п. Всѣ эти приспособленія замѣняли цесаревичу барометръ. Разбужденный камердинеромъ своимъ Фризе, который оповѣщалъ о прибытіи офицеровъ, присланныхъ за приказаніями, его высочество посылалъ его на балконъ посмотреть въ какомъ состояніи находятся угри и лягушки, и если положеніе этихъ животныхъ предвѣщало ненастье, то сейчасъ же спѣшилъ отправить офицеровъ въ казармы съ объявленіемъ, что ученые отозваны. Не терпя промедленія въ дѣлахъ и будучи аккуратенъ въ высшей степени, цесаревичъ никогда не любилъ тревожить людей понапрасну. Такимъ образомъ, до возвращенія посланныхъ офицеровъ, люди никогда не приступали къ сѣдловкѣ.

Относительно поддержки на постоянной высотѣ всего вниманія и отчетливости эволюцій на ученіяхъ, у цесаревича была своя сноровка, выработанная опытомъ. Бывало, послѣ царскаго смотра, гдѣ полки постоянно удостоивались особыхъ похвалъ и благодареній, его высочество, давъ имъ нѣсколько дней на отдыхъ, снова назначалъ дивизіонное ученье, и если мало-мальски замѣчалъ какую-либо разницу въ строй-

ности и отчетливости аллюровъ и построений противъ послѣдняго царскаго смотра, то ужъ навѣрно выскажетъ начальникамъ свое порицаніе на плацу же и отдастъ въ приказѣ, что онъ «съ крайнимъ неудовольствіемъ замѣтилъ дивизію сію во всѣхъ частяхъ опущенною, а въ особенности гг. оберъ- и унтеръ-офицеровъ, которые совсѣмъ не знаютъ своего дѣла во фронтѣ», за что и «давалось на замѣчаніе» начальникамъ дивизіи, обѣихъ бригадъ, полковымъ командирамъ и всѣмъ штабъ- и оберъ-офицерамъ. Всѣ ужъ такъ и знали заранее, что послѣ удачнаго царскаго смотра навѣрно будетъ «всеобщая головомойка», для того, чтобы не считали себя совершенствомъ и дѣла своего не забывали. Но первое же ученіе послѣ «головомойки» всегда сопровождалось похвалой, благодарностью его высочества и щедрой наградой нижнимъ чинамъ. Все это необычайно привязывало къ нему русскіе полки и заставляло признавать его авторитетъ въ спеціально-военномъ, фронтовомъ отношеніи строже и выше всѣхъ остальныхъ авторитетовъ въ мірѣ. «Царь похвалить—изъ милости похвалить, потому онъ, батюшка, солдата обидѣть жалѣеть, а ужъ коли великій князь похвалилъ, значитъ точно за дѣло», говорили солдаты, и таково было ихъ неизблемое, самое завѣтное убѣжденіе.

2-го и 3-го августа начальникъ дивизіи, генералъ-адъютантъ Курнатовскій, производилъ обыкновенно инспекторскій смотръ уланскому полку. Первый день была «выкладка» казенныхъ солдатскихъ вещей на полковомъ дворѣ и опросъ претензій, а второй день — выводка «государевымъ строевымъ лошадямъ». Послѣ инспекторскаго смотра начинались на полковомъ же дворѣ конныя ученія. Люди выѣзжали въ строй въ старыхъ спензерахъ и на уздечкахъ, за исключеніемъ трубачей, которые ѣздили съ мундштуками, а офицеры въ сюртукахъ и на англійскихъ сѣдлахъ, и всѣ были въ готовности уже къ 5½ часамъ утра. Эти конныя ученія чередовались съ пѣшими по-конному во дворѣ же, и съ дивизионными на Мокотовскомъ полѣ, въ присутствіи его высочества.

Къ 20-му числу августа пѣхота Варшавскаго гарнизона возвращалась въ свои городскія казармы, и съ этого же времени гвардейскіе кавалерійскіе полки переставали высылать въ лагерь на пикетъ свои конные взводы, а въ началѣ сентября, числа около 6-го, войска выступали на общіе маневры, которые впрочемъ не бывали продолжительны. Затѣмъ, послѣ короткаго отдыха, кавалерія нѣкоторое время занималась практикой аванпостной службы и малой войны, а съ 1-го октября переходила къ обычнымъ зимнимъ занятіямъ.

Жизнь солдатамъ было хорошее. Зимой вставали въ шесть часовъ утра, дѣлали свой туалетъ и сейчасъ же шли на конюшни къ утренней уборкѣ, затѣмъ возвращались въ столовыя

залы къ завтраку, который обыкновенно состоялъ изъ горячаго супа или изъ похлебки съ бычьими гусаками, а послѣ завтрака очередная часть отправлялась на Саксонскую площадь въ разводъ, остальные же эскадроны въ девять часовъ выходили кто въ манежъ, а кто на домашнее ученіе. Строевыя занятія хотя и происходили ежедневно, но для людей не были обременительны, занимая собой полтора, много два часа въ сутки. Такъ называемымъ «пунктикамъ», по волѣ великаго князя, учили только рекрутъ, въ первое время поступленія въ полкъ, а потомъ уже изъ практики каждый человекъ и безъ затверживанья зналъ ихъ прекрасно. Въ обученіи же людей налегали преимущественно на развитіе ловкости и силы во владѣніи своимъ оружіемъ, на полное усвоеніе искусства верховой ѣзды, на одиночную пѣшую выправку и «фронтową развязку» и, наконецъ, на стройность шага и всѣхъ поворотовъ какъ въ пѣшемъ, такъ и въ конномъ строѣ. Что касается сигналовъ, то люди усвоили ихъ практически, изъ навыка. Начальство, подъ зоркимъ и попечительнымъ глазомъ великаго князя—по выраженію стараго ветерана—«было не лютое, справедливое, солдатъ никогда не тѣснило», и потому люди несли службу какъ должно, не тяготясь ею, доказательствомъ чему опять-таки служить ничтожное количество побѣговъ и рѣдкость тѣлесныхъ наказаній, насколько можно это видѣть изъ мѣсячныхъ отчетовъ и полковыхъ приказовъ. Ровно въ полдень садились люди за обѣдъ, получая въ посту щи или борщъ съ рыбой, а въ мясоѣдъ съ говядиной и затѣмъ какую-либо кашу съ масломъ, а по праздникамъ пироги и иногда жареное. Маса шло по фунту на человека и выдавали его «дѣлянками», то-есть отвѣсными порціями, а хлѣба хогя и полагалось по три фунта, но безъ вѣсу, а такъ, сколько съѣшь, во всю свою волю,—и приносили его въ эскадроны обыкновенно съ утра большими караваями. Хлѣбъ всегда былъ свѣжій, отлично выпеченный, такъ что и офицеры ѣдали его за лакомство. Винная порція изъ жалюемыхъ цесаревичемъ денегъ отпускалась два, а иногда три раза въ недѣлю. На экономическія средства выдѣлывался свой домашній крѣпкій квасъ, поддушенный мятой и подслащенный медовой сытой. Въ восемь часовъ, послѣ вечерней уборки, трубили на ужинъ, за которымъ люди получали горохъ, похлебку, кашу и вообще что случится, только не то, что было въ обѣдъ или на завтракъ. Послѣ ужина слѣдовала общая молитва и затѣмъ вслѣдъ за вечерней перекличкой уланы расходились по койкамъ, за чистотой и свѣжестью которыхъ имѣлось постоянное наблюденіе. Рядовые получали въ треть жалованья 5 рублей 65 копѣекъ, а унтеръ-офицеры 7 рублей (то есть 20 рублей ассигнаціями въ треть). Словомъ сказать, усло-

вія жизни были прекрасныя, да и трудно было бы быть заботливѣе цесаревича относительно этихъ условій. Рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобъ его коляска не остановилась предъ той или другой эскадронной казармой. Иногда его высочество приказывалъ выносить къ себѣ порцію, а чаще всего самъ шелъ на кухни и пробовалъ изъ котловъ; затѣмъ бывало зайдетъ въ казарму, велитъ откинуть нѣсколько одѣялъ и простынь, освидѣтельствуетъ опрятность бѣлья, чистоту воздуха, количество градусовъ тепла, перемолвится нѣсколькими ласковыми словами съ дежурнымъ по эскадрону офицеромъ и съ людьми; коли все нашелъ въ должномъ порядкѣ скажетъ спасибо вахмистру и отправляется по конюшнямъ. Самъ бывало провѣрить како-во зачищены лошади, свѣжа ли подстилка, хорошъ ли фуражъ; завернетъ и въ цейхаузъ, и на кузницу, и въ мастерскія, словомъ ничего не упуститъ изъ-подъ своего зоркаго заботливаго глаза. Люди постоянно на опытъ видѣли эту отеческую попечительность цесаревича и, цѣня ее въ сердцѣ, невольно приучались любить его какъ отца родного.

Его высочество былъ необыкновенно щедръ. За каждый удачный разводъ, за каждое хорошее ученье, произведенное въ его присутствіи, не говоря уже о большихъ смотрахъ и парадахъ, онъ постоянно жаловалъ людямъ по чаркѣ вина и фунту мяса, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и по рублю изъ собственной шкатулки. Когда какой-либо унтеръ-офицеръ возвращался изъ временнаго домашняго отпуска, то обязанъ былъ представляться его высочеству утромъ въ Бельведерѣ или въ Брюлевскомъ дворцѣ въ полной парадной формѣ. Точно также и ухажившіе «въ-чистую» являлись къ нему прощаться, причемъ великій князь благодарилъ ихъ за службу и одѣлялъ по нѣскольку червонцевъ на дорогу.

Старшіе вахмистры, многіе унтеръ-офицеры и даже рядовые изъ людей лично ему извѣстныхъ получали отъ него двойной окладъ жалованья, который онъ производилъ имъ опять-же-таки изъ собственной шкатулки. Но въ особенности заботился его высочество въ этомъ отношеніи о недостаточныхъ семейныхъ людяхъ. Въ первые годы варшавской стоянки многіе нижніе чины, что называется, зря женились на мѣстныхъ уроженкахъ-безприданницахъ и потомъ вскорѣ начинали сожалѣть и раскаяваться, не имѣя достаточно средствъ, чтобы вести порядочный образъ жизни. Входя въ это положеніе, цесаревичъ оказывалъ поддержку всѣмъ достойнымъ изъ нихъ и чрезъ генерала Альбрехта поручилъ эскадроннымъ командирамъ отговаривать своихъ нижнихъ чиновъ отъ неосторожнаго вступленія въ бракъ и какъ можно тщательнѣе провѣрять имѣютъ ли невѣсты сама по себѣ достаточно средствъ къ безбѣдному существованію. Великій князь

всегда самъ осматривалъ вновь прибывавшихъ рекрутовъ и, смотря по наружности, склонностямъ и способностямъ, распредѣлялъ ихъ по родамъ оружія и по полкамъ. Каждый рекрутъ, спустя мѣсяцъ послѣ поступленія въ полкъ, былъ представляемъ его высочеству въ качествѣ пѣшаго ординарца, причемъ цесаревичъ могъ наглядно судить объ успѣхахъ первоначальной его выучки. Каждому подобному ординарцу онъ жаловалъ не менѣе червонца, а то и два, и три, смотря по тому на сколько поправился.

Страстно любя службу, великій князь Константинъ Павловичъ искренно любилъ и лучшихъ ея дѣятелей; онъ лично зналъ всѣхъ подкомандныхъ офицеровъ, а изъ старшихъ, до ротмистра и капитана включительно, рѣдкаго не знавалъ по имени и отчеству, причемъ и обращался къ нимъ такимъ образомъ, а не по чинамъ и титуламъ, когда бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа; въ минуты же шутливости, добродушно, но отнюдь не въ обиду, называлъ иныхъ офицеровъ тѣми кличками, какія въ шутку даны имъ были въ добромъ přátельскомъ кругу однополчанъ-товарищей. Такимъ образомъ, на примѣръ, въ нашемъ полку ротмистра Чуйкова называли въ шутку Циттенномъ, за то что, при всѣхъ своихъ отличныхъ достоинствахъ, онъ былъ не совсѣмъ-то ловокъ и красивъ на лошади.

Кошелекъ его высочества всегда былъ открытъ для нуждающихся офицеровъ, и многіе, въ видѣ негласнаго пособія, получали отъ него лично второй окладъ жалованья. Щедростью его иногда даже злоупотребляли. Такъ, на примѣръ, поручикъ М., въ ноябрѣ 1818 года, представилъ генералу Альбрехту при рапортѣ запечатанный пакетъ на имя его высочества. Вскрывъ конвертъ, великій князь прочелъ письмо, въ которомъ поручикъ М. просилъ «о пожалованіи» ему съ братомъ ни болѣе ни менѣе какъ пятидесяти тысячъ рублей! Цесаревичъ поручилъ Альбрехту объявить братьямъ М., что «призывая сію сумму не соразмѣрною, и совершенно зная, что высочайшаго соизволенія не можетъ на оную последовать», онъ не рѣшается представить государю императору подобную просьбу, и самъ не имѣетъ возможности удовлетворить ей. И замѣчательно, что эта негнѣная просьба ни мало не повредила въ глазахъ цесаревича служебнымъ отношеніямъ поручика М., который впослѣдствіи дослужился до виднаго положенія.

Вообще можно сказать, что тѣ добрыя, чисто родственныя отношенія къ своему полку, начало которымъ положилъ цесаревичъ въ 1803 году, еще упрочились, стали, если можно, еще теплѣе и задушевнѣе съ переходомъ 1-го дивізіона въ Варшаву и съ образованіемъ изъ него новаго лейбъ-гвардіи уланскаго его высочества полка. Великій князь, на примѣръ, ни-

когда не отказывалъ, если офицеръ или солдатъ просилъ его въ крестные отцы своему новорожденному ребенку, и щедро посылалъ, а то иногда и самъ клалъ «на зубокъ» подъ подушку родильницѣ: нерѣдко бывалъ посаженнымъ отцомъ на свадьбахъ своихъ офицеровъ, удостоивалъ прїѣзжать въ Замковую церковь къ обряду вѣнчанія и, если позволяло время, то и въ квартиру молодыхъ — пожелать имъ, съ бокаломъ въ рукѣ, счастливаго супружества. Когда кто-либо изъ офицеровъ заболѣвалъ серьезнымъ образомъ, его высочество поручалъ собственному медику слѣдить за правильнымъ ходомъ леченія и не только посылалъ ординарца справляться о здоровьи, но иногда и самъ, бывало, неожиданно посѣтитъ больного, утѣшитъ, ободрить его и, какъ скоро замѣтитъ нужду, то молча сунетъ подъ подушку нѣсколько крупныхъ ассигнацій. При похоронахъ почти всегда прїѣзжалъ онъ къ выносу и шелъ нѣкоторое время за гробомъ, особенно же если покойный былъ однимъ изъ старшихъ офицеровъ или его любимцемъ.

Хоронили въ Варшавѣ военныхъ всегда съ парадомъ. Принадлежалъ ли покойный къ польскому или русскому войску—офицеры того или другого безразлично обязаны были въ установленной формѣ явиться къ выносу гроба и провожать его до заставы, а своего однополчанина до самой могилы. При опусканіи гроба въ могилу, трубачи играли «походъ», а люди, находившіеся въ строю эскорта, выпускали три залпа изъ пистолетовъ. То же самое уставное правило строго наблюдалось и относительно нижнихъ чиновъ. Для погребенія умершаго солдата обыкновенно назначался въ парадъ пѣшій 12-ти-рядный взводъ отъ того эскадрона, къ которому принадлежалъ покойный, при двухъ унтеръ-офицерахъ и одномъ трубачѣ, подъ командой оберъ-офицера того же эскадрона. Нерѣдко, по просьбѣ товарищей покойнаго, и весь музыкальный хоръ, съ разрѣшенія полкового командира, сопровождалъ гробъ до могилы. Погребали усопшаго не иначе, какъ въ полной парадной формѣ, а кресты и медали, если таковыя у него были при жизни, полагались на крышкѣ гроба. Людямъ провожавшаго взвода, все равно какъ и для офицерскихъ похоронъ, выдавалось по три холостыхъ патрона для прощальныхъ залповъ или «для разстрѣла», какъ выражались они.

Цесаревичъ былъ вспыльчивъ. Въ особенности когда дѣло касалось нерадивости и упущеній по службѣ, либо по фронту, гнѣвъ его былъ грозенъ и дѣлалъ сильное впечатлѣніе; но если эти порывы и могли налетать на него со всей внезапностію, то они проходили весьма легко и скоро, не оставляя никакихъ горестныхъ послѣдствій для человѣка, навлекшаго на себя минутную вспышку его высочества. Если цесаревичъ и бывалъ иногда неправъ,

то онъ никогда не затруднялся открыто и прямо предо всѣми сознаться въ своей ошибкѣ и старался выискать возможность, чтобы со всей деликатностію вознаградить такъ или иначе потерпѣвшаго. Лучшей же наградой было его доброе, душевное слово и обращеніе. Когда онъ былъ въ духѣ и хотѣлъ кому-либо оказать ласку, то обыкновенно бралъ того слегка обѣими руками за уши и притянувъ къ себѣ, цѣловалъ въ лицо. Зная, что цесаревичъ по своему произволу никогда никого не сдѣлалъ несчастнымъ, но всегда со всей страстію стремился поддержать и защитить подчиненныхъ, всѣ они, отъ генерала до послѣдняго солдата, были ему преданы всей душой. При всей строгости тогдашнихъ порядковъ, его высочеству нравились смѣлыя, честныя выходки, и онъ никогда не забывалъ ихъ. Умъ его былъ склоненъ къ шутливости и остроумію. Онъ самъ бойко и остро говорилъ на русскомъ и французскомъ языкахъ, понималъ шутку и охотно принималъ ее даже и тогда, когда она была обращена къ нему лично. Онъ очень любилъ театр, охотно и часто присутствовалъ на польскихъ и французскихъ спектакляхъ; въ обществѣ же это былъ блистательный, оригинальный человѣкъ, очаровательный по своему остроумію и любезный съ женщинами, какъ и его державный родитель императоръ Павелъ. Въ наружности великаго князя въ особенности дѣлали пріятное впечатлѣніе его большіе голубые глаза, въ которыхъ свѣтилось много ума и огня, и его пріятная, открытая улыбка. Въ немъ видно было здоровье и такое крѣпкое, мускулистое сложеніе, что онъ рѣзко отдѣлялся отъ всѣхъ придворныхъ кавалеровъ; въ ясномъ взглядѣ его видна была и душа ясная. Это былъ воинъ и душой и тѣломъ, со всей военной ловкостью. Его высочество, устранивъ себя отъ политики и государственнаго управленія дѣлами Царства Польскаго, велъ жизнь самую скромную, исполнѣ семейную. Дежурные адъютанты и ординарцы почти всегда были приглашаемы къ его обѣду. Главное же занятіе и вмѣстѣ развлеченіе его состояло въ совершенствованіи строевой службы войскъ польскихъ и русскихъ. Много усиленныхъ трудовъ и терпѣнія нужно было ему для того, чтобы ввести въ польскихъ войскахъ дисциплинарные порядки и отношенія.

На первыхъ порахъ въ Варшавѣ нижніе чины, польскіе и русскіе, обнаруживали взаимно враждебныя чувства, которыя нерѣдко доходили до ссоръ и даже до дракъ, особенно при недалекомъ сосѣдствѣ Варшавскихъ казармъ, гдѣ чаще всего повторялись эти столкновенія. Въ подобныхъ случаяхъ начальники прибѣгали къ мѣрамъ строгости и не допускали послабленій: наказанія слѣдовали за наказаніями, но вражда не уменьшалась. Наконецъ, съ разрѣшенія цесаревича, были приняты другія мѣры къ воз-

можному сближенію русскихъ солдатъ съ польскими, причемъ, между прочимъ, старались сближать ихъ посредствомъ общихъ обѣдовъ, угощеній, товарищескихъ собраний и т. п. Хотя при такомъ направленіи вражда, повидимому, уменьшалась, солдаты мирились, но это были лишь наружныя отношенія; искренней же пріязни между ними все-таки не существовало.

Офицеры обоихъ войскъ тоже косовато по-смащивали другъ на друга, и это затаенно-враждебное отношеніе началось прежде со стороны поляковъ, которые, не удовлетворяясь дарованной имъ конституціей и географическими границами, проявляли плохо скрытое озлобленіе свое вообще противъ русскихъ. Въ особенности это чувствовалось со стороны военной молодежи. Варшавское офицерство встрѣчалось обыкновенно въ двухъ ресторанахъ на Длугой улицѣ: у француза Александра Шево и у пани Нейманъ, трактиръ которой пользовался въ военномъ кругу наибольшею популярностью, такъ какъ тамъ, для привлеченія публики, были и арфистки, и табль-д'отъ, и женская прислуга. Но при этихъ встрѣчахъ все какъ-то не клелось дѣло сближенія: русскіе, бывало, сидятъ въ одномъ концѣ, поляки въ другомъ и явно показываютъ нежеланіе имѣть что-либо общее съ «москалями». Къ ненавистному имъ сонму «москалей» причисляли они и тѣхъ изъ своихъ кровныхъ соотечественниковъ, которые служили въ полкахъ русскаго отряда.

Великій князь душевно скорбѣлъ объ этихъ отношеніяхъ и всячески стремился водворить полное братство между поляками и русскими. Съ этой цѣлью, между прочимъ, онъ оказывалъ особенное покровительство смѣшаннымъ бракамъ своихъ офицеровъ. Въ этотъ періодъ времени многіе изъ нашихъ поженіи на полькахъ, вошли въ польскія семейства, въ польское общество—и по наружности казалось, какъ будто мѣра эта дѣйствительно многихъ. Но увѣ! Печальныя послѣдствія доказали, что это была только наружность. Поляки, по тѣмъ или другимъ практическимъ соображеніямъ, хотя и роднились съ русскими офицерами, но сердце и душа ихъ все-таки были далеки.

Въ ряду существовавшихъ средствъ сближенія считались также пиры, балы и празднества, которые, по инициативѣ начальниковъ, устраивались офицерскими обществами разныхъ полковъ, причемъ остальное офицерство получало приглашенія. Особеннымъ блескомъ отличались лѣтніе, лагерные праздники. Пѣхотный лагерь по преимуществу замѣчателенъ былъ необыкновенной красотой. Длинныя тѣнистыя аллеи вели по фронту и раздѣляли полки одинъ отъ другого. Полковые, бригадные и дивизионные командиры развели вокругъ своихъ барачковъ изящныя сады, гдѣ, среди роскошнаго выбора цвѣтовъ и деревьевъ, видѣлись статуи и красивыя бесѣдки. Шеголяя

другъ предъ другомъ убранствомъ помѣщеній, командиры войскъ устраивали по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ пиры, на которые стекалась обыкновенно вся блестящая молодежь Варшавы и цвѣтъ лучшихъ красавицъ. Музыка гремѣла повсюду и танцы продолжались далеко за полночь, при блестящей, разноцвѣтной иллюминаціи, и оканчивались фейерверками. Все это приманивало громадную массу публики, такъ что пѣхотный лагерь служилъ постояннымъ гулбищемъ для жителей Варшавы¹⁾.

Несмотря однако на всѣ усилія великаго князя, искренняго, душевнаго сближенія между массой польскихъ и кружкомъ русскихъ офицеровъ все-таки не послѣдовало. И общіе обѣды, и балы, и празднества, и смѣшанные браки—ничто не могло изгладить той непріязни, которую, несмотря на всю официальную любезность польскихъ начальниковъ, русскіе инстинктивно чувствовали къ себѣ со стороны поляковъ.

Тѣмъ не менѣе, до 1826 года рѣзкія проявленія этой непріязни случались какъ отдѣльныя, одиночныя вспышки. Общее чувство находило нужнымъ, пока до времени, прикрывать себя личиною лести и преданности и заглушаться музыкой и тостами пировъ, цвѣтами и блескомъ праздниковъ.

III.

Въ первые два года существованія Царства Польскаго, недовольство, порожденное разочарованіемъ относительно разныхъ политическихъ фантазій и государственныхъ границъ, не заявляло себя однако никакими рѣзкими проявленіями и ограничивалось только разными кляузками о будто бы «нелегальныхъ» дѣйствіяхъ и поступкахъ русскихъ полковъ. Разсматривая въ полковомъ архивѣ дѣла этого времени, невольно убѣждаешься, что не только муниципальныя, но даже и военныя польскія власти пользовались малѣйшимъ предлогомъ, чтобы сдѣлать русскимъ войскамъ какую-нибудь «легальную» придирку, подвести подъ нихъ какую-либо, опять же таки «легальную», каверзу; то обвиняютъ уланы въ самовольномъ занятіи квартиръ, пишутъ бумаги, отношенія, заставляютъ начальство дѣлать выговоры, — и потомъ вдругъ оказывается, что квартиры заняты вовсе не самовольно, а по назначенію чиновника польской же администрации; то жалуются, что уланы якобы портятъ вещи, находящіяся въ занимаемыхъ ими та- первое время польскихъ казармахъ, а по повѣркѣ выходитъ, что вещи, обозначенныя въ польскомъ же инвентарѣ, находятся въ полной цѣлости и совершенной исправности; то вдругъ новыя претензіи, зачѣмъ-де уланы трутъ нюхательный и крошатъ курительный табакъ для собствен-

наго употребленія, тогда какъ эта статья от- дана на откупъ, по условію съ «государствомъ»; то вдругъ обвиненіе въ обитѣ фальшивой мо- неты, въ кражѣ съ барки холста и вина, въ грабежѣ у какой-то еврейки мѣшечка съ дра- гоцѣнными вещами, — и опять наряджотся коммисіи, идутъ слѣдствія, допросы, доносы, отписки и новыя кляузы, — а въ концѣ-кон- цовъ, по самому точному разслѣдованію, ока- зывается, что фальшивая монета сбыта поль- скимъ конно-егеремъ, вино съ холстомъ ста- щено съ барки польскими саперами, и еврейка ограблена польскими же гренадерами.

Кляузы доходили даже до такихъ комиче- скихъ размѣровъ, что кака-то «обывателька» Юзефа Плевчинская, находила возможнымъ жаловаться и требовать взысканія со своего постояльца, поручика Франковского, за то что у него слишкомъ часто бываютъ гости. Об- щій смыслъ всѣхъ этихъ кляузъ достаточно очевиденъ: онѣ служили удобнымъ и дешевымъ средствомъ вымещать на «москаляхъ» досаду по поводу своихъ политическихъ разочарованій и, посредствомъ всевозможныхъ гиперболиче- скихъ разсказовъ и сплетенъ, ославливать ихъ и дѣлать ненавистными въ глазахъ польскаго общественнаго мнѣнія ¹⁾.

Послѣ двухлѣтней подготовки, посвященной организаціи гражданскихъ управленій, опредѣ- ленію круга ихъ дѣятельности и взаимной свя- зи, а также введенію необходимыхъ учрежде- ній, императоръ Александръ лично открылъ, 15-го (27-го) мая 1818 года, первый сеймъ польскій, — открылъ его блистательною рѣчью, которая, основываясь на внутреннемъ его убѣ- жденіи, вся была исполнена чувствами любви и полнаго довѣрія къ полякамъ. Открытіе сейма сопровождалось рядомъ военныхъ тор- жествъ, смотровъ, разводовъ и парадовъ, на которыхъ лейб-гвардіи уланскій цесаревича полкъ имѣлъ счастье впервые представляться государю императору и удостоился полнаго одобренія монарха.

Цесаревичъ любилъ и умѣлъ показать вой- ска, служившія подъ его начальствомъ, и ему всегда пріятно было присутствіе на этихъ смотрахъ и ученыхъ высокихъ посѣтителей. Немногіе ветераны того времени помнить еще пріѣзды великихъ князей Николая и Михаила Павловичей, принца Вильгельма Прусскаго, короля Виртембергскаго и др. Императоръ же и въ слѣдующемъ 1819 году, проѣздомъ че- резъ Варшаву, удостоилъ нашъ полкъ, въ чи- слѣ прочихъ войскъ, своего смотра и благово- ленія, а на 1-е (13-е) сентября 1820 года

готовилось открытіе новаго сейма и съ нимъ новый рядъ торжествъ и парадовъ, какими обыкновенно сопровождался въ столицѣ Поль- ши каждый пріѣздъ государя, великихъ кня- зей и иностранныхъ принцевъ.

Государь императоръ пріѣхалъ въ Варшаву еще за двѣ недѣли до открытія, 15-го августа, вечеромъ. На послѣдній ночлегъ въ Пулавахъ къ его величеству выѣхалъ на встрѣчу цеса- ревичъ, и государь вмѣстѣ съ нимъ въѣхалъ въ Варшаву въ одной коляскѣ и остановился въ «Бургѣ». Пребываніе императора въ Вар- шавѣ на этотъ разъ было довольно продолжи- тельно. До открытія сейма его величество осматривалъ войска, русскія и польскія, дѣлалъ маневры, отдѣльно каждому и обоимъ войскамъ вмѣстѣ.

То было время глухихъ броженій и вну- треннихъ волненій, которыя болѣе или менѣе тревожили всю западную Европу и, конечно, оказывали свое вліяніе на Польшу, искони уже весьма къ нимъ склонную. Новый Варшавскій сеймъ, безъ всякихъ вѣскихъ основаній, а единственно ради игры въ либеральную оппо- зицію, съ предубѣжденіемъ принять проекты законовъ, предложенные правительствомъ, и почти безъ совѣщанія отвергнуть ихъ. Такимъ образомъ, хорошія отношенія между высочай- шею властію и польскими подданными были разрушены и всѣ дарованныя имъ благодѣянія разомъ и окончательно забыты. Съ этихъ поръ тайныя общества, сходки, заговоры ста- ли еще многочисленнѣе. Правительству по не- обходимости пришлось принимать мѣры пред- осторожности, а это всего болѣе раздражало революціонеровъ, которымъ хотѣлось бы, чтобы правительство спокойно и безпрепятственно дозволяло имъ работать для низверженія са- мого же себя, но такъ какъ такого дозволенія, конечно, ни въ какомъ случаѣ быть не могло, то они и вопіяли на всю Европу объ угнете- ній и преслѣдованіяхъ.

Вскорѣ послѣ сейма, продолжавшагося до октября, императоръ отправился на конгрессъ въ Лайбахъ. Возстаніе въ Греціи, движеніе карбонаровъ въ Италіи, — все это заставляло сильно поговаривать о войнѣ. Были слухи, что русскую армію предполагается двинуть въ Ита- лію, и что русскій Варшавскій отрядъ пер- вымъ войдетъ въ составъ авангарда. Въ Лай- бахъ были вызваны Ермоловъ, Дибичъ, гене- ралъ Нейгардтъ, генералъ-интендантъ Кан- кринъ и нѣсколько штабъ-офицеровъ, долж- ствовавшихъ войти въ составъ главнаго шта- ба дѣйствующей арміи. Главнокомандующимъ назначался Ермоловъ. Войска гвардейскаго корпуса придвинулись къ западнымъ грани- цамъ имперіи, а Варшавскій отрядъ еще ра- нѣе получилъ повелѣніе изготавиться къ по- ходу черезъ австрійскія владѣнія. Однако, около половины апрѣля 1821 года, вопросъ о войнѣ

¹⁾ Замѣчательно, что исторія Ямбургскаго улан- скаго полка за этотъ самый періодъ времени представляетъ намъ рядъ подобныхъ же кляузъ, каверзъ и подвоховъ со стороны польской адми- нистраціи и польскихъ помѣщиковъ западно-рус- скихъ губерній.

разрѣшился дипломатическимъ путемъ, и государь повелѣлъ остановить дальнѣйшее движеніе авангарда, который въ то время уже приближался къ границамъ Галиціи.

Между тѣмъ, заботы цесаревича объ организаціи польской арміи и Литовскаго корпуса продолжались рядомъ неусыпныхъ трудовъ и стараній. Въ особенности первые годы формированія польскихъ войскъ стоили ему многихъ непріятностей и огорченій, причиной которыхъ, главнѣйшимъ образомъ, были разнузданныя привычки и понятія поляковъ о принципахъ воинской дисциплины.

Однако, послѣ нѣсколькихъ твердыхъ и крутыхъ мѣръ, принятыхъ въ отношеніи нарушителей дисциплины и субординаціи, поляки сдѣлались насчетъ службы неизмѣримо пунктуальнѣе русскихъ и доводили свой педантизмъ до того, что офицеры ихъ цѣлыя сутки отбывали въ караулѣ, не разстегивая шеи и не снимая перчатокъ—чего, однако, имъ вовсе не запрещалось,—но за то потомъ, между своими, они вздыхая жаловались на «тиранническія» требованія русскихъ служебныхъ порядковъ, перенесенныхъ на польскую почву. Любимѣйшимъ изъ польскихъ полковъ у цесаревича былъ 4-й линейный, извѣстный подъ именемъ «Чвартаковъ»¹⁾. Это были своего рода польскіе «архаровцы», забубенныя, безшабашныя, отпѣтыя головы, которымъ и въ хмѣльномъ, и трезвомъ состояніи равно было «море по колѣна». Въ 4-й полкъ изъ всей остальной польской пѣхоты переводили порочныхъ и штрафованныхъ людей, и тамъ ихъ вынуживали и перерабатывали на новый ладъ. Зато не было полка исправнѣе, лучше и щеголеватѣе во фронтовомъ отношеніи; поэтому онъ всегда былъ любимой забавой великаго князя, который зналъ въ «Чвартакахъ» по имени не только всѣхъ офицеровъ, фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ, но и большую часть рядовыхъ и, постоянно ставя этотъ полкъ въ образецъ прочимъ, всегда чувствовалъ веселое расположение духа, когда бывало выводилъ его на ученье.

Окончательная организація польской арміи и отдѣльнаго Литовскаго корпуса была выполнена только въ первой половинѣ 1823 года, послѣ чего цесаревичъ отправился въ Петербургъ и просилъ государя осчастливить его смотромъ всѣхъ сформированныхъ имъ войскъ. Съ этой цѣлью весь Литовскій корпусъ, вся польская армія и русскій Варшавскій отрядъ, въ полномъ своемъ боевомъ составѣ, были стянуты въ лагерный сборъ подъ Брестомъ-Литовскимъ. Польскіе и русскіе варшавскіе полки стояли лагеремъ по берегу Буга, около мѣстечка Тереснола, а Литовскій корпусъ рас-

положенъ былъ по ею сторону рѣки, на тѣсныхъ квартирахъ, въ окрестностяхъ Бреста. Въ этомъ же году было положено, чтобы регулярные конные полки имѣли одношерстныхъ лошадей и каждому разъ-навсегда присвоена была какая-либо извѣстная масть. Вслѣдствіе этого между эскадронами полковъ каждой дивизіи былъ произведенъ соотвѣтственный обмѣнъ, причемъ лейбъ-уланъ цесаревича получили гнѣдыхъ лошадей, на которыхъ должны были впервые представиться государю подъ Брестомъ. Съ тѣхъ поръ нашъ полкъ служить на лошадахъ гнѣдой масти. Государь императоръ обѣщалъ исполнить желаніе цесаревича, и въ половинѣ августа 1823 года, послѣ маневровъ гвардейскаго корпуса, изволилъ выѣхать въ путешествіе по нѣкоторымъ русскимъ провинціямъ, а черезъ мѣсяцъ прибылъ въ Брестъ-Литовскъ, въ сопровожденіи великихъ князей Николая и Михаила Павловичей. Въ свитѣ государя находились: графъ Аракчеевъ и баронъ Дибичъ, исполнявшій на этотъ разъ должность начальника штаба его величества вмѣсто князя Волконскаго. 17-го сентября въ пять часовъ утра, громадная масса соединенныхъ войскъ стояла уже въ нѣсколькихъ линіяхъ на обширномъ пахатномъ полѣ. Вскорѣ прибылъ государь со своей блестящей свитой русскихъ и польскихъ генералъ-и флигель-адъютантовъ; цесаревичъ поскакалъ къ нему на встрѣчу съ праваго фланга и подаль строевой рапортъ, а затѣмъ при звукахъ англійскаго гимна¹⁾ и при неумолкаемомъ «ура» сто-тысячной арміи начался объѣздъ войскъ. Церемоніальнымъ маршемъ полки проходили сперва по-дивизионно, а потомъ колоннами. День стоялъ ясный и тихій. Всѣ войска были въ отличнѣйшемъ положеніи, какъ русскія такъ и польскія. Восторгъ сіялъ на лицѣ цесаревича, который былъ счастливъ, что представленіемъ вѣрныхъ ему войскъ вполне удовлетворилъ ожиданіямъ своего державнаго брата. Смотръ, являвшій собой одно изъ рѣдкихъ по своей громадности военно-торжественныхъ зрѣлищъ, окончился около пяти часовъ пополудни; государь отъ души благодарилъ цесаревича и его помощниковъ и войска и всѣхъ частныхъ начальниковъ. Людямъ даны были щедрыя денежныя и порціонныя награды. На слѣдующій день его величество занимался частными осмотрами нѣкоторыхъ отдѣльныхъ воинскихъ частей и разныхъ заведеній въ городѣ, въ особенности военнаго госпиталя, а на 19-е число назначенъ былъ обѣимъ арміямъ большой двухсторонній маневръ, который начался въ

¹⁾ Русскіе полки Варшавскаго отряда въ шутку называли «чвартаковъ» четвертаками или четвериками.

¹⁾ Англійскій гимнъ, до времени сочиненія флигель-адъютантомъ и начальникомъ Придворной пѣвческой капеллы А. О. Львовымъ музыки на слова В. А. Жуковскаго, „Боже Царя храни“, служилъ для русской арміи военно-національнымъ гимномъ.

шесть часовъ утра и продолжался до шести часовъ пополудни. Всѣ эволюціи пѣхоты, конницы и артиллеріи производимы были съ замѣчательной быстротой, стрійностью и въ отличнѣйшемъ порядкѣ. Императоръ былъ вполне доволенъ маневрами и многократно, въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ, благодарилъ цесаревича за отличное состояніе вѣрбленныхъ ему армій.

Къ крайнему прискорбію всѣхъ, на маневрахъ этихъ случилось весьма непріятное происшествіе. Во время слѣдованія императора по фронту польской кавалеріи, его величество изволилъ потребовать къ себѣ одного полковника, для отдачи ему какого-то приказанія. Полковникъ подскочилъ къ государю съ правой стороны и, выслушавъ слова его, поворотилъ свою лошадь вправо, причемъ она вдругъ лягнула и подковой задней ноги ударила въ правое берцо императора. Несмотря на довольно сильный ударъ по такому чувствительному мѣсту, государь не показалъ наружно ни малѣйшаго чувства сильной боли и оставался верхомъ до самаго окончанія маневровъ, ни мало не измѣняя своего положенія. По возвращеніи же на квартиру, его величество тотчасъ потребовалъ своего медика баронета Вилье, который нашелъ правое берцо распухшимъ въ такой мѣрѣ, что сапога нельзя было снять, а пришлось разрѣзать его, чтобы осмотрѣть ногу. Ушибъ оказался довольно сильный, но императоръ, наложивъ на него компрессъ изъ гулардовой воды, снова одѣлся въ походную форму и немедленно вышелъ къ обѣденному столу, къ которому приглашено было слишкомъ двѣсти человѣкъ генераловъ и штабъ-офицеровъ обѣихъ армій. Цесаревичъ чрезвычайно встревожился этимъ приключеніемъ и уже отдалъ было приказаніе строжайше изслѣдовать всѣ обстоятельства дѣла, которыя, по его мнѣнію, были тѣмъ важнѣе, что виновнымъ явился офицеръ польской арміи. Но государь, узнавъ о распорядженіи великаго князя, тотчасъ же приказалъ оставить происшествіе безъ всякаго разслѣдованія и выразилъ свое желаніе, чтобы полковникъ отнюдь не былъ признаваемъ виновнымъ въ этомъ непріятномъ приключеніи. На другой день, 20-го сентября, его величество, страдая отъ боли въ ногѣ, выѣхалъ изъ Бреста въ Волинскую губернію.

Этотъ смотръ составилъ собой какъ бы особую эпоху въ жизни участвовавшихъ въ немъ войскъ. Въ настоящее время корпусные сборы стали дѣломъ весьма обыкновеннымъ; но въ тѣ времена, когда войска далеко не отличались той подвижностью, какая требуется современными условіями военнаго дѣла, собрать довольно быстро пѣлую армію, какъ сдѣлалъ это цесаревичъ, было дѣломъ весьма не легкимъ и вполне обнаружило образцовый порядокъ, въ какомъ находились всѣ части воен-

наго хозяйства и администраціи въ войскахъ, созданныхъ его высочествомъ. Служаки того времени, въ ихъ воспоминаніяхъ, обыкновенно раздѣляли эпохи своей жизни и службы «до смотра подъ Брестомъ и послѣ него».

Къ 1824 году относится учрежденіе Гродненскаго гусарскаго полка на правахъ молодой гвардіи. Формировалъ его, по порученію цесаревича, нашъ старый одноподчинный, полковникъ Карлъ Евстафьевичъ Штрандманъ, который и былъ назначенъ командиромъ Гродненцевъ. Учрежденіемъ этого полка окончилось формирование Варшавской гвардейской кавалерійской дивизіи и вмѣстѣ резервнаго корпуса войскъ, состоявшихъ подъ начальствомъ цесаревича Константина Павловича. Полки лейбъ-гвардіи: Подольскій кирасирскій и уланскій цесаревича составили первую бригаду, а Гродненскій съ польскимъ конно-егерскимъ — вторую. Начальникомъ этой дивизіи назначенъ былъ польской службы генералъ Кѳрнатовскій.

Весною 1825 года русскія войска Варшавскаго отряда опять имѣли счастье видѣть въ своей средѣ императора Александра Павловича. Но это было уже въ послѣдній разъ. На весну этого года назначенъ былъ третій срочный сеймъ въ Варшавѣ, и государь предполагалъ принять личное участіе въ его открытіи. Любовь его къ полякамъ къ этому времени немного уже охладѣла. Изъ горькаго опыта успѣлъ онъ, наконецъ, убѣдиться, что за всѣ его добрыя намѣренія, за всѣ дары и благодѣянія ему заплачено ненавистью и неблагодарностью.

4-го апрѣля, на третій день Пасхи, назначенъ былъ выѣздъ въ высочайшее путешествіе изъ Царскаго Села. Въ 7½ часовъ утра его величество выѣхалъ со свитой, еще по снѣгу, при полномъ располѣ и разливѣ рѣкъ; но тѣмъ далѣе къ юго-западу, тѣмъ путешествіе становилось пріятнѣе: начиная отъ Ружанъ, уже съ каждой верстой замѣчалось постепенное развитіе весенней природы. Погода была очаровательная, и когда 15-го апрѣля государь выѣхалъ въ Варшаву — весна была уже въ полномъ развитіи; всѣ сады благоухали, и великолѣпные каштаны Уяздовской аллеи красовались въ полномъ цвѣтѣ. На другой день, по прибытіи его величества, цесаревичъ началъ представлять своему державному брату войска, сначала по частямъ, а потомъ на общемъ парадѣ, послѣ котораго, спустя нѣсколько дней, сдѣланы были большіе маневры въ окрестностяхъ Варшавы. Императоръ и на этотъ разъ вообще былъ очень доволенъ войсками, которыя по справедливости заслужили своимъ отличнѣйшимъ состояніемъ полное благоволеніе и награды его величества.

Между тѣмъ 1-го (13-го) мая начались въ замкѣ засѣданія сейма. Императору ежедневно

представлялся протоколъ преній, изъ котораго онъ не рѣдко съ прискорбіемъ усматривалъ, что депутаты, вмѣсто сужденій о благоустройствѣ и общихъ интересахъ Царства, занимаются пустыми спорами, еще болѣе пустой игрой въ совершенно безсмысленную оппозицію, исполненную однѣхъ лишь общихъ красиво-пустозвонныхъ фразъ, да разными мелочными дрягами и личными счетами между собой. Спустя двадцать дней по прибытіи въ Варшаву, его величество предпринялъ путешествіе для обозрѣнія нѣкоторыхъ воеводствъ (губерній) Царства, и здѣсь-то имѣлъ онъ случай воочию убѣдиться въ тѣхъ плодахъ матеріальнаго благосостоянія, какіе доставлены были его попечительностью этой странѣ, еще столь недавно бѣдствовавшей и разоренной. Въ какіе-нибудь десять лѣтъ по всѣмъ главнымъ направленіямъ были устроены прекрасныя шоссеиныя дороги; земледѣіе, скотоводство и садоводство доведены до возможнаго совершенства; промышленность повсюду видимо возростала; разные заводы и фабрики, преимущественно суконныя, обращали на себя своимъ цвѣтущимъ состояніемъ особенное вниманіе государя. Простой сельскій людъ вездѣ на пути благословлялъ и благодарилъ своего царя; зато интеллигентные представители на шумномъ сеймѣ метали свои перуны.

По возвращеніи въ Варшаву, государю императору благоугодно было самому лично закрыть засѣданіе сейма, который уже оканчивалъ свои занятія. 1-го іюня, въ десятомъ часу утра, начался съѣздъ высшихъ сановниковъ и депутатовъ въ Королевскій замокъ. Войска Варшавскаго отряда встроены были на Зигмундовой площади, фронтомъ ко дворцу. Прекрасный день придавалъ еще болѣе блеска этому торжественному государственному собранію. Около полудня, императоръ, въ полной генеральской польской формѣ, взошелъ на тронъ, поставленный въ сеймовой залѣ. Тронная рѣчь его величества, произнесенная на французскомъ языкѣ, произвела на слушателей глубокое впечатлѣніе. Одинъ изъ очевидцевъ замѣчаетъ, что никогда еще не удостоивался онъ видѣть императора Александра «въ такомъ поражающемъ, неземномъ величіи», что во взорѣ его «позумительно выражались: могущество, проникательность, кротость и благоволеніе». Эта рѣчь была послѣднимъ общественнымъ актомъ императора Александра I-го въ Польшѣ. Въ этотъ день и нашъ русскій отрядъ въ послѣдній разъ имѣлъ счастье видѣть его.

На другой день рано утромъ его величество выѣхалъ изъ Варшавы.

Не прошло и полугода, какъ Россія была поражена горестной вѣстью о кончинѣ государя. Первое извѣстіе о семъ пришло въ Варшаву 25-го ноября вечеромъ. Въ это время у цесаревича гостилъ великій князь Михаилъ Пав-

ловичъ. Движеніе въ городѣ и въ войскѣ сдѣлалось необычайное. Всѣ готовились къ присягѣ и ждали только приказаній. Къ Брюлевскому дворцу безпрестанно подѣзжали отовсюду гонцы, адъютанты, наконецъ и сами начальники, сановники церкви и гражданскихъ управленій; но приѣма не было, и дежурный адъютантъ его высочества передавалъ всѣмъ одно и то же, что «приказанія въ свое время будутъ объявлены, а пока все остается попрежнему».

Наконецъ, приказаніе было отдано—и войска русскаго отряда вмѣстѣ со всей Польшей присягнули на вѣрнопопданство его императорскому величеству государю императору Николаю Павловичу.

Первымъ актомъ высочайшей милости новаго монарха къ лейбъ-гвардіи уланскому цесаревича полку было пожалованіе грамоты на серебряныя Георгіевскія трубы, полученныя полкомъ въ даръ отъ императора Александра I-го еще въ 1818 году. Грамота эта удостоена высочайшей подписи въ 1826 году, въ памятный день вступленія русскихъ войскъ въ Парижъ 19-го марта.

Первому командиру нашего полка, генераль-лейтенанту Альбрехту, не довелось представить свой полкъ на высочайшій смотръ новому государю. Послѣ десятилѣтняго образцоваго командованія уланами цесаревича и вмѣстѣ съ тѣмъ первой гвардейской кавалерійской бригадой, Александръ Ивановичъ скончался въ 1828 году, искренно оплаканный и цесаревичемъ, и сослуживцами, и подчиненными. Высочайшимъ приказомъ отъ 14-го іюля того же года на мѣсто покойнаго назначенъ былъ генераль-майоръ Иванъ Васильевичъ Марковъ 3-й, начавшій службу свою въ 1807 году съ корнетскаго чина въ лейбъ-уланскомъ цесаревича полку и продолжавшій ее безъ перерыва, по переименованіи полка, въ лейбъ-гвардіи уланскомъ и, наконецъ, въ лейбъ-гвардіи уланскомъ его высочества.

Въ 1829 году императоръ Николай I-й, царь Польскій, вѣнчался на царство въ столицѣ Польши.

1-го мая пріѣхалъ въ Варшаву великій князь Михаилъ Павловичъ, а 4-го мая, послѣ обѣда, цесаревичъ вмѣстѣ съ его высочествомъ отправились въ Яблонну на встрѣчу государя императора, который со своей августѣйшей супругой и государемъ наслѣдникомъ, прибывъ для коронованія изъ Петербурга, остановился на ночлегъ въ Яблоннѣ.

Великіе князья возвратились въ Варшаву въ тотъ же вечеръ, а на другой день съ утра стали собираться войска и становились шпалерами вдоль улицъ, отъ самой Модлинской заставы.

1-й эшелонъ войскъ былъ поставленъ за подверсты отъ заставы, близъ того мѣста, гдѣ

были отведены и изящно украшены два домика для государя и императрицы. Въ 10¹/₂ часовъ утра всѣ уже стояли на назначенныхъ мѣстахъ. День былъ ясный и теплый. Великіе князья въ половинѣ 10-го выступили изъ замка верхами, а за ними вся свита поскакала чрезъ новый Вислинскій мостъ на Прагу и остановилась у двухъ домиковъ, гдѣ ожидали уже прибытія великихъ князей четыре польскіе министра и Н. Н. Новосильцевъ, сидѣвшіе въ золотыхъ каретахъ. Президентъ города съ депутатами, назначенными для поднесенія хлѣба-соли, стояли тутъ же, вмѣстѣ съ лицами свиты. Народу кругомъ, по улицамъ, въ окнахъ и на кровляхъ было видимо-невидимо. Въ 11 часовъ завидѣли на дорогѣ государя императора, подъѣзжавшаго въ открытой коляскѣ, вмѣстѣ съ государемъ наслѣдникомъ. Подъѣхавъ къ домику, его величество вмѣстѣ со своимъ августѣйшимъ сыномъ тотчасъ же сѣли на лошадей. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ поднесъ императору строевой рапортъ, — и всѣ двинулись вслѣдъ за его величествомъ вдоль по фронту трехъ кавалерійскихъ полковъ, стоявшихъ за заставой. То были Подольскіе кирасиры, польскіе гвардейскіе конно-егеря и польскій же 1-й конно-егерскій его императорскаго высочества государя наслѣдника полкъ. Вслѣдъ затѣмъ къ другому домику подъѣхалъ экипажъ императрицы — и ея величество вышла изъ кареты. Государь же императоръ, доѣхавъ до заставы, вернулся назадъ, и тутъ-то президентъ города встрѣтилъ его съ хлѣбомъ-солью. Его величество послалъ городскую депутацію къ императрицѣ, которой и была поднесена хлѣбъ-соль, вмѣстѣ съ привѣтствіемъ президента, а самъ, сойдя съ лошади у порога своей квартиры, отправился вмѣстѣ съ государемъ наслѣдникомъ и великими князьями къ завтраку, по окончаніи котораго, сигнальная ракета возвѣстила начало торжественнаго въѣзда царя Польскаго въ свою столицу.

Его величество со свитой сѣлъ верхомъ, императрица помѣстилась въ парадной каретѣ одна, и блистательный, великолѣпный кортежъ тронулся къ заставѣ. Кирасирскія трубы первыми гранули «походъ», который, по мѣрѣ приближенія кортежа, былъ перенимаемъ другими полками, — и вотъ, при громѣ пушекъ и звукахъ гимна, при русскомъ «ура» и польскихъ «виватахъ», при звонѣ колоколовъ со всѣхъ костельныхъ башенъ, медленно двигалась процессія по разукрашеннымъ, праздничнымъ улицамъ веселой Варшавы. Видъ былъ торжественный. Вниманіе войскъ и громадной массы зрителей изъ народа жадно устремлялось на царя и на его отрока сына, ѣхавшаго почти о-бокъ со своимъ родителемъ, и затѣмъ перебѣгало безчисленными взорами на привѣтливое лицо императрицы, дарившей величаво-ласковые поклоны изъ открытыхъ оконъ своей пышной кареты.

Наконецъ, въ половинѣ перваго часа, кортежъ прибылъ къ замку, и царственные особы, въ сопровожденіи громадной и блистательной свиты, войдя подъ сѣнь его древнихъ покоевъ, направились прежде всего въ церковь, гдѣ былъ отслуженъ молебенъ. На сей день церемонія этимъ и кончилась. Когда всѣ разъѣхались, государь императоръ отправился въ Брюлевскій дворецъ сдѣлать визитъ цесаревичу и его супругѣ, а затѣмъ всѣ лица царственной семьи собрались на семейный обѣдъ въ Королевскій замокъ. Съ наступленіемъ тихаго, теплаго вечера, весь городъ заблисталъ роскошной иллюминаціей: въ особенности хорошо былъ иллюминированъ общественный садъ Красинскаго. На Краковскомъ предмѣстьи и на Новомъ Свѣтѣ окна и балконы, украшенные днемъ коврами и драпировками, блистали теперь огненными фестонами и гирляндами. Во многихъ мѣстахъ свѣтились транспаранты съ вензелями Н и А, а предъ дворцомъ сверкала дѣять громадныхъ размѣровъ. Народъ толпился въ улицахъ и встрѣтилъ громовыми «виватами» государя, когда его величество изволилъ проѣхать вечеромъ въ открытой коляскѣ въ Брюлевскій дворецъ, къ цесаревичу Константину.

На другой день былъ разводъ на Саксонской площади, гдѣ отборный караулъ, составленный изъ самыхъ показныхъ молодцовъ и красавцевъ нашего полка, имѣлъ счастье впервые представляться императору Николаю I. Погода какъ нельзя болѣе благоприятствовала церемоніи; множество любопытныхъ стеклось вокругъ площади смотрѣть на парадъ; всѣ балконы и окна были наполнены дамами. Императрица смотрѣла изъ оконъ квартиры генерала Куруты. Ровно въ 10 часовъ на площадь прибылъ его величество вмѣстѣ съ государемъ наслѣдникомъ и пошелъ по фронту. Послѣ развода было представленіе всей свиты цесаревича и начальствующихъ лицъ, которыхъ его высочество самъ представлялъ государю императору поименно. Въ Саксонскомъ саду, гдѣ тоже было множество народа, играла музыка, и государь наслѣдникъ ходилъ туда гулять.

Въ оба слѣдующіе дни, 7-го и 8-го мая, тоже происходили разводы и представленіе императрицы во дворцѣ всей гвардіи и штабъ-офицеровъ арміи, при чемъ былъ «baise-main», а 9-го мая, въ 9¹/₂ часовъ утра русское и польское войско было выстроено для высочайшаго смотра на Мокотовскомъ полѣ. Государь прибылъ на плацъ верхомъ, въ лентѣ Бѣлаго Орла, императрица же въ парадной коляскѣ цугомъ съ верховыми жокеями, и рядомъ съ его величествомъ изволила проѣхать по фронту, вмѣстѣ съ камеръ-фрейлиной графиней Орловой. Войска стояли въ дивизіонныхъ и баталіонныхъ колоннахъ въ четыре линіи. Приближаясь къ 1-му конно-егерскому полку, его

величество приказалъ государю наслѣднику, какъ шефу этого полка, стать предъ онымъ и потомъ парадировать во главѣ его фронта. Появление одиннадцатилѣтняго царственнаго отрока на флангѣ шефскаго эскадрона привело въ энтузіазмъ солдатъ сего полка. Послѣ высочайшаго объѣзда начался церемоніальный маршъ, причемъ цесаревичъ Константинъ самъ велъ парадъ. Пѣхота проходила по-изводу, кавалерія по-эскадронно, и потомъ всѣ вообще войска густыми колоннамп. Государь наслѣдникъ представлялъ свой полкъ его величеству. Парадъ окончился въ полдень, и государь императоръ остался имъ чрезвычайно доволенъ, благодарилъ цесаревича и всѣхъ начальниковъ отдѣльных частей, а нижнимъ чинамъ, кромѣ щедрой мясной и винной порцій, пожаловалъ еще по рублю на человѣка.

Въ первомъ часу того же дня, предъ Брюлевскимъ дворцомъ, собрались герольды съ ассистентами и конвоемъ польско-гвардейскаго конно-егерскаго полка. Въ сопровожденіи генерала Викентія Красинскаго, поѣхали они до Замковой площади Зигмунда, гдѣ остановились предъ дворцомъ и читали манифестъ о коронаціи, разбрасывая печатные экземпляры его толпамъ народа. Отсюда, раздѣлившись на два отряда, поѣхали они по всѣмъ улицамъ Варшавы и на всѣхъ площадяхъ читали то же объявленіе. 12-го мая, еще съ восьми часовъ утра, русскія и польскія войска стали занимать назначенныя имъ мѣста на Замковой площади и въ ближайшихъ улицахъ; артиллерія расположилась по берегу Вислы. Кавалерійскіе солдаты были разставлены шпалерами отъ самаго дворца, изъ сенатской комнаты, до дверей Свято-Янскаго кафедральнаго собора. Промежъ ихъ рядовъ простирался деревянный помостъ, устланный сукномъ малиноваго цвѣта. Къ половинѣ 10-го часа начался съѣздъ во дворецъ. Вся дворцовая площадь и пристроенная галлерія уже кишѣли народомъ, — стеченіе публики было громадное. День стоялъ превосходный, но жаркій; знамена и флаги не колыхались. Въ 11 часовъ изъ дворца тронулась процессія съ государственными регаліями и короною къ кафедральному костелу, а въ первомъ часу, по освященіи всѣхъ этихъ вещей послѣ литургіи, возвратилась съ ними въ комнаты государя. Черезъ полчаса регаліи вынесены были въ тронную залу и заняли мѣсто противъ трона. Тогда императоръ изволилъ выйти вмѣстѣ съ августѣйшей супругой и стать на свое мѣсто. Примасть прочелъ молитву и провозгласилъ его величество королемъ польскимъ. При семъ послѣднемъ словѣ надъ Вислой грянули пушки. Затѣмъ первые сановники облекли государя въ порфиру, поднесенную примасомъ вмѣстѣ съ короной, скипетромъ и державой. Все это было поднесимо его величеству высшимъ сановникомъ польской церкви въ постепенномъ порядкѣ и съ приличествую-

щими молитвами. Царскую корону государь самолично возложилъ на свою голову. Затѣмъ двое великихъ князей, Константинъ и Михайлъ Павловичи, подвели къ нему императрицу, которая преклонила колѣна, и онъ надѣлъ на свою августѣйшую супругу орденскую цѣпь Бѣлаго Орла и корону, послѣ чего ея величество стала съ нимъ рядомъ у трона. Государь преклонилъ колѣно и произнесъ молитву на французскомъ языкѣ, по окончаніи которой опустилась на колѣни императрица, вмѣстѣ со всѣми присутствовавшими, и стала читать молитву примасъ. За сѣмъ началось шествіе. Шестнадцать полковниковъ несли балдахинъ надъ императрицей, шестнадцать генераловъ, держась за пышныя кисти, шли при немъ ассистентами. Государь, въ коронѣ и порфирѣ, со скипетромъ и державой въ рукахъ, вышелъ изъ воротъ замка и сталъ впереди; за нимъ шли великіе князья Константинъ и Михайлъ, потомъ подъ балдахиномъ императрица, при которой ассистентами были графъ Соболевскій и графъ Красинскій; потомъ шелъ государь наслѣдникъ съ супругой цесаревича Константина, а за ними уже весь дворъ и свита. Грянули пушки, колокола, музыка, «ура» и «виваты», знамена преклонились предъ шествовавшимъ монархомъ. Блестящія дамы аристократическаго круга наполнили галерею, нарочно устроенную при дворцѣ, откуда видъ былъ неподобенъ. Все это въ совокупности являло одно изъ рѣдкихъ и торжественнѣйшихъ зрѣлищъ. По выслушаніи благодарственнаго молебна въ кафедральномъ костелѣ, высочайшая процессія тѣмъ же порядкомъ возвратилась въ замокъ, и къ двумъ часамъ дня торжество коронаціи было окончено.

Начался длинный рядъ праздниковъ, торжествъ, баловъ и балкетовъ. Множество лицъ обоихъ половъ получили почетныя званія и награды чинами и орденами. Царь польскій щедрой рукой разсыпалъ вокругъ себя милости и благоволеніе своимъ подданнымъ.

16-го мая, послѣ развода, вся свита собралась у костела Св. Александра и верхами ожидала пріѣзда государя, который прибылъ въ половинѣ перваго часа. Въ этотъ день былъ народный праздникъ на площади. Противъ Уздовскаго госпиталя были накрыты столы на 10.000 человѣкъ и приготовлены разныя увеселенія и представленія, кругомъ устроены эстрады для зрителей, а въ срединѣ роскошный шатеръ для царской фамиліи, свиты и иностранныхъ особъ. Около часу прибылъ сюда государь и поѣхалъ верхомъ за коляской императрицы, сопровождаемый длинной вереницей блестящей свиты. Объѣхавъ по каштановымъ аллеямъ мѣсто народнаго пира, царская фамилія вошла въ шатеръ, и тогда, по третьей ракетѣ, началось угощеніе. Народу со зрителями собралось до 50,000; видъ былъ неподобенъ и погода весьма благопріятствовала празднеству.

Его величество, подъ конецъ пиришества, проѣхалъ верхомъ между всѣми столами, при громкихъ кликахъ народа.

18-го мая, утромъ, государь императоръ дѣлалъ на Мокотовскомъ полѣ смотръ и ученіе гвардейской кавалерійской дивизіи и остался весьма доволенъ войсками. Всѣмъ офицерамъ нашего полка отдано было въ приказъ высочайшее благоволеніе, а вечеромъ этого дня они въ особенности были польщены тѣмъ, что на балу у графа Замойскаго его величество, вмѣстѣ съ цесаревичемъ Константиномъ, изволили присутствовать въ мундирахъ нашего полка, и оставались до двухъ часовъ ночи, дая, въ теченіе этого бала, многихъ изъ нашихъ уланъ милостивымъ своимъ вниманіемъ.

Цесаревичъ Константинъ въ обыкновенные дни всегда носилъ сюртукъ Подольскаго кирасирскаго полка, на балахъ же появлялся не иначе какъ въ нашей уланской формѣ. Въ тѣ времена всѣ военные, за исключеніемъ однихъ уланъ, обязаны были являться на балы не иначе, какъ въ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ; цесаревичъ же не любилъ ни чулокъ, ни башмаковъ, и отсюда его предпочтеніе для баловъ нашей уланской формы.

На слѣдующій день, 19-го мая, пріѣхалъ въ Варшаву Вильгельмъ, принцъ прусскій, нынѣ его величество императоръ германскій, и присутствовалъ у развода вмѣстѣ съ государемъ, а вечеромъ со всей царской фамиліей въ театрѣ, гдѣ давали новую польскую оперу, нарочно сочиненную по случаю торжествъ коронаціи. 22-го мая императрица, вмѣстѣ съ принцемъ Вильгельмомъ, изволила выѣхать въ Берлинъ, а 23-го въ полдень оставилъ Варшаву и государь императоръ, отправившись за Калишъ для свиданія съ королемъ прусскимъ. Блестательный концертъ знаменитаго Паганини закончилъ длинный рядъ варшавскихъ торжествъ и праздниковъ.

Въ слѣдующемъ 1830 году государь императоръ вновь посѣтилъ Варшаву, въ виду открытія сейма. Пребываніе его величества въ столицѣ Польши въ этомъ году продолжалось двѣнадцать дней, съ 7-го по 19-е іюня. 8-го іюня, по обыкновенію, праздновали день учрежденія Царства Польскаго, и вмѣстѣ съ симъ открытіе сейма. Начавшись съ этого дня, военные торжества слѣдовали одно за другимъ. Войска были собраны въ лагерь. 9-го іюня на Мокотовскомъ полѣ государь смотрѣлъ ученіе полковъ польской уланской дивизіи, а 10-го польской же конно-егерской. 14-го іюня, раннимъ утромъ, училась въ присутствіи его величества, гвардейская кавалерійская дивизія со своей артиллеріей, а 19-го іюня всѣмъ войскамъ, расположеннымъ въ городѣ и его окрестностяхъ, сдѣланъ былъ общій двухсторонній маневръ, послѣ котораго государь императоръ оставилъ Варшаву, закрывъ наканунѣ засѣданія сейма. На-

грады его величества, по обыкновенію, были весьма щедры: за каждый разводъ, за каждый парадъ, смотръ и ученье, произведенные въ его присутствіи, онъ жаловалъ людямъ по рублю денегъ, по фунту мяса и винную порцію; офицерамъ же, всѣмъ безъ исключенія, выражалъ свое монаршее благоволеніе и благодарность. При этомъ и великій князь Константинъ Павловичъ, въ одномъ изъ своихъ приказовъ, заявилъ, что войска «въ полной мѣрѣ удовлетворили его ожиданіямъ», выражалъ увѣренность что «всемиловѣйшія его императорскаго величества благоволенія, объявленные войскамъ неоднократно, послужатъ для нихъ вѣщимъ поощреніемъ къ усугубленію ихъ стараній и усердія, дабы и впредь въ лучшемъ еще устройствѣ и блестящемъ видѣ могли они представляться предъ лицо августѣйшаго государя и удостоиться счастья заслужить высокомонаршее благоволеніе».

Въ этотъ же пріѣздъ въ Варшаву его величество изволилъ пожаловать полку, для ежедневнаго употребленія, пятнадцать серебряныхъ трубъ съ надписью: «лейбъ-гвардіи уланскаго его императорскаго высочества полка».

Прослѣдивъ представленный здѣсь очеркъ военнаго быта и жизни въ Варшавѣ съ 1814 по 1830 годъ, читатель можетъ видѣть, что эта жизнь, при всѣхъ своихъ удобствахъ и служебныхъ выгодахъ, являлась почти непрерывнымъ рядомъ военныхъ и общественныхъ торжествъ и праздниковъ. Служба, конечно, всегда стояла на первомъ планѣ, да и какъ было не служить, какъ было не заниматься своимъ дѣломъ, если цесаревичъ не уставалъ ободрять и поощрять всѣхъ безъ исключенія своихъ подчиненныхъ къ прямому и дѣлательному исполненію ихъ долга, всегда цѣни и отличая усердіе и честное отношеніе къ дѣлу. Но были и свои слабые стороны, о которыхъ вотъ что говоритъ одинъ изъ современниковъ: «Шелъ годъ за годомъ въ непрерывныхъ весельяхъ и удовольствіяхъ. Казалось *повидимому*, что два единоплеменные народа, прежде такъ долго враждовавшие между собой, должны были наконецъ слиться въ неразрывныхъ узахъ братства и любви. Русскіе всѣ заговорили по польски; вся наша военная молодежь обзавелась «коханками» и помышляла только о любовныхъ интригахъ, о танцахъ и другихъ увеселеніяхъ; а красивыми паннами такъ щедро надѣлена Варшава. Какъ войско Аннибала, очарованное въ стѣнахъ Капуи, съ безпечностью предавалось всѣмъ прелестямъ веселой жизни, такъ и русское воинство въ Варшавѣ, прельщенное и ослѣпленное, утопало въ наслажденіяхъ чувственныхъ, не заботясь о будущемъ и не думая вовсе, что могутъ настать когда-нибудь и худшія времена».

И эти времена наконецъ настали.

Какъ умеръ мой дядя.

РАЗСКАЗЪ.

Подъ этимъ заглавіемъ мнѣ недавно были присланы двѣ небольшія тетрадки, при письмѣ отъ одного изъ моихъ старыхъ знакомыхъ, гдѣ мнѣ предоставлялось право воспользоваться содержаніемъ обѣихъ рукописей по своему усмотрѣнію. Первая изъ этихъ тетрадокъ, въ небольшую четверку сѣровой почтовой бумаги, на какой писывали наши отцы въ 30-хъ годахъ текущаго столѣтія, представляетъ собой слежавшуюся отъ времени рукопись; почеркъ красивый, четкій, стариннаго пошиба; чернила порыжели и мѣстами значительно выцвели; въ концѣ рукописи подпись автора и особая, его же руки, помѣтка слѣдующаго содержанія:

«Сельцо Огневка, 14-го мая 1841 года. Сей случай дѣйствительно произошелъ со мною. Сдержитъ ли мертвецъ свое обѣщаніе? Если да, то наслѣдники мои въ этой запискѣ найдутъ объясненіе будущаго случая, долженствующаго имѣть связь съ моею смертію. Ротмистръ въ отставкѣ Иванъ Працевъ».

Вторая тетрадка, такого же размѣра, но на половину тоньше, по вѣшнему виду рукописи и характеру почерка, носитъ уже позднѣйшій характеръ и помѣчена 1861 годомъ.

Мой знакомый, приславшій мнѣ обѣ рукописи, объясняетъ въ своемъ письмѣ, что вторая изъ нихъ написана его братомъ, по смерти котораго въ прошломъ году досталась ему по наслѣдству, вмѣстѣ съ прочими бумагами и фамильными документами. Покойникъ, не считая себя писателемъ, при отличавшей его скромности, не отваживался при жизни печатать свое произведеніе. Воспользовавшись предоставленнымъ мнѣ правомъ, я представляю обѣ рукописи благосклонному вниманію читателя.

ПЕРВАЯ ТЕТРАДКА.

Польскую кампанію 1831 года я дѣлалъ молодымъ человѣкомъ, въ чинѣ поручика Ново-

архангельскаго уланскаго полка. Помню, въ первыхъ числахъ мая мѣсяца призываетъ меня къ себѣ полковой командиръ, только-что возвратившійся изъ главной квартиры, и объявляетъ, что начальникъ штаба дѣйствующей арміи, графъ Толь, временно нуждаясь въ усиленіи состава своихъ ординарцевъ, просилъ прислать ему расторопнаго и толковаго офицера, а потому-де мой выборъ падаетъ на васъ, извольте немедленно же отправляться.

Признаюсь, эта новость пришла мнѣ несовсѣмъ-то по вкусу, такъ что рожа моя невольно вытянулась.

— Вы какъ будто недовольны столь лестнымъ для васъ назначеніемъ? — поморщась, спросилъ меня командиръ.

— Откровенно говоря, полковникъ, я предпочелъ бы оставаться въ полку.

— Это почему-съ?

— Да... по разнымъ причинамъ...

— Напримѣръ-съ?

— Да вотъ, напримѣръ, отъ своихъ отбиваться не хотѣлось бы... мнѣ въ эскадронѣ хорошо... А во-вторыхъ, сами знаете, штабъ арміи — это вѣдь не свой братъ: попадешь тамъ промежъ этихъ петербургскихъ фазановъ; они и между собой-то все на политикѣ, а ужъ съ нашимъ братомъ-армейцемъ... сами понимаете. Мундиръ тоже надо вѣдь съ иголки, а у меня единственный только и остался на хребтѣ, да и тотъ чуть не въ лохмотьяхъ.

— Все это вздоръ-съ, — перебилъ меня полковникъ графъ Толь, — смѣю васъ увѣрить, не такой человѣкъ, чтобы смотрѣть, съ иголки ли вы, или не съ иголки; ему подавай не блескъ, а дѣло. А что касается фазановъ, то вы тамъ будете не одни; графъ приказалъ командировать къ нему по одному офицеру отъ каждаго полка нашей дивизіи. Не дурите и поѣзжайте... Вы должны гордиться столь лестнымъ назначеніемъ... Тамъ, батюшка, можетъ быть вся ваша дальнѣйшая fortuna кроется.

Оставалось только поклониться и сказать «слушаю-съ, господинъ полковникъ!»

Черезъ часъ моя заводская лошадь уже была подъ выюкомъ, и я со своимъ казеннымъ денщикомъ Чупровымъ, благословясь, отправился въ главную квартиру. Представленіе графу Толю и все прочее обошлось на первый разъ благополучно. Остальные три ординарца, командированные вмѣстѣ со мной изъ нашей дивизіи, оказались моими знакомыми, такъ что мы, «бѣдные арміоты», очутились въ средѣ блестящихъ фазановъ, не почувствовали себя одинокими, словно бы какіе-нибудь отверженцы, и съ первой же минуты устроились на совместное общее житіе. Это и графу понравилось, «по крайней мѣрѣ, говорить, всѣ вмѣстѣ, ежели чтò понадобится, не надо посылать порознь разыскивать», да и въ хозяйственномъ отношеніи было удобнѣе: поплотъ ли куда одного или двухъ — все же таки кой-какой офицерскій скарбинько твой не безъ призора остается.

Такъ прошло сутокъ двое, какъ вдругъ въ главной квартирѣ было объявлено движеніе. Куда, зачѣмъ, съ какою цѣлью мы двигаемся — намъ, ординарцамъ, какъ людямъ маленькимъ, конечно, не было извѣстно: особымъ приказаніемъ коменданта главной квартиры просто предписывалось выступить завтра въ такое-то часу утра и кончено. Сборы наши не долги, и времени для нихъ потребно едва ли болѣе чѣмъ писарю на переписку комендантскаго распоряженія. Впослѣдствіи, когда событія уже разыгрались вполне, стало намъ изъ собственнаго участія въ оныхъ извѣстно, что это было движеніе къ Нуру, предпринятое, наконецъ, нашимъ фельдмаршаломъ, графомъ Дибичемъ-Забалканскимъ, на выручку гвардейскаго корпуса, противъ коего двинулся польскій главнокомандующій Скржинецкій, сумѣвшій предъспѣловко обмануть Дибича, продержавъ его нѣсколько дней не только въ заблужденіи, но даже въ полномъ невѣдѣніи насчетъ своихъ истинныхъ намѣреній.

Главная квартира выступила изъ Сѣдльце къ мѣстечку Соколову и, сколько помнится, это было 8-го мая. Признаюсь, мнѣ было очень досадно идти со штабомъ почти-что на мирномъ, т. е. вполне безопасномъ положеніи, въ то время какъ я зналъ, что въ этомъ же самомъ движеніи еще со вчерашняго дня участвуетъ наша бригада, назначенная въ авангардъ генерала Угрюмова; товарищи, дасть Богъ, будутъ драться, а ты сиди себѣ тутъ, да кушай съ фельдмаршалской кухни жирные обѣды! Очень пріятно!..

Дибичъ все время былъ не въ духѣ, видимо досадуя на самого себя за то, что дался въ обманъ Скржинецкому, и опасаясь за гвардію, остающуюся пока подъ грозой удара всей польской арміи. Графъ Толъ казался тоже очень оза-

боченнымъ и, мнится мнѣ, въ свой чередъ нѣсколько дулся на Дибича, коего упрямство, медлительность и нерѣшительность въ сію кампанію не мало и неоднократно причиняли истинно сердечную досаду нашему пылкому начальнику штаба. При такомъ настроеніи духа обѣихъ главноначальствующихъ особъ, ординарецъ держи ухо востро и превращайся какъ бы въ абсолютное ничто, ибо иначе, того и гляди, разнесутъ тебя въ пухъ и прахъ, какъ пить дадутъ! И это понятно, потому что надо же и начальству иногда срывать на комъ-нибудь свой гнѣвъ, если невозможно сорвать его другъ на другѣ.

Для соединенія съ гвардіей надо было переправиться черезъ Бугъ, но Дибичъ былъ въ нерѣшительности, гдѣ именно ему переправляться, и для сего графъ Толъ вмѣстѣ съ нами поѣхалъ на рекогносцировку. Здѣсь мы убѣдились, что Нуръ уже сильно занятъ непріателемъ, расположившимся на командующемъ нами берегу. Это обстоятельство, въ связи съ нѣкоторыми другими стратегическими соображеніями, вынудило графа Толя избрать пунктомъ переправы мѣстечко Грану, куда и двинулся нашъ авангардъ для наводки моста. Штабъ главнокомандующаго прибылъ въ Грану 9-го числа послѣ полудня, и тутъ, для ускоренія переправы, было тотчасъ же приступлено съ сооруженію второго моста.

Сей послѣдній переходъ памятенъ мнѣ по одному, весьма для меня прискорбному, обстоятельству: мой денщикъ Чупровъ, находившійся при моемъ выюкѣ, обѣвшился какой-то сырой зеленью, вдругъ заболѣлъ холерой, которая въ то самое время — съ избыткомъ начинала свирѣпствовать въ рядахъ нашей арміи, и болѣзню его была столь скоротечна, что несчастный, подобранный на пути въ лазаретный фургоны, умеръ въ корчахъ еще до истеченія времени нашего перехода.

Не говоря уже о томъ, сколь было мнѣ жаль потерять этого истинно преданнаго мнѣ человека, положеніе мое безъ него нашлось крайне критическимъ: кто будетъ убирать лошадей? кто будетъ находиться при моемъ выюкѣ? кто, наконецъ, самому мнѣ будетъ прислуживать, хотя насчетъ личныхъ услугъ я вообще и не особенно требователенъ? Пришлось просить денщиковъ моихъ товарищей-ординарцевъ доглядѣть, пока чтò, лошадей и выюки. — Спасибо, добрые люди не отказали, но все-таки надлежало мнѣ, какъ можно скорѣе, озаботиться о достачѣ себѣ новаго человека. А какъ его тутъ достанешь!.. Горе, да и только!..

Мѣстечко Грана само по себѣ ничтожно, но оно расположено въ прекрасной мѣстности, на возвышенностяхъ праваго берега Буга, и до такой степени изобилуетъ роскошными фруктовыми садами, что издали кажется совершенно потонувшимъ въ ихъ зелени.

Особенно энергически началась переправа въ сумерки, какъ только успѣли изготовить второй мостъ, и здѣсь самая кипучая дѣятельность не утихла вплоть до разсвѣта. Хороша была общая картина переправы часовъ въ десять вечера, когда оба берега Буга, и вблизи и вдали, насколько лишь хваталъ глазъ, озарялись безчисленными огнями бивуачныхъ костровъ и когда на безоблачное небо взошла царица ночи, яркая полная луна, облившая своими лучами группу нашего штаба на высокомъ холмѣ и все движеніе этихъ живыхъ рѣкъ, какими казались густыя длинныя колонны нашей арміи.

По одному мосту тянулись батареи, парки и обозы, по другому быстро слѣдовала пѣхота, сверкая подъ луной щетиною безчисленныхъ штыковъ; въ третьемъ мѣстѣ, ниже моста, переходила въ глубокій бродъ конница, шумно разсыпая по водѣ во всѣ стороны мірады алмазныхъ брызгъ. Фельдмаршалъ, стоя на холмѣ съ графомъ Толемъ, то и дѣло разсылалъ то туда, то сюда генераловъ, адъютантовъ и ординарцевъ своей свиты направлять къ переправѣ различныя части войскъ и торопить движеніе арміи. Контрастъ этого тихаго, теплаго вечера съ этимъ глухимъ гомономъ и какъ бы льющимъ движеніемъ русскихъ силъ, производилъ особенное впечатлѣніе на душу и воображеніе каждаго чувствительнаго къ красотамъ природы и жизни человѣка. Невольно чувствовалось въ душѣ, что скоро, очень скоро, быть можетъ, не далѣе какъ на разсвѣтѣ завтрашняго дня предстоитъ нѣчто кровавое, рѣшительное, роковое; а тутъ — эта нѣжная тишина теплаго воздуха и благоуханіе садовъ, эта поэтически мечтательная луна, озаряющая мирныя бѣлыя хатки среди цвѣтниковъ и огородовъ, эти недоумѣвающія фізіономіи селянъ, непричастныхъ никакимъ революціямъ, личики ребятишекъ и женщинъ, любопытно толпящихся въ дверяхъ каждой хатки и не чающихъ, что быть можетъ завтра ихъ сады и мирныя хатки станутъ достояніемъ всепожирающаго пожара, возжennaго боевыми гранатами... Поневолѣ иными минутами сжималось и занывало сердце.

Я стоялъ на фельдмаршальскомъ холмѣ позади графа Толя, когда Дибичъ случайно обратилъ вниманіе на особую группу лицъ, остановившихся у подножія холма. Три улана — передній съ саблей на-голо, двое боковыхъ съ пиками на перевѣсъ черезъ сѣдло — пробирались съ того берега на встрѣчу массѣ проходившихъ войскъ, конвоируя трехъ какихъ-то арестантовъ. У самаго подножія холма на нѣсколько времени имъ пришлось пріостановиться, такъ какъ напоръ густой пѣхотной массы, валившей на встрѣчу, загрохоталъ всю дорогу. Яркій лунный свѣтъ давалъ возможность различить, что подъ конвоемъ уланъ находятся

трое арестантовъ — мужчина и двѣ женщины, изъ коихъ одна, повидимому, держала въ рукахъ укутаннаго во что-то ребенка.

— Что это за люди и куда ихъ ведутъ? Узнайте! — приказалъ графъ Дибичъ, глянувъ черезъ плечо назадъ, на свою свиту.

Графъ Толъ въ свой чередъ обернулся къ намъ и, такъ какъ я первый попался ему на глаза, то поэтому онъ и поручилъ мнѣ исполнить приказаніе главнокомандующаго.

Мигомъ спустился я съ холма и — къ пріятному моему удивленію — узналъ въ конвоирахъ нашихъ Новоархангельцевъ, да еще вдобавокъ людей не только нашего эскадрона, но даже моего взвода и, конечно, обрадовался, какъ радуется всякій офицеръ случайной встрѣчѣ со «своими».

— Здорово, Кубаревъ! — обратился я къ ефрейтору. — Кого это и куда вы ведете?

— Съ иванпостовъ, ваше благородіе. Шампіоновъ препровождаемъ. Наши захватили ихъ, какъ они, значить, типкомъ черезъ цѣпь пробирались; майоръ и изволили отправить ихъ въ полевое комендантство. Надо быть, цыганы, ваше благородіе.

Я взглянулъ на группу арестантовъ. То былъ пожилой цыганъ, безъ шапки, со всклокоченными волосами и бородой, одѣтый въ холщевую сорочку и такіе же порты, босой, оборванный и совсѣмъ дикій на видъ, со злыми и въ то же время испуганно блуждающими, горячими глазами. Рядомъ съ нимъ ежилась и горбилась неопредѣленныхъ лѣтъ женщина, косматая и некрасивая, вся въ лохмотьяхъ; она-то и держала на рукахъ соннаго ребенка, закутаннаго въ дырявый кусокъ шерстяной плахты. Позади же этой пары стояла молодая дѣвушка-босоножка, лѣтъ около двадцати, тоже въ какихъ-то лохмотьяхъ, но съ яркими цвѣтами барвинка въ вьспутанныхъ волосахъ, съ которыхъ сбился на затылокъ пестрый ситцевый платокъ; ожерелье изъ червонныхъ коралекъ сбѣгло съ ея стройно выточенной шеи на разстегнутую пышную грудь и усиливало впечатлѣніе оригинальной красоты, какою была исполнена вся ея фигурка и въ особенноти рѣзкія черты типичнаго цыганскаго лица съ большими миндалевидными глазами. Фізіономіи первыхъ двухъ арестантовъ глядѣли исподлобья съ какой-то тупой угрюмостью; открытое же лицо дѣвушки было спокойно, и въ ея взорѣ мнѣ не удалось подмѣтить ничего, кромѣ нѣкотораго любопытства, возбужденнаго незнакомой и столь необычайной обстановкой, среди которой очутилась теперь эта дѣвушка, повидимому, неожиданно и нежданно.

Я поднялся на холмъ и доложилъ графу Толю объ узнанномъ мною отъ ефрейтора.

— Они, пожалуй, долго будутъ плутать, отыскивая комендантскую квартиру, — замѣтилъ графъ и приказалъ мнѣ проводить конвоировъ

куда слѣдуетъ да кстати уже обождасть тамъ, пока снимутъ съ арестантовъ допросъ и доложить ему о результатахъ онаго.

Я привелъ препорученную мнѣ команду во дворъ, занятый полевымъ комендантствомъ, но тутъ пришлось обождасть съ добрый часъ времени, такъ какъ самъ комендантъ со своими помощниками распорядился порядкомъ движенія войскъ и обозовъ на переправѣ, а офицеръ, на котораго специально была возложена обязанность опроса плѣнныхъ, занятъ былъ въ эту минуту въ хатѣ снятіемъ показаній съ какихъ-то двухъ непріятельскихъ перебѣжчиковъ. Я остался на дворѣ и, закуривъ свою походную трубку, усѣлся на завалинкѣ. Посреднякъ двора пылалъ костеръ, разложенный жандармами, около котораго расположились на землѣ наши цыгане. Конвоиры, привязавъ лошадей къ тыну, присосѣдились тутъ же у огонька и запалили люльки, такъ какъ, съ передачею арестантовъ жандармамъ, ихъ конвоирскія обязанности уже окончились. Въ числѣ этихъ трехъ уланъ находился одинъ хохликъ, Наумъ Середа—тихий, богобоязненный солдатикъ. Одно время онъ, въ качествѣ рейткнехта, ходилъ за моей лошадыю.—«Вотъ, думаю, кстати! Какъ разъ на руку! Вѣдь этотъ Середа отлично можетъ замѣнить мнѣ пока на время моего покойника Чупрова! Семь-ка, и въ самомъ дѣлѣ, выпрошу у Толя разрѣшеніе оставить его пока при себѣ за вѣстового».—Только пока я такъ себѣ раздумываю глядь,—около цыганъ уже образовалась цѣлая кучка разныхъ денщиковъ, жандармовъ, и мои уланы тутъ же. Всматриваюсь и вслушиваюсь, что тамъ происходитъ, а кружокъ всей этой публики, очевидно, чѣмъ-то весьма заинтересованъ. Вдругъ всѣ они дружно расхохотались, когда Середа, какъ опаренный, вскочилъ съ земли на ноги.

— От-го, бисова дочка, нагадала!—воскликнулъ онъ, видимо озадаченный.—Якъ бы знагы мавъ, то й руки не дававъ бы!

— Середа, — окликнулъ я его, — поди-ка, братъ, сюда!

Солдатикъ приблизился ко мнѣ быстрой побѣжкой и сталъ какъ вкопанный, руки по швамъ.

— Что это тамъ у васъ?—спрашиваю его.—Гаданье, что ли?

— Такъ тошно, ваше благородье! Дѣвчина гадае.

— И что-жъ она тебѣ нагадала?

— Та щѣ воно... Мабудь бреше, лядаша... Каже, що ни якого щастця у мене не бачить; що мене вбють чатырнасыстаго маю, бо кровь, каже, бачу.

— А ты и повѣрилъ, дурень?

— Та я що-жъ, ваше благородье... Я не могу знать, а тільке дѣвчина каже, що вбють.

— Ну, а до тѣхъ поръ, пока не убють,

не желяешь ли остаться при мнѣ за вѣстового?

— Радъ стараться, ваше благородье.

— Ладно, въ такомъ случаѣ скажи Кубареву, что вы всѣ отправитесь отсюда вмѣстѣ со мной. Коли мнѣ разрѣшать тебя взять, такъ ты останешься, а не разрѣшать—пойдешь въ эскадронъ вмѣстѣ съ ними. А теперь можешь идти, отдохни пока.

— Слушаю, ваше благородье!

И форменно повернувшись налѣво-кругомъ, солдатикъ отошелъ къ костру, гдѣ молодая цыганка, сидя съ поджатыми подъ себя ногами и нагнувшись поближе къ свѣту, гадала что-то на рукѣ какому-то здоровенному дѣткѣ. Вскорѣ, изъ любопытства, и меня потянуло туда же.

Будто невзначай, подхожу я къ костру,—люди въ ту же секунду спѣшно вскочили на ноги и вытянулись въ струнку.

— Хорошо гадаешь?—спросилъ я.

— Занято, ваше благородье. Все причитаеъ что-то, да таковѣ-то складно.

— Но по каковски же вы съ ней разговариваете? Или такъ, что вы по свѣдому, а она по свѣдому?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородье. Она, шельма, и по нашему трошку маракуеъ, а чего не договаривать, то по-польски доскажетъ. Очинно даже все понятно выходитъ.

Цыганка, продолжая сидѣть на землѣ, смотрѣла въ упоръ на меня своими наглыми, красивыми глазами.

— Проше! рончке!—сказала она, наконецъ, протянувъ мнѣ свою ладонь.—Дай ми ренке! Дай ля Бога!.. Повружен! пану на шенце! Вшистка по правдѣ повядамъ!

Я поддался искушенію и, присѣвъ на корточки, протянулъ ей руку. Солдаты тотчасъ же, съ отличающимъ ихъ въ подобныхъ случаяхъ тактомъ, молча и потихоньку разбрелись въ разныя стороны, такъ что у костра остались только я да гадальщица. Старый цыганъ сидѣлъ нѣсколько поодаль въ сторонѣ, обнявъ руками свои скорченные колѣни, и угрюмо, тупымъ и пристальнымъ взоромъ, не мигая смотрѣлъ на яркое пламя, а его подруга, казалось, вся сосредоточилась въ укачиваніи проснушагося ребенка. Дѣвушка внимательно и низко нагнулась къ моей рукѣ, повернуть ее къ пламени такимъ образомъ, что вся ладонь освѣтилась достаточно ярко. Съ минуту времени молча вглядывалась она въ расположеніе ладонныхъ морщинъ и линий, а потомъ вдругъ затараторила заученнымъ речитативомъ, суля мнѣ богатство, и почести, и славу вмѣстѣ съ женской любовью, и приплетая сюда зачѣмъ-то вдругъ «анѣловъ паньскихъ» и «вшисткихъ свентыхъ» вмѣстѣ съ «панной Маріей на Іорданю». Вижу, вретъ мнѣ моя гадалка свою всегдашнюю, хорошо

заученную пѣсню и ничего интереснаго, какъ-ся, не скажетъ.

— Все это вздоръ!—перебилъ я ее, отнявъ свою руку (я говорилъ съ ней польски).

— Скажи мнѣ что-нибудь путное; а если не можешь, то лучше ужъ вѣсье ничего не говори, чѣмъ болтать пустяки, какъ сорока.

Дѣвушка серьезно и отчасти вопросительно вскинулась на меня глазами.

— Ты тому молодому улану предсказала день смерти?

— Предсказала,—подтвердила мнѣ цыганка, продолжая смотрѣть на меня все тѣмъ же серьезнымъ взглядомъ, въ которомъ, какъ показалось мнѣ теперь, просвѣчивалъ нѣкоторый отблескъ грусти и даже состраданія.

— И ты это правду сказала?

— А развѣ день смерти можно предсказывать нѣ смѣхъ!—пожала она плечами.

— Стало быть, и мнѣ ты можешь предсказать его?

— Каждому человѣку можно... У каждого на рукѣ написанъ день его смерти, только не всякая цыганка прочесть его умѣетъ.

— Въ такомъ случаѣ, читай!

И я опять протянулъ ей руку.

Но дѣвушка не рѣшалась взять ее.

— Зачѣмъ тебѣ?—сказала она, серьезно сдвинувъ свои черныя брови.

— Хочу знать, когда именно умру я.

— Хм!.. ты отъ этого не станешь счастливей.

— Но тогда зачѣмъ же ты сказала улану?

— Э, ему все равно не долго, а ты, можешь быть, будешь еще счастливѣе.

— Все равно, говори!.. я хочу знать... я заплачу тебѣ.

И моя ладонь въ рукахъ дѣвушки опять оборотилась къ пламени.

Цыганка, какъ бы провѣряя свое прежнее изслѣдованіе моей руки, опять осмотрѣла ее всю очень внимательно, и на этотъ разъ видимо прочла на ней нѣчто, но молчала и только снова вскинулась на меня грустными глазами.

— Ну что же? Ну!?—нетерпѣливо повукалъ я ее.—Чего молчишь ты? говори смѣло?—я не боюсь. Когда?

— Четырнадцатаго мая, — произнесла она тихо и медленно.

Мнѣ кажется, что я поблѣднѣлъ при этомъ и рука моя въ ея рукѣ нервно дрогнула. Холодные мурашки слегка побѣжали по моимъ лопаткамъ.

— Что же ты тамъ видишь?—спросилъ я, — убьютъ меня, что-ли?

— Вижу кровь, — еще тише, но твердо и увѣренно отвѣтила цыганка.

Я бросилъ ей на колѣни червонецъ и отошелъ прочь къ завалинкѣ, на свое прежнее мѣсто.

Вскорѣ послѣ этого цыганъ потребовали къ допросу, который, впрочемъ, не раскрылъ намъ ничего интереснаго. Оказалось, что двѣ кочевныя семьи двое сутокъ назадъ остановились таборомъ у околицы Граны, что и подтвердилось изъ разслѣдованія на мѣстѣ, произведеннаго нарочно посланнымъ для этого жандармомъ; одна изъ этихъ семей — отецъ и мать съ груднымъ ребенкомъ и взрослой дочерью — съ разсвѣтомъ вчерашняго дня, еще до появленія у Граны нашего авангарда, ушла за Бугъ на побирushки Христа-ради по окрестнымъ деревнямъ, и на возвратномъ пути къ своему табору была захвачена въ цѣпи однимъ изъ нашихъ ведетовъ. Я доложилъ обо всемъ этомъ начальнику штаба, который и приказалъ немедленно освободить арестантовъ, а конвоирамъ отправляться къ своей части. Пользуясь случаемъ, доложилъ я также графу и о своемъ критическомъ положеніи, вслѣдствіе скоростижной смерти моего денщика, и просилъ о разрѣшеніи оставить мнѣ хотя на первое время моего бывшаго рейткнехта. Графъ охотно согласился на эту просьбу, приказавъ лишь извѣстить полковаго командира, что рядовой 2-го эскадрона Наумъ Середа, по распоряженію начальника штаба дѣйствующей арміи, остается до времени при главной квартирѣ, въ качествѣ вѣстового. Это извѣщеніе было тутъ же написано мной на клочкѣ бумаги и вручено ефрейтору Кубареву для передачи по назначенію.

— Ну, любезный другъ, — шутиливо обратился я къ Середѣ, — ты остаешься при мнѣ, а такъ какъ цыганка предсказала и мою смерть тоже на четырнадцатое мая, то это выходитъ очень кстати: по крайней мѣрѣ, насъ убьютъ вмѣстѣ.

— Радъ стараться, ваше благородье! — выпалилъ Середа обычной, заученной фразой.

Печальное предсказаніе молодой цыганки послужило моимъ сожителямъ-ординарцамъ не только темой для веселой болтовни на весь остатокъ этого вечера, но и законнымъ предлогомъ къ тому, чтобы расписать за ужиномъ у штабнаго маркитанта двѣ-три лишніе бутылки Аи, такъ какъ мнѣ уже не долго оставалось пользоваться благами сей бременной жизни, въ числѣ коихъ золотистое пшпучее Аи занимало, конечно, не послѣднее мѣсто.

10-го мая графъ Дибичъ выступилъ изъ Граны на Цѣхановець къ Нуру, гдѣ въ этотъ день лично управлялъ атаккой авангарда противъ польскаго генерала Лубенскаго, который былъ окруженъ нашими войсками; но такъ какъ сраженіе разыгралось уже вечеромъ при лунномъ свѣтѣ, то разбитому и частью разбѣянному непріятелю удалось подъ покровомъ ночи уйти чрезъ болота и чашу лѣса, гдѣ наша кавалерія не могла его преслѣдовать.

Все утро 11-го мая прошло у насъ въ без-

дѣйствию и напряженномъ ожиданіи, такъ какъ фельдмаршалъ, не имѣя извѣстій ни о гвардіи, ни о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ непріятеля, опять впалъ въ первѣшительность относительно дальнѣйшаго направленія своихъ движеній.

Но въ полдень получилъ, наконецъ, Дибичъ столь желанное извѣстіе отъ великаго князя Михаила Павловича о томъ, что непріятель отступаетъ, а гвардейскій корпусъ 12-го числа начинаетъ преслѣдованіе оного въ направленіи къ Менженину. Это тотчасъ-же оживило главнокомандующаго, который, избавившись отъ опасеній за гвардію, возымѣлъ вдругъ намѣреніе истощить всѣ возможные усилія, дабы предупредить непріятеля гдѣ-либо на пути его отступленія, или, по крайней мѣрѣ, настигнуть оного. Съ этой цѣлью тотчасъ-же было предпринято дальнѣйшее движеніе къ Высоко-Мазовецку, дабы стать на одной высотѣ съ гвардіей въ Менженинѣ; но такъ какъ движеніе наше началось только послѣ полудня, то мы въ сей день и успѣли сдѣлать лишь небольшой переходъ до селенія Клукова и уже на слѣдующій день (12) подошли къ Высоко-Мазовецку. Здѣсь фельдмаршалъ отдалъ распоряженіе о дальнѣйшемъ движеніи двумя колоннами на Шуслово, откуда, послѣ нѣсколькочасового привала, обѣ колонны продолжали двигаться—правая, при коей находился самъ Дибичъ, на Пыски, а лѣвая на Луботинъ.

День 13-го мая былъ жарокъ до нестерпимой духоты. Колонны все время шли въ густыхъ облакахъ пыли, сквозь которую въ двухъ-трехъ шагахъ уже ничего невозможно было видѣть. Но люди шагали бодро, въ хорошемъ настроеніи духа, ибо каждый изъ нихъ почти инстинктивно чувствовалъ, что вотъ-вотъ, чуть не сейчасъ предстоитъ большая, серьезная битва. Выступивъ раннимъ утромъ, правая колонна (1-й корпусъ и 3-я гренадерская дивизія) прибыла въ Пыски едва лишь къ ночи. Въ этотъ день наша пѣхота сдѣлала слишкомъ пятьдесятъ верстъ, идучи предъ собою пять сутокъ безъ дневокъ, форсированными маршами, а на завтрашній день предстояло намъ сдѣлать еще верстъ двадцать, по меньшей мѣрѣ. Позднимъ вечеромъ прибылъ, наконецъ, въ Пыски и штабъ нашего фельдмаршала. Это мѣстечко мы нашли совершенно разрушеннымъ; удѣляли какими-то судьбами только костель да два домика, въ коихъ и расположился графъ Дибичъ съ начальникомъ штаба. Мы, мелюзга, ночевали, конечно, подъ открытымъ небомъ. Но тутъ уже было не до сна. Всѣ признаки указывали на непосредственную близость непріятеля. Еще на походѣ, вечеромъ, намъ ясно былъ слышенъ невдалекѣ ружейный огонь, доносившійся изъ авангарда генерала Берга ¹⁾, который вытѣснялъ въ это

самое время арьергардъ поляковъ изъ ближнихъ селеній Гостеры и Надборы. Во всей нашей арміи чувствовалось общее возбужденіе. Надѣялись, что завтрашнее утро уже навѣрное будетъ роковымъ, рѣшительнымъ, а потому живая дѣятельность, обыкновенно присущая всякому кануну большой битвы, въ особенности обнаруживалась въ штабѣ нашего главнокомандующаго. Къ нему во дворъ, то и дѣло, пріѣзжали верхами изъ разныхъ мѣстъ начальники отдѣльныхъ частей и всевозможные адъютанты, ординарцы, вѣстовые съ записками и рапортами, а изъ нашей свиты чуть не поминутно то тотъ, то другой направлялись во всѣ стороны съ особыми приказаніями и порученіями. Разговаривать много было некогда; отрывисто перекидывались между собой и со встрѣчными пріѣзжими лишь отдѣльными словами да короткими мимолетными фразами. Немногіе часы, оставшіеся до разсвѣта, фельдмаршалъ и его начальникъ штаба употребили на отдачу необходимыхъ диспозицій для наступающаго утра, и почти до самой утренней зари въ покояхъ графа Дибича свѣтился огонь, а двигавшіеся въ нихъ тѣни показывали, что онъ совѣщается со своими помощниками, выслушиваетъ донесенія и отдаетъ приказанія.

Во всѣ эти часы мною невольно овладѣвало порою какое-то жуткое чувство.

Проклятое предсказаніе цыганки, сколь ни старался я о немъ не думать, насильственно, помимо моего хотѣнія, врывалось въ область моихъ мыслей и на нѣкоторыя мгновенія всецѣло овладѣвало ими; отзвываясь въ то же время и въ груди слегка тревожнымъ занимающимъ ощущеніемъ душевной тоскливости. Конечно, разсудокъ увѣрялъ меня, что все это чистѣйшій вздоръ, которому даже смѣшно поддаваться, такъ какъ ощущенія эти близко граничатъ съ постыднымъ чувствомъ малодушія и трусости. И я усиленно старался отвлечь свои мысли въ какую-нибудь другую сторону, цѣпляясь ими за первый попавшійся предметъ, за любую подвернувшуюся тему для заботы, размышленія или разговора, — заговаривалъ о совѣмъ постороннихъ вещахъ съ товарищами, выискивалъ себѣ какое-нибудь дѣло, занятіе; пересмотрѣлъ ни съ того ни съ сего свой походный скарбикъ, перечелъ письма отъ родныхъ, пересчиталъ свои денги, высчиталъ, основываясь на теоріи вѣроятностей, сколько времени мнѣ еще остается до возможнаго производства въ штабс-ротмистры по вакансіи, осмотрѣлъ свои выюки, сдѣльный уборъ, подковы лошадей... но увы! — роковыя слова «14-е мая», — т. е. значить *завтра* — какъ библейское «*мани, факель, фаресъ*», огненными буквами прожигали мой мозгъ. Мое внутреннее состояніе, мнится мнѣ, близко походило на состояніе человѣка, приговореннаго къ смертной

¹⁾ Федоръ Федоровичъ, впоследствии графъ, фельдмаршалъ и намѣстн. Царства Польск. *Аст.*

казни, у котораго тѣмъ не менѣ порой мелькаетъ въ душѣ смутная надежда, что авось-либо все это какъ-нибудь и не случится, что въ самую послѣднюю минуту вдругъ примчится на мѣсто казни благотѣльный вѣстникъ, который принесетъ ему помилованіе... Я искренно проклиналъ и цыганку, и себя, и свое малодушіе, и всѣ суевѣрія на свѣтѣ, и ту минуту, когда мнѣ вздумалось протянуть руку для гаданья.

А если ничего этого не случится, какимъ глумлюсь, какимъ презрѣннымъ трусомъ окажусь я предъ самимъ собой!.. Но полно! Такъ-ли? Предъ однимъ-ли собой?.. Развѣ товарищи не замѣчаютъ, что со мной дѣлается?.. Нѣтъ, они видятъ, они прекрасно понимаютъ все, все, что творится въ моей душѣ, и они сожалеютъ обо мнѣ, считая мое настроеніе предчувствіемъ близкой смерти; а завтра, когда я выйду цѣль и невредимъ изъ этого боя, они же будутъ первыми, которые посмѣются надо мной и назовутъ мое теперешнее состояніе не предчувствіемъ, а трусостью. И я старался приободриться, казаться спокойнымъ, равнодушнымъ, беззаботнымъ, и самолюбіе мое работало въ этомъ направленіи настолько успѣшно, что мнѣ большею частью довольно хорошо удавалось по внѣшности маскировать мои истинныя чувства предъ товарищами.

Часу во второмъ ночи пошелъ я къ конюшнямъ поглядѣть, что подѣлываютъ мои лошади—выѣдены-ли торбы, достаточно-ли подброшено имъ сѣна. Замѣтивъ мое приближеніе, Наумъ Середа поднялся съ вязанки сѣна, на которой сидѣлъ, и опустилъ за обшлагъ шинели коротенькую люльку-носогрѣйку, которая вообще у нашихъ солдатъ дѣлается съ мѣдными крышками, чтобы безопасно прятать трубку съ огнемъ за рукавъ, при приближеніи начальства.

— Чего ты не спишь, Середа?

— Э, я вже выспавсь, ваше благородье... Коніи доглядаю... Ничого, дай Боже на здоровье, сплять-собі. А вы вже встали?

— Я еще и не ложился.

— Чого се такъ?.. Вы бы прилягли трошки на соломи, а то, бачь, якъ бы не зморытиса завтра. Давайте, я простягну вамъ шинелю.

Такое участіе со стороны Наума показалось мнѣ отчасти подозрительнымъ: ужъ не проникаетъ ли онъ чутьемъ во вся сокровенная моего духа въ его теперешнемъ состояніи?—И вотъ, при лунномъ свѣтѣ, ударявшемъ прямо въ лицо солдата, я взглянулъ на него, въ надеждѣ убѣдиться въ своемъ подозрѣніи или прочесть на немъ чувства, тождественныя съ моими.

— Ныначь ты зажуривьсь, Науме?—какъ бы въ шутку спросилъ я его по-малороссійски.

— Я?—возразилъ онъ въ нѣкоторомъ недоумѣніи;—ні, ваше благородье... Коніи у порадиці,

усе справлено, самъ, кажу вамъ, выспавсь,—съ чого-жъ бы мені журытиса, чи сумоваты?

— А цыганка?

— Ой, пекъ ей, бісовою дочці!—махнулъ Середа рукой.—Видъ доли не втечи! Що буде, то буде, а буде що Богъ дасть!.. Я и у думці не маю того!

И дѣйствительно, лицо Середы отражало на себѣ полнѣйшее, невозмутимѣйшее внутреннее спокойствіе.

Отчего же во мнѣ нѣтъ этого чувства? Вѣдь намъ обоимъ предсказано одно и то же; вѣдь въ первую минуту и его очевидно взволновало предсказаніе, а между тѣмъ онъ спокоенъ, я же томлюсь... А казалось бы, и по умственному развитію, и по силѣ сознанія нравственнаго долга я долженъ стоять выше простосердечнаго Наума.—Отчего же это выходитъ совсѣмъ на оборотъ?..

Признаюсь, въ ту минуту мнѣ стало совѣстно предъ Наумомъ и въ то же время досадно на самого себя: зачѣмъ существуетъ такой невыгодный для меня контрастъ между моимъ внутреннимъ суевѣрнымъ настроеніемъ и христіански-покорнымъ спокойствіемъ этого простого, безхитростнаго солдата.

«Все нервы! рѣшилъ я про-себя, все оттого, что эти дни я находился въ чрезмѣрномъ физическомъ напряженіи... большіе переходы, недостатокъ сна... Середа правъ: мнѣ и въ самомъ дѣлѣ надо хоть немного выспаться, чтобы окончательно не измориться завтра».

И я, закутавшись съ головой въ мою шинель, растянулся на двухъ подостланныхъ мнѣ снопахъ соломы. Къ счастью, удалось заснуть довольно скоро.

Я спалъ не болѣе двухъ часовъ, но и этотъ кратковременный сонъ освѣжилъ мои физическія силы и чрезъ то благотѣльно подѣйствовалъ на нервы, которые у меня поуспокоились и окрѣпли. Умывшись холодной водой изъ криницы и наскоро выпивъ стаканъ горячаго чая, я почувствовалъ себя окончательно бодрымъ и готовымъ на новые труды. Румяное солнышко уже поднялось надъ горизонтомъ и холодокъ яснаго утра освѣжительно обѣивалъ мои щеки. Вчерашнія ночныя сомнѣнія и томленія съ меня какъ рукой сняло, такъ что я даже былъ радъ предстоявшей битвѣ. — «Що буде, то буде, а буде що Богъ дасть», вспомнились мнѣ слова Наума Середы, и я не могъ не сознаться, что въ данномъ положеніи это была самая лучшая философія.

Такъ началось для меня утро 14-го мая.

Войска авангарда, едва лишь начало свѣтать, уже двинулись къ Остроленкѣ, полныя надежды настигнуть непріятеля еще по сю сторону Буга. Подяки съ самаго начала своего возстанія постоянно хвастались, какъ въ варшавскихъ, такъ и въ заграничныхъ газетахъ, своимъ превосходствомъ надъ російскою арміей,

не мало издѣваясь надъ оной при всякомъ случаѣ. Эти издѣвательства и безнабашное хвастовство нерѣдко доходили по адресу, и потому исполнѣе будетъ понятно, если я скажу, что россійская армія, въ особенности въ лицѣ ея офицеровъ, читавшихъ иногда эти журналы, горѣла желаніемъ доказать, что она все та же, какъ и въ 12-мъ, и въ 13-мъ, и въ 29-мъ годахъ. Да и съ чего, наконецъ, было бы ей вдругъ переродиться?!

Штабъ главнокомандующаго выступилъ полтора часами позднѣе передовыхъ войскъ и слѣдовалъ непосредственно за авангардомъ, врученнымъ на сей день генералъ-адъютанту Бистрому, столь искусно руководившему предъ симъ авангардомъ гвардейскаго корпуса при отступленіи оного. Это назначеніе было со стороны Дибича лестнымъ знакомъ особаго довѣрія къ сему генералу, такъ какъ подъ его начальство поступили теперь соединенныя силы авангардовъ гвардіи и дѣйствующей арміи, т. е. графъ Ностицъ и генералъ Бергъ. Въ девятомъ часу утра уже раздались первые выстрѣлы. Непріятель былъ настигнутъ, и фельдмаршалъ, слѣдовавшій все время верхомъ, поспѣшилъ къ выходу изъ большого лѣса, дабы въ непосредственной близости къ мѣсту боя самолично слѣдить за его ходомъ. Миновавъ опушку лѣса, въ мелкомъ кустарникѣ слѣзъ онъ съ лошади и съ личной наружнаго спокойствія, сквозь которую однако прорывалось порой внутреннее волненіе, совѣтовался съ графомъ Толемъ о принятіи различныхъ мѣръ къ обезпеченію дальнѣйшаго боя. Въ это время быстрымъ шагомъ проходили мимо ихъ войска 3-й гренадерской дивизіи, запотѣлыя, запыленные, усталыя, но довольныя тѣмъ, что наконецъ-то непріятель настигнутъ и что ихъ семидневный форсированный маршъ не пропалъ-таки даромъ. Графъ Толь, со свойственной ему пылкостью, особенно пробуждавшеюся въ немъ при звукѣ перваго боевого выстрѣла, видимо горѣлъ нетерпѣніемъ лично ознакомиться съ характеромъ мѣстности и ходомъ начавшагося сраженія, а потому онъ почти разсѣянно выслушивалъ предположенія и соображенія фельдмаршала и при первой удобной минутѣ спѣшилъ ударить отъ него впередъ.

Захвативъ съ собою Сумскій гусарскій полкъ, онъ на-рысѣхъ пошелъ съ нимъ стороной, черезъ лѣсъ. Нѣсколько минутъ спустя, мы выѣхали на совершенно открытое мѣсто, съ коего вся сцена предстоявшаго дѣйствія сдѣлалась намъ видна какъ на ладони. Первое, что мы замѣтили, были клубы чернаго дыма надъ селеніемъ Лавы, изъ коего графъ Ностицъ только-что выбилъ непріятеля. Впереди, почти прямо противъ насъ, открылся видъ на Остроленку: красивыми силуэтами на ясномъ фонѣ неба вырѣзались ея бѣлые дома, сады, черепичныя крыши и костельныя башни. На

ея сѣверномъ концѣ высился старый бернардинскій «кляшторъ», словно фортъ, окруженный каменною стѣною. Остроленка — небольшой городокъ на лѣвомъ берегу Нарева, соединялась съ его правымъ берегомъ двумя мостами — однимъ на сваяхъ, другимъ плавучимъ — длиной около ста сажень каждый, и отстоявшими одинъ отъ другого шаговъ на полтора-два. Впереди городка съ нашей стороны тянулся рядъ песчаныхъ холмовъ, которые окаймляли его, въ видѣ вала, почти правильнымъ полукружіемъ. Этими холмами и воспользовался непріятельскій аріергардъ для защиты города, расположивъ на нихъ стрѣлковыя цѣпи и орудія такимъ образомъ, что онѣ весьма выгодно обстрѣливали всѣ дороги, по которымъ приближались войска россійской арміи. По ту сторону рѣки, за мостами, въ разстояніи около полторы версты отъ послѣднихъ, бѣлѣлся подъ самымъ лѣсомъ обширный станъ польской арміи, казавшійся совершенно спокойнымъ.

Было десять часовъ утра. Передовыя войска польскаго аріергарда вплоть до самаго города оказывали намъ довольно слабое сопротивленіе. Графъ Толь (въ свитѣ коего имѣлъ честь находиться и я) съ занятаго имъ пункта весьма удобно наблюдалъ, какъ русскія войска приближались къ Остроленкѣ — справа графъ Ностицъ, слѣва Набоковъ съ 3-ю гренадерской дивизіей. Вотъ, въ маршъ-маршъ вынеслась впередъ наша артиллерія въ числѣ двадцати-шести орудій, и своимъ мѣткимъ огнемъ въ теченіе не болѣе сорока минутъ принудила къ отступленію непріятельскую артиллерию и пѣхоту, занимавшія песчаные холмы. Нашимъ пѣхотинцамъ было приказано тотчасъ же двинуться на приступъ и занять городъ. Мы отлично могли наблюдать это по истинѣ геройское наступленіе. Справа двигались батальоны карабинеръ 5-го и 6-го полковъ, слѣва батальонныя колонны Астраханцевъ и Суворовцевъ, всего въ количествѣ семи батальоновъ. Съ ружьями на-перевѣсъ, наблюдая равненіе въ рядахъ, по глубокому песку и безъ единого выстрѣла, въ грозномъ молчаніи шли эти отборныя части русской арміи. Противъ нихъ оставалась на холмахъ бригада Богуславскаго, въ числѣ девяти батальоновъ, заключавшая въ себѣ цвѣтъ и гордость арміи польской — знаменитый полкъ «чвартаковъ», этихъ любимцевъ цесаревича Константина, 8-й линейный полкъ и легионъ ветерановъ, прикрывшихъ отступленіе войскъ, только-что покинувшихъ песчаныя возвышенности. Натискъ гренадеръ съ карабинерами оказался столь на-стойчивымъ, что врагъ не устоялъ. Не удержали нашихъ ни уличныя баррикады, ни горячій огонь съ крышъ и балконовъ, изъ дверей и оконъ, ни пожаръ строеній, зажженныхъ во многихъ мѣстахъ гранатами, ни защита нѣсколькихъ опорныхъ пунктовъ, какъ напри-

мѣръ, базарной площади, бернардинскаго кляштора и кладбища, ни отчаянное сопротивленіе поляковъ, сражавшихся уже не для удержанія за собой города, а лишь ради собственнаго спасенія. Почти каждый домъ приходилось брать приступомъ. Богуславскій съвозъ пылающія улицы спѣшилъ къ мостамъ, какъ къ единственному пути своего отступленія, но увы!—этотъ путь былъ ему уже отчасти пересѣченъ нашими. Здѣсь пошла рукопашная свалка, причѣмъ сражавшіеся сталкивали другъ друга въ воду. Спусти около часу, я самъ видѣлъ въ рѣкѣ массу труповъ, которыхъ на слѣдующій день вылавливали неводомъ. На противную сторону Нарева удалось отойти лишь слабымъ остаткамъ бригады Богуславскаго. Такимъ образомъ, взята была нами Остроленка. Съ того момента, какъ гренaдеры Набокова скрылись за песчаными холмами, графъ Толь съ гусарами и двумя конными орудіями подвинулся впередъ, дабы быть на одной высотѣ со штурмующими частями. Одновременно со вступленіемъ гренaдеръ въ городъ, и онъ подошелъ слѣва, т. е. съ нижней стороны онаго, къ берегу Нарева, съ коего два конныя орудія тотчасъ же открыли горячій огонь по ретирующимся полякамъ. Непріатель отвѣчалъ намъ изъ—за рѣки артиллерійскимъ же огнемъ, что и вынудило графа укрыть гусарскіе эскадроны за ближайшимъ песчанымъ бутромъ, тогда какъ самъ онъ со своими адъютантами и ординарцами остался при орудіяхъ. Ядра, то и дѣло, взрывали вокругъ песчаную почву, гранаты лопались направо и налево, обсыпая насъ пескомъ и комьями земли, и—надо сознаться—жутко-таки было стоять въ бездѣйствіи подъ огнемъ, хотя я и не былъ уже новичкомъ относительно огня, не только артиллерійскаго, но и ружейнаго. Главное, что кажется особенно томительнымъ въ такихъ случаяхъ, это именно бездѣйствіе, пассивность. Идти впередъ—ничего, ѣхать въ ту или другую часть съ порученіемъ, хотя бы и въ болѣе опасный огонь—тоже ничего; но стоять на мѣстѣ, какъ бы служа противнику мишенью—это, признаюсь, скверно: дѣла у тебя никакого и потому невольно начинается дѣлать въ голову всякая дрянь, въ родѣ того что вотъ-де такого-то и того-то уже хватило, столько-то раненыхъ унесли назадъ—скоро, надо быть, и до тебя дойдетъ очередь... И хотя никто изъ насъ не кланялся предъ польскими гостинцами (самолюбіе не допускало), а все же въ душѣ каждый досадливо задавалъ себѣ вопросъ: «И чего этотъ графъ безъ дѣла торчать тутъ на юру, словно бы убѣждать насъ въ своей храбрости желаетъ!»

Но присутствіе его именно въ этомъ мѣстѣ было далеко не безцѣльно.

Вмѣстѣ съ остатками «чвртаковъ» и «ветерановъ» перешло на ту сторону и нѣсколько

нашихъ гренaдеръ, которыхъ однако поляки попытались назадъ, и такимъ образомъ свайный мостъ въ теченіе нѣкотораго времени оставался совершенно пустымъ, если не считать нѣсколькихъ распростертыхъ на немъ труповъ и такихъ раненыхъ, которые не въ состояніи были двигаться. Поляки попытались было воспользоваться сими минутами, чтобы зажечь его, но это имъ почему-то не удалось. Мы, по силѣ возможности, старались оказывать имъ въ томъ помѣху какъ со стороны нашихъ двухъ орудій, такъ и той батареи, что была выставлена княземъ Горчаковымъ тоже на берегу, съверіе города. Тѣмъ не менѣе, непріатель приступилъ къ разрушенію моста и успѣлъ уже снять нѣкоторую часть досчатой настилки. Видя недостаточность нашего артиллерійскаго дѣйствія, графъ Толь сразу разослалъ всѣхъ своихъ адъютантовъ и большую часть ординарцевъ въ разныя стороны, съ порученіемъ отыскать и привести къ нему какъ можно скорѣе и какъ можно больше батарейныхъ орудій. Изъ ординарцевъ остались при немъ только двое,—въ томъ числѣ и азъ, многогрѣшный.

Около одиннадцати часовъ утра, прискакалъ къ намъ въ сопровожденіи трехъ-четырехъ человекъ, генераль-адъютантъ Вистромъ.

— Enfin vous voilà, cher comte!—воскликнулъ онъ, протягивая съ коня руку.—Я только что получилъ приказаніе фельдмаршала овладѣть городомъ и мостами и утвердиться на томъ берегу, и вотъ—прискакалъ сюда убѣдиться напередъ въ какомъ положеніи дѣло, такъ какъ отсюда, кажется, лучше всего можно видѣть все что надо.

— Городъ уже нашъ,—отвѣчалъ графъ,—остается исполнить остальное. Поручикъ Пращевъ!—обернулся онъ ко мнѣ,—поѣзжайте сейчасъ же въ городъ, отыщите тамъ генерала Набокова и передайте ему...

— Нѣтъ,—возразилъ Вистромъ,—это я слѣлаю и самъ, хотя мнѣ и очень жаль перебить столь лестное порученіе у молодого человѣка.

— Онъ не останется безъ порученія,—улыбнулся графъ и, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ.—Вы сейчасъ же возьмете пять человекъ гусаръ за вѣстовыхъ и отправитесь къ мосту, тамъ присоединитесь къ войскамъ, которыя перейдутъ на ту сторону и, оставаясь съ ними до конца сраженія, будете присылать мнѣ чрезъ вашихъ гусаръ извѣщенія съ мѣста о всѣхъ важнѣйшихъ перепетіяхъ боя. Я преимущественно буду находиться здѣсь при орудіяхъ. Поняли?

— Понялъ, ваше сіятельство.

— Ну, желаю успѣха. До свиданья.

Я далъ шпоры и поскакалъ къ гусарамъ. Порученіе было такое, что хотъ бы и любому офицеру генеральнаго штаба въ пору. Я не могъ не сознавать, на сколько графъ былъ милостивъ ко мнѣ и на сколько онъ вѣрилъ мнѣ, возлагая столь важную задачу на меня, про-

стого строевого армейского офицера. Надо было во что бы то ни стало оправдать столь лестное доверие. И хотя пробыть все время боя безмянно в передовой линии—дѣло само по себѣ далеко не шуточное, тѣмъ не менѣе, могу сказать, я скорѣе былъ радъ этому обстоятельству: все же лучше, чѣмъ стоять пассивно подъ огнемъ на этомъ берегу, съ возможной перспективой быть убитымъ или изувѣченнымъ безцѣльно и бесполезно.

Я ѣхалъ съ гусарами по самому берегу рѣки, пробираясь къ мосту кратчайшимъ путемъ, мимо разныхъ заборовъ и домиковъ, среди которыхъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ уже вздымалось къ небу курево пожара, только гляжу — на встрѣчу намъ идетъ какая-то дивчина съ коромысломъ на плечѣ, — несетъ два ведра полные водой, — и вдругъ слышу за собой знакомый голосъ:

— Ваше благородье! Гусарѣй хочутъ наповатыся... Позвольте?

Оборачиваюсь — мой Наумъ Середа.

— Ты здѣсь какими судьбами?

— Та я жъ при вашемъ благородью...

— Да кто тебѣ это позволилъ?

— Виновать, ваше благородье! Простытъ мене, я собѣ думавъ, що якъ я на вѣстяхъ, то мені при васъ треба бути.

— А выжъ ты на кого оставилъ?

— Э, выжъ я ще й зранку у штабѣ сдавъ Гузику. Ничдо, вінъ чоловікъ вірний.

— Убирайся отсюда сію же минуту! Чтобъ духу твоего здѣсь не было! Въ штабѣ каналья! И тамъ меня дожидайся.

Наумъ/Середа, чуть не плача, скорчилъ жалобную рожу.

— Ваше благородье! — взмолился онъ, — змилуйтесь хочъ для Бога! До якого жъ я біса теперичка у штабъ поиду! И дѣ его спукаты тамъ?! Позвольте вже при васъ!.. А то хто жъ васъ доглядаты буде?!

«Отъ судьбы видно не уйдешь!» подумалось мнѣ, и я разрѣшилъ ему остаться, удивляясь только тому, что какими это судьбами не замѣтилъ его раньше, еще на походѣ? Впрочемъ, оно и не мудрено: въ нашей свитѣ тянулось столько разнаго народа — гдѣ тамъ замѣтить этого дурня въ хвостѣ конвоя, среди толпы всякихъ въ стовыхъ рейткнехтовъ! Да мнѣ и въ голову о немъ не приходило.

— Позвольте, ваше благородіе, испить маленько, — подкрѣпилъ между тѣмъ просьбу Середы одинъ изъ гусаровъ. — По жарѣ-то больно ужъ мы притомились, а тамъ Богъ его вѣсть, когда-то еще придется!.. Гоньбы, чай, не мало будетъ.

Дѣйствительно, было очень жарко, и самого меня уже давно томила сильная жажда.

— Гей! — Дивчино! Чекай трѣшки! — остановилъ Середа поровнявшую съ нами дѣвушку и, соскочивъ на землю, бросилъ поводья своего коня одному изъ гусаръ, снявъ съ коромысла вед-

ро и поднявъ его ко мнѣ, чуть не вровень съ моими губами. Въ то же время кто-то изъ нашихъ спутниковъ распорядился подобнымъ же образомъ и съ другимъ ведромъ. Съ безпокойнымъ, пугливымъ любопытствомъ поглядывая на насъ, дѣвушка стояла какъ-то тупо-покорно, пока мы продѣлывали всю эту процедуру съ ея ведрами. Я напился, что называется, веласть, хотя наревская вода и не могла назваться особенно вкусной. Середа, растопыривъ ноги, жадно принявъ послѣ меня къ ведру губами, и только что началъ онъ пить, какъ въ воздухѣ совсѣмъ таки близко къ намъ послышалось зловѣщее шипѣнье и въ тотъ же мигъ какая-то шальная граната шлепнулась на землю не далѣе какъ въ двухъ-трехъ шагахъ предъ Середой. Лошадь моя инстинктивно шарахнулась нѣсколько въ сторону и затѣмъ уперлась на мѣстѣ, вся дрожа, вся подавшись назадъ и пугливо косясь на неожиданную гостью.

Я почувствовалъ какъ вдругъ упало и захолонуло въ мнѣ сердце, а между тѣмъ глаза мои такъ и впились въ небольшой черный шаръ, быстро, съ легкимъ шипѣньемъ вертѣвшійся по землѣ, испуская изъ своего горлышка струйку бѣлаго дыма.

«14-е мая!» мелькнуло въ моемъ мозгу. — «Погибъ!» И едва лишь успѣлъ я это подумать, какъ вмѣстѣ съ блескомъ огня раздался оглушительный трескъ разрыва. Какой-то черепокъ зыкнулъ мимо моего уха, въ лицо ударились комья земли, а сбоку раздался чей-то короткій крикъ — показалось будто голосъ женщины. Кони наши затропотили и стали биться. Чувствуя, что, слава Богу, кажись не раненъ, я оглядѣлся вокругъ — и первое что бросилось мнѣ въ глаза — это мой Середа, какъ и за мгновеніе предъ симъ съ растопыренными ногами, но уже въ недоумѣвающей позѣ надъ разбитымъ, упавшимъ на землю ведромъ, и вдобавокъ весь облитый водой.

— От-то штука! Дѣбре ведѣрко було! — пробормоталъ онъ, качая головой.

— Тебя не ранило? — спросилъ я.

— Ні, не ранило; тільке ведро поранило... Якъ вдарыло у край, то нынчѣ мені по зубамъ хто дасть!

— И никого не задѣло? — обернулся я къ людямъ.

— Слава Богу благополучно ваше благородіе! — въ одинъ голосъ отозвались оправившіеся гусары. — Только вотъ лошадь покалѣчило.

И въ самомъ дѣлѣ, несчастный конь, растопыривъ на всѣ четыре ноги, стоялъ какъ ошальлый, съ низко понуренной головой. Осколкомъ снесло ему всю нижнюю часть морды. Кровь струей лилась на землю. Хозяинъ этого коня живо снялъ съ него уборы и выжъ и, при помощи товарищей, взвалилъ ихъ себѣ на плечи.

— Прикажете, ваше благородіе, назадъ итти въ полкъ? — спросилъ онъ.

— Ну, конечно, куда-жъ еще!

— Слушаю, ваше благородіе.

И гусарь, сгибаясь подъ тяжелой ношей, побрелъ себѣ обратно.

Несчастный конь, безпомощно покидаемый на произволъ судьбы, повернулъ голову и то-скливымъ взглядомъ проводилъ своего хозяина. Служили вмѣстѣ,—умирать пришлось порознь...

— Гэй, дѣвино! Куды побѣгла, дурнѣ!—кри-чить между тѣмъ Середа во слѣдъ убѣгавшей дѣвушкѣ. — Вертайся бо сюды! Подбѣри ве-дѣрки!

Но той съ перепугу было уже не до ве-дерокъ.

Середа только рукой махнулъ — «От-то, бачъ, дурнѣ!»—и живо вскочилъ на свою суетившуюся лошадь.

Мы крупной рысью двинулись далѣе и че-резъ минуту были уже у моста. Здѣсь, около строевѣй и за бугорками, залегло нѣсколько на-шихъ застрѣльщиковъ, а въ самомъ устьѣ улицы, ведущей къ мосту, стояло орудіе, кото-рое отвѣчало двумъ польскимъ пушкамъ, по-ставленнымъ на шоссе какъ, разъ противъ са-маго моста, такъ что огонь ихъ, анфилировалъ не только мостъ, но и ведущую къ нему ули-цу. Повсюду валялись трупы наши и непрі-ятельскіе. Здѣсь-то вотъ подчасъ назадъ и про-изошла та рукопашная свалка, о которой упо-мянуто выше. Случайно кинувъ взглядъ на рѣку, я невольно отвернулся: тамъ, на мелкомъ днѣ, около нашего берега валялась цѣлая куча мертвецовъ, кровь которыхъ слегка окрасила въ этомъ мѣстѣ даже самую воду... Отврат-тельное зрѣлище!

Между тѣмъ нѣсколько польскихъ солдатъ съ того конца все еще продолжали разбирать досчатую настилку, несмотря на пули нашихъ застрѣльщиковъ, которыя, впрочемъ, не оста-вались безъ отвѣта со стороны непріятельскихъ стрѣлковъ, разсыпанныхъ по противному бе-регу. — «Какъ же однако переведемъ мы тутъ лошадей, безъ настилки?» подумалось мнѣ, но внимательно осмотрѣвшись вокругъ, я замѣ-тилъ невдалекѣ другой мостъ, стлавшійся по самой поверхности воды и, къ счастью, еще не тронутый непріателемъ. — «Вотъ онъ, спа-ситель нашъ! Этотъ выручить!» И я поска-калъ въ городъ, чтобъ отыскать генерала Би-строма или Набокова и доложить имъ объ этомъ обстоятельстве. — Пара ядеръ съ ревомъ про-неслась надъ нами, пока мы гнали лошадей галопомъ вверхъ по пылающей съ двухъ сто-ронъ улицѣ. Дымъ ѣлъ глаза, безчисленные искры сыпались повсюду, обжигая лицо и руки; бушующее пламя трещало и шипѣло; съ шу-момъ и трескомъ рушились обгорѣлыя балки и стропила, и гдѣ-то въ сторонѣ раздавались громкіе вопли, плачь и рыданія какихъ-то обывателей. Тутъ сливались голоса и мужчинъ, и дѣтей, и женщинъ, и эти-то послѣдніе звуки

были ужаснѣе всѣхъ остальныхъ звуковъ сра-женія. Сердце отъ нихъ надрывалось, а по-мочь было нечѣмъ...

Едва свернули мы съ базарной площади, какъ на встрѣчу попалась колонна Астрахан-цевъ, впереди коей шла команда охотниковъ—сплошь георгиевскихъ кавалеровъ. За тѣсно-тою, намъ пришлось пріостановиться.

— Позвольте узнать, вы не на ту ли сторо-ну?—обратился я къ капитану, который, за выбытіемъ баталіоннаго командира, велъ эту колонну ⁴⁾.

— Да, на ту сторону. А чтѣ?—отозвался онъ.

— Тамъ поляки снимаютъ настилку.

— Ничего! Какъ-нибудь переполземъ!

— Да зачѣмъ? Лѣвѣе есть еще другой мостъ, плавучій, онъ цѣлъ пока. Ступайте по плаву-чому.

— Не могу: приказано на этотъ.

— Ну, ваше дѣло.

— А не знаете ли,—спросилъ я,—гдѣ гене-ралъ Бистромъ или Набоковъ?

— Тамъ гдѣ-то!—махнулъ капитанъ назадъ рукой, и мы разстались.

Пропустивъ мимо себя два баталіона Астра-ханцевъ, я увидѣлъ обоихъ этихъ генераловъ. Они ѣхали въ головѣ слѣдующей колонны Су-воровцевъ, рядомъ съ командиромъ сего полка, генераломъ Мартыновымъ, и подъѣхалъ къ ихъ группѣ.

Бистромъ узналъ меня.

— А, молодой человекъ, вы уже здѣсь?—ска-залъ онъ съ пріятливой улыбкой.

Въ отвѣтъ на это я доложилъ ему о состоя-ніи обоихъ мостовъ.

— Вы развѣ уже были тамъ?—спросилъ онъ не то съ недоумѣніемъ, не то съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Я только-что пріѣхалъ оттуда.

— И вы полагаете, что тамъ дѣйствительно есть другой мостъ?

— Я его видѣлъ своими собственными гла-зами.

— Да вамъ не показалось ли? Отчего же вы о немъ не знаете?

— Этого я не могу знать, но знаю только, что плавучій мостъ существуетъ.

— Ну, если правда, то это очень кстати. Вы укажете къ нему дорогу генералу Марты-нову.

Признаюсь, это послѣднее «если правда» нѣ-сколько задѣло меня за-живое. — «Если прав-да!.. Неужели же, подумалъ я себѣ, адъю-танты и ординарцы вашего превосходительства пріучили васъ сомнѣваться въ справедливости своихъ донесеній?»

При поворотѣ съ площади на Мостовую ули-цу, генералы разстались съ Мартыновымъ, по-желавъ ему наибольшаго успѣха. Съ легкимъ

⁴⁾ То былъ 2-го баталіона капитанъ Яковлевъ.

наклоненіемъ головы, онъ молча отсалютовалъ имъ въ отвѣтъ своей шпагой.

Почти на хвостѣ Астраханцевъ мы втянулись въ улицу, вдоль которой непріятельскія ядра рикошетировали теперь значительно чаще, чѣмъ прежде. Нѣсколько жертвъ уже было вырвано изъ рядовъ, и чѣмъ далѣе подвигались мы, тѣмъ чаще приходилось наткаться на мертвыхъ и объѣзжать раненыхъ. Достигнувъ устья улицы, увидѣли, что свайный мостъ уже запруженъ густой массой Астраханцевъ, которые, подъ жестокимъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, должны были стоять на мѣстѣ, въ ожиданіи своей очереди, пока передовыя ихъ части гуськомъ перебирались по балкамъ, кто ползя на карачкахъ, кто съ помощью рукъ верхомъ на бревнахъ, а кто и просто на своихъ на двоихъ, молодцами балансируя съ ружьемъ въ рукахъ, не хуже цирковыхъ гимнастовъ.

— Гдѣ этотъ вашъ мостъ-то, поручикъ?— спросилъ меня Мартыновъ, оглядываясь по сторонамъ.

— А вонъ, внизу налѣво,—вонъ, вкось—идеть черезъ островки-то!

— Ахъ, и въ самомъ дѣлѣ!.. Какое счастье!—воскликнулъ просіявшій генералъ, и оборотясь къ полку, громкимъ голосомъ приказалъ ему, — Суворовцы! бѣгомъ! За мною!

И гренaдеры дружно кинулись влѣво, вслѣдъ за нашими рысавшими лошадьми.

Перебѣжать разстояніе сорока сажень до плавучаго моста было дѣломъ одной минуты.

Здѣсь Мартыновъ приостановился лишь для отдачи приказанія, чтобы люди разомкнули ряды и бѣжали по мосту просторнѣе, не суетясь и не сбиваясь въ кучи, дабы не нагнетать его особенной тяжестью, ибо мостъ, по своей видимой непрочности, легко могъ не только опуститься ниже уровня воды, но и вовсе разорваться, что дѣйствительно и случилось позднѣе, когда на немъ скопились два эскадрона лейбъ-улановъ. Нарочно съ этой цѣлью оставивъ при началѣ моста полкового адъютанта, генералъ Мартыновъ догналъ голову своего полка и вмѣстѣ съ первыми передовыми Суворовцами ступилъ на противный берегъ.

Моментъ появленія Суворовцевъ въ этомъ мѣстѣ пришелся какъ нельзя болѣе во-время и кстати.

Надо сказать, что Астраханскіе гренaдеры, несмотря на всѣ трудности своего гололомнаго путешествія по балкамъ, подъ картечнымъ огнемъ, все-таки съ удивительной быстротой очутились на томъ берегу, гдѣ ихъ передовики-охотники дружной гурьбой сразу бросились на два непріятельскія орудія и мигомъ овладѣли ими, переколовъ прислугу. Поляки не успѣли увезти этихъ пушекъ, такъ какъ большая часть уносныхъ и дышловыхъ лошадей была еще раньше перебита съ моста Астраханцами. Подъ прикрытіемъ этихъ охот-

никовъ, двѣ первыя роты Астраханскаго полка успѣли уже съ большимъ благополучіемъ выстроиться на берегу и прикрыть своимъ фронтомъ переправу остальныхъ товарищей. Въ это время польскій генералъ Пацъ съ остатками аріергарда бросается на перешедшихъ, съ намѣреніемъ отбросить ихъ въ Наревъ, но увъ!—внезапное появленіе сбоку Суворовцевъ такъ озадачило Паца, что «панъ Пацъ удралъ за плацъ», какъ острили тогда наши солдаты. Впрочемъ, надо сказать, что этого дѣйствительно храбраго генерала унесли съ поля сраженія раненымъ, и еслибы не это случайное обстоятельство, то еще, Богъ знаетъ, удалось ли бы намъ такъ легко не только отбить атаку, но и отбросить противника за поворотъ дороги и утвердиться за высокой насыпью шоссе, какъ за брустверомъ, выигравъ тѣмъ самымъ достаточное пространство между шоссе и рѣкой для свободнаго развертыванія баталіоновъ, слѣдовавшихъ зади.

Съ этого-то момента и началась настоящая, рѣшительная битва, содѣлавшая имя Остроленки знаменитымъ въ лѣтописяхъ россійской военной исторіи.

Осмотрѣвшись на мѣстѣ, я послалъ графу Толю мое первое донесеніе о томъ, что переходъ черезъ Наревъ успѣшно совершонъ нами по двумъ мостамъ, при чемъ первая атака непріятеля отбита со взятіемъ у него двухъ орудій, что брустверо-подобное шоссе уже прочно занято бригадой гренaдеръ въ числѣ четырехъ баталіоновъ, и что наша позиція, кромѣ сего фронтальнаго закрытія, прикрывается еще слѣва небольшою рѣчкой, а справа—болотистою, совершенно недоступною мѣстностію, и, наконецъ, что небольшая команда гренaдеръ уже приступила къ исправленію настилки свайнаго моста.

Но очень, очень скоро наши гренaдерскіе баталіоны очутились въ весьма критическомъ положеніи. Непріятель двинулъ противъ нихъ еще нетронутую бригаду Венгерскаго. Это бы еще ничего, но вотъ бѣда; желая подкрѣпить гренaдеръ, генералъ Вистромъ приказалъ дивизиону лейбъ-уланъ перейти на ту сторону. Лейбъ-уланъ молодецки и нѣсколько разъ подъ-рядъ атаквали противника, но глубоко песчаная мѣстность мѣшала стремительности и быстротѣ ихъ налета, такъ что эти отборные эскадроны, не принеся никакой существенной пользы дѣлу, сами между тѣмъ не мало потерпѣли отъ непріятельскаго огня и потому пришлось вернуть ихъ обратно, за рѣку. Вотъ въ это-то время отъ стремительнаго движенія ихъ лошадей и порвался плавучій мостъ, служившій до сего главнымъ путемъ сообщенія, ибо свайный мостъ еще не былъ окончательно починенъ. Но кромѣ того, и сему послѣднему угрожала немалая опасность, такъ какъ городекой пожаръ, приближаясь къ набережной около моста, готовъ

былъ схватить и его настилку. Пришлось посылать нарочныя команды съ манерками, чтобы тушить затлѣвшіяся доски. И вотъ, въ это время, когда сообщеніе между обоими берегами было окончательно прервано, все болѣе и болѣе приближалась къ намъ сильная, почти комплектная бригада Венгерскаго, а польскія батареи открыли по насъ жесточайшій огонь картечью съ ближней дистанціи. Наши люди присѣли на корточкахъ за насыпью — и картечь большею частью визжала надъ головами. Отступленія для насъ уже не существовало — развѣ только въ рѣку. Офицеры, отъ полковыхъ до взводныхъ командировъ, живо сознавали всю опасность минуты, но молчали. Они знали своего солдата и потому, полагаясь на его мужество, предоставили дѣйствовать ему. Впрочемъ, опасность эта была не менѣе сознаваема и солдатами. Извѣстно, что Мартынова весь полкъ любилъ, какъ очень хорошаго, добраго человѣка и какъ справедливаго и храбраго командира. Но когда этотъ самый Мартыновъ обратился къ людямъ съ воодушевляющими словами: «Ребята! Непріятель приближается, — встрѣтимъ его! Ура!» — то ребята ни тпру, ни ну, и даже ни единымъ звукомъ не обнаруживали отзывчивости его призыву. Все молчало, какъ бы замерло на мѣстѣ. Рожи были кислыя, злыя, хмурыя; но тѣмъ не менѣе ни одинъ человѣкъ не сошелъ со своего мѣста и ни одинъ не только трусоватый, а и случайный выстрѣлъ не раздавался изъ фронта. «Помирать надо» вымолвилъ кто-то вполголоса, и въ этихъ словахъ сказалось общее единодушное убѣжденіе.

Между тѣмъ поляки подошли уже вплотную къ самой насыпи, такъ что насъ и ихъ раздѣляло только полотно дороги. Они и мы безъ выстрѣла смотрѣли другъ на друга, какъ бы наблюдая одинъ другого, и въ такомъ странномъ, нерѣшительномъ положеніи прошло болѣе минуты, показавшейся мнѣ безконечно долгою. — «Что жъ это такое? Чтѣ изъ этого курьёза выйдетъ?» мысленно задавалъ я себѣ вопросы, съ недоумѣніемъ оглядываясь во всѣ стороны. — «Что жъ не кричатъ ура? Зачѣмъ офицеры не выскочутъ впередъ, не покажутъ примѣръ собою?» — И я вопросительно поглядывалъ то на Мартынова, то на ближайшихъ къ намъ офицеровъ; но всѣ они стояли молча, съ потупленными головами, съ опущенными долу глазами и шпагами. Было ли это сознание безсилія своего авторитета надъ людьми, или вѣра въ то, что солдаты не отдастъ себя врагу дешевою цѣною, или же наконецъ убѣжденіе, что «помирать надо», такъ какъ ничего больше не подѣлаешь — не знаю; но знаю только то, что минута этой мертвой нерѣшительности лично для меня была ужасно томительна. То было ощущеніе игрока, поставив-

шаго на карту уже не послѣднюю копейку, а свою собственную честь, свое доброе имя.

Поляки проснулись первыми отъ этого взаимнаго оцѣпенія. Они зашевелились, но не подвинулись однако же впередъ ни пяди. Изъ ихъ среды кой-откуда раздались только ругательства, плевки, насмѣшки и презрительные крики: «Пречь, москале! Пречь пимаркате!» И вмѣстѣ съ этимъ въ нашихъ гренадеръ полетѣли комья земли, щебенка и камни. Одинъ изъ этихъ камней попалъ въ лицо старому сѣдому гренадеру.

— Братцы!.. И мы стерпимъ эдакой стыдъ?! — вскричалъ онъ глубоко оскорбленнымъ голосомъ, сверкнувъ возбужденными глазами. — Ахъ они, растакъ же ихъ душу!.. За мною!!

И старикъ первымъ восточилъ на насыпь. Этотъ человѣкъ мгновенно сталъ теперь душой всего боя, головой и волей всей наличной русской силы. Просто, не могу понять, не могу дать себѣ отчета, какъ именно это произошло, но только знаю, что менѣе чѣмъ въ секунду весь гренадерскій строй уже былъ на насыпи, а еще черезъ секунду противникъ, мгновенно обхваченный паникой, далъ тылъ и, какъ школьникъ пустился удирать во всѣ лопатки. Гренадеры — за нимъ. Настигли въ ту же минуту и тутъ уже пошла, чтѣ называется генеральная лупка. Не было пощады никому, кто лишь подвернулся подъ штыкъ или подъ прикладъ Суворовца. Колѣи и мозжа поляковъ, наткнулись гренадеры на ихъ батарею и мимоходомъ захватили два орудія; остальные пушки въ совершенномъ разстройствѣ еле-еле успѣли ускакать съ поля сраженія. Такъ была отбита вторая атака — и наши возвратились въ свою позицію, за насыпь.

Поляки тотчасъ же повели третью атаку, употребивъ для сего совершенно свѣжую бригаду (4,000 чел.) Лангермана; но нашимъ эта атака уже не показалась страшною: во-первыхъ, только-что окончившаяся «лупка» придавала людямъ еще болѣе духу и увѣренности въ своей стойкости, а во-вторыхъ, къ намъ прибыло и подкрѣпленіе — генералъ Бергъ съ 3-мъ и 4-мъ карабинерными полками. Атака Лангермана была отбита, причемъ нашей побѣдѣ весьма и весьма много способствовалъ съ лѣваго берега Нарева огонь батареи графа Толя успѣвшаго къ сему времени сосредоточить, вмѣсто первоначальныхъ двухъ, уже 32-орудія. Эта батарея не только оберегала отъ всякихъ покушеній противника нашъ лѣвый флангъ за шоссею насыпью, но ея огню неизбѣжно должны были подвергаться поляки каждый разъ, какъ при наступленіи на насыпь, такъ и при отступленіи отъ оной, неся при этомъ громадныя потери.

Вслѣдъ за отбитой атакой Лангермана, начался цѣлый рядъ атакъ, веденныхъ хотя и безостановочно, но безъ всякой связи. Плѣнные

польскіе офицеры разсказывали намъ потомъ, что ихъ главнокомандующій, Скржинецкій, занятый единственно лишь мыслью отбросить русскихъ за Наревъ и снова овладѣть городомъ, — послѣ неудачи Лангермана совсѣмъ потерялъ голову. Онъ какъ въ угарѣ поскакалъ вдоль фронта своихъ войскъ, крича изо всѣхъ силъ: «Малаховски напшудъ! Рыбиньски напшудъ! Вшыцы напшудъ!» — и дѣйствительно, мы изъ-за насыпи видѣли какого-то начальника, скакавшего по фронту во весь духъ, сильно размахивавшаго руками и кричавшаго что-то — но чтѣ? — этого, конечно, въ шумѣ сраженія и притомъ на разстояніи семисотъ сажень разслышать было нельзя, равно какъ не знали мы и того, что это самъ Скржинецкій.

И такъ, начался цѣлый рядъ атакъ, причемъ поляки воодушевляли себя пѣніемъ «Еще Польска не сгинѣла». Чуть лишь какая-либо часть ихъ войскъ успѣвала оправиться отъ ошеломленія своей неудачей и привести свои ряды въ нѣкоторый порядокъ, ее тотчасъ же бросали на шоссеиную насыпь, а результатъ былъ все одинъ и тотъ же. Поляки въ то же время непрерывно стрѣляли ядрами и гранатами по городу и мостамъ, съ цѣлью помѣшать подходу нашихъ подкрѣпленій, но... кромѣ бригады Берга, мы никакихъ болѣе подкрѣпленій не получали. Намъ фельдмаршалъ не хотѣлъ вступать сегодня въ генеральное сраженіе, намѣреваясь дать таковое завтра, и полагалъ, что для удержанія переправы совершенно достаточно восьми баталіоновъ Мартынова и Берга. Увы! — онъ не воспользовался военнымъ счастьемъ, которое въ этотъ день такъ легко давалось ему въ руки, и вслѣдствіе этого кампанія наша затянулась еще на нѣсколько мѣсяцевъ, тогда какъ вся польская армія, разбитая рядомъ своихъ неудачныхъ атакъ и упавшая духомъ, могла бы не позже какъ въ эту же ночь сполна содѣлаться нашей добычей, и весь вопросъ съ возстаніемъ былъ бы поконченъ. Уже второй разъ фельдмаршалъ выпускалъ изъ рукъ наилучшій случай.¹⁾ Все дѣло 14-го мая ограничилось у насъ обороной выиграннаго нами пространства за мостами. И хорошо еще, что Дибичъ, привлеченный, наконецъ, графомъ Толемъ на его батарею, могъ лично убѣдиться въ малочисленности Мартынова и Берга. Поэтому онъ разрѣшилъ нѣкоторымъ частямъ двинуться къ намъ на подкрѣпленіе. Первыми пришли двѣ гренадерскія бригады Набокова (1-я и 3-я) съ четырьмя орудіями, что и увеличило нашу силу до пятинадцати баталіоновъ, а вслѣдъ за тѣмъ прибыло еще пять баталіоновъ 1-й пѣхотной дивизіи генерала Мандерштерна. Теперь мы могли вздохнуть свободно, будучи увѣрены, что всѣ наши пред-

шествовавшія усилія для удержанія своей позиціи не останутся тщетными. Съ прибытіемъ Мандерштерна возобновились отчаянныя схватки, и наши выдвинулись значительно впередъ за шоссеиную насыпь. Въ четыре часа пополуночи, Скржинецкій повелъ, наконецъ, на насъ общую атаку польской арміи. Снова возгорѣлся неистовый рукопашный бой, въ коемъ нѣкоторые изъ російскихъ полковъ выдержали по шести кавалерійскихъ атакъ, причемъ не только офицеры, но даже генералы сражались наравнѣ съ простыми солдатами. Мандерштернъ былъ унесенъ безъ чувствъ съ раздробленной челюстью; оба командира морскихъ полковъ¹⁾ убиты; Мартыновъ раненъ, но остался въ дѣлѣ; Бергъ, весь почернѣвшій отъ порохового дыма, одинъ нѣкоторое время руководилъ ходомъ битвы, зорко наблюдая за каждымъ движеніемъ непріятеля и лично предупреждая каждую его новую попытку. Наконецъ, была отбита и общая атака поляковъ, хотя, конечно, не безъ чувствительныхъ потерь съ нашей стороны. Съ этой минуты уже стало ясно, что поляки не выиграютъ дѣла, и хотя они все еще повторяли то тамъ, то здѣсь отдѣльныя беспорядочныя атаки то тѣмъ, то другимъ полкомъ, тѣмъ не менѣе это уже были попытки не для достиженія побѣды, а для того лишь, чтобы выиграть время для отступленія, протянуть дѣло до ночи и тѣмъ избавиться отъ нашего немедленнаго преслѣдованія, о которомъ, впрочемъ, Дибичъ и не думалъ.

Съ пяти часовъ дня бой началъ ослабѣвать. Уже всѣ до единой части польской арміи неоднократно перебували не только въ огнѣ, но и въ рукопашныхъ схваткахъ, такъ что отъ цѣлыхъ дивизій остались теперь лишь немногія, беспорядочныя толпы. Не хватало начальниковъ, чтобы собрать разсѣянныхъ людей, скитавшихся по кустарникамъ и незнавшихъ, что имъ дѣлать, куда направиться. Ружейный огонь съ ихъ стороны почти умолкъ, такъ какъ наличные патроны были уже изстрѣлены, а парки еще заблаговременно были посланы далеко въ тылъ самимъ Скржинецкимъ. И вотъ, если-бы теперь, именно въ эти минуты, Дибичъ приказалъ дебушировать за мосты своими свѣжимъ войскамъ, то непріятель, по сознанію самихъ же поляковъ, неминуемо погибнулъ бы — и Остроленская битва покончила бы войну.

По недостатку снарядовъ, стрѣляли все рѣже и рѣже, польская артиллерія въ восьмомъ часу вечера и вовсе замолкла, вслѣдствіе чего прекратили огонь и наши батареи. Бой уже казался оконченнымъ. Намъ было ясно видно, какъ скрылись послѣднія кучи врага за лѣсистыми песчаными холмами. Въ этотъ моментъ я написалъ мое послѣднее донесеніе графу

¹⁾ Первый разъ 13-го февраля, подъ Гроховымъ.

¹⁾ Невскаго и Софійскаго.

Толю, и такъ какъ всѣ мои четыре гусара, которыми не мало-таки досталось сегодня гоньбы, къ вечеру оказались въ расходѣ и ни одинъ пока еще ко мнѣ не возвратился, то пришлось отправить донесеніе съ моимъ Наумомъ Середою.

— «Вотъ тѣ и цыганкино предсказаніе! И тотъ и другой живы!» не безъ удовольствія подумалъ я себѣ въ эту минуту, и подумалъ тѣмъ съ большею основательностію, что дѣло, очевидно, было уже кончено.

Около восьми часовъ вечера на нашемъ берегу вдругъ показался графъ Дибичъ, окруженный своимъ штабомъ, въ сопровожденіи громадной свиты разныхъ начальниковъ и офицеровъ. Ему представили захваченныя нами орудія и нѣсколько плѣнныхъ, которыхъ онъ приказалъ переправить вмѣстѣ съ пушками на ту сторону. Войска, при видѣ фельдмаршала, зашевелились, торопясь выстроиться во фронтъ для встрѣчи, какъ вдругъ въ это самое время совершенно неожиданно на полномъ карьерѣ вынеслась изъ-за холмовъ 12-ти-орудійная, конная батарея, подскочила къ нашей пѣхотѣ на двѣсти шаговъ и, что называется, плюнула въ глаза ей картечью. Какъ узнали мы потомъ, командиромъ этой лихой батареи былъ полковникъ Бемъ. Вслѣдъ за первымъ залпомъ, батарея открыла сильный огонь не только по войскамъ, но и по мостамъ, и по городу, гдѣ въ это время уже скопилось много частей и разнаго нестроевого народа. Вмѣстѣ съ этой продерзостно-отважной выходкой полковника Бема, опять показались изъ-за тѣхъ же лѣсистыхъ холмовъ кое-какія слабыя части польской пѣхоты и кавалеріи. Но это была уже послѣдняя отчаянная попытка, окончившаяся ничѣмъ. Не болѣе какъ въ четверть часа времени огонь нашихъ прибрежныхъ орудій прогналъ и наступавшія горсти поляковъ, и лихую батарею Бема, перебивъ у нея болѣе половины лошадей и прислуги, такъ что Бемъ какъ быстро появился, такъ быстро же долженъ былъ теперь взять на передки и исчезнуть. Этотъ эпизодъ былъ уже послѣднимъ, окончательнымъ финаломъ Остроленской драмы 14-го мая, длившейся полсутки. Дибичъ, бывшій личнымъ свидѣтелемъ онаго, вслѣдъ за его окончаніемъ возвратился на лѣвый берегъ рѣки, приказавъ переправляться къ намъ шести баталіонамъ 2-й гренадерской дивизіи, дабы подкрѣпить насъ на случай возможнаго нападенія.

Я не попалъ на лѣвую сторону вмѣстѣ съ фельдмаршаломъ, хотя и могъ бы, такъ какъ прекратившійся бой окончилъ собой и порученіе на меня возложенное. Но я замѣшкался у шоссе, во-первыхъ, потому, что ни одинъ изъ моихъ гусаръ, ни даже самъ Наумъ Серода ко мнѣ еще не возвратились, а во-вторыхъ, голоденъ я былъ какъ десять собакъ вмѣстѣ.

Съ ранняго утра, кромѣ стакана чаю безъ хлѣба, у меня во рту не было ни крошки. Ну, и какъ же было не воспользоваться при этомъ любезнымъ приглашеніемъ Мартынова, возлѣ котораго я почти безотлучно находился во все время боя и къ которому теперь денщики притащили изъ-за рѣки отъ полкового маркизанта цѣлую большую корзину съ разными бутылками и закусками. Мартыновъ, хотя и раненый, впрочемъ неопасно, сохранялъ какъ во время битвы, такъ и послѣ нея всю бодрость душевную и крѣпость тѣлесную. Онъ пригласилъ къ водкѣ и къ закускѣ всѣхъ своихъ офицеровъ и меня вмѣстѣ съ ними, и только неожиданное появленіе фельдмаршала, да послѣдній эпизодъ боя съ батареею Бема помѣшали намъ приступить къ закускѣ непосредственно по ея появленіи позади фронта Суворовцевъ. Тѣмъ паче не резонъ было отказываться отъ нея теперь, когда все дѣло уже дѣйствительно окончилось и когда за отбѣдомъ фельдмаршала можно было и закусить вдоволь, и въ оживленномъ разговорѣ наговориться и послушаться о только-что пережитыхъ впечатлѣніяхъ и эпизодахъ боя. Извѣстно, что послѣ побѣдоноснаго сраженія, люди, оставшіеся цѣлыми, становятся особенно оживлены и общительны. Ихъ душу наполняетъ двойко-радостное чувство: и побѣду Богъ даровалъ, и тебя самого сохранилъ невредимо.

Только подкрѣпивъ себя кускомъ холодной курицы да добрымъ стаканомъ вина, я почувствовалъ всю мѣру моей физической и моральной усталости. И не мудрено: двѣнадцать часовъ сряду такого нервнаго напряженія—это не шутка сказать! Всего меня вдругъ какъ-то размало и стало клонить ко сну. Я рѣшилъ уже не дожидаться возвращенія ни. Середы, ни гусаръ — тѣмъ болѣе, что одинъ изъ послѣднихъ успѣлъ этимъ временемъ уже прибыть ко мнѣ—и простившись съ Мартыновымъ и его офицерами, поѣхалъ на ту сторону. Но у мостовъ вышла задержка: въ это время по нимъ переправлялись на встрѣчу мнѣ баталіоны 2-ой гренадерской дивизіи, такъ что на лѣвый берегъ я перешелъ уже около половины десятаго часа вечера. Сужу такъ потому, что луна успѣла уже выплыть на достаточную высоту. Полнымъ свѣтомъ озаряла она тихія воды рѣки, бѣло-песчаный берегъ и догорающій городъ. Чтобы избѣжать пути сквозъ смрадное пожарище, я направился моею утренней дорогой—по берегу Нарева. Вотъ, кажись, и то самое мѣсто, гдѣ давеча шлепнулась граната, которую я счелъ было роковой для себя и Наума. Вотъ и трупъ лошади. Только чтѣ-жь это?.. Та была разсѣдлана, а эта лежитъ подъ полнымъ кавалерійскимъ вьюкомъ. Стало быть, на этомъ самомъ мѣстѣ, уже послѣ насъ, и еще кому-нибудь угодило. Завѣтное, видно, мѣстечко!..

Вдругъ гдѣ-то совсѣмъ близко около меня раздался слабый стонъ человѣка.

Я приостановилъ лошадь и прислушался.

— Ой, матинко моя!.. Ой-ой-ой!.. Ой, пы- тыньки хѣчу,—слабо бормоталъ чей-то изму- ченный, надтреснувшій голосъ.

Жуткое предчувствіехватило меня за сер- дце. Я соскочилъ съ лошади и, бросивъ поводья гусару, пошелъ по берегу—узнать гдѣ и кто это стонетъ. Смотрю, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ конскаго трупаложитъ распростертый на пескѣ человѣкъ, лицомъ кверху, и тоскливо мечется какъ въ горячкѣ.

Вглядываюсь пристальнѣе — Боже мой! да это Наумъ Середа!

Около него большая лужа крови, а правая рука у самаго плеча почти совсѣмъ снесена прочь,—такъ только еле держится еще на ка- кихъ-то волоконцахъ, и раздробленная кость торчитъ изъ плеча среди кроваваго мяса,

Я бросился къ рѣкѣ и, зачерпнувъ въ свою шапку воды, брызнулъ ею на лицо Наума. Онъ очнулся. Тогда бережно приподнявъ его голову, я далъ ему напиться. Долго и жадно, медлен- ными глотками тянулъ Середа воду; только напившись, повелъ на меня глазами и узналъ меня.

— А, се вы, ваше благородье... Спасыбі вамъ... Спасыбі...

— Я сейчасъ же приведу къ тебѣ носильщи- ковъ... въ лазаретъ перенести тебя... Эй, гу- сары!—засуетился я надъ Наумомъ. — Скажи скорѣй, отыщи гдѣ-нибудь носильщиковъ и веди ихъ сюда... Живо!

— Ні, не треба,—простоналъ Середа,—бо не поспіють... я и такъ... не треба, ваше благо- родье... А просьбу и до вашей милости маю. У ладоньці, коло хреста на шні у мене три червонци зашиты... перешлѣть ихъ до матці моей... Спросить у вахмистра... вінъ знае куды... мы зъ одного села... Соймыть зъ мене туго ладонку.

Исполняя просьбу Наума, я бережно раз- стегнулъ его мундиръ, вытянулъ изъ-подъ со- рочки тесемку съ шейнымъ крестомъ и сталъ срѣзывать перочиннымъ ножикомъ мѣшочекъ съ червонцами. Гусаръ между тѣмъ поскакалъ за носильщиками.

— Когда это тебя ранило?—спросилъ я за- мѣтно приободрившагося Наума.

— Э, и вже вертався до вашего благородья... И усе вже было тихо, а тутъ якъ загуркотало зновъ... Гранатъ якійсь-то прилетівъ, та якъ вдарить мене черепкомъ... и мене, и коня за- губивъ зъ-разу...

— Ну, ничего; дасть Богъ, вылечишься,—принялся было я утѣшать его,—и не съ та- кими ранами да вылечиваются.

— Э... ні... дѣ вже!.. Та й чого тамъ!.. Отъ, матці моей перешлѣть... прошу...

Я поспѣшилъ увѣрить его, что не только

это будетъ исполнено завтра же, но что я еще и отъ себя приложу для его матери, по силѣ своей возможности, нѣсколько золотыхъ, въ благодарность за его при мнѣ службу и уходъ за мной.

— Ой, спасыбі вамъ!—съ глубокимъ чув- ствомъ проговорилъ Середа. — Тільке... ваше благородье!.. Щось бы такѣ могъ я для васъ зрѣбѣть?.. Чимъ бы мені отдаровать вамъ за уся вашу ласку до мене?

При этихъ словахъ я невольно, про-себя улынулся. Чтѣ за необычайная мысль! Уми- рающій человѣкъ, и вдругъ заботится о чемъ же?—о благодарности! «Ну и чѣмъ же, въ самомъ дѣлѣ, думаю себѣ, можешь ты, мой бѣдный Середа, отблагодарить кого бы то ни было, коли тебѣ и жить-то на свѣтѣ едва ли какой-нибудь часъ остается!»

А онъ, между тѣмъ, повторяетъ все то же:

— Ваше благородье... Скажите сами, щѣ бы вамъ зрѣбѣть?

Въ эту минуту—и самъ не знаю, какъ и почему—вдругъ пришла мнѣ въ голову одна мысль, мысль вполнѣ сумасбродная, которая показалась мнѣ въ одно и то же время и очень смѣшной, и очень серьезной.

— Ну, ладно!—говорю ему.—Вотъ-что: цы- ганка намъ обоимъ предсказала смерть на 14-е мая... Если ты умрешь раньше меня и если я переживу нынѣшній день, то въ день моей смерти, когда бы онъ ни случился, приди извѣ- стить меня... Я буду знать, что въ тотъ день, когда я тебя увижу, я умру. Согласенъ?

— Слушаю, ваше благородье... Радъ ста- раться... О-ой!—со стономъ схватился онъ вдругъ за грудь лѣвой рукой,—напѣвайте мене еще тронки... Зновъ горѣть у сердці...

Я опять принесъ ему воды въ своей шапкѣ, и опять онъ жадно принялъ къ ея тулѣ гу- бами.

— Ну, тѣперь, дѣбре... Перекрестить мене.

Я трижды перекрестилъ Наума и тихо со- творилъ надъ нимъ молитву объ отпущеніи ему всѣхъ грѣховъ его вольныхъ и неволь- ныхъ.

Въ это время вернулся гусаръ съ печаль- нымъ извѣстіемъ, что нигдѣ не могъ отыскать носильщиковъ и что встрѣчные солдаты, къ которымъ онъ обращался за помощью, его не послушали.

Нечего дѣлать. Оставивъ его при Наумѣ, пришлось самому отправиться на поиски. Но когда минутъ двадцать спустя, я возвратился, приведя съ собой четырехъ пѣхотинцевъ съ носилками—было уже поздно.

— Только-что отошелъ, ваше благородье,— встрѣтилъ меня мой гусаръ,—и пяти минутъ, чай, нѣтъ какъ скончался.

Я взглянулъ на лицо Наума — и дѣйстви- тельно, это было совсѣмъ уже мертвое лицо, съ обострившимися чертами, съ печатью смерти

на полураскрытых устахъ, только-что испустившихъ послѣдній вздохъ жизни. Широко раскрытые стеклянные глаза его серьезно и спокойно смотрѣли прямо на мѣсяцъ, въ безграничную глубину неба, какъ бы провожая вслѣдъ умчавшуюся туда душу. Мнѣ кажется, что онъ умеръ такъ скоро отъ чрезмѣрной потери крови.

Перекрестясь за упокой его души, я отпустилъ носильщиковъ и поѣхалъ съ гусаромъ къ нашему штабу, который, освѣтясь уже множествомъ костровъ, раскинулся на широкой равнинѣ передъ городомъ.

Нечего прибавлять, что при первой возможности я свято исполнилъ предсмертную просьбу Наума, переславъ его матери нѣсколько червонцевъ.

Съ того дня прошло вотъ уже десять лѣтъ, но предсказаніе цыганки, столь вѣрно сбывшееся надъ Наумомъ, надо мною, однако, не сбывается. Я бодръ, здоровъ и веселъ; вышелъ въ отставку, живу себѣ мирнымъ помѣщикомъ въ своей Огневкѣ, женился по любви, имѣю дочурку и, могу сказать, доволенъ и счастливъ исполнѣ, совершенно; только каждое 14-е мая невольно вспоминается—мнѣ цыганка, и ея роковыя слова «*вижу кровь*» наводятъ иногда на мысль о насильственной смерти. Въ этотъ день я всегда служу панихиду о рабѣ Божіемъ Наумѣ, во брани убѣенномъ. А можетъ быть цыганка просто соврала (и это даже самое вѣрное изъ всѣхъ предположеній), и смерть Наума Середы есть не болѣе какъ простая случайность ¹⁾.

ВТОРАЯ ТЕТРАДКА.

Какъ, однако, все это странно случилось!.. Поневоѣ озадачившись и вспомнишь вѣчно живыя и вѣчно истинныя слова Шекспира. «Есть многое въ природѣ, другъ Гораціо, что и не снилось нашимъ мудрецамъ».

Недѣлю назадъ мы схоронили нашего почтеннаго дядюшку, Ивана Аеанасіевича Пращева, и сегодня, разбирая въ его рабочей конторкѣ разныя бумаги, я нашелъ небольшую сѣренькую тетрадку, написанную покойнымъ, внимательно прочелъ ее, и то, что узналъ я изъ нея, побудило меня, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, сегодня же приняться за перо и изложить событія, которыми сопровождалась кончина дядюшки.

Еще не далѣе какъ десять дней назадъ мы всѣ были такъ веселы, такъ счастливы; что

¹⁾ На этомъ мѣстѣ кончается рукопись покойнаго ротмистра Пращева, и далѣе, внизу послѣдней страницы, слѣдуетъ приписка, упомянутая мною въ предисловіи: «Сей случай дѣйствительно произошелъ со мною. Сдержитъ ли мертвецъ свое обѣщаніе? Если да, то наслѣдники мои въ этой запискѣ найдутъ объясненіе будущаго, должествующаго имѣть связь съ моею смертію».

даже самая мысль о возможности чьей-либо смерти въ нашей семьѣ никому изъ насъ не приходила въ голову.

Это было 13-го мая. За двое сутокъ предъ тѣмъ я только-что пріѣхалъ изъ полка погостить къ дядюшкѣ, не безъ труда исхлопотавъ себѣ для этого 28-ми дневный отпускъ, такъ какъ общался моею кузинѣ Сашѣ непремѣнно быть шаферомъ на ея свадьбѣ. И вотъ, вмѣсто «Исаія ликуй!» пришлось пѣть «вѣчную память».

13-го мая къ намъ въ Огневку пріѣхалъ Сашинъ женихъ и нѣсколько гостей, изъ ближайшихъ сосѣдей. Были барышни, были дамы, мы катались въ лодкѣ, гуляли по саду и въ рощѣ, бѣгали въ горѣлки, играли на фортепиано, пѣли, болтали, задавали разныя шарады — словомъ сказать, всѣ были довольны и счастливы, какъ только можно быть счастливымъ въ мирной хорошей семьѣ, весною, въ деревнѣ, среди благодатной южной природы, въ кружкѣ добрыхъ короткихъ знакомыхъ и родныхъ да еще чуть не наканунѣ веселой свадьбы, имѣющей сочетать два молодыхъ существа, безъ ума влюбленные другъ въ друга. Вечеромъ кое-кто изъ мужчинъ засѣли за зеленый столъ, и пулька затянулась довольно долго. Въ двѣнадцать часовъ подали ужинъ, который окончился около часу. Проводивъ гостей, кромѣ Сашина жениха, оставшагося почевать въ моей комнатѣ, такъ какъ ему далеко было бы возвращаться въ городъ — мы всею нашею семьею, пока еще до сна, вышли подышать воздухомъ на террасу, выходившую въ садъ, прямо къ лужайкѣ, гдѣ въ изобиліи были разбиты красивые цвѣтники. Ночь была дивная, тихая, ясная; луна свѣтила полнымъ блескомъ, и соловьи перекликались гдѣ-то въ прибрежныхъ кустахъ, а цвѣты просто до одури напояли воздухъ своимъ весеннимъ благоуханіемъ. Было такъ хорошо, что не наслаждаться этою ночью, этимъ теплымъ воздухомъ было бы грѣшно, да и спать еще никому не хотѣлось.

Иванъ Аеанасіевичъ сидѣлъ тутъ же, вмѣстѣ съ нами, и мирно докуривалъ свою трубку Жукова (онъ, по старинѣ, всю жизнь оставался неизмѣнно вѣренъ Василию Жукову). Черный Тамерланъ—любимый сетеръ дядюшки—покойно лежалъ у его ногъ, въ то время какъ самъ дядюшка отдавалъ конторщику какія-то хозяйственныя приказанія на завтрашній день.

Вдругъ Тамерланъ приподнял голову, насторожилъ уши и, чутко понюхавъ воздухъ, съ тревожнымъ лаемъ кинулся вдоль по лужайкѣ.

— Что это съ нимъ? Кто тамъ?—проговорилъ дядя, вглядываясь въ даль, и затѣмъ вдругъ разомъ поднялся съ мѣста, еще разъ прищурясь поглядѣлъ куда-то впередъ мимо

пѣтнниковъ и, быстро спустясь съ террасы, пошелъ вслѣдъ за Тамерланомъ, который, продолжая неистово лаять, остановился на противоположномъ концѣ лужайки и—то кидался впередъ, то отскакивалъ въ сторону, какъ это обыкновенно дѣлаютъ собаки, не желая пропустить ни на шагъ дальше незнакомаго чловѣка. Но никакого чловѣка, очевидно, тамъ не было.

Я тоже сбѣжалъ было внизъ и хотѣлъ идти вслѣдъ за дядей, но онъ, отстранивъ меня рукою, приказалъ мнѣ остаться на террасѣ.

Я, конечно, повиновался. Всѣ мы слѣдили глазами за Иваномъ Аванасьевичемъ и видѣли какъ прошелъ онъ со своимъ чубукомъ чрезъ лужайку, какъ приблизился къ тому мѣсту, около котораго вертѣлся Тамерланъ, какъ прыкнулъ на собаку, тотчасъ же умолкшую и ласково завилявшую хвостомъ, и какъ затѣмъ остановился и сталъ какъ будто съ кѣмъ то разговаривать, но съ кѣмъ?—мы рѣшительно не могли понять, такъ какъ въ томъ мѣстѣ, кромѣ дяди и Тамерлана, положительно никого не видѣли.

Черезъ минуту Иванъ Аванасьевичъ вернулся замѣтно поблѣднѣвшій, смущенный, даже очень разстроенный чѣмъ-то. Видя это, никто изъ насъ однако не рѣшился спросить его, что съ нимъ и кого онъ видѣлъ, съ кѣмъ разговаривалъ въ концѣ лужайки?—Мы только молча, недоумѣвающими глазами переглянулись между собою, но каждый невольно какъ-то почувствовалъ въ душѣ, что въ эту минуту произошло нѣчто особенное, важное, серьезное, — и у каждого изъ насъ тревожно бѣнуло сердце.

Дядя между тѣмъ, приказавъ конторщику удалиться, тяжело опустился въ кресло и подперъ рукой свою голову. Минуть около трехъ оставался онъ такимъ образомъ, погруженный въ глубокую, сосредоточенную задумчивость, которой никто изъ насъ, не выключая даже и самой тетюшки, не осмѣлился потревожить. Но вотъ, поднявъ голову и ни къ кому собственно не обращаясь, онъ спросилъ вдругъ спокойнымъ и твердымъ голосомъ:

— А что, сегодня которое число? Четырнадцатое?

— Тринадцатое,—отвѣтилъ я.

— Нѣтъ, голубчикъ... Да ты какъ считаешь? Тринадцатое кончилось,—вѣдь теперь уже скоро два часа ночи, пожалуй.

— Да, такъ стало быть, четырнадцатое,—подтвердила Саша.

Дядя на это промолвилъ только какое-то «хм» и снова задумался, но уже не такъ тяжело, какъ за минуту предъ симъ; видно было, что ясное спокойствіе и самообладаніе вполнѣ возвратились къ нему. Нѣсколько припурясь смотрѣлъ онъ куда-то въ неопредѣленное пространство и тихо, но совершенно ма-

пинально барабанилъ ногтями по ручкѣ кресла.

— Н-да, четырнадцатое мая,—проговорилъ онъ наконецъ какъ-то съвозь зубы и затѣмъ, поднявшись съ мѣста, обратился ко всѣмъ намъ не только спокойно, но даже стараясь улыбаться.

— Вотъ что, друзья мои,—началъ онъ,—пожалуйста, не считите меня за сумасшедшаго и не вздумайте пугаться того, что я вамъ скажу. Но предупредить васъ, во всякомъ случаѣ, считаю необходимымъ.

Такой приступъ не обѣщалъ ничего добраго, и потому мы всѣ съ едва сдерживаемымъ безпокойствомъ обступили Ивана Аванасьевича.

— Сегодня, — продолжалъ онъ, — то есть, въ теченіе сутокъ 14-го числа, я долженъ умереть.

У всѣхъ невольно вырвались восклицанія ужаса и недоумѣнія.

— Да, друзья мои, это такъ, это неизбежно. И потому, надо приготовиться къ смерти.

— Иванъ Аванасьевичъ! Да что ты?.. Да что съ тобой?!.. взвопила испуганная тетюшка.—Бѣлены обѣлся, что ли! Попритчилось тебѣ что? Не томи, Бога ради! Что за глупыя шутки!

— Милая моя,—возразилъ дядя,—неужели я говорю недостаточно серьезно, чтобы слова мои могли быть приняты за шутку? Я тебѣ повторяю еще разъ, и кажется вполнѣ ясно, что сегодня я неизбежно долженъ умереть и потому желаю приготовиться къ смерти. А васъ всѣхъ объ одномъ прошу: Бога ради, видомъ скорби вашей не отравляйте немногіе остающіеся мнѣ часы жизни, будьте какъ можно спокойнѣе и разсудительнѣе. Успѣете еще и потомъ наплакаться!

— Дядя,—воскликнулъ я,—легко сказать, «спокойнѣе и разсудительнѣе!» Но вѣдь вы говорите такія вещи, которыя...

— Которыя заставляютъ васъ опасаться, все ли у меня въ порядкѣ въ этомъ ящикѣ?—перебилъ Иванъ Аванасьевичъ, постукавъ себя по лбу.

— Да, дядя, именно! Вы договорили мою мысль.

— Скажи, пожалуйста, какой пряткій!.. съ легкой ироніей покачалъ онъ головой. — Все былъ чловѣкъ въ здоровомъ разсудкѣ, анъ тутъ глядишь, взялъ да и помѣшался вдругъ! Ха-ха!.. Нѣтъ, голубчикъ, стало быть, есть у меня достаточная причина.

— Но какая же? Какая?—приступили мы всѣ къ нему хоромъ.

— Да очень простая: Середу я видѣлъ.

— Часъ отъ часу не легче! Какая еще тамъ середа у васъ? Нынче, слава тѣ Господи, суббота!

— Да не о субботѣ дѣло, а о Середѣ, о Наумѣ Середѣ,—понимаете ли? Наумъ Се-

реда — уланъ, солдатикъ, мой однополчанинъ.

— Ну, такъ что же?

— Ну, вотъ, его-то я и видѣлъ, говорилъ съ нимъ.

— Да гдѣ? когда говорили? Когда вы его видѣли?

— А вотъ сейчасъ,—тамъ, на лужайкѣ.

— Полноте, дядя! Вамъ просто почудилось! Вѣдь мы же всѣ здѣсь оставались и всѣ смотрѣли какъ вы пошли, но, кромѣ васъ самихъ съ Тамерланомъ, ровно никого и ничего не видѣли.

— Ну, еще бы вамъ-то видѣть!—усмѣхнулся Иванъ Аванасьевичъ. — Вотъ Тамерланъ, тотъ видѣлъ; тотъ первый и вниманіе мое обратилъ на Середу, а вамъ-то гдѣ же!..

— Господи, Боже мой!.. Да гдѣ же этотъ Середа,—спросила тетушка.—Коли былъ здѣсь, то куда же дѣвался онъ?

— Середа-то? Эге! — мотнулъ головой дядя.—Середа, матушка моя, ужъ тридцать лѣтъ, какъ на томъ свѣтѣ.

— На томъ свѣтѣ? Такъ какъ же ты могъ съ нимъ разговаривать?! Опомнись!

— А такъ, что онъ, значитъ, сдержалъ свое слово. Обѣщаніе такое онъ далъ мнѣ умирая, чтобы въ день моей смерти придти и извѣстить меня,—ну, и извѣстилъ.

— Дядя, и что же вы съ нимъ разговаривали? И какъ именно вы его видѣли?—спросилъ я.

— А очень просто, дружокъ. Какъ Тамерланъ залаялъ да бросился на лужайку, я и смотрю—чего онъ? И вдругъ вижу—идетъ по лужайкѣ къ дому солдатъ. «Что за солдатъ такой, думаю—откуда? Зачѣмъ, въ такую позднюю пору?» И тутъ какъ-то невольно—ужъ и самъ не знаю, почему—только вдругъ Середа мнѣ вспомнился. «Онъ!» думаю. Ну и пошелъ прямо на него, смотрю—дѣйствительно, идетъ навстрѣчу мнѣ уланъ въ новоярхангельской формѣ,—одѣтъ въ лейбикъ, по домашнему, на головѣ фуражка. Остановился, не доходя меня шести шаговъ, какъ слѣдъ по формѣ, ловко эдакъ повернулся во фронтъ, даже шпорами прищелкнулъ и сдернулъ съ головы фуражку, а голову въ поворотъ направо и, что называется, бѣтъ меня глазами. Воззрился этта я ему въ рожу, а самъ подхожу еще ближе,—ну и тутъ уже кончено! Ни малѣйшаго сомнѣнія не осталось. Онъ—онъ, самый настоящій! Цыкнулъ я тутъ на Тамерланку да и говорю: «Здорово, братъ, Середа!»—А онъ мнѣ своимъ хохлацкимъ говоромъ: «Здравія желаю, ваше благородіе!» — «Что, говорю, — сегодня, что ли?»—«Такъ тошно, ваше благородіе!»—«Ну, говорю, спасибо, братъ, что не забылъ, сдержалъ свое слово». — «Радъ стараться, ваше благородіе!» И затѣмъ повернулся налѣво-кругомъ, сдѣлалъ шага два въ сторону и исчезъ.

— Дядя! Ну, ей-Богу же, вамъ все это почудилось!—принялся я за увѣренія. — Тамерланъ съ-дурю чего-то залаялъ; вамъ поэтому сначала что-то показалось, и такъ какъ въ такую необычную пору никакой посторонній посѣтитель, сами вы знаете, въ саду не можетъ появиться, то отсюда, естественно, въ васъ возникаетъ нѣсколько фантастическое представленіе о какомъ-нибудь призракѣ, а изъ этого представленія еще естественно же рождается воспоминаніе о Середѣ, а разъ оно явилось, то, при извѣстномъ настроеніи мыслей и духа, уже нѣтъ ничего мудренаго, если этотъ Середа вамъ и воочію почудился.

— Н-да, что и говорить! «Почудился!» — передразнилъ меня дядя.—Мудрецъ ты у меня, какъ я погляжу. Все рассказалъ, какъ размазалъ, и одно изъ другого, какъ по математической формулѣ, вывелъ и доказалъ, словно дважды-два—четыре. Только вотъ что я скажу тебѣ на это, мой милый племянникъ: послѣ моей смерти, когда вы будете разбирать мои бумаги, то въ моей конторкѣ ты найдешь небольшую, сѣроватенькую такую, тетрадку, и когда ты ее какъ-нибудь на досугъ прочтешь, то узнаешь, кто и что такое Середа и его значеніе въ моей жизни, и тогда ты поймешь, что онъ мнѣ вовсе не почудился, а дѣйствительно воочію явился, потому что онъ, какъ честный солдатъ, только сдержалъ свое слово. А теперь, ребята,—обратился Иванъ Аванасьевичъ ко всѣмъ присутствующимъ, — такъ какъ я желаю пріять кончину живота моего мирну и непостыдну, какъ доброму христіанину надлежитъ, то усердно прошу васъ не раздражать меня по пустому и не перечить мнѣ, а исполнять все то, что я васъ буду просить, памятуя лишь, что вы тѣмъ самымъ исполняете предсмертныя просьбы человѣка вамъ близкаго и очень васъ любящаго. Поэтому первая моя просьба—такъ какъ времени мнѣ остается очень немного — пошлите сейчасъ же за священникомъ. Я желаю исповѣдываться и причаститься.

Тетушка и Саша съ рыданіями бросились къ дядѣ.

— Ну, вотъ! Ну, вотъ! Покорнѣйше васъ благодарю!—промовилъ онъ разведя руками,—ты имъ говоришь дѣло, а онъ выть!.. Да перестаньте! Вѣдь не покойникъ еще!.. Э-эхъ! Кабы знать, что это у васъ такъ выйдетъ, такъ ужъ лучше смолчать бы было, да тишкомъ-молчкомъ сходить къ отцу Елисею и потайно исполнить все что надо... Ну, голубчики мои! Ну, умоляю васъ! Ну, не мучьте меня! Успокойтесь!

Что мы ни дѣлали, какіе резоны и доводы ни представляли, какъ ни просили, какъ ни убѣждали, какъ ни уговаривали—ничто не подействовало. Дядя твердо и настойчиво остался при своемъ и въ этой убѣжденности своей не-

вольно казался мнѣ и справедливымъ, и благо-разумнымъ всѣхъ насъ, пристававшихъ къ нему съ грозовыми доводами обыденной логики.

— Ну, этакъ не трудно дойти наконецъ и до ссоры,—возразилъ намъ въ концѣ концовъ Иванъ Аванасьевичъ,—а ссориться теперь я ни въ какомъ случаѣ и ни съ кѣмъ не желаю. Спрашиваю васъ только объ одномъ: хотите вы исполнить мою волю—ну, мой капризъ, положимъ—или не хотите?

Нечего дѣлать, пришлось уступить ему и послать за священникомъ.

Въ началѣ пятого часа утра явился поднятый съ постели отецъ Елисей съ дароносицею. Дядя встрѣтилъ его на крыльцѣ дома, съ благоговѣніемъ повергся ницъ передъ Св. Дарами и прошелъ со священникомъ въ кабинетъ, закнувъ за собой двери. Болѣе часа оставались они наединѣ и когда наконецъ вышли къ намъ, то мнѣ нетрудно было замѣтить на лицѣ отца Елисея слѣды растроганности и волненія, тогда какъ на лицѣ дяди свѣтлѣли внутренняя высокая радость и спокойствіе вѣрующаго человека, отрѣшившагося отъ всѣхъ земныхъ дрязгъ, грѣховъ и суетности.

— Поздравьте Ивана Аванасьевича,—обратился ко всѣмъ намъ священникъ,—онъ сподобился причаститься Святыхъ Таинъ Христо-выхъ.

Тетушка и Саша, закусывая дрожащія губы, чтобы не разразиться слезами, подошли къ дядѣ первыя; онъ обнялъ ихъ, поцѣловалъ и перекрестилъ каждую; затѣмъ подошли и мы съ Сашинимъ женихомъ, и намъ горячо пожалъ онъ руки и поцѣловался.

— Ну, друзья мои!—вслѣдъ за симъ обратился къ намъ дядя,—дѣла мои въ отличномъ порядкѣ, оба имѣніища оставляю вамъ чистенькими, благоустроенными и безъ единой копейки долгу. Пращевку отдаю я въ приданое Сашуркѣ, а Огневка,—обратился онъ къ тетушкѣ,—остается тебѣ по смерти, а затѣмъ Сашуркѣ. Впрочемъ, воля моя уже давно изложена въ духовной, которую вы найдете въ моей дорожной шкатулкѣ, въ потайномъ ящикѣ—вы знаете, какъ онъ вскрывается. Духовная чистенькая, безспорная (да и спорить-то некому), вотъ батюшка знаетъ ее: на ней его подпись, и оба свидѣтеля еще живы. А тебѣ, Митя,—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—какъ старшему представителю въ мужскомъ колѣнѣ рода дворянъ Пращевыхъ, завѣщаю я наши родовые документы (тамъ поименовано какіе) и вообще важнѣйшія семейныя бумаги, письма тамъ разныя и, между прочимъ, мои записки, а кромѣ того, мое боевое оружіе—саблю и пару кухенрейтеровскихъ пистолетовъ; ну и... нѣкоторый кушъ денегъ... Тамъ уже самъ узнаешь какой... Надѣюсь, не останешься недоволенъ... Однимъ словомъ, по силѣ раз-умѣнія моего и по справедливости, никто изъ

родныхъ и даже изъ прислуги домашней въ духовной не позабыть и не обидеть мною. Такъ и знайте. Отцу Елисею тоже будетъ при-рѣзанъ клочекъ землицы (тамъ поименовано гдѣ и какъ) и оставлена приличная сумма на церковь, за упокой души. Да, вотъ еще!—спохватясь, вспомнилъ дядя.—Пожалуйста, не позабудьте! Всѣхъ васъ прошу объ этомъ. Коли будете когда служить панихиды или подавать за меня заупокойную частицу, то всегда вмѣстѣ съ моимъ именемъ прописывайте и имя раба Божія Наума, на брани убіеннаго. Это я самъ постоянно дѣлалъ за него тридцать лѣтъ сряду, и васъ всѣхъ усерднѣйше прошу о томъ же. Ну, вотъ и все, кажись... Да, конечно, все. А теперь пора и отдохнуть, вѣдь мы еще не спали. Прощайте, до свиданья.

И пожавъ руку отцу Елисею и Сашину же-ниху, дядя удалился къ себѣ въ спальню.

Нечего и говорить, что никто изъ насъ въ эту ночь и глазъ не сомкнулъ. Да и до сна было! За эти нѣсколько часовъ мы всѣ измучились нравственно,—мы такъ любили его, и каково же намъ было видѣть и переживать все это!..

Никто изъ насъ и ума не могъ приложить, чтобы дать какое нибудь подходящее здраво-логическое объясненіе дядину поступку. И въ самомъ дѣлѣ, чтѣ же это такое? Моментальное помѣшательство? Галлюцинація, которая оста-вила по себѣ столь сильное и гнетущее впечатлѣніе, что онъ и въ теченіе нѣсколькихъ часовъ не можетъ отъ него освободиться? Но съ чего бы быть галлюцинаціи, если Иванъ Аванасьевичъ постоянно ведетъ самый регу-лярный и умѣренный родъ жизни, и если всѣ предшествовавшія событія и обстоятельства могли вліять на состояніе его духа лишь са-мымъ свѣтлымъ и радостнымъ, самымъ успо-коительнымъ образомъ?

Наконецъ, чтѣ это за Наумъ Середа, о ко-торомъ онъ никогда и никому не упоминалъ во всю свою жизнь? Правда, и тетушка и о. Елисей сказываютъ теперь, что въ поминаль-ной книжкѣ у дяди записано имя какого-то Наума и что разъ въ годъ онъ дѣйствительно служилъ панихиду по рабѣ Божіемъ Наумѣ, на брани убіенномъ и, кажись, сколько имъ по-мнится, панихиды эти всегда приходились именно на 14-е мая; но чтѣ это за Наумъ та-кой, и какое именно событіе въ жизни дяди свя-зано съ этимъ именемъ—о томъ никому не-извѣстно, да по правдѣ сказать, никто никогда, ниже сама тетушка, и не любопытствовать узнать о семъ чтѣ-либо отъ самого Ивана Аванасьевича. Полагали только, что это, вѣроятно, кто-нибудь изъ друзей и боевыхъ товарищей, а можетъ и изъ начальниковъ дяди. Но вообще, этимъ вопросомъ при молчаніи самого дядюшки никто до сего дня существенно не интересовался.

Надо еще прибавить, что рѣшительно никто изъ насъ не вѣрилъ въ возможность дядиной смерти именно сегодня. Да и съ какой стати умереть вдругъ человѣку совершенно здоровому, вполне бодрому и сильному, ведущему — повторяю еще разъ — самый умѣренный образъ жизни? Ну, если бы еще страдалъ онъ какимъ-нибудь застарѣлымъ недугомъ, органическимъ порокомъ тамъ, что ли, — а то вѣдь нѣтъ, рѣшительно нѣтъ, и не бывало ничего подобного!

Прокинувъ въ умъ и такъ, и этакъ всевозможныя и даже невозможныя предположенія, порѣшили мы наконецъ на одномъ, что надо непременно, подъ какимъ-либо благовиднымъ предлогомъ, уговорить дядю поѣхать съ нами въ нашъ губернской городъ, а то и въ Москву или въ Петербургъ, и тамъ какимъ-нибудь родомъ подвергнуть его изслѣдованію и консультаціи разныхъ специальныхъ врачебныхъ знаменитостей.

Бѣдный дядя!.. Какъ мы жалѣли о немъ и какъ не понимали его!..

Часу въ одиннадцатомъ утра, на ципочкахъ, едва касаясь пола, чтобы не скрипнуть половицей, вышла къ намъ изъ спальни тетушка, и по ея измятому, разстроеному, пожелтѣвшему лицу сразу было замѣтно, что и она тоже за всѣ эти часы не сомкнула глазъ.

— Ну, что? какъ? — кинулись мы къ ней, тоже на ципочкахъ, съ разспросами сдержаннымъ шопотомъ.

Тетушка только плечами пожала скорбно и недоумѣло.

— Спать себѣ, — прошептала она. — Спать... и такъ тихо, такъ покойно, какъ младенецъ, словно бы ангельскимъ сномъ... и улыбка даже на лицѣ такая свѣтлая...

— И скоро заснулъ? — спросила Саша.

— Представьте, да!.. Пришелъ это въ спальню, раздѣлся, прочелъ какъ и всегда молитвы на сонъ грядущій и, перекрестясь, повернулся, по обыкновенію, на лѣвый бочекъ и заснулъ... ну, то-есть, минутки почти не прошло, какъ уже спалъ, голубчикъ... И вотъ до сихъ поръ, благодаренье Богу, спать не просыпаясь; а я хоть бы однимъ глазкомъ вздремнула... Напугалъ ужъ онъ меня очень.

— Такъ стало быть спать? Ну, и слава Богу! — порѣшили мы общимъ голосомъ. — Это хорошо! Это прекрасно! Авось — либо сномъ и пройдетъ у него все это состояніе... Вѣдь все это не болѣе, какъ нервы!

— Ахъ, дай-то, дай-то, Господи! — скорбно вздохнула тетушка. — Не знаю ужъ и сама, только щемитъ у меня на сердцѣ, все безпокойно, все тошно такъ, словно бы предчувствую, что быть горю!..

— Полноте, тетушка! И вы туда же!

— Да, мой другъ, туда же... Я бодрилась, и опровергала и убѣждала — самъ ты видѣлъ —

пока хватало силъ, но... эта Середа и меня, наконецъ, въ смущеніе приводитъ.

— Ну, вотъ!.. Перестаньте, пожалуйста! Середа! А вы лучше сообразите-ка вотъ что: пройдетъ нынѣшній день, дастъ Богъ, вполне благополучно, и тогда дядя самъ увидитъ, что все это не болѣе какъ вздорная фантазія, разубѣдится въ ней на самомъ фактѣ и тогда всю эту дурь съ него какъ рукой сниметъ.

— А если не пройдетъ? — усомнилась тетка.

— Ну, тогда надо лечить! Повеземъ его въ Москву, въ Питеръ — тамъ доктора, тамъ всѣ средства, наука, приспособленія...

— Эхъ дружокъ! не понимаешь ты меня... Я вовсе не про то...

— Такъ про что же?

— Да если... если онъ все-таки умретъ сегодня?

— Тетушка! Милая!.. чуть не всплеснула я руками. — Васъ ли это я слышу?! Да гдѣ же ваша сообразительность, вашъ здравый рассудокъ, въ которомъ до сихъ поръ, слава Богу, у васъ, кажись, не было недостатка?! Что это вы говорите?!.. Неужели же и вы, вы, такая благоразумная женщина, — и вдругъ вѣрите въ Середу, въ разныя тамъ привидѣнія, въ духовъ и пририцанія?

— Да ужъ если самъ Иванъ Аванасьевичъ, оказывается, вѣритъ, — развела руками тетушка, — такъ почему же мнѣ...

— Ну, это прекрасно, — перебилъ я, — что авторитетъ Ивана Аванасьевича столь силенъ надъ вами, но все же... Середа!.. Подумайте только, вѣрить въ дѣйствительное явленіе какого-то умершаго когда-то Середы — на что это похоже?!

— Да почему же и не вѣрить? — вдругъ съ необычайнымъ азартомъ вскинулась на меня тетушка, словно насѣдка на защиту своихъ цыплятъ. — Что же ты, въ самомъ дѣлѣ — отвѣчай мнѣ по совѣсти — развѣ ты можешь поручиться, что ничего подобнаго нѣтъ и не можетъ быть въ природѣ?.. Развѣ ты Богъ, что можешь вѣдать все сокровенное? Тебѣ открыты всѣ таинства? Да?.. И наконецъ, развѣ свидѣтельство не только множества умныхъ и честныхъ людей, но даже самаго священнаго писанія, по твоему, вздоръ, химера, предразсудокъ?.. Вѣрно, всѣ предшествовавшія поколѣнія человѣчества были туго въ васъ, цыплятъ, едва вчера лишь изъ скорлупы-то! Всѣ, молъ, невѣжды, всѣ заблуждались?.. Я сама, батюшка мой, тоже было думала, что вздоръ, пустое, но какъ погляжу теперь на Ивана Аванасьевича, то по неволѣ какъ-то сомнѣніе беретъ... Богъ его знаетъ, что это такое, только предчувствіе есть у меня какое-то нехорошее, и съ нимъ, какъ ни стараюсь, не могу, однако, сладить.

Признаюсь, не ожидалъ я отъ тетушки подобной прыти и, сознавая, что никакого болѣе существеннаго возраженія, кромѣ уже извѣ-

стных грошовых доводов, представить ей не могу, счесть за лучшее смириться и замолкнуть.

Между тѣмъ тетушка пригорюнилась и вдругъ всплакнула.

— Но при всемъ при этомъ, и еще объ одномъ сокрушаюсь я,—слезливымъ голосомъ промолвила она черезъ минуту, вытирая платкомъ глаза;—это то, что твою свадьбу, Сашенька, придется теперь отложить, по крайней мѣрѣ, на годъ, пока не кончится трауръ.

А только рукой махнулъ.—«Ну, думаю, поѣхало! Мало одной глупости, давай и другую на подмогу!»

— Ты чего рукой махаешь? Ты чего?—накинулась на меня тетка.—Дура я тебѣ досталась, что-ли? Или ужъ такъ танцовать приспичило, что и на дядинахъ похоронахъ въ плясъ готовъ пуститься?.. Хорошъ родной, нечего сказать! Хорошъ голубчик!

— Тетушка! полноже, Бога ради!.. Я смирился, я молчу.—Чего же вы?!

— Знаемъ мы, ваше смиреніе!.. Только вѣтеръ одинъ въ головѣ, а фундаментальности никакой!.. Смирился!.. Развѣ я не правду говорю? Развѣ это статочное дѣло, чтобы сразу послѣ похоронъ отца да вдругъ свадьбу играть? Да ты подумай только, что всѣ добрые-то люди скажутъ? Какъ насъ тогда трактовать-то всѣ станутъ? Гдѣ стыдъ-то въ глазахъ у насъ будетъ?..

Сашинъ женихъ, пока длилась вся эта тетушкина раcea, стоялъ у окна, глядя на дворъ, и какъ показалось мнѣ, сосредоточенно обдумывалъ въ это время нѣчто рѣшительное.

— Мама! — круто, наконецъ, подступилъ онъ къ тетушкѣ.—Я все молчалъ, но теперь прошу выслушать и мое мнѣніе въ этомъ вопросѣ. Умереть ли сегодня Иванъ Аванасьевичъ, не умереть-ли — этого мы пока еще не знаемъ; но въ виду возможности его смерти, не повѣнчаться ли намъ съ Сашей теперь, то есть сегодня, сейчасъ же, пока Иванъ Аванасьевичъ еще живъ и можетъ самъ окончательно благословить насъ и порадоваться, предъ смертью, что дочь его уже устроена? Какъ вы думаете? Для свадьбы не нужно никакой помпы, никакихъ шировъ и баловъ, а просто повѣнчаемся себѣ при четырехъ свидѣтеляхъ, экспромптомъ, и баста! А то, сами согласитесь, цѣлый годъ траура, цѣлый годъ терпѣть, ожидать... да мало-ли что за годъ-то можетъ случиться! Вѣдь это ужасно!.. Подумайте!

— Что-жъ, я не прочь,—согласилась тетушка.—Вотъ, погодите, Иванъ Аванасьевичъ проснется, тогда переговоримъ съ нимъ, и если онъ будетъ согласенъ, то я, съ своей стороны, тоже?.. Я тоже согласна. Почему же нѣтъ? Очень рада даже.

Признаюсь, мнѣ стоило нѣкотораго труда, чтобы не расхохотаться, и при томъ довольно

злобнымъ смѣхомъ. Но зато въ душѣ я хохоталъ вдосталь во всю свою волю, и только старался глядѣть въ сторону, чтобы не подмѣтили невольнаго лукавое и смѣшливое выраженіе моей физиономіи.

«Ха, ха, ха!—думалось мнѣ. Однако, дядюшка какъ поглядишь, не промахъ! Да и тетушка тоже!.. Экой фортель придумали, чтобы дочку-то поскорѣе сбыть замужъ! Вѣрно, думаютъ себѣ, что пока тамъ длятся всѣ эти сборы да разборы, да разные церемоніи, время-то все уходитъ, а мы-де лучше безъ всякихъ церемоній дочку поскорѣе вокругъ наложь—и баста! Этакъ-то дѣло повѣрнѣй и покрѣпче будетъ!.. И для такой-то махинаціи придумана вся эта глупая исторія съ Середой! А птенецъ, какъ барашекъ, самъ дается въ руки! Вотъ такъ комедія!..»

Не знаю и самъ, какимъ образомъ заползла въ мою голову эта подлая мысль; теперь я стыжусь ея и раскаиваюсь въ ней, но, казня самого себя за самую возможность ея возникновенія въ моей душѣ, нарочно, и именно съ цѣлью казнить себя, обнаруживаю теперь эту гнусность, предавая ее гласности въ моемъ разсказѣ. Нечего скрывать! Пускай тотъ, кто со-временемъ прочтетъ эту тетрадку, узнаетъ также и то, сколь мелочно и безпричинно дурно думалъ о людяхъ ея авторъ,—о людяхъ при томъ же ему близкихъ и, кромѣ любви и благодарній, ничего не оказавшихъ ему въ жизни.

И не далѣе, какъ спустя какой-нибудь часъ времени, пришлось мнѣ горько укорить себя въ душѣ за эту мысль и раскаяться.

Дядя проснулся столь же бодрымъ и свѣжимъ, какъ обыкновенно. Никакой перомѣны не было замѣтно ни въ его лицѣ, ни въ настроеніи его духа. Такъ же весело, какъ и вчера, какъ и третьяго дня, поздоровался онъ съ женой, съ дочерью, съ нами; также аппетитно выпилъ свою уѣмистую «фамильную» чашку чая со сливками и съ домашнимъ сдобнымъ папушикомъ; такъ-же какъ и всегда, куря трубку Жукова, принялъ и обстоятельно выслушалъ конторщика и приказчика, передавъ имъ нѣкоторые распоряженія на нынѣшній день. О вчерашнемъ не было и помина, словно бы ничего такого, выходящаго вонъ изъ ряда, у насъ и не случилось. Я и Саша, да и женихъ ея, глядя на Ивана Аванасьевича, со-всѣмъ уже пришли-было къ успокоительной увѣренности, что все вчерашнее — не болѣе какъ нервы, что все это «прошло сномъ», и что, стало быть, думать и беспокоиться о такихъ пустякахъ больше рѣшительно не зачѣмъ; а потому мнѣ, да какъ и Сашѣ, сдѣлалось очень непріятно, когда тетушка вдругъ ни съ того, ни съ сего навела разговоръ на смерть и на женихово предложеніе, выложивъ его сполна передъ дядей. Иванъ Аванасьевичъ далъ женѣ высказаться до конца, выслушалъ ее молча, и лишь усиленно потягивалъ во время

ея рѣчи свою трубку, а подѣ къонецъ нахмурился, и весьма-таки серьезно нахмурился.

— Все это, матушка моя, вовсе неподходящее дѣло извоишь ты мнѣ проповѣдывать! — порѣшилъ онъ послѣ нѣкотораго размышленія. — Вѣнчаться сегодня эдакъ, зря, ни съ бухты, ни съ барахты — это значило бы только разводиться лишніе толки и сплетни: кому такая внезапность не покажется странной и даже подозрительной? И тѣмъ болѣе, если я вдругъ не умру! Ну, подумай... За что мы положимъ тѣмъ разныхъ недостойныхъ сомнѣній и догадокъ на себя, да и на Сапу!.. Нѣтъ на это я вовсе не согласенъ. А что молодымъ людямъ томиться въ ожиданіяхъ цѣлый годъ дѣло тоже неподходящее и весьма трудное, — съ этимъ я совершенно согласенъ и признаюсь, вовсе не желалъ бы быть причиной такого для нихъ неудовольствія. А потому вотъ что: если я точно умру, то вы ждите шесть недѣль и тогда повѣнчайтесь себѣ съ Богомъ тихо и скромно, безъ всякихъ зововъ, безъ всякихъ торжествъ и фестиваловъ, и повѣрьте, никто васъ не осудитъ за это; а кто осудитъ, тотъ будетъ дуракъ, и стало быть на него не стоить обращать вамъ и вниманія. Вотъ вамъ и еказъ мой!

О, сколь живо и больно почувствовалъ я въ эту минуту всю неправоту, всю мерзость моихъ сомнѣній и подозрѣній относительно предполагаемыхъ мной цѣлей и намѣреній дяди! Я невольно созналъ себя въ положеніи именно того недостойнаго человѣка, про котораго дядя только-что выразился, что если онъ осудитъ, то будетъ дуракъ, не стоящій вниманія, и я почувствовалъ не малую долю презрѣнія къ самому себѣ, и оцѣнилъ благородство простой и честной души моего дяди, и раскаялся — глубоко и искренно раскаялся въ своемъ сердцѣ.

О смерти у насъ не было болѣе никакихъ разговоровъ, и весь этотъ день прошелъ какъ и всегда, заведеннымъ обычаемъ, тихо и мирно. Только предъ обѣдомъ часа на два удалился дядя въ свой кабинетъ и приводилъ тамъ въ порядокъ какіе-то счета и бумаги. Впрочемъ, это нерѣдко случалось съ нимъ и прежде. Однимъ словомъ, мы совсѣмъ успокоились, даже почти позабыли о вчерашнемъ. Обѣдъ прошелъ какъ и всегда; Иванъ Аванасьевичъ остался очень доволенъ своими любимыми блюдами, которые какъ будто нарочно въ этотъ день заказала для него тетюшка, выкурилъ на террасѣ послѣ-обѣденную трубку, по обыкновенію пробѣгая глазами послѣдніе изъ полученныхъ нумеровъ «Московскихъ Вѣдомостей» и «Инвалида», и отправился къ себѣ въ кабинетъ соснуть при опущенныхъ столахъ, а за вечернимъ чаемъ даже совсѣмъ развеселился и сталъ шутить. Видя такое его настроеніе, тетюшка тоже приободрилась и вдругъ, совсѣмъ не кстати, ввернула неподходящее слово.

— Ну, вотъ, Иванъ Аванасьевичъ, — сказала

она, — и ты, наконецъ, слава Богу, развеселился!.. А вѣдь какъ напугалъ-то вчера! И какими глупостями! Тоже, умирать вдругъ выдумалъ!

— Чего ты, матушка? — шутя огрызнулся на нее дядя. — Погоди еще корить-то! Вотъ, какъ пробьетъ послѣдній ударъ полночи, тогда и говори; тогда и самъ я, можетъ, поклонюсь тебѣ въ поясъ и скажу: «права, матушка, права! такъ дескать, мнѣ и надо, потому дуракъ былъ!» А пока полночи нѣтъ, жди еще!

Этотъ разговоръ на всѣхъ, за исключеніемъ самого дяди, навелъ легкое облачко грусти и сомнѣній, а тетюшка даже нѣсколько надулась, пробормотавъ себѣ подъ носъ:

— Ну, вотъ, опять заговорилъ вздоры!

Впрочемъ, дядя, смѣясь, протянулъ ей руку примиренія — и все тотчасъ же опять позабылось.

Такъ дотянулось у насъ дѣло до поздняго вечера. Всѣ мы, въ ожиданіи ужина, по вчерашнему, собрались на садовой террасѣ, и дядя вмѣстѣ съ нами. Ночь была также дивно хороша, какъ и вчера, благоуханная, залитая луннымъ свѣтомъ. Мнѣ показалось, что чѣмъ дальше и дальше идетъ время, тѣмъ все больше и самъ дядя приходитъ къ внутреннему убѣжденію, что все вчерашнее — не болѣе какъ пустяки, нервы, воображеніе. Хотъ и прежде все время онъ былъ спокоенъ, но то было спокойствіе совсѣмъ не такого рода, какъ спокойствіе обыденное. Вчера до исповѣди и причащенія онъ былъ спокоенъ какъ человѣкъ, какъ мужчина, которому разсудокъ и самолюбіе подсказываютъ, что иное поведеніе было бы недостойно его, что надо быть спокойнымъ, чтобъ и самъ, да и близкіе тебѣ люди не окончательно пали духомъ; послѣ же причащенія въ немъ проявилось высокаторжественное спокойствіе христіанина, который сознательно приготовился ко встрѣчѣ неминуемой смерти; затѣмъ сонъ освѣжилъ его физическія силы и послѣ этого обстоятельства къ чувству высокаторжественнаго спокойствія стало въ теченіе дня незамѣтно, но все болѣе и болѣе, подбавляться обыкновенное, нормальное спокойствіе человѣка, поглощеннаго естественнымъ обиходомъ обыденной жизни. Чѣмъ меньше оставалось времени до конца дня, тѣмъ все болѣе вступало въ свои права спокойствіе этого послѣдняго рода, и наконецъ, въ началѣ двѣнадцатаго часа ночи — какъ показалось мнѣ — дядю окончательно перестала тревожить мысль о предстоящемъ смертномъ часѣ. Обыденное спокойствіе возобладало надъ нимъ вполне, всецѣло, и онъ, сидя съ трубкою на террасѣ, какъ и всегда, принялся выслушивать докладъ приказчика и отдавать распоряженія на завтра. Хозяйственные толки объ овсахъ да объ озимыхъ, да о клеверѣ, по обыкновенію, заняли съ добрый часъ времени, и

вотъ, когда дядя говорилъ, что для Пращевской луговины не мѣшало бы принанять даже и вольныхъ косарей, изъ солдатиковъ ближайше расположенной роты, чтобы пользоваться ведромъ успѣть скосить, загода, великолѣпно уродившееся сѣно—вдругъ раздались какіе-то женскіе вопли.

— Что это такое?—нахмуясь спросилъ дядя.

— А это, надо быть, поваръ спяну опять жену свою бьетъ, ревнуетъ-съ, — ухмыляясь, отвѣтилъ приказчикъ.

— Развѣ опять загулялъ?

— Загулялъ-съ, со вчерашняго вечера. Сегодня, почитай, съ утра уже зѣньки водкой заимши. Ну, а какъ пьянъ — сами изволите знать — сейчасъ у него это ревность.

— Фу, ты, чортъ возьми! — съ неудовольствиемъ фыркнулъ дядя. — Эдакъ, наконецъ, всякое терпѣніе лопнетъ!.. Недѣли еще нѣтъ, какъ кончился послѣдній загулъ, а теперь опять!.. Тутъ завтра, гляди, гости понаѣдутъ, а мы рискуемъ безъ обѣда остаться! Вотъ что, братецъ, — обратился онъ къ приказчику. — Распорядись-ка ты сейчасъ же запереть его въ пустой амбаръ, пускай проспится, а на утро слѣдить за нимъ, чтобы ни капли водки—ни ни, ни подъ какимъ видомъ! Понимаешь?

Въ эту самую минуту женскіе вопли раздались совсѣмъ уже близко отъ насъ, въ саду — и на террасу вбѣжала ошалѣлая, растрепанная повариха.

— Батюшка, баринъ! — бухнулась она въ ноги дядѣ. — Спасите!.. Защитите!.. Убьютъ!.. Убьютъ меня, разбойникъ!

Но прежде, чѣмъ дядя успѣлъ сказать что-либо, гнавшійся за нею по пятамъ поваръ въ два прыжка былъ уже на террасѣ и дерзко, не смущаясь присутствіемъ господъ, схватилъ жену за волосы.

— Прочь, мерзавецъ! — кинулся между нимъ и женщиной дядя.

И Боже мой!.. Въ это самое мгновеніе съ

размаху сверкнулъ въ воздухъ большой кухонный ножъ и, прежде чѣмъ успѣлъ кто-либо броситься на помощь, раздался глухой звукъ удара. Куда именно и въ кого — я не успѣлъ даже замѣтить — все это произошло такъ мгновенно и такъ неожиданно — но услышалъ и увидѣлъ только, какъ дядя съ короткимъ крикомъ вдругъ отшатнулся назадъ и схватился за бокъ руками.

Приказчикъ, я и Сашинъ женихъ кинулись на повара, свхатили его за локти и вырвали отъ него окровавленный ножъ. Этотъ человѣкъ, впрочемъ, и не сопротивлялся: онъ былъ сильно пьянъ, и вся его напряженная нервная возбужденность послѣ удара ножомъ вдругъ какъ-то сама собою ушла, угасла — и въ нашихъ рукахъ очутился просто обезсиленный хмѣлемъ человѣкъ, какъ говорится, невяжущій лыка.

Вопли тетушки и Саши привлекли сюда изъ людской и двѣичьей нѣсколько людей дворовой прислуги, которой мы и передали съ рукъ на руки повара, а сами кинулись на помощь дядѣ. Слегка покачиваясь корпусомъ, съ помутившимися глазами стоялъ онъ, прислоненный къ косяку дверей, и не стоналъ, а только слабо побряхтывалъ какъ-то. Рука его, судорожно дрожа, сжимала рану, а на бѣломъ жилетѣ и палевыхъ пижамныхъ панталонахъ уже образовались большія кровавыя пятна. Кое-какъ перевели мы его въ гостиную, положили на диванъ, разстегнули, но увы!.. о помощи нечего было и думать, — рана въ животѣ была безусловно смертельна.

Это случилось въ три-четверти двѣнадцатаго, а съ послѣднимъ ударомъ полночи на старыхъ англійскихъ часахъ, стоявшихъ въ залѣ, мой бѣдный дядя испустилъ послѣдній вздохъ свой.

Такимъ образомъ 14-го мая 1861 года, т. е. ровно черезъ тридцать лѣтъ, сбылось предсказаніе цыганки, и Наумъ Середа сдержалъ свое слово.



ПОДЗЕМНЫЙ ХОДЪ¹⁾.

(ИЗЪ ВАРШАВСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ).

Посвящено П. В. Новицкому.

I.

1865 года, ноября $\frac{1}{13}$ дня, въ Варшавѣ была хорошая погода. Въ небѣ стояли сплошныя, холодныя облака, а въ тихомъ, безвѣтренномъ воздухѣ ощущался тотъ легкій морозецъ, который, являясь первозимней свѣжей новинкой, бодритъ все тѣло и веселитъ «всяко дыханіе живо».

На мостовыхъ раздавался рѣзче и гулче топотъ конскихъ копытъ, и людскіе голоса доходили до вашего уха какъ-то звучнѣе, звонче и крѣпче, словомъ—все, начиная отъ уличныхъ звуковъ и кончая бодро зарумянившимися щеками и носиками кокетливыхъ варшавянокъ,—все дышало благодатнымъ веселымъ морозцемъ.

Хотѣлось пользоваться этимъ воздухомъ, тянуло на улицу—погулять, да пройтись хорошенько, надышаться во всю грудь живительнымъ холодкомъ,—и вотъ, гуляя, отправились мы на работу, нарочно избравъ на этотъ день занятіе самаго легкаго свойства: надо было сдѣлать предварительный наружный осмотръ Королевскаго замка и принадлежащихъ къ нему службъ и зданій, а это именно и представлялось самымъ подходящимъ дѣломъ, по такой погодѣ.

Стародавняя варшавская молва неоднократно указывала намъ на существованіе подъ Королевскимъ замкомъ какихъ-то таинственныхъ подземелій и очень древнихъ подземныхъ ходовъ.

Толковали, будто одинъ изъ нихъ ведетъ въ катакомбы Фары, другой къ Бернардинамъ, а третій выходитъ въ Вислу, не-то *подъ Вислу*.

Хотя мы знали уже по опыту, что варшавской молвѣ довѣряться слѣпо никогда не слѣдуетъ, однако же на этотъ разъ скорѣе склонны были вѣрить въ нѣкоторую справедливость стародавнихъ толковъ, которые въ данномъ случаѣ могли имѣть не-химерическія основанія.

¹⁾ Въ предлагаемомъ разсказѣ описывается одно изъ изысканій, которое официальнымъ образомъ своевременно занесено въ „Журналъ дѣйствій комисіи для разслѣдованія подземелій города Варшавы“ подъ № 7 — *Королевскій Замокъ*. (Докладъ председателя комисіи для разслѣдованія подземелій Варшавы объ открытіи подземнаго хода изъ-подъ Королевскаго замка на рѣку Вислу и подъ площадью Сигизмунда).

Зданіе Королевскаго замка стоитъ на высокомъ, нагорномъ берегу Вислы, въ разстояніи отъ самой рѣки сажень на полтора или около двухсотъ. Свойство почвы, повидимому, могло бы благоприятствовать устройству подземныхъ сообщеній, да и наконецъ, что же это за древній, средневѣковый замокъ, если въ немъ нѣтъ подземнаго хода, тогда какъ безъ такового не обходится почти ни одинъ изъ его старыхъ собратовъ. А варшавскій замокъ, дѣйствительно, очень старъ. Основаніе его относится ко времени Мазовецкаго князя Конрада I, или, говоря точнѣе, къ 1217-му году ¹⁾. Первоначально онъ былъ построенъ изъ дерева, въ видѣ четырехугольника, съ четырьмя наугольными башнями и съ четырьмя же воротами, къ которымъ подводили переброшенные черезъ глубокій ровъ подъемные мосты. Со стороны города, равно какъ и со стороны Вислы, это деревянное зданіе окружали валы со стѣнами и рвами, которые исчезли уже при Владиславѣ IV, когда князь Станиславъ Любомірскій построилъ вблизи замка, почти бокъ-о-бокъ съ нимъ, великолѣпный каменный домъ, благополучно здравствующій и по-нынѣ, нося до-вольню странное названіе *«Подъ бляхемъ»*. Это названіе означаетъ, что крыша дома была покрыта желѣзомъ, а не черепицею, какъ обыкновенно покрываются дома въ Варшавѣ. Но при Владиславѣ IV уничтожились только стѣны, рвы и мосты, прилежавшіе къ замку со стороны города, а остатки надвислянскихъ укрѣпленій можно было видѣть еще до 1844-го года, когда при сооруженіи дороги, ведущей отъ замка къ Вислѣ, они были срыты.

Когда въ 1569 году король Сигизмундъ III перенесъ столицу изъ Кракова въ Варшаву, замокъ князей Мазовецкихъ сталъ называться Королевскимъ и явился въ совершенно новомъ видѣ: деревянныхъ построекъ уже въ немъ не существовало—все замѣнилось каменными сооруженіями, изъ которыхъ доселѣ сохранилась въ неприкосновенности главная часовая башня, надъ фасомъ, обращеннымъ къ нынѣш-

¹⁾ О замкѣ упоминается въ 1350 году, по поводу привилегіи, данной княземъ Казиміромъ жителямъ четырехъ деревень: Збиково, Домашево, Вискупце и Рокитно, которая увольняла ихъ отъ всякихъ податей, кромѣ тѣхъ, что отбывали они на княжескій замокъ.

ней Зигмундовой площади, известная под именем Зигмундовой же (т. е. Сигизмундовой) башни. Въ ней замѣчательнѣе вызолоченный шаръ, вѣнчающій остріе архитектурно-причудливаго шпилья; а замѣчательнѣе онъ потому, что на немъ записаны вѣчными буквами дѣянія и подвиги Зигмунда III.

Къ этому времени относятся и сооруженіе замковыхъ подземелій, которыя служили обширными и мрачными тюрьмами, куда заключали по приговору старосты варшавскаго, чинившаго здѣсь же, въ самомъ замкѣ, свой судъ и расправу. Въ этихъ самыхъ подземныхъ тюрьмахъ совершали иногда надъ осужденными и смертную казнь. При разслѣдованіи ихъ, намъ иногда попадались въ землѣ кой-какія кости, можетъ быть человѣческія, и вѣроятно все, кости казненныхъ. Замковыя подземелья не ограничиваются наружными предѣлами распланировки надземныхъ стѣнъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выходятъ и за эти предѣлы, подъ площадь Зигмунда и подъ небольшую площадку, лежащую у мостового съѣзда, передъ «Подъ бляхемъ». Такія архитектурныя особенности указываютъ на то, что при сооруженіи замковыхъ подземелій строители вѣроятно соображались со специальностью ихъ назначенія, въ качествѣ тюремъ. Въ одномъ изъ нихъ мы случайно набрали на цѣлый лошадиный скелетъ, засыпанный бутовымъ грузомъ. — Быть-можетъ, наряду съ казненными, тутъ же опочили и бранные останки какого-нибудь любимаго королевскаго коня. Надо полагать, что одновременно съ подземными тюрьмами былъ сооруженъ и подземный ходъ, который 1-го ноября послужилъ намъ предметомъ случайнаго открытія и доставилъ мнѣ нѣсколько минутъ такихъ ощущеній, которыхъ я не забуду до конца моей жизни.

II.

Не располагая на этотъ день никакими серьезными работами по предмету изысканій нашей комиссіи, мы отправились, въ числѣ трехъ человѣкъ, сдѣлать, гуляючи, наружный осмотръ замка. Тамъ уже ожидали насъ двое изъ нашихъ солдатъ, заранѣе посланныхъ на мѣсто.

Отъ замка, по направленію къ Вислѣ, спускается широкая терраса, устроенная самой природой, и на этой террасѣ разбитъ замковый садъ.

Послѣ пожара, опустошившаго это зданіе въ 1767 году, оно вновь великолѣпно реставрировано архитекторомъ Мерлиномъ и художникомъ Баккіарели, и тогда-то, между прочимъ, подъ садовой террасой, во всю длину ея, построена была крытая галлерея. Для этого срубали часть нагорнаго откоса, при его подшивѣ, откуда начинается уже низменный берегъ, до-

бѣгающій ровной площадкой до вислянскаго русла. При императорѣ Александрѣ Павловичѣ, вдоль этой подтеррасной галлереи были выведены очень красивыя аркады, а послѣ тридцатаго года, при покойномъ князѣ Паскевичѣ, тамъ помѣстились конюшни кубанскаго казачьяго дивизіона, которыя находятся на мѣстѣ и по настоящее время, такъ какъ дивизіонъ этотъ составляетъ неизмѣнный конвой варшавскихъ намѣстниковъ.

Мы вошли въ казачью конюшню и направились вдоль подтеррасной галлереи. Обращая по преимуществу вниманіе наше на внутреннія кирпичныя стѣны этой постройки, мы замѣтили, что въ одномъ мѣстѣ, недалеко отъ самой середины длинной галлереи, кладка кирпича наружнымъ видомъ своимъ нѣсколько разнится отъ общей кладки внутренней стѣны. Самый цвѣтъ кирпича въ этомъ мѣстѣ отличался отъ общаго его колорита, представляя буроватое пятно нѣсколько овальной формы.

Это, повидимому, ничтожное обстоятельство заставило насъ остановиться.

Попытавши нѣсколько разъ ударить кирпичъ желѣзнымъ ломомъ, мы услышали совсѣмъ особый звукъ, который почти безошибочно позволилъ предполагать пустоту за стѣною.

Для сравненія ударили въ слѣдующую, соседнюю арку — звукъ весьма ясно оказался короткимъ, сухимъ, что уже никакъ не допускало предположить тамъ присутствіе застѣночной пустоты. Стало-быть, мы не обманулись: буроватое пятно образовалось не спроста, и рѣзкое различіе ударнаго звука явно указывало на пустое пространство.

Этого уже было совершенно достаточно, чтобы заинтересовать насъ не на-шутку, такъ-что, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, мы распорядились тотчасъ же приступить къ работѣ. Надо было сдѣлать пробоину. Здоровые, крѣпкіе мускулы нашихъ рабочихъ и дружныя усилія двухъ ломовъ — менѣе чѣмъ въ одинъ часъ сдѣлали свое дѣло. Кирпичъ былъ положенъ въ два ряда, что уже явилось первымъ основательнымъ подтвержденіемъ нашей догадки: капитальная стѣна, на которую налегаетъ постоянное давленіе срубанной ею горы, очевидно, не могла противоставить этому давленію надежнаго оплота изъ кирпича двурядной кладки.

Въ только-что пробитую небольшую брешь просунули ломъ, который не встрѣтилъ съ противоположной стороны ни малѣйшаго препятствія.

Съ этой минуты догадка перешла уже въ область положительнаго факта. За стѣною несомнѣнно есть пустое пространство. Но что это за пустота и какое ея назначеніе?

Утвердили на концѣ лома свѣчу, зажгли ее и прежнимъ путемъ отправили этотъ инструментъ въ застѣночную пустоту. Колебаніе пла-

мени показало довольно значительную тягу воздуха, по направленію къ намъ изнутри неизвѣстнаго пространства,—стало-быть размѣры его должны быть весьма-таки значительны. Это уже утроило интересъ изысканій.

Хотя тяга воздуха сильно колебала пламя, однако же удалось просунуть ломъ такъ, что она не загасила свѣчи. Слабый свѣтъ озарилъ съ противоположной стороны часть какой-то кирпичной сводчатой постройки, прямымъ угломъ уходящей въ темную глубь садовой террасы, по направленію къ замку. Что такое находилось за этимъ ближайшимъ къ нашему зрачку угломъ—разглядѣть уже было невозможно въ мгlistой темнотѣ застѣночнаго пространства, при сильныхъ и порывистыхъ колебаніяхъ слабаго пламени. Да въ этомъ теперь еще нужды не видѣлось, такъ какъ для насъ пока было совершенно достаточно подтвержденія въ существованіи интереснаго пустого пространства. Потому двумъ желѣзнымъ ломамъ снова задалась привычная работа. Надлежало расширить сдѣланную брешь настолько, чтобы въ нее можно было безпрепятственно пролѣзть взрослому человѣку.

Безъ малаго въ полчаса окончилось и это дѣло.

Одинъ изъ рабочихъ спустился въ застѣнокъ и ушелъ туда съ головою. Одинъ только руки, цѣпко ухватившіяся за кирпичъ, видны были на нижней поверхности нашей пробоины.

— Придержите за руки!.. скорѣе!—послышался оттуда его голосъ.

Придержали и помогли выкарабкаться.

— Ну, что тамъ?

— Да кто его знаетъ, ваше благородіе! Спуститесь-то на рукахъ—спустился, а грунту не слышать подъ ногами — такъ и не досталъ, индо судорога пальцы стала сводить... Надо-быть, глубоко, ваше благородіе; кабы вотъ лѣстницу!

Добыли и лѣстницу тутъ же у казаковъ въ конюшнѣ.

Саженная лѣстница достала грунтъ. Установили ее покрѣпче да понадежиѣ и, одинъ за другимъ, всѣ пятеро спустились въ загадочный застѣнокъ.

III.

Это оказалась довольно высокая, сводчатая и равносторонняя камера. Она была очень прочно выложена почернѣлымъ отъ времени кирпичемъ, который, сравнительно съ формой выѣвшихъ кирпичей, оказался довольно массивнымъ, то-есть гораздо шире и длиннѣе, совершенно подходя къ тѣмъ образцамъ, какіе намъ уже неоднократно приходилось видѣть въ древнихъ варшавскихъ постройкахъ. Это обстоятельство сразу указало на такую же древность сооруженія и той странной камеры, въ которой мы теперь находились. Впослѣдствіи

была вымѣрена ея вышина, оказавшаяся въ четыре съ половиной аршина, такъ-что брешь, пробитая нашими рабочими, пришлась на высоту не болѣе сажени отъ полу, который былъ выложенъ большими каменными плитами.

Осмотрѣлись вокругъ—особенно достопримѣчательнаго пока еще ничего не оказывается. Что-то будетъ дальше?

Тяга воздуха была значительно слабѣе, чѣмъ въ самой пробоинѣ, однако все-таки замѣтна. Смотримъ—изъ камеры выходятъ два противоположные одинъ къ другому корридора. Первый довольно высокъ и прямо передъ нами уходитъ вверхъ, по направленію къ Королевскому замку; другой же, весьма низкій, спускается за нами въ противоположную сторону, къ Вислѣ. — И то и другое равно интересно. Куда же направиться?

— Пойдемъ сперва наверхъ: тамъ, вѣроятно, интереснѣе, да идти-то будетъ гораздо удобнѣе, по крайней мѣрѣ свободно пойдешь, не сгибаясь.

Рѣшено и сдѣлано, потому что резонъ былъ основателенъ, если принять въ соображеніе новостъ и неизвѣстность этого подземнаго путешествія, причѣмъ возможно-большее удобство, на первыхъ шагахъ, до болѣе короткаго знакомства съ новымъ открытіемъ, конечно, играло въ нашихъ глазахъ роль весьма немаловажную.

Отправились—гуськомъ, другъ за другомъ.

Послѣ короткаго перехода по каменной площадкѣ, передъ нами вдругъ легли большія гранитныя ступени — двѣ, три, четыре — и опять ровная площадка, нѣсколько длиннѣе первой, и опять ступени. Подземный путь подымался въ гору, — впереди предстояла еще длинная и круглая лѣстница, которая — насколько позволялъ намъ видѣть свѣтъ одной стеариновой свѣчи—въ половинѣ своего подъема заворачивала вправо. Ступени всѣхъ этихъ прерывающихся лѣстницъ были неравнобѣрны. Однѣ въ обыкновенную величину, другія же, то-есть большая часть, оказывалась вдвое выше обыкновенныхъ размѣровъ, такъ-что утверждая на нихъ ступню, нога должна была дѣлать замѣтное усиліе. Это шествіе облегчалось отчасти тѣмъ, что лѣстницы подземнаго корридора были довольно отлоги, исключая самой длинной, которая, какъ уже сказано, представляла своими высокими ступенями значительную крутизну дугообразнаго подъема.

Пламя свѣчи колебалось довольно ровно, и его плавыя колебанія, то озаряя, то отуская окружающую мѣстность, придавали этому корридору какой-то таинственно-странный, сурово-фантастическій характеръ.

Надъ головой, на высотѣ трехъ аршинъ и семи вершковъ, все время тянулся дугообразный сводъ. Стѣны прочно выложены большими древними кирпичами. На полу — каменная

кладка, мѣстами изъ гранита, мѣстами известкового плитняка и наконецъ изъ кирпича, поставленнаго ребромъ и узорчато сложеннаго вигзагами.

На протяженіи этого корридора оказалось нѣсколько поворотовъ, которые уклоняютъ его отъ первоначальнаго направленія, казавшагося прямымъ.

И здѣсь подъ землей оказывались проявленія своеобразной жизни.

Мѣстами стѣны были покрыты черноватой липкой слизью, которую образовала проступавшая вѣками сырость. Мѣстами цѣлыя пространства покрыты были сплошной грибчатой нарослью, на видъ такой нѣжной и бѣлой, что казалось, будто вся эта стѣна артистически соткана изъ великолѣпнаго гагачьяго пуха, отороченнаго кое-гдѣ волнистой шерстью ангорской козы. Изъ расщелинъ нѣкоторыхъ кирпичей выползали прихотливо завившіеся длинные стержни какихъ-то особаго вида грибовъ, которые совершенно казались какими-то бѣлыми змѣями, неподвижно повисшими на краю своихъ гнѣздъ. Этотъ странный видъ гриба намъ только и довелось видѣть въ замковомъ подземномъ ходу. Больше мы его нигдѣ и никогда не встрѣчали. Мѣстами кирпичи становились суше, и тогда на нихъ искрились блестя селитрянаго налета, придавая имъ видъ шероховато-матоваго серебра и дѣлая весь корридоръ до того исключительнымъ и непохожимъ на обыкновенныя произведенія рукъ человѣческихъ, что казалось, будто все это—фантастическое созданіе какихъ-то фантастическихъ подземныхъ гномовъ.

Но если по сторонамъ все казалось такъ оригинально - красиво для взоровъ, то вверху, надъ головой было еще красивѣе и фантастичнѣе.

Представьте себѣ этотъ полукруглый сводъ, уходящій и впереди, и позади въ безконечную темноту, сводъ, очень слабо освѣщенный только надъ вами красноватымъ отблескомъ свѣчи, и этотъ отблескъ позволяетъ видѣть тамъ, наверху какую-то мелкую игру и сверканіе блестящихъ и исчезающихъ искорокъ.

Отъ одного до другого бока этого свода повисла и переплелась гирляндами еще одна новаго рода грибчатая поросль, на которой, словно нити жемчужныхъ бусъ вперемешку съ алмазными зернами, рядами нанизались влажные капли сырости, и эти капли, преломляя въ себѣ дуи свѣчного пламени, производятъ огнисто-радужное сверканіе.

Гагачій пухъ, сѣдое, древнее серебро и эти дугобразно повисшія гирляндами нити жемчужовъ и алмазовъ—какое фантастическое богатство! И все это богатство мгновенно исчезаетъ и превращается въ какую-то липко-слизкую грязь отъ одного прикосновенія человѣческихъ пальцевъ.

На полу также сказывалась жизнь—только уже болѣе намъ знакомая. Время-отъ-времени тамъ показывались рыжія и сѣрыя крыжи, юрливо мелькали по плитамъ своими жирными хвостами и, смущенныя въ своемъ подземномъ покоѣ появленіемъ людей, впопыхахъ, торопливо шлепали со ступеньки на ступеньку своимъ проворнымъ, но неуклюже-толстогузымъ тѣломъ.

Подъемъ въ гору наконецъ окончился. Мы шли по длинному и прямому корридору, высота котораго нѣсколько понизилась. Можно было предположить, что мы идемъ уже теперь гдѣ-нибудь подъ замкомъ. Оно такъ и было, потому что вскорѣ попался намъ въ сводѣ небольшой люкъ, покрытый деревянной крышкой, и когда наконецъ удалось приподнять ее,—всѣ узнали задній дворъ Королевскаго замка.

Убѣдившись такимъ образомъ, подъ какой мѣстностью находимся, мы продолжали наше путешествіе.

Вдругъ, попадаетъ новая вѣтвь подземнаго пути, которая круто повернула влѣво. Проходящая нами главная жила вела подъ площадь Зигмунда, а крутой заворотъ побочный, только что открытый нами, шелъ по направленію къ монастырю бернардиновъ. Приходилось во-очію убѣдиться на этотъ разъ въ справедливости стародавнихъ варшавскихъ толковъ. На другой день было сдѣлано вторичное изслѣдованіе этихъ двухъ вѣтвей, которое показало, что главная жила подземнаго хода, проходя подъ площадью Зигмунда, упирается въ уголь Свенто-Янскон улицы, гдѣ дальнѣйшее направленіе ея—по всей вѣроятности, въ подземелья Фары—преграждено кирпичной кладкой фундамента углового дома. Вторая вѣтвь сначала заставляла было предполагать подземную связь бернардинскаго монастыря съ замкомъ; но предположеніе это не подтвердилось, потому что корридоръ упирается въ выступъ сигизмундовскихъ воротъ замка, то-есть собственно въ его фундаментъ, значительно углубленный въ землю.

Это послѣднее обстоятельство подало поводъ думать, что постройка замка относится ко времени позднѣйшему, чѣмъ устройство подземной галлерей, и что при постройкѣ перваго, дальнѣйшее сообщеніе послѣдней уничтожено съ умысломъ, какъ не представлявшее болѣе надобности. Стало-быть, коммуникація бернардинской вѣтви могла быть прервана около 1564 или въ 1570 годахъ, когда король Сигизмундъ III воздвигалъ себѣ каменный замокъ съ главной часовой башней и воротами подъ ней, которыя и доселѣ носятъ его имя.

Спертый воздухъ въ мѣстѣ соединенія двухъ вѣтвей вдругъ сдѣлался очень тяжелъ и почти удушливъ. Мы предпочли вернуться назадъ, въ ту самую камеру, гдѣ была пробита брешь изъ казачкой конюшни, чтобы за-одно ужъ изъ

слѣдовать и дальнѣйшее направленіе подземнаго хода во второй его половинѣ, которая, по всѣмъ соображеніямъ, должна была вести къ Вислѣ.

IV.

По ступенькамъ весьма низкаго спуска, ползкомъ перебрались мы изъ камеры въ новый корридоръ, который съ перваго же шага оказался совсѣмъ не похожъ на прежній.

Ширина прохода около двухъ аршинъ; кирпичная кладка и каменный полъ были такіе же, какъ и въ первомъ ходѣ, но высота убавилась болѣе чѣмъ на половину, такъ-что подвигаться впередъ приходилось уже не иначе, какъ согнувшись всѣмъ корпусомъ.

Это была еще первая маленькая неприятность, изъ числа тѣхъ, которыя предстояли впереди. Впрочемъ, мы ихъ не предвидѣли и потому шли да шли-себѣ далѣе.

Мало-по-малу воздухъ началъ принимать какую-то затхлость и удушливость, такъ-что дышать было весьма затруднительно. Свѣча, впрочемъ, пока еще горѣла совершенно ясно.

Время-отъ-времени ходъ уклонялся отъ первоначальнаго направленія; встрѣчались колѣнчатые повороты и все болѣе въ лѣвую сторону, однако здѣсь они шли гораздо рѣже, чѣмъ въ первомъ.

По-временамъ попадались и люки въ полу-кругломъ сводѣ, и попадались довольно-таки часто, но всѣ они были наглухо замурованы то кирпичами, то плитой, такъ-что свѣжему, здоровому воздуху проникнуть сюда не было никакой возможности. А какъ бы кстати была теперь хотя одна освѣжающая струйка его! Но все-таки эти замурованные люки сослужили намъ свою добрую службу. Мы останавливались въ нихъ на раздыхъ, чтобы въ нормальномъ стоячемъ положеніи хотя сколько-нибудь расправить усталую спину и облегчить затекшую голову, такъ какъ путешествіе въ положеніи скорченномъ, съ непривычки, казалось утомительнымъ до послѣдней степени, особенно при отсутствіи чистаго воздуха.

— А вѣдь мы, господа, все глубже да глубже въ землю идемъ,—замѣтилъ одинъ изъ спутниковъ.

— Ой ли?.. Почему такъ?

— Да ужъ такъ! Хоть исподволь, а глубже! Вы не замѣчаете, люки-то чѣмъ дальше, тѣмъ выше?

И въ самомъ дѣлѣ—чѣмъ дальше направлялся проходъ, тѣмъ все выше и выше становились люковые трубы,—стало-быть проходъ все больше углублялся въ землю.

Въ одной изъ такихъ трубъ мы принуждены были остановиться и посоветоваться, какъ быть намъ далѣе.

Дѣло въ томъ, что спертый воздухъ становился все гуще, такъ-что для свободнаго

дыханія пятерыхъ легкихъ едва ли бы хватило его. Да и въ-добавокъ, всѣ были очень утомлены.

Я настаивалъ на продолженіи изслѣдованія; спутники же мои подавали голосъ за немедленное возвращеніе. Все неоспоримое благоразуміе было на ихъ сторонѣ, потому что въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о трудностяхъ подземнаго путешествія, мы не знали, куда насъ выведетъ этотъ корридоръ и долго ли еще онъ протянется, тогда-какъ воздухъ, что ни шагъ далѣе, то все хуже да хуже; весьма легко могла вдругъ сдѣлаться съ кѣмъ-нибудь дурнота, обморокъ, а у насъ—ни воды, ни спирту, да и освѣтительнаго то матеріала одна только свѣчка. Мы никакъ не рассчитывали отправиться на этотъ день въ подобное подземное путешествіе, и потому не запаслись ничѣмъ необходимымъ для этого рода странствій.

На моей сторонѣ былъ весьма шаткій резонъ, заключавшійся въ томъ, что все равно, молъ, не сегодня, такъ завтра, а вѣдь идти-то все-таки придется, такъ ужъ лучше сразу. Кроме этого аргумента, въ поддержку мысли за немедленное продолженіе изслѣдованія я могъ еще представить одно только мое личное желаніе, что конечно болѣе походило на личный капризъ, и потому для остальныхъ становилось вовсе не обязательнымъ.

Голосъ благоразумія съ ихъ стороны остался непоколебимъ, я же поддался моему капризу и обратился къ двумъ рабочимъ съ вызовомъ, не хочетъ ли кто-нибудь изъ нихъ идти вмѣстѣ со мной.

Охотникъ нашелся. Это былъ молодой солдатикъ изъ нѣмчиковъ. Звали его Франкомъ. Послѣ этого въ общемъ совѣтѣ порѣшено было, что трое останутся въ люкѣ ждать нашего возвращенія, а мы пройдемъ еще нѣсколько далѣе, съ тѣмъ, что если путешествіе почему-либо окажется труднѣе настоящаго, то немедленно вернемся къ товарищамъ.

V.

Мы разрѣзали на-двое свѣчку, захватили про всякій случай одинъ изъ желѣзныхъ ломовъ и отправились.

Нѣкоторое время, когда мы обертывались, намъ виденъ былъ свѣтъ у оставшихся въ люкѣ; мы могли перекликаться съ ними; но при первомъ же колѣнѣ подземнаго хода свѣтъ мгновенно исчезъ, а минуты черезъ двѣ и голоса уже сдѣлались неслышны. Мы попробовали крикнуть въ двѣ груди—и все-таки нѣтъ отклику.

Крикнули еще, прислушиваемся—все тихо, словно бы голосъ подъ землей потерялъ всю свою звучность и силу.

Мы рѣшились идти все-таки далѣе—на авось, куда ни вывезетъ кривая.

Вдругъ встрѣчается одна новая вѣтвь направо. На минуту заглянувъ туда, мы вернулись въ прежній корридоръ и пошли впередъ. А воздухъ межъ тѣмъ становится все удушливѣе и гуще. Дышать было очень тяжело и трудно.

Черезъ нѣсколько времени опять новая вѣтвь направо. Мы прошли мимо.

Вдругъ каменный полъ сталъ покрываться густымъ и вязкимъ слоемъ наносаго илу и грязи, которые увеличили зловоніе воздуха, и покрывался имъ что дальше, то больше.

Наконецъ, слава Богу, набрали мы на одинъ люкъ, труба котораго была выше другихъ и покрыта деревянной крышкою. Въ этой крышкѣ мы чаяли найти облегченіе, а она-то именно и послужила причиною бѣднѣйшихъ затрудненій, которыя могли окончиться крайне печально для насъ обоихъ.

— А что, нельзя-ли какъ-нибудь открыть ее?—предложилъ я моему спутнику. — Попытайся-ко влѣзть да приподнять — по крайней мѣрѣ выпустимъ свѣжаго воздуха—да огляди-ко, подъ какимъ мѣстомъ мы находимся?

Франкъ поставилъ къ стѣнѣ свой ломъ, а я помогъ ему собственными плечами и спиною взобраться въ люковую трубу, очутившись въ которой, онъ уже безъ моей помощи сталъ-себѣ карабкаться къверху, упираясь ногами и локтями къ стѣнкѣ.

Гляжу—добрался мой Франкъ уже до верху и ухватился рукой за крайній кирпичъ, какъ вдругъ оборвался и сразу грохнулся на-земь.

Ни голоса, ни стога!

Прогнившіе старые кирпичи не выдержали тяжести его тѣла и вслѣдъ за его паденіемъ тотчасъ же обильно посыпались сверху, вмѣстѣ съ землей и какимъ-то мусоромъ.

Одинъ изъ нихъ больно попалъ мнѣ по лѣвому плечу, другой вмѣстѣ съ грудкой земли вышибъ изъ рукъ свѣчу.

И глазомъ мигнуть не успѣлъ я, какъ стала страшная, непроницаемая темнота, въ которой уже, буквальнымъ образомъ, ни зги не было видно. И въ тѣмъ раздавалось только глухое буханье о земь еще двухъ-трехъ падавшихъ кирпичей.

Все это произошло менѣе чѣмъ въ три-четыре секунды. Обсыпалось еще нѣсколько комковъ земли, и все смолкло, а Франкъ не шевелится и голосу не подаетъ.

Мигомъ бросился я къ нему, ощупью напелъ лицо и не разстегнулъ, а почти разорвалъ петли его кафтана и крючки воротника, да скорѣе сталъ тереть виски и заушья. Это оставалось единственнымъ средствомъ для подаванія кой-какой помощи въ столь исключительномъ положеніи.

«Если онъ убитъ—что же я буду дѣлать!» мелькнула мнѣ смутная мысль.

«Убитъ—тогда все равно: какъ-нибудь пойду дальше.

«А если еще живъ... если это обморокъ... если онъ опасно поранился—тогда что?..

«Неужели же оставить его одного въ этомъ мѣстѣ?..

«Нѣтъ, это невозможно... Это гнусно!

«Что же дѣлать тогда?

«Какъ-нибудь потащу на себѣ, если онъ не въ состояніи будетъ самъ ползти.

«Но какъ, и гдѣ тутъ потащишь?.. Кабы еще корридоръ былъ достаточно высокъ, а то и самому-то приходится идти, согнувшись чуть не въ три погибели,—того и гляди, самъ въ-конецъ обезсилишься до обморока... Вонъ, духота, удушье, ноги вязнутъ, мертвая тьма кругомъ.

«Скверно!»

Да! дѣйствительно это была совсѣмъ скверная минута. Такія жуткія мысли и соображенія неясно, но быстро мелькали въ головѣ моей, пока обѣ ладони работали надъ висками и заушьями Франка.

Къ счастью, имъ пришлось работать очень недолго. Черезъ минуту онъ уже очнулся и, тотчасъ же придя въ себя, только крикнулъ довольно выразительно.

— Что съ тобой?.. Не ранило ль куда-нибудь?—спросилъ я.

— Ничего, ваше благородіе... Не беспокоитесь... Отойду сейчасъ, отдышаться бы только,—отвѣтилъ онъ бодрымъ голосомъ.

— Можеть зашибся сильно?

— Есть немножко, ваше благородіе... затылкомъ... да локоть ссадилъ—только ничего, отойдетъ-съ...

— Крови нѣтъ?

— Не слыхалъ... Оно сразу-то ошеломило только... одурманило совсѣмъ, какъ головой хватился... А теперь ничего,—говорилъ онъ, подымаясь на ноги.

— Спички есть у тебя?

— Кажись, что есть, ваше благородіе... Поищу сейчасъ.—И онъ сталъ шарить въ карманахъ...

— Ну, что же?.. Неужели нѣтъ?!

— Есть, ваше благородіе!—Нашелъ, вотъ.

— Сколько?

— Одна, двѣ, три... пятокъ, ваше благородіе.—Больше нѣту.

— Э!.. не ладно, братъ, наше дѣло... Ну, да ничего—и то слава Богу! Черкай-ко!

Черкнулъ онъ по рукаву—черкнулъ разъ, и другой, и третій—на сукнѣ задымились три фосфорныхъ слѣда, но скверная спичка не загорѣлась.

Досадно!

— Берн другую!

Сталъ и другую черкать,—и на этотъ разъ результаты оказались успѣшны. Сѣра закипѣла синенькимъ огонечкомъ—спичка дала пламя.

Пользуясь этимъ непродолжительнымъ свѣтомъ, я торопливо нагнулся отыскивать упавшій огарокъ.

Гдѣ же онъ—чортъ его знаетъ!

А, вотъ, наконецъ! Нашелъ на грязномъ илѣ, смотрю—засорило его совсѣмъ упавшимъ кирпичемъ да землею, которая смѣшалась съ застывшимъ стеариномъ. Но это бы еще ничего, а главная бѣда въ томъ, что проклятый кирпичъ, вышибившій у меня свѣчку, при паденіи принеся какъ-разъ по ней и срѣзалъ свѣтильню.

Нужно же было случиться именно такъ, а не иначе! Словно бы все это нарочно, иронически стряслось надъ нами такимъ образомъ.

Пока я освобождалъ свѣтильню изъ-подъ нахвѣвшей на ея поверхность и выѣстѣ со стеариномъ застывшей земли, пламя спички — увы! потухло.

— Франкъ черкнулъ третью — пшикъ! и тухнетъ.

Четвертая — тухнетъ.

Остается пятая—единственная и послѣдняя.

— Стой! не зажигай!.. Пойщи-ка сперва, нѣтъ ли у тебя тамъ хоть одной еще?.. Можетъ и отыщется какая-нибудь завалящая.

Франкъ весьма охотно и усердно сталъ шарить по всѣмъ карманамъ, и я также принялся искать у себя, хотя зналъ съ полной увѣренностью, что при себѣ у меня нѣтъ и не было ни единой спички.

«А *можетъ быть!*... можетъ вдругъ какими-нибудь судьбами и отыщется—почемъ знать!»

Но... ни у меня, ни у Франка не отыскалось.

Мы медлили зажигать послѣднюю спичку.

Почему именно медлили—это мы другъ другу не высказали, но, казалось, оба хорошо понимали, *почему*, оба чувствовали въ тѣ мгновенія одно и то же.

Пока еще въ нашихъ рукахъ была хоть одна спичка—въ нашемъ сердцѣ таилась надежда на свѣтъ. Мы думали, что она зажжется, и... не зажигали. Мы боялись окончательно потерять нашу надежду. Въ ту минуту она была для насъ и лучшей, и единственной.

— Такъ что же, братъ, нѣтъ у тебя больше спички?

— Окромѣ этой, нѣтъ, ваше благородіе.

— Погоди же, говорю, — не черкай!.. У тебя вѣрно платье отсырѣло, дай-ко мнѣ—я самъ зажгу.

Мнѣ почему-то казалось, что у меня скорѣе загорится.—Мы всегда склонны питать къ самимъ себѣ гораздо больше довѣрія, чѣмъ къ другому.

Взявъ я отъ него спичку, разстегнулъ бортъ своего рабочаго пиджака, который съ-изнанки не долженъ бы еще, казалось, пропитаться сыростью, и—между надеждой, боязнью и ожиданіемъ—постарался какъ можно лучше черк-

нуть спичку, такъ, чтобы треніе ея о сукно было не сильно и не слабо, а въ самую мѣру. — Таково, по-крайности, было желаніе, которымъ я задался въ ту минуту.

О, радость!—Спичка загорѣлась.

Снова закипѣла и запузырилась на ней сѣра. Синеватый огонечекъ на мгновеніе блѣдно-блѣдно и какъ-то мертвенно озарилъ нѣкоторые изъ чертъ лица моего товарища, оставляя другія въ глубокой тѣни. Вотъ и стѣны люка тускло обозначились, а сѣра пузырится и шипитъ, но тлѣніе огонька не переходитъ въ пламя.

Потухнетъ или зажжется?

Вотъ онъ вопросъ! Вотъ наше роковое «быть или не быть» этой минуты!

Зажжется или потухнетъ?

Господи! да что же это такое?.. Тусклѣе, меньше, скуднѣе... вотъ ужъ чуть-чуть только тлѣется... тухнетъ, тухнетъ...

Потухъ совершенно.

Только крѣпкая струйка сѣрнаго запаха горьковато пибанула въ носъ—и больше ничего не осталось.

Что-жъ будетъ теперь?.. Неужели «*lasciate ogni speranza*»?

Слышу—Франкъ мой шаритъ что-то.

— Что ты, Франкъ?.. Чего ты ищешь?

— Да спичку... авось гдѣ найдется...

— Авось!..—Давай-то Богъ!.. да ты ищи получше—вездѣ пошарь у себя!

— Шарю!.. Все вышарилъ... Вѣдь надо же быть грѣху?.. Ну, что бы было захватить съ собою коробочекъ!.. Иной разъ, когда не нужно, такъ, глядишь, цѣлая спичечница въ карманѣ, а тутъ—какъ нарочно!.. Эхъ право...

— Нѣтъ ни одной, ваше благородіе!—послѣ минуты молчаливаго ожиданія съ моей и наивныхъ поисковъ съ его стороны, съ какой-то досадой безнадежности отрывисто буркнулъ онъ мнѣ свое слово.

— Что же, братъ, намъ теперь дѣлать?.. Какъ быть-то?.. а?

— Ничего не подѣлаешь, ваше благородіе... Развѣ опять наверхъ попытаться?

— Да! чтобы опять сорваться оттуда! Разъ сошло, а въ другой, пожалуй, и на-смерть хвятишься.

— И то правда!.. Пойдемъ назадъ—что-жъ больше дѣлать!

— Назадъ... Нѣтъ, братъ, назадъ невыгодно: чай, вѣдь самъ видѣлъ, что тамъ остался одинъ корридоръ налѣво, а потомъ другой направо.

— Такъ точно... одинъ налѣво, другой направо.

— Ну, такъ вотъ то-то же и есть!.. Пойдемъ-то, конечно, ошупью, за стѣну рукою, а въ ходу-то вѣдь есть завороты... Хорошо, коли удастся благополучно пройти по glavой жалѣ, а если ошибемся—примемъ какъ-нибудь боковой корридоръ вмѣсто заворота?.. Вѣдь ужъ

коли попадешь въ боковой-то — пиши пропало! — выходу не будетъ!

— Можетъ, Богъ дастъ, какъ нибудь и ми-немъ...

— То-то и есть, что это все одно только *можетъ*! А если собьемся съ пути, заблудимся?—голодной вѣдь смертію умереть придется... Тутъ, гляди, отъ одного воздуха задохнешься... А можетъ еще, заблудившись-то, нѣсколько сутокъ такимъ манеромъ проблываешь подъ землею—вѣдь все, братъ, это *можетъ* быть... Тогда-то какъ?

Я слышалъ, какъ вздохнулъ мой товарищъ.

Въ эту минуту, отъ безнадежной, отчаянной затруднительности, онъ, вѣроятно, долженъ былъ пожать плечами; такъ мнѣ казалось, такъ мнѣ чувствовалось это.

Мы оба замолкли въ тяжеломъ и смутномъ раздумьи.

Одна эта страшная, непроницаемая тьма способна была нагнать убійственное отчаяніе. Мы не подавали голоса, и отъ этого еще чутче выдавалась могильная тишина, безконечное, глухое и мертвое безмолвіе. Хотъ бы малѣйшій отголосокъ надземной жизни!—Хотъ бы гулъ какой-нибудь вѣды послышался, хотъ бы прошелъ кто-нибудь надъ нами по доскамъ люка—можно бы было подать вѣсть о себѣ, крикнуть во всю грудь.—Тщетныя желанія!—Ни единый звукъ съ того свѣта не проникалъ сюда подъ землю. Ухо невольно прислушивается: все хочется уловить хотъ какой-нибудь шорохъ, который служилъ бы признакомъ, если не той жизни, что коловращается тамъ надъ нами, такъ хотъ жизни здѣшней, подземной. Хотъ бы крыса какая, что ли, пробѣжала или пискнула—все же кажется, легче бы стало,—по крайней-мѣрѣ, было бы убѣжденіе, что и здѣсь-таки есть своя жизнь, а если она есть, то вѣроятно и выходъ на свѣтъ гдѣ-нибудь найдется,—стало-быть, явится новая надежда, новая энергія.

Но... все было мертво, и тихо, и глухо.

Неужели же намъ суждено найти въ этомъ подземномъ ходѣ свою вѣковѣчную могилу!

Нѣтъ, и надо бороться до конца, до послѣдняго мгновенія, пока не исчезнетъ въ мускулахъ послѣдняя доля силы, пока легкія въ состояніи будутъ дышать этимъ сыровато-душнымъ зловоніемъ.

— Ну, что же, Франкъ?—прервалъ я наконецъ это тягостное молчаніе.—Надо на что нибудь рѣшиться. Если не назадъ, такъ впередъ!

— А если и впереди попадутся боковые ходы? — весьма основательно возразилъ мой спутникъ.

— Ну, значитъ, ужъ судьба наша такая!.. Отъ судьбы не уйдешь. А ты прими въ соображеніе вотъ что: прошли уже мы съ тобой порядочное разстояніе — по всѣмъ вѣроятно-

стямъ, Висла должна быть недалеко, — такъ впередъ-то идти, пожалуй, будетъ ближе.

— Оно такъ, да люки—сами видите—что дальше, то выше... А коли онъ эдакъ-то подъ Вислой пойдетъ на тотъ берегъ?

— Если подъ Вислой, такъ, вѣроятно, боковыхъ ходовъ больше не будетъ; ужъ онъ тогда, значить, такъ-таки цѣликомъ и протянется одной жилой вплоть до Праги, или куда тамъ въ другое мѣсто.

— Да... это, пожалуй, что и такъ,—раздумчиво соглашаясь, вымолвилъ мой спутникъ.

— Ну, такъ что же? Впередъ?—обратился я къ нему одобрительно вызывающимъ тономъ.

— Какъ знаете,—отвѣчалъ онъ вполне равнодушно.

— Мое слово—впередъ! была не была! Идемъ-ка!—порѣшилъ я, внутренне стакнувшись съ самимъ собою ни на волосъ не теряя до послѣдняго мгновенія ни энергіи, ни присутствія духа.

— Идемъ! — согласился Франкъ. — А гдѣ у васъ огарокъ?—неожиданно спросилъ онъ.

— У меня въ рукѣ. А что тебѣ?

— Вы не кидайте его... Отдайте лучше мнѣ.

— Изволь, братъ. Да къ чему онъ тебѣ?

— Да что жъ кидать-то его занапрасно! На-что ему тутъ оставаться?.. Можетъ пригодится еще когда.

— Да когда же однако? вѣдь спичекъ-то нѣту.

— Потомъ, все равно, пригодится... Сапоги я тачаю—такъ свѣчка покупать приходится.

Я невольно, однако, весело-разсмѣялся, и охотно отдалъ Франку стеариновый огарокъ.

Какое, въ самомъ дѣлѣ, странное сочетаніе вѣмецкой бережливости съ чисто-русскимъ равнодушіемъ! И гдѣ же, въ какомъ мѣстѣ?—почти-что въ вѣрныхъ и безнадежныхъ клещахъ подземной смерти!

И замѣчательно еще вотъ что. Въ этомъ положеніи, между нами, какъ-то само собой, сгладилось и совершенно исчезло всякое внѣшнее социальное различіе. Тутъ уже обиходно было позабыто, что одинъ—рядовой, другой—въ его глазахъ, все-таки, въ нѣкоторомъ родѣ «начальство», «благородіе». Тутъ уже не было, да и не могло быть ни малѣйшимъ образомъ никакихъ этихъ внѣшнихъ градацій, которыя только *тамъ* и могутъ еще имѣть какое-нибудь мѣсто. Тутъ были просто два равныя другъ другу существа, два человѣка, два брата, нравственно соединенные во-едино одной общей судьбой, общей судьбой.

Это было именно равенство могилы, равенство смерти.

Человѣкъ положительно становится лучше и чище въ безвыходныя минуты подобныхъ испытаній.—Тутъ онъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, способенъ почувствовать и сознать въ себѣ не

Ивана, Петра или Сидора, не дворянина или рядового, не поляка, не нѣмца и не русскаго, а именно *человѣка*—и только одного человѣка, обоюдно почувствовать одинъ въ другомъ во плоти и во Христѣ брата своего единоприроднаго.

VI.

Франкъ нащупалъ и поднять ломъ, свалившійся на земь, въ минуту его паденія сверху, и—мы отправились далѣе.

Согнувшись, что называется, въ три погибели, ползкомъ и опущью, упираясь руками въ стѣнки корридора, съ великимъ трудомъ пробирались мы, осторожно, шагъ за шагомъ.

Сколько разъ доводилось стукаться о кирпичъ то теменемъ, то локтями, сколько разъ рука до кровавыхъ ссадинъ шаркалась и царапалась о стѣну—объ этомъ ужъ нечего и рассказывать. А иль, межъ тѣмъ, становится все глубже и гуще. Нога такъ медленно уходитъ въ него по колено и вязнетъ, и вязнетъ—себѣ глубже да глубже, не находя подъ собой прочной опоры,—словно бы этотъ иль засасываетъ ее въ какую-то бездонную глубину. Но вотъ, подошва уперлась въ каменную настилку—слава Богу, значить, твердая почва есть—таки подъ тобой, такъ что уже можно съ увѣренностью утвердить на ней ступню. Вотъ и поставивъ такимъ образомъ одну ногу, а другую въ это самое время съ усиленіемъ стараешься высвободить изъ густого и вязкаго ила, который такъ плотно засосалъ ее,—и опять пошла старая процедура, попеременно то съ правой, то съ лѣвой ногой...

Для пущей осторожности, мы пустили въ дѣло нашъ ломъ, который не мало также затруднялъ намъ шествіе: каждая тяжесть въ этомъ положеніи составляла для насъ одно только излишнее бремя.

Я совѣтовалъ Франку бросить это желѣзо, но онъ не согласился и, пожалуй, сдѣлалъ хорошо: ломъ пригодился. Передъ каждымъ шагомъ, мы погружали его въ массу ила. Коль скоро онъ ударялся въ твердое мѣсто—мы съ увѣренностью подвигались на одинъ шагъ далѣе.

Но ужасѣе всего въ этомъ многотрудномъ путешествіи была непроницаемая тьма—тьма идеальная, если можно такъ выразиться, которой никакъ нельзя сравнить съ тьмою закрытыхъ глазъ слѣпорожденнаго, ибо лучи огня или дневнаго свѣта все-таки оказываютъ свое раздражающее дѣйствіе на глазные нервы, такъ что слѣпецъ хотя и не видитъ, но можетъ чувствовать свѣтъ и тьму именно этими нервами, а здѣсь имъ нечего было чувствовать: какъ бы ни расширялся зрачекъ, сколько бы ни напрягали вы зрѣніе—нигдѣ и ниоткуда ни слабѣйшаго намека на маломальскую возможность появленія свѣта!

А воздухъ сталъ еще убійственнѣе. Въ немъ появилась теперь еще одна примѣсь новыхъ миазмовъ. Это былъ запахъ органическихъ веществъ, гніющихъ въ водѣ.

Поясницу разломилъ до послѣдней степени; спина и грудь, и напряженно растопыренные руки—все это затекло кровью, которая прилила и къ головѣ, и била въ виски, и готова была хлынуть изъ носа. Чувствовалось, что и глаза должны быть налиты ею. Голова трещитъ, въ ушахъ и шумъ, и звонъ, дышать почти невозможно, а усталость—каторжная, вдесятеро хуже собачьей, къ сравненію съ которой обыкновенно прибѣгаютъ люди для изображенія степени своей собственной усталости. Все тѣло, до лома въ кости, сомлѣло и изныло отъ этого напряженно изогнутаго, наклоннаго положенія, въ какомъ приходилось, еще добавокъ безостановочно, работать руками и ногами и нести на себѣ тридцати-фунтовую тяжесть желѣзнаго лома; отъ которой мы попеременно избавляли другъ друга.

Того и гляди, что упадешь въ обморокъ. Я старался какъ-можно болѣе удержать въ себѣ бодрость, собрать всѣ силы, лишь бы не лишиться чувствъ, потому что свались человѣкъ въ эту вязкую массу ила, хоть даже и безъ потери сознанія—все-таки съ нимъ будетъ покончено въ одну минуту: эта масса не затопитъ, но совсѣмъ засосетъ его, такъ что высвободиться изъ-подъ нея, при такомъ упадкѣ утомленныхъ силъ, не будетъ уже никакой возможности.

Наконецъ намъ удалось кое-какъ привыкнуть къ этому отвратительному воздуху, придышаться въ немъ. Обоняніе, быть-можетъ отъ прилива крови къ головѣ и къ носу, притупилось какъ-то до такой степени, что мы уже лишились способности различать гніющую смердь. И это уже было облегченіе для насъ,—все-таки однимъ вопіющимъ неудобствомъ менѣе.

Между тѣмъ мы начали замѣчать, что иль какъ будто становится все жиже и жиже. Ноги уже не вязнутъ, а только плепаютъ въ немъ. — Еще однимъ затрудненіемъ меньше!

Идемъ не останавливаясь,—и почти каждый шагъ убѣждаетъ насъ, что иль все больше разжижается. Это уже не иль, а какая-то густая вода, въ которой мы странствуемъ по-колѣнно. И въ могильной темнотѣ да въ глухомъ безмолвіи подземнаго корридора отчетливо раздается плескъ ея.

Но этотъ признакъ можетъ служить либо нашимъ спасеніемъ, либо окончательной гибелью.

Присутствіе воды заставляло предполагать близость рѣки. А если не это, если не Висла—то, значить, мы наткнулись на подземную водяную жилу, къ которымъ иногда приводятъ подобныя средневѣковые ходы, нарочно устроенныя съ тѣмъ назначеніемъ, чтобы служить путемъ къ подземнымъ ключамъ и колодцамъ.

Въ первомъ случаѣ мы спасены, во второмъ — почти неизбежно погибли, потому-что, вѣроятно, намъ пришлось бы воротаться назадъ, въ обратный путь, — а хватило ли бы силъ исполнить это вторичное путешествіе, соединенное съ рискомъ попасть въ какой-нибудь изъ боковыхъ корридоровъ!

Мы не высказали другъ другу нашихъ сомнѣній и, почти машинально, почти равнодушно, рѣшились на авось идти далѣе—что будетъ, то будетъ: спасеніе — ладно, а смерть... и за то, пожалуй, спасибо!

Это именно было не что иное, какъ машинальное равнодушіе круглой безысходности, индифферентизмъ отчаянія.

VII.

Вдругъ, вдали что-то поглубѣло.

Какая-то тонкая туманная струйка длинноватой полоской пронизала тьму.

Свѣтъ! — Слава тебѣ, Господи!

Если есть свѣтъ, значитъ онъ и воздуха по-свѣжѣе съ собою принесетъ, значитъ, и выходъ гдѣ-нибудь найдется! — Онъ тутъ, онъ близко — теперь мы спасены!

Мы все еще шли въ глубокой тьмѣ, видишь передъ собою вдали эту туманно-струистую голубоватую полоску. Новорождѣ чуть-чуть стали выдѣляться изъ мрака стѣнки корридора; можно было смутно различить фигуру идущаго впереди товарища; потомъ черезъ нѣсколько времени свѣтъ позволилъ намъ разглядѣть даже и кирпичную кладку.

Выходъ дневносвѣтно голубѣлъ впереди правильнымъ четырехугольникомъ, обрамленнымъ густою тьмой. Вода, наполнявшая подземный корридоръ и шумно колеблемая нашимъ движеніемъ, отражала уже на своей чернотѣ свѣтловатые изломы и дуги расплывшихся круговъ.

Сажень за десять до устья, кирпичная кладка кончилась. Последніе кирпичи, которые и видѣлъ, были такіе же древніе, массивные, какъ и тѣ, что облицовывали стѣны подземнаго хода, ведущаго подъ горою къ замку. Въ этомъ мѣстѣ корридоръ вдругъ принялъ прочную де-

ревянную обшивку и вывелъ насъ прямо въ Вислу, изъ-подъ свай высокой деревянной набережной, которая тутъ сажени на три впередъ выдается въ воду отъ общей черты берега и надъ которою находится пріемный сарай коммерческой пристани. Это уже было гораздо лѣвѣе замка — и близилось къ мѣсту, извѣстному въ Варшавѣ подъ древнимъ, историческимъ именемъ *моевой гуры* (гнилая гора).

Струя свѣжаго воздуха вѣонецъ одурманила насъ и, странное дѣло — въ первое мгновеніе этотъ свѣжій, чистый воздухъ показался мнѣ даже какимъ-то вонючимъ — до такой степени мы придышались уже къ спертотъ-затхлой атмосферѣ подземнаго корридора.

Почти вѣонецъ изнеможенные, облокотились мы съ Франкомъ другъ о друга, поддерживая одинъ другого, и по крайней мѣрѣ съ минуту не могли отдышаться.

Однако, не оставаться же въ Вислѣ!

Мимо проходятъ суда, и проходятъ совсѣмъ-таки близко, саженьяхъ въ пяти-шести разстоянія. Мы кричимъ имъ «подку!» — а судовщики идутъ-себѣ мимо да съ изумленным недоумѣніемъ поглядываютъ на двухъ какихъ-то человѣкъ, вышедшихъ среди бѣла-дня изъ какой-то дыры, прямо въ воду.

Вдругъ Франкъ примѣтилъ, что на лѣвомъ концѣ свайчатой набережной спущена трапка.

Придерживаясь за сваи и осторожно нащупывая ногою дно, добрались мы наконецъ до этой трапки и выкарабкались по ней на берегъ.

Смотрю — а тамъ уже мои товарищи, оставленные нами въ лодкѣ, ходятъ да ищутъ насъ по берегу.

Они ждали — ждали насъ подъ землею, подавали намъ голосъ, котораго мы конечно не слышали, какъ и они равно не слышали нашего. Наконецъ, наскучивъ ожидать нашего возвращенія и полагая, что мы, отыскавъ конецъ подземнаго хода, вышли уже на свѣтъ Божій, они вернулись къ бреши, пробитой въ казацкихъ конюшняхъ и пустились разыскивать насъ по берегу.

Такъ кончилось это путешествіе, доставившее мнѣ, благодаря собственному капризу, нѣсколько такихъ сильныхъ ощущеній, которыя, конечно, останутся мнѣ навсегда памятные.

КАТАКОМБЫ ФАРЫ.

(ИЗЪ ВАРШАВСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ).

Я очень люблю Варшаву. Мало того, я влюбленъ въ нее. Да, влюбленъ въ нее, какъ въ городъ, за ея наружность. Эта влюбленность совершенно *походитъ* на ту влюбленность, которую иногда можетъ возбудить въ человѣкѣ *наружность* женщины. Вамъ нѣтъ дѣла до ума, до характера, до нравственныхъ качествъ этой женщины, — вы ихъ обходите мимо и любуетесь на одну внѣшнюю сторону, на овалъ миловиднаго лица, на блестящіе глаза, на роскошные волосы, на артистически выточенный торсъ — и остаетесь совершенно довольны этимъ любованьемъ и тѣмъ чувствомъ, которое оно въ васъ возбуждаетъ. Словомъ сказать, вы влюблены въ *наружность*. Также точно и я влюбленъ въ Варшаву. Но между влюбленностью въ наружность женщины и моею влюбленностью въ наружность Варшавы есть маленькая разница. Женщина вызываетъ въ насъ это чувство своей молодостью и свѣжестью, а что касается меня и Варшавы, то тутъ совсѣмъ наоборотъ: Варшава нравится мнѣ, какъ и Москва, какъ и Новгородъ, какъ и Кіевъ, своей древностью, дряхлостью, стариней. Поэтому, я собственно влюбленъ въ ту часть Варшавы, которая носитъ имя «Старога города», а въ самомъ старомъ городѣ, мнѣ болѣе всего нравится *Старэ мѣсто*—торговая площадь, гдѣ во время оно свершались историческія казни, гдѣ были замучены Наливайко и много казацкаго люда съ Запорожской сѣчи, упорной стоятельницы за свою вѣру и народность.

«Старэ мѣсто» безобразно красиво.

Представьте себѣ параллелограмъ или даже почти квадратъ. Со всѣхъ сторонъ его возвышаются четырехъ и пятиэтажные дома, надъ которыми, такъ и кажется вамъ, будто еще и до сихъ поръ всецѣло носится вѣліе среднихъ вѣковъ. Это — узкія, высокія строенія, каждое въ два, три окна, прорубленные часто безъ всякаго симметрическаго отношенія одного къ другому. На самомъ чердакѣ вдругъ гдѣ-нибудь возвышается отдѣльная пристройка, въ видѣ стеколычатой галлереи или фонарика, обрамленная какимъ-нибудь чугуннымъ балкономъ. Тутъ же, глядишь, прилипло и скульптурное украшеніе: маленькія пирамидки, каменные шары, статуэтка Матки-Божкей или какого-нибудь святого на пьедестальчикѣ. Все это ветхо, мѣстами приходитъ въ разрушеніе; а потому все это очень красиво. Высокія по-

чернѣлыя черепичныя кровли мѣстами нахлобутились надъ этими узкими и высокими домами. Цвѣта: голубой, розовый, зеленый, фіолетовый, желтый и сѣрый, вылинявшіе и запятнанные отъ времени, покрываютъ стѣны этихъ домовъ. А разнокалиберныя окна, въ которыхъ видѣются то пестрыя лохмотья, то полосатыя сторки, то свѣжая зелень цвѣтовъ, усиливаютъ впечатлѣніе общей пестроты «Старэга мѣста». Ворота нѣтъ ни въ одномъ домѣ, а есть только дверь, ведущая въ него прямо съ площади—дверь массивная, щедро окованная желѣзными скобами и украшениями, съ огромнымъ замкомъ и болтами, навѣрное помнящимъ XVI столѣтіе.

По срединѣ площади, которая загромождена торговыми навѣсками и ларями, находится круглая цистерна. Изъ центра этой цистерны возвышается чугунная статуя женщины. Это не женщина—это сирена съ энергически закрученнымъ рыбьимъ хвостомъ. Она подняла вверхъ все свое туловище, лѣвой рукой прикрыла себя овальнымъ щитомъ, а правая размахисто закинута у нея въ разящее движеніе. Такъ и ждешь, что вотъ-вотъ сейчасъ она ударитъ тебя съ размаху своимъ закрученнымъ мечомъ. Эта сирена—древній гербъ города Варшавы, который принадлежитъ ему и по настоящее время.

Въ площадь «Старэга мѣста» впадаетъ Свенто-Янскаѣ улица—одна изъ самыхъ древнихъ въ этомъ городѣ. Точно такіе же узкіе высокіе, дома замыкаютъ ее съ обѣихъ сторонъ. Толкотня и непрерывное движеніе наполняютъ ее съ раннаго утра до поздняго вечера. Сотни лавченокъ, которыя въ одно и то же время и лавченки и мастерскія, патриархально выказываютъ въ незатворенныя двери всю свою неказистую, но весьма пеструю внутренность, гдѣ вы можете видѣть и хозяина за работой, купно съ чадами и домочадцами и подмастерьями. Грязныя, безобразныя жидовки, въ порывѣ атласныхъ парикахъ, штопають, порятъ и перешиваютъ разное тряпье, сидя на порогахъ своихъ лавченокъ, наполненныхъ всякимъ непригоднымъ хламомъ, гдѣ надъ дверью непременно болтается по вѣтру подвѣшенный на крюкъ распущенный женскій зонтикъ, служа неизмѣнной вывѣской каждой подобной лавченкѣ. Изъ глубины лавочки выглядываютъ на улицу либо пейсы Израилева сына, либо два черные глаза его красавицы-дочери. Замѣча-

тельно, что еврейскія дѣти и очень молодыя дѣвушки отличаются весьма замѣтной красотой, которая съ выходомъ замужъ проходитъ совершенно, переходя часто въ полное безобразіе, такъ что красивая еврейка тридцати двухъ или пяти лѣтъ въ жидовскомъ кварталѣ Варшавы, гдѣ нибудь, «на *Налевакахъ*», составляетъ почти исключеніе изъ общаго уровня сверстницъ.

Свенто-Янская улица очень узка. Она никакъ не шире нашего Щербакова переулка, который почитается въ Петербургѣ чуть ли не самымъ узкимъ, тогда какъ въ Варшавѣ Свенто-Янская улица является широкой сравнительно съ какимъ-нибудь Рыцарскимъ переулкомъ, имѣющимъ въ ширину не болѣе двухъ шаговъ съ половиной. Кромѣ того, что Свенто-Янская улица узка, она и достаточно темна, потому что высокіе дома заслоняютъ собой свѣтъ Божій. Узкость ея между прочимъ, служитъ причиною, что вы никакъ не составите себѣ общаго впечатлѣнія, которое должна производить на наблюдателя наружность свенто-янского костела. Вы лишены возможности отойти на должное разстояніе, съ котораго можно было бы вполнѣ полюбоваться на гармоническое сочетаніе линий, являющихъ собой полуготическій рисунокъ главнаго фасада этой церкви. Цѣлое ускользаетъ отъ вашего взора. Вы силитесь уловить его, подаетесь назадъ, закидываете вверхъ голову и упираетесь затылкомъ въ стѣну какого-нибудь древняго дома на противоположной сторонѣ улицы — и все-таки не видите того, чего вамъ хотѣлось бы. Это недостатокъ, который, благодаря узкости древнихъ улицъ, глядящихъ какими-то грущобными ущельями, свойствененъ большей части средневѣковыхъ сооружений, замѣчательныхъ художественностью своей архитектуры. Вы видите только нѣкоторыя детали, скругленно-заостренные арки, розетки и часть граціозныхъ и въ то же время какъ-то суровыхъ линий, уносящихся вверхъ. Вы можете въ отдаленности, по частямъ, разглядѣть почти каждую часть собора, перебѣгая для этого точку зрѣнія и взбираясь при случаѣ на четвертый этажъ противоположнаго дома; но *общаго* вамъ никакъ не уловить за-разъ своимъ взоромъ. Это общее можно только *чувствовать*, воображать, но не *видѣть*, потому что для видѣнія у васъ нѣтъ достаточно отдаленнаго пункта, потому что вы все-таки остаетесь внѣ главнаго фокуса, который помогъ бы вамъ во-очію и притомъ сразу внезапно усвоить себѣ впечатлѣніе, производимое цѣлымъ.

Свенто-янский костелъ — одно изъ самыхъ древнихъ зданій Варшавы. Его грубыя, сѣрыя стѣны перевидали многое на своемъ долгомъ вѣку... И какъ во время оно, такъ и теперь, онъ играетъ ей роль главнаго каѳедральнаго собора. Но вы рѣдко услышите въ народномъ

говорѣ его официальное названіе. У всего варшавскаго населенія, онъ преимущественно извѣстенъ подѣ общеупотребительнымъ именемъ «*Фары*».

— Куда панна такъ спѣшитъ? — спросите вы въ воскресенье утромъ почти любую изъ обитательницъ прилегающей окрестности.

— До Фары! — отвѣтитъ вамъ тотъ полный, густой мелодическій контральтъ, который вообще такъ свойствененъ всемъ хорошенькимъ варшавянкамъ.

Если вы пойдете по Свенто-Янской улицѣ, направляясь отъ Зигмундской площади къ «Старому Мясту», то, поровнявшись съ древнимъ каменнымъ домомъ, красновато-бураго цвѣта, увидите крытую арку воротъ, надъ которой возвышается четырехсторонняя башня въ самомъ древнемъ, почти первобытно-простомъ романскомъ стилѣ. Верхній этажъ ея пустъ, и окна его прикрыты рѣшетчатыми створками деревянныхъ ставней, а въ маленькихъ стеклами нижнихъ этажей копошится такъ, видны признаки какихъ-то обывателей. Эта старая башня — колокольня Фары. Подъ нею, начиная съ арочнаго пролета, идетъ Деканья улица, гдѣ съ правой стороны находится зданіе фарской *Плебани*, выходящее въ Свенто-Янскую улицу тѣмъ красновато-бурымъ зданіемъ, которое вы только-что миновали. Этотъ домъ, необыкновенно мрачнаго вида, наполненный темными переходами, узкими корридорами и еще болѣе узкими лѣстницами, весь состоитъ изъ маленькихъ квартирокъ, заселенныхъ причтомъ и прислугой собора. Его глубокія подземелья напоминаютъ собой глухія, мрачныя темницы былаго времени.

У входа въ арку Деканьей улицы неизмѣнно стоитъ небольшая выставка, ведущая торговлю образками, талисманчиками, мѣдными крестиками и плохими литографіями, которые изображаютъ разныхъ святыхъ и преимущественно «Матку Бозку Ченстоховску». Изображеніе ея столь обще по всей Варшавѣ и по всей Польшѣ, что эту литографію вы на каждомъ шагѣ увидите надъ входной наружной дверью cadaго добраго сына католической церкви. Въ самой же аркѣ, равно какъ и передъ тремя массивными дверями собора, окрашенными въ зеленый цвѣтъ, вы непременно замѣтите нѣсколькихъ нищихъ, старцевъ, слѣпыхъ и слѣпышей, которые сидятъ тутъ, съ непокрытой головой въ теченіе цѣлаго дня и все бормочутъ про себя какія-то молитвы.

Пойдемте въ этотъ соборъ — онъ стоитъ, чтобъ полюбоваться на него. Если наружность Фары не могла произвести на васъ гармоническаго впечатлѣнія стройнаго и строгаго цѣлаго, то внутренность собора вполнѣ вознаграждаетъ собой этотъ недостатокъ, созданный случаемъ и вѣками.

Какъ бы ни палило солнце, какъ бы ни

былъ жарокъ день — тотчасъ же чувствуешь живительную прохладу, едва лишь вступишь подъ темные, тяжеловатые своды фарскаго притвора.

Вотъ открывается передъ глазами длинная перспектива, замкнутая съ двухъ сторонъ бѣлыми массивными колоннами, по которымъ тамъ и сямъ разставлены на консоляхъ большія статуи католическихъ святыхъ. Вся внутренность церкви блистаетъ почтенной, древней бѣлизной, залита широкимъ свѣтомъ, при которомъ до малѣйшей почти подробности выдаются выточенные изъ камня украшения и арабески главной каедръ. Эта каедра легкой рѣзной и прозрачной обсыдкой, прильплась у одной изъ грандіозно-готическихъ боковыхъ колоннъ. Вы стоите въ темномъ, прохладномъ, тяжелосводномъ притворѣ, и отъ этого внутренность храма кажется вамъ необыкновенно свѣтлой, бѣлой и прозрачной. Но чѣмъ свѣтлѣе будетъ она казаться вашему взору, тѣмъ болѣе выиграетъ эффектъ задней части храма, гдѣ помѣщается главный алтарь и хоры. Вы видите тамъ таинственно сумрачную глубину, фантастически озаренную слабымъ свѣтомъ, проникающимъ сюда сквозь два окна — высокія, готическія, расписанныя тысячами разноцвѣтныхъ арабесковъ, отраженіе которыхъ играетъ на каменномъ домостѣ алтаря всеми цвѣтами и переливами радуги. Тамъ все сумрачно, все таинственно, все фантастично, начиная съ этихъ огромныхъ вызолоченныхъ статуй, которыя прячутся въ нишахъ за престольнаго образа, съ этихъ дубовыхъ хоръ, украшенныхъ древней рѣзбой и гербами Пястовъ да Ягеллоновъ, и кончая густой вибраціей органныхъ аккордовъ, раздающихся гдѣ-то высоко въ религиозной тишинѣ этого храма. Тамъ и сямъ видѣется нѣсколько женскихъ колѣнопреклоненныхъ, распростершихся фигуръ; мелькаетъ риза ксендза передъ однимъ изъ боковыхъ предѣловъ; время отъ времени звучитъ тоненькій колокольчикъ, потрепaeмый рукой колѣнопреклоненнаго мальчика, въ обычной близинѣ ¹⁾, а органъ все гудитъ и вибрируетъ, волна за волной, звукъ за звукомъ, наполняя храмъ какой-то мистической гармоніей...

Фара имѣетъ свои подземелья, какъ имѣетъ ихъ и каждый изъ варшавскихъ и каждый почти изъ древнихъ западно-европейскихъ храмовъ.

Эти подземелья, вообще, очень любопытны. Мнѣ они извѣстны очень близко, и съ двумя изъ нихъ я хочу познакомить отчасти моего читателя.

Но сперва надо объяснить, почему и какъ они мнѣ знакомы.

¹⁾ Нѣчто въ родѣ коротенькой сорочки или скорѣе женской кофты, надѣваемой священнослужителями во время священнодѣйствія.

Дѣло вотъ въ чемъ.

Въ 1865 году была назначена въ Варшавѣ особая коммисія для изслѣдованія подземелій и подземныхъ ходовъ, о которыхъ издавна уже ходили равные слухи, но которые, тѣмъ не менѣе, мало кому были извѣстны, да и то большей частью, по слухамъ же, и составляли для иныхъ предметъ нѣсколько баснословныхъ разсказовъ. Въ коммисіи этой — какъ и во всѣхъ коммисіяхъ на свѣтѣ — были, разумѣется, коммисіонные члены, въ числѣ которыхъ находились: инженеръ, членъ для завѣдыванія топографическими работами, членъ по археологической части и авторъ этихъ строкъ, въ качествѣ члена-литератора, для веденія журнала и описанія тѣхъ предметовъ, которые подлежали изслѣдованію. Сверхъ того, въ распоряженіи коммисіи была команда рабочихъ солдатъ, вооруженныхъ шанцевымъ инструментомъ.

При этихъ условіяхъ — понятное дѣло — намъ было доступно входить въ такія подземелья, куда едва ли могъ проникнуть кто-либо изъ частныхъ людей. Во всякомъ случаѣ, въ прежнее время ихъ находили болѣе удобными скрывать чѣмъ показывать.

Варшавскія подземелья вообще представляютъ видъ высокіхъ залъ и коридоровъ, большая часть которыхъ выстроена въ землѣ очень тщательно и прочно. Иныя изъ нихъ представляютъ ячѣю въ родѣ туннелей, имѣющихъ почти цилиндрическую форму, другія являются комнаты и залы съ готическими сводами, арками и колоннообразными устоями. Есть подземелья, идущія вглубь подъ землю на два яруса, и они называются тамъ «дубельтовыми». Есть и такія, которыя представляютъ довольно курьезную коммуникацію подъ землей, такъ что, спустясь въ подземелье одного дома, вы черезъ нѣсколько времени очутитесь подъ соседнимъ, а еще далѣе подъ третьимъ или четвертымъ, которые все принадлежатъ разнымъ владѣльцамъ. А кармелитскія катакомбы на Краковскомъ Предмѣстѣи, напримеръ, представляютъ цѣлый подземный лабиринтъ высокіхъ залъ, комнатъ, туннелей, переходовъ, коридоровъ, темничекъ и всяческихъ закоулковъ, гдѣ весьма легко заблудиться, такъ что и не выйдешь безъ опытнаго проводника изъ этой тьмы кромѣшной. Все это постройки очень стараго времени.

Неоднократно приходилось намъ въ иныхъ изъ этихъ подземелій находить слѣды, быть можетъ, преступленій, совершенныхъ когда-то въ глубокой тайнѣ и теперь уже открытыхъ для правосудія. Въ «пивницѣ» ¹⁾ одного частного дома, при изслѣдованіи одной замураванной и неизвѣстно куда выводившей арки, былъ случайно открытъ человѣческій черепъ, правая височная кость котораго оказалась про-

¹⁾ Подвалъ.

стрѣленной пулею. Черепъ, повидимому, давно уже лежалъ въ землѣ, что можно было замѣтить по самому цвѣту кости. Въ другой разъ, когда осматривали подземелья одного изъ домовъ, принадлежащихъ монашескому ордену піаровъ, то въ одной изъ замурованныхъ нишъ нашли тоже человѣческій черепъ и нѣсколько костей. Черепъ нѣкогда былъ раскроенъ вдоль по лицу какимъ-то острымъ орудіемъ, вѣроятно всею топоромъ, сколько можно судить по трещинѣ, проходящей отъ верхней челюсти до темени. Ударъ, вѣроятно, былъ ужасенъ, и преступленіе едва ли совершенно однимъ человѣкомъ безъ помощи сообщниковъ, потому что иначе убитый не могъ бы быть такъ тщательно замурованъ. Въ этомъ же самомъ домѣ одинъ изъ погребовъ принадлежалъ, должно быть не такъ-то еще давно, нѣкому ксендзу М—скому. На двери, ведущей въ него, сохранился даже бумажный билетикъ съ фамиліею владѣльца. Тутъ было найдено нѣчто въ родѣ незаконной могилы. Въ землѣ, служащей поломъ этому погребу, находится вырытое углубленіе въ 2½ аршина длины и въ аршинъ и три четверти шириной. Въ глубинѣ этой могилы былъ вдѣланъ деревянный ящикъ, доски котораго уже сгнили. И въ этомъ-то ящикѣ, подъ кучей тщательно насыпаннаго мусора и хлама, найдены остатки чьей-то обуви, одежды и человѣческія кости. Можно догадываться, что нѣкогда, въ этой могилѣ, кто-то былъ тайно похороненъ. Но довольно и этихъ трехъ случаевъ, иначе, пожалуй, пришлось бы вести имъ довольно длинный и разнообразный списокъ, который далеко отвлекъ бы насъ отъ ближайшаго предмета нашего разсказа.

Это было въ концѣ сентября, числа около 23-го. Предстояло осмотрѣть Свято-янский костелъ. Позвали костельнаго сакристіана (должность нашего пономаря, на которую обыкновенно избираются почтенныя старики). Пригласили и духовнаго депутата, состоявшаго при комисіи. Просить старика указать спускъ въ подземелья.

Сакристіанъ пожимаетъ плечами, и нѣтъ отъ него иного отвѣтъ какъ только: «Ницъ не вѣмъ, панове! Альбо жъ то вѣмъ!» Нечего дѣлать, приходится самимъ отыскивать. А отыскиваніе это представляетъ довольно мѣшкатуную работу: нужно особеннымъ щупомъ изслѣдовать церковный каменный полъ, по которому въ разныхъ мѣстахъ разбѣяны тяжелыя намогильныя плиты. Рабочій шагъ за шагомъ медленно подвигается впередъ, щупая передъ собой пространство около двухъ аршинъ шириной, то-есть постукивая слегка ломомъ о каменную настилку. — Нѣтъ никакихъ успѣшныхъ результатовъ: звукъ изъ-подъ щупа раздается короткий, сухой, который съ точностью даетъ вамъ знать, что подъ плитой находится

плотный, сплошной слой фундамента или бутовой засыпи. Добродушный сакристіанъ продолжаетъ увѣрять, что такъ-таки нѣтъ да и нѣтъ подъ Фарою никакихъ подземелій, кромѣ одного съ восточной стороны, въ которое ведетъ спускъ снаружи. Но это намъ уже было извѣстно.

— И нѣтъ, и не было и не будетъ! — настойчиво доказываетъ онъ съ кажущейся наивностью.

Однако же, этого быть не можетъ. Если есть уже съ восточной стороны, то, по всѣмъ архитектурнымъ соображеніямъ, непременно должно быть и съ западной соотвѣтственное подземелье. Поиски продолжаются. Рабочій со щупомъ близится уже къ той части храма, гдѣ начинаются древніе дубовые хоры, какъ вдругъ неподалеку отъ корридора, ведущаго къ западному входу мимо сакристіи, звукъ оказалъ пустоту. Щупъ ударился о массивную гробовую плиту съ истершеюся надписью. Изъ-подъ ударовъ желѣза слышенъ глухой, продолжительный гулъ, раздающійся въ подземномъ пространствѣ. Стало-быть, здѣсь. Находка сдѣлана. Не безъ значительныхъ усилий подняли рабочіе тяжелую плиту — и вотъ, подъ нею открылся темный и довольно крутой спускъ въ катакомбу. Туда высокими ступенями веда каменная лѣстница.

Спустились. Пошли по узкому корридору съ полукруглымъ сводомъ и, пройдя по немъ пространство около трехъ-четырехъ сажени, очутились въ подземной залѣ. Это была почти квадратная комната съ готическимъ сводомъ. Но едва лишь освѣтилась она огнемъ свѣчъ и фонарей, какъ въ воздухѣ послышался какой-то таинственный шорохъ и тихое колебанье, а черезъ минуту глаза успѣли различить, что по комнатѣ залетали во всѣхъ направленіяхъ десятки летучихъ мышей, полосая пространство тревожными зигзагами своего неровнаго полета. Свѣтъ огня, среди этой гробовой темноты, оказался для живыхъ подземныхъ обитателей совершенной новинкой, какимъ-то чудомъ, нарушившимъ невозмутимый покой и непроницаемую тьму ихъ обиталища. Онѣ, какъ опалѣныя, налетали на огонь и шлепались съ разлету о платье, причемъ моему лицу довелось ощутить трепетное прикосновеніе и холодокъ крыльевъ нетопыря. Опушеніе это показало мнѣ не совсѣмъ пріятнымъ...

Катакомбы были наполнены гробами. Многіе изъ нихъ уже совсѣмъ разрушились и лежали развалившимися досками; многіе въ-концѣ истлѣли и образовали, вмѣстѣ съ истлѣвшими тѣлами и одеждами, одну гробовую труху; иные стояли еще вполне сохранившимися, цѣлыми: съ иныхъ же соскочили только крышки. Весь полъ былъ усыпанъ обильной гробовой трухой и костями. Тутъ въ ужасающемъ изобиліи валяются ребра, суставы, черепа, такъ

что для того, чтобъ пройти впередъ, вамъ нѣтъ никакой возможности обходить эти кости: куда ни глянь—все и повсюду усяно валяющимися ребрами и черепами. Въ одномъ углу этихъ череповъ была навалена пѣлая гора—словно брюквы въ подвалѣ у доброй бабы-хозяйки. Стало-быть, кто-нибудь и когда-нибудь нарочно водворялъ здѣсь этотъ странный «порядокъ», употребивъ для него одну часть череповъ, среди остального хаоса. Вы идете, а подъ ступней раздаются легкій, сухой трескъ и хрустъ: это ребра ломаются и хрустятъ подъ вашими ногами. Порой нога по щиколотку и даже выше уходитъ въ гробовую труху, причемъ испытываешь то ощущение, какъ-будто наступилъ на совсѣмъ прогнившую губчато-мягкую и скважистую колоду дерева: она рушится подъ ногой и съ небольшимъ упругимъ сопротивленіемъ поддается тяжести вашего тѣла. Эта труха бываетъ иногда очень мягка, такъ-что ставить вамъ порой предательскіе капканы. Идешь по ней, напримѣръ, съ полной увѣренностью въ твердости своего шага, какъ обыкновенно ходятъ люди по твердой почвѣ—но вдругъ нога глубоко провалилась и глухо стукнула о деревянную крышку, которая, находясь въ состояніи тлѣнія, не выдержала этого напора и проломилась. Вы провалились прямо въ чей-то закрытый гробъ¹⁾, изъ котораго приходится съ трудомъ освобождать свою ногу. Идешь далѣе—вдругъ ступня неожиданно соскользнула съ чего-то выпуклаго, шарообразнаго—такъ ужъ и знаешь, что нечаянно наступилъ на черепъ, который отъ толчка, полученнаго при этомъ, безшумно откатился въ сторону.

Первое время рабочіе наши никакъ не могли помириться съ этими могильными сюрпризами. Какъ хрустнеть у него кость подъ ногой, или только наступить на черепъ, такъ и слышишь при этомъ страшливый шопотъ: «о, Господи! спаси и помилуй!» Первые два дня они весьма и весьма неохотно спускались въ катакомбы. Видно было, что это имъ—охъ какъ не по сердцу! Я спросилъ о причинѣ.

— Боязно, ваше благородіе,—отвѣчали солдатики.

— Чего же боязно?

— Мертвецы, ваше благородіе.

— Такъ что жъ, что мертвецы? Вѣдь не укусятъ?

— А Христосъ его знаетъ... Можетъ и укусить... Опять же ночью приснится — не приведи, Господи!

— Какъ же это вы на повстанца ходили, а мертвеца боитесь?

— На повстанца мы точно ходили, ваше благородіе, — объяснилъ одинъ изъ рабочихъ, сконфуженный отчасти послѣднимъ вопросомъ;—только что повстанецъ — все же онъ есть тебѣ живой человѣкъ. Тутъ идешь на него и ничего-себѣ, потому, либо онъ тебя дойдетъ, либо ты его навѣрхъ штыкомъ прикинешь. Дѣло живое, ваше благородіе, а супротивъ мертвеца ничего не подблаетъ, потому онъ мертвецъ.

Но удивительное, въ самомъ дѣлѣ, сознаніе своего долга и службы живетъ въ нашемъ солдатѣ. Суевѣрный страхъ — явленіе вполне естественное въ неразвитомъ человѣкѣ, и притомъ явленіе, трудно одолимое. Оно присуще ему, по той причинѣ, что душѣ, уму и воображенію его слишкомъ близки вѣрованія, порождающія суевѣріе. Человѣкъ неразвитый вообще, гдѣ бы онъ ни былъ, какой бы странѣ ни принадлежалъ, всегда склоненъ къ суевѣрному опозитизированію загробнаго міра, которое будитъ въ немъ суевѣрный страхъ. Доказательство—въ тысячѣ легендъ про мертвецовъ, привидѣнія и про разную чертовщину. Это — не болѣе, какъ естественное инстинктивное отвращеніе жизни къ смерти, и въ неразвитомъ человѣкѣ оно вполне понятно.

Развивать и разубѣждать нашихъ рабочихъ намъ не было времени. Оставалось привести одинъ только аргументъ, что ужъ бойся-не бойся, а ничего не подблаетъ, потому служба такая—начальство приказало. И этотъ аргументъ оказался вполне убѣдительнымъ. Служба и служебный долгъ у этого солдата — святое слово, передъ которымъ сразу умолкло всякое суевѣрное чувство. Опять же и стадное свойство играетъ тутъ, кажется, огромную роль: одинъ онъ, быть можетъ, и не рѣшился бы пойти къ мертвецамъ, а въ компаніи — ничего. «На міру и смерть красна», говоритъ пословица. Но какъ скоро образовалась у этихъ людей привычка! Не далѣе какъ на третій день они уже совершенно спокойно работали и разгуливали-себѣ по катакомбамъ, перекидываясь веселыми шуточками. Даже къ предмету своей суевѣрной боязни у нихъ само собою выработалось какое-то, такъ-сказать, Шекспировское отношеніе. Роетъ, бывало, въ гулкомъ мѣстѣ землю и находитъ черепъ.

— Ваше благородіе! Хозяина отрылъ — широко ухмыляясь и подбрасывая черепъ на своей лопатѣ, весело возглашаетъ солдатикъ.

Приходилось иногда пробывать подъ землею часовъ шесть, семь кряду, а иногда и болѣе, такъ что работали въ двѣ сѣмны: пока одна работаетъ, другая отдыхаетъ и закусываетъ тутъ же, сидя на гробахъ, потому что больше некуда сѣсть, или на могильной трухѣ, съ соскочившей крышкой или грудой костей въ изголовьи—и ужъ о томъ, что «боязно мертве-

¹⁾ Въ этихъ катакомбахъ иныхъ зарывали не глубоко въ землю, иныхъ же ставили просто въ подземную залу. Это, кажется, зависѣло отъ большаго или меньшаго размѣра платы за мѣсто.

цовъ»—не было и помину. А когда напомнимъ, бывало, такъ только ухмыляются.

Между разрушившимися гробами первой залы фарскихъ катакомбъ, куда мы только что спустились, вскорѣ обратилъ на себя наше вниманіе одинъ трупъ, помѣщавшійся въ гробу, крышка котораго была отчасти сдвинута на сторону. Мертвецъ лежалъ не прямо, какъ обыкновенно кладутъ мертвецовъ, а перевернувшись внизъ лицомъ и всѣмъ тѣломъ. Руки его были заложены кверху подъ черепъ, и суставы пальцевъ, на которыхъ еще сохранились связки, оказались въ сжатомъ положеніи. Одна нога круто закинута на другую. Мѣстами очень хорошо сохранились еще мускулы, особенно на ляжкахъ. Эти мускулы, по которымъ ясно можно было еще опредѣлить форму тѣла, на видъ казались буро-коричневаго цвѣта, мягки и рыхлы настолько, какъ бываетъ мягко и рыхло сгнившее и источенное червемъ дерево, съ которыми они по виду имѣютъ большое сходство.

Несчастный по нечаянности, вѣроятно, былъ заживо похороненъ и проснулся въ гробу.

На другомъ трупѣ, точно также сохранившемъ очертаніе формъ тѣла, мускулы совершенно уже иссохли и довольно плотно прилегли къ скелету. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на этомъ трупѣ сохранились еще волосы, а самое тѣло, кое-гдѣ отвалившееся кусками отъ скелета, представляло нѣчто въ родѣ чистойшей, плотной и бѣлой извести.

Стѣны этой катакомбы были сложены изъ очень древнихъ кирпичей, которые отличаются отъ современныхъ и величиною—они чуть не вдвое толще и длиннѣе—и своимъ блѣдножелтоватымъ цвѣтомъ. Въ расщелинахъ кирпичной кладки кое-гдѣ проросъ темный мохъ и грибчатая поросль, заткавшая мѣстами стѣну словно самымъ нѣжнымъ гагачьимъ пухомъ и бахромой ангорской шерсти. Въ другихъ концахъ стѣнъ и на самомъ потолкѣ образовался легкій селитряный налетъ, кристаллики котораго блестятъ и сверкаютъ при освѣщеніи. Этотъ же самый налетъ въ изобиліи покрываетъ многія кости, такъ что, напримѣръ, вы идете со свѣчей въ рукѣ, и вдругъ изъ какого-нибудь угла сверкаетъ вамъ въ глаза серебристый черепъ, на темени котораго, при особенно удачномъ преломленіи лучей, на мгновеніе заиграютъ опалы и алмазы въ селитряныхъ кристалликахъ. Эффектъ этихъ череповъ и стѣнъ необыкновенно удаченъ.

Во множествѣ кирпичныхъ расщелинъ пригнѣздились катакомбные обитатели. Эти летучія мыши, уцѣпившіеся когтями заднихъ лапокъ за какую-нибудь шероховатую выпуклость, неподвижно висятъ головами внизъ, иногда парно, иногда цѣлымъ рядомъ, такъ что въ подобномъ положеніи ихъ прямо можно было брать рукою, что и дѣлали наши рабочіе. Они

понабавляли нетопырями полные карманы и очень утѣшались этимъ приобретеніемъ.

— На что вамъ они?—спросилъ ихъ кто-то.

— Любопытный звѣрь! — отозвался одинъ изъ солдатиковъ — Ни-то онъ тебѣ птица, ни-то и въ самомъ-дѣлѣ мышь. Вотъ ужъ ребяткамъ малымъ снесемъ: пушай ихъ забавляются!

У меня тоже долгое время воспитывалась, въ особо-устроенномъ ящикѣ, пара нетопырей, самецъ и самка, взятые мною въ парскихъ катакомбахъ изъ гробовой крышки, гдѣ они наслаждались актомъ полного супружескаго счастья.

Въ лѣвой отъ входа стѣнѣ мы нашли дверную арку, которая вела въ смежный покой, служившій проходной комнатою между двумя подземными залами. Въ глубинѣ одной изъ стѣнъ его, при слабомъ освѣщеніи нашихъ фонарей и свѣчъ, чернѣлся пролетъ довольно узкой арки. Мы направились туда и очутились въ большой и длинной залѣ. Надъ нами висѣли мрачные, темные своды, и они, казалось, давили собой всю эту катакомбу, древнія стѣны которой уходили вглубь и тамъ сливались съ темнотою. Впереди, на противоположномъ концѣ, господствовала мгла, до которой не достигали лучи нашихъ свѣчъ.

Да и странное дѣло: свѣчи замѣтно стали горѣть тусклѣе и тусклѣе.

Но такъ какъ всему на свѣтѣ научаетъ только опытъ, то мы, на этотъ разъ, не будучи еще научены имъ, и не обратили на это обстоятельство особеннаго вниманія, не приписавъ ему ни малѣйшей важности.

Въ этой послѣдней катакомбѣ уже всецѣло господствовала смерть. Тутъ уже не было нетопырей, не было темнаго мха, не было нитчатой, бѣлопуховой поросли и грибовъ. Словомъ, тутъ было полное отсутствіе какихъ бы то ни было проявленій жизни. Тутъ была смерть. Какая-то душная, тяжелая сухость густо царилъ въ самомъ воздухѣ этого склепа.

Мы шли по глубокой гробовой трухѣ. Подъ ногами хрустѣли кости. Эта труха—какая-то сухая каша тлѣнія. Визигреть, въ которомъ перемѣшались между собою въ-концѣ истлѣвшіе гробы, тѣла, перержавѣвшіе позументы и гвозди, лохмотья одежды и лохмотья засушившагося человѣческаго мяса, которое на иныхъ трупахъ (похороненныхъ уже лѣтъ полтора или двѣсти) превращается въ плотную массу въ родѣ чистой и бѣлой извести, на другихъ—совершенно уподобляется волокнамъ прогнишаго рыхлаго дерева, а третьихъ—сохранившаяся мѣстами кожа представляетъ сухую, пупырчатую (chagrin) шкуру желтопергаментнаго цвѣта, на четвертыхъ—засушившіеся мускулы облегаютъ иные кости въ мѣстахъ мускульныхъ прикрѣпленій и затѣмъ, отставъ отъ самаго ствола кости, висятъ вродѣ сухой, закоружлой тряпицы или мочальныхъ волоконъ.

Слой этой трупы значительно глубокъ. Въ трехъ или четырехъ различныхъ пунктахъ мы погружали въ него щупъ, и вездѣ оказывалось болѣе аршина. Но вотъ по самой серединѣ этой катакомбы выдѣляется изъ мглы какая-то черная масса. На ней тускло виднѣется что-то блестящее, металлическое. Подходимъ ближе: гробъ—черный, большой гробъ, единственный въ цѣлой катакомбѣ. Крышка сидитъ на своемъ мѣстѣ, только уже вся расщелилась, расщелилась, а верхняя планка совсѣмъ отскочила и позволяетъ видѣть внутренность гроба, если нагнуться и заглянуть туда.

Въ гробу покоится скелетъ, облеченный въ черную шерстяную рясу. У большей части видѣнныхъ нами мертвецовъ, черепъ обыкновенно отваливается отъ верхняго шейнаго позвонка и откатывается тутъ же въ гробу куда-нибудь въ сторону, чаще всего въ ноги, а у этого покойника, напротивъ, онъ находился на своемъ естественномъ мѣстѣ и былъ облеченъ въ бархатную скуфейку. У каждого почти изъ этихъ череповъ, особенно если они принадлежатъ скелетамъ, сохранившимъ еще свое смертное одѣяніе, есть какое-то свое собственное, индивидуальное, личное выраженіе, какой-то личный характеръ, словно какая-то недосказанная мысль. Одинъ изъ нихъ выставляетъ свои бѣлые блестящіе зубы — и на огромномъ костяномъ ртѣ его улеглась саркастическая улыбка, наиболѣе присущая всѣмъ вообще черепамъ человѣческимъ. Другой смотритъ совершенно тупо и глупо своими черными впадинами, такъ-что просто хочется сказать ему дурака. Третій, у котораго особенно развиты выдающіяся надглазныя выпуклости, имѣетъ какое-то грозное выраженіе. Иные совершенно безстрастны и спокойны, а на иныхъ какъ бы застыло мучительное страданіе или неисходная тоска. И всѣ эти, разнообразныя выраженія придаетъ человѣческимъ черепамъ лобная кость и особенно форма глазныхъ впадинъ. Одинокое сохранившійся въ своемъ гробу мертвецъ послѣдней фарской катакомбы глядѣлъ на насъ и грозно и саркастически, словно издѣвался и негодовалъ на то, что живые люди, и притомъ «москалы», дерзнули нарушить глухой покой его послѣдняго обиталища. Въ головахъ, на крышкѣ гроба, прибита жестяная доска, на которой прочли мы, что покойникъ этотъ нѣкогда былъ каноникъ, по фамилии Домбровский, и скончался въ 1830 году. Вокругъ его черного, большого гроба разбросаны куски золотой узорчатой парчи и части великоблѣнной бархатной одежды епископа. Но самъ епископъ уже давнымъ-давно смѣшанъ съ трухою мертвецовъ, здѣсь лежащихъ.

Между тѣмъ свѣчи и фонарь горѣли все тусклѣе и тусклѣе, а мы не вполнѣ еще кончили осмотръ катакомбы. Направились въ глубины этой залы, и тутъ вдругъ погасла сама

собой одна свѣча. Черезъ нѣсколько мгновений стоялъ и исчезъ синеватый огонекъ и другой свѣчи. Одинъ только фонарь кое-какъ слабо мерцалъ во мракѣ этого подземелья. Попытались вновь зажечь свѣчи — тщетная попытка: спички гаснутъ одна за другой, свѣчи не зажигаются.

Между тѣмъ, обоняніе не различаетъ ни малѣйшаго запаха, даже запахъ тлѣнія вовсе не слышенъ, а воздуху становится все меньше и меньше, такъ-что ясно чувствуешь, какъ будто нечѣмъ дышать. Легкія дѣлаютъ усилія, чтобъ вдохнуть наиболѣе широкій глотокъ — и для полнаго дыханія чего-то не хватаетъ. Поднимается звонъ въ ушахъ, кровь приливаетъ къ глазу и бьетъ въ виски; а свѣтъ въ фонарѣ съ каждымъ мгновеніемъ становится все слабѣе да слабѣе... Мглистая тьма надвигается со всѣхъ сторонъ; не видать ни стѣнъ, ни выходной арки, словно вся эта катакомба насылаетъ на тебя отсюду волны густой темноты. Подали сигналъ, ждемъ, прислушиваемся: изъ смежной катакомбы нѣтъ отклика, словно и самый звукъ не пускаютъ отсюда волны этой тьмы непроглядной... Положеніе становится не особенно пріятнымъ. Ужъ не ксєндзъ ли каноникъ Домбровскій мститъ намъ за нашъ непрошенный визитъ? Ужъ не поэтому ли такъ грозно и саркастически ухмылялся намъ его черепъ изъ-подъ своей бархатной скуфейки?

Вдругъ, двое почувствовали слабость, головокруженіе и сильную дурноту.

Дышать было почти уже нечѣмъ. Въ подземельи этомъ съ давнихъ поръ образовалось скопленіе углекислоты, освободившейся въ значительномъ количествѣ отъ разложенія такой массы человѣческихъ труповъ.

Надо было бѣжать — и бѣжать какъ можно скорѣе, чтобъ не остаться здѣсь на-вѣки.

Вся наша надежда оставалась теперь на слабый, потухавшій огонекъ большого фонаря. Въ этомъ фонарѣ еще могъ кое-какъ держаться свѣтъ, потому что былъ защищенъ отъ давленія углекислоты со всѣхъ сторонъ стеклами, за которыми оставалась пока ничтожная доля кислорода, потребнаго для поддержки горѣнія.

А что если вдругъ потухнетъ? Что если со всѣхъ сторонъ вдругъ охватитъ тьма непроницаемая, глухая, среди которой нужно еще пройти цѣлую большую залу, а за нею еще двѣ обширныя катакомбы? Какъ, наконецъ, отыщешь выходъ изъ этой могилы? Если потухнетъ фонарь, то придется употребить довольно долгое время на поиски дверной арки, и на поиски не болѣе какъ опущу, въ совершенной темнотѣ, а воздуху-то нѣтъ, да и двое заболѣвшихъ на рукахъ къ тому же! Пока будешь искать, убійственный газъ въ-концѣ задушитъ всѣхъ и каждого.

Мѣшкать было нечего.

Захвативъ подъ-руки нашихъ больныхъ, и

сами почти больные, почти опалённые и угрюмые от того вьющего смертью воздуха, которым приходилось дышать, спотыкаясь на каждом шагу и почти задыхаясь, торопливо направились мы къ выходной арке.

Солдаты съ фонаремъ шель впереди и кое-какъ освѣщаль передъ собой кружокъ пространства въ какіе-нибудь два-три аршина въ діаметрѣ. До арки еще не близко, а свѣтильня уже еле-еле брезжится.

Вдругъ подъ моею ногою что-то крякнуло съ легкимъ, сухимъ трескомъ—и нѣчто охватило плотно весь каблукъ по самую щиколотку. По неволѣ пришлось нагнуться и освидѣтельствовать, что это такое. Пальцы напупали кость. Нога наступила на опрокинутый черепъ, проломила нижнюю часть его и застряла въ немъ. Попытался стряхнуть—не соскакиваетъ, а нарочно останавливаться да снимать его—рѣшительно уже некогда. И безъ того каждый мигъ дорогъ, каждый мигъ угрожаетъ смертельной опасностью. Нечего дѣлать: приходится путешествовать далѣе въ такой странной калонѣ.

— Арка!.. — послышался радостный голосъ передового.

Слава тебѣ, Господи! Наконецъ-то!

Быстро прошли мы пролетъ и смежное подземелье, и очутились въ катакомбѣ, куда велъ корридоръ и лѣстница изъ церкви.

Боже мой, какъ живительнѣе показался намъ воздухъ! Какой полной и широкой грудью наконецъ-то вздохнули мы! Съ этимъ наслажденіемъ едва ли что сравнилось бы въ ту минуту. Отвратительныя летучія мыши показались мнѣ теперь очень симпатичными, потому что это все-таки была *жизнь* посреди смерти и разрушающагося тлѣнія.

Когда мы поднялись наконецъ въ самую церковь, общая дурнота, помощью нашатырнаго спирта, который мы имѣли обыкновеніе про случай брать съ собой, прошла въ ту же минуту на чистомъ, незараженномъ воздухѣ.

Предстояло теперь осмотрѣть еще одну отдѣльную катакомбу, находящуюся подъ самымъ алтаремъ и извѣстную подъ именемъ епископскаго склепа.

Спускъ въ нее, точно такъ же какъ и въ первый, прикрытъ тяжелой намогильной плитой съ затершеюся надписью.

Пока рабочіе занимались поднятіемъ этой плиты, мы пошли осматривать замѣчательные въ художественномъ и скульптурномъ отношеніи надгробные монументы польскихъ магнатовъ, которыми украшены стѣны Фары.

Вскорѣ вниманіе наше остановилось на одной нишѣ изъ чернаго мрамора, которая находится налѣво отъ главнаго входа, подъ арками, поддерживающими массивные хоры главнаго органа, и почти насупротивъ портрета примаса Поня-

товскаго—портрета замѣчательно хорошей мозаической работы.

Въ черной нишѣ, обратившей на себя наше вниманіе, помѣщались рядомъ два портрета. На одномъ—мужчина, въ костюмѣ XVIII вѣка. Лицо его оживлено умомъ и страстью и носитъ слѣды южнаго, итальянскаго происхожденія. На другомъ—молодая женщина въ высокой вступренной прическѣ. Лицо ея, очевидно, польской расы, дышитъ прелестной свѣжестью и красотой. Въ большихъ глазахъ много свѣту, доброты и нѣжности. Въ улыбѣ маленькихъ губокъ сквозитъ маленькое кокетливое лукавство, столь свойственное польскимъ женщинамъ. Открытый торсъ исполненъ силы и нѣги... Словомъ, мы заглядѣлись на этотъ послѣдній портретъ. Высѣченная въ мраморѣ золотая надпись (текстъ по-итальянски) гласитъ, что эти портреты придворнаго живописца Баккиарелли (Bacchiarelli) и его жены Маріанны.

Полюбовавшись преимущественно женой, мы пошли осматривать епископскій склепъ, плита котораго была уже поднята.

Каменная лѣстница съ мѣнѣ крутыми ступенями привела насъ въ хорошее, сухое подземелье, во всю длину котораго простирался широкій полукруглый сводъ. Оно не особенно велико, имѣетъ саженей пять длины и около двухъ въ ширину.

Прямо противъ входа помѣщается алый бархатный, украшенный бронзовыми гвоздиками, гробъ, въ которомъ покоится послѣдній изъ прибывшихъ сюда жильцовъ—знаменитый въ послѣднемъ польскомъ повстаніи епископъ Фіалковскій. Рядомъ съ нимъ стоитъ массивная бѣло-мраморная гробница, и на ея высѣченной надписи можно прочесть, что въ ней заключается прахъ познанскаго епископа Витвицкаго. Подлѣ него еще два гроба двухъ епископовъ августовскихъ. Съ послѣдняго снята крышка—и вы можете прямо видѣть длинный скелетъ, облаченный въ бархатныя, расшитыя золотомъ епископскія ризы. Склепъ этотъ уже неоднократно кѣмъ-нибудь посѣщался, потому что верхняя плита мраморной гробницы Витвицкаго была сдвинута и снова неплотно положена на мѣсто, что ясно видно по осколкамъ бѣлаго мрамора, отбитаго острымъ подъемнымъ орудіемъ въ двухъ мѣстахъ у изголовья гроба. Трудно придумать лучший и наиболѣе безопасный, наиболѣе спокойный архивъ для цѣлой груды революціонныхъ документовъ—которые, весьма возможно, и сохранились тутъ нѣкоторое время.

Вдоль правой стѣны у входа стояли одинъ на другомъ два гроба, и съ верхняго точно также крышка оказалась снятой.

Въ этомъ гробу лежалъ скелетъ, одѣтый въ роскошное шелковое платье, палеваго цвѣта, украшенное лентами, блондами и прошивками изъ очень тонкихъ и дорогихъ кружевъ. Въ

лайковыхъ перчаткахъ лежали суставы пальцевъ; кости голеней обтянуты шелковыми чулками и обуты въ маленькіе изящные башмачки. Черепъ, похоронившійся на бѣлой атласной подушкѣ, точно также какъ и у каноника Домбровскаго, лежалъ на своемъ естественномъ мѣстѣ и украшался блондовымъ чепцомъ, а бѣлыя, широкія ленты этого чепца завязаны были подъ нижней челюстью и такимъ образомъ не позволили ей отвалиться отъ верхней. Два ряда зубовъ блестѣли жемчужной бѣлизной. Вѣроятно, у покойницы когда-то была оборотажительная улыбка. Мѣстами на этомъ черепѣ образовался селитряный налетъ и сверкалъ своими алмазиками, и матово блестѣлъ сѣдымъ серебромъ. Изъ-подъ чепца съ-боку пробивался локонъ волосъ, а все темя и весь лобъ сплошь усыяны мприадами высохшихъ шкуроекъ и личинокъ червей, которыя висѣли тутъ цѣлыми пластами.

Я долго смотрѣлъ на этотъ разряженный скелетъ, какъ вдругъ примѣтилъ, что во впадинѣ лѣваго глаза что-то шевелится. Вглядываюсь и вижу — въ этой впадинѣ притаилась и скорчилась маленькая летучая мышь. Вѣроятно, свѣтъ моей свѣчи потревожилъ ее въ ея обиталищѣ.

Одинъ изъ моихъ товарищей прочелъ надпись на жестяной бляхѣ, прибитой къ изголовью этого гроба. Надпись гласила:

MARIANNA BACCIARELLI.

1809.

Она произвела на насъ своего рода эффектъ. Такъ вотъ она—эта Маріанна Баккіарелли, эта красавица, дышащая на портретѣ такой прелестью молодости, жизни, граціи и женственнаго лукаваго кокетства! Эта красавица, по которой, быть-можетъ, не одинъ придворный ловеласъ сходилъ съ-ума и клялся въ любви до гроба и за гробомъ,—теперь не болѣе, какъ разряженный безобразный скелетъ, усыянный мприадами издохшихъ червей которые сначала съѣли эту женщину, а потомъ съ голоду, можетъ - быть, стали ѣсть свою собственную братью, пока всѣ не перекопали.

Съ тѣхъ поръ — странное дѣло — каждый

разъ, какъ вижу я прекрасную живую женщину, такъ самоувѣренно блестящую своей красотой, граціей и кокетствомъ, мнѣ почему-то невольно вспоминается Маріанна Баккіарелли; и хочется сказать этой, пока еще живой красавицѣ: «сударыня! вы будете, быть-можетъ, блистать и по смерти — блистать алмазами, опалами и серебромъ селитрянаго налета; а ваши дивные глаза, которыми вы мечете теперь такіа божественныя искры, быть можетъ, послужатъ укротнымъ жилищемъ, для какой-нибудь летучей мыши». Не правда-ли пріятная перспектива?

Гробъ Маріанны Баккіарелли, умершей въ 1809 году, очутился теперь, безъ всякой видимой логической причины, на гробѣ ея мужа, скончавшагося девятью годами позже своей жены. Вѣроятно, вслѣдствіе неосторожности при опусканіи гроба жены на гробъ мужа, послѣдній былъ раздавленъ. Изъ гробового донца уныло торчатъ теперь наружу башмаки съ металлическими пряжками самого живописца, а его черепъ и нѣкоторыя кости, выскочившія при этомъ давленіи изъ гроба, прибраны были невѣдомыми посѣтителями склепа и сброшены въ уголь.

Хотя сакристіанъ Фары и божился и увѣрялъ насъ, что въ костелѣ нѣтъ подземелій, и что на его памяти, въ теченіе всей его долгой службы, туда рѣшительно никто не спускался, однако жъ, гробъ жены Баккіарелли, очутившейся Богъ-вѣсть затѣмъ надъ гробомъ ея позже умершаго мужа, доказываетъ, что кто-нибудь и когда-нибудь былъ и хозяйничалъ въ этомъ склепѣ. Для чего? съ какой цѣлью?—это уже намъ неизвѣстно. Могли бы, конечно, похозяйничать тамъ рабочіе при открытіи склепа для спуска епископа Фіалковскаго; но въ склепѣ есть еще слишкомъ достаточно и мѣста и простора для того, чтобъ явилась надобность сдвигать острымъ орудіемъ крышку мраморной гробницы, которая ничему не мѣшала, и еще болѣе—перестанавливать гробъ на гробъ Баккіарелли, которые стоятъ, прислонясь къ стѣнкѣ, совсѣмъ въ сторонѣ и уже окончательно никому и ничему мѣшать не могутъ. Для чего и къмъ все это сдѣлано — загадка...

К Р А С А В И Ц А

(Г Р Е З А).

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОСОБѢ, СОВЕРШЕННО МНѢ НЕИЗВѢСТНОЙ.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Какъ мимолетное видѣнье,
Какъ геній чистой красоты.

Сударыня! если когда-нибудь и какъ-нибудь вамъ попадется въ руки эта книга, и если взоръ вашъ случайно упадетъ на эту самую страницу,—знайте, сударыня, что ею обязанъ я вамъ; знайте, что эта греза (именно греза, хотя она и прошла въ дѣйствительности) вдохновлена вами.

Я вамъ посылаю за это мою сердечную благодарность — благодарность за тѣ безавѣтно-хорошія минуты, которыя были пережиты мною по вашей милости.

Я васъ не знаю, да и знать не хочу—для меня это дѣло совершенно излишнее и даже вредное. Вы спросите конечно, почему?—А вотъ почему, отвѣчу я вамъ: я почти увѣренъ въ томъ, что если узнаю васъ, то непременно разочаруюсь въ васъ. Это конечно не совсѣмъ-то пріятно для вашего самолюбія; но что же дѣлать,—мнѣ кажется, что это будетъ такъ; мнѣ кажется, что вы не удовлетворите тому прекрасному образу, въ которомъ такъ хорошо, такъ безмолвно явились вы мнѣ въ первый разъ; мнѣ кажется, что вы не подойдете къ тому идеалу, который создалъ въ душѣ моей этотъ чудный образъ. Простите меня за эту откровенность. Я искренно желалъ бы колебаться въ своихъ словахъ, сударыня!

Позвольте вамъ рассказать нашу встрѣчу—быть-можетъ вы и припомните ее, хоть смутно, а все-таки припомните.

Это было 23-го іюня 1863 года во второмъ часу пополудни.

Вы знаете ли, что это за день 23-е іюня?—Если вы петербургская уроженка, то вѣроятно нѣтъ. Въ академическомъ календарѣ противъ этого числа стоитъ отмѣтка: «Мученицы Агриппины; по календарю народному — «Аграфены Купальницы». Но самая суть-то все-таки не въ томъ. 23-е іюня—это канунъ Ивана Купалы, день русалокъ, лѣшнихъ, водяныхъ, папоротника или кочедыжника, разрывъ-травы, сонъ-травы и всякой чертовщины, день—или лучше, вѣрнѣе сказать — ночь, полная обаятельной, дикой и раздражительно-фантастической поэзіи.

Вы знаете ли, что такое эта купальская

ночь? Вы думаете, что это Кулербергъ? Вы думаете, конечно, что въ этотъ день и въ эту ночь на Крестовскомъ островѣ гулянье происходитъ? Что туда и сухопутьемъ и водою наѣзжаютъ петербургскіе дѣмцы mit ihren Frauen und Töchtern, позажигаютъ ins Grüne костры, понапиваются пьяны да и давай козлами прыгать да съ Кулерберга кубаремъ скатываться? И вы вѣдь въ самомъ дѣлѣ, какъ истая петербуржанка, думаете, что Иванова ночь — это Кулербергъ? О, какъ вы заблуждаетесь, сударыня! Да знаете ли вы, что въ эту ночь въ природѣ-то совершается?—

Въ эту ночь незримо воскресаетъ
Чудный міръ преданій вѣковыхъ,
Что въ душѣ народа обитаетъ
Въ пестромъ рое образовъ живыхъ.
Въ эту ночь луна сверкаетъ ярче
И страстнѣе грохотъ соловьевъ,
И дыханье травъ струится жарче
Въ опьяненномъ воздухѣ лѣсовъ.
Распускаютъ мірады почекъ
Водяныя лиліи съ рѣки,
Мірадами огнистыхъ точекъ
По листамъ мигаютъ свѣтляки.
Голубымъ подернулись отливомъ
Серебристый воздухъ и вода—
И катитъ верхомъ на лѣшемъ сивомъ
Водяной—сѣдая борода:
Гулко топотъ по лѣсу несется,
Рѣжетъ свистъ ночную тишину,
И въ отвѣтъ русалокъ рой смѣется,
Опершись локтями на волну.
Въ эту ночь деревья покидаютъ
Старыхъ мѣсть своихъ обычный рядъ
И, какъ люди, по лѣсу гуляютъ
И другъ другу тайны говорятъ.
Въ эту ночь волшебное разцвѣтаетъ
Кочедыжника мгновенный цвѣтъ—
Онъ цвѣтетъ—и ярко разлиываетъ
Далеко вокругъ волшебный свѣтъ...
Въ эту ночь все любитъ: люди, черти,
Цѣлый лѣсъ, вода и свѣтляки,—
Въ эту ночь я сладко жажду смерти
Отъ лихой русалочьей руки.

Да, въ эту ночь оживаетъ могучей, чаро-дѣйственной силой вся природа, ея духи, ея силы, а люди зажигаютъ костры по берегамъ лѣсныхъ или луговыхъ рѣчекъ, зажигаютъ ихъ по горамъ на самыхъ вершинахъ и стекаются туда веселыми гурьбами — мужчины и женщины—надѣваютъ другъ на друга густые пахучіе вѣнки, ликуютъ, радуются, и далеко-далеко въ чуткомъ воздухѣ струится звуки ихъ пѣсни:

„Купало! Купало!“...

Струятся эти звуки и своимъ тоскливо-разманистымъ, страстно-удалымъ пошибомъ — словно тонкой, ядовитой иглой насквозь пронизываютъ сердце, раздражительной страстью щекочутъ нервы, — и весь міръ духовъ, всѣ эти гномы, лѣшіе, водяные слышатъ и видятъ тогда замирающій, перерывчатый ропотъ людской любви и людскихъ поцѣлуевъ подъ этимъ темнымъ, ревнивымъ покровомъ купальской ночи.

А цвѣты, а травы? Что за одуряющій запахъ разливаютъ они! Недаромъ люди поютъ тогда пѣсню:

„Конопля, конопля ты зеленая!“

Наркотическимъ ароматомъ ея такъ и тянетъ съ конопляниковъ при каждомъ дуновѣніи теплаго вѣтерка.

А вода наконецъ?—Оттолкни ты отъ берега досчатую лодку—и пусть туго работаетъ короткое весло, захлестываясь и путаясь въ длинныхъ стебляхъ водяныхъ кувшинокъ; и вотъ ты выплылъ на середину: здѣсь уже чисто—ни осоки, ни лилій тутъ нѣтъ. Остановись тутъ, положи весло—лодка сама собой тихо пойдетъ по теченію, и пойдетъ такъ медленно, совсѣмъ не колебаясь, что движеніе станетъ уже незамѣтно. А гладь водяная, какъ зеркало, заснула неподвижно—хоть бы одна какая струйка шелохнулась на ней!.. И вотъ кажется, лодка совсѣмъ уже стала на одномъ мѣстѣ. Забуди ты тутъ все возможное и невозможное, всѣ эти теоріи, которыя натолковали тебѣ нѣтъ хорошихъ книжекъ, отдайся непосредственно чистой душой природѣ; дай просторъ своему воображенію, своимъ воспоминаніямъ о тѣхъ призрачныхъ суевѣрныхъ грезахъ и сказкахъ, которыя нашептывали тебѣ когда-то добрые уста простого, непосредственного и древняго человѣка — твоей старухи-няньки; отдайся ты всему этому, какъ младенецъ,—и Боже мой, что за чудный, что за фантастическій міръ предстанетъ тогда предъ тобою!

Полужа на днѣ своей плоскодонки, перевѣсь ты голову за бортъ и гляди въ эту темную, сонную воду. О, какъ много своихъ обаятельныхъ тайнъ раскроетъ она тебѣ въ эту минуту полного уединенія! Взоръ такъ пылливо все хочетъ проникнуть въ эту глубь, разгадать, что тамъ дѣется, что за жизнь тамъ копошится?—И вотъ, этотъ взоръ какъ-будто въ самомъ дѣлѣ начинаетъ проникать туда. Чѣмъ больше вглядываешься, тѣмъ больше и глубже прозираешь. Яркіе лучи луны помогаютъ въ этомъ, растворяясь въ водѣ и на далекую глубь сообщая ей этотъ странный свѣтъ свой. И ты видишь, какъ

Звѣзды по небу сверкаютъ
И, дрожа лучами,
Насквозь воду проникаютъ
Тонкими струями.

И луна въ струѣ холодной
Неразгаднымъ дивомъ
Залила весь міръ подводный
Голубымъ отливомъ.
И сверкаетъ искрой въ око
Каждая песчинка,
И по дну видна далеко
Каждая былинка.
И—то здѣсь, то тамъ—сгибаясь
И легко и смѣло,
Спитъ на стрункахъ колыхался
Молодое тѣло.

И не одно оно. Вглядишься пристальнѣй — тебѣ почудится, что много ихъ тамъ. Это русалки спятъ. Что за нѣга и что за могучая сила сосредоточенной страсти въ этомъ спокойствіи, въ этомъ снѣ водяныхъ женщинъ!.. Ты чувствуешь въ то же время, какъ земля и вода всасываются своими плодотворными соками въ корни травъ и растений и даютъ имъ жизнь. Видишь и слышишь, какъ лопаются почка и зацвѣтаетъ, тихо развертываясь, пышный восковой вѣнчикъ бѣлой водяной лиліи и желтой кувшинки. Видишь, какъ водяные жуки, повывырнувъ на лунный свѣтъ, сплываютъ внизъ и вверхъ, неуклюже, но быстро барахтаясь по водѣ своими лапами, сшибаются другъ съ другомъ, то и дѣло натываясь на встрѣчныя былинки и цѣпляясь за нихъ ножками. Они вѣчно обрѣтаются въ самомъ юркомъ, въ самомъ шустромъ движеніи, и кажется никогда имъ нѣтъ ни сна, ни покою. А рыба спитъ. Уткнувъ въ мягкій илъ свое рыльце, она словно стрѣлка вытянулась всею тонкой, стройной спиною своею и неподвижно стоитъ въ одномъ положеніи. Порою, на мгновеніе, можно различить, какъ преломляющійся лучъ луны тускло дробится на ея мелкихъ, блестящихъ чешуйкахъ. А тамъ вонъ, дальше къ берегу, на бѣломъ, мягкомъ пескѣ, цѣлое стадо маленькихъ рыбокъ заснуло, и кажется—будто это не рыбы, а слово какая сѣтка опущена въ воду.

О, эта вода!.. Она вѣдь не стихія, не мертвая, бессмысленная масса—она существо, живое существо, проникнутое своею жизнью, своимъ духомъ, идеей и поэзіей. Она граціозное и въ то же время коварное существо, какъ и тѣ зеленноволосыя женщины, которыя ее населяютъ. Недаромъ же въ ея журчаніи слышится вамъ тихій и легкій лепетъ — можетъ быть лепетъ спокойной радости, довольства, а можетъ нѣги, лѣни, любви. А когда разыграется буря и заходятъ волны—вслушайтесь въ этотъ гулъ, въ этотъ грохотъ и плескъ прибоя: вѣдь это рокотаніе неудовлетворяемой страсти или неудержимаго гнѣва. Не даромъ же въ самомъ дѣлѣ, въ теченіе тысячелѣтій, вода своею прелестью манитъ къ себѣ столько людей, завлекаетъ ихъ, притягиваетъ неодолимой силой, влюбляетъ въ себя и наконецъ охватываетъ своими холодными объятіями. А ея свѣтящейся голубой, серебристый отливъ, которымъ подергивается она, словно посредствомъ какого волшебства эту

странную купальскую ночь? Вѣдь объ этомъ у цѣлаго народа въ устахъ живое преданіе живеть; весь народъ суевѣрно знаетъ этотъ свѣтъ воды, съ цѣлымъ роємъ купальскихъ повѣрій?

Однако что же это? Куда увлекло меня воспоминаніе о купальской ночи! Гдѣ прерванная нить моего разсказа? — даже и она позабыта!..

Нѣтъ, помню:

Вы теперь имѣете понятіе о томъ, что такое Иванова ночь. — Такъ вотъ, 23-го числа, накануне этой самой ночи, я встрѣтилъ васъ, сударыня.

Это было на пароходѣ, на одномъ изъ тѣхъ мизерныхъ, скверненькихъ пароходиковъ «Сѣвернаго Общества», которые въ теченіе всего лѣта сплываютъ вдоль Невы по всѣмъ окрестнымъ островамъ отъ набережной Лѣтняго сада. Я ѣхалъ въ городъ.

День былъ нѣсколько странный, въ томъ родѣ, какіе только и бываютъ въ сѣверномъ и попреимуществу въ петербургскомъ климатѣ. Въ небѣ—ни одного облака, но цвѣтъ его не синій, — это какой-то блѣсоватый, неопредѣленнаго качества цвѣтъ, выпадающій не то въ блѣдно-голубой, не то въ блѣдно-зеленый. Въ вышинѣ стоитъ солнце, но лучи этого солнца не яркіе, не горячіе лучи, а тоже какіе-то умѣренно свѣтлые, блѣдно-кроткіе, тихіе, такъ что нельзя назвать этотъ день ни пасмурнымъ, ни яркимъ. Въ воздухѣ не слышно ни малѣйшаго колебанія вѣтра, а между тѣмъ нельзя сказать, чтобы было жарко, и нельзя сказать, чтобы было прохладно. Весь этотъ воздухъ насыщенъ какой-то тонкой блѣдно-золотистой мглой, которая легкимъ бѣловатымъ туманомъ бродитъ вдаль надъ гладью рѣки и словно флеромъ нѣжно и мягко окутываетъ контуры зеленѣющихъ острововъ. Вся окрестность, какъ-будто нѣжась, тонетъ въ этой мглѣ неподвижной. Гладкая рѣка приняла какой-то сизоватый отливъ стали, и только вдаль, сквозь туманъ, индѣ сверкаютъ на ней отдѣльныя полосы мелкихъ блестокъ въ ея рябоватыхъ медленныхъ зыбяхъ. Этотъ воздухъ и этотъ свѣтъ какъ-то имѣютъ свойство навѣять на душу безпредѣльную тишину и спокойствіе, невозмущаемое никакимъ другимъ ощущеніемъ—ни радостью, ни печалью,—да еслибъ онѣ и были передъ этимъ въ душѣ, то отъ этого воздуха и свѣта непременно должны бы затихнуть.

На пароходѣ насъ было всего трое пассажировъ: я, да какой-то англичанинъ съ бѣловатыми воротничками, въ синемъ пиджакѣ и съ сигарою въ отвислыхъ губахъ, да еще нѣкая старушенція, которая все что-то бормотала себѣ подъ носъ и кропотливо копошилась въ своемъ ридикюлѣ.

Пароходъ подходилъ къ пристани, что на Выборгской сторонѣ. Причалили. Старушенція закопошилась еще торопливѣе и, не переста-

вая бормотать, сошла съ палубы на пристань.

— Стой, не отчаливай! — послышался съ берега чей-то рѣзкій голосъ, и черезъ минуту я, случайно оборотя голову къ ступенькамъ, замѣтилъ, что по нимъ спускается артистически-граціозная ножка. Я взглянулъ наверхъ—и обомлѣлъ отъ какого-то непонятнаго чувства, совершенно внезапно ошеломленный имъ.

Это была красавица.

Она спускалась въ сопровожденіи какого-то неказистаго чиновника въ комисаріатской формѣ. Этотъ комисаріатскій чиновникъ проводилъ ее до пароходнаго борта, фамиліарно пожалъ ей руку, еще фамиліарнѣе послалъ кивокъ головой и, равнодушно позѣвывая, пошелъ себѣ обратно на берегъ.

Пароходъ тихо тронулся съ мѣста, едва только новал пассажирка успѣла усесться; а услѣла она какъ-разъ противъ меня. Мое ошеломляющее чувство понемногу начало разсѣиваться. Это весьма странное чувство. Я его испытываю каждый разъ при внезапномъ или неожиданномъ видѣ красоты — будетъ ли то красота звуковъ, мраморной статуи или красота живой женщины. Первое мгновеніе не даешь себѣ никакого отчета: здѣсь ты просто пораженъ и уничтоженъ, личность твоя словно стирается, поглощается силою того явленія, которое тебя поразило. Затѣмъ начинается все болѣе и болѣе, полнѣе выясняется хорошее, чистое чувство наслажденія. Но дальше уже, чѣмъ больше ты смотришь на эту чудную красоту, тѣмъ больше врывается временами въ область этого свѣтлаго и радостнаго чувства еще нѣчто новое—другое, нѣсколько острое чувство какой-то боли, нѣчто щемящее, зарывающее, что въ сущности способствуетъ еще къ усиленію самаго наслажденія.

Она сидѣла, широко завернувшись въ черную шелковую мантилью, изъ-подъ которой спускалось легкое лѣтнее платье. Маленькая и длиная рука держала вѣтку шиповника съ густо насаженными на ней бутонами, розовые лепестки которыхъ красавица небрежно общипывала губами. Въ ней все было просто и граціозно до послѣдней степени. Эта-то простота необходимо и должна составлять принадлежность большой красоты. Это есть простота силы, силы, которая знаетъ себя и знаетъ, что она можетъ производить на людей. Ей незачѣмъ прибѣгать къ умышленной граціи, къ умышленному кокетству; и то и другое, въ своей естественной степени, помимо ея собственной воли, давнымъ-давно уже отдано ей самой природой. Она-то и составляетъ ея обаяніе—ея женственность. •

Есть одна русская пѣсня, сдѣлавшаяся впрочемъ достояніемъ цыганства. Пѣсня, которая

про вдовушкину дочку-красавицу весьма наивно,
но психологически-вѣрно поетъ:

Красоты ея не можно описать,
Описавши, невозможно рассказать.

Я теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, понимаю
внутренній, психологическій смыслъ этихъ
двухъ стиховъ. Въ самомъ дѣлѣ, описать одно
лицо этой красавицы весьма затруднительно:
оно все состоитъ изъ чего-то неуловимаго.
Подобной я еще никогда не встрѣчалъ въ
моей жизни — нигдѣ, не говоря уже о Петер-
бургѣ. Впрочемъ, Петербургъ, надо отдать ему
полную справедливость, красотою не преизо-
билуетъ. Я зналъ въ немъ трехъ красавицъ,
и всѣ три ему не принадлежали. Всѣ три вы-
росли не на петербургской почвѣ; мало того:
всѣ три появлялись въ немъ за тѣмъ только,
чтобы увядать или похорониться на его бо-
лотистыхъ кладбищахъ.

Первую изъ нихъ я встрѣтилъ лѣтъ восемь
тому назадъ. Гордо вошла она, высокая, пыш-
ная, блистающая, въ залитую огнями залу,
вошла подъ звуки вальса и остановилась въ
дверяхъ, выдѣляясь изъ нихъ на темномъ
фонѣ портьеры, какъ лучезарное видѣніе, — оста-
новилась, плавно, медленно и спокойно обводя
толпу своими нѣжными глазами. Она была
итальянка. Эта высокоприподнятая античная
прическа, этотъ правильный погибъ строгаго
профиля и надменные губы и бюстъ высокой
и упругой, эти глаза нѣжные и въ то же время
холодные, холодные какъ лучи луны, какъ
мраморъ, какъ ледъ, — дѣлали изъ нея какую-то
мраморную статую, Діану. Вся она напоми-
нала древнюю римскую камею, и казалось,
будто античная Авзанія выслала свою дочь
въ новый міръ какимъ-то блуждающимъ при-
зракомъ древности. На меня напалъ рѣши-
тельный столбнякъ, когда я увидалъ эту свер-
кающую красоту, — и на душу невольно по-
вѣяло дрожью и холодомъ — отъ холода всей
ея фигуры и особенно отъ холода ея глазъ.
Сзади, по волнамъ ея прически, надела къ
плечу зеленая кисть винограда, перевитая зуб-
чатыми яркими листьями. Богъ ее знаетъ: не
то — Діана, не то — вакханка! Но во всякомъ
случаѣ — мраморная Діана, мраморная вак-
ханка. И вся ея гордая плавность, вся эта
спокойно-царственная недоступность какъ не-
льзя болѣе гармонируютъ съ этимъ мрамор-
нымъ взглядомъ. Но полно! — точно ли въ ней
одинъ только всеобъемлющій холодъ? Нѣтъ,
чѣмъ дальше гляжу на нее, тѣмъ болѣе сдается
мнѣ, что древняя Италия и ея вѣчные боги за-
ронули въ глубь души ея свою божественно-
страстную искру:

Холодной, мраморной вакханкой,
Какъ божество, блестя красой,
Стоишь ты гордо предо мной
Для сердца вѣчною приманкой.

Газельи чудные глаза
Морознымъ холодомъ сверкаютъ —
Но въ нихъ есть скрытая гроза,
Порывы бури въ нихъ мелькаютъ.

Гейне сравнивалъ блондинокъ съ бутылкой
замороженного шампанскаго. А эта брюнетка
въ своемъ родѣ тоже замороженное шампан-
ское. Стало-быть Гейне не совсѣмъ-таки правъ.
И я (ужь если допустить рефлексію въ моемъ
лирическомъ тонѣ) въ томъ же родѣ готовъ
закончить свои стихи:

Такъ съ замороженной бутылкой
Тиха кипучая струя, —
Но сорвана рукою пылкой
Съ нея печать, — и хмѣль тая,
Вмигъ пѣна брызжетъ за края.

Эта женщина, повторяю, — олицетвореніе
античнаго міра, олицетвореніе чуднаго, пла-
стического язычества съ его идеей, полной
гармоніи духа и тѣла, олицетвореніе, перене-
сенное въ міръ новый, христіанскій и роман-
тический. Съ ней и самому можно сдѣлаться
язычникомъ, исповѣдникомъ древняго римско-
греческаго пантеизма; съ ней до послѣдней тон-
кости и глубины становится понятенъ мраморъ
и сила, идея, его одухотворяющая. Я видѣлъ
ее восемь лѣтъ тому назадъ въ полномъ раз-
цвѣтѣ зрѣлыхъ силъ и зрѣлой красоты. Те-
перь — увѣ!.. она уже блекнетъ — хотя порой
все-таки мелькаетъ въ ней еще прежнее, свер-
жающее холодомъ обаяніе; и даже въ старости,
когда уже совсѣмъ увянетъ призракъ красо-
ты, — я увѣренъ — всякій, кто только увидитъ
ее, съ благоговѣніемъ скажетъ: «это была кра-
савица!»

Другая была почти дѣвочка, почти ребѣ-
нокъ — ей едва только минуло шестнадцать
лѣтъ — и у нея не было весны. Суровая зима
съ самаго ранняго дѣтства не переставала
гнать ее своей вьюгой, бить своимъ градомъ
и снѣгомъ, жать и леденить своими морозами.
Впрочемъ она сама была дитя снѣговъ и вью-
ги, дитя пустынно-черныхъ обнаженныхъ уте-
совъ гранитныхъ и моря, вѣчно суроваго,
стального и дикаго моря, того самаго, про ко-
торого скальдъ слагалъ свои желѣзные саги.
Попала она въ Петербургъ такъ же, какъ по-
падаютъ въ него множество дѣтей иностран-
цевъ, этихъ маленькихъ нищихъ, которые подъ
именемъ саволровъ бѣгаютъ по улицамъ, не-
смотря на жаръ или стужу, вѣчно въ своихъ
синихъ блузахъ и коротенькихъ юбочкахъ, бѣ-
гаютъ и продаютъ разныя бездѣлицы, поютъ
пѣсни своей родины съ аккомпанементомъ пло-
хой гармоникі, или показываютъ маленькихъ
звѣрьковъ — свинокъ заморскихъ.

Морозъ былъ очень великъ, вѣтеръ через-
чуръ уже рѣзокъ, холодъ не въ мѣру силенъ, а
коротенькая юбочка нисколько не согрѣвала
прозяблое тѣло, и добродѣтельная публика от-
нюдь не покупала нѣмецкихъ бездѣлушекъ:

туго завернувшись въ свои сноты и лисицы, она равнодушно изволила шествовать мимо, не удостоивая даже взглядомъ эту лихорадочную дрожь полуокоченѣлой дѣвочки и ея замерзлыя на рѣсницахъ слезы. Но на каждую муху есть свой паукъ. Паукомъ голодной и холодной норвежской дѣвушки явилась сытая и самодовольная чухонская старуха. Она подняла ее на улицѣ и повезла къ себѣ. Она говорила, что ей будетъ тепло и уютно, что у нея, *«зейне порціонъ чай ундъ зейне порціонъ кофѣй митъ бутербродъ засегда будетъ»*. Она сразу нашла ей нѣсколько дорогихъ платьевъ, накупила конфетъ и разныхъ бездѣлокъ, причесала, принарядила и наконецъ познакомила со своими племянницами. Онѣ ее спросили: «какъ тебя зовутъ?» Дѣвочка отвѣчала: Лаурой. Старая чухонка нашла, что это довольно сантиментально, и совѣтовала ей бросить имя Лауры и назваться Кунигундой, потому *ich selbst war auch Kunigund!* Но дѣвочка не захотѣла переимѣнить имя и осталась Лаурой. Когда же Лаура увидѣла, что это за племянницы и что это за тетка, она въ ужасѣ хотѣла бѣжать, но — бѣдная мушка была совѣмъ уже опутана паутиной. Старуха сказала, что она непрочъ отпустить отъ себя Лауру, что даже юбочка Лауры цѣла, а беречь... Для нищей дѣвочки-сироты триста рублей была громадная, неслыханная, невиданная и даже немислимая сумма! Она омертвѣла, когда узнала про это. Выходъ уже невозможенъ, да и куда этотъ выходъ? На голую мостовую? на морозъ и вѣтеръ? на голодъ и нищету?.. Здѣсь хоть тепло по крайней-мѣрѣ! Все кончено для маленькой Лауры! Она съ отчаянья махнула рукой и съ этой минуты начала умирать медленной, незаметно-подступающей смертью. Тѣломъ она была здорова, но душа у нея болѣла, и болѣзнь эта засѣла именно въ ея умъ, въ ея сердце, въ ея воображеніе, и точила ихъ неустанно, пока совѣмъ не dokonала.

Она была невелика ростомъ, но такъ томно-гибка, томно-эфирна, стройная тонка, что совѣмъ не походила на существо земное. Отнесите ее къ міру духовъ, эльфовъ, къ міру фей или ундины — и вамъ точно будетъ казаться, что это скорѣе маленькая фея, чѣмъ дочь человѣческая. Эта необыкновенная тонкость, бѣлизна и прозрачность пѣжной кожи, прозрачность, голубующая мѣстами у глазъ и на вискахъ сквозящимися жилками, эта неуловимая чистота и какая-то призрачная, эфирная неопредѣленность линий и очертаній лица, эти глаза небесно-голубые, ясно-тихіе и безконечно-кроткіе, эти недлинные, мягкія какъ шелкъ и золотисто-лннные кудри — все это сочѣтавшееся между собой такъ гармонично и легко — и именно тѣми воздушными гармоніей и легкостью, которыя присущи только свѣтлымъ видѣні-

ямъ, — все это, говорю я, дѣлало ее не то маленькой ундиной, не то чистымъ безплотнымъ духомъ слезъ и молитвы. Я помню, когда я увидѣлъ ее въ первый разъ такую эфирно-легкую, такую томно и плавно гибкую, въ тяжеломъ бархатномъ платьѣ чернаго цвѣта съ длиннымъ шлейфомъ, въ зубчатыхъ кружевныхъ воротничкахъ и манжетахъ, — мнѣ отъ всей ея фигурки повѣяло чѣмъ-то готическимъ, стрѣльчато-своднымъ, повѣяло длинной, звучно-пустынной залой съ древними гербами, шелкомъ расшитыми флагами, съ арматурными медальонами и шлемами по стѣнамъ, повѣяло прохладно-сумрачной, строгой капеллой съ разноцвѣтными венеціанскими стеклами въ длинномъ глубокомъ окошкѣ, уединенной банней неприступнаго замка на неприступной скалѣ, — однимъ словомъ, повѣяло чѣмъ-то средневековымъ, какой-то старинной, таинственной легендой, которая полна и христіанской теплоты, а вмѣстѣ съ тѣмъ и той суевѣрной призрачности таинственныхъ духовъ, того страшнаго и леденящаго, что вѣетъ на васъ какой-то невольной дрожью и ужасомъ. И показалась она мнѣ маленькой сказочной принцессой, у которой суровый, желѣзный и сѣдоусый мужъ, вѣчно-сидящій въ готическомъ высокомъ креслѣ, у высокаго темнаго камина, а она маленькая, хрупкая принцесса, съ маленькимъ розовымъ лажемъ, что носить ея длинный тяжелый шлейфъ: она однажды въ годъ появляется на блистательномъ празднествѣ, на турнирѣ награждать побѣдителей вѣнками и шарфами, а все остальное время молится въ своей мраморной капеллѣ и играетъ на своей золотой лютнѣ.

Бѣдныя иллюзіи! Бѣдная маленькая принцесса!.. Твой замокъ — не замокъ, а тюрьма; твоя и башня-капелла — квартира во второмъ этажѣ на какой-нибудь Мѣщанской улицѣ; твоя нѣжная старая мамка — это аргусъ въ видѣ чухонской «мадамы», эксплуатирующей твою жизнь, красоту и молодость... Бѣдная маленькая принцесса!.. И она умерла — Петербургъ задушилъ ее. А я какъ умерла-то она!.. Мадамъ одинъ разъ въ недѣлю выпускала ее изъ тюрьмы погулять и освѣжиться, съ тѣмъ чтобы къ вечеру она непременно опять возвращалась домой, — и Лаура дѣйствительно каждый разъ очень аккуратно возвращалась къ назначенному старухой часу, а одинъ разъ пошла, да и не вернулась больше.

Это было лѣтомъ... Солнце всходило и багрянило верхушки темныхъ сосенъ и воду на взморьи. Утро просыпалось тихое, безмятежное, теплое...

А съ міромъ прощалась чистая Божья душа —

Знать, очень ужъ жизнь ей была хороша, Ее хоронили не люди — природа ее скоро-нила:

Какъ саваномъ — мягкой подводной травой обвила,

Какъ въ люлькѣ ребенка—во влажномъ
гробу укачала;
Пролетная тучка по ней свои слезы ро-
няла,
Дождемъ, какъ святою водой могилу кро-
пила;
Зеленая ива молитву по ней сотворила,
А пѣвчія птицы всѣмъ хоромъ ее отпѣ-
вали,
Блестящія, рѣзвые рыбки поминки справ-
ляли.
И такъ-то ушла ты отъ жизни безслѣдно,
незримо,
Какъ тѣнь отъ крыла, что мелькнувъ, уплы-
ла себѣ мимо.
Въ тотъ странный, невѣдомый міръ ты
ушла отъ страданья,
Гдѣ нѣсть ни болѣзни, ни печаль, гдѣ
нѣтъ воздыханья.

А въ «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ» подъ ка-
зенной рубрикой «дневникъ приключеній» было
пропечатано, что отъ такого-то числа, въ восьмомъ
часу утра, Петербургской части, 5-го квартала,
городовымъ унтеръ-офицеромъ Изотомъ Сысое-
вымъ (бляха № 00) усмотрѣно было неизвѣ-
стнаго званія и состоянія утопшее тѣло, прибитое
водой къ берегу близъ Петровскаго моста... Ну,
и только. Да и чего же больше-то еще нужно?
Мадамъ бѣсилась и наводила справки: оказа-
лось, что въ послѣдній разъ Лауру знакомыя
ей дѣвушки видѣли въ киркѣ, гдѣ она молилась
и плакала подъ звуки органа; а потомъ еще ви-
дѣли ее, какъ она гуляла одна въ сосновой рошѣ
на Крестовскомъ островѣ,—а больше ничего и
не знаютъ. Да и что же еще знать-то имъ?
Еслибы каждая копнула въ своемъ
сердцѣ да вспомнила всю свою жизнь непри-
глядную, — тогда бы можетъ и домекнулись
онѣ, что сталося съ маленькой принцессой—
сестрой Лауры.

Теперь очередь за третьей...

Да, и третью я знаю красавицу,—но это
ужь совсѣмъ какая-то особая красота. Добрымъ,
мягкосердымъ и добродѣтельнымъ людямъ она
не нравится, да и не можетъ нравиться, пото-
му что въ ней есть для нихъ что-то неизясни-
мо отталкивающее, антипатичное; имъ она мо-
жетъ показаться скорѣе безобразной, чѣмъ кра-
сивой. А между тѣмъ тотъ, кто не есть сосудъ
вмѣщенія вышепоименованныхъ хорошихъ ка-
чествъ и украшеній духа, въ нѣкоторомъ родѣ
перловъ сердца и адамантовъ души,—тотъ мо-
жетъ по этой женщинѣ съ-ума сходить и нахо-
дить ее полной красавицей, для того она ка-
кой-то чарующій магнитъ, который влечетъ къ
себѣ непонятной и неодолимой силой. Въ ея
лицѣ есть что-то злое, мрачное и коварное, что-
то такое—не то кошачье, не то змѣиное. Въ
эти глаза, въ которыхъ бездна магнетизма и
электрическаго огня, нельзя смотрѣть при-
стально и долго: они словно пронзаютъ васъ
острымъ и холоднымъ жаломъ, которое въ то же
мгновеніе болѣзненно наполняетъ все существо
ваше ядовитой отравой. Однимъ словомъ—въ

нихъ неприятно смотрѣть, потому что эти боль-
шіе съ острыми прорѣзами глаза имѣютъ свой-
ство то вдругъ блекнуть и потухать до безжиз-
ненности, то лихорадочно и страстно загораться
какимъ-то жемчужнымъ блескомъ. И этотъ
жемчужный блескъ опять вдругъ мѣняется и
переходитъ въ тяжелый свѣтъ свинца и зло-
вѣще гнететъ и давитъ вашу душу. Волоса у
ней длинныя, густыя и черныя, какъ вороново
крыло; худое, изможденное страданьями и го-
ремъ лицо вѣчно покрыто оливково-матовой
блѣдностью—никогда въ немъ нѣтъ ни кровин-
ки, а между тѣмъ вамъ чуется—въ этомъ тѣлѣ
горячимъ, усиленно-энергическимъ ключомъ
докипаетъ остатокъ жизненныхъ силъ, и мысль
работаетъ быстро и страстно, и жажда жить вос-
ходитъ до горячечнаго порыва,—а между тѣмъ...
жить-то ужь осталось немного: она больна—
у нея чахотка, и очень злая чахотка. Но это-то
я въ ней и люблю, потому что вообще люблю
больныхъ женщинъ. И какъ-то сглаживается,
терается для меня дѣвственная прелесть и
красота чистыхъ молодыхъ дѣвушекъ передъ
этой болѣзненной, изживающей себя красотой.

Онѣ такъ юны... безмятежны
Ихъ дней разсвѣтъ;
Пускай и дѣвственны и нѣжны
Ихъ ранній цвѣтъ,
Пускай здоровьемъ яркимъ дышетъ
Ланиты пухъ
И въ каждомъ звукѣ счастье слышитъ
Ихъ юный духъ,—
Увы! гляжу я равнодушно
На ихъ красу,
И сердце въ жертву имъ послушно
Не принесу.
Въ тебѣ же милъ мнѣ цвѣтъ страданья
Поблѣклый цвѣтъ:
Онъ говоритъ про испытанья
Минувшихъ лѣтъ.
Мнѣ въ каждомъ взорѣ, въ каждомъ звукѣ
Твоихъ рѣчей
Слышна борьба, бывшая муки
Былыхъ страстей.
Въ страданьяхъ больше страдоустья:
Они язвятъ
И сердцу—вѣры!—опаснѣй счастья
Ихъ тонкій ядъ.
Душа болить и съ болью чуетъ
Родное въ нихъ,
И вспоминаетъ и тоскуетъ
И льется въ стихи.

Она еще живетъ и *хочетъ жить*, а между
тѣмъ надъ ней уже носится вѣяніе могилы, и
хороша-то она именно не чѣмъ инымъ, какъ
этимъ вѣяніемъ. Это—Богъ ее знаетъ! даже
странно сказать—это красота и поэзія смерти.
Но ея исчерпывается еще не вся она: въ ней
есть крошѣ того другая сторона, и притомъ болѣе
обаятельная.

Я помню ее—блѣдную, черноглазую, съ чер-
ной, нѣмой думой на челѣ, въ діадемъ воропе-
наго серебра подъ цвѣтъ стали, въ черномъ
шелковомъ платѣ, съ черными четками и съ
чернымъ крестомъ на груди; помню этотъ магне-

тичскій и холодно-змѣнный взглядъ—безпо-
шадный, скользящій, полный злобной ироніи,—
и въ воображеніи моемъ невольно рисуется
мефистофель. Да, это женщина-мефистофель,
это дьяволъ какой-то! Въ ней, въ больномъ и
коварномъ существѣ, есть что-то трагически-
роковое, всеотрицающее, безвѣрное и въ то же
время что-то фанатическое. Изъ за такихъ
женщинъ, какъ она, люди дѣлаютъ тысячи
безумствъ, пускаютъ себѣ пулю въ лобъ, совер-
шаютъ преступленія и идутъ на каторгу или
на эшафотъ. И я право не понимаю, зачѣмъ
она здѣсь, въ Петербургѣ? Ея мѣсто, по-насто-
ящему, тамъ, на баррикадахъ, гдѣ кровь льется
и пули свистятъ, гдѣ среди воплей и стоновъ
раздается восторженный кличъ «à l'arme!»
или «do bron!» гдѣ люди умираютъ за идею;
ея дѣло — фанатически посылать ихъ на
смерть—и послѣ... послѣ—почемъ знать?—быть-
можетъ, хохотать надъ ними, надъ этими по-
слушными глупцами, своимъ ядовито-тонкимъ
и дьявольски-леденящимъ мозгомъ хохотомъ.

Но это уже ея апотеоза. А сущность-то въ
томъ, что смерть уже близка. Да, ты умрешь,
моя милая, и очень скоро умрешь; если не
будущая петербургская осень, то будущая весна
задушитъ тебя непременно. Я теперь, какъ
черная ворона, зловѣще каркаю надъ тобою:
смерть!

Всѣ эти три завѣтные образа понижаются
однако передъ четвертымъ, передъ тѣмъ, ко-
торый я встрѣтилъ 23-го іюня 1863-го года.
И понижаются-то именно вотъ почему: у каж-
дой изъ этихъ трехъ есть какая-нибудь своя
односторонность, оригинальная индивидуаль-
ность, которая составляетъ ея личный и при-
томъ отличительный характеръ; одна—антич-
ная статуя, другая—средневѣковая принцесса,
третья—чортъ и смерть. Всѣ равно прекрасны
и всѣ равно исключительны. Вы же, сударыня,
вы, четвертая и совершенно незнакомая мнѣ
особа, вы въ полной степени соединили въ
себѣ все то, чѣмъ была первая и лучшая же-
нщина созданія, если вѣрить старой еврейской
поэмѣ. Вы—жизнь.—Вотъ ваше лучшее и
самое характерное названіе; и мнѣ кажется,
сударыня, хотя я и совершенно не имѣю чести
знать васъ, что вы должны бы быть очень
хорошимъ человѣкомъ. Это заключеніе, соб-
ственно для себя самого, я вывожу изъ вашей
наружности; а ваша наружность, повторяю
вамъ—олицетвореніе жизни, со всѣми ея пре-
красными и непрекрасными сторонами, со всѣмъ
добромъ и зломъ, со всѣмъ умомъ и пошлостью
ея. Въ этомъ-то и заключается ваша красота,
ваша поэзія. Вамъ смѣло, прямо и честно
можно смотрѣть въ глаза, потому что вы—
простота и жизнь. Дѣйствительно, нигдѣ и ни-
когда не встрѣчалъ я такого полного, гармо-
ническаго сочетанія простоты, ясности, спо-
койствія, силы и граціи, какое сквозило въ

каждомъ движеніи этой женщины; и между
тѣмъ въ ней было нѣчто неуловимое, несмотря
на эту простоту и ясность, то же самое неуло-
вимое, что есть въ самой жизни, во-первыхъ,
да во-вторыхъ еще—въ сикстинской мадоннѣ
Рафаэля. И вѣдь въ самомъ дѣлѣ—повторяю
еще разъ—русская пѣсня права, потому
«красоты ея не можно описать». Она не высока
и не низка ростомъ; въ станѣ ея нѣтъ—ни
хрупкой, ни замѣнной гибкости. а есть гиб-
кость силы, гибкость упругой стали; профиль
правильный, но это не строгая, античная пра-
вильность; очеркъ губъ, съ спокойной и ясной
улыбкой, даетъ вамъ чувствовать, что эти
губы созданы и для высокой молитвы, и для
наслажденія, а пожалуй и уязвить сумѣютъ—
что дѣлать, на то она и жизнь! Однимъ сло-
вомъ, отъ всего: отъ этого бѣлаго, румянаго
лица, отъ этихъ ясныхъ карихъ глазъ и даже
отъ совершенно просто зачесанныхъ волосъ
каштановыхъ—такъ и вѣяло простотой, граціей
и силой жизни.

Я глядѣлъ на нее и не могъ наглядѣться,
не могъ оторвать глазъ своихъ отъ этого милаго
лица,—и вотъ какое ощущеніе производило на
душу присутствіе этой красоты: совершенно
тихий миръ и спокойная ясность, что-то без-
конечно-хорошее, свѣтлое и радостное, точно
майское утро, когда въ воздухѣ и въ тѣлѣ
обитааетъ такая живительная, бодрящая свѣ-
жесть и крѣпость, когда изъ каждой вновь раз-
вернувшейся почки такъ и брызжетъ сила жиз-
ни, аромата и молодыхъ соковъ. Вотъ между
прочимъ та причина, по которой я не хочу
знать васъ, сударыня: жизнь, во-первыхъ,
хороша, какъ жизнь въ абсолютномъ смыслѣ;
во-вторыхъ—она хороша только порою, мгнове-
ніями своими, или когда на нее любешься
издали, какъ посторонній зритель; а поприбуй-
ка самъ сдѣлаться актеромъ - и, «какъ из-
вѣстно всякому, даже и не бывшему въ семи-
наріи»,—тотчасъ же наколешься, подобно тому
какъ вы наколоди нечаянно свой розовый па-
лецъ о шипы вашихъ дикихъ розъ и, быстро
отдернувъ руку, изобразили на лицѣ своемъ
необыкновенно граціозное, нетерпѣливо-досад-
ливое чувство боли.

Даже англичанинъ, который въ первую ми-
нуту не удостоилъ васъ своимъ взглядомъ,—и
тотъ не выдержалъ: вскинулъ глаза совершенно
случайно въ вашу сторону, онъ вдругъ издрог-
нулъ и всей долговязой фигурой своей изобразилъ
знакъ удивительный—!—такъ-что даже
сигарка выпала изъ его губъ. Вотъ каково
бываетъ дѣйствіе красоты даже на чистаго англи-
чанина. О себѣ, грѣшномъ, я ужъ и не говорю.
Съ свѣтлымъ, радостно-щекочущимъ и даже
какимъ-то наивно-дѣтскимъ чувствомъ въ душѣ,
я приковывался къ этой женщинѣ глазами, и
когда она встала съ парохода и пошла отъ
пристани къ Лѣтнему саду, я безсознательно

и, словно какъ покорная, вѣрная собака, пошелъ вслѣдъ за нею.

«Красавица... такая красавица... и гдѣ же? на Выборгской сторонѣ... Выборгская сторона... Коммисаріатскій чиновникъ... Зачѣмъ и для чего тутъ этотъ коммисаріатскій чиновникъ? И что онъ ей такое? мужъ, братъ, знакомый?.. И какъ онъ смѣлъ такъ небрежно-фамиліарно кивнуть ей головой?»—вотъ мысли, которыя безсвязно преслѣдовали меня всю дорогу.

А между тѣмъ она прошла изъ конца въ конецъ весь Лѣтній садъ и направилась по Большой Садовой... Я совершенно скромно и почти-точно слѣдовалъ за нею. Зачѣмъ?—и самъ не знаю. Наполнявшее меня свѣтлое чувство было слишкомъ хорошо, чисто и цѣломудренно, чтобы могла въ него закрасться какая бы то ни было нескромная мысль. Это было бы въ ту минуту выпшимъ оскорбленіемъ моему разумному человѣческому достоинству.

Я чувствовалъ какое-то полное наслажденіе, исполнѣ жизненную человѣческую радость и довольство, ощущая близкое присутствіе такой красоты, ощущая присутствіе такой чистой, живой красоты, ощущая присутствіе *жизни*.

Подходя уже къ Невскому проспекту, она должно-быть замѣтила мое преслѣдованіе и два раза обернулась на меня съ недоумѣвающимъ вопросомъ въ глазахъ. Во второй разъ, обернувшись, даже пріостановилась немного.

Въ эту минуту не помню и не знаю, что сдѣлалось со мною: словно бы какая вѣнныя, посторонняя сила повлекла меня невольно впередъ и—я подошелъ къ ней, я заговорилъ съ нею.

— Сударыня! Бога ради, не считите за дерзость мой поступокъ... Это можетъ-быть очень глупо... но я не виноватъ въ этомъ,—заговорилъ я вzwолнованнымъ голосомъ, остановившись передъ нею.

— Что же вамъ угодно?—спросила она, приходя еще въ большее недоумѣніе...

— Угодно?... угодно сказать вамъ... что я

давно уже живу въ Петербургѣ, но такой красавицы, какъ вы—клянусь вамъ, ни разу еще не встрѣчалъ въ моей жизни!

— Кто вамъ далъ право говорить мнѣ такія вещи?

Меня немного покорило: это было глупо сказано.

— Кто далъ право?—отвѣчалъ я.—Ваша красота. Да и отчего же не сказать, если это въ самомъ дѣлѣ хорошо, и если это говорится искренно? Ни вы меня, ни я васъ не знаю,—не все ли равно вамъ отъ этого?

— Вы совершенно напрасно говорите ваши любезности, и я не понимаю, что вамъ отъ меня нужно?

— Нужно мнѣ было сказать вамъ—и больше ничего. Простите, если это оскорбило васъ—я оскорблять не хотѣлъ. Прощайте, сударыня!—сказалъ я, прыгнувъ уже въ дрожки перваго попавшагося извозчика, и больше уже не оглянулся ни разу на мою красавицу.

Можетъ-быть это и странно, и глупо было—такъ несдержанно отдаться этому, во всякомъ случаѣ наивному, порыву, но... ужъ, лучше бы она молчала и, не удостоивая меня ни взглядомъ, ни отвѣтомъ, продолжала бы идти своей дорогой! Но увидѣть во всемъ этомъ одно только пошлое уличное приставаніе, не разглядѣть въ томъ, что въ сущности было такъ ясно и просто,—не разглядѣть наивно-искренняго и безкорыстнаго движенія—это не шутя меня огорчило. Вотъ она—*жизнь*-то и первое прикосновеніе къ ней! А все же она удивительно хороша, бесконечно прекрасна...

И что это за порывъ, и зачѣмъ я сдѣлалъ это, и чего хотѣлъ я?—рѣшительно не въ состояніи даже и до сихъ поръ исполнѣ сознательно объяснить себѣ. Мнѣ кажется, что все это была какая-то свѣтлая, радужная греза, и что какой-нибудь невидимый шутъ изъ тѣхъ, что колобродятъ по бѣлу-свѣту въ день и въ канунъ Ивана-Купала, подшутить тогда надо мною.

Любовь въ двухъ часахъ.

(психологическій этюдъ).

посвящено С. Г. Р—хневской.

Кукурику-рикуку-рикуку...

Не правда ли, какой глупый эпиграфъ?.. Для насъ, для нихъ, для другого, для третьяго, ну, словомъ, для всѣхъ, для всего міра это покажется совсѣмъ глупо: а для меня... Я не

хочу этимъ выразить, будто я умнѣе или глупѣе всего міра,—отнюдь нѣтъ, но для меня этотъ, повидимому лишенный всякаго смысла, звукъ имѣетъ свое оригинальное значеніе и свой милый моему сердцу смыслъ.

Кукурику-рикуку-рикуку! Что же это наконец такое?—Это... какъ бы вамъ объяснить-то удобнѣе?.. Видите ли, одинъ господинъ игралъ польку, очень милую польку, а другой господинъ, которому необыкновенно понравилась эта, въ самомъ дѣлѣ, прелестная полька, въ порывѣ—если хотите—«телячьяго» восторга, подливалъ въ ладъ мотива это «кукурику-рикуку», а оно вышло хоть глупо, но почему-то безсознательно хорошо. Итакъ, «кукурику» есть совсѣмъ посторонніе звуки, необыкновенно удачно, и скажу даже—органически слившіеся съ мотивомъ хорошей польки.

Звуки!.. Да вѣдь въ звукахъ-то и все дѣло: звуки—это все, звуки—жизнь.

Странную силу имѣютъ иногда надъ чело-вѣческой душой иные звуки, иные мотивы. Замѣчали ли вы это за собой? Напримѣръ, когда-нибудь и гдѣ-нибудь вы случайно вспомнили или услышали старый позабытый вами мотивъ—и вдругъ передъ вами встаетъ цѣлая картина прошлаго, вырисовываются знакомые полузабытые образы,—и чѣмъ дальше звучитъ этотъ мотивъ, мотивъ, съ которымъ неразлучно соединено воспоминаніе о какой-либо пройденной полосѣ жизни, тѣмъ больше освѣщается передъ вами эта пройденная полоса со всѣми ея красками и ощущеніями, освѣщается ярко, выпукло, до самыхъ мелочныхъ подробностей, до аромата курившейся въ то время сигары, такъ-что вы невольно и вполне отдаетесь обаянію и нѣсколько времени живете старой, давно знакомой жизнью. Такова бываетъ иногда сила мотива, связаннаго съ какими-нибудь завѣтными воспоминаніями. И сила эта животворна—она чуть ли не единственная чудодѣйственная сила. Извините за нѣкоторое отступление—вотъ еще одинъ случай со мной.

Я былъ очень молодъ и смѣло, прекрасно, свѣтло смотрѣлъ на жизнь, вѣровалъ только въ жизнь и подчинялся только ея вѣяніямъ. Къ этой эпохѣ относится моя дружба съ не-исправимымъ, закоренѣлымъ романтикомъ—послѣднимъ Одиссеемъ русскаго романтизма. Вся жизнь этого чело-вѣка—жизнь безалаберная и нелѣпо-скомканная, отмѣчена чѣмъ-то могуче-поэтическимъ: она вся въ увлеченіяхъ, въ за-вѣтныхъ вѣрованіяхъ, въ за-вѣтныхъ звукахъ. Онъ, говоря его же словами, «прожигаетъ» жизнь; но жизнь передъ нимъ не остается въ долгу: она въ свою очередь сожжетъ его самого. На мою молодую, чутко-впечатлительную душу имѣла большое и хорошее влія-ніе эта натура, со всѣми этими увлеченіями, вѣрованіями и звуками. Мы разстались. Другая полоса жизни смѣнила прежнюю. Новые лица, новые столкновенія, новые чувства, взгляды, обстановки, наконецъ теорія—мало-по-малу совершенно сгладили впечатлѣнія прежней эпохи, порвали съ ней всѣ нравственныя связи,—и я, незамѣтно для себя са-

мого, сталъ жить не такъ, какъ жилось, сталъ глядѣть на жизнь не такъ, какъ глядѣлось—прямо и непосредственно, — а сквозь призму теорій; даже добръ-то былъ не просто по добротѣ, а старался быть таковымъ по требова-ніямъ теоріи. Словомъ, разошелся съ жизнью и даже въ душѣ сдѣлался какъ-то суше, черствѣе; голосъ прямого чувства, голосъ простой жизненной правды не всегда пробивалъ эту зачерствѣлую кору, — и я вѣдь не понималъ, что со мной сдѣлалось! Мнѣ казалось, что все это очень логично, очень послѣдовательно, что всему этому такъ и быть надлежитъ, и былъ совершенно спокоенъ и доволенъ собой. Чело-вѣкъ вѣдь животное очень гибкое. Недавно я снова встрѣтился со своимъ романтикомъ. Онъ былъ все тотъ же, все старый, вѣчно-юный романтикъ, а я... грустный чело-вѣкъ, какое передъ нимъ, я уже смотрѣлъ на него немножко свысока: «ты, дескать, дружокъ, тово... от-ставной!»... Онъ почти не узналъ меня, т. е. меня прежняго, молодого. Долго и много мы съ нимъ спорили, много было потрачено съ его стороны словъ, и жару и убѣжденій, а съ моей доводовъ и софизмовъ,—мы не сошлись и дѣла все-таки не порѣшили. Но чего не сдѣлали слова, то сдѣлали звуки. Какъ-то случайно подошелъ онъ къ роялю, взялъ нѣсколько бе-мольныхъ аккордовъ, и вдругъ изъ-подъ ру-ки его огнемъ брызнули страстно-тоскливые звуки цыганской венгерки, стараго, любимѣй-шаго мотива моего романтика,—и съ первымъ огнемъ этихъ звуковъ я весь какъ-то нервно вздрогнулъ, душа чутко, отвѣтливо вострепе-нула и на рѣсницы невольно выкатились двѣ-три крупныя, хорошія слезы. Передо мной мгновенно встала вся широкая картина моего за-вѣтнаго прошлаго, встали въ душѣ всѣ за-бытыя вѣрованія, всѣ лучшія, горячія мечты и убѣжденія той полосы, и вновь повѣяло на эту душу чѣмъ-то былымъ, теплымъ, сердечно-знакомымъ, и понялъ я тогда, какъ далеко ушелъ я отъ моего прошлаго, какъ порвана была съ нимъ моя связь, и стало мнѣ такъ досадно на себя и такъ жалко самого себя. Но надо было только понять въ прямомъ свѣтѣ настоящее, чтобы вернуться къ покинутому прошлому. «Спасибо! ты возвратилъ меня къ жизни, я снова сталъ душой молодъ, я—прежній!» сказалъ я моему романтику, крѣпко сжимая ему руку. Чего не сдѣлали слова, то мгновенно создали звуки.

Недавно я совершенно случайно услышалъ и мое нелѣпое «кукурику» и мою венгерку. И то и другое живо помогло мнѣ перенестись душой въ то благодатное время, когда я еще съ чистымъ сердцемъ могъ воскликнуть «und ich auch bin in Arcadien geboren!»... Эти два мотива напомнили мнѣ одинъ вечеръ,—вечеръ, въ которомъ заключается цѣлая драма моей души, цѣлый эпизодъ изъ жизни моего

сердца. Съ моимъ сердцемъ, впрочемъ, случались странные эпизоды!

«Сударыня, вы знаете ли одну старую сказку?— Она была достойна любви — и онъ любилъ ее; онъ же, напротивъ, не былъ достоинъ любви — и она не любила его!» — Такъ начинается великій страдалецъ нашего вѣка — страдалецъ Гейне одну изъ своихъ лучшихъ, увлекательнѣйшихъ фантазій. Мнѣ теперь приходится начать почти-что въ этомъ же самомъ родѣ:

Сударыня, вы знаете ли одну старую сказку?— Конечно нѣтъ, или, можетъ, когда-то и знали да забыли, а между тѣмъ эта старая сказка посвящена вамъ, вамъ, сударыня, и мнѣ бы очень хотѣлось рассказать ее вамъ теперь, рассказать вполнѣ, не утаивая ничего. Тѣмъ болѣе, что дѣло вѣдь прошлое, и давно-таки вѣдь прошлое... Отчего же и не поминуть его добрымъ словомъ?

Это было хорошее время, сударыня!.. Я былъ молодъ и добръ, и отчасти глупъ; но розово-глупъ, какъ позволительно въ семнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ. А мнѣ тогда было ровно семнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ.

Слушайте же, сударыня, мою старую сказку. Это было зимой...

Луна высоко стояла въ морозномъ синемъ небѣ, по которому широкой кистью были брызнуты мириады алмазныхъ зеренъ — тѣхъ яркихъ зимнихъ звѣздъ, которыя играютъ какимъ-то особеннымъ огнистымъ блескомъ именно въ эти морозныя ночи.

На дворѣ было ясно и холодно, а въ небольшой гостиной матово и тепло.

Большая лампа подъ розовымъ абажуромъ одна только и стояла на покрытомъ ковровой скатертью столѣ, одна только и обливала эту мягкую, уютную гостиную своимъ розово-матовымъ, ровнымъ и мягкимъ свѣтомъ.

Сквозь кристаллы узорчато-замороженныхъ оконъ падали на широкіе листья растений тысячи тонкихъ голубоватыхъ нитей отъ лунныхъ лучей, и эти нити, и эти кристаллы свѣтились такъ же, какъ и звѣзды, и матовый свѣтъ лампы не скрадывалъ ихъ, а напротивъ, помогалъ имъ играть еще фантастичнѣе.

На окнахъ стояло нѣсколько молодыхъ разнопѣвѣныхъ глацинтовъ, и слабо разливался по комнатѣ тонкій запахъ цвѣтущаго геліотропа. Въ эту минуту я помню особенно ясно этотъ запахъ.

Господинъ въ синихъ очкахъ (теперь онъ далеко) игралъ ту самую польку, о которой я говорилъ въ началѣ моей исповѣди. И я жадно, съ упоеніемъ слушалъ его артистическую игру, его польку. Изъ этого вы можете заключить, какъ долженъ быть наивенъ и молодъ человѣкъ, до упоенія заслушивающійся звуковъ какой-нибудь польки. Впрочемъ вы, кажется,

не страдаете педантизмомъ въ меломаніи, и поэтому — я могу надѣяться — не встрѣтите иронической улыбки мою исповѣдь о моемъ восторгѣ.

Онъ игралъ тихо и долго, варьируя свои мотивы — и неотвязно просилъ его играть — онъ игралъ, не боясь никому наскучить, такъ какъ въ этой комнатѣ было только насъ двое — онъ да я. И эти звуки настроили меня какъ-то свѣтло и поэтично; мной овладѣло то безотчетное чувство, которое на языкѣ романтиковъ и вѣмцевъ называется Sehnsucht.

Въ кабинетѣ читались стихи: въ этотъ вечеръ — вы, можетъ, помните — собралось нѣсколько поэтовъ, а въ смежной комнатѣ весело кипѣлъ свѣтлый самоваръ и слышался звонъ серебряныхъ ложечекъ и стакановъ. Видите-ли, до какихъ мелочныхъ подробностей вспомнилъ я теперь всю обстановку этого, недавно еще забытаго мной, вечера — и все благодаря моему «кукурику» и венгеркѣ.

Я любилъ эту гостиную, очень любилъ, словно бы она мнѣ родная была. Въ ней какъ-то просто жилось, хорошо сидѣлось, по душѣ говорилось, — и каждый разъ неохотно покидалъ я свое уютное и теплое мѣсто на маленькомъ диванчикѣ въ углу. Въ этой комнатѣ былъ хорошій климатъ. Не смѣйтесь надъ этимъ выраженіемъ, а лучше подумайте-ка нѣсколько — и вы согласитесь со мной. Дома, какъ и страны, имѣютъ свой особенный воздухъ, свой особенный климатъ. Да вы, вѣроятно, не разъ и на себѣ испытали, что бываютъ дома, въ особенности иные комнаты, къ которымъ, Богъ знаетъ почему, такъ и тянетъ, вамъ хорошо тамъ и привольно; и бываютъ, наоборотъ, такія мѣста, гдѣ кажись бы все есть: и уютъ и тепло, и всевозможный комфортъ, а между тѣмъ вы сжаты; вамъ не по-душѣ тамъ, вы не симпатизируете этому комфорту, вы чувствуете себя нето чужимъ, не то лишнимъ въ этой обстановкѣ, несмотря на то, что вамъ, быть можетъ, и рады. Все это зависитъ именно отъ климата квартиры: въ иной — воздухъ, климатъ хорошій, благотворенный, а въ иной сухой, неудобный, холодный, словомъ — вяжущій васъ по рукамъ и ногамъ, начиная съ языка и кончая именно руками, которыя рѣшительно не знаешь, куда дѣвать — все такъ и хочется улізнуть поскорѣе. Все это зависитъ отъ той души, которая населяетъ домъ и согрѣваетъ или холодитъ его собой. Съ этой же гостиной мы всегда какъ-то не-хотя разставались — а все потому, что въ ней климатъ хорошій.

Вдругъ отпахнулась портьера, и изъ-за нея появилась она, тихо шурша своимъ чернымъ шелковымъ платьемъ.

Она... Вы, конечно, не потребуете, чтобы я назвалъ ее по имени; да и къ чему, и что тутъ имя?.. Вы и безъ имени узнаете ее. Я

буду звать ее просто *она*. Она—моя героиня. Она... Это, если хотите, напоминает нѣсколько таинственно-сентиментальныя времена тридцатыхъ годовъ, времена Трилунныхъ, времена патентованныхъ «мечты, луны и дѣвы». А пусть себѣ напоминает! Мнѣ что за дѣло!.. Зачѣмъ умышленно пошлить хорошія слова, тѣмъ болѣе когда они кстати? А право, *она*—это хорошее слово, которое мы, къ сожалѣнію, когда-то до пошлости истаскали, безъ всякой нужды, по одному какому-то капризу, или, лучше сказать, повѣтрію, и до сихъ поръ еще не можемъ произносить его безъ иронической улыбки—столь намозолило оно намъ уши во время оно!..

Но все-таки *она*—хорошее слово, и я хочу воспользоваться имъ въ настоящую минуту.

Я еще не видѣлъ ее въ тотъ вечеръ—она только-что появилась въ гостиной, и съ милой, ей одной только свойственной простотой, протянувъ мнѣ руку, молча подошла къ роялю и стала слушать. Господинъ въ синихъ очкахъ оставилъ клавиши и поднялъ на нее свои близорукіе глаза.

— Что это вы играли?—нѣсколько лѣниво спросила она своимъ невозмутимо-спокойнымъ и ровнымъ голосомъ. Это ее постоянная, всегдашняя манера.

— Такъ-себѣ... полку... — небрежно отвѣтилъ артистъ...

— Это очень милая вещичка... Сыграйте мнѣ ее еще разъ,—замѣтила она и, стоя подлѣ рояля, стала слушать съ обычнымъ своимъ нѣсколько холоднымъ спокойствіемъ.

Свѣтлые, граціозные, наивные звуки полились снова съ какою-то задорно-вызывающею силой.

Я издала, какъ-то безсознательно, сталъ глядѣть на ее лицо—и черезъ немного времени ясно замѣтилъ, какъ на немъ заиграло легкое отраженіе тѣхъ самыхъ ощущеній, которыя и меня волновали, вызванныя силою звуковъ. Эти звуки, очевидно, и на нее производили то же самое впечатлѣніе, которое они возбудили во мнѣ,—и, странное дѣло! въ эту самую минуту я почувствовалъ, какъ что-то не то болѣзненно, не то щекоотно востребовалось въ моей груди, и передъ глазами моими какъ-будто всталъ другой образъ, другое лицо—это была она, но не прежняя она, а какая-то новая, преображенная, словно бы лучше, красивѣе даже стала, словно бы ее окружилъ своимъ тихимъ сіяніемъ какой-то туманно-поэтический ореолъ; въ ее лицѣ дышала и говорила ее душа; ее поза была такъ легка, проста и граціозна,—я въ первый разъ безотчетно залюбовался ею. Залюбовался и... моя Sehnsucht, моя за минуту еще безысходная истома нашла свой выходъ—я влюбился въ нее... Да, такъ-таки прямо, почти мгновенно влюбился! И влюбился-то (какъ мнѣ кажется),

именно за то, что она поняла эти наивно-страстные звуки, поняла такъ же точно, какъ я, и тихо увлеклась ими, какъ я.

Странные, въ самомъ дѣлѣ, бываютъ моменты въ жизни человѣческаго сердца! Зналъ я ее, напримѣръ, передъ этимъ около двухъ лѣтъ, былъ ее добрымъ знакомымъ, она даже своимъ молодымъ другомъ называла меня; но до этого послѣдняго вечера никогда ни малѣйшій намекъ на чувство не шевельнулся въ моей душѣ. Я дорожилъ ее расположеніемъ, я любилъ ее, но любилъ именно такъ, какъ любить тѣхъ, кого черезчуръ уже уважаютъ—почтительно и холодно. Это я называю любить умомъ. Любить сердцемъ, при такомъ строгомъ, безграничномъ уваженіи, по-моему, невозможно.

И хотѣлось мнѣ въ эту минуту, чтобы господинъ въ синихъ очкахъ игралъ безконечно, и чтобы она безконечно стояла такъ у рояля,—а мнѣ бы неустанно, неотводно глядѣть на нее, но вдругъ...

— Madame, j'ai l'honneur de vous saluer!—внезапно раздалось у двери, совокупно съ звяканіемъ оружія,—и вслѣдъ затѣмъ выприсовалась пріятно-изогнутая фигура франтоватаго офицера, съ претензіей на большую галантность, офицера, развитаго при помощи куаферскихъ щипцовъ Шарля и украшеннаго венгерской помадой и золотыми очками.

«Madame, j'ai l'honneur de vous saluer»—и моя иллюзія, какъ дымъ, разлетѣлась мгновенно... Проклятый офицеръ! И зачѣмъ такъ некстати принесло его именно въ эту минуту!.. Онъ помѣшалъ артисту играть, ей слушать, мнѣ любоваться! Съ его прибытіемъ мы всѣ, не выключая даже самой комнаты, принявъ какой-то принужденно-офіціальныи отъѣнокъ, что всегда бываетъ при появленіи посторонняго лица, внезапно помѣшавшаго своимъ присутствіемъ интимной бесѣдѣ, или интимному молчанію по-душѣ—что рѣшительно одно и то же.

Она какъ-то ушла въ свою обычную улитку и съ полнѣйшимъ равнодушіемъ и затаенной скукой стала слушать его французскую болтовню: офицеръ любилъ пускаться въ метафизику и обыкновенно развивалъ, все на французскомъ же діалектѣ, нѣчто не совсѣмъ удобное, но очень интересное... для него самого. Конечно и она принуждена была любезно поддерживать скучнѣйшій и пошлѣйшій разговоръ о социальномъ и великомъ значеніи фельетона, о прогрессѣ и вертящихся столахъ, о Гамлетѣ и Шекспирѣ и о большомъ портретѣ Ивана Сергѣевича Тургенева, который, ради моды, купилъ и обезсмертилъ, заказавъ золотую рамку и повѣсивъ у себя въ кабинетѣ, онъ, галантный офицеръ.

Я всегда былъ равнодушенъ къ этому галантному офицеру, какъ къ мухѣ, которая

меня не беспокоить; но нынче я был на него зол, я ненавидел его, потому что он вполне занял роль июльской мухи, липко и неотвязно посягающей на спокойствие кончика нашего носа.

Однако-же, иллюзия хоть и распалась, а я все-таки был влюблен—так уже, значить, полоса такая выпала мне в этот вечер—и даже чувствовал, как с каждой минутой это чувство усиливается и растет. Человеку, в подобном моем ненормальном положении, всегда становится требовательней, раздражительней и даже обидчивей. В эти минуты он способен видеть все в преувеличенном свете, отыскивать особенный смысл там, где его отнюдь и не бывало, и вообще начинает вести себя как-то странно, не по обыкновенному. Это все зависит от того напряжения нервов, которое возбуждает одолевшее человека чувство. Подобное нездоровое положение испытывал и я в то время, как галантный офицер развивал свою метафизику и вместе с тем разсыпался в необыкновенно тонких любезностях.

Я был зол на этого офицера, да и на нее начинал не менее злиться: «зачем она говорит с ним, думалось мне, —зачем она его слушает? Ведь могла бы говорить со мной и слушать меня—так и быть же! Ведь я знаю, наверное знаю, что он антипатичен ей; а между тем она говорит, она даже очень любезна. Для чего такое притворство? Ей ли притворяться, с ее простотой, с ее искренностью!..»

А офицер все-таки продолжал тараторить...

Я досадовал, зачем она говорит не со мной, а сама между тем одиноко сидит в своем темном углубленном углу и упорно молчал (обстоятельство, необыкновенно редкое и даже странное со мной в те годы). Мне и хотелось бы подойти, сесть поближе к ней, заговорить с ней, и заговорить как-нибудь получше, чтобы отвлечь ее внимание от офицера и даже затереть его совершенно, заставить его ступешаваться,—и я даже воображал, как он это ступешается, и злобно утешался своей мечтой, как-будто она уже совершилась в действительности; а между тем, сил как-то не было, решимости не хватало, чтобы подняться с места и начать говорить... Она раза два взглянула в мою сторону, как бы желая различить меня в полусвете, и обратилась ко мне с вопросом:

— Что вы там сидите один?.. Подите лучше сюда, садитесь поближе к свету!..

Сердце у меня тревожно застучало и кровь бросилась в лицо. Я покраснел, принудил себя улыбнуться и, неловко подойдя к столу, еще неловче опустился в кресло, наступив ей при этом на платье, которое так и осталось под моей ногой.

— Пойдите, пойдите, пощадите мое платье,—с улыбкой проговорила она, высвобождая его из-под моей подошвы.

Я быстро вскочил с места, пробормотав нечто в родъ извинения, и окончательно сконфузился и смущался. Галантный офицер поглядывал на меня, на нее, и слегка иронически улыбнулся, как бы желая этим выразить: какой ловкий молодой человек! Это уже окончательно взорвало меня. Я взбился и, больно закусив нижнюю губу, затаил про себя свое бешенство.

Галантный офицер между тем начал повествовать о какой-то городской сплетне, которая была новостью дня и отличалась действительно смешным содержанием. Она стала слушать с интересом и наконец разсмехалась. Мне стало досадно на этот смех, и именно потому досадно, что не я ступешавую офицера, а он как-будто совсем уж ступешавал меня. Ну, а это обстоятельство, в особенности послѣ моей злой мечты, согласитесь, было очень обидно.

— Ах, да! я обещал вам в прошлый раз свою карточку—вот она!—как бы спохватясь проговорил офицер, изычно вынимая и еще изыщнее поднося ей свое изображение.

«Однако, это черт знает что такое! думал я, уставясь в него из-подобья злыми глазами.—И она!.. она смеется... она любит его пошлой физиономией!.. А, сударыня! вы, значить, помирились с вашей антипатией к этому ухаживателю! Поздравляю!..»

Короче сказать, я ревновал, и злобно, нервно ревновал ее к офицеру. Я желал, чтобы она замтила это чувство, а для того стал и на нее кидать те же пристальные, злые взгляды исподобья. Словом, я становился неприличен. Она, впрочем, почувствовала на себя этот неотводный глаз, раза два мельком взглянула на меня, как-будто с недоумением, и снова обратилась к неумолчно болтавшему офицеру. «Ничего, однако, буду же и я любезен!»—решил я про себя, и вдруг, ни с того ни с сего, настойчиво перебив офицера, отомчил какую-то пошлую фразу, за которую сам немедленно покраснел. Но неудача только подстрекнула меня, и я, ни к селу ни к городу, рассказав какой-то глупейший и ничуть не смешной анекдот, прервав и на сей раз, без всякой церемонии, офицера, послѣ довольно длинной паузы с моей стороны. Все это вышло так резко, так аляповато, так неловко, что как вспомнишь, так даже и теперь коробить! Моя выходка, не вызвав ни малейшей усмешки, заставила только их с недоумением переглянуться между собой, а ее—поглядѣть на меня с отѣнком какого-то сожалѣнія. Это меня уже окончательно дорѣ-

зало, и я, поднявшись съ кресла, вышелъ изъ комнаты и сталъ шагать по залѣ. Любви, злости, ревности—и все это противу нея—мучили меня страшнѣйшимъ образомъ, затѣявъ всѣ вмѣстѣ возню въ моемъ сердцѣ. Онѣ спирали мнѣ грудь, дыханіе и захватывали чѣмъ-то крѣпкимъ горло, что обыкновенно бываетъ, когда человекъ черезъ силу удерживаетъ накипающія слезы. Я былъ убитъ, уничтоженъ и—въ душѣ офицера осмѣянъ. Это меня глодало и грызло даже какой-то нервной, ноющей болью подъ ложечкой.

Въ это время изъ кабинета показались въ гостиной три-четыре новыя личности, и между прочими мой старый романтикъ и мой пріятель Аммосъ (теперь уже покойникъ...), длинный и сутуловатый, въ вѣчной бѣлой жилеткѣ и съ вѣчной сигарой, которую курилъ онъ какъ-то въ сторону у лѣвой оконечности своихъ добродушныхъ и въ то же время ядовито-насмѣшливыхъ губъ; за ними, въ видѣ карапузика, появился толстенькій, розовенькій офицерикъ, страдающій одышкой, одинъ изъ «невѣдомыхъ избранниковъ» русской музыки, который почиталъ своей священной, истинной обязанностію тереться весь вечеръ въ кабинетѣ, около «настоящихъ» литераторовъ и поэтовъ. Шестіе вновь появившихся заключалъ самъ хозяинъ, ведя радушно за руку какого-то скромненькаго, темненькаго и робкаго человека, котораго Богъ-вѣсть откуда и гдѣ откопалъ онъ и пріютилъ у себя, и теперь выводитъ его «въ люди», подходитъ съ нимъ къ каждому своему знакомому, рекомендуетъ и искренно, сердечно проситъ полюбить, нахвывая при семъ случаѣ на-ухо, что это-де талантливая и замѣчательная въ своемъ родѣ личность, ты-де не смотри, что онъ робокъ,—изъ него, братъ, многое выйдетъ... О, какъ дѣтски вѣровалъ въ людей и какъ свѣтло любилъ ихъ онъ, вѣчный ребенокъ до гробовой доски!

Вновь пришедшіе отвлекли ея вниманіе отъ галантнаго офицера, и я былъ радъ, что наконецъ-то онъ начинаетъ ступеньваться, и въ то же время продолжалъ злиться на всѣхъ на нихъ за то, что *они*, а не *я* вмѣстѣ съ нею, зачѣмъ она всѣмъ удѣляетъ ровную долю вниманія, а не отдаетъ его мнѣ и больше никому!

Кто-то обратился къ розовому офицеру съ просьбой прочесть стишки—и розовый офицерикъ остался необыкновенно доволенъ сдѣланнымъ ему предложеніемъ.

— Я съ удовольствіемъ! — отозвался онъ, щелкнувъ своими каблучками, — только я не могу читать сидя... я непременно долженъ стоя читать—это моя странность,—объяснилъ онъ, необыкновенно довольный тѣмъ, что имѣетъ тоже свою литературную странность, въ нѣкоторомъ родѣ оригинальность генія, которую

даже успѣлъ заявить передъ собравшимся обществомъ, и вслѣдъ затѣмъ, ставъ въ надлежащую позу, очень изящную и непринужденную, онъ началъ своимъ пискливымъ, задыхающимся голосомъ декламировать нѣчто о заоблачныхъ мірахъ, ведущихъ вѣчную войну за вѣчную свободу. Что-то очень гражданское и очень нелѣпое.

— А знаете ли вы, какъ безногій Массонъ крокодила высидѣлъ?—вдругъ ни съ того ни съ сего брякнулъ Аммосъ, обращаясь къ офицеру, послѣ того какъ тотъ кончилъ стихи и въ гостиной наступила минута критическаго молчанія. Многіе вспрыгнули отъ этой неожиданной выходки.

И вслѣдъ за этимъ Аммосъ вышелъ въ залу, гдѣ я все еще продолжалъ озлобленно шагать изъ угла въ уголъ.

— Что, братъ, какова поэзія-то!.. Гражданская! Можно сказать, даже почетно-гражданская!—обратился онъ ко мнѣ, до-нельзя сворачивая въ сторону свою сигару и моргнувъ глазомъ въ сторону гостиной. Я сдѣлалъ подобіе какой-то улыбки и продолжалъ ходить.

— Да ты что это Пименомъ лѣтописцемъ эдакимъ ходишь-то? Пойдемъ-ка въ гостиную, тамъ галантный эполетами сверкаетъ и подергиваетъ—полюбуемся!—приставалъ ко мнѣ Аммосъ.

— Ахъ, оставь меня, Бога ради!—досадливо отвѣчалъ я, злясь на него болѣе всѣхъ въ эту минуту, за его присутствіе въ этой комнатѣ, когда мнѣ хотѣлось быть одному.

Аммосъ ушелъ, но черезъ минуту опять воротился. Онъ всегда очень любилъ сообщать мнѣ свои зlostныя замѣчанія.

— Хочешь, шпектакль устрою? — началъ онъ, взявъ меня подъ руку.—Сейчасъ попрошу галантнаго научить меня, какъ *ляссе* танцуется. Онъ, все равно какъ намеренъ, начнетъ такіа па выдѣлывать «анаванъ, анарьеръ, насупротивъ и вопреки» — что просто умора! Хочешь, устрою?

— Да уйди ты отъ меня, Христа ради! не мучь ты меня своими глупостями! Мнѣ не до тебя!—проговорилъ я въ отвѣтъ Аммосу, вспливы уже окончательно.

— Эге, братъ!.. Да ты что это? Сбрендилъ?.. Ну, видно, съ тобой нынче каша не сваряшь!—заключилъ Аммосъ и, махнувъ рукою, удалился изъ залы, дыма своей сигаркой.

Въ это время тамъ, за портьерой, раздалось нѣсколько бемольныхъ аккордовъ, и голосъ моего друга, стараго романтика, задрожалъ всей вибраціей тоскливой цыганской страсти, подъ звуки цыганской венгерки... Каждая нота болѣзненно била меня по сердцу, словно бы по немъ колотили тысячи маленькихъ молоточковъ и тысячи иголокъ вонзались — такъ оно мучилось подъ этотъ мотивъ! И когда эта изнывающая, куда-то далеко зовущая тоска

звукѣ переходила въ энергическую, лихорадочную страстность, — меня тоже начинала бить лихорадка. И вдругъ съ однимъ музыкальнымъ воплемъ, я въ забытѣ почувствовалъ, какъ и у меня изъ груди вырвался тихій, но такой же отчаянный вопль; хорошо еще, что въ ту минуту я былъ одинъ въ залѣ! Это безнадежное, прожигающее отчаяніе, эти вопли выливаются въ пѣснѣ на словахъ:

„Бассанъ, бассанъ, бассанъ,
Бассанъта, бассанъта! —
Ты другому отдана
Безъ возврата, безъ возврата!“

Я весь вздрогнулъ и остановился на ходу посреди комнаты:

„Ты другому отдана
Безъ возврата, безъ возврата!“

глухо отдалось въ моемъ сердцѣ, — и передъ роковымъ смысломъ этихъ словъ я ужъ забылъ и офицера, и Аммоса, забылъ себя, забылъ все... кромѣ ея, кромѣ ея свѣтло-спокойнаго, какъ-будто даже холоднаго образа...

Оставаться тамъ долѣе у меня не хватало силъ. Я поспѣшилъ отыскать свою шапку и, не показываясь больше въ гостиную, направился въ прихожую отыскивать шубу.

— Послушайте, послушайте! дайте, я вамъ стишки одни прочту! — раздался вдругъ неожиданно въ-догонку мнѣ голосъ — и въ передней я увидѣлъ передъ собою толстенькаго, розовенькаго офицера, поспѣшавшаго за мною съ тою непередаваемой улыбкой, въ которой выражается зудъ авторскаго самолюбія, набивающагося на похвалу и жаждущаго упитаться сладкозвучіемъ своихъ собственныхъ виршей.

— Позвольте, я вамъ стишки прочту, — повторилъ онъ, вынимая изъ кармана свернутый листъ бумаги.

«А, чортъ бы тебя взялъ и со стихами!» — подумалъ я про себя и сталъ-было отговариваться тѣмъ, что тороплюся уйти.

— Да это не долго... Ужъ вы позвольте, я прочту! — настаивалъ карапузикъ.

— Ну, Богъ съ вами, читайте, пожалуй!

И онъ началъ мнѣ, здѣсь же въ прихожей, декламировать что-то такое ужъ больно несообразное, о томъ, «насколько кровь нужна, чтобъ смазывать колеса въ ходу паровоза исторіи». А изъ гостиной все болѣзненнѣе вырывались звуки венгерки. Эта двойная и столь противоположная пытка была уже выше моихъ силъ: я не дослушалъ стиховъ и стремительно вырвался на лѣстницу, съ этой минуты приобрѣтя себѣ еще одного новаго врага въ лицѣ розоваго офицера.

Я задышался; грудь и горячая голова просили свѣжаго воздуха, и я, быстро спустившись съ лѣстницы, очутился на пустой, холодной улицѣ, вмѣстѣ охваченный бодримъ, ледянымъ дыханіемъ ясной, морозной ночи.

Я шибко и мѣрно пошелъ по улицѣ, не давая даже себѣ отчета, куда и зачѣмъ иду, а просто шелъ по тому направленію, куда глаза глядѣли. Ночь была ясна, ясна до кристальной прозрачности, и шибко, сурово морозна. Этотъ морозъ пушилъ и стѣплялъ рѣсницы, сжимая лицо, но не жегъ его, потому что въ воздухѣ не было ни малѣйшаго вѣтра. Этотъ скованный воздухъ былъ наполненъ тѣлыми мірадами какихъ-то рѣющихся и алмазно-сверкающихъ иглъ, которыя становились замѣтны, когда войдешь въ полосу, освѣщенную газовымъ фонаремъ.

Не знаю и не помню, какъ я очутился на Фонтанкѣ и пошелъ по ея набережной. Гранитныя тумбы и чугунная рѣшетка, дома, и стѣны и колонны по бокамъ иныхъ подъѣздовъ и балконовъ — все это, неподвижное и спящее, было сплошь зачуждено крѣпкимъ и густымъ морознымъ инеемъ, все это сверкало миллионами искорокъ, которыя отражали въ себѣ желтоватый свѣтъ фонарей и голубые лучи высокооплывущей луны, и все это казалось какъ бы отлитымъ изъ одной громадной глыбы серебра и рисовалось на встрѣчу взору чѣмъ-то граціознымъ, необычайнымъ и фантастическимъ. А на противоположной сторонѣ весь Лѣтній садъ, словно зачарованный, словно тоже весь вылитый изъ серебра, глубоко спалъ подъ этими голубыми лучами, — и сквозъ частые стволы деревьевъ его далеко-далеко мелькали фонари, которые казались не то блуждающими огоньками, не то сторожевыми огнями какого-то огромнаго стана...

Было уже довольно поздно. На улицѣ — ни души, и только одни мои шаги скрипѣли на замороженномъ снѣжкѣ тротуара. Въ головѣ моей былъ какой-то хаосъ. Въ ушахъ какъ-будто еще звенѣлъ рѣдающій отзвукъ венгерки, и мозгъ мой жгуче произизывалъ роковыя слова:

Ты другому отдана
Безъ возврата, безъ возврата!...

И вдругъ все это мѣшалось, вертѣлось, туманилось — и слышалась декламация офицера, «насколько кровь нужна, чтобъ смазывать колеса въ ходу паровоза исторіи». Все это давило меня, словно бы надо мною въ воздухѣ плавала какая-то необъятная, черная и тяжелая масса, опускалась все ниже и ниже, касалась моего темени и тихо, постепенно пригнетала меня къ землѣ. А между тѣмъ я все шелъ дальше и дальше — и вотъ уже Нева предо мною раскинулась необозримой, мгlistой пустыней. И съ этой пустыни еще суровѣе пахнуло въ лицо мнѣ холодомъ, еще крѣпче охватилъ и сковалъ меня бодрый морозъ. На той сторонѣ, за рѣкою, гдѣ-то далеко, какъ мутныя звѣздочки, мигали два-три огонька, а въ вышинѣ, въ прозрачно-синемъ воздухѣ горѣлъ и мѣстами ярко искрился подъ луною золотой шпиль Петропавловской колокольни.

Я сѣлъ на полукруглую гранитную скамейку и долго просидѣлъ тамъ. Въ крѣпости тихо и мрачно-тоскливо заиграли свою обычную прелюдію старинные часы, и вслѣдъ затѣмъ гудко и далеко разнеслись по окрестности медленные мѣрные удары колокола, возвѣстившіе полночь. И когда замерло въ воздухѣ ихъ послѣднее густое колебаніе, въ отвѣтъ на этотъ бой колокола послышалось гдѣ-то далеко-далеко протяжное, безконечное «*слу-ша-а-й*» и все дальше и типе отзывалось оно въ разныхъ концахъ мрачныхъ бастіоновъ...

Мнѣ почему-то вдругъ сдѣлалось страшно—безотчетно страшно, какъ малому ребенку. Я поскорѣ всталъ, завернулся въ шубу и, подвліяніемъ этого страха, быстро пошелъ назадъ, по прежнему своему пути, вдоль Фонтанки.

Вскорѣ я очутился подлѣ знакомаго дома, заглянулъ въ окно—темно... Неужели ужъ разошлись? Поднялся по лѣстницѣ къ самой двери; прислушиваясь—нѣтъ, кажись, еще есть... голоса слышны какъ-будто, и кто-то заигралъ на фортепіано... Войти развѣ? И я уже взялся за ручку звонка, но почему-то остановился въ раздумьи.

— Нѣтъ, это ужъ будетъ совсѣмъ глупо!—и махнувъ рукой, опять спустился внизъ; а между тѣмъ какое-то лихорадочное, неотступное желаніе такъ и подмывало вернуться, позвонить и войти.

— Нѣтъ! не надо, не надо! не пойду!—почти вслухъ настойчиво и съ досадой проговорилъ я самъ себѣ, топнувъ даже ногою, и отправился домой во-свойси.

Дома, чтобы хоть сколько-нибудь разогнать эту тоску и разсѣять свои мысли, я нераздѣваясь засѣлъ за громадный латинскій лексиконъ Кронеберга, взявъ анналы Тацита и принялся корпѣть надъ вокабулами, согнувъ въ три погибели спину.

Трудился я долго и упорно и добросовѣстно трудился; а мысли между тѣмъ, на-перекоръ разсудку, летѣли далеко отъ лексикона, и воображеніе все еще рисовало завѣтный образъ...

Вдругъ раздался громкій, порывистый звонокъ...

Я вадрогнулъ и остался въ рѣшительномъ недоумѣніи: какой-такой посѣтитель могъ бы быть ко мнѣ въ такую необычную пору?... «Ужъ не тѣ ли?» — подумалъ я и спѣшно за-пряталъ кое-какіе листики и книжки.

Человѣкъ мой, кряхтя и зѣвая съ просонокъ и ворча что-то себѣ подъ носъ, неторопливо поплелся отворять дверь. Я, притворяясь споконнымъ, остался ждать въ своемъ креслѣ.

Вдругъ растворилась дверь—и ввалился покрытый инеемъ Аммосъ, въ шубѣ и шапкѣ, съ обычной сигаркой у лѣвой оконечности губъ, ввалился и напустилъ собою холоднаго воздуха въ комнату.

— Что это ты въ такую пору?... зачѣмъ?—

съ удивленіемъ спросилъ я, откинувшись на спинку кресель.

— За тобой!—объяснилъ Аммосъ, опускаясь на стулъ, какъ былъ—въ шапкѣ и шубѣ. — Одѣвайся скорѣе! Ыдемъ!

— Куда?!

— Туда... я тебѣ скажу, братъ, какъ весело! Народу набралось пропасть! И куда ты это такъ рано скрылся? Никто и не замѣтилъ! Ну, ѣдемъ же, ѣдемъ!

— Да что за чепуха! куда теперь ѣхать? вѣдь поздно,—отбояривался я отъ предложеній Аммоса.

— Какой поздно! всего только два часа; а тамъ, самъ знаешь, въ четыре расходятся, еще и ужинать не накрывали. Ыдемъ.

— Нѣтъ, убирайся ты, не поѣду! Видишь—дѣломъ занятъ, да и поздно къ тому же,—порѣшилъ я, не безъ достоинства указывая на толстѣйшій лексиконъ и анналы.

— Ну, какъ знаешь!—заклочилъ Аммосъ, подымаясь со стула. — Я такъ и скажу, что не хочешь... Меня вѣдь просили за тобой сѣздить, а самъ бы я и не подумалъ, — прибавилъ онъ, направясь къ двери.

— Кто просилъ?—перебилъ я его.

— Сама.

— Сама?!—съ живостью вскрикнулъ я, стремительно подымаясь съ мѣста.—Сама!... И ты не лжешь!

— А мнѣ съ какой-статі! Вотъ нелѣпый-то вопросъ! —пробурчалъ Аммосъ, какъ будто недовольный мной.

— Сама!.. сама!..—радостно и безсознательно повторилъ я, не глядя ни на кого и ни на что открытыми, но должно-быть глупыми глазами.

Аммосъ пристально и пытливо поглядѣлъ на меня.

— Ты видно, братъ, немного *тово*?... ложись-ка лучше спать и въ самомъ дѣлѣ,—проговорилъ онъ съ улыбкой, качая головой.

— Нѣтъ, ѣдемъ! ѣдемъ! скорѣе!—порывисто перебилъ я, и мигомъ нахлобучилъ шапку и, кое-какъ второпяхъ накинувъ шубу, чуть-что не опрометью побѣжалъ внизъ по темной и крутой лѣстницѣ.

Аммосъ, глядя на мою лихорадочную суетню, только подозрительно какъ-то присвистнулъ.

— Эге-ге!... такъ вотъ оно куда пошло!—иронически проговорилъ онъ, осторожно ощупывая ногой ступени и тщетно стараясь огнемъ сигары освѣтить себѣ трудную дорогу.

И вотъ мы уже у подъѣзда — и сердце во мнѣ упало. Прежняя нерѣшительность овладѣла мной. Но раздумывать было уже поздно: Аммосъ взялъ меня за рукавъ; стеклянная дверь съ трескомъ захлопнулась за нами;—мы подымались по легкой, освѣщенной матовыми лампами, красивой лѣстницѣ.

Аммосъ дернулъ за ручку звонка, и черезъ

минуту дверь отворилась. Отокнулъ ее розовенькій карапузикъ, очевидно находившійся тутъ же, и вѣроятно для чтенія кому-нибудь своихъ собственныхъ стихотвореній. Онъ обыкновенно, когда бывалъ въ этомъ домѣ, любилъ для этого занятія уединяться въ переднюю. Это дѣлалось изъ чувства деликатной застѣнчивости.

— Ахъ, я очень радъ, что вы вернулись! — заговорилъ онъ, потрясая мнѣ руку и пропускавая Аммоса за дверь въ другую комнату. — Я вамъ не успѣлъ тогда дочесть своихъ стиховъ... Позвольте, теперь докончу.

И онъ, схвативъ меня за пуговицу, сталъ было продолжать декламацию насчетъ смазки колесъ исторіи, но, къ счастью, Аммосъ появился въ дверяхъ и кликнулъ меня за собою.

«Ого, однако народу-то понабралось-таки!» замѣтилъ я про-себя, окинувъ глазами толпу, сгруппировавшуюся вокругъ рояля, за которымъ сидѣлъ мой «послѣдній романтикъ» и съ увлеченіемъ, горячо пѣлъ дубюковскій романсъ, со своей обычной, цыганской манерой.

И вѣяло счастьемъ, молодостью, весенней одурью отъ этихъ влюбленныхъ звуковъ и влюбленныхъ словъ:

«Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ» — разливалось широкой силой мотива это пѣніе, и разливомъ своимъ щеколтало и жгло каждую чуткую душу.

Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ,
Всѣхъ въ немъ цвѣтовъ благовонія слышны,
Кудри твои такъ обильны и пышны, —
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!

Она тоже стояла въ этой толпѣ, и щеки ея горѣли, всегда спокойныя, всегда холодныя уста были полураскрыты и, казалось, будто дышали невольною страстью; волосы небрежно откинулись назадъ, за виски, и отъ этой небрежности стали словно бы еще гуще, еще пышнѣе. Она была очень хороша въ эту минуту, и о, какъ безпредѣльно можно бы было любить ее! Она замѣтила меня, какъ-то особенно улыбнулась — не то просто, не то загадочно и коварно — и ласково кивнула головой. Я тихо помѣстился на свое обычное мѣсто, въ темный уголокъ, на мягкій диванчикъ, и сталъ слушать пѣсню.

Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ,
Яснаго взора губительна сила.
Нѣтъ, я не вѣрю, чтобъ ты не любила: —
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ.

«Нѣтъ, я не вѣрю, чтобъ ты не любила! не вѣрю! не вѣрю! отдавалось въ моемъ встревоженномъ сердцѣ въ отвѣтъ на эти звуки, — ты любишь, любишь... да не меня!.. не меня!.. Твой взоръ ясенъ, но это ясность льда, и тѣмъ-то еще губительнѣе его сила, лучше бы ужъ онъ жегъ и палилъ меня; мнѣ бы легче было. — А я и сказать то ей объ этомъ не посмѣю... Вѣдь я почти ребенокъ передъ ней, — она вѣдь только взглянетъ на меня

своими большими, холодными глазами — и удивится, и молодымъ своимъ другомъ называть меня больше не станетъ... Проклятая молодость!»

А романтикъ межъ тѣмъ допѣвалъ свою пѣсню...
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ,
Счастью сердце легко предается,
Мнѣ близъ тебя хорошо и поется...
Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!

Она отдѣлилась отъ толпы, окружавшей рояль, и незамѣтнымъ движеніемъ головы поманила меня за собою. Я тихо всталъ и, покорно слѣдуя за нею, съ замершимъ, похолодѣвшимъ сердцемъ, почти машинально прошелъ въ кабинетъ. «Что-то будетъ!» — смутно мелькало у меня въ головѣ, и это ощущеніе походило на какое-то предчувствіе.

Въ кабинетѣ никого не было, даже свѣча потушена, и только одна лампада передъ древнимъ наслѣдственнымъ образомъ, который принадлежалъ къ числу самыхъ заветныхъ вещей хозяина — только одна эта лампада слабымъ и ровнымъ свѣтомъ озаряла стѣны, гдѣ висѣли два столь же заветные портрета двухъ покойниковъ, дорогихъ его сердцу, озаряла стѣнку на окнѣ, за которой спали зяблики на волѣ, къ вѣшшему соблазну великолѣпнаго чернаго безъ одной крапинки кота Василия, дремавшаго тутъ же, на большомъ старинномъ диванѣ, рядомъ съ дворнягой-псомъ Лайкой, псомъ столь рѣдкаго между псами ума и сердца, что его справедливо прозвали оборотнемъ.

И вотъ Василій и песъ Лайка, при входѣ нашемъ въ эту комнату, лѣниво подняли головы и сквозь сонъ помахивали привѣтливо хвостами и опять улеглись другъ подлѣ друга, причемъ спина Лайки послужила очень комфортабельной подушкой Василію.

Комната эта, озаренная слабымъ огонькомъ лампадки, являлась какой-то таинственной, тихой и отдаленной. Въ ней можно говорить и чувствовать свободно и тихо.

Она сѣла въ глубокое кресло, у покрытаго зеленымъ сукномъ большого стола, и спокойно, прямымъ взоромъ заглянула въ мое смущенно-опущенное лицо.

— Зачѣмъ вы ушли потихоньку и такъ рано? — начала она, съ улыбкой и все еще не спуская съ меня своего взора.

Я еще больше потупился.

— Такъ... голова заболѣла... — отвѣтилъ я, лишь бы что-нибудь отвѣтить.

— Скажите лучше, закружилась, — поправила она съ шутливой лаской.

Я мигомъ вспыхнулъ и окончательно смѣшался, не зная, куда глядѣть, не находя, куда дѣвать свою голову и руки, и только черезъ минуту молчанія рѣшился робко спросить ее:

— Вы хотите что-нибудь сказать мнѣ?

— Да, хочу, — подтвердила она и сама какъ-будто нѣсколько смѣшалась. — Я хочу и разочаровать и утѣшить васъ нѣсколько...

Восторгъ, радость, боль и слезы подступили къ моему сердцу и душили меня.

— Такъ вы... вы, значить, замѣтили... Вы, значить, знаете все? — проговорилъ я, весь дрожа, задышающимся отъ волненія голосомъ.

— Да, знаю... отвѣтила она съ такой лаской, съ такой нѣжностію, что я, не помня себя отъ восторга и благодарности, счастливый и любящій, бросился передъ нею на колѣни и, почти захлебываясь отъ радостныхъ слезъ, сталъ осыпать поцѣлуями ея нѣжно-блудную, матовую и слегка-благоуханную руку.

— Ну, послушайте же, сядьте и успокойтесь, — заговорила она, когда поутихъ нѣсколько первый пылъ моего восторга. — Я знаю, все знаю, что нынче дѣлалось съ вами... потому и привела васъ сюда... Я вамъ хочу напомнить про него (она назвала фамилію галантнаго офицера) — помните, я какъ-то разъ вамъ говорила объ этомъ? Онъ былъ прежде милый, я его любила даже. Любила, пока онъ былъ простъ и безъ претензій. Ну, а вздумалъ влюбляться, ухаживать за мною — и опротивѣлъ, тотчасъ же сразу опротивѣлъ!.. Я съ вами буду говорить откровенно: мнѣ — и сама не знаю отчего — всегда становился антипатиченъ тотъ, кто подходилъ ко мнѣ съ этой стороны... Ну, неужели же, — добавила она такъ мягко, такъ хорошо, такъ искренно, какъ только и умѣютъ иногда говорить однѣ женщины, — неужели вы хотите стать съ нимъ на одну доску?

— Нѣтъ, нѣтъ! Бога ради, нѣтъ! — мучительно простоналъ я въ отвѣтъ на ея простыл, донимающія душу слова.

— Ну, такъ видите ли, а вы почти къ этому идете... Я васъ именно за то и люблю, что вы добрый и простой, — такъ не портите же этихъ хорошихъ отношеній! — заключила она, съ какой-то даже трогашей просьбой въ голосъ, поднимаясь съ мѣста и протягивая мнѣ руку, которую я почтительно поцѣловалъ, — и вслѣдъ затѣмъ вышла изъ комнаты такъ же тихо, какъ и вошла, и только шелестъ платья говорилъ о ея удаленіи...

Въ это время что-то тяжелое глухо рухнуло на полъ. Я вздрогнулъ и проснулся. Это мой толстый лексиконъ изъ-подъ руки свалился подъ столъ, и паденіемъ своимъ разбудилъ меня. Я протѣръ глаза и осмотрѣлся: первые отблески розовой зари заглядывали ужъ сквозь узорчатые кристаллы оконъ; свѣча уже давно догорѣла и медленно погасала, синеватымъ чахлымъ пламенемъ колеблясь на подвѣсничкѣ и заливая стеариномъ страницы моего Тацита. А въ ушахъ у меня какъ-будто слышался еще шорохъ платья, на губахъ еще было свѣжо ощущеніе недавняго поцѣлуя и, казалось, еще не исчезъ съ этихъ губъ легкій ароматъ ея матовой блѣлой руки.

— А вѣдь это правда! — подумалъ я, вспо-

мнивъ весь сонъ и все то, что она говорила мнѣ во снѣ и что отчасти было повтореніемъ сказаннаго ею когда-то мнѣ на яву, въ откровенную минуту.

— Да, правда! — подтвердилъ я, повидимому окончательно уже отрезвленный отъ наплывшаго вчера неожиданнаго чувства, и, постаравшись увѣрить себя, что сердце и духъ мой совершенно успокоены, легъ въ свою постель скоротать остатокъ ночи, до обычнаго часа пробужденія. Но сонъ былъ очень неровенъ.

Утромъ около часа, я заѣхалъ къ ней, чтобы какъ нибудь загладить свои вчерашнія нелѣпости. Признаться-сказать, сердце мое было не весьма-то спокойно: оно слегка эдакъ, смутно какъ-то ныло — нѣтъ-нѣтъ, да и заносетъ: что-то, молъ, будетъ, какъ я встрѣчусь съ ней!.. Однимъ словомъ, я чувствовалъ нѣкоторую неловкость, нерѣшительность, однако превозмогъ себя и вошелъ. Она приняла меня, по обыкновенію, въ своей уютной гостиной. Я сознавалъ, что вчерашняя любовь уже навсегда покинула мое сердце, уступивъ мѣсто обычному чувству строгаго уваженія и дружелюбной привязанности.

— Куда это вы вчера такъ неожиданно исчезли и что съ вами такое сдѣлалось? (Точно во вчерашнемъ снѣ! подумалось мнѣ при этихъ словахъ). Вы были такой странный, какимъ я васъ еще никогда не видала. Отчего это? — спросила она, подымая голову отъ какой-то женской работы, которою занималась въ то время.

— Отчего?.. А сказать вамъ, отчего? — переспросилъ я, испытывая глазами, можно ли сказать или нѣтъ?

— Скажите, — одобрила она и приготовилась выслушать.

— Только съ однимъ условіемъ: чтобы вы не разсердились, — предварилъ я.

— Можете говорить смѣло, не разсержусь.

— Ну, такъ слушайте: я былъ вчера влюбленъ въ васъ, въ теченіе цѣлыхъ двухъ часовъ, и въ эти два часа переиспыталъ всѣ фазы любви: увлеченіе, ревность, страданія, бѣшенство, блаженство и разочарованіе... Видите ли, сколько разнообразныхъ ощущеній!

— А сегодня? — спросила она, исподтишка подозрительно взглянувъ на меня.

— А сегодня я, слава Богу, здоровъ.

— И любовь прошла?

— Увы! навсегда прошла, словно бы ея и не бывало!.. — проговорилъ я, какъ бы шутя, съ театральнымъ оттѣнкомъ въ голосъ, а между тѣмъ въ душѣ сдѣлалось безотчетно жалко чего-то.

— Ну, и хорошо сдѣлала, что прошла! — порѣшила она, мелькомъ взглянувъ на валавшуюся на столѣ со вчерашняго вечера карточку галантнаго офицера.

Я поймалъ этотъ взглядъ, потомъ взглянулъ на нее, она на меня, вмѣстѣ улыбнулись и — очень хорошо поняли другъ друга.

Вотъ вамъ, сударыня, нѣсколько странный, но глубоко-правдивый психологическій эпизодъ изъ моего прошлаго. Съ тѣхъ поръ прошло уже нѣсколько лѣтъ, такъ что я успѣлъ даже и по-

забыть его, и Богъ-вѣсть, вспомнилъ ли бы и рассказалъ ли бы его вамъ теперь, еслибы не вновь услышанные мною звуки глупаго «куку-рику» и цыганской венгерки.

ТОРНЫЯ ДОРОГИ.

(ОЧЕРКЪ ДВУХЪ ЖИЗНЕЙ).

Проложила стеженьку
Черезъ яръ,
Черезъ горы, круты горы
На базаръ...

Т. Шевченко.

I.

Умилительно видѣть институтскихъ подруги!

А онѣ были самыя пламенныя, самыя задушевные подруги, такія подруги, какія и встрѣчаются только въ женскихъ институтахъ, но ужъ никоимъ образомъ не въ жизни.

Ихъ было двѣ: блондинка и брюнетка, — Eudoxie и Adèle: простота, добрая и беззатѣйная, и милое кокетство съ нѣкоторой дозой злости, чванства и капризовъ; но тѣмъ не менѣе, это были два крѣпко связанные между собою сердца, такъ-что еслибы всталъ покойный В. А. Жуковский, онъ непременно бы воскликнулъ, взглянувъ на нихъ:

„О, дружба! Это ты!“

Въ институтѣ былъ торжественный день выпуска.

Всѣ выпускныя, въ красивыхъ бѣлыхъ платьицахъ, изображая собой олицетворенныя кротости и невинности, шныряли по коридорамъ, заламъ и дѣтскимъ съ веселыми и въ то же время съ заплаканными глазками, прощаясь съ младшими подругами и родными стѣнами; гурьбой подходили къ добродѣтельной *tata* и, изливая передъ ней обильныя слезы любви, признательности и горестной разлуки, благоговѣнно цѣловали охранявшую ихъ столько лѣтъ сморщенную ручку.

Но что можетъ быть трогательнѣе той буколической картины, когда эти, столь долго братски жившія между собою, Кротости и Невинности, источая все тѣ же токи горестныхъ слезъ, стали прощаться между собою, обращаясь одна къ другой со словами: «Pour que Dieu te benisse, ma chère! Dieu te garde!» или съ чѣмъ нибудь въ родѣ этого, а ко всѣмъ вообще съ не-

измѣнной фразой: «Adieu, mesdames!.. Adieu... N'oubliez pas votre bonne amie et notre bonne tata!.. Adieu...» А *tata* стоитъ въ это время тутъ же, окруженная многочисленнымъ хоромъ дамъ и наставницъ, батюшекъ и матушекъ, тетюшекъ и дядюшекъ, дѣдушекъ и бабушекъ, и тоже источаетъ горестныя слезы разлуки со своими добрыми и признательными питомицами!.. Чье каменное сердце не умилился при этой трогательной картинѣ!.. Но вотъ всѣ эти Кротости и Невинности, которыя такъ возвышенно и бесконечно любятъ другъ друга, которыя такъ нѣжно прощались между собой, съ сияющими гордостью лицами сходятъ, окруженные своими родственниками, по большой парадной лѣстницѣ, къ великолѣпному подъѣзду, гдѣ ожидаютъ ихъ покойныя, красивыя и элегантныя кареты. Тутъ ужъ онѣ, одна передъ другой, невольно кичатся великолѣпными нарядами своихъ *tata* и блистающими регалиями рара, съ безпокойствомъ оглядываютъ, у кого лучше и шеголеватѣе экипажъ; а тѣ изъ нихъ бѣдненькія, которыя принуждены уѣзжать изъ подъ элегантнаго институтскаго крова въ скверныхъ, наемныхъ извозчичьихъ каретахъ, съ невольной завистью поглядываютъ на изящные экипажи своихъ богатыхъ и знатныхъ *подругъ*, краснѣя въ душѣ за свою гнусную бѣдность.

— Что это, неужели за мной не пріѣдетъ сегодня тетка?—съ замѣтной ажитацией проговорила черноглазая, вертлявая Адель, обращая это, повидимому, ни къ кому не относившееся замѣчаніе къ стоявшей подлѣ нея подругѣ—бѣлокурой Eudoxie. Вотъ это будетъ мило съ ея стороны!.. Ah, ma chère!—продолжала она, стараясь скрыть проступившій на ея щеки румянецъ,—я право страшусь за нее! что, какъ она пріѣдетъ въ скверной извозчичьей каретѣ!.. Вотъ разодолжить-то!.. Ужъ хоть бы догадалась нанять порядочную... Что, твоя мать еще не пріѣзжала?—круто обратилась она къ подругѣ.

— Нѣтъ еще, она хотѣла прійти попозже,—

кратко и просто отвѣчала та, съ нетерпѣніемъ поглядывая внизъ на парадную лѣстницу.

— Какъ, развѣ она не прійдетъ въ каретѣ?

— Н... нѣтъ... я думаю, что не прійдетъ... отвѣтила запинаясь блондинка, которую видимо кольнуло этотъ вопросъ.

— Ah, ma chère! такъ ты мнѣ позволишь довести тебя до дому въ моей каретѣ?—ласково подхватила брюнетка, стараясь загладить свой промахъ.

— Merci... Какъ хочешь... Я, пожалуй, съ удовольствіемъ,—отвѣтила равнодушно подруга.

На минуту онѣ замолкли, и каждая погружалась въ самое себя.

— Eudoxie!—нѣжно вдругъ обратилась брюнетка къ своей подругѣ,—будешь ли ты помнить и любить меня, такъ, какъ теперь любишь?

— Я-то?.. конечно, буду!.. Уже ты знаешь меня: я кого разъ полюблю, того разлюблю не скоро.

— Нескоро... а меня какъ ты разлюбишь? тоже нескоро? или совсѣмъ до конца жизни будешь любить?

— Ахъ душка! люби только ты меня, а я тебя никогда! Никогда не разлюблю я тебя!.. воскликнула Eudoxie, чистосердечно и горячо сжимая ея руку.

— То-то же! Помни, Eudoxie, наши клятвы! Мы не даромъ разрывали себѣ руки и кровью одна у другой въ альбомахъ записали наши имена! Знаешь ли что, душка, пойдемъ теперь въ дортуаръ: я тебѣ отрѣжу маленькую прядь своихъ волосъ, а ты мнѣ тоже подари одинъ твой локонъ—пусть это будетъ для насъ священнымъ талисманомъ! Знаешь, зачѣмъ это? Вѣдь вотъ ты бѣдная дѣвушка, я тоже не богата,—мало ли что можетъ случиться въ жизни!—жизнь—это, говорятъ, темное и бурное море и много пучинъ въ немъ! Одна изъ насъ можетъ быть въ несчастіи, въ нищетѣ, а другая богата,—тогда мы можемъ прийти другъ къ другу, показать свой талисманъ, и та, которая будетъ богата, выручить изъ бѣды, изъ несчастія свою бѣдную подругу!.. Согласна ли ты, Eudoxie?

Eudoxie, вмѣсто отвѣта, бросилась на шею къ своей доброй подругѣ и горячо ее поцѣловала.

Обрядъ обрѣзанія волосъ, при новыхъ торжественныхъ и священныхъ клятвахъ и увѣреніяхъ, былъ наконецъ исполненъ, и двѣ восторженные подруги возвратились на свое прежнее мѣсто.

Въ это время по парадной лѣстницѣ подымались двѣ дамы: одна—низенькая, сутуловатая старушка, съ грустнымъ, страдальческимъ, но безконечно добрымъ лицомъ, въ темно-коричневомъ камлотовомъ платьѣ, старомъ ношенномъ, но весьма опрятномъ, и въ черной, ког-

да-то дорогой, турецкой шали; другая дама была особа лѣтъ сорока пяти, высокая, дебелая, наруганная, въ шумящемъ, шелковомъ лиловомъ платьѣ и бархатной мантилѣ. На лицѣ ея изображалось то гордо-самодовольное чувство, которое ясно гласило: «я благородная дама,—я надворная совѣтница»!!!

— Mesdemoiselles Carianitsch et Oucrain-tzoff!—пропишаль чей-то женскій голосишко снизу.

Eudoxie и Адель бросились на встрѣчу къ пріѣхавшимъ дамамъ.

Старушка, увидавъ свою нарядную, блѣдую дочь, вся задрожала и, не сдерживая радостныхъ слезъ, бросилась въ ея объятія.

Адель почтительно подошла къ своей теткѣ и хотѣла было съ обворожительной улыбкой невинности броситься къ ней на шею, но та съ достоинствомъ подставила къ губамъ ея свою блиставшую въ парадныхъ кольцахъ и браслетахъ руку и процѣдила сквозь зубы:

— Поздравляю тебя, моя милая.

— Ah, ma tante! какъ я счастлива, что вижу васъ!.. Ахъ, какъ я вамъ безконечно благодарна,—затараторила Адель, подлачиваясь къ теткѣ,—такъ ужъ безконечно благодарна, что вы пріѣхали за мною!.. Вы въ каретѣ пріѣхали та tante?

— Разумѣется, въ каретѣ, моя милая.

— Вы въ извозничьей каретѣ пріѣхали, та tante.

— Какой глупый вопросъ, моя милая!—проговорила лиловая дама, нѣсколько вздернувъ свой оскорбившійся носъ.—Развѣ можно предлагать такіе нехѣные вопросы?

— Ah, pardon, ma chère tante! вѣдь мы здѣсь всѣ такіа глупенькія, такіа наивныя: мы не знаемъ и не понимаемъ здѣсь жизни еще, та tante!—спохватилась, заглядывая ей въ глаза, невинная Адель.

— То-то!.. не понимаете жизни... Это очень жаль.—Я думаю, теперь поздно учиться понимать ее,—холодно замѣтила тетка.

— Простите меня, ma chère tante, и не сердитесь на меня!

— Я не сержусь на тебя, моя милая... Однако, если ты уже готова, такъ пора: ѣдемъ!

— Я готова, ma tante; но у меня до васъ есть большая, большая просьба!..

— Что еще тамъ такое?

— Ah, ma tante! у меня есть здѣсь одна бѣдная подруга, у которой нѣтъ своего экипажа,—soyez si bonne, доведите ее въ нашей каретѣ!

— Это еще что за выдумки! въ нашей каретѣ... да развѣ у тебя, моя милая, есть своя карета?.. Ты бы должна, кажется, помнить, что ты сама бѣдная дѣвушка, а не покровительствовать какому-то бѣдному подругамъ.

— Ah, ma tante! я помню, что я бѣдная дѣвушка и что вы одинъ у меня благодѣтельница...

Я знаю вашу ангельскую доброту и снисходительность и потому попросила у васъ...

— Нечего говорить пустяки, моя милая! не подлаживайся ко мнѣ понапрасну... Вдемъ!— проговорила недоступная тетюшка.

Аделаида вся покраснѣла, и на глаза ея набѣжали слезы.

— Тетенька, голубушка, душка, добрая моя!.. хорошенькая моя тетя!.. Не погубите меня... Я вся сгорю отъ стыда!.. Я пригласила сама свою подругу. Признаюсь вамъ, я предложила ей довести ее до дому... мнѣ стыдно теперь передъ ней будетъ... Она подумаетъ, что у васъ нѣтъ своего экипажа, что я только такъ, похвастала ей!..

— Гмъ!.. вѣчно у тебя какія-нибудь глупости!.. Это мнѣ придется тѣсниться въ каретѣ,— проговорила она про себя, да потомъ вдругъ спохватилась:

— Какая тамъ еще у тебя подруга? Что она, одна, или кто-нибудь есть съ ней?

— Есть, моя теточка!.. Вонъ та бѣдная старушка, что входила съ вами: это ее мать... Онѣ, право, такія добрыя!.. Онѣ вамъ будутъ благодарны за это! Ah, ma tante! какая вы добрая, милая, какая хорошенькая!..

— Хорошо, хорошо! будетъ ужъ тараторить-то!—перебила ее лиловая дама, умиротворенная тѣмъ, что ее два раза называли хорошею.— Бѣги, скажи ей, чтобы скорѣй одѣвалась, что мнѣ некогда ждать тутъ всякихъ!

— Ah, merci, merci, ma très chère tante!—радостно вскрикнула повеселѣвшая Адель и въ подпрыжку побѣжала къ своей пріятельницѣ.

А у той происходила, между тѣмъ, совсѣмъ другая сцена со своею матерью.

— Ну, что, мое дитятко, что моя Дунюшка!—дрожащимъ голосомъ говорила старушка, съ восторгомъ глядя на свою ненаглядную дочь и отойдя скромно въ незамѣтный уголокъ, тогда какъ по щекамъ ея катились крупныя радостныя слезы, а она и не думала отирать ихъ... Ну что, счастлива ты, довольна ты, что теперь будешь постоянно со мной... съ матерью своей?.. Ты все жаловалась, что мы врозь—ну, вотъ теперь и вмѣстѣ... Ужъ я для тебя и уголокъ приготовила... Торопилась за тобой придти, да вотъ ноги что-то все ломятъ, ревматизмъ это, что ли!.. Совсѣмъ и ходить-то пѣшкомъ не могу, а все-таки, хоть и слякоть, а пѣшкомъ пришла: дай, думаю, сберегу я лучше двугривенный для нея, на извозчика!—ужъ тебя-то, моя ненаглядная, я пѣшкомъ не поведу, нѣтъ, ужъ не поведу тебя!

Дуняша съ безпредѣльной любовью смотрѣла въ добрые, страдальческіе глаза своей матери и не могла вымолвить ни слова.

Въ это время подбѣжала къ ней ее подруга.

— Eudoxie! одѣвайся же, душка! я тебя жду,—ласково заговорила она, присѣдая въ то же время и старушкѣ, и вслѣдъ затѣмъ, обращаясь уже непосредственно къ ней:

— Вы, madame Garianitsch, позвольте мнѣ предложить вамъ и вашей дочери мою карету: я доведу васъ до дому?

— Ахъ, очень вамъ благодарна!.. вы такъ безпокойтесь... такъ любите мою Дуню!—заговорила, отдавая легкій поклонъ старушка, и въ то же время думая про себя: «слава Богу! вотъ двугривенный-то и въ карманѣ; на хлѣбъ или на свѣчи пригодится!..»

Eudoxie ужъ была, между тѣмъ, готова, и онѣ всѣ втроемъ подошли къ задравшей важно носъ лиловоѣ дамѣ.

— Вотъ, ma tante, позвольте вамъ представить madame Garianitsch—мать моей подруги Eudoxie,—заговорила Аделаида, заискивающимъ и ласково-умилительнымъ взглядомъ смотря на свою тетку.

Та съ достоинствомъ кивнула головой и такъ пригласила ихъ въ свой экипажъ, словно бы оказала имъ этимъ величайшую милость.

Швейцаръ съ шумомъ растворилъ двери и крикнулъ: «Карета госпожи Барсуковой!»

И черезъ минуту всѣ четыре особы, стоявшія на лѣстницѣ у входныхъ дверей, сквозь ясныя, большія стекла этихъ дверей увидѣли, какъ показались сначала мотающіяся головы нѣкихъ животныхъ, потомъ тощее тѣло одровъ, близкихъ родственниковъ седми тощихъ коровъ Фараона, потомъ запланный возница въ какомъ-то чудовищномъ малахаѣ, а затѣмъ уже звеня, трепеща и грохоча, заявилъ себя и нѣкій древній сосудъ, одинъ изъ тѣхъ, какіе стоятъ на биржахъ у Измайловскаго и Калининскаго мостовъ, и въ какихъ возятъ престеленныхъ жрицъ Талии и Мельпомены, — сосудъ, торжественно именуемый почему-то каретой.

Личико Адели весьма некрасиво передернулось невольной нервной улыбкой, и она поскорѣй проскользнула мимо швейцара и запряталась въ самую глубь сосуда, чтобы кто-нибудь не увидалъ ее сверху и не подумалъ бы, что этотъ достопочтенный мастадонтъ принадлежитъ mademoiselle Украинцевой.

— Кажется, моя милая, мѣсто бы сначала надо дать старшимъ,—сухо замѣтила тетка.

Адель сконфузилась и ничего не отвѣчала. Наконецъ старушка съ дочерью тоже усѣлись, и мастадонтъ тронулся.

— Карету княгини Каркиной! — раздалось вслѣдъ за ними—и личико Адели снова передернулось, а сама она живо откинулась въ самую глубь своего угла, чтобы молодая и роскошная княжна Каркина не могла замѣтить бывшую подругу.

И каждый разъ, когда обгоняла ихъ какая-нибудь щеголеватая карета, Адель, трепеща и краснѣя, пряталась въ свой уголокъ, а Eudoxie напротивъ того, вся такая довольная и счастливая, весело выглядывала изъ окна кареты: ей еще былъ новъ и любъ этотъ свѣтъ Божій.

— Куда васъ прикажете везти?—спросила госпожа Барсукова старушку Горяничъ.

— На Пески, сударыня, на Пески, въ Девятую улицу: это почти по дорогѣ,—отвѣтила та съ кроткой улыбкой.

— На Пески! въ Девятую улицу!—съ достоинствомъ крикнула лиловая дама, высовываясь изъ окошка.

— Ладно, молъ, знаемъ!—отвѣтствовалъ на это невозмутимо-флегматическій возница.

— Надѣюсь, сударыня, что вы будете пускать вашу къ нашей,—ласково замѣтила старушка, указывая глазами на Украинцеву и свою дочку.

— Н...да,—процѣдила сквозь зубы лиловая дама,—только это будетъ нечасто, потому что къ молодой дѣвушкѣ нуженъ лакей въ провожатые, а у меня лакеи не всегда свободны... Притомъ же,—добавила она,—я думаю, что Адель и не засидится у меня долго: я постараюсь найти для нея хорошее мѣсто, гдѣ-нибудь гувернанткой или компаньонкой въ порядочномъ домѣ; я сдѣлаю все, что могу, а она ужъ теперь и сама въ такихъ лѣтахъ, что можетъ понимать то, что она *бѣдная* дѣвушка, которая должна зарабатывать хлѣбъ своими трудами, чтобъ не быть никому въ тягость.

Бѣдная Адель была уничтожена: ея подруга узнала настоящее ея положеніе...

Но при словахъ: «мѣсто, гувернантка», словно ножомъ урѣзало по сердцу старушку: она вспомнила, что скоро и ей придется разстаться съ своей дочерью и отпустить ее зарабатывать тяжелый трудовой кусокъ хлѣба...

Наконецъ достопочтенный мастадонтъ остановился въ Девятой улицѣ у полуразвалившагося сѣраго домишка, и здѣсь-то Адель и Дуниша въ послѣдній разъ бросились въ объятія другъ другу, причеиъ первая не могла удержатъ накупѣвшихъ въ ней слезъ.

— Еудохіе, помни же свои клятвы!—закричала она сквозь слезы въ-догонку выльзавшей изъ сосуда подругѣ.

— Какія вы все глупыя! Вѣчно у васъ однѣ только дурачества да сантиментальности на умѣ!—замѣтила ей на это дородная тетушка, когда мастадонтъ дѣлалъ неуклюжій оборотъ, чтобы повернуться въ обратную сторону.

— Теточка! милая! вы меня будете отпускать къ нимъ?—спросила Адель, спѣшно отирая свои слезы.

— Это ты съ чего еще выдумала?

— Вѣдь она мнѣ подруга, ma tante!

— Такихъ подругъ много на каждой паперти, моя милая. У тебя и безъ гостей достаточно будетъ дѣла у себя дома: я бѣлоручекъ не люблю, и не терплю, когда у меня сидятъ сложа руки. Я, сударыня, и лакеи заставляю въ свободное время чулокъ вязать да обметывать кухонныя полотенца! А ты должна помнить, что ты *бѣдная* дѣвица!

Ничего не отвѣтила на это институтка и только глубоко затаила въ душѣ свое молодое горе: она начинала прозрѣвать предстоящую ей у тетки жизнь...

II.

Отношенія госпожи Барсуковой къ своей племянницѣ выяснились для этой послѣдней съ самаго же перваго столкновенія съ ней въ день выпуска.

Пріѣхавъ домой, лиловая дама провела Адель въ кабинетъ своего мужа и со словами: «это твой дядюшка, моя милая», представила ее отвисло-пузатому, красноносому и сопящему господину — существу подобію сыча, который шамкая промышаль только себѣ сквозь зубы: «а, привезли», и сунулъ ей подъ носъ свою немытую руку для родственнаго поцѣлуя.

Адели было это очень прискорбно и отвратительно, однако она поняла, что надобно пересилить себя, и облобызала эту милую ручку.

Вскорѣ въ гостиной госпожи Барсуковой появился приизанный, молодой и смазливенькій господинъ съ пенсне на носу и тщательно-расчесаннымъ проборомъ на затылкѣ. Господинъ живописно картавилъ на букву *р*. Госпожа Барсукова обратилась къ нему съ очень нѣжнымъ и фамильярнымъ привѣтствіемъ:

— А, это ты... это вы, Жакъ!—и тотчасъ же спохватясь, взглянула на свою племянницу, желая узнать, замѣтила ли та это невинное *ты*.

Адель была достаточно хитра и потому сдѣлала видъ, будто не замѣчаетъ.

Тетушка осталась довольна.

Но зато ужо вовсе не осталась она довольна тогда, когда племянница стала очень мило и граціозно разговаривать съ *м-г* Жакомъ, а *м-г* Жакъ—оказывать уже черезчуръ большое вниманіе племянницѣ... Она тотчасъ же ограничила институтку:

— Что это, моя милая, вы все здѣсь торчите въ своемъ кисейномъ платьицѣ! Надо бы, кажется, помнить, что вы еще *очень* молодая и *бѣдная* дѣвушка, и что это у васъ вѣдь единственное порядочное платьишко!.. Подите, скиньте его и займитесь лучше тамъ, у себя въ комнатѣ, какимъ-нибудь дѣломъ!

Адель вся вспыхнула и гордо вздернула свой хорошенькій носикъ; самолюбіе ея было сильно оскорблено, она быстро встала со своего мѣста и вышла изъ комнаты.

А за дверьми до нея донеслось энергическое восклицаніе:

— Жакъ! что это такое?!.. Ты вѣрно хочешь моей смерти!.. Я умру, Жакъ.

— Помилуйте, я ничего-съ...

— Прошу покорно, чтобъ этого больше не было!

Молодая дѣвушка съ любопытствомъ прислушалась къ этимъ тремъ наскоро перекинутымъ фразамъ—и ей какъ-то инстинктивно стало скверно на душѣ. Она убѣжала въ свою тусклую канурку и, бросившись на кровать, залилась слезами. Эта жизнь, послѣ нѣсколькихъ только часовъ, начинала уже казаться ей каторгой.

Грустно провела она день выпуска—первый день своей *воли*.

Она жаждала, какъ бы поскорѣй вырваться отсюда, какъ бы поскорѣе уйти хоть на какое-нибудь мѣсто. Званіе гувернантки, котораго она такъ страшилась въ институтѣ среди знатныхъ и богатыхъ подругъ, начинало теперь уже казаться ей раемъ, какимъ-то обѣтованнымъ блаженствомъ, къ которому она пламенно стремилась.

Мѣсто, дѣйствительно, скоро представилось. Однажды вечеромъ тетка позвала ее къ себѣ и приказала ей внимательно слушать ея рѣчи:

— Ты, моя милая,—начала она, принимая на своемъ креслѣ важную и покровительственную позу благодѣтельницы,—знаешь, что ты ничтожная и бѣдная дѣвушка; это я тебѣ ужъ неоднократно говорила и повторяю. Я для тебя дѣлала все, что могла. Но даромъ нельзя ѣсть ничего хлѣба, потому что онъ всѣмъ достается трудами. Это ты тоже должна была знать. Ты получила образованіе и, слѣдственно, должна стараться не быть никому въ тягость, а сама, своими трудами, искать себѣ средствъ въ жизни. Тебѣ, моя милая, представляется хорошее мѣсто гувернантки въ порядочномъ домѣ—у генеральши Жабакритской. Тебя уже тамъ рекомендовали... Собери же теперь свое бѣлье и вещи, а завтра я сама отвезу тебя туда и посмотрю, какъ ты тамъ устроишься. Теперь ты можешь идти, моя милая.

Адель, не помня себя отъ радости, бросилась было къ двери, но тетка остановила ее:

— Кажется, моя милая, каждая порядочно воспитанная и добрая дѣвушка должна бы чувствовать сдѣланныя для нея благодѣнія и поблагодарить за нихъ кого слѣдуетъ,—отнеслась она сухимъ и строгимъ голосомъ къ Адели.

Эта подошла къ ней и въ первый разъ безъ отвращенія поцѣловала у нея руку.

На другой день она поселилась уже у генеральши Жабакритской. И тетюшка, прощаясь съ этой генеральшей, со слезами на глазахъ, просила беречь и любить ея милую и добрую племянницу.

III.

Между тѣмъ, на Пескахъ, въ безвѣстной Девятой улицѣ, жизнь бѣдной подружки Адели-

ной, Дуняши Гаряничъ, шла другой, мирной, спокойной и счастливой колеей. У ней было то, чего не знала сирота Адель,—у нея была мать, а въ сердцѣ этой матери много пламенной и безкорыстной любви.

Маленькая, сырая комнатка, занимаемая старушкой отъ хозяевъ, несмотря на свою непокрытую бѣдность, казалась Дуняшѣ лучше, отраднѣе и теплѣе большихъ институтскихъ палатъ, въ которыхъ жила она доселѣ. Все въ этой бѣдной комнаткѣ было опрятно и просто; а старушка употребляла все что могла, только бы сдѣлать ее попривлекательнѣе для своей дочки. Въ пристанище нищеты и нужды заглянуло тихое счастье.

Дуняша была неприхотлива, понимала свое положеніе и считала грѣхомъ желаніе чего бы то ни было излишняго или прихотливаго въ той бѣдной жизни, какая ее окружала. Ее не удивила и не опечалила эта жалкая обстановка, потому что еще въ институтѣ она свыклась съ мыслію о ней: каждый разъ, когда мать приходила къ ней туда, она видѣла ея бѣдное темно-коричневое платьѣ изъ камлота, видѣла ея изможденное страданіями лицо, слышала рѣчи ея о своемъ положеніи,—и въ молодой душѣ ея еще болѣе росла любовь къ своей несчастной матери послѣ cadaго такого свиданія съ нею. И чѣмъ болѣе смѣялись богатые подруги надъ этимъ камлотовымъ платьемъ, тѣмъ болѣе любила и уважала она эту святую бѣдность и тѣмъ болѣе училась презирать своихъ богатыхъ и знатныхъ подругъ. Быть можетъ, оскорбленное чувство дочери и отчужденіе только и сохранили ее отъ той институтской порчи, какая привилась въ такихъ размѣрахъ къ ея подругѣ Адели.

Она родилась въ Полнѣ. Тамъ и прошло ея первое дѣтство. Мать ея, впрочемъ, была русская. Съ Петербургомъ познакомилась она только передъ вступленіемъ своимъ въ институтъ, и то по совершенно случайному и непредвидѣнному обстоятельству, безъ котораго ей, можетъ быть, и не привелось бы породниться съ этимъ городомъ. Отецъ ея былъ сосланъ въ Омскъ—семейство осталось безъ куска хлѣба. Мать собрала кое-какія крохи, да кромѣ того помогъ ей еще старинный другъ ея мужа, и отправилась съ этимъ въ Петербургъ.—Но ужъ отсюда не было ни силъ, ни средствъ ей обратиться,—такъ она и осталась. Дуня смутно помнила своего отца. Съ особенной и поразительной ясностію запечатлѣлась въ ея памяти одна только страшная, тревожная ночь, въ которую весь блѣдный, дрожащій отецъ крѣпко прижалъ ее къ своей груди и поцѣловалъ долгимъ поцѣлуемъ: онъ, помнилось, какъ-будто торопился куда-то, и послѣ этой ночи она уже не видала его... Старый другъ его воспитывалъ ее на свой счетъ и ежегодно пересылалъ въ Петербургъ для этого извѣстную сумму, вмѣ-

стѣ съ помощью ея матери; бѣдная женщина только этимъ и жила. Но поличительная и остроумно-человѣколюбивая судьба устроила дѣло такъ, что человѣкъ этотъ умеръ скоропостижно въ самый годъ Дунина выпуска и не успѣлъ сдѣлать никакихъ распоряженій, а старуха опять, на старости лѣтъ, осталась безъ куска хлѣба.

Дуня знала всѣ эти обстоятельства—и страшное раздумье брало порой ея молодую голову, и страшно сжималось тоскою ея молодое сердце... Она видѣла, что мать старается какъ-нибудь, по возможности, скрыть отъ нея настоящее ужасное положеніе, старается показаться равнодушной и веселой,—и отъ этого еще сильнѣе занывала ея душа, а сама она все крѣпче и крѣпче, все глубже и глубже привязывалась къ этой несчастной старухѣ. Ее поддерживала и укрѣпляла одна только мысль, что скоро, дастъ Богъ, она сама будетъ поддерживать мать своими трудами.

Вскорѣ и ей, какъ и ея подругѣ, отыскалось мѣсто гувернантки съ очень скромнымъ жалованьемъ, но не таково было разставаніе ея съ матерью... Старушка цѣлые два дня передъ разлукой только и дѣлала, что глядѣла на свою дочку, какъ-будто наглядѣться хотѣла, да плакала себѣ втихомолку, украдкой. Она ужъ давно становилась слаба и недужна, и ей трудно уже теперь было оставаться одной, безъ присмотра, безъ добраго ласковаго слова. Но въ тотъ день, когда Дуня уходила на мѣсто, старуха хоть и чувствовала себя слабѣе обыкновеннаго, однако бодрилась и сама проводила дочь на новую квартиру; а на пути зашла съ нею въ церковь, на послѣдніе гроши поставила скорбную свѣчку и крѣпко-крѣпко помолилась за свою дочку.

IV.

Домъ генеральши Жабакритской, куда попала Адель, отличался своей quasi-аристократичностью: это было самое нелѣпое и безобразное смѣшеніе спѣсиваго, но наноснаго со стороны барства съ самымъ пошлѣйшимъ, но врожденнымъ мѣщанствомъ. Генеральша Жабакритская тянулась въ аристократію, но, словица говорится: «далеко купцу до зайца», такъ и генеральшѣ Жабакритской далеко было до общества какой-нибудь m-me la princesse N. N. или баронессы Z. Z. Все, что удалось ей въ этомъ отношеніи, такъ это опредѣлить своего милаго сына въ гусары, гдѣ онъ считался даже очень умнымъ человѣкомъ, потому-что

... не умствуя глубоко,

Читалъ Дюма, но больше Поль-де-Кока.

О чемъ-нибудь большемъ генеральша Жабакритская ужъ не отваживалась мыслить, потому что претерпѣла неоднократное фиаско. Она

завела себѣ свою *аристократію* и была твердо убѣждена, что это-то и есть самая настоящая, неконтрафактированная аристократія. Но сынокъ ея, дѣйствительно, втерся въ аристократическій кругъ военной молодежи, потому что, пожалуй, былъ и не глупъ, умѣлъ хорошо покутить и съ особеннымъ, элегантно-аристократическимъ искусствомъ спускать батюшкины денежки, сколоченныя имъ долгимъ процессомъ сколачиванія на пути откупныхъ и подрядскихъ мистерій, на пути, пролежавшемъ сквозь всѣ двадцать мытарствъ, и огнь, и мѣдныя трубы.

Въ этотъ-то домъ попала Адель, «для наблюденія за теченіемъ русскаго языка», какъ условливалась госпожа Жабакритская. Эта роль «наблюденія за теченіемъ» была въ сущности очень жалкая роль, прикрывавшаяся только званіемъ гувернантки: она не занималась съ дѣтьми такъ, какъ бы ей хотѣлось, она была *младшей* гувернанткой. Выше ея, въ трехъ возвышавшихся степеняхъ, стояли три другія особы: № 1-й—кривоглазая англичанка, № 2-й—кривонокая французенка и № 3-й—подслѣповатая нѣмка въ зеленыхъ очкахъ. Англичанка, конечно, была высшимъ исходнымъ пунктомъ того образованія, которое должны были получить двѣ маленькія генеральши-дочери Жабакритскія. Каждая изъ этихъ трехъ особъ имѣла свое отдѣльное помѣщеніе, каждая смотрѣла враждебно на двухъ остальныхъ своихъ соперницъ, и всѣ три вмѣстѣ презрительно-враждебно смотрѣли на молодую, хорошенькую и притомъ еще русскую Адель, которая не имѣла своего отдѣльнаго помѣщенія, а помѣщаясь въ дѣтской, должна была присутствовать при утрненіи и вечерненіи туалетѣ двухъ маленькихъ, но скверныхъ дѣвченокъ, неотступно торчать при нихъ цѣлый день, сопровождать ихъ на неофіціальныя прогулки (на офіціальныя присутствовали англичанка съ французенкой), и получать ежедневно замѣчанія да выговоры за ихъ ссоры, шалости и разныя обстоятельства въ костюмѣ. Все это въ общей сложности стоило милой жизни у тетушки Барсуковой и могло бы съ ней потягаться.

Разнообразило нѣсколько эту незавидную жизнь одно только постороннее обстоятельство: элегантный сынокъ генеральши Жабакритской сильно ухаживалъ за Аделью. Нельзя сказать, чтобы и его блестящая венгерка не нравилась невинной и кроткой дѣвушкѣ. Она съ нимъ познакомилась покороче: онъ подходилъ къ тѣмъ блестящимъ идеаламъ кузеновъ и братцевъ, которые по пріемнымъ днямъ появлялись въ институтѣ у ея богатыхъ и знатныхъ подругъ.

Однажды, послѣ какого-то жесткаго и несправедливо сдѣланнаго выговора, Адель си-

дѣла, надувъ свои губки, въ классной комнатѣ и выпивала какой-то воротничекъ.

Къ ней вошелъ сюда молодой Жабакритскій и, небрежно-фамиллярно развалился подлѣ нея на кресло, вставилъ стеклышко и пристально уставился на нее глазами.

— Что? пріятная, сладкая жизнь? — спросилъ онъ нѣсколько насмѣшливымъ тономъ, послѣ минуты молчанія.

— Да, невеселая! — отвѣтила не смутясь дѣвушка, дерзко, вызывающимъ взглядомъ взглянувъ ему прямо въ глаза.

— Я это и вижу, — замѣтилъ онъ, все съ той же проницательской улыбкой. — А что, хотѣлось бы другой?

— То-есть, какъ это другой? — изъ огня да въ полымя, изъ одной каторги да въ другую?

— Нѣтъ, не каторги, а лучшей?

— Разумѣется!.. Странный вопросъ... кто жъ ее не хочетъ! — проговорила дѣвушка, раздраженная его нахальнымъ взглядомъ и насмѣшливымъ тономъ вопросовъ.

— Конечно, всякая хочетъ... и вы тоже хотите?

— Благодарю васъ за вниманіе... за участіе, на которое, впрочемъ, я вамъ не давала никакихъ правъ, — замѣтила она, гордо вскинувъ раздраженную головку и еще усерднѣе принимаясь за свое шитье.

— Вотъ видите, вы ужъ и сердитесь — это показываетъ нехорошій характеръ... А я было пришелъ къ вамъ именно съ самымъ дружескимъ участіемъ.

— Еще разъ благодарю васъ...

— Нѣтъ, полноте, въ самомъ дѣлѣ!.. Это все пустяки, а я пришелъ къ вамъ за дѣломъ... хотите ли вы выслушать меня?

— Извольте, я слушаю, — проговорила она, заинтересовавшись его предложеніемъ.

— Дѣло вотъ въ чемъ, — началъ гусарь, закуривъ сигару, какъ человѣкъ, которому предстоитъ трудное и спокойное обсужденіе важнаго вопроса. — Я вижу, каково вамъ весело вести эту жизнь. Съ моими батюшкой и матушкой — чортъ бы ихъ взялъ — далеко не уйдешь, слѣдовательно, и жить вамъ съ ними нечего. Послушайте же меня... вы мнѣ нравитесь... вы сами, быть можетъ, замѣтили, что я *даже* влюбленъ въ васъ: со мной это весьма рѣдкое обстоятельство... А я замѣтилъ, что и я, кажется, вамъ не противенъ... Но это постороннее, а дѣло-то вотъ въ чемъ: хотите вы быть совершенно свободной, независимой и совершенно обезпеченной женщиной?

— То-есть, какъ это? — спросила поблѣднѣвшая Адель, у которой сильно забилося сердце.

— Очень просто: хотите ли вы въ вашемъ портмоне имѣть ежемѣсячно по двѣсти рублей на мелочные расходы — на булавки и прочее; кромѣ того: наряды, великолѣпную квартиру, столъ, прислугу, ложу въ какомъ угодно теат-

рѣ, и наконецъ — экипажъ: карету, коляску, сани съ прекрасной медвѣжьей полостью и пару великолѣпныхъ сѣрыхъ рысаковъ?

Адель смотрѣла на него во всѣ глаза. Съ нею дѣлалось что-то странное.

— Я васъ не совсѣмъ понимаю... отвѣчала она дрогнувшимъ голосомъ.

— Боже, какая вы еще наивная! Все это очень просто; повторяю вамъ: я уже говорилъ вамъ, что вы мнѣ нравитесь, что я *даже* влюбленъ въ васъ... Но, какъ порядочный человѣкъ, я долженъ откровенно сообщить вамъ, что жениться на васъ — я не женюсь, потому что это глупо. — Хотите ли вы жить со мной?

Дѣвушка вскочила съ видомъ оскорбленнаго достоинства.

Жабакритскій хладнокровно остановилъ ее:

— Полноте, — проговорилъ онъ беря ее за руку, — не вскакивайте, садитесь... Это въ васъ еще остатки институтства: эти скачки никого не пугаютъ и никого не обманываютъ... Я вамъ говорю дѣло; я вамъ предлагаю независимость, содержаніе, блескъ и такое положеніе, на которое у насъ со скрытой завистью смотрятъ наши блестящіе, свѣтскіе куклы, — я вамъ говорю это какъ старый отшельникъ камелій! Вы будете счастливѣй этихъ куколъ... Чего вамъ еще надо? Вы женщина неглупая, образованная, вы, пожалуй, даже можете и объ этихъ... современныхъ... ну, какъ ихъ? — о вопросахъ какихъ-то тамъ разныхъ толковать... Да знаете ли, что со всѣми этими данными у васъ будетъ множество поклонниковъ! Вы будете свѣтиломъ *нашего* міра, будете блистать!.. Подумайте: вы дѣвушка бѣдная, за душой у васъ нѣтъ ни души, ни гроша, — что вамъ предстоитъ? Какая ваша будущность? Вѣчно вотъ эдакое положеніе, въ какомъ вы теперь находитесь у моей дуры — матушки? — Это не весело и не красиво... Да! еще предупреждаю васъ: я человѣкъ *вѣтр*енный. Пройдетъ годъ, два — я могу разлюбить и бросить васъ, но вы отъ этого не будете въ накладѣ: я васъ пушу въ ходъ, вы уже будете тогда совершенно обезпечены, даже съ большимъ избыткомъ, тьмою своихъ поклонниковъ. Къ тому же надо вамъ знать, что я не ревнивъ, и потому на ваши постороннія, но милыя и *скромныя* шалости, смотрѣть буду сквозь пальцы: мнѣ подруга нужна не для одной только любви, а больше для моего самолюбія. Мнѣ надо, чтобы вы были лучше ихъ всѣхъ, чтобы объ васъ говорили. — Вы женщина умная, слѣдовательно, сумѣете это сдѣлать. Итакъ, подумайте же, сообразите ваше теперешнее положеніе и то, которое я вамъ предлагаю. Когда надумаетесь, тогда скажите, а теперь пока прощайте — я ѣду жрать устрицы.

Адель, какъ сидѣла, такъ и осталась неподвижной на своемъ мѣстѣ... Въ ней боролось множество чувствъ и множество вопросовъ: ей казалось, что она любитъ его, она узнала, что

и онъ *даже* влюбленъ въ нее, — «значить я лучше тѣхъ, которыхъ онъ видитъ, значить, я лучше ихъ», думалось ей въ эту минуту; но въ то же время ее страшно оскорбилъ и циническій тонъ его цинической рѣчи: онъ третируетъ ее, какъ продажную вещь, онъ говорилъ съ ней, какъ высшій съ низшей, какъ червонецъ съ копейкой. «Кто ему далъ это право?—онъ фатъ! онъ мерзавецъ! Отчего онъ говорилъ такъ со мной? Оттого что ты нищая? А! значить, нищета всему причиной!.. Твое честное, доброе имя не остановило его—оттого, что ты ничтожна, какая-нибудь безродная гувернантка, оттого опять-таки, что ты *бѣдна*!.. Охъ, эта проклятая бѣдность!.. И это вся жизнь, вся жизнь пройдетъ такимъ образомъ!.. Страшно подумать!.. И что же защититъ тебя въ свѣтѣ отъ этихъ оскорбленій? Уйти отъ нихъ?—да развѣ въ другомъ, въ третьемъ домѣ не встрѣтишь того же самаго? Они—рубли, имперіалы — стало-быть имѣютъ право оскорблять гроши да полушки! Они не знаютъ твоего доброго имени, а презираютъ тебя, потому что ты гувернантка—вещь, которую они могутъ сегодня бросить, прогнать тебя, а завтра на твое мѣсто явятся десятки, сотни такихъ же жалкихъ, какъ ты!.. О, это ужасно!.. Богатство... независимость... блескъ... ложа, рысаки—это, говоритъ онъ, избавитъ меня... мнѣ станутъ завидовать... Да, я хочу, чтобы мнѣ завидовали!.. Я сумѣю, я заставлю этого мерзавца привязаться къ себѣ такъ, что не броситъ!.. Что тутъ думать много! Это случай, какого въ другой разъ, пожалуй, и не представится... «Куй желѣзо пока горячо!»—Стоитъ сказать одно слово, одно только «да!»—и все, все будетъ!.. Свобода, независимость!.. А эти куклы, которые теперь презираютъ меня, станутъ завидовать мнѣ!.. Кончено! рѣшаюсь!..»

«А честь, а доброе имя?» мелькнуло у ней въ головѣ.—«Доброе имя? да развѣ мое доброе имя спасетъ меня отъ зависимости, отъ нищеты, отъ презрѣнія этихъ важныхъ дуръ и мерзавцевъ?—Мое доброе имя у насъ ни отъ чего не защититъ меня!.. Честь, добродѣтель—это для бѣдной дѣвушки одни только пустые и даже вредные звуки!.. Мнѣ надоѣло все это, я видѣла въ дѣтствѣ богатство, и тогда уже, въ то время пугалась бѣдности... Что тутъ долго думать! Я рѣшилась!.. Кабы только поскорѣй пріѣзжалъ этотъ фатинка!» думала она, принимаясь ходить по комнатамъ — и въ головѣ ея уже закружились тысячи блестящихъ, радужныхъ фантазій о новой жизни, богатствѣ, блескѣ, любви и тысячѣ страстныхъ поклонниковъ, среди которыхъ она будетъ блистательной королевой...

— Ну, что, какъ вы рѣшили?—спросилъ у нея Жабакритскій, подойдя къ ней послѣ обѣда.

— Я согласна! — рѣшительно выговорила она, прямо взглянувъ ему въ глаза.

— Ну, хорошо. Я почти былъ увѣренъ въ этомъ, потому что *ты* умная дѣвушка,—небрежно произнесъ онъ, играя своимъ стеклышкомъ.

При этихъ словахъ, и особенно при этомъ неожиданномъ *ты*, Аделаида почувствовала, какъ ее кольнуло что-то подъ сердце... Рѣшительный шагъ былъ сдѣланъ, возвращаться назадъ было бы поздно.

— Слушай же, — продолжалъ между тѣмъ гусарь, — отпросись сейчасъ же со двора, скажи, что тебѣ къ теткѣ нужно, а я на углу буду ждать тебя въ моей каретѣ... Что же касается до того, о чемъ я тебѣ говорилъ, мнѣе чѣмъ черезъ недѣлю у тебя будетъ все!.. Ступай же, душа моя; я тебя жду...

Аделаида покорно вышла изъ комнаты проситься къ *м-ше* Барсуковой...

V.

Семейство, куда попала Дуняша, было совсемъ другого рода и другой жизни. На ея долю досталось двое дѣтей: мальчикъ и дѣвочка. Но жизнь ея въ этомъ домѣ была чуть ли еще не хуже Адели, если взять въ сложности жизнь той у госпожи Барсуковой и у генеральши Жабакритской. Отецъ этого семейства извѣстенъ былъ подъ именемъ Сержа Коврова. Сержъ Ковровъ былъ мужчина высокаго роста, носилъ золотые очки и большую, прекрасную бѣлокурую бороду; было ему уже лѣтъ тридцать пять, и вся наружность его заключала въ себѣ нѣчто галантно-представительное. Одѣвался всегда онъ по модѣ и въ гостяхъ перчатокъ снимать не любилъ, развѣ когда только садился играть въ карты. Черномазая супруга его, дама лѣтъ сорока пяти, была мало замѣчательная особа, отличалась только своимъ безвкусиемъ, румянами грубо-кирпичнаго цвѣта, отминой злостью и отминой ревностью. Болѣе сказать о ней нечего.

Дуняша, хотя и совсемъ почти не знала общества, однако ее все поражало въ этомъ домѣ, все казалось удивительно страннымъ, не такъ, какъ бы должно быть у людей: обстановка этого дома, эта сбродная мебель, будто взятая на прокатъ; это обиліе зеленыхъ ломберныхъ столовъ; смѣсь грязи и недостатка съ широкими замашками, въ родѣ «баловъ», вечеровъ, обѣдовъ и ужиновъ, на которыхъ внѣшнимъ, напрокатъ взятымъ комфортомъ, только прикрывалась внутренняя грязь. Иногда въ домѣ только три рубля денегъ, а между тѣмъ дается вечеръ: появляется таперъ, который бренчитъ на фортепіано, появляются разнообразныя личности, которые осматриваются такъ, какъ-будто они только въ первый разъ въ домѣ, какъ-будто имъ кажется

дикимъ этотъ вечеръ, эти незнакомыя лица остальныхъ гостей, это нѣчто *за ное*, парадное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, старыя-престарыя, грязныя-прегрязныя, полинялыя, желтыя гардины въ залѣ и черезчуръ ужъ большое обиліе зеленыхъ карточныхъ столиковъ въ другихъ комнатахъ... Дѣйствительно, почти каждый *званный* вечеръ однѣ личности гостей смѣнялись новыми, а прежнія ужъ вперед и не показывались по большей части. Какъ все это дѣлалось, Гаряничъ не понимала, а знала только то, что иногда на другой день послѣ такого вечера тощій бумажникъ Сержа Коврова являлся вдругъ туго набитымъ. Удивляло ее немало и то, что иногда передъ такимъ вечеромъ въ домѣ не было никакихъ денегъ, а въ серединѣ его, когда Ковровъ садился играть и проигрывалъ, жена его выносила изъ спальни по пятидесяти-рублевымъ и сторублевымъ ассигнаціямъ. Вскорѣ замѣтила она, что тутъ есть три сорта гостей: одни, которые служатъ ширмами, обстановкой этого дома, чтобы показать кому слѣдуетъ, что тутъ собирается все порядочное общество; другіе, за которыми хозяинъ чрезвычайно ухаживалъ, какъ-будто имѣя на нихъ какіе-нибудь виды, и, наконецъ, третій сортъ составляли однѣ все тѣ же неизмѣнныя личности, связанныя особенными узами любви и дружбы съ Сержемъ Ковровымъ,—личности, появлявшіяся у него и за просто; и тутъ ужъ, между этими, были какіе-то паны и магнаты, армяне и эллины, нѣмцы и французы, англичане и венгерцы, и какая-то хищнообразная госпожа Пудра, — но эти гости уже не танцовали у него на званныхъ вечерахъ, а неизмѣнно царствовали въ области зеленыхъ ломберныхъ столиковъ.

Чѣмъ жилъ Сержъ Ковровъ—для молодой Гаряничъ было тоже неизвѣстно; служить—онъ нигдѣ не служилъ, а выдавалъ себя за какого-то помѣщика и весьма богатаго господина, которому подлець староста не высылалъ только изъ деревни за послѣднее время оброка. Онъ былъ, впрочемъ, пріѣзжій въ Петербургъ. Но это все ничего бы еще не значило для Дуни, которая исполняла только свои обязанности; а главное дѣло было въ томъ, что галантный Сержъ Ковровъ имѣлъ слабость считать себя великимъ Донъ-Хуаномъ, противъ котораго ни одна порядочная женщина, по его словамъ, устоять не можетъ. Это же самое обстоятельство, вѣроятно, подавало ему поводъ марать имя каждой честной женщины, которая имѣла неудовольствіе знать сего господина или, чтѣ еще хуже, бывать у него въ домѣ, конечно въ числѣ обстановки и ширмъ этого милаго общества. Нечего и говорить, что сей Донъ-Хуанъ не оставилъ безъ вниманія идеально хорошенькую головку молодой Гаряничъ и преслѣдовалъ ее своими исканіями самымъ наглѣйшимъ образомъ. Compliments са-

мые пошлые, предложенія самыя гнусныя, исканія самыя низкія—все было пущено этимъ женолюбивымъ господиномъ. Онъ уходилъ въ ея комнату и старался какъ можно дольше проводить съ ней время; навязывался на разныя услуги самымъ назойливымъ образомъ; и все это дѣлалось на глазахъ у старой, злой и ревнивой жены, передъ которой благородный Сержъ даже и не подумалъ скрывать своихъ исканій, и которая, съ своей стороны, въ отместку за мужа, грызла и преслѣдовала, насколько могла, насколько силъ хватало, молодую дѣвушку. Тысячи самыхъ мелкихъ, но самыхъ горькихъ оскорбленій падали на ея голову, а она все терпѣла, безропотно, не уроня ни одной слезы, не промолвивъ ни одного слова: она знала, что терпитъ и страдаетъ для своей старой, больной матери, и потому смирилась передъ своимъ грустнымъ положеніемъ. Всѣ деньги, которыми зарабатывались ею трудомъ, она отдавала матери, и только этимъ и поддерживала ее; сама же она была сыта, одѣта, а болѣе ей ничего не было нужно.

Все это терпѣла она до тѣхъ поръ, пока доброе, честное имя ея не было оклеветано самымъ неблаговиднымъ образомъ.

Однажды сидѣла она въ гостиной, за рабочимъ столикомъ, а въ смежной комнатѣ шелъ разговоръ между Ковровымъ и однимъ изъ его пріятелей. Ковровъ не зналъ, что она въ гостиной, и дверь поэтому не была затворена. Дуня, волей или неволей, должна была слышать этотъ разговоръ. Дѣло было вечеромъ.

Ковровъ проговорилъ что-то въ полголоса, чего Гаряничъ не могла разслушать.

— Какъ! — вскрикнуть въ отвѣтъ на это пріятель. — Такъ эта-то невинность олицетворенная, гувернанточка-то твоя — съ тобой въ связи!

По тѣлу Дуняши пробѣжала словно электрическая искра: она вся нервно вздрогнула.

— Mais oui, mon cher! кто жъ этого не знаетъ,—небрежно отвѣчалъ Сержъ. Это развѣ для тебя, близорукаго, было тайной... Я даже не почитаю за нужное скрывать этого передъ кѣмъ бы-то ни было, потому что что-жъ это такое? Гувернантка какая-нибудь, менѣе чѣмъ ничто! Миленькая бездѣлушка, и только.

— Это конечно... Но все-таки, какъ же это!?

— Mais, mon cher! tu sais, que c'est pour moi une chose tout-à-fait ordinaire! — отвѣчалъ Ковровъ, который полюбилъ-таки щегольнуть французскою фразой. — Ну, что жъ тутъ! Какъ-будто ты не знаешь меня?.. Ты вотъ, позволь тебя спросить, ты сколько видалъ у меня хорошенькихъ женщинъ, то-есть порядочныхъ дамъ?

— Да видалъ же-таки нѣсколько...

— Ну, такъ достаточно будетъ, если я скажу тебѣ, что каждая изъ нихъ знакома мнѣ,

какъ свои пять пальцевъ, что у каждой изъ нихъ я другъ дома и съ каждой весьма коротокъ... Надобно, мой снѣгъ, умѣть только обдѣлывать свои дѣлишки, а тамъ все пойдетъ какъ по маслу!..

— Но какъ же эта... эта... какъ ее зовутъ-то? гувернантка?—спрашивалъ настойчивый пріятель.

— Зовутъ-то? Гаряничъ...

— Что она, полька?

— Отецъ полякъ былъ, а мать русская. Да главное дѣло не въ томъ, а я вижу, что она тебѣ нравится?

— Пожалуй, коли хочешь, и нравится...

— Ну, такъ что жъ ты стоишь, чего ждешь-то? Впрочемъ, нѣтъ, подожди немного: теперь она за мной; но это будетъ, я думаю, не долго, потому что она вѣроятно же мнѣ надоѣстъ, тогда пользуйся сколько угодно: она вѣдь дѣвочка глупенькая, ее можно весьма дешево приманить къ себѣ. Только я возьму съ тебя за нее выкупъ.

— Какой выкупъ?

— Ты мнѣ заплатишь. Задатокъ—чуръ!—завтра. Если мы спустимъ на зеленомъ полѣ графа Оппершуля, я возьму твою долю; а тамъ, черезъ нѣсколько времени, пожалуй, и дѣвчонку сдамъ.

Далѣе этого Гаряничъ не могла уже слушать.

Она быстро поднялась съ своего мѣста и, вся блѣдная какъ полотно, вся трепещущая отъ негодованія, быстро вошла въ комнату, гдѣ сидѣлъ Ковровъ.

Донъ-Хуанъ вздрогнулъ, смѣшался и сконфузился. Въ другомъ бы случаѣ, конечно, этого обстоятельства съ нимъ и не случилось, но тутъ приходъ этой дѣвушки былъ слишкомъ необыкновененъ и слишкомъ неожиданъ.

— Милостивый государь,—произнесла она взволнованнымъ, но твердымъ голосомъ, — я у васъ въ домѣ не могу болѣе оставаться ни минуты. Если вамъ угодно разсчитаться со мной, то можете это сдѣлать сейчасъ же.

— Помилуйте, m-lle Гаряничъ! Что съ вами!.. Скажите мнѣ, Бога ради, васъ обидѣлъ ктонибудь? Съ женой опять вѣрно! Отчего это вы? за что это?—заговорилъ Донъ-Хуанъ, стараясь какъ-нибудь оправиться и придти въ нормальное положеніе.

— Вы очень хорошо знаете, милостивый государь, за что это,—съ негодованіемъ и презрѣніемъ отвѣчала молодая дѣвушка, — за то, что было сказано вами здѣсь за минуту!

— Послушайте, но вѣдь это мой пріятель, передъ нимъ скрываться нечего!—съ наглой улыбкой возразилъ Ковровъ, придя уже въ себя отъ перваго потрясенія и страшась, что его доблестная репутація Донъ-Хуана должна

сію минуту лопнуть и замѣниться репутаціей лгунишки и клеветника.

— Вы клеветникъ!—проговорила съ подавляющимъ презрѣніемъ Гаряничъ.—Клеветать такимъ образомъ на честную дѣвушку—низко, грѣшно и безчестно!

И съ этими словами она быстро вышла изъ комнаты.

Ковровъ былъ уничтоженъ и жалокъ въ эту минуту.

VI.

Въ этотъ же самый вечеръ, часовъ въ одиннадцать, Дуняша, со своимъ чемоданчикомъ и двумя узелками, была уже на Пескахъ, въ Девятой улицѣ, въ тѣсененькой, сырой комнатѣ своей матери.

Тутъ только дала она волю долго думившимъ ее слезамъ и выплакала старушкѣ все свое молодое горе, рассказала всю долгую и мелочную исторію своихъ оскорбленій и затаенныхъ, безотвѣтныхъ страданій.

— И ты все молчала!—вскрикнула, всплеснувъ руками и приходя въ ужасъ старушка,—и ты все терпѣла! Что жъ ты давно не сказала мнѣ? Я бы тебя давно уже вырвала оттуда!

— Ахъ, мама, мама! да вѣдь мы же бѣдны, вспомните вы это! Вѣдь намъ же надо было искать себѣ кусокъ хлѣба!—возразила на это, рыдая, Дуняша. — Богъ съ ними, съ этими страданіями! Я бы съ ними еще какъ-нибудь помирилась: я бы терпѣла, все бы стерпѣла я! Но тутъ уже было невозможно: тутъ было замарано, оклеветано мое честное имя, моя добрая слава! Тутъ уже я не могла совладать съ собой!.. Я была, какъ безумная... Какъ я не убила только на мѣстѣ этого негодяя! Простите меня, можетъ-быть, я поступила опрометчиво, необдуманно, но—клянусь вамъ!—я не знала, что мнѣ остается дѣлать иначе!

— Что ты, что ты! Господь съ тобой!—заговорила плачущая старушка,—какъ это опрометчиво, какъ необдуманно! Да развѣ можно было и поступить-то иначе?

— Но вѣдь подумайте, мама, — отвѣчала бѣдная дѣвушка, — это было все-таки мѣсто, которое насъ кормило! Достанешь ли теперь другое?!.. Вы знаете, какъ трудно и это-то первое далось... Господи Боже мой! какъ мы теперь будемъ жить? Что теперь будетъ съ нами!..

— Ну, полно, кормилица ты моя! Есть о чемъ думать!—утѣшала старушка, съ безпредѣльной любовью глядя на свою дочку. — Жили же мы съ тобой до этого мѣста твоего проклятаго, ну, авось поможетъ Господь, я теперь какъ-нибудь переберемся!..

— Да какъ переберемся?!.. Ну, я буду работать: я шить, вышивать умѣю, да все же

этого мало, это слишком ничтожная сумма для жизни!

— Полно роптать-то!.. Грѣхъ, не ропщи... На что же и Богъ надъ нами?—говорила старушка,—проживемъ какъ-нибудь; живутъ же люди—проживемъ и мы!.. Ужъ будто честному человѣку и мѣста нѣтъ на землѣ, будто только одна подлость, да низость, да развратъ благоденствуютъ и живутъ въ довольствѣ?..

— Видно, что такъ,—задумчиво отвѣтила Дуня, горько качая головой...

VII.

Началась новая, трудная и тяжелая жизнь для Дуняши. Бывало, день цѣлый сидитъ она не разгибая спины надъ своимъ шитьемъ заказной работой изъ какого-нибудь магазинишки, гдѣ получала она самую скудную, самую ничтожную плату; бывало руки окоченѣютъ у нея отъ холоду, въ глазахъ зарябитъ отъ мелкой строчки, спину, шею и грудь заломитъ отъ натуги и голова ея нальется кровью, такъ что становится замѣтнымъ, какъ въ височныхъ жилахъ бьется тяжелый, лихорадочный пульсъ,—а она все сидитъ и все работаетъ, не выпуская иглоки. Время стояло передзимнее, самое глухое, холодное и непривѣтливое время въ Петербургѣ; въ сырую комнату насквозь проникаетъ холодъ, такъ что густой паръ ходитъ по ней отъ дыханія; часто ни свѣчки, ни дровъ нѣтъ у старушки.—Пойдетъ Дуня къ сосѣдямъ попросить немного угольковъ и сама наставитъ маленький самоварчикъ, достанетъ запрятанную щепотку чаю да два куска сахару,—и напьются онѣ съ матерью желтоватаго кипятку, и отогрѣются этимъ на время. Нѣтъ свѣчки—Дуня пойдетъ къ сосѣдямъ и попросится поработать при ихнемъ огнѣ, а не то, когда замѣтитъ, что ей дѣлаютъ ксилую, недовольную физиономію, уйдетъ отъ нихъ и примется шагать изъ угла въ уголъ по своей сырой, темной комнаткѣ,—и такая тоска о своемъ горемычномъ, безысходномъ положеніи возьметъ ее въ то время, что только и молитъ она Бога, какъ бы Онъ послалъ поскорѣй смерть и ей, и матери. А старушка въ это время, лежа у себя за ширмами, старается не охать, удерживать какъ-нибудь болѣзненный стоны, чтобы не потревожить дочери; она въ послѣднее время такъ расхворалась, что уже и не вставала съ постели. И часто, въ тишинѣ ночи, очнувшись отъ сна, приподымалась она у себя на подушкѣ, прислушивалась къ тяжелымъ, сдержаннымъ рыданіямъ дочери и сама отирала тихія слезы, набѣгавшія на ея старыя рѣсницы. А утромъ, чуть пробьется свѣтъ настолько, что можно разглядѣть ушко иглоки, Дуняша опять ужъ сидитъ надъ своей работой, сидитъ до тѣхъ поръ,

пока есть какая-нибудь возможность шить при тускломъ свѣтѣ, пробивавшемся сквозь единственное низенькое оконце.

Праздникомъ казались для бѣдной дѣвушки тѣ дни, когда старука чувствовала себя лучше, и когда она могла уходить въ магазинъ за новой работой. Въ эти дни она почти всегда приносила съ собой нѣсколько денегъ.

Однажды, на Литейной, Дуняша переходила дорогу, и вдругъ за ней раздался крикъ: «берегись!»—Она посторонилась и увидѣла, какъ промчалась мимо щегольская, нарядная коляска, а въ этой коляскѣ сидѣла... какъ-будто бы ея прежняя пансіонская подруга—Адель... Но нѣтъ, гдѣ ужъ и какъ же бѣдной Адели ѣхать въ такомъ великолѣпномъ костюмѣ и въ такомъ тысячномъ экипажѣ, подумала Дуняша,—и поплелась со своимъ узелкомъ по мокрому, грязному тротуару...

На дворѣ трещалъ такой студеный вечерній морозъ, когда, какъ говорится, добрый хозяинъ и собаки изъ горницы не выпустить, а въ оледенѣлой комнатѣ старуки Гаряничъ нѣтъ ни полѣна дровъ, ни щепотки чаю, ни даже огарка сальной свѣчки. Дуня давно уже не ходила къ сосѣдямъ, потому что она уже нѣсколько недѣль должна была имъ сколько-то денегъ, и они каждый разъ встрѣчали ее замѣчаніями, что пора бы, молъ, ужъ и честь знать, отдать должокъ-то: сами-де тоже люди не живѣтъ какого достатка; однако на этотъ разъ она рѣшилась пойти къ нимъ снова и еще разъ попросить займы. Но здѣсь былъ полученъ ею полный отказъ. Положеніе, которое она переживала, дѣйствительно было ужасно. Она уже терялась и не знала, какъ ей быть и на что рѣшиться; цѣлый коротенькій день прошелъ у нея въ путешествіи за деньгами въ магазинъ, но денегъ она тамъ не достала: а мать между тѣмъ была уже крайне плоха, цѣлый день лежала почти безъ движенія, и только по временамъ слабый, невнятный стоны прерывалъ ея тяжелое хриплое дыханіе.

Вся истомленная, усталая, истерзанная, сидѣла Дуня въ темной комнатѣ, подперевъ голову руками, въ какомъ-то мрачномъ оцѣпенѣніи, а душу ея рѣзалъ этотъ тихій хриплый неподвижно лежавшей матери. Она только страшно стискивала зубы, чтобы хоть нѣсколько облегчить и заглушить эту невыносимую пытку своей молодой души.

Долго сидѣла она такъ, какъ-будто обдумывая что-то, наконецъ подняла голову и чутко стала прислушиваться... Мать, казалось, успокоилась нѣсколько въ лихорадочномъ забытіи.

Тогда тихо поднялась со своего мѣста Дуняша, надѣла свое лучшее кисейное платьице, то самое, въ которомъ она вышла изъ института, пригладила голову и, наскоро завязавъ ленты своей шляпки да накинувъ на плечи холодный бурнусъ, осторожно, чтобы не раз-

будить заснувшую мать, притворила за собой двери и вышла на улицу.

Вѣтеръ дулъ ей прямо въ лицо и подъ шляпку и запахивалъ полы сѣренькаго бурнуса, а она бѣжала вдоль по глухимъ, слабо освѣщеннымъ улицамъ, не слыша этого вѣтра, не чуя мороза, и только спѣшно направляясь въ болѣе освѣщенную часть города—къ Невскому проспекту...

Вотъ и онъ наконецъ, этотъ Невскій проспектъ, со своимъ газомъ и городовыми, со своей празднующейся вечерней толпой...

Сильно и болѣзненно занывая, забилось сердце Дуняши, когда она ступила первый шагъ въ эту освѣщенную, яркую, веселую улицу.

— Какая милашка! — раздалось вдругъ у ней подъ ухомъ, едва она сдѣлала десять или двадцать шаговъ.

Дѣвушка вздрогнула и потупилась.

— Право милашка! — продолжалъ все тотъ же силпый пьяноватый голосъ, и такая хорошенькая ходитъ одна!.. Это опасно: могутъ обидѣть!.. Нуженъ непременно покровитель... Позвольте проводить васъ?

— Извольте—едва слышно дрожащимъ голосомъ отвѣтила Дуня.

Ахъ, какая добренькая! Куда же прикажете вести васъ?—спросилъ неизвѣстный господинъ, подставляя ей свою руку.

— Куда хотите...

— Къ вамъ, что ли?

— Нѣтъ, нѣтъ, Бога ради нѣтъ!—съ испугомъ проговорила Дуня.

— Охъ, какъ вы испугались!.. Видно тайкомъ пошаливаете... отъ какой-нибудь шельметушки или старой карги-матушки скрываете вечерние грѣшки? а? Ну, куда же, въ номеръ, или ко мнѣ?.. Пойдете лучше ко мнѣ!—рѣшилъ господинъ, поворачивая въ другую сторону.

— Да что вы такая скучная?..—продолжалъ онъ.—Хмуритесь и ничего не говорите? Я брошу васъ, когда такъ, ей-Богу брошу! Мнѣ что! мнѣ наплевать!.. Смѣйтесь, ну смѣйтесь же, говорю вамъ!

Дуня сдѣлала надъ собой страшное, нечеловѣческое усилие и весело захохотала...

Часамъ къ двѣнадцати ночи вернулась она домой, зажгла принесенную съ собой свѣчу и бросила на столъ какую-то скомканную бумажку.

— Дуня, ты это?—спросила изъ-за ширмъ слабымъ голосомъ старуха.

— Я, мама, отвѣтила, вся поблѣднѣвъ и задрожавъ, Дуняша.

— Гдѣ ты была... такъ долго?.. продолжала старуха.

— За свѣчей ходила... чаю принесла тоже... и сахару принесла... говорила она, какъ

бы пугаясь каждаго своего слова и не смѣя поднять свои неподвижно опущенные глаза.

— Гдѣжь ты денегъ достала?—спросила между тѣмъ старуха.

— У сосѣдей взяла... дрогнувшимъ и нерѣшительнымъ голосомъ проговорила Дуняша: она еще никогда не лгала передъ своей матерью.

— У сосѣдей... экие добрые люди, вѣдь мы ужъ и такъ имъ должны,—бормотала та у себя за ширмами.—Дуня! поди сюда ко мнѣ, мое дитятко, поправь у меня подушку: самой ужъ не въ мочь,—добавила она со слабымъ стономъ.

Дѣвушка на минуту замедлилась, въ какомъ-то тяжеломъ раздумьи, потомъ вдругъ отчаянно и рѣшительно махнула рукой и твердо прошла за ширмы.

— Что ты это въ бѣломъ платьѣ?.. куда ты это ходила?—подозрительно, дрогнувшимъ голосомъ спросила старуха, а въ этомъ голосѣ звучало какое-то нехорошее, недоброе предчувствіе.

Дуняша вновь вся задрожала, потупилась и ничего не отвѣчала на этотъ вопросъ.

— Дуня! что съ тобой?—продолжала между тѣмъ старуха, — что ты дрожишь вся и не отвѣчаешь ни слова?.. Говори же мнѣ, гдѣ ты была?

— Дуня приподняла на нее свои ясные большіе глаза.

— Я... я... да нѣтъ, не спрашивайте меня!.. не все ль равно!—съ усиліемъ вымолвила она подавляемая глухимъ отчаяніемъ, и не сдержала себя—залилась слезами.

Мать догадалась обо всемъ.

— Продала!—пробормотали чуть слышно посянѣлыя губы дѣвушки.

— Кому, кому, безумная?—глухимъ, трепещущимъ голосомъ проговорила она въ ужасѣ, сверкая большими лихорадочными глазами и страшно на кистяхъ рукъ приподымась съ постели.

— Не знаю, кому... первому встрѣчному,—покорно и кротко отвѣчала Дуня.

Мать въ изнеможеніи рухнула на подушки...

Дуня тихо опустилась на колѣни и робко прильнула къ ея худощавой рукѣ.

Старуха медленно, черезъ силу пригнулась къ ней и поцѣловала ее въ похолодѣвшую голову.

— Эта жертва... для куска хлѣба... нѣжнымъ и слабымъ голосомъ сказала она, положивъ руку на склоненную головку дочери.—Я знаю... знаю, ты вѣдь для меня, для матери... Если только есть Божья справедливость, она не оставитъ, не забудетъ тебя...

Дуняша поднялась, и съ улыбкой взглянула въ ея страдальческое лицо, а по щекамъ обѣихъ—Богъ вѣсть отчего и какъ—катились тихія слезы...

VIII.

Прошло съ полгода времени послѣ этой страшной ночи.

Однажды, часу въ пятомъ по полудни, Дуныша возвращалась изъ магазина съ кое-какими заработанными грошами, какъ вдругъ на встрѣчу къ ней подошла блестящая, великолѣпно одѣтая дама.

— Eudoxie...

— Адель! ты ли?

И двѣ институтскія подружки въ изумленіи остановились одна противъ другой.

— Боже! сколько мы съ тобой не видались! — ласково заговорила Адель. — Хочешь, поѣдемъ ко мнѣ... ты вѣдь не оскорбишься, что тебя приглашаетъ въ свою карету une femme reglée, une dame aux camélias — твоя бывшая подруга?

Дуныша въ изумленіи посмотрѣла ей прямо въ глаза, — и онѣ сѣли въ карету.

— Что ты такъ на меня посмотрѣла, Eudoxie? — спросила, лукаво улыбаясь, Аделаида.

— Ты... une dame aux camélias? — наивно спросила Дуныша.

— Ха, ха, ха!.. Боже, какая ты еще наивная! точно институтка!.. Что же тутъ удивительнаго? Мнѣ надоѣло ничтожное положеніе, надоѣла гнусная бѣдность моя, — ну, я и промѣнила ихъ на независимость и богатство! Это такъ легко, дураковъ у насъ такъ много, что тутъ и удивительнаго нѣтъ ничего! Но ты, какъ ты поживаешь, Eudoxie? По твоему наряду я вижу, что не больно-то хорошо!.. Все еще гувернанткой?

— Нѣтъ, швеей, портнихой, — отвѣчала Дуныша.

— Какъ портнихой?

Дуныша рассказала ей всю свою исторію. Между тѣмъ карета остановилась у подъезда, и Адель повела Дунышу по великолѣпной лестницѣ въ свою богатую квартиру и привела въ свой изящный будуаръ.

Она приказала никого не принимать и подавать обѣдать.

Бѣдной Гаряничъ въ первый разъ въ жизни пришлось сидѣть въ такой изящной столовой и ѣсть такой роскошный обѣдъ.

Значить ты очень несчастлива, — проговорила Адель, когда Дуныша рассказала ей все.

— Да, не совсѣмъ-то счастлива, — равнодушно отвѣтила та.

— Слушай, Eudoxie, — начала Адель послѣ минуты размышленія. — Я не забыла наши институтскія клятвы... Я могу помочь тебѣ... Скажи, ты все еще такая, какъ и въ день выпуска? — чиста и непорочна, — сколько я могу вывести изъ твоего поступка съ этимъ... господиномъ... Какъ его, Ковровымъ?

— Нѣтъ вовсе не такая, — отвѣчала съ легкой улыбкой Дуныша...

— Да?!.. Что жъ ты любила или любишь вѣрно кого-нибудь? — спросила Адель, которую это обстоятельство какъ-будто немного порадовало.

— Нѣтъ, никогда и никого не любила... Мнѣ некогда было полюбить, — возразила на это равнодушно и серьезно Гаряничъ.

— Что жъ ты? — воскликнула изумленная Адель.

— Я продала себя, — тѣмъ же тономъ проговорила Дуныша.

— Какъ! что ты?!.. значить, не я одна грѣшная!.. Но, мой другъ, отчего же ты такъ бѣдна, съ твоей красотой, съ твоимъ умомъ, если ты продала себя?

Гаряничъ какъ-то нервически передернуло.

— Я продала себя за пустяки... всего только за два цѣлковыхъ, — отвѣчала она, какъ бы шутя. — Въ то время, когда мать моя умирала, а въ домѣ не было ни куска хлѣба, ни свѣчи, ни полѣна дровъ — достать бѣднымъ людямъ, сама ты знаешь, неоткуда, — ну, я пошла да первому встрѣчному и продала себя; вотъ и все тутъ!

— Ну, а потомъ-то какъ же?

— А потомъ и ничего... Сначала меня все это грызло, печалило, убивало, а потомъ и привыкла... Ко всему можно привыкнуть. Вотъ я дошла до этого убѣжденія и пошла по своей дорогѣ... Мать у меня послѣ этого болѣла еще мѣсяцевъ пять, все хуже да хуже дѣлалось старухѣ; тѣхъ денегъ, которыя я зарабатывала въ магазинѣ, было недостаточно, чтобы прокормить ее и себя, — ну вотъ и пришлось прибѣгать къ иному средству... На эти деньги я могла покупать ей лекарство, два раза заплатила частному доктору, чтобы былъ къ большой-то повнимательнѣй; а когда умерла она, въ домѣ опять-таки не было ни копейки — я опять-таки одѣлась въ свое кисейное платьишко и пошла на Невскій... на другой день гробовщикъ принесъ простой тесовый гробъ; ну, вотъ, я и положила старуху.

Извѣженная, развращенная Адель поблѣднѣла отъ этого рассказа, отъ равнодушнаго тона Гаряничъ, которая такъ говорила обо всемъ этомъ, какъ-будто о самой простой и естественной вещи.

— Eudoxie! — перебила она, всплеснувъ руками, — и ты говоришь объ этомъ, словно бы о томъ, что сегодня насъ въ институтѣ кормили горохомъ, а вчера картофелемъ?!.. Боже мой, да вѣдь это такой гигантскій поступокъ!.. и ты рассказываешь такъ, будто тебѣ до всего этого столько же дѣла, сколько до прошлогодняго снѣга!

— Да какой же тутъ особенный поступокъ? — возразила Дуныша, ясно и кротко взглянувъ въ глаза своей подруги. — Что жъ тутъ такого

особеннаго, великаго? Еслибы у меня въ то время случилось подъ рукой что нибудь другое, какія-нибудь ненужныя вещи, такъ я бы конечно продала сперва ихъ, а такъ какъ ничего такого не было—все уже было продано раньше,—надо было продать то, что болѣе всего не нужно,—ну, я и продала себя.

Аделаида пожала плечами.

— Давно умерла мать твоя? — спросила она.

— Съ мѣсяцъ.

— Ну, а послѣ ея смерти какъ же жила ты?

— А все такъ же... Когда заработанныхъ въ магазинѣ денегъ не хватало, чтобы поѣсть или заплатить за свою конуру, я одѣвала свое кисейное платишко и... Ну, да что, стоитъ ли толковать о такихъ пустякахъ! Поговоримъ лучше о чемъ-нибудь болѣе веселомъ,—заключила она, видимо стараясь весело и беззаботно улыbnуться, хотя отъ пронизательныхъ глазъ Адели не ускользнуло, что внутри ея въ это время происходитъ страшная и болѣзненная борьба.

— Нѣтъ, послушай Eudoxie,—серьезно заговорила она, съ участіемъ взявъ ее за руку.— Я, повторяю тебѣ, не забыла нашихъ инстинктивныхъ клятвъ и обѣщаній. Если ты позволишь, я помогу тебѣ... Приходи завтра ко мнѣ... Я тебѣ дамъ сегодня порядочную сумму денегъ, а ты постарайся на нее одѣться, какъ можно великолѣпнѣе, и пріѣзжай ко мнѣ... Понимаешь?

— Не совѣмъ,—отвѣчала Дуняша, глядя на нее пытливыми глазами.

— Это очень просто: если хочешь, я тебѣ завтра же доставлю обожателя, котораго ты можешь водить за носъ, обирать, сколько твоей душѣ угодно, и жить королевой.

— Нѣтъ,—произнесла рѣшительно Гаряничъ.

— Нѣтъ?!.. Отчего же?.. Какая ты странная, та сѣге! Да взгляни на меня: я пресчастлива въ своемъ теперешнемъ положеніи; такъ счастлива и независима, какъ мнѣ и во снѣ бы не снилось, еслибы я была жалкой и бѣдной гувернанткой!.. Еслибы ты поглядѣла только, съ какимъ любопытствомъ и завистью смотрятъ на меня въ Петергофѣ или въ оперѣ эти аристократическія дамы!.. Бывшія мои задушевыя пріятельницы мнѣ, конечно, не кланяются, да вѣдь онѣ бы не кланялись и презирали меня, еслибы я осталась и гувернанткой... Онѣ бы и тогда не подошли ко мнѣ на Невскомъ и не пригласили бы въ свою карету!.. Я живу-себѣ прекрасно, прелесело, поклонниковъ у меня—тѣмъ, официальный обожатель—одинъ, и еслибы ты знала, какой это фатъ и какъ непроходимо глупъ въ-добавокъ, и какъ я хохочу надъ нимъ, какъ вожу его за носъ! Ну, а потомъ еще одинъ—неофициальный, мой *Артуръ*... Еслибы ты знала, какъ онъ хорошъ

и какъ я люблю его! Такъ люблю, такъ люблю, какъ семнадцатилѣтняя дѣвчонка!.. Пожелай, та сѣге,—и у тебя то же самое будетъ! Я удивляюсь, отчего ты не хочешь?..

— Нѣтъ, не хочу,—произнесла еще разъ рѣшительно и твердо Гаряничъ.

— Ah, mon Dieu, какая ты, право!.. Да отчего же, наконецъ?!..

— Отчего?.. Оттого что... произнесла задумчиво и какъ бы не рѣшаясь сказать, Дуняша.

— Ну?—подстрекнула Адель.

— Ты не разсердишься и не обидишься, если я скажу тебѣ въ глаза правду прямо и откровенно?—спросила Гаряничъ.

— Я очень мало слышу правды, и потому, можешь быть увѣрена, не разсержусь,—отвѣтила подруга.

— Ну, такъ слушай же: я никого не любила и никого не полюбию — ужь, знать, такая судьба моя! Ты говоришь, что любишь,—ну, дай тебѣ Богъ счастья!.. Только вотъ что, Адель: ты вдалась въ развратъ—для разврата, тебѣ нравится это, а мнѣ онъ противенъ и ненавистенъ, развратъ-то этотъ, — одна моя горькая необходимость заставляетъ меня прибѣгать къ нему!.. Тебѣ нужна роскошь—и ты для своихъ прихотей разоряешь людей,—а сколько между ними, можетъ, есть такихъ, которыхъ семейства страшно терпятъ черезъ это!—Я не разоряю никого: я слишкомъ бѣдна и ничтожна и стараюсь все-таки жить трудомъ... Что дѣлать, если честный трудъ не даетъ мнѣ средствъ къ самой нетребовательной жизни! Я прибѣгаю иногда къ пороку для насущнаго и горькаго буса хлѣба, но не для роскоши и не для порока!.. Вотъ почему никогда не согласусь я на твоё предложеніе! — заключила она, вставая со своего мѣста.

Адели видимо это не понравилось. Она надула свои пухленькія, хорошенькія губки.

— О, да ты, я вижу, моралистка и педантка,—произнесла она съ легкой ироніей.— Только послушай, та сѣге: вѣдь это все пустыя идеи! это одни только парадоксы! Ты говоришь, что я ихъ обираю,—да вѣдь у нихъ хватаетъ смыслу нагло издѣваться надъ бѣдностью, надъ нищетой; у меня хватаетъ его настолько, чтобы обирать ихъ и показать имъ, какова она хороша и пріятна эта самая нищета!—Съ этими глупцами болѣе и дѣлать нечего, вѣрь мнѣ! Пускай же на себѣ испробуютъ!

— Нѣтъ, не вѣрю и никогда не согласусь съ тобой! — отвѣтила Дуняша и поспѣшила переменить разговоръ.

— Ну, а что твоя тетка, madame Барсукова?—съ улыбкой спросила она.

Адель захохотала.

— Можешь ли ты себѣ представить!—заговорила она.—Эта почтенная госпожа является

вдругъ, мѣсяца съ два тому назадъ, ко мнѣ и такъ и разсыпается, такъ и льститъ, и лисить передо мной: я-де тебѣ всегда была благодарительницей, любила какъ дочь родную, ничего для тебя не жалѣла, и такъ даѣла!.. Я слушаю да думаю-себѣ: чѣмъ же все это кончится?—Оказывается, что мой почтеннѣйшій дядюшка безъ мѣста, былъ подъ слѣдствіемъ и проч., такъ изволишь ли видѣть, пришла просить у меня протекціи!

— Ну, что же, ты сдѣлала, просила?

— Да еще бы не сдѣлать, если она чуть что не каждый день мнѣ надѣдала! Ну, да Богъ съ ней!.. Я не злопамятна... А тебѣ вотъ что, Eudoxie, скажу я,—прибавила она, снова взявъ ее за руку,—то, что я тебѣ предлагала, ты не хочешь, такъ не пойдеишь ли ты опять въ гувернантки?

— О, съ радостью, съ восторгомъ!—отвѣтила Гаряничъ, сжимая руку подруги.

— Ну, такъ я поговорю съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ... быть-можетъ, они гдѣ-нибудь и знаютъ мѣсто, а ты все же заходи ко мнѣ, когда вздумаешь... Да послушай, можетъ-быть ты теперь нуждаешься, можетъ-быть тебѣ нужно денегъ?—ласково и деликатно спросила она.

— Нѣтъ, не нуждаюсь... мнѣ ничего теперь не нужно, а мѣсто, если можешь, доставь,—отвѣтила ей Дуныша.

«Вишь ты, какая гордячка!» подумала про себя Адель, сжимая протянутую ей на прощанье руку подруги, и предложила ей довезти ее до дому въ своемъ экипажѣ.

Добрал, но вѣтреная Адель только такъ пообѣщала мѣсто; дня черезъ три или четыре она, среди своей неутомимой, веселой жизни, и вовсе позабыла о своей подругѣ.

Гаряничъ раза два заходила къ ней, но швейцаръ у подъезда всякій разъ какъ-то сурово переступалъ ей дорогу съ обычнымъ возгласомъ: «дома нѣтъ!»—такъ что Дуныша подумала, будто Адель обидѣлась на нее за ея рѣзкость и не велѣла больше принимать. За тѣмъ и она почти позабыла о своей подругѣ.

IX.

Прошло нѣсколько лѣтъ.

Былъ одинъ изъ тѣхъ грязныхъ, туманныхъ и холодныхъ вечеровъ, которыми такъ обилень Петербургъ. Мелкій дождь сѣялся, какъ сквозъ сито, и рѣзкій вѣтеръ пронзительно полосовалъ со всѣхъ сторонъ прохожихъ.

Отъ Пяти Угловъ, неровной, торопавой походкой, пробралась хорошенькая, но бохѣзненная и истощенная женщина, въ дрянной, розовой, слинялой шляпенкѣ и въ какомъ-то

старомъ бурнусикѣ, подъ которымъ дрожали ея окоченѣлые члены и который былъ искусно и тепло подбитъ однимъ только Божиимъ вѣтромъ... Въ ней никто бы не узналъ прежней Дуныши Гаряничъ...

Вотъ повернула она въ Чернышовъ переулокъ, пробираясь вѣрно на Невскій, но у подъезда церкви Коммерческаго училища должна была остановиться за стоявшею тутъ толпою. У подъезда было много каретъ; входъ освѣщенъ; швейцаръ съ булавою и въ треуголѣ, поминутно хлопая дверью, выходитъ на улицу и важно глазѣть по сторонамъ, словно бы ожидая кого-то. «Ишь ты, свадьба!» дѣлаетъ кто-то замѣчаніе въ толпѣ. Вотъ, гремя, подкатила карета, и изъ нея, въ сопровожденіи шаферовъ, вышла великолѣпно и богато-одѣтая женщина, вся въ бѣломъ.

— Невѣста, невѣста! глядите, братцы, невѣста!—пронеслось въ толпѣ.

Дуныша взглянула — и вся обомлѣла: невѣста была ей знакома... это шла подъ вѣнецъ ея вѣрная и неизмѣнная подруга Адель...

— Слышите, служивый, ваше полублагородье! Кто то вѣнчается? Чья свадьба?—спрашивали голоса въ толпѣ, обращаясь къ саовитому швейцару.

— Господская...—угрюмо отвѣтствовалъ заслуженный привратникъ.

— Вѣстимо, что не свинская, да чья же такая господская? — настаивали между тѣмъ въ толпѣ.

— Важная... не про васъ глазѣть — пошли прочь!—воспоследовало зевсовское рѣшеніе на эти докучные вопросы.

— Эхъ, ты, полублагородіе!.. Мѣлево-то видно у тебя не ворочается фамилья сказать! Не приучено!.. знать, ему трудно выговорить. Сталь-быть настранецъ, а еще въ ученомъ мѣстѣ служить!—насмѣшливо послышалось въ толпѣ.

Швейцаръ съ достоинствомъ отворотился.

— Эй... любезнѣйшій, чья свадьба?—обратился къ нему проходившій мимо любопытный офицеръ.

— Госпожа Украинцева за статскаго совѣтника Отлукавскаго, ваше благородіе! — бойко проговорилъ привратникъ, съ уничтожающимъ презрѣніемъ оглядывая толпу.

— Ишь ты какая!.. за Отлукавскаго!.. Кличка-то ужъ больно мудреная, братцы!.. пояснили въ толпѣ.

Дуныша стояла, какъ прикованная къ своему мѣсту... Горько и тяжело ей стало... Слезы сперли и сдавили горло, но не показывались наружу.

«Кому какая дорога», подумала она, покорно опуская свою горемычную голову...

И почему-то невольно пришли ей на память слова умирающей матери: «ужъ будто честному человѣку и мѣста нѣтъ на землѣ? будто только

одна подлость да низость, да развратъ благоденствуетъ и живетъ въ довольствѣ?...»

— Видно что такъ,—проговорила про себя Дуняша, горько качая головой...

Дуняша какъ-то странно улынулась въ отвѣтъ на эту безсознательно мелькнувшую мысль.

— Дѣвочка, а дѣвочка! Душка, позвольте проводить-съ,—раздалось въ это самое время у нея надъ ухомъ.

Дуняша вздрогнула и съ негодованіемъ отвернулась.

— Вишь ты, рожа!.. Съ ней говорятъ, а она еще отвертывается! Эка фря, подумаешь!.. Пойдемъ-ка, пріятель! — продолжалъ все тотъ же холуеобразный господинъ, удаляясь со своимъ пріятелемъ по грязному, мокрому тротуару...

Сильныя ощущенія подъ Петербургомъ.

(Фантастическій рассказъ изъ дѣйствительнаго міра).

Ну, какія тутъ могутъ быть сильныя ощущенія? Еще если-бы *въ самомъ* Петербургѣ, такъ, пожалуй, эти ощущенія и могли бы быть, да и то совсѣмъ особеннаго, такъ-сказать, грязно-сѣренькаго рода, въ родѣ того, что какой-нибудь душа-Тряпичкинъ, ни-за-что ни-про-что, выругаетъ изъ подлеца въ подлеца въ какой-нибудь обличительной статьишкѣ, или потузятъ другъ друга какіе-нибудь два совершенно приличной наружности господина, и потащутъ ихъ *на цугундеръ* въ кварталъ, или вдругъ въ квартирѣ вашей, ни съ того ни съ сего, раздастся звонокъ въ два часа ночи, или снимутъ съ васъ очень любезно шубу и шапку на Обуховской площади... Это все будутъ сильныя ощущенія въ своемъ родѣ, но только ощущенія сѣро-будничныя, а не грандіозныя, не ужасныя, не поэтически-громадныя и давящія, уничтожающія васъ своей стихійной силой, словомъ,—не тѣ сильныя ощущенія, которыя даетъ природа и ея силы. Еслибы вы, напримѣръ, находились въ первобытномъ лѣсу Америки во время ревущаго лѣсного пожара или внезапно очутились бы лицомъ къ лицу съ тигромъ, съ очковой змѣей, или были бы застигнуты знойнымъ ураганомъ въ песчаной степи или дикой бурей въ океанѣ,—вотъ это были бы прямыя, настоящія ощущенія, имѣющія неоспоримое, законное право на патентъ сильныхъ,—а то вдругъ Петербургъ!.. Ну, что такое Петербургъ? Что такое петербургская природа? Петербургъ очень красивый городъ съ официально-сѣренькимъ характеромъ, и окружающая его природа — очень некрасивая природа, съ характеромъ еще болѣе сѣраго свойства. Лѣсовъ у насъ нѣтъ, а есть только корявыя березы да елки; гадовъ, кромѣ лягушекъ, въ наличности никакихъ не имѣется, если не причислять къ этому классу нѣкото-

рыхъ господъ изъ двуперой породы; дикіе звѣри—зайцы; степи — поле подъ Царскимъ Селомъ; море—какая-то лужица, которая такъ и называется «Маркизовой лужей» и по которой, въ двадцати саженьяхъ отъ фарватера, можно пожалуй и до Кронштадта дойти въ водѣ немногo выше пояса, а въ иныхъ мѣстахъ и гораздо пониже; ну, какія же тутъ могутъ быть сильныя ощущенія? Повидимому, рѣшительно никакихъ, а между тѣмъ они есть, да еще какія сильныя-то! И знаете ли гдѣ? Ни болѣе, ни менѣе, какъ на этой самой Маркизовой лужѣ, торжественно и громозвучно именуемой Финскимъ заливомъ. И что всего достопримѣчательнѣе, такъ это то, что мѣстомъ этихъ стихійныхъ сильныхъ ощущеній служить пространство двадцати пяти-верстнаго пути между Петербургомъ и Кронштадтомъ; далѣе за Кронштадтъ сильныхъ ощущеній почти уже не случается. Путь отъ Петербурга до Кронштадта представляетъ много веселаго (серьезно!) лѣтомъ, когда вы ѣдете на пароходѣ въ виду обоихъ береговъ, на которыхъ иногда, въ ясную погоду, отчетливо виднѣются купы зеленыхъ рощъ и контуры дачъ и деревушекъ, а далеко, далеко, на горизонтѣ, въ легкомъ голубоватомъ туманѣ, Пулковскія и Дудоровы горы. Веселъ этотъ путь и зимою, въ ясное морозное утро, когда широкая равнина замерзлаго моря представляется вся покрытою снѣгомъ и сверкаетъ прямо въ глаза мірадами алмазныхъ искорокъ-снѣжинокъ, играющихъ всѣми переливами радуги подъ солнечными лучами. А напримѣръ это развѣ не весело? Поѣдете вы въ Петербургъ, этакъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, по первому льду, какъ только откроется санная дорога, а дня черезъ два возвращаетесь обратно... на пароходѣ: стоитъ только хорошенько подуть морскому вѣтру и взломать ледъ. Сюрпризъ совер-

шенно неожиданный и для иного охотника до сюрпризов пожалуй очень веселый. Да слава Богу еще, если семиверстное пространство между Кронштадтомъ и Ораніенбаумомъ расчитигъ вѣтромъ настолько, что явится возможность пройти пароходу, а нѣтъ—такъ можно нѣсколь-ко деньковъ и въ Ораніенбаумѣ высидѣть, въ виду Кронштадта, который отсюда рисуется весь, какъ на ладонькѣ, въ ожиданіи возможности переправиться на спасательной лодкѣ.

Кстати о спасательныхъ лодкахъ! Знаете ли вы, что это за экипажъ и какъ совершается переездъ на немъ? Лодка эта, очень мрачная съ виду, мнѣ всегда представляется какимъ-то длиннымъ гробомъ, сплошь выкрашеннымъ черной краской и постановленнымъ на придѣланные къ нему тонкіе полозья. Гробы эти служатъ для перевозки почты въ осеннюю и предвесеннюю пору, когда нѣтъ возможности добраться на берегъ ни на веслахъ; ни на лошадицъ, ни пѣшкомъ. Штука, какъ видите, довольно мудреная — ѣздить тогда, когда повидимому нѣтъ никакой человѣческой возможности къ переправѣ. Самое названіе уже «*спасательн. лодка*» рисуетъ въ воображеніи вашемъ что-то мрачное, трагическое, а тутъ еще и самая вѣ-линость подобнаго экипажа невольно какъ-то усиливаетъ это невыгодное впечатлѣніе.

Вамъ, напримѣръ, необходимо нужно быть сегодня же въ Петербургѣ, а сообщенія нѣтъ. Какъ тутъ быть? Вотъ вы и договариваетесь, рубля за три, за пять, въ крайнемъ случаѣ за восемь, или около того, съ досужими матросиками, и садитесь у спуска, что близъ петербургскихъ воротъ, въ спасательную лодку. Къ вашему судну-санямъ прикрѣпляются веревки, за которыя берутся восемь человѣкъ перевозчиковъ. Десятый — вожакъ, унтеръ-офицеръ, обыкновенно человѣкъ опытный, бывалый, идетъ шагонъ на десять вперед и осторожно щупаетъ особеннымъ шестомъ дорогу, т. е. крѣпость льда. Случается такъ, что ледяная кора выдерживаетъ еще тяжесть одного человѣка; вожакъ идетъ передъ вашимъ экипажемъ очень спокойно, какъ вдругъ подъ вами раздается зловѣщій трескъ, свѣтлые кристалловидные лучи во льду, словно отъ продавленного стекла, мигомъ расходятся въ стороны, все больше и больше; матросики бросаютъ веревки и про-формно вскакиваютъ въ лодку; мгновеніе — и вы уже плывете по водѣ, и только отдѣльные глыбы рѣжутъ и трутся о бока вашей спасательной лодки, куда немедленно по веревкѣ втаскивается и вожакъ, часто стоящій такимъ образомъ на льдинкѣ аршина въ полтора въ поперечникѣ. Но вотъ вы, отпихиваясь баграми, кое-какъ доплывете черезъ полынью до новой коры льда, по которой, кажись, есть вѣкоторая возможность тапиться опять на полозьяхъ. Лодка, словно къ берегу, причаливаетъ къ окраинѣ ледяной коры, вожакъ выходитъ первый

со своимъ щупомъ, за нимъ выскакиваютъ матросики, опять хватаются за веревки: «разъ, два, три—бери!» — и экипажъ вапъ уже встаетъ на «*санный*» путь. Случается, что Богъ пронеситъ счастливо, а случается и такъ, что зловѣщій трескъ льда и неоднократно повторится подъ вами, пока вы успѣете сдѣлать эти семь верстъ пути до Рамбова.

Мнѣ случилось два раза испробовать довольно сильное ощущеніе кронштадтскаго пути, и эти-то два случая я хочу рассказать вамъ теперь.

Въ первый разъ пришлось мнѣ испытать удовольствія такого рода переправы въ началѣ или въ серединѣ (хорошенько ужъ не помню) ноября мѣсяца 1861 года. Приходилось ѣхать изъ Петербурга въ Кронштадтъ по самой экстренной, безотлагательной надобности.

Порывистый и продолжительный вѣтеръ съ моря нагналъ такую сильную оттепель и распутицу, что ѣхать по льду прямо изъ Петербурга нечего было думать, тѣмъ болѣе, что я былъ не одинъ, а вмѣстѣ съ дамой, которая никакъ не рѣшалась на подобный подвигъ. Между тѣмъ ѣхать — и ѣхать тотчасъ же — было необходимо. Рѣшились отправиться по петергофской машинѣ на Рамбовъ, а оттуда уже — какъ Богъ приведетъ и обстоятельства укажутъ. Такъ и сдѣлали. Локомотивъ тронулся въ половинѣ четвертаго, а около пяти мы уже наняли у петергофскаго вокзала кронштадтскую кибитку. (Объ этихъ кибиткахъ еще рѣчь впереди). Не успѣли выбраться и за Петергофъ, какъ сѣрыя, туманныя сумерки стали уже сильно сгущаться, и носѣялъ, словно сквозь сито, мелкій, непріятный и частый дождикъ. Въ воздухѣ стояла какая-то гнилая, влажная теплота, при сильномъ юго-западномъ вѣтрѣ.

Въ Ораніенбаумѣ, на самомъ почти спускѣ въ море, извозчикъ остановился у гостепримныхъ дверей кабака.

— Что жъ ты сталъ? — спросилъ я его.

— Да надыть подождать, сударь, маленечко, — отозвался озабоченнымъ тономъ извозчикъ.

— Чего тамъ ждатель-то? еще пуще стемнѣетъ?

— Стемнѣть-то стемнѣть... Это точно, что стемнѣть... потому и надыть пообождать.

— Да кого же ждатель еще?

— А попутчиковъ... Може еще подѣдетъ кто... Оно все посподручнѣе, коли, значить, съ товарищами... и лошадамъ опять же вольготнѣе идти... Надыть обождать...

— А что, развѣ очень плоха дорога?

— Ништо... Зачѣмъ плохой быть?.. Утресь ребята проѣхали — ничего: Богъ пронесъ... А плохой не надо быть.

— Ну, братъ, это плохое утѣшеніе, коли только Богъ пронесъ! Утромъ пронесъ, а вечеромъ, пожалуй, и не пронесетъ...

— Ничего, пронесетъ!.. Что ему?! Не впервой!.. Авось доберемся... потому и говорю, что на то жь выходить; одно слово: подождать надо.

— А коли провалимся?

— Что жь? Всяко бываетъ!.. Зачѣмъ провалимся? проваливаться не надо... Вотъ только выпить малость надо быть, такъ и ничего: добѣдемъ благополучно... Потому тутъ на храбрость бей!.. И не въ такую распутицу, случилось, ѣзжали, да ничего: живы же, какъ видишь!.. Это все пустякъ-дѣло, все пустякъ!.. А вотъ... позвольте, ваше сѣятельство... одолжите, значить, на чапурушку—малость самую, гривенникъ — такъ лихо предоставляю! Ей-Богу!..—присовокупилъ нашъ возница самымъ любезнымъ и игривымъ тономъ, снимая свой малахай.

Я далъ ему гривенникъ, и пока онъ хватилъ свою чапурушку, подѣхали еще двѣ кибитки.

Извозчики оказались знакомыми. Впрочемъ, кронштадтскіе кибитники всѣ до одного знакомы другъ съ другомъ. Начался споръ, кому ѣхать первому.

— Пушай дядя Мартынъ ѣдетъ напередъ,—предлагалъ извозчикъ,—по крайности, старъ человекъ—бывалый значать.

— Эка ты какой приткій!—отзывался Мартынъ.—Ишь ты—дядя Мартынъ!.. Проглотика на-перво алтыня!.. Пушай Ванюха везетъ, а я въ середину...

— Ну, Ванюха, такъ Ванюха!.. — согласился мой извозчикъ, — по мнѣ это все одно, значить... А только я, братцы, напередъ, не поѣду, потому коренникъ у меня вновь: непривыченъ еще, не пойдетъ.

Ванюха былъ молодой парень и везъ какихъ-то двухъ купцовъ съ купчихой. Онъ не претендовалъ на рѣшеніе везти первому, и на совѣщаніи замѣтилъ только одно: «По мнѣ ништо — пушай и я впередъ; только у меня въ кибиткѣ трое вѣдь — оченно ужь напирать стануть, пожалуй не сдержитъ...»

— Эва-на, не сдержитъ! — утѣшали двое остальныхъ, — авось пронесетъ, а не сдержитъ—подсобимъ.

На томъ порѣшили и тронулись!

Въ этихъ случаяхъ подобный споръ извозчиковъ всегда имѣетъ свои основанія. При опасной дорогѣ первая кибитка всегда играетъ роль вожака спасательной лодки. Для этого нуженъ и человекъ не трусъ, бывалый, и лошади опытные, привычныя. Самая удобная и безопасная роль достается на долю средней кибитки; задняя пользуется уже гораздо меньшею безопасностію, сравнительно съ средней, и именно вотъ почему: первая кибитка распознаетъ дорогу, впередъ передъ нею—полнѣйшая неизвѣстность, одно темное *авось*. Если она наткнется на провалъ, на переломъ, на полынью или на черзчуръ тонкую кору —

ей грозитъ первая опасность и первая бѣда. Вторая и третья кибитки спасаютъ товарища, и затѣмъ уже ищутъ пути въ сторону, въ обѣздъ опаснаго мѣста. Если же тонкій ледъ выдержалъ первую—авось и вторая проскользнетъ благополучно, развѣ только треснетъ гдѣ-нибудь слегка подъ нею; но тяжести третьей кибитки, послѣ выдержки первыхъ двухъ, ледъ весьма легко можетъ и не вынести, и тогда, того и гляди, что провалились! А коли къ тому жь еще и вѣтеръ случится въ носъ или въ щеку, то и совсѣмъ ужь бѣда: станеть относить въ сторону призывные крики о помощи, такъ что передніе, пожалуй, и не услышать. Люди впрочемъ тонуть очень рѣдко, по большей части въ этихъ случаяхъ платятся своей головой одѣй лошади, но все-таки очень неприятно искупаться въ ноябрѣ мѣсяцѣ въ холодной водицѣ, среди распутия, съ перспективой схватить не то горячку, не то чахотку, какъ необходимое слѣдствіе такого несвоевременнаго купанья.

Итакъ первымъ поѣхалъ молодой Ванюха, вторымъ дядя Мартынъ, а мы позади.

— Ну, помогай, Господи! Какъ-то кривая вывезетъ!—обмолвился вполголоса самъ съ собою извозчикъ.

Во всемъ этомъ было весьма мало утѣшительнаго.

Сначала впрочемъ дѣло шло еще довольно сносно. Рыхлый и мокрый, полурасталый снѣгъ шурстѣлъ и шлепалъ подъ копытами лошадей; по глухому стуку полозьевъ о небольшіе ухабики можно было предположить о достаточной толщинѣ ледяной коры, и моя спутница почти уже начала успокоиваться, какъ вдругъ, отѣхавъ съ версту отъ берега, къ ужасу ея, лошади стали шлепать копытами своими уже не по снѣгу, а по голой водѣ.

Такъ проишлепали онѣ съ версту. Спутница моя дрожала отъ страха и жалась какъ-можно дальше и крѣпче въ уголокъ кибитки, какъ-будто въ этомъ углу предстояло ей болѣе спасенія и защиты, въ случаѣ опасности. Наконецъ всѣ три возницы наши остановились. Ванюха сталъ заворачивать назадъ.

— Куда те, глѣнаго, тянетъ?! Пошто сворачиваешь-то? — кричали ему извозчики и особенно дядя Мартынъ, которому въ этомъ случаѣ предстояло путешествовать первымъ.

— Нельзя, братцы: сѣдоки больно воютъ... — отозвался Ванюха, продолжая осторожно сворачивать.

— Какі сѣдоки выть-те стануть? Что врешь-то, песъ ты эдакій? — оспаривалъ дядя Мартынъ.

— Воютъ... Сѣдочиха все больше... Ничего не подѣлаешь...

— Сѣдочиха... ну, и пушай ее! а тебѣ что? ты, знай, вези!

— Это бы ништо... да вотъ... лошади больно

пугаются... нейдутъ совсѣмъ... ужь я лучше позади поѣду...

— Лошади! эвона выдумалъ—лошади!—съ неудовольствіемъ гарлапанилъ дядя Мартынъ.

— Просто трусъ празднуешь!...

Нашъ извозчикъ больше всего помалчивалъ; оно и понятно: поѣзжай Ванюха заднимъ, ему выдается середка—то-есть наиболѣе безопасный путь, и потому на всѣ возраженія дяди Мартына онъ только примолвливалъ, въ видѣ притиренія враждующихъ сторонъ:

— Да ну его! пушай ѣдетъ сзади! бѣда вездѣ свое сыщеть! Пушай его!

Дядя Мартынъ согласился съ этимъ послѣднимъ аргументомъ, что бѣда дѣйствительно вездѣ свое сыщеть, и потому, пославъ молодому Ванюхѣ довольно крѣпкое пожеланіе, тронулъ лошадей. Но натура не выдержала: черезъ минуту онъ поднялся на своемъ мѣстѣ, обернулся назадъ и съ какимъ-то утѣшительнымъ злорадствомъ прокричалъ ему:

— Вотъ, постой: двадцати сажонъ не проѣдешь, какъ провалишься, лѣша-ай!

А лошади межъ тѣмъ все шлепаютъ да шлепаютъ по водѣ, почти на четверть покрывающей кору льда; шлепаютъ онѣ, пугливо пофыркивая и тревожно мотая головами, и брызги воды изъ-подъ копытъ ихъ разлетаются въ стороны, и дождемъ попадаютъ въ лицо, чуть только слегка вытаскивъ его за край кузова.

Вдругъ позади насъ раздаются отчаянные крики:

— Стой! стой!..—кричатъ и вопять разнообразные голоса и громче всѣхъ голосъ молодого Ванюхи.—Тонемъ!.. провалъ!.. спасите!..

Ямщики остановились, слѣзли съ облучковъ, и проворно кинулись къ задней кибиткѣ. Тамъ все еще раздавались эти злобѣщія крики и пронзительные, истерическіе вопли купчихи, обезумѣвшей отъ страха.

Моя помощь, какъ человѣка совершенно неопытнаго и неумѣющаго, не могла быть тутъ у мѣста: я только могъ бы мѣшать или разыгрывать роль Крыловской мухи, а потому и предпочелъ остаться въ кибиткѣ, вмѣсто того чтобы за даромъ до костей промачивать себѣ ноги; да къ тому же человѣкъ—животное самое эгоистическое, и это гнусенѣе чувство самохраненія всегда сильнѣе начинаетъ говорить въ немъ при видѣ близкой, но чужой опасности, которая, случись только съ нимъ самимъ, такъ онъ первый возопилъ бы о посторонней помощи и первый же заклеилъ бы это эгоистическое чувство самохраненія въ своемъ ближнемъ. Все, что сдѣлалъ я въ данную минуту, такъ это то, что высунулся изъ кибитки и наблюдалъ въ такомъ положеніи всю сцену, происходившую позади, не болѣе какъ саженьхъ въ двухъ разстоянія.

А сцена дѣйствительно была ужасная. Тонкая кора льда не выдержала напора лошади-

ныхъ копытъ, треснула, обломилась, и пара коней рухнула въ воду. Слышенъ былъ плескъ брызговъ да шумъ воды, который производили лошади, тѣсно барахтавшіяся въ глубинѣ ногами. Надъ поверхностью торчали только ихъ испуганный, фыркающія морды. Передокъ кибитки тоже погрузился въ воду, такъ-что она торчала въ весьма небезопасномъ, наклонномъ положеніи, и почти съ каждымъ порывистымъ движеніемъ лошадей, все болѣе и болѣе передкомъ подавалась въ глубь. Къ счастью, сѣдоки успѣли выскочить во-время и вытащить почти безчувственную женщину. Кибитники въ этомъ случаѣ народъ привычный и знаютъ снаровку, какъ дѣйствовать. Первымъ дѣломъ тутъ надо стараться какъ-можно скорѣе снять упряжь съ лошадей, что впрочемъ далеко не всегда удается, а коли не удастся, нечего дѣлать: пусть ужь гибнутъ лошади!

Не помню уже, какими судьбами, только тутъ тремъ извозчикамъ, при помощи двухъ дожихъ купцовъ, удалось таки вытащить лошадей и поставить ихъ на ноги. Кое-какъ, съ осторожностію, объѣхали они послѣ этого провалъ и, по обыкновенію, стали держать совѣтъ между собой. Изъ этого совѣщанія оказалось, что ѣхать парюю очень небезопасно: въ восемь копытъ рядомъ сильнѣе на ледъ напираетъ, да и коли, бороня Богъ, второй разъ придется кому-либо провалиться, такъ вытаскивать не-въ-примѣръ труднѣе, и потому положили пристяжныхъ выпрячь и привязать ихъ позади кибитокъ, а путь продолжать далѣе на однихъ коненникахъ. Такъ и сдѣлали.

— Ну, слава те, Господи!—проговорилъ нашъ извозчикъ, весь мокрый садясь на свой облучекъ.—Пронесъ Господь милосливый! А дядя Мартынъ, шатунъ его дери, словно ворона, напроорочилъ бѣду Ванюхѣ!..

Я тоже не могъ не согласиться съ тѣмъ, что дѣйствительно пронесъ Господь милосливый, потому что не сверни Ванюха коней своихъ назадъ, такъ это пріятное приключеніе предстояло бы нашей кибиткѣ.

Мы подвигались впередъ медленно, шагъ за шагомъ, съ большою осторожностію. Нашъ извозчикъ впрочемъ раза два порывался маленько потрусить рысцою, да дядя Мартынъ каждый разъ немедленно же вводилъ его въ границы благоразумія, посредствомъ убѣдительно-крѣпкаго слова, чуть только заслышитъ позади себя рысцее шлепанье копытъ.

А сумерки межъ тѣмъ ужь давнымъ-давно сгустились совершенно и перешли въ мутную, туманную ночь. Мелкій дождь все сѣется себѣ да сѣется, и конца, кажись, ему не будетъ. Вѣтеръ съ моря по-прежнему продолжаетъ дуть, все съ той же порывистостію. И съ какою-то невыразимою тоскою прислушиваешься къ однообразному шлепанью копытъ, къ плеску брызговъ и къ порывамъ этого гнилого вѣтра...

Различаешь иногда и тотъ звукъ, съ которымъ вода, проступившая надъ корою и взбаломученная инымъ, слишкомъ сильнымъ порывомъ вѣтра, небольшою волной плеснется въ бокъ кибитки. Ёзда такимъ образомъ и по такому странному пути доставляетъ не совсѣмъ обыкновенное ощущеніе.

Вдругъ навстрѣчу попадаетъ какая-то кибитка—изъ Кронштадта въ Рамбовъ. Въ кибиткѣ веселые офицеры. Катятъ-себѣ рысью—и горя имъ мало!

— Что, какъ дорога?—окликнулъ дядя Мартынъ.

— Забирай все влѣво, влѣво забирай!—отозвался встрѣчный извозчикъ, махая влѣво (вѣроятно для пущей убѣдительности и поясненія) рукою.

— А что?—спросилъ его снова Мартынъ.

— Да тамъ, вправѣ, два провала, какъ разъ наткнешься!

— Да какъ его опознаешь, провалъ-то?

— А я тамъ негожую рукавицу кинулъ, да полѣшко торчмя поставилъ, чтобы, значить, знатѣ было...

— А далече до провала-то будетъ до первого?

— Не, недалечко; съ полверсты-то будетъ еще... Ты—сказано влѣво! влѣво все больше!

— А!.. Ну, спасибо!.. А тамъ позади тоже провалъ оставили,—присовокупилъ онъ и со своей стороны проѣзжему ямщику.

— Гдѣ?

— Тамъ... тоже, поди чай, съ полверсты, коли не болѣе будетъ...

— Ну, тамъ опознавай, какъ знаешь, коли есть охота!—перемолвился Ванюша, успѣвшій уже приободриться.

— Ы, черти! право черти!—окликнулъ всѣхъ насъ встрѣчный извозчикъ, и съ неудовольствіемъ покатилъ далѣе, повукаемый веселыми офицерами, которые во все широкое горло орали фолишонъ.

Мглистая ночь ступалась все болѣе и болѣе. Въ трехъ-четырехъ шагахъ уже трудно было что-либо разглядѣть, слѣдовательно разсчитывать на старую рукавицу съ полѣшкомъ нечего было и думать. Оставалось ѣхать на авось. Мы такъ и ѣхали. Положеніе дѣйствительно было одно изъ весьма затруднительныхъ: позади провалъ, впереди два, подъ ногами ежеминутный рискъ сдѣлать третій и самимъ, пожалуй, провалиться. Отъ Рамбова отѣхали, приблизительно, около трехъ верстъ; до Кронштадта, значить, остается немного побольше четырехъ. Итакъ мы на серединѣ пути. Назадъ воротаться не къ чему: и бесполезно, и небезопасно. Впереди ничего не видно. Ямщики побросали вожжи.

— Пушай, значить, сами идутъ: на то они и животы, чтобы по духу дорогу отыскивать.

И животы, точно, по духу отыскивали ее.

А несносный плескъ воды подъ копытами непрерывно и тоскливо раздается въ ухахъ.

— Что, полынья есть?—спросилъ я у своего ямщика.

— Есть... подъ Кронштадтомъ... поправѣ Камчатки будетъ,—отозвался онъ.

— А что, пожалуй можно наткнуться?

— Затѣмъ наткаться? Никто какъ Богъ!.. Вотъ позавчера осенью дядя Мартынъ ѣхалъ...

— Такъ что?

— Наткнулся... И добро бы хмѣльной, а то вѣдь нѣтъ: тверезой! Такъ съ кибиткой и съ лошадьми его и сунуло въ нее прямо! Думалъ тутъ и конецъ, анъ вотъ нѣтъ же, благо полынья-то подъ берегомъ была, сажень этакъ съ десятокъ ширины; подъ самый берегъ подходила. Ну, тѣмъ и спасся; а то бы, значить, бѣда: безъ покаянья бы душу отдалъ.

— Чѣмъ же спасся-то?

— А вотъ, лошадь у него умная, коренникъ-то. И, страсть, просто, какая умная! Она и выручила. Какъ попала въ полынью, такъ наперво маленько запужалась, а тутъ сейчасъ же и прочухалась—взила да и поплыла, а за ней и кибитка...

— Какъ—и кибитка поплыла?

— И кибитка маленько проплыла. Ну, да стало воды въ нее набираться, она и стала грузнуть. Только подъ берегомъ мелковато вѣдь, такъ оно и ничего, потонуть-то нельзя. Лошади сейчасъ и почувли дно подъ ногами—ну и пошли; такъ на берегъ и вытащили. Только сѣдоки (двое сѣдоковъ было) до-смерти запужались да перемокли всѣ.

— Что жъ, и ничего съ сѣдоками-то больше не было?

— Больше и ничего. Одинъ только, сказывали, померъ, а другой ничего. Нѣтъ ужъ вы, ваше благородіе, не извольте сумлеваться! Предоставимъ вѣрно! На чаекъ еще пожалеете!—добавилъ онъ обычнымъ, при этихъ оборотахъ рѣчи, умильно-занскивающимъ голосомъ, оборачивая ко мнѣ свою ослабившуюся року.

Наконецъ далеко вправѣ стала вырисовываться какая-то сплошная, огромная темная масса.

— Ну, вотъ, слава-те Господи! ужъ и Кронштадтъ, почитай, подъ носомъ!—не безъ удовольствія замѣтилъ извозчикъ и веселымъ покрикомъ сообщилъ объ этомъ товарищамъ.

— Вотъ ужъ и Камчатка видна!—спустя четверть часа замѣтилъ онъ.—Теперь надо забирать лѣвѣе, отъ полыньи подале; какъ, значить, минуемъ Камчатку, такъ ужъ и ничего, значить, пронесъ Богъ счастливо...

Камчаткой кронштадтскіе жители называютъ какой-то запасный магазинъ, складочное мѣсто какого-то казеннаго имущества, нѣчто въ родѣ прочаго сарая, построеннаго въ водѣ

частью на сваяхъ, а частью на насыпи, неподалеку отъ длиннаго деревяннаго мола, къ которому пристають петербургскіе пароходы.

Только-что миновали мы эту Камчатку, какъ вдругъ, смотримъ: навстрѣчу къ намъ приближается какая-то движущаяся масса; поравнялись, глядимъ: спасательная лодка, запряженная матросами.

— Куда?—окликнулъ ихъ извозчикъ.

— Въ Рамбовъ. Экстренную почту перетаскиваемъ...

Только съ этой неожиданной встрѣчей я позналъ всю опасность сдѣланнаго нами переѣзда, и, признаюсь, нервная дрожь на минуту пробѣжала по моимъ жиламъ, замѣняясь впрочемъ тотчасъ же пріятнымъ сознаніемъ минувшей опасности. Что дѣлалось во все время дороги съ моей спутницей — я ужъ и не говорю. Она послѣ этого нѣсколько дней страдала страшнѣйшимъ разстройствомъ нервовъ, что впрочемъ еще очень хорошо, потому что могло бы окончиться гораздо хуже.

Таково было мое первое довольно сильное ощущеніе, испытанное мной подъ Петербургомъ.

Второе ощущеніе пришлось испытать въ ту же зиму, только въ декабрѣ мѣсяцѣ, и также на пути въ Кронштадтъ.

Условились мы отправиться туда съ покойнымъ Л. А. Меемъ. Вечеромъ, около половины десятаго, а его утащили изъ большаго общества отъ шахматной игры, до которой онъ былъ страстный охотникъ; сѣли мы съ нимъ на извозчика и пріѣхали на Пряжку. Въ Петербургѣ, чего, можетъ быть, вы петербургскіе жители, и не знаете, есть небольшая рѣченка этого имени; протекаетъ она въ 4-й Адмиралтейской (нынѣ Коломенской) части, за Козимъ болотомъ близъ Бердова завода. Рѣченка она скверная, и потому намъ до нея нѣтъ никакого дѣла, а есть дѣло до Пряжкина моста, который служитъ главнымъ сборнымъ пунктомъ кронштадтскихъ кибитниковъ, и не столько самый мостъ, сколько прикрѣпленный близъ него дражной трактиришко, подъ звучнымъ именемъ «Палермо». Если вы перевалитесь въ другую часть Офицерской улицы, за Крюковъ каналъ, за Литовскій замокъ, минуете новую кирпичную кирку съ жестянымъ коническимъ шпиромъ, то вы непременно увидите, въ самомъ концѣ Офицерской, одноэтажный, старенькій деревянный домишко, съ зелеными ставнями. Это-то вотъ и будетъ «Палермо». Впрочемъ не замѣтить его трудно, ибо отличительнымъ признакомъ его являются десятка два-три кибитокъ, выкрашенныхъ въ красную, а иногда даже, ради пущей красоты и шика, и въ малиновую краску, и столько же, если еще не болѣе кибитниковъ, въ синихъ армячкахъ и высокихъ малахаяхъ, которые, т. е. кибитники, вѣчно горлопанять о чемъ-то между собой.

— Въ Кронштадтъ изволите? Кибитка требуется? Вотъ, со мной пожалуйста! Лѣхо достаю! Съ нимъ не рядитесь, у него лошади паршивыя и кибитка плюгавая! Извольте билетъ! Билетъ извольте! Пять рубликовъ пожалуйста—останетесь довольны!

Залпомъ подобныхъ восклицаній немедленно огорашивается каждый смертный, останавливающийся по срединѣ улицы, противъ «Палермо», съ цѣлью переправиться въ городъ Кронштадтъ. Вся ватага кибитниковъ, словно мухи надъ сладкимъ, обхлѣпляютъ его со всѣхъ сторонъ, дергаютъ, тормошатъ, кричатъ, суютъ прямо къ носу свои билеты, торгуются, начиная почти всегда съ пяти рублей и порѣшая на двухъ и даже на полтора, причемъ обыкновенно является нѣсколько конкурентовъ, согласившихся на вашу плату, которые мнутъ и тащатъ васъ за рукава и полы въ разныя стороны, каждый къ своей кибиткѣ, и право, иной разъ, глядя на это дѣрганье за рукава и полы, вамъ не шута покажется, что они хотятъ съ васъ стащить верхнее платье.

Наконецъ является побѣдитель—тотъ, кому удалось захватить ваши вещи и уложить ихъ въ свою кибитку; вы уже по-неволѣ слѣдуете за нимъ, а иногда случается, что одной рукой онъ потащитъ ваши вещи, а другой васъ за шиворотъ, и—дѣлать нечего—волей-неволей, вы садитесь въ его двухмѣстную кибитку, въ которую, за надобностью, можетъ быть втиснуть и третій; кибитникъ, живо подобравъ вожжи, бойко трогаетъ лошадей, дескать: «Глядите, черти, лихо предоставимъ!» и переваливается за Пряжкинъ мостъ, сопровождаемый обычнымъ, всепремѣннымъ въ этихъ случаяхъ, смѣхомъ и островами товарищей.

Всю эту необходимую процедуру перешли, конечно, и мы. Минуту черезъ пять перевалились мы черезъ Неву, на ту сторону, на Васильевскій островъ. Вотъ и Чекуши пошли мимо насъ, со своими заводами и фабриками. Ъдемъ Кожевенной линіей. Вотъ и казарма нупраздненный караульный домъ... Огонекъ мерцаетъ у воротъ, на самомъ спускѣ въ море. Таможенный ошупалъ наши ноги, и пропустилъ себя съ Богомъ. Выѣхали на ледъ.

Ночь была одна изъ самыхъ чудныхъ зимнихъ ночей. Ясная, прозрачная, глубоко-синяя... Морозъ стоялъ довольно крѣпкій, но его совершенно почти не было слышно, потому что не ходило ни малѣйшаго вѣтра. Въ воздухѣ разлита была такая тишина, что дымъ отъ закуреной мной сигары даже не разлетался, не разсѣвался въ стороны, а тихо рѣялъ по кибиткѣ, словно бы въ комнатѣ. Звѣздъ высыпало несмѣтное число—все темносинее, высоко ушедшее небо искрилось и словно теплится ими.

Весело и бодро бѣжали лошади, еще того

веселье посвистывалъ на нихъ и помахивалъ кнутикомъ извозчикъ. Двѣ темныя башенки на валу Галерной гавани остались за нами, вправо; вотъ и первая вѣха, которыми обозначается кронштадтскій путь, и идутъ эти вѣхи безконечной прямой линіей вдаль, въ двадцати саженьяхъ разстоянія одна отъ другой, по обѣимъ сторонамъ импровизированнаго зимняго пути. Когда этотъ путь находится въ благоустроенномъ состояніи, то на немъ, черезъ каждыя три версты, полагается сторожевая будка, съ колоколомъ и фонаремъ. Во время ночныхъ метелей фонарь служитъ въ нѣкоторомъ родѣ спасательнымъ маякомъ для блуждающихъ путниковъ, а колоколъ имѣетъ назначеніе звономъ своимъ возвращать заблудшихъ на путь истинный. Вообще зимняя кронштадтская дорога устроится очень филантропично; жаль только, что устроится-то не сразу, а съ милой постепенностью. Ледъ напримѣръ сталъ въ срединѣ ноября. Черезъ четыре или пять дней открывается по немъ санная ѣзда. Кронштадтскій купецъ Сорокинъ тотчасъ тащить на середину пути, за двѣнадцать верстъ отъ города, небольшую, весьма миниатюрную будочку, въ которой нѣсколько свободно могутъ помѣститься человѣка четыре, много пять, а по нуждѣ на перепутьи набивается иногда и болѣе десятка; въ этомъ послѣднемъ случаѣ путники, минутные посѣтители гостепріимной будочки, довольно наглядно, чтобы не сказать вполне, испытываютъ состояніе сельдей, напиханныхъ въ тѣсный боченокъ. Въ будочкѣ помѣщается буфетъ, гдѣ можно найти рюмку водки или хереса, черствый бутербродъ, стаканъ чая и даже одеревенѣлыя цукаты, какъ лакомство для прекраснаго пола, которое впрочемъ остается почти неприкосновеннымъ въ теченіе цѣлой зимы. Недѣли черезъ три послѣ постановки на перепутьи будочки купца Сорокина, военная команда начинаетъ устанавливать путеводинъ вѣхи. Тогда же приступаютъ и къ постройкѣ «выставки» — домика на курьихъ ножкахъ или на сваяхъ, о пяти или семи окнахъ, съ кухней и двумя-тремя клѣточками въ видѣ комнатъ, гдѣ вы уже можете расположиться съ гораздо большимъ комфортомъ и даже позавтракать или поужинать съ бутылкой какого угодно вина. Недѣли опять черезъ три, а иногда и больше, приступаютъ къ постановкѣ поверстныхъ караулокъ, о которыхъ мы уже говорили, и тогда — кронштадтскій путь готовъ и благоустроенъ. Это окончательное благоустройство случается съ нимъ около святокъ, а до того благополучнаго времени ночныя метели рѣшительно не встрѣчаютъ себѣ никакого антагонизма ни въ фонаряхъ, ни въ колоколахъ и гуляютъ себѣ по всему вольному простору Финскаго залива.

Какъ только пошли вѣхи, ямщикъ нашъ

своротилъ гораздо въ сторону отъ нихъ, сажень на полтора, если не болѣе, и все время колесилъ около нихъ такимъ образомъ, то съ той, то съ другой стороны, совершенно непонятными и совершенно излишними зигзагами и дугами. Это обычная манера ѣзды кронштадтскихъ кибитниковъ.

— Для чего вы всѣ никогда не ѣздите по вѣхамъ? — спросилъ я извозчика.

— Да для ча по вѣхамъ-то ѣздить?

— Какъ «для ча?» Дорога прямѣе!

— Ну и пушай ее!.. Такъ-то лучше...

— Почему же лучше? Вѣдь по вѣхамъ гораздо ближе, а вы вотъ, колеситъ-то такъ, только пути прибавляете себѣ.

— Нѣтъ по-нашему ближе...

— Да какъ же такъ?

— Да ужъ такъ... сказано ближе! Ужъ такъ мы всѣ испоконъ вѣка ѣздаемъ.

Я никакъ не могъ добиться, почему именно ближе такъ, а не по вѣхамъ; ямщикъ этого никакъ не могъ объяснить мнѣ, и кончилъ только тѣмъ, что по вѣхамъ ѣздить скучно.

— Да вѣдь и колесить не веселѣе? — возразилъ я.

— Нѣтъ, стало-быть, веселѣе! Для лошадей не въ-примѣръ вольготнѣе! — и съ этими словами онъ загнулъ новую дугу сажень на сто отъ прямой дороги.

Ночь стояла все такая же свѣтлая, тихая и свѣжая, лошади бѣжали очень шибко, и мы менѣе, чѣмъ въ часъ, были уже на перепутьи въ миниатюрной будочкѣ купца Сорокина. Это было въ одиннадцать часовъ. Мы пили еще чай, какъ небольшой порывъ вѣтра слегка хлопнулъ ставенькой.

— Ого!.. подымается! — замѣтилъ извозчикъ, зашедшій въ будочку угоститься съ холоду рюмкой водки.

— А что?

— Надо быть погодѣ... Все было тихо, а тутъ, вишь ты, ударило... Это не просто... Ну, да авось доберемся до Кронштадта, пока разыграется! — махнувъ рукой, съ какой-то успокоительной беззаботностью, домолвилъ онъ.

Въ началѣ двѣнадцатаго мы снова сѣли въ кибитку и тронулись. Повѣвалъ легкій вѣтерокъ небольшими, случайными порывами: нѣтъ, нѣтъ, да вдругъ и подхватитъ и опашнетъ морознымъ холодомъ лицо. Съ каждой минутой вѣтерокъ этотъ все крѣпчалъ и крѣпчалъ, порывы его становились сильнѣе и чаще. Я высунулъ за край кузова, взглянулъ на небо: оно начинало заволакиваться тучами; звѣзды частью попрытались за туманомъ набѣжавшихъ облаковъ, а частью стали словно бы тускнѣть, слабѣть; въ нихъ уже не было замѣтно той игры, того яркаго блеска, который сверкалъ въ нихъ за часъ передъ этимъ при тихой и ясной погодѣ.

Не прошло и получаса, какъ вѣтеръ уже

овернуть, сильный порывъ его просвистѣлъ тѣмъ особеннымъ звукомъ, который является въ открытыхъ мѣстахъ вѣстникомъ начавшейся метели, бури, пурги; просвистѣлъ—и вдругъ осыпалъ насъ снѣжной пылью, колючей и крѣпкой, которая сразу ожгла лицо.

— Ну, господа, держись! Спочинается... проговорилъ озабоченнымъ тономъ ямщикъ, и еще шибче погналъ лошадей.

— Эка напасть! такъ-таки прямо въ глаза и лѣпнать... рѣжетъ, просто хотъ вожжи бросай; глядѣть ни чуточку нельзя! — говорилъ онъ самъ съ собою, по прошествіи минутъ пяти, протирая рукой глаза, залѣпленные наносной пылью.

Вѣтеръ дѣйствительно дулъ прямо въ лицо и несъ на насъ цѣлыя облака снѣга. Въ какіе-нибудь четверть часа уже невозможно было узнать прежней ясной ночи—поворотъ отъ тишины къ бурѣ былъ почти мгновененъ. Вся ледяная непогода залила словно дымилась высоко-взметавшимися снѣгами; но какъ взметались они, какъ подымались, росли, клубились на-лету, словно дымъ, и ходили шатаясь высокими снѣжными тифонами, это можно было мало-мальски еще разглядѣть только въ началѣ метели, когда она не успѣла еще со-всѣмъ затемнить своею массою свѣтъ ночного неба; черезъ мгновеніе, съ однимъ сильнѣйшимъ и продолжительнымъ порывомъ бури ничего уже больше невозможно было разглядѣть: все—и ночь, и свѣтъ ночной, и весь воздухъ, и снѣгъ—все это слилось въ какую-то безразличную, безцвѣтную, тускло-сѣроватую массу; которая въ двухъ-трехъ шагахъ не позволяла уже ничего видѣть и только выпала въ лицо мириады холодныхъ, колючихъ и рѣжущихъ снѣжинокъ. Вѣтеръ, вольно, не умолкая ни на минуту. Порою онъ только усиливалъ свой ревъ. Да, именно ревъ. Я только тутъ, въ эти мгновенія, увидѣлъ и понялъ весь леденящій ужасъ бури.

Это была не та буря, про которую Пушкинъ говорить:

„То какъ звѣрь она завоетъ,
То заплачетъ, какъ дитя“.

Нѣтъ! А это былъ такой раздражающій душу и нервы ревъ какъ если бы положить рядомъ баталіонъ солдатъ и нещадно начать пороть его батожемъ; тогда бы, мнѣ кажется, это было нѣсколько похоже! Это былъ не вой, а крикъ, страшный, холодящій, терзающій васъ крикъ, словно бы крикъ отчаянія самой природы—звуки живыхъ существъ положительно слабы и ничтожны для передачи этого рева. Его надо слышать и испытать на своихъ нервахъ, но передать нѣтъ никакой возможности. Впрочемъ, что я говорю: «слышать и испытать!» Не дай Богъ ни слышать, ни испытывать—по крайней мѣрѣ, я и врагу своему не

пожелалъ бы пережить такую ночь, какую мы тогда переживали.

Мы давнымъ-давно уже потеряли торную дорогу и бороздили снѣга Богъ-вѣсть въ какихъ мѣстахъ. Раза два натыкались мы на *шоры* ¹⁾, и кибитка, попавшая такимъ образомъ на торчащіе ледяные обломки, переваливалась на который-нибудь бокъ и падала, вываливая конечно и насъ въ снѣжные сугробы. Тутъ приходилось выкарабкиваться изъ-подъ нея, ставить ее въ надлежащее положеніе и высвободить изъ шоръ, между которыми она засыдала. Вѣхъ невозможно было разглядѣть. Лошади только нѣсколько разъ мордами своими натыкались на нихъ и пугливо, съ храпомъ, шарахались въ стороны. Сначала мы радовались было этимъ встрѣчамъ лошадиныхъ мордъ съ путеводными вѣхами, но вскорѣ поняли всю ихъ бесполезность, потому что, за невозможностью разглядѣть что-либо, эти вѣхи черезъ два-три шага терялись изъ вида, и передъ нами опять выступала полнѣйшая безизвѣстность и темнота.

Но всѣ эти маленькія бѣды не имѣли никакого значенія передъ тѣми выходами, какія продѣлывалъ съ нами вѣтеръ. Онъ капризными порывами своими такъ рылъ, и крутилъ, и вздымалъ цѣлыя полосы снѣга, что сразу подхватывалъ массу съ значительнаго пространства и уносилъ ее съ вихремъ, оставляя одинъ голый, какъ зеркало скользкій ледъ. Вотъ когда кибитка наша попадала на такое пространство чистаго льда, бѣшенный порывъ вѣтра подхватывалъ ее въ одну сторону, лошади шарахались въ другую, но, усталые и изнеможенные, не могли справляться съ этой силой налетнаго вихря и отдавались на его волю. Вихрь этотъ гналъ кибитку нашу, какъ легкое перышко, и она, вмѣстѣ съ лошадьми, сама собою скользила по этому зеркально-гладкому льду, пока все тотъ же порывъ не сунетъ ее въ сугробъ, въ которомъ по живое загрузнутъ лошади и завязнутъ полозья. Такъ шло у насъ. А снѣжокъ—чистый этакій, бѣлый, мягкій, пушистый—такъ и завѣваетъ, такъ и завѣваетъ насъ со всѣхъ сторонъ... И съ каждой минутой навѣваетъ его все больше и больше... Вотъ ужъ съ одного бока онъ почти вровень съ верхомъ кузова, съ другого только еще до фартука добрался, а впереди лошадей совсѣмъ замело—ужъ и спянь не видать... Видно только, съ какимъ испугомъ, съ какимъ отчаяніемъ онъ подымается и дергаютъ кверху свои морды, стараясь высвободить ихъ изъ-подъ нарастаю-

¹⁾ *Шоры*—это переломленный и перетрещенный ледъ, вслѣдствіе осеннихъ напоровъ воды и вѣтра, взламывавшихъ кору. Эти обломки заставляютъ то торчать, то наклонно, то пластами одинъ на другомъ, и образуютъ то, что называется *шорами*.

ищаго все больше и выше сугроба, который, через нѣсколько мгновений, долженъ будетъ замести ихъ совсѣмъ съ головами, да и насъ съ кибиткою тоже...

Вотъ гдѣ человѣкъ исполнѣ чувствуетъ свое безсиліе, вотъ гдѣ онъ становится жалкой, безсильной и даже безмолвной жертвой природы! Чувство, овладѣвавшее мною въ эти минуты, было такого рода: во-первыхъ, чрезвычайно ясное сознание близкой и почти неизбежной смерти; во-вторыхъ, сознание своего полнѣйшаго безсилія и невозможности какой бы то ни было борьбы, и въ-третьихъ, тоскливое чувство безсильной злобы противъ природы и самого себя. У Меня кромѣ этого проглядывало еще какое-то ироническое отношеніе къ обстоятельствамъ.

— Вишь, какъ нѣжно онъ завѣваетъ... говорилъ онъ въ то время, когда пыль словно духомъ опахивала намъ щеки, и въ голосѣ его слышалась какая-то особенная улыбка.—А хотѣлось бы знать, скоро ль замететь совсѣмъ...

Я, подавляемый чувствомъ своей злобы, ничего не отвѣчалъ и все время продолжалъ молчать.

— Но вѣдь, ей-Богу, глупо умирать подобнымъ образомъ!—началъ онъ снова, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Это все единственно, — отозвался извозчикъ.—Одно только—безъ батяки помрешь, а то бы ничего. Да авось пронесетъ: никто, какъ Богъ! — прибавилъ онъ, вѣроятно для ободренія насъ; но видно было, что самъ онъ весьма мало вѣрилъ въ возможность этого *авось*, потому что слова свои проговорилъ какимъ-то жалкимъ, совсѣмъ ужъ безнадежнымъ голосомъ.

И все-таки, даже при всей видимой безнадежности этого *авось*, оно на мгновение какъ-то электрически подѣйствовало на насъ: мы повѣрили въ возможность спасенія, но увы!.. не болѣе какъ на мгновение!..

— А крѣпко не хотѣлось-бы засыпать въ сугробѣ!..—продолжалъ Мей, все съ тою же ироническою шутильностью.—Во-первыхъ—глупо! Ну, на что это похоже? Завѣть, замететь тебя, словно булыжникъ на дорогѣ, а ты и не пошелохиясь... Это оскорбительно! А во-вторыхъ—я голоденъ; теперь бы рюмку водки да *бутъ рбродъ съ икрой*, такъ хорошо было бы... А въ-третьихъ... что же это, право?.. «Царскую Женишу», Василису Мелентьевну свою не кончу... Одинъ только актъ написалъ! Это ужъ хуже всего!.. Это досадно!.. А знаешь,—прибавилъ онъ опять послѣ короткаго молчанія,—какую она тамъ у меня пѣсню поетъ, Василиса-то?—Лихую пѣсню! Иванъ Грозный приходитъ къ ней, на Замоскворѣчье... Вотъ она и начинается съ гуслями:

Какъ ложилася осенняя метель
Со самимъ сѣдымъ морозомъ на постель...

...Эта пѣсня намъ и теперь къ стати бы пришлась... Вотъ этого мнѣ точно будетъ жаль, если «не кончу!»¹⁾

Въ это время раздался лошадиный храпъ. Коренникъ сдѣлалъ усиліе, чтобы рвануться куда-нибудь въ сторону, но не рванулся никуда: онъ весь ужъ былъ подъ снѣгомъ, головы его почти совсѣмъ уже не было видно... Онъ старался высвободить ее изъ-подъ снѣга и порывисто захрапѣлъ съ испуга.

— Да, братъ, наступаетъ торжественная минута: два поэта погибаютъ, — говорилъ Л. А. все съ тою же ироніей, — и никто не узнаетъ объ этомъ. Развѣ Зотовъ, по старой памяти, въ «Иллюстраціи» некрологъ напишетъ...

Я не отвѣчалъ ничего и на эти слова; меня только удивляло въ немъ это спокойное ироническое отношеніе къ такимъ обстоятельствамъ, въ какихъ находились мы въ ту минуту. Впрочемъ и моя безсильная злоба успѣла перейти въ покорное равнодушіе. Я созналъ, что это неизбежность, противъ которой ужъ ровно ничего не сдѣлаешь. Это была моя глубокая, безошибочная увѣренность.

Но какъ хорошо, что людямъ дана возможность ошибаться и разувѣряться! Та самая минута, которую мы считали своей смертной минутой, принесла намъ спасеніе. Вдругъ неожиданно налетѣлъ такой неистовый порывъ вѣтра, съ такой адской силой ударилъ онъ въ сугробъ, что въ минуту весь онъ былъ уже разметанъ до-чиста, лошадей шатнуло въ сторону—онѣ не сдержались и повалились на-земь, и кибитку нашу въ такомъ видѣ, опять словно легкое перышко, прокатило на нѣсколько сажень по ледяной поверхности.

Мы кое-какъ подняли на ноги измученныхъ лошадей и съ страшными усиліями поплелись далѣе, стараясь держаться прямо противъ вѣтра, такъ какъ онъ дулъ отъ Кронштадта; слѣдовательно, идя противъ него, мы съ большей вѣроятностью могли бы попасть къ цѣли своей поѣздки.

Прошло съ добрыхъ три часа, какъ мы стали держаться этой системы, но близости Кронштадта и признаковъ никакихъ не было. Кругомъ—одна холодная пустыня, столбы снѣга, да отчаянный, несмолкаемый ревъ вѣтра... Но вотъ лошади снова захрапѣли и стремительно попятились назадъ.

— Что тамъ такое?

Извозчикъ слѣзъ съ облучка и пошелъ по-смотрѣть, что было причиной испуга лошадей.

— Эко дѣло какое! — переломъ!.. на переломѣ наткнулись! Теперь, стало-быть, четыре версты до Кронштадта осталось, тутъ надо

¹⁾ Онъ умеръ около пяти мѣсяцевъ спустя послѣ этого; но увы! все-таки не удалось ему окончить свою новую драму «Царская Жениша», которой, кажется, въ рукописи есть только одинъ первый актъ.

быть вправѣ гдѣ-нибудь мосточку... сообщилъ онъ намъ съ проблескомъ нѣкоторой надежды на возможность кое-какъ добраться до мѣста.— Вотъ пуцу лошадей—можетъ по духу потянуть...

И лошади дѣйствительно сами собой повернули вправо, и пошли близъ окраины перелома. Извозчикъ шелъ рядомъ съ ними.

— Слава те Господи!... Мостокъ!... Вона, и вѣхи видать!—радостно закричалъ онъ, черезъ долгое еще время добравшись до этой переправы по окраинѣ перелома.

Переломы дѣлаются отъ сильныхъ морозовъ; когда они крѣпко сжимаютъ ледяную кору, то она трескается и раздается на вѣскольکو вершковъ, иногда на аршинъ и даже болѣе разстоянія; переломъ всегда тянется отъ берега до берега, часто по одной совершенно прямой линіи. На дорогѣ черезъ него настилаются доски, ставятся по бокамъ жердяныя рогатки и двѣ липныя вѣхи, для обозначенія переправы.

Перебрались мы черезъ мостокъ, пропустили мы первую вѣху, но не успѣли сдѣлать и двадцати шаговъ, какъ ужъ снова потеряли путь. Оставалось только одно убѣжденіе, что мы въ четырехъ верстахъ отъ Кронштадта. Ямщикъ, какъ только перешли переломъ, тотчасъ же пустилъ вожжи и положился на инстинктъ лошадей: «авось по духу дотащутъ». И лошади тащили... Долго и много еще плутали и кружили онѣ, но какъ и гдѣ—это ужъ никому неизвѣстно. А холодъ межъ тѣмъ донималъ насъ своею оцѣпняющей стужей. Я сидѣлъ безъ всякаго движенія. Сначала вѣтеръ остужалъ на мнѣ все платье, забирался изъ-подъ шубы за рукава, проскальзывалъ за шею и въ ноги; но потомъ я сталъ какъ-то нечувствителенъ къ нему, мнѣ даже понемногу сдѣлалось тепло, и вмѣстѣ съ этимъ тепломъ такъ сладко, такъ успокоительно стала дожить меня дремота, вѣки невольно слипались сами собой, и не было никакой возможности противиться отрадному, тихому обаянію этого окуывающаго сна... Передо мной уже носились какіе-то образы, какія-то грезы... Я видѣлъ теплую комнату, каминъ, самоваръ на столѣ, чай, горячій, душистый чай, налитый и поднесенный мнѣ рукой любимой женщины... Образъ ея и вся обстановка эта особенно отчетливо рисовались передо мной... Воображеніе получило сильную ясность... Въ груди жило какое-то сознаніе полнѣйшаго счастья, безпредѣльнаго блаженства, что-то свѣтлое, теплое, хорошее и въ высшей степени успокоительное... Потомъ все видѣлись какіе-то листья—огромные, гигантскіе зеленые листья... что-то вроде рѣки иззелена-голубого цвѣта сверкало... звуки несбыточенно пріятные проносились... И въ то же время мгновеніями возвращалось сознаніе дѣйствительности, и я довольно хорошо понималъ, что теперь вьюга, и что мы ѣдемъ въ Кронштадтъ вмѣстѣ съ Меемъ.

— Всеволодъ!—окликнулъ онъ меня, словно

бы съ просонокъ. Я не имѣлъ силы отвѣтить, и не могъ и не хотѣлъ прервать своего отраднато состоянія.—Всеволодъ!—вскрикнулъ онъ громкимъ голосомъ и толкнулъ меня въ бокъ.

— Что тебѣ?—сквозь сонъ и черезъ силу отвѣтилъ я слабымъ голосомъ и не безъ досады на него за это безпокойство.

— Мы замерзаемъ!—тревожно сказалъ онъ мнѣ, стараясь говорить какъ можно громче и энергичнѣе.—Мы замерзаемъ, слышишь ли ты? Меня сонъ такъ и клонитъ!

— А!.. такъ вотъ это что!.. я замерзаю!—мелькнуло у меня въ головѣ, и съ этой мыслию мгновенно проснулся инстинктъ самохраненія, проснулось желаніе жить.

— Не поддавайся!—продолжалъ Л. А.—Я самъ не поддаюсь!.. Старайся шевелить руками и ногами... Больше, сильнѣе!..

Я послѣдовалъ его совѣту, съ усиліемъ открылъ глаза, сталъ дѣлать тѣлодвиженія—и бодрость нѣскольکو возвратилась ко мнѣ.

— Эге, пріятель! да и ты никакъ тоже мерзнешь!—обратился онъ къ ямщику, который уже не сидѣлъ, а, перегнувшись впередъ, клевалъ носомъ хвостъ своей лошади, и далъ ему добраго подзатыльника. Ямщикъ очнулся.

— Батюшки!.. никакъ замерзаемъ!..—пробормоталъ онъ, прочухавшись нѣскольکو отъ своей дремоты, и обернулся къ намъ поглядѣть, спимъ ли мы.

— Плохо дѣло, господа!—сказалъ онъ,—совсѣмъ плохо!.. Одно спасеніе либо кричать, либо пѣсню пѣть, а то, гляди, совсѣмъ закоченѣешь.

— Ну, валий живѣй! да гляди, которую повеселѣ! Настасья знаешь?

— Знаю!..

И онъ затынулъ тоненькой фистулой:

Эй, Настасья! эй Настасья!

Отворяй-ко ворота!

Мы бойко подхватили ее—и дикіе звуки нашихъ замороженныхъ глотокъ слились съ дикимъ воемъ вѣтра, но тотчасъ же были заглушены имъ.

Однако мы все-таки не переставали и безъ конца старались пѣть свою веселую пѣсню.

Вдругъ, вдаль мелькнуло какое-то бѣловатое туманное пятно... то исчезнетъ, то снова покажется, то будто опредѣленіе выяснится, то опять потускнѣетъ.

— Свѣтъ!—радостно закричалъ извозчикъ.—Свѣтъ! Стало быть близко, коли сквозь метель виднѣется! Ну, куда-то Богъ вынесетъ: либо въ Кронштадтъ, либо въ Рамбовъ, а нето, пожалуй, и къ Лахтѣ... всяко бываетъ!

И мы снова еще громче и веселѣе загорлалили свою «Настасью».

Лошади, должно-быть, тоже завидя это пятно, съ каждой минутой выяснявшееся все болѣе и болѣе въ мерцаніи огонька, пошли

гораздо бодрѣе и прямо по направленію къ нему.

— Эге, никакъ Камчатка!—замѣтилъ извозчикъ, заvida впереди, немного полѣвѣе отъ насъ, какую-то темную массу. — Да она и есть, Камчатка!—подтвердилъ онъ, когда поровнялся съ этой массой. — Ну, слава те, Господи! добрались до Кронштадта! Ай да животы! Вотъ такъ ужъ животы! Сослужили службу! Повѣкъ не забуду!.. Теперича хоть и по голому льду, а все же доберемся!

Вдругъ, какъ на зло, подъ полозьями раздался легкій, но зловѣщій трескъ... Кибитникъ мгновенно замолкъ, мы тоже насторожили уши. Лошади медленно подвигались впередъ, и съ каждымъ новымъ шагомъ ихъ—подъ полозьями этотъ трескъ льда повторялся... еще, еще... такъ отчетливо, такъ раздѣльно, аккуратно при каждомъ шагѣ... больше, больше, сильнѣе... И съ каждымъ новымъ трескомъ, колотилось отвѣтъ ему ударомъ мое сердце, колотилось и застывало... И ровно одиннадцать разъ повторился подъ полозьями этотъ трескъ, и ровно одиннадцать страшными сжимающими ударами отвѣтило ему мое сердце. Ужасъ овладѣлъ нами. Ямщикъ осторожно сталъ осаживать назадъ, и во все это время зловѣщій трескъ льда повторялся съ той же постепенностью и такъ же раздѣльно... Это была страшная минута! Переиспытать столько, сколько мы переиспытали,—и вдругъ, передъ самымъ уже концомъ пути, еще новая опасность, еще новый леденящій взглядъ прямо въ глаза самой смерти! Наконецъ кибитка остановилась на твердой корѣ.

— Это, значитъ, полынью затянуло... а мы на нее наскочили,—замѣтилъ кибитникъ и, поручивъ намъ лошадей, пошелъ отыскивать дорогу нѣсколько подтверже той, по которой мы только-что проѣхали близъ Камчатки.

Разстояніе Камчатки отъ берега равняется не болѣе полуверстѣ, и это-то разстояніе мы, почти ошупью, проѣхали приблизительно около часа времени.

— Который часъ?—спросилъ кибитникъ у часового, вѣзжая на берегъ, у заставы при Петербургскихъ воротахъ.

— Шесть часовъ скоро, — было отвѣтомъ ему... Каково! Это мы въ теченіе семи часовъ переѣзжали двѣнадцати-верстное разстояніе.

Наконецъ вотъ и гостиница — Санктъ-Петербургская по прованію. Стучимся. Долго никто не подаетъ никакихъ признаковъ пробужденія но вотъ, черезъ четверть часа послѣ

самаго усиленнаго стука и ломки въ дверь, намъ отворяютъ, т. е. не отворяютъ, а только сквозь затворенную дверь голосъ подаютъ:

— Чего надо?—съ неудовольствіемъ хрипнуть чей-то заспанный басъ.

— Нумерь...

— Нѣтъ нумеровъ—все заняты...

— Что за вздоръ! Нумера у васъ есть всегда о-во-бодные!

— Нынче нѣту...

— Почему же?

— Передъ-праздничная треть, значить. Жалованье получили... Все офицерами заняты... Ужъ вы постучитесь въ «Неаполѣ»—тамъ, можетъ, есть, а у насъ подъ офицерами занято!

И съ этими словами внутренняя дверь наглухо захлопывается—и никакихъ болѣе признаковъ жизни! Сонъ и выюга...

Въ «Неаполѣ» то же самое... послѣдняя треть, значить жалованье получили, и все подъ офицерами...

О, какъ искренно проклинали мы тогда и послѣднюю треть, и жалованье, и господъ офицеровъ, имѣющихъ привычку ночевать въ это время не дома, а въ гостиницахъ!

Наконецъ-то нашли мы пріютъ себѣ въ театрѣ. На лицахъ нашихъ, подобно маскамъ, лежала цѣлая кора льда, которую отрывать руками было невозможно: страшная боль не позволяла; пришлось постепенно оттаивать передъ теплой печью и потомъ натирать щеки снѣгомъ и гусинымъ саломъ.

Этой ночи я никогда не забуду. Слава Богу еще и за то, что она не принесла намъ никакихъ важныхъ послѣдствій, кромѣ легкой простуды.

Вотъ вамъ и второе сильное ощущеніе, испытанное мной подъ Петербургомъ.

Вы можете быть спросите, что же тутъ фантастическаго? Почему я называю все это фантастическимъ рассказомъ изъ дѣйствительнаго міра?

Въ отвѣтъ я попрошу только читателя вспомнить, что онъ живетъ въ городѣ Санктъ-Петербургѣ, котораго мѣстность, природа и внѣшній видъ несутъ такой сильный характеръ сѣренькой, пошловатенькой обыденности, безличности и безцвѣтности, что ждать отъ нихъ чего-либо грандіознаго, ужасающаго было бы болѣе чѣмъ нелѣпо. И вдругъ этакая буря, такое страшное, леденящее ощущеніе,—да развѣ это не фантастично?

С Н О Х А Ч Ъ.

(ИЗЪ УГОЛОВНАГО ДѢЛА)

I.

Необычайное торжество въ Сивыхъ-Жохахъ.

Въ деревнѣ Сивые-Жохи готовилось на завтра большое и необычайное торжество. Завтра — Петровъ день — Сиво-Жохинскій храмовой праздникъ. Цѣловальникъ, по этому случаю, для большаго парада, начисто размель передъ кабакомъ небольшую утопанную площадку и даже надъ дверью утвердилъ новую зеленую елочку, только что срубленную въ придорожномъ еловомъ пролѣскѣ. Бабушка Оекла, съ теткой Аксиньей, за недѣлю еще принялись мірское пиво варить — и точно: сварили на славу. Староста съ дьячкомъ, еще вчера, пошли было пробовать, да такъ и домой не вернулись: уснули на погребцѣ у бабушки Оеклы. Слободскій подгородный мѣщанинъ, что въ красномъ ряду на рынкѣ торгуетъ, пріѣхалъ съ цѣлымъ возомъ краснаго товару и пряниковъ — про дѣвокъ да молодыхъ — и устроился на церковномъ погостѣ, подъ своей парусинной палаткой.

Но это еще все ничего — это и каждый годъ такъ ведется въ Сивыхъ-Жохахъ, подъ Петровъ день. А главное и необычайное торжество заключалось въ новомъ колоколѣ, который завтрашнимъ утромъ долженствовалъ впервые огласить своимъ звукомъ Сиво-Жохинскія веси и дебри, оглашавшіяся доселѣ дряннымъ, надтреснутымъ колоколишкой. Этотъ послѣдній переименовался теперь въ *постовой*, то есть для звону въ великопостные дни; а бывший постовой — въ *наибольшій подголосокъ*. Однимъ словомъ, Сиво-Жохинская колокольная торжествовала: теперь ея звонъ будетъ пожалуй почище, чѣмъ у благочиннаго, а благочинный, бывало на Сиво-Жохинскомъ праздникѣ, всегда хвастается своимъ малиновымъ звономъ.

На погостѣ огромное стеченіе народу — тутъ всѣ Сиво-Жохинскіе, да еще Замурдаевскіе, да Хвостниковскіе порядкомъ понабралось; даже и бабы Хвостниковскія привалили, а о своихъ Сиво-Жохинскихъ нечего и говорить: всѣ, какъ есть тутъ на лицо.

Былъ тутъ Вавило Махрутинъ со своею хозяйкой. Самъ-то Вавило мужикъ хорошій, работающій, хозяйство у него изъ лучшихъ — деньжонки водятся — ну, и молодъ еще, изъ себя только, съ полицы, куда не казистъ! Зато дужь очень: силой Господь одарилъ его. А хозяйка у него бабенка вострая, быстроглазая, бѣлѣлая

и идреная — одно слово: веселая и бойкая бабенка-нарядница.

Зачѣмъ же собрался народъ-то на погостѣ, накануне Жохинскаго праздника?

А вотъ зачѣмъ: надо было подымать на колокольную новый колоколъ.

На вышкѣ, гдѣ были нарочно для этого случая прилажены новыя пали, на которыхъ висѣтъ колоколу, стояли: мастеръ, плотники и кузнецы-заклепщики, всѣ уже порядкомъ подгулявшіе — для большаго куражу при поднятїи. Нельзя иначе: вѣдь они, какъ хотите, невольно чувствовали себя, въ нѣкоторомъ родѣ, героями и распорядителями предстоящаго дѣла: Жохинскій попъ, отецъ Антропій, отслужилъ молебенъ, окропилъ лѣтвой водой колоколъ, стоявшій на площадкѣ передъ колокольной; даже, при всей своей тучности, слазилъ на вышку и тѣмъ-же порядкомъ покропилъ пали, мастера и рабочихъ и сошелъ опять внизъ, гдѣ подвалила къ нему стоявшая толпа — особенно кучка стариковъ, почтенныхъ людей Сиво-Жохинскихъ.

— Дядя Гуръ! Подымать будешь? — слышалось въ толпѣ.

— Еще-бы! Вѣстимо буду!

— Такъ пошто не выпятышься? Тодкнись-ка впередъ: пушай бачка те брызнетъ кропиломъ... по крайности, пресвятисься — все-жъ посподручнѣе будетъ подымать.

И дядя Гуръ — точно: подставилъ лицо и удостоился быть окропленнымъ, послѣ чего проговоривъ: «важно!» опять затерся въ толпу и въ суматохѣ, незамѣтно, пробрался за ограду и направился не по дорогѣ, а задами къ своей избѣ.

Никто не замѣтилъ отсутствія дяди Гура, даже сынъ его родной — Вавило.

II.

Какъ Сиво-Жохинскіе старики колоколъ подымали.

Приступили, благословясь, къ поднятїю. Взялись за веревки и приняужились.

Поднятїе колокола почитается, въ нѣкоторомъ родѣ, дѣломъ святымъ, богоугоднымъ, и потому подымальщиками были все старики, все люди почтенные, уважаемые. А молодые почти и не брались, потому что молодые, извѣстно, съ дѣвками міршатася и, значить, уже не столь безгрѣховны на этотъ счетъ, какъ человѣкъ престарѣлый. Они стояли съ гурьбою бабъ, оставаясь простыми зрителями поднятїя.

— О-ле-ле-ле-леопъ!.. О-леопъ!.. Принимай, робя!.. Ну, ну, ну, ну-у!.. Принапри,atinaпри! Принатужься!.. Ошшо, ошшо маленько!—усердно раздавалось въ толпѣ подымальщикоѣ.

Но колоколъ съ мѣста не трогался.

Старики чуточку вздохнули, обтерли потъ и сноваatinaперли.

— Навались, навались, старики!.. Крѣпче-е!.. Гу! гу!.. ухъ!.. У-рра!.. загорланили они, дружно дернувъ натянутые канаты.

И колоколъ аршина на полтора поднялся отъ земли, но вдругъ заапризничалъ, и выше ни на вершокъ, хотъ лопни, не подается!

Старики и потѣютъ вторымъ уже потомъ, и прутъ, и натужатся—все нонапрасну; колоколъ неидетъ.

— Эге! Дѣло не чисто!—глубокомысленно и какъ-бы про себя замѣчаетъ мастеръ, стоя на вышкѣ.—Знать, снохачи есть промежъ подымальщикоѣ.

— Такъ что-жь?—вопросилъ его кузнецъ.

— Какъ что, милый человекъ! Ужь это навсегда, коли хотъ одинъ снохачъ за веревку держится, такъ колоколъ не поидетъ тебѣ. Нешто ты не слыхалъ? Это ужъ по писаню.

И волѣдъ затѣивъ мастеръ громко и повелительно закричаъ внизъ съ колоколни:

— Снохачи долой!

И вдругъ, болѣе половины подымальщикоѣ, почтенныхъ людей Сиво-Жохинскихъ, разомъ бросили веревки и отшарахнулись назадъ отъ своихъ мѣстъ.

Колоколъ рухнулъ на землю—остальная половина не сдержала его.

Въ толпѣ бабъ и молодицъ раздался визгъ, покрываемый хохотомъ парней. Всѣ эти бабенки, доводящия снохами оставшимъ подымальщикамъ, проворно позакрывались руками, чтобы скрыть зардѣвшияся, какъ маковъ цвѣтъ, лица.

— Эге! глянь, робя! Матрешка-то какъ закрылась!—раздавалось въ толпѣ парней.—Соромно—значить, грѣшна!

— А Дунька-то Телятникова! тоже!.. Да и Степка, и Дарья!.. Ха, ха, ха!.. Эвона ихъ сколько! Всѣ, почитай!

— Ну, робя!.. Вотъ дѣло-то!.. И на духу хотъ не сказывай: само сказалось!

Происшедшій скандалъ однако не оказалъ никакихъ другихъ послѣдствій, кромѣ описанныхъ выше. Все это, во многихъ мѣстахъ Россіи, почитается дѣломъ весьма обыкновеннымъ и потому обличенныя бабенки опять припили въ нормальное состояніе, а обличенные старики свекры даже и не выходили изъ него.

— Что-жь!—равнодушно разсуждали они,—кто Богу не грѣшенъ! Не нами то дѣло завелось—не нами и кончится!.. Въ нашей сторонѣ испоконъ вѣку такъ ужъ ведется, такъ намъ-то что!

— На то и свекоръ, чтобы со снохою быть.

— Это все мастеръ, вся причина дѣлу!

— Кто-жь его зналъ, что онъ кричать станетъ.

— Кабы знатъе, такъ и не брались-бы!

Одни только парни пересмѣивались, да и то добродушно—лишь-бы позубоскальничать.

Дѣйствительно, въ народѣ изстари живетъ повѣрье, что коли колоколъ не подается, то этому причиной снохачи, такъ какъ они берутся нечистыми руками за святое дѣло; стоитъ только отойти имъ—и колоколъ поидетъ легко и удобно.

Такъ они и сдѣлали: отошли себѣ въ сторону, и только шутиливо отстрѣливаясь перебранкой отъ назойливыхъ парней, стали вмѣстѣ съ ними глядѣть на колоколъ.

Наконецъ, съ помощью холостыхъ и женатыхъ молодыхъ мужиковъ, колоколъ благополучно былъ вздернутъ, повѣшенъ и закрѣпленъ желѣзными скрѣпами.

Старый, надтреснутый колоколишко, въ послѣдній разъ передъ храмовымъ праздникомъ, издалъ свой хриплый, прѣзжащій звукъ—и съ первымъ ударомъ его половина народа разбредлась по домамъ, а половина повалила къ вечернѣ.

III.

Какъ снѣгъ на голову.

Вавило Гурычъ ощущалъ очень веселое расположение духа по поводу случившейся неожиданности и, направляясь домой, хотѣлъ было передать родителю нѣкоторыя свои замѣчанія на этотъ счетъ; но родители, къ удивленію его, въ наличности не оказались.

Сталъ искать онъ глазами, въ расходящейся толпѣ, жену свою—и той тоже нѣтъ; заглянулъ въ церковь—и тамъ не нашелъ ни той, ни другого.

— Кого те, Гурычъ?—спросила его любознательная просвирия.

— Да вотъ... думалъ, баба моя тутъ... отвѣтилъ Вавило.

— Лукерья-то? Нѣ, родимый, баба твоя, надѣтъ-быть, дома. Она еще какъ водой кропить стали, скорехонько такъ домой побѣгла; сама видѣла.

Вавило отправился домой.

«Эхъ-ма! Старика-то маво нѣтъ подъ рукой!» думалъ онъ, идя дорогой. «Поди-ко, чай, и не видалъ, какъ Дарья сусѣдова призакрылася? Эко дѣло вѣдь!.. И какъ народъ-то грѣшить не боится!»

Но вдругъ, вспомнилъ онъ, что стараго Гура не было въ числѣ подымальщикоѣ, хотъ и припили они туда на погостъ вмѣстѣ—втроемъ съ Лукерьей.

«Что за прятча!» подумалось ему. «Полито-бы ему не тянуть?—Не снохачъ-же онъ и въ самъ-дѣлъ? Вотъ поди-жь ты, и божеской жизни человекъ, а не тянулъ. Вѣрно, понедужилось, что-ли».

Вавило переступилъ за порогъ своей избы, но въ избѣ никого не было. Онъ черезъ сѣнцы прошелъ въ холодную горницу—и тамъ ни души.

«Вѣрно зашли къ кому посидѣть», подумалъ онъ и вышелъ подъ навѣсъ.

Оглянувшись и видя, кѣмъ не приперта, а какъ была затворена, какъ пошли на погостъ.

«Ужъ не забрался-ль, часомъ, лихой чело-вѣкъ, да не повытаскалъ-ли чего?» домекнулся Вавило—и прямо къ кѣмъ. Глянулъ туда—да такъ и обмеръ. Смотритъ, и глазамъ не вѣрить. — Старый Гуръ, обнявшись со снохою, цѣлуются да вовсе ужъ не по-родительски.

Вавилу словно вѣтромъ зашатало—кажись, тутъ-бы и грохнулся, кабы не ухватился за косякъ рукой.

Лукерья съ ужасомъ взвизгнула и, вырвавшись изъ объятій стараго свекра, опрометью, какъ ошалѣлая, мимо мужа выбѣжала вонъ изъ кѣмъ. Поблѣднѣлый и растерянный Гуръ бросился было за нею, но сынъ въ дверяхъ неожиданно схватилъ его за шиворотъ.

— Такъ и ты, старый, туда-же!—прохрипѣлъ онъ, задыхаясь отъ бышества и потрясая его легонько въ воздухѣ.

— Вавило!—простоналъ старикъ.—Сынъ-ли ты мнѣ, Вавило!?. На отца руку поднимай!..

Вавило опомнился и отпустилъ его. Старый Гуръ стоялъ передъ сыномъ, растерянный, оробѣлый, не смѣя поднять на него глазъ и только тряся, какъ въ лихорадкѣ.

— Слушай, батка!—проговорилъ мужикъ глухимъ, сдержаннымъ голосомъ.—Обидѣлъ ты меня, кровно обидѣлъ... Не чаялъ я отъ тебя... Ну, да Богъ съ тобой!.. Только не приведи-жь тебя Богъ еще разъ повстрѣчаться со мной на этой дорожкѣ!—Заруби ты себѣ это!.. Ступай!

И холодно отвернувшись отъ отца, онъ твердымъ шагомъ пошелъ въ избу. Перетрусившій и пристыженный старикъ поплелся слѣдомъ за нимъ, боясь произнести слово, не смѣя поднять головы.

Лукерья забралась въ уголъ на палати и при входѣ мужа, со страху, принялась истерически вить.

— Ну!.. Не вижать!—крикнулъ на нее Вавило.—Слѣзай съ палатей-то! Мало тѣ дѣла есть?—Животовъ поить надо.

— Батюшки!.. завопила, слѣзая, баба.—Не убей ты меня, голубчикъ Вавило Гурычъ!.. Што хошь твори, только не убей!

— Кой дьяволъ бить тебя станетъ!—прорычалъ Вавило.—Сказано, дѣлай свое дѣло!.. Пошла!

И вслѣдъ затѣмъ, судорожно схвативъ ее за руку, онъ медленно проговорилъ:

— Слушай, змѣя! Буде эшто узнають про то, что у васъ было—убью! Не токма что кому болтать—на духу сказывать не смѣй!.. Убью, какъ собаку!

И болѣе, ни отецъ, ни жена не слыхали отъ Вавилы ни слова. Эта семейная драма разыгралась съ глазу на глазъ, и ни единая душа на селѣ даже и не подозрѣвала ее.

IV.

Какъ жилъ да былъ Вавило.

Гуръ былъ отставной солдатъ. Когда ему забили лобъ, онъ оставилъ жену съ сынишкой въ невеселомъ завидномъ положеніи. Двадцать-пять лѣтъ о немъ не было ни слуху, ни духу. Солдатка подняла сына, дьячекъ обучилъ его по псалтырю,—и малый оказался способный, смѣтливый, къ торговому дѣлу пристрастный. Сталъ торговать онъ на малые гроши, что добрые люди займы дали, съ восемнадцатаго года отъ роду, и въ какія-нибудь шесть-семь лѣтъ такъ поправился, что прежней солдаткиной избенки и съ виду не узнать. Обзавелся, обстроился и денегъ малую толику прикупилъ даже. Сталъ чуть что не лучшимъ мужикомъ по деревнѣ, такъ что и старый, и малый почитали Вавилу. Жизни онъ былъ тихой, заботливой, права не буйнаго, въ денежномъ дѣлѣ вѣренъ, такъ что отдавая ты ему свою конейку,—съ придачей воротить.

И женила его старуха. Больно ужъ приглянулась ему Лукерья, къ тому-же бѣдная была—ну, и пошла. Жили мирно, любовно. Вавило хоть лицомъ и не вышелъ, зато краше всѣхъ женѣ обноты покупалъ. Дѣтей только Богъ не давалъ ему—одно горе: а тутъ еще старуху схоронилъ—другое такое-же.

Наконецъ, отецъ изъ полку подаль о себѣ вѣсточку, что вотъ-де, вышелъ въ отставку, хочу-де на родину пробраться, такъ есть-ли кто изъ его сродственниковъ въ живыхъ?

Вавило отозвался и послалъ ему свой нижайшій поклонъ сыновній и просилъ родительскаго благословенія, во вѣки нерушимаго, и отъ Лукерьи, жены своей, то-жь.

Затѣмъ, мѣсяца черезъ четыре, явился и родитель къ нимъ.

Удивился старый Гуръ, найдя оставленное имъ хозяйство въ такомъ отмѣнномъ видѣ. Сынъ предоставилъ все, нажитое имъ, въ полное его распоряженіе и безусловно подчинился ему, какъ большаку въ семьѣ—и сталъ отецъ верховодить домашнимъ обиходомъ. Торговую только часть оставилъ Вавило за себя, но и то во всемъ испрашивалъ совѣтовъ и согласія стараго Гура, который, хотя и прозывался «старымъ», однако былъ еще весьма-таки бодръ и крѣпокъ, и молодцовато высматривалъ бойкимъ, бывалымъ солдатомъ.

И такимъ-то образомъ прожили они три года до описаннаго нами случая.

V.

Какъ было и какъ казалось.

Послѣ этого случая прошло еще болѣе года.

Наружно, Вавило нисколько не измѣнился. Отецъ его все такъ-же игралъ роль большака и верховодилъ въ хозяйствѣ. Лукерья все такъ же, по праздникамъ, появлялась на улицѣ въ хорошихъ обновкахъ. При людяхъ Вавило обращался и съ ней, и съ отцомъ, какъ ни въ чемъ не бывало; но наединѣ, съ того самаго дня, онъ не сказалъ съ ней ни слова—буквально ни одного слова. Бывало, привезетъ изъ городу ситцу или кумачу на сарафанъ, положить передъ ней, даже не глядя на нее, и отвернется. Пробовала-было она заговаривать съ нимъ—словно-бы и не слышитъ. Ни слова въ отвѣтъ, и ни одной, не только-что мужней ласки, а и простого привѣта во все это время! Со старымъ Гуромъ говорилъ еще кое-что, но только не по-прежнему, не по душѣ, а такъ, что-нибудь необходимое по дому или по дѣлу какому-нибудь—и только.

Изъ прежняго веселаго мужика, сталъ онъ какимъ-то мрачнымъ, тихо-озлобленнымъ; видно было, что его глубоко оскорбило столкновение съ отцомъ, которое онъ старался забыть всѣми силами—и не могъ забыть.

Но все это бывало съ нимъ только наединѣ; при людяхъ-же, на постороннихъ глазахъ, онъ пересиливалъ себя и казался прежнимъ Вавиломъ.

VI.

Повадился кувшинъ по воду ходить.

Разъ какъ-то вернулся онъ со сходки раньше обыкновеннаго—дѣло было зимой—и дернуло его заглянуть въ холодную горницу, гдѣ онъ опять, неожиданно-негаданно, наткнулся на старую сцену.

На этотъ разъ Вавило поступилъ иначе.

Онъ не сказалъ ни слова, тихо приперъ растворенную имъ самимъ дверь—и только нехорошо какъ-то заскрипѣлъ зубами.

Прошло съ часъ времени—изъ горницы никто не выходилъ. Вавило постучался и самымъ спокойнымъ, обыденнымъ голосомъ напомнилъ, что пора, молъ, обѣдать—на столъ собирать надо.

Въ горнѣ закопошились, зашептались, и наконецъ вышла Лукерья—вся блѣдная, какъ полотно—а за нею свекоръ.

Оба повадились въ ноги Вавилу.

— Прости, Вавилушко!—завопили оба.— Опять нечисть попутала... Не покарай ты насъ! Отпусти грѣхъ, голубчикъ!.. Впервой съ того раза такое дѣло... Лукавый сомутилъ—вѣдь не мы первые: и зачастую бываетъ такъ.

— Добро, добро!—неопредѣленно проговорилъ Вавило все тѣмъ-же ровнымъ, спокойнымъ тономъ;—скажи ты только мнѣ, бачка, скажи, не утай: кто кого сомутилъ тутъ больше? Ты-ль ее, аль она тебя? Кто тутъ причинилъ?

— Да что грѣха таить!—простоналъ старикъ, валяясь въ ногахъ сына.—Я грѣшнѣй, я сомучалъ!

— Чѣмъ-же тебѣ, бачка, угораздило сомутить-то?

Старикъ замаялся и молчалъ.

— Ну, ты! отвѣчай, чѣмъ сомучалъ тебя?—обратился онъ къ жenkѣ, въ первый разъ безъ постороннихъ свидѣтелей, въ эти полтора года.

— Отъ писанія, Вавилушко, отъ писанія, голубчикъ мой!.. Я человекъ темный, баба глухая, ничего несмысленная... Онъ сталъ грозить, что оговоритъ меня передъ тобой, будто связалась я съ Петрунькой Щуровымъ, и молву про то на всю деревню распуститъ погрожался... Сталъ говорить, что онъ всѣ писанія знаетъ, что въ писанія показано снохѣ жить со свекромъ, что душѣ спасеніе... Запужалъ меня, а я баба глухая, несмысленная... Исколоти ты меня, голубчикъ, сколько душенька твоя пожелаетъ, только не убей ты меня вовсе!—голосила она, заливаясь слезами и припадая къ ногамъ Вавила, который грубо ее оттолкнулъ и приказалъ собирать обѣдать.

Сли за столъ; но никому особенно не ѣлось—и остальной день прошелъ тихо, безмолвно и мрачно.

VII.

Тамъ ему, кувшинушкѣ, и голову сложить.

— Бачка! Кажись, у насъ валежникъ весь вышелъ?—замѣтилъ, проснувшись на другой день по-утру, Вавило. Надо-бы обрядить розвальни, да поѣхать въ лѣсъ, а то поди-чай, и печь-то затопить нечѣмъ будетъ. Одѣвайся-ко, бачка, поѣдемъ!

Одѣлись и поѣхали!

Утро стояло мгlistое и шибко морозное. Но въ этой мглѣ можно было провидѣть мгlistосанный и солнечный полдень. Холеная пѣ-гашка ѣхала мелкой рысцой, весело помахивая хвостомъ и головою. Вавило сидѣлъ впереди и правилъ. Но вотъ розвальни вѣхали въ лѣсную опушку и онъ остановился. Старый Гуръ слѣзъ и сталъ обрывать топоръ, постукивая объ булыгу топоричемъ, чтобы онъ крѣпче осѣлся.

— Справилъ-ли топоръ свой, бачка?—спросилъ его Вавило.

— Готово,—не глядя на сына, процѣдилъ солдатъ.

Ему, вообще, послѣ вчерашняго дня, стало неловко быть съ нимъ вмѣстѣ и глядѣть на него.

— А ты свой справилъ?—добавилъ онъ.

— Не заботься—еще съ вечера, не токма-что справилъ, а и наострилъ добре!

— Ну, что-жь, прійматься что-ли за порубку?

— Погоди маненько... больно скоръ... Пре-жде за тебя примемся... Ну, молись-ка, бачка, Богу!—проговорилъ Вавило, стараясь говорить спокойно, хотя затаенное чувство оскорбленія и бѣшеной мести невольно прорывалось сквозь эту кору спокойствія.

Гуръ сперва-было оробѣлъ, но потомъ уви-давъ, что пришла рѣшительная минута, съ отчаяніемъ закричалъ сыну:

— Что-жь, ты, варваръ!.. Жисти меня рѣ-шить хочешь?!.. Бога забыть?!.. Такъ нѣтъ-же, не допущу!—У меня, братъ, у самого топоръ!

— Что-жь, вижу, что топоръ. —спокойно воз-разилъ Вавило;—не подпускай, коли хопъ, я и отъ того не прочь. Кто кого возьметъ, на то и пойдемъ: коли ты меня—твое счастье, а коль я тебя—не прогнѣвись!

Въ эту самую минуту, старый Гуръ взре-вѣлъ какимъ-то отчаянно-насильственнымъ не-человѣческимъ, а словно волчьимъ голосомъ, и какъ звѣрь, съ глазами, помутившимися отъ безвыходнаго отчаянія и страха, бросился съ топоромъ на сына.

Этотъ далъ полную волю отцовскому бѣшен-ству, занесъ свою мощную, мускулистую руку — и острый топоръ его, прежде чѣмъ отецъ успѣлъ подступить, раскрылъ ему пополамъ весь че-репъ.

Вавило, опьяненный видомъ крови, безсозна-тельно пустился бѣжать изъ лѣсу, но потомъ вдругъ остановился, бросился грудью на снѣгъ и, лежа ничкомъ, страшно отчаянно зарыдалъ.

Прошло уже съ полчаса времени, когда онъ поднялся на ноги, перекрестился, махнулъ ру-кою и спокойно пошелъ по дорогѣ къ Сивымъ-Жохамъ.

VIII.

Какъ повинился Вавило.

Войдя въ домъ къ старостѣ, онъ, по обы-чаю, перекрестился трижды на образъ, покло-нился всей семьѣ и попросилъ послать за сот-скимъ, да за понятыми. Тотъ и другіе не за-медлили явиться.

— Братцы!—началъ Вавило спокойнымъ и ровнымъ голосомъ,—объявляюсь вамъ: я учи-лилъ убійство—родителя убилъ... Въ лѣсу, на опушкѣ... Вижите меня, братцы!

Староста, сотскій и понятые глядѣли на него выпучивъ глаза и не зная, что о немъ подумать.

— Полю врать-то, Вавило!—отнесся нако-нецъ къ нему староста. Что ты дурость-то на себя напускаешь!.. Аль пьянъ? Подъ, про-спися!

— Не пьянъ я, братцы!—Не лью—сами знаете. А отца порѣшилъ. Готовьте подводу—въ станъ меня везти, а руки-то вяжите! Чего стали?!

— Ой, братцы! Да никакъ Вавилко-то въ умѣ сомутился!—домекнулся кто-то изъ по-нятыхъ.

— Да и въ правду ума рѣшимшись! Ну, гдѣ убить ему—такому-то смирянку благоче-стливому, да еще—шутка-ль сказать!—отца роднова!

— Гдѣ?—быстро возразилъ Вавило,—въ лѣ-су!.. Пойдемте—покажу.

И онъ вышелъ вонъ изъ избы.

Тѣ отправились вслѣдъ за нимъ, недоумѣ-вая что все это значить. Вавило привелъ ихъ къ окровавленному трупъ.

— Пошто-жь ты, Вавило, порѣшилъ-то его?—сталъ допытывать сотскій.

— А ужъ про то, братцы, не спрашивай! Мое дѣло.—Вы, знай, вяжи меня!.. Вотъ нате и веревку, благо со мною въ дровнишкахъ случилась.

Вавилу связали и повезли въ станъ.

IX.

Какъ онъ покончилъ.

Посадили, какъ водится, въ острогъ. Пошло слѣдствіе, допросы. Вавило сознавался въ убійствѣ, рассказывалъ слѣдователямъ, во всей подробности, обстоятельства убійства, но о по-будительныхъ причинахъ упорно молчалъ. Онъ былъ раскрытъ, когда взяли за жену его, Лукерью. Вавило настойчиво отвергалъ ея по-казанія, говорилъ, что все это ложь и выдумка, что баба плететъ на себя и только срамъ да позоръ великій несетъ на его, Вавилину го-лову; однакожь, раскрытіе истинныхъ причинъ убійства нехорошо повліяло на Вавилу: оно въ конецъ уже убило его нравственно. Пока дли-лось слѣдствіе, преступникъ хирѣлъ, чахъ и наконецъ умеръ. Его никакими мѣрами не могли принудить принять пищу: онъ уморилъ себя съ голоду.

О С О Б А К Ъ

«Собака—собачья и смерть», говорить мудрая пословица. Эта пословица вовсе не мудрая и не вѣрная—это не добрая, не справедливая пословица. Жаль, что люди не всегда умираютъ такъ честно и такъ хорошо, какъ иногда умираютъ собаки. Я вамъ расскажу одинъ случай собачьей смерти; но прежде позвольте мнѣ сдѣлать довольно длинное отступленіе отъ этой главной задачи и распространиться насчетъ собакъ вообще и нѣкоторыхъ собачьихъ свойствъ въ особенности.

Если вы вглядывались въ фیزیомію звѣрей и особенно въ собачью фیزیомію, вы легко могли замѣтить въ нихъ личныя, индивидуальныя особенности и характеръ. Все равно какъ и въ фیزیоміяхъ людей. Я положительно увѣряю, что каждая особь звѣриной породы, каждая кошка, каждая собака имѣетъ свою собственную фیزیомію, неизмѣнно служащую отраженіемъ ея личнаго характера, который, въ свою очередь, помимо общихъ типовыхъ свойствъ, представляетъ еще свойства частныя, индивидуальныя—точно такъ же, какъ и у человека. Это я имѣлъ случай наблюдать почти ежедневно, заведя у себя небольшую собачку, ежа, кролика и кота. Всѣ эти звѣри жили между собою чрезвычайно дружно, цѣлый день играли вмѣстѣ, и при этомъ, ежъ служилъ для нихъ всеобщей потѣхой: вмѣстѣ ѣли и пили, и наконецъ всѣ вмѣстѣ спали, причѣмъ собака, котъ и кроликъ укладывались такъ, что спина одного служила подушкой другому. Одинъ только ежъ никому не служилъ ни тифякомъ, ни подушкой, по причинѣ своей мягкой шерсти, но спалъ неизмѣнно тутъ же, рядомъ со всѣми. Здѣсь я замѣтилъ, что у звѣрей, самыхъ различныхъ породъ, гораздо болѣе общительности между собою, чѣмъ у людей.

Тутъ были соединены четыре особи различныхъ семействъ, но индивидуальныя свойства выступаютъ еще осязательнѣе тогда, когда наблюдаешь двухъ звѣрей одной и той же породы. Такъ напримѣръ, во время моихъ скитаній по петербургскимъ труппамъ, знавалъ я двухъ бѣлыхъ пуделей. Оба служили въ собачьей комедіи, въ труппѣ одного шарманщика-француза. Между различными примадонами, первыми любовниками, солдатами и благородными отцами, они занимали амплу клоуновъ и употреблялись обыкновенно для интермедій, въ антрактѣ между собачьимъ баломъ съ препятствіями и собачьимъ генеральнымъ сраженіемъ съ атакой крѣпости, причѣмъ роль этой крѣпости играла та самая шарманка-по-

возка на колесахъ, при которой было устроено и временное дневное помѣщеніе для всѣхъ различныхъ членовъ артистической труппы.

Роль клоуновъ состояла въ различныхъ эквилибристическихъ упражненіяхъ, какъ-то: въ прыганіи черезъ обручъ, въ винтообразномъ взлѣзаніи на перпендикулярно-поставленную лѣстницу, въ воздушномъ путешествіи съ земли на вершину той же лѣстницы, по тонкой жерди, и въ тому подобныхъ продѣлкахъ. Ампула клоуновъ было чуть-ли не самое трудное, и притомъ самое опасное и даже неблагодарное ампула.

Я поставлю на видъ вамъ только причины неблагодарности. Первое дѣло то, что клоуны, во время дневныхъ переездовъ труппы по улицамъ, изъ двора во дворъ, не пользовались даровыми мѣстами въ общемъ ихъ дилижансѣ-шарманкѣ, наряду съ прочими членами, а должны были шествовать пѣшкомъ, позади шарманки, привязанные къ ней тонкою желѣзною цѣпью,—слѣдовательно терпѣли незаслуженный позоръ и горькую участь невольниковъ. Второе дѣло то, что представленія ихъ шли solo, слѣдовательно на каждомъ изъ нихъ, во время исполненія роли, было сосредоточено все вниманіе антрепренера-француза, тогда какъ при собачьемъ балѣ съ препятствіями или при блокадѣ крѣпости это вниманіе поволѣ дѣлилось одновременно на всю труппу, такъ-сказать, на весь ансамбль комедіи, ну и слѣдовательно, страшный бичъ—ферула его диктаторско-антрепренерской власти, бичъ, которымъ постоянно была вооружена его правая рука, только изрѣдка ожигалъ какого-нибудь нерадиваго актера (такъ-какъ при многочисленности дѣйствующихъ лицъ, естественно, ускользали отъ бдительнаго глаза маленькія частныя погрѣшности). Въ отношеніи же клоуновъ, дѣло становилось на-оборотъ; на одиночномъ представленіи клоуна, ни одинъ неровный шагъ, ни одно неловкое движеніе его не могли укрыться отъ наблюдательныхъ взоровъ француза, и каждое получало свое должное возмездіе въ ожогъ страшнаго бича. Такимъ образомъ, на долю клоуновъ приходилось гораздо большее количество ударовъ, сравнительно съ благородными отцами, первыми любовниками, и проч. А если кто-либо изъ публики вознаграждалъ клоуна кускомъ булки или вообще чѣмъ-нибудь съѣдомымъ, то и этотъ призъ не доставался исключительно на его долю, какъ честно заслуженный трофей, а раздѣлялся по-ровну между всѣми членами труппы.

Такимъ образомъ, вы видите, что ампуа клоуновъ было самое неблагодарное ампуа, не говоря уже о рискѣ свернуть себѣ шею, разбить голову или переломить лапу, при восхожденіи по такой глупой жерди, на вершину лѣстницы. Вообще, пуделя были какіе-то илоты въ трупѣ этого француза. И вотъ, подъ влияніемъ такой суровой школы, сформировались ихъ личные характеры.

Одинъ былъ старикъ, другой-же еще въ полномъ цѣлѣ собачьей юности и силы. Этотъ юноша являлъ собою совершенный типъ Молчалина въ собачьемъ родѣ. Это былъ рабъ, до конца ногтей своихъ, со всѣми гнусными рабскими свойствами. Товарищъ же его, пудель-старикъ, являлъ характеръ сильный, твердый и благородный. Это былъ скованный герой. Судьба-ли, обстоятельства-ли привели его на старости лѣтъ къ жалкой роли уличнаго паяца, только онъ гордо, съ молчаливымъ покорствомъ передъ гнетущею силою рока и съ чувствомъ сознанія своего достоинства, переносилъ свою горькую долю. Неволя смирила и сломила его, но не сдѣлала подлымъ, не переродила въ раба. Во время уличныхъ странствованій труппы, онъ на своей цѣпи всегда шелъ ровною поступью, сосредоточенно понутивъ свою кудластую голову. Спокойствіе и гордо-равнодушное презрѣніе къ житейскимъ невзгодамъ впечатлѣвались въ его умныхъ глазахъ. Онъ страдалъ, какъ герой, какъ страдаютъ души сильные.

Пудель-Молчалинъ, напротивъ, то трусилъ рысцою, то сѣменялъ на мѣстѣ, то замедлялся, развлекаясь и разсѣваясь на каждомъ шагѣ—обстоятельство, объяснимое впрочемъ его молодостью. Устанетъ онъ, напримѣръ, и замедлитъ ходъ; но чуть хозяинъ повернулъ въ его сторону глаза—мой пуделекъ сейчасъ усердно завилаетъ хвостомъ, для заявленія своей признательности и радостныхъ ощущеній сердца, завилаетъ и приободрится, какъ-будто онъ и не знаетъ, что такое значить усталость, да никогда и не чувствовалъ ея. «Посмотрите, молъ, какой я усердный пудель!» Антрепренеръ, вѣроятно въ силу своей буржуазной, посредственной натуршки, нежалующей вообще ничего выходящаго за уровень сѣренькой обыденности, не жаловалъ и стараго пуделя—и честный старый пудель нисколько не старался заискать его расположенія; тогда-какъ молодой, и на цѣпи, и безъ цѣпи, визжалъ и прыгалъ, и вилялъ хвостомъ, подползалъ на брюхѣ къ ногамъ хозяина, и вообще изгибался передъ нимъ самымъ наиподлѣйшимъ образомъ, какъ только этотъ поспѣдный подходилъ къ нему или даже находился по близости его,—вообще выказывалъ всѣ видимые знаки низайшей преданности. Начнетъ дубасить его французъ арапникомъ—онъ подыметъ визгъ чуть не на цѣлый кварталъ, но чуть-только кончилась расправа, какъ Молчалинъ уже ползаетъ на брюхѣ

у ногъ хозяина, лижетъ его сапоги, виляетъ хвостомъ и словно благодаритъ за отеческое внушеніе.

Но никогда я не забуду арапниковой расправы со старымъ пуделемъ! Дѣло было такимъ образомъ.—Старый пудель ѣлъ кусокъ пирога, поданный ему кѣмъ-то изъ зрителей, въ то время, какъ антрепренеръ обходилъ со своей шапкой публику и дворъ, заглядывая, въ ожиданіи грошей, вверхъ на окна. Молодой пуделекъ захотѣлъ стащить у товарища лакомый кусокъ пирога, и дѣйствительно, подравшись къ нему довольно искусно, успѣлъ какъ-то необыкновенно проворно выхватить у того поживу изъ-подъ самого носа. Старый пудель вообще не былъ жаденъ на кусокъ; но тутъ, не знаю, голодъ-ли превозмогъ, или ужъ заговорило справедливое негодованіе при видѣ такого наглаго поступка, только мой пудель, въ отместку за это грабительство, цапнулъ вора за шиворотъ зубами. Воръ, по обыкновенію, поднялъ страшный визгъ. Прибѣжалъ хозяинъ и давай лупить старика арапникомъ. Влѣпидъ онъ ему частыхъ ударовъ по крайней-мѣрѣ съ тридцать,—и во время этой экзекуціи хоть-бы одинъ вопль вырвался у несчастнаго!—Онъ, съ стоическимъ мужествомъ и терпѣніемъ, перенесъ свое незаслуженное наказаніе. И никогда не забыть мнѣ того взгляда негодованія, который бросилъ онъ и на хозяина, и на товарища, по окончаніи своей пытки! До тѣхъ поръ я рѣшительно не подозрѣвалъ даже возможности подобной осмысленности взгляда у животныхъ. Послѣ этого, молодой пудель, трусливо забившійся между колесъ подъ шарманку во время самой экзекуціи, захотѣлъ опять воспользоваться чужимъ кускомъ; но старикъ такъ грозно зарычалъ на него какимъ-то глухимъ, тихимъ рычаніемъ, что тотъ мгновенно поджалъ хвостъ и опять со страху залѣзъ подъ шарманку. Хозяинъ, по обыкновенію, раздѣлилъ пирогъ между всею труппою; но старый пудель уже не дотронулся до своей части. Когда-же молодая примадонна, видя такое съ его стороны равнодушіе къ маленькому лакомому кусочку, возымѣла желаніе воспользоваться его порціей, то старый клоунъ не изъявилъ на это ни малѣйшей претензіи, ни малѣйшаго рычанія, ни даже взгляда не бросилъ—и молодая примадонна благополучно скушала чужую порцію.

Вообще, молодой пудель былъ надѣленъ большимъ запасомъ хитрости—этимъ исконнымъ свойствомъ рабовъ, и никогда не упускалъ случая поживиться исподтишка непринадлежащимъ ему кускомъ и тотчасъ-же притвориться смиренникомъ, святошей, въ нѣкоторомъ родѣ униженнымъ и оскорбленнымъ. Старый пудель, хотя и былъ гигантъ по силѣ, сравнительно съ другими артистами, но никогда не позволялъ себѣ обидѣть кого-либо изъ сотоварищей, и жилъ

со всѣми собратами по искусству въ мирѣ, любви и согласіи. Молодой-же пуделенокъ, напротивъ, никогда не упускалъ случая погрызться или стравить другихъ; а если случится, что собраты-цы зададутъ ему при этомъ обстоятельстве трепку, то онъ тотчасъ-же, по обыкновенію, начнетъ завывать самымъ плачевнѣйшимъ образомъ и смиренно ежиться поближе къ хозяину. Все это можно бы было объяснить, пожалуй, и не врожденною Молчалинскою подлостью, а чѣмъ-нибудь другимъ, болѣе возвышеннымъ, болѣе благороднымъ побужденіемъ, въ томъ случаѣ если бы антрепренеръ, цѣня его ревность и заслуги, отличалъ бы его передъ остальными артистами, награждалъ бы его своей особенною симпатіей и вниманіемъ; а то вѣдь нѣтъ: жизнь, социальное положеніе и бытъ этого подлеца въ труппѣ нисколько не отличались отъ всѣхъ остальныхъ персонажей: та же овсянка, та же подстилка, тотъ же аранжиръ, только еще болѣе трудная служба въ качествѣ клоуна, о чемъ уже и говорилось. Слѣдственно, въ этомъ случаѣ, ничего иного, кромѣ врожденныхъ качествъ личнаго характера, по моему мнѣнію, и предположить нельзя—столь очевидной тутъ является разница въ нравахъ и направленіи этихъ двухъ индивидуумовъ одной и той же породы.

Но кромѣ того, я положительно заявляю, что есть собаки геніальныя, одаренныя отъ природы особаго рода чутьемъ смѣткой, находчивостью и умомъ, въ такой сильной степени, что по-неволѣ заставляютъ предполагать въ себѣ присутствіе какой-то силы болѣе высокой, болѣе разумной, чѣмъ обыкновенный животный инстинктъ. Эту-то вотъ загадочную силу я и называю собачьей геніальностью.

Вотъ примѣръ, на которомъ я основываю мое мнѣніе о геніальности въ иныхъ субъектахъ собачьей породы. Другихъ породъ наблюдать мнѣ не случалось, но вѣроятно подобное свойство встрѣчается и у прочихъ животныхъ. У моего брата есть собака—неважная, изъ простыхъ дворняшекъ, наружности кургузой, съ необыкновенно комической фізіономіей, чему способствуетъ уродливо-выдававшаяся впередъ нижняя челюсть, такъ-что десна и передние зубы всегда торчатъ у нея снаружи, отчего фізіономія кажется постоянно ослабившеюся и какъ бы смѣющеюся. Зовутъ этого пса Тюлькой, т. е. Тюльпаномъ. Кличка можетъ быть и поэтическая, только ужъ вовсе не по шерсткѣ. Отличается онъ необыкновенной, горячей любовью къ брату моему и преданностью къ дому. Не помню ужъ, какъ онъ попалъ къ нему: нашелъ ли его братъ, подарилъ ли кто его, только собака пришлась, что называется, ко двору, приобрѣла право гражданства въ семействѣ и даже сдѣлалась его живымъ, необходимымъ членомъ.

Съ этимъ-то вотъ Тюлькой случилось такого рода обстоятельство. Былъ всегда онъ псомъ

нрава тихаго, смирнаго, горланить не любилъ, какъ вдругъ нашла на него такая полоса, что сталъ онъ черезчуръ усердствовать въ исполненіи своей обязанности, какъ стражъ спокойствія хозяевъ. На всѣхъ постороннихъ началъ лаять безъ милосердія, самымъ провозительнымъ образомъ, и даже инымъ бросаться подъ ноги. Это обстоятельство навлекло на него справедливыя нареканія, вызывало даже жалобы, претензіи и ропотъ. Стали-было укрощать домашними мѣрами—нѣтъ, ничто не беретъ: продолжаетъ мой Тюлька и лаять, и бросаться, нимало не обращая вниманія на сдѣланный ему внушеніи. Какъ тутъ быть, что дѣлать съ такимъ непокорнымъ псомъ? Думали, думали, и положили наконецъ на общемъ конгрессѣ—сослать его, временно, въ деревню на поселеніе, пока не перебѣжится. Сослать—такъ сослать. Сказано и рѣшено. Кстати же на ту пору и оказалъ была въ деревню: шла туда подвода, на которой отправляли новый ушатъ для воды. Съ этимъ ушатомъ положили отправить и Тюльку. Дѣло было зимой, въ декабрѣ мѣсяцѣ. Морозы стояли трескучіе. Путь предстоялъ не великій, да и не особенно малый, въ разсужденіи собаки, — всего-то-на-всего сорокъ верстъ. Чтобы предохранить нѣсколько Тюльку отъ холода и вмѣстѣ съ тѣмъ изъ предосторожности на случай дезертирства, его съ головой завязали въ мѣшокъ и положили въ ушатъ на постель изъ сѣнца и рогожи. Съ тѣмъ онъ и отправился въ свою ссылку. Претенденты и истцы, въ родѣ почтальоновъ, разносчиковъ афишъ и газетъ, трубочистовъ и т. п., остались очень довольны этой ссылкой своего непріятеля: всѣ успокоились, что, слава Богу, не будетъ больше Тюлька лаемъ своимъ пугать и тревожить. Только что же случилось! Проходитъ трое сутокъ. На четвертый день утромъ, выхожу въ переднюю — и вдругъ слышу знакомый визгъ, въ самомъ жалобномъ, минорномъ тогѣ. Прислушиваюсь — скребется въ дверь знакомая лапа. Что за чудеса?! Отворяю и—вообразите мое изумленіе! — вижу, сидитъ подъ дверью мой Тюлька, весь трясется отъ холоду, по тоскливымъ глазамъ текутъ слезы — и какъ только завидѣлъ меня, такъ и бросился прыгать и обнимать лапами мои ноги, съ неизъяснимо-радостнымъ визгомъ. Всѣ мы остались рѣшительно изумлены его неожиданнымъ возвратомъ. Сейчас же справились, не привезъ ли его кто нибудь изъ деревни, — оказывается, что никто и не пріѣзжалъ, никто и не приходилъ. А и исхудалъ же онъ, бѣдняга, за эти трое сутокъ: ребра такъ и выступаютъ, бедра осунулись, животъ втянуло, а лапы сильно распухши и ступни всѣ въ кровь искалѣчены! Пришелъ, конечно голодный. Тотчасъ же накормили его, и какъ только поѣлъ, такъ сейчасъ же забрался въ кухню на теплую русскую печку и двое сутокъ не

сходилъ съ нея, а первые сутки проспалъ всё напролётъ, безъ просыпу.

Меня крайне заинтересовало это путешествие. При первой же возможности, я навелъ справки, и оказалось, что его благополучно доставили въ деревню, въ томъ самомъ видѣ, какъ былъ отправленъ изъ города, т. е. въ связанномъ мѣшкѣ и въ ушатѣ. Прожилъ онъ тамъ цѣлый день, и въ ночь неожиданно скрылся и пропасть безъ возврата... Оказалось, что двое съ половиной сутокъ онъ употребилъ на путешествіе изъ-за Краснаго Села въ Петербургъ. Спрашивается, какими судьбами эта собака отыскала дорогу въ сорокъ верстъ длиной, изъ деревни, въ которой никогда до того времени не бывала, и какъ это она, попавши наконецъ въ городъ, нашла, среди этого лабиринта улицъ и переулковъ, единственный знакомый ей домъ? Еслибы ее еще везли не въ связанномъ мѣшкѣ и не въ ушатѣ, а съ открытыми глазами, то въ этомъ фактѣ не было бы ничего необыкновеннаго, такъ какъ тутъ ей была бы полная возможность замѣтить и дорогу, и самую мѣстность; но въ томъ видѣ, въ какомъ этотъ фактъ случился въ дѣйствительности, я его не могу объяснить ничѣмъ инымъ, какъ только особаго рода собачьей гениальностью, которою иногда бываютъ одарены нѣкоторые особи. Забѣлательно еще и то обстоятельство, что съ этихъ самыхъ поръ Тюлька пересталъ безъ толку лаять и бросаться подъ ноги прохожимъ...

Вообще этотъ Тюлька для меня чрезвычайно интересный субъектъ. Въ настоящее время я наблюдаю въ немъ собачье чувство, *собачью любовь*.

Держу пари, что вы недоувѣрчиво улыбнетесь при этомъ послѣднемъ словѣ, а между тѣмъ я все-таки наблюдаю собачье чувство.

Люди, эти самозванные цари природы, съ необыкновенной гордостью приписываютъ любовь, какъ *красивенное чувство*, исключительно себѣ, удѣляя на долю всѣхъ остальныхъ животныхъ одинъ только половой инстинктъ. А между тѣмъ мой Тюлька влюбленъ, мой Тюлька любить, у моего Тюльки есть даже свой собственный романъ, который право ничѣмъ не хуже романа любого очень галантнаго джентльмена изъ тѣхъ, которыхъ вы ежедневно встрѣчаете въ обществѣ, развѣ съ той только разницей, что собачій романъ гораздо любопытнѣе, потому что представляетъ несравненно болѣе интереса и оригинальности.

Вотъ какимъ образомъ началась Тюлкина любовь. Братъ мой съ нѣкотораго времени живетъ въ Измайловскомъ полку (эта локальная подробность необходима для выясненія описываемаго мной романа.) Мѣсяцевъ десять тому назадъ, приходитъ какъ-то разъ къ его старой нянькѣ одна ея знакомая женщина и приводитъ съ собой небольшую собачку, особу пре-

краснаго пола, очень милую особу и вѣроятно не безъ собачьихъ достоинствъ, происхожденія хотя и не аристократическаго, но очень чисто-плотную плебейку. Тюлька, конечно, тотчасъ же отрекомендовался ей обыкновеннымъ обнюхиваньемъ и не замедлилъ познакомиться. И Тюлька и Розка, на этотъ разъ, вѣроятно были въ добромъ юморѣ, потому что отнюдь не рычали и не дичились другъ друга, а сразу принялись заигрывать, бѣгать, прыгать, съ опрокидываньемъ на спину, и слегка бороться или обниматься (и то и другое у собакъ очень похоже). Знакомая старой няньки напилась «кофеишку грѣшнаго», какъ того требуетъ своего рода этикетъ, покалякала о томъ о семъ, вздыхала малость, какъ водится, и наконецъ откланялась. Но съ Тюлькой съ этого дня случилась перемѣна. До этого времени всегда рѣзвый, веселый песъ вдругъ, ни съ того ни съ сего — загрустилъ. Лежитъ-себѣ цѣлый день подъ столомъ или подъ диваномъ и голосу не подаетъ. Изрѣдка встанетъ, потянется, обойдетъ всѣ комнаты, обнюхаетъ всѣ углы, и все это не рысью, не весело, а медленнымъ лѣнивымъ шагомъ, понуривъ голову и грустно опустивъ хвостъ, который у него всегда имѣетъ обыкновеніе торчать кренделемъ. Обойдетъ такимъ образомъ всю квартиру и опять уляжется подъ столъ, или подъ диванъ въ темноту забьется. Цѣлый день его и не видать, и не слышать; ну, словомъ, тоскуетъ собака. На ѣду надо выманивать, а то самъ и не попроситъ, и ѣсть сталъ какъ-то меньше противъ обыкновеннаго. Думали, боленъ Тюлька,—пощупали носъ—носъ ничего, какъ слѣдуетъ, холодный; такъ и остались всѣ въ недоумѣніи насчетъ новаго его поведенія въ домѣ. Эту перемѣну въ характерѣ Тюльки сначала-было и не замѣтили, но онъ обнаружилъ ее довольно страннымъ (у него собственно) признакомъ—именно, сталъ завывать, какъ только слышитъ звуки рояля, и чѣмъ грустнѣе мелодія, тѣмъ больше онъ воетъ; а прежде этого съ нимъ никогда не случилось. Но на собачью грусть, обыкновенно, мало обращается вниманія: погрустить, молъ, да и перестанетъ; однако Тюлька грустить не переставалъ. Только однажды случилось, что знакомая старой няньки опять наверхнулась къ ней въ гости, впрочемъ на этотъ разъ безъ собаки. Какъ только увидѣлъ ее Тюлька, такъ тотчасъ и заметался съ радостнымъ визгомъ по комнатѣ и все время, пока гостя сидѣла у няньки, былъ необыкновенно ажитированъ, дрожалъ, слегка повизгивалъ, обнюхивалъ ее, вскакивалъ на кресло, въ которомъ она сидѣла, и заглядывалъ ей въ лицо, такъ что внезапной перемѣной своей рѣшительно изумилъ няньку моего брата.

По уходѣ этой женщины, замѣтили, что Тюлька вдругъ исчезъ, куда—неизвѣстно. Пропадалъ онъ дня два, и наконецъ явился, но

явился не грустнымъ, не убитымъ, а прежнимъ бодрымъ и веселымъ Тюлькой, и сразу злопалъ пѣлую тарелку щей, чего ужъ давно съ нимъ не случилось.

На другой день утромъ, подкрѣпивъ *фриш-тикомъ* свои силы, опять исчезъ и къ вечеру вернулся. На слѣдующій день то же самое, на слѣдующій — то же, и съ тѣхъ поръ, въ теченіе десяти мѣсяцевъ, аккуратно каждый день утромъ, поѣвши чего-нибудь, Тюлька исчезаетъ и къ вечеру опять появляется въ квартирѣ. Оказалось, что онъ изволитъ совершать ежедневныя экскурсіи изъ Измайловскаго полка ко Владимірской, гдѣ обитаетъ его Дульцинея. Любовь между ними самая нѣжная и даже, большею частію, платоническая. Знакомая старой няньки рассказываетъ, что онъ приходитъ къ ней аккуратно каждое утро, Розка бѣжитъ къ нему навстрѣчу, начинаются рѣзвости, игры, пока не утомонятся и не улягутся вмѣстѣ въ углу на диванѣ соснуть часокъ-другой. «И все это у нихъ такъ деликатно—просто умора! словно бы люди какіе!» прибавляетъ рассказчица, передавая повѣсть Тюлькиной любви. Но не могу скрыть и того, что Тюлька любовникъ ревнивый, если при немъ осмѣлится какой-либо посторонній пестъ подойти и рекомендоваться его Розкѣ. Онъ, не взирая ни на ростъ, ни на силы противника, отважно вызываетъ на поединокъ, и случается, что клочки шерсти его летятъ на воздухъ, но часто и онъ, при своей ловкости и силѣ одушевляющаго его чувства, выходитъ побѣдителемъ изъ неравнаго боя.

Изъ этого вы видите, что мой Тюльпанъ идеалистъ, и притомъ идеалистъ съ чисто рыцарскими наклонностями. Тюльпанъ и Роза—это въ своемъ родѣ Ромео и Джульетта собачьяго міра. Но какъ бы то ни было—смѣйтесь не смѣйтесь, вѣрьте не вѣрьте — а это фактъ, очевидность котораго могу подтвердить не только я, но и всѣ знающіе собаку моего брата. Чѣмъ кончится эта любовь — еще неизвѣстно, такъ какъ она длится и по настоящую минуту; но согласитесь, что десять мѣсяцевъ—это рѣдкое постоянство... даже и не для собаки!

Я пожалуй не буду отстаивать *нравственную* сторону этого явленія, ибо вопросъ о нравственной сторонѣ у животныхъ низшихъ классификацій есть еще слишкомъ темный и спорный вопросъ; я не вдаюсь въ теоріи, а предлагаю только истинныя факты, которые я самъ наблюдалъ; но, какъ мнѣ кажется, въ этомъ фактѣ невозможно отвергать или дѣлать натяжки, для объясненія другими причинами и другими путями то, что составляетъ его сущность, и именно собачье чувство, собачью любовь.

Въ мірѣ собачьемъ, какъ и въ мірѣ чело-вѣческомъ, есть свои касты, свои аристократы

и демократы, свои баре и плебеи. Кто аристократы и кто демократы или плебеи — объяснять мнѣ нечего, потому что вы и безъ меня очень хорошо знаете, что къ первымъ принадлежатъ кингъ-чарльсы, левретки, болонки, балованные комнатнымъ содержаніемъ борзья и лягавья, а ко вторымъ все то, что извѣстно подъ коллективнымъ наименованіемъ *дворняшекъ*. Истинно охотничьи лягавья, борзья и гончія и потомъ водолазы составляютъ между этими двумя крайностями какъ бы среднее сословіе. Я наблюдалъ нѣсколько отношенія этихъ кастъ. Среднее сословіе, по большей части, относится совершенно индифферентно какъ къ аристократамъ, такъ и къ плебеямъ: они слишкомъ исключительно поставлены, ибо находятся болѣе всего въ мірѣ своихъ специальныхъ занятій. Маленькая маркиза-болонка или статный милордъ изъ благородной расы левретокъ, если наткнутся какъ-нибудь случайно на плебея изъ дворнягъ, то всегда подходятъ къ нему осторожно, съ недоумѣніемъ, съ удивленіемъ и любопытствомъ: *qui est ce parvenu! Oh mon Dieu, quel monstre! C'est un homme tout à fait inconnu!*... И вслѣдъ за тѣмъ, пытливо косясь глазами на незнакомца и поднявъ граціозно одну изъ переднихъ лапокъ, они съ нѣкоторымъ аристократически-изнѣженнымъ пренебреженіемъ, а пуще съ явнымъ трусовствомъ, поспѣшно отходятъ въ сторону, представляя себѣ издали, въ большей безопасности, разглядывать страннаго и страшнаго незнакомца. Но странное дѣло!—очень многія прекрасныя особы аристократической расы чувствуютъ какую-то иногда даже неодолимую слабость къ плебеямъ сильнаго сложенія и высокаго роста. Это, если хотите, аномалія, но оно такъ! Эти послѣдніе, какъ бы создавая свое демократическое достоинство и силу челоустей своихъ, воспитанныхъ въ школѣ суровой жизни, относятся къ аристократамъ съ полнѣйшимъ, нескрываемымъ и даже нахальнымъ презрѣніемъ,—дескать: «соплякъ! стоитъ только однимъ зубомъ давнуть легонько — и духъ вонъ!» или же позволяютъ себѣ съ неслыханной дерзостью подходить прямо къ мордочкѣ и нахально обнюхивать избалованную аристократку,—и о! какъ эта послѣдняя нервно корчится, и ежится, и трусить въ эту критическую минуту.

Но вотъ замѣчательно: если аристократъ падетъ случайно въ компанію плебеевъ, они начнутъ только обнюхивать его съ нахальствомъ и, безъ достаточнаго повода съ его стороны, никогда первые не затѣютъ ссоры. Они очень хорошо понимаютъ, что только зубомъ давнуть и баста! Ну, а если оскорбить какую-нибудь, непринятой въ плебействѣ, выходкой затесавшійся туда баричъ—такъ ужъ не взыски: будетъ трепка! да такая, что только клочья на зубахъ разнесутъ — и поминай

какъ звали! А вотъ, если въ многочисленное общество элегантныхъ аристократовъ, которые вообще всѣ очень злы, попадетъ какими-нибудь судьбами одинокій плебей изъ мизерненькихъ, — тутъ ужъ бѣда! Прямо, не говоря дурного слова, рѣшительно безъ всякаго повода и причины, ни съ того, ни съ сего, накинута (единственно по праву большинства) цѣлой стаей и ужъ въ-волю, съ самымъ высокимъ дискантовымъ визгомъ, почешутъ свои остренькіе аристократическіе зубки, задавъ имъ усладительную работу по части плебейской жесткой и грязной шерсти.

Вотъ замѣчательныя и самыя характеристичныя черты столкновѣній, въ общественной собачьей жизни, собакъ-аристократовъ и собакъ-плебеевъ. Теперь, пожалуй, поговоримте и о собачьей смерти.

Мнѣ на своемъ вѣку довелось одинъ только разъ видѣть, какъ умираетъ собачка, и я нахожу, что этотъ таинственный физиологическій актъ у этого животнаго совершился съ той же безмолвно-грустной торжественностію, съ какой онъ совершается и у человѣка. Смерть—вездѣ смерть, вездѣ и во всемъ одна и та же, и эта-то безмолвно-грустная торжественность, какъ мнѣ кажется, есть одно изъ самыхъ необходимыхъ условий и качествъ нормальной смерти. Кажется, положительно дознано, что предсмертныя мгновенія требуютъ глубокаго молчанія и всеобщей тишины. Если вы находились когда-нибудь при одрѣ умирающаго, то вѣроятно замѣтили и въ себѣ и въ другихъ присутствіе какого-то инстинктивнаго молчанія. Это молчаніе и тишина въ минуту чьей-либо смерти есть, помоему, чисто физиологическій инстинктъ, присущій каждому животному. Актъ смерти прежде всего требуетъ тишины и молчанія, иначе можно замедлить его, то-есть просто помѣшать умереть. Я видѣлъ смерть одной чачоточной женщины: она лежала уже въ послѣдней агоніи, переходившей въ совершенно спокойное состояніе смерти, конечности были уже совершенно холодны, какъ вдругъ внезапный вопль вбѣжавшей въ комнату изъ сада маленькой дѣвочки, дочери ея, произвелъ мгновенную реакцію смерти. Умирающая при этомъ крикъ вздрогнула, открыла съ испуганнымъ стономъ глаза и протрѣпала послѣ этого, въ мучительной борьбѣ послѣднихъ вспышекъ жизни съ силою идущей смерти, болѣе полутора часа. Но я однако опять уклонился въ сторону отъ главнаго своего предмета — собачьей смерти.

Итакъ, мнѣ довелось только однажды видѣть собачью смерть. Это было у одного, теперь уже покойнаго, моего друга. Умиралъ его любимый пестъ, изъ дворнягъ, но милый и умный до такой степени, что справедливо заслужилъ названіе оборотня, и заслужилъ-то его чуть ли не отъ дворника же, только не

собаки, а человѣка. «Какая это собака! — это, молъ, просто оборотень, а не пестъ!» Такъ вотъ — умиралъ этотъ оборотень, пришибленный, кажется, фуриями. Мучился онъ нѣсколько дней. Наконецъ, въ послѣднюю предсмертную ночь, часовъ около шести утра, съ неимоверными усиліями, шатаясь и падая, переползъ изъ кухни въ кабинетъ, на свое старое, любимое и насиженное мѣсто, на старинномъ диванѣ, улегся въ углу, свернувшись въ комокъ, и тутъ начались у него тотчасъ же предсмертныя конвульсіи. Наконецъ—это было уже часовъ около десяти утра — онъ поднялъ голову и обвелъ насъ скучнымъ, ослабѣлымъ, страдальческимъ взглядомъ. Насъ человѣка четыре стояло вокругъ него. Хозяинъ, огорченный этой близкой смертью, сѣлъ на диванъ подлѣ своего вѣрнаго пса. Пестъ-оборотень еще разъ поднялъ голову и съ трудомъ оглядѣлъ всю комнату и cadaго изъ насъ. Онъ, казалось, искалъ чего-то... Наконецъ увидѣлъ хозяина, повернулся къ нему, положилъ свои хладѣющія лапы на его колѣни, между лапъ помѣстилъ голову и сталъ смотрѣть на хозяина... Но какъ смотрѣть!.. Я никогда не забуду этого взгляда! Воспоминаніе о немъ даже и теперь заставляетъ меня слегка содрогнуться—столь неожиданна и столь поразительна была его сила! Это былъ совершенно взглядъ человѣка. Въ немъ горѣла, потухающимъ огнемъ, такая отчаянная безнадежность, такая грустная, то-скливая мысль, что у всѣхъ насъ невольно навернулись на глаза слезы. Онъ, казалось, этимъ краснорѣчивымъ предсмертнымъ взглядомъ хотѣлъ попроситься съ тѣмъ, кто его нащелъ, пріютить, пригрѣть, выхолить и надѣлать своей любовью и покровительствомъ. Минуть черезъ десять, онъ тихо испустилъ послѣдній вздохъ, не спуская головы и лапъ съ колѣнъ своего хозяина.

Дворнягъ, безспорно, можно назвать самыми умными и самыми преданными псами изъ всего умнаго собачьяго рода. Они по крайней мѣрѣ, кажется, чаще другихъ умѣютъ служить честно и умирать хорошо. Всѣ вы, вѣроятно, въ златыя лѣта своего дѣтства, учили на школьной скамейкѣ, по книгѣ Журдана или Зейденштюкера, въ классѣ нѣмецкаго или французскаго учителя, знаменитый анекдотъ объ Обрѣевой собакѣ. Мнѣ очевидно рассказывать совершенно подобный же анекдотъ, случившійся нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ средней полосѣ Россіи. Очевидецъ этотъ былъ сельскій священникъ.

Вотъ что рассказывалъ онъ:

Къ нимъ на село часто наворачивался старикъ коробейникъ съ краснымъ товаромъ. При немъ всегда безотлучно находилась большая лохматая собака, преданная и вѣрная ему до послѣдней степени собачьей привязанности. Въ послѣднее время, въ окрестныхъ мѣстностяхъ,

стали замѣчать, что старикъ коробейникъ ходитъ не самъ-другъ съ собакой, а взялъ къ себѣ товарища, коробейника же, молодого парня, по прозвищу Сыченка.

Разъ какъ-то Сыченокъ приходитъ въ село, гдѣ жилъ мой очевидецъ, одинъ безъ старика. Стали освѣдомляться, — говоритъ: «заболѣлъ, въ городѣ на постояломъ подворьѣ остался». Прошло съ часъ времени послѣ его прибытія. Онъ, развернувши на улицѣ свои товары, балагурить съ дѣвками, мѣняетъ и продаетъ, краснымъ словомъ перекидывается, какъ вдругъ — смотритъ народъ — тащится по улицѣ старикова Жучка, а изъ боку кровь у нея каплетъ. И только-что завидѣла она Сыченка, какъ тотчасъ же бросилась она на него съ пронзительнымъ, озлобленнымъ воемъ и выплала зубами прямо въ горло. Стали ее отнимать отъ таскивать, бить — но никакими силами не оттащили до тѣхъ поръ, пока Сыченокъ не упалъ мертвымъ, съ перегрызеннымъ горломъ. Гибъ собаки тотчасъ же утихъ. Она стала смирна, какъ овца, начала ластиться ко всѣмъ, жалобно и тихо визжать и хватать всѣхъ за полы, таща по направленію къ полю, откуда пришла за пять минутъ передъ этимъ. Всѣ поняли, что дѣло неладно, что тутъ кроется что-то недоброе. Оглядѣли собаку и увидали у ней съ боку, надъ лѣвой ключицей, двѣ глубокія раны, очевидно нанесенныя ножомъ. Между тѣмъ Жучка не переставала жалобно визжать, забѣгать и рваться къ полю и тащить туда за полы окружающихъ. Всѣ тотчасъ же рѣши-

лись идти за нею. Жучка, изнемогая отъ усталости и потери крови, привела слѣдовавшихъ за нею въ осяновскій перелѣсокъ, верстахъ въ двухъ отъ деревни, — и тамъ увидѣли старика-коробейника, лежавшаго въ кустахъ, съ перерѣзаннымъ горломъ. Цѣнныя вещи изъ его коробки были ограблены, мошенка его оказалась пустой. Какъ только завидѣла Жучка трупъ своего хозяина, такъ тотчасъ, собравъ остатокъ послѣднихъ силъ, бросилась къ нему съ тоскливымъ воемъ, припала на грудь и стала лизать лицо и руки... Черезъ нѣсколько минутъ, она околѣла на его груди, отомстивъ грабителю-убійцѣ за его насильственную смерть.

Вотъ вамъ, милостивые государи, нѣсколько извѣстныхъ мнѣ, достовѣрныхъ фактовъ изъ собачьей жизни и нѣсколько наблюденій, сдѣланныхъ мною лично. Заключенія и размышленія выводите изъ этого какія угодно, но только, по моему мнѣнію, присутствіе личнаго, индивидуальнаго характера въ звѣряхъ отвергать довольно трудно, и почти нельзя, если принять въ соображеніе хоть эти факты, подобные которымъ вѣроятно знаютъ очень и очень многіе, кромѣ меня. Я же нахожу только, что пословица «собакѣ — собачья смерть» есть недобрая, пехорошая, клеветническая пословица, ибо, во-первыхъ, торжественный и грустный законъ смерти одинаковъ для всей природы, если только взглянуть и наблюдать его, а во-вторыхъ, потому, что собака умѣетъ умирать хорошо и честно, какъ дай Богъ умереть многимъ и многимъ людямъ...

СОЛЬГОРОДЪ

I.

Нѣсколько благихъ совѣтовъ и необходимыхъ предостереженій будущимъ туристамъ.

Отличное дѣло — путешествіе по Россіи только у насъ пока дѣло это, можно сказать, совѣтъ еще новое: большинство провинціальнаго люда вовсе не привыкло видѣть простыхъ туристовъ по нашимъ градамъ, весямъ и дебрямъ. Вслѣдствіе такой непривычки, дѣло, само по себѣ отличное, становится иногда для туриста весьма затруднительнымъ. Самый способъ передвиженія, если вы изберете путь по желѣзнымъ дорогамъ и водянымъ пароходнымъ сообщеніямъ, будетъ для васъ весьма легокъ, дешевъ и удобенъ. Но такъ какъ простран-

ство нашихъ уже открытыхъ желѣзныхъ дорогъ, относительно, весьма еще невелико, то легкость и удобство передвиженія, зависящія отъ водяныхъ сообщеній, ограничиваются только лѣтнимъ временемъ. О нашихъ почтовыхъ и проселочныхъ дорогахъ я ужъ и не говорю: едва ли во всемъ цивилизованномъ подлунномъ мірѣ найдется что либо хуже и непривлекательнѣе.

Стоитъ вамъ остановиться въ любомъ почти губернскомъ городѣ, для того чтобы самымъ ошутительнымъ образомъ почувствовать всю мѣру неудобства путешествій по русской землѣ. Не говорю уже хорошая, но мало-мальски сносная, порядочная гостиница является рѣдкимъ исключеніемъ. Вы принуждены останавливаться по большей части чуть ли не въ тупоухомъ, исполненной всякой грязи, пыли, зат-

хлости, клоповъ, и за это удовольствіе, за комнату пространствомъ въ двѣ квадратныя сажени, съ васъ дерутъ рубль въ сутки; да это еще слава-Богу, если только рубль — дерутъ, коли вздумается, и по два. При такихъ условіяхъ, вы считаете себя въ правѣ разсчитывать на мягкую удобную постель, на чистое постельное бѣлье—разочаруйтесь: ни того, ни другого и въ глаза увидѣть не придется. Кровать-то еще, пожалуй, есть; иногда даже содержатель гостиницы ущедрится настолько, что допускаетъ валяться на ней гошему тюфячишкѣ; но о подушкахъ, наволочкахъ, простыняхъ и объ оѣбѣлѣ нечего и думать: ничего подобнаго искони здѣсь не бывало, да и не полагается. Вы, понятное дѣло, изъясняете притязаніе, чтобы въ вашей комнатѣ явилось и то и другое, какъ ея необходимая принадлежность.

— Извините-съ, господинъ, — отвѣтитъ вамъ на это прислуга, — у насъ гостиница какъ есть хорошая, и нумера при ей, и все продіе, а только ефтого насчетъ чего вы спрашивать изволите — не полагается... кровать точно что полагается, только безо всего-съ; а что касаемое бѣлья да подушекъ, такъ это каждый долженъ съ собой привозить.

— И у васъ никто изъ проѣзжающихъ не спрашиваетъ?

— Какъ не спрашивать! Очинно спрашиваютъ, а только у насъ, значитъ, такого положенія и въ заведеніи нѣтъ.

— И вотъ—хочешь не хочешь, приходится хлопотать, чтобы хоть на прокатъ достать себѣ постельнаго бѣлья, черезъ того же нумерного человѣка. Да не думайте, чтобы подобный казусъ случился гдѣ-нибудь въ захолустьи, въ родѣ Чернаго-Яра или Хвалынска; нѣтъ, васъ ожидаетъ этотъ сюрпризъ ни болѣе ни менѣе, какъ въ Симбирскѣ или Саратовѣ, а въ послѣднемъ городѣ даже въ одной изъ лучшихъ гостиницъ, специально предназначенной для проѣзжающихъ. Извольте путешествовать съ грузомъ подушекъ и тюфяковъ, тогда какъ большая часть нашей братьи туристовъ запа�аются въ дорогу однимъ только чемоданомъ или даже саѣ-воляемъ!

Слово «туристъ», «путешественникъ», даже какъ-то странно и дико звучитъ въ ушахъ коренного русака-провинціала. Поневолѣ вспомнишь необыкновенно мѣткое и характеристичное выраженіе графа Сологуба: «какіе, молъ, тутъ путешественники!—просто-напросто рускіе помѣщики, ѣдемъ себѣ въ Мордасы!» Вы мнѣ возразите, пожалуй, что графъ Сологубъ сказалъ это устами одного изъ своихъ героевъ болѣе четверти столѣтія тому назадъ, а теперь, молъ, то-есть «въ настоящее время, когда и проч.» О, мой добрый столичный читатель! Повѣрьте, что разница двадцати-пяти годовъ существуетъ только для васъ, петербургскаго

или московскаго жителя, и то потому, что вы ужъ больно привыкли слышать, думать и повторять знаменитую фразу «въ настоящее время, когда и т. д.», а въ благословенной провинціи разница эта замѣтна гораздо менѣе; если же и замѣтна, то лишь въ томъ, что большинство кричитъ, будто прежде лучше было, а теперь какъ будто похуже стало. Вотъ и вся разница. Что же касается до путешествій по русской землѣ, то въ этомъ отношеніи большинство понимаетъ ихъ не иначе, какъ подъ условіемъ помѣщиковъ, не путешествующихъ, а просто ѣдущихъ-себѣ въ Мордасы.

Поговоримъ еще немного объ удобствахъ остановокъ въ русскихъ провинціальныхъ гостиницахъ. Однимъ изъ главныхъ вопросовъ, наравнѣ съ удобной, безклоповной постелью, является существенный вопросъ о пищѣ. Москва приучила русскаго человѣка къ жирному, лакомому куску. Въ Москвѣ нужно не ѣсть, а жрать. Подадутъ вамъ у Гуріна или въ Новотроицкомъ порцію чего бы то ни было, и этой одной порціи вдосталь хватитъ на трехъ, если даже не на четырехъ человѣкѣ. Цѣну возьмутъ за нее крупную, но сравнительно съ величиной порціи весьма и весьма умѣренную. Замосковные города, начиная съ Владиміра и продолжая Нижнимъ и далѣе, усвоили себѣ цѣны московскія, да даже въ иныхъ мѣстахъ и покрупиѣ московскихъ, а величину порціи черзчуръ ужъ нѣмецки-петербургскую. Достаточно будетъ, если я вамъ скажу, что напри-мѣръ въ Нижнемѣ, который, какъ вы знаете, стоитъ при сліянїи двухъ великихъ и рыбодныхъ рѣкъ земли русской, тарелка стерляжьей ухи или разварная стерлядка въ четыре вершка величиной стоятъ рубль серебромъ. И это, такъ сказать, на мѣстѣ рожденія и улова стерлядей, тогда какъ въ Петербургѣ, куда ихъ везутъ по чѹгункѣ, цѣна за тѣ же самыя кушанья колеблется отъ 75-ти копеекъ до полтора рубля. Начиная съ Владиміра вы почти не найдете по трактирнымъ карточкамъ ни одного, самаго обыденнаго, простого кушанья, цѣна которому полагалась бы не менѣе 40 копеекъ. Начинаясь, почти всѣ, безъ исключенія, отъ этой цифры, цѣны восходятъ до рубля, до рубля пятидесяти и даже болѣе. Хоть бы Дюссо съ Донономъ, такъ и то бы черзчуръ ужъ высоко было! И опять—таки, если сообразно этимъ цѣнамъ, вы польстите себя надеждой получить нѣчто отмѣннымъ образомъ искусно приготовленное, то жестоко ошибетесь: исключая единственнаго въ своемъ родѣ Никиты Егорова въ Нижнемѣ, у котораго дѣйствительно великолѣпный поваръ, вы вездѣ и повсюду рискуете получить такую трактирную архи-мерзость, надъ которой иногда не на шутку призадумаетесь, можно ли ее без-опасно попробовать. Затхлость, грязь и тара-

каны съ мухами въ приправѣ. Дерутъ и нѣмцы, дерутъ и русскіе. И тѣ, и другіе смотрятъ на проѣзжаго квартиранта, какъ на свою законную, неотъемлемую добычу, вещь созданную для того, чтобы обдирать ее возможно большіимъ и безсовѣстнымъ образомъ. Наглость и беззастѣнчивость этихъ обираний доходитъ иногда до своего рода вдохновенія, до поэзіи. Такъ напримѣръ, въ одномъ городѣ схватилъ я горловую простуду. Докторъ прописалъ мнѣ какія-то кисленькія капли, для приема которыхъ каждыиъ разѣ требовалась рюмка. И за каждыиъ приемъ, по шести разѣ на день, когда мнѣ подавали требуемук рюмку, обстоятельство это аккуратнѣйшимъ образомъ вносилось въ бухгалтерную книгу. Потребовавъ при отѣздѣ счетъ, я былъ немало изумленъ тѣмъ, что за рюмки съ меня надлежало взыскать три рубля съ копейками.

— Помилуйте! да за что же это?—не могъ я воздержаться отъ самаго искренняго восклицанія, порожденнаго великимъ изумленіемъ.

— За рюмки—съ,—отвѣчалъ невозмутимый слуга.

— Вижу, что за рюмки; но какимъ же это образомъ?

— Каждый разѣ за рюмку по пяти копеекъ—съ. У насъ рюмка идетъ за счетъ прибора, а приборъ отдѣльно платится по пятачку—съ, а намъ это все-единственно, спросите ли вы одну рюмку, одну ложку, али цѣльный приборъ—цѣна все одна—съ выходитъ.

Вотъ вамъ маленькій, но, надѣюсь, весьма характерный образчикъ всероссійской трактирной наглости.

Но всѣ исчисленные мною неудобства, хотя и весьма чувствительныя, относятся къ комфортабельности русскихъ путешествій, то-есть принадлежать къ числу неудобствъ мелкихъ, меркантильныхъ. Есть неудобства покрупнѣе и гораздо почувствительнѣе—неудобства уже чисто нравственныя.

Начнемъ съ того, что большинство нашего кореннаго провинціального люда, за весьма незначительными исключеніями, положительно въ толкъ себѣ не можетъ взять, какъ, и зачѣмъ, и для чего это люди путешествуютъ по матушкѣ Россіи. Тутъ смотрятъ на это дѣло исключительно почти съ точки зрѣнія Сологубовскаго героя, то-есть, подразумѣвая въ туристѣ русскаго помѣщика, ѣдущаго на тарантасѣ, по своей надобности, въ Мордасы. Понимаютъ, напримѣръ, очень хорошо поѣздку официальнаго ревизора, слѣдователя, чиновника по особымъ порученіямъ, поѣздку помѣщика, коммисіонера, купца на ярмарку, но никто почти не понимаетъ поѣздки просто такъ-себѣ туриста, путешественника. Вездѣ и во всемъ имъ нужна ближайшая, непосредственная, конечная и, главное, осязательно-существенная цѣль, безъ которой дѣло становится для нихъ темно-таин-

ственнымъ, непонятнымъ, подозрительнымъ и даже пугаетъ ихъ.

Ѣдетъ, напримѣръ, странствующій фотографъ или художникъ со своими картонами и дорожнымъ альбомомъ, останавливается, гдѣ ему вздумается, живетъ себѣ нѣкоторое время, бродитъ по окрестностямъ, снимаетъ разные виды — провинціальный обитатель начинаетъ не на шутку тревожиться: чтò, молъ, это за личность? да зачѣмъ онъ поѣхалъ? да чтò ему здѣсь видѣть? на что, молъ, тутъ и смотрѣть то! что тутъ можетъ быть хорошаго, или назидательнаго? и наконецъ глубокомысленно рѣшаетъ, что это, молъ, не просто, дѣло должно быть неладное! Какъ только онъ рѣшилъ себѣ это—кончено! Тутъ уже дождемъ сыплются самыя невѣроятныя предположенія, въ видѣ неоспоримо доказанныхъ истинъ, изъ которыхъ самая обыкновенная та, что это, молъ, не просто художникъ или фотографъ, а тайный агентъ Наполеона III или Англіи, подкупленный и подосланный сюда затѣмъ, чтобы снять виды и планы для высшихъ политическихъ и стратегическихъ соображеній, смыслъ которыхъ непременно долженъ быть весьма опасенъ для мира и благоденственнаго процвѣтанія нашего вселюбезнаго отечества. Иногда случается, что вслѣдствіе такихъ глубокомысленныхъ соображеній, предусмотрительно-бдительная административная власть несчастнаго художника и на пугундерь потянетъ, и во всякомъ случаѣ уже позаботится приставить за нимъ какого-нибудь тайнаго наблюдателя, изъ своихъ подручныхъ, чтобы о всѣхъ малѣйшихъ его дѣйствіяхъ и поступкахъ немедленно было доносимо.

Наши почтенныя газеты въ недавнее время очень негодовали на то, что бдительныя австрійскія власти, въ каждомъ русскомъ путешественникѣ видятъ непременно тайнаго русскаго эмиссара съ «москѣвскими рѣблями» и съ «москѣвскою пропагандой». Наши же домашнія и не менѣе бдительныя Россійскія власти чуть не въ каждомъ *русскомъ* туристѣ въ свою очередь усматриваютъ австрійскаго или, главнѣйшимъ образомъ, французскаго эмиссара. Но мы объ этомъ молчимъ, ибо не знаемъ. А не знаемъ мы потому, что хотя бдительныя власти и сообщаютъ свои глубокомудрыя соображенія высшей своей губернской власти, но эта власть, по большей части отличаясь въ данномъ случаѣ несравненно меньшимъ глубокомысліемъ, не даетъ означеннымъ соображеніямъ дальнѣйшаго хода, не желая вконецъ уже компрометировать своихъ подчиненныхъ, хотя и похваляетъ ихъ подъ рукою за усердное рвеніе къ долгу службы.

И вотъ, изъ того, что наше провинціальное большинство рѣшительно не можетъ понять, какъ и зачѣмъ это люди рѣшаются ѣхать въ наши дебри и веси, только ради одного путе-

шествiя, безъ всякой задней цѣли и мысли, протекаетъ то, что въ одномъ губернскомъ городѣ васъ принимаютъ за французскаго эмиссара, въ другомъ за русскаго шпіона, въ третьемъ за распространителя революціонныхъ прокламацій и золотыхъ грамотъ, въ четвертомъ за дѣлателя фальшивой монеты и переводчика фальшивыхъ депозитокъ. Такія разнообразныя роли, которыя въ разныхъ городахъ люди навязываютъ одной и той же личности, находятся въ прямой зависимости отъ временныхъ, мѣстныхъ условій того или другого города. Если городъ отличается своимъ патриотическимъ настроеніемъ, тамъ вы скорѣ всего рискуете быть принятымъ за французскаго эмиссара, или (что еще въ большей мѣрѣ) за распространителя прокламацій и золотыхъ грамотъ, а пожалуй, и за поджигателя. Въ другомъ городѣ фальшивыя депозитки по рукамъ гуляютъ—конечно: на васъ падаетъ административное подозрѣніе, ужъ не вы ли есть переводчикъ запрещеннаго товара. Въ третьемъ же, напримѣръ, разныхъ власти, господствія и силы чувствуютъ, что у нихъ рыльца больно тово, что называется, въ соблазнительномъ пуху, за который нынче, случается иногда, и по шапкѣ накладываютъ, и подъ судъ подведутъ. Тутъ изъ васъ непременно сами же господствія и силы создадутъ правительственнаго шпіона, присланнаго затѣмъ, чтобы поразузнать про всѣ ихъ пакости и воровскія дѣлишки. Переполохъ пойдетъ въ городѣ страшнѣйшій, и не у одного губернскаго туза шибко и смутительно ёкнетъ сердчишко при слухѣ о скромномъ туристѣ. У насъ въ провинціи и до сихъ поръ все еще играетъ въ полной силѣ свою великую роль это Гоголевское «инкогнито прокламное», и—охъ—какъ побиваются его разные современные намъ Тяпкины-Ляпкины, Земляники и Сквозники-Дмухановскіе!

Хотя ваше нравственное чувство и будетъ коробить отъ такой милой роли, какую вамъ постараются приписать Сквозники да Ляпкины, однако же поблагодарите еще Бога, если изъ васъ сдѣлаютъ шпіона, а не агитатора: въ послѣднемъ случаѣ могутъ произойти для васъ хотя и кратковременныя, тѣмъ не менѣе серьезныя непріятности; въ первомъ же вы рискуете только *volens-potens* разыграть роль достолюбезнѣйшаго Ивана Александровича Хлестакова, нужды нѣтъ, что со времени появленія его на свѣтъ Божій изъ-подъ пера Гоголя прошло уже почти сорокъ лѣтъ и что въ эти сорокъ лѣтъ русское общество, какъ говорятъ, будто бы быстро изволило шествовать по пути прогресса, просвѣщенія и всевозможныхъ гражданственныхъ преуспѣлій и добродѣтелей.

Я по той лишь причинѣ распространяюсь столь много на этотъ счетъ и рѣшаюсь преподать нѣсколько благихъ, почерпнутыхъ изъ опыта совѣтовъ будущимъ русскимъ туристамъ,

что убѣжденъ и знаю изъ неоднократно уже повторявшихся фактовъ, что каждому почти вольному, въ европейскомъ смыслѣ, туристу непременно грозитъ въ какомъ нибудь изъ отечественныхъ захолустій приписка одной изъ трехъ названныхъ и весьма обыденныхъ ролей, если только этотъ туристъ не ревизоръ, не купецъ, не чиновникъ по особымъ порученіямъ, однимъ словомъ, если онъ не русскій помѣщикъ, ѣдущій въ тарантасѣ, по собственнымъ надобностямъ, въ Мордасы. Тѣ немногіе, но исполнѣ отважные путешественники по русской землѣ, такъ-сказать Левингстоны нашихъ всероссійскихъ трущобъ и захолустій, которымъ удалось предупредить меня въ подобныхъ странствіяхъ, я увѣренъ могутъ въ большинствѣ случаевъ подтвердить мои слова и признать всю благость и необходимость моихъ добрыхъ совѣтовъ.

Роль шпіона самая легкая и самая благодарная изъ всѣхъ трехъ ролей, какія могутъ быть вамъ приписаны. Она, положимъ, съ непривычки будетъ сильно драть и коробить всѣ лучшія стороны вашего нравственнаго чувства; но потомъ, когда вы приглядитесь къ господамъ, нарядившимъ васъ въ такой костюмъ, васъ будетъ принимать неудержимый хохотъ—хохотъ зрителя знаменитой Гоголевской комедіи.

Начать съ того, что за весьма немногими и даже ничтожными исключеніями, здѣшніе мозги такъ устроены и нравственное чувство въ такой степени развито, что рѣшительно никто (кромѣ помянутыхъ исключеній) не находитъ въ ремеслѣ шпіона ничего безнравственнаго, позорнаго и оскорбительнаго! Напротивъ, у насъ пока еще оно считается дѣломъ очень хорошимъ, почтеннымъ, прибыльнымъ и пользуется въ общественномъ провинціальномъ мнѣніи большимъ почетомъ и уваженіемъ. Поэтому здѣсь каждый, кто только можетъ и чувствуетъ въ себѣ хотя малѣйшія способности, стремится заявить себя на этомъ достойномъ поприщѣ, и подвизается на немъ по большей части не безъ успѣха. Самая жизнь провинціальная складается такъ, что содѣйствуетъ развитію этой способности. Самая скупка и великая безсодержательность городской провинціальной жизни поддерживаютъ эту способность, равно принадлежащую и прекрасному, и непрекрасному полу. Что такое, напримѣръ, весь невообразимо глубокий и широкій міръ провинціальной, городской сплетни—сплетни, зорко слѣдящей за каждымъ сосѣдомъ, отъ прорѣхи на его нижнемъ бѣльѣ, отъ супа, готовящагося нынче къ его обѣду, до сокровеннѣйшихъ его намѣреній и помысловъ—что такое все это, спрашиваю я, какъ не то же шпіонство, какъ не та же неодолимая потребность въ немъ, возведенная въ своеобразный пертъ созданія?

Говорю смѣло, основываясь на слишкомъ достаточныхъ и многократныхъ наблюденіяхъ, что въ тѣхъ городахъ, какъ напримѣръ въ пресловутомъ Сольгородѣ, получившемъ недавно такую широкую знаменитость въ извѣстномъ отношеніи, гдѣ разные Сквозники и Земляники сами чувствуютъ, что рыльце черзчуръ уже пухомъ одѣто, шпионство въ большомъ почетѣ. Здѣсь испоконъ вѣка перебивало, и теперь еще пребываетъ множество наѣзжихъ ревизоровъ, чиновниковъ изъ министерствъ и слѣдственныхъ комиссій, по дѣламъ административнаго и иного воровства самыхъ грандіозныхъ и патріархально безцеремонныхъ размѣровъ. Здѣсь сильно побаиваются каждаго новаго, свѣжаго человѣка, и прежде всего стараются, во что бы то ни стало, провухать относительно его, не слѣдователь, не ревизоръ ли это наѣхаль? «Инкогнито проклятое» страшитъ тутъ пуще всего и повергаетъ извѣстную часть должностнаго міра въ нѣкоторое смятеніе. Впрочемъ, народъ здѣсь все дошлый, привычный, выдавшій виды на своемъ вѣку и пропущенный сквозь огонь и воду и мѣдныя трубы. Народъ этотъ хоть и знаетъ, что съ помощью своей гениальной дошлости, онъ и уцѣлѣетъ здравъ и невредимъ подъ своими злаными и прохладными смоковницами, но все же какъ-то гово... неприятно, знаетъ, отчасти сознание, что вотъ паки и паки ревизоръ наѣхаль, чортъ его знаетъ еще что за человѣкъ, а буде еще при этомъ и «инкогнито проклятое» прицѣпилось, то дня два безъ особеннаго апетита за столъ сядешь. Это немножко неприятное сознание отчасти мѣшаетъ прекрасной природой наслаждаться, предаваться своему безмятежному кейфу и безкорыстно сознать въ себѣ счастливаго отца семейства и благороднаго, почтеннаго гражданина, благонамѣреннаго сына отечества, да все же и пушокъ-то вокругъ рыльца, хотя бы для одного приличія, приходится пообтереть немножко. Здѣсь шпионства боятся, а потому весьма чтутъ и уважаютъ его. Вслѣдствіе такого обстоятельства, и человѣкъ, на котораго, по глубокимъ соображеніямъ Сквозниковъ, падаетъ хотя маломальское подозрѣніе въ какомъ то нп было шпионствѣ, пользуется у нихъ большимъ уваженіемъ и внушаетъ нѣкоторый почтительный страхъ своею особою. Передъ нимъ лебезятъ на заднихъ лапкахъ, приглашаютъ его на свои обѣды, ему наиприятнѣйшимъ образомъ улыбаются и исподтишка наушничаютъ другъ на друга, потому что какъ же такъ возможно упустить благоприятный случай подставить ближнему своему подножку?

И потому-то что всѣ очень хорошо знаютъ другъ за другомъ такое милое качество, сердца ихъ преисполняются нѣкоторой тошнющей тревоги. Василій Евграфовичъ, напримѣръ, хотя закадычный благопріятель съ Павломъ Ва-

сильевичемъ, а Павелъ Васильевичъ чуть не амикошонъ съ Васильемъ Евграфовичемъ, который является въ нѣкоторомъ родѣ великой особой сольгородскаго міра, и хотя они дружески ослабляются при встрѣчѣ, жмутъ другъ другу руки съ горячіюстію Кастора и Полукса, хотя на официальныхъ кормленіяхъ звѣрей, послѣ нѣсколькихъ бокаловъ, и заявляютъ они одинъ другому свои теплыя чувствованія, и хотя каждый вечеръ въ дворянскомъ, сирѣчь «благородномъ», клубѣ въ стуколку и рамсъ играютъ, тѣмъ не менѣе Павелъ Васильевичъ не убѣжденъ, что Василій Евграфовичъ не продастъ его при случаѣ, а Василій Евграфовичъ, въ свою очередь, не можетъ поручиться, чтобы и Павелъ Васильевичъ, въ одинъ прекрасный день, не оказался противу него Іудой Искаріотомъ. Изъ этого проистекаетъ то, что при смущающемъ проѣздѣ какого-нибудь новаго, свѣжаго человѣка, Павелъ Васильевичъ, у котораго рыльцо въ страшномъ пуху и даже кровью припахиваетъ, начинаетъ побаиваться, какъ бы не вымелось сору за порогъ сольгородской избы, благодаря какому-нибудь благопріятелю. Въ этомъ настроеніи, онъ обрѣтаетъ весьма остроумное средство, а именно: начинаетъ распространять вездѣ и повсюду, и преимущественно между тѣми, кого онъ имѣетъ основаніе считать за своихъ лобызающихся искаріотовъ, что вотъ, молъ, господа, получилъ я вчера изъ Петербурга отъ вѣрнаго и вліятельнаго человѣка наивѣрнѣйшія свѣдѣнія, что такой-то Н. Н., проживающій проѣздомъ въ нашемъ Сольгородѣ—«инкогнито проклятое», тайный правительственный агентъ, присланный къ намъ нарочно, чтобы разузнать вообще настроеніе умовъ (здѣсь Павелъ Васильевичъ очевидно отгадываетъ дань современнымъ требованіямъ) и кое-что поразвѣдать о нашихъ грѣшныхъ дѣлишкахъ; такъ вы, господа, смотрите, тово... будьте съ нимъ поосторожнѣе... Лучше держаться подальше—цѣлѣе будете, да и онъ-то какъ увидитъ, что мы себѣ на умѣ, ничего не добьется и поскорѣе отъ насъ уйдетъ. Это сообщеніе отца и благодѣтеля принимается съ почтительной благодарностью, причѣмъ Павелъ Васильевичъ не преминетъ намекнуть и на то, чтобы благопріятели не болно-то на его счетъ чесали свои язычки передъ новопріѣзжимъ, потому что и онъ, въ свой чередъ, можетъ поточить язычекъ и на ихъ счетъ, и воѣмъ въ результатъ будетъ солоно, а лучше, молъ, жить по-тиху, по-сладеку, по христіанской заповѣди, да по пословицѣ «рука руку моетъ и обѣ чисты бывають».

И Павелъ Васильевичъ, послѣ такого сообщенія, имѣетъ основанія питать надежду, что онъ, посредствомъ внушительнаго страха взаимной отместки, нѣсколько загарантировалъ себя отъ дружескихъ тайныхъ извѣтовъ. Вы себѣ ничего еще и не подозреваете, а ужъ безобраз-

ная сплетня пошла гулять на вашъ счетъ по всему городу и задала работу всѣмъ досужимъ языкамъ. И этой сплетнѣ является совершенно безкорыстная поддержка со стороны разныхъ сердоболовъ въ чепцахъ и во фраккахъ и особенно со стороны какой-нибудь перерзѣлой и потому злощей дѣвы-бобелины въ образѣ кирасирской браковки, которая занимается этимъ дѣломъ безкорыстно, уже изъ любви къ чистому искусству и изъ поклоненія современному солггородскому прогрессу.

Но... хотя Павелъ Васильевичъ и думаетъ, что онъ загарантировалъ себя, тѣмъ не менѣе, многіе изъ его пріятелей-искаріотовъ найдутъ случай познакомиться съ пробѣжымъ и по секрету начнутъ шептать тому въ уши всякія мерзости. И Павелъ Васильевичъ тоже самъ про-себя думаетъ: хоть вы, голубчики, и не посмѣете трубить про меня, послѣ моего внушительнаго предостереженія, да я-то не дуракъ—и про васъ, мои миленькіе, въ добрый часокъ все-таки шепну кое-что; потому этакъ-то будетъ поспокойнѣе.

Ну, и шепчутъ, шепчутъ, шепчутъ...

И, Боже мой! еслибы вы только знали, что за мелкоподленькія, что за паршивенькія гнусности шепчутъ всѣ эти братья-разбойники, надѣляющіе другъ друга при своихъ встрѣчахъ, попойкахъ и обжиранияхъ такими сладко-іудиными лобзаннями! Обращаюсь попрежнему къ вамъ, мои собратья-писатели. Если кто изъ васъ вздумаетъ посѣтить наши захолустья, то позвольте предупредить заранѣе: на вашу злосчастную долю, болѣе даже чѣмъ на долю всякаго другого туриста, доведется выслушать всяческихъ шептаній. Вы отъ нихъ не отвертитесь, не отплетаетесь, не отчуждаетесь. Всѣ эти господа непремѣнно воображаютъ, что ихъ-то помойная яма и есть главный центръ, вокругъ котораго вращается если и не вся вселенная, то ужъ по крайней мѣрѣ вся Россійская имперія, что взоры всего государства на нихъ однихъ устремляются; и потому всѣмъ своимъ личнымъ дѣлишкамъ и интересишкамъ придаютъ они необыкновенно важное, чуть не государственное значеніе. Васъ, напримѣръ, интересуетъ ходъ серьёзныхъ вопросовъ общественной жизни такого-то города; вы хотите знать, въ какомъ положеніи находится ну, хоть земское дѣло, судебная реформа, школы, хозяйство городское, вы хотите поближе ознакомиться съ интересами торговыми, промышленными—куда тебѣ! До всѣхъ этихъ вопросовъ никому никакого дѣла нѣтъ; они къ большинству и не прививаются; большинство надъ ними и не задумывается, считая ихъ за что-то виѣшнее, постороннее и насильственно-напускное, втиснутое въ обыденный кругъ провинціальной жизни, хотя въ то же время ни одинъ изъ этихъ господъ не прочь полиберализовать передъ вами самымъ наипошлѣйшимъ

образомъ. Въмѣсто того, о чемъ вы главнѣйше хотѣли бы знать, вамъ съ самымъ іезуитскимъ видомъ начинаютъ напештывать, что вотъ, молъ, Иванъ Ивановичъ за такое-то дѣльце содралъ тогда-то съ Сидора Карповича такую-то взятку, а самъ про себя, поди-ка, въ то-же самое время, навѣрное съ досадливымъ сокрушеніемъ думаетъ: эхъ, чортъ возьми, зачѣмъ ему, а не мнѣ довелось сорвать! Или начинаютъ рассказывать, что Филатъ Іонычъ тогда-то такую-то пакость сотворилъ, а тогда-то вотъ этакую; а вотъ еще Марья Ивановна съ такимъ-то въ любовной интригѣ состоятъ, а Ольга Петровна черезъ nepзволительную связь муженька въ люди выводитъ, а намереніи еще видѣли, какъ Андрей Николаевичъ отъ Елены Михайловны въ седьмомъ часу утра черезъ заборъ перелѣзъ—значить, дѣло тово... неладное! Вамъ становится скверно, противно, васъ тошнитъ отъ всѣхъ этихъ милыхъ сообщеній, вы не хотите больше слушать грязнаго сплетника—не безпокойтесь: на его мѣсто подсядетъ другой, другого замѣнитъ третій и т. д., и каждый изъ нихъ постарается рассказать вамъ другъ про друга, и про супругъ, и про домочадцевъ кучу невообразимыхъ мерзостей, да еще увѣренъ при этомъ, что онъ благородное, благое дѣло творитъ: «вотъ гдѣ вамъ, батенька, говоритъ, матеріалъ-то настоящій! вотъ гдѣ непочотой уголъ! Вы, говоритъ, это все у себя въ книжку запишите, въ книжку-съ; а если прикажете, такъ я вамъ лучше самъ все это письменно изложу, письменно этакъ, знаете, въ видѣ промеморіи». Разсказалъ цѣлую кучу и торжествуетъ—торжествуетъ потому, во-первыхъ, что увѣренъ, будто вы такъ сразу и воспользуетесь всѣми его сообщеніями и прочтаете сполна, цѣликомъ и про Ивана Ивановича, и про Марью Ивановну, и про Филата Іоныча, и про Елену Михайловну съ Андрей Николаевичемъ; а во-вторыхъ потому, что воображаетъ, будто успѣлъ насолить и напакостить всѣмъ имъ вкупѣ, и наконецъ, въ-третьихъ, еще потому, что убѣжденъ, будто во всѣхъ этихъ гнусностяхъ именно и заключается высшій интересъ чуждъ ли не всего государства и благо цѣлой Россіи.

Итакъ, мои собратья, если вздумаете прокатиться по нашему вселюбезному отечеству и пожить въ его захолустьяхъ, то я рекомендую вамъ заранѣе приготовиться къ вольному или невольному выслушиванію цѣлыхъ коробовъ мерзостей и дразгъ подобнаго сорта. Вы ихъ никоимъ образомъ и ни въ какомъ случаѣ не избѣгнете, несмотря на все ваше стараніе: онѣ будутъ преслѣдовать васъ вездѣ и повсюду, ибо онѣ-то и составляютъ главнѣйшую суть, главнѣйшій интересъ и весь эрфичесъ провинціальной городской жизни. Слава тебѣ, Господи, еще хоть за то, что встрѣ-

типъ иногда человѣка, въ человѣческомъ смыслѣ этого слова, съ которымъ отдохнешь и поговоришь о вещахъ болѣе серьезныхъ и болѣе для васъ интересныхъ, но *люди*, повторяю еще разъ, составляютъ пока исключеніе, а въ общемъ итогѣ господствуютъ Павлы Васильевичи, да Васильи Евграфовичи.

Не говорю уже о тѣхъ невозможныхъ рукописяхъ, какія нанесутъ къ вамъ разные авторы, съ просьбами напечатать ихъ, гдѣ угодно «въ одномъ изъ столичныхъ журналовъ». Если вы въ этомъ отношеніи окажете слабость, то заранѣе приготовьте въ чемоданѣ своемъ значительное мѣсто: ихъ наберется очень и очень порядочный грузъ. Все это составляетъ неизбѣжныя неудобства нашихъ путешествій, наравнѣ съ клоамаи, пылью, трактирной дороговизной и трактирными порціями. Если хотите, то воспользуйтесь моимъ опытомъ, принявъ къ свѣдѣнію нѣсколько высказанныхъ совѣтовъ и предостереженій, и затѣмъ съ Богомъ пускайтесь въ путь, причеъъ я отъ души пожелаю вамъ счастливой дороги и побѣщаю, помимо нѣкоторыхъ неудобствъ, много и много хорошихъ впечатлѣній.

II.

Сольгородъ.

Я приступаю къ изображенію города совершенно фантастическаго. Мало того: на трезвый взглядъ много человѣка, привыкшаго мѣрять всѣхъ и вся на аршинъ европейской цивилизаціи, мой городъ покажется даже невозможнымъ, немыслимымъ. Тѣмъ не менѣе—«какъ знать; чего не знаешь», отвѣчу я на это, и все-таки стану изображать Сольгородъ.

Напрасно бы стали искать его, подъ этимъ именемъ, на генеральной картѣ Россійской имперіи: тамъ такого не отыщется. Название это, какъ и самый городъ, тоже фантастическое. Нѣкоторыя лица, которыя будутъ намъ попадаться здѣсь, постараемся также отнести къ міру фантазій, потому что для честнаго человѣческаго сознанія было бы гораздо утѣшительнѣе думать, что подобные герои только и могутъ принадлежать области вымысла, сновъ и кошмаровъ, чѣмъ знать, что таковыя существуютъ въ дѣйствительности.

Представьте себѣ, напримѣръ, городъ занимающій одно изъ видныхъ мѣстъ въ ряду городовъ нашего отечества; городъ, который по географическому положенію своему служитъ однимъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ въ отношеніи торговомъ и промышленномъ; который соединенъ съ сердцемъ государства живою артеріей желѣзнаго пути; мимо котораго шныряетъ множество пароходовъ; который наружностью своей стремится приблизиться къ европейски-цивилизированному типу, хотя въ то же

время всецѣло хранить въ нѣдрахъ своихъ и другой почтенный типъ города древне-русскаго; словомъ сказать, городъ хорошій, на всю стать городъ, которому «много дано», и съ котораго поэтому должно бы много и выскатся. Таковъ, въ общихъ чертахъ, мой фантастическій Сольгородъ.

Что же такое въ сущности этотъ Сольгородъ?

Прежде всего, это въ нѣкоторомъ смыслѣ великороссійская Колхида, такъ что получить тамъ теплое мѣстечко, значить, ни болѣе ни менѣе, какъ обрѣсти Язоново золотое руно. Во-вторыхъ, это городъ патріархальный, и патріархальность его по-преимуществу выражается въ патріархально-безцеремонномъ пользованіи Язоновымъ руномъ, причеъъ это пользование достигаетъ патріархально громадныхъ размѣровъ. Приѣдетъ, напримѣръ, туда на кормленіе голенькій чиновничекъ, а черезъ двѣти годика—глядяи—у него пароходы по рѣкѣ гуляють, а еще черезъ два-три годика—два-три домика воздвигаются, ради вящшаго преукрашенія города.

Власти здѣсь тоже патріархальныя. Одна изъ нихъ, находясь въ рукахъ человѣка безспорно и безукоризненно честнаго, человѣка—если судить его просто какъ личность—очень хорошаго и почтеннаго, проявляетъ себя по преимуществу такимъ образомъ, какъ-будто она ввѣрена сонливой, лимфатичной и подслѣпаватой маменькѣ, у которой изъ-подъ подушки рѣзвые дѣтки таскають ключи и лакомятся тайкомъ въ кладовой разными сластями, а она, голубушка добродѣтельная, судя о всѣхъ по себѣ самой, и не чаеъъ, что у ней подъ носомъ совершается. Другая же власть сольгородская олицетворяется въ одной великой медвѣжьей загребистой лапѣ. Впередъ, при случаѣ, мы ее такъ и будемъ именовать «Загребистой лапой».

Именитое купечество сольгородское (въ большинствѣ своемъ) и многіе другіе почтенные люди сильно не жалуютъ новаго суда, и всѣми мѣрами стараются оттянуть введеніе его—черта примѣрнаго патріархализма. Городъ богатый, даже очень и очень богатый, который можетъ бросать по восьмидесяти тысячъ на постройку полицейской части, чтобы дать приличную квартиру частному приставу, вдругъ жалуется на крайній недостатокъ суммъ, необходимыхъ для постройки и даже просто для ремонта подходящаго зданія для гласнаго суда. Но это—что называется, одна только «музыка», а сущность въ томъ, чтобы подольше въ мутной водѣ рыбу ловить. Нѣкоторые изъ именитаго купечества высказываются на этотъ счетъ даже съ похвальной откровенностью.

«Наше дѣло коммерческое, говорятъ они. Въ коммерціи всяко случается! Примѣромъ

сказать, сблыть я товарецъ маленько того... съ изъянцемъ—безъ того нельзя же. Покупатель опослѣ того придетъ ко мнѣ амбицію свою показывать. Я ему сейчасъ на это: а гдѣ, молъ, у тебя глаза-то были, какъ покупать? На себя, значить, пеняй, коли не смотрѣлъ, чтѣ берешь! Такъ на эфтомъ у насъ нониче и шабашъ тому дѣлу будетъ. А коли ежели въ ропотъ войдетъ, жалиться станетъ—ну ступай, жался! У насъ на эфтомъ счетъ завсегда уже дѣло заручочное, подмазанное. А теперича этотъ самый судъ. Станутъ при всей публикѣ шельмовать меня такимъ непристойнымъ манеромъ да въ газетѣ пропечатывать—чтѣ жъ тутъ хорошаго? Окромѣ убытковъ, можно сказать—ничего! Имъ-то съ полѣ-горя, а я, значить, въ имени своемъ опороченъ буду; мнѣ черезъ то самое подрывъ комерціи выходитъ, кредитъ мой падаетъ... Опять же и то: случается теперь, что иной разъ въ куражъ, значить, ндравъ свой желеашъ показать—ну, и дебошъ!.. въ зубы этакъ, примѣрно, звизданешь кого-нибудь. Кто мнѣ теперь можетъ попрепятствовать? Звизданулъ, а на утречко поклонился кому слѣдуетъ десятницей, алибо лиловенькой—и правъ, и никакого суда не нужно. А съ новыми-то порядками, въ эфтомъ самомъ разѣ, опять-таки одинъ только конфузъ тебѣ же сдѣлаютъ. Вона, слышно, въ Москвѣ, да въ Питерѣ нониче за эфти самыя дѣла въ острогъ сажаютъ. Чтѣ жъ тутъ хорошаго!»

При такой своеобразной логикѣ и аргументаціи съ одной стороны, да при сильномъ желаніи подольше поудить рыбку съ другой, понятное дѣло, станешь всѣми зависящими мѣрами оттягивать введеніе гласнаго суда. Во всемъ этомъ замѣчательно то, что въ Сольгородѣ большинство думаетъ такъ, хотя и не каждый рѣшится высказать свои завѣтныя думки съ такой откровенностью.

Я уже раньше высказалъ, что въ Сольгородѣ испоконъ вѣку перебывало и нынѣ еще пребываетъ множество разныхъ комиссій: слѣдственныхъ, ревизіонныхъ, судебныхъ и иныхъ, по дѣламъ объ рунѣ Язоновомъ. Поэтому, естественно, сольгородцы заинтересованы вопросомъ о судебной реформѣ, такъ какъ тутъ дѣло, зачастую гляди—собственной шкуры касается. Въ старыхъ порядкахъ жилось хорошо, припѣваючи—и это уже слишкомъ достаточная причина, чтобы не взлюбить новые и бояться ихъ.

Однако, Сольгородъ отдаетъ дань современности, и потому имѣетъ свои партіи. Въ прежніе годы были партіи ералаша и преферанса; нынѣ партіи либераловъ и ретроградовъ. Теперь вѣдь, какъ извѣстно, безъ либераловъ и ретроградовъ нѣтъ ни единого захолустья. Посредникъ, напримѣръ, который на крестьянскомъ сходѣ разрѣшаетъ мужикамъ сѣчься не свыше двадцати-пяти розогъ, есть уже либе-

раль относительно посредника ретрограда, допускающаго сѣченье свыше пятидесяти ударовъ. И при этомъ первый будетъ взирать на второго свысока и порицать его отсталость.

Если вы пожелаете узнать, чтѣ такое эти сольгородскіе либералы и ретрограды, то я вамъ скажу, что они вполне стоятъ другъ друга, такъ что трудно отдать какое-либо преимущество однимъ передъ другими. Они, какъ говорится, «оба лучше». И тѣ и другіе «честно держатся своего знамени» и яростно защищаютъ избранные принципы. Но вотъ въ принципахъ-то и все дѣло.

Поговоримъ сначала о либералахъ:

Либералы сольгородскіе дѣлятся на четыре категоріи:

- a) Либералы акцизные,
- b) Либералы контрольные,
- c) Либералы соляные,
- d) Либералы пароходскіе.

Послѣдніе, то-есть пароходскіе либералы, составляютъ видъ либерализма партикулярнаго, ибо таковые состоятъ на службѣ частной, а не государственной, но въ сущности своей не представляютъ никакого отличія отъ трехъ видовъ либерализма officialнаго, то-есть пользующагося мѣстами на казенной службѣ. Сольгородская атмосфера всѣхъ ихъ претворяетъ въ эфирное вещество однородной сущности: они всѣ, какъ говорится, «однимъ муромъ мазаны».

Весьма сожалѣю, что въ данную минуту нѣтъ у меня подъ рукою одной достопримѣчательной рукописи изъ цикла тюремной литературы—рукописи, называющейся «Домъ позора». Въ ней весьма рельефно, хотя и совершенно наивно, выказывается все нравственное мировоззрѣніе арестантовъ, то-есть: чтѣ, по ихъ понятіямъ, добро и чтѣ зло, чтѣ законно и незаконно, чтѣ нравственно и безнравственно. Рукопись драгоценная для изученія фізіологіи заключенника. Въ ней есть также своего рода либерализмъ, который съ непривычки поразить насъ до нельзя своею своеобразностью. Но начиная вдумываться поглубже въ это дѣло, вы приходите къ убѣжденію, что ничего иного и не могла дать тюрьма, что этотъ своеобразный либерализмъ есть ея прямое и законное порожденіе—порожденіе страданій меньшинства честныхъ и неповинныхъ людей съ озлобленіемъ и страданіемъ большинства негодяевъ, мазуриковъ, воровъ и болѣе тяжкихъ преступниковъ. Вдумавшись поглубже, вамъ становится уже совершенно понятнымъ, что подобное произведеніе, какъ «Домъ позора», только и могла создать одна лишь тюрьма со всѣми ея пріятностями.

Но представьте же себѣ мое недоумѣніе, когда въ либерализмъ сольгородскихъ либераловъ я совершенно неожиданно открылъ величайшее сродство съ либерализмомъ «Дома позора». Меня такого рода открытіе, такъ-сказать, опарашило по лбу. Ну, тамъ, думаю себѣ,

тюрьма, воры, мазурики, а здѣсь то что же такое? Здѣсь—Сольгородъ. То-есть, тѣ же личности, только въ иной сферѣ. Тамъ отъ голоду да отъ привитого съ рожденія порока люди страдаютъ за то, что ворovali платки изъ кармановъ; здѣсь отъ потребности къ излишнему комфорту да отъ привитого съ пеленокъ нравственнаго разврата, люди крадутъ сотни тысячъ, и не только-что не страдаютъ, но наслаждаются покойной жизнью, всеобщимъ почестомъ, сознаніемъ собственной благонамѣренной честности и своимъ либерализмомъ. И все-таки либерализмъ-то вотъ, то-есть сущность и характеръ его составляютъ великое *общее* между тѣми и другими. Говоря по чистой совѣсти, я никакъ иначе не могу охарактеризовать сольгородскій либерализмъ, какъ только названъ его *воровскимъ* либерализмомъ. Да, это именно *воровской либерализмъ*, и, вѣрите мнѣ, я ничуть не преувеличиваю, придавая ему такой неблагоприятный эпитетъ. Въ мозгахъ сольгородскихъ либераловъ образовался какой-то сумбуръ, вавилонское смѣшеніе, перековерканіе шиворотъ на выворотъ всѣхъ ихъ понятій. Уже не говоря о томъ, что распустить о комъ бы то ни было, и особенно о женщинѣ, какую-нибудь пасквильную сплетню, оклеветать ея доброе имя ничего не значить; но просто на просто оскорбить любую женщину самымъ наглѣмъ и подлымъ образомъ здѣсь, напримѣръ, почитается либерализмомъ. Мировой посредникъ, безъ толку и смыслу кричащій вездѣ и повсюду громкія фразы о социализмѣ и демократизмѣ и въ то же время съ цинической наглостью признающійся, что онъ деретъ взятки по пятидесяти рублей съ крестьянъ и помѣщиковъ: «я, молъ, пользуюсь обстоятельствами и стригу барановъ, потому что коли не я, такъ все равно другой стричь будетъ: они вѣдь на это и созданы»—такой посредникъ почитается либераломъ и самъ онъ себя таковымъ почитаетъ.

Помню, однажды, зашелъ разговоръ объ одномъ мѣстномъ судебномъ слѣдователѣ, человѣкѣ глубоко честномъ и достойномъ всякаго уваженія, благодаря усиліямъ котораго одно грязнѣйшее дѣло, по поводу чутъ не миллионнаго воровства, быть можетъ, не канетъ въ Лету, а выплыветъ на позорище честныхъ людей, во всей прелести своего безобразія. Меня опять-таки словно обухомъ по лбухватило, когда я услышалъ изъ устъ нѣкоего либерала, что этотъ человѣкъ хуже всякаго мерзавца.

— Какъ! почему?—вопрошаю невольно.

— Помилуйте, какъ же не хуже!.. Уже что же это за человѣкъ, говорить, коли онъ рѣшился взять на себя такую подлую, сыщиковскую должность!

— Это должность-то слѣдователя?

— Да-съ,—это должность слѣдователя!—По моимъ, говорятъ, убѣжденіямъ, ни одинъ честный человѣкъ за такую гнусную должность

не возьмется.—Помилуйте, слѣдить за людьми, дѣлать на совѣсть ихъ нравственную облаву, способствовать къ тому, чтобы человѣка въ Сибирь ссылали, на каторгу, въ тюрьму—это подло!

— Стало быть, что же вы скажете о судьяхъ, о прокурорахъ?

— О такихъ подлецахъ и нравственныхъ уродахъ я ужъ и не говорю... У меня вся желчь подымается,—расходился мой либераль.— Всѣ лучшія струны сердца моего рвутся на части...

— Да вы не шутите?—спрашиваю его.

— Я никогда не шучу... Не то время теперь, чтобы шутками заниматься! Это иные могутъ, а я не могу-съ! Я съ своей стороны не знаю ничего позорнѣе для нашего общества, ничего безнравственнѣе, какъ подобныя должности и обязанности.

— Однако, безъ этихъ должностей, извѣстный намъ господинъ могъ украсть миллионы и благоденствовать съ нимъ совершенно безнаказанно.

— Его должно бы судить и карать одно только общественное мнѣніе! Я за однимъ только общественнымъ мнѣніемъ признаю легальность судебного приговора... А впрочемъ, я вообще за невмѣняемость преступленій.

Послѣ такой сугубой нелѣпости и притомъ столь храбро высказанной, оставалось только пожалѣть о себѣ самомъ, за тѣ слова, которые рѣшился потратить на разговоръ съ этимъ юродивымъ. Милый либераль, очевидно, и самъ-то не совсѣмъ хорошо понималъ, о чемъ говорить, и не сознавалъ, чего именно ему хочется, толкуя о какой-то легальности судебного приговора за общественнымъ мнѣніемъ. Словомъ сказать, не мысль, а чортъ-знаетъ что такое!—какая-то безпабашная пляска словъ и фразешекъ! Но все-таки, какъ хотите, а вѣдь надо же было умудриться, чтобы достичь до сознанія о гнусности обязанностей судебного слѣдователя, судьи и прокурора; вѣдь все же дошелъ-то онъ до этихъ выводовъ кое-какой работашкой своей скудной мыслишки. Я невольно вспомнилъ при этомъ мою арестантскую рукопись «Домъ позора»: тамъ тоже всѣ громы воровскаго негодованія и проклятій обрушиваются на головы судей, на полицію и слѣдователей. Но въ мазурикѣ это понятно. Мазурикъ, по самому роду своей дѣятельности и по отсутствію какихъ бы то ни было нравственно-очищенныхъ взглядовъ, естественно, видитъ въ тѣхъ и другихъ, и третьихъ своихъ прямыхъ и исконныхъ враговъ, которые мѣшаютъ ему заниматься профессіей и неблагопріятно вліяютъ на его дальнѣйшую судьбу. И такъ, поторяю, въ данномъ случаѣ, отношеніе къ извѣстнымъ должностямъ и лицамъ становится совершенно понятно. Но чѣмъ и какъ, объяснить такое совпаденіе понятій съ этимъ разрядомъ людей въ какомъ-нибудь сольгородскомъ либераль? Это уже, въ

нѣкоторомъ родѣ, психическая задача, которую я хоть на сколько-нибудь старался уяснить себѣ слѣдующимъ образомъ.

Живетъ себѣ баринъ въ средѣ, гдѣ господствуетъ силетня да каверза, да темная продѣлка, при полнѣйшемъ отсутствіи какихъ бы то ни было высшихъ и серьезныхъ требованій. Серьезнаго отношенія къ жизни и ея задачамъ у него, ужь конечно, нѣтъ ни малѣйшаго. Удалось ему пробѣжать нѣсколько книжицъ, которыхъ онъ не понималъ, а читалъ потому только, что мода на это была у насъ такая, — на лету почерпнулъ, или, лучше сказать, запомнилъ изъ нихъ нѣсколько фразъ и громкихъ, красивыхъ словечекъ, которыми щеголяетъ кстати и некстати, и затѣмъ сталъ либераломъ; — это такъ красиво, такъ заманчиво: человекъ, неимѣющій никакого положенія, начинаетъ чувствовать, что либерализмъ все-таки даетъ ему въ окружающей средѣ это положеніе — и вотъ, готовъ либераль-солгородскій! А разъ уже онъ сталъ солгородскимъ либераломъ, то до всѣхъ остальныхъ нелѣпостей дошелъ уже собственнымъ умомъ, какъ Гоголевскій Аммосъ Федоровичъ. Тутъ уже, во имя либерализма, всякія измышленія и всякую нелѣпицу можно врать невозбранно и торжественно. Дѣлается это по преимуществу отъ скуки. И подобные-то вотъ господа, зачастую, въ своемъ гнѣздѣ берутся за отправленіе разныхъ общественныхъ и служебныхъ должностей, причемъ у нихъ должности и службы дѣлятся на подлыя и на благородныя. Должности, напримѣръ, полицейскія, судебныя, прокурорскія, слѣдственные почитаются подлыми, а должности по управленіямъ питейно-акцизному, солянному, контрольному и пароходному — благородными. И уже давно, да и не мною первымъ, замѣчено, что большинство нашихъ провинціальныхъ либераловъ служатъ по питейному акцизу. Почему питейный акцизъ выше и благороднѣе занятій слѣдователя и судьи — это уже извѣстно и понятно только ихъ либеральному мозгу.

Одинъ изъ немногихъ, но лучшихъ и свѣтлыхъ дѣятелей общественной, земской жизни въ Солгородѣ принадлежитъ не нашему поколѣнію, но къ поколѣнію нашихъ отцовъ, если даже не дѣдовъ, къ тому благородному поколѣнію, которое тридцатилѣтними лишеніями и невзгодами искупило одну свою печальную ошибку. И замѣчательно то, что почти всѣ немногіе изъ оставшихся въ живыхъ люди этого кружка явились лучшими, разумнѣйшими и честнѣйшими дѣятелями нашего земскаго дѣла. Тридцатилѣтнія лишенія и горе не убили въ нихъ ни свѣтлаго разума, ни бодрой энергіи, ни любви къ своей родинѣ, для которой они явились, по возвращеніи, добрыми и честными слугами. Мы можемъ теперь говорить объ этомъ открыто, отдавая имъ все должное уваженіе и всю справедливость, потому что это

фактъ, переходящій уже въ исторію и долженствующій не сегодня-завтра, на нашихъ глазахъ, сдѣлаться совѣмъ уже ея достояніемъ... И какъ подумаешь, на сколько эти-то люди были выше и крѣпче нынѣшнихъ солгородскихъ либераловъ!.. Но нѣтъ, самое сопоставленіе тѣхъ и другихъ для сравненія становится уже оскорбленіемъ для первыхъ и слишкомъ высокой, незаслуженной честью для вторыхъ.

Переходъ изъ либераловъ въ ретрограды и обратно зачастую совершается въ Солгородѣ весьма коротко и просто. Спихнули, напримѣръ, чиновника съ теплаго мѣста за неумѣренное пользованіе руномъ Язона — онъ становится либераломъ. На губахъ его складывается озлобленно-желчная, саркастически-недовольная растяжка и начинаетъ онъ брзжать и ругаться: все-то безъ него скверно идетъ на свѣтѣ, вездѣ-то однѣ лишь плутни, вездѣ подлещи да мошенники засѣдаютъ въ почетѣ, и всѣхъ-то ихъ перепоротъ да перевѣшать надобно. Но это либераль-благонравный, либераль-патріотъ, озлобившійся на окверный ходъ общественныхъ и государственныхъ дѣлъ изъ высокой любви къ своему отечеству.

Обойдутъ чиновника наградой или повышеніемъ — онъ временно тоже переходитъ въ либералы. Но обойденный ругается мягче и вообще спускаетъ тономъ ниже, чѣмъ выгнанный, ибо у него есть еще надежда на повышение и награду, съ полученіемъ которыхъ онъ можетъ опять безпрепятственно перейти въ ретрограды. Это тоже либераль-патріотъ, который озлобленіе свое варьируетъ не о скверномъ ходѣ общихъ государственныхъ дѣлъ, но на болѣе скромную тему о томъ, что начальство не цѣнитъ у насъ доблестныхъ заслугъ истинныхъ сыновъ отечества.

Онъ вполне помирится съ начальствомъ въ тотъ самый день, когда узнаетъ о своемъ повышеніи и наградѣ.

За симъ остаются уже либералы ярые, необузданные, общій очеркъ которыхъ мы сдѣлали выше, а наравнѣ съ ними стоитъ и еще одинъ типъ. Этотъ типъ принадлежитъ либераламъ, которые придерживаются сивухи, во-первыхъ; во-вторыхъ, ругаютъ всѣхъ и все — направо, налѣво, внизъ и вверхъ, въ настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ, ругаютъ самыми зазорными словами, вповалку и безъ разбору, ради того только, чтобы ругаться. Они никогда не прочь пустить въ ходъ кулаки и позорно струсить передъ первымъ твердымъ взглядомъ, не прочь сочинить какой бы то ни было скандалъ или вопиющую мерзость, сдѣлать въ обществѣ какое-нибудь неприличіе, непристойность, разбить стекла въ чьемъ-нибудь домѣ, напиться въ трактирѣ и тайкомъ удрать, не заплативъ денегъ, сочинить пасквиль, подметное письмо или публично нанести

оскорбленіе женщинъ. Всѣми подобными дѣлами и забавами они весьма похваляются, даже съ большимъ тщеславіемъ, съ чувствомъ самодовольства, и съ гордостію почитаютъ себя молодцами и либералами. «Мнѣ, дескать, плевать на всѣхъ и, на все: я либералъ!» И совершая всѣ свои мерзости, эти молодцы искренно убѣждены, что въ нихъ-то и заключается самая суть либерализма, и чѣмъ мерзѣе, тѣмъ либеральнѣе.

Ретрограды сольгородскіе, какъ уже сказано, вполне стоятъ своихъ антагонистовъ. Они хотя и не дѣлятся на ретроградовъ солянскихъ и акцизныхъ... то-бишь, виноватъ!—обмолвился: въ акцизномъ вѣдомствѣ, какъ извѣстно, ретроградовъ не полагается; однако, мы видѣли, что и между либералами четырехъ категорій нѣтъ никакихъ существенныхъ различій. Ретрограды сольгородскіе тоже всѣ однимъ муромъ мазаны. Мнѣ довелось быть постороннимъ свидѣтелемъ одной сценки, въ которой они обнажили большую часть своихъ прелестей.

Это было вечеромъ, въ столовой комнатѣ одного изъ клубовъ, вскорѣ послѣ того какъ почта принесла въ Сольгородъ листъ одной московской газеты, гдѣ были помѣщены двѣ корреспонденціи изъ Сольгорода же, въ которыхъ разоблачалось крупное воровство нѣкоего сольгородскаго сановника, вмѣстѣ съ цѣлымъ рядомъ прежнихъ его продѣлокъ. Авторъ одной изъ корреспонденцій не церемонился съ этимъ бариномъ и, прописавъ полное его имя, отчество и фамилію. Это конечно было сдѣлано немножко преждевременно, потому что судъ не произнесъ еще надъ воромъ своего приговора; но фактъ воровства былъ самъ по себѣ столь вопиюще-очевиденъ и уже успѣлъ получить столь большую огласку вездѣ и повсюду, что неосторожность корреспондента имѣла, относительно, весьма ничтожное значеніе.

Корреспонденціи эти, какъ и быть надлежитъ, подняли великій переполохъ и особенно въ средѣ, такъ-называемыхъ, ретроградовъ. Пошелъ говоръ и всевозможныя догадки: кто и какъ написалъ, и откуда выкопалъ всѣ эти прелести?

Почти рядомъ со мною сидѣлъ одинъ господинъ, хотя и сольгородецъ, но не принадлежащій ни къ циклу либераловъ, ни къ ретроградамъ, а просто-себѣ человѣкъ, въ человѣческомъ смыслѣ этого слова. На него почему-то устремились подозрѣнія присутствующихъ ретроградовъ въ авторствѣ непріятной корреспонденціи.

— Вы не знаете, кто сочинилъ эту статьюшку?—отнесся къ нему одинъ изъ сосѣдей, пытая его подозрительнымъ взглядомъ.

— А откуда жъ мнѣ знать?

— А мы такъ слышали, будто это вы писали,—съ-оніку лаянулъ другой баринъ.

— Неужели? А я, представьте, съ своей стороны могу столько же думать, что это вы авторъ.

— Ну, нѣтъ! я подобными подлостями не занимаюсь... Публично оскорбить человѣка—это чортъ-знаетъ что!

— Совершенно согласенъ: но кто же оскорбленъ?

— Какъ кто! Василій Евграфовичъ оскорбленъ!.. Мало того: въ лицѣ его каждый изъ насъ можетъ считать оскорбленнымъ себя: онъ членъ нашего общества... Назвать полнымъ именемъ человѣка, всѣми уважаемаго... Эти газеты, эти редакторы наконецъ чортъ-знаетъ до чего доходятъ! Послѣ этого остается только одно: по мордѣ бить!

— По мордѣ, по мордѣ!—поддакнуло большинство.

— А редакторы-то тутъ, при чемъ же?—вопросилъ подозрѣваемый.

— Да какъ они осмѣлились печатать подобную гнусность! Марать имя честнаго человѣка, котораго мы уважаемъ и любимъ, набрасывать тѣнь!..

— Ну, нѣтъ, позвольте: если кто и набросилъ тѣнь, то это, во-первыхъ, само правительство, которое по поводу воровства назначило елѣдствіе и тотчасъ же отрѣшило барина отъ должности.

— Правительство!.. что вы намъ толкуете о правительствѣ!.. Правительство можетъ, а газеты не смѣютъ, не должны позволять себѣ забываться... Ты знай, чортъ-возьми, о комъ пишешь! Не о подъячемъ пишешь, а о сановникѣ!

— Пишутъ не о сановникѣ, а о ворѣ.

Но едва успѣлъ сосѣдъ мой произнести эти слова, какъ антагонисты его повскакали съ мѣстъ, словно кипяткомъ ихъ ошпарили, и накинулись всѣ разомъ:

— Какъ о ворѣ!.. Такъ по вашему, Василій Евграфовичъ—воръ?.. Господа, слышали новость? Василій-то Евграфовичъ воромъ вдругъ сдѣланъ!.. Ха, ха, ха, ха!.. Да нѣтъ, это просто умора, наконецъ!.. Воръ!.. Василій Евграфовичъ—воръ!.. Ха, ха, ха!..

— А позвольте васъ спросить,—круто обратился вдругъ къ подозрѣваемому господину одинъ изъ спорщиковъ,—позвольте спросить, милостивый государь... Вы говорите: воръ; очень хорошо-съ!.. Мы очень желали бы знать, что именно укралъ у васъ Василій Евграфовичъ?

— Да, да!.. что именно стибрилъ онъ у васъ... у васъ лично?—подхватила остальная братія.

— У меня лично, конечно, ничего, но не въ томъ дѣло...

— Нѣтъ-съ, позвольте, въ томъ! именно въ томъ!—настаивалъ прежній антагонистъ.—И такъ, сами вы, при всѣхъ вотъ, сознаетесь,

что у васъ Василій Евграфовичъ ничего не воровалъ? Прекрасно-съ, такъ и запишемъ. Павелъ Ивановичъ,—съ двусмысленной улыбочкой обратился онъ къ одному изъ братіи,—быть можетъ, у васъ что нибудь укралъ онъ?

— Кто это? Василій-то Евграфовичъ? Ха, ха, ха-а... помилуйте!..

— Нѣтъ?.. Никаноръ Александровичъ! можетъ съ вами что нибудь подобное случилось?

— Полноте, что это вы!..

— Ну, такъ у васъ, можетъ, украдено, Карлъ Христіановичъ? Отвѣчайте, не скрывайтесь!..

— Еще что не выдумаете!

— Феликсъ Казимировичъ, у васъ?

— Помилуйте -сь.., от-то! какъ же-жь то возможно!.. Такая особа... и я же-жь никогда, а ни-ни...

— У васъ, Илья Карпычъ?

— Не замѣчалъ-съ!

— Ну, такъ у кого же, наконецъ, господа? У меня тоже не воровалъ; быть можетъ, вы знаете, да сказать не хотите?.. Хе, хе, хе... Вотъ то-то оно и есть! И выходитъ, что газетчиковъ по мордѣ надо-дуть.

Осажденный сосѣдъ мой поднялся съ мѣста.

— Господа,—началъ онъ,—я вовсе не имѣю ни времени, ни охоты поддерживать споръ такого рода, тѣмъ болѣе, что мы отлично понимаемъ другъ друга. Онъ воровалъ не у меня, не у васъ, не у Павла Ивановича, не у Карла Христіановича, а у всѣхъ насъ, у государства, у казны воровалъ!

Компанія разразилась такимъ дружнымъ хохотомъ, какъ будто ей довелось неожиданно услышать первостатейную чепуху и самую невозможную нелѣпость.

— Пфе!!! Такъ вотъ у кого, значитъ, украдено!.. Ха-ха-ха!—развелъ руками баринъ, отбивавшій отъ всѣхъ показанія,—у казны украдено!.. ха-ха-ха!.. Да что такое «казна», позвольте васъ спросить?.. Ужъ коли на то пошло, такъ надо говорить правду!.. «Казна»!.. Да казна-то вѣдь со всѣхъ деретъ! Кому несчастный мужичекъ нашъ отдаетъ трудовую, потомъ и кровію облитую копейку, послѣднюю копейку? Кому, я васъ спрашиваю?—Казнѣ-съ! Послѣднюю корову со двора ведетъ, послѣднюю рубаху съ плечъ долой скидаетъ, а подати, не бойсь, платить!.. Теперь опять чиновника, бѣднаго труженика взять: всѣ эти вычеты, начеты, да эмеритуръ, да процедуры, да чортъ ихъ знаетъ, какіе тамъ еще дуры, всего и не перечесть!.. Десять, пятнадцать рублишекъ жалованья получаетъ—и изъ того-то казна деретъ! Съ мѣщанъ—деретъ; съ купцовъ—деретъ, съ господин-офицера—деретъ... Да съ кого же не деретъ она, я васъ спрашиваю?.. А по моему бы, на основаніи истинной-то вотъ, законной справедливости: ты съ меня

дерешь, такъ не взыщи, голубчикъ, коли и я съ тебя драть буду: свое-то вернуть вѣдь всякому хочется!.. Вы думаете, мы и не знаемъ, куда большая часть этихъ поборовъ уходитъ.—Нѣтъ-съ, батенька, знаемъ-съ! Очень хорошо знаемъ, да только помалчиваемъ!

Сценка эта, воспроизведенная мной совершенно безъ всякихъ прикрасъ и преувеличеній, достаточно говорить сама за себя, для того чтобы прибавлять къ ней что-либо или дѣлать какія-нибудь поясненія. И безъ того все ясно. Но не могу не замѣтить одного: въ наше время извѣстнаго рода «плюхопросящій» либерализмъ сдѣлался такимъ общимъ мѣстомъ, что безъ него не могутъ обойтись даже и солгородскіе ретрограды. Василия Евграфовича защищаютъ, какъ друга, какъ брата единокровнаго, какъ самихъ себя, но не могутъ воздержаться, чтобы, для пущей убѣдительности, не пустить въ ходъ плюгово-либеральной фразы насчетъ «бѣднаго труженика» и «меньшихъ братій», причемъ ихъ плаксиво-сахаристый либерализмъ неперемѣнно мужика превращаетъ въ ласкательно-уменьшительнаго «мужичка». Извѣстнаго сорта либерализмъ, изживъ свой вѣкъ въ столицахъ, только и существуетъ теперь что кое-гдѣ по провинціи и преимущественно въ такихъ мѣстахъ, какъ Сольгородъ.

III.

С о л я н ы е.

Недаромъ же Сольгородъ Сольгородомъ и прозывается: въ немъ обрѣтается казенная соль, а при ней—спеціальное управленіе. Соль, конечно, требуетъ мѣстъ для склада, а управленіе — мѣстъ для чиновниковъ. Первые должны отличаться прочностью и сухостью; вторые — теплотой, и потому въ послѣднее время становятся менѣе прочны. Что будетъ впредь изъ нихъ — проживемъ и увидимъ, а чѣмъ они были до сихъ поръ—о томъ поразскажемъ.

Спеціальное управленіе при соли—это-то и есть настоящая соляная Колхида, гдѣ пользование златоноснымъ руномъ превосходитъ размѣры всякаго вѣроятія, и это пользование Богъ-вѣсть съ коихъ поръ получило неизлечимый, хроническій характеръ. Начать съ того, что зодчій, воздвигавшій складочные амбары для соли (а это было уже давно), былъ чело-вѣкъ положительно гениальный и притомъ великій филантропъ: онъ прозиралъ будущее и заботился о благѣ не только своихъ современниковъ, но и дальнѣйшихъ поколѣній солянаго управленія. Эта гениальность высказывается въ выборѣ мѣста для постройки складочныхъ амбаровъ. Впрочемъ, такъ какъ дѣло объ этой постройкѣ успѣло уже сокрыться

подъ мракомъ исторіи и уйти въ глубь архивовъ, то между изслѣдователями отечественной старины и ея достопримѣчательностей можетъ когда-нибудь возникнуть сомнѣніе и споръ о томъ, принадлежитъ ли великая честь гениальнаго прозиранія въ будущее, честь филантропической заботливости о грядущихъ соляныхъ поколѣніяхъ самому зодчему, воздвигнувшему амбары на извѣстномъ мѣстѣ, или другому какому рачительному начальству, которое, независимо отъ зодчаго, избрало и отвело мѣсто для постройки амбаровъ. Вѣроятно, въ семейныхъ преданіяхъ соляныхъ рачителей имѣются на сей конецъ какія-нибудь драгоценныя свѣдѣнія. Во всякомъ случаѣ, нельзя не признать особой гениальности въ мысли — воздвигнуть сохранилища именно тамъ, гдѣ они воздвигнуты, а не въ иномъ какомъ мѣстѣ. Воздвигнуты же они на самомъ берегу «величественной рѣки», при слияніи оной съ другой, еще болѣе «величественной рѣкою». (Называть свою мѣстность «величественною» необыкновенно любятъ всякіе провинціальныя корреспонденты газетъ и литераторы-обыватели). Въ этихъ двухъ величественныхъ рѣкахъ есть неоцѣненное качество, самимъ Господомъ Богомъ имъ данное: онѣ разливаются необыкновенно могуче, широко и высоко, и подмываютъ своимъ разливомъ брѣвныя сохранилища. Какой неистощимый, богатѣйшій предлогъ для ежегодныхъ рапортовъ объ утечкахъ, усыпкахъ, усыпкахъ, подсоскахъ, подмывкахъ и т. п.

Обо всѣхъ вскормленникахъ и паціентахъ соляного Язюнова руна я съ чувствомъ могу сказать, что они отличаются благодарной памятью къ той смоковницѣ, которая давала имъ живительную тѣнь, къ тому мѣсту значну и прохладну, которое питало и грѣло ихъ. Они, всѣ до единого, суть добрые сольгородскіе патриоты; они душевно и почвенно облюбили свой Сольгородъ. Эта любовь и благодарность къ своей смоковницѣ выражаются въ томъ, что, покидая свои теплыя мѣста, они не бѣгутъ въ иные грады и веси, но остаются гражданами сольгородскими, поселяются въ немъ на покой, плодятся и размножаются во второе и третье колѣно, и населяютъ землю сольгородскую. Они выстраиваютъ себѣ солидные дома, и тѣмъ, конечно, способствуютъ украшенію Сольгорода. Они покупаютъ себѣ земли и имѣнія со всѣми угодьями, и становятся крупными землевладѣльцами Сольгородской губерніи. Они устраиваютъ себѣ пароходы, фабрики, заводы, винокурни, лѣсопильни, мукомольныя мельницы и иныя промышленныя, и чуть ли даже не питейныя заведенія, и черезъ то способствуютъ экономическому развитію и процвѣтанію сольгородскаго края. Словомъ сказать, они — истинные патриоты. Всѣ эти Крутченки, Пессинги, Чер-

нокрыльцевы, Передеревскіе et tutti quanti, которые съ такимъ апломбомъ и почетомъ красуются въ Сольгородѣ, служатъ живымъ подтвержденіемъ словъ нашихъ. Они — сливки сольгородскаго общества, первыя лица въ городѣ; они рисуются своимъ изяществомъ, открытой жизнью своихъ домовъ на барскую ногу, своими рысакими и экипажами, своими щегольскими фраками и блистательными регалиями; она стремятся руководить общественнымъ мнѣніемъ; непременно требуютъ высокаго почтенія и поклоненія своимъ особамъ; они и дѣти ихъ суть первые денди, львы и львицы города, признающіе за собой право презирать все, что не они, относиться съ величественнымъ снисхожденіемъ къ остальному Сольгороду; каждый изъ нихъ, наконецъ, либераль, не просто либераль, но вортъ-либераль, а это уже нѣсколькими степенями выше; это даетъ имъ право ругать всѣхъ и вся, и говорить о долгѣ гражданскомъ, «о честности высокой» громкіе и краснорѣчивые спичи, въ родѣ того знаменитаго «Американца», который, какъ извѣстно, былъ «крѣпко на руку не чистъ», но предъ которымъ благоговѣлъ Грибоѣдовскій Репетилловъ.

Остальной добрый и честный, но мелкій людъ сольгородскій, а особенно мѣщане и мужики, очень вѣрно и прямо понимаютъ этихъ высокыхъ господъ, и окрестили ихъ характернымъ прозвищемъ.

Вдѣте вы, напимѣръ, на извозчикъ, и онавивается на себѣ ваше вниманіе какой-нибудь прекрасный, богатый домъ.

— Чей это домъ? — вопрошаете вы.

— Этотъ-то? — съ многозначительной усмѣшкой кивнетъ на него извозчикъ. — Это — *соляной* домъ.

— Какъ соляной? — недоумѣваете вы, получивъ столь своеобразный отвѣтъ.

— Извѣстно, соляной... тутъ одного *соляного*, значить.

Попадается на встрѣчу блистательный экипажъ, который мчитъ пара драгоценныхъ рысаковъ.

— Чья это коляска?

— Это-то? — соляная.

Гарцуетъ блистательный денди, съ лорнеткой въ глазу и съ либерально-красивой бородкой. Денди рисуется и плѣняетъ сердца, на статномъ, породистомъ конѣ.

— Кто это такой, верхомъ-то?

— Соляной! — махнетъ рукой извозчикъ, съ той же многозначительной усмѣшкой.

— А лошадь подъ нимъ откуда? своя, чай?

— Извѣстно, тоже и лошадь соляная... Все соляное, какъ есть.

И домъ соляной, и коляска соляная, и кони соляные, и сами они соляные — такъ ужъ и извѣстны по всему Сольгороду подъ именемъ

«соляныхъ столповъ». — Почтенное и достойное прозвище!

Одинъ изъ нихъ недавно попался на своемъ пользованіи, и попался не ради того, чтобы долженъ былъ попасться по неизбѣжному закону судьбы (такого закона у насъ пока еще не водится), а такъ себѣ, такой случай глупый вышелъ: одинъ обиженный купецъ вывелъ на свѣжую воду; а повремени онъ вывести только два мѣсяца — концы воровства были бы потоплены въ разливѣ двухъ величественныхъ рѣкъ. Русскіе люди ахнули, когда узнали о крупной цифрѣ кражи. Но ахнули они оттого, что совсѣмъ незнакомы съ этимъ дѣломъ; а дѣло самое обыкновенное, простое, обыденное въ Сольгородѣ, изъ-за котораго вовсе нечего ахать и изумляться, да и сумма, кажушаяся русскимъ людямъ столь грандіозной, въ сущности, нисколько не превышаетъ тѣхъ суммъ, какими искони чуть не ежегодно пользовались всѣ соляные столпы Сольгорода. И попавшійся соляной столпъ виноватъ не тѣмъ, что кралъ, а тѣмъ, что попался; да даже и этимъ-то не виноватъ — онъ просто невинный человѣкъ, а всему причина, сказано уже — одинъ случай. Отъ несчастнаго случая не уберешься и не выпади этотъ случай, повремени онъ собой только до весенняго разлива — столпъ еще многіе годы продолжалъ бы честно, мирно и безмятежно пользоваться Язоновымъ руномъ, подобно всѣмъ своимъ предшественникамъ, къ которымъ судьба была благосклоннѣе: на ихъ долю случая не выпадало.

И что же! Тѣ, отъ кого падающій столпъ могъ бы ждать наибольшаго къ себѣ сочувствія — его сотоварищи и предшественники, по стопамъ коихъ онъ шелъ столь усерднѣе — увы! — эти люди первые бросаютъ теперь въ него камень, первые преисполняются благороднымъ жаромъ гражданскаго негодованія, первые презрительно обзываютъ его воромъ, обзываютъ и на улицахъ, и въ клубахъ, и въ своихъ честныхъ соляныхъ гостиныхъ, комфортабельно благодушествуя на своей благородной соляной мебели, и курия свои добрыя соляныя сигары!.. Увы! Tu, quoque Brute!.. Но — вѣдь на то они и соляные либералы!

Знакома ли вамъ, мой читатель, зимняя охота на волковъ — охота съ поросенкомъ? Въ декабрѣ и январѣ волки страшно голодны и бродятъ стаями. Заслыша визгъ и почуя духъ соблазнительнаго лакомства, они стаей кидаются въ ту сторону, куда ихъ манитъ инстинктъ голода, и бѣгутъ за кулькомъ сѣна, который, изображая собою, въ ночныхъ сумеркахъ, поросенка, волочится шагахъ въ двадцати позади розвальней. Вдругъ, — пафъ! пафъ! — падаетъ съ воплемъ одинъ или два волка, убитые либо раненые. Въ сущности, вѣдь они ничѣмъ не виноваты, что въ нихъ

дробанули шальные картечи. Но чуть упали они — всѣ остальная голодная стая, бросивъ преслѣдованіе кулика, разомъ накидывается на палыхъ и начинаетъ рвать на части и жрать дымящееся кровавымъ паромъ мясо своихъ полуживыхъ собратьевъ, съ которыми вмѣстѣ, заодно, столь дружно преслѣдовала сію минуту одну и ту же добычу. Таковы и либеральные Бруты Сольгорода!

Проворовавшійся столпъ тоже принадлежалъ къ числу самыхъ ярыхъ соляныхъ либераловъ. Это особа весьма и весьма-таки не дюжинная. Въ былое время, когда-то, поэтъ и писатель, философъ и чиновникъ, онъ остался чиновникомъ всю свою жизнь и достигъ степеней извѣстныхъ, крупнаго чина, крупныхъ отличій, крупнаго мѣста и крупнѣйшихъ негласныхъ доходовъ. На его прошломъ есть много крупныхъ дѣлъ, за которые законъ присуждаетъ къ лишнію всѣхъ правъ и къ сибирской каторгѣ. Нѣкоторыя изъ этихъ дѣлъ остаются подъ спудомъ, нѣкоторыя всплывали наружу, какъ, напримѣръ, полученіе въ свой карманъ пенсій на умершихъ чиновниковъ и на несуществующіи ихъ семейства, или какъ обыгрываніе навѣрника, шуллерскимъ образомъ нѣкоего интендантскаго офицера, у котораго этотъ столпъ, вмѣстѣ съ другимъ столпомъ сольгородскимъ, извѣстнымъ подъ именемъ «Загребистой лапы», въ одну ночь выудили сорокъ тысячъ казенныхъ денегъ. Офицеръ и по сію пору, то-есть болѣе девяти лѣтъ, томится подъ судомъ, на гнилой сольгородской гауптвахтѣ, а облеченные властью и почетомъ шуллера, девять лѣтъ благоденствуютъ и изображаютъ изъ себя праведниковъ чести и безкорыстія.

Умный, ловкій, замѣчательно-хорошо образованный, этотъ соляной столпъ является наилучшимъ образомъ изящества прошлаго времени. Представьте себѣ воплощенную солидность, убѣленную почтенными сѣдинами, громаднѣйшее сознаніе чувства собственного достоинства, непоколебимое убѣжденіе въ своей силѣ, вѣскости, умѣ и житейской ловкости, благодушно снисходительный и въ то же время надменный взглядъ губернскаго савовника, умѣнье казаться глубокимъ политикомъ и непроницаемымъ дипломатомъ, который показываетъ видъ, что умѣетъ хранить государственныя тайны первѣйшей важности и нарочно, для пущаго сходства съ типами дипломатіи, притворяется глухимъ, хотя слышитъ отлично; прибавьте къ этому мастерское умѣнье владѣть рѣчью, изящнѣйшія манеры и неодолимое желаніе ловеласовски нравиться и плѣнять собою — представьте себѣ все это, и вы получите приблизительное понятіе о томъ, что такое проворовавшійся соляной столпъ. Это совсѣмъ гладенькій, раздушенный и напудренный пестиметръ-пѣтушокъ прошлаго вѣка. Онъ отличается необыкновенно изящными, почти жен-

ственными привычками, и всё потребности, всё вкусы его изящны до нелзя. Домъ его преисполненъ предметами роскоши, изящнаго мастерства и искусства. Его поваръ—истинный артистъ. Его погребъ полонъ тонкихъ, рѣдкихъ винъ и напитковъ. Его гостепріимство, посвященное однимъ, только избраннымъ, носитъ на себѣ яркую печать привѣтливаго барства. Каждый день, утромъ и вечеромъ, онъ беретъ ароматическую ванну для укрѣпленія своего старческаго, но изящнаго тѣла. Каждый день по четыре раза мѣняетъ свое раздушенное бѣлье и костюмы. Любитъ поэзію жизни и литературы, пріятное общество и прекрасныхъ женщинъ. Несмотря на свои далеко-преклонные годы, соляной столпъ остается присяжнымъ, ярымъ и вѣчно-изящнымъ поклонникомъ прекраснаго пола, и для избранныхъ дамъ своего сердца, которыхъ въ Сольгородѣ насчитываютъ цѣлый гаремъ въ пять красавицъ, строить и покушаетъ дома и «благодѣтельствуеть» солянымъ капиталомъ. Онъ мастерски умѣетъ жить, умѣетъ мастерски пользоваться жизнью и всеми ея благами, и хорошо знаетъ себѣ цѣну. Въ цѣлой губерніи было три-четыре лица, которыхъ онъ почиталъ почти равными себѣ, удостоивалъ званія своихъ пріятелей и протягивалъ полную кисть правой руки. Затѣмъ, было около десятка лицъ, удостоенныхъ протягиванья руки лѣвой; десяткамъ тремъ подавались только три или два пальца, а остальные смертные должны были почитать себя счастливыми, если сольгородская особа благоволила замѣчать ихъ усерднѣйшіе поклоны, на которые отвѣтствовала однимъ лишь величественно-благосклонными кивками. И представьте же себѣ теперь, что баринъ такого закала былъ на словахъ одинъ изъ самыхъ яростныхъ, передовыхъ современныхъ либераловъ, громко проповѣдывая (въ своемъ, конечно, кругѣ) идеи социализма, объявлялъ себя истымъ поклонникомъ Фурье, Сен-Симона, Бласса, Прудона, и по старинѣ чтить память «великаго старика» Вольтера, даже изящно излагалъ свое сочувствіе коммунистическимъ принципамъ, что, впрочемъ, успѣлъ доказать и на дѣлѣ, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи казенной собственности, любилъ также съ большимъ чувствомъ поговорить объ угнетенныхъ націяхъ—и все это такъ тонко, дипломатически, такъ умно, такъ изящно, солидно и въ то же время такъ яростно-современно, что, поневолѣ, всѣхъ и каждого заставлялъ уважать въ себѣ большую, высокопревосходительную особу, регалиями изукрашенную, и передового современнаго прогрессиста. Говорятъ, будто даже состоялъ онъ въ дружеской перепискѣ съ различными всероссійскими и всеевропейскими знаменитостями, и будто при случаѣ, за стаканомъ добраго вина съ доброй регалией въ зубахъ, любилъ коварно намекнуть

объ этомъ тѣсному и немногочисленному кружку своихъ избранныхъ пріятелей. И вдругъ — Боже мой, Боже! — Этакой-то человекъ, эта звѣзда, и краса, и гордость, казалось бы, какой цивилизованной націи — вдругъ проворовался!..

Но провороваться—у насъ, слава тебѣ Господи, пока еще не вездѣ и не всегда значить обезчеститься и потерпѣть достоудную участь. Въ Сольгородѣ, во время производства слѣдствія, жило прочное убѣжденіе, что этотъ столпъ выкрутится здоровъ, невредимъ и честенъ изъ своего скандальнаго дѣла и возсядетъ, пожалуй, на старое мѣсто еще съ большимъ почетомъ, какъ пострадавшая за правду невинность, и еще глубже, съ безконечной уже самоувѣренностью, пуститъ сосущіе корни свои въ казенную соль. Составилось даже нѣсколько пари по этому поводу.

Весь ходъ и подробности этого слѣдствія передавать теперь нѣ къ чему—это повлекло бы слишкомъ далеко мои фантастическіе очерки о фантастическихъ герояхъ. Извѣстно только, что нашли нужнымъ смѣнить нѣсколько комисій: всѣ онѣ, будто бы, по нѣкоторымъ причинамъ, оказывались несостоятельными. Извѣстно также и то, что ближайшій подчиненный столпа, воръ мелкій, такъ-сказать, административный карманникъ, который пользовался въ нѣкоторомъ родѣ крупницами, перепавшими на его долю отъ роскошной трапезы патрона, сидѣлъ въ острогѣ, тогда какъ патронъ подвергнутъ былъ только легкому домашнему аресту, въ уваженіе къ его почтенному сану, а болѣе, кажется, къ почтенной цифрѣ украденной суммы. Да и то еще въ первое время сольгородскія власти были повергнуты въ затруднительное смущеніе и недоумѣвали, имѣютъ ли они право и дерзнуть ли на «подвергнутіе» даже и домашнему аресту особу, столь важно проворовавшуюся!

И наконецъ, когда рѣшеніе это было прислано имъ изъ подлежащаго мѣста, то власти распорядились поставить къ крыльцу соляной особы полицейскаго солдата, якобы для пущаго почета, а въ переднюю, гдѣ пребываетъ сонмище лакеевъ, нашли нужнымъ посадить, вѣроятно, тоже въ видахъ почета, полицейскаго офицера и въ заключеніе обязали повара соляной особы подпискою, что на все время домашняго ареста, онъ будетъ питать особу «удобоваримой пищей».

Но особа, кажется, не признаетъ надъ собой никакого контроля полицейскихъ приставниковъ. По крайней мѣрѣ, однажды, въ передвѣсенное утро, сольгородскіе обыватели, находившіеся въ данный моментъ на улицѣ по близости солянаго дома, были очевидцами такого рода оригинальной сцены:

У солянаго подъѣзда ожидалъ соляной экипажъ, въ которомъ соляной столпъ долженъ былъ отправиться въ засѣданіе слѣдственной

комисси. Выходить столпъ, поддерживаемый подъ руку гайдукомъ-лакеемъ, въ сопровожденіи приставленнаго квартальнаго надзирателя, и садится въ свой экипажъ. Квартальный занесъ было ногу туда же, но соляной столпъ строго и выразительно говоритъ ему:

— Пошелъ вонъ, братецъ!—Ты забываешь-ся... Куда ты лѣзешь!

— Помилуйте, ваше высокопрв-ство нельзя-сть!.. Законъ... обязанность моя...

И вмѣстѣ съ этими словами, снова ставитъ ступню на подножку, но не успѣвъ исполнить даже и этого маневра, какъ соляная особа самолично удостоила его пихнуть кулакомъ въ грудь—и гаркнула кучеру: «пошелъ!»

Лошади рванулись, а полицейскій приставникъ полетѣлъ въ грязь.

Говорятъ, будто было очень смѣшно видѣть, какъ несчастный, ушибленный и весь перепачканный уличной слякотью, подобравъ полы шинелишки, пустился крупной рысью въ догонку за своимъ! превосходительнымъ арестантомъ, пока-то, наконецъ, не выручилъ его первый попавшійся извозчикъ. Но клычонкъ не угнаться за породистыми рысаками, и потому приставленный стражъ прибылъ въ комиссію гораздо позднѣе почетнаго арестанта. Принесъ, конечно, жалобу; но... будь это не соляной столпъ, а простой смертный, подобный поступокъ, на основаніи закона, былъ бы сочтенъ за покушеніе къ побѣгу изъ-подъ ареста, сопряженное съ явно-насильственнымъ образомъ дѣйствія, и судился бы какъ отдѣльное и весьма нешуточное уголовное преступленіе, а въ данномъ случаѣ, какъ гласитъ молва, попросили только его превосходительство впередъ по возможности избѣгать такихъ рѣзкихъ и притомъ публичныхъ демонстрацій, а полицейскому офицеру подлежащее начальство даже задало порядочную гонку за то, что позволилъ себѣ дерзкое, оскорбительное обращеніе съ высокимъ плѣнникомъ: «какъ будто не могъ, невѣжа, сразу сѣсть на извозчика!» и посовѣтовало даже попросить, нижайше и немедленно же, прощенія у его превосходительства. Его превосходительство, кажется, всемирлостиво снизошелъ на просьбу и удостоилъ простить.

Одинъ изъ державшихъ пари доказывалъ, что соляной столпъ непременно выйдетъ чистъ и невиненъ. — Оно и по законамъ высшихъ судебъ должно бы быть такъ, говорилъ онъ, — ибо во-первыхъ, вспомните, что это—особа; во-вторыхъ, примите въ соображеніе почтенную цифру; въ-третьихъ, отъ покаранія такого лица падаетъ авторитетъ власти, которая по принципу долженствуетъ быть облечена во всѣ атрибуты папской непогрѣшимости; въ-четвертыхъ, ослабляется уваженіе, субординація, ну, и проч.; въ-пятыхъ, сильныя связи въ высотѣ и самое положеніе въ обществѣ; въ-шестыхъ, дальнѣйшее теченіе дѣла можетъ, пожалуй,

повлечь если и не къ положительному открытію непосредственнаго участія, то по крайней-мѣрѣ къ сильному подозрѣнію въ участіи такихъ лицъ, о которыхъ лучше почтительно помалчивать; наконецъ, въ-седьмыхъ умъ — и это главнѣе всего!—умъ проворовавшагося столпа, который не допустить его влопаться, подобно куру во-щи. Умъ его выручитъ. Видите ли, сколько шансовъ за него! А *противъ* него? Ну, что такое, и въ самомъ дѣлѣ, стоитъ противъ него? Все предметы такого эфемернаго, фиктивного свойства, о которыхъ и говорить-то серьезно, по настоящему, не стоитъ — сущее ничтожество. Какой-нибудь государственный интересъ—да чортъ ли въ немъ, если намъ-то самимъ хорошо жрѣтся и спится! Какое нибудь временное возвышеніе дѣтъ на соль, котораго кромѣ нишаго, да мужика, пожалуй, ни чей карманъ и не замѣтитъ особенно; какой-нибудь, наконецъ, высшій интересъ правды, справедливости, законнаго возмездія; но... всѣ эти, такъ называемыя, правды, справедливости и законныя возмездія, конечно, будутъ вполнѣ удовлетворены и тѣмъ, если прогуляется на каторгу какой-нибудь мелкій административный карманникъ, какой-нибудь подчиненный чиновникъ, а сама особа... нѣтъ, это уже будетъ слишкомъ много чести для каторжниковъ, если въ ихъ сообществѣ окажется такой обелискъ соляного міра: этимъ всѣмъ черезчуръ уже много поддержится вредный элементъ коммунистической равноправности. Надо же вѣдь сколько-нибудь соблюдать и чувство политической мѣры. Не все же и не во всемъ брать примѣръ съ нашихъ «заатлантическихъ друзей» американцевъ—*c'est du trop, messieurs, c'est du trop!* Надо и честь знать, не забывать и помнить, съ кѣмъ имѣешь дѣло.

— Я сказалъ—умъ. Да, умъ его непременно долженъ бы выручить! Къ примѣру можно привести одинъ фактъ изъ слѣдствія, который люди въ нѣкоторой степени компетентные выдаютъ за фактъ непреложный.

Административный карманникъ, сидѣвшій въ острогѣ, даетъ однажды, въ присутствіи слѣдственной комиссіи, чистосердочное показаніе, что такого-то, молъ, числа, такого-то мѣсяца, я, административный карманникъ, передалъ моему непосредственному патрону и благодѣтелю, въ собственномъ его кабинетѣ, безъ постороннихъ свидѣтелей, двѣсти тысячъ серебромъ соляныхъ денегъ, въ чемъ и сознаюсь, молъ, по совѣсти; а какое употребленіе сдѣлалъ изъ оныхъ патронъ мой, о томъ остаюсь неизвѣстенъ.

Приглашаютъ патрона и, неловко заминаясь, почтительнѣйше докладываютъ ему, что такъ и такъ, ваше превосходительство, но... вотъ какого рода показаніе... Что вы на это скажете?

Соляной обелискъ выслушалъ весьма внима-

тельно все, что ему говорилось, и вдруг изрекает имъ съ твердостью духа, достойною римскаго Катона:

— Да; это точно... Все это безусловная правда. Дѣйствительно, такого-то числа я взялъ отъ него двѣсти тысячъ казенныхъ денегъ.

— И при совершенно такихъ обстоятельствахъ?

— Да, милостивые государи, совершенно при такихъ обстоятельствахъ. Говорю вамъ это откровенно!

— Но... позвольте, ваше превосходительство... извините... при описи имущества, такой суммы въ наличности не оказалось. Извините, но мы вынуждены знать, какое употребленіе сдѣлали ваше превосходительство изъ этихъ денегъ.

— О, это я охотно могу сообщить вамъ! Такого-то числа, такого-то мѣсяца, находясь въ Петербургѣ, по дѣламъ службы и будучи въ кабинетѣ Н. Н., моего высшаго начальника (при этомъ было названо имя весьма значительнаго сановника), я передалъ эти двѣсти тысячъ ему, съ рукъ на руки: но какое употребленіе онъ изъ нихъ сдѣлалъ, о томъ мнѣ неизвѣстно.

Члены комисіи пришли въ соотвѣтственный и вполне достоудожный ужасъ.

— Какъ!.. помилуйте, ваше превосходительство! О комъ вы говорите! Вѣдь вы обвиняете г-на Н. Н. въ лихоимствѣ!

— Да,—съ твердостью отвѣчаетъ обелискъ,—обвиняю въ лихоимствѣ. Я сказалъ и подтверждаю еще разъ мои слова.

— Но... воля ваша—хотя мы, конечно, и не осмѣливаемся не вѣрить вамъ, однако, г. Н. Н. такое лицо!.. и вдругъ лихоимство... двѣсти тысячъ... извините, ваше превосходительство, но это... невѣроятно.

Его превосходительство только и ждалъ этого слова.

— Позвольте,—твердо и многозначительно остановилъ онъ сомнѣвавшихся,—я протестую и объявляю, что вы, господа, дѣлаете мнѣ очевидно пристрастные допросы. Вы говорите: невозможно, невѣроятно! Согласенъ: фактъ, дѣйствительно, невѣроятенъ по своей ясной нелѣпости. Но осмѣлюсь спросить васъ: почему вы принимаете совершенно тождественное показаніе отъ моего подчиненнаго противъ меня, и сомнѣваетесь въ истинѣ точно такого же моего показанія противъ г-на Н. Н.? На чемъ основаны ваши сомнѣнія, если не на пристрастномъ желаніи обвинить меня во что бы то ни стало? Этотъ чиновникъ — лицо непосредственно мнѣ подчиненное: я же непосредственно подчиненъ г-ну Н. Н. Градація подчиненности, въ этомъ случаѣ, совершенно правильная. Положимъ, я—воръ, и мой подчиненный—тоже воръ, допустимъ даже, что мы воры въ совершенно равной степени, ибо и онъ, и я обвиняемся въ

одной и той же кражѣ. Но почему же вы отдаете преимущество истинѣ показанію одного вора противъ другого, и лишаете того же преимущества другого вора противъ третьяго. Гдѣ же справедливость? Гдѣ же безпристрастіе и законъ, послѣ этого? Вы вѣрите одной нелѣпости и не вѣрите другой, подобной же! Я покорнѣйше прошу записать мое показаніе и внести въ протоколъ справедливый протестъ мой.

Члены комисіи съѣли грибъ и только руками развели отъ столь ловкаго парированія удара.

IV.

Лапчатые.

Если о комъ можно и даже должно говорить непосредственно послѣ «соляныхъ», то это именно о «лапчатыхъ». Безпристрастная справедливость даже требуетъ, чтобы мы поставили ихъ на ряду съ «соляными», такъ какъ это—рекомендую: еще одинъ грандіозный типъ чудотворно-теплой сольгородской администраціи. Представитель его именно и есть тотъ самый администраторъ-распорядитель, извѣстный подъ именемъ медвѣжьей «Загребистой лапы», о которомъ мы уже упоминали.

Представьте вы себѣ браваго мужчину, изъ породы тѣхъ, которыхъ называютъ «жеребцами», иль «бель-омами», и которыхъ почему-то особенно жалуютъ «преклонныхъ лѣтъ молодыхъ купчихи». Сажанный ростъ и полтора-аршинныя плечи; длинные русые усы, отличающіе своимъ характернымъ видомъ родовитое шляхетское происхожденіе; наглый и самоувѣренно-дерзкій взглядъ, который смотритъ — чуть не говоритъ: «р-р-расшибу!!» и при этомъ внушительный кулакъ, сразу могущій на смерть свалить извозчика; словомъ сказать: мордобійца, мздовоздатель и стекловышибатель—судья и вершитель всѣхъ дѣлъ, гдѣ только есть возможность «облапить» что бы то ни было.

Взглянули бы вы на него, когда онъ, бывало, мчитъ съ рапортомъ къ сольгородской «маменькѣ», мчитъ въ пролеткѣ на разлетистой парѣ въ пристяжку—картина, да и только! Замѣчательно, что извѣстнаго сорта администраторы ѣздятъ не иначе, какъ на разлетистой парѣ въ пристяжку, и даже не ѣздятъ, а непременно мчатся сломя голову, причѣмъ ихъ кучера орутъ во всю глотку, «пада!» и «бер-гисы!»—эта ихъ общая, неизмѣнно-типическая черта. Прохожіе почтительно кланяются, городовые тянутся въ струнку, и такъ проворно берутъ подъ козырекъ, что воочию видишь, какъ у нихъ въ это мгновеніе душа переселяется въ пятки. А онъ себѣ мчитъ бубновымъ козыремъ и только, знай, глазами да

усаами поводить направо и налѣво, и поводить такъ строго, такъ внушительно, что каждый мимоѣдущій невольно мыслить про себя: «да, это вотъ начальство! совсѣмъ начальство!»—и вотъ когда его бубновѣй взглядъ и вся его козырная фizioномія особенно рельефно изображаютъ собой: «ррраспибу и прогложу, такіе вы, слякіе, раз-эдакіе!» А лошади у него дивныя, да и какъ имъ не быть дивными, если даромъ достаются, и при этомъ Загребистая-лапа даровому коню еще въ зубы смотреть — значить, поговорки не придерживаются.

А взглянули-бы вы еще на него, когда на балу, въ дворянскомъ — значить, «благородномъ» клубѣ, онъ въ мазуркѣ выступаетъ — опять-таки картина великолѣпная! Загребистая-лапа считается первымъ мазуристомъ въ городѣ и всегда, въ первой парѣ, открываетъ этотъ танецъ, къ которому его тянутъ природенныя, національныя симпатіи. Онъ танцуетъ мазурку лихо, ловко, разлетисто, съ душой, съ родовитымъ шляхетскимъ гоноромъ, какъ умѣютъ танцевать одни только варшавскіе балетники въ знаменитомъ «Весельи въ Ойцовѣ». Знаменитый сольгородскій денди и левъ Пессингъ-сынъ, родичъ и другъ Загребистой-лапы, стремится подражать ему — но увь! — несмотря на все стараніе, походить болѣе на прыгающего козла, чѣмъ на гонороваго мазуриста. Нѣмецъ не можетъ быть мазуристомъ, ибо онъ по природѣ своей — олицетворенный гротесктеръ и «либеръ Августинъ». У Загребистой-же лапы — талантъ, истинный талантъ на мазурку. Какъ щегольски топаютъ его каблукі! Какъ задорно поводить онъ богатырскими плечами! — заглядѣнье! Заглядѣнье, да и только! А улыбка? а осанка? а взглядъ? О, этотъ бубново-козырный взглядъ... кто его забудетъ! Кто изъ васъ сольгородскія щеголихи, модницы и львицы, не испытывалъ на себѣ его фельдфебельски-маслянаго дѣйствія! Когда Загребистая-лапа, въ мазуркѣ, поворачиваетъ голову къ дамѣ и стремится взглядомъ проникнуть въ ея декольтѣ — этотъ взглядъ, и улыбка, и фizioномія и вся фигура Загребистой-лапы выражаютъ собой характеръ козырнаго вальса. Когда-же съ лихимъ порывомъ передѣрнетъ онъ плечами да подшелкнетъ каблуками, и вмѣстѣ съ этимъ движеніемъ откинетъ въ другую сторону свою голову, да поведетъ глазами на всю почтеннѣйшую и «благородную» публику — тогда въ этомъ взглядѣ, въ этой лихой строгости всей фигуры мазуриста ярко сверкнетъ вамъ въ очи козырный бубновѣй тузъ — такъ тузомъ и смотреть.

Но онъ лихъ не на одну мазурку. Онъ знаетъ и другіе танцы — казачокъ въ присядку, напимѣръ; и даже по образцу комедіантскихъ собачекъ, отминно умѣетъ, когда требуется, на заднихъ лапкахъ ходить. Обученъ

и этому. И, могу сказать, съ особеннымъ искусствомъ обученъ, чему, конечно, не мало способствовалъ и врожденный талантъ, ибо Загребистая-лапа, по происхожденію своему, принадлежитъ къ родовито-шляхетской расѣ, которая, по преимуществу, выработала себѣ историческое умѣнье — передъ высшимъ и нужнымъ человѣчкомъ «стелиться подъ стопы паньски и цаловать реньчки паньски».

Я упомянулъ про казачокъ съ присядкой. Очевидцы рассказываютъ, что когда сольгородское «общество» выстроило на высокой горѣ отминный домъ и преподнесло его въ итѣмный и секретный даръ *друной* загребистой лапѣ, то наша домашняя сольгородская лапа танцевала передъ этой генерал-лапой трепака и казачка въ присядку. Такъ таки и отколола трепака, а генерал-лапа взиралъ на этотъ танецъ съ высоты мягкаго дивана, пуская клубы благовоннаго дыма. Это событіе произошло тогда, когда Сольгородъ справлялъ новоселье генерал-лапы въ новомъ, благопріобрѣтенномъ домѣ. При этомъ все сольгородское общество, изъ всѣхъ силъ, наперерывъ стремилось отличиться передъ генерал-лапой. Отличалось купечество, отличалось чиновничество, не ударило лицомъ въ грязь и соляное сольгородское дворянство. Всѣ явились съ подарками. Одинъ поставилъ даровую мебель, другой даровую посуду, третій свою супругу, четвертый спальную принадлежность, пятый ковры драгоцѣнные, а сольгородская Загребистая-лапа преподнесла огромный телескопъ, въ который можно далеко озирать окрестности. Этимъ подаркомъ она, видите-ли, желала угодить начальственно-наблюдательной прозорливости и бдительности генерал-лапы. Въ этомъ подаркѣ скрывалась, такъ-сказать, своя аллегорія — дескать, ты наблюдай теченіе свѣтилъ небесныхъ, обозрѣвай картинныя окрестности сольгородскія, но старайся не замѣчать, что творю у тебя подъ носомъ я, сольгородская лапа.

Говорятъ, будто генерал-лапа понялъ смыслъ этого подарка и поступалъ сообразно съ желаніемъ усерднаго подносителя, который тутъ-же, для пущаго уясненія своего патрона, и разразился, при всей компаніи, казачкомъ и трепакомъ съ присядкой.

Въ обществѣ — это любезнѣйшій чловѣкъ, что называется, душа-чловѣкъ, такъ что его называютъ даже «очаровательной лапой». Сколько предупредительной любезности, сколько милой развязности, истинно-чистосердечнаго веселья, соединеннаго съ солиднымъ достоинствомъ, и сколько, наконецъ, галантерейнаго шикъ въ обращеніи!

Онъ предупредительно любезенъ и услужливъ до послѣдней степени: любите вы, напимѣръ, поѣсть и выпить — онъ вмѣстѣ съ вами и поѣстъ, и выпьетъ; и даже несравненно лучше васъ выпьетъ, ибо на этотъ счетъ да-

леко не дуракъ. Любите вы женщинъ — онъ вамъ покажетъ такихъ, что только пальчики облизнете. Любите вы въ карты когонибудь обыграть — онъ и въ томъ вамъ поможетъ, и даже лучше васъ обыграетъ, даже можетъ при случаѣ, на-вѣрняка не то что обыграть, но чисто ужъ обыграть ближняго. Любите вы разговоры вести въ современно-либеральномъ вкусѣ — Загребистая-лапа изумитъ васъ прогрессивною дерзостью своихъ взглядовъ и убѣждений; если же замѣтитъ въ васъ консервативныя наклонности, то вѣрите, вамъ покажется, что въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ человѣка консервативнѣе Загребистой-лапы. Словомъ, это, говорю, вполне душа-человѣкъ, теплый и покладистый малый на всѣ руки — чистый и нечистый.

Онъ тоже любитель изящнаго. Благопріобрѣтенный домъ его на одной изъ лучшихъ улицъ щеголяетъ предметами роскоши и вкуса. Тутъ и бронзы, и мраморы, и ковры, и картины, и коллекція прекрасныхъ, рѣдкостныхъ оружій въ кабинетѣ, и, что лучше всего, — эти всѣ прелести достаются ему даромъ: купцы приносятъ изъ благодарности, а иное и самъ онъ уноситъ у купцовъ изъ лавокъ, и за это требуетъ тоже благодарности. Вообще любить признательность къ своей особѣ.

Онъ великій практикъ, и поэтому все, что только можетъ быть обложено въ городѣ данью и пошлиной — все это обложено: и извозчики, и разносчики, и торговые заведенія.

Но кромѣ того, что Загребистая-лапа человѣкъ практическій, онъ еще человѣкъ остроумный и изобрѣтательный. Это вы увидите тотчасъ же изъ нѣсколькихъ очерковъ, которые вполне обрисуютъ въ немъ данныя качества.

Начать съ того, какимъ образомъ добылъ онъ себѣ свое настоящее теплое мѣсто въ Сольгородѣ?

Десять лѣтъ тому назадъ, онъ сидѣлъ здѣсь же, на этомъ самомъ мѣстѣ, и безмятежно воспѣвалъ старинный романсъ:

Веря! большой тутъ нѣтъ науки!
Веря, что только можешь взять!
На что-жъ придрѣланы къ намъ руки,
Какъ не затѣмъ, чтобъ брать, брать, брать! *)

Но вдругъ случился нѣкоторый казусъ. Дернула его нелѣгкая вмѣстѣ съ проворовавшимся нынѣ солянымъ столпомъ (который тогда еще былъ столпъ незаподозрѣнный), обыграть на-вѣрняка одного интендантскаго офицера. Я уже немножко упоминалъ объ этомъ казусѣ. Въ одну ночь болѣе сорока тысячъ серебромъ казенныхъ денегъ перешло въ карманы двухъ благопріятелей. Офицера отдали подъ судъ, засадили на гауптвахту, гдѣ онъ и по сей день обрѣтается. Нѣкоторые изъ свидѣтелей,

которые могли доказать настоящую суть дѣла, вдругъ невѣдомо отчего скоростижно скончались, другіе невѣдомо куда пропали, исчезли, затерялись по лицу земли — и дѣло застряло. Загребистой-лапѣ предложили выйти въ отставку. Она и вышла, и переселилась въ одинъ изъ поволжскихъ городовъ, гдѣ попреимуществу практиковалась насчетъ картишекъ. Такъ продолжалось это дѣло до тѣхъ поръ, пока въ Сольгородъ не назначили для высшихъ наблюденій генерал-лапу. Лапа учуяла лапу и поспѣшила переселиться въ Сольгородъ. Подлизалась и подмазалась она подъ патрона, и состояла при немъ, хотя и неофициально, но гласно, въ качествѣ генеральнаго поставщика прекраснаго пола и сыщика денегъ взаимны безъ отдачи.

Генерал-лапа былъ особа страшная — диктаторъ въ нѣкоторомъ родѣ, который однимъ почеркомъ пера и въ Сибирь могъ упрятать, и въ землю закопать; поэтому, для его надобностей всегда находились безпрекословно и особы прекраснаго пола, и деньги взаимны безъ отдачи. Однажды, когда Загребистая-лапа успѣлъ чѣмъ-то особенно угодить генерал-лапѣ, обратился онъ къ патрону съ слезной просьбой, что такъ и такъ, молъ, полонъ энергіи и силы, душа алкаетъ живительной дѣятельности, жажду положить животъ свой на алтарь отечества и лапу свою на гражданъ сольгородскихъ, но, увы! — мѣста алачна и прохладна не иму, смоковницы своей снѣдательной лишень, а хотѣлось-бы поступить на прежнюю должность; и ужъ мы бы съ вами, говорить, зажили тогда, ваше — ство! ужъ такъ-то бы зажили — во вся широты! Генерал-лапа и самъ разумѣетъ, что это, дѣйствительно, было-бы недурно, и говоритъ: «согласенъ, братецъ! работай это дѣло, а я подѣйствую своимъ влияніемъ». Загребистая-лапа принялся за работу. Первымъ дѣломъ устроилъ у себя интимный, дружескій банкетъ, на который пригласилъ генерал-лапу да градскаго главу и выжигу куша Живодѣрина. Купецъ Живодѣринъ — особа вѣская, капиталная и медалями украшенная, держитъ въ своихъ рукахъ весь мелкій торговый людъ. Иные вручили ему свои капиталы для торговыхъ операций, инымъ и самъ ссужаетъ нѣкоторыя суммы, на третьихъ скупаютъ векселя и прочее; словомъ, дѣйствуетъ, какъ жирный паукъ, опутывающій всякую мелкую мошку. Купеческая мелкота, составляющая большинство каждаго градскаго «общества», находится положительно въ рукахъ Живодѣрина: что онъ захочетъ, то съ нею и дѣлаетъ, потому — сила, а съ произволомъ этой силы для мелкоты связанъ вопросъ насущнаго хлѣба.

Загребистая-лапа прямо и билъ на эту чувствительную точку. За банкетомъ, послѣ обильныхъ возліаній, сталъ онъ разводить сладостные разговоры о томъ, какой онъ былъ во вре-

*) Впрочемъ, въ Сольгородѣ и нынѣ рѣдко кто не любитъ этого романса.

мя бно отецъ и благодѣтель города, какъ некая и заботился о гражданахъ, какой былъ мягкій и сговорчивый начальникъ. Живодѣринъ поддакивалъ: ему и самому-то вполнѣ былъ на руку начальникъ именно подобнаго сорта. Вдругъ генералъ-лапа торжественно заявляетъ, что онъ—*онъ самъ* желаетъ, дабы Загребистая-лапа снова усѣлся на прежнемъ своемъ мѣстѣ, но усѣлся бы не иначе, какъ по добровольному приговору гражданского общества. Живодѣринъ далъ свое согласіе, и тутъ же они это дѣло и порѣшили. На другое утро градской глава собираетъ «общество», то есть всю свою мелкоту и говоритъ: «извольте подписывать приговоръ, яко бы, то-есть, всѣ мы единодушно желаемъ видѣть Загребистую-лапу вновь отцомъ и благодѣтелемъ нашего города, съ производствомъ ему, помимо штатнаго жалованья, четырехъ тысячъ годового содержанія изъ градскихъ суммъ». Мелкота, скрѣпя сердце, подписала, и Загребистая-лапа былъ избранъ въ отцы и благодѣтели приговоромъ большинства.

Ахнулъ и во всемъ зыгнулъ весь Сольгородъ, когда узналъ, что снова къ нему накачалось этакое благополучіе—да ужъ плачь не плачь, а ничего не подѣлаешь! Зато всѣ воры и мазурики, крупные и мелкіе, чиновные и безчинные, возопили гласомъ радованія; а корпорация сольгородскихъ мошенниковъ (въ прямомъ смыслѣ), карманниковъ и базарныхъ плутовъ, какъ говорятъ, даже торжественный молебенъ въ соборѣ отслужила по поводу радостнаго для нея событія.

Но вторичное занятіе стараго мѣста—штука болѣе практическая, чѣмъ остроумная, хотя безъ извѣстнаго остроумія и ее не продѣлаешь. Но вотъ гдѣ, напримѣръ, идетъ уже чистое остроуміе.

Въ Сольгородѣ, какъ и во многихъ городахъ російскихъ, бываетъ большая ярмарка, на которую съѣзжаются купцы съ разныхъ концовъ нашего отечества и ведутъ здѣсь крупнѣйшіе дѣла и обороты. Ярмарка эта приноситъ Загребистой-лапѣ ежегодно чистаго, негласнаго дохода отъ двадцати до тридцати-пяти тысячъ, и даже болѣе. Каждый прїѣзжій къ ярмаркѣ купецъ обязанъ явиться къ Загребистой-лапѣ—засвидѣтельствовать свое почтеніе и предъявить свой паспортъ. Въ свернутомъ паспортѣ необходимо лежитъ благоприличное «поздравленіе съ прїѣздомъ». Если поздравленіе удовлетворяетъ лапѣ, то, въ такомъ случаѣ, пойдутъ разныя задержки, замедленія, да недоразумѣнія, пока самъ купецъ не догадается поклониться Загребистой-лапѣ добавочнымъ поздравленіемъ. Съ рабочихъ и съ извозчиковъ, появляющихся на ярмарку, точно также взымается «поздравленіе» и «поклонныя», и

взимаются они то порознь, отдѣльно съ души, то гуртомъ, по-артѣльно.

Вмѣстѣ съ купцами наѣзжаютъ въ Сольгородъ разныя предприниматели и предпринимательницы по части увеселеній и услажденій рода человѣческаго. Всѣ они вмѣстѣ со своимъ товаромъ селятся на это время въ особой части города, сплошь и рядомъ одни подлѣ другихъ. Такимъ образомъ, часть увеселеній остается вполнѣ сконцентрированной, и это обстоятельство представляетъ большія удобства для Загребистой-лапы. Нечего и говорить о томъ, что каждый изъ предпринимателей поступаетъ въ число временно-обязанныхъ Загребистой-лапы и обложенъ извѣстнымъ оброкомъ, который достигаетъ въ иныхъ случаяхъ даже до нѣсколькихъ тысячъ съ одного лица. Оброкъ, болѣею частью, вносится въ опредѣленные сроки, еженедѣльно. Но вдругъ кто-нибудь изъ этихъ господъ забудетъ достодолжную субординацію и промедлитъ какой-нибудь день. Загребистая-лапа, свѣрившись по своей записной книжкѣ и убѣдившись, что просрочка дѣйствительно существуетъ, призываетъ къ себѣ тотчасъ же мѣстную власть, которую олицетворяетъ собою приставъ Шпицбалъ, и приказываетъ ему «распорядиться». Приставъ Шпицбалъ такъ ужъ и знаетъ, что такое значитъ это «распоряженіе». Какъ только стихнетъ къ вечеру ярмарочная дѣятельность, и всѣ торговые люди предадутся кутежу и безобразію; у дверей провинившагося предпринимателя вдругъ появляется, словно изъ земли выросши, полицейскій стражъ. Стоитъ себѣ у подъѣзда на панели и, что называется, позицію наблюдаетъ. Оно вѣдь, въ сущности, словно бы и ничего. Ну, что въ томъ, что полицейскаго стража взяли да поставили? А между тѣмъ, послѣдствія такого невиннаго стоянія не замедляютъ обнаружиться тотчасъ же.

Подъѣзжаетъ, напримѣръ, къ этому самому подъѣзду кака-нибудь веселая компанія и, конечно, усматриваетъ стража.

— Вы куда это, господа почтенные? Наверхъ? — дружелюбно обращается къ нимъ стражъ.

— Наверхъ. А что такое?

— Да такъ... Лучше бы вамъ ѣхать къ кому-нибудь по сосѣдству.

— Затѣмъ по сосѣдству? Мы сюда хотимъ!

— Какъ угодно; это, конечно, воля ваша, а только чтобъ потомъ чего бы... Я вѣдь изъ благорасположенія, значить, а не то чтобы... А впродчимъ, какъ угодно.

— Да что такое? въ чемъ дѣло?

— Такъ-съ, ничего... Обыскъ, значить, будетъ... Обыскъ полицейскій... затѣмъ и представлены.

— Какъ обыскъ? Когда?..

— Да вотъ ждемъ, почитай, что сею минутою нагрянутъ; такъ, можетъ, чтобы какъ-ни-

будь и васъ, значить, тово... тоже маленько къ дѣлу не пристегнули бы... Ужь вы—душевно говорю—лучше бы къ кому-нибудь по сосѣдству.

— А!.. Ну, спасибо, голубчикъ служивый, что предупредилъ! Это точно что не дай-Богъ!.. Спасибо! На тебѣ на чай за это!—кланяется благодарная компанія.—Эй, извозчики! Подавай! Кати, значить дальше!

И поворачиваютъ оглобли «по сосѣдству».

Въ ту-жъ минуту, вслѣдъ за первой, наѣзжаетъ другая компанія. Полицейскій стражъ повторяетъ свое дружелюбное предостереженіе. За другою является третья, за третьей четвертая—и со всѣми то же самое. Провинившійся предприниматель ждетъ-поджидаетъ, смотритъ-высматриваетъ гостей, и на первый частъ ума приложить не можетъ, что бы это такое значило? У всѣхъ гости, у всѣхъ народъ, вездѣ и далеко вокругъ слышенъ шумъ, гамъ, суетня, крики, содомъ и гоморра, музыка заливается, топотъ и танцы, и дымъ коромысломъ, шампанское льется, и оконныя стекла въ дребезгахъ летятъ на улицу, а у него великопостная пятница; одинъ онъ лишенъ всей этой благодати, у него одного лишь въ освѣщенныхъ залахъ ни души, и только, словно осеннія мухи, зѣвая бродятъ лѣниво изъ угла въ уголъ разряженныя и декольтированныя феи. За что же такая печать отверженія? Чѣмъ прегрѣшилъ онъ сугубо?

Но печальное заблужденіе длится недолго.

Предприниматель усматриваетъ, наконецъ, подъ сѣнью своего крыльца сольгородскаго альгвазила, и сразу же домекается, что знаменуетъ сіе знаменіе: альгвазилъ будетъ стоять до тѣхъ поръ, пока виновный не загладитъ свой проступокъ, пока онъ не озаботится самъ возстановить законы нарушенной имъ субординаціи и почтенія. Отгираетъ онъ, злосчастный, свою завѣтную шкатулку, отсчитываетъ изъ нея хорошенькую, вкусную пачку, и съ прискорбнымъ вздохомъ опустивъ ее въ свой боковой карманъ и посыпавъ главу цепломъ раскаянія, смиренно отправляется къ приставу Шпицбалу.

Приставъ Шпицбалъ, какъ добрый отецъ, духовне побесѣдуетъ, въ тиши своего кабинета, съ кающимся грѣшникомъ (или грѣшницей), прочтетъ ему приличное назиданіе о повиновеніи властямъ предержащимъ и о сладости почтенія къ онимъ, и келейно взыщетъ съ него запови—лапово и шпицбалови—шпицбалово. Но взыщетъ не обычно-положенное, а сугубое.—«Ты, дескать, другъ любезный, какъ думаешь отдѣлаться? Обычнымъ жертвоприношеніемъ? Нѣтъ, ангелъ мой, нельзя, невозможно! Грѣхъ твой требуетъ эпитиміи. На капиталъ, извѣстно, съ каждымъ днемъ свой процентъ нарастаетъ, а нынче время-то торговое; значить, деньги дороги. Ты сутки (цѣлыя сутки!) про-

срочилъ, а за просрочку платежей и по закону неустойка полагается!

— Батюшка! ваше благородіе! господинъ Шпицбалъ! Помилосердствуйте!—молитъ провинившійся предприниматель.—Послѣднее отъ сердца отрываю! съ кровію и плотію отрываю! Помилосердствуйте!

— Нельзя, мой другъ, при всей моей высокой любви къ тебѣ, невозможно! Потому—законъ! Ты знаешь—мы живемъ въ такое время... въ настоящее время, когда законъ равенъ для всѣхъ... Я и то ужъ разсудилъ тебя по совѣсти, милостиво, и далъ тебѣ судъ скорый, потому сказано: «правда и милость да царствуютъ въ судѣ»... Ну, вѣдь прегрѣшилъ? и самъ знаешь, что прегрѣшилъ, самъ же и съ покаяніемъ пришелъ, не я вѣдь тянулъ тебя—самъ шель; а за грѣхъ и эпитимія налагается! Плати неустойку! Съ тебя понедѣльнаго сбору сколько установлено?

— Охъ, сотенная, батюшка, сотенная!

— Ну, стало быть, вноси полторы сотенки, и ступай себѣ съ Богомъ. Сорирится намъ съ тобой не приходится, потому, какъ знать: у тебя невзначай, гдѣ-нибудь въ чуланѣ, можетъ, и мертвое тѣло окажется, съ убійными знаками; вѣдь ты этого знать не можешь?

Предприниматель вдругъ становится бѣлѣе полотна и дрожащими руками сгнѣпить поскорѣ расквитаться съ Шпицбаломъ, да давай Богъ ноги!

Сіяющій Шпицбалъ несется къ Загребистой-лапѣ.

— Ну, что? Привелъ къ покаянію?

— Привелъ, Павелъ Васильевичъ! И на путь истины направилъ!

— По закону?

— По закону-съ! То-есть, обычное понедѣльное, съ надбавкой пятидесяти процентовъ эпитимійныхъ.

— Молодецъ Шпицбалъ! Можешь получить съ него и свою долю.

— Слушаю-съ, Павелъ Васильевичъ! А съ часовымъ какъ прикажете распорядиться?

— Убрать, впредъ до распоряженія.

И Шпицбалъ откланивается Загребистой-лапѣ. При окончаніи своей аудіенціи, онъ потому освѣдомляется насчетъ часового, что Загребистая-лапа иногда и не приказываетъ убирать его, и это послѣднее распоряженіе дѣлается вотъ въ какихъ случаяхъ:

Въ собственномъ его, Загребистой-лапы, департаментѣ податей и сборовъ понадобится, напрямѣръ, почему бы то ни было, произвести нѣкоторый косвенный экстраординарный налогъ, по отдѣленію сборовъ неокладныхъ, то-есть не въ счетъ обычнаго понедѣльнаго оброка. Является Шпицбалъ и получаетъ приказаніе немедленно же поставить полицейскій постъ къ дверямъ увеселительнаго заведенія подъ № 1-мъ, то-есть по порядку. Это, видите ли,

выходить нѣчто въ родѣ военно-административной экзекуціи, каковая примѣнялась въ краяхъ повстанскихъ. Ну, конечно, и поставятъ альгвазила. За симъ слѣдуетъ точь-въ-точь повтореніе только-что разказанной исторіи.

Сіяющій Шпицбаль сейчасъ же примчится къ Загребистой-лапѣ съ первымъ результатомъ неокладного сбора. Загребистая-лапа насчетъ часоваго скажетъ ему одно только лаконическое слово: «къ слѣдующему!»—и альгвазиль переходить нѣсколько шаговъ, къ подъѣзду увеселительнаго заведенія подъ № 2-мъ, и стоитъ тамъ впредь до дальнѣйшаго распоряженія. Но вотъ, достигнуть желанный результатъ со вторымъ номеромъ—Загребистая-лапа командуетъ: «къ слѣдующему!» Альгвазиль переходить къ № 3-му. Добились у третьяго. «Къ слѣдующему!» Переходить къ четвертому—«къ слѣдующему!»—«къ слѣдующему!»—«къ слѣдующему!»... и такъ далѣе, пока, наконецъ, не будетъ обойдена по порядку вся слобода. Не правда ли, изобрѣтеніе весьма остроумное?

Но остроумныя изобрѣтенія этимъ не ограничиваются: у Загребистой-лапы есть и другія, за которыя онъ вполне можетъ быть удостоенъ и всероссійскихъ премій, и пожизненныхъ привилегій, и даже почетнаго монтіона. Если бы Наполеону III своевременно пришла мысль «создать» всемірную выставку наглыхъ и остроумныхъ плутней, безцеремоннаго воровства и тонкаго грабительства—я увѣренъ, что Загребистая-лапа былъ бы однимъ изъ первыхъ экспонентовъ на этой выставкѣ, и получилъ бы одну изъ первыхъ почетныхъ медалей, такъ что чиновно-бездарный Сольгородъ, который, безъ сомнѣнія, тоже удостоился бы одной изъ первыхъ медалей, могъ-бы, по всей справедливости, гордиться предъ лицомъ Европы такими своими представителями, какъ соляные столпы и Загребистая-лапа.

Загребистая-лапа содержитъ у себя на жалованьи нѣсколько темныхъ джентльменовъ, попросту сказать, воровъ и мазуриковъ, которые въ то же время служатъ ему и вѣрными наушниками. Въ числѣ разнородныхъ обязанностей, возложенныхъ на нихъ Загребистой-лапой, находится, между прочимъ, обязанность шататься, во время ярмарки, по трактирамъ, увеселительнымъ заведеніямъ и танцклассамъ, затѣмъ чтобы подымать тамъ ссоры и драки. Казалось бы, затѣмъ ему содержать при себѣ штатъ мазуриковъ, и для чего поручать имъ специальное производство драки и вчинаніе ссоръ въ мѣстахъ публичныхъ? А между тѣмъ, это тоже продуктъ остроумія Загребистой-лапы, который приноситъ ему свои вкусные результаты.

Штатные мазурики, состоящіе при Загребистой-лапѣ, преимущественно устремляютъ свою дѣятельность на танцклассы, куда входятъ

окупается продажей билетовъ. «Почтеннѣйшая публика», которую аршинныя афиши обыкновенно приглашаютъ «почтить своимъ благосклоннымъ вниманіемъ» подобныя заведенія, набирается туда, по окончаніи ярмарочнаго торговаго дня, въ количествѣ иногда очень почтенномъ. Здѣсь вы зачастую можете видѣть богатыхъ купцовъ-татаръ, которые въ своихъ блистающихъ позументомъ ермолкахъ «отхватываютъ», канканчикъ, съ примѣсью россійско-татарской удалы. Штатные мазурики никогда не начинаютъ ссоры и драки, пока въ танцклассѣ мало народу. Они ждутъ непременно того часу, когда гуляющей публики будетъ, что называется, биткомъ набито, когда въ кассѣ увеселительнаго заведенія скопится изрядное количество кредитныхъ билетовъ.

И вотъ, въ эту пору, публика значительно уже подпила, подгуляла, распахнулась, и начинаетъ ощущать органическую потребность въ какомъ-нибудь скандальцѣ. Нѣкоторые даже чувствуютъ зудъ въ кулакахъ и тоску по стекламъ, по мордамъ и по посудѣ, которыя остаются еще не разбиты.

— Другъ! милый человѣкъ! любезный человѣкъ!—кричитъ уже въ одномъ углу какой-нибудь пьяненькій купчикъ. — Будь ты мнѣ другомъ и благодѣтелемъ! Удобрствуй! Возьми ты съ меня какое хошь безчестіе, только позволь по мордѣ съѣздить!

— Кого это по мордѣ?—амбиціозно откланяется другъ.

— Ахъ, другъ!.. тебя!.. тебя по мордѣ!.. Ну, что тебѣ стоитъ—своя, чай, не чужая! Возьми ты, другъ, съ меня штрафъ большущій, говорю тебѣ, только дозвожь, пожалуйста! Слезно прошу тебя объ этомъ... покорнѣйше прошу!.. Не препятствуй!

— У меня тоже, полагаю, своя амбиція есть,—сухо замѣчаетъ другъ.

— Знаю, что есть, знаю, другъ! потому и прошу! А то чорта ли безъ амбиціи! Я тебя, сударь ты мой милый, такъ-таки прямо въ самую то-есть въ амбицію твою и съѣзжу! Уважу, голубчикъ!

— Ну, полно! Перестань, Поликарпъ Матвѣичъ! Не блажи! — благоразумно урезониваетъ купчика пріятель его, тоже купчикъ, только менѣе подгулявшій.

— Ахъ милушка ты мой, Стѣпныкъ! Не трошь ты меня теперича! Потому — желаю! Всѣмъ сердцемъ моимъ, значить, влеченье такое чувствую!

И опять начинаетъ приставать къ другу:

— Другъ!.. а, другъ!.. Тебѣ говорю! дозвожь по рождѣ!.. вѣдь ты чиновникъ?

— Чиновникъ, — съ достоинствомъ подтверждаетъ другъ.

— Ну, вотъ смерть хочется чиновника въ морду ударить... Ну, просто моченьки моей

нѣту!.. Честью прошу тебя!.. И ты ужь лучше мнѣ самъ дозволю, а то я все равно ударю.

— Ну-ка, попробуй, попробуй!—харахорится и подзадориваетъ чиновникъ, начиная уже выискивать глазами «благородныхъ свидѣтелей».

— И попробую!

— А ну-ко, ну-ко!.. Я погляжу...

— И поглядишь!

— А ну-ко ударь, ударь!..

— И ударю!.. Трижды ударю! И трижды штрафъ заплачу!

И вдругъ трахъ! трахъ!.. хлестъ! хлестъ!.. По комнатѣ звонко раздаются удары по щекамъ и отчаянное: «караулъ!.. рѣжутъ!..»

Начинается суматоха; съ разныхъ концовъ сбѣгаются зрители; слышны крики: «нашихъ бьютъ!.. чиновника бьютъ!.. ребята, напирай! не выдавай!.. Такъ его! такъ его, каналью!.. Луши!..» А купчикъ, словно ни въ чемъ не бывало, сдѣлавъ свое дѣло — «удоблетворилъ своему ндраву», а затѣмъ, распакиваетъ сюртукъ, достаетъ бумажникъ и, захвативъ изъ него сколько-то ассигнацій, съ благодушнѣйшей и самодовольной улыбкой кладетъ ихъ передъ побитымъ.

— На, другъ!.. Получай, что слѣдуетъ за безчестіе... Получай, я тебя обидѣть не желаю!

Почтеннѣйшая публика очень любитъ и уважаетъ такіа маленькія сценки, и вотъ эти то самыя симпатіи «почтеннѣйшей» и имѣютъ въ виду штатные мазурики, состоящіе при Загребистой-лапѣ; на нихъ-то они и рассчитываютъ. Подсядутъ они, обыкновенно, словно бы добрые знакомые, къ какому-нибудь столу, завяжутъ дружелюбный разговоръ между собой, затѣютъ ссору и—трахъ одинъ другого въ ухо. Подымается драка. Публика, учуя скандалъ, стекается со всѣхъ сторонъ на шумъ, стоитъ сначала (впрочемъ, весьма недолго) въ качествѣ простого зрителя, и только крупными словцами подзадориваетъ да поощряетъ дерущихся. Затѣмъ у публики начинается сердце разгораться. Одна часть принимаетъ участіе въ одномъ изъ бойцовъ, другая въ другомъ; являются заступники, пособники, которые мало-по-малу уже активно примыкаютъ къ той и другой сторонѣ — и вотъ, черезъ нѣсколько минутъ, стѣна ломитъ на стѣну. Подымается общія свалка, летятъ вверхъ клочья одежды, летятъ посуда со стола и пустыя бутылки, мелькаютъ окровавленные рожи, раздается громкая ругань, гамъ, крики, вой, визгъ женщинъ... Хозяинъ танцклассы блѣденъ, растерянъ, дрожитъ (онъ знаетъ, что сію же минуту изъ всего этого воспослѣдуетъ), бѣгаетъ назадъ и впередъ, и старается разнять дерущихся, водворить порядокъ — но тщетно! Самому ему изрядно помяли бока и отдубасили въ общей свалкѣ—и вдругъ...

Въ эту самую минуту, какъ грозная тѣнь

Банко, торжественно появляется величественный образъ Загребистой-лапы.

Моментъ разительнаго эффекта.

Но почему всегда въ одинъ и тотъ же данный моментъ такъ неукоснительно появляется Загребистая-лапа? — Потому онъ такъ появляется, что ждетъ уже заранѣе гдѣ-нибудь за угломъ этого желаннаго мгновенья. Либо въ театрѣ, въ первомъ ряду креселъ рисуется, либо ожидаетъ въ иномъ какомъ, предварительно условленномъ мѣстѣ—обыкновенно, неподалеку отъ центра предстоящихъ дѣйствій. Какъ только разгорится ссора и дойдетъ до всеобщей потасовки, одинъ изъ штатныхъ мазуриковъ, нарочно державшійся все время постороннимъ челоукомъ—въ видѣ адъютанта, летитъ во весь духъ къ Загребистой-лапѣ, съ докладомъ, что часъ насталъ и жатва приспѣла.

Тогда Загребистая-лапа садится въ свои щегольскіе дрожки и на утарной парѣ лихо подкатываетъ къ мѣсту скандала, удалымъ коршуномъ налетаетъ прежде всего на кассу и—цапъ-царапъ всѣ наличныя деньги, да въ карманы, въ карманы поскорѣй ихъ и затѣмъ—въ видѣ грозной тѣни Банко появляется въ залѣ.

Въ ту-жъ минуту, словно изъ-подъ земли, вырастаетъ услужливый приставъ Шпицбалъ и сонмъ альгвазиловъ. Загребистая-лапа чинитъ судъ и расправу и водворяетъ порядокъ, миръ, тишину и спокойствіе, приказавъ Шпицбаловъ забрать всѣхъ дерущихся, огуломъ, въ полицейскую кутузку. Оттуда ихъ выпускаетъ, собравъ съ каждаго приличное вознагражденіе, въ видѣ «отступного».—И именитое купечество, захваченное такимъ образомъ, расплачивается очень солидными бумажками, во избѣжаніе дальнѣйшаго ареста, огласки, разбирательства и прочаго скандала, падающаго «на честь и имя купеческое».

Когда уже Загребистая-лапа успѣетъ проявить въ себѣ миротворца и водворить спокойствіе, отправивъ большую часть почтеннѣйшей публики въ кутузку, подъ прикрытіемъ Шпицбаловскихъ альгвазиловъ, тогда подзываетъ къ себѣ блѣднаго, трепещущаго хозяина танцкласснаго заведенія и говоритъ ему благодушно:

— Вотъ что, любезнѣйшій! Эта драка могла очень легко окончиться разбоемъ и грабежомъ, а пожалуй и пожаромъ, такъ я, во избѣжаніе какой бѣды, прежде всего выручилъ твою кассу. Вотъ она!—перечти-ка, все ли сполна, и дай господину Шпицбалу росписку въ полученіи.

И Загребистая-лапа вынимаетъ изъ кармана скудную горсточку мелкихъ ассигнацій. Лицо хозяина вытягивается въ величайшій знакъ удивленія.

— Нѣтъ, тутъ, кажись, не все-съ... осмѣливается онъ робко замѣтить.

— Не все-съ?—сурово насупливаетъ брови

Загребистая-лапа.—А! такъ не все-съ?!—Ну, хорошо! Ну, хорошо: надобно составить актъ, а заведеніе придется закрыть, потому—твой танцклассъ, любезнѣйшій, это есть гнѣздо всякаго безчинства и разбоевъ.—Здѣсь уже вѣдь не первая драка!.. Это—нарушеніе градскаго спокойствія и благочинія!.. Закрыть сейчасъ же!.. а о недочетѣ денегъ, по твоему показанію, составимъ актъ.

Хозяинъ—въ ноги:

— Батюшка! Помилуйте!.. всѣмъ довольны! много довольны!.. Касса, какъ есть, вся полная; а это я такъ... плохъ глазами становлюсь... не доглядѣлъ, по разсѣянности обчелся...

— Ну, то-то же!—внушительно заключаетъ Загребистая-лапа, довольный результатами своей облавы.

Одно только танцклассное заведеніе изъ всѣхъ остальныхъ избавлено отъ подобныхъ облавъ Загребистой-лапы, но и то потому, что этотъ притонъ всяческой мерзости, безобразія и разврата содержитъ подъ чужой фирмой самъ же Шпицбалъ. Зато же и дѣла тамъ совершаются!—Прислуга Христомъ-Богомъ молить, чтобы ее задаромъ, безъ всякаго жалованья приняли въ услуженіе въ это мѣсто уготованное, ибо тамъ уже грабъ и дери съ «гостя», чтѣ хочешь, и не будетъ тебѣ ни суда, ни расправы. Шпицбалъ и его супруга все покрываютъ тамъ крыломъ своимъ.

Но если бы рассказывать всѣ подвиги Загребистой-лапы и приспѣшника его Шпицбала—съ цѣлымъ сонмомъ лапчатыхъ, то повѣствованіе приняло бы слишкомъ большіе размѣры. Довольно будетъ еще сказать, что весь Сольгородъ знаетъ и рассказываетъ, какъ Загребистая-лапа въ теченіе одного года убилъ (буквально убилъ) на улицѣ, собственными кулаками, двухъ извозчиковъ—одного мальчика, другого взрослога—и совершилъ это публично, середѣ бѣлаго дня. Одного привезли въ больницу мертвымъ, другой умеръ тамъ же черезъ нѣсколько часовъ; и когда дежурный врачъ затруднился, какимъ образомъ обозначить въ актѣ причину смерти, Загребистая-лапа, расхаживая съ сигарой въ зубахъ по пріемному покою, приказывалъ ему съ циническимъ остроуміемъ:

— Пиши: «отъ воли Вожіей» или отъ «апоплексіи» пиши!—У нихъ всегда вѣдь въ этихъ случаяхъ апоплексія бываетъ.

Я пришелъ въ понятный ужасъ, когда мнѣ былъ рассказанъ этотъ послѣдній анекдотъ, а потомъ доводилось и неоднократно слышать подтвержденіе его изъ многихъ устъ. Меня поразило то, что объ этомъ всѣ знаютъ, всѣ говорятъ, и никто не двинулся, чтобы хоть публично въ любой газетѣ объявить объ этомъ явномъ преступленіи.

— Помилуйте!—отвѣчали мнѣ,—вы все смотрите на вещи по тамошнему, по петербург-

скому; а у насъ это гораздо проще: слѣдователи найдутъ да и отваятъ ни съ чѣмъ, потому—запутаютъ! Мы вѣдь великіе мастера путать и темнить всякое дѣло, будь оно ясно, какъ бѣлый день; да и при томъ, надо сказать вамъ откровенно—собственная шкура всякому дороже чужой: заяви я объ этомъ сегодня, меня завтра же пристукнутъ ночью на улицѣ (у насъ и это случается!).

И дѣйствительно, въ подобныхъ фантастическихъ городахъ возможны подобныя фантастическія дѣйствія, подобныя фантастическіе герои и такое фантастическое отношеніе къ нимъ общества. А впрочемъ, почему же шайковнй Загребистой-лапы и не убивать извозчиковъ?—вѣдь на то она и медвѣжья великая лапа, а какой-нибудь извозчикъ для этой лапы—не болѣе, какъ «поя кровь и москѣвське быдло».

Таковы-то сольгородскіе лапчатые звѣри.

V.

Нѣчто о сольгородскомъ обществѣ вообще и о нѣкоторыхъ господахъ въ особенности.

Теперь, когда мой читатель достаточно познакомился уже съ главными и типическими представителями Сольгорода, я нахожу умѣстнымъ потолковать и о сольгородскомъ обществѣ. Чтѣ такое, вообще, сольгородское общество? Въ чемъ проявляется его жизнь, его дѣятельность? Какіе его интересы? Насколько понимаетъ оно, чтѣ такое «общество» и насколько само себя уважаетъ?

Относительно того, чтѣ такое вообще сольгородское общество, отвѣтъ будетъ заключаться въ пословицѣ: «по Сенькѣ и шапка». Вы уже достаточно знаете, чтѣ такое Сольгородъ и каковы его представители. Если общество не только-что сносить ихъ, но даже находить возможнымъ оправдывать и защищать ихъ дѣйствія; если общество, чувствуя боль нравственныхъ пощечинъ, наносимыхъ ему соляными лапами и прочими дѣятелями той же категоріи, остается равнодушнымъ къ этимъ пощечинамъ; если общество считаетъ себя чуть не осчастливленнымъ, когда воръ Передеревскій или завѣдомый грабитель и душегубъ Загребистая-лапа являються, по собственному же выбору этого общества, его представителями въ различныхъ казусахъ и обстоятельствахъ общественной жизни; если члены этого общества рады и трепещутъ отъ наслажденія когда генерал-воръ Передеревскій протягиваетъ имъ презрительно два пальца—то чего же стоить это общество и какой эпитетъ придумаете вы сами, чтобы достойно охарактеризовать его? Есть, конечно, въ Сольгородѣ горсть вполне порядочныхъ людей, есть пять-шесть честныхъ домовъ, которые дер-

жаты отдѣльно, съ обществомъ ничего общаго не имѣютъ; но гдѣ же нѣтъ исключеній? Горсть порядочныхъ людей непременно найдется въ наше время въ каждомъ захолустьи; но въ томъ-то и сила, что захолустья отъ этого ровно ничего не выигрываютъ; они остаются все тѣми же грязными, обрюзглыми въ собственной затхлои плѣсени, захолустьями, которые изо-всѣхъ силъ стремятся либо засосать въ собственную тину честнаго человѣка, либо, если это не удастся, забрызгать его грязью своего нравственнаго неряшества, опутать его своею каверзой, сплетней и клеветою. Надо знать напѣ всероссийскій Глуповъ, чтобы понять до какой степени глубоко правъ Щедринъ, говоря про наше глуповское общество, что оно каждому нравственно-свѣжему человѣку поетъ: «ахъ, любя меня безъ размышленій!» и требуетъ, по пословицѣ — «любишь не любишь, а подпоясывай!» Да; оно требуетъ подпоясыванья подъ свою общую дудку; а не хочешь подпоясывать, готовься принять на свою голову всяческую мерзость и твердо уповай, что не сегодня—завтра тебѣ подставятъ подножку и сживутъ со своего глуповскаго свѣта. Сольгородъ, какъ хорошая обезьяна, перенимаетъ всѣ внѣшніе приемы цивилизаціи: вы встрѣтите тутъ и модные фракы, и модныя гостиныя, и модныя фразы; но онъ не выноситъ независимости честнаго человѣка, не выноситъ честнаго (не по наружности, а по сущности) поступка, принципа, взгляда, убѣжденія. Человѣкъ, напримѣръ, скромно и добросовѣстно занимается своимъ дѣломъ, такъ что иглолки подъ него не подточишь, и имѣетъ дерзость Загребистую-лапу называть Загребистой-лапой, соляныхъ — соляными, честную, хорошую и умную дѣвушку или женщину не ругать нигилисткой, не повторять безобразныхъ сплетень и гадостей, а такъ-таки прямо и называть ихъ сплетнями и гадостями—кончено! Изъ него сейчасъ дѣлаютъ человѣка «неблагонамѣреннаго», кричатъ, что онъ красный, дуракъ, мерзавецъ, нигилистъ, идущій въ разрѣзъ общественному мнѣнію. Достаточно только не быть сольгородцемъ по духу, для того, чтобы получить всѣ эти эпитеты, и достаточно получить ихъ, для того, чтобы ждаты на свою голову всякихъ подвоховъ и мерзостей. И въ то же время каждый, кто только является истымъ сольгородцемъ по духу (*своихъ* сольгородцы умѣютъ какимъ-то чутьемъ угадывать и, надо отдать справедливость, угадываютъ безошибочно), тотъ можетъ нигилистничать сколько душей угодно, проповѣдывать тотъ воровской либерализмъ, съ которымъ уже познакомился читатель—и сольгородцы будутъ съ гордостью и такъ благодушественно, елейно говорить вамъ про него: «онъ у насъ либераль, прогрессистъ... вѣдь и мы тоже стоимъ на хорошей, на современной почвѣ!» Дѣвушка

или женщина, которая чуждается тѣхъ скабрзныхъ сплетень, что поглощаютъ и мужской и женскій сольгородскій міръ, которая не занимается исключительно своими трапками и нарядами, находитъ несомнѣннымъ съ своимъ женскимъ достоинствомъ удить и нанизывать себѣ хвостъ дешевыхъ и пошлыхъ поклонниковъ, не позволяетъ говорить себѣ плоскія любезности, а занимается чѣмъ-нибудь болѣе серьезнымъ, читаетъ серьезныя книги, а не пикантные романчики—такая дѣвушка или женщина въ глазахъ истыхъ сольгородцевъ является вредной нигилисткой, и нѣтъ той гнусности, какую не смѣло бы про нее досужее и грязное сольгородское воображеніе. Откажетъ она какому-нибудь присватавшемуся къ ней женишку — сольгородскія матушки и дочки приходятъ въ ужасъ, какъ это, молъ, возможно отказывать женихамъ «съ карьерой, съ положеніемъ!» Гнусные язычишки ихъ начинаютъ звонить, что все это произошло потому-де, что она, «по своимъ убѣжденіямъ, предпочитаетъ гражданскій бракъ»; звонъ подхватывается сонмомъ братцевъ, кузеновъ, дядюшекъ, напенокъ, и на честную дѣвушку начинаютъ поглядывать съ подлыми улыбками.—«Помилуйте, говорятъ, она не только что платя сама себѣ шьетъ, она какія-то опасныя книжки читаетъ, горничной дѣвѣй вдругъ *вы* говорить; а это все отъ книжекъ!.. все отъ книжекъ!.. Это ужасно!..» И все это пожимаетъ плечами и приходитъ въ священный ужасъ.

Но да не подумаетъ читатель, что Сольгородъ хранить идеальную чистоту нравовъ и исполненъ семейныхъ добродѣтелей. Нѣтъ, нравы его не лишены пикантности, и семейныя добродѣтели весьма сомнительной свѣжести. Сольгородъ не стѣсняетъ себя ничѣмъ, но требуетъ, чтобы всѣ грѣшки были скрываемы подъ добродѣтельной маской *падаше* Мадлены Тартюфъ. Дѣлай ты тамъ себѣ что хочешь, только, пожалуйста, прикройся именемъ своего мужа, во-первыхъ, во-вторыхъ, карай всѣми громами своего добродѣтельнаго негодованія современное растлѣніе нравовъ и каждый хвостикъ cadaго маленькаго грѣшка, который имѣлъ неосторожность проявиться наружу. Будь развратна, но притворись добродѣтельной; будь хоть Мессалиной—въ спальнѣ, но умѣй казаться Савонароллою въ юбкѣ—въ своей гостиной. Таковъ кодексъ сольгородской нравственности и добродѣтели. Сольгородъ съ благоговѣйнымъ почитеніемъ и съ полярѣйшимъ уваженіемъ относится къ какой-нибудь публичной замужней женщинѣ, которая бравируетъ своимъ высокимъ положеніемъ наложницы, состоящей при генерал-лапѣ, прѣзжавшемъ туда для какихъ-то наблюденій; а въ то же время этотъ Сольгородъ ни за что не проститъ любви честной женщины, честно и скромно полюбив-

шей человѣка, но по какому-либо несчастію не освятившей своей любви высшимъ благословеніемъ священнаго обряда. Первой будутъ заводить, дружки лобызаться, жать руки, гордиться ея знакомствомъ, выставлять на позорище въ своихъ гостинныхъ ея визитныя карточки; вторую же заклуютъ, забрызгаютъ всяческой грязью, забросаютъ камнями. Таковъ мой высоконравственный и высокочестный фантастическій Сольгородъ.

Винить тутъ, по мѣому, положительно некого, кромѣ самого же общества, апатичнаго и равнодушнаго ко всему, что не касается прямыхъ интересовъ собственнаго кармана.

Вотъ поѣсть да попить хорошо—это другое дѣло! На это мы великіе мастера и специалисты. Въ Сольгородѣ есть всеобщій кормитель, который недавно содержалъ буфетъ въ клубѣ. Благородные члены клуба, въ благодарность за свое кормленіе и вообще за усердіе, преподнесли ему благодарственный адресъ, серебряную вазу, и даже прославили въ особенной брошюрѣ — значить, умѣютъ питать признательность къ питающимъ ихъ желудки.

Въ послѣдніе годы завелось по лицу русской земли повѣтріе такое, что ли, чтобы при каждомъ удобномъ и даже неудобномъ случаѣ собираться вкушѣ и обжираться на официально-торжественныхъ кормленіяхъ.

Это значитъ, что мы все о своемъ «пробужденіи» заявить желаемъ.

Проѣзжало не такъ давно чрезъ Сольгородъ одно очень высокопоставленное лицо. Къ этому лицу явилась депутація отъ сольгородскаго общества съ покорѣйшей просьбой почтить общество своимъ вниманіемъ и удостоить вкусить нарочно приготовленную торжественную трапезу. Высокое лицо располагало немедленно продолжать свой путь и вовсе не намѣрено было обѣдать торжественнымъ образомъ; но, желая не обидѣть своимъ отказомъ такіа усиленные просьбы и сдѣлать вниманіе сольгородскому обществу, согласилось, стѣсна нѣсколько самого себя, принять предложенное торжество. Каково же должно было быть изумленіе его, когда нѣсколько времени спустя лицо это получило за заданный ему, помимо его воли, обѣдъ—кухмистерскій счетъ въ десять тысячъ рублей серебромъ!.. Говорятъ, будто лицо это немедленно же распорядилось отослать сольгородскому обществу требуемую сумму.

Но вотъ еще одинъ крупный фактъ, который поможетъ намъ дорисовать картину сольгородскаго общества.

У проворовавшагося соляного столпа есть достойный его братецъ, проворовавшійся въ крымскую войну на хлѣбѣ, такъ что оба брата извѣстны теперь подъ именемъ братьевъ «хлѣбосоловъ». Братецъ «хлѣбный» по суду былъ разжалованъ въ солдаты, но успѣлъ со-

хранить у себя большую часть награбленныхъ денегъ, а награбилъ онъ ихъ до двухъ-милліоновъ—стало быть, не особенно много. Благодаря ходатайству брата «соляного» — ходатайству, въ коемъ соляной выставлялъ на видъ свою долгую, безпорочную и вѣрную службу, свои заслуги—братецъ хлѣбный былъ переведенъ рядовымъ въ инвалидную команду ближайшаго къ Сольгороду уѣднаго городишка. Братецъ-солдатъ не живетъ въ казармахъ команды, но проживаетъ въ Сольгородѣ, катается въ собственныхъ вѣселихъ коляскахъ, носитъ шармеровскіе фраки, принимаетъ въ «лучшихъ» домахъ и состоитъ членомъ коммерческаго клуба, куда былъ предложенъ черезъ посредство клубнаго старшины Загребистой лапы, и почти единодушно выбаллотированъ членами. Братецъ-солдатъ задаетъ тону, и тоже стремится руководить «общественнымъ мнѣніемъ», держитъ себя съ нахальной гордостью и достоинствомъ, играетъ «въ крупную» и надѣется вскорѣ самъ быть старшиною клуба. Всѣ члены любезно жмутъ ему руку, и — разжалованнаго въ солдаты государственнаго вора почтительно титулуютъ не иначе, какъ «вашимъ превосходительствомъ».

Недавно одинъ офицеръ обратился къ собранію клуба со слѣдующимъ предложеніемъ:

— Господа! — сказалъ онъ, — у меня есть денщикъ, человѣкъ безукоризненной и примѣрной честности, хорошій и добрый солдатъ, за котораго поручится чуть ли не весь полкъ, а ужъ самъ я головой ручаюсь. Позвольте мнѣ имѣть честь предложить этого моего денщика въ члены нашего клуба.

Присутствующіе возмущились и взволновались. Старшины торжественно просили офицера прекратить неумѣстную и оскорбительную шутку.

— Какъ, оскорбительную! — вступился тотъ за себя. — Я вамъ говорю, что это честный и примѣрный солдатъ! Вы же охотно допускаете въ свое общество, и даже гордитесь сотовариществомъ солдата, позорно разжалованнаго въ это званіе. Что же можетъ быть оскорбительнаго для васъ, если я предлагаю вамъ въ сотоварищи солдата честнаго? Тутъ никакъ не вы, а развѣ одинъ только мой денщикъ могъ бы оскорбиться!

Говорятъ, что большинство настаивало на томъ, чтобы офицеръ былъ исключенъ изъ клуба послѣ такой «непристойной» выходки. Полагаю, что тотъ и самъ не остался.

Дворянскій, сирѣчь «благородный», клубъ хотя и не преддожилъ членства хлѣбному братцу (потому — уставъ воспрещаетъ), тѣмъ не менѣе многіе изъ членовъ этого послѣдняго клуба, состоя въ то же время членами въ клубѣ коммерческомъ, являются какъ бы связующимъ звеномъ между клубомъ дворянскимъ и воромъ-солдатомъ; но оправдательнымъ ар-

гументомъ въ этомъ случаѣ можетъ служить то, что вѣдь вора-солдата зовутъ же всѣ «вашимъ превосходительствомъ», и принимаютъ же его въ «лучшихъ» домахъ и почти всѣ, наконецъ, чуть ли не гордятся пожатіемъ его руки.

«Что же дворянство?» быть можетъ, спросите вы меня, пожимая плечами отъ изумленія.

А что жъ? — благородное дворянство такъ себѣ... благородное дворянство, въ знакъ признательности и «въ знакъ удовлетворенія», вазы серебряныя преподноситъ своему лейб-питателю. Чего же еще вы отъ него хотите? Вѣдь здѣсь теперь завелось дворянство изъ соляныхъ да лапчатыхъ, да имъ подобныхъ. Здѣсь, напримѣръ, въ предводители избранъ малограмотный человѣкъ, про котораго каждый гимназистъ знаетъ, что онъ глупѣе сиваго мерина. При одномъ торжественномъ кормленіи звѣрей, этому господину надлежало сказать спичъ—безъ спичей вѣдь нынче невозможно ни ступить, ни йкнуть. Написалъ ему этотъ спичъ Рейнике-лисъ, который сидитъ на тепломъ мѣстѣ. Благородному и представителю маршалу предстояло только прочесть по бумажкѣ продуктъ пера краснорѣчиваго Рейнике-лиса; но такъ-какъ онъ въ русской грамотѣ не силенъ, то и читалъ съ запинкой, съ мямленьемъ и глотаньемъ словъ. Вдругъ встрѣчается ему фраза: «автономія Царства Польскаго». Маршалъ заикнулся, да и ляпнулъ вмѣсто автономіи астрономію. Поднялся кое-гдѣ сдержанный смѣхъ; однако же, ничего, проѣхало пока благополучно, безъ особенныхъ скандаловъ. Но рассказываютъ, будто онъ, увѣренный потомъ нѣкимъ шутникомъ, утверждалъ, при разспросахъ у него насчетъ «астрономіи», что въ спичѣ ошибкой было поставлено «автономія», а что слѣдовало читать именно «астрономія», потому что у поляковъ, какъ извѣстно, астрономія процвѣтала, и даже былъ очень недурной и уважаемый въ свое время астрономъ Коперникъ. Такому-то предводителю благородное сольгородское дворянство ввѣряетъ въ наше время свои интересы и свое представительство.

Вотъ мой посильный, но правдивый эскизъ о состояніи сольгородскаго общества. Замѣтите себѣ еще, что мнѣ, какъ мимоидущему туристу, кидались въ глаза только *нѣкоторыя* стороны этого общества, что я имѣлъ еще мало времени взглянуть въ всѣ эти прелести; но что подъ этими прелестями копошится множество другихъ, еще болѣе пахучихъ прелестей и совершенствъ, которыя не могли или не успѣли сдѣлаться мнѣ доступными. Я рассказывалъ только факты; выводы же предоставляю дѣлать самому читателю, который если захочетъ, то можетъ, пожалуй, отнести все это къ области моей фантазіи, и даже подумать, что

фантазія моя настроена нѣсколько болѣзненно. Словомъ сказать, думайте, какъ хотите. Я вѣдь еще въ самомъ началѣ сказалъ, что описываю городъ фантастическій и даже невозможный.

Я сдержалъ свое слово.

VI.

Какъ относится провинція къ литературѣ

Всюю шаташася языцы!

Я не даромъ поставилъ этотъ эпиграфъ. Дѣйствительно, всюю шаташася языцы нашей россійской словесности послѣднихъ годовъ! Какихъ результатовъ *думала* достичь литература этими шатаньями да препирательствами, и какихъ она на самомъ дѣлѣ *достигла*? Принесли-ли массѣ какую-нибудь крупницу насущной пользы всѣ наши литературные турниры, спектакли, побоища, скандалища, плеванія, заушенія, лагеря, партіи, которія, направленія?

Скажу только одно, что въ значительной части нашей провинціальной массы проснулась *охота читать*. Эту «охоту читать»—можно пока еще назвать чѣмъ-то примитивнымъ, эмбриональнымъ, изъ чего вполнѣ должно вырасти что-нибудь доброе, порядочное. Ею можно сравнить съ потребностью человѣка умыться свѣжей водой послѣ долгаго сна, съ потребностью насытиться чѣмъ-нибудь послѣ продолжительнаго голоданья. Только по утоленіи этого перваго голода, человѣкъ въ состояніи будетъ разбирать качества и свойства предлагаемыхъ ему блюдъ и затѣмъ, пожалуй, прихотничать, выбирать по собственному вкусу. Въ данный моментъ у насъ пока все еще продолжается періодъ перваго голода, первыхъ позывовъ на умственную пищу. Эти позывы—я позволяю себѣ такъ выразиться—почти безсознательны, инстинктивны, и появились они оттого, что жизнь съ ея высшими требованіями, въ силу непреложнаго закона прогрессивнаго движенія, идетъ себѣ впередъ и по неволѣ тащитъ за собою массу, насильственно вдвигая ее въ кругъ своей дѣятельности. Какъ въ крѣпко ни спалъ человѣкъ въ своей запертой комнатѣ, но съ разсвѣтомъ лучи яркаго солнца все-таки будутъ раздражать его нервы, дѣйствовать помимо его воли на сѣтчатую оболочку закрытаго глаза и мѣшать ему;—человѣкъ начнетъ просыпаться.

Петербургцу или москвичу кажется, что мы живемъ полною жизнью, совершенствуемся, цивилизуемся, словомъ сказать «мчимся на паровозѣ прогресса».—Розовыя корреспонденціи изъ провинціальныхъ городовъ, то и дѣло появляющіяся на столбцахъ нашихъ газетъ, стараются убѣдить насъ въ томъ же. Мы читаемъ, вѣримъ и умиляемся. Не вѣрьте розовымъ корреспонденціямъ. Розовыя корреспон-

денция врутъ, ибо сами-то розовые корреспонденты изъ вашихъ же собственныхъ, петербургскихъ и московскихъ газетъ, поначитались разныхъ розовыхъ вещей о современномъ движеніи російскаго общества и жизни, а поначитавшись, стараются плясать подъ вашу же дудку. Повѣрьте, это такъ. Самолюбію мѣстнаго литератора-обывателя очень лестно самообольстительное заявленіе, что и мы, дескать, тоже тово... какъ и вы же, совершенствуемся. И притомъ, такіа розовыя заявленія бываютъ очень пріятны мѣстной власти, которая у насъ теперь, какъ извѣстно, старается изображать себя преуспѣвающею въ принципѣ гражданственности и мирнаго прогресса. Вотъ такимъ-то образомъ, вытекаая изъ этихъ положеній, и являются розовыя корреспонденціи. Судя по этимъ корреспонденціямъ, прогрессъ провинціальной жизни идетъ гигантскими шагами: отеческа-заботливое начальство, во-первыхъ, радуется и любитъ; во-вторыхъ, родительскимъ перстомъ указываетъ путь спасенія и направляетъ общественную дѣятельность; и въ-третьихъ, бдитъ надъ каждымъ неусыпно-зоркой и вмѣстѣ съ тѣмъ матерински-нѣжной опекой. Сыновне-преданное общество взираетъ на указующій перстъ и тоже радуется и любитъ, и тоже стремится направиться по предписанному пути со всѣмъ стараніемъ и при отличномъ поведеніи. Судя по тѣмъ же розовымъ корреспонденціямъ, у насъ и земская-то жизнь кипенемъ кипитъ, и добрые землевладѣльцы великодушно благодѣтельствуютъ добродѣтельнымъ землепашцамъ, а добродѣтельные землепашцы воздвигаютъ въ сердцахъ своихъ монументъ признательности добрымъ землевладѣльцамъ, и дорожки-то у насъ не то-что шоссе, а паркету уподобляются, и мосты, и верстовые столбы поражаютъ глазъ путешественника своимъ изяществомъ и простотою, «что было особенно замѣчно г. начальникомъ при объѣздѣ вѣреннаго ему края». Судя по тѣмъ же корреспонденціямъ, въ средѣ добродѣтельныхъ землепашцевъ то и дѣло возникаютъ мудрые Гостомыслы, которые держатъ въ рукахъ своихъ знамя сельскаго прогресса, и школь-то у насъ крестьянскихъ развелось видимо-невидимо, и крестьяне-то толпами устремляются въ эти школы, жаждая познать корень ученія и вкушать плоды образованія, и водки-то почти ужъ не пьютъ, и сельскія больницы повсюду заводятъ... Читаешь и думаешь себѣ: «Какая въ самомъ дѣлѣ широкая, свѣтлая жизнь! Какое великое *настоящее* изображаетъ собою наша земля Русская, которая наконецъ, кромѣ того, что велика и обильна, но даже и порядкомъ пмѣтѣ!» И въ самомъ дѣлѣ, чего вы хотите? Отечественное начальство направляетъ указующій перстъ; общество радуется и заявляетъ чувства благодарности къ начальству; землевладѣльцы тоже стремятся и съ своей стороны показать

указующій перстъ «меньшимъ братьямъ»—меньшіе братья радуются и то же заявляютъ чувства благодарности; устраиваются обѣды; на обѣдахъ говорятъ спичи, всѣ взаимно лобызаются, взаимно любятъ, взаимно проливаютъ радостные токи слезъ умиленія, при видѣ толкаго всеобщаго преуспѣянія и благоденствія, взаимно пишутъ адреса, шлютъ телеграммы—умиленное начальство кланяется и благодаритъ, умиленное общество съ своей стороны тоже кланяется и благодаритъ, меньшіе братья, по традиціямъ стараго времени, восклицаютъ: «вы наши отцы, мы ваши дѣти!» благо отъ возгласа-то этого еще не успѣли отвыкнуть. Стало-быть, въ результатѣ всѣ выходятъ довольны и счастливы? Стало-быть!—по-крайней мѣрѣ, розовыя корреспонденціи увѣряютъ насъ въ этомъ, изображая подобныя буколическія картины, для полноты которыхъ недостаетъ только рѣзвѣющихся барашковъ, зефировъ и купидоновъ. И знаете ли, розовые корреспонденты, съ своей стороны, смотрятъ очень практически на это дѣло. Большая часть изъ нихъ состоитъ, такъ или иначе, подъ вліяніемъ отеческаго начальства. Начальство любитъ картины буколическаго свойства—дескать, «вотъ какъ преуспѣваетъ край подъ сѣнью моего указующаго перста». Ergo: за подобныя розовыя корреспонденціи авторы оныхъ удостоиваются всемилостивѣйшихъ улыбокъ, а иногда и награды къ празднику. Остальная же часть розовыхъ литераторовъ-обывателей (меньшинство) усердствуетъ безкорыстно, изъ любви къ отечеству, потому что ужъ натура у нихъ такая сладкая, умилюющаяся, Маниловская. Они ужъ въ этомъ не виноваты, ибо лишены способности смотрѣть на что бы то ни было иначе, какъ подъ угломъ розоваго зрѣнія.

И вдругъ среди эдакой-то буколички, неожиданно-негаданно ворвется въ російское ликование кричащимъ и рѣжущимъ диссонансомъ вопль какого-нибудь купца Севастьянова подъ розгами какого-нибудь бирскаго исправника г. Васильева; или вырисуется вдругъ изъ-за этихъ двухъ фигуръ величественный образъ правителя, который въ отеческой заботливости своей о мирѣ и благоденствіи опекаемыхъ имъ гражданъ благодушно предложитъ г. Севастьянову помириться съ г. Васильевымъ. А въдь исправникъ этотъ не въ единственномъ только числѣ фигурируетъ по лицу матери-Россіи!

Но вотъ что, милостивые государи, является дѣйствительно хорошимъ и весьма знаменательнымъ признакомъ среди нашихъ буколическихъ безобразій. Гостомысловъ-то, пожалуй, у насъ еще и нѣтъ, и въ школы мы шлемъ дѣтей своихъ куда какъ неохотно, и водкой опиваемся, и земскія дѣла свои не совсѣмъ-то хорошо иногда понимаемъ, и обмѣриваемъ, и обмѣшиваемъ, и сутяжничаемъ, и взятки беремъ—все это, какъ водится, какъ и быть тому надле-

жить пока; а вотъ эдакія простыя слова, какъ напимѣръ: «я ваше превосходительство кровью своей не торгую», это уже фактъ, котораго не вычеркнешь никакимъ перомъ, не замажешь никакой розово-буколической мазилкой. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ купецъ Севастьяновъ, быть можетъ, и не сказалъ бы этихъ простыхъ, но желѣзомъ выкованныхъ словъ, ему бы и въ голову, можетъ, не осмѣлились придти эти слова. Въ то время *нужно* бы было помириться съ г. Васильевымъ и даже смиренно простить ему, по заповѣди, а теперь эти слова *сказаны* и оглашены на всю землю Русскую, имѣющую уши слышати и смыслъ разумѣти. Человѣческое чувство, человѣческое достоинство въ насъ пробуждается—и это сдѣлала сама жизнь, въ ея поступательномъ, прогрессивномъ движеніи, жизнь, которая идетъ себѣ и развивается своимъ путемъ помимо отческихъ заботъ и розовой буколки. Она захватываетъ, засасываетъ наши дикія массы и словно жерновъ, мелющій зерно, перемеливаетъ наши понятія. А какъ это дѣлается?—Мы и сами, пожалуй, того не замѣчаемъ. Дѣлается это постепенно, словно вотъ какъ растеніе какое растетъ да развивается исподоволь на своей почвѣ. И только тогда, когда мы видимъ плодъ этого жизненнаго перемолу, то замѣчаемъ и чувствуемъ, что это-то вотъ, напимѣръ, дѣйствительно уже *сдѣлано* жизнью.

Такимъ-то вотъ точно образомъ и въ значительной части нашей провинціальной массы проснулась *охота читать*. Это тоже на половину уже сдѣлано, выработано жизнью. Говоря объ этой читающей части, я называю ее значительною. Пропорція будетъ вотъ какая: семь десятыхъ провинціальной массы играютъ въ стуколку и въ рамсѣ, три десятыхъ читаютъ и играютъ въ ту же стуколку и въ тотъ же рамсѣ. Три десятыхъ—это уже очень значительно, право! Значитъ, кромѣ стуколки есть уже нѣкоторая потребность и въ книгѣ, значитъ, стуколка—эта великая папача противъ губернской скуки, не вполне удовлетворяетъ. И это уже, повѣрьте, большой шагъ впередъ.

Теперь, естественно, слѣдуетъ не безынтересный вопросъ: *что читаютъ и какъ читаютъ?*

Прежде всего—календарь, который является почти такой же необходимой, настольной принадлежностью каждаго добропорядочнаго гражданина, какъ тостъ за губернатора на официальномъ обѣдѣ. За симъ, мужская половина читающей массы придерживается болѣе газетъ, а женская—журналовъ и, вообще, книжекъ. На всемъ Поволжьи, напимѣръ, наиболѣе распространенной газетой являются «Биржевыя Вѣдомости». Сколько могу судить по наглядкѣ, степень распространенности нашихъ газетъ идетъ вотъ въ какой градаціи:

- 1) «Биржевыя Вѣдомости».
- 2) «Московскія Вѣдомости».

3) «Голосъ».

4) «Вѣсть» и «Мсква» (почти въ равной степени) ¹⁾.

5) «Сынъ Отечества».

Куда дѣвались «С.-Петербургскія Вѣдомости»—не понимаю, только ихъ нигдѣ не видать, развѣ иногда отыщешь какой нибудь номеръ въ читальной комнатѣ клуба, но и только. Можетъ быть, онѣ ходки въ сѣверной и сѣверо-восточной полосѣ Россіи, не знаю; но на Волгѣ и на Дону мнѣ иногда только удавалось находить ихъ, какъ рѣдкость.

Надо замѣтить, что женщины, сравнительно, читаютъ у насъ гораздо болѣе, чѣмъ мужчины. Онѣ суть первыя и главныя поглотительницы печатной пищи. Натура ли у нихъ на этотъ счетъ чутче и воспримчивѣе, или досугу больше, не знаю; только, по моимъ наблюденіямъ, это выходитъ такъ. У мужчины, жителя какого нибудь губернскаго города, кромѣ его служебныхъ дѣлъ, по части государственной или карманной пользы, остается еще очень много занятій весьма важныхъ. Таковы суть, во-первыхъ, каверзы служебныя и преферансъ «по большой» съ вѣскими особами губернской іерархіи, вообще, такъ сказать, съ *начальствомъ*; во-вторыхъ, каверзы частныя, общественныя, клубныя, семейныя и рамсѣ, мушка, палки; въ-третьихъ, дѣла по части амуровъ и стуколка; впрочемъ къ этимъ двумъ предметамъ заражены одинаковою страстью какъ особы прекраснаго, такъ и не прекраснаго пола; въ-четвертыхъ, сплетни, въ которыхъ мужчины оспариваютъ пальму первенства у слабыхъ женщинъ; въ-пятыхъ, лихорадка заявленій своего благопослѣпшаго гражданскаго пробужденія и выраженія чувствъ признательности, любви и уваженія къ разному начальству, то-есть, говоря проще, лихорадка хлопотъ по части официальныхъ кормленій à proros со спичами и шампанскимъ. Это уже, какъ видите, идетъ часть умиленій, т. е. матеріалъ для розовыхъ корреспонденцій. Во время оно, въ былые добрые годы, люди собирались просто себѣ къ совѣтнику, къ предсѣдателю, къ прокурору, къ предводителю, къ полиціймейстеру на какого-нибудь осетра чудовищнаго, на медвѣжій окорокъ, на кулебяку съ налимими печенками, и въ простотѣ душевной объѣдались, опивались, согѣли, цѣловались, случалось и дирались промежъ себя—затѣмъ, чтобы имѣть предлогъ снова поцѣловаться, т. е. выпить снова, и въ концѣ-концовъ добрыми бойцами выступали сразиться на зеленомъ полѣ. Нынѣ же увы! мы разучились уже объѣдаться, драгаться и цѣловаться во всей простотѣ и невинности душевной. Нынѣ намъ подавай официальный обѣдъ à proros, со спичами и телеграммами, гдѣ бы могли напередъ о своемъ гражданскомъ пробужденіи или о чув-

¹⁾ Писано по наблюденіямъ 1867 года.

ствах своей признательности заявить, а уже потомъ, буде придетъ такое расположеніе, по-даться и засѣсть за зеленое поле. Но и на кулачки нынѣ мы не столь ретивые охотники, потому что кулачки, это—первобытный способъ ощутительнаго проявленія своихъ душевныхъ чувствъ, а мы уже въ нѣкоторомъ родѣ успѣли вкусить отъ плода цивилизаціи и потому кулачки «въ настоящее время, когда и т. д.» для насъ не годятся. Въмѣсто кулачекъ, мы нынѣ стараемся дѣйствовать болѣе подвохомъ да под-копомъ, да каверзой хорошей: оно и для рожки не убыточно, и для человѣка чувствитель-но. И такъ, вотъ сколько занятій предложить почти каждому субъекту мужескаго пола въ какомъ-нибудь Сольгородѣ или Славнобу-бенскѣ; да мы еще и далеко не все перечи-слили. Стало быть, когда же тутъ читать? «А въ клубѣ?» спросить быть можетъ иной петер-бургскій или московскій читатель. — Вопросъ необдуманнѣй. Развѣ въ клубѣ читаютъ? Развѣ порядочные люди ходятъ въ клубъ за тѣмъ, чтобы упражняться тамъ въ занятія Гоголе-скаго Петрушки, а не ѣсть, не въ стуколку играть? Правда, въ каждомъ клубѣ есть чи-тальная комната, гдѣ для виду и для приличія на столѣ разбросаны кое-какія газеты да жур-налы, но ходятъ туда иные сибариты задрем-нуть часокъ-другой послѣ сытнаго клубнаго обѣда. Для того въ читальной комнатѣ и обя-зательное за подписью старшинъ вывѣшено, что здѣсь говорить громко воспрещается. Оно и резонно, потому какой же сонъ при громкихъ разговорахъ? Вечеромъ же, когда игорныя и столовыя комнаты полны, читальная краснорѣ-чиво блистаетъ полнѣйшимъ отсутствіемъ клуб-ныхъ членовъ; развѣ когда зайдутъ два, три человѣка взглянуть въ сегодняшнюю афишу или переговорить по секрету о кой-какихъ сво-ихъ дѣлишкахъ. Вообще мужской половинѣ провинціального рода человѣческаго некогда читать; хорошо еще, если кто изъ этихъ гос-подъ успѣетъ утромъ, за чашкой кофе, за ста-каномъ чая, или послѣ обѣда за дремотой, пробѣжать у себя дома кое-что изъ листка га-зеты.

Для того, чтобы провинціального горожанина заставить прочесть что-нибудь, кромѣ газет-ныхъ извѣстій, нужно, чтобы онъ заболѣлъ, и чтобы докторъ на недѣлю, другую воспретилъ ему выходить изъ дому. Въ этихъ случаяхъ его начинаетъ морить неодолимая скука. Из-рѣдка зайдутъ вечеркомъ знакомые, посплет-ничаютъ, засядутъ съ большимъ въ картишки, выпьютъ поданную водку и разойдутся, поже-лавъ хозяину здоровья, а скука остается. «Ба-тенька! нѣтъ ли какой-нибудь книжки поза-нятьице! Просто умираю отъ скуки, хоть по-читать бы что!.. Пришлите, Христа ради!» умоляетъ больной того или другого изъ своихъ пріятелей, и вотъ на столѣ его появляется

нѣсколько истрепанныхъ книжицъ или журна-ловъ—что Богъ пошлетъ, или что подъ руку попало.

Помѣщики, живущіе преимущественно по своимъ деревнямъ, читаютъ несравненно бо-лѣе городскихъ обывателей, особенно зимой; и это понятно: въ деревнѣ зимой скуки боль-ше, сплетня не столь быстро доходитъ; поне-воль станешь читать, лишь бы чѣмъ нибудь убить безконечное праздное время. Вообще на-до сказать, что всероссійская скука играетъ-таки свою роль и имѣетъ весьма порядочную долю своего вліянія на ходъ и степень нашего всероссійскаго развитія. Безъ развѣдающей скуки несравненно менѣе читала бы Россія. И это не мѣшаетъ замѣтить и принять къ свѣдѣнію будущему Боклю русской цивилиза-ціи, если впрочемъ таковой у насъ когда-нибудь будетъ, въ чемъ не должно сомнѣ-ваться.

Теперь о читающихъ женщинахъ. Посмо-тримъ, отчего стали читать женщины, и что, и какъ онѣ читаютъ?

Я полагаю, во-первыхъ, оттого, что имъ скучнѣе, гораздо скучнѣе, чѣмъ мужчинамъ. Занятія кухней и целенками, сколь усердно имъ ни предаваясь, все же не поглотятъ всего времени провинціальной горожанки «по-рядочнаго общества».

Кстати, замѣчу въ скобкахъ, въ каждомъ губернскомъ и даже порядочномъ уѣздномъ го-родѣ, есть нѣсколько «порядочныхъ» обществъ, изъ которыхъ каждое признаетъ «порядоч-нымъ» только себя, а всѣ остальные называютъ хамскими и халдейскими обществами; равно-сильно этому и дамы, принадлежащія тому или другому обществу, называются губернаторскими дамами, пароходскими дамами, палатскими, штабными, комиссаріатскими, провіантскими, почтовыми и т. д.

Но возвращаюсь къ прежнему предмету.

У иной дамы на первомъ планѣ кухня и пеленки, у другой тряпки и интересная игра въ любовь, затѣмъ какъ у той, такъ и у дру-гой общій интересъ сталкивается на вселюбез-ной клоакѣ городской сплетни, далѣе интересы опять расходятся, потому что одна предпочи-таетъ стуколку, а другая мушку. Разъ или два въ недѣлю появляются онѣ въ клубѣ на «се-мейныхъ вечерахъ», въ которыхъ съ семей-нымъ началомъ общее сходство въ томъ, что одна на другую косится, одна про другую ши-пить, одна другой моетъ бока и перебираетъ косточки, что не мѣшаетъ однако той или дру-гой любезно протянуть другъ дружкѣ руку, пріятно улыбнуться и даже сладко разцѣло-ваться между собой. Словомъ сказать, семей-ный элементъ тутъ вполне вѣренъ своему ха-рактеру. На этихъ семейныхъ вечерахъ онѣ протанцуютъ нѣсколько полекъ, нѣсколько ка-дрилей, причемъ дама губернаторская навѣр-

ное останется въ душѣ очень недовольна, если даже не оскорблена, буде ей придется танцовать vis-à-vis съ дамой провіантской, а дама провіантская будетъ испытывать тѣ же самыя чувства въ отношеніи почтовой, казенно-палатской, или какой-нибудь «съ позволенія сказать, учительши» (!)

Но представьте себѣ, что, невзирая на всѣ эти кухни, пеленки, тряпки, амуры, сплетни, бокомытія, визиты, стуколки и клубныя вечера, у провинціальной женщины все еще остается изрядный запасъ скуки, огромное количество празднаго времени. Чѣмъ его наполнить?—или продолженіемъ интересной игры въ любовь, или продолженіемъ сплетень и стуколки, или же наконецъ чтеніемъ. Итакъ, двѣ трети женщинъ остатокъ своего празднаго времени сугубо посвящаютъ любви, сплетнямъ и стуколкѣ, а одна треть читаетъ. Эта треть и составляетъ большинство нашихъ читательницъ, ее-то мы и разумѣли, когда говорили, что женщины у насъ читаютъ вообще больше мужчинъ. Судите же поэтому, насколько читаютъ мужчины. Кто знаетъ хорошо нашу провинцію, тотъ, я увѣренъ, согласится съ моими выводами, для которыхъ наилучшимъ подтвержденіемъ послужить наше книжное и журнальное дѣло.

Книга у насъ въ Россіи ни для кого почти не составляетъ еще необходимой, насущной потребности, наравнѣ съ чистой рубашкой, съ платьемъ, съ квартирой, съ обѣдомъ. *Книга*, въ ряду нашихъ житейскихъ нуждъ, стоитъ можно сказать, въ одной категоріи съ устрицами, трюфелями, лонскимъ бархатомъ и фарфоровыми petits riens. Книга у насъ *роскошь*, но не *потребность*, тогда какъ въ Германіи, въ Англіи, въ Америкѣ и даже во Франціи она уже давнымъ-давно стала одной изъ первыхъ, насущныхъ и необходимыхъ потребностей. Разойдутся у насъ напримѣръ въ два года двѣ-три тысячи экземпляровъ какой-нибудь книги, издатель называетъ это уже замѣчательнымъ успѣхомъ и подумываетъ (правда, съ полусомнѣніемъ) о второмъ изданіи. Газета имѣетъ десять тысячъ подписчиковъ, журналъ пять тысячъ, остальная братія газетчиковъ и журнальщиковъ лелѣютъ уже въ сердцѣ своемъ тайно сосущаго глиста зависти въ отношеніи этихъ великихъ счастливицевъ. Десять тысячъ «Московскихъ Вѣдомостей», семь тысячъ «Биржевыхъ» или «Голоса» на семьдесятъ милліоновъ народонаселенія! Шутка сказать! Эта пропорція краснорѣчивѣе всего доказываетъ, на сколько привита къ нашей жизни потребность въ печатномъ словѣ.

Да, книга для насъ еще роскошь. Кто у насъ покупаетъ книги? Богатые люди, которые въ особенности предпочитаютъ книги въ изящныхъ переплетяхъ; библіотеки полковыя и коегдѣ общественныя, находящіяся вообще въ

весьма плачевномъ состояніи, да нѣкоторыя учебныя заведенія, то-есть мѣста и учрежденія по преимуществу, такъ сказать, казенныя. А много ли вы по лицу земли Русской въ средѣ этого семидесятимилліоннаго населенія отыщете Иванова Ивановича и Карпова Сидорыча, покупающихъ книги? Нѣтъ, деньги, на которыя могла бы быть куплена книга, Иванъ Ивановичъ употребитъ съ большей пользою и съ гораздо большимъ для себя удовольствіемъ: онъ ихъ проиграетъ въ стуколку, а не то и на выпивку съ пріятелями въ клубѣ они ему годятся. Марья Ивановна точно также скорѣе предпочтетъ приобрести лишнюю пару французскихъ перчатокъ, чѣмъ книгу. Да и для чего имъ книга? (разсуждаютъ они) книгу прочелъ и бросилъ, никуда она больше не годится, развѣ на хозяйскую надобность, а перчатки по крайнѣ мѣрѣ остаются, ихъ почистить можно, да и выпивка тоже дѣло существенное, а про стуколку нечего ужъ и говорить, тутъ, батенька, шансы сугубаго денежнаго приобрѣтенія; а книга что? такъ себѣ, какая-то амфибія земноводная—ни туда, ни сюда не приткнешь ее! стало-быть—къ чорту!

Замѣчали ли вы, что въ провинціи большая часть книгъ является вамъ въ ужасно истерзанномъ видѣ? Это оттого, что на одинъ экземпляръ читателей приходится мало-мало человекъ: пятьдесятъ, бываетъ и за сто, бываетъ и болѣе. Въ городѣ, напримѣръ, восемьдесятъ тысячъ жителей, а журналъ какой-нибудь получается въ пяти—шести экземплярахъ; магазинъ, торгующій бакалеей, суровскимъ и панскимъ товаромъ, самоварами, канцелярской принадлежностью и керосиномъ, выписываетъ, буде случится требованіе, и книги—потому что онъ не только керосиновый и бакалейный, но въ то-же время и книжный магазинъ. Это-то вотъ злосчастная, выписанная въ единственномъ числѣ книга и перемывается отъ Ивана къ Петру, отъ Петра къ Сидору, отъ Сидора къ Марьѣ и т. д., пока не обойдетъ весь читающій контингентъ такого-то губернскаго города; а не то завезутъ ее, случается, въ уѣздъ и... тамъ ужъ она и погибла! Вы никогда не отыщете дѣйствительнаго хозяина книги; хозяинъ ея тотъ, у кого она находится. Книга у насъ—эта какаля-то публичная собственность, и отъ этого въ столь большомъ ходу *зачитываніе* книги. Зачитать, т. е. въ нѣкоторомъ родѣ украсть книгу—ничего не значить. Вообще, украсть собаку, стащить изъ чужаго альбома фотографическую карточку, зачитать книгу и соблазнить жену пріятеля—это у насъ въ грѣхъ не ставится и низостью не почитается. Всѣ эти вещи стоятъ въ одной и той же категоріи. И оттого-то, что книга легко зачитывается, ея никто не дорожитъ, не берегутъ о ея внѣшности. Участь бутылки и

полуштофа у насъ гораздо завиднѣе участіи книги. Какъ этой, такъ и тѣми интересуются по мѣрѣ содержимаго въ нихъ. Роспята бутылка—подъ столъ ее; прочитана книга—тоже подъ столъ или куда-нибудь въ сторону. Но пустую бутылку и роспитый полуштофъ примутъ обратно въ погребъ, какъ «посудину» и еще деньги за нихъ заплатятъ по три копейки серебромъ за штуку, а за книгу ни гроша не получишь. Возьметъ почитать ее пріятель и зачитаетъ. Такъ и лежитъ она у этого пріятеля, пока не найдется другой пріятель, чтобы снова зачитать ее и т. д. Такимъ образомъ большинство русской читающей массы пользуется книгами, что называется—*pardon pour le mot*—на ширмака.

Я сказалъ, что у насъ проснулась охота къ чтенію. Эту охоту вы найдете въ женщинахъ, т. е. въ той трети, о которой говорено выше, да еще... въ «молодомъ поколѣніи». Я, право, придумался, употребить ли эти послѣднія два слова—до того ужъ они у насъ застасканы и запошлены.

Я видѣлъ, я знаю, какъ, напримѣръ, гимназисты и семинаристы, человѣка по три, по четыре, а то и больше идутъ въ складчину и сообща покупаютъ книгу. Но судьба книги, покупаемой семинаристами и гимназистами на ихъ скудные гроши—по большей части slucaeвъ весьма плачевна. Накроетъ ихъ во время чтенія этой книги dominus ректоръ или господинъ инспекторъ классовъ и—безцеремонно отнимаетъ, какъ вещь, не относящуюся къ циклу учебныхъ предметовъ и классныхъ занятій. Апелляція въ этомъ случаѣ уже нѣтъ никакой. Книга поступаетъ какъ бы въ собственность отнявшаго, пока не возьметъ у него, затѣмъ чтобы зачитать, какойнибудь знакомый, а у этого другой, у другого третій и т. д. Мы подѣлились въ нашей прессѣ на партіи, лагеря и котеріи, мы преломляемъ перья въ бесчисленныхъ турнирахъ, подносимъ оцетъ и желчь своимъ противникамъ, мы думаемъ, что служимъ этимъ общественному дѣлу—увы!.. «Всюю шаташася языцы!» Еслибы вы только могли представить себѣ, господа, въ какой степени все это напрасно и бесплодно мы дѣлаемъ. Я не стану говорить о газетахъ, гдѣ подобныя препирательства умѣстны, потому что дѣло идетъ о животрепещущихъ, насущныхъ общественныхъ вопросахъ. Борьба «Московскихъ Вѣдомостей» и «Голоса» съ «Вѣстью», напримѣръ, понятна; ну а пресловутая полемика «Современника» съ «Русскимъ Словомъ», подарившая насъ исторіями о графскихъ швейцарахъ, о редакторахъ, спящихъ на ливреяхъ, поднесшая намъ «коробочку добротную» и «лукошко глубокомыслия»? Вѣдь знаете ли, что? Мнѣ доводилось встрѣчать, полтора или два года спустя послѣ этой полемики, истрепанные въ концѣ книжки этихъ

двухъ журналовъ, въ которыхъ безконечныя страницы, наполненныя этой руганью, *остались не разрыванными!* Вѣдь если кого и интересовала немножко эта курьезная полемика, такъ только самую же пишущую братію, самихъ литераторовъ. Читающая масса осталась ей совершенна чужда. Вся бѣда наша въ томъ, что мы люди кабинетные, люди теоретическихъ умозрѣній. Возьмите вы любой типъ *истаго петербургскаго* литератора. За-границу-то онъ, пожалуй, и проѣхался въ вагонѣ этого *grande société des chemins de fer russes*; ну, а что касается до матери-Россіи то адѣсь дальше Павловска, Парголова и рестораціи Огюста, что въ Стрѣльнѣ, едва ли гдѣ бывать ему доводилось. Истинный петербургскій литераторъ о Россіи знаетъ столько же, сколько о бѣлой Арапіи. Послѣдняя извѣстна намъ по медоточивымъ повѣствованіямъ монашескихъ съ Аѳонскихъ горъ, Ѳомушекъ блаженныхъ и Макридушекъ странницъ, а первую мы знаемъ и изучаемъ по газетнымъ извѣстіямъ въ розовомъ тонѣ «Сѣверной Почты» или *обличительномъ* тонѣ «Искры», что, въ сущности совершенно одно и то же. И оттого-то, что мы люди не жизни, а кабинета, мы и предаемся нашимъ турнирамъ, препирательствамъ, заушеніямъ, «вселенскимъ смазямъ», «загибаніямъ другъ другу салазокъ» и самодовольно мнимъ себѣ, будто несемъ великую службу общественному дѣлу. Кабинетная литература вконецъ разошлась съ требованіями жизни, съ нашей русской захоластной дѣйствительностью.

Шатаючись довольно долгое время тамъ и сямъ, по разнымъ угламъ и концамъ матери-Россіи, по-неволѣ отстаешь иногда отъ «движенія прессы», потому что въ дорогѣ листокъ газеты или книжка журнала подвергается тебѣ урывкомъ и совершенно случайно. Помню, въ городѣ Ростовѣ-на-Дону въ одной гостиницѣ попадаетъ мнѣ на глаза номеръ «Искры». Заглядываю туда, въ полномъ чаяніи обрѣсти нѣчто насчетъ своей собственной особы, ибо я имѣю удовольствіе пользоваться особеннымъ вниманіемъ этой газеты; но увы!—о себѣ не нахожу ни слова (признаюсь, это меня нѣсколько обидѣло), а вмѣсто меня и обычной плеяды именъ и вокабулъ, пропагандируемыхъ герольдами «Искры», фигурируетъ, въ единственномъ числѣ какой-то «Незнакомецъ». И въ передовой статьѣ «Незнакомецъ», и въ разсказѣ какомъ-то «Незнакомецъ», и въ разныхъ статьяхъ тоже «Незнакомецъ», и въ карикатурахъ, какіе, опять-таки «Незнакомецъ», и въ мелочахъ все тотъ же «Незнакомецъ». Да что это за «Незнакомецъ», думаю себѣ, и за что такое вниманіе, такая честь, такое предпочтеніе «Незнакомцу»? Но въ Ростовѣ-на-Дону этихъ трудныхъ вопросовъ я, человѣкъ отставшій «отъ движенія прессы», никакъ себѣ не разрѣшилъ и

только по приѣздѣ въ Петербургъ, узналъ совершенно случайно, что подъ этимъ псевдонимомъ скрывается одинъ весьма скромный и ни для кого не обидный литераторъ. Цѣлый нумеръ русскаго сатирическаго журнала, имѣющаго претензію быть своего рода Punch'емъ въ нашемъ муравейникѣ, наполненъ однимъ «Незнакомцемъ!» Представьте себѣ, какъ это должно интересоватъ какого-нибудь ростовскаго, восточнаго человѣка Харзымъ-Ассаферова или греческаго человѣка папа-Пижос-Пузоса! А вѣдь Ростовъ весь почти наполненъ Харзымами и папа-Пузосами. Спрашивается, съ какой стороны можетъ быть близокъ Пузосу санкт-петербургскій «Незнакомецъ»? Какое дѣло Харзымъ-Ассаферову до «Незнакомца»? «Что ему Гекуба и что онъ ей?» А между тѣмъ Ростовъ-на-Дону одинъ изъ лучшихъ городовъ Россіи: перенесите его хоть въ Москву, хоть въ Петербургъ, онъ и тамъ лицомъ въ грязь не ударитъ. Въ Ростовѣ-на-Дону я впервые послѣ астраханскихъ степей, послѣ длиннаго переѣзда по Волгѣ и Дону, нашелъ книги, газеты, журналы и даже свѣжія парижскія моды лѣтняго сезона. А между тѣмъ этотъ же самый Ростовъ, эти же самые Пижос-Пузосы и восточные человѣки Ассаферовы—князи шерсти, хлѣба, антрацита, сантуринаскаго вина и фальшивыхъ депозитокъ—какой богатый, новый, неисчерпаемый матеріалъ для той же самой «Искры», еслибъ она не занималась исключительно своими вокабулами, да «Незнакомцами!» Вы тужитесь, выбиваетесь изъ силъ, чтобы опрыскнуть жидкостью вонючаго скуна то или другое ненавистное вамъ лично имя—и закрываете глаза на крупныя, характерныя явленія, которыми кишмя кишитъ русская жизнь не на одномъ только Невскомъ проспектѣ, въ Моховой или на Литейной.

Нѣтъ, господа, упаковывайте ваши чемоданы и хоть на нѣсколько мѣсяцевъ долой изъ Петербурга! Пошатайтесь по нашимъ всероссійскимъ трущобамъ, по нашимъ непочатымъ дебрямъ и весямъ, попраглядитесь-ко глазъ въ-глазъ къ той дѣйствительности, которая копошится въ этихъ дебряхъ и весяхъ, — и тогда только увидите вы, насколько вы чужды этой жизни, на сколько (простите за рѣзкую откровенность!) вы невѣжественны относительно ея и ея требованій. Вы поймете тогда чего ей нужно бы было, и чего ей хочется на самомъ дѣлѣ въ данную минуту.

Мы часто умиляемся, читая газетныя извѣстія о широкомъ ходѣ нашей земской жизни, о чуткомъ и глубокомъ пониманіи своихъ насущныхъ земскихъ интересовъ. Ахъ, господа, какъ это все хорошо выходитъ у насъ на бумагѣ и—увы!—чѣмъ зачастую является все это на дѣлѣ! Приведу вамъ примѣръ, который самому привелось видѣть:

Извѣстно, что первое зло нашихъ южныхъ

губерній составляютъ очень красивенькіе звѣрки, извѣстные подъ названіемъ сусликовъ или овражковъ. Вредъ, наносимый ими полямъ, часто доходитъ до громадныхъ размѣровъ. Земскія уѣздныя собранія Екатеринославской губерніи, каждое въ отдѣльности, составляютъ по своему уѣзду постановленія, обязывающія каждого землевладѣльца, подъ страхомъ значительнаго штрафа, представить извѣстное число сусликовъ. Мѣра, безспорно, хорошая. Но... что же выходитъ при этомъ? По одному уѣзду дѣлается распоряженіе представить извѣстное количество овражковыхъ головокъ; по другому, въ то же самое время,—извѣстное количество хвостиковъ, по третьему—лапокъ, по четвертому—шкурокъ со спинки. Являются извѣстнаго рода аферисты по преимуществу изъ евреевъ или изъ армянскихъ восточныхъ человѣковъ, которые закупаютъ извѣстное количество овражковъ, пластаютъ каждого звѣрка, отдѣляя отъ него голову, хвостикъ, лапки и шкурку, и отправляются съ этимъ оригинальнымъ товаромъ по четыремъ уѣздамъ, продавать землевладѣльцамъ кому лапки, кому хвостики, — гдѣ что требуется. И землевладѣльцы, во избѣжаніе штрафа, покупаютъ у аферистовъ нужное для себя количество «овражковскаго товару» и представляютъ его въ свои уѣздныя земскія управы, подъ видомъ овражковъ, пойманныхъ и уничтоженныхъ на ихъ собственной землѣ. Такимъ образомъ, одинъ сусликъ расходуется на четыре уѣзда. Формальная сторона дѣла, значитъ, исполнена, землевладѣлецъ покоенъ, что съ него не взыщутъ штрафа, а у самого, межъ тѣмъ, суслики отлично поѣдаютъ хлѣбъ на поляхъ. Землевладѣлецъ вздыхаетъ и сѣтуетъ при этомъ на Божье насланіе. Вотъ вамъ и пониманіе своихъ насущныхъ земскихъ интересовъ! А ловкій аферистъ изъ армянскихъ восточныхъ человѣковъ ухмыляется, пряча въ карманъ денежки, да подмигивая глазомъ и подщелкивая языкомъ, говорить, что «земскимъ собраніямъ маленька гашибка давалъ!» И точно, «маленька гашибка»: недомекнулись — изволите видѣть — четыре уѣзда снести между собой и предварительно условиться, чтобы на нынѣшній годъ всѣ землевладѣльцы, безъ различія уѣздовъ, представляли одну какую либо часть суслика, положимъ хоть лапки. А вѣдь штука, кажись не Богъ вѣсть какая мудреная! Но... «маленькая гашибка» сдѣлана и на сей годъ ее уже не поправишь. И подобныхъ-то «маленькихъ гашибокъ» по лицу земли Свято-русской не разъ, два—да и обчелся: ихъ множество и имя же имъ легіонъ, а начать пересчитывать да и рассказывать, такъ охъ — куды какъ далеко забредемъ отъ прямой нашей темы!

Но не могу воздержаться, чтобы не сказать кое-что о сельскихъ школахъ. Относительно

важности вопроса этого, кажется, нечего распространяться.

Читаем мы, въ розовыхъ газетныхъ пзвѣстіяхъ, статистическія цифры, что въ такой-то вотъ волости имѣется столько-то школъ и такое-то количество крестьянскихъ мальчиковъ и дѣвочекъ обучается въ этихъ школахъ,— читаемъ и снова умиляется духомъ: «вотъ, молъ, какъ широко двигается впередъ дѣло русской грамотности! Вотъ какія утѣшительныя цифры!» Повремените немножко съ вашею добросердечною радостью, мои милые кабинетные люди! Вы знаете ли, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ, сотскій, по приказанію «начальства», идетъ и хворостиной выгоняетъ ребятешекъ изъ отцовскихъ избъ въ сельскую школу? Вы знаете ли, какія тамъ сцены происходятъ? Вы знаете ли, какого по преимуществу возраста мальчики и дѣвочки загоняются въ школы? Едва ли вы даже позволите мнѣ, если я повѣдаю вамъ, что для крестьянскаго ребятенка школьное обученіе начинается по большей части съ *пятилѣтняго* возраста и длится въ теченіе *одной* только зимы, рѣдко переходя на слѣдующую. Чему, въ самомъ дѣлѣ, можно порядочно выучить *пятилѣтняго* ребенка, который учится одну только зиму, въ средѣ тридцати-пятидесяти и болѣе ребятъ *однолѣтокъ*? Ребенокъ шести или семилѣтняго возраста нуженъ уже отцу съ матерью въ избѣ, по хозяйскому обыходу. У семилѣтняго мальчугана и дѣвчуры уже сидитъ на рукахъ его семи-восьми-мѣсячный братишко или сестренка, и они съ ними нянчатся. Они и гусей на рѣку пойдутъ сторожить, и избу подметутъ, и коней въ ночное переправятъ, и въ хлѣбъ за волами да за баранами доглядятъ, словомъ сказать, семилѣтній ребенокъ является уже въ семьѣ своей нужнымъ человѣкомъ, малымъ работникомъ, безъ котораго стоитъ или затрудняется и замедляется извѣстная часть обиходнаго домашнего дѣла; онъ ужъ не даромъ ѣстъ хлѣбъ свой. Крестьяне въ высшей степени неохотно, почесывая за ухомъ и браня «начальство» (потому что для крестьянина пока еще всякая власть, инициатива которой не исходитъ изъ его собственной избы, есть «начальство») посылаютъ ребятъ своихъ въ сельскую школу. Оно и вполне понятно, если вы потрудитесь стать на точку зрѣнія, съ которой смотритъ крестьянинъ. Видимо осязательной, насущной и, такъ сказать, *сегодняшней* пользы ученія и благихъ его результатовъ крестьянинъ не видитъ; толкуй ему тамъ отвлеченныя истины о томъ, что ученіе свѣтъ, неученіе тьма, что свободный человѣкъ долженъ быть грамотенъ, а онъ тебѣ на это наладитъ одно: «ученіе, молъ, не мужицкое дѣло, отцы и дѣды не учились же да жили, слава Богу, по христіанскому, и мы нынѣ вольные, да не грамотные, иначе же

ништо себѣ, хлѣбъ жуемъ». И съ этого пункта вы его не сдвинете; по крайней мѣрѣ, я знаю, что объ эту скалу вотще разбиваются усердіе, доводы и убѣжденія многихъ честныхъ дѣятелей русскаго земскаго дѣла. Крестьянинъ пока еще не видитъ непосредственной пользы школьнаго ученія, но видитъ и чувствуетъ, на дѣлѣ, что у него изъ избы отнимаютъ нужное подспорье, берутъ прочъ лишняго, хоть и малаго работника. Это онъ видитъ. Видитъ еще и то, какъ за-частую полупьяный дьячекъ, или безсрочный солдатъ—сельскій учитель, въ пылу своего усердія къ дѣлу образованія и въ пагубѣ учительскаго рвенія, кормитъ подзатыльниками, скребетъ за волосы да ставитъ на колѣни его сынишку; слышитъ крестьянская матка ревъ своихъ ребятешекъ въ школѣ,—озлобленіе отца съ матерью увеличивается, происходятъ сцены, а нерѣдко и драки между отцомъ и учителемъ, которые въ концѣ концовъ идутъ въ кабакъ запивать мировую. У насъ на Руси пока еще полнѣйшее отсутствіе порядочныхъ сельскихъ учителей, подготовленныхъ къ этому трудному и рѣдко благодарному дѣлу; обученіе идетъ почти вездѣ по старинѣ, по азамъ, съ необходимыми вариациями учительскихъ пинковъ, подзатыльниковъ, ухвертки и подъ аккомпанементъ ребячьяго слезнаго рева. И вспомните, что все это достается на долю пяти-шестилѣтнихъ дѣтей!

А мы-то себѣ сидимъ въ своихъ кабинетахъ, читаемъ свѣжіе листы широкихъ газетъ, дивимся значительнымъ статистическимъ цифрамъ и умиляемся. Цифры-то есть, и будетъ ихъ, пожалуй, что и больше еще чѣмъ нынѣ, да вопросъ: есть-ли при подобномъ ходѣ дѣла какая-нибудь существенная польза? А повальное пьянство? а эта любовь съѣхаться на мірскихъ сходкахъ? а выпавшныя въ три года поля, не бывшія за все это время подъ паромъ? а ницета, при надѣлѣ землею? а неурожай?—Боже мой, да все это такіе жгучіе вопросы, при взглядѣ на которые сердце щемитъ и обливается кровью! Мы съ вами, напримѣръ, либерально привѣтствуемъ мировые суды, и теоретически мы совершенно правы, а сельчане практически куда-какъ не одобряютъ ихъ, и по свѣдому, они правѣ насъ съ вами. Они смотрятъ на это дѣло просто, безъ предвзятыхъ теорій, относятся къ нему съ простой логикой мужицкаго смысла, какъ работники-пахари, и видятъ въ мировыхъ судахъ одно только для себя стѣсненіе. Вы удивляетесь? Пожалуй опять не хотите вѣрять, ибо это идетъ въ диаметральный разрѣзъ съ вашими прекрасными кабинетными умозрѣніями. Послушайте, что говорятъ крестьяне:

«Хорошо-то оно—хорошо, говорятъ они,—да намъ-то ужъ больно несподручно. Это вотъ въ городахъ, гдѣ, для мѣщанъ—святое дѣло!

Сейчас это заспорить—сейчас къ мировому и, значитъ, порѣшили. Скоро и хорошо! А теперь отъ насъ-то мировой воно-гдѣ живетъ! Объявятъ мнѣ къ нему позывъ, я сейчас бросаю все хозяйство да луи пѣхомъ, за тридцать верстъ—вотъ тебѣ пѣльныхъ сутокъ и нѣту! да назадъ тридцать—другія сутки прочь! да жди у ево, пока, значитъ, очередь твоя, да какъ ежели еще супротивникъ твой не пришелъ и его, пожалуй, дождишься; а штрафъ какой или аресту на тебя наложить, а у тебя, можетъ, въ это время сѣно не скошено, хлѣбъ въ полѣ утекаетъ—вѣдь тутъ, и страсть просто, сколько разсору! Одинъ убытокъ! Для городскихъ оно точно, разлюбезное дѣло, а для крестьянъ несподручно».

Вотъ и изволите видѣть, какое ихъ глупое мужицкое на этотъ счетъ разсужденіе! Совсѣмъ ужъ не либерально: мировыхъ судовъ для себя не одобряютъ. Это конечно прискорбно вамъ, кабинетный мыслитель, но можете утѣшить себя тѣмъ, что въ очевидномъ неудобствѣ мировыхъ судовъ есть и своя хорошая сторона: меньше ссоръ и кляузъ заводить и, жкъ себя стануть—совсѣмъ наоборотъ съ тѣмъ явленіемъ, которое мы теперь видимъ въ городахъ, гдѣ мировые судьи обременены кучами кляузныхъ дѣлъ, изъ которыхъ каждое начинается пріятной надеждой взыскать и получить «гражданскимъ порядкомъ», то-есть «за безцестіе». Дальность разстояній и простирающаяся черезъ это двойная потеря: времени и труда, можно ожидать—на много отобьютъ у крестьянъ охоту судиться изъ-за пустячныхъ столкновений или, что еще хуже, кляузничать изъ своекорыстныхъ расчетовъ.

Но довольно же мнѣ наконецъ съ моими примѣрами, которые такъ далеко отклонили меня отъ моей темы! Впрочемъ, оправдываю себя тѣмъ, что глава эта посвящена мною вообще литераторамъ российскимъ. Этими наглядными примѣрами я хочу только показать кабинетнымъ теоретикамъ насколько разошлись они съ живой современной намъ дѣятельностью. Мы полемизируемъ и преломляемъ перья на журнальныхъ турнирахъ исключительно ради собственного удовольствія. Многие кабинетные люди на читающую массу Россіи смотрятъ какъ на нѣчто взрослое, совершеннолѣтнее, развитое, самосознательное. Это—величайшее заблужденіе, которое только и могло родиться въ головѣ кабинетнаго теоретика. Помилуйте, въ нашей массѣ—повторяю еще разъ—*только что пробуждается охота читать*; ей нужно умственного хлѣба и мяса, а вы преподнесите ей десертъ философскихъ диссертаций, препирательства объ эстетическихъ отношеніяхъ, коробочку доброхотную и лукошко глубокомыслия—миндаль и фиги российской словесности. Этого десерта большинство читающей массы и не разрѣзываетъ. Оно и понятно, потому что

читатели наши по преимуществу женщины. Знаете ли, чего требуетъ большинство? Смѣшно сказать, а скрыть не смѣю. Оно требуетъ *сказки* интересной, занимательной *фабулы*. Сколько авторовъ беллетристическихъ произведений за послѣдніе годы старались, какъ бы нарочно, исключить у себя всякій сюжетъ, всякій намекъ на какую бы то ни было фабулу. Съ легкой руки г. Н. Успенскаго, у насъ возникъ цѣлый циклъ писателей, которые всю свою беллетристическую сферу ограничили простымъ и какъ бы стенографическимъ копированіемъ разныхъ разговоровъ, раздающихся на улицѣ и дома. Многие дошли даже до невозможныхъ и совершенно непонятныхъ звукоподражаній, которыми у нихъ испещрены цѣлыя страницы. Сюжетомъ и фабулою при этомъ не только пренебрегали, но ихъ старательно устранили изъ беллетристическаго произведенія. Эти писатели какъ будто щеголяли отсутствіемъ фантазій и воображенія; а мнѣ кажется, такое направленіе было съ ихъ стороны большой ошибкой: они убивали сами себя, потому что подобныя произведенія, въ концѣ концовъ, положительно и давно уже перестали читаться.

Иное дѣло писать для самоуслажденія и иное дѣло писать для читающей массы, и беллетристъ, хоть сколько нибудь имѣющій въ виду эту массу, отнюдь не долженъ пренебрегать сюжетомъ и фабулою. Надо знать съ кѣмъ имѣешь дѣло, а беллетристы русскіе менѣе чѣмъ кто либо могутъ относиться съ пренебреженіемъ къ этому предмету, потому что наша русская масса, въ данный моментъ своего развитія, прежде всего требуетъ интересной фабулы, занимательнаго сюжета. Многие изъ нашихъ повѣствователей точно также заботились прежде о тенденціи, а потомъ уже о сюжетѣ, и это тоже ошибка.

Изберите сперва занимательную фабулу, а потомъ уже, подѣ прикрытіемъ ея, вводите какую угодно тенденцію — и ваше произведеніе будетъ навѣрное прочтено массой. Подѣ прикрытіемъ интереснаго сюжета, тенденція сама собой, такъ сказать, органически и незамѣтно войдетъ въ сознаніе читателя и сольется съ нимъ. И если до сихъ поръ многіе тенденціозные беллетристы пренебрегаютъ дѣломъ сюжета и фабулы, то это только потому, что совсѣмъ не знаютъ той массы, для которой они пишутъ. Если масса, столь высокая по своему развитію, какъ на примѣръ, англійская, требуетъ отъ своихъ беллетристовъ занимательной фабулы, то что же сказать о массѣ русской, въ которой, повторяю еще разъ, только что проснулась охота читать? Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, такой фактъ, на примѣръ, какъ преобладаніе «Виржевыхъ Вѣдомостей» на Поволжьи имѣетъ свои весьма простыя основанія: «Виржевыя Вѣдомости» со своими «литератур-

ными прибавлениями» — газета очень разнообразная. Она дает много читательного материала, не пренебрегая статейками чисто литературного и притом для массы довольно занимательного характера. Отъ этого «Биржевые Вѣдомости» читаются очень много и женщинами, которые у насъ, какъ я уже сказалъ, являются по преимуществу нашими читателями!

Если бы вы пожелали представить себя самымъ нагляднымъ образомъ весь сумбуръ нашихъ такъ называемыхъ направлений, то это удобнѣе всего можно сдѣлать въ провинціи. Сейчасъ я познакомлю васъ съ однимъ изъ наиболѣе общихъ, наиболѣе распространенныхъ типовъ провинціального читателя. Это — читатель, по преимуществу поглощающій не одни только повѣсти да романы, но журнальные статьи, и газеты, и вообще всякіе продукты нашей газетно-журнальной флоры. Стало быть — замѣтите — я беру въ образецъ читателя наиболѣе разносторонняго, а съ подобными доводилось мнѣ сталкиваться довольно-таки часто.

Знакомятъ васъ въ обществѣ съ какимъ-нибудь господиномъ изъ разряда названныхъ мною читателей. Узнавъ, что вы, въ нѣкоторомъ родѣ, имѣете несчастье быть литераторомъ, — познакомясь съ вами господинъ, первымъ дѣломъ, стремится тотчасъ же заявить себя передъ вами человѣкомъ современнымъ, развитымъ, прогрессивнымъ, и гляди — начинаетъ съ той или съ другой стороны либеральничать. Онъ не можетъ себя представить, чтобы литераторъ могъ быть чѣмъ-нибудь, кромѣ либерала, а у самого-то образцы либерализма готовые, «тутѣйши», какъ говорятъ поляки, изъ своихъ же акціонныхъ, контрольных или пароходскихъ либераловъ, возгласы и рѣчи которыхъ онъ слышалъ неоднократно.

Говоря съ вами, онъ помнитъ постоянно, что говоритъ съ литераторомъ, и потому старается одобрить рѣчь свою фигуральными выражениями, видимо заботится объ изысканности этихъ выражений, причемъ зачастую невпопадъ ляпнетъ вамъ какую-нибудь дичайшую фразу, составленную изъ современно-журнальных звуковъ, или перевернетъ какое-либо техническое слово. Подобнаго рода читатель очень любитъ употреблять, напимѣръ, такіе слова: фракція, фикція, функція, правомѣрность, цѣлесообразность, абсолютно, индивидуально, субъективно, рационально, комбинація, коэффициентъ, прогрессія, индифферентизмъ, протекціонизмъ, фритредерство, тильдирійскій кабинетъ, и т. п. Эткими-то словечками онъ и уснащаетъ поминутно свою рѣчь, говоря съ литераторомъ.

Я не ошибусь, если скажу, что одной изъ первыхъ фразъ его разговора будетъ обращенный къ вамъ вопросъ:

— А что, «Современникъ-то?» закрытъ?

— Закрытъ.

— Да, да!.. закрытъ! — произноситъ онъ со вздохомъ тихаго, но не безукоризненнаго сожалѣнія. — Закрытъ, закрытъ!.. И «Русское Слово» тоже закрыто?

— И «Русское Слово» закрыто.

Здѣсь слѣдуетъ соболевновательное покачиваніе головой и поцмокиванье языкомъ.

— И скажите пожалуйста, за что же это! — съ выраженіемъ досады и душевнаго сочувствія восклицаетъ читатель.

— А право, ужъ не могу вамъ сказать удовлетворительно.

— Ай-ай ай! Какая жалость!.. Два журнала!.. Вѣдь это два наши лучшіе журнала!.. И за что!.. за что, я васъ спрашиваю! Вотъ, такъ-то и все у насъ на Руси!.. Молодая, свѣжая, цѣлесообразная мысль — сейчасъ ее и хлопотъ!.. безъ всякаго чувства правомѣрности, безъ разбора, безъ вниманія къ тому, что вѣдь есть огромная фракція, которая сочувствуетъ, раздѣляетъ эти воззрѣнія... наконецъ, и со стороны экономической?.. Вѣдь это, просто, чортъ знаетъ что!.. Ну, а скажите мнѣ, пожалуйста, что теперь Писаревъ?

— Писаревъ?.. право не знаю.

— Ну, нѣтъ, — какъ, что онъ?

— Да ничего, полагаю.

— А Антоновичъ?

— И Антоновичъ ничего.

— Такъ ничего?

— Ничего.

— А какія прекрасныя статьи у г. Зайцева-то были!.. Отчего онъ нынче не пишетъ?.. Вѣдь я былъ постояннымъ подписчикомъ «Русскаго Слова»... Эдакая хорошая, свѣтлая головка!.. И вдругъ эдакихъ-то людей лишаютъ права на слово... Нѣтъ, ей-Богу, это вѣдь чортъ знаетъ что!.. Вѣдь это, батенька, все тамъ, все тамъ! — начинаетъ многозначительно подмигивать вамъ собесѣдникъ. — Все въ этихъ, въ высокихъ, во вліятельныхъ сферахъ — это вотъ гдѣ не додубливаютъ нашей молодежи?

И читатель при этой послѣдней фразѣ взираетъ на васъ такъ, что вы ясно видите, какъ онъ многодоволенъ собой въ данную минуту, ибо въ душѣ своей убѣжденъ, что сказалъ вамъ нѣчто очень либеральное.

Вы тоже всматриваете на читателя и думаете, что передъ вами — отчасти наивный, но во всякомъ случаѣ безконечно добродушный адептъ извѣстнаго рода доктрины, поклонникъ г. Зайцева и «Русскаго Слова». Съ этой точки зрѣнія вы ужъ приготовились на дальнѣйшее время взирать на вашего новаго знакома, какъ вдругъ онъ оживленно обращается къ вамъ:

— Ахъ, батенька! Читали вы въ такомъ-то номерѣ «Московскихъ Вѣдомостей» передовую статью?

Вы, напимѣръ, отвѣчаете отрицательно и уже готовы въ душѣ выслушать цѣлый потокъ негодованія противъ редакторовъ и направле-

нія почтенной газеты, какъ вдругъ «репри-
манда неожиданной!»

— Не читали?!—накидывается на васъ чи-
татель.—О, батюшка мой, какъ же вы это такъ!..
Прочтите! Непременно прочтите! — Это во-
сторгъ, это предель что такое!

Вы все еще въ сомнѣніи и думаете, что со-
бесѣдникъ вашъ произизрируетъ.

— Это вотъ настоящее дѣло!—съ энтузіаз-
момъ восклицаетъ онъ.—Это—наше русское,
родное! Знаете, эдакая трезвая, патріотическая
мысль — вотъ именно чего нужно намъ! Дай
Богъ побольше такихъ журналовъ, такихъ дѣ-
ятелей! Пора, пора, батенька, взятыся намъ
всѣмъ за умъ и быть русскими! И вслѣдъ за
этимъ, читатель раздражается дождемъ похвалъ
«Московскимъ Вѣдомостямъ», говоритъ о чест-
ности и пользѣ ихъ направленія, о томъ, что
онъ самъ русскій человѣкъ и чувствуетъ по-
русски; и противъ поляковъ гремитъ анаемой,
и кандіотамъ сочувствуетъ, и славянскимъ
братьямъ, и заатлантическимъ друзьямъ, и по-
вѣстями г.г. Слѣпцова и Холодова восторгается,
и Зайцевъ-то свѣтлая головка, и Писаревъ
отлично противъ классическаго образованія на-
писалъ...

Вы слушаете, слушаете, — что за сумбуръ!

Вы обиты наконецъ съ толку. Что же ты
такое въ сущности, мой милый читатель? Подъ
какую категорію сочувствователей прикажешь
подвести тебя?

Сперва я было думалъ, что натолкнулся на
губернскаго остроумца, который, прикинувшись
простачкомъ, энтузіазмомъ, хочетъ немножко
помистифицировать меня, ради потѣхи своихъ
пріятелей; — но нѣтъ, пришлось тотчасъ же
убѣдиться въ противномъ и признать въ немъ
добродушнѣйшаго смертнаго, который съ рав-
ной степенью умиленія и съ равнымъ обожа-
ніемъ относится и къ г.г. Писареву съ Куроч-
кинымъ и къ Каткову съ Аксаковымъ и къ
Краевскому съ г-жею Мессарошъ. Одинъ только
Викторъ Ипатьевичъ Асоченскій, благодаря
«Искрамъ» et tutti quanti остается у него не-
пзмѣнной фаволой, притчей во языцѣхъ, что
впрочемъ не мѣшаетъ этому же самому чита-
телю добросовѣстно исполнять многіе обряды
православной церкви и держать въ великомъ
посту середи съ пятницами. Это наиболѣе рас-
пространенный типъ усерднаго читателя, кото-
рый относится къ литературѣ самымъ благо-
душнымъ образомъ, даже съ весьма большимъ
уваженіемъ и очень любитъ читать, но только
безъ разбору и безъ отчета пожираетъ весь ви-
нигретъ, преподносимый ему російской журна-
листкой, находя въ немъ все — равнокуснымъ,
и при этомъ вмѣняетъ еще себѣ какъ бы въ
обязанность восхищаться и восторгаться всѣмъ
этимъ мѣсивомъ нашей литературы. Кого же
прикажете винить въ томъ сумбурѣ, который
царствуетъ въ головѣ подобнаго читателя? Не

есть ли это прямое послѣдствіе того сумбура,
который царствуетъ въ самой литературѣ нашей
съ ея лагерями, котеріями, направленіями?

Изобразивъ этотъ типъ читателя таковымъ,
каковъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, я отнюдь не
думаю винить его, или тѣмъ болѣе издѣваться
надъ нимъ.—Далеко нѣтъ! Да и надъ чѣмъ тутъ
издѣваться, и что тутъ винить? Читатель этотъ,
во-первыхъ, благодушный, добрый человѣкъ; во-
вторыхъ, онъ сохранилъ въ себѣ въ наше далеко
невеселое, скептическое время любовь и вѣру
въ печатное слово, уваженіе къ печатной страни-
цѣ, къ типографскому станку, и эта вѣра, это ува-
женіе въ немъ такъ свѣжи и такъ искренни; въ-
третьихъ, наконецъ, вмѣсто того, чтобы тра-
тить все свое время на стучолку да на рамсъ,
онъ читаетъ, хочетъ приобрѣсти себѣ знанія,
развитіе, хочетъ казаться и быть образован-
нымъ человѣкомъ, а такое почтенное стремле-
ніе, какъ хотите, есть уже положительная за-
слуга. Не спорю, благоговѣніе это выходитъ у
него чѣмъ-то весьма наивнымъ, отзывается ми-
лымъ дѣтствомъ; но эти самыя свойства, ежели
бы литература наша шла однимъ здоровымъ,
трезво-жизненнымъ путемъ — сколь успѣшнѣе
и легче поспособствовали бы они правильному,
человѣческому развитію и росту этого милаго
провинціальнаго читателя! Стало быть, ни из-
дѣваться надъ нимъ, ни обвинять его, по моему
крайнему убѣжденію, никакъ не слѣдуетъ.

Но что же однако доказываетъ этотъ, на пер-
вый взглядъ, весьма странный фактъ одновре-
меннаго и равномернаго поклоненія «Русскому
Слову» и «Московскимъ Вѣдомостямъ», М. Н.
Каткову и г. Зайцеву?

По моему опять-таки крайнему убѣжденію,
фактъ этотъ доказываетъ только то, что многія
изъ нашихъ журнальныхъ направленій и теорій
народились у насъ совершенно случайно, само-
произвольно, безъ малѣйшихъ органическихъ
требованій, которыя лежали бы въ самой жизни;
что эти теоріи и направленія совершенно чужды
нашей жизни и даже непонятны для нея во мно-
гомъ; что они суть дѣло кабинетовъ или иногда,
дѣло самолюбія, иногда своекорыстнаго расче-
та—растеніе, неудачно перенесенное съ запад-
ной почвы на русскую, которое поэтому никакъ
не можетъ правильно привиться къ этой почвѣ
и вырастаетъ на ней какимъ-то страннымъ,
безобразнымъ, уродливымъ грибомъ. Короче
сказать, дѣло это — совсѣмъ мертво-рожденное.

Вѣдь, въ сущности, эта провинціальная чи-
тающая масса для каждаго незнакомаго съ ней
писателя должна казаться весьма странной.
Да иначе и быть не можетъ. Для насъ только
и существуютъ эти наши «направленія» такъ,
какъ мы ихъ понимаемъ. Она же въ этихъ
«направленіяхъ» еще не понимаетъ вкуса—
ибо покамѣстъ чувствуетъ позывъ на умствен-
ную пищу вообще, т. е. ищетъ чтенія. Боль-
шая часть этой массы находится въ такомъ

положении, которое, ради пущей наглядности, я поясню сравнительным примѣромъ:

Въ одномъ городѣ, при выборѣ членовъ земской управы, предсѣдатель сдѣлалъ торжественный обѣдъ, на который были приглашены всѣ члены безъ исключенія, а между послѣдними находилось нѣсколько крестьянъ. Обѣдъ готовилъ клубный поваръ, воспитывавшійся на французской кухнѣ. Произведенія этого повара, предоставленныя апетиту господъ членовъ на «земскомъ» обѣдѣ, отличались своимъ изяществомъ, разнообразіемъ и отменно тонкимъ вкусомъ, отвѣчая всѣмъ требованіямъ и правиламъ французскаго кулинарнаго искусства.

— Ну, что же? хорошо было у васъ на обѣдѣ?—спросили при мнѣ одного изъ членовъ-крестьянъ.

— Ужь и какъ хорошо-то! просто любезное дѣло! — отвѣчалъ вполне довольный крестьянинъ.

— И здорово поди-ка поѣли?

— Господа—ништо-себѣ, всласть!

— Ну и вы конечно?

— Нѣтъ, мы не тово... отчасти заминаясь, отвѣтилъ крестьянинъ.

— Какъ это, то-есть, не тово?

— Не того, значить... Мы этта, почитай что голодные вышли, ей-Богу, такъ! Пошли потомъ въ трактиръ да ужъ тамъ сами по себѣ закусили въ мѣру.

— Какъ голодные!.. Неужто же про всѣхъ не хватило?

— Нѣтъ, пищи этой всякой было вдосталь настряпано, а только, Христось ее знаетъ... вкусу нѣтъ никакого: ни то она прѣсная, ни то иная какая—не разберешь! Кабы этта щей, али кулебяку—ну, это по насъ бы, а то Христось съ ей и совсѣмъ! А впродчимъ очень было хорошо—много довольны! Надо господамъ благодарствовать!

Вотъ совершенно такое же отношеніе имѣетъ и большинство читающей массы къ «направленіямъ» нашей литературы.

Что же собственно составляютъ для насъ, для этой читающей массы, такъ сказать, «щи и кулебяку», чего она хочетъ, чему болѣе откликается?

А вотъ что:

Есть въ народной массѣ такое же свойство, какъ въ стадѣ, по которому конь не пойдетъ въ стадо барановъ, а потянетъ къ своему конскому табуну. Табунное свойство—иногда очень хорошее и почтенное свойство, благодаря которому русскій человѣкъ, напримѣръ, инстинктивно чувствуетъ себя русскимъ. Это же свойство порождаетъ сознание племенного и государственнаго единства, и тяготѣніе массы къ этому единству необыкновенно сильно. Масса въ спокойномъ своемъ состояніи, пожалуй, и не всегда сознаетъ его, но въ такіа годы,

какъ напримѣръ 1812 или 1863 годъ, это чувство пробуждается въ сознаніи массъ необыкновенно быстро и могуче. Имѣ-то и объясняется громадный успѣхъ «Московскихъ Вѣдомостей» въ 1863 г. Понятно, стало-быть, что направленіе газеты, не идущее въ разрѣзъ съ нашимъ народнымъ русскимъ чувствомъ, но напротивъ служащее ему горячо и честно, будетъ болѣе жизненнымъ, органически-правильнымъ, будетъ болѣе отвѣчать потребностямъ массы, т. е. служить для нея тѣми же насущными «щами и кулебякой», которые были столь желательны члену-крестьянину, угощенному французскимъ обѣдомъ. «Биржевыя Вѣдомости», какъ я сказалъ уже, даютъ много читательнаго матеріала и не оскорбляютъ народно-русскаго свойства—онѣ имѣютъ успѣхъ. «Московскія Вѣдомости» горячо и честно возбуждаютъ въ массѣ ея національное сознание—и тоже имѣютъ успѣхъ.

Я прошу читателя не забывать, что если я употребляю слово «масса», то разумію подъ нимъ болѣе преобладающее большинство; но это отнюдь не исключаетъ возможности весьма значительныхъ уклоненій: въ этой же самой всероссійской массѣ вы найдете очень и очень много почитателей и иныхъ «направлений»: отъ «Русскаго Слова» до «Домашней Бесѣды» включительно. Но все это *не серьезно* до послѣдней степени, какъ только можете себѣ представить. Сегодняшній почитатель «Вѣсти» завтра же побѣдетъ въ трактирѣ сыснаго поляка, за то только, что онъ полякъ. Поклонникъ «Русскаго Слова» и теорій о полнѣйшей свободѣ чувства любви дѣлаетъ женѣ своей невозможныя сцены за то, что на семейномъ вечерѣ въ клубѣ она протанцовала три кадрили съ поручикомъ Новоземлянскаго полка; господинъ, ради «единенія съ народомъ» носящій плисовую поддевку, требуетъ, чтобы кондукторъ пересадилъ его въ другой вагонъ, потому что онъ не можетъ выносить этого мужичья. Все это, положимъ, мелочи, но вѣдь изъ ряда такихъ мелочей складывается цѣлая жизнь человѣка, полная самыхъ комическихъ противорѣчій между словомъ и дѣломъ.

И такъ, всѣ эти нигилизмы, радикализмы, постепенства, консерватизмы и проч. и проч.—все это такъ себѣ, съ вѣтру наносныя, чуждыя слова, не имѣющія въ себѣ ни малѣйшей серьезности и къ ходу нашей дѣйствительной, заправской жизни не приложимыя.

Что такое наши провинціальныя либералы и ретрограды, въ значительномъ большинствѣ своемъ—я уже изобразилъ, по мѣрѣ силъ моихъ, въ очеркѣ либераловъ и ретроградовъ сольгородскихъ, хотя надо признаться при этомъ, что Сольгородъ совсѣмъ особая статья; но... общаго все-таки будетъ еще достаточно!

Всѣ эти люди въ сферѣ своихъ домашнихъ,

частныхъ, торговыхъ, служебныхъ и даже, пожалуй, земскихъ интересовъ, являются людьми очень хорошими, практичными и полезными, но къ литературѣ относятся по своему, со-всѣмъ не такъ, какъ относится къ ней москвичъ или петербуржецъ, такъ сказать, раз-вращенный до извѣстной степени ближайшимъ соприкосновеніемъ съ міромъ прессы.

На основаніи всего вышесказаннаго мною, я могу слѣдующимъ образомъ охарактеризовать провинціальную читающую массу:

Во-первыхъ: недавно проснувшаяся охота и потребность читать.

Во-вторыхъ: женскій вкусъ, т.-е. пристра-стіе къ фабулѣ, къ интересному сюжету.

Въ-третьихъ: дѣтски-довѣрчивое отношеніе ко всякому печатному слову, уваженіе къ типографскому станку, свойство, давно уже утра-ченное читателемъ столичнымъ.

И наконецъ, въ-четвертыхъ: при этомъ до-вѣрчивомъ уваженіи къ литературѣ вообще, замѣчательный индифферентизмъ относительно журнальныхъ теорій, партій и направленій.

И послѣднее совершенно понятно: ни наша общественная, ни наша политическая жизнь пока еще не даютъ намъ разумной арены, на которой могла бы серьезно проявиться борьба мѣтній и партій, и которая въ сущности одна только и можетъ породить ихъ органически. Эти партіи понятны и примѣнны къ дѣлу въ общественной и политической жизни Европы, а у насъ на чемъ онѣ вырастаютъ? За какіе существенные и органически выросшіе на рус-ской почвѣ интересы и потребности ратовали, напри-мѣръ, «Современникъ» съ «Русскимъ Словомъ» послѣ 1860 года? Гдѣ ихъ точка опоры, гдѣ эти насущныя потребности, кото-рыя необходимо вызвали бы это направленіе? Какъ ни всматриваешься въ строй провин-ціальной (городской и сельской) русской жизни, нигдѣ ихъ не находишь этихъ потребностей, — ихъ нѣтъ; жизнь идетъ своимъ чередомъ и для этой жизни неизмѣримо болѣе пользы при-несли вещи разумно-отрицательнаго направле-нія, какими были полонъ «Русскій Вѣстникъ» 1856—1860 годовъ, чѣмъ всѣ эти «бей на-право, бей налево, *авось до чего нибудь до-бьешься*», всѣ эти «сапоги выше Шекспира», статьи г. Зайцева и проч.

Полнѣйшее отсутствіе жизненности этого по-слѣдняго направленія самымъ нагляднымъ образомъ показалъ 1863 годъ, когда событія въ Польшѣ и западной Россіи да дипломати-ческія ноты европейскихъ державъ задѣли за живое русское табунное свойство. (Я уже ска-залъ, что признаю за этимъ свойствомъ весьма много почтенныхъ и хорошихъ сторонъ). Ка-кихъ, повидимому, неожиданныхъ явленій были мы тутъ свидѣтелями! Вчерашній «другъ угнетенной націи», столь громко разглаголь-ствовавшій о правѣ на независимость и сво-

боду «несчастной Польши», сегодня подписы-ваетъ въ числѣ прочихъ адресъ о неразрыв-ности и цѣлости Русскаго государства, шлетъ вмѣстѣ съ другими телеграмму графу Му-равьеву. И выходитъ, что въ сущности-то онъ—конь того же табуна, т. е. просто себѣ русскій человѣкъ, въ которомъ задѣли за жи-вое чувство его національной самостоятель-ности; а фразы объ «угнетенной націи» ржаль онъ такъ-себѣ, съ вѣтру, ни съ того, ни съ сего, что называется, ради модной красоты слога, ибо для вяжаго распространенія въ рус-скомъ обществѣ этихъ (нынѣ уже далеко не современныхъ) фразъ не мало-таки въ свое время поработали исподоволь тайные адепты польской sprawy.

Этотъ 1863 годъ дѣйствительно былъ для исторіи русской прессы замѣчательнымъ вре-менемъ въ томъ отношеніи, что тогда, подъ вліяніемъ политическихъ обстоятельствъ, чуть ли не впервые органически родилось у насъ нап-равленіе, заставившее сгруппироваться около себя массы русскаго народа, и то потому, что на-правленіе это непосредственно и прямо вы-текло изъ потребностей самой жизни и обще-ства.

А какъ вспомнишь, какое въ самомъ дѣлѣ комически-нелѣпое явленіе представляли со-бою наши тогдашніе социалисты и демократы съ ихъ сочувствіемъ польской справѣ!

Демократъ и социалистъ, подающій руку князю Чарторыйскому! Это сочувствіе и обли-чало только величайшее невѣжество нашихъ демократовъ и социалистовъ, никакъ не подо-зрѣвавшихъ, что польская революція истори-чески зиждется на самомъ закоренѣломъ аристо-кратическомъ принципѣ, со всѣми необходи-мыми его атрибутами, въ родѣ крѣпостниче-ства и религіозной нетерпимости. И кто изъ господъ литераторовъ не помнитъ, какой страш-ный переполохъ и неожиданный конфузъ про-извела въ средѣ нашихъ социалистовъ извѣст-ная брошюра о польскомъ вопросѣ, авторомъ которой—негаданно для нихъ—явился демо-кратъ Прудонъ! Да, этотъ переполохъ и это невѣжество, по истинѣ, были весьма и весьма комичны!

Чтобы покончить съ «направленіями», скажу объ этомъ дѣлѣ еще нѣсколько словъ. Въ по-слѣднее и при томъ самое недавнее время у насъ на Руси начинается проявляться нѣчто, имѣющее значеніе въ смыслѣ «направленія», потому что это *нѣчто* служитъ выраженіемъ идей и стремленій извѣстнаго рода политиче-ской партіи. Я разумѣю одну строго послѣдова-тельную въ своихъ тенденціяхъ газету, появив-шуюся съ начала 1868 г., которая сразу стала яснымъ, опредѣленнымъ органомъ ополчен-наго дворянства западной Россіи. На этой окраинѣ Русскаго государства, дѣйствительно, идетъ глухая, но неустанная борьба двухъ эле-

ментовъ, и органъ, въ которомъ формулировались бы тенденціи, стремленія и потребности одного изъ этихъ элементовъ, является положительной необходимостью. Какова бы ни была тактика подобнаго органа, онъ все-таки выясняетъ положеніе противника и стало быть облегчаетъ самую борьбу, или по крайней мѣрѣ даетъ возможность къ облегченію ея, чѣмъ и необходимо нужно пользоваться къ собственной своей выгодѣ. Тутъ вотъ «направленіе» есть уже дѣло совершенно понятное и необходимое, потому что оно—дѣло органически-жизненное, вырастающее на почвѣ политической борьбы. Что же касается до собственно *журнальных* направленій нашихъ, то тутъ надо сознаться, что мы, писатели, только сами себя ими тѣшили. Народили мы ихъ въ своихъ кабинетахъ и самообольстительно возмечтали, будто они суть нѣчто жизненное, а произошло это оттого, что мы совершенно не знали нашей читающей массы, обманчиво принимая за нее столичную «публику». Повторяю это паки и паки, ибо слова мои суть плодъ безпристрастнаго и внимательнаго наблюденія надъ отношеніемъ этой массы къ нашей литературѣ. Жизнь идетъ себѣ мимо муравейниковъ нашихъ направленій, которые кажутся намъ египетскими пирамидами, и не замѣчаютъ ихъ, или же по крайней мѣрѣ относятся къ нимъ совершенно безразлично, какъ къ чему-то постороннему, и вовсе до нея неотносящемуся.

И такъ, вскую же шаташася языцы!

Я надѣюсь, что мои литературные собраты, а также и ты, мой читатель, скорѣе и легче повѣрите мнѣ, если я скажу, что провинція интересуются беллетристическими произведеніями (вообще наиболѣе въ ней читаемыми), по преимуществу со стороны скандала. Что слова мои на много справедливы, я надѣюсь, многіе изъ васъ, господа, знаютъ это по собственному опыту.

Провинція особенно любитъ интересную факбулу, имѣющую основаніе въ нашей дѣйствительности, и преимущественно почерпнутую авторомъ изъ какихъ либо замѣчательныхъ, въ томъ или другомъ отношеніи, сферъ столичной жизни и столичнаго общества. Такъ напримѣръ, когда опубликовалось дѣло о московскомъ студентѣ Даниловѣ, то большинство въ провинціи было положительно убѣждено, что Раскольниковъ въ романѣ «Преступленіе и Наказаніе» есть не кто иной, какъ этотъ самый студентъ Даниловъ и что сюжетъ романа Ф. М. Достоевскій почерпнулъ именно изъ Даниловскаго дѣла. Такое убѣжденіе зашло въ провинціи столь прочно, что никто почти не хотѣлъ принимать въ соображеніе того простаго обстоятельства, что начало романа появилось гораздо раньше, чѣмъ Даниловъ совершилъ свое преступленіе.

Предметомъ немалого любопытства является также нигилизмъ. Объ этомъ предметѣ очень и очень многіе имѣютъ самыя сбивчивыя, неясныя понятія. Толкуютъ о немъ и вкривъ, и вкосъ, а съ положительной стороны никакъ не умѣютъ опредѣлить что это, и въ самомъ дѣлѣ, за странный звѣрь, этотъ нигилизмъ пресловутый. Семинаристъ съ кругу сопьется—«это, говорятъ, нигилизмъ». Чиновникъ захватитъ частицу казенныхъ денегъ и удеретъ въ Англію — и это, говорятъ, тоже нигилизмъ. Мужъ жену свою бьетъ, жена мужа — «помилуйте! вопіютъ, да это чистые нигилисты: у нихъ цѣлый день драка!»

Бывали случаи, когда меня спрашивали: «Скажите, пожалуйста, что это у васъ тамъ за нигилизмъ такой? Что это такое? Правда ли, что въ нигилизмъ *постригаются*, въ родѣ того, какъ въ монахи? Что это, секта какая религиозная, или что?»

И вотъ оттого-то, что въ русской провинціальной массѣ понятіе о нигилизмѣ весьма еще смутно, а между тѣмъ ежедневные толки о немъ въ журналистикѣ возбуждаютъ къ нему не малый интересъ, то всякая повѣсть, гдѣ нигилисты являются героями, читается съ необыкновеннымъ интересомъ и даже, можно сказать, съ жадностью. «Отцы и Дѣти» читаются и до сихъ поръ. Но какъ въ Базаровѣ, такъ и въ каждомъ другомъ героѣ большинства непремѣнно стремится усмотрѣть какую-нибудь *личность*. И такъ во всемъ. Вышелъ, напримѣръ, Тургеневскій «Дымъ» — большинство стремилось прежде всего и больше всего, разузнать кто это такіе генералы, кто такая Ирина, чья гостиная изображена въ концѣ повѣсти? О художественныхъ сторонахъ этого произведенія, объ идеѣ безотрадной и горькой, которая столь мучительной болью вырвалась изъ души автора—объ этомъ ни полслова.

— Правда-ли, спрашиваютъ, что Ирина—это такая-то?

— Не знаю.

— А генералы? вѣдь это, говорятъ, такой-то и такой-то?

— И про генераловъ не знаю.

— Ну, какъ не знаете! Сами писатель, знать, знаете, да только сказать не хотите!

Ну, что прикажете отвѣчать на такіе наивно-простодушные вопросы и заключенія?

— А скажите, пожалуйста, съ кого это Тургеневъ списалъ Базарова?

— Ни съ кого, полагаю. Просто, типъ.

— Ну, нѣтъ, вѣроятно списалъ съ кого-нибудь. Правда ли это—мы слышали, будто онъ списалъ съ Боголюбова.

— Съ каіого Боголюбова? Никакого Боголюбова не знаю.

— Ну, какъ не знаете!.. Боголюбовъ! тотъ, что еще въ «Современникѣ» критики писалъ.

— То есть, вы хотите сказать съ Добролюбова.

— Ну, да, да, да! Съ Добролюбова!.. Боголюбовъ и Добролюбовъ—это, знаете, такъ похоже... не трудно ошибиться... Такъ это съ него?

— Не думаю, потому что, сколько слышалъ, Добролюбовъ на Базарова не походилъ — по крайней мѣрѣ наружностью.

Разспрашиватель умолкаетъ, но я вижу, что въ душѣ онъ все-таки убѣжденъ, будто Базаровъ — это Добролюбовъ и будто я знаю, да только почему-то сказать ему не хочу объ этомъ.

А Боже мой, — сколько разъ приходилось мнѣ по поводу «Петербургскихъ Трущобъ» увѣрять, что семейство Шадурскихъ и многіе иные герои этого романа ровно ни съ кого не списаны. Въ отвѣтъ мнѣ только улыбались сомнительно, да головой кивали, дескать, толкуйте, знаемъ мы васъ!

Такого рода интересъ къ литературнымъ произведеніямъ я называю интересомъ со стороны скандала. Но это все-таки наглядно показываетъ, насколько провинція занята столицей и ея сферами. Оно впрочемъ и не мудрено, ибо Петербургъ не знаетъ провинціи, провинція не знаетъ Петербурга, а времена переживаемъ мы теперь такіа, когда и тотъ и другая необходимо должны интересоваться другъ другомъ, въ силу общаго хода и движенія русской жизни.

Но всего курьезнѣе, всего неожиданнѣе бываютъ иногда продѣлки по части «благодѣтельной гласности», или провинціального «обличенія».

Въ одномъ изъ большихъ попутныхъ городовъ будить меня однажды утромъ и докладываютъ, что желаетъ видѣть меня мѣстный офицеръ... «Чортъ возьми! думаю себѣ, — что бы сей сонъ могъ означать, и на какую потребу нужно ему меня видѣть?» Посѣщеніе, не скажу, чтобы особенно пріятное, однако нечего дѣлать: предположивъ въ немъ какое-либо касающееся до меня дѣло безотлагательной надобности, я всталъ и поспѣшилъ одѣться, недоумѣвая о причинахъ такого страннаго визита.

Но представьте же вслѣдъ за этимъ мое необычайное изумленіе, которое, признаюсь, въ теченіе всего визита возрастало все болѣе и болѣе.

Входитъ развязной походкой военный господинъ — въ лицѣ наипрѣятнѣйшая, игривая улыбка, раскланивается, съ истинно военной граціей, придерживая свою лязгающую саблю, и, брякнувъ отчетисто звучными шпорами, начинаетъ говорить мнѣ чуть-чуть смущеннымъ голосомъ:

— Всеволодъ Владиміровичъ... позвольте имѣть честь... Я такъ горячо люблю и уважаю

русскую литературу... Мое давнишнее желаніе было—видѣть и познакомиться съ кѣмъ нибудь лично изъ русскихъ литераторовъ... Наконецъ, судьба столь милостива ко мнѣ, что доставила этотъ счастливый случай!.. Позвольте рекомендоваться — такой - то...

«Э! такъ вотъ оно что! думаю себѣ, — это что-то ново!»

Ну, тутъ конечно, какъ водится, необходимое рукопожатіе и обычное «прошу садиться».

Усѣлся мой баринъ и смотритъ на меня сладостнымъ взоромъ: російскаго литератора, значить, умильно созерцаетъ.

— Вы не повѣрите, — начинаетъ онъ, наконецъ, съ какимъ-то сладко-разслабленнымъ вздохомъ, — вы не повѣрите, почтеннѣйшій Всеволодъ Владиміровичъ, какъ-я радъ, что наконецъ-то кому нибудь изъ нашихъ писателей вздумалось посѣтить нашъ городъ... Нашъ городъ вѣдь забытый, далекій (приличный вздохъ). Вы знаете ли, я вамъ скажу — вы необыкновенно кстати пріѣхали къ намъ! Ваше посѣщеніе именно въ настоящее время, быть можетъ, нужнѣе для насъ, чѣмъ когда либо (таинственно-многозначительный взглядъ).

«Это еще что такое?» думаю себѣ.

— Да-съ! я вамъ доложу, — продолжаетъ мой гость, — не тамъ, не въ Петербургѣ, а вотъ у насъ, такъ ужъ именно что можно сказать — настоящіа трущобы! Да-съ; вотъ гдѣ онѣ, истинныя-то трущобы! Если вы возьмете на себя трудъ написать, такъ я вамъ многое и многое могу сообщить. Безъ преувеличенія скажу: останетесь благодарны! Помилуйте, еслибъ вы знали, что только у насъ дѣлается! Какія мерзости творитъ наша администрація — и высшая и низшая! Нѣтъ, нѣтъ, почтеннѣйшій Всеволодъ Владиміровичъ, ей-Богу, вы необыкновенно кстати посѣтили насъ!

Офицеръ съ энтузіазмомъ даже вскочилъ съ своего кресла.

— Но нѣтъ, клянусь вамъ честью, еслибъ вы только могли знать, что это такое наша администрація! Что за произволъ здѣсь господствуетъ! Какія дѣла тутъ дѣлаются! Общественныя права попираются! Да-съ, общественныя права попираются! Цивилизація гибнетъ-съ! Только пока въ одной Россіи и возможенъ этакій произволъ, надо съ грустью сказать вамъ; а если бы это въ Англіи или въ Америкѣ, такъ тамъ бы... да вѣтъ, ужъ куда намъ до Англіи! Куда намъ!..

И гость мой снова опускается въ кресло, на этотъ разъ уже со вздохомъ грустно и томно-разслабленнымъ, и, заложивъ ногу на ногу, начинаетъ передо мной либеральничать, и либеральничать эдакъ самымъ паршивенько-мизернымъ, гнусенькимъ и минорно-плаксивымъ либерализмомъ въ разбитомъ и поющемъ тонѣ, словно бы его, сердечнаго, побили, обидѣли

сейчасъ, такъ что даже тошно становится. И это тихое, либеральное причитанье сопровождается ежеминутно грустными взглядами, безнадежными вздохами и скорбными киваньями головой, ну вотъ ни дать, ни взять, какъ сухопаренькая старушонка, которая ноетъ и кукается передъ вами о миломъ сердцу покойникѣ. И идетъ это нытье все на ту же скучную и безцвѣтную тему, что, молъ, помилуйте, какъ у насъ, да что это у насъ дѣлается, да вотъ если бы это въ Англіи, или то-ли дѣло Америка, а мы-то, мы-то!.. Кукается мой гость на эту тему уже гораздо болѣе часу, поясняя свои причитанія нѣкоторыми примѣрами мѣстной административной жизни, въ родѣ уже выше рассказанныхъ мной; а я себѣ сижу да слушаю по неволѣ, все еще недоумѣвая, къ чему все это и куда оно клонится?

— Я вамъ скажу, что здѣсь только и есть одинъ порядочный человѣкъ, — продолжаетъ между тѣмъ гость, — это именно *нашъ*... нашъ полковникъ... знаете эдакой умница, свѣтлая головка, современный, знаете, человѣкъ съ современными идеями, и служить не изъ прибыли какой, а только, такъ сказать, изъ принципа, изъ благороднаго безкорыстія... Это именно, можно сказать, одна безкорыстная любовь къ мундиру! И если бы не онъ, тутъ была бы Монголія! Онъ одинъ только охраняетъ интересы общества и цивилизаціи... Могу сказать, бдитъ на стражѣ прогресса и мирнаго преуспѣянія. А не будь его—Боже мой, да что бы здѣсь дѣлалось!

Офицеръ очевидно старался говорить книжными фразами, ибо непрестанно памятовалъ, что говорить съ литераторомъ. Я почти съ бухгалтерной точностью передаю его фразы.

— Да, да, почтеннѣйшій Всеволодъ Владиміровичъ, вы только послушайте меня, я вамъ еще и не то поразкажу! Вы бы знаете что? вѣдь у васъ вѣроятно есть эдакая записная дорожная книжка... какъ водится это, для впечатлѣній разныхъ... ну, и летучихъ замѣтокъ; такъ вы бы эдакъ всѣ-то мои фактики и занесли въ свою тетрадочку—вѣдь вамъ оно навѣрное пригодится. Матеріалъ, я вамъ честью кланюсь, богатѣйшій! богатѣйшій матеріалъ! Да даже знаете что! Ужъ такъ, признаться сказать, вѣдь я къ вамъ даже съ нѣкоторой дѣлюй пришель... Ужъ вы извините меня!.. Но вотъ, лучше всего, позвольте... гораздо короче будетъ...

Офицеръ нѣсколько замаялся, пріятно сконфузился и при этомъ не менѣе пріятно осклабился, а затѣмъ полѣзъ въ боковой карманъ своего сюртука и досталъ оттуда сложенную тетрадку.

— Вотъ, потрудитесь, пожалуйста, взглянуть и пробѣжать... это не долго-съ!

— Что же это такое?

— А вотъ увидите! Такъ сказать, наше мѣстное произведеніе.

Я развернулъ это мѣстное произведеніе и сталъ читать. Это былъ одинъ изъ самыхъ безстыдныхъ пасквилей, который въ дикихъ и безграмотныхъ виршахъ изображалъ одно властное лицо, его дѣянія и даже его супругу. Признаться откровенно, мерзѣ мнѣ рѣдко что удавалось читать и видѣть.

Я молча возвратилъ тетрадку по принадлежности.

— И такъ, Всеволодъ Владиміровичъ, что вы на это скажете?

— То есть, что же сказать вамъ?

— Насчетъ стиховъ... Каковы стихи-то?

— Да, прекрасные стихи!

— Именно! именно, я вамъ скажу, единственные! Ядовитые стихи! И знаете, этой... современности много.

— Да, и современность есть.

— Это одинъ мой короткій пріятель сочиняетъ... Но скажите мнѣ откровенно... Только, пожалуйста, откровенно!.. Могутъ быть эти стихи напечатаны?

— Отчего же нѣтъ?

— Такъ напечатаютъ?

— Вѣроятно напечатаютъ.

— О! Это будетъ превосходно! Вотъ кстати отхлещемъ то! Помогите намъ!

— То есть... какъ же это помочь вамъ?

— А вотъ какъ.

Офицеръ подвинулся ко мнѣ и сталъ говорить таинственнымъ тономъ:

— Мы хотимъ отправить эти стихи въ «Искру»... Благородный журналъ, я вамъ скажу! Честный, прекрасный журналъ! Я его от души уважаю!.. Если бы намъ такихъ-то вотъ журналовъ да побольше бы, такъ я вамъ скажу, не то бы у насъ было! Жаль, что въ нашемъ-то городѣ нынче онъ почти совсѣмъ не распространенъ. Прежде очень многіе получали, а нынче—чортъ ихъ знаетъ—равнодушіе какое-то, апатія... Вѣдь у насъ и все такъ: «Будильникъ», напримѣръ. Объявленіе вышло—носился, носился съ нимъ и къ тому, и къ другому—не подписываются, а «Страходума» какого-то, чортъ его знаетъ—три нумера въ городѣ вдругъ получается. Нѣтъ, по правдѣ сказать, скоты! своихъ не поддерживаютъ: брюхо да карманъ, а не прогрессъ на первомъ планѣ!

Офицеръ на минуту остановился перевести духъ, мечтательно вздохнулъ, не безъ томности глядя въ пространство и саркастически улыбнулся.

— Такъ вотъ какъ, Всеволодъ Владиміровичъ,—продолжалъ онъ, пріятно осклабясь и ловко подзвывая нипорами;—мы эти самые стихи намѣреваемся отправить въ «Искру»... Еслибы вы были столь любезны и потрудились бы написать при семъ отъ себя маленькое письмецо въ редакцію, что вы эту рукопись читали и вполне ее одобряете.

«Эге!.. такъ вотъ оно что!» думаю я про себя.

— Извините, говорю, — но въ этомъ случаѣ никакъ не могу быть вамъ полезенъ: я ни съ однимъ изъ этихъ господъ не знакомъ.

— О, Боже мой, да это, помилуйте! это, полагаю, ровно ничего не значить! — съ жавостью перебилъ офицеръ. — Вѣдь вотъ къ примѣру сказать, у насъ тоже: я, напримѣръ, вовсе не знакомъ съ тамбовскимъ или пензенскимъ офицеромъ, и въ глаза другъ друга не видѣли, однакожъ въ случаѣ надобности, пишешь иногда; ну — и они тоже пишутъ, отвѣчаютъ и принимаютъ свѣдѣнія; вѣдь и у васъ полагаю, то же самое. Литераторъ литератора по роду дѣятельности и заочно знаетъ; а это, такъ сказать, взаимно дружественный обмѣнъ чувствъ и мыслей! Да вотъ, чего вамъ лучше! Про себя скажу!

Офицеръ еще ближе подвинулся ко мнѣ, съ выраженіемъ нѣкоторой таинственности и съ такой скромно-зловѣйски-хитрецкой улыбкой, которая ясно говорила, что вотъ, молъ, знай, да раскуси-ко нашихъ, каковы мы есмь!

— Хотя я, говорить, конечно, и не литераторъ, но иногда кое-что, знаете, эдакъ рѣшался пописывать — больше все эдакъ фактики, фактики, знаете, интересные изъ нашей мѣстной жизни. Конечно, тутъ не было ни слогу, ни изящества этого, обработки тамъ, ну и прочаго, однако же я ихъ пересылалъ... и вотъ именно въ «Искру» (при этомъ въ его глазахъ блеснуло маленькое самолюбиво-гордое сознаніе). И господинъ Курочкинъ, спасибо ему — пользовался! Пошлешь этакъ, а недѣльки черезъ три, смотри, ужъ и пропечатано... конечно, въ обработанномъ видѣ, остроумія, знаете, перчику этого поддушено... И какой же переполохъ у насъ это дѣлало! хе, хе, хе!.. то есть просто умора, я вамъ скажу!.. Они себѣ мечутся, добиваются узнать кто и какъ написалъ, ко мнѣ же обращаются, дурачье эдакое: вамъ, говорятъ лучше знать, разъищите, это по вашей специальности; а я себѣ ни гу-гу: моя хата съ краю, ничего не знаю! хе, хе, хе!.. Нѣтъ, ей-Богу, спасибо, истинно русское великое спасибо господину Курочкину! Онъ много, много добра намъ дѣлаетъ (эти слова офицеръ произносилъ съ чувствомъ и даже поднявшись съ мѣста). Первый разъ, что буду въ Питерѣ, первымъ долгомъ поставлю явиться къ нему и, что называется, въ ножки поклониться, руку пожать ему... Ну, и все же, какъ хотите, болѣе или менѣе сотрудникъ ему выхожу, хоть и маленький, а все-таки сотрудникъ. Да, это истинный патріотъ! И я, могу сказать, истинно горжусь тѣмъ, что съ своей стороны могъ принести посильную пользу его дѣлу. Такъ вотъ, видите-ли, почтеннѣйшій Всеволодъ Владиміровичъ, — перебилъ самъ себя мой гость, съ новымъ вздохомъ возвращаясь къ старой темѣ, — эти стихи мы бы, конечно, и такъ могли отправить, по прежнимъ примѣ-

рамъ; но... видите-ли, тамъ была проза, и притомъ одни голые факты, а здѣсь уже — поэзія... и въ этомъ случаѣ, ваше предварительное одобрение, какъ мнѣніе извѣстнаго литератора, намъ было бы очень полезно... они тѣмъ болѣе съ удовольствіемъ напечатали бы.

Я попытался было растолковать моему гостю, что если онъ читатель и даже почитатель «Искры», то очень хорошо долженъ знать, что мое мнѣніе тамъ никакого значенія въ пользу его имѣть не можетъ.

— Это вы насчетъ ругани-то? — догадливо доめкнулся мой собесѣдникъ. — О, помилуйте, да вѣдь мы хоть и провинціалы, а тоже кое-что понимаемъ! (Онъ опять съ хитрецей многозначительно подмигнулъ глазкомъ). Вы думаете, что мы и взаправду принимаемъ, будто вы тамъ всѣ, господа, на ножкахъ, между собой? хе, хе, хе!.. Нѣтъ-съ, вѣдь мы тоже знаемъ, что часто тамъ вы на бумагѣ враги, а въ жизни сходите съ пріятелями: я вотъ, молъ, на тебя то-то написалъ, а я на тебя то-то... Такъ вѣдь? Да это вѣдь и у насъ точно также: зачастую, случается, пишешь тамъ въ постороннее вѣдомство какой-нибудь отзывъ или отношеніе и такихъ тамъ шпилекъ подпустишь что просто, Господи, упаси! Словно какіе тигры бенгальскіе на бумагѣ сражаемся, — право! а вечеромъ сойдемся въ клубъ и — друзья! Сами же хохочемъ надъ бумагами.

— Такъ вотъ видите-ли, я ужъ вамъ, такъ и быть, скажу по секрету, — продолжалъ между тѣмъ мой собесѣдникъ. — Для насъ необыкновенно важно, чтобы эти стихи были напечатаны поскорѣе, и именно теперь, а не позже. Я вамъ говорю, не — обык-но-венно важно, видите-ли, почему... только чуръ! — секретъ прежде всего!.. Мы объ этомъ самомъ господинѣ, о которомъ тутъ пишется, посылаемъ докладъ... вы понимаете — въ Питеръ?.. Такъ это будетъ прекрасно, если одновременно съ нашимъ докладомъ появится статья и въ «Искрѣ». Теперь вы понимаете, какое огромное значеніе это имѣетъ?

Я возразилъ моему гостю, что положительно не понимаю стараній его насчетъ «Искры», если онъ имѣетъ ближайшую и притомъ болѣе достигающую цѣли возможность дѣйствовать непосредственно путемъ извѣстныхъ докладовъ, что по моему мнѣнію, «Искра» тутъ ровно ни причемъ.

— Э, нѣтъ, не говорите! — перебилъ онъ меня. — Не судите такъ легко! Напротивъ, весьма и весьма «причемъ!» Теперь вѣдь не прежнее время, теперь намъ нужна поддержка общественнаго мнѣнія, мы хотимъ, чтобы и общественное мнѣніе было за насъ. Помилуйте, если мы стоимъ на стражѣ общественной жизни, спокойствія и государственныхъ интересовъ, если мы наблюдаемъ, чтобы всѣ блага либеральныя и прогрессивныя мѣры не встрѣчали

себѣ препятствія въ примѣненіи, то понятное дѣло, что мы вправѣ желать себѣ поддержки. Мы, какъ и вы же, борцы — борцы за наше общее дѣло: я могу сказать это съ гордостью; но теперь мы, то есть *мы*-то собственно, къ сожалѣнію, почти одиноки... Въ литературѣ у насъ какой-то разладъ, нѣтъ дружной поддержки, нѣтъ этого главнаго, общаго камертона, который, такъ сказать, дисциплинировалъ бы весь хоръ... А вотъ еслибы мы и литература шли рука объ руку—о, тогда бы, посмотрите, какая силища образовалась бы!.. Тогда и Европа не такъ бы заговорила! Да-съ, намъ именно необходима теперь поддержка литературы и общественнаго мнѣнія! И если который изъ всѣхъ журналовъ исполнѣ понималъ это, мнѣ кажется, именно одна только «Искра».

Гость мой долго еще распространялся на эту тему и долго сообщалъ разные анекдоты изъ мѣстной жизни, кажись, вовсе позабывъ о томъ мудромъ изреченіи, которое гласитъ, что «посидятъ, посидятъ да и уходятъ». Надоѣль онъ мнѣ хуже послѣбобѣденной іюльской мухи, такъ что я долженъ былъ наконецъ прямо заявить ему, что хотя его посѣщеніе мнѣ и весьма пріятно но... но... но къ сожалѣнію, не могу болѣе удѣлять ему моего времени и т. д. Что же касается до пасквильныхъ стиховъ, то вѣроятно они были посланы по прямому своему назначенію и вѣроятно мой офицеръ съ жадностью теперь развертываетъ каждый нумеръ достолюбезнаго ему журнала, въ чаяніи обрѣсти тамъ единственное въ своемъ родѣ произведеніе своего пріятеля; а можетъ быть, уже и обрѣлъ—не знаю.



СТИХОТВОРЕНІЯ.

ПОЭМЫ.

Калика-перехожая.

I.

Грибѣмъ стоитъ въ селѣ избенка...
Въ избенкѣ плачетъ старушонка:
Вчера угнали въ рекрута
Ея радѣльца—радость-сына.
Изба нетоплена, пуста;
Чадитъ сосновая лучина...
И ждетъ она: вотъ-вотъ войдетъ,
Вернется сынъ!—такъ чутко ждетъ—
Но тихо все: лишь вѣтеръ свищетъ,
Да мелкій дождь, что прутьемъ хлыщеть...
А хоть и сдаться-бы не законъ,
Да противъ старости не сладить;
Какъ не любилъ Васютки онъ,
Такъ и доѣхалъ!—Заморенъ
Ужъ больно парень былъ.—«Спровадить
Положено, молъ, на міру
Затѣмъ, что нерадивъ!»—старухѣ
Сказалъ онъ разъ,—и, глядь, Васюхѣ
Забрили лобъ на ту-жъ пору.

II.

Мірскимъ Христовымъ подаяньемъ
Она кормилась отъ села,
Кормилась годъ, и все ждала
Родного гостя съ упованьемъ.
Къ обѣдѣ-ль въ праздникъ зазвонятъ,
Она накинетъ тѣлогрѣйку,
И въ церкви, съ нищенками въ рядъ,
Въ одну Христовую семейку
Собравшись, станетъ у дверей—
И подають міряне ей:

Кто грошъ подасть, а кто копейку,—
Тѣмъ и жилъ...

А все тоска,
Что червь подтѣчный, грудь ей гложетъ,
И что могильная доска,
Все давить, давить... И не сможетъ
Она съ тоски на свѣтъ взглянуть,
Ни Богу честно потрудиться,
Ни поработать, ни уснуть:
Затѣмъ, что коршуномъ гнѣздится
Въ душѣ все дума у нея:
«Ужъ мнѣ, молъ, старой, не житье,
Знать, на свѣту: къ землицѣ клонитъ!..
Да кто-жъ безъ сына-то схоронитъ?..
Чай, на міру сколотятъ гробъ,
Чай, и проводитъ даромъ попъ...
Да не о смерти-то кручина:
Кабы взглянуть еще хоть разъ,
Хоть бы въ конешный-то свой часъ,
На чада-милаго, на сына:
Таковъ ли сталъ, каковъ-то былъ?
Поди, зачахъ, ахъ мать забытъ!..»

И было сонное видѣнье
Убогой старицѣ въ ночи:
Какъ-будто, гдѣ-то тамъ сраженье
И гдѣ-то ломаются мечи...
А ночи-тѣмны, тучи-грозыны
Вдоль по поднѣбесью плывутъ,
Плывутъ и грозыны, и морозны,
И вѣтромъ бьютъ, и градомъ бьютъ...
Вокругъ—безъ прѣсвѣту поляны,
А надъ полянами туманы,
Туманы сизые встаютъ,—
И сквозь туманы, за поляны
Да все солдатунки идутъ!..
Вотъ-вотъ одинъ... отсталъ, бѣдняга...

Упадъ и стонетъ... хочеть пить,
Водичей ранушки промыть,
Да нѣтъ воды: пуста бадлага...
Зоветь—и некому помочъ:
Проходятъ мимо всѣ и мимо,
Уходятъ въ даль, уходятъ въ ночь...
Ушли... куда?—и невѣстимо!..
А онъ одинъ... а вѣтры бѣютъ..
Вокругъ—безъ просвѣту долины
И надъ полянами туманы,
Туманы сизые встаютъ...
Но вотъ—яснѣе и свѣтлѣе
Изъ мглы клубятся облака,—
И снѣга бѣлаго бѣлѣе
Течетъ изъ меда и млека
Въ долины Иорданъ-рѣка,
А надъ рѣкой грозы грознѣе
Встаютъ верхи Господнихъ горъ—
Синай, Голгоа и Фаворъ...
Играютъ Божіи зарницы,
Цвѣты лазоревы цвѣтутъ,
И на вѣтвяхъ сирѣны-птицы
И славословятъ, и поютъ...
Возносить райская обитель
Тамъ позлащенные главы:
Въ преддверьи стражи—звѣри-львы,
А на престолѣ самъ Спаситель,
И на главѣ Его вѣнецъ,
Во длани скипетръ и держава,
И съ нимъ—Богъ-Духъ и Богъ-Отецъ,
И вся глаголемая Слава.
И «Святъ, Святъ, Святъ!» Ему рекутъ
Земля и твердь во честь Владыки,
И всѣ архангельскіе лики
Пѣснь херувимскую поютъ...
Дивится старика чертогу,—
И се, раздался звѣчный гласъ:
«Воспрянь отъ сна и внемли Богу,
Зане приблизися твой часъ!
Се, уготовалъ Азъ дорогу—
Возстань, Божій раба,
И съ миромъ въ путь гради!»

И съ крикомъ
Проснулась въ трепетѣ великомъ
Старуха въ полночь... «Знать судьба!»
Крестясь, она пролепетала,
«Пора за сыномъ, въ путь пора!»—
И отъ полночи до утра
Съ молитвой мать поклоны клала.

И сколотила кое-какъ
Она, за нищенскій пятакъ,
Въ дорогу лапотки съ котомкой
И, подпоясавшись покромкой,
Взяла убогій посошокъ—
Да захватила образокъ—
«Мать всѣхъ скорбящихъ», да въ триницу
Съ могилкохъ отчихъ мать-землицу,
И въ долгій путь, благословясь,
Пошла подъ осень, въ снѣгъ и грязь.

И вотъ—предъ ней опять поляны
Уходятъ въ даль и въ даль зовутъ,
И надъ полянами встаютъ
И ходятъ сизые туманы.

III.

Охъ, не одна ль-то, не одна
Дорога въ полѣ пролежала,
Какъ сплошь-то ельничкомъ она,
Дорога, частымъ заростала!
Ужъ и куда-же ты, куда,
Дорога гладью разстидалась,
Ты сквозь какіе города
Широкой ширью пробивалась?—
Охъ, вьешься, стелешься-ли ты
За глубь лѣсовъ-боровъ дремучихъ,
За ширь степей-песковъ сыпучихъ,
За тѣ-ль крутыя высоты!
Охъ, за крутыя высоты,
За прясло хмураго тумана
До синя моря-океана,
До поднебесной красоты!
И на своемъ вѣку не мало
Всего ты вдосталь повидала:
Не разъ-то, съ пѣсней плясовой,
Тебя и брагою хмѣльной
Людская удалъ поливала,
А и невзгода окропляла
Мірскою горькою слезой.

Бредетъ съ котомкою убого
Путемъ сирѣ-древенъ челоуѣкъ,
Гдѣ много изстари калѣкъ
Ходило торною дорогой.
Охъ, тяжело ты, тяжело
Житіе калики-перехожей:
Все тѣло солнцемъ ей спекло
Подъ закарузлой, старой кожей;
Нога истерта и боса,
Едва прикрыта грудь больная,
И вѣтеръ хлещетъ, развѣвая
Ея сѣдые волосы...
И нѣтъ ей въ свѣтѣ уголочка:
Постель ей—мать сыра-земля,
Пень—изголовье, пологъ—вѣска,
Хозяйство—Божій поля.
И будь ей лѣсъ или долина,
Морозъ иль жаръ—ей все равно:
Забыва все она давно,
Лишь помнить путь, да ищетъ сына

Тускнѣетъ въ небѣ синева,
Земля потрескалась отъ зною,
И катитъ мѣрною волною
Вдоль по степи ковыль-трава;
А въ чистомъ полѣ кустъ калины
Съ ракитой дѣрманою стоитъ

И съ вѣтромъ старыя быliny
Своею рѣчью говорить.
«Охъ, ты, калинушка-калина,
Ты раскудрявая моя!
Поразскажи-ка мнѣ про сына,
Хоть разутѣшилась-бы я!»
И о лихой солдатской долѣ
Калина шепчетъ ей слова;
А въ чистомъ полѣ, на раздолѣ,
Катитъ волной ковыль-трава
На всей широкой Божьей волѣ...

...Идетъ,—хоть косточки хрустятъ,
Хоть росы ноженки студятъ,
Съ осенней зорьки до денницы,—
А по зарѣ надъ нѣю птицы—
Все гуси-лебеди летятъ.
«Вы, гуси-лебеди, скажите,
Не встрѣти-ль сына гдѣ порой?
А буде встрѣтите—снесите
Ему поклонъ вы отъ родной!»

Гудитъ метелица шальная
И колетъ иглами морозъ:
Бредетъ старуха—и отъ слезъ
Рѣсница слиплась сѣдая.
Глухая ночь... боры шумятъ...
А воронъ шлетъ бѣду да лихо,
И натравляетъ волчонятъ
На переходную волчиха.
«Ты, мати-сѣрая волчиха,
Потѣмной ночи куманиха,
Гдѣ тѣ солдатшки стоятъ,
Гдѣ тѣ ребятушки гуляютъ,
Что горе лихомъ запиваютъ,
Съ бѣдой-сударушкою спятъ?»—
А ей въ отвѣтъ, снѣга взметалъ,
Гудитъ метелица шальная.

IV.

Три года—Богомъ въ небеса,
Сказать, гдѣ сынъ,—у всѣхъ просила,
И гдѣ-то, гдѣ не исходила
Она по всей-то по Руси,
По всей широкой, по раздольной
Съ своей зазубой сердобольной!
И въ Новѣ-градѣ побывала,
И въ Кіевѣ пробралась, въ Петровку,
И по обѣту на Соловки
Къ святымъ угодицамъ прошла:
Мошамъ явленнымъ поклониться,
Кресту честному потрудиться,
Путемъ сыночка отыскать.
И повидавшись—на погостѣ
Заупокойте стары кости
И Богу душеньку отдать!
Въ иныхъ мѣстахъ ужъ и по слуху

Міряне вѣдаютъ старуху,
А кое-гдѣ и не впервой
Подать ей грошникъ или краюху,
Или пріютить на часъ ночной.
А гдѣ, случается, и знаютъ,
Да лишь по не по добру встрѣчаютъ,
Не по завѣтной старинѣ,
На чужедальной сторонѣ.
Охъ, чужедальная сторонка
Безъ вѣтру до-суха сушитъ
И безъ морозу-то знобитъ,
И надъ чужимъ-то горемъ звонко
Хохочетъ вволю и крушитъ!

V.

Прокралось утро—и туманы
Ползутъ за снѣжными поляны...
Проснулось людное село;
Въ морозной мглѣ взыграло солнце
И ярко каждое оконце
Багрянымъ золотомъ зажгло.
И на солдатскую стоянку
Пришла старуха спозаранку;
Изябла вся, и вдоль села
Бредетъ—пытается про сына,—
Знать, и теперь чутьемъ вела
Ее завѣтная кручина.
— А нѣтъ ли, братцы, промежъ васъ
Васютки Лаптя?.. чай, съ печали
Зачахъ,—а парень на показъ!
Аль нѣтъ такого? не знавали?
— Васюхи Лаптя?—какъ не знать:
У насъ!.. Да ты-то кто?..

— А мать...

— Мать... эка дѣло!.. ну, попала!..
Пришла-бы раньше, не застала...
Здѣсь, здѣсь сынокъ!.. Да вишь ты... онъ
Съ тоски былъ, бають, заморенъ:
Все по тебѣ-же... Ну, и тягу!
Въ бѣги затѣялъ—въ темный боръ,—
Да не надолго: не хитеръ!—
Ужъ ловятъ въ третій разъ бѣднягу.

И съ первыхъ словъ—подъ сердце ей
Щекотно что-то подступило
И счастьемъ-радостью забило
И изъ груди и изъ очей;
И отъ восторга мать сначала
Тѣхъ страшныхъ словъ не дослышала:
Съ великой радости она
Затрепетала, что былина:
Нашла... нашла надежу-сына,—
И снова жизнь для ней красна!
И все пытается: «гдѣ-жъ квартера,
Стоитъ-то гдѣ онъ?.. гдѣ живетъ?»...
— А вотъ спроси у кавалера;
Онъ и расскажетъ и сведетъ...
Ступай на выгонъ: вонъ, на поле,
Гдѣ барабанъ-то все трещитъ,—

Ну, тамъ и сынъ... живетъ на волѣ,
Въ зеленой улицѣ стоитъ!
И вдругъ пустилась, что есть духу,
Калика въ поле, вся дрожа.—
Сразило радостью старуху,
Да пуще остраго ножа!..
Вѣжить, крестясь и рыдая,
Раскрыта грудь, нога боса,
И вѣтеръ хлещетъ, развѣвая
Ея сѣдые волоса...
И вотъ ужъ близко до поляны..
Глядитъ: народъ стоитъ гурьбой,
И заглушаетъ барабаны
Какой-то долгій, дикій вой;
А вдоль шеренга фронтовая
Зеленой улицей стоитъ—
И что-то, вѣтеръ разсѣвая,
Въ морозномъ воздухѣ свиститъ ..

1860.

Весенняя смерть.

I.

Въ тотъ часъ, когда сѣдая мгла
Надъ Петербургомъ сѣтъ растянетъ,
Когда отъ вкуснаго стола
Самодовольный баринъ встанетъ;
Когда такъ хочется ему
Не дрызгъ житейскаго разсудка,
Но для сваренія желудка
Дать пишу легкую уму,—
И онъ, съ сигарой, у камина.
Мечтъ далъ выспренный полетъ—
И вотъ, въ лучахъ предъ нимъ встаетъ
Всеблагоденствія картина,—
О, какъ душѣ его близка
Въ тотъ мигъ кручина бѣдняка!
И поводя лѣниво окомъ,
Ему такъ хочется разжечь
О всемъ гуманномъ и высокомъ
Филантропическую рѣчь.
Въ тотъ часъ, когда, по лужѣ грязной,
Бѣднякъ озлобленно спѣшитъ
Къ своей канурѣ безобразной.
Которой смрадъ и гнусный видъ,
Мѣшая сну и аппетиту,
Лишь будятъ злобу да тоску,
Какое дѣло бѣдняку,
И что за дѣло сибариту,
Что подъ дождемъ, ужъ цѣлый часъ,
Сѣдой старикъ, съ визливой скрипкой,
Не отводя отъ оконъ глазъ,
Поетъ съ молящею улыбкой;
А передъ нимъ, подъ скрипку въ ладъ,
Дѣвчонка маленькая скачетъ
И, съ пѣсней вовсе не впопадъ,
Синѣетъ съ холоду и плачетъ.

Но вотъ, откормленный швейцаръ
Грозитъ съ подѣзда нищимъ палкой:
Какъ видно, слухъ гуманныхъ баръ
Былъ оскорбленъ той пѣсней жалкой.

И пошлелись отецъ и дочь,
Щады сѣятельныя уши...
Что станешь дѣлать!—скоро ночь,
А имъ не близко путь въ Чекуши.

Придутъ домой, не слыша ногъ;
А дома ждетъ старикъ-Азорка:
Хоть песь и голоденъ, но зорко
Стерегъ безъ нихъ оя свой порогъ.—
И псу дають за то потачку:
За ужинъ садутъ,—и Азоръ
Съ куска не сводитъ умный взоръ
И важно ждетъ себѣ подачку.
Перекусивъ чѣмъ Богъ послалъ,
Заснутъ кой-какъ они въ лачугѣ,
Но имъ и сонъ едва-ль не слалъ
Заботь о нуждахъ и недугѣ!
И часто дѣвочка, сквозь сонъ,
Бывало, слышитъ вздохъ иль стонъ,—
Вся тихо вздрогнетъ,—и не спится
Ей долго-долго... и слеза
Смочить усталые глаза,
И ядомъ въ душу ей ложится
Тотъ тяжкій вздохъ... На локотѣхъ
Она привстанетъ, и въ тоскѣ
Глядитъ, прислушиваясь чутко:
Не повторится ль стонъ?.. И жутко,
И такъ ей страшно станетъ вдругъ,—
А все глядитъ—глядитъ вокругъ,
Какъ тѣни по полу играютъ
Тѣхъ двухъ черемухъ, что качаютъ
Уныло прутья за окномъ,
Подъ луннымъ фосфорнымъ лучомъ.

II.

И вспоминалъ старикъ порою
Село надъ Волгою родною,
Въ селѣ старинный барскій домъ,
Великолѣпныя палаты,
Гдѣ князь—помѣщикъ тароватый,—
Сзывалъ на двѣсти верстъ кругомъ
Къ себѣ на барскую потѣху,
На хлѣбосольный свой обѣдъ,
Лишь ради чванства, ради смѣху,
Весь окружной блестящій свѣтъ,
Всѣхъ лицъ въ губерніи извѣстныхъ,—
И силой дожжихъ гайдучковъ
Онъ заставлялъ для тѣхъ пировъ
Сгонять дворянъ мелкопомѣстныхъ
И всѣхъ подьячихъ, какъ шутовъ.

Кичася барственною спѣсью,
Князь капельмейстера купилъ,
Хотя въ душѣ, какъ говорилъ,

Предпочитал охоту песью:
 Когда, въ потѣху важныхъ лицъ,
 Спусти борзыхъ своихъ горячихъ,
 Онъ, вмѣсто зайцевъ и лисицъ,
 Травилъ дьячковъ или подъячихъ,
 А въ это время трубачи
 Побѣдный тушъ борзымъ играли—
 И надрываясь хохотали
 Чины, князья и богачи!..
 И къ капельмейстеру въ науку
 Велѣлъ дворовыхъ князь согнать
 И приказалъ ихъ обучать,
 Хотя на скорую бы руку,
 Но чтобъ къ зимѣ ужъ былъ готовъ
 Оркестръ для княжескихъ баловъ.
 И часто съ дочкой въ разговорѣ
 Припоминалъ старикъ свое
 Холопье, сладкое житье,
 Молчкомъ пережитое горе:
 Какъ волей барской былъ давно
 Онъ отъ буфета взять ошибкой
 И быть ему повелѣно
 За ростъ примѣрный—первой скрипкой.
 И хоть не мало потужилъ,
 Но точно, сталъ онъ музыкантомъ,—
 И за искусство князь почтилъ
 Его на куртки краснымъ кантомъ.

Хоть онъ и былъ еще не старъ,
 Но рано выслужилъ сѣдины,
 И по лицу его морщины
 Прошли... отъ милостей у баръ.
 Холопій вѣкъ не больно дорогъ:
 Все жилъ да жилъ, Богъ вѣсть къ чему,
 Да какъ-то вдругъ, ужъ лѣтъ подь-сорокъ,
 Припала по сердцу ему
 Параша.—Дѣвка-то на славу!
 Съ двора: садовникова дочь;
 И ей скрипачъ-то былъ по праву,
 Да и садовникъ самъ не прочь:
 Къ чему съ хорошимъ человѣкомъ
 Не породниться? И вначѣтъ
 Старикъ бы выхолить былъ радъ,
 Своимъ недужнымъ, древнимъ вѣкомъ
 Понаглядѣться бы на нихъ,—
 Да вышелъ имъ неладный стихъ:

Пошелъ, какъ слѣдъ, скрипачъ съ поклономъ,
 Что такъ и такъ, молъ... жить закономъ,
 Хочу... и дѣвку подыскалъ
 Такъ ужъ позвольте, молъ, жениться!
 И прямо въ ноги... Обласкалъ
 Его самъ князь и приказалъ
 Къ себѣ съ невѣстою явиться.
 Явились. Князь-то какъ взглянулъ,—
 И видитъ: дѣвушка красива!..
 Скрипачъ-то сразу не смекнулъ,
 Въ чемъ дѣло.—Вдругъ, ему на диво,
 И соизволь-ка князь сказать,
 Что этой свадьбѣ не бывать.
 Тѣ—въ ноги, въ слезы вдругъ съ печали!—

Ушелъ и слушать не хотѣлъ,
 Имѣя много важныхъ дѣлъ;
 А чтобы впредь не приставали,
 Такъ повелѣлъ—на много лѣтъ
 Внушить имъ отческій совѣтъ.

Что дальше было—всякій знаетъ!..
 Не даромъ князя и досель
 Скрипачъ добромъ не поминаетъ!..
 Исчезъ въ немъ скоро первый хмѣль
 Минутной прихоти и страсти,
 И онъ Парашу отпустилъ,
 Затѣмъ, что новой занять былъ
 Продѣлкой по сердечной части.

Но принесла она во дворъ
 Себѣ дѣвическій позоръ,
 Да стыдъ, да горе, да кручину...
 Какъ свѣчка, таючи жила
 И какъ-то ночью ужъ пошла
 Себѣ высматривать осину.
 Скрипачъ молчалъ, не подходилъ,
 И только по двору бродилъ,
 Какъ ночь осенняя, угрюмо;—
 Но зоркимъ глазомъ сослѣдилъ
 Ея отчаянную думу:
 Пошелъ за ней онъ, въ поздній часъ,
 И въ темномъ лѣсѣ, на просторѣ,
 Съ ней вмѣстѣ выплакалъ все горе
 И отъ осины дѣвку спасъ.

Но время шло—и улегалась
 Молва людская про нее;
 Вольнѣй обнимъ имъ дышалось,
 Сноснѣй казалось житье.
 Бывало, день-деньской, при людяхъ,
 Другъ съ другомъ порознь, все молчатъ;
 И хоть одинъ бы выдалъ взглядъ
 Все то, что накопило въ грудихъ!
 И только ночью иногда
 Она, тайкомъ, въ слезахъ горячихъ
 Сойдется съ нимъ то у пруда,
 То въ конопляникахъ пахучихъ;
 А тамъ—уйдутъ въ зеленый лѣсъ,
 Въ орѣшникъ частый, подъ навѣсъ
 Сырыхъ вѣтвей.—Въ лѣсу привольно:
 Тамъ сердцу жутко, но небольно!..

Хоть князь давно и позабылъ
 Про грѣхъ съ садовниковою дочью,
 Хоть и скрипачъ давно ходилъ
 Видаться съ нею, темной ночью,
 Да и попрежнему хотѣлъ
 Съ Параней честно повѣнчаться,
 Однако впредь уже не смѣлъ
 Онъ съ просьбой къ барину явиться;
 И люди добрые, подь-часъ,
 Имъ о женитьбѣ намекали,
 Но... баринъ строгъ—и не дерзали
 Нарушить княжескій приказъ.

Однажды, въ оргіи бурливой,
Гдѣ князь сатрапомъ возлежалъ,
Самодовольный и кичливый,
И каждый гость предъ нимъ дрожалъ,
И какъ червякъ, и какъ букашка
То пресмыкался, то юлилъ,—
Вдругъ неожиданно хватилъ
Его сіятельство ковдрашка.

Черезъ три дня, богатый гробъ,
На колесницѣ съ балдахинѣмъ,—
Сивклитъ поповъ, соборнымъ чиномъ,
Съ толпой значительныхъ особъ
Сопровождали въ склепъ фамильный.
И тутъ же, съ дворнею обильной,
Шли равнодушно мужики;
Зато букашки, червяки—
Всѣ подымали вой умильный!
Затѣмъ, витія-протопопъ
Почтилъ сіятельнѣйшій гробъ
И мертвеца приличнымъ словомъ:
«О житія его суровомъ,
«О добродѣтеляхъ его
«И доблехъ подвигахъ отчизнѣ»,
И пригласилъ къ обильной трізнѣ
«Отъ праха бременаго сего».

И не мечталъ скрипачъ про долю,
Но князь въ духовной заявилъ,
Чтобы наслѣдникъ отпустилъ
Всю дворню барскую на волю.—

И вотъ съ Парашею вдвоемъ,
Какъ двѣ былинки въ чистомъ полѣ,
Вдругъ очутился онъ на волѣ
Съ кой-какъ прикопленнымъ грошомъ,
Да съ бѣдной скрипкой. Обвѣчался
Тотчасъ же съ ней, да и собрался
Со всѣмъ убогимъ скарбомъ въ путь—
Пока еще не сгибли силы,
И лишь на отчія могилы
Сходилъ въ послѣдній разъ взглянуть,
Слезу послѣднюю тамъ вытеръ,
Да и махнулъ съ Параней въ Питеръ.

Добрался кое-какъ туда,
Въ ненастный день, по зимней вьюгѣ,
Каморку нанялъ съ ней въ лачугѣ,
По цѣлымъ днямъ искалъ труда,
Но... въ Петербургѣ такъ ведется,
Что честно трудъ едва-ль дается!..

Ходилъ онъ, правда, каждый день,
Въ своемъ костюмишкѣ печальномъ—
Да лишь считалъ число ступенъ,
Проя въ оркестрѣ театральномъ
У мепената-богача
Себѣ мѣстечко скрипача.
Къ несчастью, фракъ на немъ былъ бѣденъ,
А самъ съ лица забыть и бѣденъ,

И безъ протекціи къ тому-жъ,
Онъ всюду былъ и сирѣ, и чуждъ,
И даромъ только съ годъ шатался
А мѣста все же не дождался.

И вотъ—пошелъ онъ по дворамъ
Бродить со скрипкой, по грошамъ
Сбирая скудные подачки;
Параша стала мыть бѣлье,
Какъ нанялась подѣнно въ прачки,
И добывала на житье,
Трудомъ, свою копейку тоже;
Да надрываясь ночь и день,
Вдругъ за годъ стала словно тѣнь,
На человѣка не похожа!
Не одолѣлъ бѣднякъ нужду!
А тутъ еще, имъ на бѣду,
Дитя родилось: дочка—Маня.
И обезсилѣвъ отъ заботъ,
Параша, въ день, среди работъ,
Была и мамка ей, и няня,
Да жалъ бѣдняжку: не смогла—
И отъ чахотки умерла.
Отдавшись съ горюшка похмѣлью,
Еще угрюмѣй сталъ скрипачъ,
И часто въ ночь, заслышавъ плачъ,
Онъ самъ рыдалъ надъ колыбелью,
Рыдая пѣсню напѣвалъ,
Бажалъ дочку и качалъ.
Да къ счастью, тутъ нашлась сосѣдка,
Старушка нищая;—и жалъ
На безпомощную печаль
Глядѣть ей стало. Малолѣтка
Она призрѣла у себя,
И цѣлый день, пока со скрипкой
Старикъ ходилъ, она, съ улыбкой
Уныло-робкой и скорбя,
Съ дитей по улицамъ бродила
И подаенія просила.

Но вотъ и Маня подросла:
Шестой годокъ пошелъ ребенку;
А тамъ и въ землю старушонку
Сама полиція сдала,—
И стала Маня безъ старушки
Сбирать по улицамъ полушки;
Съ утра до вечера съ отцомъ,
И по жарѣ, и подъ дождемъ,
Подъ непривѣтнымъ, хмурымъ небомъ
Бродить по городу за хлѣбомъ;
Изнемогая и спѣша,
Плясать и пѣсни пѣть подъ скрипку,
Чтобъ гдѣ-нибудь сорвать улыбку
Богатыхъ баръ изъ-за гроша.

III.

И странный это былъ ребенокъ:
Всегда болѣзненно-блѣдна
И тайной робости полна;

А голосокъ у ней былъ тонокъ
И тихъ, и нѣженъ... Не вились
Ея волосики вкругъ шейки
Янтарнымъ шолкомъ, будто эмѣйки,
А только рѣдкой прядью внизъ
Спускались прямо по головкѣ;
И въ правѣ не было у ней
Ни къ хитрости живой сноровки,
Ни къ рѣзвости, какъ у дѣтей;
Ея голубенькіе глазки,
Казалось, будто просятъ ласки
И сожалѣнья... и порой
Слегка туманились слезой...
Еще ни разу не сходилась
Нигдѣ съ дѣтymi играть она,
Но, одинока и грустна,
Съ однимъ Азоркой лишь дружилась.
Уйдетъ, бывало, въ лѣтній день
Съ нимъ на Смоленское кладбище, —
А тамъ и воздухъ душный чище,
И елки пахнуть, и сирень, —
И межъ могильными плитами
Забившись, часъ, другой сидятъ
И съ легкимъ трепетомъ глядятъ
На искры солнца надъ крестами,
И чутко слушаютъ, какъ гулъ,
Вдоль по деревьямъ пробѣгая
И, будто говоръ, замирая,
Далеко къ морю потянуть. .
А нѣтъ, — такъ подъ-вечеръ съ Азоромъ
Ко взморью въ поле убѣжить
И долго въ даль пытливымъ взоромъ
На зорю алую глядитъ;
Въ траву заляжетъ средь лужайки
И смотреть въ небо: журавли
Летятъ по небу, а вдали
Блестятъ крыломъ на солнцѣ чайки;
Далеке гдѣ-то молотъ бьетъ:
Вбиваютъ сваи... И поетъ
Тамъ, слышно, пѣсню запѣвало:
«И што-й ты свая наша стала!» —
И вѣтеръ пѣсню ту несетъ
Вдоль по водѣ, далеко къ морю,
Гдѣ потонутъ ей, словно горю...

А то, — вдругъ личикомъ къ травѣ,
Съ пыливой думой въ головѣ,
Приникнетъ Маня такъ любовно
И смотреть — глаза не сведетъ,
Какъ травка каждая растетъ
И какъ колышется неровно.

Пойдетъ по берегу гулять, —
И любю ей объ эту пору
Морскіе камешки собирать
И плестъ вѣнки: одинъ — Азору
На шею вдѣнетъ, а другой
Сплететъ себѣ, и такъ красиво
Советъ его надъ головой, —
И побѣжитъ предъ ней ретиво
Азоръ, въ вѣнкѣ своемъ, домой.

Межъ-тѣмъ, что день, то больше нужды!
Пришибло горе старика! —
И стали двери кабака
И для него порой не чужды...
Придетъ иной разъ онъ домой
Такой сердитый и хмѣльной,
Ни слова ласково не скажетъ, —
Прикрикнетъ развѣ на дитя,
Да отвернется... и кряхтя,
На печку спать себѣ заляжетъ.
Проспится къ утру, — какъ съ сквозь сонъ,
Про хмѣль вчерашній вспомнить онъ,
И станетъ за себя обидно!..
И такъ-то совѣстно и стыдно
Глядѣть на дѣвочку... И вдругъ
Лишь вспомнить онъ, что и не видѣлъ,
Какъ даромъ дочь вчера обидѣлъ, —
Такая боль, такой испугъ
Его охватятъ, какъ недугъ,
Что весь бы свѣтъ возненавидѣлъ!..
И онъ въ смущеніи сидитъ,
Пойдетъ леденчиковъ ей купить,
Скорѣй съ гостинцемъ прибѣжить
И робко такъ ее голубить,
Головку гладитъ и глядитъ,
Любовно такъ глядитъ на дочку, —
Рука дрожитъ въ ея рукѣ, —
И жметъ онъ худенькую щечку
Къ своей морщинистой щекѣ...
И полонъ скрытаго мученья,
Все такъ глядитъ въ ея глаза,
Какъ будто выпросить прощенья
У дочки хочетъ... А слеза
Ужъ смыла старую ошибку, —
Но все глядитъ, все хочетъ онъ
Поймать въ лицѣ ея улыбку,
Поймать — и счастливъ: онъ прощень! —
Она обиду позабыла,
И улыбнулась, и простила!..

IV.

Ужъ мартъ въ концѣ. Ненастный день:
То снѣгъ, то дождь... И грязь, и слякоть —
Надолго, знать, собралось плакать
Родное небо!.. Всюду тѣнь
Какая-то отъ тучъ ложится,
И вѣтеръ свищетъ надъ Невой,
А съ грязныхъ улицъ паръ гнилой
Со смрадомъ надъ землей садится.

Въ сырой канурѣ скрипача
И мракъ, и холодъ... На кровати
Больная Маня въ лихорадкѣ,
Сюртукъ отцовскій на плеча
Накинувъ съ холоду, трясется,
Сидитъ въ углу и къ стѣнкѣ жмется,
И взоръ унылый и больной
Въ оконце тусклое вперяетъ:
Тамъ, за оконцемъ, дождь гуляетъ,

И голымъ прутьемъ вѣтеръ злой
Колотитъ въ стекла, какъ шальной,
И стукомъ тѣмъ ее пугаетъ.
А передъ Манею Азоръ
Улегся на полу лѣниво
И, свѣсивъ морду такъ тоскливо,
Межъ крѣпкихъ лапъ, онъ грустный взоръ
Съ нея не сводитъ, словно чувствуетъ,
Что крѣпко дѣвочка тоскуетъ.
Ужъ третій день она больна;
Старикъ одинъ со скрипкой бродитъ,
А Маня ждетъ, и отъ окна
До ночи взора не отводитъ;
Ужъ третій день, какъ онъ домой
Какой-то мрачный и больной
Приходитъ къ ночи, и для Мани
Приноситъ только хлѣбъ въ карманѣ,
А самъ не ѣстъ и на кровати
Ложится тотчасъ молча спастъ.
Вотъ и теперь: ужъ вечеръ скоро,
И Маня ждетъ... Но слухъ Азора
Шаги слышалъ у воротъ,—
Ну, такъ и есть: отецъ идетъ...
Вошелъ,—весь мокрый и сердитый,
Какъ ночь угрюмъ, а самъ молчать;
И весь такъ блѣденъ, весь дрожитъ
И смотреть въ землю... Какъ убитый,
Облокотившись къ столу,
Онъ какъ-то рухнулъ на скамейку
И сѣлъ.

И сквозь ночную мглу,
Такъ робко вытянувши шейку,
Малютка смотритъ на отца,—
Но часъ прошелъ, а онъ лица
Еще не поднялъ. И съ тоскою,
Въ невольный страхъ погружена,
Къ нему тихонько вдругъ она
Подходить:

— Тятя, что съ тобою?..

И какъ ужаленный, старикъ
Вскочилъ вдругъ съ мѣста... Дикій крикъ
Изъ груди вырвался невольно
И засверкалъ потухшій взоръ...
И Боже! какъ въ ребенкѣ больно
Отозвался его укоръ:

— Молчать!.. Небось, все хочешь хлѣба?—
Гдѣ-жъ взять?! Не велика потреба
И такъ уснешь!.. Я самъ, какъ песъ
Голодный, ѣсть хочу до боли!..
Ужъ хоть бы чортъ меня унесъ,
Аль умерла-бъ скорѣй ты, что ли,
Такъ хоть не видѣла-бъ глаза
Всей этой муки!.. Вѣдь другому,
Глядишь, и смерть есть, и гроза,
А намъ—живи, да жуй солому,
Да пей изъ лужи безъ ковна!..
Вотъ... я... для праздника Господня,

На хлѣбъ... ни мѣднаго гроша
Нигдѣ не выпросилъ сегодня!..

И онъ умолкъ. У синихъ губъ
Съ хрипѣньемъ показалась пѣна—
И вдругъ упалъ онъ на колѣна
И на-полъ грохнулся, какъ трупъ.

Вскочила Маня, задрожала—
И вонъ изъ дому!.. Не боясь
Пустынныхъ улицъ, черезъ грязь
Она въ безпамятствѣ бѣжала...
Рыданья ей душили грудь
И горло сперли, дождь ручьями
Полосовалъ ее, но путь
Ей незамѣтенъ былъ: огнями
Свѣтилась даль—и къ тѣмъ огнямъ,
Казалось, будто уносила
Ее невѣдомая сила.
По топкимъ лужамъ, по камнямъ,
Ноженки въ кровь себѣ израни,
Бѣжить, не чуя боли, Маня,
Бѣжить, толкаясь, и людей
Хватать старается руками,—
Моля ихъ дикими глазами,—
Но всѣ сторонятся отъ ней,
Дивясь, о чемъ она хлопочетъ?
Хотя и слышатъ, что бормочетъ:
«Тамъ тятя... тятя... хлѣба ждетъ...
Спасите!.. грошъ одинъ... умереть!»
И молить ихъ, и стонетъ тяжело,
И все бѣжить, бѣжить бѣдняжка.
И вотъ, она ужъ на мосту,
Вся въ лихорадочномъ поту;
Предъ ней сверкающая лента
Вечернихъ, яркихъ фонарей;
А Маня—все скорѣй, скорѣй!
И на какого-то студента
Наткнулась вдругъ. Одинъ лишь онъ
Остановился предъ голодной,
Схватилъ ее и, окружонъ
Толпой бессмысленно-холодной
Тотчасъ нахлынувшихъ зѣвакъ,
Сталъ-было спрашивать съ участиемъ,
И кто она? и что, и какъ?
Куда бѣжитъ, съ какимъ несчастьемъ?
Но та, не слыша ничего,
Лишь перерывисто лепечетъ
И, все моля Богъ вѣсть кого
Подать ей грошъ, такъ дико мечетъ
Голодный взоръ свой на людей;—
И незадумавшись, ей
Бѣднякъ, къ добру всегда готовый,
Послѣдній отдалъ свой цѣлковый,
Что самъ добыть едва лишь могъ
На хлѣбъ насущный за урокъ.

И вдругъ, на мигъ забывши муку,
Не вѣря съ радости глазамъ,
Она подавшую ей руку

Схватила крѣпко и къ губамъ
Ее прижала что есть мочи,—
И вдругъ назадъ еще скорѣй
Бѣжать пустилась отъ людей.
Въ ненастный мракъ холодной ночи.

И вотъ ужъ дома. Глядь—отецъ
Уже очнулся... Какъ мертвецъ
Сидитъ въ углу, не подымаясь...
Она къ нему! и, задыхаясь,
Едва сказала наконецъ:
«Вотъ деньги, тятя... я достала!»
Хотѣлось глубже ей вздохнуть—
Да не смогла, и вдругъ на грудь
Безъ чувствъ къ нему, какъ спопъ, упала.

V.

Весна приспѣла... тихій май
Съ своими бѣлыми ночами
Благоухаетъ надъ садами,
И въ небѣ много-много стай
Летитъ на лѣтнія кочевья;
Перятся тонко облака,—
И закудрявились слегка
Смолистой зеленю деревья.
Подъ крупнымъ ливнемъ вѣшнихъ тучъ.
Вездѣ свѣтло, тепло, привѣтно!
И даже къ нищимъ незамѣтно
Прокрался яркій, теплый лучъ—
И по стѣнѣ сырой и грязной
Онъ вдругъ то зайчикомъ взбѣжитъ,
То сквозь деревья зарыбитъ
Въ окно игрой разнообразной.
И Манѣ весело глядѣть
На это солнышко, сквозь сѣть
Весеннихъ листьевъ!.. Душно, тяжело
Лежать малюткѣ: все больна
Ужъ больше мѣсяца она, —
Въ чахоткѣ стояла бѣдняжка
Съ той самой ночи... И взглянуть,
Такъ жутко станетъ: эти глаза
Запали глубоко, и ласки
Еще больнѣе просить... Грудь
Ввалилась, хилая, и дышетъ
Порывисто и тяжело,
Какъ будто что-то залегло
Внутри ея и зноеть пышетъ,
И жжетъ, и давитъ... А щека
Зловѣщей краскою слегка
Покрылась.—И она не знала,
Что страшной смертью умираетъ!

...Все тихо. Утро. Мягкій свѣтъ
Бросаетъ солнце вглубь каморки
На столъ да на сухія корки —
Вчерашній ужинъ иль обѣдъ;
И старика задѣвъ украдкой,

Вдоль по лицу его скользить, —
А онъ, убитый, надъ кроватью
Не шелохнувшись сидитъ
И смотритъ пристально и чутко,
Какъ дышетъ спящая малютка:
Ей тяжело... Но вотъ она
Тихонько вздрогнула со сна
И глазки медленно раскрыла,
Отъ солнца щурясь, и на свѣтъ
Взглянувъ, улыбкою привѣтъ
Ему послала и спросила:

— Ты, тятя, здѣсь?.. Раскрой окно:
Мнѣ душно, давитъ... Вишь какая
Теплынь!.. Вѣдь скоро мнѣ должно
И выздоравливать. — Пошла я
Гулять бы... Да раскрой скорѣй:
Дышать мнѣ хочется!..

И ей

Раскрылъ окно старикъ. Пахнуло
Вдругъ свѣжимъ воздухомъ. Весной
Запахло въ комнатѣ больной, —
И жадно грудь ея вдохнула
Живую, бодрую струю!..
А вѣтвь черемухи ворвалась
Въ окошко къ ней и закачалась
Вся бѣлымъ цвѣтомъ, и свою
Густую листву распустила
Надъ бѣдною Маней и прикрыла
Ее отъ солнца; а цвѣты
Разлили полной густоты
Медовый запахъ надъ больной
И всю осыпали слегка
Вдругъ лепесточками... Рука
Такъ и тянулась за листвою, —
Такъ и хотѣлось сорвать,
Перетянувшись за окошко,
Густую бѣлую сережку
Цвѣтовъ пахучихъ и прижать
Пучекъ холодный и росистый
Къ щецѣ горячѣй и сухой,
И грудью жадной и больной
Впивать до одури-душистый
Ихъ ароматъ...

И добрый взоръ

Къ отцу бѣдняжка обращаетъ:

— Голубчикъ, тятя!.. выдь на дворъ:
Теперь вѣдь травка зацвѣтаетъ, —
Нарви травы мнѣ!.. Съ коихъ поръ
Ужъ не видала я и сада!..
Да наломать еще бы надо
Березки свѣжѣй, да хоть три
Пучка черемухи, смотри,
Не позабудь еще!.. Давно я
На нихъ хотѣла бы взглянуть
Да надышаться: можетъ грудь
Не такъ ломило бь...

И отъ зноя

Той острой боли, Маню вдругъ

Душить сталъ кашель, и отъ мукъ
Чуть выжалъ пару крупныхъ слезокъ.

И наломалъ старикъ березокъ,
Цвѣтковъ черемухи нарвалъ,
И всю постельку надъ больною
Усыпалъ свѣжею травою,
А за подушку повтыкалъ
Надъ головой вѣтвей душистыхъ,
Устроилъ садикъ; — и цвѣты
Дышали ўтромъ, а листья
Роняли тихо капли чистыхъ
Росинокъ на головку къ ней, —
И Манѣ легче и бодрѣй
Вздохнулось въ холодкѣ тѣнистыхъ
Листовъ... И вотъ она отцу
Лепечетъ снова, — а улыбка
Такъ и играетъ по лицу:

— Ахъ, тятя! Сердце-то какъ шибко
Забилось: къ радости, никакъ? —
Да чтó ты право скученъ такъ?
Возьми-ка лучше въ руки скрипку,
Да сядь поближе и сыграй
Мнѣ пѣсенку... Вѣдь я здорова
Ужъ буду скоро: вотъ и май
Еще не минетъ, какъ ужъ снова
Пойдемъ мы вмѣстѣ по дворамъ,
И пѣть съ тобой, какъ прежде, станемъ;
Пойдемъ по дачамъ, по садамъ; —
Авось, теперь, Богъ дастъ, доставемъ
Тебѣ и на шинель къ зимѣ! —
Ужъ только ты-то на умѣ
Лишь не загадывай про горе;
А я-то выздоровлю, — знай! —
Вѣдь хорошо какъ на просторѣ
Лежать мнѣ тутъ!.. А ты сыграй
Теперь мнѣ пѣсенку...

И грустно
Онъ скрипку взялъ, — и вотъ смычокъ
Прошелъ по струнамъ неискусно, —
Но какъ сердеченъ и глубокъ
Былъ первый звукъ!.. И занывая,
Все крѣпнеть онъ и къ сердцу льнетъ —
И пѣсня тихая растетъ,
Ростетъ, какъ скорбь родного края,
Вся разливаясь широко,
И, больно за-сердце хватая,
Уноситъ душу далеко...

Играетъ онъ, — а тутъ березы
Надъ ними льютъ свой ароматъ;
И у обоихъ тихо слезы
Ужъ на рѣсницахъ чуть дрожать...
Для Мани — рай теперь каморка! —
Ей не замѣтитъ этихъ слезъ:
Ей хорошо!.. Предъ ней Азорка
Стоитъ, ослабѣя, — но и песь,
Кажись, тѣхъ слезъ не замѣчаетъ:
Онъ только нѣжно языкомъ
Ей лижетъ руку, да хвостомъ

Отъ удовольствія махаетъ.
Сыгралъ старикъ — и робкій звукъ
Изъ-подъ его дрожащихъ рукъ
Угасъ, какъ будто замеръ гдѣ-то,
Весь полонъ скорби и привѣта,
И съ нимъ, казалось, отлегла
Отъ сердца грусть. — И, духомъ свѣтелъ,
Онъ не слыхалъ и не замѣтилъ,
Какъ смерть тихонько подошла,
Какъ сладокъ былъ конецъ тѣмъ мукамъ
И какъ съ послѣднимъ этимъ звукомъ
Неслышно Маня умерла. —
Онъ радъ, что дочку позабавилъ!..
Но чуть взглянулъ — и вдругъ глаза
Въ ребенка мертвого уставилъ,
И неподвижная слеза
Застыла въ нихъ... И то раздумье
Похоже было на безумье;
И дикъ, и страшнень, какъ мертвецъ,
Въ глухомъ отчаяннѣи, отецъ
Сидѣлъ надъ мертвой. — И казалось,
Что та же самая тоска
И то-жъ безумье отражалось
Въ глазахъ другого старика —
Въ глазахъ Азорки: онъ съ мученьемъ,
Весь вздрогнувъ, тихо поднялся
И съ тѣмъ же скорбнымъ выраженьемъ
Въ лицо пугливо ей выпился. —
И въ этотъ мигъ, у той постели,
Казалось, поняли они,
Что счастья ихъ минули дни,
Что оба вдругъ осиротѣли!..

VI.

И онъ, какъ прежде, по дворамъ
Пошелъ со скрипкой... По грошамъ
Кой какъ собралъ на гробикъ денегъ,
И такъ усердно ихъ собиралъ,
Что чуть не всякъ ли замѣчалъ:
«Знать, старина тово... хмѣльчинецъ»!..
Но ни одинъ не разгадалъ
И не подслушалъ слезъ и вздоха
Изъ хилой груди скомороха!..
И въ ночь уже, въ прозрачной мглѣ,
Лежала Маня на столѣ,
Покрыта бѣлой простынею,
Въ веселомъ вѣнчикѣ цвѣтовъ —
И весь усыпанъ былъ травою
Ея младенческой покровъ.
А поутру, едва въ оконце
Ударилъ лучъ по мертвецу
И заиграло рѣзо солнце
По блѣдно-желтому лицу, —
Старикъ литью по ней отправилъ,
Понесъ на улицу свой столъ
И у воротъ его поставилъ;
Потомъ — за гробикомъ пошелъ,
На столъ поставилъ гробъ убогій,
А самъ, присѣвъ на стулъ треногій,

У гроба пѣсню заигралъ,
Что ей предъ смертью напѣвалъ.

Проходятъ люди мимо дому
Предъ старымъ нищимъ, въ добрый часъ,
И по обычаю святому,
Издревле чтимому у насъ,
По грошу въ гробикъ всякъ кидаетъ,
Пока для дочки изъ грошей
Старикъ хоть рубль, не набираетъ
На крестъ и похороны ей.

А утро — утро золотое,
Благоухаетъ и горитъ,
И въ блескѣ небо голубое
Весенней пѣсней звучитъ.

1861

Ф р и н а.

I.

У Фрины пиръ. Давно Аонины
Въ тиши уснули мирнымъ сномъ,
Лишь у одной развратной Фрины
Огнями блещетъ шумный домъ.
Вокругъ стола, наливъ потѣры
Виномъ душистымъ, всѣ въ цвѣтахъ,
Едва прикрытыя гетеры
Лежатъ на пурпурныхъ коврахъ;
И между нихъ, какъ перлы пира,
Аонскихъ гражданъ лучший цвѣтъ:
Съ улыбкой пьянаго сатира
Вожди, философы, поэтъ,
И демагоги, и ваятель —
Всѣ бодро пьютъ, и сна имъ нѣтъ,
И лишь, застольный предсѣдатель,
Заснулъ архонтъ, румянъ и сѣдъ, —
И кто-то вдругъ, для смѣха, шляпу
Его надѣлъ на плѣшь Пріану.
Забыто все: народа боль,
Дѣла, политика и драмы —
И жжетъ ихъ только эпиграммы
Одна аттическая соль.
Тамъ все покорно сладострастью
Передъ всеильной пылкой властью
Богини-Фрины, — не забыть
При ней одинъ лишь аппетитъ;
А въ окна ночь глядитъ изъ сада,
И льется вешняя прохлада,
Какъ благовонная струя
И, сладкой страстью сердце жая,
Доносить съ запахомъ миндаля
Далекій грохотъ соловья.

На блюдахъ третью перемѣну
Рабы азійскіе несутъ,
И гости шумные на сцену
Плясать танцовщицу зовутъ.
И вотъ харита-лезбіянка

Выходить къ нимъ изъ-за колоннъ:
Ея глаза, ея осанка
И гибкій станъ — со всѣхъ сторонъ
Срываютъ крики удивленья,
Но вотъ аккордъ, но вотъ поклонъ,
Вотъ стройно легкія движенья; —
Въ отвѣтъ на нихъ — восторговъ гулъ,
И даже самъ архонтъ, въ просонкахъ,
Сей старецъ, въ дѣвственныхъ пеленкахъ,
Прошамкалъ что-то и заснулъ.

Она танцуетъ и сжигаетъ
Огнемъ любви мужей и дѣвъ;
То вдругъ летитъ, то замираетъ
Подъ іоническій напѣвъ.
И гордой Фрины страсть и ласку
Ея любовникъ Гиперидъ
Забывъ въ тотъ мигъ — и только пляску
Очами страстными слѣдитъ.
А Фрина видитъ — но обиду
Ей въ скрытой ревности не снести,
И за измѣну Гипериду
Она въ душѣ готовить месть.
Всѣ гости пляскѣ рукоплещутъ,
Гетеръ вниманьемъ не дая, —
И взоры Фрины пылко блещутъ,
Лезбосской страстію горя;
И подзывая лезбіянку,
Она ей лечь съ собой велитъ
И всѣхъ на новую приманку
Коварно дразнить и манитъ;
И, приказавъ налить потѣры,
Съ застольной статуи Клееры
Вѣнокъ священный сорвала
И, увѣнчавъ чело хариты,
Во славу новой Афродиты
Заздравный кубокъ подняла.
Смутились гости: богохуленъ
Казался всѣмъ ея порывъ. —
Какъ знать? Доносъ теперь не мнѣ:
Имъ каждый шагъ подкарауленъ,
А въ этотъ разъ онъ и не лживъ! —
И пиръ ужъ не былъ такъ разгуленъ...
Но Фринѣ — смѣхъ! Ей все равно!
Пусть на нее шпіонъ доноситъ!
Что ей доносъ, коль сердце проситъ
Отмщенья — и отмстить должно!
И вся отдавшись поцѣлюю,
На всю бесѣду круговую
Она презрительно глядитъ,
И, лезбіянку молодую,
Держа въ объятяхъ, говоритъ:

— Вы мелки всѣ!.. Вы испугались!..
Чего-жь? — Правдивой похвалы?!
Зачѣмъ же ея вы плѣнялись,
Когда вы духомъ такъ малы?
Кто-жь былъ межъ вами Эллинъ истый,
Титаны словъ, пигмеи дѣлъ,
Коль даже Гиперидъ рѣчистый
Благоразумно присмирѣлъ?!

Вы жалки мнѣ! И я отнынѣ
Не протяну руки мужчинѣ!
Кипридѣ съ вами — не служу!
И все презрѣнье къ вамъ, безгласнымъ,
Къ вамъ, каплунамъ трусливо-страстнымъ,
На вашемъ богѣ докажу!

И вдругъ, на страхъ и диво пиру,
Она къ Приану подошла
И плюнула въ лицо кумиру,
И свергла на полъ со стола.
И разошлись, красныя, гости —
Кто отъ стыда, а кто отъ злости,
И всякъ изъ нихъ съ собой унесъ
Боязнъ за будущій доносъ.
Лишь Гиперидъ остался съ Фриной.
Но какъ ни льстилъ у милыхъ ногъ, —
Въ разгадку выпытать не могъ
Отъ ней онъ мысли ни единой,
И всю-то ночь изъ милыхъ глазъ
Встрѣчалъ насмѣшку и отказъ!..

II.

Враговъ у Фрины есть не мало,
А Эвтій — первый: дряхлѣ архонтъ,
Но переплыть бы Геллеспонтъ,
Кажись, готовъ, во что-бъ ни стало,
Лишь только-бъ Фрину погубить,
За то, что та не отвѣчала
Ему, когда ханжа сначала
Хотѣлъ любовь ея купить.
И вотъ — на утро всѣ Аѣины
Ужъ возмущилъ поступокъ Фрины,
И кѣмъ-то сдѣланный доносъ
Въ совѣтъ мужей Ареопага
На разсмотрѣнье Эвтій внесъ,
А съ нимъ предстала на допросъ
И жесвидѣтелей ватага.
Передъ судилищемъ народъ...
Повсюду говоръ, нареканья:
«О, горе! Намъ Зевесъ пошлетъ
Теперь за Фрину воздаянье!»
Кричатъ вездѣ и наказанья
Преступницѣ не медля ждутъ,
Чтобъ предъ лицомъ Ареопага,
Пока въ нихъ къ мести есть отвага,
Начать въ ночи народный судъ.

III.

Темница... Слабый свѣтъ лампы
Неровно брезжетъ по стѣнамъ...
Глухіе своды и аркады
Уходятъ въ мракъ... То здѣсь, то тамъ
Вдругъ нетопыръ, на свѣтъ наткнувшись,
Въ гранитъ ударится крыломъ
И въ тьмѣ исчезнетъ. — И, очнувшись,
Вся вздрогнетъ узница... Кругомъ

Все такъ мертво, а за оградой
Слышны народа голоса,
Но не участвомъ, не пощадой
Тебѣ звучать они, Элладой
Обожествленная краса!..

И въ этомъ мракѣ, у колонны,
Подъ отдаленный гулъ толпы,
Сдави въ груди и страхъ, и стоны,
Объ васъ, республики столпы,
Теперь мечтаетъ грустно Фрина:
Не вы ли сами ей клялись,
Что въ ней божественно слились
Для васъ Киприда и Аѣина?
Ужели — вы, кому въ сто кратъ
Милѣй общественныхъ наградъ
Была одна ея улыбка...
Того-ль страшить ея ошибка,
Кому капризъ иль даже взглядъ
Одинъ ея закономъ были,
Кто, какъ блаженству, былъ бы радъ
Ея единой ласкѣ, — вы ли
Надъ ней свершите приговоръ?!
И не содрогнетесь, и взоръ
Не помутится отъ боязни,
Когда, въ минуту лютой казни,
На камни острые къ волнамъ
Ее палачъ съ утеса сброситъ?!
Народъ ей жизни не испроситъ!
А вы... пойдете послѣ въ храмъ
Съ благодареніемъ богамъ...?
Не можетъ быть!...

Но вотъ затворы

Гремятъ, — и двери отперлись:
Въ послѣдній разъ сюда сошлись
Рабыни Фрины, только взоры
Ихъ не надеждой, но тоской
И погребальною слезой
Горѣли; — значитъ, нѣтъ пощадъ!...
Пора на судъ. Въ послѣдній разъ
Рабыни лучшіе наряды
Ей подають въ предсмертный часъ —
И безъ слезы, и безъ надежды
Она въ роскошныя одежды
Какъ жрица страсти облеклась,
И волны косъ откинувъ смѣло,
Вдоль по плечамъ ихъ развила
И благовонія на тѣло,
Какъ передъ пиромъ, пролила.

IV.

Взошла на небо ночь Эллады,
Дыханьемъ розъ напоена:
Молчитъ Эгейская волна;
Зато въ садахъ звучать цикады,
И дремлютъ, стрѣги и горды,
Осеребренные порталы,
И стройныхъ тополей ряды,
И тамъ, вдали, поля и скалы...

Полны волшебной красоты
Колонны, храмы и чертоги,
И лунным блескомъ съ высоты
Залиты мраморные боги.
И что-жь!... казалось бы, въ сердца
Такая ночь влила бы счастье,
И всепрощенье и участъе
Зажгла бы въ людяхъ безъ конца,—
А между тѣмъ — сошлись Аеины
Передъ судилищемъ и ждутъ,
Чѣмъ кончатъ геліасты судъ,
И жаждутъ казни — казни Фрины.

Въ защиту Фрины говорить
Ораторъ славный Гиперидъ —
Ея любовникъ. Но подъ сводомъ,
Склонясь къ колоннѣ на гранитъ,
И предъ судомъ, и предъ народомъ
Она безмолвная стоитъ.
И тщетно все: неумолимы
И геліасты, и народъ—
И только, злобою палимы,
Сулятъ ей смерть. И не спасетъ
Ее горячій голосъ друга!...
На жалость ихъ не преклоняетъ
Ни скорбь предсмертнаго испуга,
Ни бѣдной жертвы робкій взглядъ —
Ея раскаянье и горе,
Ни эта ночь, ни это море
Въ далекомъ золотѣ лучей,
Ни лунный свѣтъ на формахъ статуй
И на колоннахъ Пропилей! —
«Ничто не властно — и не ратуй
За Фрину лживо, Гиперидъ!»
Реветь народъ — и судъ рѣшенье:
«Казнить преступницу» гласить.

Но вдругъ съ виновной, въ то-жь мгновенье,
Покровы сорваны долой —
И предъ толпою пораженной
Предстала Фрина обнаженной,
Какъ мраморъ, залита луной...
—Казнить богиню?.. О, ужели
И вы-бъ могли, и вы-бъ посмѣли
Такое тѣло измоздить?!
Скорѣй, народъ, во прахъ предъ нею,
Твое безумство замолить!—
И предъ Кипридою своею
Ораторъ, гордый торжествомъ,
Поникъ увѣчаннымъ челомъ,—
И съ нимъ народъ, въ священномъ страхѣ
За преступленіе свое,
Склонясь предъ Фриною во прахѣ,
Взиралъ съ восторгомъ на нее.
И Фрина, гордая, подъ сводомъ
Склонясь къ колоннѣ на гранитъ,
И предъ судомъ, и предъ народомъ
Вся лучезарная стоитъ,—
А формы, полныя красотою
И нѣгой жизни молодой,

Блестящая гордой наготою,
Благоухали предъ толпой...

V.

И красотѣ народъ-художникъ
Прощенье полное изрекъ,
И даже въ честь ея обрекъ
Во храмѣ жертвенный треножникъ,—
И тамъ вознесъ на пьедесталъ
Съ богами статую гетеры,
Гдѣ Пракситель, въ чертахъ Клееры,
Нагую Фрину изваялъ;
И, въ воздаянье за свободу,
Присуждено ей: въ мѣсяцъ разъ
Въ окнѣ являться на показъ,
Разоблаченной—народу.

1862.

Солисская Гетера.

(А. П. Милюкову).

I.

Свѣтлѣй, чѣмъ образъ серафима,
Межъ падшихъ женъ была одна
Далекой Греціи жена—
Краса и честь всего Солима.
Когда она на пышный пиръ,
Въ благоуханьи сладкихъ мирръ,
Бывало, явится царицей
Съ золотострунною цѣвницей,
И кубокъ стараго вина,
Въ гирляндахъ розовыхъ, она
Надъ головою, какъ менада,
Въ вѣнкѣ изъ миртъ и винограда,
Подниметъ нѣжною рукой,
Отбросивъ съ персей покрывало,
И запоетъ передъ толпой...
Ей все восторженно внимало;—
Гуль острыхъ словъ и соль сатиръ,
И смѣхъ гостей, и все смолкало,
Когда подъ звуки нѣжныхъ лиръ
Изъ Пѣсни пѣсней Соломона,
Иль старика Анакреона
Она имъ пѣла.—Плески, крикъ,
Стихи, сложенные поэтомъ,
На пѣсню были ей отвѣтомъ,—
И юный отрокъ, и старикъ
Въ восторгѣ мѣли... Всѣ заботы
Сжигалъ огонь ея очей,
И даже постникъ-фарисей
При всѣхъ, забывъ уставъ субботы,
Дрожа, лобзалъ колѣна ей...

II.

Быль пиръ у ней...

Среди маслинъ

На ложа кругъ гостей склонился,
И въ искрометной пѣвѣ винъ,
Казалось, жемчугъ растоплялся..
Изъ вазъ на эллинскій кумиръ
Благоуханія кропились;
Изъ вертограда доносились
Напѣвы трепетныя лиръ;
Въ ладъ говорливой сикоморы
Звучали праздничныя хоры;
Гремѣли бубны на отлетѣ
И брызгалъ перлы водометъ...
Блистая роскошью Востока
Ликуетъ пиръ—и кругъ гостей
Все шире, бойче и хмѣльнѣй:
На праздникъ ждали всѣ пророка.

III.

О немъ чудесная молва
Межъ возлежавшими ходила:
Что будто въ немъ святая сила
Сокрыта, что его слова
Вѣщаютъ странныя сказанья,
Что онъ страдалъ,—«но презрѣлъ онъ
Всѣ эти дряхлыя преданья
И вызвалъ истины законъ;
Онъ въ человѣкѣ видитъ брата;
Его крушить одна утрата
Люби и истины въ сердцахъ,
И такъ онъ святъ, что—предъ толпою—
Любая грѣшница съ мольбою
Предъ нимъ повергнется во прахъ!»

IV.

И вдругъ, съ надменною улыбкой,
Презрѣнья гордаго полна,
Лѣнливо выгнувъ станъ свой гибкой,
Отъ ложа вспрыгнула она.
—Не вѣрю я, она сказала,
Чтобъ вашъ прославленный пророкъ
Прельститься женщиной не могъ!
Повѣрьте мнѣ: я испытала
Съ-измѣла да силу женскихъ чаръ,
Когда и царственный кидаръ
Склонился къ этому подножью,
Какъ будто къ жертвеннику божью,—
Не вѣрю я!.. И знайте: онъ—
Ко мнѣ склонится... какъ повѣса,
Призывомъ первымъ охмѣленъ!

V.

Но вотъ, расторглася завѣса—
И входитъ Онъ: и простъ, и святъ...

И всѣ замолкли... ждуть, глядятъ—
И встала гордая блудница...

Соблазна женскаго полна,
Въ величьи царственномъ она
Къ нему подходитъ... Какъ орлица
Взглянула въ очи,—мигъ,—и вдругъ
Въ ея чертахъ нѣмой испугъ...
Она стоитъ: мертвы ланиты,
Уста и взоръ полураскрыты...
Вздрогнула, съ ужасомъ въ очахъ,
Срывая съ персей покрывала—
И вдругъ поверглася во прахъ,
И въ изступленьи зарыдала...
И передъ нимъ склоняясь у ногъ,
Она дрожитъ—и сквозь рыданье
У ней вдругъ вырвалось признанье.
—Ты побѣдилъ меня, пророкъ!
Прости же дерзкому невѣрью,
Простри цѣлительную длань—
И въ жизнь войду я узкой дверью!

И онъ сказалъ ей кротко: «встань!»

1858.

Безъ дочери.

(Разсказъ).

I.

Знать, прогнѣвала Бога я, грѣшная,
Что бѣдой онъ меня посѣтилъ:
Вотъ на старости лѣтъ, безутѣшная,
Я лишилась и дочки, и силъ...

Офицерша я, батюшка, бѣдная,
Знаешь самъ, не красно вѣдь живемъ:
Всякій грошъ, иль копеечка мѣдная
Достаются мнѣ кровнымъ трудомъ.
Деревнишка одна лишь осталася,
Послѣ мужа-покойника мнѣ;
Ей одной я съ тѣхъ поръ пробивалася,
Какъ убили его на войнѣ...
Да спасибо Царю!.. награжденія
Онъ за мужа меня не лишилъ:
Вѣдь на всемъ на своемъ иждивеніи
Въ институтъ мою дочь помѣстилъ.
Осчастливилъ меня, безталанную,
Благодѣтель наградой своей!..
Не забыть мнѣ ту радость неожиданную!
Не излить благодарности всей!..
Снарядила въ столицу я Любочку
(Ей двѣнадцатый былъ лишь годокъ),
Сторговала ей заячью шубочку
На дорогу, да теплый платокъ.
Да и съ Богомъ, съ сосѣдкой отправила—
(Благо, думаю, даромъ сvezутъ!)—

Ну, и Любу она не оставила:
Довезла и сдала въ институтъ.
А ужъ тамъ таково-то ученіе—
Говорятъ, что наилучше и нѣтъ—
Какъ радятъ объ одномъ поведеніи,
Держать въ заперти цѣлыхъ шесть лѣтъ!..
А Люба не плохо училась,
Да забыла про бѣдность, и вдругъ
Тамъ съ княжною съ какой-то сдружилась,
Отыскала богатыхъ подругъ—
И пустилася съ ними въ мечтанія
Про балы, про наряды, да свѣтъ,
Про театры все, вишь, да собранія;
Захотѣлось ливрей, да каретъ.
Да вѣдь такъ-то, поди-жь, замечталась,
Что себя богачихой сочла,—
Ужъ я, взявши ее, дивовалася!..
Говорю: да съ ума-ль ты сошла!..
Что ты, дурочка, это! аль съ-молоду?
Ну откуда возмю я баловъ?
Тутъ, гляди, лишь не умеръ бы съ голоду,
А не токмо что... Нѣтъ не таковъ
Мой достатокъ: тутъ еле-что платится
За крестьянъ въ опекунскій совѣтъ;
А тебѣ—лишь два ситцевыхъ платица
Я пошила, а больше и нѣтъ!
Развѣ, платье мое подвѣнечное
Я въ деревнѣ тебѣ перешью:
Вѣдь матерья-то крѣпкая, вѣчная,
Безъ износу—на томъ посту.
Какъ сказала я—Божія Матушка!—
Поблѣднѣла... сдержаться не въ-мочь,
Да какъ взрыдма-взыдала, касатушка,—
И проплакала цѣлую ночь...

II.

Какъ-то, разъ, на прищептѣ, случилось,
Повстрѣчалась она со княжною,
Да и «здравствуй!»—а та покосилася
На солопишко ейный плохой,
Да въ лицо ей взглянула презрительно
И въ карету свою поскорѣй..
Знать, казалось ей то оскорбительно,
Что бѣдняга здоровалась съ ней..
Я, взглянувъ на нее ужаснулася,
Какъ домой прибѣжала она:
На меня разсерчала, надулася,
Чуть не сдѣлалась-было больна.
Говорятъ, что скуплюся нарочно я,
Не держу ее, какъ бы ей слѣдъ,
Что она, какъ холопка, молъ, точная:
Ни кареты, ни шляпки ей нѣтъ.
Вотъ, на старости, мнѣ утѣшеніе,
Что я ночи надъ ней не спала,
Вотъ награда за всѣ попеченія..
А еще въ институтѣ была!..

Какъ въ деревню я съ ней перебралася—
Еще пуще тамъ одуръ взяла:

Все тужила, отъ всѣхъ удалялася
И съ-ума наконецъ вѣдь сошла!..
Было мало для ней развлеченія,
Запершися сидѣла одна:
На меня все была въ озлобленія,
Да и такъ повредила она..
И теперь съ сумасшедшею маешься—
Да не вадумаешь, какъ ей помочь!..
И вотъ этакъ-то все убивася,сь,
Индѣ станеть совсѣмъ и не въ-мочь..
Высоко у нея воспитаніе—
Такъ я дурую стала у ней,
И она постыдилася званія,
Да и бѣдности тоже моей.

А на старости лѣтъ утѣшенія,
Видно, мнѣ отъ нея и не ждать;
Коль она ужъ въ такомъ озлобленіи,—
Не считаетъ меня и за мать...

1857.

Изъ Былого.

(Разсказъ).

I.

Я проѣзжалъ дорогой невеселой;
Все ширь да дичь, да снѣжная поляна;
Порой мелькнетъ скелетъ березы голой,
Иль глянетъ лѣсъ изъ мглистого тумана—
И только... къ ночи слышенъ вой лишь
волчий...

И все сулить хандру, и сердитъ все до
желчи...

Не весело...

И помню въ той полянѣ
Я рядъ штыковъ и звукъ цѣпей гремучихъ..
И «не бѣлы-снѣги» звучать въ туманѣ,
А въ звукахъ тѣхъ, и нойныхъ и пѣвучихъ,
Все чудилось гнетущее-родное—
И вызывало пѣсню про былое...

И вспомнилъ я... давно ужъ это было..
Мой школьный другъ... его ужъ нѣтъ межъ
нами;—
Гдѣ онъ?—Богъ вѣстъ!.. взяла-ль его могила,
Иль до сихъ поръ все кровью, да слезами,
Да потомъ хлѣбъ онъ горькій добываетъ—
Богъ вѣстъ!.. Не про нее ль, порою, вспоми-
наетъ?..

А помню я, какъ счастливъ былъ онъ съ нею,
Когда, бывало, подъ-вечеръ весною
Пойдутъ бродить въ тѣнистую аллею,
А съ луга вѣетъ сочною травою..
Такъ хорошо... Дышать просторно груди..
И ихъ не видятъ и не слышатъ люди...

Сошлись они по прихоти случайной—
Она была почти еще ребенокъ,
И жизни смыслъ для ней казался тайной;
Но дѣтскій умъ ужъ былъ такъ колко-тонокъ,
Что звали всѣ ее дѣвчонкой своенравной,
А мать и сестры—дурочкой забавной...

И, Боже мой, какъ безотчетно-тяжко
Ей было жить подъ материнскимъ гнѣтомъ!—
Но... притворялася спокойною, бѣдняжка...
А время мчалось обычнымъ лѣтомъ—
Она спала, заботилась о «Жучкѣ»,
Обѣдала—и подходила къ ручкѣ.

Но съ нимъ она сошлася съ первой встрѣчи—
И все ей въ немъ казалось за диво:
То скептицизмъ, то пламенный рѣчи,—
Онъ съ ней игралъ опасно и шутливо,
Какъ съ мышкою играетъ рѣзвый котикъ,—
Онъ частью Рудинъ былъ и частью Донъ-
Кихотикъ.

И къ ней привилъ онъ, съ вѣрой благородной,
Свои мятежныя мечты и убѣждения:
Онъ былъ студентъ и рьяный, и свободный—
И тьму, и зло клеймилъ пятномъ презрѣнья,
Не гнулъ спины въ сіятельной передней
И вѣрилъ въ жизнь безъ мистицизма и безъ
бредней.

И онъ открылъ въ ней чудныя начала,
И то ей высказалъ, такъ просто, благородно,
Чего сама въ себѣ досель не замѣчала—
Да впрочемъ, кто-жъ бы могъ сказать ей все
свободно,

Тѣмъ болѣе, что всѣ въ уѣздѣ франты
Молчали въ танцахъ и играли въ фанты.

Но для чего-жъ онъ сталъ съ ней выше круга,
Разоблачивъ рядъ будущихъ мученій:
Миръ дразгъ и миръ печеній да солений,
И визгъ ребятъ, и толстаго супруга?..
Зачѣмъ ее заставилъ вдругъ очнуться
И въ первый разъ, быть можетъ, содрогнуться?..

Ей стало страшно...

Все, что накипѣло
Давно на сердцѣ, вырвалось на волю:
Она ему все высказала смѣло,
Съ насмѣшкой желчною на чужую долю—
Но гдѣ-жъ исходъ, кто-жъ кончитъ эту муку?—
И онъ ей просто, молча, подаль руку.
Да: онъ былъ счастливъ!..

И весна отвѣтно
Въ одинъ аккордъ сливалась съ ихъ любовью,
И голову кружила незамѣтно,
И кровь дразнила къ жизни, да къ здоровью..
И часто съ ней бродилъ онъ до разсвѣта—
И все читалъ Полонскаго, да Фета...

А, между тѣмъ, пошли въ сосѣдяхъ толки,
Что, будто, онъ связалъ себя съ дѣвчонкой,
И что въ мѣшкѣ не утаишь иголки,—

А вслѣдъ за тѣмъ и мать не очень тонкій
Намекъ ему извѣтельно сказала—
И отъ него всю истину узнала.
Онъ все открылъ ей «съ жаромъ благород-
нымъ»;

Но мать вскипѣла вдругъ, не выдержавъ удара,
И назвала его мальчишкой сумасброднымъ,
Сказавъ, что дочкѣ вовсе онъ не пара,
Что ей—дастъ-Богъ! женихъ—«звѣзда и
лента»—

И не хотѣла выслушать студента.
Но... дочь была загадкой для старушки:
Она бѣжала... Подняли тревогу—
Напрасно... Только мать, съ тѣхъ поръ, ей—
ни полушки!

И проклиная, молясь усердно Богу—
Вѣдь материнская любовь—и безъ искусства,
Есть верхъ эгоистическаго чувства...

II.

А въ городѣ—въ журналахъ онъ на сроки
Работу бралъ... Вставая утромъ рано,
Бѣжалъ на лекцію, а послѣ на уроки—
И ей доставалъ урокъ: учить на фортепьяно,
И счастливъ былъ, живя въ хорошенькой
квартиркѣ,
На Острову, близъ лютеранской кирки...

И помню я: нашъ говоръ не смолкаетъ;
Мы вокругъ стола тѣснимся дружной кучкой,—
Она намъ чай душистый разливаетъ
И подаетъ хорошенькою ручкой,
И скромно такъ ведемъ мы разговоры,
И такъ разумны были наши споры...

И счастье имъ казалось безконечно,
Съ святымъ трудомъ, да съ честною заботой;—
А ночью онъ, бывало, за работой...
А тутъ—она, какъ мальчикъ, спитъ безпечно—
И распахнулась грудь, и тихо-тихо дышетъ,
А онъ, усталый, взглянетъ лишь, да пишетъ..

Онъ счастливъ былъ, а кончилъ такъ не-
счастно:
Исчезъ куда-то вдругъ, и какъ ужъ мы ни бились,
Узнать: куда и какъ—но все напрасно!..
И съ тѣхъ ужъ поръ студенты не сходились...
И лишь по городу ходили смутно слухи,
Что будто бы его схватили злые духи...

III.

Кипѣлъ загулъ студенческой пирушки,
И «gaudeamus igitur» звучало,
А по столамъ стучали бойко кружки
И пламя жжонки лица освѣщало...
Гитара ныла въ тысячѣ варьяцій,
Теряя звукъ въ огнѣ импровизацій...

И ужь не помню, какъ я очутился
Въ какой-то дикой, освѣщенной замѣ:
Вокругъ меня, какъ вихорь, вальсъ кружился,
А женщины и гамъ, какъ словно на шпиль-
балѣ,

Вино кипитъ,—а мнѣ смѣшно, и только—
Какъ вальсъ сбиваетъ пошленькая полька...

Но, Боже мой!.. въ углу, вся въ праздничномъ
уборѣ,

Ужель она... глядѣла тамъ на танецъ!?.
Жемчужный блескъ горѣлъ въ тяжеломъ взорѣ,
А на щекахъ зловѣщій тлѣлъ румянецъ...

О, Боже, Боже!.. то она бѣдняжка!..
И какъ ей горько, больно, и какъ тяжело!..
Несчастная!.. Съ печатью отверженья,
За что-жь она позорный крестъ выносить?
Выносить гордо наглое презрѣнье
И ужь ни въ комъ участя не попросить!
А было время... И бывшее счастье
Съ сарказмомъ вызвало во мнѣ слезу участя...

Узнала-ль ты меня, иль не узнала?—

Богъ-вѣсть!.. но отчего-жь съ насмѣшкою
проклятой

Вдругъ жалость грудь болѣзненно мнѣ сжала?..

А передъ ней какой-то хлыщъ усатый
Едва мычалъ: «какъ ты мила, красотка!..
Да впрочемъ, что-жь?..

У ней была чахотка...
1859.

Утопленница.

(Изъ Шевченки).

Вѣтеръ по лѣсу не рыщетъ—

Спитъ-ошочиваетъ;

А пробудится—тихонько

Тростники пытается:

«Кто здѣсь косу холить, чешетъ,

«Бродить по откосу?

«Кто тамъ, кто тамъ за рѣкою

«Рветъ и треплетъ косу?

Кто же это? кто?» тихонько

Спроситъ онъ, повѣетъ—

И опять заснетъ, покамѣетъ

Небо не зардѣетъ.

«Кто же это? кто же?» спроситъ

Дѣвица иная.

Та, что ходить по откосу—

Дочка; а другая,

Что блуждаетъ за рѣкою—

Мать ея родная

Ужь давнымъ-давно Украина

Ту былинку знала,

Какъ въ селѣ, въ нарядной хатѣ,

Вдовушка живала.

Черноброва, бѣлолица,

Статна, да высока,...

А въ жупанѣ словно паня

Спереди и съ боку.

Молода была, пригожа,

А за молодою,

Да къ тому-жь и за вдовою,

Казакъ ордою

Такъ и ходятъ. И за нею

Вся орда ходила

До тѣхъ поръ, покамѣетъ дочку

Вдовушка родила. :

И не тужитъ: къ добрымъ людямъ

Вызнала дорожку,

И сдала въ чужой деревнѣ

Дочку на кормѣжку.

Подождите, то ли будетъ?

Люди дочь растили,

А вдова-то—былъ ли праздниѣ,

Или будни были—

Съ холостымъ ли, иль съ женатымъ—

Пила, да гуляла

До тѣхъ поръ, пока на горе

Ужь не тою стала:

Не слыхала, какъ минули

Красные годочки!..

Горе! горе! мать старѣетъ,

Расцвѣтаетъ дочка,

Выростаетъ... И вотъ Ганна

Выросла на волѣ

Высока, тонка и гибка,

Словно тополь въ полѣ.

«Я Ганнуса не боюсь!»

Мать имъ напѣваетъ;

А молодчики смѣются,

Да на дочь моргаютъ.

Тутъ рыбакъ и подвернулся—

Бравый, да вудравый:

Млѣетъ, сохнетъ, чуть сойдется

Съ Ганною чернявой.

Увидала мать-старуха—

Къ ней простоволосый:

«Вишь, растрепанная погань,

«Выкидышь ты босый!

«Разневѣстилась некстати,

«Съ парнями гуляешь...

«Больно рано!—вотъ постой-ка!

«Мать вѣдь не захаетъ,

«Нѣтъ, голубка!»

И со злости—

Сѣла бы, казалось...

И то мать была! Гдѣ жъ сердце.

Женское дѣвалось?

Сердце матери?.. Охъ, горько

Такъ на свѣтъ родиться:

Красоту имѣть, а сердца

Не имѣть дѣвицы!—

Изогнется станъ высокій,

Брови блекнуть стануть,

И не хватитесь: а люди,

Смѣючись, вспомянутъ

Ваши годы молодые,

Да и скажутъ—свила!..

Тяжко плакала Ганнуса,
И сама не знала—
Отчего ее родная
Лаеъ-проклинаеъ,
Безъ стыда дитя родное
Выкидышемъ хаеъ.
Крѣпко мучила, томила—
Все не помогало:
Словно макъ на огородѣ,
Ганна разцвѣтала;
Какъ калина при долинѣ
Подъ росистой зорькой,
Красотой разубиралась,
Мылась слезкой горькой.
«Заколдована... постой же!»
Шепчетъ мать со злости:
«Ужь пойду же я за зельемъ
«Къ старой вѣдмѣ въ гости!»
Отыскала вѣдму, зелья
У неѣ добыла,
И тѣмъ зельемъ до разсвѣта
Дочку напоила,
Все нѣтъ толку... И съ досады
Мать кланеъ, бывало,
Тотъ и день и часъ, въ который
Дочъ на свѣтъ рожала.
«Душно мнѣ; пойдемъ-ка дочка,
«Въ озеро купаться».
—Ладно, мама!—

На откосѣ

Стали раздѣваться.
И раскинулась Ганнуса
На сорочкѣ тонкой...
А рыбаекъ чуть дышетъ, глядя
Сквозь явняекъ сторонкой...
(Ахъ и я, бывало!.. всомнишь—
Стыдъ одолѣваетъ)...
Какъ дитя, зеленой вѣткой
Дѣвица играетъ,
Станъ сгибаеъ, разгибаеъ,
Да на солнцѣ грѣеъ.
Мать глядитъ и отъ досады
Млѣеъ и нѣмѣеъ,
Растрепалась, босая
Ходитъ по откосу,
Съ пѣной у рта; какъ шальная,
Рвеъ да треплетъ косу,—
И вдругъ кинулась къ Ганнѣ,
Въ косы ей вцѣпилась.
«Мама! мама! что съ тобою?»
Бездна разступилась,
Закипѣла, застонала
И обѣихъ скрыла.
Только тутъ рыбаекъ очнулся—
Знать проснулась сила—
Въ воду кинулся, руками
Волны разрываетъ,
Вотъ доплылъ—нырнулъ въ пучину,
Словно выплываетъ,
И утопленницу Ганну
На берегъ выноситъ,

Изъ заклѣтыхъ рукъ старухи
Вырываетъ косы.
«Охъ ты сердце мое, доля!
«Дай взглянуть мнѣ въ очи!»
«Погляди же, улыбнися!
«Аль ужъ нѣтъ и мочи?»
Плачеъ, падаеъ на землю,
Очи ей цѣлуетъ,
Раскрываетъ. «Погляди же!..
«Нѣтъ, она не чуеъ!..
На песокъ лежитъ недвижно,
Руки раскидала;
Рядомъ съ нею мать-старуха
Мертвая лежала:
На лобъ выкатились очи
Отъ ужасной муки;
Глубоко въ песокъ впились
Скорченные руки.
Долго плакалъ чернобровый:
«Нѣтъ у парни роду,
«Нѣту доли здѣсь на свѣтъ,—
«Такъ пойдемъ же въ воду:»
Поднялъ дѣвицу—цѣлуетъ...
Бездна застонала,
Разступилась, вновь закрылась,
И слѣда не стало...
И къ пруду съ тѣхъ поръ дорога
Заросла травой;
Не купаются въ немъ дѣвки—
Ходятъ стороною;
А завидятъ—начинаютъ
Набожно креститься,
И зовутъ его заклѣтымъ...
А въ ночи дѣвицы
Выплываетъ мать-старуха,
Сядетъ на откосѣ,
Въ мокрой порванной сорочкѣ,
Рвеъ и треплетъ косы,
И глядитъ на берегъ дальнѣй
И чего-то проситъ...
А волна межъ тѣмъ Ганнусю
На берегъ выноситъ.
Вся нагая, встрепенется,
Сядетъ на песочкѣ...
И рыбаекъ плывеъ съ подаркомъ
Ганнѣ на сорочку:
Онъ несетъ ей травъ душистыхъ;
Пощелуетъ въ очи—
Да и въ воду: любоваться
На красу нѣтъ мочи!
И никто того не знаетъ,
Что въ лѣсу бываеъ!
Только вѣтеръ у осѣки
Пѣшептомъ пытаеъ:
«Кто тамъ, кто тамъ легкой тѣнью
«Бродитъ по откосу,
«И тоскуеъ и все чешетъ
«Шелковую косу?»

Порченая.

(изъ шевченки).

Реветь и стонетъ Днѣпръ широкій,
Сердитый вѣтеръ вербы гнетъ,
И гребни волнъ горой высокой
Взметаетъ вверхъ и вдалъ несетъ.
А мѣсяцъ блѣдный той порою.
Сквозь тучи изрѣдка сіялъ,
Какъ челнъ надъ бездною морскою,
То вынырять, то утопалъ.
Еще въ селѣ не просыпались,
Три раза пѣтель не пропѣлъ;
Сычи въ лѣсу перекликались,
Да ясень гнулся и скрипѣлъ.
Въ эту пору у дубровы,
Подъ крутой горою,
Что-то бѣлое мелькаетъ,
Бродить надъ водою.
Можетъ быть, русалка вышла
Мать искать, сироткой,—
Али парня ждетъ, чтобъ ночью
Извести щекоткой.
Нѣтъ!—то дѣвица гуляетъ
И сама не знаетъ
(Знать, испорчена бѣдняжка),
Что въ ночи блуждаетъ.
Такъ колдунья сворожила,
Чтобы не скучала,
Чтобъ, бродя въ глухую полночь,
Спала-поджидала
Казака, что прошлымъ лѣтомъ
Бѣдную покинулъ,
Обѣщался воротиться
Да, должно быть, сгинулъ!
Не китайкой синѣй очи
Зоркія покрылись,
Не дѣвичьи слезы градомъ
На лицо катились:
Воронъ вынулъ каря-очи
Средь чужого поля,
Тѣло волки растерзали,—
Знать, такая доля!
Ночь,—а дѣвица милого
Ждетъ да поджидаетъ.
Не вернется чернобровый
И не приласкаетъ,
Не расчешетъ чудо-косу,
Шеи не повяжетъ:
Не въ постель она—въ могилу
Сиротою ляжетъ.
Такая ей доля... Господняя сила!
За что жъ ты караешь ея красоту?
За то ль, что такъ крѣпко она полюбила
Казацкія очи?.. Прости сироту!—
Кого жъ ей любить?—ни отца, ни родимой...
Одна, какъ касатка въ далекомъ краю.
Пошли жъ ты ей долю—быть также любимой;
А то засмѣютъ сиротину мою.

Виновна ль голубка, что голубя любить?
Аль виненъ тотъ голубъ, что палъ подъ грозой?
Тоскуетъ голубка, да думу голубить,
Что, можетъ, въ лѣсу заблудился милой.
Счастлива голубка: высоко летаетъ,—
Летитъ она къ Богу—про друга пытается...
Кого жъ сиротина разспросить-узнаетъ
И кто ей расскажетъ, и какъ кому знать,
Гдѣ милый ночуетъ: въ лѣсу ль, въ чуждомъ
краѣ,

Аль поитъ коня во быстромъ во Дунаѣ—
Аль, можетъ, другую давно полюбилъ,
И черныя брови ея позабылъ?
Когда бы имѣла орлиныя крылья,
За синимъ бы моремъ милого нашла;
Живого бъ любила, ее бъ—задушила,
А къ мертвому въ яму сама бы легла.
Не такъ любить сердце, чтобъ съ кѣмъ подѣ-
литься,

Не такъ оно хочетъ какъ Богъ намъ велитъ:
Жить сердце не хочетъ, не хочетъ кру-
шиться,—

«Крушись!» молвить думка, я горе сулитъ.
О, Боже мой! знать такова Твоя воля,
Такое ей счастье, такая ей доля!

Она все ходитъ, съ устъ ни вадуху...
Тиха Днѣпра стальная грудь:
Разбивъ мракъ тучъ, съ переполоху,
Летъ вѣтеръ къ морю отдохнуть;
А мѣсяцъ по небу гуляетъ,
И лѣсъ и воду озаряетъ:
Кругомъ, какъ въ ухѣ, все молчитъ.
Анъ глядь—смѣясь повывыряла
Толпа дѣтей изъ водной мглы.
«Пойдемъ-ка грѣться!» закричала:
«Зашло ужъ солнце!» (Всѣ голы,
Густыя косы изъ осоки,
Затѣмъ, что дѣвочки...)

«Аль всѣ вы тутъ?» скликаетъ мать:
«Пойдемъ-ка ужина искать.

«Запоемъ-ко, поиграемъ,
«Съ нашей пѣсней погуляемъ?»
«Ухъ! ухъ!»

Соломенный духъ, духъ!
«Мать меня на свѣтъ рожала,
«Некрещеную бросала.

«Мѣсяцъ нашъ,
«Ты голубчикъ нашъ!

«Приходи ты къ намъ на ужинъ:
«Съ нами паренъ, онъ недуженъ,
«Спитъ въ зеленомъ тростникѣ;
«Золотъ перстень на рукѣ;
«Молодъ, статенъ, черны брови;
«Мы нашли его въ дубровѣ.
«Свѣтъ свой дольше лей по полю—
«Нагуляться бы намъ въ волю.
«Пока вѣдмы пролетаютъ,
«Пѣтухи не запѣваютъ,
«Посвѣти намъ... Кто-то ходитъ!

«Вонъ подъ дубомъ кто-то бродить!
 «Ухъ! ухъ!
 «Соломенный духъ, духъ!
 «Мать меня на свѣтъ рожала,
 «Некрещеную бросала».
 Захотали зубоскалки...
 Лѣсъ отозвался: зыкъ и вой...
 Какъ сумасшедшія, русалки
 Подъ дубъ кидаются толпой.
 Притаилися—и смотрять,
 Смотрять сквозь листвины:
 Что-то на дерево лѣзетъ
 До самой вершины.
 Это дѣвица всходила,
 Что во снѣ бродила,
 Потому-что ей колдунья
 Такъ приворожила.
 Влѣзла, стала на вершинѣ,
 (Подъ сердце подводитъ!)
 Вкругъ взглянула, поглядѣла
 И на землю сходить.
 Некрещенныя вкругъ дуба,
 Молча, поджидали,
 Подхватили молодую
 И защекотали.
 Долго, долго дивовались
 На ея породу...
 Третьи пѣтелы пропѣли—
 Побросались въ воду.
 Заинлся взлетая къ небу,
 Жаворонокъ звонкой;
 И кукушка гдѣ-то стала
 Куковать сторонкой;
 Соловей запѣлъ-защелкалъ...
 Мѣсяцъ потухаетъ;
 Зорька рдѣетъ за горою,
 Пахарь напѣваетъ.
 Лѣсъ чернѣетъ за горою,
 Гдѣ Ляхи ходили;
 Засинѣли длиннымъ рядомъ
 Надъ Днѣпромъ могилы;
 Шелестъ, гулъ пошелъ дубровой;
 Шепчутся былинки.
 А дѣвица спитъ подъ дубомъ
 На краю тропинки.
 Знать, что крѣпко спитъ—не слышитъ
 Гула на разсвѣтѣ,
 Не пытается у кукушки—
 Долго ль жить на свѣтѣ?
 Той порой казакъ изъ лѣсу
 Вдѣтъ-выгѣзжаетъ;
 Конь подъ нимъ, какъ воронъ черный,
 Чуть переступаетъ.
 «Изнемогъ ты, знать, товарищъ!
 «Скоро—прочъ работа:
 «Близко хата, гдѣ отворить
 «Дѣвица ворота;

«Ужъ, быть можетъ, отворила,
 «Да не мнѣ—другому...
 «Шибче, конь! несешь стрѣлою
 «Ты къ родному дому!»
 Притомился конь ретивый,
 Шагъ—и спотыкнется...
 И вкругъ сердца удалого
 Дума змѣемъ вьется.
 Вонъ и онъ, тотъ дубъ кудрявый...
 «Боже! Катерина!
 «Вишь, заснула, поджидая,
 «Милая дѣвчина!»
 Кинулъ поводъ—и къ желанной:
 «Боже Ты мой, Боже!»
 Кличетъ милую, цѣлуетъ...
 Не помочь... «За что же,
 «Охъ, за что же разлучили
 Насъ они съ тобою?»
 Засмѣялся, разбѣжался,
 Да въ дубъ головою.

Вотъ, идутъ жницы въ поле жать,
 Да распѣваютъ идучи!
 Какъ провожала сына мать,
 Какъ бились нехристи въ ночи.
 Идутъ—подъ дубомъ воронѣй,
 Понуривъ голову, стоятъ,
 Съ нимъ рядомъ парень молодой
 Съ пригожей дѣвицей лежатъ.
 И къ парню каждая спѣшитъ,
 Чтобы, подкравшись, испугать;
 Взглянули—видать, что убить,
 И съ перепугу—ну бѣжать!..

Собирались подружки,
 Слезы утирають.
 Собирались сосѣди,
 Ямы имъ копають...
 Шли священники съ крестами...
 Много было звону...
 Схоронили цѣлымъ міромъ,
 Съ честью, по закону,
 И насыпали надъ ними
 Двѣ могилы въ житѣ.
 Кто допытываться станеть,
 Какъ они убиты?
 Посадили надъ удалымъ
 Яворъ, да рябину,
 А надъ дѣвицей пригожей
 Красную калину.
 Прилетаетъ къ нимъ кукушка
 Куковать зорями;
 Прилетаетъ соловейко
 Щебетать ночами,—
 И поетъ покамѣетъ мѣсяцъ
 Встанеть, загорится,
 Да русалки изъ пучины
 Выйдутъ порѣзвиться.

ЛИРИЧЕСКІЕ СТИХИ.

Владимірка.

Ой, дорога-ль ты, дороженька пробойная.
Ты пробойная-ль дороженька, прогонная!
Ужь и много на Руси у насъ дороженекъ,
Что дорогъ ли шарокатныхъ, поисхоженныхъ:
По инымъ гоняють царскихъ слугъ — солда-
тушекъ,
По инымъ бредеть убогій-богомольный людъ,
Отъ Соловокъ до Кіева, по угодничкамъ,
Что по третьимъ-ли дорожкаамъ шлютъ красѣтъ-
товаръ.

Все купцы, да молодцы, Володимірцы.
Широки-ль ужъ тѣ дорожки да укатисты,
А ужъ шире-ль, да длиннѣе да утоптаннѣй
Нашей матушки-Владимірки—не быть нигдѣ!
Не однѣ-то по ней поручни притерлися,
Не однѣ-то быстры-ноженьки примаялися,
Что и слезъ на ней не мало-ли проливано,
А и пѣсенъ про неѣ-ль не мало сложено!
Далеко ты въ даль уходишь непроглядную,
Во студѣную сторонушку сибирскую,
Охъ, дорога-ль ты, дороженька пробойная,
Ты пробойная-ль дорожка володимірская!

1853.

Полоса.

Полоса-ль ты моя, полоса
Не распахана ты, сиротинка,
И тебѣ не колосья краса,—
Не колосья краса, а былинка...
А кругомъ-то, кругомъ поглядишь—
Такъ и зрѣють могучія нивы!
И стоитъ благодатная тишь,
И волнуются ржи переливы.
Но горька мнѣ твоя нагота,
Какъ взгляну я на ниву-то Божью:
Отчего-жъ ты одна сирота,
Не красуешься матушкой-рождю?
Знать, хозяйинъ-то твой въ кабацѣ
Загулялъ не одну ужъ недѣлю,
Иль отъ горя въ гробовой доскѣ
Отыскалъ на погостѣ постелю;
А быть можетъ и тѣ: въ кандалахъ,
По Владиміркѣ пахаря гонять;
За широкій, за вольный размахъ
Богатырскую силу хоронять.—
И шагаетъ онъ въ синюю даль,
Самъ шагаетъ, да слезы глотаетъ.
Все-то ниву свою ему жаль,
Все полосу свою вспоминаетъ...
Заростай же, моя полоса,
Частымъ ельничкомъ ты, да березкой,—

И пускай же ни серпъ, ни коса
Не сверкають отсель надъ полоской!

1861.

Стонъ земли.

Не бѣлы-то снѣги забѣлѣли,
Забѣлѣли во полѣ они,—
Загудѣли сѣдые метели,
Накликая суровые дни.
«Кабы всю-то меня замело бы!
Говорить—будто стонетъ земля!
Вы, метели, крутите сугробы,
Вы, снѣга, заметайте поля!
«Приукройте меня потеплѣе,
Вы плотнѣй налегайте на грудь,
Чтобъ проснуться-то мнѣ здоровѣе,
Чтобъ надежнѣй-то мнѣ отдохнуть.
«Я распахана вся на просторѣ,
Приняла я мірское зерно,
Да на мнѣ-то посяно горе—
Стародавнее горе оно!..
«Не осеннимъ дождемъ я омыта,
Не росей меня крыла весна:
Я крестьянской ли кровью полита,
Во крестьянскихъ слезахъ крещена.
«Вы, метели, снѣга да морозы!
Приукройте бы меня вамъ давно,
Чтобы я сохранила тѣ слезы,
Чтобъ всосало ихъ больше зерно—
«И, авось-либо, новые всходы
Здоровѣй по веснѣ зацвѣтутъ—
И, обильная хлѣбомъ свободы,
Накормлю я крещеный весь людъ!»
Не бѣлы-то снѣги забѣлѣли,
Забѣлѣли во полѣ они—
Но гудятъ безъ отвѣта метели,
Накликая суровые дни.

Зима, 1855.

Парижъ, іюль 1848.

Мнѣ снился восторженный сонъ:
Гасъ вечеръ на небѣ багровомъ,
И въ воздухѣ грохотъ и стонъ
Носились въ величьи суровомъ.
Вся улица кровью полна,
Весь городъ въ смятеніи отъ страха—
И вонъ ужъ позорно видна
На площади черная плаха.
Подъ ядрами рушится домъ,
Вязжитъ и взвивается пламя—
И вѣетъ во пламени томъ
Кровавое красное знамя.

Работаютъ дружно штыки,
Гремятъ вдалькѣ барабаны—
И ломаются массой полки
Къ заваламъ въ народныя станы.
А тамъ ужъ послѣдній упалъ —
Конецъ ихъ безумной надеждѣ;
Но кто-то надъ павшими всталъ
Въ сіяющей бѣлой одеждѣ:
Надъ облакомъ дыма, во мглѣ,
Стоялъ онъ на той баррикадѣ
Съ терновымъ вѣнкомъ на челѣ
И съ мукой предсмертной во взглядѣ.
Онъ руки свои простиралъ,
Гвоздями пробитыя руки,
И ликъ его кроткій дышалъ
Блаженствомъ божественной муки.
Вѣтъ мира для міра всего
Держалъ онъ средь павшаго стана
И въ правомъ боку у него
Сочилася новая рана.
Но тихо народъ умиралъ,
Лобзая священныя раны—
А вечеръ во мракѣ вставалъ
И били вдали барабаны...

1860.

Инвалидъ.

Былъ морозъ трескучій. У дверей церковныхъ,
Между нищей брати, межъ калѣкъ безкровныхъ,
Инвалидъ увѣчный дряхлою рукою
Крестится, моляся съ жаркою слезою.
Изрѣдка прохожій, тронувшись бѣднгой,
Дастъ ему копейку,—и тотчасъ ватагой
Нипія старухи тарантятъ укору:
«Хлѣбъ, молъ, отбиваешь»,—и поднимаютъ споры.
А старикъ на вѣтрѣ, съ голой головою,
Подъ одной шинелью, ветхой и худою,
Дрогнетъ, взоръ потухшій къ образу впередъ—
И изъ устъ дрожащихъ льется рѣчь простая.
По міру побрелъ онъ сиротиной жалкой,
Весь въ рубцахъ да ранахъ, лишь съ сумой да
съ палкой,—
Брошенной копейкой сытъ, хоть понемногу...
За кого жъ такъ жарко молится онъ Богу?..

1857.

* * *

Надъ убогимъ гробомъ
Свѣчи догораютъ;
Маленькія дѣти
По угламъ рыдаютъ.
Въ гробѣ спитъ чиновникъ
Послѣ жизни тяжелой,
Въ старомъ вицъ-мундирѣ
Съ безпорочной пряжкой.
Не скопилъ ни гроша—
Былъ присягѣ вѣренъ—
И зато по службѣ
Оказался скверенъ.

Но за всѣ страданья
Богъ ему въ награду
Добрую даль дочку—
Всю его отраду.
Дочка молодая
Разцвѣла такъ ярко,
Не выдавъ отъ жизни
Свѣтлаго подарка...
А теперь... онъ умеръ—
Кто-то закопаетъ?..
Въ домѣ ни копейки—
Людѣ не поможетъ...
Что-то будетъ завтра?
Кто-то дастъ имъ хлѣба?—
: : : : : : : : : : :
Жалкія созданья!..
Старика зарыли,
Дѣти подаянья
Съ голоду просили,
А сестра нашла ихъ
На гнилой соломѣ,
И достала хлѣба
Лишь въ публичномъ домѣ.

Разсвѣтъ.

Я помню часъ: надъ степью неоглядной
Съ конца въ конецъ нависли тучи мглой,
И шелестъ ночи трепетно-прохладной
Не волновалъ ковыль-травы сѣдой...
И воздухъ спалъ... Такъ душно и тоскливо
Дышала степь... Казалось, тяжкій стонъ
Стоялъ вдали... Мы грустно и пугливо
Той степью шли... — Все было смерть и сонъ...
Я ждалъ грозы: и тучи все клубились...
Вотъ молнія... вдали глухой раскатъ...
Еще—и капли первыя пролились.
Гроза, гроза!.. И громъ, и дождь, и градъ,
Тяжелый градъ, широкой половою.
Шумить и бѣть окрестныя поля...
Стонала степь, готовясь грозно къ бою
И подъ грозой дрожала вся земля...
Но часъ прошелъ—и ревъ грозившей бури
Замолкъ вдали... не стало черныхъ тучъ,
И надъ землей съ разясненной лазури
Съ разсвѣтомъ намъ блеснулъ отрадный лучъ—
Очнулись мы и смѣлою стопою
Пошли впередъ—бѣжить и сонъ, и тѣнь...
Въ свободный путь широкою стезею!..
Прошла гроза—намъ блещетъ новый день!

Братьямъ.

Встаньте, братья!.. Время злое,
Время рабства отошло!—
Позабудемъ же бывшее—
Грядите: солнце золотое
Всходитъ на небо свѣтло!..

Долго, долго вы страдали
Безъ участя, безъ борьбы:
Вы молились—не роптали,
Вы безмолвно ожидали
Доли лучшей отъ судьбы—

И пришла къ вамъ эта доля:
Сброшенъ съ васъ позорный гнетъ—
За работу жь! — время ждетъ!—
Съ Богомъ, въ путь! къ вамъ сходить воля,
Съ волей правда къ вамъ идетъ!

* * *

Эхъ, кабы мнѣ, молодцу, овчинный тулупъ—
Я не хаживалъ бы, молодецъ, да на царевъ-
кабакъ,
Что отъ холоду въ похмѣльи согрѣваться,
Что надъ горемъ ли за чаркой насмѣхаться!
Эхъ, кабы удалому да со скрыпомъ сапоги—
Ужъ пошелъ ли бы я, молодецъ, по улицѣ гу-
лять,
Что по улицѣ гулять, молодухъ забавлять;
Да кабы и рукавички мнѣ барановыя,
Чернымъ соболемъ закамскимъ отороченныя,—
Ужъ и мнѣ ль бы красны-дѣвки поклонились,
Ужъ и мнѣ ль бы пригожливый присмѣхнулся;
Да не та мнѣ, видно, выдалась дороженька,
Что головушка моя разбуйная
По бѣлу-свѣту безъ толку, знай, шатается,
Словно по вѣтру, во полюшкѣ во чистыемъ,
Перекажи-поле колыхается...

* * *

Что у празднича ли было, у Господняго,
У угоднича ли Божьяго. Преподобнаго...
Какъ собирался на погостъ православный людъ—
Что на всѣхъ ли на сосѣдяхъ — голубой каф-
танъ,
Что на всѣхъ ли добрыхъ людяхъ — шелковые
пояса,
А и шапки ли собольи, ала бархата—
А на мнѣ на добромъ молодцѣ—дырявый мала-
хай—
Какъ на томъ-то на погостѣ, со причетомъ пошъ,
Со богатымъ купцомъ мою милую вѣнчалъ—
А и мнѣ зачѣмъ бы, молодцу, не вѣнчаться съ
ней?—
А за тѣмъ и не вѣнчаться, что дырявый ма-
лахай;
Такъ пойду жь я, разудалый, во темные во лѣса
Наточу я, наострю я старъ-булатный ножъ,
Про поповъ ли, про купцовъ ли, да про красенъ-
товаръ;
Расхожуся, разгуляюсь я на волюшкѣ,
Ужъ натѣшусь на свое я на бездольице,
А что будетъ—не минуетъ: чему Богъ велить!..
Да коли ужъ повадился кувшинъ по воду хо-
дить—
Тамъ ему, кувшинушкѣ, и голову сложить!

* * *

Какъ вечеръ-то разудалый мой
Къ воротамъ коня приваживалъ,
Меня, дѣвицу, окликивалъ:
—Ужъ ты, дѣвица-красавица,
Ты напой мнѣ ворога коня
Середь моря, середь синяго,
Чтобъ напился вороной мой конь—
Не промокъ бы на немъ пить коверъ!
— Охъ, ты, милый мой, желанный мой,
Ты сошей мнѣ ново платице
По веснѣ со цвѣта макова,
Прострочи ты каждую строчечку—
Не прорви, строчивши, листика!
—Ужъ ты, дѣвица-красавица,
Ты сошей ли мнѣ рубашечку,
Безъ иглы сошей, безъ ниточки,
Въ бѣлы рученьки не бирючи,
На колѣни не покладучи!
— Охъ, ты, милый мой, желанный мой!
Ты сруби мнѣ теремъ-горенку,
Ты безъ бревенъ сруби, безъ моху,
А я слей мнѣ о полночи
Обручальный свѣтъ-золотъ-перстень
Со тоѣ-ль звѣзды полуночной,
Со восточной ясной зореньки!
Какъ не пить коню середь моря,
А не слить бы перстня съ зореньки—
Тамъ и намъ съ тобой, желанная,
Не любиться, знать, не вѣдаться,
Темны ночки не ночевывать!...

1860.

* * *

Огороды горожу—
Все капусту сажу;
Злой свекрови-ль той рассадой
Я въ-конецъ удружу:
Гни-ко спину ты, свекровь,
Къ зимѣ кочней готовъ,
Той рассадою-досадою
Покалѣшься ты въ кровь!

* * *

Огороды горожу—
Все хмѣлилку сажу;
Для милого-молодого
Легку службу служу:
Приходи-ко молодой,
Ты вечерней зарей—
Уложу я мужа злого—
Только пѣсню запой!

* * *

Какъ, свекровь, ты ни кори—
Хоть огнемъ все гори—
Прогудяю съ полуночи
Я до красной зари:
Стану цвѣтики срывать,
Обнимать, прижимать,
Въ алы губы, что есть мочи,
Во хмѣлю цѣловать!..

1862.

Жница.

Утромъ, лишь только зарею багровою
Сонный востокъ заалѣтъ,
Только лишь свѣжестю утра здоровою
Изъ лѣсу влажно повѣтъ;
Только за мушкой, по звуку примѣтнѣю,
Вылетитъ чуткая птица,—
Съ жаркой молитвой, тропею завѣтною
Выйдешь ты на поле, жница.
Все-бъ я глядѣлъ, какъ рукою ты ловкою
Рожь у корней подрѣзаешь,
Какъ на серпѣ надъ румяной головою
Бережно снопы поднимаетъ;
Все бы глядѣлъ я, какъ съ пѣсней звонкою
Жнешь ты подъ солнечнымъ жаромъ,—
Парень прохожій на жницу, сторонкою,—
Вѣрь,—заглядится не даромъ!..
Выйди жъ: тамъ колосъ давно нагибается
Тихо надъ пыльной землею,
Словно, тебя поджидая, склоняется
Самъ предъ твоей красотою.

1857.

Въ ночь на Купала.

На Ивана на Купала,
Въ часъ борьбы добра и зла,
Ночь съ зарницами вставала,
И вставала, и мерцала,
Ароматна и тепла.
А цыганка молодая
Говорила мнѣ въ тиши:
«Кладъ великій заклала я!
Ты жъ не хочешь Божья рая,
Хочешь муки для души,—
«Выходи жъ, она смущала,
Грѣхъ не страшнѣе—кладъ великъ!..
На Ивана на Купала
Въ темномъ лѣсѣ насъ сначала
Встрѣтитъ старый Лѣсовикъ;—
«А за нимъ вся вражья сила
Подавать намъ станетъ вѣсть,—
Ты жъ не бойся! говорила:
Тамъ, въ оврагѣ, есть могила,
Тамъ и папоротникъ есть...
«Молви: «чуръ меня!»—и съ бою
Рви цвѣтокъ и брось назадъ,
Да гляди: куда звѣздой
Упадетъ онъ предъ тобою—
Тамъ и счастье, тамъ и кладъ!»
Пѣсни, крики... Разгорались
Вдоль по берегу костры,
А въ подводный теремъ крались
Въ ночь русалки и сплывались
У царевны у сестры...
Я ушелъ съ цыганкой въ поле:
Вотъ, гудитъ и темный боръ...
Сердце мечется отъ боли...
Вотъ и зелье... «Рви же, что-ли!»
Говоритъ мнѣ страстный взоръ,—

И, спаленъ ея красою,
Я закланное былье
Взбросилъ къ небу подъ грозою—
И упалъ цвѣтокъ звѣздой
Прямо на сердце ея...

1860.

Подъ водою.

(Посвящено В. Д. Гриневой)

«Охъ, опутай осокѣю
Ты меня, русалка!
Подъ твоей ли подъ рукою
Жизни мнѣ не жалко!
Охъ, опутай подъ водою,
Подъ волной студеной,—
Осокѣю зеленѣю,
Да косой зеленой!
По рѣкѣ туманъ гуляетъ,
А по небу мѣсяцъ;
Ива-ивушка сплетаетъ
Намъ густой навѣсецъ;
Сквозь навѣсецъ съ каждой вѣткою
Бѣлый лучъ играетъ,
И сквозь листву мелкой свѣтлой
Тѣло осыпаетъ...
Охъ, мнѣ жарко... охъ, мнѣ душно!—
Такъ зови-жъ невзгоду!
За тобой пойду послушно
Въ студеную воду!
Ты сведи меня къ сестрицамъ,—
Пусть меня помучать,
Дивнымъ былямъ-небылицамъ
Пусть меня, поучать.
Погляжу какъ струйки таютъ,
И рѣзвы и зыбки,
Какъ сестрицъ перегоняютъ
Золотыя рыбки.
Поплывемъ въ чужія рѣки,
Что до синя-моря,
Заколдуй меня на вѣки,
Чтобъ не мыкалъ горя!
Щекочи меня рѣзвѣ
Бѣлыми руками,
Зацѣлуй меня больнѣ
Жадными губами!
Не одну-то мы недѣлку
Прогоуляемъ лихо...
Ты изъ травушки постельку
Постели мнѣ тихо;
Въ изголовье, подъ водою,
Дай цвѣтовъ пахучихъ—
И клади меня съ собою
Ты въ объятяхъ жгучихъ!..
* * *
Звѣзды по небу сверкаютъ
И, дрожа лучами,
Наоквозь воду проникаютъ
Тонкими струнами...
И луна, въ струѣ холодной,
Неразгаднымъ дивомъ,

Залила весь міръ подводный
 Голубымъ отливомъ;—
 И сверкаетъ искрой въ око
 Каждая песчинка,
 И по дну видна далеко
 Каждая былинка;
 И—то здѣсь, то тамъ—сгибаеся,
 И легко и смѣло,
 Спитъ, на струйкахъ колыхаясь,
 Молодое тѣло...
 И румянятъ, въ часъ подь утро,
 Глубь на всемъ просторѣ
 Нѣжнымъ блескомъ перламутра
 Розовыя зори...
 Чую, будто замираю
 Въ нѣгѣ поцѣлуя,—
 Сердцу жутко,—и не знаю,
 Сплю, или не сплю я...
 Только слышу, что хохочетъ,
 Словно жемчугъ сыплеть,
 И слегка меня щекочетъ,
 И тихонько шиплетъ,—
 И въ истомѣ даже вѣки
 Не могу поднять я:
 Знать, сожмутъ меня на-вѣки
 Крѣпкія объятія!..
 Снятся: горенка простая...
 Мягкая кроватка...
 Слабо стѣны озаряя,
 Теплится лампадка...
 На сѣно облокотилась
 Дѣвушка-голубка,
 И съ плеча у ней скатилась
 Стеганная шубка...
 Молодая грудь колышетъ
 Тонкую сорочку:
 Соловья голубка слышитъ,
 Что поетъ всю ночь;—
 Съ нимъ сама, моя бѣдняжка,
 Подъ окномъ завѣтнымъ
 Залилась, что Божья птишка,
 Голоскомъ привѣтнымъ:
 Знать, поетъ да поджидаетъ,
 И сама не знаетъ,
 Гдѣ-то милый пропадаетъ,—
 Долго не бываетъ?..
 И всю ночь изъ окошка
 Наглядится въ волю:
 Изъ окна видна дорожка
 Вдоль по чисту полю...
 А въ окошко ей вѣтвями
 Яблонька киваетъ,
 И всю горенку цвѣтками
 Тихо обсыпаетъ...

1861.

* * *

Я лежалъ на прибрежномъ пескѣ,
 А струю обгоняла струя—
 И дробилась вдоль по рѣкѣ
 Раздражительно трель соловья.

Раздражительно трель соловья
 Щекотала мнѣ душу и жгла,
 Словно тамъ извивалась змѣя
 И чаруя куда-то влекла...
 Вдругъ выноситъ на берегъ волна
 Блѣдно-мраморный, дѣвственный трупъ,—
 И дышалъ въ немъ улыбкою сна
 Тонкій очеркъ несомкнутыхъ губъ;
 И съ луною играла въ глазахъ
 Тихо капля воды, какъ слеза,
 И тоскою, и страстью, въ лучахъ,
 Какъ живые, сверкали глаза.
 И любуюсь надъ мертвой красой,
 Какъ скользила по персямъ луна,
 Я внималъ, какъ съ густою косою
 Заигралась рѣзво волна...
 И желаній безумныхъ тоска
 Обуяла вдругъ сердце мое,
 И скользила невольно рука
 Вдоль по влажному тѣлу ея.
 И приникъ я къ утопшей на грудь,
 И лобзалъ я ее, и сжималъ,
 И хотѣлъ въ нее душу вдохнуть,
 И дыханьемъ уста согрѣвалъ...
 А по сонной рѣкѣ соловей
 Раздражительно трелью звенѣлъ,
 И подъ жгучею грудью моею
 Хладный трупъ трепеталъ и теплѣлъ...

1861.

На кладбищѣ.

I.

...И осенняя вьюга шумѣла
 На кладбищѣ межъ голыхъ березъ,
 Въ небѣ сѣрая туча висѣла
 И былъ въ воздухѣ легкій морозъ.
 И нигдѣ никого... какъ живой
 Завывала лишь вьюга кругомъ,
 Да лишь галокъ крикливая стая
 Все вилась надъ церковнымъ крестомъ.
 Только желтая крыша отъ гроба,
 Да старуха въ лохмотьяхъ съ клюкой,
 Да неистой вьюги лишь злоба—
 Нарушали безлюдный покой.
 И за гробомъ одна по дорожкѣ
 Шла лишь дѣвочка въ дикой тоскѣ,
 Оставляя слѣды своей ножки
 Необутой на мокромъ пескѣ.
 Посинѣлыя съ холоду руки
 Прижимала малютка къ глазамъ,
 И полна была грудь ея муки,
 И текли двѣ слезы по щекамъ.
 И тотъ гробъ закопали въ могилу,
 И настала опять тишина;
 Только воронъ лишь каркалъ уныло,
 Да скрипѣла отъ вѣтру сосна.

II.

...И мертвое тѣло спустили
 Въ сырую могилу; потомъ

Обрядъ по немъ сухо свершили,—
Никто не заплакалъ о немъ.

Лишь вѣтеръ да вьюга ночная,
Крутая и бушующая кругомъ,
Кресты изъ могилъ вырывая,
Все воевъ да плачутъ по немъ.

III.

Тихо все; кузночикъ лишь стрекочетъ,
Да змѣя копошится въ пыли,
Да табунъ—чуть слышно мнѣ—топочетъ
Со звонками, гдѣ-то тамъ вдали.

По крестамъ ползетъ горошекъ дикій,
А надъ нимъ березы грустно спятъ,
И съ могилъ отъ спѣлой земляники
Надъ землею струится ароматъ.

Чу!.. тамъ въ бѣломъ кто-то всталъ скло-
ненный...

Шорохъ... Мертвый!.. Холодъ пробѣжалъ...
Нѣтъ, то бѣлый крестъ, то вѣтеръ сонный
Сонной вѣтвью тихо покачалъ.

1855.

Двѣ ночи.

I.

Съ кроткой улыбкою мѣсяцъ глядится въ
окошко,

Тѣнь на стѣнѣ отражая отъ рамъ прихотливо.
Мать молодая, склоняясь къ колыбели, съ лю-
бовью,

Съ томно-отрадной улыбкой глядитъ на мла-
денца,

Чутко слѣдя за дыханіемъ ровнымъ малютки.
Взоръ ея кроткій любовію свѣтится чистой;
Тихо поетъ она, люльку со скрипомъ качая.—
(Пѣсня простая на душу отраду наводитъ:
Много есть чувства въ ея безыскусственномъ
складѣ!)

Мѣсяцъ, играя, скользитъ по полуобнаженнымъ
Персямъ ея, отгнѣненнымъ волнистой косою.

Тихо вокругъ: только пѣсня отрадная льется:
Люлька скрипитъ, да котенокъ свернувшись
мурлычетъ;

Маятникъ стучаетъ, мѣрно и четко качаясь;
Только цвирикаетъ тихо сверчокъ за печуркой.

II.

Мрачно надъ городомъ стала холодная полночь;
Вѣтеръ пронзительный рѣжетъ лицо, завывая;
Дождь нескончаемый мелкими каплями льется.

Въ комнаткѣ тѣсной, сырой и холодной, къ
постели

Тихо склонившися, мать престарѣлая скорбно
Смотритъ въ лицо омертвѣлое юноши-сына.

Онъ, исхудалый, несчадный и блѣдный, томился
Тяжкимъ, глубокимъ недугомъ и тихо кончался...

Взоръ материнскій въ него устремленъ не-
подвижно,

Полонъ глухой и безвыходной скорби и муки...
Тихо вокругъ: только изрѣдка трескъ незамѣтный

Отъ нагорѣлой свѣчи восковой, передъ ликомъ
Темнаго образа тускло свѣтившейся, слышенъ;
Только все дождь барабанитъ по стекламъ
окошка;

Вѣтеръ въ холодной трубѣ завываетъ печально;
Только все слышится слабое смерти хрипѣнье.

1857.

* * *

Подъ душистою вѣтвью сирени
Съ ней сидѣлъ я надъ сонной рѣчкой,
И припавъ передъ ней на колѣни,
Ея станъ обвивалъ я рукой...
Провосились дымныя тучки,
На лицѣ ея мѣсяцъ игралъ—
А ея трепетавшія ручки
Я такъ долго, такъ страстно лобзалъ...

Погребальныя свѣчи мерцали,
Въ мрачныхъ сводахъ была тишина,
Надъ уснувшей обрядъ совершали—
Вся въ цвѣтахъ почивала она...
Со слезой раздражающей муки
Я на трупъ ея жадно припалъ,—
И холодныя, мертвыя руки
Такъ безумно, такъ страстно лобзалъ...

1857.

* * *

И вы дитя, и я дитя,—
Но путь намъ въ жизни выпалъ розный:
На жизнь вы смотрите шутя,
А я—и грустно, и серьезно.
Вамъ жизнь легка: еще судьбой
Вы днями горя не избиты,
Еще и счастьемъ, и весной
У васъ изнѣжены лавиты;
А я не то... уже давно
Судьба желѣзною рукою
Измяла равнею весной
Вѣнокъ мой бѣдный... Суждено
Ужъ видно было такъ!.. Но все же
Ребенокъ я, хоть и больной,
И молодъ вашею весной,
И юность ваша мнѣ дороже
Моей,—разбитой и пустой.

1860.

* * *

Моя жизнь—вамъ на-смѣхъ, погремушка,
Мое сердце—больное дитя,
И сидитъ надъ нимъ няня-старушка
И шипучкаетъ пѣсню, кряхтя.

Эта няня—отжившая грѣза,
Эта пѣсня—былая хандра,—
И въ алмазахъ сѣдого мороза
Все бормочетъ она до утра:

«Что завыло и жутко и сладко?
Что проснулося, глупое, вновь?
И опять тебя бьетъ лихорадка,
И опять накликаешь любовь!»

«Убаюкать дитяти нѣтъ мочи,—
Снова грезитъ оно безъ-пути
Все про тѣ про весеннія ночи,
Да ужъ тѣмъ-то ночамъ не придти!»

«А придетъ къ тебѣ няня-старуха,
Еще крѣпче больного сожметъ
И заѣтнюю пѣсню подъ-ухо
Безъ конца на всю ночь заведетъ».

1860.

* * *

Быть можетъ и мы разойдемся,
И Богъ-вѣсть, сойдемся ли вновь;
Быть можетъ и мы посмѣемся
Надъ тѣмъ, что будило любовь.—
И пусть ужъ любить я не буду,
Другіе тебя увлекутъ—
Но вѣрь, я тебя не забуду
За нѣсколько свѣтлыхъ минутъ.

1860.

* * *

Я люблю, какъ ребенокъ капризный:
Предъ тобой я во многомъ неправъ;
Но къ чему же тебѣ укоризной
Возмущать мой причудливый нравъ?..
Полюбить меня, вѣрю я, трудно,
А шутить я съ тобой не хочу,—
Я люблю и капризно, и чудно:
То—тоскую, то—дѣтски шучу;
То, припавъ въ забытій предъ тобою,
Самъ не знаю о чемъ я молю,
То насмѣшкой и ѣдкой, и злою
Я тебя безпощадно язвлю.
Не смущай же меня укоризной:
Мнѣ съ тобой хорошо и легко—
Я люблю, какъ ребенокъ капризный,
Но зато я люблю глубоко.

1860.

* * *

Нѣтъ, не къ добру сошлись мы тобою,
Нѣтъ, не на радость ты мнѣ отдалась;—
Ужель опять судьба съ насмѣшкой злою
Надъ головой безумца пронеслась!..
Нѣтъ, не страдать тебѣ, какъ я страдаю,
Нѣтъ, не любить тебѣ, какъ я люблю:
Вѣдь ты дитя,—и любишь ты, я знаю,
Глядѣть, какъ жизнь и силы я гублю.—
Что-жь, мучь меня!.. Вотъ сердце: разорви же!
Вѣдь я тѣхъ мукъ тебѣ не расскажу,—
Вѣдь ты не будешь видѣть, какъ все ближе
Я съ каждымъ днемъ къ могилѣ подхожу...

1860.

* * *

Ты говоришь, что хотѣла бы ты
Умирать, поскорѣй умирать;—
О, и не жаль тебѣ юности первой цвѣты
Такъ безпощадно порвать!..
Да, безпощадно... и такъ уже эти цвѣты

Смяли весеннія грѣзы
Отравой жгучею—слезы,
Нещадные толки людской суеты...
Что-жь, если хочешь, умри.
Только умри на груди у меня:
Грудь эта будетъ могилой тебѣ среди ночи и
дня—

И эту могилу ты смертью своей подари.
Въ этой могилѣ глубоко
Отъ черстваго, пошлаго свѣта тебя схороню я,—
И ты, отъ него улетаю со мною далеко,
На устахъ будешь чутъ и трепетъ и звукъ
поцѣлуя,
И длиться онъ будетъ изъ вѣка во вѣкъ,
безконечно,
Тотъ поцѣлуй мой—последній, прощальный;—
И слезы, и пѣсни польются изъ груди сер-
дечно—
И пѣсни тѣ будутъ твой гимнъ погребальный...
Въ этой могилѣ легко и уютно,
И хорошо тебѣ будетъ лежать:
Въ ней, надъ головкой твоей, и свѣтло и не-
смутно

Станутъ отрадные грезы витать;
Слухъ твой лелѣи,
Тихія арфы въ ней пѣсню тебѣ пропоютъ;
Роза, жасминъ и лилея,
Кураясь ароматомъ, гирляндой тебя перевьютъ...
А въ часъ полуночи,
Какъ съ неба на землю сверкающій взглядъ
Привѣтныя, умныя очи
Трепещущихъ звѣздъ обратятъ,
И мѣсяцъ лучами,
Сквозь паръ облаковъ, прорѣзая поля и лѣса,
Заискрится рѣзво въ рѣкѣ подъ волнами
И, влажно струясь надъ дугами,
Ночной ароматъ полетитъ въ небеса,—
Въ тотъ часъ изъ могилы твоей
Я стану тебя выпускать,
Чарующимъ призракомъ, въ блескѣ волшеб-
ныхъ лучей,
Въ прозрачномъ и свѣтломъ туманѣ летать...
И ты, обновленная,
Сольешься ты съ жизнью полей, и озѣръ, и
лѣсовъ,—
И много раскроетъ тебѣ обаятельныхъ сновъ
Ночь благовонная...
Каждую полночь я стану тебя выпускать
Въ міръ свой волшебный—міръ ласкъ и при-
вѣта,
И каждую полночь блаженно ты будешь витать
Вдали отъ бездушнаго свѣта,
Пока въ мою грудь, въ этотъ гробъ твой, опять
Тебя призову я съ лучами разсвѣта.

1861.

* * *

О, надъ тобой ли мнѣ смѣяться,
Тебя ль ревниво не беречь,
Передъ тобой ли притворяться,
Твоимъ ли чувствомъ пренебречь?—

Какъ сирота, которой въ мірѣ
Ужъ не осталось никого,
Которой грудь полнѣй и шире
Ужъ не вздохнетъ ни отчего;
Какъ мать, что отъ сырой могилы,
Гдѣ мужъ едва-сейчасъ зарытъ,
Сомкнувъ уста, теряя силы,
Одна въ отчаяннѣ бѣжитъ—
И лишь дитя свое больное.
Ревниво жметъ къ родной груди
И, озираясь на былое,
На крестъ, поникшій позади,
Дрожитъ и кутаеъ отъ вьюги
Дитя въ послѣдній свой платокъ
И прячетъ отъ могилъ, въ испугѣ,
Въ объятыхъ лучшій свой залогъ,—
О, какъ она, и я ревниво
Твою любовь лишь берегу
И съ ней, какъ сирота, пугливо
Отъ свѣта мертвѣго бѣгу!

1861

О к т а в ы.

(В—ръ Дм. К—овской.)

Еще вчера мы тихо восторгались,
Любуясь Мадонной Мурильо,
Гдѣ дѣвственность и святость сочетались
Съ земною страстью, къ небу рвавшей крылья.
Ея черты не случайно создались:
Такія лица создала Севилья!—
Ты помнишь, какъ дышалъ тотъ ротикъ гибкой
Божественно-коварною улыбкой?

Но красоту его Мадонны чистой
Вполнѣ постигъ я только этой ночью,
Когда во снѣ, въ томъ образѣ Пречистой,
Явилась *ты*—земли и неба дочью:
И страстію и святостью лучистой
Ты надо мной царила всею ночью,—
И я любви къ тебѣ не могъ измѣрить—
И захотѣлъ въ тебя одну лишь вѣрить.

1862.

* * *

О, въ этотъ мигъ, когда весь міръ ликуетъ,
Когда во тьмѣ гудятъ колокола,
И тихій воздухъ словно Бога чувствуетъ,
И ночь во глубь торжественно ушла;

Когда лобзаньемъ врагъ врага, какъ брата,
Привѣтствуетъ, подъ звукъ заветныхъ словъ,—
Я такъ далекъ растлѣнны и разврата,
Я снова жить и вѣровать готовъ!..

Моя любовь—иная Магдалина,
Она придетъ—я вѣрую, придетъ!
Она прижметъ меня къ груди, какъ сына,
И въ душу мнѣ елей любви прольетъ,

И скажетъ мнѣ, подъ звукъ воскресной пѣсни:
«Вставай изъ тьмы, страдалецъ, въ міръ небесъ!
Простимъ другъ другу все!—Христосъ воскресъ!
Я вся твоя,—и ты душой воскресни!..»

1862.

* * *

(В. Д. Крестовской.)

Что моя нѣжная, что моя милая,
Что ты глядишь на осеннія тученьки?
Сна-ль тебѣ нѣтъ, что лежишь ты унылая,
Грустно подъ щечку сложа свои рученьки?—

Я зашепчу твою злую кручинушку:
Сяду у ногъ у твоихъ на постелюшку,
Пѣсню спою про лучину-лучинушку,
Сказку смѣшную скажу про Емелюшку.

Я перевью твою косу богатую
Всю-то бурмицкою крупною бусою,—
Хочешь, повѣшу пѣвунью пернатую
Я надъ головкой твоей свѣтлорусою?—

Стану я гладить рукой эту голову:
Спи ты, молъ, дитятко! баиньки-баюнки!..
Знахаремъ я загадаю по слову:

Что-то творятъ у свекрови-хозяюшки?

Все разгадаю: что будетъ, что сбылось,
Что на душѣ, и о чемъ-то взгрустнулося,
Будемъ ли такъ же любить, какъ любилоса,
Иль еще крѣпче?—Но ты улыбнулась?—

Дай же, скорѣй зашепчу я кручинушку;
Дай же, я сяду къ тебѣ на постелюшку,
Пѣсню спою про лучину-лучинушку,
Сказку смѣшную скажу про Емелюшку!..

1862.

* * *

На груди моей Миньоны
Я хотѣлъ бы отдохнуть,
Чтобъ подъ жаркою щекою
Колыхалась эта грудь;

Чтобъ подслушало бы ухо
Шопотъ сердца твоего,
Чтобы сердце рассказало,
Сколько счастья у него.

1862.

* * *

Осень... Вечеръ холодный, росистый...
Скучно... Галки тоскливо кричатъ...
И темно какъ въ аллеѣ тѣнистой...
Подъ ногою листья шелестятъ...

Повернемъ на глухую дорожку—
Ничего! я бы очень хотѣлъ,
Чтобъ въ травѣ промочила ты ножку
И чтобъ я ее послѣ согрѣлъ...

1857.

* * *

На дворѣ шумить вѣтеръ докучный
И вздымаетъ пушистый снѣжокъ,
И кипитъ самоваръ у сосѣдки,
И мелькаетъ въ окнѣ огонекъ;
А сосѣдка сидитъ за работой,
И хотѣлось бы ей отдохнуть,
И волнуется тихо и томно
Ея нѣжная, бѣлая грудь...

Огонекъ и геранія вѣтки
Мнѣ привѣтно киваютъ въ окна—
Такъ пойду жь поскорѣй я къ сосѣдкѣ,
Отдохну подлѣ ней въ тишинѣ!..

1856.

* * *

Сядемъ вмѣстѣ у березы —
Что ты скученъ такъ?
Вотъ опять ужь чуть не слезы—
Право, ты чудака!..

Все куда-то такъ далѣко
Смотришь, самъ не свой,
Или бродишь одиноко
Позднею порой.

Все тебѣ, кажись, не мило;
Съ вѣчною тоской,
Старикомъ глядишь уныло—
Словно, ты больной!..

Все-то льнешь ты только къ книгамъ—
Хуже день отъ дня;
Хочешь вылечишься мигомъ:
Полюби меня!

1856.

* * *

Выходи, красотка!
Мы поѣдемъ снова;
Ужъ готова лодка
И весло готово.

Поплывемъ далеко,
Заглядысь съ тобою,
Какъ струя широко
Влещетъ за кормою;
Какъ туманъ разлившись
Стелется по полю—
И весло забывшись
Пустимъ мы на волю...
Здравствуй!.. Ужъ съ зорю
Вечеръ разстается,—
А у насъ съ тобою
Только жизнь начнется!..

1857.

* * *

Ночью въ залѣ было душно...
Все хотѣлося на волю...
Ты пошла со мной послушно
Далеко бродить по полю...
И безмолвно мы, средь луга,
До разсвѣта просидѣли —
Отчего жь тогда другъ друга
Мы безъ словъ понять умѣли?..

1857.

* * *

Отчего, когда въ полночь приду я
Цѣловать твои жаркія губки,
Ты не трепетно ждешь поцѣлуя,
Не воркуешь рѣчей мнѣ голубки?

Отчего холодно-безотвѣтны
Твои нѣжно-лукавые глазки?
И зачѣмъ принужденно привѣтны
Твои рѣчи и страстные ласки?...
А ты вспомни, какъ прежде бывало:
Какъ любили мы въ лѣтнія ночи,
Какъ ты жарко тогда цѣловала,
Какъ пылали приманкою очи;
А ты вспомни-ка, сколько прожито
Нами чувствъ и горячихъ лобзаній,
Сколько смѣху и слезъ тамъ пролито,
Сколько дѣтски-наивныхъ желаній!..

Отчего жь, когда въ полночь приду я
Цѣловать твои жаркія губки,
Ты не трепетно ждешь поцѣлуя,
Не воркуешь рѣчей мнѣ голубки?

1857.

* * *

Послѣдній день, послѣдній часъ
Гляжу я искренно на васъ!
Вамъ легокъ путь — мой путь иной:
И одинокой и чужой.

А можетъ быть, когда нибудь
Опять и къ вамъ свернетъ мой путь,
Но мнѣ сдается: суждено
Пройти той встрѣчѣ холодно,
Какъ много здѣсь проходитъ встрѣтъ,—
И можетъ быть, на мой привѣтъ
Отъ васъ услышу я въ отвѣтъ
Солидно-чопорную рѣчь...
Но то, что рвется изъ души
Излиться искренно въ тиши,
Что я хотѣлъ въ душѣ, какъ татъ,
На вѣкъ отъ всѣхъ, какъ кладъ, скрывать,
Сказать ли вамъ хоть въ этотъ часъ,
Въ послѣдній день, но въ первый разъ?

* * *

Я гляжу на тебя — и мнѣ жалко тебя:
Для кого разцвѣла ты такъ ярко?
Ты, бѣдняжка, свой вѣкъ отживешь не любя,
А вѣдъ сердце такъ юно и жарко!
Противъ воли твоя отдана ужъ рука:
Тебѣ мать жениха пріискала,
Скопидома-брюзгу, богача-старика,
Русской службы слугу-генерала.

Онъ тебя холодно подъ вѣнецъ поведетъ,
Онъ къ тебѣ адъютанта назначитъ,
А кто любить тебя — тотъ рукою махнетъ,
Отвернется и горько заплачетъ

Украинкѣ.

Она и я — мы дѣти юга:
Суровъ намъ сѣверный морозъ.
Намъ чужды сѣверная вьюга
И зелень сосенъ да березъ. —
Мы дѣти бѣшеной Украйны,
Питомцы вольной стороны:

И мнѣ и ей — намъ нужны тайны
Ея ночей, ея весны;
Намъ нужны степи да приволье
Благоухающихъ садовъ,
Да жизни трепетъ, да раздолье
Подъ грохотъ звонкихъ соловьевъ. —
Туда!... Туда бы вольной птицей
Я вмѣстѣ съ нею полетѣлъ
И, какъ касатка предъ денницей,
Ей пѣсню бѣ вольную запѣлъ!...
1857.

Въ альбомъ Ристори.

(Послѣ „Маріи Стюартъ“).

Когда раздавленный, убитый,
Съ душой измученной тобой,
За мигъ предъ казнью роковой,
Я видѣлъ образъ твой, повитый
Предсмертной думой и тоской; —
Въ тотъ мигъ, когда рука монаха
Средь палачей тебя вела
Туда, гдѣ высилася плаха —
И ты, покорная, безъ страха
На казнь въ величійшла, —
Въ тотъ мигъ въ душѣ моей безгласной
Всталъ образъ женщины другой,
Другой страдальцы прекрасной —
Твоей Италия родной.
Подъ хохотъ палачей гнетущихъ
Ее влекли на гнусный зовъ,
И скорбный гласъ ея сыновъ
Былъ гласъ въ пустынѣ вопіющихъ.
Но если бѣ и ея палачъ,
Какъ я, въ тотъ мигъ, тебя увидѣлъ —
Благословя святой твой плачъ,
Онъ бичъ тогда бѣ возненавидѣлъ.
И передъ ней во прахъ упалъ,
Свободѣ отдалъ бы онъ крылья,
И цѣпь навѣки-бѣ разорвалъ,
И проклиналъ рабство и насилье.

* * *

Душно... Ночь... Клубятся тучи...
Быть грозѣ большой!...
Вонъ, клубами паръ летучій
Ходить надъ водой...

И, зловѣщей тьмой одѣты.
Спать верхи березъ...
Лишь одинъ, голодный, гдѣ-то
Воетъ дальній пѣснь...

1855.

Передъ весной.

Снѣгъ лежитъ еще на крышахъ,
Искрятся яркой бѣлизной,
А ужъ въ воздухѣ къ полудню
Отзывается весной...

Такъ и тянетъ все на солнце
Перейти туда, гдѣ таетъ,
Гдѣ съ морозцемъ легкимъ яремъ
Солнце щеки припекаетъ.
И идешь — идешь и дышешь
Острымъ воздухомъ вольнымъ,
И на взглядъ всѣ лица кажутъ
Какъ-то лучше и добрѣе;
И идешь — и слухъ щекочетъ —
Будто звуковъ дѣтскихъ нѣга —
Звонкій шелестъ рѣзвыхъ капель
Хрупо тающего снѣга...

1860.

* * *

Мать въ сердцахъ меня журила:
«Я-ль тебя не зарекала,
Чтобъ любви ты окалливой
Пуще полыми бѣжала, —
Да родительскій зарокъ,
Видно, былъ тебѣ не въ прокъ!»
— Мама, мама! чтожь мнѣ дѣлать!...
Я сама ея боялась,
Да она-то во свѣтлицу,
Не спросясь, ко мнѣ врывалась
Сквозь окошко, майскимъ днемъ,
Съ каждымъ солнечнымъ лучомъ.
Я бѣжала изъ свѣтлицы,
Въ темный садъ отъ ней бѣжала, —
А она мнѣ тихимъ, вѣтромъ
Все лицо испѣловала,
И отъ мамы въ ту же ночь
Увела тихонько дочь!...

1862.

Весеннія ночи.

I.

А... весна, какъ струна, занываетъ въ груди,
Занываетъ и сердце щекочетъ...
Я люблю. — А весна все сулитъ впереди
И несбыточной сказкой морочить.
А какъ глянетъ съ весной ночи ясная тѣнь,
Поджидать меня выйдетъ подруга;
Загремитъ соловей, да запахнетъ сирень —
И пойдемъ мы вдоль соннаго луга...

II.

Молчить и спать душистый, тихій садъ:
Сирень и яблонь сыплотъ ароматъ...
Жасминами и амброй бѣлыхъ розъ
Такъ пахнетъ воздухъ, и смола березъ
Струей въ лицо прохладно, влажно льетъ;
А перепелъ во ржи такъ чѣтко бьетъ,
И слышно, какъ въ тиши звенитъ комаръ
И какъ куѣтъ кузнечикъ... Тонкій паръ
Надъ камышкомъ рѣчнымъ встаетъ, дымясь,
Тамъ квакаетъ жаба... Чайка вдругъ взвилась...
Вонъ бѣлое мелькнуло подъ кустомъ —
Тамъ кто-то есть... Темно... они вдвоемъ...

Тамъ листь дрожить... и шелестить трава...
И поцѣлуй тамъ слышенъ... и слова...

III.

...И въ саду тишина:
Лишь кузнечикъ въ травѣ заливается:
Перламутромъ луна
Въ стеклахъ оконъ скользитъ-отражается...
И отъ сонныхъ цвѣтовъ
Льется влага вокругъ ароматная,
И ночныхъ соловьевъ
Гдѣ-то пѣсня слышна перекатная.
И раскрыто окно —
А въ окнѣ томъ головка влюбленная
Заглядѣлась давно,
Какъ играетъ рѣка осребренная.
И не знаешь, она-ль
Эту ночь разожгла сладострастнѣе, —
Иль сквозь бѣлый вуаль
Ночь ее озаряетъ прекраснѣе!...

IV.

Все бы слушалъ весеннія сказки,
Отдаваясь весь день ихъ полету —
И живые, капризные глаза
Цѣловаль, цѣловаль бы безъ счету...
Я люблю, какъ, смѣясь безъ умолку,
И шалишь и язвись ты немножко —
И не разъ бы къ тебѣ втихомолку,
Я, подь-ночь, приходилъ подь окошко—
И, любуясь уснувшю нивой,
Притаюсь подъ черешней садовой,
На головку твою прихотливо
Примѣрялъ бы вѣнокъ васильковый...

V.

Здѣсь-то, Боже! сколько ягодъ,
Сколько спѣлой земляники!
Помнишь, какъ мы, ровно за годъ,
Тутъ сходились безъ улики?
Только разъ, кажись, попался
Намъ въ кустахъ твой старый дядя,
И потомъ, когда встрѣчался,
Все лукаво улыбался,
На меня съ тобою глядя...

VI.

О, взгляни ты: голубыя звѣзды робко блещутъ,
Блѣдно-палевою лентой даль окаймлена...
Листья кленовъ, осребранные, едва трепещутъ,
Осребренные, смѣясь, волны робко плещутъ,
Робкой нѣгой молодая ночь истомлена;—
Но той нѣги обаятельнѣй лилась бы сила,
Если-бъ робость дѣтскую ты отогнала прочь
И, откинувъ занавѣсъ, окошко растворила,
И, дрожа, безмолвная, стыдливо подарила
Тихо, всю въ одно лобзанье слившуюся ночь...

VII.

Что за воздухъ!.. что за ночь!..
Чего жъ бояться?
Тихо полночь въ синей глубинѣ застываетъ;
Только листья, замирая, шевелятся,
Да собака за рѣкою гдѣ-то лаетъ...
А ужъ темнеть!—даже мнѣ въ тиши не видно,
Какъ блистаютъ, изнывая, твои глаза—
Такъ кого жъ въ глухомъ саду тебѣ такъ стыдно
За неслышныя лобзанья, да за ласки?
Иль цвѣты, цвѣтамъ кивая, насъ укажутъ
И въ дугу ревниво пугать станутъ ногу?—
Но не бойся: все заснуло понемногу,
Развѣ звѣзды... да и ты ужъ коль Расскажешь,
Такъ расскажутъ въ чудной сказкѣ... только
Богу...

VIII.

Встань съ постели—да не бойся,
Подойди, мой другъ, къ окошку—
Посмотри, какъ дождь недавній
Зарябилъ въ саду дорожку.
Посмотри, проказникъ-мѣсяцъ
Разгулялся незамѣтно:
То за тучку томно ляжетъ,
То опять глядитъ привѣтно—
Точно ты: когда, порою,
Подпершиися ручкой гибкой,
То заплачешь прихотливо,
То опять даришь улыбкой...

IX.

Соловьями роща вся гремѣла,
Словно воздухъ рокоталъ надъ нею,
Словно ночь страдала вся и мѣла
И въ чаду жасмина къ намъ въ аллею,
Голубая, трепетно глядѣла...
Мы сходились робко и пугливо:—
Ты боялась этой ночи мая:
Ночь свѣтла,—ты ластись стыдливо;
Какъ дитя больное изнывая,
Ночи темной ждалъ я прихотливо...
А пришли вы, темныя, нѣмыя—
Не боясь, ты ластись привольно;
Гдѣ жъ цвѣты, гдѣ трели зоревыя?
Отчего жъ капризно такъ и больно
Мнѣ васъ жалко ночи голубыя?..

X.

Но Боже! какъ забыть
Ту ночь туманную, когда въ пустой аллеѣ,
Склонясь плечомъ къ плечу, мы медленно съ
ней шли:
Какой-то нѣжный звукъ едва дрожалъ вдали
И что-то вторило въ груди ему больнѣе...
А поле тусклое въ серебряный туманъ
Вдали, какъ озеро разлившись, уходило—

И полная луна, сквозь сѣть вѣтвей, скользила
По блѣдному лицу... И аромать полянъ
Отъ скошенной травы струился нѣгой зыбкой.
Всю ночь—одинъ аккордъ, одинъ безмолвный

хоръ!..

Мы шли—и теплился ея потухшій взоръ
Такою тихою и доброю улыбкой...
И такъ понятенъ былъ мнѣ смыслъ ея рѣчей
Стыдливо-искреннихъ, и робкихъ и тоскли-

выхъ—

О, какъ бы я тогда въ объятяхъ молчали-
выхъ
Всю горечь и любовь испилъ бы вмѣстѣ съ
ней!..

Мнѣ слезъ хотѣлося, и воли, и страданья,
Да смѣху дѣтскаго, да пѣсенъ, да весны,—
А кто-то все шепталъ: ребяческие сны!..
Оставь, забудь ее... то глупыя желанья!..

1859.

Хандра.

I.

Хандра... опять хандра!.. Ужъ близко къ по-
луночи...

Ни зги не видно мнѣ,—вся комната мертва...
Давно вперяются пылливо въ уголь очи:
Тамъ, будто, слышатся дыханье и слова...
Все пусто... На дворѣ и снѣгъ идетъ, и выюга...
Но неотвязчиво тамъ кто-то есть въ углу!—
Я не одинъ!.. но кто-жъ?—не ты-ль моя по-
друга?..

Чу!.. ставнемъ хлопнуло!—то вѣтеръ рѣжетъ
мглу:

И воетъ, и хрипитъ, и плачетъ онъ, и стонетъ...
Я боленъ... слушаю—и чую, какъ во снѣ:
То сердце вѣщее кого-то все хоронитъ,
И кто-то плачетъ въ немъ... и плачетъ обо мнѣ!..

II.

Осень... спать сѣдня тучи...
Въ полѣ сыро и туманно
И въ туманѣ лѣсъ и кручи
Исчезаютъ безпрестанно.

Выйду-ль въ садъ—и средь дорожки
Все ишу, съ полуистомой,
Легкій слѣдъ какой-то ножки
И родной и незнакомой...

Въ сердцѣ смутная забота
И тоски залетной жало—
Словно, жаль ему чего-то.
Словно, что-то потеряло...

Не прѣсти нѣмымъ долинамъ:
Грезы вешнія далеко,—

• Только астры по куртинамъ
Домерзаютъ одиноко...

III.

Прости мнѣ, доброе дитя,
Прости: я грѣшенъ предъ тобою,

Затѣмъ, что праздною молвою
Я оскорбилъ тебя, шутя!

Какъ глупый школьникъ, вѣроломно
Я выдалъ лучший твой залогъ
Простой любви, смѣясь нескромно
Надъ тѣмъ, чего постичь не могъ;

И то, чего душа просила
Не разъ потомъ, чѣмъ въ дни дни
Такъ щедро ты меня дарила,
Мнѣ свѣтъ нашептывалъ: «казни!»—

И я казнилъ моралью строгой,
Живой струй наперекоръ,
И шелъ избитою дорогою,
И самъ изрекъ свой приговоръ!—

Такъ мнѣ-ль связать непрочною связью
Тревожный мракъ и свѣтлый миръ?
Я самъ низвергнулъ свой кумиръ
И забросалъ нахально грязью!

IV.

Спой-же мнѣ, спой, щекочи ретивое:
«Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!»—
Смыслъ этой пѣсни мнѣ чистъ и глубока—
Пусть эти звуки навѣютъ бывшее,
Пусть я смѣюсь, и пою, и тоскую:
«Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!»—
Пусть въ этихъ звукахъ гнететъ меня рокъ—
Любо помучить мнѣ душу больную,
Любо будить мнѣ влюбленные грезы!
Хлынуть онъ, что нагорный потокъ;
«Свѣжъ и душистъ твой роскошный вѣнокъ!»—
Тихи, какъ май, мои ранние слезы...

V.

Развратъ и скорбы!.. опять, подъ бѣшеные звуки,
Я твой, въ объятяхъ продажной красоты!—
На пошлость новую отъ пошлости и скуки!..
Я твой!.. Всю ночь разгуль... Пусть, блескомъ
залиты,
Мелькаютъ плечъ и рукъ заманчивыя формы!..
Такъ ядовито жжетъ огонь упругихъ губъ!—
А въ залѣ визгъ и смѣхъ: въ чаду разгульныхъ
группъ,
Тамъ зной канкана вдругъ срываютъ звуки
Нормы...
Какъ въ лихорадкѣ я: въ ушахъ и трескъ и
звонъ,—

Но отчего-жъ всю ночь, мнѣ нелюбо безумье!?
О, не цѣлуй меня! Все будто, какъ сквозь сонъ,
Слетаетъ на душу похмѣльное раздумье—
И все-то грезится: изрытый косогоръ,
Кувшинки на пруду, да тощій стволъ рябины,
Господскій старый домъ, заглохшія куртины,
Кусты смородины, калитка да заборъ;
А тамъ, на солнышкѣ, головка молодая,
Въ вѣнкѣ изъ васильковъ, глядитъ, прѣты
рояля...

О чемъ-же ты грустишь и съ каждымъ яснымъ
днемъ

Заигрался-бъ въ треляхъ ночи нѣжныхъ,
Дѣтскій смѣхъ вдоль моря разливая.
Пусть бы люди проходили мимо,
Пусть ребенка звали-бъ сумасшедшимъ,—
Что мнѣ въ нихъ!.. зато душа незримо
Распростилась бы со злымъ прошедшимъ!
Надоѣлъ мнѣ городъ вашъ бездушный,
Ваша чинность, чопорность уборовъ,
Добрый нравъ, мѣщанству лишь послушный,
Да и барабанный бой всѣхъ споровъ,
Въ вольномъ духѣ, о российскомъ мирѣ,
Съ тайной жадой теплаго мѣстечка,
Да о томъ, что «дважды-два—четыре,
А не стеариновая свѣчка!»
Надоѣли мнѣ борьба за вѣру
Въ донъ-кихотскія свои затѣи
И друзей, не выспавшихся въ мѣру,
Всѣ трансцендентальныя идеи!

IX.

Весенней ночью благовонно
Гроза дышала съ высоты,
И подъ грозю окрыленной
По клумбамъ падали цвѣты.
Она пошла въ свой садъ, залитый
Багряной свѣжестью зори,
И подняла цвѣтокъ убитый,
Промолвя тихо: «не умри!»—
И онъ раздвѣлъ на мигъ счастливый,
Заботой любящей руки,
И умиралъ въ тиши лѣнливой,
Роняя слабо лепестки.—
Такъ и меня гроза согнула,
Подъ гнетомъ пошлости и зла,—
Но ты руки не протянула,
Но ты помочь мнѣ не могла!..
И все пришло съ мнѣ такъ обидѣть,
Такъ нагло чувство оскорбить,
Когда хотѣлось бы любить,
Когда такъ рано ненавидѣть!..
Пусть такъ,—но все же тяжело,
Въ расчетъ съ ребяческой ошибкой,
На все: на благо и на зло—
Глядѣть съ цинической улыбкой.

X.

Да, я усталъ... хоть глупо и не въ пору,
Зато спокойнѣй: нечего желать,
Зато съ судьбой ужъ не затѣю спору
И на людей не стану я роптать...
Я не откликнусь счастьемъ юной груди,
И пѣсня скорби также мнѣ стара!
Я не помню вашего добра,
Зато и зла вамъ не помню, люди!..
Таковъ надъ взморьемъ брошенный гранитъ;
Чужды ему и ласка, и угроза:—
Пусть вешній дождь слезой его кроштитъ
И шепчетъ сказки въ сумеркахъ береза,
И пурпуромъ ласкаетъ позднѣй лучъ,

А волны льнутъ серебрянымъ набѣгомъ;
Пусть по-зимѣ бьетъ холодъ хмурыхъ тучъ
И вѣтеръ злой съ насмѣшкой сыплетъ снѣгомъ—
Онъ глухъ и нѣмъ... Придетъ ему пора—
И рухнетъ онъ... Да, въ глубь черствой груди,
Я не помню вашего добра,
Зато и зла вамъ не помню, люди!

XI.

Проклятая!.. И нѣтъ ни въ чемъ исхода.
И здѣсь мутитъ съ утра и до утра,
Все пошлый сонъ, все глупая хандра
И гнусная-прегнусная погода...
Осеннѣй свѣтъ... На слякоть—благодать!
Взгляну въ окно — старьевщикъ въ лужахъ
бродитъ;

Тоскливо онъ гнуситъ: «старья продать!»—
Я продалъ бы,—товаръ-то не подходитъ...
А радъ бы сбыть все лишнее старье!
Не купишь-ли мечты о дняхъ свободы,
Хандру и желчь, и горькое житѣе,
Надежды, скорбь и старыя невзгоды,
Да за-одно и старую любовь?—
Наскучило мнѣ ждать съ такимъ товаромъ!
Другимъ глупцамъ его ты сбудешь вновь,
А ужъ любовь... бери, пожалуй, даромъ!..

XII.

Мнѣ снится сонъ... Стучать и бить
Виски, налившіеся кровью...
Прозрачно призраки встаютъ
И тиховѣнно, робко льнутъ,
Съ больной улыбкой, къ изголовью.
И сквозь лазоревый покровъ,
Въ слияннѣ свѣта и тумана,
Въ вѣнкѣ изъ синихъ васильковъ,
Съ одеждой бѣлою вокругъ стана,
Одинъ изъ нихъ встаетъ яснѣй,
Пронзая взоръ мой тихимъ взоромъ,
И говоритъ, сквозь блескъ лучей:
«За что-жъ неправеднымъ укоромъ
Ты переполнилъ желчно грудь?
Могла-ль я руку протянуть,
Когда ты падалъ подъ грозю,
И облегчить твой скорбный путь,
Вдали, забытая тобою?..
«Въ тѣ ночи, какъ ловилъ твой умъ
Безумныхъ оргій смрадъ и шумъ,
Когда въ чаду, средь бури смѣху,
Ватагъ буйной на потѣху,
Ты раболопно разбивалъ
Свой беззащитный идеалъ,—
Въ тѣ ночи, грустно, безответно,
И сострадая и любя,
Все, что душѣ моей завѣтно,
Я вызывала беззапретно,
Молясь и плача за тебя!
И никогда людскіе взгляды
Не подглядятъ моей лампады;

Но той молитвѣ, тѣмъ слезамъ
Внимаетъ чуткая долина,
Да вѣшной ночи звѣздный храмъ,
Да вѣтка бѣлаго жасмина...
«Но и теперь, когда легла
Разлука бездною межъ нами,
Когда опять любви пришла
Къ тебѣ съ горячечными снами,
Не отвергай ея ты самъ,
Какъ бесполезный, старый хламъ!
Она одна, какъ Божье чудо,
Осталась намъ средь пустоты,—
О, сохрани-жь ея мечты
И не продай ихъ, какъ Іуда!..

XIII.

Вечерній благовѣстъ... мерпаніе лампадъ,
И мрачный хоръ вдали, и фиміамъ въ аркадахъ,
Таинственный просвѣтъ сквозь сумракъ колон-
надъ
И темный ликъ святыхъ въ блистающихъ
окладахъ,—
Опять вы предо мной, какъ прежде, какъ въ
тотъ день,
Когда отверженный, убитый, оскорбленный,
Съ глухимъ невѣріемъ въ душѣ ожесточенной,
Нежданно я съ тоски забрелъ подъ валу снѣн.
Иконы искрились рубиномъ и алмазомъ.
А Твой скорбящій ликъ, страдалецъ Назарей,
Вдали заброшенный, забытый у дверей,
Я долго созерцалъ сухимъ, горящимъ глазомъ...
И всепрощеніемъ дышалъ твой кроткій видъ,
И столько благодати прочелъ я въ скорбномъ
взорѣ,
Что вдругъ сорвался вопль: «и Ты, и Ты за-
бытъ!»—
Такъ что-жь передъ Тобой мое земное горе!»—
И слезы хлынули ручьемъ на мраморъ плитъ,
И стала вдругъ легка тернистая дорога—
И я почувствовалъ, въ груди живого Бога...
Теперь опять стою предъ образомъ Твоимъ,
Опять растерзанный, убитый, оскорбленный,
Досель невѣдомой мнѣ жаждою томимъ,
Съ мольбой неистовой въ душѣ преображенной:
«О, дай хоть разъ еще увидѣть средь полей
Ее, мой идеалъ!.. въ саду-ль благоуханномъ,
Иль даже въ рубищѣ, при сумракѣ туманномъ,
На грязной мостовой, въ мерцаньи фонарей,
Въ стѣнахъ ли келіи, невѣстою ли брачной,
Въ больницѣ смрадной ли, въ чахоточномъ огнѣ,
Иль даже мертвую, подъ плащаницей мрач-
ной!»—
На мигъ, хоть гдѣ-нибудь,—но только-бъ ви-
дѣть мнѣ!
Уйми-жь въ груди моей Ты каинскія муки,
И пусть покой въ нее прольется, какъ елей,
И пусть подъ тихіе торжественные звуки
Опять потоки слезъ вдругъ хлынуть изъ
очей!—
Отдай, отдай мнѣ ихъ! онѣ мои, по праву!—

Ужель досель еще не выстрадалъ я слезъ?!
О, вспомни, какъ Ты самъ пилъ жгучую
отраву,
Скорбя надъ чашею, межъ алеонскихъ дозъ!..»
Но хладенъ строгій ликъ, подъ тусклою по-
лутьмою,—
И страшно въ немъ прочесть послѣдній при-
говоръ!..
Нѣтъ, не видать мнѣ слезъ!.. Предъ нимъ,
потупя взоръ,
Стою отверженный, съ мертващею тоскою.

XIV.

Ахъ, пора бы покончить съ собою,
Съ этой жизнью, обманщицей злою!
Ахъ, скорѣй бы съ ней кончить расчетъ —
Да и въ землю, безъ дальнихъ хлопотъ!..
И чего еще ждать?.. Или трушу
Порѣшить свою грѣшную душу?—
Предо мной и веревка и ножъ,
На послѣдній добытые грошъ.
Выбирай хоть любое!—и смѣло
Отпусти наболѣлое тѣло:
Двухъ смертей на вѣку не бывать,
А вѣдь жить—по часамъ умирать.
Какъ собаку, въ рогожѣ зароятъ,
Что-жь, и лучше!.. Зато не повоютъ
Лицемерно надъ трупомъ моимъ,
Лишь осудятъ, какъ слѣдуетъ имъ...
Да и та бы, поди, осудила,
Что терзала меня и любила,—
Бросить камнемъ она, хороня,
Вмѣсто горсти земли на меня...
Обманула ты, жизнь, обманула!
Задавила ты насъ и заснула,
Дикой силы блудница-раба!
И безилльна съ тобою борьба!..
Все, что юностью было обильно
Ты всегда растлѣвала насильно
И потомъ заражала собой,
Иль душила гнилою рукой!
Для чего-жь предъ собой лицемерить?—
Жить нельзя: въ жизни нечему вѣрить,—
Такъ скорѣй же съ ней кончить расчетъ,
Да и въ землю, безъ дальнихъ хлопотъ!

1860.

Старыя пѣсни.

Es ist eine alte Geschichte...
Heine.

I.

Новая любовь.

Ужель къ устамъ опять идетъ она,
Когда въ груди еще бывшее не заснуло?
Вдругъ чувство новое негаданно пахнуло
И жизнь разбитую вновь будить ото сна...
Зачѣмъ, когда вчера, склоняясь надъ роялемъ,
Она такъ женственно, такъ просто пѣла мнѣ,—
Впервые звуки тѣ болѣзненной печалью

Во мнѣ отозвались—и снова свѣтлой далью
Манять живые сны о счастьѣ, о веснѣ?
Манять!.. но вѣдь она отвѣтливо не взглянетъ
И не подастъ руки!.. И что за дѣло ей?..
Нѣтъ! лучше задушить мнѣ чувство поскорѣй:
Пусть въ омутъ прошлаго больная греза канетъ!

II.

А я-бъ любилъ ее!..

Да, я-бъ умѣлъ любить!

Любить то тихою, то рѣзвою любовью...

Мнѣ было-бъ любо, въ ночь, принякнувъ къ
изголовью,

Съ ней въ грезахъ дѣвственныхъ то въ Альпы
уходить,

То мчаться соколомъ по волжскому низовью,
То мрачнымъ рыцаремъ къ кладбищу съ ней

нестись,

То въ звукахъ Ланнера теряться въ пестромъ
балѣ,

То гордымъ демономъ парить въ святую высь,

То ночь въ Венеціи кружится въ карнавалѣ...

Да, я-бъ любилъ ее,—но гордо и свѣтло:

И ей, какъ равной бы, свободно подавъ руку—

И прокляла-бъ она со мной людское зло

И смѣло-бъ обрекла на счастье, иль на
муку!—

Скажи мнѣ,—да?..

III.

Полюби меня, моя голубка,

Моя милая, хорошая моя!

Что-жь, иль толкамъ такъ страшна

уступка?

Или стыдно выдать сердце не тая?—

О, не бойся: не тяжка утрата,

Да и жертвы мнѣ не надо роковой:

Полюби меня, любя, какъ брата,

Какъ сестра, любовью тихой и нѣмой!

Говорили мнѣ чужіе люди,

Будто жалки молодые мои сны,

Будто въ бѣдной этой, хилой груди

Струны жизни черствой жизнью порваны.—

Погоди: еще весна настанетъ,

По лугамъ польется полая вода,—

И, быть можетъ, тихо смерть заглянетъ

Въ эту грудь... и приглубить навсегда...

Но когда, какъ вѣтвь сухую, хрупко

Сломить жизнь она,—ты, слезы не тая,

Мнѣ закрой глаза, моя голубка,

Моя милая, хорошая моя!

IV.

Ночи бѣлыя стоятъ,

Заколдованы весной:

То хранить онѣ, хранить

Тихо сонъ твой молодой.

Подошла къ тебѣ весна

И въ окно твое глядитъ,

Какъ зардѣлся жаромъ сна

Бархатъ дѣвственныхъ ланитъ...

Видно, любо ей, веснѣ,

На сестру свою гладить,

Что велитъ тебя лунѣ

Блѣднымъ золотомъ одѣть;

За весною и луна

Тихо крадется взглянуть,

А съ луной изъ-за окна

Вѣтви тѣнью кроютъ грудь.—

Спи же сладко до утра

Ты подь пѣсню соловья,—

Сторожать тебя: сестра,

Ночи бѣлыя, да я...

V.

«Прости на вѣчную разлуку!»

Твой голосъ грустно прозвучалъ—

И я пророческому звуку

Душой покорною внималъ.

О, знала-ль ты, хоть въ тѣ мгновенья,

Какого горькаго значенья

Мнѣ этотъ звукъ исполненъ былъ!—

Съ нимъ все, что прожито тревожно,

Все, что забыть мнѣ невозможно

Я безвозвратно хоронилъ...

Прости-жь и ты!.. быть можетъ, скоро

Пойду я въ свѣтлый, дальній путь,

Безъ желчныхъ думъ и безъ укора

Подъ небомъ теплымъ отдохнуть—

И, можетъ, сдавленное горе

Развѣетъ вѣтеръ гдѣ нибудь,

И заглушитъ чужое море

Въ душѣ печальное «забудь!..

Забудь!..»

VI.

Спасибо, добрая моя—

За то, что, внявъ больному крику

И въ сердцѣ жалость затая,

Не отогнала горемыку;

За то, что поняла безъ словъ,

Какъ полюбилъ тебя тепло я,

И навѣвала много снова

Любви и дѣтскаго покоя;

За то, что желчь угомоня

Во мнѣ ты кроткими словами,

Порой глядѣла на меня

Своими добрыми глазами,—

И глѣла мнѣ, какъ въ чудномъ снѣ

Вся звукамъ скорби отдаваясь,

За то, что каждый разъ, прощаясь,

Ты жала крѣпко руку мнѣ;

За то, что въ грудь мою съ тобою

Влилася свѣжая струя,

За то, что ты передо мною

Осталась чистою душою—

Спасибо, добрая моя!

ИСПАНСКІЕ МОТИВЫ

Auto da fe

Изъ Царствованія Филиппа III.

(Посвящено Л. А. Мевъ).

Звонъ въ церквахъ и клики буйной черни
Надъ взволнованнымъ Мадритомъ...
Знать, къ святому дѣлу черной казни...
Данъ призывъ іезуитомъ.
Предъ соборомъ, надъ стѣной народа,
Всталъ костеръ и столбъ позорный,
У костра палачъ, и крестъ, и стража,
И монахъ въ сутанѣ черной.
А на двухъ концахъ площадки—пышно
Двѣ трибуны возвышались
И, смирясь о имени Христовомъ,
Тамъ двѣ власти красовались:
На одной—потупя долу взоры,
Босъ и скорбенъ, въ ризѣ бѣдной,
Самъ великій инквизиторъ кротко
Возсѣдалъ, сухой и блѣдный.
Загвѣвалъ онъ глухо *de profundis*,
Межъ отшельниковъ суровыхъ,
Съ мрачнымъ хоромъ красныхъ кардиналовъ
И епископовъ лиловыхъ.
На другой трибунѣ, въ царскомъ блескѣ,
Сталъ король съ почетной свитой,
Предъ нѣмой толпой надменныхъ грандовъ,
Гордо шляпами покрытой.
За рѣшетками рѣзныхъ балконовъ,
Межъ ковровъ и флаговъ—дамы;
И хмѣльно, что праздника и пира,
Ждетъ Мадридъ кровавой драмы...
Все готово... но къ столбу, съ монахомъ,
Не выходитъ осужденный,—
А ужъ чимъ-то грознымъ приговоромъ
Брошенъ страхъ въ народъ смущенный.
Что-то будетъ... Тихо инквизиторъ
Поднялся, не двинувъ бровью,—
И палачъ, съ его благословенья,
Принялъ склянку съ чьей-то кровью.
Факелъ брошенъ,—мигъ—и пламя рвется...
Кровь преступная пролилась
И на угляхъ смирно зашипѣла,
Потекла и задымилась...
Распростерся, въ скорби покаянной,
Самъ король передъ Распятьемъ,—
И соборъ ту кровь, во имя Божье,
Заклеймилъ святымъ проклятьемъ.
Только тутъ народъ, очнувшись, понялъ
Странной казни той значенье:
Вспомнилъ онъ, какъ жидъ одинъ, недавно,
Шелъ съ синклитомъ на сожженье;—
Вспомнилъ онъ, какъ былъ тогда спокоенъ
Ликъ торжественный и ясный,

Какъ безстрашно, поступью святого,
На костеръ взшелъ несчастный.
Дрогнувъ весь народъ и въ смутномъ страхѣ
Вдругъ замолкнулъ, изумленный,—
И король, взирая на страдальца,
Тихо вымолвилъ смущенный:
«Судъ не правъ... И жидъ не передъ нами-ль
Вышелъ къ смерти безъ боязни?
Лишь одни святые страстотерпцы
Такъ ходили къ мѣсту казни!..»
Но сказалъ онъ—отшатнулись гранды,
Въ страхѣ вдругъ прервались хоры,
И на дерзкаго великій инквизиторъ
Поднялъ медленные взоры...
Судъ назначенъ...

Въ черной валѣ свѣчи...
Тѣнь скрестилась отъ Распятья...
За столомъ, въ зловѣщемъ полумракѣ,
Чуть видна босая братья...
И тогда верховнымъ альгвазиломъ,
Въ каскѣ съ спущеннымъ забраломъ,
Былъ введенъ преступникъ и поставленъ
Предъ священнымъ трибуналомъ.
То король былъ... Осуждался ими
Онъ за дерзкое сомнѣнье
Въ приговоръ ихъ непогрѣшимомъ—
На публичное сожженье.
Но къ костру предстать они не смѣли.
Со лже-жертвою державной:
Онъ, по сану и священству власти,
Инквизиціи былъ равный.
И рѣшилъ великій инквизиторъ,
Всепрощающей любовью,
Что король свой грѣхъ великій долженъ
Искупить сожженной кровью.
И тогда палачъ ему ланцетомъ
Дерзко царственную руку
Тронулъ, и понесъ ту кровь, съ синклитомъ,
На сожженье и на муку...
Не преданье это и не сказка—
Быль: зане, въ пылу суровомъ,
Изувѣрство нагло попирало
Все—о имени Христовомъ!

1860.

Fandango.

Novos engria senora
Ser de alta esfera.

Чуть съ аккордомъ двухъ гитаръ
Лихо щелкнуть кастаньеты—
Для фанданго страстныхъ паръ
Бойче всѣхъ мои куплеты.

И пляшу я—вихрь огня!—
 Предъ окномъ моей сеноры,
 Но сенора отъ меня
 Гордо прочь отводитъ взоры...
 Чуть погаснетъ яркій день,
 Я—къ коню: къ сенорѣ время!..
 Мигомъ шляпу на бекрень,
 Плащъ за плечи, ногу въ стремя—
 И гарцую—вихрь огня!—
 Предъ окномъ моей сеноры,
 Но сенора отъ меня
 Гордо прочь отводитъ взоры...
 Эй, сенора! не пугай!—
 Что за чванство! родъ твой знаютъ,—
 Но къ высокимъ башнямъ, знай,
 Тоже лѣстницы бываютъ!..

1860.

* * *

Въ дальней Африкѣ, весною,
 Чуть засочнѣтъ трава,—
 Ходятъ львицы надъ водою
 И за каждой—по два льва.
 Ходятъ чутки и ревнивы
 Два соперника любви:
 Взоръ—что уголь, дыбомъ гривы,
 Зубы въ пѣнѣ и въ крови...
 Ходятъ долго львы за львицей—
 Львица ждетъ и не глядитъ,
 Только съ каждою денницей
 Все томить ихъ и томить;
 Изморила—и ложится,
 Взглядомъ вызовъ шлетъ на бой—
 Спихблѣсь львы—и смотритъ львица:
 Паль одинъ, а къ ней другой!..
 Такъ за мной ходили двое,
 Двое лучшихъ удалцовъ,—
 Хороши, что цвѣтъ алѣз
 На поляхъ моихъ отцовъ.
 Эта ножка, эта нѣга
 Ихъ дразнили съ давнихъ поръ,
 И одинъ былъ—грандъ Ріага,
 А другой—торреадоръ.
 Оба любви были сердцу,—
 Но пока ни одному
 Не открыла въ садъ мой дверцу
 Я въ полуденную тьму.
 Разъ, въ полночь, пришли въ Гренаду
 И подъ низкимъ подъ окномъ,
 У калитки, подлѣ саду,
 Притаились за плущемъ..
 Жду... и къ нимъ спустила ножку,
 Съ груди сдернула вуаль,—
 А цвѣтками на дорожку
 Такъ и сыплется миндаля...
 Говорю: «мнѣ оба любви!
 Пусть кинжалъ рѣшаетъ споръ,
 Кто вопьется въ эти губы:
 Грандъ—иль ты, торреадоръ!!»
 Чуть сказала—развернулись,
 Сталь сверкнула при лунѣ,

Взвизгнулъ ножъ—и отшатнулись
 Двѣ ихъ тѣни на стѣнѣ...
 Рухнулъ грандъ—не вскрикнулъ даже!
 А другой—мо мнѣ на грудь!—
 Но въ дзоръ полнотной стражи
 Мимо близокъ былъ ужъ путь...
 Хотъ самой мнѣ въ оборону
 Поцѣлуй былъ противъ нихъ,
 Но въ слезахъ, всю ночь, Мадонну
 Я молила за двоихъ,
 Да не вняла мнѣ Мадонна:
 Былъ подписанъ приговоръ—
 И глядѣла я съ балкона
 Какъ висѣлъ торреадоръ.

1860.

Андалузianка.

Но въ одной Севильѣ старой
 Такъ полны на утро храмы
 И такъ пламенно стремятся
 Исповѣдываться дамы,
 А. Майковъ.

Андалузская ночь горяча, горяча,
 Въ этомъ зноѣ и страсть, и безсилъе,
 Такъ что даже спадаетъ съ крутого плеча,
 Отъ бѣшенія груди мантилья!
 И срываю долой съ головы я вуаль,
 И срываю докучныя платья,
 И съ безумной тоской въ благовоинную даль,
 Вся въ огнѣ, постираю объятія...
 Обнаженные перся трепещутъ, горятъ,—
 Чу!.. тамъ слышны аккорды гитары!..
 Въ виноградникѣ чья-то шаги шелестятъ
 И мигаетъ огонь отъ сигары:
 Это онъ, мой гадальго, мой рыцарь, мой другъ!
 Это онъ—его поступь я чую!
 Онъ придетъ—и подъ плащъ къ нему кинусь
 я вдругъ,

И не будетъ конца поцѣлѣмъ!
 Я люблю подъ лобзаньемъ его трепетать
 И, какъ птичка, въ объятіяхъ биться,
 И подъ грудь его падать, и съ нимъ замирать,
 И въ одномъ наслажденіи слиться.
 Съ нимъ всю ночь на-пролетъ не боюсь ни-
 кого,—
 Онъ одинъ хотъ съ двѣнадцатую сладить:
 Чуть подмѣтилъ-бы кто, иль накрылъ-бы его—
 Прямо въ бокъ ему ножъ такъ и всадить!
 Поцѣлуевъ, объятій его,—сгоряча
 Я не чую отъ бѣшеной страсти,
 Лишь гляжу, какъ сверкаютъ въ глазахъ два
 луча—

И безмолвно покорна ихъ власти!
 Но до ночи, весь день, я грустна и больна,
 И въ истомѣ все жду и тоскую,
 И въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ былъ со мной, у окна,
 Даже землю украдкой цѣлую...
 И до ночи, весь день, я грустна и больна
 И по саду брожу непривѣтно—
 Оттого, что мнѣ некому этого сна
 По душѣ рассказать беззавѣтно:

Ни подругъ у меня, ни сестры у меня,
 Старый мужъ только деньги считаетъ,
 И ревнуетъ меня, и бранить онъ меня—
 Даже въ церковь одну не пускаетъ!
 Но урвусь я порой, обману какъ-нибудь
 И уйду къ францисканцу-монаху,
 И къ рѣшеткѣ склоняюсь, все, что чувствуетъ
 грудь,
 Съ наслажденьемъ раскрою, безъ страху!
 Расскажу я ему, какъ была эта ночь
 Горяча, какъ луна загоралась.
 Какъ отъ мужа изъ спальни прокралась я прочь,
 Какъ любовнику вся отдавалась.—
 И мнѣ любо тогда сквозь рѣшетку слѣдить,
 Какъ глаза старика загорятся,
 И начнетъ онъ молить, чтобы его полюбить,
 Полюбить—и грѣхи всѣ простятся...
 Посмѣюсь я тайкомъ и, всю душу раскрывъ,
 Отъ монаха уйду облегченной,
 Чтобы съ новою ночью и новымъ порывъ
 Рвался пылче изъ груди влюбленной.

1862.

Мавританка.

Мнѣ не диво роскошь замка,
 Диво—степи безъ концовъ:
 Я породы львиной самка
 Съ логовищъ моихъ отцовъ!
 Я по крови—мавританка...
 Сброшу спензеръ—погляди!
 Тамъ трехграннымъ шрамомъ ранка
 Чуть бѣдѣтъ на груди.
 Мнѣ пробилъ ее кинжаломъ
 Сорванецъ въ лукавый часъ:
 Обожгла его я жаломъ,
 Полнымъ яду острыхъ глазъ.
 Крѣпкій станъ мой, взоръ газели,
 Подъ лобзаньемъ трепеть губъ
 Очи брата подглядѣли,
 Сердцу брата былъ онъ любъ;
 Какъ двѣ ягоды на вѣткѣ
 Подъ однимъ росли шатромъ;
 Какъ двѣ пташки въ тѣсной клѣткѣ,
 Мы слюбились вдвоемъ.
 Братъ, какъ тѣнь, ходилъ за мною,
 Съ тайной жаждой, ночь и день,
 Какъ за ланью молодою
 Чуткой поступью олень.
 Чуть заснетъ отецъ усталый,—
 Онъ змѣею подползетъ;
 Два луча въ глазахъ,—что жало:
 Взоръ въ потемкахъ такъ и жжетъ!
 И тревожнымъ поцѣлуемъ
 Онъ разбудить сонъ сестры—
 И не помнимъ, и не чуемъ,
 Какъ уйдемъ мы за шатры,
 Какъ умчимся въ степь оградно
 На свободу до утра!..
 Какъ къ упругимъ персямъ жадно
 Привлечетъ его сестра!..

Но едва заслышитъ шорохъ,
 Чуть завылъ вдали шакалъ,—
 Онъ ужъ вспыхнулъ, словно порохъ—
 И дрожитъ въ рукѣ кинжалъ...
 Было любо мнѣ порою
 Ревность въ тигрѣ разбудить
 И со страстью роковою,
 И со смертію шутить.
 Этой ревностью волнуемъ,
 Разъ, какъ левъ, меня онъ сжалъ—
 И съ проклятымъ поцѣлуемъ
 Грудь царянула мнѣ кинжалъ,
 Я какъ змѣйка ускользнула,
 Я парицей отошла,—
 Лишь во взорѣ промелькнула
 Безпошадная стрѣла...
 Только слышу—рухнулъ кто-то...
 Обернулась—братъ въ крови:
 Ножъ подъ сердцемъ... Шепчетъ что-то,
 Шепчетъ мнѣ слова любви,—
 Я къ нему... съ мольбой, съ мученьемъ!—
 Онъ на грудь меня привлекъ
 И съ послѣднимъ наслажденьемъ
 Кровью жгучею истекъ...

1861.

Затворница.

Запретный плодъ, какъ ядъ, и жгучъ и сладокъ!
 А я одна
 Вникать во смыслъ таинственныхъ загадокъ
 Обречена.
 Мнѣ съ юныхъ лѣтъ суровыя картины
 Внушаютъ страхъ—
 Еще досель я зрѣла ликъ мужчины
 Лишь въ образахъ.
 И, Боже мой! на этотъ ликъ прекрасный
 Какъ часто я
 Глядѣла въ ночь, порывъ лукаво-страстный
 Отъ всѣхъ тая!
 Молила я, чтобы съ полотна въ объятья
 Ко мнѣ онъ палъ—
 Но онъ былъ нѣмъ,—и мой языкъ проклятыя
 Ему шепталъ...
 Въ восемнадцать лѣтъ еще хлопочетъ страстью
 Шальная кровь,—
 Хоть камень будь,—и къ камню мощной властью
 Влечетъ любовь!—
 И я мечусь, упавъ горячимъ тѣломъ
 На мраморъ плитъ,—
 Но, въ мигъ согрѣтъ, онъ въ блескѣ потускнѣ-
 ломъ
 Не холодитъ.
 Въ волшебный міръ неправедныхъ веселій,
 Въ міръ грѣшныхъ сновъ
 Мой духъ летитъ отъ этихъ мрачныхъ келій,
 Какъ отъ гробовъ.—
 Но тщетно все!.. Исхода нѣтъ въ міръ новый!—
 На вѣкъ, одна,
 Въ глухихъ стѣнахъ, для жизни я суровой
 Погребена!..

Но не могло съ ней сердце помириться,—
И ей на зло,
Запретный плодъ, вкусить и насладиться,
Оно напло:
Я помню ночь въ серебряномъ сияньи,
Гдѣ я, какъ ядъ,
Впивала въ грудь цвѣтовъ ночныхъ дыханье—
Ихъ аромать.
И я въ окно,—на зло двернымъ затворамъ,
Подъ общій сонъ,
Прокралась въ садъ по мрачнымъ корридорамъ,
Въ тѣни колоннъ.
И, Боже мой! съ какой отвагой воли
Я, какъ газель,
Стремилась вдаль!—и жегъ меня до боли
Той страсти хмѣль..
И межъ могилъ, гдѣ тѣнь деревъ неясныхъ
Мрачнѣй легла,
Одну изъ насъ—моихъ сестеръ несчастныхъ,—
Я тамъ нашла.
Она, какъ я, тайкомъ сюда бѣжала
Съ огнемъ въ крови;
Она, какъ я, томилась и страдала,
Моля любви—
И поняли безъ словъ мы взоромъ счастья
На днѣ души,
Что обѣ мы такъ полны сладострастья
Такъ хороши—
И съ грудью грудь слидась въ объятыхъ жгу-
чихъ—

И плескомъ струй
Былъ заглушенъ въ тѣни кустовъ пахучихъ
Нашъ подѣлуй.
И каждый разъ приходимъ на свиданье
Мы съ ней съ тѣхъ поръ,—
Хоть, можетъ быть, за грѣшный мигъ желанья
Насъ ждетъ костеръ. 1861.

Гитана.

Не кори меня въ развратѣ,
Но цѣлуй меня звончѣй,—
Поздно думать о возвратѣ
Свѣтлыхъ отроческихъ дней..
Любо жить мнѣ на распаху:
Нынче—счету нѣтъ пирамъ;
Но послѣднюю рубашку,
Можетъ, завтра я продамъ.
Не дивись на эти вазы,
Ожерелья и цвѣты—
Ни червонцы, ни алмазы
Не спасутъ отъ нищеты.
Отдалася я безъ торгу,
Подъ соблазнъ чужихъ рѣчей,
Для кипучаго восторгу,
Для губительныхъ ночей..
Я въ развратѣ заколебломъ—
Лучезарная звѣзда,
Да за то-жъ и грѣшнымъ тѣломъ
Не скуплюся никогда!
Разъ, въ когтяхъ нужды-злодѣйки,
Стукнуль нищій въ дверь мою;

Но сама я — безъ копейки,
Голодаю да пою.
Былъ онъ молодъ, былъ онъ статенъ,
Цвѣтъ пыгана легъ на немъ,—
Красный плащъ потускъ отъ пятенъ,—
Самъ съ гитарой за плечомъ,
Ужъ не разъ я замѣчала,
Какъ и днемъ, и въ позднѣй часъ
За окномъ меня искала
Пара чьихъ-то страстныхъ глазъ..
Просить въ пѣснѣ, ради неба;
Говорю ему я: «братъ!»
Нѣтъ ни денегъ, нѣтъ ни хлѣба
Въ этой роскоши палатъ.
«Но, взаимнѣ грошей да пищи,
Есть лобзанья безъ ума;
Предесьть тѣла — хочешь, нищій,
Вмѣсто хлѣба — я сама!..
И въ кипучее лобзанье
Я всю страсть мою слила—
И бѣднягѣ подаанье
Грѣшнымъ тѣломъ подала.
Не кори-жъ меня въ развратѣ,
Но цѣлуй, цѣлуй звончѣй:
Поздно думать объ утратѣ
Свѣтлыхъ отроческихъ дней!
Пусть позоръ—моя дорога
Въ замогильные края,—
Мнѣ за то простится много,
Что любила много я. 1860.

Сан-Яго

Умеръ нашъ патронъ Сан-Яго
И предсталъ патронъ предъ Бога,
И сказалъ Господь Сан-Яго:
«Я тобой доволенъ много,
«И за подвиги земные
Ты въ рай живи средь сада,
Что попросишь — все исполню!
Говори, чего же надо?»
Говорить ему Санъ-Яго:
«Пусть въ Испаніи пребудетъ
Изобиліе и солнце!»—
«Успокойся: это будетъ!» —
«Пусть побѣды громкой слава
У испанцевъ духъ пробудитъ,
Дай имъ храбрость! Дай имъ силу!»—
«Успокойся: будетъ! будетъ!..
«Дай имъ мудрое правленье,
Пусть царить оно нележно!»—
«Какъ?.. вдобавокъ и правленье?»—
Невозможно! невозможно!..
Вѣдь тогда ужъ будетъ раемъ
Вся страна твоя родная,
И всѣ ангелы, пожалуй,
Убѣгутъ туда изъ рая,
А на небѣ воцарятся
Безпорядокъ и смятенье,—
Нѣтъ, ужъ пусть у васъ пребудетъ
Ваше старое правленье!» 1860.

Л Е Г Е Н Д Ы.

Легенда о пѣсняхъ.

Нищимъ старцемъ чрезъ село
Шелъ Христосъ съ святымъ Петромъ
И, къ клюкъ склонивъ чело,
Сѣлъ, усталый, подъ окномъ;

Сѣлъ и слушалъ; изъ окна,
Вдоль уснувшего села
Льется пѣсня, что волна,
И пьяна и весела.

А ключарь, спасая духъ
Отъ соблазна пѣсни той,
Отвратилъ во грѣвъ слухъ
И пошелъ своей тропой.

И увидѣлъ хоръ друзей
Старца въ полночь изъ окна:
«Въ гости, старче! ѣшь и пей!
Хочешь хлѣба и вина?» —

И вошелъ въ ихъ домъ Христосъ,
И въ веселіи вкушалъ
Онъ отъ хлѣба и отъ лозъ,
И друзей благословлялъ.

А ключарь идетъ селомъ, —
Мучить голодъ ключаря, —
Видитъ онъ богатый домъ:
Въ домѣ свѣтъ у алтаря.

Благочестія пріютъ, —
Въ трапезной — ни крохи,
И, постясь, тамъ поютъ
Все духовные стихи.

Долго странникъ подъ окномъ
Въ умиленіи стоялъ,
Но никто въ богатый домъ
На ночлегъ его не звалъ.

Христа-ради сталъ онъ самъ,
Постучася въ дверь, просить: —
«Кто тамъ бродитъ по ночамъ?
Кто тамъ проситъ ѣсть и пить?
Съ Богомъ, старче!»

А путемъ,
Смотритъ онъ, — прошелъ Христосъ:
Слышалъ пѣнье, но на домъ
Даже взора не вознесъ.

И пошелъ за нимъ ключарь,
Молвя: «Господи! а мы
Не почли святой алтарь,
Гдѣ всю ночь поютъ псалмы.

«Ты внимать инымъ словамъ
Пьяной пѣсни, но зачѣмъ
Къ тѣмъ божественнымъ стихамъ
Пребылъ нынѣ глухъ и вѣмъ?»

И сказалъ ему Христосъ:
«Тамъ, — покончивъ трудъ жнеца,

Гдѣ пролито много слезъ,
Пѣли чистыя сердца;
«Здѣсь — сошлись не отъ сохи
Фарисейскіе сыны:
Здѣсь духовные стихи
Лицемерны и грѣшны!»
И на полѣ, за селомъ,
Онъ главу свою склонилъ —
И съ голоднымъ ключаремъ
Хлѣбъ гуляки раздѣлилъ.

1860.

Братья Христова.

На Христова вознесенье
Съ неба ангелы сходили —
Спаса въ горнія селенья
Съ Элеона возносили.

Божьей ризой оѣдены,
Славословя и ликую,
Пѣли «ниже херувимы»,
Пѣли трижды «аллилуя».

А отъ края и до края
Братья нищая сходилась,
Воздыхая и рыдая,
Братъя нищая молилась:

— На кого жъ ты насъ, Владыко,
Оставляешь, покидаешь?
Иль отъ млада до велика
Намъ скитаться завѣщаешь?

«Кто жъ промыслить о бездомной,
И накормить, и напоить,
И отъ ночи, ночи темной,
Отъ осенней приукроетъ?»

— Не скорбите! рекъ Спаситель,
Ради сира, ради нища,
Здѣ обратится обитель,
Здѣ обратится и нища:

Дамъ я гору золотую
Пропущу медвяны рѣки —
На потребу на благоую
Да владѣете во вѣки!

— Нѣтъ, не шли намъ, Спасе, гору,
Не пускай медвяны рѣки —
Тутъ за гору быть раздору
И погрому быть во вѣки?

Не отъ нищихъ быть бы сваръ,
Не отъ сирыхъ тутъ напасти:
Прійдутъ князе и бояре
И немилостивы власти.

И разграбятъ, и отнимутъ
Нашу гору, наши рѣки.

И изгонять, и не примуть
 Ни младенца, ни калѣки —
 И позабнемъ мы въ пустынь
 Ночью зимнею, холодною,
 И повыремъ на чужбинѣ
 Смертью лютою, голодною...

Намъ и съ кровомъ, намъ и съ пищей
 Безъ тебя вездѣ сурово —
 Охъ, оставь же братьѣ нищей
 Только имя ты Христово —

И пойдемъ тогда по свѣту,
 Братья Божіи, ходити,
 Отъ разсвѣту до разсвѣту
 Имя Спаса возносить —

И подъ кровлей подъ укромною
 О Тебѣ мы будемъ сыты.
 И отъ ночи, ночи темной,
 Отъ осенней приукрыты. 1861.

* * *

Жарко сохнувшей землѣ:
 Землю тяжело давить зной.
 Красный мѣсяцъ, въ синей мглѣ,
 Ходитъ низко надъ землей...

Молить Господа землѣ:
 «Не казни родную дочь!
 Спрысни росами поля.
 Вышли свѣжую мнѣ ночь!»

— Я люблю родную дочь:
 Дочь мнѣ не за что казнить,
 Я пошлю ей бурю въ ночь,
 Освѣжить и утолить.

«Нѣтъ, не шли мнѣ съ небеси
 Ты ни бури, ни грозы,
 Лучше тихо принеси
 Двѣ жемчужныя слезы, —

«Дай мнѣ тихую росу:
 Та лаская подойдетъ,
 А гроза мою красу
 Буйнымъ вѣтромъ изомнетъ!» 1860.

З м ѣ й.

Я любилъ молодую вдову,
 Я видалъ не во снѣ, — на яву,
 Да безъ хмѣлю такое-то диво,
 Что иной не увидитъ и съ пива!
 Я ходилъ вечеркомъ ко вдовѣ,
 Хоронился въ луговой травѣ —
 Принимала вдова, цѣловала,
 На постельку пуховую клала.
 Только сталъ подмѣчать за вдовой,
 Что спозналася вдовка съ тоской,
 А сама не промолвить, не охнеть —
 Только, знай, все блѣднѣетъ, да сохнетъ!
 Разъ, сажу во свѣтлицѣ я съ ней. —
 Вдругъ Тугаринъ-Горынычъ — змѣй
 Пролетаетъ по воздуху ночью, —
 Самъ гремитъ богатырскою мочью,
 Сыплетъ кольца огневые змѣй,
 Сыплетъ искры — да прямо-то къ ней,

Ко вдовѣ-то моей и влетаетъ:
 «Здравствуй, вдовушка!» — Вдовка встрѣ-
 Обернулся онъ вдругъ молодцомъ, [часть...
 Какъ ударился о земь лицомъ —
 Всталъ и смотритъ — а руки-то въ боки...
 Черный усь да румяныя щеки...

Затрещала моя голова,
 Какъ увидѣлъ, что рада вдова,
 Припадаетъ ко змѣю на плечи,
 Говоритъ ему ласковы рѣчи...
 На меня онъ какъ волкъ поглядѣлъ,
 А ко вдовушкѣ соколомъ сѣлъ,
 Да всю шею съ косой темнорусой
 Перевилъ ей бурмицкою бусой.

Бѣлы-груди, собака, хваталъ,
 Во сахарны уста цѣловалъ,
 Да ложился, по-тиху по сладку,
 Забавлялся на нашу кроватьку.

Не стерпѣлъ-я... Вскипѣла душа!
 Лишь бы браги хватить изъ ковша —
 А управу и сами, молъ, сыщемъ, —
 Да къ нему со своимъ кулачищемъ!

Обернулся, собака, дрожитъ,
 Знать со злости, а самъ-то рычитъ:
 «Проходи, молъ, отсель, человѣче»
 «Уноси свои кости далече!»

Я не отрусилъ... да вижу, вдова
 Говоритъ мнѣ такіа слова:
 «Уходи-ко и вправду отсѣдъ,
 Отъ грѣха да отъ нашей постели!...

«Я любила тебя, молодца,
 Мнѣ и правомъ ты любъ, и съ лица, —
 Да милѣй, чѣмъ съ тобой-то, мой милый,
 Мнѣ любиться съ нечистою силой!»

И ушелъ я, махнувши рукой,
 Да съ тѣхъ поръ ко вдовѣ ни ногой,
 И метнулъ, не кручиняся долго,
 Въ бурлаки — да на матушку Волгу... 1861.

Три награды.

(Съ финскаго).

На площадкѣ старой башни
 Три царевны — три сестрицы;
 Вдругъ три паруса на взморьи
 Забѣлѣлись, будто птицы.
 Молвить старшая царевна:
 «Сестры, къ намъ отецъ державный
 Возвращается изъ битвы, —
 Это онъ съ побѣдой славной!
 «Съ нимъ три храбрыхъ воеводы:
 Кто на берегъ первый ступить —
 Шарфъ изъ рукъ моихъ въ награду
 Всѣ труды его искупить!»
 Молвить средняя царевна:
 «Кто второй на берегъ ступить —
 Всѣ страданія и раны
 Мой букетъ тому искупить».
 Молвить младшая: «кто третій
 Къ намъ войдетъ, тоской волнуемъ,
 О, клянусь, того я встрѣчу
 Первымъ жаркимъ поцѣлуемъ!..»

БЫЛИНЫ И СКАЗКИ.

Былина.

про Степана Разина Тимофеевича.
(Посвящено Апол. Алекс. Григорьеву).

I.

Что не во полѣ былинушка зашаталась,
Что не въ чистомъ ли ковыль-трава всколых-
нулась,—

Зашаталась головушка казацкая,
Всколыхнулась-поднялась—то воля вольная.
Во Черкасскомъ городу, на красной площади,
Какъ не два-ли ясна сокола вылетывали,—
То выходить два атамана казацкіе.
Ужъ какъ первый ли атаманъ-то крестенъ
батюшка.

Крестенъ батюшка, Корнило Яковлевичъ,
А другой ли атаманъ-то Стенька Разинъ,
Стенька Разинъ, по прозванью Тимофеевичъ.
Еще стали атаманы кругъ собирать—⁴⁾

А съ Корнилой казаки домовитые.
Сговоръ держать, вѣдуть рѣчи сановитыя;
А вокругъ ли Стеньки—воля-вольница,
Голытьба казацкая замосковная,
Запорожская-бездомовная.

Еще та ли голытьба похваляется,
Атаманомъ Стенькой величается:
«Что унасъ ли, у голытьбы, добрыхъ молодецвъ,
Не упито, не уфѣдено,
Вкраснѣ хорошо не ухожено,
Цвѣтнаго платя не уношено!..»

А середь ли того круга атаманъ стоитъ,
Онъ стоитъ-глядитъ, да похаживаетъ,
Черну бороду поглаживаетъ;
Онъ со вечера, Стенька, хлѣба не ѣстъ,
Со полуночи Тимофеичу не уснется;
Онъ надумалъ-нагадалъ ли думу крѣпкую:
—Ужъ и гой ли вы, братцы-голытьба!
Еще что я, Стенька, вамъ стану сказывать,
Стану сказывать, приговаривать:
Ужъ и тѣсенъ ли намъ, братцы, сталъ ро-
димый Донъ!—

Мы пойдемъ ли ко городу ко Паншину,
Переволокнемся на Волгу на матушку,
По Камышинкѣ рѣкѣ по крутобережной,
Что пониже будетъ города Саратова,
А повыше славна города Камышина.
На Руси гулять намъ напрокучило,
Напрокучило, притошнилося,—
Мы пойдемъ ли, братцы, на сине-море,
На сине-море на Хвалынское,

Ко перецдскому шаху въ гости побывать:
Мы свеземъ ли ему, шаху, съ тиха Дона поклонъ,
Заберемъ ли его, шаха, съ золотой казной въ
полонъ!..

Ужъ мы съ вами, братцы, побратаемся.
На дуванъ казной передѣлимся ⁵⁾;
Побѣжимъ, на Русь вверхъ по рѣченкѣ,
Вверхъ по быстрой Волгѣ-матушкѣ.
Напущаюся я, братцы, на Москву-бояръ,
За голытьбу казацкую, за хрещенный людъ!—
Ужъ я стану-ль, Стенька, предъ самого царя,
Передъ грозны очи его ясныя,
Я ударю ли челомъ да покорливо
По его ли по милости государскія—
Ужъ я шаха ли свезу ему въ подарочекъ,
А бояръ ли да подъячихъ перевѣшаю!..

Какъ за то-то слово изымается,
Изымается на Стеньку, разсержается
Крестенъ батюшка его, Корнило Яковлевичъ!
—Ты послушай, голова-ль твоя буйливая,
А буйливая, не размысленная!
Не добро ты, Тимофеевичъ, завариваешь,
Еще какъ прійдетъ тебѣ расхлебывать!..
Не мути ты, Стенька, Дону вольнаго,
Не ходи ты, Стенька, на Москву-бояръ—
Не сносить тебѣ на плечахъ буйну голову!..
А голытьба на тѣ рѣчи погрожается,
Погрожается, что не свару мутить:
—А и ты ли, борода сѣдая, не размысленная,
Что Москвы-бояръ старый прихвостень!
Ты, молъ, черенъ—да не воронъ, а рогать—
да не быкъ!

Аль водицы тиха-Дона не отвѣдываль?—
Аль не можно во батюшкѣ искупатися?—
Онъ тебѣ ли будетъ старому привѣтливый!..

Угоманиваль голытьбу Тимофеичъ-свѣтъ:
Не пригоже-де атаману наругатися!
Говорилъ онъ крестяну батюшкѣ таково слово:
—Ты прости-прощай, крестенъ батюшко!—
Чему быть—не миновать тому Богъ велить!
А не сноси ты меня, мать сыра земля,
Коли мнѣ, Стенькѣ, да въ Москвѣ не бы-
ваты!.

Поклонился на то Яковлевичъ Тимофеичу—
Ничего-то онъ не вымолвилъ поклоняющисъ,
Лишь рукою махнулъ на-последніе...
И въ ту пору разошлись круги казачіе,
Что изволилъ атаманъ опочивъ держать.
Какъ не раннимъ-рано да ранешенько,
Высоко соколикъ вылетываль,—
То встаетъ-выходитъ атаманушка
Степанъ Разинъ Тимофеевичъ,—

⁴⁾ Казацкое войсковое собраніе, рѣшавшее дѣла.—Малороссійская рада.

⁵⁾ Дуванъ—поголовный дѣлежъ отбитаго добра.

Утренней росой умывается,
Бѣлю ширинкой утирается,
На востокъ ли онъ, Степанъ, Богу молится:
По станицѣ ли онъ ходитъ да мохаживаетъ,
Что не голосомъ молодчиковъ выкликается:
— Ужь вы встаньте, обудитесь, добры мо-
лодцы!

Вы готовьте-изготовьте струги новыя,—
А и въ путь пора намъ, во дороженьку!..

II.

Что по быстрой ли рѣкѣ Волгѣ-матушкѣ
Плаваешь-поплаваешь сѣрь селезень,
Какъ бы ярой гоголь понырливаетъ;
То не селезень плаваешь-понырливаетъ—
Плаваешь новъ снаряженный стружокъ,
Новъ снаряженъ стружокъ, что червленъ ко-
рабль.

Не утята малые за утицей,
Не лебедики за лебедицей:
Выплывають за кораблемъ
Тридцать струговъ безъ единого.
А на тѣхъ ли на снаряженныхъ стругахъ
Молодцы гребцы—воровскіе казаки,
Воровскіе казаки—не разбойнички,
Что Степана Тимофеича все работнички.
Ужь и какъ изукрашенъ тотъ бѣстеръ стру-
жокъ,—

А бѣстеръ стружокъ—то Соколъ корабль:
Носъ съ кормой по туриному,
Бока взведены по звѣриному,—
А по тѣмъ ли по бокамъ что не тридцать
гребцовъ,

Воровскихъ казаковъ—удалыхъ донцовъ;
На нихъ шапки—соболь, верхи бархатные,
Еще алые кафтаны—да камчатные,
Астрахански кушаки—полущелковые,
А пестрядины рубанки—золотой галунъ,
Что скрыпучіе сапожки—то веленъ сафьянъ.
На носу съ багромъ есаулъ стоитъ,
Есаулъ ли—Черноярецъ свѣтъ Иванушка;
На кормѣ съ ружьемъ атаманъ сидитъ,
Атаманъ ли Стенька Разинъ Тимофеевичъ.
Ужь и онъ ли не пригожь, не красно-ль
одѣтъ—

Однорядочка—голубъ скурлатъ,
Что сафьяновы сапожки—кривъ серебрянъ
каблукъ,
Посередѣ ли суденышка бѣлъ наметный шатеръ,
А во томъ ли во шатрѣ красна-дѣвица,
Что персидскаго салтана княженецка дочь,
Самого ли атамана полюбовница.
А и шубка на ней соболина,
А сѣдымъ бобромъ шубка оторочена,
Алымъ бархатомъ верхъ-покрытая,
Скатнымъ жемчугомъ вся унизанная,
Какъ бы скатень жемчугъ—все бурмицко
зерно—

А шелковая фата—шемаханская.
А плывутъ-бѣгутъ они изъ-за-моря,

Изъ за-моря синя-моря Хвалынскаго,
Изъ лукоморья ли зеленого.
А на томъ ли на морѣ на Хвалынскіемъ
Какъ не двѣ ли тучи сходились,
А не двѣ кречета слетались—
То сходилися казацкіе струги
Со легкими сандалями со персидскими¹⁾;
А слетался Тимофеевичъ
Съ самимъ ханомъ астаранскіимъ!
Ужь и братцы ли казаченки приударили,
Во сандали закатисто припаливали—
Все огнемъ пожгли, все палацатымъ!
Астаранскій ханъ наутекъ побѣгъ,
Ужь и злые-то татары испужались,
Во сине море татары побросались.
А и Стенька половилъ княженецку дочь,
Со младымъ ли княжичемъ со Шабыею;
Еще княжича того ли онъ на дѣль посадилъ,
Бѣлы рученьки сковалъ, подѣ приставы от-
далъ²⁾.

А и тѣмъ ли княжичемъ онъ поклонится
Самому царю московскому со гостинцами.

III.

Онъ сидитъ ли, атаманъ, думу думаетъ
Про свою ли зазнобушку—княженецку дочь:
Что и больно она ему приглянулася—
Словно зельемъ онола приворотнымъ.
А и всѣ-ль гребцы удалые молодцы,
Про себя сидючи гадаютъ-думаютъ,
Съ есауломъ Черноярцемъ-свѣтъ совѣтуютъ:
— Ужь и что же нашъ атаманъ да не ра-
достень,
Что кручиненъ, свѣтъ, да не весель глядитъ?—
А сидитъ ли атаманъ да печалится:
Про голытьбу забылъ про разудалую,
Про Москву-бояръ забылъ да про хрещеный
людь...

Ужь и та-ль ему зазноба что не краше всѣхъ—
А и дѣло женское прелестное,
Что прелестное да перепадчивое!..
Еще какъ-бы намъ полянку да съ рукъ
посбыть,

Еще какъ-бы атамана ватагъ воротить?
Прослышала тѣ рѣчи княженецка дочь,
А прослышавши она—опечалилася,
А съ печали горячими слезами обливалась...
Степанъ сидитъ-молчитъ да поглядываетъ,
Самъ пуще съ печали тоя кручинится;
Огорчали его рѣчи молодецкія
Про его ли свѣтъ-зазнобу, княженецку-дочь.

IV.

Какъ бы чернь-то на Волгѣ зачернѣлася,
Синева ли поднебесная помутилася,
Широта-ли степь притуманилась,

¹⁾ Сандали—легкія персидскія суда.

²⁾ Приставы—присмотръ, караулъ.

Глубота-рѣка восколыбнулась.
Подымалась вверхъ по рѣченькѣ погодушка,
Волновая погодушка, бурливая:
Осержалася Волга на казацкіе стружки,—
Еще стала Волга ихъ захлестывать,
А за то ли захлестывать, что посулъ не дали:
Ей ли, матушкѣ, поклонъ не принесли.
А и сталъ тогда атаманъ что не рѣчь держать,
А своей ли полюбовницѣ выговаривать:
—Ужъ какъ полно, красна дѣвица, тужити,
Что по мнѣ ли, по Стенюшкѣ, печалитися!
Не наполнишь ты сѣня-моря слезами—
Не воротишь друга милого словами!..
Я кормилъ тебя бѣлоснѣговой крупой,
Я поилъ тебя медовой сытой,
Одѣвалъ ли соболями да камкой—
За пригожество твое красное,
За любовь твою залучную..
Какъ мать быстра рѣка Волга течетъ,
Какъ пески со песками споласкиваются,
А кусты со кустами свиваются—
Такъ и мнѣ съ тобой, душа, не водитися,
А красой твоей не спотѣшатися..
Охъ, и ты ли поюлица, Волга-матушка!
Ужъ и чѣмъ ты меня не одаривала,
Что ни мать-отецъ добромъ одѣливала,
Славой-почестью почествовала—
А и я-ль тебѣ, родимая, «спасибо» не сказалъ!..
Еще чѣмъ же мнѣ тебѣ, краса, отдаривати?
За охрану твою, за послужество?—
Ты возьми-прими красну дѣвицу,
Что зазнобушку мою ли полюбовницу!..
Еще сталъ онъ съ нею тутъ прощаться,
А она ему слезно выговаривать:
—Ты прости-прощай, Тимофеевичъ!
Ты чини со мной что задумано!—
А и былъ ты мнѣ милѣй своего лица,
Ясна дня свѣтлѣй, краше роду-племени,
Отца съ матерью привѣтливѣе!..
Что не низко-ль она ему кланялась,
А ватагѣ съ есауломъ—на особицу;
А ватага встала—шалки сняла,
Что впослѣдніе дѣвицѣ поклонъ отдала..
Какъ хваталъ ее Степанъ за бѣлы рученьки,
Какъ «сочилъ» онъ тутъ на окраину каемчатую,
А скидалъ ли во быструю княженицу дочь,—
А быстрая рѣченька разыгралася,
Что не съ красною ли дѣвицей породнился.
Поклонился ей атаманъ на конешный часъ,—
А ватага, съ есауломъ, усмѣхнулась,
Что не съ радости тоя перекрестилася.
Ужъ какъ шелъ ли помель-то Степанъ на корму,
Что не соколъ Тимофеевичъ поглядываетъ,
Яснымъ окомъ онъ ватагу окидываетъ,—
А по красной дѣвицѣ потопленицѣ
Заказалъ онъ всѣмъ тужити и всѣмъ плакати
Абы дѣлу тому рѣчи больше не было.

V.

Еще что къ тому воздворить:
—Ужъ и полно ли намъ, братцы, гулять,

По синю-мору расказивати,
А и дальну-чужедальну сторонку перекрещи-
вати!—
Чужедальная сторонка безъ вѣтру сушить,
Что безъ вѣтру сушить, безъ морозу знобить,—
А и мы еще, братцы, въ поплывъ набѣжимъ
На хрещеную сторонку, православную,
Какъ подъ славенъ городъ подъ саму Астра-
хань—
Къ воеводѣ на-побывъ побывать,
А хрещеный людъ изъ-подъ неволи выручать,
А бояръ ли да подъячихъ перевѣшпивати—
На осину всѣхъ повѣсимъ, всѣхъ на кляплю—
Чтобъ и сѣмени того на свѣтѣ знать-не-знать!
А со города-ль того возьму поклонное;
Сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
Другой сорокъ бурнастыхъ лисицъ,
А камку вѣдь бѣлохрущатую,—
Съ молодичъ воеводинныхъ-повѣненное,
Со дѣвицъ ли его повалешное!..

VI.

Выбѣгали-выгребали что не тридцать струговъ,
Какъ бы тридцать струговъ—полотняны па-
руса—
Росписная корма, снасть шелковая.
А подъ Жарены-буграми становились
стружки, ¹⁾
А тычками они ко берегу притыкались,
Вотъ и чалочки причалили все шелковыя,
Вотъ и сходни кладутъ все кленовыя,
Побросали сходни на кругъ-красенъ бережокъ;
Атаманушку свели двое подъ-руки,
Есаулушка по сходнямъ—тотъ и самъ сошелъ.
Какъ на томъ на красномъ крутобережѣ
Ставили-поставили бѣлъ-наметный шатеръ,
Про свѣтъ-Разина сударь Тимофеевича.
А подернуть шатеръ рытымъ бархатомъ,
Что ни хитрыми узорочья да камчатными.
Еще стали казаченьки кругъ собирать,
Какъ промежъ собой совѣтывать—
А не день ли на дворѣ вечеряется,
Красно солнышко закатается.—
Атаманово слово на сговорѣ не мимо идетъ:
—А сколько ли насъ молодцовъ по числу-
числомъ,
А и сколько разудалыхъ есть подѣ Астра-
ханью?
—Еще молодцовъ насъ за пятьсотъ,
Есть удалыхъ и до тысячи,
А есть подѣ Астраханью и за семь тысячей!
Какъ приходитъ тутъ добрый молодецъ —
А незнаемый удалый, онъ невѣдомый.
Спасову образу онъ, молодецъ, молится,
Пояснѣ атаману онъ кланяется,
Есаулу съ ватаженкой—на особицу.
Говорить ему атаманъ таковѣ слово:

¹⁾ Урочище на Волгѣ, неподалеку отъ Астра-
хани.

— Ты скажись, молодецъ, какъ именемъ зовутъ,
А по имени тебѣ можно мѣсто дать,
По изотчеству пожаловати?
— А Иванъ меня, сударь,—то по имени звать,
А Красуля—по прозванію,
И по чину чествовать—стрѣлецкій голова.
Шель къ тебѣ ли я, Красуля, изъ Астрахани,
А и шлетъ тебѣ городъ Астрахань поклонъ,
Что съ поклономъ ли поклонное:
Сорокъ сороковъ черныхъ соболей,
А другіе сорокъ бурнастыхъ лисицъ,—
То бурнастыхъ лисицъ—то Печерскіихъ,
Еще той ли камки бѣлохрущатой—
А цѣна камкѣ семь тысячечей.
На златѣ, серебрѣ—не прогнѣваться!
Еще шлетъ тебѣ Астрахань что не два ножа,
Два булатныхъ, вострыхъ-точеныхъ:
Ужь какъ первый ли ножъ—про бояръ-вельможъ,
Что другой тебѣ ножъ—про измѣнщика,
А про тотъ случай, буде същется!..
А наказывалъ тебѣ городъ сказывать,
Что тебѣ онъ, городъ, будетъ радощенъ,
Царю бѣлу-батюшкѣ покорливый,
А боярамъ-воеводамъ отместливый.

Что возговоритъ на это Тимофеичъ-сударь:
— Исполать тебѣ, Красуля, стрѣлецкій голова!
И къ обѣднямъ на утрѣ быть намъ въ гости къ вамъ,

Что не пиръ пировать—боярамъ головы рубить,
А хрещену Русь изъ подъ неволи слободить!
Я не ворогъ вамъ не разбойничекъ,—
Словно рѣднѣй братъ вашъ помощничекъ!
А пускай изготавятъ бѣлодубовы столы:
Еще будемъ въ гости къ вамъ обѣдати.

Отцускалъ на томъ онъ словѣ стрѣлецкаго голу,

Что изволилъ самъ опочивъ держать.

VII.

Закатило красно солныце за синѣ-море;
Восходилъ свѣтелъ мѣсяцъ изъ подъ синя-неба;
Собирались облака изъ далека;
Слетались сизы птицы въ городъ каменный,
Изъ Бѣль-града во Зеленый перепархивали¹⁾.
Было чудо Божьимъ изволеніемъ,
Подъ саму полночь знаменье великое:
У прихода Рождества Богородицы
Раздавался колокольный зыкъ,
На весь городъ погребальный звонъ;
У Воздвиженья шумъ шумѣлъ,—
А невѣдомый шумъ и неслышанный:
Растворялось надъ городомъ небо темное
Словно полымемъ небо загаралось,
Словно дождикъ перепадчивый,
Аль бурмицко зерно, пересыпчатое
Высыпало въ городъ искры огненныя...

¹⁾ Бѣлый-городъ и Зеленый-городъ — части Астрахани; въ первомъ находился Кремль.

Собиралися воевода Прозоровскій князь
Со служилыми людьми, со приспѣшники,
Съ своими воеводскими совѣтники,
Съ астраханскимъ архиреемъ ставленнымъ,
Что великъ совѣтъ совѣтывать:
Городъ Астрахань изъ-подъ бѣды выручать.
А по небу, словно марево, сполѣхи встають—
У Пречистенскихъ воротъ три великихъ столпа.
Словно радуги играютъ въ золотыхъ вѣнцахъ.
— Не должно вольный свѣтъ перемѣняется!—
Говоритъ воевода призадумавшись, —
Быть надъ городомъ бѣдѣ, быть гнѣву
Божію!..

Ударилъ соборомъ къ заутренѣ,
За заутреней воевода исповѣдался,—
Причащался за обѣдней онъ за раннею.
Собиралися соборне пошны-дьяконы,
Подымали образъ Владычицынъ,
Со крестами пошли ходомъ вокругъ города,
По стѣнамъ Бѣль-града астраханскаго;
Окропляли стѣны пѣтой водой
По всѣмъ прясламъ пѣли пѣніе молебное.
Воевода обходилъ стѣну Бѣла-города,
Разводилъ онъ пушкарей по бойницамъ,
А стрѣльцовъ ставилъ по стрѣльницамъ;
При затинныхъ пищаляхъ—затинниковъ,
При воротахъ—съ бердышами воротниковъ,
А по стѣнамъ ставилъ посадскихъ людей;
Онъ заваливалъ ворота что не кучѣй камнѣй,
Абы въ городъ измѣнники не прокралися.
Какъ выходитъ воевода Прозоровскій князь
Съ архиреемъ и со причтомъ, со приспѣшники,
Онъ выходитъ ли на площадь, покрашается,
Поясно горожанамъ поклоняется—
И возговоритъ тогда таково слово:

— Охъ, и гой вы еси, православные,
Люди ратные, горожане астраханскіе!
Поборитесь за домъ Пречестной Богородицы!
Вы стойте за царя бѣла-батюшку
И за насъ ли, за бояръ его ставленныхъ!

Отвѣчаетъ на то ему стрѣлецкій голова,
А стрѣлецкій голова—то Красуля Иванъ:
— Ужь и ты ли, бояринъ ставленный,
Князь Иванъ, ты свѣтъ-Семеновичъ!
Говоритъ тебѣ городъ Астрахань:
Онъ за домъ Богородицы, городъ, поборется,
За царя стоитъ городъ крѣпко-накрѣпко,
Живота своего не жалѣючи—
А боярамъ постоять самимъ за себя;
Ужь и какъ стоять—про то имъ вѣдомо.

Такъ за нимъ и городъ выговаривалъ,
Воеводу со бояры озираючи,
Промежъ себя тайны рѣчи держучи.
А на томъ ли берегу, за быстрой Волгой,
Во высокомъ терему, во понизовскомъ,
То Степанъ ли Тимофеевичъ стоитъ;
Онъ стоитъ да покрашается,
Ратнымъ дѣломъ самъ красуется,
Что не на городъ ли онъ дивуется:
Какъ весь городъ-то они обложили—
Со востока по протоку по Болдинскому,

А съ полудни по Кривушѣ-рѣкѣ...
А и къ ночи быть погрому великому—
То быть приступу подъ самый Бѣль-
городъ...

VIII.

Спотуhalиcя въ небѣ зори темныя,
Грозовыя зорюшки вечернія;
Вылеталъ орелъ изъ-за моря Хвалынскаго,
Разбросалъ орелъ кремни по крутымъ берегамъ,
Кинулъ онъ громову стрѣлу во сыру землю—
Отродилася отъ кремня искра жгучая,
Отъ громовой стрѣлы ярко пылала.—
Загудѣли звоны астраханскіе,
Загремѣли пищали казацкія,—
Казаки ли то на приступъ идутъ,
Что не пѣсни поютъ, въ тулунбасы бьютъ.
А и въ панцырь Степанъ облакается,
На коня садится онъ, крестится,
Абы Богъ помогъ постоять ему
За хрещеный людъ, за казачество.
А и конь подъ нимъ разсержается,
Что въ ускокъ подъ стѣны напускается.
Какъ завидѣли съ бойницъ его молодшіе,
А молодшіе—простые люди, темные—
Что не громъ прошелъ по городу,
То возговорятъ они ему привѣтливо:
— Ужъ и здравствуй ты, атаманъ нашъ
батюшко!

А тебѣ ли желанному городъ радостенъ—
Хлѣбомъ-солью тебѣ городъ будетъ кланяться!
Что возговорить на это Тимофеичъ-сударь:
— По добру ли, по здорову, братья кровные!
А и мститеcя надъ боярами, надъ лютыми,
Что не хуже ли татарина насъ неволили!
Ужъ и я ли поклонюся вамъ свободушкой,
Волей льготною да казачествомъ!

Растворялись ворота ему Пречистенскія,
И входилъ онъ воротами въ самый Бѣль-городъ
Вынималъ онъ изъ палушна тугой лукъ,—
А и спѣла вѣдь тетивка у туга лука,
Взвыла да пошла калена-стрѣла
Боярскія бѣлы груди пронизывати,
Боярской ли алой крови поотвѣдывати...
То пошла потѣха молодецкая...
Разбѣжались бояре по улицамъ,
По частымъ-мелкимъ переулочкамъ;
А и Стенюшка дерется—боемъ-бѣгомъ—
Едва душа его въ тѣлѣ полуднуетъ...
Какъ вставала красна-утренняя заря—
То ударили ко заутрени,—
Тутъ атаманъ во соборъ идетъ,
Съ атаманомъ горожане астраханскіе.
Онъ ко крестному цѣлованью ихъ приваживалъ:
За царя стоять, царю вѣрну быть,
А промежъ себѣ измѣну выводить,
Кругомъ-общинной судиться-рядить,
А казачеству животомъ служить,
Атаману не перечити,
А подъячихъ со бояры перевѣшивати.

Выходилъ тогда на площадь онъ на красную—
Брашнами площадь вся изнаставлена,—
Наливалъ онъ чару зелена вина,
Что не горькаго ли въ полтретья ведра,
Выпивалъ чару, міру покланяючись—
И пошла-то у нихъ пиръ-радость великая
А для-ради осударь-Тимофеевича...

IX.

Какъ на островѣ на обложенномъ,
Что не высылками стрѣleckими,
Подъ Симбирскимъ славнымъ городомъ,
На той ли полонъ на полянушкѣ,
Свѣтитъ мѣсяцъ на мокрецкѣй дубъ,
Во зеленый лѣсъ, во широкій долъ.—
А подъ тѣмъ ли дубомъ атаманъ сидитъ;
Онъ одинъ сидитъ одинешенекъ—
А ватага вся вокругъ лежитъ:
Булавами буйны головы пробиваны,
Кушаками головы перевязаны...
Онъ сидитъ, а самъ тоскуется,
Самъ тоскуется въ тоскѣ невѣдомой,
Въ недознаемой грусти, недосказанной...
Говоритъ онъ, атаманъ, таково слово:
«У меня ли, атамана; есть три города:—
Какъ во первомъ городѣ вино курятъ,
Во другомъ ли городѣ, что не пиво варятъ,
А во третьемъ городѣ—меня, Стеньку, поятъ:
То въ Казани ли мнѣ поручни куютъ,
Во Симбирскомъ меня, Стеньку, стерегутъ,
А въ Москвѣ съ почетомъ въ гости ждутъ,
Со почетомъ про меня ли тамъ и плаху кла-
дутъ...

Какъ за славной за Свягой было рѣченькой,
По раздольницамъ чистымъ, по широкимъ,
Распахана была пашенька яровая—
Не плугомъ пашня пахана, не сохою,
А вострыми копьями Мурзавецкими—
Не бороной пашенька взборонена,
А коновыми ногами рѣзвыми;
Не рожью посѣяна, не пшеницей,
А посѣяна была пашенька яровая
Казачьими буйными головами;
Не поливой она поливана,
Не осеннимъ сильнымъ дождичкомъ,—
Всполивана была пашенька
Казачьими горячими слезами!..
Ты скажи мнѣ, дороженька столбовая,
Ужъ и гдѣ моя ватага удалая?
Въ стоячемъ ли лѣсу, во сыромъ бору,
Аль изловлена въ Симбирскомъ городѣ!
Широко ли ты, дорога, разлегалась,
По тебѣ ль казачья сила разметалась;
А кабы дороженькѣ да встати—
До синя неба тогда тебѣ достати!
Кабы руки дороженькѣ да ноги—
Измала бы, водила насъ въ остроги;
А и ротъ кабы да глаза ты знала,
Ты бы все про все, дорога, рассказала,
И куда казачью силу подѣвала!—

Ужь и ты прости, моя головушка!
Ты прощай, казацкая свободуншка!...»

X.

Ой, ты, батюшка, поилецъ ты нашъ, тихій Донъ!
Ужь и что же ты, нашъ Донъ, да мутнехо-
некъ течешь?—

Еще какъ мнѣ, тиху Дону, да не мутну течи—
Со дна меня, тиха Дона, бьютъ студеныя ключи,
Посредь меня, тиха Дона, бѣла-рыбца мутитъ,
Поверхъ меня, тиха Дона, буйный вѣтеръ гу-
дитъ—

То не вѣтеръ гудитъ—кругъ казачій стоитъ;
Еще тотъ ли кругъ выговариваетъ:

— Ужь и что-жь это на Дону прилучилося?—
Прилучилося на Дону у насъ безвременье!..
Помутился Донъ изъ конца въ конецъ—
Отъ Черкасска до Черна моря—
Какъ не стало у насъ, братцы, защитника,
Про голытьбу горькую печальника—
То Степанъ-осударъ Тимофеевича!..
Изымали его царски ловцы,
Удалые молодцы, государевы стрѣльцы,
Не стрѣльцы то изымали—князя боярова!
Повезли его, Степана, во Москву на показъ,
Подъ приставы отдавали въ земской приказъ.
Онъ и радъ бы стоять за хрещенный людъ,
Да крѣпка его неволя, да истома горька:
Не поднять ему булата красного,
Кистеня свинцу чебурацкаго!..
А не стало на Дону у насъ атамана—
То не стало на Руси и воли-вольныи!.

XI.

Что не во полѣ густой туманъ притуманился,
А на сердцѣ зла кручина прикручинилась:
То московскій Кремль изукрасился,
То трезвонки бьютъ, по церквамъ звонятъ—
На Иванъ на Великому отпѣвальный звонъ,
А посередь ли Красной площади черный по-
мостъ.

А вокругъ того помоста православный людъ,—
Какъ ведутъ тутъ казнить добра-молодца,
Атамана казацкаго, Стеньку Разина.

Онъ идетъ ли, молодецъ, не оступается,
Что быстро на всѣхъ людей озирается,
Что и тутъ неволюшкѣ не покоряется!..
Онъ на помостъ поясно всѣмъ кланяется,
На четыре всѣ сторонки православныя:
На Василия Блаженнаго онъ крестится,
А и міру держитъ таково слово:

— Схороните меня, братцы, между трехъ до-
рогъ,
Межъ московской, астраханской, славной киев-
ской,

Въ головахъ моихъ поставьте животворный
крестъ,

Въ ногахъ мнѣ положите саблю вострую:
Кто пройдетъ, али проѣдетъ—остановится,

Моему ли животворному кресту помолится,
Моей сабли, моей вострой испужается:
Что лежить тутъ воръ удалый, добрый молодецъ,
Стенька Разинъ, Тимофеевъ про прозванію...

Онъ ложился тутъ на плаху черную,
А ложился посмѣхаючись
Надъ боярами-князьями надъ московскими.
Сокрутили ему крѣпки рученьки,
Прочитали государевъ приказъ—
И на славной Красной площади
Отрубили буйну голову...
... То старина—то и дѣянье...

1859.

Горшеня.

По дорогѣ прямоѣзжей, по купеческой,
Ѣдетъ-дремлетъ съ горшками горшеня.
Ѣдетъ-катитъ царь Иванъ Васильевичъ,
Догоняетъ царь Иванъ Васильевичъ
Горшеню того попутнаго:
— А и миръ тебѣ съ горшками, горшеня!
Аль вздремнулъ—пока до города?
— Воздремнулъ, великій царь-государь,
А и ты не бойся, кто пѣсню поетъ,
Бойся того, кто дремлетъ да спитъ!
— Исполать тебѣ съ горшками, горшеня!
Больно любъ ты мнѣ приткой смѣлостью—
А хочу за то я, царь, съ тобой бесѣдовать:
Ты скажи ли мнѣ, горшенюшка,
Сколько худъ на свѣтѣ есть на бѣлысмъ
И котѣро худо хуже всѣхъ?
— Ужь какъ первое ли худо—худой сосѣдъ,
Что другое-то худо—худая жена,
А что третье ли худо—разумъ худой.
Какъ отъ перваго ли худа—я на городъ уйду,
Отъ другого худа во лѣса схоронюсь,
А отъ третьяго ли худа, что ни на городъ,
ни въ лѣсъ—

Уходи хоронись: при тебѣ сидитъ...
— Мозголовъ же ты, горшенюшка!
Говоритъ Иванъ Васильевичъ,
А за то я, царь, тебя пожалую—
Придержи одра, вынимай товаръ!
Приглянулись царю три посудыны,
Три столовыхъ, малыхъ муравленыхъ—
И наказывалъ царь тому горшенюшкѣ!
— Ставь ты мнѣ такой посудыны
На московскій торгъ что не десять возовъ!

* * *

И въ та-поры наказомъ царь наказывалъ:
Не быть на столованьяхъ почѣстныхъ-столахъ
Ни серебряной посудѣ, ни олову,
Ниже мѣдной, либо древо-точевой,
А была бы все посудыны муравленая.
Приволокъ горшеня со заказами
На московскій торгъ что ни есть возовъ.

Какъ ужъ тутъ ли выѣзжаетъ на торжище,
Дворскій ставленикъ—бояринъ набольшій.
Онъ кичится ли, бояринъ, говоритъ,—
Собольей шубой похвалятся:

— У меня ли, у боярина столбоваго,
Шуба-соболя съ плеча царскаго,
А за то она, шуба, съ царска плеча,
Что разумный насъ да размысленный
Нѣтъ боярина на всей Руси!
Захочу—топчу, не захочу—не топчу!
А и нынѣ я, бояринъ, пиръ задаю,
Про Ивана свѣтъ-Васильевича угощеніе—
Продавай мнѣ, горшеня, всю посудину!
— Не купить тебѣ, сударь, посудыны:
Не тебѣ она, сударь, посулена!

Что на тѣ слова бояринъ вскинулся
— Оповѣдано: продавай!—что берешь?
— А коль братъ-продать—по цѣнѣ уговоръ:
Денегъ каждую посудину полнымъ насыпать,
И на томъ—твоя посудина купленая!
А не хватить денегъ—и за тѣмъ не стоимъ:
Провезешь ты меня на боярской спинѣ,
Вдоль по улицѣ къ царску терему—
Вся посудина съ остаткомъ твоя,
Не провезешь—не прогнѣвайся!..

Сыпалъ деньги бояринъ—всѣ высыпалъ!
Не хватило денегъ про всю посудину—
Везетъ бояринъ на себѣ горшенюшку:
Горшеня сидитъ, посмѣхается—
Звонкою пѣсней задивается,
Только торгъ на нихъ дивуется,
Какъ горшеня на бояринѣ красуется.

Увидаль горшеню царь Иванъ-государь:
— Ужъ и адраслуй, горшеня, ты крестьянскій
сынъ!
Ты на чемъ сидишь, на комъ ѣдешь ты?
— На худомъ-то разумѣ я ѣду осударь:
Отъ него-то намъ ни на городъ, ни въ лѣсъ:
Какъ былъ, такъ и есть—при тебѣ сидитъ!..
И на тѣ рѣчи на горшенины
Государь-изволилъ спотѣшаться.

Не при насъ та сказка складывалась,—
Не при насъ ей и кончатся.

1859.

Колокольчики валдайскіе.

Какъ московскій-то царь, Иванъ Васильевичъ,
Онъ собиралъ-ли, царь, силу многую
А и шелъ-ли царь подъ Новгородъ:
Приводилъ онъ великъ Новгородъ
Во всю волю свою государскую.

И провѣщится тогда-то осударь-Иванъ:
— Вы посадники степенные,
А и тѣ-ль игумены ставленны,
И жите люди вольные!
Вы рубите плахи новыя,
Топоры вострите вострыя,
Вы кладите буйны головы,
Что подъ царскій гнѣвъ приклончиво!—
Не видать повѣкъ Новгороду
Тѣхъ посадниковъ и тысяцкихъ
И того-ль вѣчева колокола,
Что на томъ дворѣ на Ярославлевомъ!

А и быть надъ Новымъ-городомъ
И надъ тѣми-ли пятаю пятинами
Быть одной-то власти государевой!

* *

Ужъ какъ шелъ-ли тутъ большой покосъ—
Прикошалася муравушка,
Непритоптана муравушка шелковая:
Не покосъ то шелъ—великъ погромъ,
Не муравушка то косилась—буйны головы!
Порѣшалось вѣче новгородское!..

А и много христіанъ было побивано,
Животовъ-дворовъ пограблено,
Что по селамъ, по дорогамъ по купеческимъ
И по тѣмъ-ли по оградѣ монастырскимъ,
А не мало злата-серебра поывезено,
Всей-то ратной приправы поотнимано,
А четыре воеводы ли посажено.

* *

Былъ Нову-городу царь убыточенъ,
Принималъ онъ, царь, подарки бранные!
Три камки бѣлохрущатыхъ,
А и кречетовъ вылѣтчивыхъ,
Сорокъ сороковъ черна-соболя
Да поставы сукна рудожелтаго,
А на проводы свои на царскіе
Принималъ онъ бочку зелена-вина
Да двѣ бочки меду стараго.
Сонималъ онъ вѣчникъ, царь, потайливо,
Онъ покралъ его, царь, о полуночи,
Что во ту ли Москвѣ на позорище.
Доѣзжаетъ онъ, царь, до Валдай-города—
Во Валдай-городѣ думу думывалъ:
«Ужъ и какъ-бы мнѣ, Иванъ-царю,
Не казать Москвѣ-бы вольный колоколъ,
Не казать его не напоминывать,
Вѣча вольнаго не созывывать;
А разбить-бы вольный колоколъ
Во Валдаѣ томъ во городѣ».

Какъ надумалъ думу крѣпкую,—
Такъ наутріе по городу
Застонала мать сыра-земля,
Всколыхнулася рѣчна вода:
Разбивался вольный колоколъ.—
Отѣзжаетъ царь со боярами
И со тѣми воеводы со прислѣшники.

* *

Не избыть-бы дѣла Божьяго—
Не сгнать-бы стару вѣчнику:
То валдайцы-колокольники,
Ужъ они были догадливы:
Подбирали черепки-куски,
Отливали колокольчики—
Все валдайскіе-малиновые;
Выпускали колокольчики—
По бѣлу-свѣту разгуливать,
Вѣче вольное поиминывать,
По дорогамъ по столбовымъ,
Что по селамъ да по выселкамъ
И по тѣмъ-ли все по пригородамъ—
Люду Божьему спотѣшенныце,
Вѣчу старому отпѣванныце!..

1860.

Кондрашка.

По двору, по усадьбѣ по помѣщицкѣй
Дробно-часто *самъ* похаживаетъ,
Изъ конца въ конецъ сапожками поскрипы-
ваетъ,

Шагъ за шагомъ каблуками выколачиваетъ.
Кафтанъ на немъ—смуръ-дворянска сукна,
Оторочка по кафтану—мерлушечья,
А и росту *самъ*-то, что сибирскій котъ,
А дородства будетъ съ зимня борова.
И усища-то, что китовые,
И глазища-то, что моржовые,
А ужъ лапища, что медвѣжья-бы,
А и пузище, что людская спѣсь,
Только поровомъ—весь лѣсной бирюкъ:
Все-то лается, все-то злобится,
Самъ конюшней погрожается.
Да не къ дѣлу, вишь, придиричивый,
А безъ дѣла Божій людъ, что пса честить.

Такъ-то ходитъ онъ по дворику,
Обозлючившись да лаючись,
А подъ лѣвой подъ подошвою—
Не лиха вѣдь болѣсть колика,
Словно камешекъ подвѣртчивый—
А не велитъ ходить расходчиво.
На гумно прошелъ на барское,—
На гумницѣ овесъ вѣяли;
Не казисто показалось,
Онъ и крикни люто-на-люто:

—Охъ, вы, барскіе радѣльщики,
Малахайники невытые,
Не хрещены—неповитые!
Аль конюшня позабылась вамъ?
Аль дубина не разгульчива?
Что ужъ больно много полѣва
Отъ овса взвѣваетъ по вѣтру?

Такъ-то лаетъ онъ—серчається,
Анъ глядитъ: у лѣвой щиколки
Мальчикъ махонькой-румяненькой
Самъ веселый да пошмѣшиный,
Знай, вертится да съ припляскою,
А съ приплясу припѣваетъ *самъ*:

«Чири-чирикашка—
Я Кондрашка!
Чири-чирикушки
Красныя ушки,
Пальцы-щипанцы,
Зубки-покусанцы!»

Да какъ тяпнетъ *самъ* подъ жилками,
Какъ щипнетъ, да такъ задорливо,
А съ задору пребольнѣшенько,—
Что *сердитый* только пхнулъ ногой,
Плюнулъ въ землю да и прочь пошелъ,

А проходомъ въ огородъ свернулъ,—
Въ огородѣ полютъ лукъ-чеснокъ
Все-то бабы, все-то пѣвчія;—
То зазорно показалось,
Онъ и гаркни грозно-на-грозно:
— Гой, вы, барскіе радѣльницы,

Нехрещеныя бездѣльницы!
Аль въ конюшню не навѣдывались?
Аль батожья не приняхались?
Что за пѣсни, что за розказни
На честной на барской барщинѣ?

Такъ-то лаетъ онъ да грѣзится—
Анъ глядитъ: у бока праваго
Ужъ не мальчикъ, а подросточекъ,
Самъ-то красенъ-веселешенекъ,
Трется съ боку да назойливо—
То кольнетъ подъ бокъ негаданно,
То щипнетъ за бедра пошмѣхомъ.
Глянулъ *самъ*, да какъ изловчиво
Шибанѣтъ рукой подросточка!
Думалъ, тутъ ему и духъ долой;
А подросточекъ—живъ-живѣшенекъ,
Знай, смѣется лишь да дразнится. —
Плюнулъ *самъ* и грозно прочь пошелъ,
Да проходомъ и на псарный дворъ:
Неприглядно показалось.

Что ужъ больно псы разлаялись, —
Онъ и свисни лютымъ посвистомъ:

— Гой, вы, барскіе радѣльщики,
Вы дворовые посконники!
Аль конюшни не извѣдали?
Аль арапниковъ не стать про васъ?
Такъ ли песье дѣло правите?
Пошто больно псы разлаялись?

Такъ-то злится онъ да корчится,
Анъ глядитъ: съ затылка съ самаго
Ужъ не мальчикъ, не подросточекъ,
А и цѣлый паренъ высится,
По плечо, гляди, ровняется;
Да не то, чтобъ веселѣшенекъ.
А глядитъ недобрымъ недругомъ,
П съ лица, что мечена рѣда.
То пробѣдетъ подъ микитками,
То продернетъ матеро плечо,
А не то—и по спинѣ тумакъ!
Самъ и радъ пихнуть-бы въ сторону
Неотвязнаго, неожиданнаго,
Да ужъ больно неосилчивъ сталъ:
Не подѣ-стать бы съ нимъ и справиться.
Только плюнулъ *самъ* и прочь пошелъ,
А на встрѣтъ проходомъ староста—
Поясно ему поклонъ и честь.
И присталъ *сердитый* къ старостѣ:
—Приведи, молъ, мнѣ скорешенько
Ты Маринку пономариху!
А и съ мужемъ ей не жить не быть,
Что ужъ больно мнѣ прилюбчивалъ!

Ну, и шелъ по бабу староста,
Только выпелъ неудачливо:
За Маринку пономарь въ заступъ —
Не даетъ, вишь, на негожее;
Хочетъ *самъ* брести на барскій дворъ.
А пришелъ во дворъ со старостой,
Самому учалъ покорѣ творить,
Что затѣялъ, молъ, негожее.

Какъ слышалъ *самъ* покорѣ-позорѣ,
Сталъ, что бѣшенный по лѣту песь:

Завопилъ слова облыжня
И повелъ на чисть-конюшій дворъ.
Анъ на встрѣчу—богатырище:
Мужичина, что коса сажень.
Кулачина, что тяжелъ кистень;
Смотрить звѣремъ, бирюкомъ лѣснымъ,
А съ обличья—синь-синешенекъ.
Подступилъ въ конецъ къ *сердитому*,
Гранулъ зычнымъ, грознымъ покрикомъ:
«Здравствуй, песъ сѣмь—скареда!
Попѣлуйся-ко съ Кондрашкою!»—
Да какъ хватить въ темя борова,
Со всего размаху крѣпкаго —
Такъ и духъ съ того на мѣстѣ вонъ!

1859.

Слово о правдѣ и кривдѣ.

Въ нѣкіемъ царствѣ-государствѣ,
За тридевятъ морей мореданскіихъ,
За тридесять земель земледанскіихъ,
На синемъ морѣ, на окіянь,
На томъ ли славномъ островѣ, на Вуянѣ,
Жилъ-былъ славенъ царь со царицею,
Ясенъ соколъ съ соколицею,
Во златомъ теремѣ, во серебряномъ,
Во садахъ ли райскихъ во махровыхъ;
И загадали они притчу мудрую;
Огласили ее въ государствѣ
Всѣмъ князьямъ-боярамъ да посадникамъ,
Да воеводамъ—воеводскимъ сынамъ,
Да постельничимъ, стольникамъ, да сокольни-

чимъ,

Да дьякамъ думнымъ со подъячими,
Всему люду православному
На ученіе-разумѣніе,
Въ удовольствие свое царское.

А сіе есть начало притчи той:

«Есть наше поле государское;

А посередъ того поля чистаго

Да еще щить стоитъ красный-писанный;
А сидѣтъ ли на немъ голубь-горлинка
Воркотливый, мохноногий,
Ворковалъ онъ воркованіе —
И всѣ люди его слушали:
Они слушали, поучались,
Ума-разума набиралися,
Да трудомъ трудились труднымъ,
Да совѣтъ держали общиною,
Совѣтъ мудрый, да судъ праведный.

Помоляси святой Троицѣ,
Поклоняся на всѣ стороны,
На четыре на всѣ на сторонюшки,
Да творили нищимъ милостыню,
Краснымъ словомъ гостя чествовали,
За почестный столъ усаживали,
Яствомъ, брагою припрашивали;
Не знавали они зависти,
Не видали злобы лютыя,
А въ любви да во согласіи
Житіе вели по-Божески,

Неустанно поучаяся
Отъ тоя-ль рѣчи голубиной.—
Только постѣ имъ прискучило:
Перестали ее слушати.
А и приспѣлъ ли тогда со поднебесья
Молодъ-сизъ орелъ къ тому голубю
И увесъ его въ небо чистое
Къ самому Христу, царю небесному;
А взлетѣла на щить сова-совушка,
Сова-совушка луноглазая,
Луноглазая, птица глупая,
И посередъ того поля чистаго
Вмѣсто голубя стала кликать кличъ—
И всѣ люди ее слушали:
Они слушали, ухипрялися,
Злобы-зависти набиралися,
Трудомъ труднымъ не трудилися,
Святой Троицѣ не молилися,
Не творили нищимъ милостыню,
Гостя-странника не чествовали—
А ходили на царевъ кабаки,
Зеленымъ виномъ похмѣлялися,
Брагою пѣнною упиватися—
И раздоръ пошелъ, и несчастіе
Кровяной рѣкой по сырой землѣ:
Встали дѣти супротивъ отцовъ,
Обнищали люди, облѣнились,
Продавались во неволюшку,
Да всѣ кабалой и покончили,
Отъ вѣщанія-ль того совиного
Неустанно поучаяся.

А и сидѣтъ ли той совѣ-совушкѣ
Посередъ поля того чистаго
Вплоть до свѣта-преставленія,
До скончанія вѣковъ...

Охъ, вы гой есте, люди добрые,
Разгадайте притчу вѣщую!

А коль слово наше царское
Разгадаете вы точію —

Мы отсыплемъ вамъ золотой казны:
Три кади злата, да три сѣребра!»

—А и взломали же свои головушки

Всѣ князья-бояре да посадники,
Да воеводы, воеводскіе сыны,
Да постельничьи, стольники да сокольничьи,
Да дьяки думные со подъячими,
Они думали думу крѣпкую,
Три дня ясныхъ, да три ноченьки,
Да ничего они не выдумали:
Не осилилъ никто слова царскаго.

Да пришелъ къ людямъ нищъ-убогъ человекъ,
Старецъ древній, богодатный мужъ,
Сѣдинами изукрашенный,
Кудельнымъ вервѣмъ препоясанный,
И взмолился гласомъ слезнымъ
Къ нему люди государскіе —
Дескать: «старче, благолѣпный мужъ!
Разгадай ты намъ слово царское,
Умудрился ты еси умомъ разумомъ,
Убѣдился сѣдинами ты,
Подобаешь тебѣ знать его,

А ужь мы ль тебя наградимъ за то:
Благодѣтеля мы пожалуемъ
Кадью злата, кадью серебра;
Да словцомъ еще краснымъ, ласковымъ».

И почалъ ихъ старецъ научать добру,
Научать добру, уму-разуму:

—Охъ, вы гой есте, люди добрые!

Сіе слово ваше царское:

Ужь что какъ поле это чистое —

То земля ваша родимая;

Что какъ голубь этотъ горлянка —

То на свѣтѣ правда Божія;

Правды Божіей вы не слушались—

И взлетѣла она на небо,

Къ самому Христу, царю небесному;

А что птица ль эта глупая,

Сова-совушка лупоглазая —

То на свѣтѣ кривда бѣсова;

Не слетать уже той совушкѣ

Со щита ль того до конца вѣковъ,

Вплоть до свѣта-преставленія —

Не сходить и кривдѣ бѣсовой...

Отъ людей ужь, до конца вѣковъ...

И повѣдали люди дворскіе

Государю слово старцево;

За свою, разгадку его выдали,

Похваляясь своей мудростью.

И отсыпалъ царь золотой казны,

Три кади злата, да три серебра,

И отдалъ людямъ за умъ-разумъ ихъ.

Раздѣлили люди золото,

Раздѣлили серебро они,

А убогому старцу отдали

Кадь пустую изъ-подъ золота,

Да другую изъ-подъ серебра,

И «спасибо» не промолвили.

И взмолился къ нимъ старецъ опечалованный:

—Охъ, вы люди, человекѣ вы,

Вы бояре православные,

Не по правдѣ поступаете,

Слова добраго не помните!...

А бояре ухмыляются,

Отвѣчаютъ старцу сирому:

—Эхъ, ты, старче неосмысленный,

Неосмысленный, недогадливый!

Да не самъ ли жь ты говорилъ-то намъ,

Что на свѣтѣ правдѣ Божіей

Не бывать ужь до конца вѣковъ?

Да не самъ ли жь ты и повѣдалъ намъ,

Что межъ насъ одна осталася

Сова-совушка лупоглазая,

Кривда бѣсова, черномазая?

Ой, вы, люди православные,

Вы крещенные, расейскіе!

Станемъ дружно, да помолимся,

Что проходятъ ночи темныя,

Непогодушка, да невзгодушка,

Что блеснуло красно солнышко,

Что опять идетъ правда Божія —

Кривда бѣсова отшатнулася,

Да авось она и провалится!

Слава Богу-Спасу на небѣ

Слава!

Слава люду православному

Слава!

И всей земщинѣ во вѣки. Аминь.

1858.

Легенда

про отца Варсонофія, да про нѣкоего старца-
странника благочестиваго.

Зачинается сказка неложная,

А про дѣло она стародавнее,

Про глаза завидушіе, некайные,

Да про руки загребушія, Варсонофіевы:

Онъ сидитъ-ли, Варсонофій, думу думаетъ,

Каравай пшеничный медомъ запиваючи;

На талантъ свой на бездолюще печалится.

А и тою-ли печалью токмо Бога гнѣвиль:

«Эхъ житье-ль ужь ты, житишко гунявое,

Ты гунявое житишко да бездолюще!..

У иного полонъ домъ добра накопленнаго,

А и ржи четвертей — по три закрома,

А и клчка на женкѣ парчевая —

Ужь про что, про кого, Варсонофьюшко,

Ты родился на свѣтѣ, ты неповитый!?...»

И глядитъ на дороженьку Варсонофій-отецъ —

По дорогѣ бредетъ сирь-убогъ человекъ:

Онъ бредетъ-ли, проситъ подаяница,

Ради имени Христова, копеечку

На свое на пропитанье многоскорбное.

Проситъ старецъ Варсонофія —

Варсонофій молвитъ: «Богъ подастъ!» —

А у самаго мощна полнехонька.

— Ты насыти мя, гладнаго, Варсонофіе, —

Для Христа самого Бога нашего,

Ты подай мнѣ сухарь многомилостиво! —

Варсонофій молвитъ: «Богъ подастъ!»

Каравай пшеничный медомъ запиваючи.

И провѣщился старецъ благочестливый:

— Не гони ты мене, Варсонофіе!

Не по своему хотѣнію я пришелъ къ тебѣ,

Не по бѣсову попущенію, а по Божію повелѣ-
нію; —

А пришелъ я къ тебѣ оновѣдати:

Снаряжайся ты, Божій человекъ, во путь-ве-
ликъ! —

По молитвамъ-ли святыхъ угодниковъ,

По честному ихъ предстательству,

Господь Богъ тебя разыскалъ-ли своей милостью:

Онъ призрѣлъ-ли на раба своего на смиреннаго,

Онъ поволѣлъ мнѣ надѣлать тебя златомъ-се-
ребромъ,

Самоцвѣтными камнями, крупнымъ жемчугомъ,

За житье за твое воздержливое,

Воздержливое, благочинное.

Встребенулъ съ радостей Варсонофій-отецъ,

Сталъ онъ странника на ночлегъ позывать:

Чѣмъ ужь, чѣмъ онъ его-то не чествовалъ!

Билъ челомъ, поясню ему кланялся, —

А на утро снялись они въ путь-дороженьку;
А въ котомкѣ старца перехожаго
Просфора со заутрени вынута.

Идутъ день, и другой, и недѣлю-недѣльскую,
А вокругъ-ли ихъ разстилается
Степь привольная, неоглядная,
Неоглядная и раздольная...

А и путь-ли ихъ далеку-тяжелъ
Что далеку-тяжелъ да не радощенъ:
Нѣтъ водицы промочить гортань,
Да и хлѣба нѣтъ про голодный часъ —
Только просфора у сираго осталася.

Какъ надъ степью, надъ широкой, по ко-
выль-травѣ

Всходитъ ноченька, ночка темная;
А какъ ту-то степь необхватную
Перехожіе обночевываютъ...
Приступили бѣсы къ Варсонофію —
На ту просфору ему бѣсы искусь вели:
Тутъ и съѣлъ Варсонофій долю сиротскую.

Молвить старецъ, на утро просыпающися:
— Ты скажи-скажи, Варсонофій-свѣтъ,
Ты зачѣмъ съ просфорой огрѣшился-то?

А на то ему Варсонофій-свѣтъ:
— Ты съ чего, за что, старче праведный,
Словеса мнѣ чинишь ты заторныя!
По напраслину клеплешь на старости!
Побирушкѣ-ль твоей мнѣ завидовать...

Не обмолвился старецъ и попрежнему
Въ путь-дорогу побрелъ съ Варсонофіемъ.

И приходятъ они ко поморію:
Ни челна имъ ни мостка-перекладки —
Только камень одинъ-то тамъ выйдется...
Приступилъ калика къ тому камню,
Сдвинулъ камень онъ Божиимъ хотѣніемъ,
Сѣлъ на камень онъ съ Варсонофіемъ,
Поплылъ на камени по морю синему.

А въ поднебесьи погода разыгралася,
Заходили тучи хмурныя,
А по морю, морю буйному
Заходили волны бурныя;
Загудѣли гулы-громы подземныя,
Полетѣли змии огненные,
Полетѣли они, чуть не молвили:
«А помолитесь-ко, братцы, впослѣдніе!...»

Молвить старецъ Варсонофій:
— Отче! часъ нашъ конешный приблизился!
Не таи: просфору-то сиротскую
Ты ли взялъ, аль не ты, да покайся-ко?!..

А на то ему Варсонофій-свѣтъ:
— Ты съ чего, за что, старче праведный,
Словеса мнѣ чинишь ты заторныя,
По напраслину клеплешь на старости!
Побирушкѣ-ль твоей мнѣ завидовать?...
А тонуть-бы мнѣ непокаянно,
Коли бралъ твою просфору пѣтую!

Не обмолвился старецъ, и попрежнему
Держитъ путь онъ съ Варсонофіемъ.

И прибило камень къ берегу —
И ступаютъ пловцы на мать-сыру землю,
И идутъ они пустынею горячею,

Охъ, горячею, нососвѣтимою!...
Славословятъ Спаса многомилостиваго,
За отнютъ отъ бѣды, отъ погибели.

А навстрѣчу имъ человекъ бредетъ,
Самъ бредетъ, а самъ плачется.

— Ты скажи, человекъ, что ты плачешься,
Что ты плачешься, что печалишься?

— То и плачусь я, старче праведный,
Что во путь меня царь посылавалъ,
Посылавалъ, самъ наказывалъ:
Приведи, молъ, ты мнѣ со распутіа
Старца-знахари перехожаго:

Снялъ-бы болѣсть лихую-недужную,
А казною скупиться мнѣ нечего...
Да наказывалъ крѣпко мнѣ на крѣпко:
Не приведенъ — срублю тебѣ голову!

Молвить странникъ: «А ты не печалуйся.
Божье слово не мимо идетъ, не околицей —
Гдѣ больной-то?»

Пришли ко болящему —
Ипомогъ, Божьей милостью, старецъ недужному.
Отпиралъ-ли царь старцу закромы,
Отмыкалъ-ли онъ сундуки дубовые,
Отсыпалъ-ли ковшомъ злата-серебра,
Самоцвѣтныхъ камней по три пригоршни —
Только въ горсти ему не достались,
А забралъ ихъ Варсонофій некаинный,
И стыда-то въ глазахъ его не было:
Старцу далъ три грошика мѣдные,
Три-то нищенскіе да сиротскіе,
А и старецъ у него выпрашивалъ:
— Подѣлись-де добромъ-то по совѣсти.
Аль не помнишь, какъ мы во пустынюшкѣ
Подѣлилися голодомъ-холодомъ.

Насмѣялся: казною не дѣлится,
А обозвалъ нечестиво, да разлаялся.
И провѣщился тогда старецъ праведный:
— Гой ты свѣтъ еси, Варсонофіе!

Вспоминулъ я, какъ мы во пустынюшкѣ
Подѣлилися нуждой-матушкой,
А и батюшкой-голодомъ-холодомъ,
А и нищенствомъ — братцемъ-названнымъ
И слезами-сестричками кровными —
Подѣлюсь я съ тобою и нониче,
Подѣлюсь я копейкой сиротскою,
Той сиротской моею обдѣленною!

Грошъ—тебѣ во мощну! мнѣ—копеечка!
А и третью копейку мы въ сторону!

— Про кого-жь ее, старче, въ сторону?
— Про того ее, друже мой, въ сторону,
Про того, кто съѣлъ просфору пѣтую,
А и съѣлъ-то ее, не покался!

— Охъ, ужъ мнѣ-ль бы ее, Варсонофію,
Принимать во мощну свою сирую:
Не сгнать же добру посередѣ поля!
Съ просфорой вѣдь я огрѣшился-то,
Не во гнѣвъ твоей старости сказано-бъ!..

И ни слова-то старецъ не вымолвилъ,
А казна, какъ была, вся-то прахомъ разсыпалась,
Да и самъ-то изъ глазъ у отца Варсонофіа
Такъ и сгинулъ—только ладономъ запахнуло...

А отецъ Варсонофій стоитъ не двинется,
Въ страхѣ-ужасѣ на диво дивуется.
Развелъ бы онъ свои крѣпкія рученьки—
Крѣпки-рученьки, что желѣзныя,
Разодвинулъ бы онъ быстры-ноженьки—
Быстры-ноженьки, что каменные,
Подаль голосъ бы—да не выкричить...

Такъ отъ той-ли поры при дороженькѣ
И стоитъ онъ камнемъ вѣки-вѣчныя.

Сказка про Ерша Ершовича сына Щетинникова.

Прибѣднѣлось Ершишкѣ во своемъ углу,
И пошелъ онъ, Ершишко, во Камъ-рѣку,
А съ Камъ-рѣки да во Тросъ-рѣку,
А съ Тросъ-рѣки во озеро во Кубенское,
А съ Кубенскаго въ Бѣлозерское,
Съ Бѣлозерскаго въ Карбозерское,
Со Карбъ-озера во Ростовское.
Закричалъ Ершишко зычнымъ покрикомъ:
—А и миръ вамъ, лещи, жильцы ростовскіе!
И тебѣ, рыба севрюга; язз, головли,
И тебѣ, плотичка-сиротичка мелкая!
А пустите погулять меня во озеро;
Мнѣ, Ершу, у васъ не годъ годовать,
А единый только часъ часовать:
Со великаго пути на роздыхъ роздыхнутися,
Добрымъ словомъ съ вами перекинутися!

Разступилася рыбаца озерская,
Пропустила человѣка дорожнаго.
А Ершишко-то гдѣ часъ часовалъ,
Тамъ, гляди, и темну ночь ночевалъ,
А отъ темной ночи да двѣ ночи,
Отъ двухъ ночекъ да недѣли двѣ,
Отъ двухъ недѣль два мѣсяца,
Отъ двухъ мѣсяцевъ да годъ годовалъ,
А отъ года жилъ онъ тридцать лѣтъ.
Сыновой поженилъ, дочки—замужемъ,
Сталъ по озеру разгуливать,
А ростовскихъ жильцовъ распугивать,
Что по тинамъ, по плотинамъ, да по омутамъ:
Три года лещи не обѣдывали,
Три года язз водицы не пивывали,
Свѣту бѣлаго севрюга не выдывала...

Живой рыбѣ то въ обиду показалось:
Собиралася она на соймище,
Во единый кругъ, въ избу земскую,—
Жеребья она закладывала,
Кому быть имъ судѣ праведному?—
Быть судѣ Петру-Осетру великому!..
Пошла рыба просить на обидчика.
Лещъ отъ міра челобитной кланялся:
—Господамъ: Осетру-Петру великому
И бѣлугѣ, бѣлой рыбицѣ,
Бьетъ челомъ отъ рыбъ озера Ростовскаго
Лещъ, боярскій сынъ, со товарищи,
На Ерша Ершова сына Щетинникова,
Намъ обидчика злого и ябедника:
Искони за нами было и значилось
Здѣшней области озеро Ростовское,

А тотъ Ершъ, обидчикъ злой Щетинниковъ,
Онъ отбилъ отъ извѣчной насъ вотчины,
Отнялъ наши стары жирова;
Самъ онъ хоть малъ, а щетины колючія,
Аки люты рогатины, намъ убытчивы,
Понеже тѣми щетинами
Наши бока онъ подкалываетъ.

А лукавствомъ жить—намъ не по совѣсти,
И тягаться съ лихими людьми не охотчиво,
А хотимъ мы быть оборонены
И вами, судьями, оправлены.
При семъ челобитѣ и руку приложилъ
Жильцовъ озера Ростовскаго
Лещъ, боярскій сынъ, со товарищи.

Какъ сидѣли тутъ у дѣла суднаго
Самъ судья Осетръ-праведный
И Бѣлуга бѣла-рыбца,
А дякомъ сидѣлъ брюхатый Мень,
А доводчикомъ былъ пятисотскій Карась,
Съ дѣла суднаго списокъ Вьюнъ писалъ,
Онъ же правилъ и за разсылнаго,
Ракъ печати клалъ клешнею сильною,
А сидѣлъ у печати переславскій Вандышъ.
Шлетъ судья по Ерша нарядъ:
Наряжаетъ онъ приставомъ Окуни,
Въ пятисотскіе Карася даетъ,
Семь Молѣй, понятыхъ людей,
Государскіихъ посольщиковъ;
Вьюнъ тутъ правилъ за разсылнаго.
Привели Ерша предъ очи осетровыя—
Ершъ стоитъ-говорить, да съ повадкою:
— Государь ты, Петръ-Осетръ праведный,
Почему меня повѣщали на судъ?
— Потому тебѣ, Ершишкѣ сынъ Щетинникову,
На судъ нашъ было оповѣщено,
Что чинишь ты намъ обиды многія,
И неправдой овладалъ Ростовскимъ озеромъ.
Ершъ стоитъ-говорить да съ повадкою:
— Какъ могу владать неправдою!
А владаю потому я озеромъ,
Что горѣло оно, озеро, снизу до верху
Съ Петрова дня по Ильинъ по самый день,—
А выгорѣло оно—запустѣло все,
И отъ той поры за мной отчислено.
— Ни во вѣки озеро не гаривало,—
Говорить Осетръ-праведный,—
Есть-ли въ томъ у тебя свидѣтели,
Московски крѣпости, письменны грамоты?
— Есть у меня въ томъ свидѣтели,
Московски крѣпости, письменны грамоты:
Сорога-рыба на пожарѣ была,
Глаза запалила—и понинѣ красны.
Шлютъ за рыбой за Сорогою.
Не дошедши Осетра, Сорога кланялась:
—Здравствуй-де осударь, ты Петръ праведный.
—«Вдовѣ честной, Сорогѣ рыбѣ, здравствовать,
Говорить на то Осетръ-Петръ.—
Гаривало наше озеро Ростовское
Съ Петрова дня по Ильинъ по самый день?
—Ни во вѣкъ то озеро не гаривало,
Не по правдѣ Ершъ показываетъ;

Потому Ерша, кто знаетъ-вѣдаетъ,
Завсегда безъ хлѣба тотъ обѣдаетъ...

Такъ Сорога имъ отвѣтъ дала.

Еще пуще разѣрился Ершъ,
На милость Божью уповаючи. —
—Есть же, говоритъ, у меня свидѣтели,
Московски крѣпости, письменны грамоты:
Щука-рыба на пожарѣ была,
Головешки носила—и понинѣ черна.

Шлютъ за рыбою за Щукою. —
Не дошедши Осетра, Щука кланялась.
Что Сорога на Ерша доказывала,
То и Щука-рыба выговаривала,
Да къ тому-жъ еще примолвила,
Что того Ерша знаютъ-вѣдаютъ
Люди знатные да богатые,
Что съ одной полушкой водятся,
Да не столько найдятъ Ерша,
Сколько даромъ расплюютъ его...

То Ершу въ обиду показалось, —
Еще пуще сталъ выкрикивать:
—Я, честные судьи, Божьей милостью,
И отца своего благословеніемъ,
И матерними теплыми молитвами
Не смутщикъ, не разбойникъ и не тать,
И въ приводѣ нигдѣ не бывалъ,
А живу я не чужой—своею силою.
На Москвѣ и всюду я знаемъ и вѣдаемъ.
А князи-бояре, дворяне и стольники,
Жильцы московские и подъячіе,
И всякаго чина люди покупаютъ меня;
Покупаютъ дорогѣй цѣной, да съ перцемъ
варять,

Передъ собой честнѣ на столѣ поставляючи,
И съ похмѣльи добры люди меня кушаютъ,
А кушавши поздравляютъ и прихваливаютъ.
А что озеро Ростовское
Нашихъ дѣдовъ старина было,
Въ томъ у насъ есть и свидѣтели,
Московски крѣпости, письменны грамоты:
Сомъ съ большимъ усомъ на пожарѣ былъ,
А ему и дѣло вѣдомо.

Привалили къ Сомъ-рыбѣ посольщики:

—На тебя-де позывъ къ Осетру-Петру!

Тутъ имъ слезно Сомъ выговаривалъ:

—Охъ повольте, братцы, не ходить на судъ,
Нате гривну вамъ на волокиту, на труды, —
У меня, у Сомы, губы толстыя,
А глаза подслѣповатые,
Брюхо большое да пузатое;
А и въ городѣ я въ-вѣкъ не бывалъ,
Передъ судьями не стаявалъ,
Говорить я не умѣю—не учень,
Да и кланяться поклономъ не смогу.

Принимали гривну посольщики,

А Петру-Осетру докладывали:

—Искали-де Сомы, да нигдѣ не нашли,
А сказываютъ, рыбаки ростовскіе
Изловили его неводомъ.

Тутъ Ершишко Петру поклоняется:

—Прикажи-де, осударь, въ правдѣ судъ творить!

Нѣтъ свидѣтеля—и доказа нѣтъ.

А Леши и сами обидчики:

Жили на днѣ они сосѣдями,
Только на свѣтѣ не выхаживали;
А теперъ межи-борозды повытерлись,
По омутамъ затерялись,
Берега водою подмыло, —
Не дознаться правды-истины.
А поволь ты рыбакамъ наисвѣдущимъ
Позакинуть часты неводы,
Погоня ты рыбу всю въ одно устье,
Тонкій неводъ—что боярский дворъ:
Какъ войти—ворота широкиа,
А какъ выдти—узкія, не выскочишь!
Ну, вѣдь правый не останется,
А неправдѣ тутъ и торгова казнь!

По Ершову слову, повелѣлъ Осетръ:
Всѣ истцы такъ въ неводѣ и остались,
А отвѣтчикъ на починъ попалъ.
Шевельнулся-ворохнулся онъ,
Да глазенки, благо, вытаращилъ—
И стоитъ ужъ предъ Петромъ-Осетромъ:
—Разсудя, молъ, ты по правдѣ теперъ,
Кто межъ нами правъ-виноватъ?

Петръ-Осетръ за правду кланялся,
Со почетомъ отпускалъ Ерша;

А Ершишко похваляется,
Что всѣхъ рыбъ онъ умнѣй, да увертливѣй.

Какъ ужъ шелъ тутъ Любимъ,
Похвалы Ершовой не взыбиль;
Онъ послалъ Першу
Заложить вершу;
Пришелъ Богданъ,
Ерша Богъ далъ;
Пришелъ Павелъ,
Котель поставилъ;
Пришелъ Глѣбъ,
Принесъ хлѣбъ;
Пришелъ Устинъ,
Ерша въ воду упустилъ.

А Ершъ оттолѣ и разгуливать,
Божью милость славословичи...

1859.

Василиса Поповна.

Во погостѣ во Чуриловскомъ,
У прихода у Задоньева
Правиль требы про мірянъ честныхъ
Попъ Василій-завидущій глазъ.
А и выросилъ попъ дочишу;
Василису свѣтъ Васильевну—
И чуднѣй тоя-ль поповой дочиши
Нѣтъ и дѣвки по бѣлу-свѣту!—
Во мужско она обококалася,
На кобылѣ вершникомъ каталася,
Со пищали самопалицы припалывала,
Во поемные дуга отгѣзживала,
Сопущала бѣда кречета,
Что на стадо бѣлыхъ лебедей—
И повадка у ней не по-бабьючи,

И поступка у ней не по-дѣвичи—
А съ того въ людяхъ и молвъ пошла,
Что попова дочь не женскій полъ,
А парнище-богатырище
И что звать его по имени Василиемъ,
А Васильичемъ по чести по изотчеству,
И по тотъ конецъ ее парнищемъ звать,
Что ужъ больно хмѣлемъ позашибчива—
А хмѣлинане подѣ-стать-бы краснымъ дѣвицамъ.

* * *

Со росной зори со утренней
Во лузя ли тѣ отъѣзжіе
Повзжалъ Бархатъ-царь со дружиною
На потѣху соколиную.
Онъ совстрѣлъ ли тамъ попову дочь,
Во мужско оболочѣниці,
По соколю по охоту спотѣшениці.
Сопущала Василиса бѣла кречета.
На тое ли стадо лебединое,—
Дивовался царь Бархатъ на молодца,
На парнищу-богатырищу,
А и стало ему, батюшкѣ, охотчиво
Сопознать у молодца имя-отчество,—
И на то ему бояринъ чину старого,
Тотъ ли Прошка стремянной докладывалъ:
—Мнѣ-де Прошкѣ, стремянному старому,
Халю твоему извѣрному,
Про тое-ль дѣло довѣдома вѣстимо:
То не молодецъ удалъ, а попова дочь,
А и звать ее, поповну, Василисою,
А по батькѣ чествовать Васильевной.

* * *

И въ-та-поры царь Бархатъ отписывалъ
Скорониочату къ попу-ли тому грамотку:
«Снаряжай-де, сына ты Василя,
Что того-ль парнищу-богатырищу,
По обѣдъ ко мнѣ, по царскій столъ».
А и самъ Бархатъ пошелъ по дворику
Ко той-ли бабушкѣ-задворникѣ-Ягинишнѣ,
А и проходя, Бархатъ выпытываетъ,
Какъ ему, Бархату, было-бъ вѣдомо:
Парень-ли Василій съ роду, али дѣвица?—
И провѣщется на то ему Ягинишна:
—Ты поволь, Бархатъ, во свѣтлой гридницѣ
По правой рукѣ повѣситъ пальцы дѣвичь,
По другой рукѣ повѣситъ что не ратный доспѣхъ:
Коль за пальцы хватятся—то дѣвкѣ быть,
За доспѣхъ ухватятся—быть молодцу!

...Такъ и было отъ царя повелено...

А по той царской грамоткѣ
Шла поповна на конюшій дворъ,
Подъ себя сѣдлала коня сиваго,
Что не сиваго, сивогриваго,
Да и прямо бухъ на царскій дворъ!—
Царь Бархатъ во дворъ на-встрѣтъ идетъ;—
Василиса по учтиву Богу молится,
А по писанному крестъ кладетъ,
На четыре сторонушки поклонъ даетъ,
Со Бархатомъ ли царемъ цѣлуется,
А за пьяныя питья принимается,
Яствы сахарными заѣдаючи.

Какъ повидѣла на право пальцы дѣвичи,
Учала Бархату посмѣхъ творить,
Что негожимъ дѣломъ занимается,
И объ ту пору съ Бархатомъ попрощалася,
По учтиву Богу помолилася—
Да и къ ночи на поповъ на дворъ.
Мало время поизойдучи,
Шлетъ Бархатъ къ попу нарочнаго,
По его-ль по чадю милое,
По Василя свѣтъ-Васильича,
Что ко мнѣ, царю-де, шей хлебать,
Хлѣба-соли поотвѣдати.
А и самъ Бархатъ по дворику похаживалъ,
Походя Ягинишну выпытывалъ:
—Еще какъ же мнѣ, Бархату бы дознаться,
Парень съ-роду ли Василій, али дѣвица?
А на тѣ слова Ягинишна провѣщется:
—Ужъ поволить бы, Бархатъ, ты баню топить,
Да понялъ бы ты съ собой Василя:
Коль охочъ идти—быть Василю,
Не пойдетъ съ тобой—Василисѣ быть!..

...Такъ и было отъ царя повелено...

Повидѣла пѣсланца попова дочь—
И по той по царской грамоткѣ
Шла поповна на конюшій дворъ,
Подъ себя сѣдлала коня сиваго,
Что не сиваго, сивогриваго—
Да и прямо бухъ на царскій дворъ!—
Царь Бархатъ во дворъ на-встрѣтъ идетъ;—
Василиса по учтиву Богу молится,
А по писанному крестъ кладетъ,
На четыре сторонушки поклонъ даетъ,
Со Бархатомъ ли царемъ цѣлуется,
А за пьяныя питья принимается,
Яствы сахарными заѣдаючи;—
И возговоритъ тогда ей царь Бархатъ:
—Не въ угоду ли, Василій свѣтъ-Васильевичъ,
Со царемъ, со мной во баню сходить,
Новымъ вѣникомъ попариться?
—Какъ мнѣ, царь, въ охотѣ не быть!
Говорить на то попова дочь,
Ужъ давно я, молодецъ, не бывывалъ
Что во той ли банѣ топленой,
Да и больно-жъ я охочъ-то париться!..

Тутъ пришли они во баню топленую—
Да пока Бархатъ разболокается,
Въ передъ-банникъ поважается—
Василиса объ ту пору искушалася,
Да на сиваго скочила, да въ село скорѣй:
Только царь ее и видывалъ!..
А тому ли стремянному, отъѣзжаючи,
Отписала грамотку на имя царское—
И при всѣхъ-то ставленникахъ дворскіихъ
Та-то грамотка была читана:

«Охъ, ты царь Бархатъ, ворона ты!
Да ворона залегущая!
Не съумѣла ты, ворона, сокола соймасть,
Во зеленомъ садочкѣ, во калинушкѣ!—
Не Василій я Васильевъ сынъ,
Не парнище-богатырище,
А погоста я Чуриловскаго

И того ль прихода я Задоньева,
Что Василя по па родима доче —
Василиса свѣтъ-Васильевна.»
Такъ-то дочь попова, богатырище,
На бобахъ царя проваживала.

Т е р е м о к ъ .

Шла баба сѣрая съ ярмарки,
Спотыкалася она, похмѣльная,
Обронила кувшинъ она посерѣдъ поля —
Лежитъ кувшинъ до полуночи:
Прибѣжала тутъ мышка-норышка,
Тому кувшину поклонилася,
Слезно ему выговаривала:

— Ой, ночка темна,
Я во полѣ одна,
Теремъ-теремокъ
Ни низокъ — ни высокъ,
Я малая мышка,
Сѣрая норышка, —
Кто во теремѣ живетъ,
Меня, мышку, возьметъ?

Никто во теремѣ не откликается.
Мышка — скокъ черезъ бокъ! да и стала жить.
Прискакала тутъ лягушка-квакушка,
Тому терему поклонилася,
Слезно ему выговаривала:

— Ой, ночка темна,
Я во полѣ одна;
Теремъ-теремокъ
Ни низокъ — ни высокъ,
Кто во теремѣ живетъ,
Кто ночевываетъ?

— Я, малая мышка,
Сѣрая норышка —
А ты кто таковъ?

— Я, сѣрая лягушка,
Малая квакушка —
Пусти меня жить!

Принимала мышка на житье лягушку:
Лягушка — скокъ черезъ бокъ! да и стала жить.
Прибѣжалъ тутъ зайка, сѣрая шкурка:

— Кто, кто въ терему
Кто, кто въ высококъ?

— Я, малая мышка,
Сѣрая норышка;
Я, сѣрая лягушка,
Малая квакушка —
А ты кто таковъ?..

— Я на полѣ-свертень,
Во лѣсу-подкустышъ,
На горѣ увертышъ.
Пустите на побывку,
На едину ночку!

Принимали мышка съ лягушкою
На житье косоглазаго,
Косоглазаго, простого человѣка сѣраго.
Какъ приходитъ тутъ царскій ставленникъ,
Воевода звѣря краснаго,

Голова всему лѣсу дремучему, —
То Михайло-косолапушко:

— Что за теремъ на пути —
Ни проѣхать, ни пройти?
Кто, кто въ терему
Кто, кто въ высококъ?

— Я, малая мышка,
Сѣрая норышка;
Я, сѣрая лягушка,
Малая квакушка;
Я, на полѣ свертень,
Во лѣсу подкустышъ
На горѣ увертышъ!
А ты кто таковъ?

— А я гнетъ лѣсной
Всему звѣрю старшой,
Тяпышъ-ляпышъ,
Всѣмъ подгнетышъ!

Какъ сѣдился тутъ косолапушко.
Что на теремъ тотъ, на кувшинушко,
Придавилъ онъ тамъ лягушку-квакушку,
Доставалъ онъ зайца косоглазаго,
Косоглазаго простого человѣка сѣраго,
Онъ скручалъ лѣ его, кожу дралъ.
Только мышечка-норышечка
Миновала воеводскихъ лапушекъ —
Побѣжала она по полю по широкому,
По широкому полю въ темную ноченьку,
Причитала она, слезами заливаячись:

— Ой, ночка темна
Я во полѣ одна!
Ой, былъ теремокъ
Ни низокъ, ни высокъ,
Да пришелъ подгнетышъ,
Выгналъ сиротинку!..
Я сѣрая мышка,
Малая норышка.

1860.

Не люблю — не слушай!

Выростилъ старикъ три сына родныхъ.
Одного сына, другого сына и третьяго, —
Одинъ сынъ слѣпъ и другой незрячъ,
А и третій сынъ ходитъ ощупью.
То пошли сыны, что не утокъ бить,
А себѣ по обѣдъ куска промыслять.
Старшій бралъ палку лутоховую,
А средній бралъ лроховую,
А и третій палку лыкобраную —
И приходять къ рѣкорѣцкой-рѣчепкѣ:
— Охъ, ты рѣчка-рѣкорѣцкая,
Высылай намъ бѣлыхъ уточекъ
И того-ли яра гоголи!

Высылала рѣчка-рѣкорѣцкая
Что не стадо имъ утинное —
То кидали братья палками:
Старшій кинулъ — недокидчиво,
Средній кинулъ — перекидчиво,
А меньшой и не махалъ, не кидалъ,
Только утицъ что не стадо, перебилъ.

Стали братцы думать да разгадывать,
 Что добыть-бы имъ тѣхъ утицъ битыхъ—
 Да на счастье на свое на братское.
 Понаткнулись на-три челночка;
 Какъ одинъ-то челнъ—дырявый бокъ,
 А другой-то челнъ безо дна лежитъ,
 А и третій челнъ на проплывъ негожъ.
 Какъ на томъ-то, что на третьемъ челночкѣ,
 По утино стадо братцы поплыли.
 Изнаставили горшки муравлены,
 Доставали ложки поѣдучія,
 Глядь—огня-то имъ и нѣтъ про варево.
 Какъ влѣзалъ слѣпой тутъ на мокрецкій дубъ
 По чисту-полю приглядомъ приглядѣтся,
 Не видать-ли гдѣ огня имъ погорючаго.
 А приглядомъ смотреть—ель торчитъ,
 А подъ елью, тамъ, шалашъ стоитъ,
 Въ шалашѣ-ли томъ старикъ сидитъ,
 Передъ старымъ-то костеръ горитъ.
 Тутъ старшой по тотъ огонь побѣгъ:
 —Дѣдка-дѣдушка, молъ, дай огня!
 —Даль бы, внучекъ, только пѣсню спой.
 —Охъ, ты горе, не ученъ я пѣть!..
 — Не ученъ, такъ попляши въ конецъ.
 —Эхъ, родимый, не гораздъ плясать!
 —Не гораздъ, такъ сказку сказывай.
 —Ой, дѣдушко, не сѣумѣть-бы мнѣ!..
 —Не сѣумѣть, такъ и съ двора долой:
 Присылай кого-тамъ поучливѣе,
 Да постарше себя, поразмысленнѣй!

Такъ сослалъ старикъ и средняго,
 То криваго братца недозрячаго;
 А побѣгъ тогда меньшой дуракъ,
 Свѣтъ-Иванъ, что бродитъ ошупью:
 —Гой, ты дѣдъ-гроза, давай огню!
 —Для чего не дать, да только пѣсню спой.
 —Не гораздъ я пѣть про вану братю!
 —Не гораздъ, такъ казачка сляжи,
 —Не ученъ я по хлѣвамъ плясать!
 —Не ученъ, такъ сказку сказывай.
 —Сказки сказывать гораздъ про васъ:
 Только—чуръ!—перебивать нишнѣ!
 А перебьешь—рублевиковъ московскихъ
 Малахай и выспнай сполна,
 Да въ придачу огоньку возьму!

Порѣшалъ на томъ старикъ съ Ивашкою:
 А сядилъ онъ супротивъ солнца лысиной,
 А Иванъ макушкой противъ мѣсяца—
 И на томъ-ли спочиналъ онъ сказывать:
 «Какъ ѣзжалъ я, добрый молодецъ,
 На кобылѣ да на пѣгненькой;
 А ѣзжалъ въ сырѣ-дремучій боръ,
 По дрова все по еловыя.
 То сажу на пѣгой вершинкомъ,
 А востеръ топоръ за поясомъ.
 А кобылка-то бѣжить-бѣжить,
 А топоръ по ней стучить-стучить:
 Стукалъ-стукалъ и отсѣкъ задокъ...
 А и я-ли, добрый молодецъ,
 Какъ на томъ-то передкѣ одномъ
 Три-года ѣзжалъ во темный лѣсъ,

По дрова все по еловыя,
 Да проѣздомъ въ зеленыхъ-лѣзяхъ
 Поглядѣлъ, задокъ кобылячій
 Ходитъ онъ по той муравушкѣ,
 Щиплетъ травку непокосную.
 Какъ ужъ я-ль тутъ изымалъ задокъ,
 Къ передку-ли пришивалъ задокъ,—
 А пришилъ, да снова три-года
 По дрова ѣзжалъ во темный лѣсъ;
 А въ потемномъ лѣсѣ, во дубровушкѣ,
 То стоитъ высокъ да крѣпокъ дубъ—
 До небесъ стоитъ онъ, дубъ, до облака,
 И верхушкой онъ листовую
 Съ неба соръ мететъ, что вѣникомъ.
 Какъ залѣзъ я по дубу да на небо;
 А во томъ-ли небѣ въ поднебеснымъ,
 Много всякаго скота гулящаго,
 И скотина та ужъ-больно дешева—
 Только мухи съ комарами дороги.
 Какъ слѣзалъ я по дубу да на землю,
 Наловилъ товару мушьяго-комаринаго,—
 А всего налову было два кудя,
 Я валилъ кули да на спину,
 А и лѣзъ на небо по дубу,
 Что не грѣшнымъ людямъ поизбыть товаръ
 Отдаю-ли муху съ комареночкомъ,
 А въ обмѣнъ беру корову со телепочкомъ—
 И набралъ скотины, что и смѣты нѣтъ.
 Пораздумалъ, что пора и во-свои бы—
 Ахъ ужъ дубъ подсѣченъ—да не во время!..
 Перерѣзалъ я скотинушку,
 Сокрутилъ я свилъ широкъ ремень,
 А и быть ремню до самой до земли.
 Да какъ сталъ спускаться—тутъ бѣда пришла:
 Не хватило до конца того ремня,—
 А и весь-то недохватъ какъ съ твоей шалашъ.
 Сталъ гадать я да размысливать,
 А спрыгнуть-то не отчаялся..
 Какъ ужъ тутъ пролетомъ змій летѣлъ,—
 Поднималъ онъ вѣтры буйныя.
 Дули вѣтры, спотѣшались,
 Надо мной-ли посмѣхались:
 Стали тотъ ремень раскачивать
 Отъ Москвы-ли до Новѣ-города,
 И забросили меня-ли добра-молодца
 Какъ въ ту-ли тину, въ подболотную.
 Тутъ ушелъ я въ тину весь, цо волосъ
 Прилетѣла бѣла-утица—
 Въ волосахъ моихъ гнѣздо свила,
 А и свивши-то яйцъ снесла.
 Тутъ повадился бирюкъ ходить,
 Что не утицыны яйца красть.
 За хвостичу я хваталъ его,
 Изъ тинищи выкиралъ ему.
 Волкъ и ну-ко страхомъ поужатися—
 Какъ рванется, дурень, во всю силищу,
 Во всю волчью прыть скаковую,
 Такъ и вытащилъ изъ подболотины
 Онъ меня-ли добра-молодца...»
 Кончилъ меньшій—ни гугу старикъ!..
 Перебить ни разу не отчаялся...

Видитъ парень, что плохой конецъ,
Безъ огня вернется къ вареву, —
Сталъ дразнить Ивашко стараго:

«Я-ль скажу-же, стару-неумытому,
Не таку еще побаску разсказливую.
Слушай, тетеревь! причитываю:
Мой дѣдушка на твоёмъ дѣдушкѣ
Верхомъ ѣзжалъ...»

То старому въ обиду показалось,
И зашамкалъ старый, обозлучившись:
— Молодь, братъ, ѣзжать-то по чужимъ спи-
намъ, —

Мой дѣдушка да на твоёмъ дѣдушкѣ вер-
хомъ ѣзжалъ...

— Перебилъ братъ, дѣдко! молвить меньшій
братъ;

Высыпай-ко малахай въ полу
Ты рублевииковъ московскихъ,
Да въ придачу огоньку давай!

Тутъ вернулся меньшій къ старшимъ:
Въ полѣ рублевики позвякиваютъ,
Въ рукавицѣ головешка тлѣется...
Разложили братцы-то горючъ костеръ,
А и ставили кипучъ котелъ
Про похлебку да про кашницу...
То костеръ горитъ горюче,
То котелъ кипитъ кипуче,
То и каша поспѣваетъ на славушку —
А когда она каша сварится,
Такъ тогда и сказка дальше скажется.

Сказка про Лису Патрикѣвну, Пѣтушка золотого гребешка, да про Кота Котонае- вича.

Жилъ-былъ старикъ безъ старухи;
Безъ старухи жилъ и безъ дѣтокъ —
Жилъ онъ съ Божиємъ звѣремъ:
Со Котомъ Котонаевичемъ,
Да съ кочетомъ-пѣтеломъ-алекторомъ.
Пошелъ старикъ по валежничекъ,
По дрова пошелъ во синій лѣсъ. —
Понесъ ему Котъ полдникъ полдничать,
А Пѣтла оставилъ домъ стережи.
Приходитъ Лиса Патрикѣвна:
«Какъ бы мнѣ, Патрикѣвнѣ,
Пѣтушьяго потроха поотвѣдати,
Лисью утробу полакомити?»
Запѣла Лиса пѣсенку

Тоненькимъ сладкимъ голосомъ:
«Кукурику-пѣтушокъ,
Золотой гребешокъ,
Масляна головка,
Сметанный лобокъ!
Выгляни въ окошко,
Дамъ тебѣ горошку,
Дамъ тебѣ кашки,
На красной ложкѣ!»

Слушаетъ Пѣтушокъ, думаетъ Пѣтушокъ:
«Кто тамъ поетъ, мнѣ спать не даетъ?»

Выглянулъ въ окошко — а Лисанька цапъ!
Схватила Пѣтуха въ когти, понесла Пѣтуха въ
гости. —

Петя волочится, благимъ матомъ кричать:

«Понесла меня Лиса,
Понесла Пѣтуха,
Ѣсть потроха,
За темные лѣса,
Въ далекія страны,
Во чужія земли —
Что за тридцать земель,
Въ тридцатое царство,
Въ тридцатое государство —
Котъ Котонаевичъ, спаси меня!
Ты спаси меня, отыми меня!»

Услыхалъ Котонаевичъ, приѣзжалъ Котонаевичъ,
Онъ достигъ Патрикѣвну, выручилъ онъ Пѣтла,
Строго-на-строго Петѣ выговаривалъ:

«Петя-пѣтушокъ,
Чесанный лобокъ,
Не выглядывай въ окошко,
Не вѣрь ты Лисѣ!
Лиса Петьку съѣсти хочетъ,
Глодать косточки;
А мы далеке въ лѣсъ уйдемъ:
Недослышимъ — не придемъ!»

Пошелъ Котонаевичъ на помощь старику,
Оставилъ онъ Пѣтла домъ стережи. —

А приходитъ тутъ Патрикѣвна:

«Какъ бы мнѣ, Патрикѣвнѣ,
Пѣтушьяго потроху поотвѣдати,
Лисью утробу полакомити?»
Запѣла Лиса пѣсенку

Тоненькимъ сладкимъ голосомъ:

«Кукурику-пѣтушокъ,
Золотой гребешокъ,
Масляна головка,
Сметанный лобокъ!
Выгляни въ окошко
На мои хоромы:
У меня въ хоромѣхъ,
Въ каждомъ углу,
Пшенички по мѣркѣ —
Ѣшь, — съѣть, не хочу!»

Слушаетъ Пѣтушокъ, думаетъ Пѣтушокъ:

«Не обманешь Лиса — хочешь скушать меня!
Потроха потрошить, мои кости ворошить!»
А Лиса ему въ окошко горсточку горошку,
Горсточку пшенички — и снова поетъ:

«Кукурику-пѣтушокъ,
Золотой гребешокъ,
Масляна головка,
Сметанный лобокъ!
Выгляни въ окошко!
Дамъ тебѣ ленешку.
Какъ у Карпова двора
Приукатана гора,
Стоять саночки —
Самокаточки;
Они сами катятъ,
Сами ѣхать хотятъ!»

Слушаетъ Пѣтушокъ, думаетъ Пѣтушокъ,
А самъ Лисанькѣ выговариваетъ:
—Лиска-лиса, ты меня съѣсти хочешь,
Потроха потрошить, мои кости ворошить?
—Зачѣмъ мнѣ тебя ѣсти, зачѣмъ потрошить?
Хочу я, Лисафья, тебя поучить,
Какъ жить да быть, ума-разума конить,
Къ себѣ въ гости гостить,
Житья-бытья посмотрѣть,
Мое добро поглядѣть.—

Выглянулъ Пѣтелъ,—а Лисанька цапъ!
Схватила Пѣтуха въ когти, понесла его въ
гости—

Петя волочится, благимъ матомъ кричитъ:

«Понесла меня Лиса,
Понесла Пѣтуха,
Потрошить потроха,
За темные лѣса,
Въ далекія страны,
Во чужія земли—
Что за тридевять земель,
Въ тридцатое царство,
Въ тридесято государство,
Котъ Котонаевичъ, спаси меня,
Ты спаси меня, отыми меня?»

Не слышалъ Котъ Котонаевичъ
Пѣтушья того покрику.
Приходитъ онъ изъ лѣсу съ хозяиномъ—
Глядь—нѣтъ въ избѣ Пѣтела!..
Котъ горюетъ—старикъ горюетъ,
Котъ причитаетъ—старикъ причитаетъ...
Наряжается гуслиромъ Котонаевичъ—
Держитъ путь онъ къ избѣ Лисафьиной,
Самъ на гуселькахъ наигрываетъ,
Такую ли пѣсню вытягиваетъ:

«Стрень! брень! гусельцы,
Золотыя струнушки!
Дома ли Лисафья,
Лисафьины дѣтки:
Сынъ одинъ—Терентьюшко,
Сынъ другой—Мелентьюшко,
Одна дочка—Чучелка,
Другая—Пачучелка,
Третья—Подмети-шестокъ,
Четвертая—Поддай-челнокъ!
Стрень! брень! гусельцы:
Золотыя струнушки!»

Высылала Лисафья дѣтей посмотрѣть:
Кто тамъ поетъ, да причитываетъ...
А Котъ Котонаевичъ ихъ всѣхъ зарубилъ—
Шестерыхъ лисенятъ—саблей вострою.
Пождала Лисафья—гуслиръ не поетъ,
Не поетъ, небренчитъ—дѣтки въ избу нейдутъ.—
—Поди, пѣтушокъ, позови-ка дѣтей!
Ужь и время ль имъ тебя кушати!

Выходилъ Пѣтушокъ—увидаль онъ Кота,
«Кукурику!» съ радости домой скорѣй!
А какъ самъ ли Котонаевичъ къ Лисѣ идетъ—
Онъ на гуселькахъ бренчитъ, самъ вытягиваетъ:
«Стрень! брень! гусельцы,
Золотыя струнушки!

Идетъ Котъ на ногахъ
Въ красныхъ сапогахъ,
Несетъ саблю на плечѣ,
А котомку при бедрѣ—
Хочетъ Лису зарубить,
Ея душу загубить!»

Тутъ Лиса взмолилась, а Котъ не велитъ,
Стукъ ее въ лобокъ, да прямо въ коробокъ!
Несетъ на базаръ продавать товаръ;
За семь шкурокъ со шкурою
Деньги принявъ, старику отнесъ,
И стали они на радостяхъ жить да быть,
Да добро копить.

1859.

Вѣтеръ, солнце и морозъ.

Охъ, идетъ-бредетъ по чисту-полю,
Охъ, идетъ-бредетъ по пустынюшкѣ
Перехожая калика горе-горькая,
Нищъ и сиръ человекъ, во убожествѣ
И во той-ли нуждѣ безталанницѣ.

А на встрѣчу ему три добрыхъ молодца,
Да три молодца, три брата кровные.
Какъ одинъ-то братъ—Красно-Солнышко;
А другой-то братъ—разудалый хватъ,
То Морозко-свѣтъ Петрескайдовичъ;
А и третій братъ—Вѣтеръ Вѣтровичъ,
Вѣтеръ Вѣтровичъ, Поднебесевъ сынъ.

Тѣмъ-то молодцамъ Поднебесевымъ
Отъ калики былъ почетъ-поклонъ.

— Ужь кому-бъ это, братцы родные,
Отъ калики былъ почетъ-поклонъ?

— Былъ почетъ-поклонъ мнѣ-ли Солнышку,
Не пекло-бы я, да не жгло-бы я,
Его косточки не палило-бы!

— Ужь и полно ты, родимый братъ!
Про твою-ли честь быть почету-то?
Былъ почетъ-поклонъ мнѣ-ли молодцу,
Мнѣ Морозкѣ-свѣтъ Потрескайдовичу!
Не студилъ-бы я, не знобилъ-бы я,
Его косточки не морозилъ-бы!

Такъ и спорили братья кровные,—
Не обмолвился только Вѣтровичъ.
Догоняли они перехожаго:

Ты скажи-скажи, старче немощный,
Про кого-то былъ твой почетъ-поклонъ?

— Былъ почетъ-поклонъ про его-ли честь—
Вѣтру Вѣтрычу Поднебесеву!

Разсержались братья старшіе
На калику того перехожаго.
Молвитъ старшій братъ—Красно-Солнышко:

—Коль не мнѣ почетъ, коль не мнѣ поклонъ,
Быть-то быть тебѣ, стару-немощну,
Во пустынюшкѣ быть спалену,
Безъ отходной похоронену!

А на то ему Вѣтеръ Вѣтровичъ:

— Охъ, пали-пеки, сударь старшій братъ!
Охъ, пали-суши мать сыру-землю—
Да калику-то перехожаго
Не спалить тебѣ во пустынюшкѣ:
Какъ ужъ встану я, размахнуся я,

Вдоль по волюшкѣ распрѣдуся я,
Стану рыскать я, по чисту-полю,
Вокругъ нишаго перехожаго;
Стану вѣять я, распѣваючи,
Отъ тебя-ли, братъ, Красно-Солнышко,
Его косточки остужаючи!

А на то ему Потрескайловичъ:

— Охъ, повѣй-развѣй, сударь меньшій братъ,
Охъ, подуй-раздуй, сударь Вѣтровичъ!
Да калику-то перехожаго
Не спасти тебѣ отъ погибели...
Коль не мнѣ поклонъ, Потрескайлычу,—
Быть-то быть тебѣ, стару-немошну,
Во пустынюшкѣ быть зазноблену,
Безъ отходной свѣгомъ позавѣяну!

А на то ему Вѣтеръ Вѣтровичъ:

— Охъ, зноби-студи, сударь средній братъ,
Охъ, посыпь-разсыпь свѣгу бѣлаго,
Да калику-то перехожаго
Не сгубить тебѣ во пустынюшкѣ:
Какъ притихну я, Вѣтеръ Вѣтровичъ
Какъ прилягу я, приукоюсь,
За потемный боръ, во крутой оврагъ,
Да тихомъ-молчкомъ за пригорочкомъ,—
Такъ не быть не стать по чисту-полю
Ни метелицѣ, ни зазнобицѣ!
А тебѣ-ль, каликѣ перехожему,
Неустанно брести по пустынюшкѣ,
На клюку на свою опираючись,
Подъ котомкой своей пригибаючись,
Отъ Соловокъ брести до Новѣ-города,
Отъ Новѣ-города до Москвы-города,
Отъ Москвы-города во Кіевъ-градъ,
И отъ Кіева до Почаева,
Отъ Почаева до Царя-города,
Отъ Царя-города во Господень-градъ,
Что во тотъ-ли Христовъ препрославленный,
На средѣ-ли земли препоставленный
И Голгозой-горой преукрашенный,
Ко Христову кресту, ко Воздвиженью!

Р я б и н у ш к а.

(Посвящено С. Г. Мей).

Ужъ какъ жилъ-то былъ добрый молодецъ,
Онъ одинъ сынъ жилъ у матери—
Не у матери—у лихой змѣи,
Съ молодой женой со Настасьишкой,
Со покорливой со невѣстужкой.

Самъ-то молодецъ во путь пошелъ,
Во гостиной путь, во купеческій;
Уходивши, матери низко кланялся,
Низко кланявшись, самъ наказывалъ:

— Ты смотри гляди, родима матушка,
Береги да доль ты Настасьишку;
А вернусь, за то поклонюсь тебѣ,
Что камкой-ли мелкотравчатой!

Зарекалася мать сыну рѣдному
И ходить-глядѣть, и холить-беречь.
Позывала она свою невѣстужку
Во чисто-поле разгулятися.

Выводила ее въ поле чистое,
Супротивъ нее она становилася,
Лютой вѣдьмой она обернулася,
Хороши слова выговаривала:
— Ужъ ты стань-стоймя, дочка милая,
Дочка милая, распостылая!
Ужъ ты стань-стоймя посередѣ поля
Разрябинушкой раскудрявою,—
Только съ сыномъ тебѣ не любитися,
Да и мнѣ, матерой вдовѣ, на глаза не каза-
тисся!

Обернулася невѣстужка рябинушкой,
Раскудрявою разрябинушкой,
Пораскинула свои вѣтки красныя,
Зарумянила спѣлыя ягодки,
Зашумѣла она, закачалася,
А слезою-росой обливалася.

Вотъ идетъ-идетъ молодой купецъ
Тѣмъ-то полемъ небороненымъ,
Ко родимой своей матушкѣ,
Ко любимой молодой женѣ.
Смотрить гость-купецъ: стоить рябинушка,
И безъ вѣтру шумить она, качается,
И безъ вихрю, кудрявая, къ землѣ клонится,
Безъ дождя она росою обливается.

— Ты скажи-ли мнѣ, родима матушка,
Ужъ и гдѣ-бы это видано,
Еще гдѣ-бы это слыхано,
Чтобъ стояла-то рябинушка,
И безъ вѣтру бы она качалася,
Ко сырой землѣ пригибалася,
Безъ дождя росою обливалася?

Какъ возговорить на то родная матушка:
— Охъ, бери-точи свой востеръ-топоръ,
Охъ, бѣги скорѣй во чисто поле,
Охъ, руби-сруби ту рябинушку,
Посѣки ты ее, раскудрявую,
Какъ подъ самый корешокъ, злу-разлучницу!
Вѣдь на той-то еще на рябинушкѣ,
Со разлуки, со лихой тоски,
Удавилася твоя женушка,
Свѣтъ-Настасья Пантелѣвна!

Побѣжалъ-то сынъ во чисто поле:
Онъ и разъ рубнулъ—рябина вздрогнула,
Онъ другой рубнулъ—ала кровь пошла,
Онъ и третій разъ—она охнула,
На четвертый разъ—слово молвила:
— Охъ, ты свѣтъ мой, ты купчинушка,
Охъ, срубилъ меня ты, рябинушку,—
Не рябинушку—молоду жену,
Не кудрявую—все-жъ Настасьишку!

1860.

Морозко.

Не влюбила мачиха Паранюшку—
Не житъе Паранюшкѣ у мачихи:
Обуждаетъ ее мачиха со полуночи,
Понуждаетъ ее мачиха дрова колоть,
Да избу мести, да печь топить,
Про ее ли, про дочку про мачихину,

А свою сестрицу, обряды творить—
А сестрица-бѣлоручка покрашается,
На Параню сидючи посмѣхается.
А мачиха Параню, знай, корить,
Да и плакать-то покоромъ не велить...
Работала Паранюшка, не перечила,
Слова горькаго ни разу не промолвила;—
А старикъ и вѣдалъ хоть про горюшко,
Про невзгоду дитятка родимаго—
Да жену корить не отчаялся,
Что ужъ больно люта, привередница.
Снарядился со вечерень онъ на ярмарку,
Что на утро въ городъ хлѣбъ сбывать.
Тутъ старуха приступила да угрожливо:
—А бери съ собой ты, старый, свою дочищу,
А вези ее ты, старый, во дремучій боръ,
Аль бросай на дорогу мимоѣзжую—
Только съ рукъ-бы моихъ долой лѣнливую.

Ничего-то старикъ молвить не отважился,
Что ужъ больно люта, привередница...

Снаряджала старуха Паранюшку:
Бѣдую исподку накидывала,
Бѣлячий шугайчикъ ей застегивала,
Парчевой сарафанъ примѣривала:
—А поѣдешь ты, молъ, въ гости съ роднымъ
батюшкой,

Жениха смотрѣть, сына княжаго—
То Морозку, молодца удалаго.

Сладко ночку спала Паранюшка,
Поутру-зорей вставала она радостно,
Студеной водой она умывалася,
А родительской ширилкой утиралася,
Расплетала косы русыя,
Убиралася бѣлою лебедицею,
Что ни-дать-ни-взять—невѣста княжая.

* *

...Красная зорька занимается,
Яркимъ полымемъ зоря разливается,—
Ѣдетъ старикъ по дороженькѣ,
Онъ везетъ ли, старый, Паранюшку,
На показъ Морозкѣ Потрескайлычу;
А съ дороги-то направо черный боръ,
А во томъ бору высокъ бугоръ,
А на томъ бугрѣ сосна стоитъ,
А стоитъ она пригорюнилась:
Сто годовъ она думу думаетъ,
Головушкой побѣдною кажаючи,
Съ чернымъ ворономъ ту думушку гадаючи.

Какъ подѣ той ли подѣ сосною, подѣ дремучею,
Придержалъ старикъ кобылку сивую;
Онъ высаживалъ съ дровень Паранюшку,
Да прощался съ ней на конешный часъ;—
А Параня стоитъ, не обмолвится,
Только слезки, что Божья росиночки,
По алымъ щекамъ бѣгутъ безъ удержу.
Защемило сердечушко у стараго...
Даже всплакался, на слезы тѣ гляючи;
Самъ-то плачетъ, а самъ причитываетъ:
—Охъ, не плачь ты, дитятко нехоленое
Ты нехоленое, неголубленное;
Вѣдь женихъ то и красавецъ, и богатъ;

У него-ль не шуба бархатная,
У него ли не соболѣй малахай!
А добра его и не считано—
Погляди-ко: всѣ березоньки,
Часты елочки да осинушки—
Всѣ въ пуху стоятъ, словно жаръ горятъ,
Серебромъ блестятъ, отливаются,
Самоцвѣтными камнями разбѣгаются!..
А житье-то съ нимъ куда-завидное!
Да и самъ-то богатырь невиданный:
Станетъ дочку цѣловать-миловать,
На ушко шептать ей рѣчи тайныя,
Поцѣлуемъ зарумянить щеки алыя,
На перину на бѣлоуховую
Спать положить, обнимаючи,
Принакроетъ пологомъ серебрянымъ,
Убаюкаетъ на долгу ночку зимнюю!..

Такъ-то старый дочкѣ выговаривалъ—
Да не въ мочь тутъ стало старому;
Какъ стегнетъ онъ по кобылѣ по сивенькой,
Да частымъ поскокомъ на село скорѣй!..

* *

Сѣла дѣвица подѣ сосенку дремучую—
А сидитъ она горько плачется;—
Только слышитъ, словно сани катятъ,
Словно кони ржутъ, колокольцы звенятъ:
То не вдалекѣ ли самъ Морозко катитъ...
Онъ по елкамъ ли, Морозко, потрескиваетъ,
Съ елки на елку поскакиваетъ,
Да попрыгиваетъ, да пощелкиваетъ—
Очутился на дремучей на соснѣ,
Что на той, подѣ коей дѣвица сидитъ—
Ужъ и сверху ли онъ красной говоритъ:
—Тепло ли те, дѣвица?

—Тепло мнѣ, Морозушко!

Тутъ Морозко да пониже спускается—
Онъ по елкамъ ли, Морозко, потрескиваетъ,
Съ вѣтки на вѣтку поскакиваетъ,
Ужъ и больше-ль онъ, Морозко, попрыгиваетъ,
Ужъ и чаще-ль, Потрескайловичъ, пощелки-
ваетъ—

А и красной дѣвкѣ выговариваетъ:
—Тепло ли те, дѣвица, тепло ли те, красная?
Дѣвица чуть духъ переводитъ, говоритъ:
—Тепло мнѣ, Морозушко, тепло мнѣ, мой ба-
тюшко!..

Какъ ужъ ниже-ли Морозко спускается—
Онъ по елкамъ ли, Морозко, потрескиваетъ,
Съ елки на елку поскакиваетъ,
Да попрыгиваетъ, да пощелкиваетъ,
Рукавичками похлопываетъ,
Чеботами приколачиваетъ,
Да надѣ дѣвкой спотѣшивается-знобить—
Ей-ли, дѣвицѣ, на ухо говоритъ:
—Тепло-ли те, дѣвица, тепло-ли те, красная,
Тепло-ль те, голубка, моя лапушка?

Стынетъ дѣвица, чуть слышно говоритъ:
—Ой, тепло, Морозушко, ой, тепло, мой батюшко,
Ой, теплымъ-тепло, голубчикъ мой!..

Соскочилъ Морозко къ дѣвицѣ,—
Онъ окуталъ ее шубами,

Отогрѣлъ пушными одѣялами,
 Поцѣлуями румянилъ щеки алыя,
 Рѣчи ласковы приговариваль,
 Да подкатываль ли тройку ретивыхъ коней,
 Да сажаль ее во сани ковромъ крытыя,—
 И со свадебнымъ честнымъ поѣздомъ,
 Со честными удалыми поѣзжанами,
 Съ колокольцами и бубенцами
 По селу катилъ по Паранину...
 Только люди дивовалися,
 Какъ Параня со Морозкой повѣщались—
 А старуха зломъ-озлилася,
 Да со злости удавилася...

1859.

Волга и Вазуза.

—Широка ли ты, Волга, сестрица названная—
 Только я-то, Вазуза, пошире тебя!
 Глубока я-то, сестрица-кормилица—
 Только я-то, Вазуза, поглубже тебя!
 Ужь и ты-ль не быстра, Волга-рѣченька—
 Только я-то, Вазуза, быстрѣе тебя,
 И сильнѣй, и умнѣй, и почетнѣе!..

Спорила Вазуза съ Волгой рѣкой,
 Спорила Волга съ Вазузою:
 Ну, вѣдь Волга сама неподатлива,
 А Вазуза куда ужъ въ спору неуклончива!
 Говорить сестрѣ бы Волга быстра:
 —Ой, сестрица мнѣ по озеру по батюшкѣ!
 Не по правдѣ ты, сестра перекорщица!
 Ну-ка, ляжемъ мы на поле чистое,
 Чисто поле съ тобой обночевывать;—
 А когда заряница затеплится,
 Кто проснулася впередъ,—та и правая,
 Кто впередъ докатится до моря синяго,
 Что до синяго моря Хвалынскаго—
 Той, сестра, намъ и старшей быть,
 И умнѣй, и сильнѣй, и почетнѣе!

Приняла уговоръ перекорщица—
 На чисто поле Волга съ Вазузой ложилась,
 Чисто поле имъ обночевывать.
 Ложучись, Волга Богу молилася,
 Ложучись, Вазуза размысливала,
 На умѣ недоброе гадаючи,

* * *

О полуночи думу Вазуза надумала,
 Что не спать ей, Вазузѣ, а встать ей по-
 тайливо
 И съ ночи обѣжать бы ей Волгу-кормилицу.—
 Какъ вотъ задумала, такъ вотъ и сдѣлала:
 Волга-то спитъ, а Вазуза давно ужъ проснулася,
 Въ путь-дорожку собралась она, покатилася,
 Гдѣ лѣскомъ, гдѣ крутыми оврагами,
 Гдѣ и прямо по лугу зеленому.
 Загорались зорюшки красныя,
 Тѣ росныя зорюшки весеннія —
 Просыпалася на утро и красная дѣвица—
 Да не дѣвица то просыпалася, а Волга свѣтлая;
 Во уборъ свой дѣвичій она убиралася,
 Изъ Иванъ-озера студенаго умывалася,

На востокъ, на солнце молилася,
 Въ путь-дорогу, честно собиралася —
 Шла она, Волга, ни тихо, ни прытко, какъ по-
 ниче,
 А Вазузу догнала подъ Зубцовымъ подъ горо-
 домъ ¹⁾.

Тутъ Вазуза сестры испужалася,
 Съ перепугу не знала куда и дѣвалася—
 Только слово такое молвила:
 —Ты прости меня, Волга-кормилица!
 Отпусти ты мнѣ несчастный грѣхъ!
 Будь мнѣ матерью ты — не старшей сестрой
 И прими меня на бѣлыя рученьки,
 Донеси меня до синя-моря,
 До синя-моря до Хвалынскаго!
 Приустала я, Вазуза, притомилася,
 Приходились мои рѣзвы-быстры ноженъки,
 Не хватило про великъ путь силы-моченьки—
 Зломъ, сестрица, за зло не попомни мнѣ!

Приняла ее Волга на бѣлыя рученьки,
 Понесла ее Волга до синя-моря,
 До синя моря до Хвалынскаго;—
 А несла ее, приголубливала,
 Рѣчью ласковой успокоичи,
 Бѣлымъ-парусомъ-стружками изукрасила,
 Бурлаковъ ей пѣсни пѣть заставила —
 Зломъ сестрѣ за зло не попомнила,
 И отъ той поры Вазуза покорилася,
 Съ Волгой-матушкой въ далекий путь пустилася.
 Что подъ самымъ подъ Зубцовымъ ли подъ горо-
 домъ

Чуть затеплится на небѣ зорька вешняя,
 Ужь Вазуза шубку бѣлячью скинула ²⁾,—
 И бѣжить она ко старшей сестрѣ,
 Будить Волгу выпней пѣсней:
 —Ты проснись, сестра, обудись, красна:
 Бурлаки плывутъ—на дворѣ весна!

Просыпается Волга вольная
 И несетъ сестрицу меньшую
 На бѣлыхъ-рукахъ, поглажаючи,
 До синя-моря до Хвалынскаго.

1859.

Колобокъ ³⁾.

Жилъ-былъ старикъ со старухой.
 У старухи старикъ выпрашиваль:
 —Испеки колобокъ мнѣ, бабушка!
 —Изъ чего испечь тебѣ, дѣдушка?—
 —Изъ мучицы, бабушка, изъ муки, Пахомовна.
 —Нѣтъ мучицы, дѣдушка, нѣтъ муки, Парфе-
 новичъ!
 —Какъ, бабушка, мучицѣ не быть?
 Поскреби по коробу, помери по закрому—
 Авось-либо и сыщется?

¹⁾ Вазуза впадаетъ въ Волгу подъ городомъ Зубцовымъ.

²⁾ Вазуза обыкновенно вскрывается раньше Волги.

³⁾ Колобокъ—прѣсный сдобный хлѣбъ, въ видѣ лепешки.

Брала старуха крылышко,
Поскребла по коробу,
Помела по закрому —
Набрала муки двѣ пригоршнн,
Просѣяла-проѣяла,
Сору поубавила,
На сметанѣ замѣшивала,
На маслѣ припѣку сготовила,
На косящетоу окошечкѣ простуживала.
Полежалъ колобокъ да соскучился:
Со стола колобокъ покатился на лавочку,
Съ лавочки да по полу,
Съ полу да къ двѣрочкѣ —
Прыгъ за порогъ! — да и въ сѣнники.
Съ сѣнничекъ да на крылечко,
Съ крылечка да на лѣсенку,
Съ лѣсенки да по двору,
Со двора за ворота,
Изъ-подъ воротъ да на улицу,
Съ улицы на дороженьку,
Ко раздольицамъ широкимъ,
Ко горамъ ко высокимъ,
Что къ лѣсамъ ли дремучимъ,
Что къ морямъ ли кипучимъ,
Свѣту вольному поклонится —
На людей ли подивится.

Покати-покати по дороженькѣ,
Покати, колобокъ, по утопаной —
А на-встрѣчь колобку сѣрый зайника!
—Катышокъ-катышокъ, изъ печи колобокъ,
Я ль тебя, заяцъ, прикушать хочу!
—Не ѣшь меня, зайника,
Не ѣшь меня, косынькой, —
Я ль тебѣ, косынькому, пѣсенку спою:

«Я по коробу скребень,
Я по закрому метень,
На сметанѣ мѣшонъ,
Я на маслѣ пряжонъ,
На окошкѣ стужонъ:
Я у дѣдки ушелъ,
Я у бабки ушелъ,

У тебя-ль мнѣ, у косоу, не хитро уйти!»

Тутъ колобокъ припустился бѣжать —
Только и видѣлъ косоу колобка!
Покати-покати по дороженькѣ,
Покати, колобокъ, по утопаной —
А на-встрѣчь колобку сѣрый волкъ:
—Катышокъ-катышокъ, изъ печи колобокъ!
Я-ль тебя, волкъ, прикушать хочу!
—Не ѣшь меня, сѣрый волкъ,
Не ѣшь меня, матерой бирюкъ, —
Я-ль тебѣ, сѣрому, пѣсенку спою!

«Я по коробу скребень,
Я по закрому метень,
На сметанѣ мѣшонъ,
Я на маслѣ пряжонъ,
На окошкѣ стужонъ:
Я у дѣдки ушелъ,
Я у бабки ушелъ,
Я у зайца ушелъ,
У тебя ли мнѣ, у волка, не хитро уйти!»

Тутъ колобокъ припустился бѣжать —
Только и видѣлъ бирюкъ колобка!
Покати-покати по дороженькѣ,
Покати, колобокъ, по утопаной —
А на-встрѣчь колобку добрый молодецъ:
—Катышокъ-катышокъ, изъ печи колобокъ,
Я-ль тебя, молодецъ, прикушать хочу!
—Прикушай, молодецъ, прикушай, дѣтинущка!
Только наперво поймай-догони!

Припустился колобокъ — догоняетъ дѣти-
нущка:

Рѣчью ласковой ублажаетъ колобка. —
Покати-покати по дороженькѣ,
Покати, колобокъ, по утопаной —
А на-встрѣчь ему красна-дѣвица:
—Катышокъ-колобокъ, маслянь-лакомый ку-
Я-ль тебя, дѣвица, прикушать хочу! [сокъ!
Тутъ колобокъ ей пѣсню запѣлъ:

«Я по коробу скребень,
Я по закрому метень,
На сметанѣ мѣшонъ,
Я на маслѣ пряжонъ,
На окошкѣ стужонъ:
Я у дѣдки ушелъ,
Я у бабки ушелъ,
Я у зайца ушелъ,
Я отъ волка ушелъ,
Къ дѣвкѣ молодца привелъ —

Отъ тебя-ль, моя пригожая, я и самъ не
уйду!»

Тутъ колобокъ они дѣлилися,
Подѣлившись — слюбилися,
Слюбившись — цѣловалися,
Цѣловавшись — повѣчались.
Ужъ и я-ль у нихъ на свадьбѣ былъ,
Ужъ и я-ли пиво-медъ тамъ пилъ;
По усамъ-то мнѣ текло, только въ ротъ не попало.
Тутъ моей сказкѣ конецъ и начало.

1858.

С к а з к а.

про то, отчего котъ у звѣрей всѣхъ звѣрей силь-
нѣе считается.

Былъ себѣ мужикъ тароватый,
У мужика котъ вороватый,
Блудливый, лѣнивый,
Къ сметанѣ повадливый,
Про мышей недогадливый;
Спровадилъ мужикъ его въ темны лѣса. —
Ходить котъ во лѣсу,
Повстрѣчалъ онъ лису. —
Лиса подвилась, коту поклонилась:
Ты скажись ли, добрый молодецъ, кто ты таковъ?
Еще какъ ли тебя, молодца, по имени звать,
Еще какъ величать по изотчеству?
— А молодъ-молodeцъ я изъ Сибирскихъ лѣсовъ,
Присланъ бурмистромъ про ваше звѣрье,
А звать меня молодца свѣтъ-Котофей,
Осударь-Котофей свѣтъ Васильевичъ.
Тутъ лиса ублажаетъ, ката въ гости зоветъ:

— Пойдемъ ко мнѣ въ гости, глотать курьи кости!

Ужъ и такъ-то лиса выговаривала:

— А скажись, Васильевичъ, ты холостъ, аль женатъ?

— Холостъ, лисица, жениться хочу.

— А и я-ль лисица—красная дѣвица;
Бери меня замужъ, Котофей, за себя.

Подумаль Котофей, поразмыслилъ онъ,
Обзавелъ себѣ усадѣбку,

Да веселымъ пиркомъ и за свадебку!

А послѣ свадьбы хозяйшку

Ранымъ-рано хозяйнѣ посылавалъ:

— Ты поди, лисица, мужняя жена,

Добывай хозяйину съѣстного,

Про обѣдъ куска мясного.

Пошла по обѣдъ Лисафьюшка.

Идетъ она по дороженькѣ,

Несетъ она пестру курочку —

А на встрѣчъ Лисафѣй сѣрый волкъ:

— Ты куда, лиса, идешь,

Кому курицу несешь?

Хочу я, волкъ, ее прикусать,

Твоихъ пѣсень послушать!

А лиса, смѣючись, обзывается:

— Хочешь курицу прикусать,

Моихъ пѣсень послушать —

А я, Лисафѣя, бурмистру скажу,

Котофею свѣтъ Васильевичу!

Онъ мой мужъ, да и больно дюжъ,

А тебя, Левона, всѣмъ смертямъ предать!

«Что за звѣрь такой, что за начальство?»

Думаетъ волкъ, убираючись...

Идетъ лиса по дороженькѣ,

Несетъ она пестру курочку.

А на встрѣчъ лисѣ толстопый звѣрь.

Почтенный человѣкъ—матерой медвѣдь:

— Ты куда бредешь, Лисафьюшка,

Въ какой городъ, въ каку улицу?

А продай безъ денегъ курицу —

Я тебя ласково поласкаю,

Твоей шерсти пощипаю.

А лиса, смѣючись, обзывается:

— Охъ, охъ, толстопяташко!

Хочешь меня приласкать,

Моей шерстки пощипать —

А я, Лисафѣя, бурмистру скажу,

Котофею свѣтъ Васильевичу!

Онъ мой мужъ, да и больно дюжъ,

А тебя, Михайло, всѣмъ смертямъ предать.

«Что за звѣрь такой, что за начальство!»

Думаетъ медвѣдь отваливаючи...

Пошелъ по лѣсу Левонъ Ивановичъ,

Пошелъ братъ его кровный, Михайло Ивано-
вичъ,

Всему люду лѣсному оповѣдати,

Что за звѣрь есть Котофей Васильевичъ.

Молодъ-молодецъ изъ Сибирскихъ лѣсовъ,

Присланъ бурмистромъ про наше звѣрье —

И силы онъ, Котофей, превеликія,

И можетъ онъ, Котофей, Левона Ивановича

Съ кровнымъ братцемъ со Михайло Иванычемъ

Всѣмъ смертямъ предать, живота лишить —

И по ту причину-де собираемъ

Пиръ чинить мы, столованіе,

Про бурмистра Котофея угощеніе.

Сочинили братья угощеніе —

А никто нейдетъ по гостя званого,

И по гостю, по его хозяйку нареченную.

Какъ бѣжалъ тутъ, кроючись, косоглазый звѣрь

И воскликнулъ зайца матерой медвѣдь:

— А поди сюда, косой пострѣлъ!

Ты бѣги ко свѣтъ-Лисафьюшкѣ

И къ хозяйну ея Сибирскому;

Ты скажи-де, пострѣлъ, поклоняючись,

Что Михайло, молъ, Ивановичъ

Со Леономъ со Ивановичемъ

Молодыхъ къ себѣ по обѣдъ зовутъ,

И хотить-де вамъ поклониться

И быкомъ и бараниной!

Бѣжалъ посланецъ ко Васильичу,

Нижѣ ногъ котовыхъ поклонился онъ,

А хозяйкѣ поклонился на-особицу...

Звалъ kota во пиръ онъ во бесѣдушку.

Прибѣжалъ къ Михайлу съ грозной вѣстію,

Что набрался онъ, заяцъ, страху іудейскаго,

Потому, самъ бурмистръ цвѣту бурога,

Шерсть дыбомъ стоитъ, усы повислые,

А хвостиче по землѣ волочится

И что всѣхъ онъ насъ зарѣжетъ неминуемо...

Ужъ и какъ тутъ испужался Левонъ Ива-
новичъ,

Еще пуще того Михайло свѣтъ-Ивановичъ.

Взгромоздился онъ на сосну на высокую,

А Левонъ со страху въ кучу хвороста...

И ни живъ ни мертвъ дожидается.

Какъ идетъ тутъ Котофей со хозяйкою, —

Увидалъ лишь мясо — шерсть взерошилась,

Рветъ онъ мясо-то и зубомъ и когтями,

Самъ мурчитъ все: «мало!» словно сердится...

А медвѣдь-то диву дивится,

И трясется онъ и плачется,

Что конешный часъ имъ близится...

Захотѣлъ Левонъ на звѣря подивиться —

Захрустѣлъ подъ нимъ хворостъ-листіе...

Котъ услышалъ, думалъ: мышъ скребетъ,

Да какъ бросится съ размаху да на сѣраго, —

Волкъ со страху во темны кусты,

Котофей со страху на сосну скорѣй!

А Михайло и не вытерпѣлъ:

Весь затрясся, затуманился.

Положился лишь на волю Божію,

Да какъ грянется кулемъ онъ о землю,

Да бѣжать скорѣй во темны кусты

Отъ kota-бурмистра отъ угрознаго...

Онъ бѣжитъ, бѣжитъ по темнымъ кустамъ,

По орѣховымъ въ березовы,

А съ березовыхъ въ осиновы,

А съ осиновыхъ въ ольховы,

А съ ольховыхъ въ еловые,

А съ еловыхъ въ терновы;

Выбѣжалъ на полянушку.

На полянушку на муравушку,

А съ муравушки да на камешекъ,
Съ камешка на пригорочекъ,
Съ пригорочка на горку,—
На мышиную горку,
Съ норки въ овражекъ,—
Въ овражекъ берлога,
Въ берлогѣ медвѣдиха

Со малыми дѣтками,
Со родной семеюшкой.
И отъ той поры по лѣсу по стоячему
Про кота пошла слава великая,
Что сильнѣй его, да угрозивѣй
Нѣтъ и звѣря по лицу земли.

1859.

ИЗЪ БИБЛІИ.

Избраніе Саула.

(Изъ книги Царствъ).

I.

Устарѣлъ Самуилъ: сталъ и слабѣ онъ и худѣ,
И поставилъ сыновъ: Іоила и Авію—
Одного въ Іудею, друго́го въ Вирсавію—
Да творять надъ Израилемъ судъ;
Но сыны не пошли по стезѣ старика Самуила:
Божью правду въ нихъ алчность и злоба
затмила.

И пришелъ къ Самуилу народъ въ Армаеѣмъ
И сказалъ: «Не хотимъ судію мы безславнаго,
Но помажь ты царя намъ единодержавнаго,
Да господствуетъ онъ надо всѣмъ!»

И узрѣлъ ихъ лукавство пророкъ, и печалился много—

И пошелъ онъ и сталъ на молитву предъ Бога.
И сказалъ ему Богъ: «Гласъ невѣрныхъ людей
Ты услышь—и поставь имъ царя намученіе—
Зане презрѣли Бога, творя униженіе:

Я былъ царь имъ превыше царей!..
Но, да будетъ!.. Возстанъ и гряди возвѣстити
Мое слово—

Судъ и милость и правду владыки земного:
Онъ придетъ и возьметъ Израїля сыновъ,
И служить повелитъ, и поставитъ воз-

ницами,
А другіе пойдутъ предъ его колесницами
Въ сонмѣ стражей его и рабовъ.—

И съ дружиной пошлетъ охранять отъ враговъ его грады,

Пожинать его нивы, стеречь вертограды,
И оружье полку вамъ ковать повелитъ,

И возьметъ вашихъ женъ для себя въ хлѣбодарницы,

А израильскихъ дѣвъ избере́тъ въ муроварницы

И назовемъ «рабынь» заклеимъ!

И отниметъ онъ селы, оливы и лозы съ садами,
А воздастъ вамъ за нихъ нищетою да слезами.

И рабами во прахъ вы падете предъ нимъ,
И неправдой попретъ онъ завѣты свободныя,

И отниметъ стада и поля хлѣбородныя,
И раздѣлитъ вѣнучамъ своимъ.

И въ тѣ дни на царя возопите вы скорбное
слово—

Но лицо отвратитъ отъ рабовъ Іегова!»
И пророкъ волю Бога изрекъ; но народъ

Возопилъ: «Не хотимъ судію мы безславнаго,
Но помажь ты царя намъ единодержавнаго,

Да хранить онъ Израилевъ родъ!»—

И десница небесная силу въ пророка вдохнула—

И помазалъ пророкъ имъ на царство Саула.
1858.

II.

Весенній день благоухалъ,
Залитый яркими лучами;
Въ тѣни, гдѣ змѣй кольцомъ дремалъ,
Шумѣли кедръ надъ водами,
И, подымаясь съ жаркихъ скалъ,
Слетались гордо на долины
Орлы нагорной Палестины.

На площади, средѣ мрачныхъ стѣнъ,
Сошлись, горя мятежнымъ пыломъ,
Сыны двѣнадцати колѣнъ
На судъ съ пророкомъ Самуиломъ.
Всѣ ждутъ—и вотъ старикъ на судъ
Предсталъ, исполненъ вѣщимъ жаромъ:
На немъ струится съ плечъ аффудъ
И бьются кудри подъ кидаромъ.
И онъ вѣщалъ: «Предъ Богомъ слязъ,
Скажите, кто въ года невзгоды
Васъ къ правдѣ велъ путемъ свободы?»
И сонмъ отвѣтилъ: «Самуилъ!»

И онъ вѣщалъ: «Предъ Іеговой,
Скажите, бра́тъ ли я когда
Неправдой женъ, пшено, стада?
Тѣснилъ-ли васъ нуждой суровой?»

И сонмъ отвѣтилъ: «Никогда!»
И онъ вѣщалъ: «Предъ Богомъ силы,
Его послѣднія слова
Внимаетъ у дверей могилы

Моя сѣдая голова.
Онъ говоритъ: «скажи народу:
Народъ! Ты блудная овца!
Ты самъ отвергъ свою свободу—
Не знай же воли до конца!
Отнынѣ гнѣвъ Мой надъ тобою!
Взгляни: на нивахъ твой посѣвъ
Такъ сочно стелется волною;
Но грянетъ громъ—и Божій гнѣвъ
Смететъ съ земли его грозою!..»
И онъ умолкъ...

И вдругъ ударъ...
Гремитъ ударъ... трепещетъ небо
И сыплетъ градъ въ колоса хлѣба,
И щедро льетъ на нихъ пожаръ...
И палъ народъ въ безумномъ страхѣ:
То судъ свершалъ Іегова!
Но не легла предъ нимъ во прахъ
Одна лишь скорбная глава:
То былъ пророкъ... Исполненъ муки,
Въ молитвѣ простиралъ онъ руки...
И вдругъ, сквозь огненный потокъ,
Пронесся вопль всего народа:
«Молись, молись о насъ, пророкъ!
Пусть грѣхъ Израилева рода
Господь намъ казнь облегчитъ
И оскорбленная Свобода
Безумство горькое проститъ!..»
...И громъ замолкъ...

1858.

Вертоградъ Навуея.

Близъ дворца Ахаава, царя Самарянскаго,
Возросалъ вертоградъ Навуея:
Тамъ, рубиномъ алѣя,
Полъ сѣнью кедра ливанскаго,
По колючимъ вѣтвямъ, наливной виноградъ—
И курился отъ каждой лозы ароматъ.

И сказалъ Навуею самъ царь: «Изумляюся,
Какъ досель ты владѣлъ вертоградомъ
Со дворцомъ моимъ рядомъ!—
Если хочешь—по-царски смѣняюся,
А продашь—серебра моего не жалѣй»,—
Но не продалъ наслѣдья отцовъ Навуея.
Царь въ чертоги свои возвратился въ смущеніи—
И безъ пищи замкнулся въ ложницѣ,
И повѣдалъ царицѣ
Про нежданное имъ оскорбленіе,
А она возразила ему ему: «не забудь!..
Встань и хлѣбъ твой вкусн и въ молчаньи
пребудь!..»

И послала къ старѣйшинамъ града писаніе,
Да на судъ призовутъ Навуея,
А предъ нимъ два злодѣя
Да предстанутъ ему въ нареканіе,
И да скажутъ злодѣи, что онъ не почтилъ
Ни царя Самаріи, ни Господа Силь.

И по слову ея онъ побить былъ каменьями.—
И сказала она Ахааву:
«Нынѣ Господу славу
Ты воздай—ибо кончилъ мученьями
Жизнь свою Навуея—ты концу его радъ?—
Такъ иди-жъ и наслѣдуй его вертоградъ».

* * *

Но воззвалъ Іегова къ Ильѣ на неправого
И послалъ къ Ахааву на встрѣчу
Божьей кары предтечу,
И изрекъ: «Ты предстань предъ лукаваго
И скажи: да умретъ!—се Господень глаголь,
Зане гордъ и лукавъ и исполненъ онъ золь!—

«Се Господень глаголь: тамъ, гдѣ кровь измо-
жденнаго

Псы лизали отъ жажды и злости,
Тамъ и царскія кости
И утробу царя беззаконнаго
Не престанутъ глодать въ мракѣ бурныхъ ночей,
И блудницы измѣются въ крови твоей!

«Се Господень глаголь: низведу во отмщеніе
А на домъ твой и трусь и пожары—
А жетѣ твоей кары:
Да умретъ на стезѣ омерзенія!
Се Господень глаголь, зане домъ твой лукавъ!»—

* * *

...И раздралъ свои ризы тогда Ахаавъ...

1857.

Аодъ передъ Эгломомъ.

...И прогнѣвали Бога евреи неправдой и зломъ
И воздвиглись войною на нихъ Моавитяне,
А за ними пошли Аммонитяне,
И сыны Амалика—
И сразилъ и плѣнилъ израильтянъ Эгломъ,
Моавитскій владыка.

И томилися въ рабствѣ евреи осьмнадцать го-
довъ

И воззвали къ Элди они на гонителя—
И возставилъ Господь имъ спасителя,
Мужа правды Аода,—
И понесъ онъ къ Эглому кошницы даровъ
Въ знакъ любви отъ народа.

Наточилъ онъ свой ножъ и подъ ризой сокрылъ
на бедрѣ

И повергся съ дарами предъ грознымъ вла-
дыкою

И сказалъ: «Къ тебѣ съ тайной великою
Я пришелъ, о вѣстителю!»

И тогда предстоявшихъ предъ нимъ на дворѣ
Выслалъ вонъ повелитель.

И повелъ онъ Аода въ свой лѣтній роскошный
чертогъ

И свершилъ волю Бога Аодъ надъ гонителемъ:
Онъ предсталъ за Израиля мстителемъ!

И пронзилъ его чрево—

И повергся Эгломъ предъ Аодомъ у ногъ,
Какъ сѣщенное древо...

И Аодъ изъ притвора прошелъ мимо стражей
легко,

А Эглома вельможи нашли бездыханнаго,
И рыдая отъ горя нежданнаго,
Позабыли Аода,

А когда вспомянули—онъ былъ далеко

И достигъ Сетирода.

И на гору Ефрема взошелъ онъ и въ рогъ
вострубилъ

И повелъ къ Иордану дружины народныя,

И узрѣли евреи свободныя

Плѣнъ и скорби Моава.

И всѣмъ сердцемъ Израиль къ Творцу возопилъ
«О, свобода!.. о, слава!..»

1857.

Г е д е о н ъ.

(Изъ книги Судей израилевыхъ).

I.

Семь лѣтъ подъ гнетомъ Мадіама
Израиль въ рабствѣ изнывалъ:

Въ стѣнахъ поруганнаго храма

Замолкъ отверженный кимваль—

И скрылся въ дебри горъ Ливана

Народъ безъ судій, безъ главы—

И падалъ ницъ предъ истукана,

Поправъ завѣтъ Іеговы.

Бывало, нивы ли дозрѣютъ—

Какъ туча жадной саранчи,

Враги съ-налету ихъ усѣютъ—

И только по полю бѣлѣютъ,

Какъ крылья птицъ, ихъ эпанчи.

Но вотъ, мигнулъ огонь зарницы—

Притушенъ серпъ, въ зубахъ мечи—

И гнутся ѣмкія кошницы

Подъ гнетомъ проса и пшеницы;

А къ утру дань принесть еврей:

Вино, фисташки и елей—

И сборъ поконченъ.. и до срока

Уходитъ медленно къ востоку,

Въ лилово-розовый туманъ,

Ихъ безконечный караванъ...

II.

Все—смерть... безлюдье... Какъ руина,

Спала въ обломкахъ Палестина;

А зной удушливый мертвилъ

Всю землю... Сохъ по русламъ иль,

И лишь змѣя, шипя отъ злости,

Скользила межъ кремнистыхъ грудъ,

Да чахъ неугнанный верблюдъ,

А по степи бѣлѣли кости,

И черепъ сорванный глодалъ

Голодный песъ или шакаль...

И только ночью тихолунной,

Одинъ отверженный пророкъ,

Съ укоромъ глядя на востокъ,

Бряцалъ на лирѣ семиструнной;

Да звукамъ тѣмъ, порой, въ отвѣтъ,

Сквозъ плещущъ разрушеннаго зданья,

Какъ откликъ скорби тяжкихъ лѣтъ,

Дрежало робкое рыданье...

III.

Но чаша выпита до дна...

Воскресъ угасшій духъ народа—

И вновь, какъ Божія весна,

Нисходитъ къ страждущимъ свобода.

Разбить дряхлѣющій кумиръ—

И въ покаянномъ хорѣ снова,

Въ волнахъ лаванны, въ стояѣ лиръ,

Псаломъ внимаетъ Іегова.

Народъ съ молитвой и постомъ

Скорбитъ и ждетъ...

Во время оно

Отмѣтилъ Богъ своимъ перстомъ

На бой свободы Гедеона.

IV.

Въ зловѣщихъ тучахъ Галаадъ;

На даль наброшена завѣса—

И мутно катитъ изъ-за лѣса

Волну свинцовую Арадъ.

А триста воиновъ въ засадѣ,

Въ глуши пещеръ, на Галаадѣ,

Сурово ждутъ, пока съ вершинъ

Слетаетъ мгла во глубь долинъ.

Сливается ночь и долъ, и кручи

Въ одну безжизненную тѣнь—

И въ горы прятется олень,

Почувявъ гнетъ нависшей тучи.

А за вершиной Аморѣ,

И подъ горой, и на горѣ,

И вдоль полей—нахмурысь дико,

Заснуди стражи Амалика,

А тамъ, за ними, по холмамъ

Шатры раскинулъ Мадіамъ;

И звякъ, и молвь, и конскій топотъ

Слились въ одинъ невнятный ропотъ.

Но сонъ слетаетъ на шатры—

И гаснутъ яркіе костры.

V.

Раздался громъ глухимъ ударомъ...

Звукъ мѣдныхъ трубъ разсѣкъ поля—

Вздрыгнула сонная земля

И озарила пожаромъ...

Грозой пронесся мощный крикъ:

«Мечъ Богу Силъ и Гедеону!»—

И всталъ средь ужаса и стону

И Мадіамъ, и Амаликъ...

Смятенье... Шумъ... Несутся кони...

Визжать мечи, тупясь о брони...

Слово свободы, любви, примиренія,
Мигъ — и народы встаютъ,
Гордые мощью разума гения:
Снова и счастье и трудъ!..»

Онъ умолкъ. Въ лицѣ царя
Вдругъ улыбка просіяла
Какъ весенняя зоря...
А толпа рукоплескала
Рабоѣнно предъ царемъ
И раба уже вѣнчала
Златокованнымъ вѣнцомъ.

Но опять совѣтъ стихаетъ:
Поданъ знакъ, и предъ толпой
Зоровавель молодой,
Преклоняясь, начинаетъ:
«Вино и царь — ихъ мощь сильна
Надъ поколѣнными людскими;
Но кто-жь господствуетъ надъ ними?
Кто выше власти и вина?
Не женщина-ль?

Она рождала
Земныхъ всеиждущихъ владыкъ,
И не она-ль намъ окропила
Струей вина края фіала?
И ты, о царь! ты гордъ, великъ;
Но и тебя, въ твоей ложницѣ —
Прости! — съ наложницей твоей
Я подглядѣлъ!... Склоняясь предъ ней,
Ты ползалъ въ царской багряницѣ...
А ей смѣшонъ былъ этотъ жаръ,
Когда срывая твой кидаръ,
Она себя имъ увѣнчала,
И ты, властитель мировой,
Уничжался предъ рабой, —
А въ этотъ мигъ она играла
Судьбой народовъ...

Но жена
Сильнѣй лишь власти да вина.
А кто же всѣхъ могучѣй въ мірѣ,
Предъ кѣмъ и дерзостный порокъ
Трепететь въ блещущей порфирѣ
И блещетъ изгнанный пророкъ?
Продастъ вино, жена измѣнитъ,
Народъ обманетъ блескъ вѣнца;
Кто-жь не измѣнитъ до конца,
Кого самъ Богъ не перемѣнитъ?
Не Истина-ль?..»

— Она предъ Господомъ живымъ!
Она! во вѣкъ она! — толпа въ отвѣтъ вѣщала
И Зоровавеля кидаромъ золотымъ,
При громѣ музыки, торжественно вѣнчала.

1858.

Р о в о а м ъ.

(Изъ книги Паралипоменонъ).

Прахъ владыки въ Сіонѣ царившаго
Окадивъ облекли въ плащаницу —

И стenanья исполнился храмъ
И рыдая отпа опочившаго
Въ благолѣпную предковъ гробницу
Положилъ сынъ и царь Ровоамъ.

А на голосъ мірскаго собранія
Растворилась въ Сихемѣ палата,
Чуть зардѣлася въ небѣ зоря —
Ибо вызвалъ народъ изъ изгнанія
Осужденнаго сына Навата *)
И предсталъ съ нимъ на судъ предъ
царя.

«Нестерпимо намъ иго жестокое
И насилъе царя Соломона!»
Ровоаму народъ возглашалъ.
«О, яви ты намъ царство высокое,
Дай намъ правду благого закона —
И ликуй средѣ народныхъ похвалъ!»

И въ чертоги отъ взоровъ укрытые
Тайно звалъ онъ старшинъ отъ народа, —
И покорно властителю вновь
Тамъ повѣдали старцы маститые:
«Царь! народу — законъ и свобода,
А тебѣ — и хвала, и любовь!»

Но отвергнувъ онъ думы разумныя
И призывалъ на совѣтъ и трапезу
Всѣхъ любимцевъ своихъ моло-
дыхъ, —

И вопили состоянники шумные:
«Обреки ихъ бичу и желѣзу
И казни, чтобъ ихъ ропотъ затихъ!»

«И собранью вѣщай своевольному:
Царь даруетъ вамъ правду въ законахъ,
Правду свыше — отъ узъ и бича —
Не звучать при ней слову крамольному!
Царскій бичъ о семи скорпіонахъ
Бьетъ ослушниковъ на смерть, съ
плеча!»

Царь вѣщалъ...
Но подъ серпъ нечестиваго
Хоть склонился народъ какъ солома,
Только серпъ пополамъ пересѣкъ.
Ровоамъ! безъ народа счастливаго —
Знай: ты трупъ! — отъ Давидова дома
Отложился Израиль на вѣкъ.

1860.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

(Изъ Экклезиаста).

I.

Весь міръ — лишь суетность одна:
Тамъ вмѣсто правды злу награда,

*) Сыномъ Навата Библия называетъ Іеровоа-
ма. См. Паралипоменонъ, книга II, главы 9 и 10.

Добру же плаха суждена; —
Но вѣдь и въ жизни есть отрада:
Зачѣмъ терпѣть? къ чему страдать?
Не лучше ль съ долей помириться —
И пить, и пѣть, и веселиться,
И жирно ѣсть, и крѣпко спать?

II.

И жилъ я, и видѣлъ, какъ зло бушевало вездѣ,
А правда влачила оковы,
И не было правому чести: онъ гибнулъ въ судѣ,
За истину въ пытки суровой;
А гордый порокъ безъ боязни царилъ на землѣ,
Тирания весь міръ самовластно;
Не будь же правдивъ и не умствуй о правдѣ
и злѣ:
Къ чему тебѣ гибнуть напрасно?

III.

Къ чему же трудъ, забота и терпѣнье?
Къ чему искусство, знанье, умъ?
Что пользы въ нихъ?—безплодное мученье!
Все пустота! все — вѣтра шумъ!
И я позналъ, что все-земное счастье
Лишь нѣга страсти да пиры:
Вѣдь сокъ лозы, вѣдь чары сладострастья —
Творца насущные дары.

Кто возлюбилъ Его, тому
Онъ дастъ, въ награду за служенье —
Богатство, славу, наслажденье;
Но горе гордому уму:
Его удѣлъ — страдать въ молчаньи,
И крохи хлѣба собирать,
Чтобъ послѣ сильный могъ отнять
Трудомъ добытое стяжанье!..

IV.

И подумалъ о людяхъ тогда я въ печали,
Что и нынѣ такіе жъ они, какъ и встарь,
Что, какъ стадо, свободы они не знавали,
И что равны баранъ и разумная тварь:
Не одна ли въ безстрастной природѣ доля?
Не одинъ ли и духъ у людей и скота?
Послѣ смерти — ничто! въ жизни — скорбь и
неволи
Гробъ — исходъ! жизнь и духъ — пустота!
Вѣдь земля же дала имъ начало, —
Они въ землю отыдутъ опять
И исчезнуть... И какъ разгадать:
Въ лонѣ ль свѣта душа возсіяла,
Или сгинула въ мракѣ на-вѣкъ?
И не призракъ ли ты, человѣкъ?

V.

Если узришь на землѣ
Судъ неправый надъ несчастнымъ,

Правду, сгибшую во злѣ, —
Не дивись: вѣдь тамъ надъ властнымъ
Власть высокая стоитъ —
И предъ ней молчитъ низайшій,
Надъ высокимъ высшій бдитъ,
А надъ высшимъ — высочайшій.

VI.

Участь печальная — смерть безотрадная
Всѣмъ и всему суждена въ воздаяніе:
Зло и добро, нищету и стяжаніе —
Все, безъ изъятія, разить она, жадная!
Кто же награду воздастъ добродѣтели,
Кто жъ намъ укажетъ судью неподкупнаго,
Гдѣ противъ зла соберутся свидѣтели,
Гдѣ же законъ для тирана преступнаго?—
Нѣтъ намъ возмездія, нѣтъ наказанія.—
Смерть и ничтожество—вотъ воздаяніе!

VII.

Жизнь влечать и умный и невѣжда;
Жизнь тяжка—нѣтъ пользы и въ умѣ;
Но для нихъ живетъ еще надежда
Хоть на смерть, грядущую во тьмѣ.
А для мертвыхъ—нѣтъ уже сознанія!
Ни на что въ гробу надежды нѣтъ!
И умретъ объ нихъ воспоминанье,
И добру не будетъ воздаянья,
И за зло не спросится отвѣтъ!—

VIII.

Такъ скорѣе же, скорѣй,
Безъ раздумья за веселье!
Наливайте же полнѣй
Чашу горькаго похмѣлья!
Мы возляжемъ вкругъ столовъ,
Безъ заботы, безъ надежды;—
Дайте жъ брашенъ и вѣнковъ,
Дайте бѣлые одежды!
Умастите смоль кудрей
Благовоньемъ сладкой мурры,
Пойте пѣсни, стройте лиры,
Наслаждайтесь—но скорѣй!
Отъ денницы до денницы,
Встрѣчай солнечнымъ лучамъ,
Пусть звучатъ въ саду цвѣтницы,
Пусть курится фиміамъ;—
И тогда-то съ поцѣлуемъ
Я приникну горячѣй,
Жгучей страстію волнуемъ,
Къ персямъ агницы моей.—
И пусть вѣчно до заката
Нашихъ дней ликуетъ пиръ
Льются волны аромата,
Ласки женъ и звуки лиръ!..

Грѣшница.

I.

И вотъ къ нему толпа людей,
Во имя чести и закона,
Пришла съ толпой синедриона.
А незаконный фарисей,
Лукавый сынъ семьи духовный,
Вперивъ на жертву злобный взоръ,
Читалъ судейскій приговоръ
Передъ женой, въ грѣхъ виновной.
Полумертва, обнажена,
Въ стыдѣ поникнувъ головою,
Передъ озлобленной толпою
Стояла скорбная жена,
И съ ней грѣха ея виновникъ
Былъ приведенъ на ту же казнь,—
Но предъ толпой, забывъ боязнь,
О ней рыдалъ ея любовникъ.

II.

Межъ тѣмъ на дикий гулъ угрозы,
На эти слезы и на муку,
Склонивъ главу свою на руку,
Глядѣлъ задумчиво Христосъ...
И долго Онъ подъ лозой гибкой
Сидѣлъ съ уныніемъ въ очахъ,
И дума на Его устахъ
Играла горькою улыбкой...
Склонясь безоблачнымъ челомъ,
Не гналъ Онъ грѣшницу сурово;
Но на песокъ своимъ перстомъ
Чертилъ загадочное слово...

И вотъ подходитъ фарисей
Къ Нему съ лукавыми рѣчами:
«Равви, Ты знаешь, Моисей
Намъ заповѣдовалъ—камнями
Прелюбодѣйницъ избивать;
Такъ должно ль намъ ее карать?
Она виновна: ихъ застали
Въ грѣхѣ, вдвоемъ, средь темноты,
Свидѣтель мужъ—и мы ихъ взяли—
Что сдѣлать съ ней? какъ скажешь Ты?»

Но Онъ сидѣлъ подъ лозой гибкой,
И дума грустная въ очахъ
Играла на Его устахъ
Непостижимую улыбкой...

И вотъ—Онъ голову поднялъ,
Толпу окинулъ тихимъ взоромъ,
И передъ правымъ приговоромъ
Народъ склонился и внималъ—
И былъ могучъ той рѣчи пламень:—
«Кто самъ изъ васъ безгрѣшенъ—тотъ
Пусть первый, выйди предъ народъ,
Въ нее бросаетъ первый камень!»
...И разошлись...

1857.

* * *

Прекрасенъ кротокъ и великъ
Училъ Израиля Онъ смѣло—
А лицемерный клеветникъ
Смуцалъ народъ на злое дѣло:
«Онъ—сталъ неправду обличать!
Да кто Онъ?.. нищій или тать!
Распнемъ, распнемъ Его, евреи:
Онъ старину земли родной,
Завѣтъ отцовъ и Моисея
Попралъ во прахъ своей пятой!
Онъ лишь народъ всегда волнуетъ,—
Смотрите: весь синедрионъ,
Взывая къ Богу, негодуетъ,
Хулой и ересью смущенъ!»
И заревѣлъ народъ безумный...
И грозенъ былъ тотъ ярый крикъ—
Но Онъ недвижимъ и великъ,
Стоитъ передъ толпою шумной...
Стоитъ съ смиреніемъ на груди
Сложивъ безтрепетныя руки—
И вдругъ по буйной площади
Летать святого слова звуки:

«За что жъ? За то ль, что Я изрекъ
Словами Бога намъ свободу
И угнетенному народу
Вѣщать о братствѣ... Какъ пророкъ,
Пришелъ я къ вамъ, въ свою отчизну—
Но не позналъ Меня никто...
И что-жъ нашелъ я?—укоризну,
Хулу, да злобу... и за что?
Еще вы въ памяти храните
Воспоминанье дѣлъ благихъ—
Такъ за которое-жъ изъ нихъ
Вы измождить Меня хотите?..
Къ чему, еврей, твои вожди
Тебя смущаютъ противъ Бога?—
Я здѣсь отторженъ—насъ немного,
А ты могучъ,—но подожди:
Придетъ пора — и всѣ народы,
Омывъ свой духъ въ Моей крови,
Къ свѣтилу правды и свободы,
Во имя духа и любви,
Придутъ ко Мнѣ отъ козней ада—
И будетъ міръ одна семья,
И будетъ здѣсь—едино стадо,
И съ нимъ единый пастырь...»
...И разошлись...

1857.

* * *

У побережья песчаной равнины
Колыхается бурное море—
И чернѣютъ далеко пучины,
Ходятъ волны въ широкомъ просторѣ...
Надвигаются сизыя тучи
И мелькаютъ крикливыя птицы,
Проносясь надъ волною кипучей,
А на небѣ трепещутъ зарницы...
Вечерѣтъ... Въ смятеніи верблюды
Идутъ, головы чутко понура.

Вѣтеръ носить песчанныя груды
По степи... Поднимается буря...
Гнется пальма вершиной шумливой;
Вихорь листья съ деревьевъ срываетъ—
Но безтрепетно въ челнѣ колыхливый
Вдохновенный Учитель вступаетъ.

Ученикъ.

«О, Равви! въ это грозное море
Я пойду за Тобою повсюду:
Претерплю и лишенья, и горе—
Но вѣшателемъ истины буду!...»

Учитель.

«Если хочешь—иди! но сурова
И тяжка будетъ горькая доля:
Насъ, за правое дѣло и слово,
Ожидаютъ и крестъ и неволя...
Есть у звѣря нора, птицъ гнѣздо отогрѣтъ,
А Учитель, гонимый толпою,
Даже камня нигдѣ не имѣтъ,
Гдѣ бы на ночь склониться главою...»

1857.

* * *

Вокругъ цистерны городской,
Пестрѣя тканями цвѣтными,
Стоятъ съ кувшинами рѣзными
Еврейки юныя толпой.
И тамъ, подъ сѣнью сикоморы,
Учитель слово имъ вѣщалъ
И ихъ дѣтей благословлялъ,—
И были слезъ полны ихъ взоры,
Когда про жизнь иную имъ
Такъ вдохновенно и такъ свято
Онъ говорилъ—и предъ Благимъ
Врагъ обнималъ врага, какъ брата,
И воскрешенныя душой,
У ногъ двѣ грѣшницы рыдали,
А дѣти, рѣзвою толпой,
Его доверчиво ласкали...

Но вотъ, смиренно между женъ,
Богатый юноша выходитъ,
Одѣтый въ пурпуръ и виссонъ,
И рѣчь несмѣлую заводитъ:
«Какую жь заповѣдь, Равви,
Хранить я долженъ въ этомъ мірѣ?»

«Храни завѣтъ святой любви,
Не лести ни Богу, ни порфирѣ:
Будь чистъ душой, будь правды жрецъ,
Презри роскошной багрянницей,
Люби людей—и Мой Отецъ
За то воздастъ тебѣ сторицей!
Но подвижъ высшій свой земной
Ты совершилъ во имя братства,
Когда, послѣдуя за Мной,
Раздѣлишь нищимъ всѣ богатства—
И, нищій самъ, оставя домъ,
Возьмешь Мой крестъ тяжелый въ руки

И, къ смерти праведнымъ путемъ,
Пойдешь за истину на муки!...»

1857.

* * *

И пришелъ Онъ во храмъ—тамъ училъ фарисей
О субботѣ, о язвахъ порока,
И раскрылъ Онъ Завѣтъ и предъ сонмомъ людей
Провѣщалъ изреченье пророка:

«Духъ Господень на Мнѣ—онъ помазалъ Меня
И послалъ съ благовѣстьемъ къ народу—
Дать прозрѣнье слѣпымъ, слабымъ—вѣры огня,
И рабовъ отпустить на свободу».—

И закрылъ Онъ Завѣтъ—и внимали Ему,
И сказалъ Онъ: «предъ вами, еврея,
День пророка насталъ совершиться сему!»—
И дивились Ему фарисеи...

1858.

На пути въ Іерихонъ.

Надъ песчаной пустынею жгучею солнце го-
рѣло,

Небо мглою подернулось знойною;
Вѣтеръ въ тусклую даль улеталъ,
И сверкали осколки кремней, и вся степь омер-
твѣла;

Не свивалися змѣи подъ пальмой спокойною
И не былъ изнуренный пакалъ.
Тѣми жгучими песками,
По пути въ Іерихонъ,
Шелъ пророкъ съ учениками,
И безсмертными словами
Возвѣщалъ имъ свой законъ:

«Пусть царь, пусть вельможи ихъ правятъ, ти-
раны народы,
И господствуютъ пусть надъ несчастными, —
Но межъ вами да будетъ не то:
Всѣ вы равны, всѣ братья, всѣ дѣти любви и
свободы—

Вы идите за Мной не рабами безгласными,
И рабомъ да не будетъ никто! —
Я не царь — не Мнѣ служенье:
Въ мірѣ Я самъ пришелъ служить,
Чтобъ на казни, за спасенье,
За добро и искупленье,
Эту голову сложить!...»

1858.

* * *

И говорилъ Онъ предъ врагами:
«Я въ мірѣ не миръ принесъ, но мечъ,
Чтобъ разлучить сыновъ съ отцами,
Чтобъ дочь отъ матери отсѣчь. —
Отсѣчь добро отъ корня злого,
За правду двинуть новый родъ
И изъ косищныя вѣкового,
Изъ рабства вырвать вашъ народъ».

И говорить Ему: «Учитель,
Тебя и мать, и братья ждутъ, —
Они скорѣй Тебя зовутъ
Идти отсюда!» —

Но Спаситель
Призыву братьевъ не внималъ

И, вдохновенный, провѣщалъ:
«Кто мать Моя и кто Мнѣ братья? —
Я не за нихъ пришелъ страдать,
Терпѣть позоръ и несть проклятыя —
Нѣтъ! вся вселенная Мнѣ мать,
Всѣ люди Мнѣ друзья и братья!»

1857.

ИЗЪ ДРЕВНЯГО МІРА.

ПІЕСНИ АЛКЕЯ.

За недостаткомъ источниковъ, мы не можемъ сказать многого ни о самомъ греческомъ поэтѣ, ни о его жизни; намъ представляется только нѣкоторая возможность судить о немъ по тѣмъ незначительнымъ отрывкамъ, которые сохранились еще до нашего времени; все, что только осталось отъ Алкея, мы предлагаемъ теперь въ переводѣ нашимъ читателямъ; о немъ же самомъ извѣстно только то, что жилъ онъ на островѣ Лесбосѣ, за 604 года до Рождества Христова, во время сорокъ-четвертой олимпіады — слѣдовательно, былъ современникъ Сафо. Не дешево обошлись ему эпиграммы и сатиры его, направленные противъ одного изъ значительныхъ гражданъ Митилены — Питтака, котораго причисляютъ къ семи греческимъ мудрецамъ; этими насмѣшками онъ только навѣлъ себѣ лишняго, и при томъ довольно сильнаго врага, который вредилъ ему и преслѣдовалъ всѣми способами на каждомъ шагу. Его стихъ, полный извѣстной ѣдкости, и эта беспокойная, неуживчивая гордость, которую отличалъ его характеръ, послужили главнѣйшими причинами его изгнанія. Тогда онъ вооружился противъ Митилены, но... убѣждалъ съ поля сраженія и попался какимъ-то образомъ въ руки Питтака, который, желая, вѣроятно, показать свое великодушіе, отпустилъ поэта, не сдѣлавъ ему никакого вреда. Сражаясь противъ аѳинянъ, онъ какъ-то, во время пораженія, бросилъ свой мечъ и щитъ, которые мѣшали его бѣгству; этотъ щитъ и мечъ взяли аѳиняне съ поля сраженія и, какъ трофей, повѣсили въ храмѣ Минервы.

Во время своего изгнанія, Алкей большую частію путешествовалъ; былъ, между прочимъ, въ Египтѣ и во все это время преимущественно занимался поэзіею, писалъ разныя оды, гимны и эпиграммы, и въ особенности эпиграммами своими не нравился многимъ тиранамъ, которыхъ бичевалъ всею тяжестью своей сатиры — *Alcei minaces satenae*, говоритъ Гораций.

Кромѣ сатиры Алкею не чуждъ былъ и эротическій родъ поэзіи, который въ немъ отличался необыкновенно милою, изящною граціею, сколько мы можемъ судить по какимъ нибудь двумъ-тремъ небольшимъ пьескамъ, которыя успѣли сохраниться до нашего времени. Немудрено, что его современники сравнивали его съ Гомеромъ, въ отношеніи стиха и способа изложенія: какъ тотъ, такъ и другой, замѣчательны по своей строгой, гармонической и изящной простотѣ. Гораций однимъ взмахомъ пера великопѣнно обрисовалъ нашего поэта:

*Et te sonantem plenius aureo,
Alcee, plectro...*

что можно перевести такъ: „и ты, Алкей, который извлекаешь такіе чудные звуки изъ твоего золотого смычка“. Его талантъ, то пламенный, доходящій до энтузіазма и высшей степени экзальтаціи въ одѣ, то ѣдкій, горькій, и угрожающій въ сатирѣ — въ этихъ двухъ родахъ рѣшительно становится на степень совершенства. Вотъ, что говорить о немъ римскій критикъ Квинтиліанъ: „Алкей въ тѣхъ изъ своихъ стихотвореній, гдѣ нападаетъ онъ на разныхъ тирановъ, по всей справедливости заслуживаетъ этотъ *plectrum aureum*, какъ говоритъ Гораций. Кромѣ того Алкей имѣетъ еще большое значеніе, какъ живописецъ нравовъ. Его стихъ сжатъ, богатъ и быстръ — онъ имѣетъ сходство съ Гомеромъ. Жаль только, что онъ унижаетъ свой талантъ на диеирамбы Бахусу и прославленія Амура — талантъ, созданный для болѣе высокаго призванія“.

Какъ видно изъ этихъ словъ, Квинтиліану были знакомы такіе произведенія Алкея, которыя въ настоящее время намъ уже неизвѣстны; до насъ дошло только не болѣе пятнадцати отрывковъ, сохраненныхъ Атепеемъ и Свидасомъ. *Henry Estienne* собралъ ихъ отсюда и помѣстилъ вслѣдъ за своимъ Пиндаромъ. Мы, представляя теперь читателямъ все то, что осталось намъ отъ Алкея, собрали подъ одну рубрику — эпиграммы его и афоризмы, подъ другую — эротическія и вакхическія стихотворенія, и наконецъ помѣстили два стихотворенія, которыя имѣютъ нѣкоторое политическое значеніе. — Въ этихъ отрывкахъ, хотя и не полно, однако все-таки рисуется поэтическая фizioномія Алкея. Можетъ быть найдется одинъ или два афоризма, отличающіеся небрежностью и нѣкоторой безцвѣтностью, какъ напр. V, — въ этомъ случаѣ роптать уже не на что; эти вещи мы старались только передать по возможности ближе къ оригиналу.

ЭПИГРАММЫ И АФОРИЗМЫ.

I.

Бѣдность — коварное зло!.. лишь она убиваетъ народы,
Если придутъ на подмогу къ ней сестры родныя — невзгоды.

II.

Слава и имя великихъ — людьми богачамъ от-
даны,
Бѣдный же гибнетъ съ нуждою, въ презрѣнны,
безъ всякой цѣны.

III.

Други, да будетъ примѣромъ вамъ ямя лукав-
ца Адмета! —
Бойтесь безчестныхъ, какъ язвы! бѣгите ихъ
ласкъ и привѣта! —
Нѣтъ имъ на свѣтѣ ни въ комъ ни участія, ни
слезъ сожалѣнья —
Даже и самый безчестный клеймитъ ихъ позо-
ромъ презрѣнья.

IV.

Смертный! зачѣмъ ты не можешь взоромъ пы-
тливымъ пронзатъ
Тайно-глухія покровы темнаго сердца люд-
скаго,
Насквозь пронзить его взглядомъ, тихо за-
крыть его снова —
И... съ отрезвленной душой — лучшаго друга
избрать!..

V.

Какъ неуклюжій увидѣлъ, какъ смяла змѣю че-
репаха —
Онъ посмотрѣлъ и не могъ не сказать про себя
съ сожалѣньемъ:
«Еслибъ мой другъ не усталъ, изнуряя себя
понапрасну,
«Если бы онъ не вертѣлся, такъ вѣрно бы не
былъ раздавленъ». —
Лучшее правило въ жизни: скромно идти сто-
роною.

VI.

Стыдъ лишь двоякій бываетъ: одинъ украшаетъ
невинность —
Въ страхъ и въ погибель позора смертныхъ
другой вовлекаетъ.

VII.

Въ мирной ли пристани ты — а на морѣ гроза
завываетъ:
Пѣнисто-гнѣвныя волны зовутъ небеса на
борьбу —
Любо глядѣть тебѣ въ море и слушать, какъ
море рыдаетъ,
Чуютъ бѣду и спокойно хвалятъ за спасенье
судьбу. —
Если же грозная буря застаетъ тебя въ
океанѣ —

Нѣтъ тебѣ къ счастью возврата! — со смертию
во влажномъ гробу
Гордо борьбу выноси и съ волнами кружись въ
ураганѣ!...

А л к е й.

I.

Гимнъ.

Паллада, богиня разумная!
Храни насъ отъ рабственныхъ рагъ!
И пусть — ни усобица шумная,
Ни горе, ни ярость безумная
Не мучать лезбійскихъ гражданъ!
А вы, олимпійцы, съ Церерою,
Вы — къ жатвѣ обильныхъ плодовъ
Отсыпьте намъ полною мѣрою —
И въ храмахъ мы жертвенникъ съ вѣрою
Воскуримъ въ честь вашихъ даровъ.
Теперь же, въ года плодородные,
Къ тебѣ, Прозерпина, мой стою:
Пусть граждане, вѣчно-свободные,
Хранятъ и преданья народныя,
И правятъ свой древнѣй законъ!

ВАКХИЧЕСКІЯ И ЭРОТИЧЕСКІЯ СТИХО-
ТВОРЕНІЯ.

I.

Пусть изморозь темнитъ небесъ лазурный
сводъ,
Пусть насъ Зевесъ дождемъ холоднымъ оро-
шаетъ
И быстрый бѣгъ рѣки морозами скуётъ —
Что намъ до нихъ! — мудрецъ ни зимъ, ни
вьюгъ не знаетъ.
Затопимъ мы очагъ пылающимъ огнемъ,
И чаши до-верху цѣлительнымъ виномъ
Наполнимъ...

II.

Давайте пить! Зачѣмъ намъ ждаты
Огней полуночнаго пира? —
Насъ будетъ солнце освѣщать,
А забавлять — вино да лира!
Наполни-жь чашу мнѣ виномъ!
Да лей смѣлый; лей до края! —
Друзья! потопимъ, замирая,
Мы души въ нектарѣ живомъ!..
Восходить Сириусъ надъ нами —
Насъ мучить жажда... мучить жаръ...
Вонъ: даже трезвый — Вакховъ даръ
Глотаешь жадными устами, —
Такъ что-жь намъ ждаты! — Давайте пить!..
Друзья! воздѣлаемъ разсадникъ
И станемъ рьяно разводить.
Пурпурно-сочный виноградникъ!..

III.

Скорбите вы... скорбите—но къ чему жь?..
Иль изъ бѣды исхода вамъ не видно?—
Нѣтъ, братья!—тотъ не человѣкъ, не мужъ,
Кто предъ бѣдой склоняется постыдно!..

Намъ жизнь горька—пусть такъ!.. Но, ты, Ліэй!
Богъ Индіи, богъ гроздій и забвенья!
Ты воскресишь страдальца въ день скорбей,
Кружа его въ восторгахъ опьяненія!..

IV.

Еслибъ я былъ лира—лира полнозвучная,
Какъ у дѣвъ Лесбоса, на пирахъ торжествен-
ныхъ,
Съ Вакхомъ и Клеофой вѣчно неразлучная
Въ гимнахъ ихъ божественныхъ!..
Еслибъ я былъ созданъ золотой повязкою—
О, тогда бы дѣвы, красотой надменные,
Украшали мною съ прихотливой ласкою
Перси бѣлопѣнные!..

V.

къ своей любовницѣ.

Пей, моя дѣва, со мною и старѣйся вмѣстѣ со
мною,
Вмѣстѣ со мною рѣзвись и вѣнчайся цвѣт-
ными вѣнками;
Если-жь твой другъ загруститъ—освѣжи его
вѣжной слезою—
Пусть эти думы тоскливо, какъ звуки, летаютъ
надъ нами.
Но берегись!.. въ этой жизни отъ взора такъ
много сокрыто!—
Вѣрь: и подъ гладкой плитою кипятъ въ
темнотѣ скорпіоны—
Нѣтъ!.. озирайся пытливей предъ всѣмъ ты,
что мракомъ повито—
Бойся за каждый твой мигъ: противъ тайнаго
нѣтъ обороны!..

I.

Взвиваются волны—волна надъ волною—
И съ грохотомъ ходятъ на дикомъ просторѣ...
Нашъ челнъ заплескало... И спорить съ грозною
Суровое море...

Нашъ челнъ заплескало... И кружатъ, и клонять
То вѣтеръ, то волны сосѣдніе челны—
Нашъ отдыхъ подъ бурей... — Табъ пусть же
хоронять
Нашъ буря да волны!..

Впередъ, безъ надежды!.. Впередъ, безъ вѣ-
трила!..
Не бросить намъ якорь въ ревущей пустынѣ—

И весла, и мачту гроза исцепила—
Умремъ же въ пучинѣ!..

II.

Я подъ вѣткой мирты скрою,
Какъ Гармодій, предъ толпою,
Свой свободный мечъ—
Какъ въ тѣ дни, когда народу
Отдалъ онъ его свободу
И былую рѣчь...

Но, поправъ его невзгоды,
Ты не умерь, мужъ свободы,
Покидая свѣтъ:
Ты предсталъ передъ Зевесомъ,
Какъ съ героемъ Ахиллесомъ
Старецъ Діомедъ.

* * *

Я подъ вѣткой мирты скрою
Острый мечъ, какъ предъ толпою
Мужъ Аристогонъ;—
Вспомнимъ: въ день Панаэиней
Палъ Гиппархъ и всѣ злодѣи,
А воскресъ законъ!..

Вашей славѣ жить въ потѣмкахъ
И гремя блистать въ обломкахъ
Міровыхъ руинъ:
Вы произлили грудь тирану
И свободу влили въ рану
Страждущихъ Аѳинъ!..

1859.

Анакреонтъ.

Пьютъ и воздухъ, и поля,
Пьютъ и черная земля,
Море, солнце—всѣ вы пьете;
Всѣхъ пить одна струя —
Такъ за что же мнѣ, друзья,
Вволю пить вы не даете?

* * *

Эхъ, виски ужъ мои посѣдѣли,
Да и черепъ лоснится, какъ шаръ,
Годы юности прочь улетѣли,
Зубы крошатся... нѣтъ, ужъ я старъ...

Предо мной уже въ Тартаръ дорога...
Въ этой жизни пожить веселѣй
Мнѣ на долю осталось не много—
О, какъ тяжело разстаться мнѣ съ ней!..

За Коцитомъ темно и ужасно,
Дверь Аида открыта для всѣхъ:
Если хочешь—входи безъ помѣхъ,
А назадъ не пытайся напрасно!..

* * *

Да, ты милъ, красавецъ мой,
Но по-мнѣ—милѣе втрое

Въ старцѣ чувство молодое
Въ пляскѣ нѣжной и живой;

Погляди: ну, гдѣ въ немъ холодъ
Дряхлыхъ лѣтъ? а по кудрямъ
Хоть и старъ онъ—видишь самъ,
Да зато душою молодъ.

* * *

На мягкихъ пурпурныхъ коврахъ,
Отрадно Вакхомъ упоенный,
Недавно спалъ я, весь въ цвѣтахъ,
И видѣлъ, будто я, влюбленный,
За рѣзво-пестрою толпой
Прекрасныхъ дѣвушекъ гонялся,
Хватавъ ихъ смѣлою рукою
И пѣлъ имъ пѣсни и смѣялся...
Вдругъ юношей прекрасныхъ рой,
Нѣжнѣ самаго Ліэя,
Смѣяться вздумалъ надо мной,
Сердясь отъ зависти и рдѣя!
И только ихъ разцѣловать
Я всталъ—вдругъ греза разлетѣлась;
А я... О, какъ тогда опять
Тотъ сонъ увидѣть мнѣ хотѣлось!..

* * *

Если другъ души моей,
Сынъ Зевеса сладострастный,
Беззаботный и прекрасный
Овладеетъ мной Ліэй,—
Тотчасъ ловкой, нѣжной пляскѣ
Онъ начнетъ меня учить —
И отрадно мнѣ съ нимъ пить,
Отдаваясь женской ласкѣ...
Все: Киприда, пѣсни, шумъ,
Силой чудной и спокойной,
Увлекаютъ въ пляскѣ стройной,
Въ пляскѣ вѣчной бойкій умъ.

1858.

С а ф о.

къ своей любовницѣ.

Блаженствомъ равенъ тотъ богамъ,
Кто близъ тебя сидитъ, внимая
Твоимъ чарующимъ рѣчамъ,
И видить, какъ, въ истомѣ тая,
Отъ этихъ устъ къ его устамъ
Летитъ улыбка молодая.
И каждый разъ, какъ только я
Съ тобой сойдусь—отъ нѣжной встрѣчи
Замлѣветъ вдругъ душа моя
И на устахъ нѣмбуютъ рѣчи
А пламя острое любви
Быстрѣй по жиламъ пробѣгаетъ—
И звонъ въ ушахъ... и бунтъ въ крови...
И потъ холодный проступаетъ...
А тѣло—тѣло все дрожитъ,—
Цвѣтка поблекшаго блѣднѣе
Мой истомленный страстью видъ;—
И бездыханна... и нѣмѣя
Въ глазахъ, я чую, меркнетъ свѣтъ...
Гляжу не видя... силъ ужъ нѣтъ...

И жду въ безпамятствѣ и знаю;
Вотъ, вотъ умру... вотъ умираю...

1862.

* * *

Подъ этой урной спитъ красавица Тимѣда
Она скончалася, не зная брачныхъ узъ.
Геката приняла ее въ чертоги Ада,
А здѣсь о ней поетъ печальный голосъ Музъ.

Подруги, въ горести, разставшиися съ кудрями,
Которыя досель по персамъ ихъ вились,
Сложили ихъ на гробъ, подъ сонный кипарисъ,
Какъ дань красавицѣ, межъ юными цвѣтами.

1857.

Г о р а ц і й.

къ Левконовъ.

Оставь, грѣшно искать, какой тебѣ иль мнѣ
Пошлетъ судьба конецъ! Гаданья Вавилона
Забудь! Къ чему намъ знать, что сбудется къ
веснѣ,
И много-ль зимъ намъ жить, иль волны Фле-
гетона
Сегодня-жъ навсегда умчатъ отсюда насъ?—
Играй и пей вино смѣяся, Левконоя!
Болтая, тратимъ мы лишь время золотое:
Забывъ о будущемъ, живи въ текущей часъ.

къ лигурину.

Дитя холодное къ приманкамъ Афродиты,
Когда нежданный пухъ проступитъ надъ губой
И кудри сръжуются, а свѣжестью ланиты
Не станешь ужъ ты спорить съ розой молодой,—
Тогда не разъ пенять ты будешь злой судьбинѣ,
Тогда-го, въ зеркало взглянувъ, промолвишь ты:
«Зачѣмъ въ тѣ дни не могъ я чувствовать
какъ нынѣ!

Зачѣмъ бы не вернуть минувшей красоты!»

къ Лидѣ.

Что бы дѣлать намъ съ тобою
Въ день Нептуну посвященный?—
Выпьемъ съ пѣсней и мольбою
Мы цекубы благовонной!

Солнце спряталось за гору
И окрестность ужъ уснула,—
Вынь же мнѣ скорѣй амфору
Года консула Бибулла.

Нимфъ, Нептуна, мы вѣдь можемъ
Прославлять съ тобою, Лидя,
И Латонѣ пѣсню сложимъ,
И владычицѣ Алгиды;

Но послѣдній гимнъ согласный
Запоемъ, смеживши очи,
Мы Кипридѣ сладострастной
И самой царицѣ ночи.

къ Меценату.

Влагу скромную Сабина
Ты, мой всадникъ дорогой,

Изъ завѣтнаго кувшина
Будешь пить со мной.

Съ той поры въ моемъ подвалѣ
Онъ хранится, что кумирь,
Какъ тебѣ рукоплескали
Римъ и цѣлый міръ.

И хвалѣ той гулко вторя.
Поднимали будто споръ
Берегъ Тибра, берегъ моря
Съ эхомъ нашихъ горъ.

Рабъ досель тебѣ навѣрно
Лишь цекубу наливаль—
У меня-жь струю Фалерна
Плутусъ заковаль.

къ Афродитѣ.

Не безъ пользы я прожилъ для дѣвъ
И любить я умѣлъ не безъ славы,
И не разъ мой веселый напѣвъ
Мнѣ побѣду давалъ средь забавы.

Но теперь, устарѣвъ я сложилъ
На подножье святому кумиру
И колчанъ чтѣ, со славой носилъ,
И мою вдохновенную лиру.

Но еще, при священномъ огнѣ,
Я къ тебѣ преклоняюсь съ мольбою
О, Киприда-богиня! ко мнѣ
Преклони ты надменную Хлою!..

длань.

Холмовъ и темныхъ рощъ царица молодая,
Мольбами матерей всегда окружена,
Въ нуждѣ ты помощь шлешь, моленью ихъ
внимая,

Треликая жена!

Пусть будетъ та сосна, что надъ моею кровлей
Такъ пышно разрослась, тебѣ посвящена;
А я всегда готовъ передъ звѣриной ловлей
Заклатъ ей кабана!

къ Хлоѣ.

Какъ лань безъ матери въ горахъ
Блуждаетъ робко, торопливо—
И чуть всколышатся болтливо
Отъ вѣтру листья на кустахъ,
Иль жаба вдругъ юркнетъ проворно
Въ траву—ужъ трепетно она
Бѣжитъ боязнію полна—
Такъ ты бѣжишь меня упорно...
За что-жь?.. Вѣдь я не дикий звѣрь,
Не растерзать тебя хочу я—
Такъ брось же мать свою—повѣрь:
Для нѣгъ любви и поцѣлуя
Ты расцвѣла уже теперь!

къ Хлорѣ.

Нѣтъ, Хлора бѣдная, давно-бъ тебѣ пора
Оставить и забыть постыдное распутство!
Пора-бъ и въ гробъ тебѣ! взгляни: вѣдь ты
стара,
А ищешь до сихъ поръ забавъ и многолюдства.
Ну, кстати-ль, старая, межъ дѣвъ тебѣ плясать,
Чтобъ звѣзды яркія заволокнутъ туманомъ?!
Тебѣ неидетъ вѣдь то, что Полоѣ подь-стать.
Ужь пусть она въ вѣнкѣ, и съ пѣсней и съ
тимпаномъ,
Какъ Тія, ломится въ дверь юноши порою.
Ее заставила любовь красавца Нота
Подобно козочкѣ рѣзвиться молодой;
Но ты!.. Тебѣ подь-стать ужъ скромная работа,
Вѣдь шерсть луперскую пряхти, хоть напри-
мѣрь,
Приличнѣй было бы старухѣ въ дни упадка,
Чѣмъ розы лепестки на пирѣ межъ гетеръ,
Или испитая до самой гущи кадка.

къ Пирру.

Ты знаешь ли, Пирръ, какъ опасно тебѣ
У львицы роскошной добычу отнять?
Повѣрь: передъ нею въ неравной борьбѣ
Придется тебѣ преклониться опять.
Когда среди оргіи встанетъ она
И гордо Непарха къ себѣ приманить,
Тогда то... И кто знаетъ: чья сторона—
Твоя или ея удалыца побѣдитъ?
Пока свои нѣжныя стрѣлы тая
Ему вы готовите вашей красотой,
А онъ, въ этой битвѣ холодный судья,
Ступаетъ на пальму разутой лятой,—
И любо ему, если приди кудрей.
На немъ разовьется и подхватитъ Зефиръ...
И какъ онъ хорошъ!.. точно нѣжный Нирей,
Иль съ Иды похищенный въ божескій міръ.

къ Афродитѣ.

Рагсе, прагсег, прагсег!..

О мать жестокая прекрасныхъ купидоновъ!
Не признающего давно твоихъ законовъ
Покинь, молю, уйди! избавь отъ нѣжныхъ узъ!
Я старъ—къ чему-жь съ тобой мнѣ заклю-
чать союзъ?..

Ступай скорѣй туда, гдѣ, полная желанья,
Къ тебѣ шлетъ молодость горячія воззванья,
А я... Ничто уже не радуетъ меня:
Ни стройный юноша, исполненный огня,
Соперникъ женщины пластичной красотой,
Ни дѣвы Фракіи округлою ногою,
Ни розовый вѣнокъ, ни сладкое вино
Не веселятъ мой взоръ—взоръ старческій
давно!..

Но отчего-жь скажи, о, Лигуринъ, порою
Блитсяэтотъ взоръ невольною слезою?

Или въ пріятельской бесѣдѣ, чуть на мигъ
Я вспомню про тебя, коснётся мой языкъ?
А грезы полночи мнѣ дань несутъ другую:
То чудится—тебя такъ пылко я цѣлую,
То сжавъ въ объятіяхъ, къ груди твоей
прильну,
То въ упоеніи, склоняся къ ней, засну; —
Но боги! нѣтъ... увы!—то призранныя грезы!..
И льются по щекамъ несдержанныя слезы.

1857.

* * *

Отрокъ вѣжнѣй, мнѣ не надо
Чаръ полуночныхъ пировъ—
Не носи-жь ты мнѣ изъ сада
Пышныхъ розовыхъ вѣнковъ.—

Лучше миртовую вѣтку
Свей вѣнкомъ надъ головой—
И пойдёмъ скорѣй въ бесѣдку
Подъ навѣсъ лозы густой..

1858.

Антологическія фрески.

I.

Посланица боговъ, прекрасная Игея,
Когда-бъ я могъ съ тобою раздѣлить
Остатокъ дней своихъ, въ объятіяхъ Ліаэ,
И наслаждаясь тебя одну любить!
Надѣлитъ ли судьба всемірною державой
И дастъ ли смертному сокровища царей,
Пошлетъ ли любящихъ дѣтей,
Или покроетъ вѣчной славой,
Иль упоеніемъ отрадной страсти кровь
Взволнуетъ смертному богиня Афродита—
Все блѣдно безъ тебя! и лишь съ тобой любовь
Намъ въ розахъ принесетъ весенняя Харита.

II.

Гляди, пришлецъ, на этотъ камень,
Узнай меня—я дочь Тантала;
Меня сразилъ небесный пламень—
И я, живая, камнемъ стала.
Но Пракситель коснулся смѣло
До камня творческой рукою,
И ожило нѣмое тѣло,
Блестая жизнью неземною.

III.

Пышка, зачѣмъ разлучила меня ты съ отрад-
ною грёзой
Звонкимъ своимъ щебетаньемъ надъ пышной
весеннею розой?
Только зашла ты вдругъ на зарѣ надъ куста-
ми Кефиры,—
Сонъ мой исчезъ и унесъ съ собой образъ кра-
савицы Пирры.

IV.

Тщетно я въ море закидывалъ хитрыя мрежи
Макомъ вѣнчанная Ночь ужъ сходила на
землю.—

Легъ я, усталый, подъ сѣнью душистой оливы.
Тихая роща шепталась вокругъ, и Дриады,
Въ листвѣхъ скрываясь, тихо качались на вѣт-
вахъ,

Чутко внимая въ тиши соловьинымъ раскатамъ.
Тамъ я сквозь сонъ, приподнявши лѣнивое око,
Видѣлъ, какъ Панъ, свою флейту отбросивъ,

гонялся
Съ хохотомъ громкимъ за скромной Дриадой,
а Фавны—

Виѣстѣ съ Сатирами, глядя на нихъ, оскла-
блялись.

V.

дѣвъ-діанъ

Дѣва Діана! прости мнѣ, но ликъ твой без-
страстно-прекрасный
Томнымъ видомъ своимъ, красотою холодной и
гордой
Страшенъ мнѣ ночью безмолвный и въ трепетъ
приводить.
Самъ я не знаю за что, но боюсь тебя, словно
ребенокъ
Ночью въ своей колыбели страшашійся Фавна
лѣснаго.
Плювія Зевса молю я, чтобъ онъ быстроход-
ныя тучи,
Эвромъ Фракійскимъ гонимыя, на небо чистое
выслалъ:
Тамъ, между нихъ ты сокроешь свой ликъ
блѣдно-томный, Царица,—
Легче мнѣ станетъ тогда и спокойнѣй я ки-
нусь на ложе.
Если же въ лонѣ Зевеса заблещетъ звѣзда
Афродиты,
Лучъ голубой, мягкосвѣтнѣй ко мнѣ заронивъ
незамѣтно,
Только-что Вesperъ прекрасный затеплетъ
лампаду nocturne—
Съ гимномъ хваленъ богинѣ Аврорѣ, въ гру-
ди затаеннымъ,
Радъ я всю ночь простоять у окошка въ нѣ-
момъ созерцаньи.

VI.

тиндариды.

Смѣло взойдемъ на корму... Надувается па-
русъ...
На морѣ буря кипитъ... Аквилонъ буреносный
Валъ поднимаетъ, борьбу съ нимъ затѣявши
грозно...
Брызги и пѣна летятъ... разгулялося море...
Вѣрно Нептунъ почиваетъ и, бури не слыша,
*

Вѣтрамъ не грянетъ могучее «Quos ego!»
 старецъ...
 Кинемся-жъ въ волны: намъ свѣтитъ во тьмѣ
 путеводно
 Всѣ Тиндариды, блистая сквозь мракъ полу-
 ночный!..
 Нашу замѣтивъ ладью, яркозвѣздныя дѣвы
 Вѣрно спасутъ насъ для новаго счастья и
 жизни..
 Да! позабудемъ для нихъ разъяренное море!..
 Старецъ, почій, опустя свой могучій трезубецъ!

ТИАДА.

Тамъ подъ навѣсомъ вѣтвей кипарисныхъ,
 Гдѣ, по камнямъ пробираясь, струится
 Звонкій ручей, у прохладнаго грота,
 Буду я ждать тебя въ сладкой истомѣ—
 Если придешь—тебѣ кисть винограда
 Выжму въ амфору я съ пѣсней «εὐ εἶς»

ВЪ ДЕНЬ МАРТОНАЛІЙ.

Въ день Мартоналій, тебѣ посвященный, Кип-
 рида!
 Я возжигаю куренья на дернѣ зеленомъ,
 Мурро съ двухлѣтнимъ виномъ изливая на
 камень
 Тутъ же и жертвенный уголь. Вонми, о богиня!
 На годъ текущій пошли ты моей Фракеянкѣ
 Въ пляскѣ дорической ловкость и нѣгу движеній,
 Голосу въ пѣсняхъ, и гибкость перстамъ, и
 веселье,
 Пусть ея кудри повьются густою волною,
 Пусть ея перси и формы упругаго тѣла
 Всѣмъ близкою молочной блестятъ и небрежно
 Косскія ткани прозрачныя ихъ прикрываютъ!
 1857.

* * *

Полдень жарокъ... Дай, подъ сѣнью
 Я прилягу, отдохну,
 И, объятый сладкой лѣнью,
 Задремлю я и засну.

Жажда мучить... въ эту пору
 Я бѣ ручей испилъ до дна—
 Напѣди же мнѣ амфору
 Ты хіосскаго вина,—

А за то тебя Цирцея
 Наградить: а я — спую
 Про дѣянья Одиссея,
 Иль изъ Сафо въ честь твою.

1857.

* * *

Будь весела и чиста
 Дѣтски-невинной душой...
 Нѣтъ, твою грудь и уста—
 Пусть не лобзаетъ другой!

Только забрезжетъ звѣзда,
 Жди, я вернуся съ полей—
 Ты свои кудри тогда
 Миртомъ зеленымъ увей.

1857.

* * *

Дѣва, жми со мною
 Гроздья винограда!
 Я—сатиръ рогатый
 Ты—моя Тиада!

Спать струи Пеней
 Въ тростникахъ болтливыхъ;
 Дочерей Нерей
 Не уймешь игривыхъ...
 Пусть себѣ играютъ
 Рѣзвою толпою
 И водою плещутъ
 Тамъ подъ осокою.

1857.

* * *

Небо пламенной Элады
 Вновь сияетъ надо мной,—
 Дѣва! рѣзвыя Дриады
 Манятъ насъ подъ мартъ густой!
 Вонъ, подъ сѣнью гроздій зрѣлыхъ
 Дремлетъ Фавнъ полунагой
 Межъ Сатировъ опьянѣлыхъ—
 Что же медлить намъ съ тобой?

1857.

* * *

О, не забуду я, объятый страстью нѣжной,
 И грезой чудною, и думою мятежной,
 Въ часы безсонницы блескъ пиришественныхъ
 свѣтъ,

И за амфорою твою живую рѣчь,
 И жаръ твоихъ ланитъ, и блескъ и нѣгу взгляда,
 И миртовой вѣнокъ, и кисти винограда,
 Улыбку ясную и ароматъ кудрей,
 И эту женственность движеній и рѣчей...
 И долго, юноша! горячку не уйму я,
 Томимый грезами и жаждой поцѣлуя.

1857.

* * *

Напѣнь полный сосудъ мнѣ искристымъ виномъ.
 И миртомъ увѣнчай мнѣ голову сѣдую,
 Цвѣтами перевей амфору золотую,
 И въ пляскѣ обнаживъ плечи предъ старикомъ.
 Ты народомъ умастись. — Пусть яркій твой
 румянецъ
 Меня согрѣетъ здѣсь, подъ сводомъ колоннадъ,
 Гдѣ спутавшись повисъ кистями виноградъ
 И сквозь акаціи зардѣлся померанецъ.

1857.

Пальцемъ у ней на плечѣ.—Она дышетъ въ
приятной дремотѣ,
Жаркимъ дыханьемъ своимъ глубоко распалая
мнѣ сердце:
Страсть сожигаетъ меня—и спѣшу насладиться
я съ нею.
Пламя любви раздуваетъ Эротъ насъ все боль-
ше и больше
И вспоминаетъ тотъ мигъ, когда, оказавъ намъ
услугу,
Онъ и себѣ торжество вмѣстѣ съ нами устроилъ
счастливецъ!

Элегія VI.

«Можно ль, жестокий, обидѣть меня такимъ
страшнымъ укоромъ!?
Станетъ ли ѣдко и грубо такъ выражаться
влюбленный?
Если винять меня люди, я стану терпѣть: я
отчасти,
Знаю—сама не безгрѣшна, но, вѣрь мнѣ,—съ
однимъ лишь тобою!
Этотъ прелатскій костюмъ у завистливой на-
шей сосѣдки—
Вѣрный свидѣтель тому, что вдова ужъ не
плачетъ по мужъ...
Вспомни, не ты ли являлся ко мнѣ опромет-
чиво ночью,
Въ длинной и темной одеждѣ, въ кружокъ по-
добравъ свои кудри? .
Вспомни, не ты ли шутя одѣвался священной
особой?
Ты, разумѣется, долженъ тогда былъ прелатомъ
казаться.
Въ Римѣ святомъ же (хотя тому вѣрятъ едва
ли) клянуса,
Что ни одинъ изъ духовныхъ обѣтій моихъ
не отвѣдалъ!
Я, къ сожалѣнью, была молода и бѣдна и зна-
кома
Всѣмъ соблазнителямъ: часто глазѣлъ на меня
Фальконьеры,
Сводникъ Альбани не разъ, въ напыщенной
нѣжной запискѣ,
Къ Остіи въ полночь придти мени вызывалъ
на свиданье.—
Такъ всѣ мужчины искали меня, а дѣвицы
чуждались
Въ сердцѣ жъ всегда неавидѣла я кардинала
съ прелатомъ!
«Дѣвушки, вы черезъ страсти всегда подь-ко-
нецъ ужъ въ обманѣ!»
Разъ мнѣ отецъ мой сказалъ, хотъ мать при-
нялъ это легче.
Такъ!.. наконецъ и сама я обманута!.. Ты же
со мною
Ссоришься только для виду: меня ты покинуть
задумалъ!
Прочь!.. не достойны вы женщины!.. мы носимъ
младенцевъ подъ сердцемъ—

Съ этой же ношей и вѣрность къ любовнику
въ сердцѣ мы носимъ!
Вы же теряете вмѣстѣ съ вашею силой и
страстью
Разомъ и вашу любовь въ концѣ наслажденія
съ нами!»
Такъ говорила мнѣ милая. Взявши со стула
младенца,
Къ сердцу прижала его съ подѣлуемъ и вдругъ
зарыдала...
Сълъ я—и стало мнѣ стыдно, что слухи людей
злорѣчивыхъ
Этотъ прекраснѣйшій образъ могли запятнать
предо мною.

* * *

Тускло, мигая, горитъ огонекъ и сейчасъ за-
дымится,
Если вода его пылъ пролившись внезапно за-
тушитъ;
Скоро однако жъ опять разсѣтъ дымокъ, про-
яснится—
Мигъ—и могучѣй, чѣмъ прежде, рвется бле-
стящее пламя.

Элегія VIII.

Молвишь ли слово ты мнѣ о своемъ о безра-
достномъ дѣтствѣ,
Какъ ты не правилась людямъ, и какъ тебя
мать не любила,
Какъ развивалася ты и росла въ тишинѣ не-
замѣтно,—
Кажешься ты мнѣ тогда, о, прекрасная! чуд-
нымъ созданьемъ:
Такъ ошибаются съ виду лозой неразцвѣтшей;
но только
Грозди созрѣютъ—ихъ боги и люди вкушаютъ
съ восторгомъ.

Элегія IX.

Пасмурно пламя горитъ въ деревенскомъ уют-
номъ каминѣ;
Хворость такъ быстро трещить, и сіяетъ, и
кверху несется.
Нынѣшній вечеръ особенно радостенъ мнѣ:
скоро, скоро—
Раньше еще чѣмъ истлѣетъ подъ пепломъ вотъ
эта вязанка,
Явится милая—хворость, полѣнья тогда запы-
лаютъ;
Ими согрѣтая ночь намъ будетъ блистательный
праздникъ.
Утромъ же рано она оставитъ любовное ложе
И подъ золою проворно раздуетъ огонь она
снова...
Даръ ей присвоилъ Эротъ: возбуждать она
снова умѣетъ
Радость почти стихшую, какъ бы потухшую
въ пеплѣ.

Элегія X.

Вѣрю, что мнѣ Александръ, и Цезарь, и Ген-
рихъ, и Фридрихъ,
Многіе славные мужи свою уступили бы славу,
Если бы я имъ позволилъ занять мое мѣсто у
милой
Хоть на одну-то бы ночь на ложѣ любви без-
завѣтной!
Только—несчастные!—крѣпко ихъ держать без-
жалостный Оркусъ!..
Радуйся жъ, смертный, пока тебя жизнь и лю-
бовь согрѣваютъ,
Леты ужасной пока ты не коснулся пятой.

Элегія XI.

Вамъ, о, Граціи! въ жертву приносить поэтъ
на треножникъ
Малый плодъ вдохновенья, украшенный юною
розой,—
Онъ ужъ и этимъ утѣшенъ. Художникъ дово-
ленъ собою,
Видя свою мастерскую похожей на храмъ Пан-
теона:
Долу склоняетъ Юпитеръ ликъ свой божест-
венно грозный,
Но повелѣла Юнона—и снова его онъ поды-
метъ;
Фебъ выступаетъ впередъ, встряхнувъ головою
кудрявой;
Грозно взираетъ Минерва съ небесъ, и Гер-
месъ легкокрылый
Въ сторону взглядъ свой отводитъ—взглядъ и
лукавый и вѣжнѣй;
Бахусъ же слабѣй и дрѣмный вмѣстѣ съ Ци-
терой подняли
Взоръ сладострастный къ поэту, влажный и въ
мраморѣ самомъ,—
Словно-бъ она говоритъ ему, вспомя о слад-
кихъ объятяхъ:
«Развѣ не долженъ божественный сынъ нашъ
стоять между нами?»

Элегія XIV.

—Мальчикъ, зажги мнѣ лампаду!
— «Еще вѣдь свѣтло..
Что же тратить
Масло съ свѣтильной напрасно... Пусть ставни
побудутъ открыты.
Солнце еще вѣдь не сѣло, а только скрылось
за домомъ —
Съ-полчаса времени будетъ еще до вечерняго
звона». —
—Слушай, негодный! когда приказалъ я, такъ
дѣлай!.. Иди же!
Я поджидаю къ себѣ мою милую; ты же, лам-
пада,
Добрая вѣстница ночи, меня утѣшай до сви-
данья!

Элегія XVI.

—Милый, зачѣмъ не пришелъ ты сегодня ко мнѣ
въ виноградникъ,
Я свое слово сдержала, прождавши тебя одиноко.
—Душенька, я уже было пришелъ, да къ не-
счастью твоей дяди
Мнѣ тамъ попался: онъ около длинныхъ ты-
чинъ съ виноградомъ
Такъ хлопоталъ, суетился,—что вонъ поскорѣ
оттуда
Крадучись, я убѣжалъ..
—О, милый! ты страшно ошибся!
Пугало принялъ за дядю, которое птицамъ для
страху
Вмѣстѣ со мной смастерилъ онъ изъ старого
платья и тряпокъ;
Я же, какъ будто на зло, сама ему такъ по-
мѣгала!..
—Ну, такъ ужъ, значить, исполнѣ старику уда-
лася продѣлка:
Самую хищную птицу спугнулъ онъ! а то-бы
сегодня
Разомъ украла-бъ она и племянницу съ сади-
комъ вмѣстѣ!

Элегія XVII.

Многіе звуки противны мнѣ, болѣе жъ прочихъ
собачьи
Лай и ворчанье: они ужасно мой слухъ разди-
раютъ.
Пса одного лишь я слушаю часто съ большою
охотой,
Пса у сосѣда, который на привязи съ-измала
ходитъ;—
Милъ же онъ мнѣ потому, что лаялъ на милую
сильно
Въ часъ, какъ она на свиданье однажды ко мнѣ
проходила,
Чуть-было намъ не разстроилъ онъ лаемъ счаст-
ливѣйшей ночи,
Такъ что заслыша его, я думаю: «вотъ не
она-ли?!»
Иль вспоминаю то время, когда ее ждалъ съ
нетерпѣньемъ.

Элегія XVIII.

Больше всего мнѣ досадно *одно*, а *другое*, про-
тивно,
Вовсе противно и каждую жилку во мнѣ воз-
мущаетъ!
Мысль не загадочна, — мнѣ же хотѣлось бы
вамъ и признаться.—
Знайте: *досадный* всего для меня — одинокое
ложе;
Но ничего гнѣтъ *ужасный*, какъ вдругъ на пути
наслажденья
Чернаго яда змѣи подъ розой веселья стра-
шиться.

Въ лучший нашъ мигъ, когда радости мы межъ
 собой предаемся,
 Если къ склоненной головкѣ твоей вдругъ при-
 близится дума
 Тяжкой заботы и грусти—о, это мнѣ столь же
 несносно!..
 Вотъ потому-то все очастье и сдѣлала мнѣ Фа-
 устина:
 Дѣлать охотно со мной она ложе и вѣрному
 платить
 Вѣрностью точно. Но быстрая юность прелест-
 ныхъ препятствій
 Требуешь. Я же люблю наслаждаться спокойно
 и долго.
 Что за блаженство!—Взаимно пѣлуясь, живемъ
 наслажденьемъ,
 Духъ вмѣстѣ съ жизнію мы вливаемъ другъ въ
 друга спокойно.
 Такъ наслаждаясь долгою ночью, мы чутко вни-
 маемъ,
 Грудь прижавши къ груди, и грозамъ, и бурямъ,
 и ливню.
 Такъ застаетъ насъ и утро. Часы наслажденья
 приносятъ
 Намъ еще новыхъ цвѣтовъ, что праздничный
 день украшаютъ.
 Будьте же мнѣ благотворны, Квиригъ,—и Богъ
 да надѣлитъ
 Каждого, какъ и меня, первымъ изъ благъ всего
 міра!

1856.

Изъ Гейне.

I.

Вѣдь свѣтъ нашъ глупъ, вѣдь свѣтъ нашъ слѣпъ
 Своею пошлостью безмѣрной:
 Онъ говорить, что у тебя
 Характеръ, милая, прескверный.
 Но свѣтъ нашъ слѣпъ, но свѣтъ нашъ глупъ:
 Онъ не пойметъ тебя, не зная—
 Какъ жжешь огнемъ ты свѣжихъ губъ—
 И какъ ласкаешь, изнывал!..

II.

Чутко въ сердцѣ отдается
 Майской пѣсни чудный звонъ—
 Пусть звучитъ же, пусть несется
 Вдаль быстрый и чище онъ!
 Ты несишь къ цвѣтамъ весеннимъ,
 Облетаешь скорѣй весь свѣтъ,
 И когда увидишь Розу—
 Передай ей мой привѣтъ.

III.

Дай же ручку: каждый пальчикъ
 Я еще перецѣлю,
 Обниму тебя еще разъ
 И уйду, и затоскую...

Отъ твоихъ лукавыхъ глазокъ
 Нѣтъ на свѣтъ мнѣ покою—
 Все одна загадка мучитъ:
 Самъ не знаю, что со мною...

IV.

На крылахъ волшебной пѣсни
 Я умчу тебя далеко
 И найду для насъ я мѣсто,
 Тамъ, гдѣ Гангъ течетъ широко,
 Гдѣ въ сѣняхъ тихолуномъ
 Садъ пурпурный разцвѣтаетъ,
 Гдѣ сестрицу дорогую
 Яркій лотосъ поджидаетъ.
 Тамъ съ улыбкою фіалки
 Устремляютъ къ звѣздамъ глазки,
 И въ ушко другъ другу розы
 Шепчутъ радужныя сказки.
 Тамъ—и кроткія газели
 Чутко прыгаютъ, рѣзвясь—
 А вдали—рѣки священной
 Волны плещутся, катятся...
 Тамъ подъ пальмою забывшись,
 Насладимся мы съ тобою
 И любовію, и миромъ,
 И блаженною мечтою...

V.

Иные молятся Мадоннѣ,
 Иные Павлу и Петру,
 А я, прекрасное ты солнце,
 Тебѣ лишь, въ ночь и поутру:
 «Дай поцѣлуевъ, дай блаженства,
 Пойми мольбы моей напѣвъ,
 Межъ дѣвъ прекрасѣйшее солнце!
 Подъ солнцемъ лучшая изъ дѣвъ!»

VI.

И липы цвѣли и гремѣлъ соловей,
 И солнце рвалось веселѣе блеснуть, —
 А ты обнимала меня горячѣй,
 И знойно лобзала, и льнула на грудь.
 Но глянула осень... ужъ листъ опадалъ,
 Послало и солнце прощальный привѣтъ, —
 Тогда я «прощайте» учтиво сказалъ,
 А ты мнѣ учтиво присѣла въ отвѣтъ.

VII.

Какъ можешь ты спокойно спать,
 Межъ-тѣмъ, какъ я еще живу? —
 Вѣдь старый гнѣвъ придетъ опять —
 И я всѣ узы разорву!..
 Слыхала пѣсню ты не разъ,
 Какъ рыцарь—сумрачный мертвецъ,
 Свою любовь въ полночный часъ
 Увлечъ въ могилу подъ вѣнецъ.

Страшисъ меня, мое дитя:
И я въ полночь придти готовъ;
Но я вѣдь живъ я, не шута,
Сильнѣе всякихъ мертвецовъ.

Я пенять зимѣ не буду
За тоску да за бездѣлье:—
Я любовь въ груди лелѣю
И весеннее веселье.

VIII.

Приснилась сегодня мнѣ царская дочь:
На блѣдныхъ щекахъ ея слезы горѣли;
Мы съ нею обнявшись подъ липой сидѣли,—
И намъ улыбалася майская ночь...
И я говорилъ ей: «не надо мнѣ трона,
Я скинтра отца твоего не хочу:
Мнѣ будетъ тяжка золотая корона, —
Лишь ты для меня!.. я съ тобой улечу!..»
—О, нѣтъ, не надѣйся, мой рыцарь любимый!
Не жить намъ съ тобой—я давно умерла,
И въ полночь къ тебѣ лишь тропкою незримой
Изъ гроба воздушною тѣнью пришла...

XIII.

Блѣдный Гейнрихъ бредетъ себѣ мимо
А Гедвига лежитъ на окнѣ
И лепечетъ: «какъ блѣденъ онъ, Боже!
Словно мертвый, все кажется мнѣ!..»
Вдругъ глаза поднимаетъ онъ кверху
И не сводитъ ихъ страстно съ окна—
И Гедвига страдаетъ и любить,
И сама, какъ мертвецъ, ужъ блѣдна.
Съ этихъ поръ, и любя и страдая,
У окна все Гедвига стоитъ—
Но ужъ скоро, объятая друга,
Среди ночи она подаритъ!..

IX.

Мнѣ снилось: печально свѣтила луна
И звѣзды на небѣ мерпали печально,—
Я мчался къ прекрасной отъ пристани дальней
Въ тотъ домъ, гдѣ жила одиноко она.
Примчался—и страстно порогъ цѣловалъ,
И камни ступень цѣловалъ и перила,
Гдѣ ножка-малютка такъ часто скользила
И станъ, опираясь на нихъ, отдыхалъ...
А ночь непривѣтно была холодна,
И хладны забытыя были ступени —
И снилось, какъ-будто въ окно, въ полутѣни
На призракъ печальный свѣтила луна...

XIV.

Ты влюблена, мой милый другъ;
Тебя всю страстью обняло;
Темно въ головкѣ стало вдругъ,
Зато на сердцѣ такъ свѣтло.
Ты влюблена, мой милый другъ,
И отъ меня ты хочешь скрыть,
Но этотъ жаръ про твой недугъ
Невольно будетъ говорить.

X.

Всѣ цвѣты глядятъ уныло...
Сны весенніе не милы...
Звуки пѣсни соловьиной
Такъ таинственно-унылы...
Ясно мнѣ не улыбайся—
Лучше плачь, мой другъ, прошу я:
На лицѣ слезу охотно
Поцѣлуемъ осушу я...

XV.

Напрасны поздній улыбки!
Былое чувство не зови:
Давно я схоронилъ ошибки
Тобой осмѣянной любви...
Нѣтъ, взоры страсти мнѣ не милы,
Хоть блескъ ихъ также все могучъ—
Мнѣ въ душу падаетъ ихъ лучъ,
Какъ солнце на плиту могилы.

XI.

Фиалки блистаютъ въ небесныхъ очахъ
И пышныя розы цвѣтутъ на щекахъ,
А ручка, какъ лилія, нѣжно бѣла—
Цвѣтешь ты роскошнѣй, чѣмъ прежде цвѣла:
Любуюсь тобой—а на сердцѣ печаль;
Зачѣмъ твое сердце такъ черство, мнѣ жаль!

XVI.

Блистаютъ неподвижно
Всѣ звѣзды въ вышинѣ;
Ужъ много лѣтъ на землѣ
Глядятъ съ тоской онѣ.
И рѣчи ихъ такъ чисты,
Такъ чуденъ ихъ удѣлъ,
Что ни одинъ филологъ
Понять ихъ не умѣлъ.
Но я имъ научился
Недаромъ съ давнихъ поръ:
Грамматикой служилъ мнѣ
Моей малютки взоръ.

XII.

Пусть въ сугробахъ снѣгъ кружится,
Пусть бушуетъ непогода,
И въ окно мнѣ градъ стучится,
И зимой грозить природа!—

XVII.

Зачѣмъ эти розы такъ вялы и жалки,
Скажи, дорогая, зачѣмъ?

Зачѣмъ пригорюнился вѣнчикъ фіалки,
Невеселья и будто бы нѣмъ?

XXI.

Зачѣмъ соловьиныя пѣсни унылы
И млѣютъ онѣ и дрожатъ?
Зачѣмъ будто запахъ тяжелой могилы
Цвѣты издаютъ ароматъ?

Зачѣмъ холодно и угрюмо, порою
Играетъ безжизненный лучъ,
Какъ будто весь свѣтъ сталъ могилой глухою
И мрачно, какъ будто средь тучъ?

Зачѣмъ же и самъ я такъ смутенъ и боленъ,
Скажи дорогая моя?
Зачѣмъ бы тебя удержать я не воленъ,
Зачѣмъ ты бѣжишь отъ меня?

XVIII.

Иные когда разстаются,
Не сводятъ другъ съ друга лица
И плакать, глядишь, начинаютъ,
И вздохи у нихъ безъ конца
Но мы разставались иначе:
Безъ вздоховъ предъ долгимъ путѣмъ,
А слезы и тяжкіе вопли
Явились сами — потомъ.

XIX.

Ночь была холодна и дождлива,
Вѣтеръ вылъ, какъ живой среди горъ.
Завернувшись въ плащъ свой, скакалъ я
Одинокъ черезъ сумрачный боръ.
Я скакалъ — и со мною неслося
Много свѣтлыхъ и призрачныхъ думъ,
Онѣ къ дому любимой подруги
Уносили и чувство и умъ.
И мнѣ грезилось: лаетъ собака,
И служанка бѣжитъ со свѣчой
И со звономъ отъ шпоръ и взбѣгаю
Вверхъ по лѣстницѣ круто-витой,
И вхожу въ ея комнату смѣло —
Какъ отрадна она и тепла!
Тамъ ждала меня страстная дѣва
И въ объятія свои приняла.
А межъ тѣмъ и деревня и вѣтеръ
Говорятъ мнѣ шумливой толпой:
«Что съ тобой?!... Что ты бредишь, безумецъ,
Со своею безумной мечтой!...»

XX.

Изъ слезъ моихъ вырастетъ много
Душистыхъ прекрасныхъ цвѣтовъ
И выльются изъ груди вздохи
Какъ пѣсня, какъ звукъ соловьевъ.
И если меня ты полюбишь,
Отдамъ я тебѣ тѣ цвѣты
И пѣснь соловья предъ окномъ
Услышишь, о, милая, ты!...

Я хочу упоить свою душу
Въ бѣлыхъ вѣнчикахъ нѣжныхъ лилеѣ,
А лилеи пусть пѣсню слагаютъ
Въ честь малютки любимой моей.
И пусть пѣсня звучитъ и трепещетъ
Какъ лобзаніе губокъ твоихъ,
Что когда-то ты мнѣ подарила
Въ мигъ блаженства, какъ вечеръ затихъ.

XXII.

Дѣва — розовыя губки,
Дѣва — глазки ярче дня! —
Ты моя... моя, красotka!
Разцвѣтай же для меня...
Дологъ нынче зимній вечеръ:
Мнѣ бъ хотѣлось быть съ тобой, —
Близъ тебя сидѣть, болтая,
Въ нашей комнатѣ простой,
Да капризную рученку
Прижимать къ своимъ губамъ,
Орошать ее слезами,
Дать просторъ своимъ мечтамъ...

XXIII.

Мы вмѣстѣ съ тобою сидѣли
Печально одни въ челнокъ...
А ночь такъ тиха... и летѣли
Мы быстро по сонной рѣкѣ.
Волшебнаго острова склоны
Вдали освѣщались луною;
Тамъ слышались чудные тоны
И духи кружились толпою.
Они тамъ любили незримо,
Кружась на волшебномъ просторѣ,
А мы, безутѣшные, мимо
Несли въ далекое море.

XXIV.

Въ волнахъ отражается мѣсяцъ,
Блестя отъ конца до конца,
А я у прекрасной въ объятыхъ —
И наши трепещутъ сердца,
Въ объятыхъ рыбацки покойно
Лежу на прибрежномъ пескѣ —
«Что внемлешь ты вѣтру и бурѣ,
Что дрожь пробѣгаетъ въ рукѣ?
То звуки не бури, а пѣсни —
Такъ брось же напрасный ты страхъ:
То въ полночь поютъ мои сестры,
Погибшія рано въ волнахъ».

XXV.

Моя красавица сіяла
Печально-мрачной красотой.

И смутно сказку мнѣ шептала
Средь нѣчи трепетно-нѣмой:

«Въ саду влюбленные сидѣли
Подъ дубомъ, молча, вдалекѣ —
У соловьевъ дрожали трели,
И лунный свѣтъ дрожалъ въ рѣкѣ...

«У ногъ красавицы смущенной
Любовникъ страстно изывалъ —
И вдругъ... какъ призракъ, пѣступленный
Предъ ними грозный мужъ предсталъ, —

«И рыцарь въ панцырѣ и каскѣ.
На землю рухнулъ въ крови, —
Таковъ конецъ и нашей сказкѣ
И нашей жизни и любви»...

XXVI.

Проносится тихо надъ міромъ весна:
Цвѣты и деревья цвѣтутъ;
По небу, проснувшись отъ долгаго сна,
Пурпурныя тучки плывутъ;

И въ вѣтвяхъ кудрявыхъ, средь ночи нѣмой,
Роскошно поютъ соловьи;
И нѣжится стадо въ травѣ луговой;
И звонко сбѣгаютъ струи; —

А мнѣ ужъ не гнѣть и не видѣть земли:
Я въ душномъ гробу погребенъ, —
И чудится пѣсня мнѣ въ звонкой дали,
И странный мнѣ грезится сонъ...

XXVII.

Потухаетъ мерцающій вечеръ
И туманъ опустился на море;
И бѣлѣютъ кипучія волны,
Подымаясь въ таинственномъ спорѣ.
Выплываетъ Ундина изъ моря
И садится ко мнѣ осторожно:
Ея бѣлыя груди трепещутъ
И волнуется сердце тревожно...

Обнимаетъ она меня страстно,
Прижимая къ груди и ледѣя. —
Что такъ крѣпко меня ты сжимаешь!
Водяная прекрасная фея?
«Я тебя обнимаю такъ крѣпко,
Потому что согрѣться хочу я
Близъ тебя: чтѣ-то пѣсмуренъ вечеръ, —
Видишь: волны гуляютъ, бушуютъ»...
Блѣдный мѣсяцъ играетъ въ туманахъ,
А туманы клубятся, густѣя...
Твои очи такъ смутны и влажны,
Водяная прекрасная фея...
«Это только теперь они влажны,
(А тѣ влажны они не бывають),
Потому что я вышла изъ влаги
И въ нихъ влажные капли сверкають»...

Раскричались унылыя чайки
И бушуетъ пучина, темнѣя, —
Твое сердце такъ дико трепещетъ,
Водяная прекрасная фея...
«Мое сердце трепещетъ такъ дико,
Потому что страдаю смертельно
И люблю я — тебя человѣка...
А люблю я тебя безпредѣльно!»...

XXVIII.

Далѣко море отражало
Лучи послѣдніе заката;
Молчали мы — и все молчало,
Была темна рыбацья хата...
Ночной туманъ окуталъ воды,
Лишь чайка въ немъ одна кружилась,
Подъ гнѣтомъ скорби и невзгоды
Слеза изъ глазъ твоихъ катилась...
И много слезъ себѣ на руки
Лилъ въ ту ночь ты безотрадно,
И съ поцѣлуемъ, полнымъ муки,
Глоталъ тѣ слезы я такъ жадно...
Съ тѣхъ поръ все душу безпредѣльно
Терзають сумрачныя грѣзы, —
Я отравленъ тобой смертельно:
Отравой были эти слезы! 1857.

Б Ы Ч Е К Ъ.

НАРОДНАЯ СКАЗКА ¹⁾.

На побывку, погостить въ деревню,
Навернулся паренъ изъ столицы, —
Самъ онъ, значить, былъ оттуда родомъ, —
Стариковъ своихъ провѣдать вздумалъ

И себя-то, кстати, односельцамъ
Показать во всемъ московскомъ форсѣ:
Вотъ, молъ, нынѣ каковы мы стали!
А деревня та была глухая,
Изъ такихъ заброшенныхъ и дальнихъ,
Что зовутъ «Медвѣжьими Углами».
Вотъ въ воскресный день и ходитъ паренъ,

¹⁾ Мотивъ сказки заимствованъ изъ устнаго народнаго разсказа, слышаннаго авторомъ въ Бѣжецкомъ уѣздѣ Тверской губерніи.

Вдоль села съ гармоникой гуляетъ,
Папироски межъ зубовъ палить,
Въ хороводъ гостинцами пускаетъ;
Самъ въ «спинжака», въ пливсомъ жилетъ,
При цѣпочкѣ и часахъ въ карманѣ,
Сапоги высокіе, личные,
А поверхъ сапогъ еще калоши,
Да и зонтикъ дождевой подъ-мышкой.—
Просто, парнямъ молодымъ на зависть,
А невѣстамъ всѣмъ на заглядѣнье!
Мужики, и тѣ-то диву дались:
— Ахъ ты, шутъ Исайка!.. Кто бы думалъ!
Вишь, какимъ вдругъ фертомъ облывился!
При цѣпочкѣ, шельма, шеголяетъ,
Да еще, гляди, при капиталѣ.
Ну, старикъ Вавилычъ, раскошелся,
Ставь ведро на мѣръ да угости-ка,
Поднеси за то, что Богъ те сына,
Вишь, какого далъ, семьѣ на радость!
Онъ у васъ и шеголь, и разумникъ,
Да гляди, и на деньгу добычникъ,
И тебѣ деньгой-то помогаетъ;
Ну, а ты за то поставь ведро,
Угости на радостяхъ сосѣдей!
Собрались у кабака миряне
Распивать отцово угощенье,
А межъ ними и сынокъ московскій
Похваляясь держать рѣчь такую:
— Что вы, други, на меня дивитесь,
Аль и впрямъ людей-то не видали?
Эхъ, такіе-ль есть еще въ Москвѣ-то!—
Тамъ иной и барамъ не уступить,
Нужды нѣтъ, что самъ въ лаптяхъ родился!
Я-то что!.. Положимъ, кой что значимъ,
Потому въ артельщикахъ при банкѣ
У купца-голландца проживаемъ,—
Триста въ годъ, на всемъ, вишь, на готовомъ,
А какіе сверхъ того доходы,
То идетъ на подражанье моды.
Да одно мое пока вотъ горе:
Образованности настоящей
Не хватаетъ... А кабы не это,
Самъ бы сталъ теперь я воротилой
Былъ бы ужъ какою въ банкѣ силой!
И не то что батьку съ маткой только,
А и васъ-то всѣхъ озолотилъ бы!..
Есть у насъ такія заведенья,
Просто, людямъ всѣмъ на удивленье,—
Прозываютъ ихъ «ниверситетомъ»,
Да еще «гимназіями» тоже;
Такъ вотъ тамъ-то, братцы,—просто чудо!—
Приведи ты имъ, кажись, хоть звѣря,
Хоть какую ни-на-есть скотину,
И изъ той они тебѣ сумѣютъ
Въ два-три года человѣка сдѣлать,
Настоящаго, какъ надо, человѣка,
И наукамъ всѣмъ его обучать,
И на мѣсто даже опредѣлять.
Такъ кабы вотъ въ этой-то наукѣ
Побывать мнѣ съ-измалу досталось,
Эхъ, не то-бъ и было!.. Не такимъ бы

Къ вамъ теперь явился на побывку,
А быть можетъ важнымъ господиномъ,
И тогда не то что волостные,—
Самъ исправникъ былъ бы здѣсь съ поклономъ.
Межъ другими слушалъ краснорѣч
Захудалый старый мужиченко
Кирикъ, по прозванью Оголтѣлый.
Слушалъ онъ, не проронивъ словечка,
Намоталъ себѣ тѣ рѣчи на ушъ
И тихонько пошелъ до дому;
Легъ соснуть,—не спится на полатахъ...
Ужъ и такъ, и этакъ онъ мостится,
То на тотъ бокъ, то на этотъ ляжетъ,
Покрахтитъ, вздохнетъ, зѣвнетъ съ молитвой,—
Все нѣтъ сна... Съ чего бы такъ?—Поди-жъ ты!
А съ того все, что въ банку засѣла
Словно гвоздь одна и та же дума.
Такъ и сякъ умомъ онъ пораскинулъ,
Такъ и этакъ снова передумалъ
И рѣшилъ, что надо тихимъ ладомъ
Обо всемъ поговорить съ хозяйкой.
— Слышь, Маланья... Только, чуръ, ни слова,
Ни гу-гу!.. Сосѣдкамъ не обмолвись,
Не проврись, гляди, ботливымъ часомъ,—
Дѣло важное... Узналъ я давѣ,
Будто, слышь, въ Москвѣ есть заведенья,—
Какъ лишь звать-то ихъ теперь не вспомню,
Мудрено ужъ больно, не по-русски,
А доточно есть такія школы,
Что какую имъ не дай скотину,—
Вотъ хоть черный нашъ бычекъ, примѣрно,—
Изъ него они те сдѣлать могутъ
Въ два-три года прямо человѣка,
Настоящаго, какъ надо, человѣка,
И наукамъ всѣмъ его обучать,
И на мѣсто даже опредѣлять.
Вотъ я, семь-ка, это и мекаю:
Богъ-то намъ съ тобой, вишь, дѣтокъ не далъ,
Да къ тому же не далъ и достатку,
А вѣдь старость, глядь, не за горами...
Ужъ и нынѣ я не тотъ, что прежде,
Плохо что-то сталъ съ сохой справляться,
Нѣтъ уже въ рукахъ-то прежней силы;
Да и ты-то по хозяйству тоже
Всякъ-ли день прибраться поспѣваешь...
Что ужъ, мать!—подслѣшовата стала...
А что далѣй, то все будетъ хуже,—
Тяжело безъ дѣтокъ-то въ крестьянствѣ!..
Вотъ, мекаючи про все про это,
И надумалъ я такое дѣло:
Отведемъ-ка мы бычка въ Москву-то
Да сдадимъ его тамъ въ эту школу.
Вѣдь сама подумай,—шутка-ль молвить!—
Въ два-три года станетъ человѣкомъ;
Къ намъ потомъ же съ выучки вернется,
Будетъ мнѣ съ тобой замѣсто сына
Нашу старость холить да покоить,
Помогать въ мужичьей мнѣ работѣ.
А потомъ, дастъ Богъ, и женимъ «Быньку»,
Какъ невѣстку пригладимъ по нраву,
И пойдутъ у насъ бычковы дѣтки,

Намъ съ тобою малые внучата,—
То-то жизнь настанетъ золотая!..
Только чуръ, старуха, не проворися!—
Все тишкомъ-молчкомъ обдѣлать надо,
А то вдругъ провѣдаютъ сосѣдки,
Много ихъ, охотницъ-то, найдется,—
Всѣхъ бычковъ, гляди, въ Москву потащатъ,
Перебьютъ дорогу, и въ послѣдяхъ
Намъ съ тобой оставятъ шишъ еловый.
А ужъ я, куда ни шло, поставлю.
Такъ и быть, полштофъ, другой Исайкѣ,
Лишь бы онъ списалъ мнѣ на записку
Какъ назвать-то это заведенье;
А съ названьемъ, тамъ уже, въ Москвѣ-то,
Какъ придемъ, и сами все разыщемъ.

Соблюла зарокъ старуха свито,—
Ни одной кумѣ не проболталась,
Словно въ ротъ воды себѣ набрала.
А тѣмъ часомъ Кирикъ Оголтѣлый
Выправилъ билетъ у волостного,
Раздобылъ записку отъ Исайки
И затѣмъ ранѣхонько, до свѣта,
Собрался съ женою въ путь дорогу:
Завязалъ въ трипицу всѣ деньжонки,
Да поглубже въ пазуху засунулъ
И готовъ,—лишь хлѣба двѣ котомки
Да лаптей по парѣ захватили,
На собакъ по доброй палкѣ взяли,
А бычку надежную веревку
Навязали на обонь рожки
И, на церковь покрестясь чинно,
Повели бычка вдоль по дорожкѣ,
Головой мотаешь глупый «Бынька»,
Упирается, идти не хочетъ,
Словно сердцемъ худо себѣ чуетъ.
— Ну, иди, иди, братъ, не бодайся!
Не на бойню тащатъ, а въ науку,
Человѣкомъ изъ науки выйдешь,
Самъ же намъ потомъ «спасибо» скажешь.

Видитъ Бынька, сколько ни брыкайся,
Ничего тутъ больше не подѣлать,
И смирился предъ теличьей долей:
Будь что будетъ,—студень иль жаркое!
Такъ-то шли, да шли они дорогой,
Много-ль, мало-ль, долго—коротко-ли,
Но проходить, наконецъ, въ столицу.
Вотъ теперь мудреная задача,—
Отыщи, поди-ка, то что нужно!
Какъ ни какъ, однако-жъ отыскали,
Хоть и много улицъ исходили,
И прохожихъ сколько разъ пытали—
Какъ найти, молъ, это заведенье.
Что Исайка прописалъ въ запискѣ?
Наконецъ, нашли, добились толку,
Во свое какъ разъ попали мѣсто:
Видать—домъ большой стоитъ на горкѣ,
Впереди чугунная рѣшетка,
У рѣшетки при воротахъ будка,
А при будкѣ ундеръ,—значить, сторожъ.
Кирикъ снялъ шапченку, поклонился:
— Такъ и такъ, почтенный, точно-ль это

Будетъ здѣсь то само заведенье,
Гдѣ какую ни давай скотину,
Изо всякой могутъ въ два-три года
Человѣка и взаправду сдѣлать,
Да еще наукамъ всѣмъ обучать
И на мѣсто даже опредѣлять?

Посмотрѣлъ на Кирика служивый
Таково-то строго, и на бабу,
И на Быньку тоже, да и молвить:
— А на что бы знать вамъ это надо?
— Какъ на что, родимый!.. Самъ вотъ видишь.
Привели бычка мы изъ деревни,—
Онъ у насъ, какъ есть, одинъ, сердечный,—
Такъ желали-бъ сдать его въ ученье,
Чтобъ изъ Быньки человѣка сдѣлать,
Потому какъ, значить, намъ сказали,
Что въ Москвѣ на то есть заведенье
И что тамъ все это, точно, могутъ...
А на горе, дѣтокъ Богъ намъ не далъ,—
Ну, авось, хоть онъ подъ старость будетъ
Намъ замѣсто сына на подспорье.
Не оставь ужъ милостью, служивый!
Укажи каки пути къ начальству,
Какъ бы сдѣлать, упробить кого-бы,
Чтобы Быньку приняли въ науку? —
Мы те въ какъ будемъ благодарны!

Пораздумалъ сторожъ, ухмыльнувшись
И отвѣтилъ Кирику не сразу.
— Дѣло это трудное,—сказалъ онъ.
Всѣ мѣста ужъ заняты другими,
Надо ждать и, можетъ быть, не мало
Ждать, пока откроется мѣстечко.
Ну, да ладно, какъ-нибудь сварганимъ:
Человѣкъ-то, вижу, ты хорошій—
Отчего и не помочь простягѣ!..
Оставляй бычка-то здѣсь, пожалуй;
Я ужъ, какъ ни какъ, его пристрою.
На прокормъ оставь ему что можешь,
А не можешь, и потомъ сочтемся.
— А когда-жъ намъ за бычкомъ являться?
— А тогда какъ кончать всю науку.
Черезъ четыре года приходите,
И сдадимъ его вамъ человѣкомъ;
А теперь, братъ, недосугъ... Прощайте!
— Вотъ спасибо!.. Экій благодѣтель!..
Какъ легко, подумаешь, устроилъ!
Вотъ ужъ истинно послалъ Богъ счастье!

И бычка ему оставилъ Кирикъ
И пошелъ, довольный и счастливый,
Со своей старухой во-свояси.
Вотъ проходить всѣ четыре года
И въ Москву опять явился Кирикъ
Со своей старухой Маланьей.
Видать — тотъ-же домъ стоитъ на горкѣ,
Впереди чугунная рѣшетка,
У рѣшетки въ воротахъ при будкѣ,
Какъ на счастье, тотъ-же самый сторожъ.
— А, здорово, кавалеръ почтенный!
Что такъ смотришь? Не призналъ насъ, что-ли?
А бычка-то черного припомни,
Что тебѣ оставилъ я въ науку,—

Самъ тогда сказалъ намъ: «приходите
 Черезъ четыре года, человѣкомъ будетъ»,—
 Ну, какъ видишь, мы вотъ и явились...
 Что-жь бычекъ?.. Каковъ теперь и гдѣ онъ?
 — А, бычекъ-то?!. Какъ-же, какъ-же, помню!—
 Спыхнулся сторожъ и смѣется:
 — Какъ бычка не помнѣтъ!.. Очень помню!..
 Что-жь, вѣдь мы сдержали, братецъ, слово:
 Онъ уже давно науку кончилъ
 И теперь гремитъ на всю столицу
 Что ни есть первѣйшимъ адвокатомъ:
 Денегъ, просто, уйму загребаетъ,
 Всѣхъ воровъ за деньги обильяетъ;
 Знаменитымъ сталъ, братъ, человѣкомъ
 И публичнымъ въ городѣ мужчиной.
 А вѣдь былъ, подумаешь, давно-ли
 Самой что ни есть простой скотиной,—
 Вотъ оно что значить, братъ, наука!
 Сунься-ко теперь къ нему ты, ну-ка!..
 Впрочемъ, что-жь, зачѣмъ не попытаться,—
 Можеть, вспомнить васъ и облакаеть,
 Можеть, даже денегъ общаеть..
 — Ахъ, да гдѣ-жь найти его, родимый?
 Да и какъ-же звать его-то нынче?
 — Ну, найти довольно будетъ просто:
 Тутъ шаговъ едва-ль придется со сго.
 Вонъ, гляди-ко, наискось домина
 Пузомъ вышелъ, ровно что купчина,—
 Тамъ доска такая, золотая,
 У подъѣзда самаго прѣбита,
 А на ней прописана фамилья:
 «Адвокатъ Бычекъ», — да ты лишь спросишь,
 Тамъ тебѣ его сейчасъ укажутъ
 И проведать... Помогай-те Боже!
 Все, какъ есть, по слову кавалера,
 Отыскали Кирикъ со старухой,
 У Бычка въ прихожей очутились,
 Доложить о нихъ лакея просятъ:
 — Ты скажи, молъ, Кирикъ Оголтѣлый
 Изъ Медвѣжьяго Угла прѣбхалъ
 Со старухой со своей Маланьей...
 Ты скажи лишь,—онъ уже тамъ знаетъ
 И навѣрно вспомнить стариковъ-то;
 Мы ему вѣдь люди не чужіе,
 Не чужіе люди, а родные,
 И вспоили сами, и вскормили,
 И въ Москву-то даже въ обученье
 На веревкѣ сами притащили.
 Вотъ пошелъ лакей къ нему съ докладомъ,
 У Бычка же, какъ нарочно, гости.
 Доложилъ слуга Бычку тихонько:
 — Васъ-де, сударь, спрашивать изволятъ
 Старичекъ какой-то да старушка.
 — Отказать! Скажи, не принимаю,
 Коль по дѣлу, пусть приходятъ завтра.
 Тотъ пошелъ, съ минуту тамъ въ прихожей
 Пошутукалъ что-то съ стариками
 И опять идетъ къ Бычку съ докладомъ:
 — Заявлялъ, молъ, только не уходить,
 Слезно молятъ хоть глазкомъ взглянуть-бы...
 Не по дѣлу, а по сердцу, просто.

Не чужіе, молъ, свои родные,
 Оголтѣлый Кирикъ со старухой.
 — Что за Кирикъ?! Что за чушь такая?!
 Никакихъ я Кириковъ не знаю,
 Отродясь такой родни не видѣлъ
 И не слышалъ,—гнать ихъ, просто, въ шею!
 Но не тутъ-то было. Не успѣлъ онъ
 И послѣднихъ этихъ словъ промолвить,
 Какъ уже въ столовой, на порогѣ,
 Предо всей его честной компаньей
 Появился Кирикъ вдругъ съ Маланьей.
 Вотъ такъ штука!.. Самъ Бычекъ опѣшилъ
 И въ досадѣ кинулся къ обонимъ:
 — Что вамъ надо?.. Кто вы?.. Что за люди?
 Не успѣлъ промолвить Кирикъ слово,
 Какъ Маланья сразу, какъ стояла,—
 Руки врозь и—бацъ Бычку на шею!
 Обняла да такъ-то и повисла:
 — Ахъ ты, милый мой, родной, желанный,
 Мой Бычекъ, сыночекъ мой богоданный;
 Погляди-ка, Кирикъ, погляди-ка,
 Черненькій вѣдь! Черненькій-то Бынька
 И на чѣлкѣ клокъ курчавой шерстки,—
 Все какъ есть, примѣты всѣ остались,
 И такой-же плотненькій какъ прежде...
 Ахъ ты, Бынька, дорогой мой Бынька!
 Что-жь глядишь на насъ-то больно строго?
 Аль забылъ? Аль не признаешь сразу?
 Да вѣдь ты же намъ родной выходилъ.
 Вѣдь у насъ въ хлѣву-то и родился,
 Языкомъ коровка ты лизала,
 Опречь насъ, чужихъ не подпускала,—
 Кто-жь за Бынькой, какъ не я, ходила,
 Кто-жь ты пойломъ, какъ не я, поила,
 Берегла и холила, и мыла,
 И потомъ-то, какъ вели въ ученье,
 Я-жь тебя и на смычкѣ тащила!
 Смотрятъ гости,—больно имъ занятно.
 Только видать—дѣло что-то странно:
 Мать съ отцомъ Бычекъ признавъ стыдится.—
 И Бычекъ все это сразу понялъ...
 Чуетъ онъ всѣ эти ихъ улыбки,
 Всѣ кивки, миганья, умолчанья,
 По угламъ злорадное шептанье,
 И навѣрно къ вечеру весь городъ
 Будетъ знать и въ тысячѣ рассказовъ
 Повторять всю эту небывлицу...
 О, сквозь землю лучше провалиться!..
 А старуха, между тѣмъ, на шеѣ
 У него все виснеть да ласкаетъ,
 Да умильно, громко причитаешь...
 Тыфу ты, дьяволъ!.. Вотъ такъ положенье!
 Что тутъ дѣлать? Какъ тутъ извернуться?
 Объяснить-то какъ и чѣмъ все людямъ?
 Какъ скандалъ-то притупить скорѣе?..
 Но въ Бычкѣ ужъ лопнуло терпѣнье:
 Отъ стыда, отчаянья и гнѣва
 Потерявъ способность размышленья,
 «Вонъ отсюда!» — закричалъ онъ люто—
 И затѣмъ, обонихъ сдавъ лакею,
 Кулакомъ ихъ съ лѣстницы да въ шею!

Какъ ошпаренный, не взвидя свѣту,
Очутился Кирикъ со старухой
Середь улицы большой и шумной
Да давай Богъ ноги,—безъ оглядки,
Такъ, что только засверкали пятки!..
Долго такъ-то шли они куда-то,
Не промолвя межъ собою слова,
Долго мимо ихъ дома мелькали,
Фонари, прохожіе, кареты,—
Ничего-то оба не видали,
Ничего вокругъ не замѣчали,
Шли да шли, пока не очутились

И совсѣмъ ужъ за городомъ гдѣ-то.
Глядь—анъ тутъ какъ разъ дорога,
Что ведетъ домой въ Медвѣжій Уголъ.
— Ну, и что-жъ, старуха, слава Богу,
На прямую вышли на дорогу,
Побредемъ-ка съ Богомъ во-свояси,
Да не зарься на Бычково счастье:
Хоть и сталъ онъ знатнымъ господиномъ,
Денегъ уйма, олынь, ему досталась,—
А душа-то все же въ немъ скотская,
Какъ была, такою и осталась.

Стихотворенія нигдѣ не напечатанныя.

Финальная сцена къ 1-му дѣйствию оперы „Кузнецъ Вакула“ Н. Ѳ. Соловьева.

Экспромптъ.

Хоръ (за сценой).

За околицей, во полѣ,
Вѣтеръ рыскаетъ на волѣ,
Свищетъ вѣтеръ и гудитъ,
Самъ съ метелью говоритъ:
«Гей, метелица шальная,
Мы, отъ края и до края,
Разгуляемся вдвоемъ,
Всѣ дороги заметемъ».
Какъ по этой ло метели
Трое саночекъ ¹⁾ летѣли,
Колокольчики звенятъ,
То колядчики катятъ.

Гопъ, гопъ, гопъ!
У коляды ротъ
Полонъ пирогами,
Саломъ, варенцами.

Ты куда, коляда, ѣдешь,
Въ хату чью еще заѣдешь,
Знать еще ты не сыта,
Нѣтъ ни края пирога.

Гопъ, гопъ, гопъ!
У коляды ротъ
Полонъ пирогами,
Саломъ, варенцами

(Парубки и дивчата входятъ въ хату).

За тобою мы, Оксана,
Изъ-за снѣжнаго тумана,
Прикатили всѣ гурьбой
На коляду звать съ собой.

Оксана.

Изъ-за снѣжнаго тумана
Вы примчались больно рано.
Не хочу колядовать,
Не пойду въ морозъ гулять.
Не пойду!

Хоръ.

Полно, Оксана,
Серденько, иди!
Гдѣ чернобровой
Такой намъ найти!
Будетъ съ тобою
Намъ всѣмъ веселѣй,
Будутъ мѣшки
У коляды полнѣй!

Оксана.

Я не одѣта!

Хоръ.

Такъ снова зайдемъ!

(Уходя).

За околицей во полѣ, и т. д.
Занавѣсъ падаетъ.

* * *

Вмѣсто жаркой любви и недавней любви,
Ты мнѣ дружбу свою предложила...
Но я выбралъ вражду! Знать ужъ такъ на роду
Жить съ враждой мнѣ судьба присудила!
Еслибъ знать ты могла, какъ я золь на тебя,
Какъ глубоко тебя ненавижу!..

¹⁾ У автора „трое саночки“, какъ онъ утверждалъ—по народному выговору. Ю. Елецъ.

Еслибъ знать ты могла, какъ люблю я тебя,
Но души предъ тобой не унижу!
Не унижусь мольбой, чтобы ты отдала
Мнѣ хоть каплю изъ чувства былого!..
Ты не знаешь сама, сколько сдѣлала зла,
Не щадя во мнѣ сердца больного!
Но не думай, чтобъ словомъ или дѣломъ я мстилъ,
Чтобъ рѣшился тебя я обидѣть,
Нѣтъ! Какъ честно тебя я когда-то любилъ,
Буду честно теперь—ненавидѣть!..

* * *

Вы хотите стиховъ. Вы поэта опять
На минуту во мнѣ воскресили!
Я готовъ былъ всю душу, все сердце отдать,
Вы же только стиховъ попросили.

И зачѣмъ вамъ стихи, и безъ нихъ хороша
Ваша жизнь, словно радуги лента!
Неужели-жъ капризная ваша душа
Захотѣла въ стихахъ комплимента?

Нѣтъ, не вѣрю... быть можетъ хотѣлось вамъ,
Чтобъ для васъ я былъ вашимъ Петраркой?
О, Лаура моя! Я знавалъ много дамъ
Все съ такой-же фантазіей яркой.

А какія-бы пѣсни я пѣть тебѣ сталъ,
Что за роскошь ихъ риемы и звуки!
Это пѣсни—огонь, каждый стихъ, что кристалъ,
Это пѣсни блаженства и муки!

Ты не знаешь тѣхъ пѣсенъ,—не знаешь ты ихъ;
Не въ словахъ эти пѣсни сказались:
Въ жаркомъ сердцѣ моемъ я слагалъ каждый
стихъ,
Риемы страстью моей зажигались!

Это пѣсни любви, пѣсни тайныхъ ночей,
Въ нихъ ни скорби, ни слезъ, ни проклятій.
Вдохновенье я взялъ-бы изъ ясныхъ очей,
Силу-жъ пѣсни—изъ жаркихъ объятій!

Что всѣ пѣсни людей предъ восторгомъ рѣчей,
Предъ поэмой взаимныхъ признаній?
Въ пѣломъ мірѣ нѣтъ риемы звучнѣй и полнѣй
Какъ созвучье двухъ жаркихъ лобзаній!

Тутъ бѣненіе сердца подскажетъ размѣръ,
Вздохи сдержанной страсти—цезуру,
И до звѣздныхъ міровъ, до заоблачныхъ сферъ,
Я той пѣснью увлекъ-бы Лауру!

Я отдалъ бы тебѣ весь мой лучший удѣлъ,
Всю бы жизнь и все вдохновенье,
И у ногъ у твоихъ неумолчно-бы пѣлъ
На великій мотивъ—наслажденье!

С. А. Ду—ской.

Ты бывала-ль въ древней Вильнѣ
Предъ часовней Остробрамы,
Гдѣ, склонивъ колѣна, тихо
Шепчуть псалмы ваши дамы?
Въ серебрѣ, въ камняхъ искристыхъ
Божья Матерь тамъ сіяетъ—
Гдѣ тотъ гордый, кто предъ Нею,
Головы не обнажаетъ?

Православный и католикъ,
Вѣрны древнему закону,
Оба чтутъ и оба славятъ
Остробрамскую Мадонну.
Это ты, моя Мадонна!
Какъ предъ Ней, и предъ тобою
Ни одинъ пройти не можетъ
Не склонившись головой;

Ни одинъ пройти не можетъ,
Не отдавъ тебѣ почтенія;
Предъ твоей красою свѣтлой,
Не склонясь отъ восхищенія.
Я же — дивная Мадонна —
Пусть жрецомъ твоимъ я буду;
Славословить въ звучныхъ гимнахъ,
Я начну тебя повсюду. —

Пусть весь міръ услышитъ пѣсню
Въ честь моей святой Мадонны,
И со мною вмѣстѣ станетъ
Пѣть хвалебные каноны.

* * *

Въ преддверьи замкнутого храма,
Какъ древле мытарь, предстою,
Поднять очей не смѣя прямо,
Шепчу молитву я мою:
О, милый идолъ! Предъ тобою
Я на колѣняхъ, я молю!
Склонись предъ жаркою мольбою
Скажи: «прощаю и люблю!»

Отрини каменный свой холодъ,
Забудь разсудка торжество,
Вѣдь ты-жъ не мраморъ,
Духъ твой молодъ,
Вѣдь ты живое Божество!
Я вѣрю въ заповѣдь: «Ищите
И вы обратете!» «Просите
И дастся вамъ». — И я прощу!

Прошу любви, забвенія, мира!
И въ жертву мимому кумиру
Всю страсть, всю душу приношу.
И жду, и вѣрю, и стремлюся,
Моля и алча одного,
Пока опять не достучуся,
Я въ двери сердца твоего!

* * *
Онъ сказалъ «имѣйте вѣру хоть съ горчичное
зерно
И горами двигать мощно будетъ слыше вамъ
дано!» —
У меня-ль въ груди не хватитъ вѣры жаркаго
огня?
Не зерно — а нивы зеренъ зрѣютъ въ сердцѣ
у меня!
Неужель съ такою вѣрой я-бъ любовь твою не
взялъ
Неужель твое лишь сердце будетъ тверже
крѣпкихъ скалъ?!
Пусть рогатымъ Василискомъ золь и рыанъ,
ревнивъ и дюжъ
На меня въ твою защиту ополчается твой мужъ.
Съ этой вѣрой я воспринялъ мощной силы
благодать
Какъ на скорпія и змія, на рогатыхъ наступать!..

Л. Гв: Уланскаго Его Величества полку.

20-ое августа 1876 г.

Когда въ равнинахъ Аустерлица
Нашъ юный полкъ еще впервые
Увидѣлъ близко предъ собой
Враговъ ликующія лица, —
Нашъ Цесаревичъ Константинъ,
Нашъ первый Шефъ — въ тотъ бой кровавый
Къ полку примчался вдругъ одинъ
И въ мигъ сроднилъ его со славой.
«Не забывайте», онъ сказалъ,
«Чѣмъ имя носите, уланы!» —
И вотъ, — какъ бурный, грозный вадъ
Неся съ собою смерть и раны,
Уланы ринулися въ бой
И сплелись съ вражьими полками —
И смыли все передъ собой,
Гордяся шефскими словами.
Весь полкъ — то былъ одинъ центавръ!
Не дрогнулъ предъ неравной дракой
И Аустерлицкою атакой
Себѣ стяжалъ свой первый лавръ.

* * *
Съ тѣхъ поръ ужъ семь десятковъ лѣтъ
Прошло надъ нашими рядами, —
Но живъ священнѣйшій завѣтъ
Намъ данный шефскими словами;
И въ этотъ день, когда врученъ

Намъ новый стягъ — залогъ побѣды —
Съ нимъ въ нашемъ сердцѣ обновленъ
Завѣтъ, съ которымъ дрались дѣды.
И такъ, да здравствуетъ же тотъ,
Чѣмъ имя славное полкъ носить! —
Оно къ побѣдѣ насъ зоветъ,
Оно ко славѣ насъ уноситъ!

(Ев. Ст. Ла — да).

Я влюбленъ, на зло разсудку,
Я сдаюсь — къ чему борьба! —
Разыграла злую шутку
Надо мной моя судьба.
Сѣдина уже мелькаетъ
Въ бородѣ, какъ серебро,
А межъ-тѣмъ — увя! — толкаетъ
Вѣсъ любви меня въ ребро.
Не скажу вамъ, кто такая,
Та, что сердце мнѣ сожгла,
Что за прелесть молодая
Вѣетъ съ яснаго чела!
Какъ котенокъ шаловлива, —
Вся ухватка, что въ звѣркѣ, —
Какъ нога ея красива,
Въ черномъ шелковомъ чулкѣ!
Что за милыя проказы
Выдаетъ порою взглядъ, —
И какъ черные алмазы
Глазки блещутъ и горятъ.

1883.

Въ альбомѣ.

Хоть на своемъ вѣку я томы
«Презрѣнной прозы» написалъ,
Но до сихъ поръ стиховъ въ альбомы
Не сочинялъ.

И передъ этою задачей
Теперь въ смущеніи стою:
Что вамъ скажу или иначе —
Что вамъ «спою»?

Скажу одно: пусть жизни холодъ
Васъ не обвѣетъ никогда,
И пусть вашъ духъ пребудетъ молодъ

Во всѣ года,
Чтобъ не мѣшая правду съ ложью,
Онъ все прекрасное любилъ
И въ чистомъ сердцѣ искру Божью
На вѣкъ хранилъ. 1889.

